СОЧИНЕНІЯ

В. Г. БѢЛИНСКАГО.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ и факсимиле автора, гравюрой съ картины Наумова и статьей **Н. К. Михайловскаго.**

Дешевое изданіе Ф. Павленкова

выпускаемое съ разрѣшенія наслѣдниковъ Бѣлинскаго.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

1844—1849.

Цѣна каждаго тома 1 руб. 25 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоропечатня А. Пороховщикова, Гороховая, д. № 12.

1896.

ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

Прудонъ и Бѣлинскій. «Изъ записокъ профана 1875 г.» Н. К. Михайловскаго. I

I. КРИТИКА.

Стр.

Русская литература въ 1844 г. 1
Тарантасъ. Графа В. А. Соллогуба 61
Опытъ исторіи русской литературы. Профессора А. Никитенко. Книга I. Введеніе . . 107
Славянскій сборникъ. Н. В. Савельева-Ростиславича 123
Сто русскихъ литераторовъ. Томъ третій . . 157
Князь Антіохъ Дмитріевичъ Кантемиръ. . . 171
Петербургъ и Москва 191
Русская литература въ 1845 году 223
Голосъ въ защиту отъ „Голоса въ защиту русскаго языка“ 253
Петербургскій сборникъ. Н. Некрасова . . . 259
Мысли и замѣтки о русской литературѣ . . 289
Воспоминанія Ѳаддея Булгарина 321
Николай Алексѣевичъ Полевой 357
Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ 387
Взглядъ на русскую литературу 1846 года . 437
Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями Николая Гоголя 485
Отвѣтъ „Москвитянину“ 503
Взглядъ на русскую литературу 1847 года . 559

II. БИБЛІОГРАФІЯ.

Семейство, или домашнія радости и огорченія. Фредерики Бремеръ 647
Наль и Дамаянти. В. А. Жуковскаго. . . . 651
Басни И. А. Крылова 652
Герой нашего времени. М. Лермонтова. . . 654
Амарантосъ, или розы возрожденной Эллады. Георгія Эвлампіоса 655
Тысяча и одна ночь. Арабскія сказки . . . 656
Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. Николая Костомарова 657
Гамлетъ. Переводъ А. Кронеберга 658
Парижскія тайны. Эженя Сю 663
Молодикъ на 1844 г. Украинскій литературный сборникъ 668
Антологія изъ Жана-Поля Рихтера 671
Старинная сказка объ Иванушкѣ-дурачкѣ. Н. Полевого. 681
Стихотворенія М. Лермонтова 684
Стихотворенія В. Жуковскаго 687
На сонъ грядущій. Графа В. А. Соллогуба . 694
Правила высшаго краснорѣчія. О подражаніи Христу 698

Стр.

Импровизаторъ, или молодость и мечты итальянскаго поэта. Андерсена 698
Исторія Наполеона. Н. Полевого 699
Руководство къ познанію теоретической матеріальной философіи. А. Татаринова . . 700
Общая риторика. Н. Кошанскаго 701
Разговоръ. И. Тургенева 712
Леди Анна, или сирота. Переводъ съ англійскаго. Чтеніе для дѣтей перваго возраста. А. Ишимовой 713
Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе въ Россіи. Сочиненіе автора «Князя Скопина-Шуйскаго» 715
Сочиненія Константина Мосальскаго 718
Метеоръ на 1845 г. 726
Типы современныхъ нравовъ. Н. Кирилова . 728
Краткая исторія крестовыхъ походовъ . . . —
Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка. Н. Кирилова 730
Стихотворенія Эдуарда Губера 731
Стихотворенія Петра Штавера 737
Физіологія Петербурга. Ч. II. Н. Некрасова. 743
Грамматическія разысканія. В. А. Васильева. 750
Стихотворенія Александра Струговщикова . 763
Сочиненія Державина 767
Сельское чтеніе. Книжка третья 777
Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г. Н. Полевого. 781
Исторія консульства и имперіи. Тіера . . . 786
Букеты, или петербургское цвѣтобѣсіе. В. А. Соллогуба 789
Петербургскія вершины. Я. Буткова. Книга 1. 796
Изъ очень короткой рецензіи о романахъ А. Дюма 800
Кочубей, генеральный судья. Н. Сементовскаго 801
Переводъ сочиненій Гоголя на французскій языкъ. . . . . —
Мельникъ. Жоржа Занда 803
По поводу дѣтскихъ книгъ. . . . . —
Юмористическіе разсказы нашего времени, издаваемые Абракадаброю 805
Мирза Хаджи-Баба Исфагани. Моріера . . . —
Столѣтіе Россіи, съ 1745 до 1845 г. Н. Полевого. Ч. 2-я 807
Стихотворенія Аполлона Григорьева. Стихотворенія 1845 года. Я. П. Полонскаго . . 808

Стр.

Похожденія Чичикова, или Мертвыя души. Н. Гоголя 815
Сочиненія Озерова. Сочиненія Фонвизина. . 817
Полное собраніе сочиненій И. Крылова. Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова. М. Лобанова 822
Повѣсти, сказки и разсказы казака Луганскаго 826
Тереза Дюнойе. Е. Сю.—Матильда, записки молодой женщины. Е. Сю.—Сынъ тайны. Поля Феваля.—Іезуитъ. К. Шпиндлера . . 830
Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова. Н. Кукольника 848
Новая библіотека для воспитанія. П. Рѣдкина. Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. П. Фурмана. Альманахъ для дѣтей. П. Фурмана. 859
Картина земли для наглядности преподаванія физической географіи. А. Постельса . 865
Музей современной иностранной литературы. 866
Векфильдскій священникъ. Гольдсмита . . . 870
Главныя черты древней финской эпопеи «Калевалы». М. Эмана. 878

Стр

Современныя замѣтки 884
Второе полное собраніе сочиненій Марлинскаго 897
Бѣдные люди. Ѳ. Достоевскаго 900
Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношеніи. Монаха Іоакинѳа. 901
Сельское чтеніе. Книжка четвертая 906
Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ 912
Вечеръ въ пансіонѣ 915
Цринн. Трагедія Кёрнера 916
Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра. К. Беккера 917

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Литературный заяцъ 921
Булгаринъ. 923

IV. ТЕАТРЪ.

Предокъ и потомки. В. Гюго 929
Павелъ Степановичъ Мочаловъ. 931

ПРУДОНЪ И БѢЛИНСКІЙ.

(Изъ «Записокъ профана» 1875 г.)

Читатель конечно не будетъ пораженъ сопоставленіемъ именъ Прудона и Бѣлинскаго, потому что оно неново. Прудонъ и Бѣлинскій — современники, имѣвшіе даже общихъ знакомыхъ и друзей. Естественное дѣло, что извѣстныя вѣянія времени, какъ напримѣръ нѣмецкая философія, нѣкоторые взгляды на задачи общественной жизни и т. п., живо затрогивали ихъ обоихъ. Въ этомъ именно смыслѣ читателю и случалось встрѣчать сопоставленіе ихъ именъ. Я однако отнюдь не думаю проводить параллели между мнѣніями этихъ двухъ писателей, да изъ нижеслѣдующаго будетъ видно, что такія параллели были бы по малой мѣрѣ безплодны, если не прямо невозможны. Другое дѣло—фигуры, личности Прудона и Бѣлинскаго. Онѣ сами собой напрашиваются на сравненіе, тѣмъ болѣе, что недавно появились обширные матеріалы для характеристики того и другого. Во Франціи въ нынѣшнемъ году началось четырнадцатитомное изданіе переписки Прудона. Извлеченія изъ этого изданія до сихъ поръ тянутся въ «Вѣстникѣ Европы», въ статьѣ, озаглавленной: «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ». Въ нынѣшнемъ же году окончился въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» обширный «опытъ біографіи» Бѣлинскаго, составленный г. Пыпинымъ, главнымъ образомъ на основаніи переписки нашего знаменитаго критика. Читатели «Вѣстника Европы неизбѣжно наталкивались на сравненіе. Натолкнулся и я, и хочу подѣлиться съ другими своими впечатлѣніями.

Г. Д—евъ, авторъ статьи «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ», очевидно—позитивистъ школы Конта и тщательно отыскиваетъ въ своемъ матеріалѣ черты, могущія служить подтвержденіемъ извѣстнаго Контова закона трехъ фазисовъ, въ силу котораго умственное развитіе человѣка, какъ и всего человѣчества, идетъ отъ теологіи черезъ метафизику къ положительной наукѣ. Многія изъ соображеній г. Д—ва очень остроумны и справедливы. Я думаю однако, что по отношенію къ Прудону эта смѣна трехъ фазисовъ во всякомъ случаѣ имѣетъ совершенно второстепенное и чисто внѣшнее значеніе. Что Прудонъ первоначально былъ занятъ теологіей, затѣмъ ринулся въ область метафизики, изъ которой хотя и никогда не выбился окончательно, но все-таки отдалъ должное положительной наукѣ и ея орудіямъ, опыту и наблюденію — это вѣрно. Но не требуется глубокаго изученія переписки и сочиненій Прудона, чтобы видѣть, что это были ступени развитія не столько его самого, сколько, такъ сказать, оружія, которымъ онъ бился за свои завѣтныя идеи. Это, кажется, отчасти думаетъ и г. Д—евъ, но оставляетъ эту мысль безъ должнаго вниманія. А то бы ему пришлось, чего добраго, убѣдиться, что завѣтныя идеи Прудона даже и вовсе не укладываются въ формулу Конта. Какъ бы то ни было, но г. Д—евъ согласно своей задачѣ слѣдитъ преимущественно за процессомъ философскаго развитія Прудона, и потому проходитъ мимо многаго, очень характернаго для Прудона, какъ личности. Восполнить этотъ недостатокъ я могу только отчасти, потому что успѣлъ познакомиться только съ двумя первыми томами французскаго изданія переписки Прудона. Кое въ чемъ намъ помогутъ впрочемъ его сочиненія.

Литературную свою дѣятельность Прудонъ началъ «Опытомъ всеобщей грамматики» (1837),—сочиненіемъ слабымъ, дѣтскимъ, о которомъ читающему люду только и извѣстно, что авторъ впослѣдствіи отъ него отрекся. Совершенно незнакомый съ современными ему филологическими открытіями, даже не подозрѣвая ихъ существованія, Прудонъ производилъ всѣ языки отъ священнаго... Видѣть въ «Опытѣ всеобщей грам-

матики» явленіе теологическаго фазиса развитія пожалуй можно; но вѣдь дѣло-то тутъ просто въ томъ, что бѣдному наборщику попало въ руки нѣсколько книгъ извѣстнаго характера и содержанія. Если мы выкинемъ изъ счета подобныя случайности, то увидимъ, что Прудонъ явился въ литературѣ человѣкомъ вполнѣ готовымъ, т. е. съ идеями, на столько ясными и установившимися, что въ дальнѣйшей дѣятельности онѣ подлежали только развитію, а не измѣненію. Въ прошеніи о стипендіи Сюара (внѣшнюю біографію Прудона я предполагаю читателю извѣстною) Прудонъ много говорилъ о своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Но для біографа гораздо интереснѣе то обстоятельство, что секретарь безансонской академіи, Перенъ, потребовалъ измѣненія слѣдующихъ строкъ: «Рожденный и воспитанный среди рабочаго класса, принадлежа ему и нынѣ, и навсегда сердцемъ, разумомъ, привычками, общностью интересовъ и желаній, я былъ бы вполнѣ счастливъ, еслибы привлекъ ваше вниманіе къ этой части общества, которую такъ ситъ названіе «рабочей»; еслибы я оказался достойнымъ чести быть ея первымъ представителемъ передъ вами, еслибы я могъ отнынѣ работать безъ отдыха въ философіи и наукѣ, со всею энергіею моею воли и всѣми силами моего разума, для полнаго освобожденія своихъ братьевъ и товарищей». Разсказывая свои планы въ письмѣ къ Перенну, Прудонъ объявляетъ, что онъ не намѣренъ изучать юриспруденцію: «Вся система нашихъ законовъ основана на принципахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего философскаго и которые одинаково противны и закону природы, и закону откровенія. Таково по крайней мѣрѣ мое мнѣніе. Мнѣ нетрудно было бы подтвердить его многочисленными примѣрами. Условности, основанныя на побѣдѣ, рабствѣ, силѣ, привилегіи или варварствѣ,— вотъ суть нашего права». Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ писемъ (1838 г.), собранныхъ во французскомъ изданіи, Прудонъ называетъ уже себя «égalitaire», какъ называлъ себя всю жизнь. Получивъ Сюарову стипендію, онъ пишетъ одному другу: «Меня поздравляютъ съ прочностью положенія, съ возможностью сдѣлать карьеру, принять участіе въ погонѣ за мѣстами и жалованьями, достичь почета и блестящаго положенія, сравняться и даже можетъ быть превзойти Жоффруа, Пулье и проч. Но никто не сказалъ мнѣ: «Прудонъ, ты долженъ прежде всего отдаться дѣлу бѣдныхъ, освобожденію слабыхъ, просвѣщенію народа; ты можетъ быть будешь предметомъ ужаса для богатыхъ и сильныхъ; тебя будутъ проклинать держащіе ключи науки и богатства: иди своей дорогой реформатора навстрѣчу преслѣдованіямъ, клеветѣ, горечи, самой смерти. Вѣрь своему назначенію и смѣло предпочти славное мученичество апостола радостямъ и золотымъ цѣпямъ рабовъ. Тебя ли побѣдятъ лесть и соблазны удовольствій и богатства? Ты ли, сынъ народа, отречешься отъ своей совѣсти и предашь свою вѣру? За тобой слѣдятъ глаза твоихъ братьевъ; они мучительно ждутъ, придется ли имъ оплакивать паденіе и измѣну того, кто такъ клялся быть ихъ защитникомъ; отблагодарить тебя имъ нечѣмъ, кромѣ благословеній, которыя однако дороже золота. Страдай и умри, если нужно, но говори истину и стой за сироту». Еще дальше Прудонъ выразилъ съ меньшимъ паѳосомъ, но съ тѣмъ бо́льшею силою нѣкоторыя воззрѣнія, которымъ онъ также оставался вѣренъ всю жизнь: «Я держусь своихъ принциповъ; я ими никогда не пожертвую, что́-бы ни случилось; я доволенъ своимъ положеніемъ ремесленника.—Я откровенный и неизмѣнный республиканецъ по убѣжденію и чувству; но правда и то, что мой республиканизмъ не совсѣмъ тотъ, который значится у сеидовъ Робеспьера и поклонниковъ Марата; ихъ дѣла—самое сильное ихъ осужденіе». Такъ говорилъ Прудонъ еще до изданія «Опыта всеобщей грамматики». Особенно характерна эта оговорка насчетъ якобинцевъ. Это — частность, но то-то и важно, что даже такая частность, какъ ненависть къ якобинцамъ, уже съ молоду отличала Прудона. Второе печатное сочиненіе Прудона было « О празднованіи воскресенья». Оно мало читается, хотя и вошло въ собраніе сочиненій Прудона. И дѣйствительно оно само по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но въ біографическомъ смыслѣ оно, напротивъ, очень важно. Можно пожалуй опять-таки говорить по поводу его о теологическомъ фазисѣ ризвитія, потому что тутъ дѣло идетъ о Моисеевомъ законѣ. Но дѣло въ томъ, что «Празднованіе воскресенья» представляетъ совсѣмъ не богословское толкованіе установленія субботняго дня и десяти заповѣдей. Это — комментаріи чисто прудоновскія, основанію которыхъ авторъ никогда не измѣнялъ. Заповѣдь «не укради» напримѣръ толкуется уже прямо въ смыслѣ извѣстныхъ мемуаровъ о собственности. Словомъ, и установленіе субботняго дня, и весь законъ Моисеевъ привлечены Прудономъ только въ качествѣ орудія. Слѣдующая тирада ясно покажетъ, въ чемъ дѣло: «Что́ мы видимъ вокругъ насъ? Съ одной стороны—люди, недовольные и разочарованные среди роскоши, бѣдные даже со всѣми своими богатствами; съ другой — наемники, которымъ нищета запрещаетъ даже думать о своемъ разумѣ и о своей душѣ; они счастливы, когда находятъ работу въ воскресенье!.. И среди всего этого христіанство,

указывая на законъ Моисеевъ, и безъ дальнѣйшихъ объясненій сохраняетъ празднованіе дня, который сдѣлалъ насъ всѣхъ равными и братьями. Не говоритъ ли оно тѣмъ самымъ: есть время для труда, есть время и для отдыха. Если одни изъ васъ не имѣютъ отдыха, такъ это потому, что у другихъ слишкомъ много досуга. Смертные, ищите истину и справедливость; войдите въ себя, раскайтесь, обновитесь... Мы должны быть благодарны соборамъ, которые, не то что изящные аббаты восемнадцатаго вѣка, упорно стояли за празднованіе воскресенья. И дай Богъ, чтобы уваженіе къ этому дню было для насъ такъ же священно, какъ и для нашихъ отцовъ! Грызущее насъ зло чувствовалось бы сильнѣе, и лекарство было бы можетъ быть скорѣе найдено... Собственность еще не дѣлала мучениковъ, она — послѣдній изъ ложныхъ боговъ. Вопросъ о равенствѣ состояній былъ уже поднятъ, но въ видѣ безпринципной теоріи. Онъ долженъ быть вновь поднятъ во всей его глубинѣ. Проповѣдуемый во имя Бога и освященный голосомъ священника, онъ распространится, какъ молнія... Вотъ задача: *найти состояніе общественнаго равенства, которое не было бы ни коммунизмомъ, ни деспотизмомъ, ни раздробленіемъ, ни анархіей, — но свободою въ порядкѣ и независимостью въ единствѣ* (курсивъ подлинника). А за разрѣшеніемъ этого перваго пункта остается другой: *найти лучшій способъ перехода* (къ этому идеалу). Тутъ вся задача человѣчества». («Oeuvres», II, 150.)

Кто знаетъ Прудона, тотъ знаетъ, что въ этихъ строкахъ заключенъ уже весь Прудонъ, какимъ его знаетъ читающій міръ. Для него нѣтъ ничего характернѣе, какъ постановка извѣстнаго, крайняго идеала (выраженнаго часто очень «страшными словами»), и затѣмъ выработка переходныхъ ступеней. Къ этому мы еще вернемся, а теперь я обращаю вниманіе читателя главнымъ образомъ на то, что по отношенію къ своимъ завѣтнымъ идеямъ Прудонъ явился въ литературу человѣкомъ совсѣмъ готовымъ, въ томъ родѣ, какъ родилась Минерва изъ головы Юпитера. Онъ мѣнялъ только пріемы доказательства, съ которыми обращался съ крайнею безцеремонностью. Приведу одинъ только примѣръ, какъ сказалъ бы г. Д—евъ, изъ метафизическаго фазиса его развитія. Извѣстно пристрастіе Прудона къ такъ называемой антиноміи. На этой діалектической штукѣ построена формальная сторона «Системы экономическихъ противорѣчій». Въ одинъ прекрасный день Прудонъ по чисто практическимъ соображеніямъ, которыя нетрудно было бы указать, рѣшаетъ измѣнить свой хваленый методъ. Онъ преспокойно пишетъ: «Я принялъ гегелевскую идею, что антиномія разрѣшается въ высшемъ принципѣ, въ синтезѣ, отличномъ отъ двухъ первыхъ — тезиса и антитезиса. Съ этой логической ошибкой я теперь разстался. *Антиномія не разрѣшается*, и въ этомъ состоитъ основная фальшь всей гегелевской философіи. Оба момента, входящіе въ антиномію, *уравновѣшиваются* или между собой, или съ другими антиномическими моментами. Уравновѣшеніе не есть синтезъ, какъ его разумѣлъ Гегель, а вслѣдъ за нимъ и я. Сдѣлавъ эту оговорку въ интересѣ чистой логики, я сохраняю однако все сказанное въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій». («De la justice», 3 éd., 179.) Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія онъ громитъ знаменитую «тріаду», какъ опасную глупость и пошлость. Доводы его при этомъ очень слабы; лучше сказать, ихъ нѣтъ совсѣмъ: онъ просто объявляетъ, что «орудіе логики» непремѣнно двучленное (binaire), чему соотвѣтствуетъ и самая суть явленій природы. Очевидно, что «интересы чистой логики» особеннаго значенія для него не имѣютъ. Въ ту минуту онъ былъ занятъ практической мыслью сплотить буржуазію и рабочихъ въ одно цѣлое и направить эти соединенныя силы на общихъ враговъ, а сообразно этому «тріада» должна была сократиться въ «діаду». Подобныхъ примѣровъ можно бы было привести немало, а между тѣмъ есть основныя воззрѣнія Прудона, проходящія неизмѣнной красной нитью черезъ всѣ его письма и сочиненія, среди всевозможныхъ противорѣчій и удивительныхъ ампутацій, которымъ онъ подвергалъ и метафизику, и всѣ другія орудія своей борьбы.

Противорѣчій можно найти очень много и въ сочиненіяхъ, и въ письмахъ Прудона. Но это—или чисто логическіе и въ общей системѣ его воззрѣній всегда второстепенные промахи, или результаты минутныхъ вспышекъ подъ напоромъ тревожной исторіи Франціи 30—50 годовъ, или наконецъ совершенно сознательное, хладнокровное пригибаніе разныхъ отвлеченныхъ формулъ къ извѣстнымъ практическимъ цѣлямъ. И за всѣмъ тѣмъ Прудонъ можетъ служить образцомъ непоколебимости убѣжденій, особенно поразительной для насъ, русскихъ. Я даже рѣшаюсь сказать, что нѣкоторые взгляды были ему прирожденны. Въ теорію врожденныхъ идей, независимо отъ опыта, я не вѣрю, но думаю, что по скольку извѣстныя мысли и чувства оставляютъ по себѣ слѣды въ нервной организаціи человѣка, они могутъ передаваться по наслѣдству, а слѣдовательно человѣкъ можетъ родиться съ совершенно опредѣленными задатками ихъ. Какъ бы то ни было, но основныя воззрѣнія Прудона, кото-

рыя только и стоитъ, говоря о немъ, имѣть въ виду, до такой степени неизмѣнны на всемъ пространствѣ отъ «Празднованія воскресенья» до любого изъ посмертныхъ сочиненій, что прикидывать сюда мѣрку трехъ фазисовъ Конта—значитъ жертвовать сутью для формы. Контовъ законъ важенъ, какъ попытка привести различныя стороны жизни къ одному знаменателю мысли, и къ числу лучшихъ страницъ «Курса положительной философіи» относится напримѣръ анализъ связи между теологическимъ мышленіемъ и военнымъ бытомъ. Отголосокъ этой связи можетъ быть и существовалъ въ какихъ нибудь дѣтскихъ играхъ и забавахъ Прудона. Но съ того момента, какъ онъ принадлежитъ исторіи, онъ—Прудонъ и никогда ничѣмъ инымъ не былъ.

Съ непоколебимостью убѣжденій, каковы бы ни были самыя убѣжденія, симпатичныя намъ или нѣтъ, мы привыкли связывать представленіе о благородствѣ личности. Мы даже склонны мѣрять одно другимъ. Я не намѣренъ разрушать эту совершенно законную ассоціацію идей. Бываютъ однако случаи, когда непоколебимость убѣжденій не исключаетъ возможности нѣкоторыхъ изъяновъ въ личномъ характерѣ ихъ носителя. Я долженъ сказать, что Прудонъ представляетъ собою одно изъ такихъ на первый взглядъ парадоксальныхъ явленій. Уже то обстоятельство, что онъ при крайне невыгодныхъ условіяхъ такъ рано вполнѣ сформировался, показываетъ, что непоколебимость далась ему безъ внутренней борьбы, далась даромъ, въ такомъ родѣ, какъ напримѣръ породистому охотничьему щенку даются даромъ, по наслѣдству, чутье и нѣкоторыя повадки, подлежащія только легкой дрессировкѣ. Ниже я попытаюсь дать хоть намекъ на качество и размѣръ полученнаго Прудономъ духовнаго наслѣдства. Но что оно было вообще большое — это очевидно. А если такъ, то непоколебимость является чѣмъ-то фатальнымъ, мало зависящимъ отъ свойствъ личности; лично не совсѣмъ хорошій человѣкъ можетъ быть такъ крѣпко скованъ своимъ духовнымъ наслѣдіемъ, что свергнуть съ себя его иго окажется для него дѣломъ немыслимымъ. Но недостатки его личнаго характера все-таки должны какъ нибудь прорваться, такъ сказать, въ щели основного строя его непоколебимыхъ убѣжденій. Къ сожалѣнію съ Прудономъ такъ и было. Возьмите напримѣръ хоть вышеупомянутое внезапное и, собственно говоря, немотивированное превращеніе «тріады» въ «діаду», предпринятое для минутной практической цѣли. Въ качествѣ профана я вполнѣ способенъ оцѣнить всю глубину изрѣченія св. Августина: nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit. Философія должна служить цѣлямъ человѣка, иначе она не имѣетъ смысла. Но изъ этого не слѣдуетъ, что можно сообразно практическимъ цѣлямъ ломать истину, т. е. то, что́ мы признаемъ въ данную минуту истиной. Этого не могутъ понять только разные гг. Аверкіевы, Авсѣенки, Антроповы и прочія имена, начинающіяся на А, а впрочемъ и на нѣкоторыя другія буквы, какъ напримѣръ на *С*—Стебницкій. Они стоятъ за «чистое искусство», т. е. выгоняютъ изъ его области всякія симпатіи и антипатіи, а сами сознательно извращаютъ въ своихъ произведеніяхъ факты въ угоду... чортъ знаетъ чего. Конечно всѣ эти «тріады» и «діады» такъ отъ насъ далеки теперь, такъ мало намъ дороги, что подмѣна одной изъ нихъ другою нисколько не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства. Но это именно только потому, что намъ до нихъ дѣла нѣтъ, а во времена Прудона было иначе. Слѣдовательно добросовѣстнымъ его поведеніе на этомъ пунктѣ никакъ нельзя назвать. Однако настаивать на этомъ я не буду, потому что переписка Прудона открываетъ факты болѣе рѣзкіе и достойные вниманія.

Въ одномъ изъ писемъ 1850 г. встрѣчается слѣдующая фраза, какъ справедливо замѣчаетъ г. Д—евъ, резюмирующая собою всю публицистическую политику Прудона: «Непоколебимость принциповъ, постоянныя сдѣлки (transaction) съ обстоятельствами и людьми». (Та же мысль выражена въ эпиграфѣ къ «Теоріи налога»: «Des réformes toujours, des utopies — jamais».) Въ другомъ письмѣ того же года читаемъ: «Мой планъ былъ бы, еслибъ я сдѣлался вашимъ сотрудникомъ,—послѣ новаго подтвержденія и защиты всѣхъ моихъ предыдущихъ заключеній, овладѣть общественнымъ мнѣніемъ посредствомъ новой грандіозной теоріи, которая бы предупредила и поглотила всѣ критики, *теоріи прогресса въ себѣ*, т. е. вѣчнаго движенія революціонныхъ идей,—словомъ, философіи реформъ. Этимъ я спасъ бы все: абсолютизмъ принциповъ и медленность примѣненій. Тогда бы поняли, что если истина есть то, что́ *есть*, она—еще болѣе то, что́ *дѣлается* (devient); тогда бы журналъ даже въ своихъ исключеніяхъ изъ общихъ правилъ могъ быть оправданъ и защищенъ отъ всякихъ упрековъ. Тогда революціонная партія представляется разомъ непоколебимой въ своихъ принципахъ, практической и возможной». Эта идея не представляла, собственно говоря, новости въ Прудонѣ 1850 г.; она была ему всегда присуща, хотя и не въ видѣ ясно сознанной и точно формулированной теоріи. Мы видѣли, что уже въ «Празднованіи воскресенья» шла рѣчь объ идеалѣ

общественнаго равенства и вмѣстѣ съ тѣмъ о подготовительныхъ къ нему ступеняхъ. И таковъ Прудонъ во всемъ. Напримѣръ его знаменитая «анархія», такъ многихъ пугавшая, не имѣетъ въ себѣ рѣшительно ничего разрушительнаго. Анархія Прудона есть отдаленный, крайній идеалъ, нѣкоторымъ образомъ маякъ, освѣщающій путь. Въ одномъ письмѣ къ Даримону Прудонъ пишетъ: «Наша идея *анархіи* пущена... Послѣ отрицанія государства мы должны дать почувствовать, что дѣло идетъ о довершеніи прогрессивнаго движенія, состоящаго въ упрощеніи usque ad nihilum, а не въ осуществленіи внезапной и прямой анархіи». Таковъ же характеръ и другой знаменитой формулы: собственность есть кража. Отрицанія собственности въ принципѣ здѣсь нѣтъ и помина. Для этого Прудонъ былъ слишкомъ французскій крестьянинъ—это очень важно замѣтить — извѣстный своей безпредѣльной, почти идолопоклонннческой привязанностью къ собственности. Прудонъ не только не отрицалъ собственности въ принципѣ, а, напротивъ, хотѣлъ ее, какъ онъ однажды выразился, universaliser, т. е. расширить ея сферу, дать ее тѣмъ, у кого ея нѣтъ. Конечно, ставя единственнымъ основаніемъ права собственности трудъ, онъ колебалъ основы современнаго общества, въ которомъ собственность покоится на весьма различныхъ основаніяхъ. Но опять-таки никакого рѣзкаго переворота онъ не желалъ. Онъ писалъ одному пріятелю, требовавшему нѣкоторыхъ разъясненій: «Въ каждой реформѣ есть двѣ различныя вещи, которыя слишкомъ часто смѣшиваютъ: *переходное состояніе* и *совершенство* или *законченность*. Первое— какъ разъ то единственное дѣло, которое *теперешнее* общество призвано исполнить; но какъ же осуществимъ мы этотъ переходный процессъ? Ты найдешь отвѣтъ на этотъ вопросъ, сопоставляя нѣкоторыя мѣста моего второго мемуара». Затѣмъ слѣдуютъ указанія на страницы извѣстнаго письма къ Бланки, гдѣ говорится о постепенномъ сокращеніи рентъ, арендъ и «нападеніи на собственность со стороны процента». Всѣ эти мѣры Прудонъ оставилъ впослѣдствіи болѣе или менѣе въ сторонѣ или измѣнилъ планъ ихъ введенія, но во всякомъ случаѣ и въ ту минуту, когда онъ писалъ свои мемуары о собственности, и тогда, когда онъ думалъ произвести всѣ нужныя и возможныя реформы двумя декретами—о ссудахъ и о налогѣ—и тогда, когда онъ, говоря о своемъ народномъ банкѣ, писалъ: «Я начинаю предпріятіе, которому не было и не будетъ равнаго; я хочу измѣнить основаніе общества, перемѣнить ось цивилизаціи, сдѣлать, чтобы міръ, вращавшійся до сихъ поръ, по волѣ Божіей, отъ запада къ востоку, сталъ двигаться отнынѣ, по волѣ человѣка, отъ востока къ западу» («Oeuvres», XVIII,1)—и позже, и всегда, несмотря на всѣ страшныя слова, Прудонъ былъ противникомъ всякаго насильственнаго переворота и сторонникомъ постепеннаго «прогресса въ себѣ». Системы же, предлагавшія извѣстный, совершенный съ точки зрѣнія авторовъ порядокъ вещей, который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ быть осуществленъ немедленно, Прудонъ съ обычной энергіей выраженія называлъ «проклятою ложью». Читатель найдетъ обильныя подтвержденія въ цитатахъ г. Д—ева и еще больше въ сочиненіяхъ Прудона. А намъ предстоитъ здѣсь разрѣшить другой вопросъ.

Легко сказать: непоколебимость принциповъ и постоянныя сдѣлки съ обстоятельствами и людьми! Но какъ привести эту программу въ исполненіе? Какъ провести невредимо корабль принциповъ среди безчисленныхъ рифовъ и подводныхъ камней практической жизни, и въ особенности въ такой бурный историческій моментъ, въ какой довелось жить, мыслить и дѣйствовать Прудону? Не придется ли тутъ иногда, говоря прямо, лгать? Какъ понималъ это дѣло самъ Прудонъ,—отчасти видно изъ письма его къ Марку Дюфрессу (1850 г.). Говорю: отчасти, потому что г. Д—евъ къ сожалѣнію недостаточно воспользовался этимъ замѣчательнымъ письмомъ, хотя оно почему-то упоминается у него два раза («Вѣстникъ Европы», № 8, 564, и № 9, 123), такъ что трудно даже обозначить въ точностью время, когда оно написано. Дюфрессъ задалъ Прудону рядъ политическихъ и соціальныхъ вопросовъ, имѣя въ виду возможность изданія газеты. Прудонъ отвѣчалъ между прочимъ: «Всѣ эти вопросы въ сущности прямо или косвенно сводятся къ слѣдующему: журналъ, о которомъ идетъ рѣчь, будетъ или нѣтъ слѣдовать политикѣ инсуррекціонной и въ какой мѣрѣ? Такъ какъ нѣтъ, да и не будетъ никогда предѣловъ для неудовольствій, какія можно поднимать противъ какого бы то ни было правительства, противъ законности его происхожденія и правоты его дѣйствій, такъ какъ слѣдовательно невозможно *логически* остановиться на пути возстанія, а предѣлъ является лишь тогда, когда возмущающійся органъ дѣлается обладателемъ власти,—изъ этого слѣдуетъ, что вопросъ, поставленный вами, предполагаетъ мнѣніе, о нравственности котораго каждый можетъ судить по своему. Журналъ не перестанетъ подбивать къ возстанію до тѣхъ поръ, пока его сотрудники не будутъ министрами, а его глава — президентомъ республики. Съ этой точки зрѣнія я и стану формулировать мои отвѣты на каждое изъ вашихъ вопрошеній». Вотъ образ-

чики этихъ отвѣтовъ. Католицизмъ долженъ быть по мнѣнію Прудона преслѣдуемъ «вплоть до уничтоженія, что̀ однако не мѣшаетъ мнѣ надписывать на моемъ знамени: *терпимость*; это—конечно противорѣчіе». И тутъ же онъ прибавляетъ въ видѣ вопроса: «что̀ вы отвѣтите, когда васъ попросятъ объяснить его, т. е. это противорѣчіе?». Онъ стоитъ въ принципѣ за избирательное начало въ примѣненіи ко всякой должности. Но на практикѣ общественное благо (salut public) потребуетъ многочисленныхъ исключеній изъ этого принципа, и вотъ опять—новое противорѣчіе. И опять Прудонъ спрашиваетъ: «посмѣете-ли вы объяснить его?». Точно то-же и въ вопросѣ самоуправленія. Прудонъ защищаетъ полную самостоятельность общинъ. «Таковъ для меня, говоритъ онъ, настоящій принципъ, составляющій то, что довольно-таки глупо называли жирондизмомъ». Но государство часто должно быть поставлено выше коммуны для того, чтобы дѣйствовать на нее, какъ импульсъ, какъ руководящее и развивающее начало. Журналу съ абсолютными принципами опять придется противорѣчить себѣ, и его нападки на существующее правительство будутъ потому уже недобросовѣстны, что на мѣстѣ правительства онъ дѣйствовалъ бы точно такъ-же. Письмо оканчивается уже приведеннымъ мною выше намекомъ на теорію «прогресса въ себѣ».

Г. Д—еву очень нравится письмо къ Дюфрессу, какъ яркое выраженіе свойственной Прудону безпощадности и свободы критики и презрѣнія къ «условной демократической фразеологіи». Но г. Д—евъ и вообще не страдаетъ по отношенію къ своему герою тѣмъ, что ему въ этомъ героѣ такъ сильно и не совсѣмъ основательно нравится—безпристрастіемъ. Онъ готовъ измолотить всѣхъ современниковъ Прудона (кромѣ Огюста Конта), чтобы сдѣлать изъ ихъ труповъ достойный пьедесталъ для знаменитаго соціалиста. Я, грѣшный профанъ, прочиталъ письмо къ Дюфрессу съ крайне непріятнымъ чувствомъ, да и вообще переписка Прудона нѣсколько ослабила мое уваженіе къ нему, какъ личности. Въ письмѣ къ Дюфрессу презрѣніе къ условной демократической фразеологіи—послѣднее дѣло; лучше сказать, дѣло совсѣмъ не въ немъ. Безъ сомнѣнія письмо дышетъ замѣчательной смѣлостью и мысли, и личнаго характера. Такъ откровенно говорить можетъ только человѣкъ сильнаго ума и глубоко убѣжденный. Прудонъ здѣсь, выражаясь его собственными словами, называетъ кошку кошкой и недобросовѣстность недобросовѣстностью. Послѣдуемъ же его благому примѣру и скажемъ, что самъ онъ былъ часто очень недобросовѣстенъ. Сама по себѣ теорія «прогресса въ себѣ» и очень разумна, и была во Франціи сороковыхъ годовъ вполнѣ умѣстна. Ждать, что земной рай, нарисованный со всѣми мельчайшими подробностями, осуществится завтра, значитъ или имѣть очень скромныя, очень жалкія представленія о земномъ раѣ, или не имѣть самыхъ элементарныхъ понятій о томъ, какъ идутъ дѣла на землѣ. На такое ожиданіе способны только увлеченіе, которое несетъ извиненіе въ самомъ себѣ, невѣжество или барство, желающее пожинать, не сѣя, и ѣсть рябчиковъ, не жаря ихъ. Поэтому мысль о непоколебимости принциповъ при необходимости согласовать ихъ практическое приложеніе съ обстоятельствами времени и мѣста—глубоко вѣрна, хотя и представляетъ ту опасность, что за нее могутъ ухватиться негодяи и трусы. Но съ этимъ ужъ ничего не подѣлаешь. Самому же Прудону вовсе не предстояли тѣ ужасныя дилеммы, которыя онъ съ такимъ задоромъ ставилъ передъ Дюфрессомъ. Разъ заявлена доктрина «прогресса въ себѣ», можетъ-ли быть заподозрѣно въ недобросовѣстности такое напримѣръ разсужденіе: я требую полнѣйшей, безусловной терпимости, но такъ какъ католицизмъ есть первый и злѣйшій врагъ ея, то во имя терпимости я буду преслѣдовать его «вплоть до уничтоженія»? или: «я требую полной самостоятельности самыхъ дробныхъ общественныхъ единицъ, какова община, но такъ какъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ самостоятельность общины можетъ быть поддержана только вмѣшательствомъ центральной, государственной власти, то я призываю эту власть»? Конечно могутъ представиться многочисленные случаи, въ которыхъ согласованіе непоколебимаго принципа съ жизненною практикой будетъ очень трудно; возможны тутъ разныя ошибки въ разсчетѣ, но объ недобросовѣстности не можетъ быть и рѣчи. Прудонъ это очень хорошо понималъ и потому-то и систематизировалъ рекомендуемый имъ образъ дѣйствія, сложилъ его элементы въ точно формулированную теорію. Но вотъ гдѣ его недобросовѣстность. Въ полемикѣ напримѣръ съ Луи Бланомъ онъ плохо различалъ принципъ и его осуществленіе, цѣль и средства. Вмѣсто того чтобы держаться своего правила, называть кошку кошкой и стоять на томъ, что будь, дескать, я на вашемъ мѣстѣ члена временнаго правительства, я бы не національныя мастерскія заводилъ, а дѣлалъ бы то-то и то-то—вмѣсто этого онъ громилъ «гувернаментализмъ» Луи Блана и щеголялъ своей «анархіей». Между тѣмъ онъ очень хорошо понималъ, что его анархія есть только маякъ, отдаленный возможный результатъ ряда дѣйствій, которымъ онъ самъ готовъ былъ при-

дать нѣкоторый «гувернаментальный» характеръ. Какъ видно изъ письма къ Дюфрессу, онъ имѣлъ въ мысляхъ возможность занять постъ президента республики и не отбрыкивался отъ этой возможности, а заносилъ ее въ счетъ своихъ соображеній. Въ этомъ нѣтъ ничего достойнаго порицанія. Занявъ постъ президента, онъ сталъ бы по собственному сознанію дѣйствовать тѣми же пріемами и способами, какъ Луи Бланъ и всякое другое правительство, хотя и направлялъ бы ихъ иначе. И тутъ опять-таки нѣтъ ничего худого или даже противорѣчащаго *его* идеѣ анархіи. Но громить при этомъ то или другое правительство не за то, что оно плохо распоряжается, а за то, что оно вообще распоряжается, — это конечно недобросовѣстно.

Достойно вниманія, что анархиста Прудона постоянно тянуло къ правительству, какъ видно изъ множества мѣстъ его переписки. Такъ еще въ 1842 г., сообщая другу своему Бергману о задуманномъ имъ сочиненіи, онъ прибавляетъ: «ты быть можетъ не удивишься моему предсказанію, что черезъ два года я весь, со всѣмъ моимъ добромъ (avec armes et bagages) перейду къ правительству». По волѣ судьбы однако тотчасъ же вслѣдъ за этимъ письмомъ противъ него было возбуждено судебное преслѣдованіе за третій мемуаръ о собственности. Онъ былъ искренно пораженъ этою неожиданностью, но все-таки послалъ министру Дюшателю свои сочиненія и объяснительную записку. Бергману онъ писалъ по этому поводу: «Надѣюсь, что министръ приметъ благосклонно мои идеи, тѣмъ болѣе, что я объясняю ему (ты это поймешь), какъ самыя радикальныя теоріи могутъ быть обращены въ пользу правительства. Въ самомъ дѣлѣ, если въ обществѣ не должно происходить ни замѣщенія, ни перерыва, то каждая теорія должна доказать, что она необходимо вытекаетъ изъ существующей, о сохраненіи которой она слѣдовательно должна, обязана заботиться до тѣхъ поръ, пока не начнетъ дѣйствовать сама». Иногда впрочемъ на него нападаютъ и сомнѣнія такого рода: «Не смѣю еще надѣяться на то, что правительство пойметъ достоинство моихъ изслѣдованій». Но это рѣдко. Бо́льшею частью Прудонъ надѣется и ждетъ: «Мнѣ удается въ одно и то-же время быть самымъ крайнимъ реформаторомъ эпохи и пользоваться протекціей власти» (1842); «вопреки всеобщей ненависти у меня всегда есть какой-нибудь министръ, который при случаѣ можетъ помочь мнѣ» (1848). *Въ* 1849, *сидя въ тюрьмѣ*, онъ пишетъ Гильомену: «Я долженъ извѣстить васъ о большомъ дѣлѣ, затѣянномъ между С. Пелажи (тюрьма) и Елисейскимъ дворцомъ. Луи Бонапартъ долженъ ни больше, ни меньше, какъ сдѣлаться компаньономъ «народнаго банка». Я доставлю публикаціи, статуты и т. д.; дѣло пойдетъ на разсмотрѣніе, и быть можетъ правительство или президентъ, не знаю ужъ кто изъ нихъ, сдѣлаетъ для насъ то, что̀ сдѣлано было для cités ouvrières: возьметъ на себя починъ акціонерной компаніи посредствомъ крупной подписки». Будучи переведенъ въ крѣпость Дюлленсъ, гдѣ были заключены Распайль, Альберъ, Барбесъ, Бланки и другіе, онъ пишетъ: «Право, не знаю, почему я очутился со всѣми этими гражданами, которыхъ я необычайно уважаю... Я—новый человѣкъ, человѣкъ полемики, а не баррикадъ,—человѣкъ, который могъ бы достичь своей цѣли, обѣдая каждый день съ префектомъ полиціи». Событія 2 декабря и затѣмъ вторая имперія не только не ослабили этого оригинальнаго убѣжденія Прудона—дѣйствовать заодно съ правительствомъ,—а даже поддали ему жару: «я разсчитываю черезъ два-три мѣсяца водрузить ни больше, ни меньше, какъ знамя соціальной республики. Случай представляется великолѣпный, успѣхъ почти вѣрный. Какъ только Бонапартъ сдѣлается императоромъ, я примусь разсуждать о совершившемся фактѣ (ни *за*, ни *противъ*); я буду обсуждать миссію Бонапарта и раціонально подталкивать его ко всѣмъ революціоннымъ предпріятіямъ, которыя въ данномъ случаѣ должны конечно усилить его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ подвигать впередъ и демократію». Въ другомъ письмѣ читаемъ: «Разсчитываю я выпустить втеченіе іюня и іюля три изданія къ ряду, занять положеніе на совершенно новой почвѣ и заставить Елисейскій дворецъ посмотрѣть на союзъ съ республиканцами, какъ на вещь до такой степени желательную, логическую, настоятельно необходимую, что имъ останется только ожидать ее съ достоинствомъ... Слѣдуетъ искуснымъ маневромъ, высшими философскими соображеніями, поставить партію, находящуюся нынче въ изгнаніи, такъ высоко, не взирая на ея ошибки, чтобы всякая монархическая раставрація показалась чудовищной и чтобы правительство 2-го декабря, слѣдуя логикѣ своего происхожденія, своего предназначенія, своего положенія, было въ постоянной необходимости искать соглашенія. Словомъ сказать: надо сдѣлать изъ революціи единственную программу, возможную для Луи Наполеона; надо, чтобы онъ устремился къ ней для своего счастія и спасенія; надо широко растворить ему эту дверь будущности, популярности, безсмертія; надо закрыть ему всѣ другіе исходы, обрѣзать малѣйшую вѣтвь спасенія, отнять всякій предлогъ, лишить всякой надежды. Надо, говорю я, доказать ему, доказать

всѣмъ интеллигенціямъ, что внѣ революціи они пропали, и доказывая это, добиться того, чтобы оно такъ случилось».

Я нарочно привелъ образцы (ихъ много въ письмахъ Прудона) и совершенно искренней увѣренности, что его идеи станутъ руководить правительствомъ, и хитрыхъ макіавелическихъ комбинацій, задуманныхъ на погибель правительства. И тѣ, и другія проникнуты крайнимъ простодушіемъ, не лишеннымъ своеобразнаго комическаго элемента, особенно если вспомнить, что на дѣлѣ Прудонъ не только никогда ни такъ, ни иначе не проникалъ въ правительственныя сферы, но испыталъ всѣ удовольствія тюрьмы и изгнанія. Трудно даже понять, какъ могъ человѣкъ несомнѣнно сильнаго, огромнаго ума до такой степени плохо оріентироваться въ комбинаціяхъ практической жизни. Но я не на эту сторону дѣла хочу обратить вниманіе читателя. Она свидѣтельствуетъ только о наивности Прудона и его глубокой вѣрѣ въ свои идеи,—вѣрѣ, не допускающей даже и тѣни сомнѣнія, что какъ только извѣстныя «высшія философскія соображенія» будутъ предъявлены Дюшателю или Наполеону,—такъ Наполеонъ и Дюшатель немедленно раскроютъ Прудону свои объятія. Это та самая вѣра, которая побуждала Прудона совершенно искренно писать одному другу: «моли Бога, чтобы я нашелъ издателя (для перваго мемуара о собственности),—въ этомъ можетъ быть спасеніе Франціи!». Если вы посмотрите на упованія Прудона съ этой точки зрѣнія, то ихъ комическій характеръ нѣсколько поблѣднѣетъ, и вы припомните можетъ быть извѣстную поговорку, что между смѣшнымъ и великимъ всего одинъ шагъ разстоянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы невольно поражаетесь тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, не только въ первомъ же своемъ зрѣломъ произведеніи объявившій себя «анархистомъ», но всегда преслѣдовавшій въ другихъ попытки правительственной иниціативы, самъ постоянно тяготѣлъ (хотя и платонически) къ правительству. Если мы даже выкинемъ изъ счета, ради его двусмысленности, планъ подкопа подъ Наполеона III, то многія другія упованія Прудона ясно показываютъ, что онъ совершенно искренно и вполнѣ честно разсчитывалъ дѣйствовать правительственными путями. Оно, какъ мы видѣли, и не противорѣчитъ его собственной доктринѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ противорѣчили и этой доктринѣ, и элементарнымъ понятіямъ о нравственности его нападки на другихъ за то, чѣмъ онъ былъ такъ грѣшенъ самъ. И въ полемикѣ его, всегда страстной и часто очень искусной, это противорѣчіе выражалось многими некрасивыми чертами. Самая умѣренная характеристика его образа дѣйствій въ этомъ отношеніи можетъ быть выражена словомъ «плутоватость»,—словомъ, которое онъ въ одномъ письмѣ самъ употребляетъ по отношенію къ себѣ. Но если «плутоватый» человѣкъ, сознавая свою плутоватость и сознательно пуская ее въ ходъ, примется лавировать по самымъ опаснымъ и бурнымъ пространствамъ грязнаго житейскаго моря, то становится «за человѣка страшно», за его нравственную чистоту, потому что замараться вѣдь такъ легко. И Прудонъ замарался. До сихъ поръ мы видѣли только наивность его платоническаго тяготѣнія къ правительственнымъ сферамъ и полнѣйшее безкорыстіе, потому что во всѣхъ своихъ замыслахъ войти въ правительство искреннимъ или коварнымъ другомъ онъ о себѣ не думалъ, ничего лично для себя не добивался. Но онъ все-таки стоялъ на слишкомъ скользкой почвѣ и поскользнулся, и не разъ. Къ сожалѣнію письма, относящіяся къ подобнымъ случаямъ, мнѣ въ оригиналѣ неизвѣстны, а г. Д—евъ скупъ на выдержки изъ нихъ, вопервыхъ по характеру своей задачи, а вовторыхъ надо думать потому, что щадитъ своего героя. Но тѣмъ бо́льшую силу получаютъ нѣкоторыя отрицательныя или неодобрительныя сужденія г. Д—ева. Въ 1850 г., сидя въ тюрьмѣ, Прудонъ продолжалъ руководить оттуда своей газетой «Voix du Peuple». Правительство Луи-Наполеона подозрѣвало его во всѣхъ рѣзкихъ статьяхъ и потому перевело его въ другую тюрьму и стѣснило его въ выходѣ и пріемѣ друзей. Тогда онъ написалъ префекту полиціи письмо, въ которомъ просилъ прежнихъ послабленій. Онъ напоминаетъ префекту, что его направленіе никогда не было разрушительнымъ, что на возмущеніе 13-го іюня онъ не переставалъ смотрѣть, какъ на дѣло противозаконное, такъ какъ «право возстанія погашается учрежденіемъ всеобщей подачи голосовъ». Далѣе онъ указываетъ на свою постоянную примирительную роль, на неустанное желаніе согласить интересы классовъ, для чего собственно онъ и напечаталъ свои «Признанія революціонера», и наконецъ на свою безпощадную критику всѣхъ соціалистскихъ утопій, ссылаясь даже на толки, ходившіе на биржѣ, что онъ, Прудонъ, содѣйствовалъ порядку и возстановленію нормальнаго хода дѣлъ (!) своими нападками на утопистовъ и либерализмомъ своихъ стремленій. «Это письмо, вынужденъ замѣтить г. Д—евъ:—вызвано конечно тяжелой дѣйствительностью, но Прудону все-таки не слѣдовало писать его съ такими доводами». Вмѣстѣ съ тѣмъ Прудонъ извѣщалъ префекта, что онъ отказывается отъ всякаго участія въ «Voix du Peuple», а редакцію увѣщевалъ поддержать его обращеніе къ префекту «умѣ-

ренностью и примирительнымъ духомъ». Изъ другого письма къ префекту видно, что первое подѣйствовало: Прудонъ «усердно благодаритъ» префекта, но проситъ перевести его въ старую тюрьму. Не приводя изъ этого письма ни одной подлинной строки, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Письмо это, даже и на совершенно объективный взглядъ, не производитъ хорошаго впечатлѣнія, хотя вполнѣ вѣрно, что такой человѣкъ, какъ Прудонъ, никогда не вдавался въ абсолютизмъ и нетерпимость (?). Но онъ ненавидѣлъ и презиралъ правительство президента, зналъ прекрасно, чего ждать отъ его клики, и находилъ возможнымъ очень мягко переписываться съ префектомъ полиціи». Есть и еще одно любопытное письмо 1850 г., изъ котораго г. Д—евъ не дѣлаетъ никакихъ выдержекъ, а только изображаетъ производимое этимъ письмомъ впечатлѣніе на читателя. Приведя изъ дружескаго письма Прудона рѣзко презрительное выраженіе о Наполеонѣ, г. Д—евъ продолжаетъ: «тѣмъ непріятнѣе наткнуться въ концѣ третьяго тома на письмо къ президенту республики отъ 28-го ноября, съ просьбою объ облегченіи участи, хотя письмо это и было потомъ уничтожено, какъ слишкомъ *личное*, по замѣчанію самого автора, находящемуся подъ текстомъ. Письмо это, названное «петиціей», было замѣнено ходатайствомъ объ общей амнистіи. Во всякомъ случаѣ врядъ ли слѣдовало Прудону обращаться къ человѣку, замышлявшему 2-е декабря, во имя солидарности, объединяющей ихъ, какъ враговъ старыхъ партій». Есть еще, тоже нехорошія, письма Прудона къ Plon-Plon, т. е. къ принцу Наполеону, писанныя уже послѣ 2-го декабря. Собственноручное письмо такого ничтожества, какъ этотъ проходимецъ, *даже не къ нему адресованное*, а только касающееся его, Прудонъ «сохраняетъ съ гордостью». Онъ говоритъ о «славѣ имени» и «чести дома» Бонапарта.

Къ такимъ некрасивымъ результатамъ пришелъ Прудонъ, спускаясь съ высоты теоріи «прогресса въ себѣ» по наклонной плоскости своей «плутоватости». Что дѣло здѣсь не въ теоріи, а въ личности Прудона—это очевидно. Что поведеніе его далеко отъ рыцарства, это опять-таки—фактъ, на какомъ бы языкѣ вы его ни разсказали, а не только на языкѣ «условной демократической фразеологіи». Я не обвинительный актъ пишу противъ Прудона. Да и очень бы это жалкое дѣло было. Я просто ищу въ его перепискѣ его портрета и не могу не останавливаться преимущественно на такихъ чертахъ, которыя для меня новы, и, смѣю думать, не для одного меня, а для громаднаго большинства читающихъ и думающихъ русскихъ и европейцевъ, привыкшихъ связывать съ личностью Прудона представленіе о чемъ-то безусловно чистомъ, свободномъ отъ малѣйшаго пятна и упрека. Совсѣмъ не весело подбирать эти тусклыя черты, потому что, подбирая ихъ, приходится отрывать нѣчто отъ сердца. Это—не фраза. Со мной согласится всякій, когда-нибудь увлекавшійся какимъ-нибудь историческимъ или живымъ образомъ, именно образомъ, свѣтлою личностью, а не только ея идеями. Дѣло извѣстное, что и на солнцѣ есть пятна, но, какъ ни элементарна эта истина, какъ ни часто она подтверждается, а все-таки нелѣпая природа человѣка беретъ свое и не позволяетъ сказать безъ боли и печали: «и ты, Брутъ?!». Я долженъ признаться, что личность Прудона стояла для меня скорѣе выше, чѣмъ ниже его идей. Сочиненія его поучительны въ совсѣмъ особенномъ смыслѣ. Если вычесть у Прудона то, что въ немъ есть общаго съ другими соціалистами, то, сравнительно говоря, у него мало чему можно научиться въ прямомъ смыслѣ слова, т. е. пріобрѣсти непосредственно отъ него. Но чтеніе его сочиненій дѣйствуетъ замѣчательно возбудительнымъ образомъ, какъ ферментъ. Каждая его книга поднимаетъ въ читателѣ цѣлый рядъ вопросовъ, которые требуютъ отвѣтовъ, цѣлый рядъ мыслей, которыя вторгаются въ вашъ умственный запасъ, требуютъ себѣ въ немъ мѣста, раздвигаютъ и тормошатъ своихъ сосѣдей, требуютъ отъ васъ пересмотра, критики и самокритики. Сравните напримѣръ «Капиталъ» Маркса съ «Системой экономическихъ противорѣчій». У Маркса вы нѣчто узнали, да такъ узнали, какъ будто извѣстныя свѣдѣнія приколочены у васъ въ мозгу двухъ-вершковыми гвоздями. Подъ этими страшными гвоздями ничто не поколеблется, ничто не шелохнется. «Система экономическихъ противорѣчій» напротивъ, сравнительно опять-таки говоря, даетъ вамъ мало положительнаго знанія, умственнаго успокоенія. Но она дорога именно тѣмъ состояніемъ умственнаго безпокойства, броженія, которое производитъ. Это объясняется обаяніемъ личности писателя, тѣмъ бурнымъ клокотаніемъ жизни, которымъ она полна и которое брызжетъ изъ каждой строки, то въ видѣ истинно громоноснаго гнѣва, то въ видѣ пламеннаго призыва къ чему-то, не всегда опредѣленному, но всегда высокому и свѣтлому, то въ видѣ почти безумной смѣлости отрицанія и критики. Въ разговорѣ съ однимъ французскимъ соціалистомъ меня поразила его фраза: «nous sommes presque tous proudhonniens», мы почти всѣ—продунисты. Когда я сталъ добиваться подробностей, то узналъ, что собесѣдникъ мой во-первыхъ придаетъ крайне слабое значеніе идеѣ прудоновскаго банка, единственнаго практическаго, поло-

жительнаго результата дѣятельности Прудона; а во-вторыхъ признаетъ завѣтную мысль Прудона о сочетаніи силъ буржуазіи и рабочаго класса—пережитой, оставленной за флагомъ. Что́ же остается? Остается идея личности, одинаково не мирящаяся ни съ необузданностью мелкаго эгоизма, систематизированнаго въ ученіи экономистовъ, ни съ планами фаланстеріанцевъ, икарійцевъ и т. п., замыкающими личность въ тѣсныя и фантастическія рамки. Съ этой точки зрѣнія значеніе Прудона для Франціи дѣйствительно громадно въ воспитательномъ смыслѣ. Но воспитаніе это производилось исключительно тѣми шпорами, которыя Прудонъ неустанно и безжалостно давалъ личности въ своихъ сочиненіяхъ, иначе сказать, собственной личностью Прудона. Та же мысль о связи личности Прудона съ его идеями о личности очень хорошо (но теперь уже не совсѣмъ вѣрно) выражена въ брошюрѣ Жуковскаго «Прудонъ и Луи Бланъ» (1866 г.): «Онъ выдѣлялъ себя не во имя новой какой-либо партіи, новой коллективной силы единомышленниковъ, которой бы искалъ и на которую думалъ бы опираться. Нѣтъ, у него никогда не было ни школы, ни кружка, ни партіи, и онъ весьма далекъ былъ отъ желанія организовать подобную партію... Весь протестъ его окружающему заключался въ его собственной личности; на однихъ своихъ плечахъ онъ хотѣлъ вынести всю войну, которую вызывалъ своимъ отрицаніемъ... Личность и прежде всего личность стояла для него на первомъ планѣ; въ этомъ началѣ личности видѣлъ онъ всю силу... Въ силу такого взгляда никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью, къ половиннымъ сдѣлкамъ, уступкамъ и компромиссамъ; безукоризненность личной дѣятельности онъ ставилъ въ первый законъ политической и гражданской дѣятельности, самую личность, если хотите, ставилъ поэтому выше дѣла... Ту идеальную чистоту личности, которую идеалисты проповѣдывали только на словахъ, онъ хотѣлъ сдѣлать закономъ самаго дѣла... Съ рѣдкой послѣдовательностью онъ хотѣлъ отстоять право и чистоту личности во всѣхъ сферахъ ея дѣятельности и во всѣхъ положеніяхъ. Вотъ почему онъ остался столь же бѣденъ деньгами, какъ немногіе друзья его и единомышленники». Въ этихъ сочувственныхъ словахъ выражено не личное мнѣніе Жуковскаго, а почти общее понятіе, къ которому склонялись и заклятые враги Прудона. И вдругъ—плутоватость! Сама по себѣ плутоватость—слишкомъ обычное и неважное явленіе, чтобы ею возмущаться. Но плутоватость въ Прудонѣ и плутоватость, доходящая до похвальбы передъ Наполеономъ, что, дескать, на биржѣ толкуютъ, что я способствовалъ возстановленію порядка и нормальнаго хода дѣлъ, т. е. подготовленію второй имперіи!.. Г. Д—евъ неоднократно съ презрѣніемъ отзывается о моральной оцѣнкѣ фактовъ, доставленныхъ перепиской Прудона. Прежде всего, говоритъ онъ,—философія, исторія философскаго развитія. Полагаю, что Прудонъ первый не согласился бы встать на такую точку зрѣнія, да и г. Д—евъ далеко не вполнѣ на ней удержался, что́ очень понятно. Конечно переписка Прудона служитъ хорошимъ подспорьемъ для изслѣдованія процесса его философскаго развитія, но можно, собственно говоря, обойтись довольно удобно и безъ нея. Возьмите сочиненія Прудона, расположите ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, изслѣдуйте и освѣщайте процессъ развитія съ точки зрѣнія Конта или какой угодно другой. Дѣйствительно, для исторіи философскаго развитія Прудона переписка не даетъ ничего существенно новаго, ничего такого, чего нельзя бы было отыскать въ его сочиненіяхъ, но она незамѣнима для характеристики личности и представляетъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно новые и неожиданные матеріалы. Всѣ были напримѣръ увѣрены, что Прудонъ не имѣлъ и не хотѣлъ имѣть партіи, на которую разсчитывалъ бы опереться. Оказывается, что это неправда. Партіи онъ дѣйствительно не имѣлъ: онъ имѣлъ только «кружо́къ», очень небольшой, за который считалъ себя однако «нравственно отвѣтственнымъ», какъ онъ писалъ префекту полиціи. Но онъ *хотѣлъ* имѣть партію, какъ видно изъ многихъ его писемъ. Всѣ были увѣрены, что онъ мечталъ провести въ жизнь свои идеи единственно на своихъ собственныхъ плечахъ. Оказывается, что это неправда, потому что онъ разсчитывалъ и на плечи Дюшателя и разныхъ другихъ министровъ. Всѣ были наконецъ увѣрены, что «никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благой цѣлью». И это неправда, потому что въ перепискѣ встрѣчаются прямые совѣты выть съ волками по волчьи, а планъ подкопа подъ Наполеона III свидѣтельствуетъ, что интрига и оправданіе поступковъ благою цѣлью были Прудону не совсѣмъ чужды. Ниже я разскажу еще одинъ подходящій эпизодъ изъ его частной жизни.

Но каковы бы ни были пятна на солнцѣ, оно остается солнцемъ. Лично Прудонъ былъ человѣкъ плутоватый, это несомнѣнно, но самъ онъ сильно преувеличивалъ свою плутоватость и способность къ интригѣ. Въ сущности у него былъ только позывъ къ ней, а способности не было вовсе. Плутоватость его достигла предположенныхъ цѣлей только въ полемикѣ, въ которой онъ часто далеко не добросовѣстно, но по крайней мѣрѣ внѣшнимъ обра-

зомъ успѣшно вывертывался изъ затруднительныхъ положеній. На всѣхъ остальныхъ пунктахъ плутоватость привела къ нулю, если не къ отрицательной величинѣ. Факты говорятъ сами за себя: увѣреніе, что онъ можетъ дѣлать свое дѣло, каждый день обѣдая съ префектомъ полиціи, написано въ тюрьмѣ; вслѣдъ за твердо выраженнымъ намѣреніемъ «перейти со всѣмъ багажемъ въ правительство», какъ мы видѣли, началось судебное преслѣдованіе Прудона,—это, если хотите, черты высокаго комизма. Что же касается до облегченія тюремнаго режима, добытаго плутоватостью, то оно меньше, чѣмъ нуль, потому что облегченіе было ничтожно, а честное имя Прудона компрометтировано. Коварные замыслы противъ правительства Наполеона III поражаютъ своей фантастичностью, и черезъ два-три года послѣ ихъ изложенія Прудонъ чествуетъ прихвостня императора,—принца Наполеона. Не меньше можетъ быть всякаго грѣшнаго потомка грѣшныхъ прародителей Адама и Евы, Прудонъ былъ не прочь и отъ власти и богатства, и отъ интриги и оправданія поступковъ благою цѣлью. Но какъ-то всегда такъ выходило, что либо замыселъ, несмотря на весь умъ Прудона, оказывался ребяческимъ, либо онъ самъ отказывался напримѣръ отъ денегъ, когда ихъ могъ получить совершенно безобиднымъ образомъ. Онъ хотѣлъ и не хотѣлъ. Благодаря бѣдности человѣческаго языка, нельзя выразиться яснѣе, а между тѣмъ это противорѣчіе всѣмъ понятно, потому что оно довольно обыкновенно. Власти и богатства Прудонъ, надо замѣтить, никогда не добивался, какъ своихъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей, но все-таки думалъ о нихъ. Когда вслѣдствіе письма его къ Наполеону было снято запрещеніе съ его книги, онъ былъ очень обрадованъ и писалъ одному другу, что собирается воевать съ клерикалами и консерваторами, надѣется сразу заработать 30,000 франковъ своими изданіями и стать во главѣ настоящей революціонной партіи. Мысль заняться какимъ-нибудь нелитературнымъ практическимъ доходнымъ предпріятіемъ очень часто занимала Прудона. Между прочимъ въ 1852 году онъ собирался пустить въ ходъ проектъ судоходства между Марселью и Ріо-Жанейро. Сообщивъ это свѣдѣніе, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Пикантно при этомъ то, что, въ ожиданіи соціальныхъ переворотовъ, Прудонъ каждый разъ собирается дѣйствовать буржуазными средствами: ловкостью, секретомъ и т. д.». Соотвѣтственныхъ фактовъ г. Д—евъ не приводитъ. Въ томъ же 1852 году Прудонъ писалъ: «Почему мнѣ не двадцать пять лѣтъ вмѣсто сорока четырехъ! Десяти лѣтъ довольно бы мнѣ было, чтобы составить состояніе, безъ котораго человѣкъ съ идеями всегда лишенъ солидности и кредита. Тогда мы могли бы попытать кое-что и вступить въ равныя сношенія съ власть имѣющими... Теперь же я все-таки презрѣнный писака, недостойный вниманія ни со стороны республиканской буржуазіи, ни со стороны буржуазіи бонапартистской». Въ слѣдующемъ году онъ былъ сильно занятъ проектомъ желѣзной дороги изъ Безансона въ Мюльгаузенъ. Въ чемъ состояло его участіе въ этомъ дѣлѣ, изъ изложенія г. Д—ева не видно. Во всякомъ случаѣ «онъ мечталъ, еслибы предпріятіе это состоялось, получить отъ концессіонера 500,000 франковъ на возобновленіе своего *народнаго банка*». Дѣло это однако лопнуло, потому что концессія была дана не патронамъ Прудона, а Перейрѣ. Такихъ неудачъ въ жизни Прудона было не мало, и становится наконецъ интереснымъ, почему же замѣчательноумный, талантливый и извѣстный человѣкъ, желающій вдобавокъ добиться извѣстнаго матеріальнаго благосостоянія, не получаетъ его? Что Прудонъ никогда его не получилъ, это читатель конечно знаетъ. Всѣмъ извѣстно, что Прудонъ оставался всю жизнь бѣднякомъ, но до какой степени бѣднякомъ! Издавъ уже свои мемуары о собственности и работая надъ «Création de l'ordre, будучи уже слѣдовательно знаменитостью, сочиненія которой переводились на иностранные языки, онъ писалъ матери: «Отдайте зачинить мои старые башмаки, которые вы должны были получить съ дилижансомъ изъ Пема». Гораздо позже онъ писалъ, что удовольствовался бы 4 или даже 3,000 франковъ въ годъ. «Писать, еще писать и всегда писать! вотъ моя бѣда: кто выведетъ меня изъ этого ада?»—восклицаетъ онъ въ 1852 г., измученный подобной работой. Можно подумать, что онъ былъ просто плохой дѣлецъ, такъ же дурно устанавливавшій въ практику свои промышленные проекты, какъ дурно оріентировался въ политической практикѣ, когда разсчитывалъ напримѣръ опереться на Дюшателя. Оно по всей вѣроятности отчасти такъ и было. Но былъ въ его жизни по крайней мѣрѣ одинъ такой случай, когда онъ могъ сразу получить порядочный кушъ, и очень любопытно видѣть, какъ онъ съ этимъ случаемъ распорядился. Когда дѣло безансонско-мюльгаузенской желѣзной дороги для него лопнуло, министръ финансовъ Мань и выбранный концессіонеръ Перейра нашли, что Прудону слѣдуетъ заплатить 40,000 фр. «отступного», какъ говоритъ г. Д—евъ. Прудонъ отказался. «Я принялъ участіе въ хлопотахъ,—писалъ онъ по этому поводу,—и съ цѣлью политической, и въ интересѣ принципа. Принципъ этотъ: конкуренція, которую я желалъ возбудить между желѣзными путями вѣтвью отъ Безансона до Мюльгаузена. Императоръ рѣшилъ иначе; мнѣ нечего брать

вознагражденіе за принципъ. Деньги и идея—двѣ несоизмѣримыя величины». Сколько мнѣ извѣстно, Прудонъ видѣлъ тутъ какую-то борьбу между принципами сенъ-симонистовъ, представителемъ которыхъ въ этомъ дѣлѣ считалъ Перейру, и своими. Изъ 40,000 фр. ему повидимому слѣдовала только извѣстная часть, которая для него все-таки должна была составлять изрядную сумму. По крайней мѣрѣ онъ писалъ нѣсколько позже: «Въ первый разъ подвергся я денежному искушенію; долженъ однако прибавить, что со мной поступили съ добрымъ намѣреніемъ и деликатностью».

Вотъ и разбирайте человѣческое сердце... Г. Д—евъ говоритъ, что планы Прудона дѣйствовать хитростью, ловкостью, подвохами и подходами—«пикантны». Можетъ быть и пикантны, но я рѣшительно не понимаю, какъ можно просто вкушать и смаковать эту пикантность, не пытаясь дать ей объясненіе. Безъ такого объясненія вся переписка Прудона представляетъ только безпорядочную кучу писемъ, которая даже интереса большого не имѣетъ. Потому что, повторяю, исторія философскаго развитія Прудона можетъ быть выслѣжена и по его сочиненіямъ, а для познанія всякаго рода пикантностей достаточно голаго заявленія, что былъ, дескать, человѣкъ большого ума и высокой честности, но дѣлалъ глупости и гадости.

Г. Д—евъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Прудонъ оставался до конца жизни французскимъ мужикомъ. Я думаю, что это основаніе всей личности Прудона и всѣхъ его сочиненій. По отзывамъ всѣхъ, имѣвшихъ случай узнать французскихъ крестьянъ, исторія сдѣлала ихъ людьми, что называется, себѣ на умѣ, самостоятельными, упорными, упрямыми, трудолюбивыми, воздержными и бережливыми до скупости, жесткими эгоистами. Проникающее ихъ личное начало рѣзче всего выражается въ необыкновенной страсти къ собственности. Французскій крестьянинъ бьется какъ рыба объ ледъ, работаетъ какъ волъ, отказываетъ себѣ во всемъ, чтобы накопить деньжонокъ и округлить свой наслѣдственный участокъ земли, или же онъ съ этой цѣлью занимаетъ за страшные проценты. Сегодня онъ умеръ, и сколоченный съ невѣроятными усиліями клочокъ земли дробится поровну между его сыновьями, изъ которыхъ каждый начинаетъ дѣло округленія вновь, если только его не перетянутъ къ себѣ соблазны городской жизни. Въ семьѣ французскій крестьянинъ—деспотъ и смотритъ на жену свысока, какъ на существо несравненно низшее. Не только общественнаго хозяйства, хотя бы оно не выходило изъ предѣловъ семейнаго, но и общественной жизни онъ не знаетъ. Онъ поглощенъ своей личностью и только ближайшіе ея отпрыски, дѣти, ему близки. Мишле, такъ поэтически описавшій привязанность французскаго крестьянина къ «любовницѣ-землѣ», говоритъ: «Чтобы обладать нѣсколькими футами виноградника, женщина отнимаетъ грудь у своего ребенка и даетъ ее чужому. «Ты будешь жить или умрешь, мой сынъ, говоритъ отецъ, но если ты будешь жить, у тебя будетъ земля». Но это жестко, это нечестиво, скажете вы. Подумайте прежде. «У тебя будетъ земля», это значитъ: «Ты не будешь наемникомъ, котораго сегодня берутъ, а завтра гонятъ, ты не будешь рабомъ изъ-за дневного пропитанія, ты будешь свободенъ». Свободенъ! Великое слово, содержащее въ себѣ все человѣческое достоинство». («Le peuple», 58.) Но сыновья мужика, какъ уже сказано, никогда не останутся вмѣстѣ, каждый изъ нихъ опять-таки замкнется въ свою личную жизнь, къ которой причастны только его дѣти. Что касается религіозныхъ воззрѣній, то за вычетомъ нѣсколькихъ мѣстностей, гдѣ французскій крестьянинъ суевѣренъ, какъ въ средніе вѣка, и почти идолопоклонникъ, онъ, вообще говоря, — крайній скептикъ и человѣкъ равнодушный, индифферентный.

Представьте себѣ теперь, что изъ этой однородной массы выдѣлился человѣкъ громаднаго ума и пытливости—Прудонъ. Каковы бы ни были личныя особенности его ума и характера, но кровная связь съ милліонами людей, обладающихъ такою рѣзко опредѣленной физіономіей, должна была наложить на него свою наслѣдственную печать. Самъ Прудонъ очень хорошо понималъ и очень высоко цѣнилъ эту кровную связь. Онъ съ гордостью говорилъ о своихъ четырнадцати предкахъ-мужикахъ и съ этой же точки зрѣнія написаны многія прекрасныя страницы въ книгѣ «De la justice»: воспоминанія о смерти отца, котораго онъ глубоко уважалъ, о томъ времени, когда самъ онъ былъ пастухомъ и т. п. Нѣкоторыя наслѣдственно мужицкія черты остались въ Прудонѣ до конца его дней въ совершенно непереваренномъ, неизмѣненномъ его личнымъ развитіемъ видѣ. Таковы его отношенія къ женщинѣ. Они извѣстны. Переписка только подтверждаетъ, что и въ частной жизни онъ на этомъ пунктѣ былъ таковъ же, какъ и въ теоріи. Его отношенія къ женѣ были замѣчательно жестки. Описывая въ одномъ письмѣ ея опасную болѣзнь и ожидая ея смерти, онъ говоритъ только о непріятностяхъ положенія вдовца съ дѣтьми и о неизбѣжной вслѣдствіе этого неурядицѣ въ домашнихъ дѣлахъ. Очевидно, что его извѣстное положеніе, что «женщина—или хозяйка, или куртизанка», не было для него фразой, а это—характерная крестьянская мысль. Но ко-

нечно далеко не всѣ типическія мужицкія черты могли сохраниться съ такою полною неприкосновенностью. Въ большей части случаевъ онѣ должны были, сохраняя свой коренной характеръ, подвергнуться извѣстной переработкѣ, хотя бы уже потому, что Прудону приходилось сталкиваться съ такими вещами, которыя въ крестьянскомъ быту не имѣютъ мѣста.

Напримѣръ французскій мужикъ можетъ болѣе или менѣе хорошо, болѣе или менѣе дурно устраивать свои практическія дѣла, смотря по его ловкости, но онъ во всякомъ случаѣ прежде всего — практикъ и узкій практическій утилитаристъ. Эта черта въ основаніи своемъ досталась по наслѣдству и Прудону, но понятно въ преобразованномъ, такъ сказать, расширенномъ видѣ. Она выразилась его ненавистью ко всякой спеціальности для спеціальности. Искусство для искусства онъ называлъ проституціей, философію для философіи — «торговлей абсолютомъ»; такому же рѣзкому осужденію подвергались политика и экономія, какъ самостоятельныя, самодовлѣющія цѣли. Прудонъ не понималъ, какъ можно заниматься какой-нибудь спеціальностью для нея самой, а не для счастья человѣка или, какъ онъ говорилъ, для утвержденія справедливости. Въ книгѣ «De la justice» онъ сдѣлалъ даже намекъ на грандіозную теорію, въ силу которой справедливость должна была стать основаніемъ не только общественнаго устройства, а и всѣхъ міровыхъ процессовъ. Въ человѣческихъ же дѣлахъ онъ тѣмъ паче требовалъ служенія справедливости отъ всякой функціи, отъ всякой дѣятельности. Искусство, наука, философія, промышленный прогрессъ, политическія формы сами по себѣ для него ничего не значили. Это несомнѣнно та же практичность французскаго мужика, но поднятая на высшую ступень развитія. Прудонъ это очень хорошо понималъ. Въ одномъ своемъ сочиненіи онъ говоритъ напримѣръ, что «человѣку народа никогда бы не пришла въ голову такая нелѣпость, какъ декартовское: «я мыслю, слѣдовательно существую». Онъ хочетъ сказать, что для человѣка народа есть гораздо болѣе убѣдительное доказательство существованія—трудъ, дѣятельность вообще, лишь частная, спеціальная, слѣдовательно подчиненная форма которой есть мышленіе. Другія общія идеи Прудона, – тѣ, которымъ онъ оставался вѣренъ всю жизнь, столь же удобно приводятся въ связь съ духовнымъ наслѣдствомъ ряда поколѣній французскихъ крестьянъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ идея личности. Грубый эгоизмъ французскаго мужика, просвѣтленный работой геніальнаго ума, преобразился въ начало личнаго достоинства и личной свободы. Наиболѣе трудно поддающійся объясненію съ этой точки зрѣнія фактъ есть прудоновское отрицаніе собственности, на первый взглядъ такъ рѣзко противорѣчащее основной складкѣ французскаго крестьянства. Но это только на первый взглядъ. Прежде всего замѣтимъ, что Прудонъ, совершенно въ духѣ своей родной среды, рѣшительно отрицалъ собственность общинную. Въ силу тѣхъ же причинъ, которыя мѣшаютъ въ этой средѣ даже двумъ братьямъ вести общее хозяйство, Прудонъ всѣми силами боролся съ коммунизмомъ. Свободу и равенство Прудонъ понималъ и цѣнилъ, но третій членъ извѣстнаго девиза революціи—братство—былъ для него тарабарская грамота. Что же касается до его отрицанія собственности вообще, то это не болѣе, какъ діалектическій фокусъ. При употребленіи «критическаго орудія антиномій», отрицаніе очень часто оказывается и должно оказываться утвержденіемъ. Во всякомъ случаѣ критика Прудона ни малѣйше не грозила собственности французскихъ крестьянъ,—личной собственности, пріобрѣтенной трудомъ и передаваемой по наслѣдству. Мало того, его критика вполнѣ согласовалась съ этимъ порядкомъ вещей, систематизировала его, представляла лишь его расширеніе, развитіе и облагороженіе. Французскій крестьянинъ, грубый и узкій, надѣляетъ каждаго своего сына собственностью. Это – именно взглядъ Прудона, съ той разницей, что кругозоръ его былъ шире, обнималъ всѣхъ сыновей всѣхъ отцовъ, т. е. все человѣчество. Онъ хотѣлъ, какъ мы видѣли, universaliser собственность, а не выбросить ее за бортъ.

Еслибы у меня было достаточно времени и мѣста, я могъ бы провести это объясненіе и дальше, даже до многихъ мелкихъ подробностей жизни и дѣятельности Прудона. Но сказаннаго для меня достаточно. Читатель, надѣюсь, убѣдился, что Прудонъ былъ потомокъ своихъ предковъ. Это опредѣленіе можетъ показаться смѣшнымъ или страннымъ, но оно вѣрно выражаетъ мысль. Мы сейчасъ увидимъ человѣка, который не былъ потомкомъ своихъ предковъ, у котораго предковъ поэтому какъ бы не было. Прудонъ былъ въ совсѣмъ иномъ положеніи. Онъ представлялъ собой звено прямой, однородной цѣпи, нѣкоторымъ образомъ сосудъ, въ который влились чистые, несмѣшанные соки вѣковой исторіи. Отсюда его довѣріе къ будущему, не впадающее однако въ оптимизмъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ терпѣливое отношеніе къ этому будущему, не впадающее однако въ апатію и бездѣятельность. Отсюда такъ проникающая его всего идея «прогресса въ себѣ». Но что́ для насъ особенно важно, такъ это—вытекающая отсюда проч-

ность основныхъ вѣрованій и убѣжденій. Какова бы ни была степень плутоватости Прудона (лично ли ему принадлежавшей или тоже полученной по наслѣдству), но она или шла на службу основнымъ вѣрованіямъ, или, если отклонялась отъ нихъ, играла роль не важную и второстепенную. За плечами его лежала слишкомъ характерная и непрерывная исторія, чтобы онъ могъ высвободиться изъ-подъ ея ига. Это было впрочемъ «благое иго», потому что не отягощало, а облегчало ему жизнь. Если уже у него въ молодости сложились всѣ его главнѣйшія убѣжденія, то тѣмъ самымъ было обойдено множество ошибокъ, внутреннихъ противорѣчій и мукъ. То, что̀ въ массѣ французскихъ крестьянъ было инстинктомъ, въ личности Прудона выразилось сознаніемъ и системой. Сознаніе конечно должно было очищать, обтесывать грубость инстинктовъ, но все-таки имѣть въ нихъ свое основаніе. Вотъ почему Прудонъ оставался всегда вѣренъ и не могъ не оставаться вѣрнымъ идеямъ свободы, личной самостоятельности, труда и собственности. Вотъ почему онъ до такой степени глубоко вѣровалъ въ свои идеи, что полагалъ возможнымъ убѣдить любого министра «высшими философскими соображеніями». Въ сущности эти высшія соображенія были далеко не настолько убѣдительны и побѣдительны. Но самому Прудону они казались таковыми, потому что были результатомъ не его личной головной работы, а его плотью и кровью, унаслѣдованной отъ цѣлаго ряда предковъ, въ которыхъ тѣ же идеи пребывали въ видѣ инстинктовъ и неясныхъ позывовъ. При такихъ условіяхъ личные недостатки были почти безсильны.

Я никакъ не думалъ такъ долго останавливаться на Прудонѣ, потому что, по правдѣ сказать, хотѣлъ только оттѣнить имъ фигуру нашего Бѣлинскаго и затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ выводовъ. А оттѣняютъ другъ друга эти фигуры замѣчательно, потому что, при значительномъ сходствѣ по темпераменту, страстности, преданности идеѣ, логическому безстрашію, трудно найти двухъ людей, исторія внутренней жизни которыхъ была бы до такой степени различна. Это два антипода. Если въ Прудонѣ поражаетъ необычайная стойкость убѣжденій при нѣкоторой плутоватости характера, то въ Бѣлинскомъ, наоборотъ, поразительна рыцарски честная, святая натура рядомъ съ шатаніемъ и колебаніемъ принциповъ. Эта противоположность наводитъ русскаго человѣка на многія горькія, но и на многія утѣшительныя мысли.

Начать съ того, что, вмѣсто однородной, непрерывной характерной цѣпи предковъ Прудона, мы встрѣчаемъ на порогѣ жизни Бѣлинскаго слѣдующую мѣшанину: прадѣдъ неизвѣстенъ; дѣдъ — сельскій священникъ; отецъ—военный лекарь, пользующійся репутаціей вольнодумца и безбожника; мать—мелкая дворянка, владѣющая семьей крѣпостныхъ людей и малограмотная; отецъ въ 1831 году получаетъ чинъ коллежскаго асессора, дающій дворянство, причемъ, несмотря на все свое вольнодумство, заболѣваетъ «тщеславіемъ дворянства», какъ извѣщалъ Бѣлинскаго одинъ его родственникъ. Эта мѣшанина не представляетъ въ русской жизни ничего необыкновеннаго, исключительнаго. Весьма можетъ быть, что г. А., критикъ «Русскаго Вѣстника», крайне презрительно говорящій и о Бѣлинскомъ, и о его происхожденіи и обстановкѣ, самъ узрѣлъ свѣтъ при подобныхъ же условіяхъ. Это бываетъ. Но представьте себѣ, что изъ этой мѣшанины выдѣлился не г. А., а человѣкъ большого ума и пытливости и вдобавокъ съ страшнымъ, неподкупнымъ чувствомъ правды. Что̀ будетъ? Отвѣтъ даетъ біографія Бѣлинскаго. Разсказывать ее я, разумѣется, не буду, и остановлюсь только на нѣкоторыхъ ея пунктахъ.

Первымъ крупнымъ жизненнымъ шагомъ Бѣлинскаго была трагедія, которую онъ написалъ еще бывши студентомъ. Сюжетъ трагедіи былъ заимствованъ изъ крѣпостныхъ отношеній. Герой ея—незаконный сынъ помѣщика и его крѣпостной; трагедія изобилуетъ убійствами и романтическими ужасами, но въ основаніи своемъ взята изъ дѣйствительной жизни. Пыпинъ, ссылаясь на источники, говоритъ, что «именно впечатлѣнія этой жизни (помѣщичьяго произвола и крѣпостныхъ отношеній вообще), негодованіе къ этимъ возмутительнымъ явленіямъ, составлявшимъ «порядокъ вещей», именно и одушевляли его и дали содержаніе его трагедіи». Бѣлинскій возлагалъ большія надежды на свое произведеніе и въ авторскомъ, и въ денежномъ смыслѣ. Онъ разсчитывалъ напечатать трагедію, поставить ее на сцену и такимъ образомъ «откупиться отъ казны», т. е. выдти изъ казеннокоштныхъ студентовъ и жить на квартирѣ. Онъ потерпѣлъ полное фіаско. Товарищами трагедія одобрена не была, а цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета, нашелъ ее «безнравственной, безчестящей университетъ». Эта исторія способствовала исключенію Бѣлинскаго изъ университета. Много онъ послѣ того бѣдствовалъ, но наконецъ друзья устроили его вотъ какимъ образомъ. Въ Москвѣ жилъ одинъ богатый баринъ, имѣвшій страсть писать и печататься и извѣстный тогда подъ именемъ

Прутикова. Этому-то барину Лажечниковъ и рекомендовалъ Бѣлинскаго въ качествѣ домашняго секретаря, обязанность котораго состояла въ «исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ его превосходительства». Дальнѣйшую исторію Лажечниковъ разсказываетъ такъ: «Вскорѣ Бѣлинскій водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая летаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его превосходительства—музыкантша), располагаетъ огромной библіотекой, будто собственной, однимъ словомъ, катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать имъ приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ въ одно прекрасное утро Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязаннымъ въ носовой платокъ, и сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря».

Я потому напомнилъ этотъ довольно извѣстный и самъ по себѣ неважный эпизодъ изъ жизни Бѣлинскаго, что въ жизни Прудона имѣется внѣшнимъ образомъ совершенно параллельный фактъ. Такъ что сравненіе очень удобно и напрашивается само собой. Въ началѣ 1841 г. Прудонъ тоже поступилъ домашнимъ секретаремъ къ одному важному барину, занимавшемуся сочиненіемъ по уголовному праву. Обязанность Прудона состояла приблизительно въ томъ же, что̀ долженъ былъ дѣлать Бѣлинскій, но онъ посмотрѣлъ на свою роль совсѣмъ иначе. Онъ не только не бѣжалъ подобно Бѣлинскому, а задумалъ цѣлый коварный планъ эксплоатаціи патрона въ видахъ своихъ излюбленныхъ идей. Мысль эта его очень занимала, какъ видно изъ нѣсколькихъ писемъ, вошедшихъ въ первый томъ переписки, въ которыхъ онъ очень пространно развиваетъ эту тему. Онъ смѣется надъ своимъ патрономъ и разсчитываетъ заставить его плясать по своей дудкѣ, подсунувъ ему, подъ видомъ его идей, свои собственныя. Онъ хочетъ, поддакивая патрону, его аристократическимъ тенденціямъ, направить все сочиненіе извѣстнымъ образомъ. И когда сочиненіе явится и заслужитъ многочисленныя похвалы,—въ этомъ Прудонъ вполнѣ увѣренъ,—явится настоящій его авторъ, т. е. Прудонъ, и предложитъ номинальному автору нѣкоторые логическіе, неизбѣжные выводы изъ него. Патронъ долженъ будетъ принять ихъ, несмотря на все свое къ нимъ отвращеніе, или же признать себя одураченнымъ невѣждой. «Или онъ будетъ кричать: «да здравствуетъ равенство! долой собственность!» или я сдѣлаю изъ него осла... Надо обращаться съ людьми, какъ съ дѣтьми, золотить пилюли, надувать людей въ ихъ собственномъ интересѣ». «Я сдѣлаю скандалъ изъ этого сочиненія», пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. Никакого такого скандала Прудонъ не сдѣлалъ, и вообще весь этотъ коварный планъ далъ въ результатѣ такой же круглый нуль, какъ и всѣ другіе маккіавелическіе замыслы Прудона. Но дѣло не въ этомъ, а въ личностяхъ Прудона и Бѣлинскаго, которыхъ эти двѣ исторіи домашняго секретарства такъ хорошо обрисовываютъ и оттѣняютъ. Ничего подобнаго прудоновскимъ подвохамъ и подходамъ Бѣлинскій никогда въ мысляхъ не имѣлъ и не могъ имѣть. Самая характеристическая его черта есть глубоко, до наивности и ребячества правдивое отношеніе къ людямъ, къ принципамъ, къ фактамъ. Онъ былъ, можно сказать, сама правда, облеченная въ жалкую, слабую плоть. Если мы переберемъ всѣхъ многочисленныхъ и часто взаимно исключающихся боговъ, которымъ Бѣлинскій въ разное время страстно молился и приносилъ жертвы,—театръ, поэзія, Шиллеръ, Гегелевская «дѣйствительность», цивилизація, соціальная идея,—то увидимъ, что во всемъ этомъ онъ искалъ только одного—правды и, собственно говоря, ей одной молился. Какъ только замѣчалась въ томъ или другомъ временномъ богѣ какая-нибудь фальшь, Бѣлинскаго ужъ начинало коробить и щемить, а тамъ—глядишь—кумиръ летитъ отъ взмаха сильной руки бывшаго правовѣрнаго, и бывшій правовѣрный топчетъ его съ неистовствомъ человѣка, обманутаго въ самыхъ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы въ низвергнутомъ кумирѣ была подмѣчена дѣйствительная фальшь. Жажда правды была въ Бѣлинскомъ безъ преувеличенія ужасающая, она мучила и измучила его. Это свидѣтельствуютъ всѣ его письма. Но потому-то онъ и мучился, что чутье правды не соотвѣтствовало жаждѣ. Какъ путникъ въ степи, метался онъ «духовной жаждою томимъ», мучимый собственнымъ горячимъ, изсушающимъ дыханіемъ. И вдругъ передъ нимъ оазисъ, зеленый, влажный, свѣжій... Увы! Это —только миражъ, ложь, фальшь, но Бѣлинскій часто убѣждался въ этомъ слишкомъ поздно, а затѣмъ слѣдовала новая ломка, новое горе, новое неистовство, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ заманчивѣе былъ предательскій миражъ. Была одна область, въ кото-

рой онъ былъ почти непогрѣшимъ,—область эстетическая. Г. Пыпинъ приводитъ очень любопытный разсказъ бывшаго учителя Бѣлинскаго, Попова, о томъ, какъ они вмѣстѣ съ будущимъ великимъ критикомъ, тогда еще студентомъ, читали «Бориса Годунова» Пушкина. Особенно поразила Бѣлинскаго извѣстная сцена въ корчмѣ. «Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «Да это—живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!» «Эта способность цѣнить правду изображенія и восторгаться ею была въ Бѣлинскомъ развита совершенно необычайно. Пройдетъ много лѣтъ, смѣнится много критиковъ и даже критическихъ пріемовъ,но нѣкоторые эстетическіе приговоры Бѣлинскаго останутся во всей силѣ. Но зато только въ этой области Бѣлинскій и находилъ для себя почти непрерывный рядъ наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, такъ чутье правды болѣе или менѣе измѣняло ему, между тѣмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дѣлало изъ него того великомученика правды, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискѣ. Постоянныя колебанія строя его мыслей особенно поразительны, если поставить ихъ рядомъ съ прочностью, непрерывностью чуть не отъ колыбели до могилы, устойчивостью убѣжденій Прудона.

Я отнюдь не хочу умалить значеніе Бѣлинскаго, да вѣдь я и не говорю ничего новаго. Всѣмъ извѣстно, всѣми признано, что Бѣлинскій былъ эстетическій критикъ огромной силы и что онъ не разъ перемѣнилъ свои взгляды вообще и взгляды на искусство въ частности. Но я хотѣлъ бы внушить читателю болѣе почтительное и кажется болѣе правильное отношеніе къ критикѣ Бѣлинскаго. У насъ его нынче не читаютъ, теперешнее подростающее поколѣніе пожалуй что и вовсе его не знаетъ. И это на основаніи его репутаціи, вполнѣ впрочемъ вѣрной въ общемъ. Однако изъ этой вѣрности репутаціи слѣдуетъ не то, что Бѣлинскаго читать не нужно, а то, что его могутъ съ пользою читать только люди, умственно и нравственно окрѣпшіе. Конечно у кого въ головѣ нѣтъ царя, того Бѣлинскій можетъ сбить своими противорѣчивыми сужденіями о явленіяхъ литературы и жизни. Но человѣкъ съ царемъ въ головѣ получитъ при чтеніи его сочиненій много наслажденій и много пользы. Судьба Бѣлинскаго очень печальна. Ругать его и до сихъ поръ ругаютъ, даже тѣми самыми кличками, которыми его надѣляли при жизни. Погодинъ напримѣръ, несмотря на свой почтенный возрастъ, никакъ не можетъ забыть, что Бѣлинскій — «недоучившійся студентъ». Есть молодые щенки, которые тоже на эту тему распространяются. Есть правда у Бѣлинскаго почитатели, собственно почитатели его свѣтлаго имени, но многіе изъ нихъ готовы признать, что Бѣлинскій въ концѣ концовъ все-таки — пройденная ступень, потому что—дескать—эстетическая критика отжила свое время. Оно такъ, да не такъ. Конечно многіе вопросы, занимавшіе Бѣлинскаго, для насъ не существуютъ. Мы напримѣръ ужъ не будемъ разсуждать о томъ,можетъ ли быть сатира причислена къ разряду художественныхъ произведеній. Но возьмите самый элементарный вопросъ эстетической критики: вѣрно-ли изображено извѣстное лицо или положеніе въ данномъ литературномъ произведеніи? Главная, не преходящая сила Бѣлинскаго состояла въ умѣньи отвѣтить на этотъ вопросъ. А для этого требуется такое умѣнье ставить себя въ положеніе изображаемыхъ лицъ, такая глубокая способность сочувствія страдающей и наслаждающейся человѣческой личности, что не можетъ быть и сомнѣнія въ значеніи Бѣлинскаго даже до сего дня.

Мы видѣли, что трагедія Бѣлинскаго была юношескимъ протестомъ противъ крѣпостного права и другихъ порядковъ добраго стараго времени. Это не могло быть конечно одинокимъ явленіемъ, и Бѣлинскій носилъ въ кружкѣ Станкевича прозвище «непстоваго Виссаріона» не только за свои манеры, а и за свое душевное содержаніе. Онъ въ это время сильно увлекался Шиллеромъ и писалъ, какъ говорилъ потомъ самъ, «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала общества». Долго ли, коротко ли продолжалось это настроеніе (у Пыпина этотъ періодъ изложенъ очень неясно и сбивчиво), но Бѣлинскій наконецъ бросился въ другую крайность,—въ безусловное оправданіе всякой дѣйствительности въ качествѣ необходимо «разумной». Перемѣна эта совершилась подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, постепенно овладѣвавшей Бѣлинскимъ. До какой степени она имъ овладѣла въ указанномъ направленіи примиренія съ дѣйствительностью, видно уже изъ любопытнѣйшаго письма отъ 7 августа 1837 г. Письмо писано къ одному пріятелю изъ Пятигорска, гдѣ Бѣлинскій въ то время лечился.

«Богъ не есть нѣчто отдѣльное отъ міра,—писалъ Бѣлинскій,—но Богъ въ мірѣ, потому что Онъ вездѣ. Да, Его, — какъ говоритъ великій Іоаннъ, любимѣйшій ученикъ Христа,—Его никто не видалъ; но Онъ во всякомъ благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца... Ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и

искусство, возлюби ихъ, какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ—и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носитъ въ себѣ Бога... Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идей чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идей въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что̀ важнѣе — идея или явленіе, душа или тѣло?.. Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтлѣнію черезъ причастіе христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ ты долженъ очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ обольщеній внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины... Только въ философіи ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ... Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты у него ничего не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшей страной въ мірѣ... Для Россіи назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою хорошую сторону... Если хочешь понять назначеніе Россіи, прочти исторію Петра Великаго,—она объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра... Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получитъ то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы—еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія — еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости... Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію — значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа свобода есть *воля*, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороды и ходятъ въ сюртукахъ. Свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла... Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостного права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ... Давно ли мы съ тобой живемъ на свѣтѣ, давно ли помнимъ себя, и уже посмотри, какъ перемѣнилось общественное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не презираютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему... Власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы такія книги, которыя никакъ не позволитъ перевести и издать. И что-жъ, все хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что̀ можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая можетъ сдѣлать тебя лучше, погубила бы мужика, который естественно понялъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что̀ производитъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходна и похвальна...»

Письмо оканчивается панегирикомъ нѣмцамъ и рѣзкимъ осужденіемъ французовъ. Такъ смирился человѣкъ, еще недавно написавшій кровавую трагедію изъ крѣпостного быта и питавшій «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала». Такъ смирился «неистовый Виссаріонъ». По поводу этого замѣчательнаго письма г. А. «Русскаго Вѣстника» счелъ возможнымъ и умѣстнымъ предаться какимъ-то дряннымъ подмигиваніямъ. Трудно даже понять такое неуваженіе къ святынѣ, потому что приведенное письмо—настоящая святыня, вполнѣ очевидная даже для самаго грубаго глаза, если только онъ хоть разъ въ жизни напрягался, вглядываясь въ даль, чтобы найти тамъ правду. Еслибы еще была возможность доказать, что Бѣлинскій противорѣчилъ себѣ изъ-за какихъ-нибудь сторонникъ побужденій, я бы понялъ усердіе критики «Русскаго Вѣстника». Но тормошить грязными руками трупъ великомученика правды, пристроивать свои личныя и, самое большее, катковскія дѣлишки къ тому обстоятельству, что Бѣлинскій въ неустанной погонѣ за правдой ошибался и мѣнялъ свой цвѣтъ, играть на этомъ обстоятельствѣ, какъ на фортепьяно,—какая гадость! И эти—не говорю фарисеи и книжники, потому что это для нихъ все-таки не по шерсти кличка, она все-таки подразумѣваетъ, если не умъ и знаніе, то хоть хитрость и эрудицію, — эти пятиалтынные, эти гроши говорятъ объ уваженіи къ личности, къ исторіи, они стоятъ за какую-то «культуру» и негодуютъ на какую-то «тенденціозность»... Во всей перепискѣ Бѣлинскаго, собранной Пыпинымъ, нѣтъ ничего трогательнѣе этого письма. Нигдѣ не выразились такъ ясно его глубочайшая преданность и какое-то необыкновенное проникновеніе тѣмъ, что̀ онъ въ данную минуту считалъ правдой. Я ужъ не говорю о содержаніи письма, посмотрите только на его внѣшность, на форму изло-

женія. Каждая строка здѣсь дорога, каждое сочетаніе и размѣщеніе словъ, какъ свидѣтельство изумительной правдивости Бѣлинскаго. Обыкновенно бурный, часто впадающій даже въ риторику слогъ не только его сочиненій, а и писемъ, дѣлается тутъ мягкимъ, ровнымъ, спокойнымъ. Иначе и не можетъ писать обладатель правды не воинствующей, а успокоительной, утѣшительной. Я увѣренъ, что и лицо Бѣлинскаго въ это время преобразилось, и что говорилъ онъ не «упорствуя, волнуясь и спѣша», а ровно, спокойно и нѣсколько торжественно, хотя конечно по страстности своей натуры долго выдержать этого не могъ. Пыпинъ обращаетъ вниманіе на то, что во время писанія этого письма личныя обстоятельства Бѣлинскаго были «ужасны», хуже чѣмъ когда-нибудь. Это въ самомъ дѣлѣ очень характерный фактъ. Больной, нищій, въ завтрашнемъ днѣ не увѣренный, Бѣлинскій съ невозмутимымъ спокойствіемъ объясняетъ, что все идетъ къ лучшему и что философія даетъ такое счастье, какого толпа и не подозрѣваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать, ни отнять. Со стороны смѣшно, если хотите, дико, нелѣпо, фикція, иллюзія, обманъ, ложь, но очевидно, что самъ Бѣлинскій въ ту минуту дѣйствительно обладалъ такимъ счастьемъ, потому что глубоко вѣрилъ, что навѣянный на него философскій вздоръ есть правда. Придетъ время, и Бѣлинскій столь же искренно, столь же цѣльно и полно возстанетъ противъ этой «правды», но тогда она уже не будетъ въ его глазахъ правдой. До этого однако еще далеко. Вотъ еще нѣсколько отрывковъ изъ этой эпохи его развитія, которое шло въ томъ же направленіи все crescendo.

Въ 1838 г. онъ писалъ: «Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ». «Такова моя натура: съ напряженіемъ, горестно и трудно принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но, принявъ, весь проникается ими до сокровенныхъ глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность*». «*Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать». Въ 1839 году: «Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М.—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила:—нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова,—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ».

Шиллеръ въ это время предавался сильному поруганію, какъ «личный врагъ» (собственныя слова Бѣлинскаго), «за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отчего я страдалъ во имя его». Задачей Бѣлинскаго становится уже отмѣченное въ письмѣ съ Кавказа самосовершенствованіе, «абсолютная» или «полная жизнь духа». За эту задачу онъ принимается съ своей обычной страстностью и правдивостью, безжалостно роется въ своей душѣ и бичуетъ себя за самолюбіе, тщеславіе, чувственность и проч. Дѣлаетъ онъ это до послѣдней степени просто, искренно, безъ всякой рисовки передъ собой и передъ друзьями. Онъ и тутъ—искренно вѣрующій жрецъ правды, проникнутый важностью своихъ священнодѣйствій и жертвоприношеній. Несмотря на шаткость почвы, на которой онъ стоялъ, вы не встрѣтите въ его самобичеваніяхъ ни униженія паче гордости, ни малѣйшаго кокетства. Находятся помощники въ этой работѣ (особенно Боткинъ); друзья помогаютъ другъ другу въ достиженіи «абсолютной жизни», несутъ одинъ другому всякую душевную мелочь, требуютъ критики и даютъ ее.

Бѣлинскій первый замѣчаетъ всю ложь такихъ «правдивыхъ» дружескихъ отношеній. Уже вскорѣ послѣ своего переѣзда въ Петербургъ онъ пишетъ: «Говорить о себѣ да о себѣ или все о моихъ да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно». Но ему все еще жаль Москвы, друзей, кружка. Петербургъ ему очень не нравится, такъ какъ онъ не находитъ тутъ тѣхъ теплыхъ, участливыхъ и, собственно говоря, до назойливости откровенныхъ отношеній, какія оставилъ въ Москвѣ. Мало-по-малу личныя и кружковыя ноты уступаютъ мѣсто другимъ. Уже въ 1840 г. онъ пишетъ: «Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все даровитое и благородное лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... *Отчего же европеецъ въ страданіи бросает-*

ся на общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?»... Послѣдняя фраза предвѣщаетъ уже разрывъ съ богомъ разумной дѣйствительности и примиренія, и въ самомъ дѣлѣ громъ очень скоро разражается. Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій писалъ: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусной дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!—какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это—мысль и дума вѣка! Боже мой! страшно подумать! что со мной было—горячка или помѣшательство—я словно выздоравливающій». «Дѣйствительность—это палачъ». «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всей искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича въ гадкой статьѣ о Менцелѣ. Какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности,—его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ риѳмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспоминать о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія, о которомъ говорилъ свысока и съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной рассейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ свѣтскагообщества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства *и проч., и проч., и проч...* Чортъ знаетъ, какъ подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною какихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину, — что все на свѣтѣ гнусно, и особенно вокругъ насъ». «Признаться ль тебѣ въ грѣхѣ... о Шиллерѣ не могу и думать не задыхаясь, а къ Гёте начинаю чувствовать родъ ненависти, и ей-Богу, у меня руки не поднимается противъ Менцеля, хоть сей мужъ и попрежнему остается въ глазахъ моихъ идіотомъ. Боже мой,—какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать».

Съ этого времени прыжки и зигзаги развитія, такъ мучившіе Бѣлинскаго, въ общемъ прекращаются. Онъ продолжаетъ еще приходить въ «неистовый» восторгъ передъ вновь открывающимися для него сторонами мысли и жизни, но эти новыя впечатлѣнія уже довольно ровно укладываются въ его установившееся міросозерцаніе. Такъ напримѣръ, онъ пишетъ: «Я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ пафосѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхи и Катонъ Утическій... заслонили собой въ моихъ глазахъ и Цезаря, и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести». Или: «Я съ трудомъ и болью разстаюсь съ старой идеей, отрицаю ее до нельзя, и въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Я теперь въ новой крайности, — это идея соціализма, которая стала для меня идеей идей... альфой и омегой вѣры и знанія. Она поглотила (для меня) и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни». Жоржъ Зандъ, которую онъ прежде презиралъ, становится для него «вдохновенной пророчицей, энергическимъ адвокатомъ правъ женщинъ». И т. п. Эти новыя мысли конечно уже не враждебно привходили въ его психическое содержаніе, потому что то были только частности отрицанія «разумной дѣйствительности» и борьбы съ ней, которая наполнила Бѣлинскаго. Нѣкоторый миръ опять насталъ въ его душѣ, и онъ могъ по временамъ даже не съ ненавистью, а съ тонкимъ юморомъ смотрѣть на своихъ старыхъ, низверженныхъ боговъ. Очень характерно въ этомъ отношеніи длинное письмо къ Боткину отъ 1-го марта 1841 г. «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля),—писалъ Бѣлинскій,—ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ рассейской дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г., хотя и глупѣе Менцеля... Ты—я знаю—будешь надо мной смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я — свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (то есть гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣствицы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобой, таковскій и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что еслибы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣствицы развитія,—я и тамъ попросилъ бы

васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II, и проч., и проч.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи; можетъ быть это очень выгодно и услади-тельно для меломановъ, но ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своей участью идею дисгармоніи».

Но если Бѣлинскій такимъ образомъ вступилъ наконецъ въ свою послѣднюю гавань, изъ которой вышелъ только въ могилу, то миръ въ его измученной душѣ водворился далеко не безусловный. Во-первыхъ его мучили ошибки прошлаго. Положимъ, что самъ онъ установился окончательно. Но что̀ написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Онѣ были тутъ у всѣхъ на глазахъ, улики его прежнихъ «мерзостей». Не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы не сознаваться въ своихъ ошибкахъ, прятать ихъ, но вѣдь годы ушли на эти ошибки, невозвратные годы, которыхъ впереди Богъ еще вѣсть много ли будетъ. Да и наконецъ извѣстно, что ренегатъ, отступникъ, если онъ отступникъ искренній, отступившій правды ради, а не ради какихъ-нибудь вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ, есть злѣйшій врагъ своей прежней вѣры, потому что ненависть къ извѣстному строю мыслей осложняется тутъ покаяніемъ, ненавистью къ себѣ, къ своему прошедшему. А ужъ если такое эгоистическое существо, какъ человѣкъ, доведено до ненависти къ себѣ, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о пощадѣ. Страшно дѣйствіе пушечныхъ выстрѣловъ, но оно еще страшнѣе, когда выстрѣлъ направляется на самую пушку, т. е. когда ее разрываетъ. Бѣлинскій совершалъ таинство покаянія съ такою же стремительностью, вѣрою и безпощадностью, какъ и все, что̀ онъ дѣлалъ. Воспоминаніе о «мерзостяхъ» отзывалось на немъ крайне болѣзненно. Мы уже видѣли это въ нѣкоторыхъ письмахъ. Но есть и свидѣтели очевидцы. Напримѣръ Панаевъ разсказываетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», что, когда Бѣлинскій увидалъ у него однажды на столѣ книжку журнала, развернутую на одной его старой статьѣ изъ «мерзкихъ» (кажется это была «Бородинская годовщина»), онъ пришелъ въ крайнее раздраженіе, почти въ ярость. Онъ сталъ даже уличать Панаева, что тотъ ему нарочно подсунулъ эту статью. Это конечно противорѣчитъ тому смиренному типу покаянія, къ которому мы привыкли. Но сила покаянія, боль отвращенія къ своему прошедшему этимъ, надѣюсь, не уменьшаются.

Но чаша жизненной горечи не исчерпывалась для Бѣлинскаго отравой воспоминаній. Будущее было отравлено не меньше, если не больше. Послѣдній результатъ, къ которому привело развитіе Бѣлинскаго, былъ: борьба съ дѣйствительностью. Борьба эта была для него обязательна во-первыхъ, какъ для человѣка, который отдавался всегда цѣликомъ, безъ остатка и не могъ не вести себя сообразно своимъ убѣжденіямъ; во-вторыхъ, какъ для ренегата, который тѣмъ сильнѣе ненавидѣлъ «разумную дѣйствительность», чѣмъ жарче ей прежде молился. Борьба! борьба, когда «у сокола крылья связаны и пути ему всѣ заказаны»! Надо себѣ представить именно Бѣлинскаго въ этомъ положеніи, его, страстнаго, сильнаго, цѣльнаго, вѣрующаго и въ то же время такъ ничтожнаго передъ тогдашней «разумной дѣйствительностью»... Письма его изобилуютъ жалобами на цензуру и, что особенно характерно, на «произвольность» ея. Онъ бы понялъ и оцѣнилъ серьезную строгость, хотя бы и ненавидѣлъ ее. Напримѣръ: «Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно; выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ-мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ—безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней». «Писать нечего и не о чемъ; со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что хочешь, а о дѣлѣ, т. е. о нравахъ и нравственности,—хоть и не трать труда и времени». «Отъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ вострый». И пр., и пр., и пр. Бѣлинскій разсказываетъ еще одинъ любопытный фактъ, прикосновенный къ цензурнымъ дѣламъ. Фактъ этотъ впрочемъ случился не съ его статьей. Одинъ славянофилъ по знакомству видѣлъ у цензора статью, направленную противъ славянофильства, и «уговорилъ его кое-что смягчить». «Видите-ли, сколько у насъ цензоровъ», прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій...

Но и тутъ еще не конецъ мукамъ этого страдальца. Знаете-ли вы, читатель, что̀ значитъ «исписаться»? Это—почти то-же, что истечь кровью. Это, когда писатель отдалъ вамъ весь запасъ своихъ идей и не получилъ никакой сдачи въ видѣ новыхъ жизненныхъ фактовъ, дающихъ новое возбужденіе. Или когда онъ, усталый отъ безсонныхъ ночей и напряженной мозговой работы, чувствуетъ, что перо его перестаетъ быстро и свободно двигаться по бумагѣ, а мозгъ упорно отказывается фабриковать мысли и образы; искать же другого образа жизни и пропитанія онъ по обстоятельствамъ и привычкѣ

не можетъ, и потому—какъ ни какъ—пишетъ. Вы говорите тогда: онъ исписался, пора ему на смѣну другого. И вы совершенно правы, но отъ этого не легче тому, который исписался, и онъ могъ бы пожалуй отъ васъ требовать нѣсколько бо̀льшаго участія къ его судьбѣ; частица тѣхъ знаній, которыми вы теперь владѣете, тѣхъ можетъ быть очень высокихъ мыслей и чувствъ, которыя васъ волнуютъ или успокаиваютъ, принадлежитъ вѣдь и ему, который исписался. Онъ долго ли, коротко ли горѣлъ для васъ, и если перегорѣлъ, такъ можетъ быть потому, что сильно горѣлъ. Никакой геній не застрахованъ отъ такого конца, потому что нѣтъ на свѣтѣ ничего неисчерпаемаго, кромѣ силы и матеріи, а формы ихъ, въ томъ числѣ и форма писателя, нарождаются и слѣдовательно изсякаютъ. Это я только къ слову, къ тому именно слову, что и Бѣлинскій позналъ ужасъ ожиданія конца. Онъ былъ слишкомъ богатая натура, чтобы рано изсякнуть, да и смерть не заставила себя ждать. Но ужасъ ожиданія онъ все-таки позналъ, потому что одно время ему казалось, что онъ исписался: «Взялся было за работу – не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть я не могу работать! Стало быть мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!» «Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ за-границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что̀ дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ»...

Надо однако подвести итоги этой статьѣ. Смѣю думать, что, несмотря на ея безпорядочность, я предложилъ читателю вдуматься въ два ряда очень интересныхъ явленій. Съ одной стороны читатель видитъ Прудона, человѣка по натурѣ своей плутоватаго, часто готоваго сфальшить,—и однако этотъ плутоватый человѣкъ отъ перваго публичнаго заявленія своихъ мыслей и чувствъ до самой могилы остается непоколебимо вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Съ другой—Бѣлинскій, весь проникнутый жаждой правды, органически неспособный покривить душой, — и однако этотъ человѣкъ всю жизнь остается только великомученикомъ правды и мечется изъ стороны въ сторону, какъ какая-нибудь щепка на волнахъ. Фактъ поразительный! Для Прудона программа жизни готова чуть не съ пеленокъ и готова до многихъ мелкихъ подробностей: цѣль—«стоять за сироту», т. е. за обездоленный людъ; средства—вполнѣ опредѣленныя; отдаленный идеалъ – тоже вполнѣ опредѣленный: анархія; путь къ идеалу—рядъ переходныхъ состояній, изъ которыхъ ближайшія опять-таки вполнѣ (для Прудона конечно) ясны. Передъ Бѣлинскимъ, напротивъ—мракъ, мракъ и мракъ, лишь по временамъ разсѣкаемый молніей, и то для того, чтобы сказать человѣку: не туда! Неужели же мы, русскіе—до такой степени обойденная порода людей, что даже лучшіе между нами, чистѣйшіе, осуждены на рядъ ошибокъ! Почему тамъ, въ Европѣ, правда (все равно какая, лишь бы человѣкъ признавалъ ее правдой) дается сразу даже плутоватому человѣку, а у насъ не дается даже вполнѣ достойнымъ воспринять ее? По тому ли, по сему ли, но таковъ фактъ. Радоваться ему или печалиться? Если я ставлю этотъ вопросъ, значитъ имѣю резоны разрѣшить его въ радостномъ смыслѣ, потому что на первый взглядъ ничего, кромѣ глубокой печали, параллель Бѣлинскаго и Прудона возбудить въ русскомъ человѣкѣ не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы конечно можемъ съ гордостью показать Бѣлинскаго цѣлому міру, не скрывая ни одной изъ его святыхъ ранъ. Но раны остаются ранами, т. е. болью и безобразіемъ. Ужъ лучше нѣкоторая плутоватость, особенно если она такъ мало въ концѣ-концовъ управляетъ человѣкомъ, какъ это было съ Прудономъ, чѣмъ жажда правды, приводящая къ ряду не только личныхъ мученій, а и ошибокъ. Это — одинъ взглядъ, и я понимаю его и даже раздѣляю. Но долженъ откровенно сознаться, что меня при этомъ подкупаютъ нѣкоторыя идеи Прудона, да можетъ быть и не одного меня, а и читателя.—Прудонъ пользуется уваженіемъ самыхъ разнообразныхъ читателей, его съ почтеніемъ цитируютъ и Страховъ, и Градовскій, и многіе другіе степенные, солидные и ученые люди; такъ ужъ Прудонъ ухитрился. Но возьмите вмѣсто него какого-нибудь другого непоколебимаго европейскаго человѣка, хоть Бисмарка, который у насъ такимъ всеобщимъ уваженіемъ не пользуется. Бисмаркъ тоже пронесъ свою феодальную подкладку неприкосновенной отъ ранней молодости до сегодня, со включеніемъ момента культуръ-кампфа. Ему тоже непрерывный рядъ предковъ съ рѣзко-опредѣленными нравственными физіономіями оставилъ духовное наслѣдство, иго, которое онъ сброситъ только вмѣстѣ съ жизнью. Не знаю, какъ читатель, а я, еслибы мнѣ предложили на выборъ судьбу Бисмарка или Бѣлинскаго, выбралъ бы Бѣлинскаго. И тутъ не будетъ никакого геройства съ моей стороны, потому что я просто не могу представить себѣ себя въ кожѣ Бисмарка; неопредѣленное исканіе правды мнѣ все-таки ближе, понятнѣе, дороже, чѣмъ *такая* опредѣленная правда, какъ правда Бисмарка. Она—про-

сто неправда, и признать ее правдой я даже во снѣ не могу. Изъ этого слѣдуетъ, что непоколебимость убѣжденій, доставляя несомнѣнно личное спокойствіе ихъ обладателю, для посторонняго наблюдателя еще не рѣшаетъ всего. Для этого посторонняго человѣка остается еще любопытный вопросъ: а каковы именно убѣжденія этого непоколебимаго человѣка? Если въ какомъ-нибудь углу Европы исторія выработала непоколебимѣйшаго негодяя, то, какъ бы онъ ни былъ лично счастливъ, посторонній человѣкъ имѣетъ полное право подумать: да хоть бы ты разъ въ жизни поколебалъ свои убѣжденія и сдѣлалъ честное дѣло!

Дѣло въ томъ, что европейскій человѣкъ имѣетъ у себя за плечами болѣе или менѣе опредѣленную и непрерывную исторію. Это даетъ ему твердость поступи и подчасъ страшную силу. Но европейскую исторію мы уже вполнѣ знаемъ, и знаемъ, что изъ десяти европейцевъ девять направляютъ свою страшную силу убѣжденія не на защиту сиротъ, какъ направилъ Прудонъ, а на разныя другія и гораздо менѣе симпатичныя вещи. Въ нашемъ отечествѣ, напротивъ, твердой поступи нѣтъ ни у кого, да и откуда ей взяться? Происхожденіе напримѣръ большинства пишущей братіи приблизительно такое же, какъ и Бѣлинскаго: немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства. Да тутъ и не въ одномъ происхожденіи дѣло. Только въ Россіи возможны такіе факты, какъ напримѣръ демократизмъ Рюриковича князя Васильчикова, радикализмъ графа Льва Толстого и аристократизмъ .. аристократизмъ Авсѣенки или генерала Фадѣева, и я не знаю еще кого съ фамиліями, несомнѣнно почтенными, но не особенно аристократическими. Перечисленіемъ подобныхъ фактовъ можно бы было занять нѣсколько печатныхъ листовъ, еслибы это было нужно, еслибы и безъ того не было вполнѣ извѣстно, что мы—мѣщанина. Мѣщанина ведетъ прежде всего къ тому, что ни въ одной странѣ въ мірѣ нѣтъ такого количества арлекиновъ, какъ въ нашемъ отечествѣ. Арлекинъ, какъ извѣстно, осиротѣлъ, какъ только родился, и былъ нищъ и нагъ. Надъ нимъ сжалились два пріятеля, сыновья портныхъ, и принесли одинъ — нѣсколько обрѣзковъ зеленой матеріи, а другой—красной. Любящая Коломбина прибавила еще немножко желтой матеріи. И съ тѣхъ поръ арлекинъ не снимаетъ своего трехцвѣтнаго платья не столько потому, что оно ему нравится, сколько изъ благодарности къ пріятелямъ и Коломбинѣ. И арлекинъ очень веселъ и ему все трынъ-трава. Большое количество этихъ веселыхъ, пестрыхъ людей—очень непріятная вещь. Въ Европѣ большая часть ихъ непремѣнно была бы пріурочена къ какому-нибудь опредѣленному цвѣту. Но къ какому? Можетъ быть къ такому, что лучше бы имъ вѣки-вѣчные оставаться пестрыми, веселыми людьми. Но не все же у насъ арлекины, т. е. люди, заразъ облеченные и въ красный, и въ желтый, и въ зеленый цвѣтъ. Какъ ни великъ Бѣлинскій, но онъ—не исключительная единица, а русскій типъ. Это долженъ признать всякій, имѣвшій возможность и конечно умѣнье наблюдать разные оттѣнки русскаго общества. Я думаю, что даже именно теперь, среди отвратительныхъ кувырканій изъ-за цѣлковаго и безобразнѣйшаго забвенія самыхъ элементарныхъ нравственныхъ правилъ,—мучается въ разныхъ углахъ Россіи много маленькихъ, невидныхъ, незамѣтныхъ Бѣлинскихъ, безъ его блестящаго таланта, безъ его другихъ умственныхъ качествъ, но не менѣе его жаждущихъ цѣльной правды и способныхъ ей отдаться. Литература этими людьми не занимается, отчасти по причинамъ, отъ нея независящимъ, отчасти по привычкѣ сосредоточивать свое вниманіе на явленіяхъ, всплывающихъ на поверхность общественной жизни. Не берусь подтвердить существованіе такихъ людей фактами, но оно объяснимо и a priori. Ихъ должно создавать то же самое отсутствіе исторіи, которое создаетъ и арлекиновъ. Исторія создаетъ силу, твердость, опредѣленность, но во-первыхъ направляетъ эти силы весьма разнообразно, а слѣдовательно на чей бы ни было взглядъ далеко не всегда удачно, а во-вторыхъ создаетъ также многопудовую тяжесть преданія, не дающую свободы критическому духу. Отсутствіе исторіи создаетъ дряблость, нравственную слякоть, но зато, если ужъ выдастся въ средѣ, лишенной исторіи, личность, одаренная инстинктомъ правды, то она способна къ гораздо большей широтѣ и смѣлости, чѣмъ европейскій человѣкъ, именно потому, что надъ ней нѣтъ исторіи и мертвящаго давленія преданія. Европейскихъ людей поражаетъ смѣлость русскаго отрицанія. Оно для нихъ—дикость, варварство, и въ этомъ мнѣніи есть извѣстная доля правды. Русскому человѣку, благодаря отсутствію исторіи, нѣтъ причины дорожить даже таблицей умноженія, но нѣтъ также причины дорожить и напримѣръ общественными перегородками, которыхъ наша исторія никогда не водружала съ европейской опредѣленностью и устойчивостью. Я не скрываю ни отъ себя, ни отъ читателя двусмысленности моихъ положеній. Я очень хорошо понимаю, что нѣкоторыя колоссальныя воровства и грабежи возможны только въ Россіи, по отсутствію историческаго воспитанія личности. Но я прибавляю,

что по той же причинѣ русскій человѣкъ неспособенъ дорожить многими условными нравственными понятіями, которымъ цѣна дѣйствительно—грошъ и за которыя однако европеецъ платитъ очень дорого. Бѣлинскій очень хорошо понималъ эту обоюдоострую истину. Вотъ отрывки изъ двухъ его писемъ.

«Прочти, пожалуйста, повѣсть Диккенса *Битва жизни*; изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколобіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ... Уважаю практическія натуры въ hommes d'action, но если вкушеніе сладости ихъ роли непремѣнно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душевной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающей натурой, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко Я—натура русская (онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ)... Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность — пока эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность... Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится... Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми говорилъ *такъ*: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ... витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они меня до сихъ поръ считали »

«Многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и натуральной школы такъ называемыхъ «благородныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси по сущности народа русскаго должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т. е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героевъ), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ и непонятныхъ исключеній—все это для меня аксіома, какъ дважды-два четыре. Но вотъ горе-то: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ риторику и въ мелодраму, т. е. не можетъ представлять ихъ художественно такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчіи съ той общественной средой, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ иногда быть героемъ добра въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотитъ жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію, словомъ—средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не плавучее море, а огромное стекло».

Присоединяя свой скромный голосъ къ голосу великаго критика, я по поводу послѣдней выписки изъ переписки Бѣлинскаго напомню читателю еще одну разницу между нимъ и Прудономъ. Прудонъ хоть и посидѣлъ въ тюрьмѣ, но написалъ, напечаталъ и заставилъ читать Европу всѣ свои «страшныя слова», между которыми были дѣйствительно страшныя. Бѣлинскій же хотя въ тюрьмѣ и не сидѣлъ, но своихъ мнѣній о шапкѣ-мурмолкѣ вполнѣ обнародовать не могъ. Это различіе имѣетъ свои многочисленныя параллели въ европейской и русской жизни... Затѣмъ я вспоминаю чей-то гордый отвѣтъ на вопросъ о предкахъ. «Я — самъ предокъ», отвѣчалъ вопрошаемый. Не принять ли намъ къ свѣдѣнію и руководству этотъ отвѣтъ? Какъ вы думаете, читатель?

Н. Михайловскій.

I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

Вотъ уже пятое обозрѣніе годового бюджета русской литературы представляемъ мы нашимъ читателямъ. Обязавшись передъ публикой быть вѣрнымъ зеркаломъ русской литературы, постоянно отдавая отчетъ во всякой вновь выходящей въ Россіи книгѣ, во всякомъ литературномъ явленіи, «Отечественныя Записки» не вполнѣ выполнили бы свое назначеніе—быть полной и подробной лѣтописью движенія русскаго слова, еслибъ не вмѣнили себѣ въ обязанность этихъ годичныхъ обозрѣній, въ которыхъ обо всемъ, о чемъ впродолженіе цѣлаго года говорилось, какъ о настоящемъ, говорится, какъ о прошедшемъ, и въ которыхъ всѣ отдѣльныя и разнообразныя явленія цѣлаго года подводятся подъ одну точку зрѣнія. Не ставимъ себѣ этого въ особенную заслугу, потому что видимъ въ этомъ только должное выполненіе добровольно принятой на себя обязанности; но не можемъ не замѣтить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знаютъ, что большая часть этихъ годичныхъ обозрѣній постоянно наполнялась разсужденіями вообще о русской литературѣ и слѣдовательно о всѣхъ русскихъ писателяхъ, отъ Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взглядъ на прошлогоднюю литературу—главный предметъ статьи—всегда занималъ ея меньшую часть. Подобныя отступленія отъ главнаго предмета необходимы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что настоящее объясняется только прошедшимъ, и потому что по поводу цѣлой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и нѣсколько статей, болѣе или менѣе интересныхъ; но о русской литературѣ за тотъ или другой годъ, право, не о чемъ слишкомъ много или слишкомъ интересно разговориться. И это-то составляетъ особенную трудность подобныхъ статей. Легко пересчитывать богатства истинныя или мнимыя; много можно говорить о нихъ; но что̀ сказать о бѣдности, близкой къ нищетѣ? Да, о совершенной нищетѣ, потому что теперь нѣтъ уже и мнимыхъ, воображаемыхъ богатствъ. А между тѣмъ о чемъ же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературѣ? Вѣдь у насъ литература составляетъ единственный интересъ, доступный публикѣ, если не упоминать о преферансѣ, говоря о немногихъ, исключительныхъ и какъ бы случайныхъ ея интересахъ. Итакъ, будемъ же говорить о литературѣ,—и если, читатели, этотъ предметъ уже кажется вамъ нѣсколько истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ; если толки о немъ уже доставляютъ вамъ только то магнетическое удовольствіе, которое такъ близко къ усыпленію, поздравляемъ васъ съ прогрессомъ и пользуемся случаемъ увѣрить васъ, что мы въ свою очередь совсѣмъ не чужды этого прогресса, и что въ этомъ отношеніи вы не правы, если вздумаете упрекнуть насъ въ отсталости отъ духа времени и въ новой запоздалости касательно его интересовъ... Еще разъ: будемъ разсуждать о русской литературѣ,—предметъ и новый, и любопытный...

Переходчивы времена, какъ подумаешь! Вспомните о томъ, что̀ такъ сильно интересовало васъ, что̀ давало такую полноту вашей жизни и что̀ было еще такъ недавно,—вы поневолѣ воскликнете съ грустью:

> Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

На Руси еще не вывелись люди, которые

> Извѣстья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ
> Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма;

—люди, которые со вздохомъ вспоминаютъ о пудрѣ, о косахъ съ кошельками, о вискахъ à la pigeon, о шитыхъ кафтанахъ, шляпахъ-корабликахъ, объ атласныхъ штанахъ, о шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ бриліантовыми пряжками и красными каблуками; о робронахъ, фижмахъ, о мушкахъ, о менуэтѣ, о гросфатерѣ, о вельможескихъ столахъ, куда всякій pauvre diable могъ явиться за подачкой, наѣсться и напиться и за все это расквитаться только униженнымъ

поклономъ щедрому амфитріону, который такъ же мало замѣчалъ этотъ поклонъ, какъ и тѣхъ, кто сидѣлъ за столомъ его; о фейерверкахъ, о пирахъ, о «Петріадѣ» Ломоносова, о трагедіяхъ Сумарокова, «Россіадѣ» Хераскова, «Душенькѣ» Богдановича, одахъ Петрова и Державина, и обо всей этой поэзіи, столь плодовитой, столь громкой, столь однообразной, нѣкогда возбуждавшей такое благоговѣйное удивленіе, а теперь извѣстной большей частью только по воспоминаніямъ, по преданію и по слухамъ... И правы, сто тысячу разъ правы эти вздыхающіе остатки, одиноко и безотрадно уцѣлѣвшіе отъ тѣхъ временъ: вокругъ нихъ «все новое кипитъ, былое истребя». Міръ ихъ и міръ нашъ—два совершенно различные міра, между которыми нѣтъ ничего общаго. Говоря съ ними, они съ трудомъ понимаютъ въ нашихъ устахъ русскій языкъ, такъ страшно измѣнившійся съ тѣхъ поръ; что же до нашихъ понятій—они не вразумительны для нихъ даже при посредствѣ самаго точнаго и вѣрнаго перевода на ихъ понятія. Положеніе такихъ людей можно сравнить только съ несчастьемъ—вдругъ ожить, пролежавъ лѣтъ восемьдесять подъ той землей, на которой все двигалось и измѣнялось съ быстротой изумительной. Да, имъ, этимъ добрымъ людямъ, есть о чемъ вздыхать! Но эти люди теперь—исключеніе, дорогая рѣдкость, нѣчто вродѣ подлинника Несторовой лѣтописи, если только подлинникъ Несторовой лѣтописи гдѣ-нибудь еще существуетъ или существовалъ когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого міра, болѣе близкаго нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящій закатъ царствованія Екатерины II и съ гордыми надеждами встрѣтили кроткое сіяніе царствованія Александра Благословеннаго; которые еще не успѣли привыкнуть ни къ пудрѣ, ни къ пуклямъ и весело разстались съ этими атрибутами отошедшаго въ вѣчность вѣка; которые безъ повѣрки, безъ сомнѣнія повторяли громкія фразы пожилыхъ и старыхъ людей о величіи Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина,—но которые уже плакали навзрыдъ надъ «Бѣдной Лизой», предавались нѣжной меланхоліи при чтеніи «Натальи Боярской Дочери» и восхищались «Письмами Русскаго Путешественника». При этомъ поколѣніи оды были еще въ ходу, но болѣе по укоренившемуся въ прошломъ вѣкѣ благоговѣнію къ ихъ громогласію, нежели вслѣдствіе потребностей наставшаго новаго вѣка. Скажемъ болѣе: ода тогда уже отжила свое время, и ея громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нѣжнымъ журчаніемъ сладкихъ слезъ. Одамъ не переставали удивляться, считая ихъ высшимъ родомъ поэзіи послѣ героической поэмы, но новыхъ даровитыхъ одистовъ не являлось. Дмитріевъ пробовалъ писать оды, но только пробовалъ (что̀ не помѣшало ему однакожъ жестоко осмѣять оды въ остроумной сатирѣ «Чужой Толкъ»),—и настоящій успѣхъ имѣли его пѣсни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодымъ поколѣніемъ начали потомъ появляться ès prits-forts, которые позволяли себѣ сомнѣваться въ неоспоримомъ величіи Сумарокова: и не мудрено—они вѣдь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, равно какъ стихи Дмитріева и Нелединскаго; въ театрѣ восхищались трагедіями Озерова. Мерзляковъ даже дерзнулъ (о, ужасъ!) изъявить довольно рѣзкое сомнѣніе на счетъ безукоризненнаго совершенства «Россіады» и «Владиміра». Муза Жуковскаго открыла изумленнымъ глазамъ этого поколѣнія совершенно новый міръ поэзіи. Намъ разъ случилось слышать отъ одного изъ людей этого поколѣнія довольно наивный разсказъ о томъ странномъ впечатлѣніи, какимъ поражены были его сверстники, когда, привыкши къ громкимъ фразамъ, вродѣ: «О ты, священная добродѣтель!»—они вдругъ прочли эти стихи:

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой;
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зерцало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекій сводъ
Въ свѣтлый сумракъ облеченны...
Спятъ пригорки отдаленны,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!... полночный часъ звучитъ.

По наивному разсказу современниковъ этой баллады, особеннымъ изумленіемъ поразило слово «чу!»... Они не знали, что̀ имъ дѣлать съ этимъ словомъ, какъ принять его—за поэтическую красоту или литературное уродство... И въ то время, какъ Жуковскій вводилъ и распространялъ вкусъ къ романтизму, скрипучій, сросшійся съ усѣченіями и какофоніей русскій псевдо-классицизмъ, подъ очаровательнымъ перомъ Батюшкова, дошелъ даже не только до щегольства, но и почти до поэзіи выраженія, до мелодіи стиха... И что же? — Едва прошло два десятилѣтія наступившаго вѣка, какъ явился Пушкинъ, — и доселѣ новое поколѣніе съ изумленіемъ увидѣло себя поколѣніемъ, уже отжившимъ свое время... Въ самомъ дѣлѣ, если русская проза, преобразованная Карамзинымъ, улучшенная Жуковскимъ, еще не показала въ

это время рѣшительнаго стремленія къ новому преобразованію, — зато стихи такъ быстро, такъ скоро измѣнились, что тотчасъ же за Пушкинымъ даже и убогіе талантомъ молодые люди запѣли такими легкими, такими гладкими стихами, что, въ сравненіи съ ними, и стихи Батюшкова перестали казаться образцомъ изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурой; нѣтъ, самый тонъ поэзіи, ея содержаніе, ея мотивы—все стало діаметрально противоположно прежней поэзіи. Сколько уже времени до того Жуковскій писалъ баллады! на нихъ нѣкоторые косились, хотя большинство читало ихъ съ одобреніемъ; но лишь явился Пушкинъ, не написавшій почти ни одной баллады, какъ баллада сдѣлалась любимымъ родомъ: всѣ принялись за мертвецовъ, за кладбища, за ночныхъ убійцъ; поднялись жестокіе споры за балладу. Элегія наповалъ убила оду; унынie, грусть, разочарованіе, сомнѣніе, сладостная лѣнь, пьянство, похмѣлье, пиры, студентское удальство, Гамлетовское раздумье, разрушенныя надежды, обманщица жизнь, пѣна шампанскаго, разбойники, нищіе, цыгане—вотъ что, какъ хозяева, вошло во храмъ русской поэзіи и гордо пальцемъ указало дверь прежнимъ жрецамъ и поклонникамъ... Критика, дотолѣ скромная, покорная служительница авторитета и льстивая повторяльщица избитыхъ общихъ мѣстъ,—вдругъ словно съ цѣпи сорвалась. Она перевернула всѣ понятія, ложью объявила то, что дотолѣ считалось истиной назвала истиной то, что дотолѣ считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарнымъ писакой, подъ пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова изъ великихъ произвела только въ тяжелыя; Петрова объявила надутымъ риторомъ въ стихахъ; даже Ломоносова дерзнула поставить, какъ поэта и лирика, на весьма почтительное разстояніе отъ Державина. Изъ всѣхъ этихъ колоссальныхъ славъ уцѣлѣли только Ломоносовъ и Державинъ; но первый больше, какъ ученый, какъ преобразователь языка, нежели какъ поэтъ; объ одномъ только Державинѣ новая критика повторила всѣ старыя фразы, съ прибавленіемъ своихъ новыхъ. Потомъ пользовались ея благосклонностью Хемницеръ и Богдановичъ, и не былъ ею оцѣненъ Фонвизинъ—единственный писатель Екатерининскаго вѣка, котораго будутъ читать еще не одинъ вѣкъ. Къ числу заслугъ новой критики принадлежитъ еще то, что она уничтожила смѣшной предразсудокъ, основанный на кумовствѣ и безвкусіи, — предразсудокъ, вслѣдствіе котораго басни Дмитріева считались выше басенъ Крылова, — тогда какъ здравый смыслъ и чистый вкусъ запрещали какое-нибудь сравненіе между талантливыми баснями Дмитріева и геніальными баснями Крылова... Не перечесть всѣхъ подвиговъ новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смѣло пустилась судить (впрочемъ съ чужого голоса) объ иностранныхъ: не только Флоріанъ, Делиль, Кребильйонъ, Дюси, Попе, Адиссонъ, Драйденъ, но и тратрагики — Корнель, Расинъ, Вольтеръ были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Взамѣнъ ихъ, она провозгласила великими геніями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Виктора Гюго, заговорила съ уваженіемъ о Гофманѣ, Жанъ-Полѣ, Вашингтонѣ Ирвингѣ, Тикѣ, Цшокке,—Буало, Баттё и Лагарпъ были ею уничтожены, какъ законодатели въ области изящнаго, какъ руководители литературнаго вкуса; на дребезги разбитыхъ ихъ статуй и пьедесталовъ поставила она братьевъ Штегелей.

Но всѣ эти опасныя новости, всѣ эти «дикія неистовства» вольнодумной критики, такъ изумившія и раздражившія старое поколѣніе, и въ половину не произвели на него такого страшнаго, потрясающаго впечатлѣнія, какъ начинавшіяся потомъ нападки на Карамзина. Тутъ вполнѣ обнаружилось воспитанное Карамзинымъ поколѣніе: въ непростительной дерзости новыхъ критиковъ — судить о Карамзинѣ не по табели о рангахъ, а по своему смыслу и вкусу, увидѣло оно покушеніе на жизнь и честь—не Карамзина (котораго честь достаточно обезпечивалась его заслугами), а на жизнь и честь Карамзинскаго поколѣнія. Война была страшная; много было пролито чернилъ и поломано перьевъ; сражались и стихами, и прозой. Замѣчательно впрочемъ, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмѣшивался въ нее) и что первый осмѣлился говорить о Карамзинѣ, не по преданію и не по авторитету, а по собственному сужденію, человѣкъ стараго поколѣнія — профессоръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его несправедливость въ стихотворномъ посланіи, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества» 1821) и начиналось такъ:

Передъ [судомъ ума сколь, Каченовскій! жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ Европы», поблагодаривъ издателей «Сына Отечества» за запятую и восклицательный знакъ, которыми, въ первомъ стихѣ, отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдивъ эту пьесу очень любопытными примѣчаніями. И долго послѣ того продолжалась война...

*

Карамзина не стало; князь Вяземскій напечаталъ въ «Телеграфѣ» еще стихотворную филиппику противъ враговъ Карамзина, т. е. противъ людей, которые почли себя вправѣ судить о Карамзинѣ по крайнему ихъ, а не чужому разумѣнію; въ этой филиппикѣ онъ сравнилъ Карамзина съ геніальнымъ зодчимъ, который изъ грубаго матеріала русскаго языка воздвигъ великолѣпный храмъ, а критиковъ Карамзина сравнилъ онъ съ совами, которыя набились въ храмъ, и проч. Но, несмотря на всѣ филиппики въ прозѣ и стихахъ, время все шло да шло, унося съ собой и вещи, и людей, все измѣняя въ пользу новаго на счетъ стараго. Изъ поколѣнія, образованнаго подъ вліяніемъ Карамзинскаго направленія, многіе смотрѣли на Пушкина косо, какъ на литературнаго еретика; но очень немногіе умѣли какъ-то эклектически сочетать уваженіе къ Пушкину и другимъ новымъ талантамъ съ уваженіемъ, попрежнему болѣе упрямымъ, нежели отчетливымъ, къ литературнымъ корифеямъ своего времени. Мое время, наше время—какія это волшебныя слова для человѣка! И какъ не считать ему своего времени за золотой вѣкъ Астреи: вѣдь онъ тогда былъ молодъ и счастливъ! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлѣніемъ его юный умъ, его юное сердце, а впечатлѣнія юности неизгладимы!... И потому мы не можемъ безъ живой симпатіи читать этихъ стиховъ, въ которыхъ отжившее свой вѣкъ поколѣніе, въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ представителей, съ такой грустной искренностью признаетъ себя побѣжденнымъ и, отказываясь дѣлить интересы новаго поколѣнія, уже не обвиняетъ его за то, что оно живетъ жизнью тоже своего, а не чужого времени.

Сыны другого поколѣнья,
Мы въ новомъ — прошлогодній цвѣтъ:
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстямъ ихъ — насъ не волновать!
Ихъ тамъ не было, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ — намъ ужъ не бывать!
Нашъ міръ — имъ храмъ опустошенный,
Имъ баснословье — наша быль,
И то, что пепелъ намъ священный,
Для нихъ одна нѣмая пыль.
Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутіи живыхъ
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный
Среди обителей людскихъ.

Да, понятна такая грусть, равно какъ и то, что поколѣніе Карамзинскаго періода нашей литературы проиграло тяжбу о своемъ первенствѣ скорѣе, нежели увидѣло и призналось, что его тяжба проиграна. Между нимъ было много людей, которые прочли первыя печатныя строки Карамзина въ минуту ихъ появленія, а Карамзинъ началъ писать за десять лѣтъ до начала новаго столѣтія: слѣдовательно многіе изъ людей этого поколѣнія, не приготовившись, встрѣтили славу Пушкина, вдругъ выросшую колоссально, безъ ихъ вѣдома, безъ ихъ содѣйствія, и какую славу!—славу, которой до него не зналъ ни одинъ русскій поэтъ—славу народную... Въ то время самые младшіе изъ людей этого поколѣнія были уже людьми возмужалыми, вполнѣ развившимися и опредѣлившимися; бо́льшая же часть этого поколѣнія состояла изъ людей пожилыхъ; и если между ними немного было стариковъ, то къ нимъ примкнулись, въ чувствѣ оппозиціи новой литературѣ, всѣ старцы Ломоносовскаго періода нашей литературы,—старцы, которые, разнясь съ ними во многомъ, почти всѣ совершенно сходились въ безусловномъ удивленіи къ Карамзину. Но вотъ что́ удивительно: какъ это новое, это романтическое поколѣніе, одержавшее такую рѣшительную побѣду надъ предшествовавшимъ ему поколѣніемъ,—какъ оно-то такъ скоро стало въ то самое положеніе, въ которое оно поставило смѣненное имъ поколѣніе? Скажутъ: этому минуло уже около двадцати пяти лѣтъ, почти цѣлая четверть вѣка. Еслибъ это было такъ, тутъ не было бы ничего особенно удивительнаго; но дѣло въ томъ, что между 1831-мъ и 1835-мъ годомъ въ литературѣ нашей произошелъ крутой переломъ. Пушкинъ пошелъ по совершенно новой дорогѣ, предавшись искусству въ исключительномъ значеніи этого слова; издавъ «Бориса Годунова» и послѣднія главы «Онѣгина», онъ печаталъ, и то изрѣдка, только небольшія пьесы. Правда, онъ напечаталъ въ своемъ журналѣ «Капитанскую Дочку» и «Скупого Рыцаря»; но «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣдный Всадникъ» и «Каменный Гость» были напечатаны уже послѣ его смерти. Сверхъ того онъ обнаружилъ сильную наклонность къ прозѣ и къ важнымъ историческимъ трудамъ, потому что его «Исторія Пугачевскаго Бунта» была для него самого только пробнымъ камнемъ его историческаго таланта, и, работая надъ нею, онъ уже готовилъ матеріалы для труда болѣе важнаго и великаго — для исторіи Петра Великаго. Но, что́ особенно замѣчательно въ началѣ тридцатыхъ годовъ (между 1831 и 1835-мъ), Пушкинъ также былъ въ упадкѣ своей славы, какъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ онъ былъ въ ея апогеѣ. Это фактъ многозначительный. Отъ Пушкина отступились его присяжные хвалители и издалека повели рѣчь, что онъ отсталъ отъ вѣка, обманулъ всеобщее ожиданіе,—словомъ, повели рѣчь

о его паденіи такъ же основательно, какъ основательно провозглашали его еще не такъ давно «сѣвернымъ Байрономъ» и «представителемъ современнаго человѣчества». Даже дружина талантовъ, вмѣстѣ вышедшая съ Пушкинымъ и ему такъ много обязанная отблескомъ его отразившейся на ней славы, даже она была недовольна имъ. Многіе спрашивали, что же онъ сдѣлалъ, гдѣ у него европейскія идеи, и т. п. Нѣкоторые дошли до того, что въ Пушкинѣ стали видѣть не болѣе, какъ преобразователя русскаго стиха,— легкаго, пріятнаго и грандіознаго стихотворца, а пальму первенства между русскими поэтами думали вручить Языкову, тѣмъ болѣе, что и самъ Пушкинъ видѣлъ въ послѣднемъ какого-то необыкновеннаго поэта.

Но все это означало ни больше, ни меньше, какъ только то, что все это поколѣніе, изъ подъ орлинаго крыла Пушкина весело выпорхнувшее на раздолье литературнаго міра, уже отстало отъ него. Пушкина спасла не мысль, не сознательное стремленіе впередъ, нѣтъ: своимъ спасеніемъ, т. е. тѣмъ, что онъ не исписался и не выписался, онъ обязанъ былъ только своему колоссальному таланту, своей глубокой натурѣ, своему необыкновенному художническому инстинкту. Когда явились его посмертныя сочиненія, для нихъ нашлись цѣнители и судьи уже изъ людей новаго поколѣнія; а то, которое развилось подъ его вліяніемъ, и теперь еще живетъ воспоминаніемъ славы Пушкина, какъ творца «Руслана и Людмилы», «Братьевъ Разбойниковъ», «Кавказскаго Плѣнника», «Бахчисарайскаго Фонтана», «Графа Нулина», «Цыганъ» и первыхъ шести главъ «Онѣгина». Въ 1830 году необычайный успѣхъ «Юрія Милославскаго» сообщилъ русской литературѣ болѣе прозаическое направленіе въ томъ смыслѣ, что стиховъ стали меньше читать и писать, тогда какъ прозу жадно читала публика, и въ прозѣ усердно начали подвизаться литераторы. Въ 1831 и 1832-мъ годахъ появились «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, а въ 1836 году русская публика уже прочла его «Арабески», «Миргородъ» и познакомилась, и въ книгѣ, и въ театрѣ, съ его «Ревизоромъ». Поэты Пушкинской эпохи продолжали писать, но ихъ стихотворенія уже не возбуждали прежняго вниманія, ихъ имена уже потеряли свое прежнее очарованіе и перестали быть неоспоримымъ доказательствомъ высокаго достоинства пьесъ, подъ которыми они подписаны. Въ то же время явились въ литературѣ совершенно новыя имена, — между прочими Кукольникъ и Бенедиктовъ, въ сочиненіяхъ которыхъ замѣтно было совершенно новое направленіе, совсѣмъ другой характеръ, нежели у поэтовъ Пушкинской школы. О значеніи этого направленія мы не считаемъ нужнымъ распространяться; скажемъ только, что оно было новое, и что во всемъ новомъ всегда выражается стремленіе къ прогрессу, если не прогрессъ. Все это, каждое въ свою очередь, болѣе или менѣе было признакомъ конца одного періода литературы и начала другого: одно поколѣніе уступало мѣсто другому. Но ни въ чемъ такъ рѣзко не выразился этотъ конецъ для однихъ и это начало для другихъ, какъ въ критикѣ. Споръ о романтизмѣ и классицизмѣ кончился; партіи не согласились, но время рѣшило вопросъ, и этимъ рѣшеніемъ воспользовались, разумѣется, не тѣ, которые спорили. Романтическая критика, какъ мы уже замѣтили выше, потеряла свой торжествующій и побѣдный тонъ; она вдругъ сдѣлалась недовольной, ворчливой и пустилась сокрушать авторитеты, которымъ сама еще такъ недавно кадила ѳиміамомъ благовоннѣйшихъ похвалъ. Если въ ея глазахъ и самъ Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, то кто же бы изъ другихъ могъ не отстать отъ него? И потому всѣ отстали, всѣ исписались или выписались, всѣ кромѣ ея, «критики съ высшими взглядами»... А между тѣмъ если кто больше всѣхъ отсталъ, такъ это конечно она, верхоглядная критика, и если кто вовсе не думалъ отставать, такъ это конечно Пушкинъ. Но мы не будемъ слишкомъ нападать на романтическую критику, и если, правды ради, выскажемъ ея прегрѣшенія, то не скроемъ и заслугъ ея,— а она оказала большія заслуги общему дѣлу развитія. Она повалила множество ничтожныхъ авторитетовъ, въ геніальность которыхъ до нея вѣрили, какъ монголы вѣрятъ въ святость Далай-Ламы; она изгнала изъ литературы множество предразсудковъ самыхъ смѣшныхъ и самыхъ жалкихъ; она первая осмѣлилась сказать во всеуслышаніе, что можно быть въ одно и то же время и человѣкомъ, и прекраснымъ отцомъ семейства, образцомъ нравственности, словомъ, —всячески почтеннымъ и заслуженнымъ человѣкомъ и—кропать плохіе стихи, сочинять дрянные романы; что званія и должности должны уважаться, но никакъ не должны бездарности давать права, принадлежащія одному таланту, и что стихи или проза почтеннаго человѣка — совершенно различные предметы, такъ что хула на стихи или прозу его нисколько не есть хула на его личность или званіе. Все это теперь похоже на истины вродѣ той, что зимою бываетъ холодно, а лѣтомъ тепло; но тогда—это было другое дѣло, и нужно было много любви къ истинѣ и благородной смѣлости, чтобъ рѣшиться два раза

въ мѣсяцъ и говорить эти истины, и примѣнять ихъ къ дѣлу. Было время, когда Мерзляковъ не зналъ, куда дѣваться отъ всеобщаго негодованія, которое возбудили его смѣлыя статьи противъ Хераскова. И даже во время Пушкина,—это помнимъ и мы,—выходки противъ Сумарокова многими принимались съ суевѣрнымъ ужасомъ, какъ въ степяхъ Средней Азіи были бы приняты хулы на Далай-Ламу. Теперь о талантѣ можно всякому судить, какъ угодно: если вы судите ложно, и Пушкина называете бездарнымъ писакой, а какого-нибудь новаго Тредьяковскаго—геніальнымъ писателемъ,—въ этомъ всѣ увидятъ только ваше невѣжество и безвкусіе, а не дерзость, не буйство, не безнравственность. И этимъ прогрессомъ мы обязаны блаженной памяти романтической критикѣ: и это ея неотъемлемая, неоспоримая заслуга, за которую ей честь и слава. Романтическая критика явилась въ такія баснословныя, такія миѳическія времена русской литературы, какъ будто-бы это было назадъ тому тысячу лѣтъ, хотя это было не болѣе двадцати пяти лѣтъ назадъ. Судите сами—и дивитесь: въ то блаженное и приснопамятное время молодой человѣкъ, желавшій дѣйствовать на литературномъ поприщѣ, долженъ былъ сперва втереться въ гостиную какого-нибудь знаменитаго писателя, прославившагося нѣсколькими мадригалами и прозаической статьей о ничемъ, напечатанной лѣтъ пятнадцать назадъ; въ гостиной нашъ кандидатъ въ писатели долженъ былъ прислушиваться къ литературнымъ толкамъ «знаменитыхъ и опытныхъ» литераторовъ, чтобъ научиться здраво судить о литературѣ, т. е. научиться повторять чужія слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и позапастись приличіемъ и хорошимъ тономъ. Выдержавъ первый искусъ, онъ въ одинъ прекрасный вечеръ робко, съ замираніемъ сердца, объявлялъ почтенному собранію, что онъ смастерилъ басенку, пѣсенку, мадригалъ, сонетецъ или что-нибудь въ этомъ родѣ, и что при сочиненіи своей пьесы онъ подражалъ такому-то (тогда сочинять значило подражать, а сочиняя не подражать или сочинять не подражая —значило буйствовать и вольнодумничать). Почтенное собраніе благосклонно соизволяло выслушать первый опытъ юнаго піиты, потомъ начинало дѣлать свои замѣчанія о томъ, что хорошо и что нехорошо въ пьесѣ. Сколько головъ, столько и умовъ: вслѣдствіе этой аксіомы въ пьесѣ скромнаго піиты не оставалось почти ни одного незабракованнаго слова, и все осужденное онъ долженъ былъ перемѣнить или исключить. Это повторялось нѣсколько вечеровъ; наконецъ стихотвореніе объявлялось годнымъ для печати и помѣщалось въ журналѣ. Это было родомъ рыцарскаго посвященія, и съ той минуты новоставленникъ обязывался быть вѣрнымъ риторикѣ, фразамъ, піитическимъ вольностямъ, обязывался не имѣть своего сужденія до извѣстныхъ солидныхъ лѣтъ, а до тѣхъ поръ жить ходячими мнѣніями знаменитыхъ и опытныхъ литераторовъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ поборниковъ такъ называемаго романтизма разсказываетъ презабавный анекдотъ изъ этихъ временъ литературнаго патронажства: «Я помню, какъ однажды при мнѣ, въ обществѣ литераторовъ, читали стихи Пушкина «Къ Морю» (они тогда не были еще напечатаны и только что явились въ рукописи). Молодой человѣкъ, прочитавшій ихъ, застѣнчиво сказалъ, что это его произведеніе, и скромно просилъ совѣта, что̀ ему исправить, и вообще можно ли напечатать ихъ. Пошли толки! Одинъ говорилъ то, другой другое; мнимый авторъ все отмѣчалъ, записывалъ, выслушалъ рѣшительный приговоръ, что стихи недурны, но безъ исправленія печатать ихъ нельзя, и вдругъ объявилъ, что это—стихи Пушкина. «Вообразите, какіе длинные носы приросли къ носамъ всѣхъ совѣтниковъ!» Вотъ какія были это времена! И со всѣмъ этимъ романтическая критика боролась смѣло, отважно, неутомимо, и все это она побѣдила.

Надо еще сказать, что эта критика имѣла что-то вродѣ самобытнаго мнѣнія, не чужда была эстетической образованности и вкуса, наскоро читала все, что̀ писалось за-границею, и наскоро перелистывала во французскихъ переводахъ почти всѣхъ европейскихъ писателей. Это давало ей огромный перевѣсъ надъ людьми стараго поколѣнія, которые были хорошо знакомы только съ французскими писателями XVII и XVIII вѣка, глазами которыхъ смотрѣли на писателей Германіи и Англіи, но сами ихъ никогда не читали или читали въ водяныхъ французскихъ переводахъ того же XVIII вѣка. Такимъ образомъ ложная мысль, что искусство есть украшенное подражаніе изящной (а не низкой) природѣ, и что сочинять значитъ подражать какому-нибудь прославленному писателю, особенно изъ древнихъ, — эта ложная мысль была первымъ и главнымъ догматомъ ихъ эстетическаго корана. Романтическая критика въ особенности устремилась на подражаніе,—и если теперь поставить въ заглавіи своего сочиненія: подражаніе тому-то или такому-то, значитъ заранѣе убить свою книгу, лишивъ ее читателей (такъ же, какъ прежде значило—заранѣе расположить и критику, и публику въ пользу своей книги);

это дѣло—заслуга романтической критики. Такъ называемые русскіе классики больше всего боялись имѣть какое-нибудь свое собственное оригинальное мнѣніе и больше всего старались думать и говорить, какъ думали и говорили прежде ихъ и какъ думали и говорили въ ихъ время всѣ: романтическая критика сдѣлала то, что теперь каждый скорѣе рѣшится высказать странное мнѣніе, нежели повторить чужое. О движеніи современныхъ европейскихъ литературъ классики не имѣли никакого понятія: романтическая критика посвоему слѣдила за нимъ и озадачивала классиковъ новыми именами и новыми идеями.

Повторяемъ: всѣ эти заслуги романтической критики важны и велики; но этимъ только онѣ и оканчиваются, тогда какъ она претендовала на что-то гораздо важнѣйшее и большее. Такъ называемые ея «высшіе взгляды» были ничѣмъ инымъ, какъ верхоглядствомъ; ея многосторонность и всевѣдѣніе — эклектическимъ энциклопедизмомъ; ея философія—ошибочно понятыми и невѣрно повторенными чужими рѣчами. Явившись въ эпоху чисто переходную, когда гораздо легче было все отрицать, нежели что-нибудь утверждать въ области русской литературы, обладая болѣе практической, нежели теоретической способностью дѣйствовать, и не понявъ исторически умственнаго движенія въ современной Европѣ, —она все, дѣлавшееся въ европейскихъ литературахъ, цѣликомъ думали перенести въ русскую, и потому впала въ самыя смѣшныя ошибки. Французовъ, у которыхъ послѣ Декарта не было уже признаковъ философіи, какъ науки,—французовъ увлекъ эклектизмъ Кузена, и они добродушно признали этого краснобая великимъ философомъ. Русская романтическая критика въ этомъ исключительно французскомъ, слѣдовательно совершенно частномъ, явленіи увидѣла явленіе міровое, и когда даже наши доморощенные критики, понявъ нелѣпость эклектизма, начали посмѣиваться надъ Кузеномъ, а во Франціи онъ уже совершенно палъ,—романтическая критика тутъ-то и принялась съ особеннымъ усердіемъ кадить генію Кузена. Теперь уже не нужно объяснять, что эклектизмъ есть не философія, а чистое и прямое отрицаніе философіи, и что эклектическій философъ есть то же самое, что̀ холодный огонь или огненный холодъ, и что основаніе эклектизма, какъ ученія мертваго и неорганическаго, составляетъ мыслекрадство и шарлатанство. Послѣ того какъ Кузенъ переправилъ посмертныя сочиненія своего ученика Жоффруа и вписалъ въ нихъ похвалы себѣ и своей философіи, тогда какъ Жоффруа прямо отвергаетъ эклектизмъ какъ нелѣпость, и послѣ того, какъ эта шулерская продѣлка эклектическаго философа была печатно выведена наружу, кто же теперь не знаетъ, что Кузенъ шарлатанъ? Познакомившись съ новымъ историческимъ направленіемъ во Франціи, романтическая критика цѣликомъ перенесла идеи Гизо, Тьерри и Баранта о противоположности галльскаго элемента съ франкскимъ, какъ непосредственнаго источника всей послѣдующей исторіи Франціи, о борьбѣ общинъ съ феодализмомъ и важности средняго сословія въ новой европейской исторіи,—всѣ эти идеи, выведенныя изъ совершенно чуждыхъ намъ фактовъ, романтическая критика цѣликомъ перенесла въ исторію русскаго народа. Нападая на Карамзина, оспаривая его въ каждой строкѣ, она, бѣдная романтическая критика, и не замѣчала, какую смѣшную играла роль, отыскивая въ русской исторіи совершенно чуждый ей смыслъ и мѣряя ея событія совершенно чуждымъ ей аршиномъ. И мудрено ли, что факты въ ея исторіи остались тѣ же самые, какіе находятся въ исторіи Карамзина, съ прибавленіемъ неидущихъ къ дѣлу высокопарныхъ умствованій, взятыхъ на прокатъ у чужеземныхъ мыслителей, — и еще съ той разницей, что исторія Карамзина написана языкомъ блестящимъ, художественно обработаннымъ, хотя и искусственнымъ, а исторія романтической критики написана языкомъ пухлымъ, многорѣчивымъ, фразистымъ, темнымъ, неопредѣленнымъ—не по безграмотности романтической критики (въ которой ее тогда упрекали враги ея), а по неопредѣленности идей, невольно отразившейся и въ языкѣ. Карамзинъ увлекся идеей московскаго царства, созданнаго Іоанномъ III, какъ высочайшимъ идеаломъ государства; кто можетъ раздѣлять этотъ энтузіазмъ Карамзина, тотъ въ его исторіи найдетъ именно то, чего въ ней должно искать и что̀ въ ней дѣйствительно есть, потому что Карамзинъ со всей добросовѣстностью, во всей истинѣ исполнилъ свое дѣло, не искажая ни одного изъ фактовъ. Романтическая критика въ своей исторіи, волей или неволей, показала то же московское царство (потому что противъ очевидности фактовъ нечего дѣлать), но только съ какими-то теоретическими аттрибутами, которые относились къ нему, какъ масло къ водѣ.

Далѣе: романтическая критика, узнавъ, что во Франціи закипѣла война между классицизмомъ и романтизмомъ, обѣими руками уцѣпилась за слово «романтизмъ» и сдѣлала его альфой и омегой всякой мудрости, отвѣтомъ на всѣ вопросы. А между тѣмъ во Франціи, думая спорить о классицизмѣ

и романтизмѣ, въ сущности-то спорили о литературной свободѣ, стѣсненной до уродства писателями XVII и XVIII вѣка. Въ свое время во Франціи была своя романтическая поэзія, которая называлась провансальской. Кончилось рыцарство — кончился и романтизмъ. Корнель и Расинъ были поэтами ново-монархическаго, а не феодальнаго общества. Послѣ революціи Шатобріанъ явился представителемъ подновленнаго ради текущей потребности романтизма; тѣмъ же явился во время реставраціи Ламартинъ. Съ ними ожилъ на минуту гальванически воскрешенный романтизмъ; но чахоточное чадо скончалось гораздо прежде своихъ здоровыхъ родителей. Кромѣ этихъ двухъ писателей, въ новой Франціи не было ни одного нео-романтика. Но наша романтическая критика думала видѣть романтиковъ во всѣхъ новыхъ французскихъ писателяхъ, не разсмотрѣвъ въ ихъ направленіи чисто отрицательнаго и чисто общественнаго, и потому уже нисколько не романтическаго характера. Особенно видѣла она и романтика, и великаго генія въ Викторѣ Гюго,—этомъ поэтѣ, который, не будучи лишенъ поэтическаго таланта, совершенно лишенъ чувства истины, и который, силясь стать выше самого себя, выше своихъ средствъ, дошелъ до крайнихъ предѣловъ натянутости и неестественности. Быстро выросши до облаковъ, его колоссальная слава скоро и испарилась вмѣстѣ съ этими облаками. Въ Германіи такъ называемое романтическое движеніе было ничѣмъ инымъ, какъ литературной оппозиціей протестантизму,—и о романтизмѣ и среднихъ вѣкахъ больше всего хлопоталъ перешедшій въ католицизмъ Шлегель. Такое же движеніе въ пользу католицизма было частью и во Франціи. Не понявъ этого столь исключительнаго явленія, объясняемаго несовсѣмъ литературными причинами,—наша романтическая критика объявила Шлегелей и Экштейна великими геніями, представителями философскихъ понятій объ искусствѣ и лучшими критиками нашего времени. Гдѣ теперь эти геніи, эти маленькіе великіе люди, которымъ удалось разыграть замѣтную роль въ переходный моментъ? — ихъ эфемерное существованіе кончилось съ породившимъ ихъ моментомъ. Наша романтическая критика, преклоняясь передъ Кузеномъ, почитала своей обязанностью благоговѣть и передъ Шеллингомъ, объ ученіи котораго узнала она изъ французскихъ газетъ. Когда же заслышала она о Гегелѣ, ея время уже прошло, ей уже не подъ силу стало справляться, что̀ такое Гегель. Отставъ отъ времени, она рѣшилась объявлять отсталымъ все новое, съ чѣмъ уже нельзя ей было сладить. Такъ же начала она, съ роковой для нея эпохи тридцатыхъ годовъ, дѣйствовать и въ отношеніи къ русской литературѣ. Марлинскій у нея обогналъ вѣкъ, а Пушкинъ отсталъ отъ вѣка. Не желая отстать отъ Марлинскаго, она и сама принялась писать повѣсти. Это были преинтересныя повѣсти: въ нихъ вся сущность и вся цѣнность романтической критики. Можетъ-быть мы когда-нибудь поговоримъ особенно объ этихъ повѣстяхъ: предметъ и любопытенъ, и поучителенъ... «Вечера на Хуторѣ», это первое произведеніе Гоголя, столь оригинальное, столь свѣжее, столь наивное и исполненное жизни, романтическая критика встрѣтила бранью. Запоздалая, никѣмъ невнимаемая, безъ голоса, безъ кредита, романтическая критика и теперь еще не перестаетъ давать знать, что она все еще пишетъ, пишетъ... Что̀ же и какъ же она пишетъ? Кажется, все то же и все такъ же, какъ и прежде; да дѣло въ томъ, что все это только прежнія слова, но уже безъ увѣренности, безъ силы, безъ увлеченія, безъ жара, и притомъ слова одни и тѣ же, всѣмъ извѣстныя и всѣмъ давно уже наскучившія. Новаго въ ней одно, да и то, отъ частаго повторенія, сдѣлалось уже старо: это какая-то инстинктивная и закоренѣлая враждебность ко всему новому, исполненному силы и свѣжести. Такъ, она бранитъ постоянно Гоголя, Диккенса, доказывая, что ихъ постигнетъ участь Дюкре-дю Менилля. Явился Лермонтовъ—она бранитъ и его, и говоря объ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній: «И скучно, и грустно», восклицаетъ насмѣшливо: «и скучно, и грустно!». Вѣримъ, вѣримъ, что ей—отсталой романтической, ей—запоздалой верхоглядной критикѣ,—и скучно, и грустно сознавать свое безсиліе въ разумѣніи и чувствованіи всего новаго и юнаго! Но не однимъ этимъ ограничиваются ея подвиги: она пустилась въ мелкія компиляціи; она кропаетъ стишонки, надъ которыми во время оно такъ остроумно потѣшалась... Прежде она была самобытная критика, а теперь она—поставщица всякихъ статей и мнѣній, какія ни закажутъ ей, готовая къ услугамъ тѣхъ самыхъ людей, которые нѣкогда очень боялись ея...

Конечно все это «и скучно, и грустно», но въ то же время и понятно. Результата всякаго явленія должно искать въ самомъ этомъ явленіи. Мы уже говорили, что романтическая эпоха нашей литературы (отъ начала двадцатыхъ до половины тридцатыхъ годовъ) была эпохой переходной, въ которой непонятное старое отрицалось во имя еще менѣе понятнаго новаго, въ которой только увлекались и обольщались иде-

ями, но не проникались ими. Основаніе было и неглубокое, и непрочное; непосредственное чувство (часто очень вѣрное) принималось за сознательную мысль, практическая ловкость и сноровка и тактъ—за философское направленіе, за мыслительную созерцательность, наглядка—за изученіе. Слово «романтизмъ» всего лучше объясняетъ дѣло. Романтизмъ былъ попыткой подновить старое, воскресить давно умершее. Въ Германіи онъ былъ усиліемъ остановить потокъ новыхъ идей объ обществѣ и успѣхи знанія, основаннаго на чистомъ разумѣ. Во Франціи онъ былъ вызванъ, сперва какъ противодѣйствіе идеямъ переворота, потомъ какъ нравственная поддержка реставраціи. Обстоятельства его вызвали, и вмѣстѣ съ обстоятельствами онъ и исчезъ. Но къ намъ онъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ; правда, онъ изгналъ изъ нашей литературы стѣснительность и однообразіе формъ; но развѣ въ этомъ сущность романтизма? Романтизмъ это — переведенный на языкъ поэзіи піэтизмъ среднихъ вѣковъ, экзальтація рыцарства. Съ этимъ романтизмомъ насъ еще прежде познакомилъ Жуковскій, и однакожъ Жуковскаго никто не называлъ романтикомъ, хотя онъ въ тысячу разъ болѣе романтикъ, нежели Пушкинъ, котораго всѣ почитали творцомъ и представителемъ романтизма въ русской литературѣ. Вотъ ясное доказательство, что спорили, сами не зная хорошенько, о чемъ!

Сверхъ того даже и со стороны эстетической свободы такъ ли были далеки, какъ думали?—Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ!—У самыхъ отчаянныхъ нашихъ романтиковъ понимаемый въ ихъ смыслѣ романтизмъ былъ не больше, какъ тотъ же псевдоклассицизмъ, только расширенный и развязанный отъ узъ внѣшней формы. Мы очень хорошо помнимъ, что романтическая критика не разъ толковала о возможности эпической поэмы въ наше время: не тотъ же ли это псевдоклассицизмъ, для котораго поэма была высшимъ родомъ поэзіи, который сочинялъ «Генріады», «Петріады», «Россіады», чтобъ не отстать отъ грековъ и римлянъ? Нашъ романтизмъ видѣлъ великое созданье въ «Notre Dame de Paris», этомъ натянутомъ, ложномъ и всячески фальшивомъ, хотя и блестящемъ произведеніи,—и видитъ признакъ упадка вкуса въ романахъ Диккенса и произведеніяхъ Гоголя. А если вы захотите присмотрѣться къ «драматическимъ представленіямъ» нашего романтизма,—то увидите, что и они мѣсятся по тѣмъ же самымъ рецептамъ, по которымъ составлялись псевдо-классическія драмы и комедіи: тѣ-же избитыя завязки и насильственныя развязки, та-же неестественность, та-же «украшенная природа», тѣ-же образы безъ лицъ вмѣсто характеровъ, то-же однообразіе, та-же пошлость и то-же умѣнье. Даже въ иной передѣлкѣ «Гамлета» нельзя не увидѣть чисто Дюсисовскихъ понятій о трагедіи, только немного подновленныхъ,—и иной передѣлыватель «Гамлета» — тотъ же самый Дюси, только не XVIII, а XIX вѣка: разница въ покроѣ платья, а не въ идеѣ. А эти нападки, будто-бы, на мерзости романовъ Диккенса и, будто-бы, на сальности произведеній Гоголя,—не чистый-ли это классицизмъ XVIII вѣка? Наши романтики ушли отъ псевдо-классицизма гораздо меньше, нежели ушелъ отъ него Казиміръ-Делавинь—этотъ мнимый примиритель Расина съ Шекспиромъ, этотъ поэтическій академикъ-эклектикъ.

Мы помнимъ русскій романтизмъ въ самомъ разгарѣ его. Эпоха нашего сознанія сливается съ эпохой его торжества. Юношескому чувству нравилась его походка, его удальство, его гордое сознаніе своихъ успѣховъ. Жадно перечитывая и даже переписывая всякое вновь появлявшееся стихотвореніе Пушкина, мы почти съ такимъ же восторгомъ хватались за все, что выходило изъ-подъ пера Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Подолинскаго, Веневитинова, Полежаева, Давыдова, Козлова, Туманскаго, Хомякова... e tutti quanti. Все было хорошо, все нравилось, все восхищало. Но болѣе всего послѣ Пушкина интересовали насъ, какъ и всѣхъ, стихотворенія Баратынскаго, Веневитинова, Полежаева и Языкова. Послѣдній стоялъ въ нашемъ сознаніи едва ли не первымъ послѣ Пушкина. Но время шло, и мы шли за нимъ; декораціи перемѣнились; послѣ того много промелькнуло новыхъ именъ, много появилось надѣлавшихъ большого шума сочиненій, и одни изъ нихъ, очень немногія, удержали за собой свою знаменитость, но большая часть исчезла навсегда... И вотъ теперь эта блестящая дружина талантовъ, такъ очаровывавшихъ наше юношеское вниманіе, уже дождалась потомства, хотя многіе изъ нихъ еще живы и даже не стары; дождалась потомства, потому что между эпохой ея блестящаго успѣха и между нашимъ временемъ легла цѣлая бездна... Веневитиновъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ книжечку стиховъ и книжечку прозы: въ той и другой видны прекрасныя надежды, какія подавалъ этотъ юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны; но ничего опредѣленнаго не представляетъ ни та, ни другая. Короче, это прекрасная надежда, разрушенная смертью.—Полежаевъ умеръ жертвой богатыхъ, но не уравненныхъ даровъ природы: все доброе въ немъ было

вмѣстѣ и зломъ, и отравой его жизни. Поэзія его есть полное выраженіе личности: это смѣсь вкуса съ безвкусіемъ, таланта съ неразвитостью, геніальныхъ проблесковъ съ пошлостью, силы безъ мѣры и гармоніи, словомъ, что-то прекрасное и вмѣстѣ дикое, неопредѣленное. — Поэзія Козлова была скорбью личнаго несчастья поэта; Козловъ былъ поэтомъ не по призванію, а по несчастью. Такіе поэты бываютъ всегда однообразны и нравятся, пока къ нимъ не привыкнешь. «Чернецъ» былъ прочитанъ еще въ рукописи цѣлой Россіей; но это не былъ успѣхъ «Горя отъ ума»: это былъ успѣхъ «Бѣдной Лизы». Козловъ переводилъ Байрона, но, переводя, онъ сообщалъ ему колоритъ своего собственнаго вдохновенія и силу Байрона превращалъ въ простое чувство унылости. Въ мелкихъ стихотвореніяхъ Козлова есть мелодія стиха, но содержаніе ихъ однообразно и не довольно существенно. — Летучія стихотворенія Давыдова — бивуачныя импровизаціи. Давыдовъ и въ поэзіи былъ партизаномъ, какъ на войнѣ. Нельзя лучше его успѣть въ поэзіи, занимаясь ею между прочимъ, какъ однимъ изъ наслажденій жизни.—Дельвигъ своею поэтической славой былъ обязанъ больше дружескимъ отношеніямъ къ Пушкину и другимъ поэтамъ своего времени, нежели таланту. Это была прекрасная личность, которую любили всѣ близкіе къ ней; Дельвигъ любилъ и понималъ поэзію не въ однихъ стихотвореніяхъ, но и въ жизни, и это - то ошибочно увлекло его къ занятію поэзіей, какъ своимъ призваніемъ; онъ былъ поэтическая натура, но не поэтъ.—Давно уже Подолинскій сталъ писать все рѣже и рѣже, а наконецъ и совсѣмъ пересталъ. Что̀ это значитъ? неужели прежде времени потухло священное пламя вдохновенія? Мы думаемъ, Подолинскій почувствовалъ самъ, что онъ сдѣлалъ все, что̀ могъ сдѣлать, написалъ все, что̀ могъ написать. Онъ пробовалъ писать, когда уже прошло его время, но вѣроятно увидѣлъ, что у него выходитъ то же самое, что̀ было имъ давно уже написано, а попытки въ другомъ тонѣ вѣроятно ему не удавались. У Подолинскаго былъ талантъ, и прекрасный; но, по нашему мнѣнію, ни одинъ поэтъ этой эпохи не выразилъ своими сочиненіями такъ опредѣленно и ясно, до какой степени бѣдна... какъ бы это сказать? бѣдна сущностью эта эпоха. Возьмите прежнія стихотворенія Подолинскаго: прекрасно, а какъ-то утомительно. Удивительно ли, что теперь о нихъ совсѣмъ не говорятъ, какъ будто бы ихъ и не было? А лѣтъ пятнадцать назадъ появленіе новаго стихотворенія, новой поэмы Подолинскаго было фактомъ текущей русской литературы. — Туманскій писалъ немного, и только въ элегическомъ родѣ; въ его стихахъ много чувства и души; въ свое время стихотворенія его имѣли достоинство, и когда прошло ихъ время, они перестали являться вновь.

Призваніе Баратынскаго было на рубежѣ двухъ сферъ: онъ мыслилъ стихами, если можно такъ выразиться, не будучи собственно ни поэтомъ въ смыслѣ художника, ни сухимъ мыслителемъ. Стихотворенія его не были ни стихотворнымъ резонёрствомъ, ни художественными созданіями. Дума всегда преобладала въ нихъ надъ непосредственностью творчества. Почти каждое стихотвореніе Баратынскаго было порождаемо не стремленіемъ осуществить идеальныя видѣнія фантазіи художника, но необходимостью высказать скорбную мысль, навѣянную на поэта созерцаніемъ жизни. Эта мысль или, лучше сказать, эта дума всегда такъ тепла, такъ задушевна въ стихахъ Баратынскаго; она обращается къ головѣ читателя, но доходитъ до нея черезъ его сердце. Въ думѣ Баратынскаго много страдательнаго, въ обоихъ значеніяхъ этого слова, и въ томъ, что въ ней слышится страданіе, и въ томъ, что эта мысль не активная, а чисто пассивная. Она—всегда вопросъ, на который поэтъ отвѣчаетъ только скорбью; никогда этотъ вопросъ не разрѣшается у него въ отвѣтъ самодѣятельностью мысли, въ вопросѣ заключенной. Читая стихи Баратынскаго, забываешь о поэтѣ, и тѣмъ болѣе видишь передъ собой человѣка, съ которымъ можешь не согласиться, но которому не можешь отказать въ своей симпатіи, потому что этотъ человѣкъ, сильно чувствуя, много думалъ, слѣдовательно жилъ, какъ не всѣмъ дано жить, но только избраннымъ. Его скорбь была у него не въ фантазіи, а въ сердцѣ; фантазія же только давала жизнь и форму его скорби; и сердце не рождало его скорби, но только принимало ее отъ его головы. Стихъ Баратынскаго запечатлѣнъ одушевленіемъ и чувствомъ; иногда онъ не лишенъ даже силы выраженія; словомъ, въ стихѣ Баратынскаго есть поэзія, но какъ его второстепенное качество, и оттого онъ не художественъ. Къ недостаткамъ стиха Баратынскаго принадлежитъ мѣстами прозаичность, мѣстами неточность выраженія. Вообще поэзія Баратынскаго—не нашего времени; но мыслящій человѣкъ всегда перечтетъ съ удовольствіемъ стихотворенія Баратынскаго, потому что всегда найдетъ въ нихъ человѣка —предметъ вѣчно интересный для человѣка. Въ послѣднее время Баратынскій писалъ очень мало; въ его «Сумеркахъ» есть нѣсколько истинно прекрасныхъ пьесъ; по-

являвшіяся затѣмъ стихотворенія его довольно слабы. Онъ сдѣлалъ все, что̀ могъ сдѣлать для литературы; но, оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбимъ о потерѣ не только поэта, но и человѣка: въ Баратынскомъ оба эти имени слились нераздѣльно...

Теперь намъ остается поговорить о двухъ поэтахъ Пушкинской эпохи: объ одномъ, котораго слишкомъ превозносили близкіе къ нему люди и которымъ восхищалась вся Россія,—о Языковѣ, и о другомъ, котораго превозносятъ теперь близкіе къ нему люди, но о которомъ публика и въ то время едва знала,—о Хомяковѣ. Какъ нарочно въ прошломъ году вышли стихотворенія того и другого, слѣдовательно они сами просятся въ нашу статью, предметъ которой—обозрѣніе всей русской литературы въ 1844 году.

Стихотворенія Языкова и Хомякова вышли въ маленькихъ книжкахъ, обѣ съ оригинальнымъ титуломъ: «HS Стихотвореній Н. М. Языкова»—«КЕ Стихотвореній А. С. Хомякова». Заглавіе по счету стихотвореній, счетъ славянскими цифрами, киноварью оттиснутыми,—оригинально, хотя и некрасиво! Въ одной книжкѣ 56, въ другой 25 стихотвореній; хорошаго понемножку!.. Начнемъ съ пятидесятишести; но прежде скажемъ нѣсколько словъ о томъ времени, когда этихъ стихотвореній было написано цѣлыхъ стошестнадцать...

Это было необыкновенно оригинальное время, читатели! Даже сочиненія самого Пушкина, написанныя въ это время, большей частью весьма рѣзко отличаются отъ его же сочиненій, написанныхъ послѣ. Но Пушкинъ смѣло перешагнулъ черезъ границу и своихъ тридцати лѣтъ, по поводу которыхъ онъ такъ поэтически распрощался съ своей юностью въ VI-й главѣ «Онѣгина», вышедшей въ 1828 году, и черезъ границу критическихъ для русской литературы тридцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Но онъ перешагнулъ черезъ нихъ, какъ мы замѣтили выше, болѣе посредствомъ своего огромнаго художническаго таланта, нежели сознательной мысли. На первыхъ его сочиненіяхъ, несмотря на все превосходство ихъ передъ опытами двухъ поэтовъ его эпохи, слишкомъ замѣтенъ отпечатокъ этой эпохи. Поэтому не удивительно, что Пушкинъ видѣлъ вокругъ себя все геніевъ, да талантовъ. Вотъ почему онъ такъ охотно упоминалъ въ своихъ стихахъ о сочиненіяхъ близкихъ къ нему людей и даже въ особыхъ стихотвореніяхъ превозносилъ ихъ поэтическія заслуги:

Такъ *нашъ* Катенинъ воскресилъ
Корнеля геній величавый;
Тамъ вывелъ колкій Шаховской
Своихъ комедій шумныхъ рой...

Увы! гдѣ же этотъ величавый геній Корнеля, воскрешенный на русскомъ театрѣ Катенинымъ?—объ этомъ ровно ничего не знаемъ ни мы, ни русская публика... Гдѣ шумный рой комедій?—разлетѣлся, разсѣялся и—забытъ! Кто не помнитъ гекзаметровъ Пушкина, въ которыхъ онъ говоритъ, что Дельвигъ возрастилъ на снѣгахъ Ѳеокритовы нѣжныя розы, въ желѣзномъ вѣкѣ угадалъ золотой,—что онъ молодой славянинъ, духомъ грекъ, а родомъ германецъ! Или кто не знаетъ этихъ стиховъ къ Баратынскому на счетъ его «Эды»:

Стихъ каждый повѣсти твоей
Звучитъ и блещетъ какъ червонецъ.
Твоя чухоночка, *ей-ей,*
Гречанокъ Байрона милѣй,
А твой Зоилъ — прямой чухонецъ.

Какъ не сказать, что если всѣ безпрекословно согласятся съ послѣднимъ стихомъ, то едва ли кто согласится съ третьимъ и четвертымъ? Но чтобъ показать дѣло во всей его ясности, выпишемъ посланіе Пушкина къ Языкову:

Языковъ, кто тебѣ внушилъ
Твое посланье *удалое?*
Какъ ты шалишь и какъ ты милъ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое *буйство молодое!*
Нѣтъ, не кастальскою водой
Ты воспоилъ свою Камену;
Пегасъ иную Иппокрену
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пѣнится *хмѣльною брагой;*
Она *разымчива,* пьяна.
Какъ сей напитокъ благородный,
Сліянье рому и вина,
Безъ примѣси воды негодной,
Въ Тригорскомъ *жаждою свободной,*
Открытый въ наши времена.

Это было писано въ лѣто отъ Р. Х. 1827-е,—и тогда намъ, какъ и всѣмъ, очень нравилось, а теперь мы, какъ и всѣ, спрашиваемъ самихъ себя: неужели это намъ нравилось и какъ же это намъ нравилось? Что̀ такое: «удалое посланіе», и почему же это только удалое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не ухарское, не забубенное? Что̀ такое — «буйство молодое»?—Въ «Словѣ о Полку Игоревѣ» слова: буй и буесть употреблены въ смыслѣ храбрый, сильный, храбрость, богатырство; но въ наше время буйство означаетъ только ту добродѣтель, за которую сажаютъ въ тюрьму. И потомъ: что̀ за эпитетъ—молодое буйство? «Хмѣльная брага»—напитокъ, который сами наши поэты вѣроятно замѣняли или англійскимъ портеромъ, или кроновскимъ пивомъ. Эпитетъ «разымчивый» происходитъ отъ глагола разнимать, разбирать; о пьяныхъ говорятъ: экъ его разнимаетъ, экъ разбираетъ.—Что̀ такое «сво-

бодная жажда» — рѣшительно не понимаемъ.

А между тѣмъ было время, когда всѣ этимъ восхищались, не вникая слишкомъ строго въ смыслъ. Въ это золотое время быть поэтомъ — значило быть древнимъ полубогомъ. И потому всѣ бросились въ поэты. Стишки были въ страшной модѣ: ихъ читали въ книгахъ, изъ книгъ переписывали въ тетрадки. Молодые люди бредили стихами, и чужими, и своими; «барышни» были отъ стиховъ безъ ума. «Дѣва, луна, она, къ ней, золотая нѣнь, мечта, буйное разгулье, разочарованіе», но въ особенности дѣва и луна сдѣлались постоянными темами, на которыя наши поэты въ запуски варіировали свои невинныя упражненія въ стихотворствѣ. Это было полное торжество самой безкорыстной любви къ искусству и литературѣ. Лишь появится, бывало, стихотвореніе, — критики и рецензенты о немъ пишутъ и спорятъ между собой; читатели говорятъ и спорятъ о немъ. Бывало, убить нѣсколько вечеровъ на споръ о стихотвореніи ничего не стоило. Да, это былъ золотой вѣкъ Астреи для стиховъ! поэты и читатели жили въ Аркадіи. Литературу любили для литературы, стихи любили для стиховъ, риѳмы—для риѳмъ, а совсѣмъ не для того смысла или того значенія, которое было (если только было) въ стихахъ и риѳмахъ. Теперь не то: въ нашъ корыстный вѣкъ люди до того развратились, что никто не дастъ даромъ своей статьи въ журналъ — изъ чести видѣть въ печати свое имя. Теперь многіе пишутъ только для денегъ, въ полномъ убѣжденіи, что это гораздо умнѣе и приличнѣе для взрослаго человѣка, нежели писать изъ безкорыстнаго стремленія прославить свое имя въ кругу своихъ пріятелей или плохими сочиненіями дѣйствовать въ пользу отечественной словесности. Люди съ талантомъ и призваніемъ пишутъ теперь изъ желанія высказаться и за свои труды хотятъ брать деньги, чтобъ имѣть возможность вполнѣ посвятить себя литературѣ. И только немногія праведныя души прошли чистыми чрезъ мутный потокъ времени и сохранили цѣломудріе и наивность романтической эпохи. Уже не воспоминая съ умысломъ о томъ, что они тогда кропали стишонки, которыми пріобрѣли себѣ большую извѣстность,— они тѣмъ не менѣе любятъ сшивать жиденькія печатныя тетрадки, набивая ихъ разнымъ невиннымъ вздоромъ въ стихахъ и прозѣ, приправляя запоздалыми сужденіями о литературѣ и устарѣлыми фразами о безкорыстной любви къ литературѣ... Счастливые люди! имъ все кажется, что ихъ время или еще не прошло, или опять скоро настанетъ.

Въ это-то время явился Языковъ. Несмотря на неслыханный успѣхъ Пушкина, Языковъ въ короткое время успѣлъ пріобрѣсти себѣ огромную извѣстность. Всѣ были поражены оригинальной формой и оригинальнымъ содержаніемъ поэзіи Языкова, звучностью, яркостью, блескомъ и энергіей его стиха. Что въ Языковѣ дѣйствительно былъ талантъ, объ этомъ нѣтъ и спора; но пора уже разсмотрѣть, до какой степени были справедливы заключенія публики того времени объ оригинальности поэзіи и достоинствѣ стиха Языкова.

Начнемъ съ оригинальности. Паѳосъ поэзіи Языкова составляетъ поэзія юности! Теперь посмотримъ, какъ понялъ поэтъ поэзію юности, и попросимъ его самого отвѣчать на этотъ вопросъ.

Намъ было весело, друзья,
Когда мы лихо пировали,
Свободу нашего житья
И цѣлый міръ позабывали!
Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ кинутая лукомъ,
Они звучали яркимъ звукомъ
Разгульныхъ пѣсенъ и стекла;
Какъ искры брызжущія стали
На поединкѣ роковомъ,
Какъ очи свѣтлыя виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Въ этихъ стихахъ, такъ сказать, программа всей поэзіи Языкова. Но вотъ цѣлое стихотвореніе — «Кубокъ», представляющее апоѳеозу юности и любви поэта:

Восхитительно играетъ
Драгоцѣнное вино!
Сквозной пѣною играетъ,
Златомъ искрится оно!
Услаждающая влага
Оживитъ тебя всего:
Вспыхнутъ радость и отвага
Блескомъ взора твоего;
Самобытными мечтами
Загуляетъ голова,
И, какъ волны за волнами,
Изъ души польются сами
Вдохновенныя слова;
Строенъ, пышенъ міръ *житейской*
Развернется предъ тобой...
Много силы чародѣйской
Въ этой влагѣ золотой!
И любовь развеселяетъ
Человѣка, и она
Животворно въ немъ играетъ,
Столь же *сладостно* сильна;
Въ дни прекраснаго *расцвѣта*
Поэтическихъ заботъ (???),
Ей дѣятельность поэта
Дани дивныя несетъ;
Молодое сердце бьется,
То притихнетъ и дрожитъ,
То проснется, встрепенется,
Словно вспорхнетъ, взовьется
И куда-то улетитъ!
И, послушно, имя дѣвы
Станетъ въ *лики* чудныхъ словъ (???),
И сроднятся съ нимъ напѣвы
Вѣчно-памятныхъ стиховъ (!!!)!

Дѣва, радость, величайся
Рѣдкой славою любви,
Настоящему ввѣряйся
И мгновенія лови!
Горделивый и свободный
Чудно (?) *пьянствуетъ* (!) поэтъ!
Кубокъ взялъ: *душѣ угодны*
Этотъ образъ, этотъ цвѣтъ (?!),
Сълъ и налилъ; пхъ ласкаетъ
Взоромъ, словомъ и рукой;
Сразу кубокъ выпиваетъ
И высоко поднимаетъ,
И надъ *буйной* головой
Держитъ. Рѣчь его струится
Безмятежно весела,
А въ рукѣ еще таится
Жребій бреннаго стекла (*???!!!*).

Вотъ она—поэзія юности и любви поэта, по идеалу Языкова!... Чудно пьянствуетъ поэтъ: а что жъ тутъ чуднаго, кромѣ развѣ того, что и поэтъ такъ же можетъ пьянствовать, какъ и... приберите сами, читатели, къ нашему «и», кого вамъ угодно. Мы понимаемъ, что есть поэзія во всемъ живомъ, стало-быть, есть она и въ питьѣ вини; но никакъ не понимаемъ, чтобъ она могла быть въ пьянствѣ; поэзія можетъ быть и въ ѣдѣ, но никогда въ обжорствѣ. Пьютъ и ѣдятъ всѣ люди, но пьянствуютъ и обжираются только дикари. Подобное антиэстетическое направленіе нашъ поэтъ довелъ до того, что въ одномъ стихотвореніи, воспоминая о времени своего студенчества, говоритъ:

Ну, да! судьбою благосклонной
Во здравье было мнѣ дано
Той жизни *мило-забубенной*
Извѣдать крѣпкое вино.

Въ другомъ стихотвореніи, приглашая друзей на свою могилу, поэтъ восклицаетъ:

Во славу мнѣ, вы чашу круговую
Наполните блистательнымъ виномъ,
Торжественно пропойте пѣснь родную,
И *пьянствуйте* о имени моемъ.

Спрашивается: какимъ образомъ поэтъ съ дарованіемъ, человѣкъ образованный и принадлежащій къ одному изъ замѣтнѣйшихъ круговъ общества,—какимъ образомъ могъ онъ дойти до такой анти-эстетичности, до такой, выразимся прямѣе, тривіальности въ мысли, чувствѣ и выраженіи? — Не трудно объяснить это странное явленіе. До Пушкина наша поэзія была не только риторической, но и скучно-чопорной, приторно-сантиментальной. Она или воспѣвала надутыми словами разныя иллюминаціи, или перекладывала въ пухлыя фразы газетныя реляціи, а если вдавалась въ сферу частной жизни, то или жеманно сантиментальничала, или старалась прикинуться сладострастною на манеръ древнихъ. Нужна была сильная реакція этому риторическому направленію. Разумѣется, эта реакція должна была заключаться въ натурѣ, естественности и простотѣ какъ предметовъ, избираемыхъ поэзіей, такъ и въ выраженіи этихъ предметовъ. Понятно, что всѣ захотѣли быть народными, каждый по своему. Такъ, Дельвигъ началъ писать русскія пѣсни; Языковъ началъ брать слова и предметы изъ житейскаго русскаго міра, запѣлъ русскимъ удальцомъ. Но тутъ прогрессъ былъ только въ намѣреніи, а въ исполненіе забралась та же риторика, которая водянила и прежнюю поэзію. Пѣсни Дельвига были пѣснями барина, пропѣтыми будто-бы на мужицкій ладъ. Удаль Языкова была тоже удалью барина, который только въ стихахъ носилъ шапку, заломленную на бекрень, а въ самомъ дѣлѣ одѣвался, какъ одѣваются всѣ порядочные люди его сословія. Въ посланіи Пушкина къ Языкову, которое мы привели выше (и на которое должно смотрѣть, какъ на исключеніе между его стихотвореніями), упоминается о «хмѣльной брагѣ»: ясно, что поэтъ здѣсь только прикинулся пьющимъ этотъ напитокъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никогда не пилъ,—а прикинулся, чтобъ казаться народнымъ. Вообще о нравственности всѣхъ тогдашнихъ поэтовъ отнюдь не должно заключать по ихъ стихамъ въ честь вину и пьянству: въ этомъ случаѣ они риторически налыгали на себя небывальщину. Этого рода риторизмъ есть главная основа всей поэзіи Языкова. Всѣ его ухарскія и мило-забубенныя выходки, его молодое буйство и чудное пьянство явились въ печати не какъ выраженія дѣйствительности (чѣмъ должна быть всякая истинная поэзія), а такъ, только для «красоты слога», какъ говоритъ Маниловъ. Кстати о риторикѣ: перечтите его піесы: «Олегъ», «Евтапій», «Пѣсня короля Ренгера» *), «Ливонія», «Кудесникъ», «Новогородская пѣснь», «Усладъ», «Меченосецъ», «Аранъ», «Пѣснь Баяна»: что̀ такое все это, если не риторика, хотя и не лишенная своего рода изящества? Тутъ славяне полу-баснословныхъ временъ Святослава и русскіе XIII вѣка говорятъ и чувствуютъ, какъ ливонскіе рыцари, которые, въ свою очередь, очень похожи на нѣмецкихъ буршей; тутъ ни въ чемъ нѣтъ истины—ни въ содержаніи, ни въ краскахъ, ни въ тонѣ. А тамъ, гдѣ поэтъ говоритъ отъ себя, нѣтъ никакой истины въ чувствѣ, мысль придумана, произвольно кончена, стихъ блестящъ, бросается въ глаза, поражаетъ слухъ своей необыкновенностью, и читатель только до тѣхъ поръ признаетъ его прекраснымъ,

*) Эта пьеса есть подражаніе пьесѣ Батюшкова: *Пѣснь Гаральда Смѣлаго*. Вообще Языковъ не разъ подражалъ Батюшкову, какъ напримѣръ въ пьесѣ: *Мое Уединеніе* и въ другихъ.

пока не дастъ себѣ труда присмотрѣться и прислушаться къ нему.

Люди, несимпатизировавшіе съ романтической школой, попадали на нѣкоторыя стихотворенія Языкова за отсутствіе въ нихъ чувства цѣломудрія, за слишкомъ неприкрытое даже цвѣтами поэзіи сладострастіе. Мы такъ думаемъ, что эти пьесы также точно заслуживаютъ упрекъ за отсутствіе въ нихъ именно того, излишнее присутствіе чего въ нихъ такъ восхищало однихъ, такъ оскорбляло другихъ. Сладострастіе этихъ пьесъ холодное; это не болѣе, какъ шалость воображенія. Слѣдующая пьеса самого Языкова есть лучшая критика на всѣ его пьесы въ этомъ родѣ:

Ночь безлунная звѣздами
Убирала синій сводъ;
Тихи были зыби водъ;
Подъ зелеными кустами,
Сладко, дѣва-красота,
Я *сжималъ тебя руками;*
Я горячими устами
Цѣловалъ тебя въ уста;
Страстнымъ жаромъ подымались
Перси полныя твои;
Разлетаясь, разливались
Черныхъ локоновъ струи;
Закрывала, открывала
Ты лазурь своихъ очей;
Трепетала и вздыхала
Грудь, прижатая къ моей.
Подъ ночными небесами,
Сладко, дѣва-красота,
Я горячими устами
Цѣловалъ тебя въ уста...
Небесамъ благодаренье
Здравствуй, дѣва-красота!
То играло сновидѣнье,
Безтѣлесная мечта!

Когда муза Языкова прикидывается вакханкой,—въ ея безтѣлесномъ лицѣ блеститъ яркій румянецъ наглаго упоенія, но худо то, что этотъ румянецъ, если вглядѣться въ него, оказывается толстымъ слоемъ румянъ... Теперь объ оригинальномъ стихѣ Языкова: въ немъ много блеска и звучности; первый ослѣпляетъ, вторая оглушаетъ, и изумленный читатель, застигнутый врасплохъ, признаетъ стихъ Языкова образцовымъ. Первое и главное достоинство всякаго стиха составляетъ строгая точность выраженія, требующая, чтобъ всякое слово необходимо попадало въ стихъ и стояло на своемъ мѣстѣ, такъ чтобъ его никакимъ другимъ замѣнить было невозможно, чтобъ эпитетъ былъ вѣренъ и опредѣлителенъ. Только точность выраженія дѣлаетъ истиннымъ представляемый поэтомъ предметъ, такъ что мы какъ-будто видимъ передъ собой этотъ предметъ. Стихи Языкова очень слабы со стороны точности выраженія. Это можно доказать множествомъ примѣромъ. Вотъ нѣсколько:

Тѣ дни летѣли, какъ стрѣла,
Могучимъ кинутая лукомъ,
Они звучали *яркимъ звукомъ*
Разгульныхъ пѣсенъ и стекла;
Какъ искры брызжущія стали
На поединкѣ роковомъ,
Какъ очи, свѣтлыя виномъ,
Они плѣнительно блистали.

Что̀ такое «яркій звукъ разгульныхъ пѣсенъ?» Есть ли какая-нибудь точность и какая-нибудь образность въ этомъ выраженіи? И какъ могли «звучать дни?» И неужели искры только тогда плѣнительны, когда брызжутъ на роковомъ поединкѣ? И какое отношеніе имѣютъ эти страшныя искры къ веселой жизни поэта? Разберите все это строго, переведите всѣ эти фразы на простой языкъ здраваго смысла,—и вы увидите одинъ наборъ словъ, замаскированный кажущимся вдохновеніемъ, кажущейся красотой стиха...

Вспыхнутъ радость и отвага
Блескомъ взора твоего,

Неужели это поэтическій образъ?

Самобытными мечтами
Загуляетъ голова.

Что̀ за самобытныя мечты? развѣ—пьяныя?

Чудно пьянствуетъ поэтъ.

Что̀ жъ тутъ чуднаго?

Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смѣлыя кипятъ.

Что̀ за эпитетъ: прекрасно радуясь?

Ты вся мила, ты вся прекрасна,
Какъ пламенны твои уста;
Какъ безгранично сладострастна
Твоихъ объятій полнота!

Безгранично сладострастная полнота объятій: помилуйте, да этого «не хитрому уму не выдумать бы въ вѣкъ!...»

Здѣсь муза пѣсенъ полюбила
Мои словесныя дѣла.
Разнообразныя надежды
Я расточительно питалъ.
...Грозою *правой*
Ты *знаменито* ихъ пугнешь.

—

Тебѣ привѣтъ мой издалеча
Отъ москворѣцкихъ береговъ,
Туда, гдѣ *звонкихъ звономъ вѣча*
Монхъ пугалась ты стиховъ.

—

Товарищи, какъ думаете вы?
Для васъ я пѣлъ...
Нѣтъ, не для васъ! — Она меня хвалила,
Ей нравились *разгульный* мой *вѣнокъ,*
И младости заносчивая сила,
И пламенныхъ восторговъ кипятокъ.

—

Благословляю твой возвратъ
Изъ этой *нехристи* нѣмецкой
На Русь, къ святынѣ *москворѣцкой.*

Неточность, вычурность и натянутость всѣхъ этихъ выраженій и словъ, означенныхъ нами курсивомъ, слишкомъ очевидны и не требуютъ доказательствъ. Замѣтимъ только, что «нѣмецкая нехристь» есть выраженіе, уже оставляемое даже русскими мужичками, понявшими наконецъ, что нѣмцы вѣруютъ въ того же самаго Христа, въ Котораго и мы вѣруемъ; Языковъ тоже понимаетъ это—въ чемъ мы ручаемся за него; но какъ ему, во что̀ бы ни стало, надо быть народнымъ, и какъ поэзія для него есть только маскарадъ, то, являясь въ печати, онъ старается закрыть свой фракъ зипуномъ, поглаживаетъ свою накладную бороду и, чтобъ ни въ чемъ не отстать отъ народа, такъ и щеголяетъ въ своихъ стихахъ грубостью и чувствъ, и выраженій. По его мнѣнію, это значитъ быть н а р о д н ы м ъ! Хороша народность! Кому не дано быть народнымъ и кто хочетъ сдѣлатся имъ насильно, тотъ непремѣнно будетъ простонароднымъ или вульгарнымъ. У Языкова нѣтъ ни одного стихотворенія, въ которомъ не было бы хотя одного слова, некстати поставленнаго или изысканнаго и фигурнаго. Еслибъ приведенныхъ нами примѣровъ кому-нибудь показалось мало, или доказательства наши кому-нибудь показались бы неудовлетворительными,—мы всегда будемъ готовы представить и больше примѣровъ и придать нашимъ доказательствамъ бо́льшую убѣдительность и очевидность.. Правда, встрѣчаются у него иногда и весьма счастливые и ловкіе стихи и выраженія, но они всегда перемѣшаны съ несчастными и неловкими. Такъ напримѣръ, въ стихотвореніи «Пожаръ»:

Уже, осушены за Русь и сходки наши,
Высоко надъ столомъ *состукивались* чаши,
И разомъ кинуты *всей силою плеча,*
Скакали по полу дробясь и бренча.

Послѣдній стихъ хорошъ, но глаголъ «состукивались» какъ-то отзывается изысканностью, а выраженіе: «кидать всей силою плеча» совершенно ложно.

Картина пышная и грозная предъ нами:
Подъ *громоносными* ночными облаками,
Полнеба заревомъ багровымъ обхвативъ,
Шумѣлъ и вылъ огня блистательный разливъ.

Послѣдніе два стиха даже очень хороши; но эпитетъ «громоносными» во второмъ стихѣ не то, чтобъ неточенъ, а какъ-то отзывается общимъ мѣстомъ, и его вставка въ стихъ если чѣмъ нибудь оправдывается, такъ это развѣ необходимостью составить стихъ непремѣнно изъ шести стопъ. Въ томъ же стихотвореніи есть стихи:

Ты помнишь ли, какъ мы, на праздникѣ ночномъ,
Уже веселые и шумные виномъ,
Уже пьяные (?) и свѣтлые (!), кругами
Сидѣли у стола.

Что̀ за странный наборъ словъ!

Есть у Языкова нѣсколько стихотвореній очень недурныхъ, несмотря на ихъ недостатки, какъ напримѣръ: «Поэту», «Двѣ Картины», «Вечеръ», «Подражаніе псалму CXXXVI». Еще разъ: мы не думаемъ отрицать таланта въ Языковѣ, но хотимъ только опредѣлить объемъ этого таланта. Имя Языкова навсегда принадлежитъ русской литературѣ и не сотрется съ ея страницъ даже тогда, когда стихотворенія его уже не будутъ читаться публикой: оно останется извѣстно людямъ, изучающимъ исторію русскаго языка и русской литературы. Языковъ принесъ большую пользу нашей литературѣ даже самыми ошибками своими: онъ былъ смѣлъ, и его смѣлость была заслугой. Вычурныя выраженія, оскорбляющія эстетическій вкусъ, мнимая оригинальность языка, внѣшняя красота стиха, ложность красокъ и самыхъ чувствъ,—все это теперь уже сознано въ поэзіи Языкова и все это теперь уже не дастъ успѣха другому поэту; но все это было необходимо и принесло великую пользу въ свое время. Дотолѣ всякая мысль, всякое чувство, всякое выраженіе, словомъ, всякое содержаніе и всякая форма казались противными и эстетическому вкусу, если они не оправдывались, какъ копія образцовъ, произведеніемъ какого-нибудь писателя, признаннаго образцовымъ. Оттого писатели наши отличались удивительной робостью: всякое новое оригинальное выраженіе, родившееся въ собственной ихъ головѣ, приводило ихъ въ ужасъ; литература, въ свою очередь, отличалась скучнымъ однообразіемъ, особенно въ произведеніяхъ второстепенныхъ талантовъ. Чтобъ имѣть право писать не такъ, какъ всѣ писали, надо было сперва пріобрѣсти огромный авторитетъ. Такимъ образомъ первыя сочиненія Пушкина ужасали нашихъ классиковъ своеволіемъ мысли и выраженія. И потому смѣлыя, по ихъ оригинальности, стихотворенія Языкова имѣли на общественное мнѣніе такое же полезное вліяніе, какъ и проза Марлинскаго: они дали возможность каждому писать не такъ, какъ всѣ пишутъ, а какъ онъ способенъ писать, слѣдственно каждому дали возможность быть самимъ собою въ своихъ сочиненіяхъ. Это было задачей всей романтической эпохи нашей литературы,—задачей, которую она счастливо рѣшила.

Вотъ историческое значеніе поэзіи Языкова: оно немаловажно. Но въ эстетическомъ отношеніи общій характеръ поэзіи Языкова чисто риторическій, основаніе зыбко, пафосъ бѣденъ, краски ложны, а содержаніе и форма лишены истины. Главный ея недостатокъ составляетъ та холодность,

которую такъ справедливо находилъ Пушкинъ съ своемъ произведеніи—«Русланъ и Людмила». Муза Языкова не понимаетъ простой красоты, исполненной спокойной внутренней силы; она любитъ во всемъ одну яркую и шумную, одну эффектную сторону. Это видно во всякой строкѣ, имъ написанной; это онъ даже самъ высказалъ:

Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ *гремитъ и блещетъ*
Иного генія полетъ.

Повидимому поэзія Языкова исполнена бурнаго, огненнаго вдохновенія; но это не болѣе, какъ разноцвѣтный огонь отразившагося на льдинѣ солнца, это... но мы лучше объяснимъ нашу мысль собственными стихами Языкова:

. . . Такъ волна
Въ лучахъ свѣтила золотого
Блеститъ, кипитъ — но холодна!

Разсказывая въ удалыхъ стихотвореніяхъ болѣе всего о своихъ попойкахъ, Языковъ нерѣдко разсуждалъ въ нихъ и о томъ, что пора уже ему охмѣлиться и приняться за дѣло. Это благое намѣреніе или, лучше, эта охота говорить въ стихахъ объ этомъ благомъ намѣреніи сдѣлалась новымъ источникомъ для его вдохновенія, обратилась у него въ истинную манію и отъ частаго повторенія превратилась въ общее риторическое мѣсто. Обѣщанія эти продолжаются до сихъ поръ; всѣ давно знаютъ, что нашъ поэтъ давно уже охмѣлился; публика узнала даже (изъ его же стиховъ), что онъ давно уже не можетъ ничего пить, кромѣ рейнвейна и малаги; но дѣла до сихъ поръ отъ него не видно. Новыя стихотворенія его только повторяютъ недостатки его прежнихъ стихотвореній, не повторяя ихъ достоинствъ, каковы бы они ни были. Въ прошломъ 1844 году въ одномъ журналѣ было помѣщено предлинное стихотвореніе Языкова, въ которомъ онъ между прочимъ говоритъ:

Но вотъ въ Москвѣ я, слава Богу!
Уже не робко я гляжу
И на парнасскую дорогу —
Пора за дѣло мнѣ! Вину и кутежу
Уже не стану, какъ бывало,
Пѣть *вольнодумную* хвалу:
Потѣхи юности удалой
Не кстати были въ мнѣ; неюному челу
Не кстати рѣзвый плющъ и роза...
Пора за дѣло! Въ добрый путь!

Вотъ подлинно длинные сборы въ путь! Гдѣ жъ дѣло-то? Неужели эта крохотная книжечка съ пятьюдесятью стихотвореніями, изъ которыхъ большая половина старыхъ, имѣющихъ свой историческій интересъ, и меньшая половина новыхъ интересныхъ развѣ только какъ фактъ совершеннаго упадка таланта, нѣкогда столь превозносимаго? Перечтите напр. драгоцѣнное стихотвореніе, въ которомъ неуваженіе къ печати и грамотнымъ людямъ доведено до послѣдней степени: это—посланіе къ М. П. Погодину:

Благодарю тебя сердечно
За *подареньице* твое!
Мнѣ съ нимъ раздолье! Съ нимъ житье
Поэту! *Дивно — быстротечно*,
Легко пошли часы мои
Съ тѣхъ поръ, какъ ты меня *уважилъ!*
По стихотворчески я зажилъ,
Я въ духѣ! Словно, какъ ручьи
Съ высокихъ горъ на долы *злачны*
Бѣгутъ, игривы и *прозрачны*,
Бѣгутъ, сверкая и звеня
Свѣтлостеклянными струями,
При ясномъ небѣ, межъ цвѣтами
Весной: такъ точно у меня
Стихи мои, *проворно, мило*,
Съ пера бѣгутъ теперь; — и вотъ
Тебѣ, мой *явный* доброхотъ,
Стаканъ стиховъ (?!...): на, пей!—Что было—
Того уже намъ не воротить!
Да, братъ, теперь мои созданья
Не то, что въ пору волнованья
Надеждъ и мыслей [1]); — такъ и быть!
Они теперь — напитокъ трезвый [2]):
Давнымъ давно уже въ нихъ нѣтъ
Игры и силы прежнихъ лѣтъ,
Ни мысли пламенной и рѣзвой,
Ни *пьяно - буйнаго* стиха [3]),—
И недиковинное дѣло [4]):
Я самъ не тотъ уже (,) и смѣло
Въ томъ признаюсь: Кто безъ грѣха?
Но ты, ты *добрый и почтенный*,
Ты примешь ласковой душой
Напитокъ, поднесенный мной,
Хоть онъ безхмѣльный и *не пьяный* [5]).

Скажите, ради здраваго смысла: неужели это поэзія, «языкъ боговъ?» Вотъ чѣмъ разрѣшился романтизмъ двадцатыхъ годовъ! Впрочемъ и то сказать: «Отъ великаго до смѣшного только шагъ», по выраженію Наполеона: стало быть, отъ небольшого до смѣшного еще ближе!...

Это «дивно быстротечное» стихотвореніе, звенящее «свѣтлостеклянными» струями прѣсной и не совсѣмъ свѣжей воды, поднесенной въ стаканѣ «явному» доброхоту стихотворцемъ, «сдѣлавшимся въ духѣ» отъ «подареньица», которымъ «уважилъ» его «явный» доброхотъ,—это образцовое про-

---

[1]) Вотъ что̀ правда, такъ правда, хотя и выраженная прозаически, нескладно и съ грѣшкомъ противъ грамматики!...

[2]) То есть: вода?

[3]) Зачѣмъ продолжать печатать такія жалкія созданія, въ которыхъ нѣтъ не только поэзіи, но даже и *буйно-пьянаго* стиха?

[4]) Даже очень понятное!

[5]) Зачѣмъ же было не послать этого прѣснаго стакана въ рукописи тому, для кого онъ былъ назначенъ, — дѣло семейное и до публики не касающееся. Что̀ такое *не пьяное* вино? Должно быть не *пьяникъ*? иначе было бы сказано: не *пьянистое* вино.

явленіе заживо умершаго таланта, не напечатано въ числѣ завѣтныхъ 57-ми стихотвореній Языкова. Напрасно! отъ этого его книжечка много потеряла. По нашему, ужъ если печатать, такъ все, что̀ характеризуетъ и опредѣляетъ дѣятельность поэта; лучше было бы или совсѣмъ не издавать этой маленькой книжечки, въ которой литература ровно ничего не выиграла, или издать книжку побольше, которая была бы вторымъ изданіемъ изданныхъ въ 1833 году стихотвореній Языкова, съ прибавленіемъ къ нимъ всего написаннаго имъ послѣ, а между прочимъ и его прекрасной «Драматической Сказки объ Иванѣ Царевичѣ, Жаръ Птицѣ и о Сѣромъ Волкѣ», которая, по нашему мнѣнію, лучше всего, что̀ вышло изъ-подъ пера Языкова.

Муза Хомякова состоитъ въ близкомъ родствѣ съ музой Языкова, хотя и многимъ отъ нея отличается. Сперва о различіи: въ стихотвореніяхъ Языкова (прежнихъ) нельзя отрицать признака поэтической струи, которая болѣе или менѣе сквозитъ черезъ ихъ риторизмъ; въ стихотвореніяхъ Хомякова есть не только струя, но полный и блестящій талантъ — только отнюдь не поэтическій, а какой, мы скоро это скажемъ. Теперь о сродствѣ: мы показали выше, что шумливая, пѣнистая и кипучая, хотя въ то же время и холодная струя поэзіи Языкова была не изъ сердца—источника страстной натуры, а изъ головы, которая у людей еще чаще бываетъ источникомъ прихотей празднаго и фантазирующаго разсудка, нежели источникомъ разума, глубоко и вѣрно постигающаго дѣйствительность. Мы показали, что народность поэзіи Языкова, непросыпный хмѣль и пьяное буйство его музы, равно какъ и ея стремленія быть вакханкой, — все это было болѣе или менѣе искусственно и поддѣльно. Въ этой искусственности и поддѣльности Хомяковъ далеко опередилъ Языкова. Имѣя способность изобрѣтать и придумывать звучные стихи, онъ рѣшился употребить ее въ пользу себѣ, пріобрѣсти ею себѣ славу не только поэта, но и прорицателя, который проникъ въ дѣйствительность настоящаго и постигъ тайну будущаго и который гадаетъ на своихъ стихахъ не о судьбѣ частныхъ личностей (какъ это дѣлаютъ ворожеи на картахъ), но о судьбѣ царствъ и народовъ... Прочтите въ «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» Полевого сцены изъ трагедіи «Стенька Разинъ» (т. II. стр. 210—223) и сравните ихъ съ любыми сценами напримѣръ изъ «Ермака» Хомякова: вы увидите, что способность владѣть такимъ стихомъ, какимъ владѣетъ Хомяковъ, не имѣетъ ничего общаго съ талантомъ поэзіи, съ даромъ творчества. Стихи «Разина» ничѣмъ не хуже стиховъ «Ермака»; можно даже подумать, что тѣ и другіе писаны однимъ и тѣмъ же лицомъ. Ниже мы сравнимъ ихъ. Итакъ, Языковъ, владѣя стихомъ, для котораго все-таки нужно было кой-чего побольше простой способности располагать слова по правиламъ версификаціи, съ какой-то добродушной безпечностью, обличающей болѣе или менѣе поэтическую натуру, ограничился, изъ множества предметовъ, представлявшихся его уму, тѣмъ, что выбралъ какое-то удалое и пьяное буйство, какую-то будто бы вакханальную, но въ сущности прескромную и преневинную любовь. Хомяковъ, какъ болѣе свободный отъ всякаго внутренняго, непосредственнаго стремленія версификаторъ, выбралъ для своихъ стихотворческихъ занятій предметы гораздо повыше. Пушкинъ напримѣръ не выбиралъ, потому что поэтъ по призванію, поэтъ великій лишенъ не только права, даже возможности выбирать предметы для своихъ пѣснопѣній и давать своимъ твореніямъ произвольное направленіе: источникъ его вдохновенія есть его собственная натура, а его натура есть цѣлый, въ самомъ себѣ замкнутый міръ, который рвется наружу; задача поэта — вывести наружу, объектировать въ поэтическихъ образахъ свой собственный міръ, сущность своего собственнаго духа. Хомякому нельзя было не выбирать: онъ не былъ поэтомъ, и ему было все равно, что̀ бы ни пѣть. Онъ недолго думалъ—и рѣшился посвятить свои посильные труды на гимны старой, до-Петровской Руси. Намѣреніе похвальное, хотя и лишенное всякаго художественнаго такта, потому что живое современное всегда ближе къ сердцу поэта. Чтобъ довершить ошибку направленія, Хомяковъ рѣшился въ современной Россіи видѣть старую Русь. Не дивитесь, читатели: для Хомякова это было гораздо легче, нежели для насъ съ вами; люди простые, мы всѣ вещи видимъ такъ, какъ онѣ суть, или, если не можемъ увидѣть ихъ въ настоящемъ свѣтѣ, не считаемъ нужнымъ представлять ихъ въ ложномъ. Кто одаренъ способностью глубокаго, страстнаго убѣжденія, кто алчетъ и жаждетъ истины, тотъ можетъ заблуждаться; но ему, когда онъ сознаетъ свою ошибку, есть оправданіе въ ней: это страданіе всего его существа, потому что онъ убѣждается всѣмъ своимъ существомъ—и умомъ, и сердцемъ, и кровью, и плотью. Кто же, напротивъ, одаренъ счастливой способностью свободнаго выбора во всемъ, тому легко убѣждаться, въ чемъ ему угодно и на столько времени, на сколько ему заблагоразсудится — на годъ.

на два или на цѣлую жизнь; потому что вѣдь это прихоть или разсчетъ ума, а не убѣжденіе,—спокойное дѣйствіе головы, а не страстное сотрясеніе всей органической системы, не то чувство, которое заставило лермонтовскаго Мцыри сказать:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изрыла душу и сожгла.
. . . . . .
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Но мы отдалились отъ предмета — отъ стихотворствованія Хомякова. Возможностью выбирать и самимъ выборомъ своимъ онъ сталъ въ то самое выгодное положеніе, какого хотѣлъ себѣ: его многіе признали юнымъ поэтомъ, подающимъ о себѣ большія надежды въ будущемъ. Особенно обратилъ онъ на себя вниманіе двумя трагедіями: «Ермакъ» и «Димитрій Самозванецъ». Объ онѣ по ихъ назначенію—апоѳеоза старой Руси или московскаго царства; но ни въ одной изъ нихъ нѣтъ никакой Россіи, ни старой, ни новой, потому что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ ничего русскаго. «Ермакъ»—совершенно классическая трагедія, вродѣ трагедій Расина: въ ней казаки похожи на нѣмецкихъ буршей, а самъ Ермакъ —живая каррикатура Карла Моора. Французская классическая трагедія искажала грековъ и римлянъ, но этотъ недостатокъ выкупала своею національностью: ея греки и римляне были живые французы того времени. Въ тѣсныхъ, до китаизма искусственныхъ формахъ, она умѣла быть не только скучной и вялой, но мѣстами и страстной, поэтической, блестящей, отпечаткомъ необыкновеннаго таланта. Ничего этого нѣтъ въ «Ермакѣ»: нѣмецкіе бурши обидѣлись бы этой трагедіей, увидя въ ней карикатуру на себя, а для русскихъ отъ ней нѣтъ ни радости, ни горя, потому что въ ней нѣтъ ничего русскаго. Что же до стиховъ,—то вотъ чувствительный романсъ, который поетъ своей наперсницѣ Софьѣ Амаліи, этой пародіи на шиллеровскихъ «Разбойниковъ»—предметъ пламенной любви Ермака, злополучная Ольга:

«Зачѣмъ, скажи, твое стенанье
И безотрадная печаль?
Твой умеръ другъ, или изгнанье
Его умчало въ степь и даль?»
— Когда бъ онъ былъ въ странѣ далекой,
Я друга бы назадъ ждала,
И въ скорби жизни одинокой
Надежда тогда бы цвѣла.
Когда бъ онъ былъ въ могилѣ хладной,
Мои бы плакали глаза,
А слезы въ грусти безотрадной —
Небесъ вечерняя роса!
Но онъ преступникъ, онъ убійца;
О немъ и плакать мнѣ нельзя.
Ахъ, растворись моя гробница,
Раскройся тихая земля!

Теперь сравните съ этимъ романсомъ идеальной русской дѣвы XVI вѣка—эту романтическую пѣсню донского казака XVII столѣтія (изъ трагедіи «Стенька Разинъ»)—и рѣшите сами, въ которой изъ двухъ пьесъ стихи лучше:

Тихій Донъ, страна родная,
Первыхъ радостей пріютъ,
Гдѣ свобода золотая,
Гдѣ мечты мои живутъ.
Гдѣ пѣвецъ, безвѣстный въ мірѣ,
Вдохновеній тайныхъ полнъ,
Я ввѣрялъ несмѣлой лирѣ,
Въ челнокѣ, на лонѣ волнъ,
И мечты, и вдохновенье,
И любви мой идеалъ,
И въ горящемъ пѣснопѣньи
Всю природу обнималъ!
Помню, помню тѣ мгновенья,
Какъ пѣвецъ героемъ сталъ,
Саблей — радость вдохновенья,
Пулей — лиру замѣнялъ;
Какъ въ Азовскія твердыни,
Съ свистомъ ринулся свинецъ;
И въ далекія пустыни
Мчался юноша пѣвецъ;
На конѣ, съ мечомъ во длани,
Несся вихремъ по полямъ,
Громоноснымъ богомъ брани,
Смертью, гибелью врагамъ.

Въ «Димитріи Самозванцѣ» Хомяковъ обнаружилъ притязанія на историческое изученіе. Но историческое изученіе только тогда полезно для поэта, желающаго воспроизвести въ своемъ твореніи нравственную физіономію народа, когда въ самой натурѣ, въ самомъ духѣ этого поэта есть живое, кровное сродство съ національностью изображаемаго имъ народа. Такимъ поэтомъ былъ Пушкинъ, и потому онъ національналенъ не въ однихъ только тѣхъ своихъ произведеніяхъ, въ которыхъ изображаетъ русскую дѣйствительность. Этого рода національность дается не всякому, кто только вздумаетъ писать стихи или кто воображаетъ себя дѣйствительно проникнутымъ любовью къ своему родному. Чѣмъ поэтъ огромнѣе, тѣмъ онъ и національнѣе, потому что тѣмъ болѣе сторонъ національнаго духа доступно ему. Но бываютъ таланты односторонніе, не великіе, и вмѣстѣ глубоко, хотя и односторонне національные: таковъ былъ талантъ Кольцова, въ безыскусственныхъ звукахъ котораго высказывалась душа чисто-русская. Изученіе исторіи и нравовъ народа можетъ только усилить, такъ сказать, талантъ поэта, но никогда не дастъ оно ему чувства народности, если его не дала ему природа. Вотъ почему въ «Димитріи Самозванцѣ» видна болѣе или менѣе

ловкая поддѣлка подъ русскую народность, но нѣтъ ни одного истиннаго проблеска русской народности. Видимъ лица, видимъ событія, видимъ русскія слова, но не видимъ того, что̀ давало бы смыслъ, было бы ключомъ къ разгадкѣ этихъ лицъ и событій. Самозванецъ и Ляпуновъ Хомякова говорятъ, кажется, порусски, а между тѣмъ оба они—какіе-то романтическіе мечтатели двадцатыхъ годовъ XIX столѣтія, слѣдовательно нисколько не русскіе начала XVII вѣка. А между тѣмъ эта трагедія написана послѣ «Бориса Годунова» Пушкина!.. Мы сказали, что въ ней видна болѣе или менѣе ловкая поддѣлка подъ русскую народность; но какая разница между поддѣлкой русскаго поэта, Хомякова, подъ русскую народность— и поддѣлкой француза Меримé подъ народность пѣсенъ юго-западныхъ славянъ. Меримé не зналъ ни одного славянскаго языка, не былъ ни въ одной славянской землѣ, писалъ эти пѣсни во Франціи, руководствуясь только одной маленькой брошюрой и однимъ итальянскимъ сочиненіемъ, имѣющими нѣкоторое отношеніе къ пѣснямъ сербовъ, далматовъ, босняковъ и пр. Меримé сочинилъ эти пѣсни «pour se moquer de la couleur locale» и ввелъ въ заблужденіе Мицкевича и Пушкина, которые оба признали эти пѣсни подлинными, а послѣдній даже бо̀льшую часть ихъ переложилъ порусски превосходнѣйшими стихами.

Защитники Хомякова говорятъ, что драма —не его призваніе, что онъ—лирикъ. Изъ романса Ольги можо видѣть характеръ лиризма Хомякова. Прежде, чѣмъ быть лирикомъ, надо быть поэтомъ. Лиризмъ еще больше, нежели всякій другой родъ поэзіи, основывается на непосредственности теплаго сердечнаго чувства и не терпитъ холодныхъ головныхъ чувствъ, которыя выдаются за мысли, но которыя въ сущности такъ же относятся къ мыслямъ, какъ умъ къ умничанью, чувство—къ сантиментальности, щеголеватость—къизяществу. Посмотримъ на лиризмъ Хомякова въ его лирическихъ произведеніяхъ. Первое изъ нихъ, «Къ Иностранкѣ», можетъ служить образцомъ всего лиризма Хомякова:

Вокругъ нея очарованье,
Вся роскошь юга дышитъ въ ней,
Отъ розъ ей прелесть и названье,
Отъ звѣздъ полудня блескъ очей.
Прикованъ къ ней волшебной силой
Поэтъ восторженный глядитъ,
Но никогда онъ дѣвѣ милой
Своей любви не посвятитъ.
Пусть ей *понятны сердца звуки,*
Высокой думы красота,
Поэтовъ радости и муки,
Поэтовъ чистая мечта.
Пусть въ ней душа, какъ пламень ясный,
Какъ дымъ молитвенныхъ кадилъ,
Пусть ангелъ свѣтлый и прекрасный
Ее съ рожденья осѣнилъ;
Но ей чужда моя Россія,
Отчизны (*чьей?*) дикая краса,
И ей милѣй страны другія,
Другія лучше небеса.
Пою ей пѣснь родного края —
Она не внемлетъ, не глядитъ.
При ней скажу я: «Русь святая!»
И сердце въ ней не задрожитъ.
И тщетно лучъ живого свѣта
Изъ черныхъ падаетъ очей:
Ей *гордая душа* поэта
Не посвятитъ *души своей.*

Не будемъ говорить о томъ, что въ этомъ стихотвореніи нѣтъ ни одного поэтическаго выраженія, ни одного поэтическаго оборота, которые встрѣчаются даже въ стихотвореніяхъ Бенедиктова, риторизмъ которыхъ не чуждъ какой-то поэтической струйки; не будемъ доказывать, что все это стихотвореніе—наборъ модныхъ словъ и модныхъ фразъ, въ которыхъ прозаическая нищета чувства и мысли такъ и бросается въ глаза. Вмѣсто этого лучше разберемъ то будто-бы чувство, ту будто-бы мысль, которыя положены въ основу этой пьесы, и обнаружимъ всю ихъ ложность, неестественность и поддѣльность. Поэтъ смотритъ на прекрасную женщину и задаетъ себѣ вопросъ: любить ему или нѣтъ? Видите ли, какъ влюбляются поэты! Совсѣмъ не такъ, какъ простые смертные, не такъ, какъ всякое существо, называющееся человѣкомъ: человѣкъ влюбляется просто, безъ вопросовъ, даже прежде, нежели пойметъ и сознаетъ, что онъ влюбился. У человѣка это чувство зависитъ не отъ головы, у него оно естественное, непосредственное стремленіе сердца къ сердцу. Но нашъ поэтъ думаетъ объ этомъ иначе. Задавъ себѣ глубокомысленный вопросъ: любить или нѣтъ?—онъ не почелъ за нужное даже погадать хоть на пальцахъ и отвѣчаетъ рѣшительно: «нѣтъ!». Бѣдная женщина, бѣдная иностранка! Какого сердца, какого сокровища любви лишилась она! О, еслибъ она поняла это!... Намъ какъ-то и скучно, и совѣстно разсуждать о такихъ незамысловатыхъ вещахъ; но быть такъ: начавъ, надо кончить, тѣмъ болѣе, что это для многихъ поэтовъ можетъ быть полезно. Мы понимаемъ, что человѣкъ можетъ любить женщину и въ то же время не хотѣть любить ее, и въ такомъ случаѣ мы хотимъ видѣть въ немъ живое страданіе отъ этой борьбы разсудка съ чувствомъ, головы съ сердцемъ; только тогда его положеніе можетъ быть предметомъ поэтическаго воспроизведенія, а иначе оно—прихоть головы, ложь, годная только для сатиры, для эпиграммы; посмотрите же, какъ разсудителенъ, какъ благоразуменъ, какъ спокоенъ нашъ поэтъ: доказавъ себѣ силлогизмомъ, что ему

не слѣдуетъ любить иностранку, которая зѣваетъ, слушая его родныя пѣсни и патріотическія восклицанія по той простой причинѣ, что не понимаетъ ихъ, онъ такъ доволенъ собой, что въ состояніи сейчасъ-же сѣсть за столъ и начать завтракать или обѣдать. Гдѣ же тутъ истина поэзіи? Тутъ нѣтъ ничего похожаго на чувство и поэзію. И таковы-то всѣ лирическія стихотворенія Хомякова! У этого поэта родникъ вдохновенія бьется не въ сердцѣ, такъ же, какъ у Самсона сила была не въ мышцахъ, а въ волосахъ; но Самсонъ, несмотря на то, оказывалъ опыты сверхъ-человѣческой силы: гдѣ же опыты нашего поэта? А вотъ поищемъ...

Не презирай клинка стального
Въ обдѣлкѣ древности простой,
И пыль забвенья вѣкового
Сотри заботливой рукой.

Что̀ такое: «обдѣлка простой древности»? Какой смыслъ этого кудреватаго выраженія? Далѣе въ этомъ стихотвореніи есть «мечи съ красивою оправой», которые «блистаютъ тщетною забавой»??!!. Наконецъ голосъ брани «воскрешаетъ губительный порывъ булата»... Восточные жители поэзію называютъ искусствомъ «нанизывать жемчугъ на нить описаній»: какъ не далеко ушли отъ персіянъ многіе изъ нашихъ такъ называемыхъ «поэтовъ», которые насмѣшливо улыбаются надъ турецкимъ опредѣленіемъ поэзіи, а между тѣмъ сами, думая творить, только нанизываютъ пустозвонныя фразы на нить какой-нибудь бѣдной рефлексіи! У Хомякова есть пьеса—«Вдохновеніе»; прекрасно! Мы отъ самого Хомякова узнаемъ, какъ онъ понимаетъ вдохновеніе.

Лови минуту вдохновенья,
Восторговъ чашу пей,
И сномъ лѣниваго забвенья
Не убивай души своей.

Что̀ значитъ ловить минуту вдохновенія?—Не тратить времени, но писать, когда почувствуешь наитіе вдохновенія? Если такъ,—оно справедливо, какъ дважды-два—четыре, но точно также и не ново. Или можетъ-быть поэтъ словомъ «лови» разумѣлъ настоящую ловлю и хотѣлъ сказать: ищи вдохновенія, гоняйся за нимъ?—Если такъ, то это самое ложное понятіе о вдохновеніи: его не ищутъ, оно приходитъ само. «Восторговъ чашу жадно пей»: что̀ такое—чаша «восторговъ?» И какихъ восторговъ? Слово восторгъ можетъ употребляться во множествѣ самыхъ разнообразныхъ и самыхъ противоположныхъ значеній: для одного чаша восторговъ заключается въ штофѣ полугара, для другого—въ бутылкѣ шампанскаго, а для третьяго—въ знаніи истины. Первыя чаши можно пить жадно, когда угодно; если кто полюбитъ такіе восторги, третью чашу можно опять пить, когда угодно и сколько угодно, но для этого требуется жажда истины, самоотверженіе труда. Однимъ словомъ, когда въ стихотвореніи не опредѣлено, о какихъ восторгахъ идетъ дѣло—такое стихотвореніе легко можно принять за наборъ звучныхъ словъ. Но это бы еще куда ни шло, а вотъ скажите намъ, ради грамматики, ради логики, ради здраваго смысла, что̀ такое: «сонъ лѣниваго забвенія»?—Просимъ васъ: объясните намъ, по какимъ законамъ мысли человѣческой сошлись рядомъ эти три слова, не образующія собой не только идеи какой-нибудь, но даже и какого-нибудь смысла? Неужели это лирическій пафосъ?...

И если разъ, въ безпечной лѣни,
Ничтожность міра полюбивъ,
Ты свяжешь цѣпью наслажденій
Души бунтующій порывъ,—
Къ тебѣ поэзіи священной
Не снидетъ чистая роса, *и пр.*

Связать цѣпью наслажденій (какихъ?) бунтующій порывъ души: какая великолѣпная шумиха бѣдныхъ значеніемъ словъ! какая неопредѣленность понятій! Цѣпь наслажденій, а какихъ? Вѣдь и пить чашу восторговъ—тоже наслажденіе! Скажутъ: поэтическое произведеніе—не диссертація; краткость выраженій есть первое его достоинство, а прозаическая обстоятельность—главнѣйшій недостатокъ. Такъ; но отчего, напр., у Пушкина, у Лермонтона одно слово по своей рѣзкой опредѣлительности иногда заключаетъ въ себѣ самую обстоятельную диссертацію въ прозѣ? Оттого, что оба они поэты, и притомъ еще великіе. И потомъ, какая сухая отвлеченность въ понятіи Хомякова о сущности поэта: онъ дѣлаетъ изъ поэта то, чѣмъ поэтъ никогда не бывалъ и никогда быть не можетъ: существо безгрѣшное, не падающее, не спотыкающееся. По его мнѣнію, согрѣши поэтъ разъ въ жизни,—и навсегда прощай его вдохновеніе. Чтобъ предупредить это несчастье, онъ даетъ ему рецептъ: живи-де безпрестанно въ поэтическихъ восторгахъ, т. е. будь шутомъ на ходуляхъ, повтори собою лицо манчскаго витязя, донъ-Кихота, который даже и спалъ въ своемъ картонномъ шлемѣ, даже и во снѣ сражался съ баранами и мельницами... Нѣтъ, не таковъ поэтъ: зовемъ въ свидѣтели Пушкина, который сказалъ, что часто «межъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ всѣхъ ничтожнѣе поэтъ, пока не коснется его слуха божественный глаголъ, и пока не встрепенется душа его, какъ пробудившійся орелъ». Когда поэзія есть живой глаголъ дѣйствительности,—она великая вещь на землѣ; но

когда она силится сдѣлать существующимъ несуществующее, возможнымъ невозможное, когда она прославляетъ пустое и хвалитъ ложное,—тогда она не болѣе, какъ забава дѣтей, которымъ деревянная лошадка нравится болѣе настоящей лошади... И не поэтъ тотъ, кто лишенъ всякаго такта дѣйствительности, всякаго инстинкта истины; не поэтъ онъ, а искусникъ, который умѣетъ плясать съ завязанными глазами между яйцами, не разбивая ихъ... Такой поэтъ похожъ на тѣхъ жонглёровъ діалектики, которымъ все равно, о чемъ бы и какъ бы ни спорить, лишь бы только оспорить противника; которые, доказавъ одному, что дважды-два—четыре, съ тѣмъ же жаромъ доказываютъ другому, что дважды-два—пять, и для которыхъ важнѣйшій результатъ спора есть не истина, а суетное, мелочное удовольствіе переспорить другого и остаться побѣдителемъ, хотя бы то было на счетъ здраваго смысла и добросовѣстности.

Но мы нѣсколько отдалились отъ нашего предмета — отъ стихотвореній Хомякова, возвратимся къ нимъ. Пока мы не нашли никакихъ признаковъ поэзіи въ простыхъ лирическихъ его стихотвореніяхъ: можетъ-быть поэзія скрывается въ его прорицательныхъ лирическихъ пьесахъ?—А вотъ посмотримъ. Въ стихотвореніи «Къ Россіи» Хомяковъ даетъ своему отечеству истинно-отеческія наставленія: онъ запрещаетъ ему чувства гордости и рекомендуетъ смиреніе. Онъ говоритъ Россіи:

Грознѣй тебя былъ Римъ великій,
Царь семихолмнаго хребта,
Желѣзныхъ силъ и воли дикой
Осуществленная мечта,
И нестерпимъ былъ *огнь булата*
Въ рукахъ алтайскихъ дикарей.

Какіе великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи! Самъ Пушкинъ никогда не писалъ такихъ чудно-прекрасныхъ стиховъ! Мы очарованы и увлечены ими; однакожъ не до такой степени, чтобъ не могли освѣдомиться скромно о томъ, что̀ скрывается въ этихъ дивныхъ стихахъ. И потому беремъ на себя смѣлость спросить кого бы то ни было—самого поэта или нашихъ читателей: что̀ такое «царь семихолмнаго хребта» и что такое «семихолмный хребетъ»? Что Римъ построенъ будто-бы на семи холмахъ, случалось слышать и намъ! но чтобъ онъ былъ построенъ на хребтѣ горъ—это едва ли кому случалось слышать. Что̀ такое: «осуществленная мечта желѣзныхъ силъ и дикой воли»? Еще еслибы дѣло шло только объ осуществленной мечтѣ желѣзной силы (а не желѣзныхъ силъ),—мы кое-какъ поняли бы мысль поэта; но почему воля римлянъ (а римляне дѣйствительно были по преимуществу народъ воли, какъ греки — народъ эстетическаго чувства) была дикая—не понимаемъ! Она можетъ быть сильной, несокрушимой, желѣзной, если угодно—даже стальной; хоть это и довольно пошлый эпитетъ, гордой, непреклонной; но дикой... нѣтъ, не понимаемъ, совсѣмъ не понимаемъ!... Позвольте—кажется поняли! Да, такъ, точно такъ: воля римлянъ сдѣлалась для того дикой, чтобъ богато риѳмовать съ словомъ великій... Что̀ такое: «огнь булата»? Опять не понимаемъ! Остріе, тяжесть, сила булата—это мы понимаемъ, но «огнь булата»... Не понимаете ли вы, господа-защитники генія Хомякова, что̀ такое «огнь булата»?...

Итакъ, вотъ они — эти великолѣпные, энергическіе и поэтическіе стихи: sic transit gloria mundi!...

Въ другомъ стихотвореніи Хомяковъ предрекаетъ скорую гибель Англіи. Сперва онъ расхваливаетъ ее, называетъ «счастливой» и «богатой» (вѣроятно, мѣтя на дѣтей, работающихъ въ рудокопняхъ), а потомъ начинаетъ бранить:

Но за то, что ты лукава;
Но за то, что ты горда,
Что тебѣ мірская слава
Выше Божьяго суда;
Но за то, что церковь Божью
Святотатственной рукой
Приковала ты къ подножью
Власти суетной, земной...
Для тебя, морей царица,
День придетъ, и близокъ онъ —
Блескъ твой, злато, багряница,
Все пройдетъ, минетъ, какъ сонъ...

Что̀ это такое? іереміада по папской власти, нѣкогда повелѣвавшей царями и народами?... Да развѣ въ одной только Англіи служители церкви введены въ истинные предѣлы ихъ обязанностей, высокихъ, священныхъ, но уже по тому самому не суетныхъ, земныхъ? Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ европейскими народами правитъ вездѣ свѣтская власть, кромѣ Турціи, въ которой законы и даже власть султана зависятъ отъ мнѣнія улемовъ и муфтіевъ. Мы не беремъ на себя высокой роли предрекать скорый конецъ народамъ и государствамъ: вѣдь существованіе народовъ и государствъ—не то, что̀ существованіе какихъ-нибудь стихотвореній, которое зависитъ иногда отъ первой дѣльной критики... Мы не думаемъ, чтобъ Англія такъ-таки вотъ взяла да и окончила смертью животъ свой, прочитавъ стихотвореніе Хомякова: отъ него и вздремнуть довольно, и то не Англіи, а какому-нибудь русскому читателю. Но что Англія можетъ много потерпѣть за то, что въ ней бѣдные люди безпре-

станно или умираютъ голодной смертью, или предупреждаютъ смерть самоубійствомъ,—это другое дѣло...

Въ стихотвореніи «Мечта» нашъ поэтъ оплакиваетъ близкую гибель Запада, гдѣ «кометы бурныхъ сѣчъ бродили въ высотѣ»... При этой вѣрной оказіи онъ почелъ нужнымъ даже похвалить покойника, въ которомъ много-де было хорошаго,—

Но горѣ! вѣкъ прошелъ — *и мертвеннымъ покровомъ*
Задернутъ Западъ весь! тамъ будетъ мракъ глубокъ.
Услышь же гласъ судьбы, въ сіяньи новомъ,
Проснися, дремлющій Востокъ!

Хомяковъ очень хорошо сдѣлалъ, что догадался потолкать въ бокъ этого лежня, Востокъ, который безъ трескучей стукотни его удивительныхъ стиховъ вѣроятно и не подумалъ бы даже потянуться или зѣвнуть во снѣ, не только проснуться. Такова ужъ восточная натура: ей хоть весь свѣтъ провались, все спитъ; къ восточному человѣку очень идутъ стихи эти Тредьяковскаго:

Аще міръ сокрушенъ распадется,
Сей мужъ николи къ содрагнется.

Все это хорошо, но вотъ вопросъ: что разумѣетъ Хомяковъ подъ «Востокомъ»? По крайней мѣрѣ что касается до насъ,—мы такъ горды чувствомъ нашего національнаго достоинства, что подъ Востокомъ не можемъ разумѣть Россію. Вѣдь Западъ—Европа, а Востокъ—Азія? Россія же принадлежитъ къ Европѣ и по своему географическому положенію, и потому что она держава христіанская, и потому что новая ея гражданственность—европейская, и потому что ея исторія уже слилась неразрывно съ судьбами Европы. Кажется такъ, поэтъ? Кого же вы будите? Какихъ враговъ призываете вы на мнимый трупъ Запада торжествовать мнимую гибель цивилизаціи, смерть свѣта и праздникъ тьмы?—Вѣрно, турковъ и татаръ?—Ну, турки и татары, просыпайтесь на голосъ вашего прорицателя: по его увѣренію, Западъ не нынче, завтра скончается, и наступитъ вашъ чередъ, потомки Чингисъ-Хановъ и Тамерлановъ!...

Хомяковъ писалъ очень мало, и притомъ издалъ не все написанное и напечатанное имъ въ журналахъ: въ его крохотной книжечкѣ нѣтъ по крайней мѣрѣ десятка его стихотвореній, и между прочимъ той чудной импровизаціи («Московскій Вѣстникъ» 1828), которая начинается такъ:

Въ стаканы чокъ
И въ губы чмокъ!
На долгій срокъ,
Друзья, прощайте!
Лечу къ боямъ,
Къ другимъ краямъ,
Во слѣдъ орламъ
Чокъ — выпивайте!

Но нисколько нѣтъ удивительнаго, что Хомяковъ такъ мало написалъ: хорошаго понемножку. Кромѣ того, намъ что-то сдается, что каждое стихотвореніе писалось долго, что между однимъ и другимъ стихомъ иного его стихотворенія ложились мѣсяцы и годы промежуточнаго времени... Что же! тѣмъ лучше выходили стихотворенія!

Намъ можетъ-быть замѣтятъ, что мы противорѣчимъ сами себѣ, увѣряя, будто Хомяковъ не поэтъ, и въ то же время говоря о его произведеніяхъ, какъ о чемъ-то важномъ. Мы пишемъ не для себя, а для публики: въ ней могутъ найтись люди, которые пожалуй повѣрятъ возгласамъ одного журнала, увѣряющаго, что Хомяковъ—великій и національный русскій поэтъ. «Отечественныя Записки» въ прошломъ году при выходѣ стихотвореній Языкова и Хомякова говорили о нихъ не только съ умѣренностью, но и съ снисходительностью. Что-жъ вышло изъ этого?—Журналъ, въ которомъ исключительно печатаются стихотворенія обоихъ этихъ поэтовъ, умалчивая о Языковѣ, по поводу стихотвореній Хомякова объявилъ, что этотъ поэтъ великъ, а «Отечественныя Записки» никуда не годятся, потому что не признаютъ его великости. Затѣмъ онъ перепечаталъ почти всю книжку стихотвореній Хомякова и, сочтя это за неопровержимое доказательство ихъ высокаго достоинства, заключаетъ такъ: «Не правда ли, читатели, что надо быть слишкомъ наглу, слишкомъ дерзку, чтобъ ругать такія С(с)тихотворенія. И какія несчастныя бредни выставляютъ П(п)убликѣ на поклоненіе Иностранныя Записки вмѣсто Хомяковыхъ и Языковыхъ!» Не знаемъ, согласились ли съ этимъ журналомъ его читатели; не считаемъ важнымъ сужденіе его о нашемъ журналѣ и нашихъ мнѣніяхъ, равно какъ и обо всемъ, о чемъ онъ судитъ; но не можемъ не выставить на видъ, что если существуетъ журналъ, который до того убѣжденъ въ великости и національности Хомякова, какъ поэта, что печатно называетъ «дерзкими» и «наглыми ругателями» и «иностранцами» всѣхъ, кто не согласенъ съ нимъ во мнѣніи о Хомяковѣ,—стало быть, существуютъ и люди, которые думаютъ и чувствуютъ точно такъ же, какъ этотъ журналъ: вотъ для этихъ-то людей (а совсѣмъ не для этого журнала) и пишемъ мы. Поэтъ съ поддѣльнымъ дарованіемъ, но никѣмъ не замѣчаемый, никакимъ печатнымъ крикуномъ непровозглашаемый, неопасенъ въ отношеніи къ порчѣ общественнаго вкуса:

о немъ можно при случаѣ отозваться съ легкой улыбкой—и все тутъ. Но поэтъ съ дарованіемъ слагать громкія слова во фразистыя стопы, поэтъ, который замѣняетъ вкусъ, жаръ чувства и основательность идеи завлекательными для неопытныхъ людей софизмами ума и чувства, и между тѣмъ имѣетъ усердныхъ глашатаевъ своей великости — воля ваша, надо предположить въ критикѣ рыбью кровь, если она можетъ оставаться равнодушной къ такому явленію и со всей энергіей не обнаружить истины.

Можетъ быть намъ еще замѣтятъ, что способъ нашего анализа, состоящій въ разборѣ фразъ, мелоченъ. Дѣло не въ способѣ, а въ его результатахъ; да кромѣ того это единственный и превосходный способъ для сужденія даже и не о такихъ поэтахъ, каковы: Марлинскій, Языковъ, Хомяковъ, Бенедиктовъ и другіе въ томъ же родѣ. Многія фразы съ перваго раза кажутся блестящими, поэтическими и заключающими въ себѣ глубокія идеи; но если вы не поторопитесь, отдавшись первому впечатлѣнію, произнести о нихъ сужденіе, а хладнокровно спросите самихъ себѣ: что̀ значитъ вотъ это, что̀ хотѣлъ сказать поэтъ вотъ этимъ?—то съ удивленіемъ увидите, что это сначала такъ поразившее васъ стихотвореніе — просто наборъ пустыхъ словъ...

Кромѣ двухъ книжечекъ стихотвореній Языкова и Хомякова, въ прошломъ году вышла еще книжечка стихотвореній Полонскаго подъ скромнымъ названіемъ: «Гаммы». Полонскій обладаетъ въ нѣкоторой степени тѣмъ, что̀ можно назвать чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глубокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человѣка поэтомъ. Но и одного этого также еще слишкомъ мало, чтобы въ наше время заставить говорить о себѣ, какъ о̀ поэтѣ. Знаемъ, знаемъ, скажутъ многіе: нужно еще направленіе. нужны идеи! Такъ, господа, вы правы; но не вполнѣ: главное и трудное дѣло состоитъ не въ томъ, чтобъ имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобъ не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и его идей. Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, — онъ вѣроятно многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ; и не мудрено: его направленіе, его идеи были—онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто высказывалъ великое чувство, высокую мысль, въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ силачъ безъ вниманія, мимоходомъ откидываетъ ногой съ дороги такой камень, котораго человѣкъ съ обыкновенной силой не сдвинулъ бы съ мѣста и руками. Повторяемъ: въ наше время трудно быть такимъ поэтомъ, котораго бы всѣ знали и о которомъ бы всѣ говорили; другими словами: въ наше время трудно поэту пріобрѣсти славу. Это потому, что въ наше время еще являются таланты и много умныхъ людей, между тѣмъ какъ наше время обращаетъ вниманіе только на замѣчательныя натуры.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году поэтическихъ произведеній въ стихахъ самымъ замѣчательнымъ безъ сомнѣнія было—«Наль и Дамаянти», индійская поэма, съ нѣмецкаго перевода Рюккерта, переведенная Жуковскимъ на русскіе гекзаметры, легкіе, свѣтлые, прозрачные, граціозные и плѣнительные. Вмѣстѣ съ другими произведеніями Жуковскаго, помѣщенными имъ въ разныхъ журналахъ съ 1837 года, «Наль и Дамаянти» составила потомъ девятый томъ полнаго собранія сочиненій знаменитаго поэта. — Новое изданіе басенъ Крылова съ прибавленіемъ новой, девятой части также составляетъ одно изъ блестящихъ пріобрѣтеній литературы прошлаго года. Но это было послѣднее изданіе жизни маститаго поэта, такъ же, какъ этотъ годъ былъ послѣднимъ въ его жизни... Крыловъ—самъ талантъ огромный и человѣкъ замѣчательный, былъ ровесникъ русской литературы. О такомъ явленіи можно сказать больше, нежели сколько было о немъ сказано: въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы въ особой статьѣ выполнимъ нашъ долгъ передъ Крыловымъ и публикой.—Въ прошломъ же году вышли: четвертая и (послѣдняя) часть «Стихотвореній Лермонтова»; переводъ «Гамлета» Кронеберга; переводъ Вронченко «Фауста» Гёте; третье изданіе «Героя нашего времени»; «Сочиненія князя Одоевскаго»; второе изданіе перваго тома повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На Сонъ Грядущій». Изъ стихотвореній Лермонтова, вошедшихъ въ четвертую часть, двѣ пьесы: «Пророкъ» и «Свиданіе» сдѣлались извѣстными только въ прошломъ году. «Сочиненія князя Одоевскаго», доселѣ разсѣянныя во множествѣ періодическихъ изданій почти за двадцать лѣтъ, будучи теперь собраны вмѣстѣ и изданы въ трехъ уемистыхъ томахъ, какъ бы возвратили публикѣ одного изъ лучшихъ ея писателей, съ которымъ она привыкла встрѣчаться только изрѣдка и ненадолго. Теперь сочиненія князя Одоевскаго уже не отрывки, не отдѣльныя пьесы, но нѣчто цѣлое и полное, отра-

зившее на себѣ духъ и направленіе писателя замѣчательнаго и даровитаго.

Вотъ все, что вышло достойнаго вниманія впродолженіе прошлаго года по части изящной литературы. Надо согласиться, что очень немного! Остального должно искать въ журналахъ, къ чему мы сейчасъ же и приступимъ. Но прежде сдѣлаемъ одну оговорку: мы будемъ упоминать только о замѣчательныхъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, явленіяхъ, а все, что мы не считаемъ ни въ какомъ отношеніи замѣчательнымъ, пройдемъ молчаніемъ. Такимъ образомъ мы даже и журналы не всѣ назовемъ по имени; тѣмъ менѣе намѣрены мы судить о ихъ достоинствахъ и недостаткахъ. Да и къ чему? Если они издаются, значитъ, ихъ кто-нибудь да читаетъ же, и кому-нибудь они нравятся же. Переубѣдить этихъ «кого-нибудь» такъ же невозможно, какъ и доказать самимъ этимъ журналамъ, что они напрасно издаются; если же мы предприняли бы это безполезное дѣло,—за что же большинство публики, не подозрѣвающей существованія этихъ журналовъ, должно было бы терпѣть скуку подобныхъ разсужденій и толковъ? Нѣтъ ничего труднѣе, скучнѣе и безполезнѣе, какъ говорить о вещахъ отрицательно-хорошихъ и отрицательно-дурныхъ. Изъ журналовъ настоящаго времени намъ остается говорить только о нашемъ собственномъ журналѣ, о «Библіотекѣ для Чтенія» и о «Москвитянинѣ», примѣчательномъ въ томъ отношеніи, что онъ единственный журналъ въ Москвѣ. Изъ газетъ—объ «Инвалидѣ», «Сѣверной Пчелѣ» и «Литературной Газетѣ» *).

Не наше дѣло разсуждать объ «Отечественныхъ Запискахъ»: судъ надъ ними принадлежитъ публикѣ, и она давно уже произнесла его и словомъ, и дѣломъ. Что касается до «Библіотеки для Чтенія», мы можемъ сказать о ней свое мнѣніе, не впадая ни въ брань, ни въ кумовство... Но что можно сказать новаго объ этомъ журналѣ? Что онъ всегда имѣлъ свои неотъемлемыя достоинства, это доказываетъ его прочный и продолжительный успѣхъ въ публикѣ; что теперь этотъ журналъ далеко уже не таковъ, какимъ онъ былъ назадъ тому лѣтъ шесть или семь,—это также не новость. О замѣчательныхъ статьяхъ, какія въ немъ появлялись впродолженіе прошлаго года, мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Характеръ и направленіе—все тѣ же: слѣдовательно о нихъ новаго сказать нечего. Впрочемъ не мѣшаетъ напомнить о нихъ новыми фактами. Въ прошломъ году въ «Библіотекѣ для Чтенія» было помѣщено нѣсколько весьма забавныхъ и острыхъ рецензій; но лучше всѣхъ была библіографическая статейка о книгѣ московскаго профессора Погодина—«Годъ въ Чужихъ Краяхъ»: на русскомъ языкѣ не часто случается читать такія умныя и острыя статьи. Но въ томъ же прошломъ году была напечатана въ «Литературной Лѣтописи» «Библіотеки для Чте-

*) Нельзя не сдѣлать, хотя въ выноскѣ, исключенія въ пользу двухъ прекурьезныхъ петербургскихъ изданій—*Сына Отечества и Листка для Свѣтскихъ Людей*. Первый давно уже прославился своимъ злополучіемъ на пути къ совершенствованію. Онъ нѣсколько разъ мѣнялся въ форматѣ и планѣ изданія, нѣсколько разъ чаялъ движенія живой воды то отъ той, то отъ другой редакціи, къ которымъ безпрестанно переходилъ; но истощеніе жизненныхъ силъ въ немъ было такъ велико, что всѣ попытки на продолженіе его жизни остались совершенно безуспѣшными. Послѣдній его редакторъ уже два раза передъ всякимъ новымъ годомъ въ подробной и обстоятельно составленной программѣ увѣрялъ публику, что онъ додастъ ей недостающіе №№ *Сына Отечества* за прошлый годъ, а въ будущемъ будетъ выдавать его книжки безъ замедленія и своевременно. Въ прошломъ 1844 году опытный и извѣстный своими блестящими дарованіями редакторъ *Сына Отечества* снова рѣшился подвергнуть свой журналъ коренной реформѣ. Обстоятельная и пріятнымъ слогомъ написанная программа еще въ концѣ 1843 года, вслѣдъ за программой «Литературной Газеты», извѣстила весь читающій міръ, что *Сынъ Отечества* съ будущаго года превращается въ недѣльное изданіе, вродѣ газеты съ политиканами. Чтобъ реформа была радикальнѣе, а слѣдовательно и успѣшнѣе, преобразованный журналъ установилъ для себя новую эру и рѣшился считать свой новый годъ съ *1-го марта*. Особенно замѣчательны слѣдующія строки программы: «Фамильныя дѣла, оставшіяся на попеченіи редактора по смерти отца его, не допускали (*кого?*) обратить полное вниманіе преимущественно на журнальную работу,—и это было единственной причиной несвоевременнаго выхода книжекъ журнала». Замѣчательны также и эти строки въ программѣ: «Точность выхода въ назначенный день, немедленная разсылка и вѣрность доставки тетрадей принимаются неизмѣннымъ правиломъ (*чего?*); для чего приняты редакторомъ особыя мѣры». Но еще замѣчательнѣе то, что до сихъ поръ *Сына Отечества* вышло только 16 №№, т. е. только за четыре мѣсяца, за мартъ, апрѣль, май и іюнь, и еще не вышло ни одной тетради за іюль, августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, т. е. не додано бездѣлицы—*двадцати-четырехъ* тетрадей...Да сверхъ того не доданы еще послѣднія книжки за 1843 годъ. Вѣрьте послѣ этого обѣщаніямъ!

Кстати уже вотъ и еще достопримѣчательное явленіе въ области русской литературы: издававшійся когда-то въ Петербургѣ журналъ *Русскій Вѣстникъ* тоже перешелъ въ руки новой редакціи и, обѣщая (въ программѣ) быть аккуратнымъ въ выходѣ своихъ *двенадцати* книжекъ, — впродолженіе всего 1844 года вышелъ въ числѣ *одной* книжки... Должно быть, новая редакція *Русскаго Вѣстника* приняла еще болѣе особыя мѣры къ правильному и своевременному выходу книжекъ этого журнала, нежели редакція *Сына Отечества*...

Листокъ для Свѣтскихъ Людей издается съ возможнымъ великолѣпіемъ, съ возможнымъ въ Россіи изяществомъ въ типографскомъ отношеніи. Модныя картины его получаются изъ Парижа; печатается онъ на лучшей веленевой бумагѣ лучшимъ шриф-

нія» рецензія четвертой части стихотвореній Лермонтова,—рецензія, которая... но судите сами о ея умѣ и остротѣ по этому началу:

«О трижды, четырежды счастливая провинція! ты еще читаешь стихи! ты будешь читать эти стихи!... Петербургъ... *тра*, ля ля ля — ля ля ля!...

Ахъ, ты соло іо вьдо, іо сьто!...

Гарсія! Віардо! Віардо!... о!... бриконна!.... брикончелля!... Что ты сдѣлала изъ этого степеннаго, гордаго, молчаливаго Петербурга? Его узнать нельзя!» *и т. д.*

Мы думаемъ, что этой выпиской достаточно напомнили всей русской публикѣ объ этой знаменитой рецензіи, которая вѣроятно очень удивила ее,—и потому дальше выписывать не нужно. Кромѣ страннаго тона статьи—конечно забавной, только на ея же собственный счетъ *),—книжка стихотвореній такого поэта, какъ Лермонтовъ, книжка, въ которой правда на половину пьесъ слабыхъ, но въ которой помѣщены и такія пьесы, какъ «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Утесъ», «Морская царевна», «Пророкъ» и проч.,—эта книжка поставлена рецензіей въ число самыхъ пустыхъ и ничтожныхъ литературныхъ явленій. Такими отзывами «Библіотекѣ для Чтенія» уже не въ первый разъ удивлять читающій міръ: кому не извѣстно, что этотъ журналъ постоянно бранитъ Гоголя и какъ будто въ досаду ему хвалитъ даже романы Воскресенскаго? Кому не извѣстно, какъ превозносила «Библіотека для Чтенія» «Сенсаціи Курдюковой»? — и вотъ что теперь говоритъ она о нихъ въ своей послѣдней книжкѣ за прошлый годъ: «Покойный Мятлевъ написалъ очень умную шутку, которая цѣлую недѣлю была въ большой модѣ. Кто не читалъ этихъ безцѣнныхъ «Сенсацій мадамъ Кордюковой», въ Россіи эданъ л'этранже? Кто не повторялъ ихъ, кто не забылъ?» Подобныя выходки однакожъ многихъ и теперь удивляютъ. Что касается до насъ,—мы прежде думали въ нихъ видѣть ошибки вслѣдствіе недостатка эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія. Дѣйствительно, нельзя сказать, чтобъ въ области изящнаго «Библіотека для Чтенія» была у себя дома; но тѣмъ не менѣе нельзя и отрицать, чтобъ этотъ журналъ, столь смѣтливый, не зналъ цѣны сочиненіямъ Гоголя, которыя онъ бранитъ, или цѣны сочиненіямъ Загоскина и Воскресенскаго, которыя онъ хвалитъ. Нѣтъ, «Библіотека для Чтенія» не теперь только поняла, что такое «Сенсаціи»: она очень хорошо поняла ихъ и тогда, когда въ первый разъ собиралась превознести ихъ. Что же это значитъ? — Прихоть, страсть шутить. Надъ кѣмъ, чѣмъ?—Ну, да хоть надъ тѣми людьми, которые эти шутки принимаютъ не за шутки. Цвѣтущее время «Библіотеки для Чтенія» давно уже прошло—и невозвратно; кругъ ея читателей значительно сжался: но онъ и теперь еще не малъ: значитъ, есть люди, которымъ нуженъ журналъ съ такимъ направленіемъ. И почему же «Библіотеки» не удовлетворять потребности цѣлой части русской публики!

томъ; политипажи его превосходны. Но не этимъ только оканчиваются достоинства этого удивительнаго изданія; внѣшняя сторона не есть самая блестящая и лучшая его сторона. Выборъ, изобрѣтеніе и слогъ статей—вотъ его главныя права на извѣстность во всѣхъ уголкахъ міра, гдѣ только есть свѣтское общество. Особенно замѣчателенъ *свѣтскій* тонъ этихъ статей. Говорятъ, что въ изданіи *Листка* инкогнито участвуетъ лондонское фешенебельное общество и la haute société du Faubourg Saint-Germain. Мы хотѣли бы, читатели, представить вамъ нѣсколько образчиковъ этого «свѣтскаго» тона, царствующаго въ *Листкѣ*, но... чувствуемъ, что силы наши слишкомъ слабы для подобнаго дѣла. Выписывать отрывки—нѣтъ мѣста; да намъ и некогда; характеризовать нашими собственными словами... но, увы! мы не бываемъ ни въ гостиной Горбачевой, прославленной Панаевымъ, ни въ танцклассахъ Мардинкевичевой, ни въ лѣтнемъ нѣмецкомъ клубѣ... Нѣтъ, чувствуемъ, воображеніе наше слишкомъ сухо, перо слишкомъ слабо, чтобъ дать хоть приблизительное понятіе объ этомъ фантастическомъ блескѣ, этомъ ароматѣ свѣтскости самаго лучшаго тона... Но нельзя же не представить хотя одной черты. Въ «Листкѣ» между прочимъ помѣщаются и rebus. Кто-то изъ свѣтскихъ участниковъ «Листка» прислалъ (кажется изъ Тамбова) его редакціи вопросъ—не хочетъ ли она помѣщать карикатуры на знаменитыхъ русскихъ писателей, разумѣется съ ихъ позволенія. Редакція «Листка» отвѣчала политипажемъ, на которомъ были изображены двѣ барыни—свѣтскія, само собой разумѣется,—пьющія чай; а въ слѣдовавшемъ затѣмъ нумерѣ была напечатана разгадка картинки: «Обѣ съ чаемъ»,—т. е. *обтшаемъ*... Это ли не верхъ свѣтскаго остроумія? Увѣряемъ читателей, что такихъ чертъ *высшаго тона* въ «Листкѣ»—бездна; есть даже и лучшія... Петербургскій beau monde долженъ быть очень доволенъ, что для него издается такой прекрасный журналъ. Впрочемъ это только одно предположеніе съ нашей стороны. Зато мы увѣрены, что beau monde нашихъ уѣздныхъ городовъ дѣйствительно въ восторгѣ отъ *Листка*, и провинціальные львы и дэнди изъ него набираются свѣтскаго столичнаго тона.

*) Замѣчательно, что одна газета, прежняя союзница *Библіотеки для Чтенія*, очень дѣльно подала свой голосъ объ этой рецензіи. Вотъ что между прочимъ сказала эта газета: «*Любопытны мы знать*, что скажутъ иногородные, прочитавъ эту критику. Намъ, видѣвшимъ Воробьева, Замбони и восхищающимся теперь *буффомъ* Роверо, намъ это ни смѣшно, ни забавно. *Типумъ, титумъ, памтамъ, памтамъ, тра ля, ля, ля!* Кого это разсмѣшитъ или позабавитъ? «Библіотека для Чтенія» говоритъ, что Петербургъ только поетъ и ничего не читаетъ. И весьма умно дѣлаетъ, если поетъ вмѣсто того, чтобъ читать *титумъ, титумъ и памтамъ, памтамъ*». Ловко и мѣтко! Но подмѣтивъ грамматическую ошибку въ рецензіи, «Библіотека для Чтенія», газета, о которой мы говоримъ, растолковала, въ чемъ ошибка, и прибавляетъ, что это—*замѣчаніе бабушки Θеклы Васильевны Ложки*... Ужъ это совсѣмъ не остро!..

«Москвитянинъ» имѣетъ весьма тѣсный кругъ читателей; но этотъ кругъ, какъ ни малъ, все же существуетъ: почему же не существовать и «Москвитянину»? Больше мы ничего не можемъ сказать объ этомъ журналѣ, хотя и желали бы сказать больше. Его издатель много писалъ о томъ, что̀ бы можно было и что̀ бы должно было дѣлать для русской исторіи; онъ писалъ трагедіи въ стихахъ и повѣсти въ прозѣ, — сталобыть, онъ и поэтъ; онъ переложилъ на русскіе нравы Гётева «Геца Фонъ-Берлихингена»; онъ провелъ годъ въ чужихъ краяхъ и подарилъ публику восхитительнѣйшимъ описаніемъ своего путешествія; онъ... Но кто перечтетъ все, чѣмъ знаменито и славно имя Погодина въ лѣтописяхъ русской науки, литературы, журналистики и поэзіи?... Сотрудники «Москвитянина» тоже все презамѣчательные таланты, уже много сдѣлавшіе, подобно Шевыреву, М. Дмитріеву и Лихонину, и много обѣщающіе въ будущемъ, подобно Милькѣеву, Студитскому, Иванчину-Писареву и госпожамъ Зражевской и Шаховой. Статьи, помѣщаемыя въ этомъ журналѣ, должны быть очень интересны и хорошо написаны,—и если до сихъ поръ въ этомъ еще никто не согласился, кромѣ сотрудниковъ и вкладчиковъ самаго журнала, — такъ это потому вѣроятно, что направленіе и духъ журнала слишкомъ исключительны. Кто считаетъ себя только русскимъ, не заботясь о своемъ славянизмѣ, тотъ въ статьяхъ «Москвитянина» заблудится, словно въ одной изъ тѣхъ темныхъ дубравъ, гдѣ воздвигались деревянные храмы Перуну и обитали мелкія славянскія божества—кикиморы и лѣшіе. Надо быть истымъ славяниномъ, чтобъ находить въ статьяхъ «Москвитянина» талантъ, знаніе, убѣжденіе, интересъ, ясность и проч. Но, увы! мы не болѣе, какъ русскіе, а не славяне, мы граждане Россійской имперіи, мы и душой, и тѣломъ въ интересахъ нашего времени и желаемъ не возврата aux temps primitifs, а естественнаго хода впередъ, путемъ просвѣщенія и цивилизаціи. Это обстоятельство совершенно лишаетъ насъ возможности понимать «Москвитянина». Думаемъ, что это—прекрасный журналъ (потому что какіе люди, какіе таланты въ немъ участвуютъ!...); но чѣмъ и какъ онъ прекраснъ, — не можемъ сказать при всемъ нашемъ желаніи...

Лучшая русская политическая газета теперь—«Инвалидъ». Онъ столько хорошъ, сколько можетъ быть хорошимъ при его средствахъ и условіяхъ. Политическія извѣстія въ немъ всегда полны и свѣжи. Фельетонъ его всегда занимателенъ и разнообразенъ, особенно фельетонъ, составляемый изъ иностранныхъ новостей. И публика вполнѣ оцѣнила превосходство этого изданія передъ всѣми ему подобными: «Инвалидъ» теперь наиболѣе читаемая въ Россіи газета.— О «Сѣверной Пчелѣ» новаго сказать нечего: она все та же, какой была въ первый годъ своего существованія. Въ прошломъ году въ ней была только одна перемѣна: ея фельетоны были необыкновенно скучны и сухи. — Сдѣлаемъ еще одну замѣтку касательно «Пчелы»: забота о чистотѣ отечественнаго (?) языка и вопли о его искаженіи всѣми журналами и газетами, кромѣ «Сѣверной Пчелы», составляли впродолженіе прошлаго года все направленіе, весь духъ этой газеты. Объявляя о своемъ продолженіи на 1845 г., «Сѣверная Пчела» между прочимъ говоритъ, что она «по прежнему будетъ хранительницей и блюстительницей чистоты и правильности драгоцѣннаго народнаго достоянія — русскаго языка» (255 № «Сѣверн. Пчелы» 1844 года). Все это очень хорошо; но одни слова еще немного сто̀ятъ, взглянемъ на факты; вотъ нѣсколько выдержекъ изъ «Сѣверной Пчелы» за 1843 и 1844 года: «Роль Имоджены играла г-жа Тадини. Какъ вторая пѣвица, она имѣетъ превосходныя качества. (:) П(п)рекрасный, звучный, обширный голосъ, хорошую методу, выгодную физику (?) и много жару» (246 № 1843).—«Вы вѣроятно читаете что-нибудь посочнѣе: Парижскія Тайны, романъ, при чтеніи котораго кровь течетъ изъ носа у читателя».—«А если вы левъ или львица, то вы должны быть въ восторгѣ отъ огнедышущихъ изверженій волканической головы, на каменномъ основаніи сердца Жоржъ-Занда» (278 № 1843);— «Конечно надобно необыкновенной власти надъ собой, чтобъ» и пр. (57 № 1844). Такихъ фразъ можно набрать изъ «Сѣверной Пчелы» тысячи; но довольно и этихъ, преждѐ другихъ бросившихся намъ въ глаза, когда мы рѣшились перелистовать нѣсколько наудачу попавшихся намъ подъ руку нумеровъ. Неужели это пуризмъ? неужели это значитъ: быть «хранительницей» и «блюстительницей» чистоты языка? Мы не говоримъ уже о тонѣ всей газеты, объ остротахъ, которыя вертятся на томъ, что фельетонный острословъ называетъ Жюль Жанена «почтеннѣйшимъ Юліемъ Ивановичемъ Жаненомъ» (78 № 1844), и которыя подъстать «бабушкѣ Θеклѣ Васильевнѣ Логикѣ» (258 № 1844): всякій шутитъ и остритъ по крайнему своему разумѣнію и сообразно съ своимъ образованіемъ; но зачѣмъ браться быть блюстителями и хранителями языка?...

«Литературная Газета» была вѣрна своей программѣ и постоянно представляла читателямъ статьи съ политипажами о разныхъ

любопытныхъ предметахъ, литературныхъ, театральную и петербургскую хронику, записки для хозяевъ и наконецъ кухонныя статьи доктора Пуфа, который пишетъ такъ же хорошо, какъ и учитъ готовить лакомыя блюда. Нельзя не замѣтить, что докторъ Пуфъ владѣетъ перомъ едва ли еще не лучше, чѣмъ вертеломъ,—и его статейки даже и для людей, не интересующихся кухней, казались интереснѣе, остроумнѣе и литературнѣе статей многихъ нашихъ фельетонистовъ.

Теперь взглянемъ на замѣчательнѣйшія беллетристическія статьи, помѣщенныя въ прошлогднихъ журналахъ. Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ Луганскому. Въ первыхъ двухъ книжкахъ «Библіотеки для Чтенія» были помѣщены «Похожденія Христіана Ивановича Віольдамура и его Аршета». Эта повѣсть написана Луганскимъ, какъ текстъ для объясненія картинокъ Сапожникова, сдѣланный заранѣе безъ всякихъ предварительныхъ соглашеній романиста съ рисовальщикомъ. Сапожниковъ рисовалъ свои исполненныя смысла, жизни и оригинальности картинки по прихоти своей художнической фантазіи; Луганскому предстоялъ трудъ угадать поэтическій смыслъ этихъ картинокъ и написать къ нимъ текстъ, словно либретто къ готовой уже оперѣ: слѣдовательно это была нѣкоторымъ образомъ заказная работа. Но Луганскій болѣе нежели ловко и удачно выпутался изъ затруднительнаго положенія: изъ его текста къ картинкамъ вышла оригинальная повѣсть, которая прекрасна и безъ картинокъ, хотя при нихъ и еще лучше. Правда, нѣкоторыя мѣста отзываются задачей, но въ общемъ этого почти не замѣтно. Жизнь петербургскихъ нѣмцевъ, многія черты вообще петербургской жизни и вообще русской жизни, вѣрно подмѣченныя, удачно схваченныя, множество фигуръ, искусно обрисованныхъ—отъ добраго подъячаго Ивана Ивановича до ломового извозчика, перевозящаго пожитки Віольдамура, отъ «свѣдки З'Виборга» до няни Акулины и хозяйки квартиры на Пескахъ, отъ самого Віольдамура до его вѣрнаго Аршета,—все это такъ занимательно, такъ полно жизни и истины, что отъ труда Луганскаго нельзя оторваться, не дочитавъ его до послѣдней строки. И еще лучше повѣсть Луганскаго... но о ней послѣ: сперва пересмотримъ, что̀ еще есть хорошаго въ «Библіотекѣ для Чтенія». Очень занимателенъ романъ Кукольника: «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова», помѣщенный въ 5, 6, 7 и 8 книжкахъ «Библіотеки». Содержаніе романа относится къ эпохѣ Петра Великаго. Есть однакожъ въ этомъ романѣ неземная дѣва, созданіе ложное и приторное всячески—и какъ поэтическое произведеніе, и какъ невозможное для того времени лицо; вообще всѣ сцены любви, все страстное и нѣжное какъ-то сбивается у Кукольника на сантиментальное. Герой романа весь составленъ изъ невозможностей и противорѣчій. То, подобно испанцу, онъ стремится выполнить клятву мести; то играетъ роль нѣжнаго влюбленнаго пастушка, то по своей собственной склонности играетъ роль полицейскаго шпіона. Много натянутаго, неестественнаго; часто событія разрѣшаются посредствомъ deus ex machina. Причина этихъ недостатковъ скрывается сколько въ самомъ талантѣ Кукольника, столько и въ поспѣшности, съ которой онъ писалъ свой романъ. Несмотря на то, въ этомъ романѣ очень много хорошаго: въ дѣйствующихъ лицахъ часто замѣтна не только вѣрность языка, но и вѣрность понятій той эпохи. Есть мѣста мастерскія. И хотя мѣстами романъ очень утомителенъ, однако его нельзя не дочесть до конца. Можно еще упомянуть о разсказѣ Гребенки: «Быль не быль, и не сказка». Изъ переводныхъ повѣстей въ «Библіотекѣ» скажемъ во-первыхъ о «Сесилѣ», романѣ Ганъ-Ганъ, которую называютъ нѣмецкимъ Жоржъ-Зандомъ. Романъ не то, чтобъ плохъ, не то, чтобъ хорошъ,—отзывается посредственностью, а потому хуже, чѣмъ плохъ. Очень удивилъ насъ романъ Алексиса—«Кабанисъ»: первая часть его, представляющая картину воспитанія и семейныхъ нравовъ Германіи XVIII вѣка, чрезвычайно интересна, но остальныя части набиты такой безтолковой и пошлой путаницею романическихъ эффектовъ, что не знаешь, чему больше дивиться—терпѣнію ли сочинителя написать такой длинный вздоръ, или рѣшимости журнала—передать его на своихъ страницахъ. Въ видѣ прибавленія при «Библіотекѣ» выдается по частямъ переводъ «Вѣчнаго Жида» Эжена Сю. Переводъ слабъ. Что̀ до романа—основа его нелѣпа, но подробности большей частью очень замѣчательны; въ разсказѣ много жара и движенія, но много сантиментальности и надутой пошлости. Главный интересъ этого романа для французовъ заключается въ нападкахъ на іезуитовъ. Впрочемъ съ этой стороны романъ Эжена Сю интересенъ не для однихъ французовъ. Въ послѣднихъ двухъ книжкахъ «Библіотеки для Чтенія» начался безконечный романъ: «Лондонскія Тайны», наполненный такими приключеніями, какихъ не бываетъ ни на землѣ, ни на лунѣ. «Лондонскія Тайны» повторяютъ собою всѣ недостатки «Парижскихъ Тайнъ», не представляя ни одного

изъ достоинствъ послѣдняго романа. Впрочемъ и «Лондонскія Тайны» не то, чтобъ имѣли какой-нибудь интересъ, но раздражаютъ любопытство читателя, дѣйствуя не столько на его умъ, сколько на нервы: это интересъ чисто наркотическій, потому романъ долженъ понравиться многимъ.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года изъ оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній были напечатаны: «Барышня», разсказъ Панаева, одинъ изъ самыхъ мѣткихъ, самыхъ удачныхъ юмористическихъ очерковъ этого писателя; «Живой мертвецъ» — одна изъ лучшихъ юмористическихъ статей князя Одоевскаго; она потомъ вошла въ составъ изданныхъ въ прошломъ же году «Сочиненій князя Одоевскаго»; «Докторъ» Гребенки — не столько повѣсть, сколько нравоописательный очеркъ, заключающій много хорошаго въ подробностяхъ. «Сцены Уѣздной Жизни» Н* обнаруживаютъ большое знаніе уѣздной жизни, много наблюдательности и таланта, хотя и отзываются литературной неопытностью. Отъ автора, скрывшагося подъ таинственной литерой Н*, много можно ожидать въ будущемъ. «Андрей Колосовъ» Т. Л. — разсказъ, чрезвычайно замѣчательный по прекрасной мысли: авторъ обнаружилъ въ немъ много ума и таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показалъ, что онъ не хотѣлъ сдѣлать и половины того, что бы могъ сдѣлать: оттого и вышелъ хорошенькій разсказъ тамъ, гдѣ бы слѣдовало выйти прекрасной повѣсти.—Лучшими повѣстями въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были: «Колбасники и Бородачи» Луганскаго и «Послѣдній Визитъ» А. Нестроева. «Колбасники и Бородачи»— рѣшительно лучшее произведеніе Луганскаго. Несмотря на чисто практическую и внѣшнюю цѣль этой повѣсти, въ ней есть подробности истинно художественныя, есть черты купеческаго быта, схваченныя съ изумительной вѣрностью: такова сцена сватанья, гдѣ отецъ перебиваетъ у сына невѣсту. Даже слишкомъ явно внѣшняя цѣль повѣсти нисколько не вредитъ ея достоинству; авторъ умѣлъ возвысить ее до мысли и черезъ мысль слить ее съ поэтической стороной своего произведенія. Какъ «Колбасники и Бородачи» были лучшей впродолженіе прошлаго года повѣстью въ юмористическомъ родѣ, такъ «Послѣдній Визитъ»—едва ли не лучшая русская повѣсть въ патетическомъ родѣ. Да, публика еще въ первый разъ прочла на русскомъ языкѣ повѣсть, въ которой страсть понята такъ глубоко и вѣрно, изображена такъ просто и сильно. Дѣйствующія лица очень обыкновенны, а потому и истинны; завязка проста до того, что ея нельзя пересказать иначе, какъ подлинными словами автора,— а между тѣмъ тутъ заключена страшная, потрясающая душу драма. Въ первый еще разъ страсть нашла себѣ голосъ и выраженіе въ русской повѣсти... Чтобъ не приняли нашихъ словъ за преувеличеніе, скажемъ въ поясненіе, что были и прежде русскія повѣсти, въ которыхъ слышался голосъ страсти, какъ напримѣръ въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголя, именно въ сценахъ любви Андрія и прекрасной полячки; но тутъ положеніе исключительное, среди дѣйствительности страшно поэтической, а въ «Послѣднемъ Визитѣ» страсть горитъ въ нѣдрахъ дѣйствительности современной, обыкновенной, прозаической, въ сердцахъ людей, по ихъ характерамъ и положенію въ обществѣ вовсе не исключительныхъ, и эта страсть не изливается бурными потоками исполненныхъ лирическаго паѳоса рѣчей, а высказывается драматически, горитъ и пышетъ въ самыхъ простыхъ словахъ. Характеры этой повѣсти задуманы и выполнены очень вѣрно; только характеръ героини не совсѣмъ дочерченъ; зато характеръ героя повѣсти и въ особенности характеръ мужа отдѣланы съ удивительной опредѣленностью. Но въ этомъ произведеніи къ сожалѣнію есть недостатокъ, который тѣмъ рѣзче и тѣмъ непріятнѣе, чѣмъ прекраснѣе вся повѣсть: ея конецъ слабѣе начала и середины. Мы даже думаемъ, что выстрѣла, который дошелъ до ушей героини, было совсѣмъ не нужно, равно какъ и самой дуэли: развязка могла бы быть проще и тѣмъ поразительнѣе. Помѣшательство героини повѣсти тоже немного сбивается на эффектъ: достаточно было бы вмѣсто помѣшательства—просто апатическаго равнодушія: для благоразумнаго Григорія Павловича это было бы не легче сумасшествія жены... Кстати скажемъ, что авторъ этой повѣсти *) уже не въ первый разъ обращаетъ на себя вниманіе любителей изящнаго: «Звѣзда», «Цвѣтокъ» и другія повѣсти въ «Отечественныхъ Запискахъ», означенныя подписью А. Н., принадлежатъ ему. Но съ «Послѣдняго Визита» для него, кажется, настала эпоха новаго, болѣе глубокаго и истиннаго творчества: въ прежнихъ своихъ повѣстяхъ онъ изображалъ и характеры, и положенія какіе-то исключительные и необыкновенные; въ послѣдней своей повѣсти онъ смѣло вошелъ въ глубину простой, ежедневной дѣйствительности и умѣлъ въ ея пошлости и прозѣ найти страсть, слѣдовательно и поэзію. Отъ души желаемъ, чтобъ

*) П. Н. Кудрявцевъ.

этотъ прекрасный талантъ никогда болѣе не сходилъ съ этой новой для него дороги, но все шелъ по ней впередъ и впередъ: онъ можетъ уйти далеко...

Изъ переводныхъ статей въ «Отечественныхъ Записках» за прошлый годъ были помѣщены: «Домашній Секретарь», романъ Жоржъ-Занда; «Крошка Цахесъ по прозванію Циннобер», повѣсть Гофмана; «Зять, какихъ мало», повѣсть Шарля Бернара; «Жакъ», романъ Жоржъ-Занда; «Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита», новый романъ Чарльса Диккенса. О достоинствѣ романовъ Жоржъ-Занда нечего распространяться: они говорятъ сами за себя гораздо лучше, нежели кто-либо могъ бы говорить о нихъ.—«Жизнь и приключенія Мартина Чодзльвита» — едва ли не лучшій романъ даровитаго Диккенса. Это полная картина современной Англіи со стороны нравовъ и вмѣстѣ яркая, хотя можетъ быть и односторонняя картина общества Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Что за неистощимость изобрѣтенія, что за разнообразіе характеровъ, такъ глубоко задуманныхъ, такъ вѣрно очерченныхъ? Что за юморъ! что за слогъ! Прочитавъ въ прошломъ году «Лавку Древностей», мы думали, что приходитъ время навсегда проститься съ огромнымъ талантомъ Диккенса; но послѣдній его романъ доказалъ, что талантъ автора «Николая Никольби» и «Бернеби Роджа» только вздремнулъ на время, чтобъ проснуться еще свѣжѣе и могучѣе прежняго. Въ «Мартинѣ Чодзльвитѣ» замѣтна необыкновенная зрѣлость таланта автора; правда, развязка этого романа отзывается общими мѣстами; но такова развязка у всѣхъ романовъ Диккенса: вѣдь Диккенсъ—англичанинъ.

Между немногими стихотвореніями, печатавшимися въ нашихъ прошлогднихъ журналахъ, въ нѣкоторыхъ промелькивали искорки то поэзіи безъ мысли, то мысли безъ поэзіи, то что-то какъ-будто похожее и на мысль, и на поэзію вмѣстѣ. Мы разумѣемъ здѣсь стихотворенія Майкова, Фета, Т. Л., Огарева, Крешева, Полонскаго. Но кромѣ двухъ вновь открытыхъ стихотвореній Лермонтова: «Пророкъ» и «Свиданіе» выдавалось изъ ряда другихъ только стихотвореніе Фета: «Колыбельная пѣсня».

Изъ переводныхъ стихотвореній замѣчательнѣе всего по обыкновенію были переводы Струговщикова изъ Гёте. Къ числу замѣчательныхъ явленій этого рода принадлежитъ отрывокъ изъ «Фауста», переведенный Т. Л. (6-я книжка «Отеч. Записокъ»). Какъ объ опытѣ, заслуживающемъ вниманія, должно упомянуть о переводѣ Яхонтова «Торквато-Тассо», драмы Гёте (8-я книжка «Отеч. Записокъ»). Очень любопытны напечатанныя въ «Библіотекѣ для Чтенія» (3-я книжка) неизданныя стихотворенія Державина и Фонвизина.

Изъ статей ученаго содержанія замѣчательны въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Историческое обозрѣніе открытія золота въ Старомъ и Новомъ свѣтѣ»; «Послѣднія путешествія французовъ»; «Арнаутъ», «Ясы и Молдавія» (автора «Странствователя по сушѣ и морямъ»); «Кардиналъ Ришельё»; «Финансы и государственный кредитъ въ Австріи и Пруссіи»; «Германскій таможенный Союзъ».—Въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ нѣкотораго времени появилась критика, состоящая не изъ однѣхъ выписокъ изъ разбираемой книги, иногда даже вовсе безъ этихъ выписокъ; но такая перемѣна нисколько не улучшила этого отдѣла журнала, а только сдѣлала его еще менѣе занимательнымъ. Замѣчательна въ «Библіотекѣ для Чтенія» одна критическая статья, и то только тѣмъ, что она—переводъ нѣмецкой брошюры: «Schiller's Leben von Döring»,—переводъ, разведенный водою мыслей переводчика и выданный за оригинальное сочиненіе. Это—статья о «Вильгельмѣ Теллѣ», переведенномъ Миллеромъ, и кстати о Шиллерѣ. Оригинальнаго, въ Россіи сочиненнаго, въ ней только одна мысль, зато удивительная, если не чудовищная. Мысль эта состоитъ въ томъ, что хотя Пушкинъ и выше Жуковскаго, какъ поэтъ и мыслитель, однако «никогда творенія Пушкина не пріобрѣтали и не пріобрѣтутъ той любви, которую возбуждали и всегда будутъ возбуждать творенія Жуковскаго» (2-я книжка). Эта мысль или шутка, или мистификація, можетъ имѣть достоинство неоспоримой истины, если ее прочесть навыворотъ и понять наоборотъ...

Въ «Отечественныхъ Записках» изъ статей ученаго содержанія вѣроятно замѣчены читателями «Іезуиты»; «Людовикъ XV и его вѣкъ»; «Записки русскаго морского офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840, 1841 и 1842 годахъ» Бутакова (двѣ отдѣльныя статьи: одна въ третьей, другая въ седьмой книжкѣ); «О ходѣ искусства у древнихъ народовъ и объ истребленіи и сохраненіи памятниковъ древняго искусства» И. Я. Кронеберга (бывшаго профессора Харьковскаго университета); «Поѣздка черезъ Буэносъ-Айресскія Пампы» Чихачева; «Байкалъ» Щукина; «Августъ Лудвигъ Шлецеръ—жизнь и труды его» Головачева; «Реформація», «О народности медицины»; «Е. А. Баратынскій». Въ отдѣлѣ «Критики», кромѣ разборовъ собственно къ изящной литературѣ относящихся книгъ,—разборовъ, выражающихъ

мнѣніе редакціи,—въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны разборы, писанные сторонними лицами: «о Филологическихъ наблюденіяхъ Павскаго надъ составомъ русскаго языка» Надеждина (двѣ статьи, впрочемъ еще не заключающія въ себѣ конца критики); разборъ книгъ: «Гальванизмъ въ техническомъ примѣненіи, для любителей природы и искусства и для техническаго употребленія», соч. К. О., и «Полное изложеніе гальванопластики, гальванической позолоты и серебренія», соч. А. Г.; «Полный курсъ геологическихъ наукъ», соч. Эдуарда Эйхвальда.

Русскихъ книгъ теперь выходитъ годъ отъ году меньше: зато число дурныхъ уже не находится въ чудовищной пропорціи къ числу хорошихъ. Особенно много выходитъ хорошихъ книгъ спеціальнаго содержанія; нерѣдки и хорошіе учебники. Все это гораздо лучше множества пустыхъ книгъ преимущественно беллетристическаго содержанія, которыя прежде наводняли собою русскую литературу или, лучше сказать, подвалы книжныхъ лавокъ. Назовемъ нѣкоторыя изъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ, особенно замѣчательныхъ важностью содержанія: «Остромирово Евангеліе», изд. Востоковымъ; «Выходы Царей Михаила Ѳеодоровича и Алексія Михаиловича», изд. Строевымъ; «Семена Порошина Записки, служащія къ исторіи Великаго Князя Павла Петровича»; «Описаніе первой войны Императора Александра съ Наполеономъ въ 1805 году», соч. Михайловскаго-Данилевскаго; «Основныя начала русскаго судопроизводства», диссертація Кавелина; «Поѣздка въ Якутскъ» Щукина; «Поѣздка въ Забайкальскій Край»; «Правила, мысли и мнѣнія Наполеона о военной наукѣ, военной исторіи и военномъ дѣлѣ», собранныя Каузлеромъ, переведенныя Леонтьевымъ; «Политическая и военная жизнь Наполеона», соч. Жомини; «Исторія военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи»; «Описаніе турецкой войны въ 1828—1829 годахъ» Лукьяновича и друг. Обо всѣхъ этихъ и другихъ, не упомянутыхъ здѣсь, книгахъ Библіографическая Хроника «Отечественныхъ Записокъ» постоянно и современно отдавала отчетъ публикѣ. Въ прошломъ году возымѣло начало и теперь продолжается успѣшно монументальное изданіе литографическихъ снимковъ съ картинъ Императорской Эрмитажной Галлереи, предпринятое французскими художниками Гойе-Дефонтеномъ и Полемъ Пети.

Если мы вообще насчитали не слишкомъ много замѣчательныхъ явленій въ русской литературѣ 1844 года, можетъ быть еще меньше, чѣмъ въ литературѣ 1843 года,— не должно видѣть въ этомъ только доказательство все большей и большей бѣдности русской литературы. Бѣдность дѣйствительно страшная, но въ ней есть своя хорошая, скажемъ больше—своя прекрасная сторона. Теперь пишутъ мало, потому что публика стала разборчивѣе и взыскательнѣе: стало быть, писать сдѣлалось труднѣе и для талантовъ, а для посредственности просто невозможно. Потерявъ въ числительномъ богатствѣ, наша литература много выиграла въ духѣ и направленіи. Немного было хорошихъ повѣстей въ прошломъ году, но выберите самую слабую изъ всѣхъ упомянутыхъ нами въ этомъ обзорѣ и сравните ее съ повѣстями Марлинскаго, Полевого, Погодина, Загоскина и другихъ,—и увидите, какъ богата нищета современной русской литературы въ сравненіи съ ея нищенскимъ богатствомъ прежняго времени. Теперь, слава Богу! переводится поколѣніе такъ называемыхъ безкорыстныхъ любителей литературы для литературы: теперь читаютъ корыстно, т. е. хотятъ видѣть въ книгѣ не средство къ пріятному препровожденію времени, а мысль, направленіе, мнѣніе, истину, выраженіе дѣйствительности. Литературное достоинство теперь уже не искупитъ недостатка мысли, и поэтическая мишура таланта никому не дастъ славы. Фраза потеряла свое очарованіе: ее сейчасъ разложатъ на слова, чтобъ добиться, что̀ за смыслъ скрываетъ она въ себѣ; въ риторикѣ теперь упражняются только старые писатели, которые повыписались или совсѣмъ исписались. Метроманы тоже выводятся; стихотвореніе, даже очень недурное, уже перестало быть явленіемъ великой важности: восхищаются одними превосходными стихотвореніями. Все это составляетъ характеръ послѣдняго періода нашей литературы, которому тонъ и направленіе дали Гоголь и Лермонтовъ. Многіе жалуются на журналы, особенно на толстые, приписывая имъ малочисленность книгъ. Но развѣ не все равно—въ отдѣльной книгѣ или въ журналѣ прочесть хорошее сочиненіе? Правда, теперешніе журналы слишкомъ энциклопедичны, слишкомъ разнообразны, но это не ихъ вина, а дѣло необходимости. Чтобъ журналъ былъ читаемъ, не гоняясь за разнообразіемъ содержанія, — нужно, чтобъ онъ выигралъ мнѣніемъ: а вѣдь въ чемъ болѣе выразиться мнѣнію, если не въ литературѣ? Литература—предметъ конечно интересный, но совсѣмъ не неистощимый; притомъ же теперь, какъ мы это уже говорили, прошелъ вѣкъ литературщины, и въ литературѣ всѣ хотятъ видѣть больше разнообразія... Итакъ, будемъ толковать о литературѣ и читать толстые журналы.

ТАРАНТАСЪ.

Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. С.-Петербургъ. 1845.

Въ современной русской литературѣ журналъ совершенно убилъ книгу. Между разнымъ балластомъ, все-таки только въ журналахъ,—разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ немного),—можно встрѣчать болѣе или менѣе замѣчательныя произведенія по части изящной литературы. Сюда должно отнести еще сборники или альманахи: въ лучшихъ изъ нихъ тоже попадаются иногда хорошія пьесы. Но хорошая книга теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецензентамъ ex officio приходится хоть совсѣмъ не упоминать о книгахъ и вмѣсто ихъ разбирать вновь выходящія книжки журналовъ и даже листки газетъ. Тѣмъ бо̀льшее вниманіе должна обращать критика на всякую книгу, сколько-нибудь выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и говорить, что появленіе книги, которая слишкомъ далеко выходитъ изъ-подъ этого уровня, должно быть истиннымъ праздникомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ «Тарантасъ» графа Соллогуба. Несмотря на то, что изъ двадцати главъ, составляющихъ это произведеніе, цѣлыхъ семь главъ были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ 1840 году,—«Тарантасъ»—столько же новое, сколько и прекрасное произведеніе, которое своимъ появленіемъ составило бы эпоху и не въ такое бѣдное изящными созданіями время, каково наше. Семь главъ «Тарантаса», давно уже извѣстныхъ публикѣ, давали понятіе только о достоинствѣ цѣлаго произведенія, а не о идеѣ его, прекрасной и глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего сочиненія, проникнутаго удивительной цѣлостностью и совершеннымъ единствомъ. Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» какое-то двойственное произведеніе, въ которомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона воззрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будтобы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ идею автора—и о б ъ е к т и в н у ю вѣрность, съ какой изобразилъ онъ характеръ одного изъ героевъ «Тарантаса»—Ивана Васильевича, приняли за выраженіе его личныхъ убѣжденій,—тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько же можетъ отвѣчать за мнѣнія героя своего ю м о р и с т и ч е с к а г о разсказа, сколько напримѣръ Гоголь можетъ отвѣчать за чувство, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ Душахъ». Между тѣмъ обычный взглядъ лучшей части читателей на «Тарантасъ» очень понятенъ: при первомъ чтеніи можетъ показаться, будто-бы авторъ не чуждъ желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать черезъ Ивана Васильевича нѣкоторыя изъ своихъ воззрѣній на русское общество,—и тѣмъ легче увлечься подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дѣйствительность лишаютъ читателя способности спокойно смотрѣть на картины, которыя такъ быстро и живо проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рѣзкимъ противорѣчьемъ, которое находится между этими безпрестанно смѣняющимися и безпрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами, и между странными—чтобъ не сказать нелѣпыми, мнѣніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, но все необходимо проистекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ беремъ назадъ свое выраженіе въ рецензіи о «Тарантасѣ», что въ немъ вмѣстѣ съ дѣльными мыслями много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI-й главахъ авторъ «Тарантаса» говоритъ съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ—кстати замѣтить—эти-то главы больше всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвоя въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на споръ. Послѣднее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе: съ чѣмъ можно спорить и что̀ сто̀итъ спора,—

то имѣетъ право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря все истину и правду, съ которой читатель вполнѣ соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью ихъ направленія съ его убѣжденіями; онѣ служатъ для читателя повѣркой его собственныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убѣжденія, или умѣряетъ его, или наконецъ еще болѣе въ немъ утверждается. Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ болѣе если они искренны, и авторъ ихъ далекъ отъ того, чтобъ подозрѣвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло—парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты или лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора: презрительная насмѣшка — единственное достойное ихъ наказаніе...

Не будемъ пускаться въ изслѣдованія—къ какому роду и виду поэтическихъ произведеній принадлежитъ «Тарантасъ». Въ наше время, слава Богу, признается въ мірѣ изящнаго только одинъ родъ—х о р о ш і й, запечатлѣнный талантомъ и умомъ, а обо всѣхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не заботится. Наше время вполнѣ принимаетъ глубоко мудрое правило Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго». Но мы въ отношеніи къ этому правилу гораздо послѣдовательнѣе самого Вольтера, который противорѣчилъ своему собственному принципу, держась преданій и повѣрій французскаго псевдо-классицизма. Къ правилу Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго», наше время настоятельно прибавляетъ слѣдующее дополненіе: «и несовременнаго»,—такъ что полное правило будетъ: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго и несовременнаго». Поэтому мы если не признаемъ безусловно хорошимъ всего, что имѣло огромный успѣхъ въ свое время, то во всемъ этомъ видимъ хорошія стороны, смотря на предметъ съ и с т о р и ч е с к о й точки. Вслѣдствіе этого, удивляясь великимъ геніямъ Данте, Шекспира, Сервантеса, наше время не отрицаетъ заслугъ Корнеля, Расина и Мольера; не становясь на колѣни передъ Ломоносовымъ, Державинымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, не видя въ нихъ слишкомъ многаго для себя собственно,—тѣмъ съ неменьшимъ уваженіемъ произноситъ имена ихъ, какъ людей, которыхъ творенія въ ихъ время были современно хороши, т. е. удовлетворяли потребностямъ ихъ современниковъ. Чисто художественная критика, недопускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художественность и теперь великое качество литературныхъ произведеній; но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духѣ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому, теперь посредственно-художественное произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному сознанію, будитъ вопросы или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію внѣ сферы художества. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго, теперь искусство — не господинъ, а рабъ: оно служитъ посторонним для него цѣлямъ.

Мы сказали, что «Тарантасъ» графа Соллогуба — произведеніе художественное, но къ этому должны прибавить, что оно въ то же время и современное произведеніе,—что̀ составляетъ одно изъ важнѣйшихъ его достоинствъ, которому обязано оно своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ. Слѣдовательно «Тарантасъ» — художественное произведеніе въ современномъ значеніи этого слова. Оттого въ него вошли не только разсужденія между дѣйствующими лицами, но и цѣлыя диссертаціи. Оттого оно—не романъ, не повѣсть, не очеркъ, не трактатъ, не изслѣдованіе, но то и другое, и третье вмѣстѣ. Пусть называетъ его каждый какъ кому угодно: тутъ дѣло въ дѣлѣ, а не въ названіи. «Тарантасъ» имѣлъ большой успѣхъ: его не только раскупили и прочли въ короткое время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не понравился, третьимъ очень понравился и очень не понравился въ одно и то же время; одни его хвалятъ безъ мѣры, другіе бранятъ безъ мѣры, третьи хвалятъ и бранятъ вмѣстѣ; авторъ черезъ него пріобрѣлъ себѣ и друзей, и враговъ; о его произведеніи говорятъ, судятъ и спорятъ. Это успѣхъ! По нашему мнѣнію, незавиденъ успѣхъ произведенія, которое возбудило бы однѣ похвалы, одну любовь, безъ порицаній, безъ ненависти; подобный успѣхъ немногимъ лучше полнаго неуспѣха, т. е. когда произведеніе возбуждаетъ одну брань безъ похвалы,—хотя то и другое все-таки лучше, нежели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встрѣтить одно равнодушное невниманіе.

Этотъ-то необыкновенный успѣхъ «Та-

рантаса» и налагаетъ на критику обязанность — разсмотрѣть его внимательно со всѣхъ сторонъ. Для этого необходимо прослѣдить все развитіе этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами автора или прибѣгая къ выпискамъ. Такой способъ критики нисколько не опасенъ для «Тарантаса», какъ книги: онъ упредилъ нашу статью слишкомъ тремя мѣсяцами, а въ это время его уже вездѣ прочли, и едва ли найдется хотя одинъ читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не успѣвъ прочесть «Тарантаса».

Русская литература, къ чести ея, давно уже обнаружила стремленіе—быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изобразить въ романѣ героя нашего времени не принадлежитъ исключительно Лермонтову. Евгеній Онѣгинъ тоже—герой своего времени; но и самъ Пушкинъ былъ упрежденъ въ этой мысли, не будучи никѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совершенствѣ ея выполненія. Мысль эта принадлежитъ Карамзину. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуществленія. Между его сочиненіями есть неконченный или, лучше сказать, только что начатый романъ, даже и названный «Рыцаремъ нашего времени». Это былъ вполнѣ «герой того времени». Назывался онъ Леономъ, былъ красавецъ и чувствительный мечтатель. «Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души, первой краской, первой чертой на бѣломъ листѣ ея чувствительности». Онъ и родился не такъ, какъ родятся нынче, а совершенно романически, совершенно въ духѣ своего времени. Судите сами по этому отрывку: «На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ прозрачная рѣка Свіяга и гдѣ, какъ извѣстно по исторіи Натальи боярской дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій,—тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ, отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ въ то время, когда природа, подобно любезной кокеткѣ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бѣлилась, румянилась... весенними цвѣтами; смотрѣлась въ зеркало... водъ прозрачныхъ и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ — то-есть въ маѣ мѣсяцѣ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земного свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кустахъ запѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой рощѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предзнаменованіе! по которому осьмидесятилѣтняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, съ веселой усмѣшкой и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ любви и рога при случаѣ». Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что Карамзинъ имѣлъ бы полное право своего «Рыцаря нашего времени» назвать «Героемъ нашего времени». Въ повѣсти: «Чувствительный и холодный» (два характера) Карамзинъ, въ лицѣ своего Эраста, тоже изобразилъ одного изъ героевъ своего времени. Въ юмористическомъ очеркѣ: «Моя исповѣдь», представилъ онъ еще одного изъ героевъ своего времени, хоть и совсѣмъ въ другомъ родѣ, нежели въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послѣ Онѣгина и Печорина въ наше время никто не брался за изображеніе героя нашего времени. Причина понятна: герой настоящей минуты—лицо въ одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопредѣленное, тѣмъ болѣе требующее для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того наша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ героевъ: въ этомъ отношеніи Чичиковъ, какъ пріобрѣтатель, не меньше, если еще не больше Печорина,— герой нашего времени. И потому вся современная русская литература, по необходимости принявъ исключительно юмористическое направленіе, устремилась на изображеніе героевъ современности, смотря по силѣ и средствамъ таланта каждаго писателя. Иванъ Васильевичъ, герой «Тарантаса», — тоже одинъ изъ героевъ нашего времени. Онъ до того мелокъ и ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьёзно, и съ перваго же раза выводитъ его смѣшнымъ,—явный знакъ, что это одинъ изъ второстепенныхъ героевъ нашего времени. Но въ то же время нельзя не вмѣнить графу Соллогубу въ большую заслугу, что онъ именно Ивана Васильевича, а не другого какого-нибудь героя, выбралъ для своего юмористическаго карандаша, потому что современная дѣйствительность кишитъ такими героями, вѣрнѣе сказать, кишитъ Иванами Васильевичами...

Что̀ такое Иванъ Васильевичъ? — Это нѣчто вродѣ маленькаго донъ-Кихота. Чтобъ объяснить отношенія Ивана Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому донъ-Кихоту, надо сказать нѣсколько словъ о послѣднемъ. Донъ-Кихотъ—прежде всего прекраснѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Несмотря на то, что онъ смѣшонъ съ ногъ до головы, внутри и снаружи,—онъ не только не глупъ, но, напротивъ, очень уменъ; мало этого: онъ—истинный мудрецъ. Потому ли, что

такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоятельствъ жизни,—но только фантазія взяла у него верхъ надъ всѣми другими способностями и сдѣлала изъ него шута и посмѣшище народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ рыцарскихъ сказокъ у него, по русской пословицѣ, умъ за разумъ зашелъ. Живя совершенно въ мечтѣ, совершенно внѣ современной ему дѣйствительности, онъ лишился всякаго такта дѣйствительности и вздумалъ сдѣлаться рыцаремъ въ такое время, когда на землѣ не осталось уже ни одного рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ вѣрила только тупая чернь. И онъ свято выполнилъ свой обѣтъ—защищать слабыхъ противъ сильныхъ, остался вѣренъ своей воображаемой Дульцинеѣ, несмотря на всѣ жестокія разочарованія, которымъ подвергала его совсѣмъ не рыцарская дѣйствительность. Еслибъ эта храбрость, это великодушіе, эта преданность, еслибъ всѣ эти прекрасныя, высокія и благородныя качества были употреблены на дѣло во-время и кстати,—донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человѣкомъ! Но въ томъ-то и состоитъ его отличіе отъ всѣхъ другихъ людей, что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не увидѣлъ бы онъ дѣйствительности въ ея настоящемъ образѣ и не употребилъ бы кстати, во время и на дѣло богатыхъ сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена рыцарства,—онъ навѣрное устремился бы на уничтоженіе его, и еслибъ узналъ о существованіи древняго міра, сталъ бы корчить изъ себя грека или римлянина. Но какъ не было уже и слѣдовъ рыцарства, когда онъ родился, то рыцарство сдѣлалось точкой его помѣшательства, его idée fixe. Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, онъ удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, здравымъ смысломъ, говорилъ какъ мудрецъ. Даже когда мистификація сильныхъ людей осуществила мечты его рыцарскихъ стремленій,—онъ, въ качествѣ судьи, обнаружилъ не только великій умъ, но даже мудрость. И между тѣмъ въ сущности онъ тѣмъ не менѣе былъ сумасшедшій, шутъ, посмѣшище людей... Мы не беремся примирить это противорѣчіе; но для насъ ясно, что такія парадоксальныя натуры не только не рѣдки, но даже очень часты вездѣ и всегда. Онѣ умны, но только въ сферѣ мечты; онѣ способны къ самоотверженію, но за призракъ; онѣ дѣятельны, но изъ пустяковъ; онѣ даровиты, но безплодно; имъ все доступно, кромѣ одного, что всего важнѣе, всего выше—кромѣ дѣйствительности. Онѣ одарены удивительной способностью породить изъ себя нелѣпую идею и увидѣть ея подтвержденіе въ наиболѣе противорѣчащихъ ей фактахъ дѣйствительности. Чѣмъ нелѣпѣе запавшая имъ въ голову идея, тѣмъ сильнѣе пьянѣютъ онѣ отъ нея, и на всѣхъ трезвыхъ смотрятъ какъ на пьяныхъ, какъ на сумасшедшихъ, какъ на безумныхъ, а иногда даже какъ на людей безнравственныхъ, злонамѣренныхъ и вредныхъ. Донъ-Кихотъ—лицо въ высшей степени типическое, родовое, которое никогда не переведется, никогда не устарѣетъ,—и въ этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. Развѣ изувѣръ по убѣжденію въ наше время не донъ-Кихотъ? Развѣ не донъ-Кихоты—эти безумные бонапартисты, которыхъ только смерть герцога рейхштадтскаго заставила разстаться съ мечтой о возможности возстановленія имперіи во Франціи? Развѣ не донъ-Кихоты—нынѣшніе легитимисты, нынѣшніе ультрамонтанисты, нынѣшніе тори въ Англіи? А этотъ нѣкогда великій мыслитель, который въ молодости далъ такое сильное движеніе развитію человѣческой мысли, а въ старости вздумалъ разыграть роль какого-то самозваннаго пророка, этотъ Шеллингъ, однимъ словомъ,—развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ отличіямъ донъ-Кихотовъ отъ другихъ людей принадлежитъ способность къ чисто-теоретическимъ, книжнымъ, внѣ жизни и дѣйствительности почерпнутымъ убѣжденіямъ. Есть люди, по мнѣнію которыхъ не только Атилла, самъ Адамъ былъ славянинъ... это ли не донъ-кихотство?... Другимъ не нравится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они съ горя видно мечтаютъ о реставраціи блаженной эпохи, когда за употребленіе табака рѣзали носы; другіе идутъ далѣе и хотятъ реставраціи Руси до нашествія татаръ, а третьи желаютъ о возвращеніи въ XIX вѣкѣ Руси Гостомысловскихъ временъ, т. е. Руси баснословной... Это ли еще не донъ-кихотство?... А между тѣмъ послушайте-ка этихъ господъ: если вы не согласитесь съ ними, они вамъ скажутъ, что вы отстали отъ вѣка, что вы невѣжда, апостатъ, человѣкъ безнравственный, вредный.

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это донъ-Кихотъ маленькій, донъ-Кихотъ въ миніатюрѣ. У испанскаго донъ-Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. Только на смертномъ одрѣ понялъ онъ, что онъ—не донъ-Кихотъ, а мирный манчскій помѣщикъ... У Ивана Васильевича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до села Мордасъ провезти въ чужомъ тарантасѣ бѣлую тетрадь, назначенную для пу-

тевыхъ замѣтокъ. Иванъ Васильевичъ въ мужикѣ нашелъ идеалъ русскаго человѣка и хотѣлъ даже дворянъ нарядить въ костюмъ очень похожій на мужицкій, за исключеніемъ желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (собственнаго его, Ивана Васильевича, изобрѣтенія),—а между тѣмъ самъ скорѣе рѣшился бы умереть, нежели на одну складку отступить отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ микроскопическихъ донъ-Кихотовъ въ наше время развелось на Руси многое множество. Всѣ они, за исключеніемъ незначительныхъ, разнообразныхъ оттѣнковъ, похожи одинъ на другого, какъ двѣ капли воды. Всѣ они—люди добрые, умные, сочувствующіе всему прекрасному, высокому, любятъ разсуждать и спорить о Байронѣ и о матерьяхъ важныхъ, страшные либералы и, въ дополненіе ко всему этому, препустѣйшіе и прескучнѣйшіе люди. Но мы оставимъ ихъ въ сторонѣ и обратимся наконецъ исключительно къ ихъ достойному представителю—къ Ивану Васильевичу.

Иванъ Васильевичъ—одинъ изъ этихъ червячковъ, которые имѣютъ свойство блестѣть въ темнотѣ. Въ глуши провинціи вы обрадовались бы, какъ неожиданному счастью, знакомству съ такимъ человѣкомъ; даже въ столицѣ, куда вы недавно пріѣхали и всему чужды, вы поздравили бы себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы очень полюбили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться имъ; но скоро вы съ удивленіемъ замѣтили бы, что въ немъ ничего не обнаруживается новаго, что онъ весь высказался и выказался вамъ, что вы его выучили наизусть, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ книга, которую вы, за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли и наизусть знаете. Сначала вамъ покажется, что онъ добръ, даже очень добръ; но потомъ вы увидите, что эта доброта въ немъ—совершенно отрицательное достоинство, въ которомъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присутствія добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидѣтельствующую объ отсутствіи всякой энергіи воли, всякой самостоятельности характера, всякаго рѣзкаго и опредѣленнаго выраженія личности. И тогда вы поймете, что доброта Ивана Васильевича тѣсно связана въ немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы и потомъ никогда не скажете, чтобъ онъ былъ глупъ, потому что это была бы вопіющая неправда; но вы скоро замѣтите, что умъ его—ограниченный, легкій и поверхностный, который неспособенъ долго и постоянно останавливаться на одномъ предметѣ, неспособенъ къ сомнѣнію и его мукамъ и борьбѣ. Тогда вы поймете, что его умъ чисто страдательный, т. е. способный раздражаться и приходить въ дѣятельность отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспособный даже усвоить себѣ ничего чужого. Такъ же скоро исчезнетъ и ваше мнѣніе о его талантахъ—и исчезнетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше вы въ нихъ видѣли. Если вы и замѣтите въ немъ способность къ чему-нибудь, то скоро увидите, что она служитъ ему для того только, чтобъ все начинать, ничего не оканчивая, за все браться, ничѣмъ не овладѣвая. Но всего болѣе пріобрѣлъ онъ ваше расположеніе, вашу любовь, даже ваше уваженіе—избыткомъ чувства, готоваго откликнуться на все человѣческое, и что же! съ этой-то стороны всего болѣе и долженъ потерять онъ въ вашихъ глазахъ, когда вы лучше разсмотрите и узнаете его. Его чувство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергіи, всякой продолжительности, и между тѣмъ такъ легко воспламеняется и проходитъ, не оставляя слѣда, что оно похоже больше на нервическую раздражительность, на чувствительность (susceptibilité), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, словомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ неспособенъ понять ничего такого, чего не испыталъ, не видѣлъ, и потому его могутъ безпокоить или радовать однѣ случайности, одни частные факты, на которые ему приходится натыкаться. Слѣдствіе занимаетъ его безъ причины, явленія останавливаютъ его вниманіе, но идея всегда проходитъ мимо его, такъ что онъ и не подозрѣваетъ ея присутствія. Онъ не можетъ жить безъ убѣжденій и гоняется за ними; впрочемъ ему легко имѣть ихъ, потому что въ сущности ему все равно, чему бы ни вѣрить, лишь бы вѣрить. Когда чье-нибудь рѣзкое возраженіе или какой-нибудь фактъ разобьетъ его убѣжденіе,—въ первую минуту ему какъ-будто больно оттого, но въ слѣдующую затѣмъ минуту онъ или самъ сочиняетъ себѣ новое убѣжденіе, или возьметъ на прокатъ чужое, и на этомъ успокоится. Сильное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ его—парадоксальный и бросается или на все блестящее, или на все странное. Что дважды-два—четыре, это для него истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдѣлать четыре съ половиной или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, и, какъ всѣ романтики и страдательно-поэтическія натуры, онъ предоставляетъ ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону,— ту, которая прежде бросится ему въ глаза, и изъ-за

нея ужъ никакъ не можетъ видѣть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ не можетъ мирить противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ напримѣръ, во Франціи онъ увидѣлъ борьбу корыстныхъ разсчетовъ и мелкихъ интригъ—и съ тѣхъ поръ Франція, его прежній идеалъ, вовсе перестала существовать для него... Онъ неспособенъ понять, что добро и зло идутъ ò-бокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы движенія, развитія, прогресса, словомъ, — жизни; что историческое лицо можетъ въ одно и то же время дѣйствовать и по искреннему убѣжденію и по самолюбію, и что исторія—говоря метафорически — есть гумно, на которомъ цѣпами анализа отдѣляются зерна отъ мякины человѣческихъ дѣяній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и достоинства самыхъ зеренъ. Нѣтъ, ему давайте или одно бѣлое, или одно черное, но тѣней и разнообразія красокъ онъ не любитъ. Для него не существуютъ люди такъ, какъ они суть: онъ видитъ въ нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все это происходитъ отъ бѣдности его натуры, рѣшительно неспособной ни къ убѣжденіямъ, ни къ страстямъ, способной только къ фантазійкамъ и чувствованьицамъ. А между тѣмъ съ тѣхъ поръ, какъ только началъ онъ себя помнить, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, отмѣченнаго перстомъ Провидѣнія, назначеннаго къ чему-то великому или по крайней мѣрѣ необыкновенному... Это очень обыкновенное явленіе въ обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, гдѣ все пестро, гдѣ невѣжество рядомъ идетъ съ знаніемъ, образованность — съ дикостью. Въ такомъ обществѣ всякому человѣку, который обнаруживаетъ какое-нибудь стремленіе или хоть просто претензіи на образованность, который живетъ не совсѣмъ такъ, какъ всѣ живутъ, и любитъ разсуждать, — всякому такому человѣку легко увѣрить себя (и притомъ очень искренно) и другихъ, что онъ—геніальный человѣкъ. Если же при этомъ онъ не глупъ и не тупъ, одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки, много читаетъ, обо всемъ говоритъ съ жаромъ и рѣшительно, бранитъ толпу, да сбирается путешествовать—то онъ геній, непремѣнно геній! Вслѣдствіе этого онъ всю жизнь къ чему-то готовится... Прежде Иваны Васильевичи носились съ своими непонятными толпѣ внутренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили изъ себя Фаустовъ, Манфредовъ, Корсаровъ; теперь мода на эти глупости проходитъ, и потому Иваны Васильевичи теперь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать будущность отечества и узнать, чѣмъ они могутъ быть ему полезны. Въ томъ и другомъ случаѣ главную роль играетъ непомѣрное самолюбіе бѣдной натуры; самолюбіе—единственная страсть такихъ людей. Прежде Иваны Васильевичи съ истинно-геніальнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго убѣжденія, что толпѣ не понять ихъ, и что имъ нечего дѣлать на землѣ; теперь это сдѣлалось пошло, и потому теперь Иваны Васильевичи рѣшились убѣдиться, что Западъ гніетъ...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, на характеръ. Когда мы прослѣдимъ нить событій, развивающихся въ «Тарантасѣ», — читатели увидятъ сами, до какой степени вѣренъ нашъ взглядъ. Но прежде намъ надобно сказать, что авторъ «Тарантаса» очень умно и ловко далъ своему маленькому донъ-Кихоту спутника,—не Санчо-Пансу, а олицетворенный непосредственный здравый смыслъ, въ лицѣ Василія Ивановича, медвѣдеобразнаго, но весьма почтеннаго казанскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ—непризнанный, самозванный геній, питающій реформаторскія намѣренія на счетъ толпы; Василій Ивановичъ — толпа, которая своимъ пошлымъ здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному генію. Здравый смыслъ толпы кажется пошлымъ истинному генію и рано или поздно падаетъ во прахъ передъ его высокимъ безуміемъ; но онъ—бичъ самолюбивой посредственности, и немилосердно бьетъ ее, даже иногда самъ не зная, какъ и чѣмъ. Таковы отношенія другъ къ другу обоихъ героевъ «Тарантаса». Первую и главную роль играетъ безъ сомнѣнія Иванъ Васильевичъ; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана Васильевича: безъ перваго послѣдній не былъ бы такъ опредѣлительно, ярко, рельефно обрисованъ,— извѣстно, что ничто такъ рѣзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ нравственномъ отношеніи между Иваномъ Васильевичемъ и Василіемъ Ивановичемъ существовала такая же противоположность, какъ и между героями извѣстной повѣсти Гоголя: у одного голова похожа на рѣдьку хвостомъ внизъ; у другого—на рѣдьку хвостомъ вверхъ. Впрочемъ нельзя рѣшить, кто изъ нихъ правъ и съ кѣмъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже думаемъ, что въ дѣйствительности истинно дѣльный человѣкъ убѣжитъ отъ того и другого: отъ одного, какъ отъ неуклюжаго, косолапаго медвѣдя,—отъ другого, какъ отъ крикливаго ученаго попугая. Но книга—не жизнь; въ

книгѣ можно съ кѣмъ угодно ужиться, въ книгѣ очень милы даже и герои «Ревизора». И потому мы не убѣжимъ отъ Ивана Васильевича и Василія Ивановича, а, напротивъ, побѣжимъ къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ можно только обоихъ вмѣстѣ. Итакъ, къ нимъ,— но не на Тверской бульваръ въ Москвѣ, гдѣ они встрѣтились, даже не въ тарантасъ, въ которомъ они ѣхали, а въ ихъ деревни—посмотримъ, какъ они родились, выросли и стали такими, какими встрѣчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ бульварѣ, въ первой главѣ «Тарантаса».

Итакъ, мы начнемъ даже и не съ середины, а чуть ли не съ конца—съ XV и XVI главъ, отъ которыхъ уже перейдемъ къ первой главѣ. Начнемъ, какъ это сдѣлалъ и самъ авторъ, съ медвѣдя:

«Василій Ивановичъ родился въ Казанской губерніи, въ деревнѣ Мордасахъ, въ которой родился и жилъ его отецъ, въ которой и ему было суждено жить и умереть. Родился онъ въ восьмидесятыхъ годахъ и мирно развился подъ сѣнью отеческаго крова. Ребенку было привольно расти. Бѣгалъ онъ весело по господскому двору, погоняя кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей, и постегивая весьма порядочно пристяжныхъ, когда онѣ недостаточно закидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчный свой досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками, но главное основаніе системы его воспитанія заключалось въ голубятнѣ. Василій Ивановичъ провелъ лучшія минуты своего дѣтства въ голубятнѣ, сманивалъ и ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и пріобрѣлъ весьма обширныя свѣдѣнія касательно козырныхъ и турмановъ.

«Отецъ Василія Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какое-то несчастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по близости доктора не обрѣталось, то какой-то сосѣдъ присовѣтовалъ ему прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію травничка: Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему способу леченія, до того усиливалъ пріемы, что скоро пріобрѣлъ въ околоткѣ весьма недиковинную славу человѣка, пьющаго запоемъ. Со временемъ барскій запой сдѣлался постояннымъ, такъ что каждый день утромъ, въ десять часовъ, Иванъ Федотовичъ съ хозяйской точностью былъ уже немножко подшефе, а въ одиннадцать совершенно пьянъ. А какъ пьяному человѣку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окружилъ себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговалъ онъ, правда, себѣ карлу, но карла пришелся слишкомъ дорого, и былъ тогда же отправленъ въ Петербургъ къ какому-то вельможѣ. Надлежало слѣдовательно довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которыхъ одѣвали въ затрапезныя платья съ красными фигурами и заплатами на спинѣ, съ рогами, хвостами и прочими смѣшными украшеніями. Иногда морили ихъ голодомъ для смѣха, били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и вообще употребляли на всевозможныя забавы. Въ такихъ удовольствіяхъ проходилъ цѣлый день, и когда Иванъ Федотовичъ ложился почивать, пьяная старуха должна была разсказывать ему сказки, оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругомъ его мухъ. Дураки должны были ссориться въ уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту и оживлялъ ихъ бесѣду звонкимъ прикосновеніемъ арапника.

«Мать Василія Ивановича, Арина Аникимовна, имѣла тоже свою дуру, но ужъ больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она была женщина серьёзная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрѣла за работами, знала, кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотьбѣ, свидѣтельствовала на мельницѣ закромы, надсматривала ткацкую, мужчинъ приказывала наказывать при себѣ, а женщинъ иногда и сама трепала за косу. Само собой разумѣется, кругомъ ея образовалась цѣлая куча разностепенной дворни, приживалокъ, наушницъ, кумушекъ, нянекъ, дѣвокъ, которыя, какъ водится, цѣловали у Василія Ивановича ручку, кормили его тайкомъ медомъ, поили бражкой и угождали ему всячески въ ожиданіи будущихъ благъ.»

Говоря о такомъ произведеніи, какъ «Тарантасъ», нѣтъ никакой возможности избѣжать выписокъ, и частыхъ, и довольно длинныхъ; у какого рецензента поднимается рука — пересказывать своими словами напримѣръ содержаніе сейчасъ выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ себѣ такую вѣрную, такъ мастерски написанную картину русскаго семейства? Здѣсь не знаешь, чему больше удивляться въ авторѣ: глубокому ли его знанію дѣйствительности, которую онъ изображаетъ, или его мастерству изображать! Но обратимся къ Василію Ивановичу. Онъ росъ себѣ, говоритъ авторъ, по простымъ законамъ природы, какъ растетъ капуста или горохъ. Десяти лѣтъ началъ онъ учиться у дьячка грамотѣ и два года долбилъ азы; писать онъ выучился прескверно и кончилъ свой курсъ наукъ катехизисомъ и ариѳметикой въ вопросахъ и отвѣтахъ. Кромѣ дьячка, у него былъ еще учителемъ отставной унтеръ-офицеръ изъ малороссіянъ, Вухтичъ.

«Получалъ онъ (Вухтичъ) жалованья шестьдесятъ рублей въ годъ, да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изношенное платье съ барскаго плеча и нѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья было немного, потому что Иванъ Федотовичъ вѣчно ходилъ въ халатѣ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою корову на господскомъ кормѣ. Василій Ивановичъ мало оказывалъ почтенія учителю, ѣздилъ верхомъ на его спинѣ, дразнилъ его языкомъ и нерѣдко швырялъ ему книгой прямо въ носъ. Если же терпѣливый Вухтичъ и выйдетъ, бывало, наконецъ изъ терпѣнія и схватится за линейку, Василій Ивановичъ кувыркомъ побѣжитъ жаловаться тятенькѣ, что учитель его, такой, сякой, бьетъ-де его палкой и бранитъ его дурными словами. Тятенька съ-пьяна раскричится на Вухтича: «Ахъ, ты, сѣдой этакой песъ, я тебя кормлю и одѣваю, а ты у меня въ дому шумѣть задумалъ! Вотъ я тебѣ... смотри, по шеямъ велю выпроводить... Не давать коровѣ его сѣна...» А кумушки и приживалки окружатъ Василія Ивановича и начнутъ его утѣшать; «Ненаглядное ты наше красное солнышко, свѣтъ наша радость, баринъ ты нашъ, позвольте ручку поцѣловать... Не слушайтесь, ягода,

золотой вы нашъ, хохла поганаго. Онъ—мужикъ, нашъ братъ... Гдѣ ему знать, какъ съ знатными господами обиходъ имѣть...—

— «Что же въ самомъ дѣлѣ,—думалъ Вухтичъ, не ходить же по міру». Заключеніемъ всего этого было то, что Вухтичъ женился на дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли, и воспитаніе Василія Ивановича было окончено» (стр. 177).

Изобразивъ съ такой поразительной вѣрностью «воспитаніе» Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры,—авторъ удивляется тому, что всѣ наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановичъ, а между тѣмъ не въ примѣръ намъ были отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами, —чтò особенно доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили, не по логическому убѣжденію, а по какому-то странному (?) внушенію (?!), любовь ко всѣмъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ». Здѣсь авторъ что-то темновато разсуждаетъ; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разумѣетъ старые обычаи, которыхъ наши дѣды и прадѣды дѣйствительно крѣпко держались. Кому не извѣстно, чего стòило Петру Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ въ авторѣ «Тарантаса» и которая заключается въ крѣпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ,— именно изъ того и вытекла, что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «были точно люди не грамотные». Мы не можемъ придти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще сохранилась на Руси, именно — между старообрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извѣстно, въ грамотѣ очень несильны. Китайцы тоже отличаются этой добродѣтелью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невѣжды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этой добродѣтелью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя совсѣмъ неспособны знать грамотѣ и которыя до сихъ поръ живутъ точь-въ-точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія. Вотъ, еслибы авторъ «Тарантаса» нашелъ гдѣ-нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому,—тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполнѣ раздѣлили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичъ служилъ въ Казани, плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ свою даму; но мы не можемъ пропустить рацеи его «дражайшаго родителя» въ отвѣтъ на «покорнѣйшую» просьбу «послушнѣйшаго» сына о благословеніи на бракъ: «Вишь, щенокъ, чтò затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ думаетъ». Отъ матери онъ услыхалъ то же самое. Воля мужа была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, думала она, а все-таки мужъ. При этомъ авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: «такъ думали въ старину!». Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый «тятенька» Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали; картина была умилительная... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что «любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая»: мы въ этомъ столько же увѣрены, какъ и онъ... Наконецъ Василій Ивановичъ женился и поѣхалъ въ Мордасы; на границѣ помѣстья всѣ мужики, «стоя на колѣняхъ», ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и съ солью. «Русскіе крестьяне,—говоритъ авторъ,—не кричатъ виватовъ, не выходятъ изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражаютъ свою преданность; и жалокъ тотъ, кто видитъ въ нихъ только лукавыхъ, безсловесныхъ рабовъ и не вѣруетъ въ ихъ искренность». Объ этомъ предметѣ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Еслибъ Василій Ивановичъ спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются,— староста навѣрное отвѣтилъ бы:

.....они
На радости, тебя увидя, пляшутъ.

Послѣ этого Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдовало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобродѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управляя ими по «русской методѣ», безъ агрономическихъ и филантропическихъ усовершенствованій. Учить сына поручилъ уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говорили о Василіи Ивановичѣ, что онъ—«продувная шельма», а молодые, что онъ—«пошлый дуракъ»; но въ сущности онъ былъ добродѣтельный помѣщикъ села Мордасъ, въ которомъ пока и оставимъ его, чтобъ заѣхать въ сосѣднюю деревню—къ родителямъ Ивана Васильевича.

Иванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать лѣтъ послѣ Василія Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ представитъ намъ совсѣмъ другую картину воспитанія, въ которой будетъ виденъ прогрессъ цѣлыхъ тридцати лѣтъ—огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро развивается. Василій Ивановичъ родился въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія; слѣдовательно Иванъ Васильевичъ родился или около 1815 года, или немного

позже. Мать его была какая-то княжна средней руки, недавняго восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была помѣшана на французскомъ языкѣ. Несмотря на всѣ свои претензіи, какъ старая дѣвка безъ приданаго, она была принуждена выйти замужъ за помѣщика, который «не былъ похожъ на Малекъ-Аделя или на Eugène de Rothelin, не былъ похожъ даже на лютаго тирана, а скорѣй на сурка: ѣлъ, спалъ, да рыскалъ цѣлый день по полю». Отъ этой-то достойной четы родился Иванъ Васильевичъ. Воспитаніе его поручено было французскому гувернёру. «Всѣмъ извѣстно,—говоритъ авторъ, что французы долго мстили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предлогомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе» (стр. 197). Замѣчаніе энергическое и остроумное, но, во-первыхъ, совсѣмъ не новое—уже тысячу тысячъ разъ было предметомъ посильныхъ остротъ журналовъ и нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во-вторыхъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастной судьбой занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду естественно не хочется: что жъ тутъ острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть кусокъ хлѣба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обнаружить свое остроуміе на счетъ невѣждъ, которые Богъ знаетъ кому поручали воспитаніе своихъ дѣтей: все смѣшное на сторонѣ этихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчей: да, французскіе эмигранты конечно люди почтенные въ глазахъ многихъ. и мы не станемъ спорить съ этими «многими». Гувернёръ Ивана Васильевича былъ эмигрантъ. Съ удивительной ироніей авторъ разсказываетъ намъ, какъ Иванъ Васильевичъ узналъ, что Расинъ—первый поэтъ въ мірѣ, а Вольтеръ—такая тьма мудрости, что и подумать страшно. Воспитаніе Ивана Васильевича, какъ и слѣдуетъ, было самое поверхностное и безтолковое, уже потому только, что его воспитывалъ человѣкъ, который случайно сдѣлался воспитателемъ. Это такъ естественно! А между тѣмъ мы далеки отъ того, чтобъ слишкомъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дѣтей такимъ воспитателямъ. Гдѣ же имъ было искать лучшихъ? Университеты русскіе тогда были совсѣмъ не то, что теперь, а ученые того времени, за слишкомъ рѣдкими исключеніями, часто казались сродни «зеленому господину» въ «Петербургскихъ Углахъ» Некрасова. Слѣдовательно въ такомъ состояніи воспитанія никто не былъ виноватъ, и намъ кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитаніе слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитаніи—вся надежда на добрую натуру воспитанника. Вѣдь Василій Ивановичъ, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужаснаго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его природы? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? А вѣдь онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя преимущества передъ Василіемъ Ивановичемъ, потому что зналъ хотя одинъ иностранный языкъ (а это—совсѣмъ не пустяки) и имѣлъ хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны и пусты они ни были. Будь у него добрая натура, ему не поздно было бы проснуться отъ своего ничтожества даже въ двадцать лѣтъ и дѣльнымъ трудомъ (который для него былъ такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный языкъ) воротить потерянное въ дѣтствѣ время. И какую пользу принесло бы ему путешествіе въ Европу!.. Но мы сейчасъ увидимъ, какъ воспользовалась этимъ путешествіемъ слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ необходимость взглянуть на натуру своего героя, но сдѣлалъ это вскользь и не совсѣмъ впопадъ: «Иванъ Васильевичъ былъ мальчикъ совершенно славянской породы, то есть лѣнивый, но бойкій» (стр. 199). Такъ, русская лѣнь — большая помѣха во всемъ русскому человѣку, но еще не непреодолимое препятствіе, и не въ ней корень зла: корень лежитъ глубже, его надо искать въ отсутствіи опредѣленнаго общественнаго мнѣнія, которое каждому указывало бы его путь, а не становило бы его на распутьи, говоря: иди, куда хочешь. Что же касается до Ивана Васильевича, корень зла его жизни заключался въ его слабой, ничтожной натуришкѣ, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти и вѣчно гонявшейся за убѣжденіями и страстями не по внутренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гувернёра перешелъ онъ въ одинъ частный пансіонъ въ Петербургѣ, гдѣ наблюдалась удивительная чистота, а учили вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ лѣнился и молодечествовалъ трубкой, водкой и другими пороками взрослыхъ; а на выпускномъ экзаменѣ срѣзался. Это заставило его подумать о себѣ. «Онъ почувствовалъ, что не рожденъ для безсмысленнаго разврата, а что въ немъ таится что-то живое, благородное, просящееся на свѣтъ, требующее дѣятельности, возвышающее душу». Онъ бы не прочь былъ и приняться за свое перевоспитаніе; «но какъ начать учиться, когда нѣкоторые товарищи уже титуляр-

ные совѣтники и веселятся въ свѣтѣ?» А! вотъ что! Мелкая натура сказалась! Ступайте-ка служить, Иванъ Васильевичъ,— куда вамъ учиться! Но оказалось, что онъ не годился и въ чиновники, и потому бросилъ службу; потомъ влюбился, — и тутъ толку не было; бросился въ свѣтъ,—и то надоѣло; хватался за поэтовъ, за науки, «принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянія, глупой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человѣкомъ, не оттого, чтобъ положеніе его было несчастливое, но оттого, что онъ ни въ чемъ не могъ принимать долго участія, оттого, что самъ собою былъ недоволенъ, оттого, что усталъ самъ отъ самого себя». Наконецъ онъ отправился за-границу. Сперва посѣтилъ Берлинъ «Знаменитости, передъ которыми онъ готовился благоговѣть, произвели на него то же самое впечатлѣніе, какъ кассиръ его министерства или излеровскій маркёръ. У одной знаменитости былъ носъ толстый, у другой — бородавка на щекѣ». Вздумалъ было посѣщать лекціи, но увидѣлъ, что безъ приготовленія нельзя ихъ понимать. «Въ Германіи объяснилась ему тайна воспитанія. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь каждый человѣкъ, отъ мужика до принца, вращается въ своемъ кругѣ терпѣливо и систематически, не заносясь слишкомъ высоко, не падая слишкомъ низко. Онъ видѣлъ, какъ каждый человѣкъ выбираетъ себѣ дорогу и идетъ себѣ постоянно по этой дорогѣ, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ виду своей цѣли». И жалкій бѣднякъ, который уже своей натурой осужденъ на вѣкъ остаться духовно-малолѣтнымъ, принялся проклинать своего француза-наставника, вмѣсто того чтобъ ругнуть хорошенько самого себя... Потомъ онъ началъ ругать нѣмцевъ за то, что они дѣльнѣе его: для слабыхъ натуръ это не послѣднее средство утѣшиться въ горѣ! Но кромѣ того вообще въ русской натурѣ — оправдываться въ своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: «славны бубны за горами»...

Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ Парижъ. Сначала онъ увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движеніемъ парижской жизни, но скоро «онъ увидѣлъ собственную исторію въ огромномъ размѣрѣ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное движеніе, звонкія рѣчи, громкіе возгласы, безмѣрное хвастовство, желаніе высказаться и стать передъ другими, а на днѣ этой кипящей жизни— тяжелую скуку и холодный эгоизмъ» Подлинно, всякій во всемъ видитъ свое, въ оправданіе Шеллинговской системы тождества и въ то же время въ оправданіе басни Крылова, извѣстная героиня которой, затесавшись на барскій дворъ, ничего не увидѣла тамъ, кромѣ навоза... Бѣдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ суждено видѣть ужасную дрянь — самого себя... Нѣтъ—виноваты!—въ Италіи онъ увидѣлъ искусство, и оно освѣжило его. По крайней мѣрѣ такъ увѣряетъ авторъ. Мы вѣримъ ему, хотя въ то же время вѣримъ и тому, что безъ приготовленія, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ развитіи чувства изящнаго въ самомъ себѣ искусство никому не дается. Минутное раздраженіе нервовъ—еще не проникновеніе въ тайны искусства; минутное развлеченіе новыми предметами—еще не наслажденіе ими.—Авторъ увѣряетъ (стр. 210), что Италія не пала, не погибла, не схоронена, и совѣтуетъ ей не вѣрить коварнымъ словамъ, истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ никто не станетъ спорить, чтобъ природа Италіи, развалины и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно прекрасны. Къ ней идетъ сравненіе, сказанное Байрономъ о Греціи: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна и въ гробѣ. Но Греція воскресла, и для нея это сравненіе уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россіи заставили Ивана Васильевича думать о своемъ отечествѣ и полюбить его. Черта, вполнѣ достойная Ивана Васильевича! Пустота составляетъ душу этого человѣка, и въ его пустотѣ есть какое-то тревожное, суетливое стремленіе безъ всякой способности достиженія. Въ немъ нѣтъ ничего непосредственнаго, живого: ему нужно, чтобъ его толкали извнѣ, и только тогда можетъ онъ бросаться, на время и не надолго, то на то, то на другое. Такимъ образомъ безъ поѣздки за-границу ему никогда не пришло бы въ голову полюбить Россію, даже никогда не вздумалось бы, что земля, въ которой онъ живетъ, называется Россіей, и что онъ самъ—гражданинъ этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, благодаря путешествію, онъ полюбилъ Россію,—какъ понятно, что это—не чувство, а новая мечта его праздношатающейся фантазіи! «Тогда рѣшился онъ изучить свою родину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ восторгомъ, то и отчизнолюбіе въ немъ загорѣлось бурнымъ пламенемъ». Возвратившись въ Россію, онъ вооружился книгой для своихъ путевыхъ впечатлѣній и очинилъ перо. «Но что будетъ изъ этого? Что напишетъ онъ? Что откроетъ? Что скажетъ вамъ?— Кажется, ничего!» (стр. 212). Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что Иванъ Васильевичъ

не пріученъ къ упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну изъ второстепенныхъ. Первая и главная причина—въ натурѣ Ивана Васильевича, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти,—въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отрицанія и идти до послѣднихъ слѣдствій...

Теперь пойдемъ за нашими героями въ Москву на Тверской бульваръ и послушаемъ нѣкоторые отрывки изъ разговора.

«— Откуда ты?
— Я былъ за-границей.
— Вотъ-съ! а гдѣ, коль смѣю спросить?
— Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.
— Такъ-съ.
— Въ Германіи, въ Италіи.
— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много деньжонокъ изволилъ порастрясти?
— Какъ-съ?
— Много-ли, братъ, промотыжничалъ...
— Довольно-съ.
— То-то... а батюшка-то твой, мой сосѣдъ, что скажетъ на это. Вѣдь старики-то не очень сговорчивы на дѣтское мотовство... Да и годы-то плохіе. Ты, чай, слышалъ, что у батюшки всю гречиху градомъ побило?
— Батюшка писалъ-съ; я самъ теперь къ нему собираюсь.
— Хорошее дѣло старика утѣшить. А... смѣю спросить, какого чина?
— Такъ и есть! подумалъ молодой человѣкъ,— 12 класса, отвѣчалъ онъ запинаясь...
— Гм... не важно... а ужъ въ отставкѣ, чай?
— Въ отставкѣ.
— То-то же. Вы, молодые люди, вбили себѣ въ голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишкомъ, изволите видѣть, стали. — А теперь, коли смѣю спросить, что вы намѣрены дѣлать-съ... Ась?
— Да я хотѣлъ бы, Василій Ивановичъ, посмотрѣть на Россію, познакомиться съ ней.
— Какъ-съ?
— Я хотѣлъ бы изучить свою родину.
— Что, что, что...
— Я намѣренъ изучить свою родину.
— Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?...
— Изучать мою родину... изучать Россію.
— А какъ это вы, батюшка, будете изучать Россію?...
— Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ея древности и въ отношеніи ея народности, что впрочемъ тѣсно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши повѣрья и преданья, прислушиваясь ко всѣмъ отголоскамъ нашей старины, мнѣ удастся... виноватъ, намъ... мы, товарищи и я... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, нрава и требованія, и будемъ знать, изъ какого источника должно возникать наше народное просвѣщеніе, пользуясь примѣромъ Европы, но не принимая его за образецъ.
— По моему, сказалъ Василій Ивановичъ: — я нашелъ тебѣ самое лучшее средство изучать Россію — жениться. Брось пустыя слова, да поѣдемъ-ка, братъ, въ Казань. Чинъ у тебя небольшой, однако офицерской. Имѣніе у васъ дворянское. Партію легко найдешь. На невѣстъ у насъ, слава Богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить съ старикомъ. Пора и объ немъ подумать. — Эхъ, братъ, право — ну! Ты вѣдь думаешь, въ деревнѣ скучно? Ни чуть. По утру въ поле; а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ. Да главное, какъ заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь самъ-восемъ, да на гумнѣ столько хлѣба наберется, что не успѣешь молотить, а въ карманѣ столько цѣлковыхъ, что не сочтешь, такъ, по моему, ты славно будешь знать Россію. А?...»

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ миніатюрномъ донъ-Кихотѣ, Иванѣ Васильевичѣ, авторъ назначилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетвореннаго здраваго смысла, который впрочемъ и не подозрѣваетъ ни мало, что онъ—здравый смыслъ?—Мало этого: Василій Ивановичъ, въ отношеніи къ Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смыслъ, но и олицетворенная иронія. Все, что говорилъ онъ ему, можно перевести такъ: знаемъ мы васъ, голубчики! вы и модничаете, и умничаете, и ѣздите за-границу, проматываетесь и дома, и на чужбинѣ и подымаете носъ кверху передъ нами, степными медвѣдями,—а вѣдь кончите же тѣмъ, что сами омедвѣдитесь не лучше нашего, и въ законномъ сожительствѣ съ какой-нибудь Авдотьей Петровной, съ кучей дѣтей, разъѣвшись, разоспавшись и растолстѣвъ, отъ полноты сердца будете говорить: «Въ деревнѣ скучно? Ничуть! По утру въ поле, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ!» Еслибъ Василій Ивановичъ былъ хоть немного философски образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни заносись, мой милый, а дѣйствительность возьметъ свое,—и быть тебѣ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, а помѣщикомъ, да еще женатымъ на какой нибудь Авдотьѣ Петровнѣ, которая смолоду болтала по-французски, а а въ лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ страхѣ не хуже моей Авдотьи Петровны. Я же тебя знаю: ты боекъ только на словахъ, а натурка твоя жиденька́я, и ты спасуешь передъ прозой жизни, даже и не попытавшись побороться съ нею!... Конечно Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и самъ не подозрѣвалъ глубокаго смысла своихъ словъ, но вѣдь онъ—безсознательный, непосредственный здравый смыслъ: онъ умѣнъ, какъ дѣйствительность, какъ природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, что она существуетъ... Да и зачѣмъ Василію Ивановичу сознаніе? онъ силенъ и безъ него—большинство, толпа, словомъ, дѣйствительность за него; а на сторонѣ Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на лѣствицѣ нравственнаго совершенства послѣдній стоитъ несравненно

выше перваго; но по собственному, исключительному свойству дѣйствительности, среди которой оба они живутъ,—въ сущности оба они сходятъ на нуль. Одинъ, какъ медвѣдь, мечтаетъ, идя по Тверскому бульвару, о московскихъ удовольствіяхъ:

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, Англійскій клубъ, Нѣмецкій клубъ, Коммерческій клубъ, и все столы съ картами, къ которымъ можно присѣсть, чтобъ посмотрѣть, какъ люди играютъ большую и малую игру. А тамъ лото, за которымъ сидятъ помѣщики, и бильярдъ съ усатыми игроками и шутливыми маркёрами. Что за раздолье!... а цыгане то, комедія-то, а медвѣжья травля меделянскими мордашками у Рогожской Заставы, а гулянье за городомъ, а театръ-то, театръ, гдѣ пляшутъ такія красавицы, и ногами такіе вензеля выдѣлываютъ, что просто глазамъ не вѣришь...»

Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удовольствіяхъ:

«Господи, Боже мой, какъ жаль, что такъ мало здѣсь движенія и жизни... Nel furor... то ли дѣло Парижъ... della tempesta. Ахъ Парижъ, Парижъ! Гдѣ твои гризетки, твои театры и балы Мюзара... Nel furor. Какъ вспомнишь: Лаблашь, Гризи, Фанни Эльслеръ, а здѣсь только что спрашиваютъ, какой у тебя чинъ. Скажешь: губернскій секретарь — никто на тебя и смотрѣть не хочетъ... della tempesta!»

Что̀ за странная пустота, что̀ за странное ничтожество въ чувствахъ этихъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о сундукахъ, сундучкахъ, коробкахъ, коробочкахъ, боченкахъ, которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи, о перинахъ, тюфякахъ, подушкахъ, которыми онъ заваленъ снутри; скажемъ только, что талантъ автора неподражаемъ въ отношеніи всѣхъ этихъ подробностей. Тарантасъ готовъ двинуться; наконецъ явился и Иванъ Васильевичъ.

«Воротникъ его макинтоша былъ поднятъ выше ушей; подъ мышкой былъ у него небольшой чемоданчикъ, а въ рукахъ держалъ онъ шелковый зонтикъ, дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и прекрасно переплетенную въ коричневый сафьянъ книгу со стальными застежками и тонко очиненнымъ карандашомъ.

— А, Иванъ Васильевичъ! сказалъ Василій Ивановичъ. — Пора, батюшка. Да гдѣ же кладь твоя?

— У меня ничего нѣтъ больше съ собой.

— Эва! да ты, братъ, эдакъ въ мѣшкѣ-то своемъ замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишній тулупчикъ на заячьемъ мѣху. Да-бишь, скажи, пожалуста, что̀ подъ тебя подложить, перину или тюфякъ?

— Какъ? съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Я у тебя спрашиваю, что̀ ты больше любишь, тюфякъ или перину? Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бѣжать и съ отчаяніемъ поглядывалъ со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидитъ его въ тулупѣ, въ перинѣ и въ тарантасѣ (стр. 20).»

Да, было отчего въ отчаянье придти! И вотъ въ чемъ состоитъ европеизмъ господъ вродѣ Ивана Васильевича. Этимъ людямъ и въ голову не входитъ, что если въ Европѣ всѣ стремятся къ опоэтизированію своего быта, — за то никто, при недостаткѣ, при переворотѣ обстоятельствъ, при случаѣ, не постыдится ни сѣсть въ какой угодно тарантасъ, ни вычистить себѣ, при нуждѣ, сапоги. Этого рода европейцевъ, въ отличіе отъ истинныхъ европейцевъ, не худо бы называть европейцами-татарами...

Ивану Васильевичу было грустно, но дѣлать нечего. Онъ промотался по-русски и нашелъ случай доплестись до дому; притомъ же дорогой онъ можетъ изучать Россіи и вести свои записки... Все бы хорошо. «Но эта неблагородная перина, но эти ситцевыя подушки, но этотъ ужасный тарантасъ!..» Въ самомъ дѣлѣ ужасно!..

«— Василій Ивановичъ?

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чемъ я думаю?

— Нѣтъ, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что такъ какъ мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествіе?

— Да вѣдь мы теперь путешествуемъ.

— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, совсѣмъ нѣтъ. Мы просто ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.

— Ну, да вѣдь это тоже путешествіе.

— Какое, батюшка, путешествіе. Путешествуютъ тамъ, за-границей, въ Нѣмечинѣ; а мы что̀ за путешественники? Просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню.»

О, Василій Ивановичъ! о, великій практическій философъ, отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своей безграмотностью, какъ умнѣе ты этого полуграмотнаго фертика! Потому умнѣе, что какъ бы ни были грубы твои понятія, ихъ корень въ дѣйствительности, а не въ книгѣ, и, вѣрный степовому началу своей жизни, ты знаешь, что въ степяхъ ѣздятъ по дѣламъ и по нуждѣ, а не изъ любопытства, не для изученія! Ты называешь всѣ вещи ихъ настоящими именами, мѣсяцъ называешь просто мѣсяцемъ, а не воздушной или небесной ночной лампадой! Ахъ, еслибы зналъ ты, какъ уменъ твой глупый отвѣтъ: «мы не путешествуемъ, а ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы; мы—не путешественники, а просто—дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню!..»

Иванъ Васильевичъ книжнымъ языкомъ толкуетъ своему спутнику о пользѣ путешествій,—и Василій Ивановичъ, ничего не понимая, но смутно предчувствуя, что юноша несетъ страшную дичь, отвѣчаетъ ему: «Вотъ-съ». Иванъ Васильевичъ съ риторическимъ восторгомъ говоритъ о своихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, о пользѣ, которую сдѣлаетъ его книга;

Василій Ивановичъ наконецъ объясняется на-прямки: «Ты все такое мелишь странное». Иванъ Васильевичъ толкуетъ о своей любви и своемъ уваженіи къ русскому мужику и русскому барину, и о своей ненависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Василій Ивановичъ, человѣкъ умный по привычкѣ, и потому совершенно чуждый и благоговѣнія къ мужику и барину, и презрѣнія къ чиновнику, такъ какъ всѣхъ ихъ онъ находитъ въ порядкѣ вещей, спрашиваетъ: «А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновниковъ?» Иванъ Васильевичъ прибѣгаетъ къ уловкѣ всѣхъ людей, которые ничего не въ состояніи понять въ идеѣ, въ принципѣ, въ источникѣ, а все понимаютъ случайно, и раздѣляетъ чиновниковъ на благородныхъ, которыхъ онъ уважаетъ, и на такихъ, которыхъ презираетъ за ихъ трактирную образованность, за отсутствіе въ нихъ всего русскаго, за взяточничество. Отсутствіе всего русскаго—и взяточничество! Каковъ?... Браня чиновниковъ, онъ восхищается мужиками, увѣряя, что ничего не можетъ быть красивѣе и живописнѣе ихъ. «Въ мужикѣ,—говоритъ онъ,—таится зародышъ русскаго богатырскаго духа, начало нашего отечественнаго (народнаго, національнаго) величія».—«Хитрыя бываютъ бестіи!» замѣтилъ Василій Ивановичъ... Апологистъ не смѣшался отъ этого замѣчанія, совершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ, но которое тѣмъ поразительнѣе, чѣмъ невиннѣе и простодушнѣе,— и поставилъ въ огромную заслугу мужику его, будто-бы, способность сдѣлаться, по желанію (желательно бы знать, чьему?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, управителемъ, чѣмъ угодно. Если хотите,— это, къ сожалѣнію, справедливо: изъ страха или изъ корысти русскій человѣкъ возьмется за все, вопреки мудрому правилу:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человѣку хоть Аполлона Бельведерскаго: онъ не сконфузится и топоромъ, и скобелью сдѣлаетъ изъ словаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будетъ божиться, что его работа настоящая нѣмецкая. Потому-то русскіе покупатели такъ страстны къ иностранной работѣ и такъ боятся отечественныхъ издѣлій. Конечно способность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, имѣетъ свою хорошую сторону и иногда творитъ чудеса: противъ этого мы ни слова. Но вѣдь иногда совсѣмъ не то, что̀ всегда, и tour de force, какъ дѣло случайности и удачи, совсѣмъ не то, что̀ свободное произведеніе таланта или природной способности, развитой правильнымъ ученіемъ. Умы поверхностные любятъ увлекаться блестящимъ, бросающимся въ глаза, парадоксальнымъ; но умъ основательный не позволитъ себѣ увлечься лицевой стороной предмета, не посмотрѣвъ на изнанку; естественное и простое онъ всегда предпочтетъ насильственному и хитрому.

Есть однакожъ въ апологіи Ивана Васильевича мысль очень умная и дѣльная— о гнусности и вредѣ существа, называемаго дворовымъ человѣкомъ; есть часть истины и въ его одностороннемъ взглядѣ на чиновника, какъ потомка дворовaго человѣка.

«Дворовый не что иное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый обритъ, ходитъ въ длинноломъ сюртукѣ домашнаго сукна. Дворовый служитъ потѣхой праздной лѣни и привыкаетъ къ тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствуетъ и воруетъ, и важничаетъ, и презираетъ мужика, который за него трудится и платитъ за него подушныя. Потомъ, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый вступаетъ и въ конторщики, въ вольноотпущенные, въ приказные: приказный презираетъ и дворовaго, и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку отъ исправника подбираетъ себѣ куръ, да гривенники. У него сюртукъ нанковый, волосы примазанные. Онъ обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спускается еще на ступень ниже, дѣлается писцомъ, повытчикомъ, секретаремъ и наконецъ настоящимъ чиновникомъ. Тогда сфера его увеличивается; тогда получаетъ онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, и приказнаго, потому что они, изволите видѣть, люди необразованные. Онъ имѣетъ уже высшія потребности, и потому крадетъ уже ассигнаціями. Ему вѣдь надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть въ банчикъ, ѣздить въ тарантасѣ, выписывать для жены чепцы съ серебряными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти вступаетъ на свое мѣсто, какъ купецъ вступаетъ въ лавку, и торгуетъ своимъ вліяніемъ, какъ товаромъ. Попадется иной, другой... «Ништо ему, говорятъ собратья. Бери, да умѣй» (стр. 30 — 31).

Дѣйствительно, эта генеалогія, отъ дворовaго черезъ конторщика изъ вольноотпущенныхъ и приказнаго до чиновника, не только остроумна, но и отчасти справедлива. Реформа Петра Великаго, которой основнымъ принципомъ было преимущество личныхъ достоинствъ или способностей надъ породой, пересоздала дворовaго въ подъячаго, подъячій родилъ приказнаго, приказный—чиновника. Итакъ, дворовый — яйцо, подъячій— червь, приказный — куколка, чиновникъ — бабочка! Тутъ, какъ видите, есть развитіе, и каждая новая ступень выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до «чиновника», но тѣмъ не менѣе мы чужды всякаго несправедливаго и односторонняго недоброжелательства къ этому почтенному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согласиться съ Иваномъ Васильевичемъ, что

лучшія сословія у насъ—мужикъ и баринъ, а худшее — чиновникъ. Пусть образованіе чиновника трактирное, какъ увѣряетъ Иванъ Васильевичъ, пусть онъ пьетъ донское, куритъ жуковскій, ѣздитъ въ тарантасѣ и выписываетъ для жены своей чепцы съ серебряными колосьями да шелковыя платья: во всемъ этомъ есть своя хорошая сторона, которая состоитъ въ томъ, что формы жизни чиновника близко подходятъ къ формамъ жизни барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ поступаетъ въ кадетскій корпусъ и оттуда выходитъ хорошимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ университетъ, откуда для него открыты честные и благородные пути на всѣ поприща жизни, и онъ всегда способенъ съ честью идти по одному разъ-избранному имъ поприщу; онъ можетъ быть ученымъ, художникомъ, литераторомъ, словомъ,—всѣмъ, чѣмъ можетъ быть и баринъ. Скажутъ: кто же не можетъ, и почему эта привилегія сына чиновника?—Потому, отвѣчаемъ мы, что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ службѣ университетскимъ образованіемъ, ученый, профессоръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ купцовъ, изъ духовнаго званія,—всѣ они—больше исключенія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всѣ они находятся въ прямой противоположности съ формами жизни сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, они спѣшатъ выйти изъ своего сословія, съ которымъ чувствуютъ себя на вѣкъ разорванными черезъ образованіе, и слѣдовательно спѣшатъ увеличить собою чиновническое сословіе. Какъ? спросятъ насъ, да какое же отношеніе между музыкантомъ напримѣръ и чиновникамъ? — Очень большое: ихъ связываетъ одинаковость формъ жизни. И потому-то сынъ чиновника, сдѣлавшись напримѣръ ученымъ или художникомъ, какъ будто совсѣмъ не выходитъ изъ своего сословія: его костюмъ тотъ же, образъ жизни тотъ же, отъ утренняго чаю или кофе —до поклона знакомой дамѣ или до танца съ нею на балѣ. Скажемъ прямѣе: формы жизни чиновника могутъ быть нѣсколько грубѣе, аляповатѣе формъ жизни барина, но сущность тѣхъ и другихъ совершенно одинакова, и чиновникъ изъ бѣдныхъ людей, котораго образованіе допуститъ въ свѣтскій кругъ, никогда не будетъ такимъ страннымъ исключеніемъ, какимъ былъ бы человѣкъ изъ другого сословія, особенно купеческаго. Чиновническое сословіе играетъ въ Россіи роль химической печи, проходя черезъ которую люди мѣщанскаго, купеческаго, духовнаго и, пожалуй, дворовaго сословія теряютъ рѣзкія и грубыя внѣшности этихъ сословій и отъ отца къ сыну вырождаются въ сословіе баръ. Это потому, что въ Россіи чинъ, обязывая человѣка носить европейскій костюмъ и держаться европейскихъ формъ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ обязываетъ его во всемъ тянуться за бариномъ. Сверхъ того между бариномъ и чиновникомъ — не во гнѣвъ будетъ сказано всѣмъ Иванамъ Васильевичамъ—существуетъ болѣе живая и крѣпкая связь, нежели между бариномъ и мужикомъ, купцомъ, духовнымъ или человѣкомъ изъ другого какого-либо сословія— это все чиновничество же. Развѣ баринъ— не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ неслужащихъ и неимѣющихъ чина? Скажутъ: они служатъ въ военной. Неправда! Ихъ больше въ статской, и статской службой по большей части оканчиваютъ и тѣ, которые начали съ военной. А сколько теперь дворянъ, сдѣлавшихся дворянами черезъ службу? Два-три поколѣнія—и вы ни въ какой телескопъ не отличите ихъ отъ родового дворянства. Что же касается до взяточничества, право, никому не легче давать взятки засѣдателю или исправнику, нежели стряпчему или писцу квартальнаго, потому что взятка—все взятка, кто бы ни взялъ ее съ васъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что въ Петербургѣ напримѣръ служащіе въ министерскихъ департаментахъ чиновники не подвержены никакому упреку въ этомъ отношеніи. Вообще это предметъ, о которомъ... о которомъ мы не хотимъ больше говорить, «чтобъ гусей не раздразнить». Иванъ Васильевичъ—гусь породистый: маменька его была татарская княжна,—и потому для него нужна генеалогія людей. Мы съ этой стороны совсѣмъ въ другомъ положеніи,—и намъ нисколько нѣтъ нужды до того, кто былъ отецъ этого человѣка; для насъ важно одно: каковъ самъ этотъ человѣкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень много хорошаго о состояніи, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и по своему верхоглядству сложилъ всю вину на богатыхъ дворянъ. Мы не беремся объяснить это явленіе, и скажемъ только, что все, что есть или что сдѣлалось, есть и сдѣлалось по причинамъ неотразимымъ и съ самаго начала носило въ себѣ сѣмена своего будущаго состоянія. Объ этомъ бы и слѣдовало говорить Ивану Васильевичу или ничего не говорить. А іереміады-то мы слыхали и не отъ него, и онѣ всѣмъ надоѣли, потому что ихъ способенъ повторять всякій человѣкъ, неумѣющій порядочно связать двухъ идей. Что новаго въ этихъ напримѣръ словахъ Ивана Васильевича?— «Всѣ старинныя имена наши исчезаютъ. Гербы нашихъ княжескихъ домовъ развалились въ прахъ, потому что не на что ихъ

возстановить, и русское дворянство зажиточное, радушное, хлѣбосольное отдало родовыя свои вотчины оборотливымъ купцамъ, которые въ роскошныхъ палатахъ подѣлали себѣ фабрики». Какая же, по мнѣнію Ивана Васильевича, причина этого важнаго явленія?—«Попромотались на праздники, на театры, на любовницъ, на всякую дрянь»... Знаете ли, на что̀ похоже подобное объясненіе! Вопросъ: Отчего умеръ этотъ человѣкъ? Отвѣтъ: Отъ болѣзни. — Хорошо; но отчего онъ заболѣлъ, и почему онъ умеръ отъ этой болѣзни, когда другой, у котораго была та же самая болѣзнь, не умеръ отъ нея? Но это сравненіе еще не совсѣмъ вѣрно: человѣкъ можетъ умереть отъ случайности, а случайность не объясняется общими законами; измѣненіе же или упадокъ цѣлаго сословія не можетъ быть дѣломъ случайности, — и мотовство тутъ плохое объясненіе. Что̀ праздники, театры и любовницы богачей нашего времени передъ роскошью вельможъ прошлаго вѣка! Однакожъ имъ доставало своихъ средствъ.... Нѣтъ; подобный вопросъ надо было или рѣшить поглубже и поосновательнѣе, или вовсе не браться за него. Василій Ивановичъ гораздо лучше рѣшилъ его. «Что̀ думаете вы о нашихъ аристократахъ?» спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. «Я думаю,—сказалъ Василій Ивановичъ,—что на станціи намъ не дадутъ лошадей».

Описаніе станціи превосходно: при каждой строкѣ такъ и хочется вскрикнуть: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Анекдотъ станціоннаго смотрителя о генералѣ прекрасенъ и самъ по себѣ, и по тому восторгу, въ который привелъ онъ Василія Ивановича. Описаніе жилища или, лучше сказать, логовища, въ которомъ помѣщается станціонный смотритель и въ которомъ такъ вѣрно, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ, понятія и наклонности,—это описаніе—верхъ мастерства, и хотя нѣкоторые нравоописательные романисты, они же и критики, объявили, ради весьма понятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ пишетъ въ поверхностномъ родѣ,—однако для насъ одна страница въ «Тарантасѣ», которая знакомитъ читателя съ покоями станціоннаго смотрителя, въ тысячу разъ лучше всѣхъ нравоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ романовъ. Превосходенъ также этотъ вскользь, но вѣрно обрисованный маіоръ, который въ ожиданіи лошадей всѣмъ говорилъ «ты» и всѣмъ разсказалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичъ трепалъ по плечу, приговаривая: «военная косточка!» (стр. 43). Никѣмъ неподозрѣваемый изъ чаявшихъ движенія лошадей, внезапный проѣздъ тайнаго совѣтника, для котораго у станціоннаго смотрителя нашлись лошади, есть истинно-художническая черта, которая удивительно вѣрно доканчиваетъ картину «станціи». За станціей слѣдуетъ гостинница, но въ промежуткѣ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской жизни съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастье: отъ тарантаса были отрѣзаны два чемодана и нѣсколько коробовъ, а съ ними пропали чепчикъ и тюрбанъ отъ мадамъ Лебуръ, съ Кузнецкаго моста, пріобрѣтенные для Авдотьи Петровны.

«Пріѣхавъ на станцію, онъ бросился къ смотрителю съ жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвѣчалъ ему въ утѣшеніе: «Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уже не въ первый разъ. Вы тутъ въ двѣнадцати верстахъ проѣзжали черезъ деревню, которая тѣмъ извѣстна: все шалуны живутъ».

— Какіе шалуны? спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Извѣстно-съ. На большой дорогѣ шалятъ ночью. Коли заснете, какъ-разъ задній чемоданъ отрѣжутъ.

— Да это разбой!

— Нѣтъ, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости, уныло говорилъ Василій Ивановичъ, отправляясь снова въ путь. — А что̀ скажетъ Авдотья Петровна?» (стр. 47).

Иванъ Васильевичъ торопится во Владиміръ, которымъ онъ, какъ древнимъ городомъ, прекрасно можетъ начать свои путевыя впечатлѣнія. «Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивановичъ, что я... и не я одинъ, а насъ много, мы хотимъ выпутаться изъ гнуснаго просвѣщенія Запада и выдумать своебытное просвѣщеніе Востока». И эту дичь Иванъ Васильевичъ несетъ простодушно, безъ всякой задней мысли... Какой чудакъ!...

Наконецъ путешественники наши во Владимірѣ, въ губернской гостинницѣ, которая изображена и вѣрно, и оригинально.

«— Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у полового.

— Все есть, отвѣчалъ надменно половой.

— Постели есть?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А что есть обѣдать?

— Все есть.

— Какъ все?

— Щи-съ, супъ-съ. Биштексъ можно сдѣлать. Да вотъ на столѣ записка, прибавилъ половой, гордо подавая сѣрый лоскутокъ бумаги.

Иванъ Васильевичъ принялся читать:

О б ѣ т ъ!

1. Супъ. — Липотажъ.
2. Говядина. — Телятина съ цидрономъ.
3. Рыба. — Раки.
4. Соусъ. — Патиша.
5. Жаркое. — Курица съ рысью.
6. Хлѣбенное. — Желе сапельсиновъ.»

На вопросъ о винахъ половой тоже съ увѣренностью отвѣчалъ: «Какъ не быть-съ? Всѣ вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мадера, лафиты есть. Первѣйшія вина». Нечего и говорить, что онъ сбиралъ на столъ долго, перемѣнялъ и встряхивалъ грязныя салфетки, и что ничего ни ѣсть, ни пить не было возможности. Это однакожъ не помѣшало Василію Ивановичу ѣсть за троихъ—русскій баринъ! Лежа на сѣнѣ и поворачиваясь съ боку на бокъ, Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостинницы на нѣмецкій ладъ и мечтать о заведеніи гостинницы на русскую стать. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ на этотъ предметъ, но дѣла, по своему обыкновенію, не сказалъ. Гоняясь за теоретическими, отдаленными причинами, онъ не увидѣлъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, что дѣло сдѣлано и воротить его невозможно; что все на Руси, волей или неволей, тянется за европеизмомъ и коверкаетъ его на монгольскую стать. Иванъ Васильевичъ видно не бывалъ въ губернскихъ трактирахъ, гдѣ по-русски угощается русскій людъ, тогда бы онъ понялъ, почему всѣ дрянную гостинницу предпочитаютъ хорошему трактиру. А что наши губернскія гостинницы скверны, въ этомъ виноваты не отсутствіе національнаго элемента, не подражаніе внѣшнему европеизму, а просто на-просто отсутствіе конкуренціи между заведеніями такого рода. Въ иномъ губернскомъ городѣ одна гостинница и та плоха до невозможности, потому что пуста и рѣдко принимаетъ гостей; а Торжокъ—уѣздный городъ, и въ немъ двѣ гостинницы: одна сносная, а другая даже порядочная, оттого, что по значительному числу проѣзжающихъ обѣ могутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, «ларчикъ просто открывался»; но Иваны Васильевичи не любятъ простыхъ причинъ, которыя не даютъ предмета для риторики и и вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Васильевичъ, по своему невѣдѣнію, не много нашелъ удовольствія въ созерцаніи древностей. Не понимаемъ, какъ не догадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное пожалѣть, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. А вѣдь это фактъ, о которомъ можно пораздуматься. Тутъ естественно представляется вопросъ: кто виноватъ въ этомъ равнодушіи—люди или древности?... Вѣдь любовь къ родному, къ древностямъ, къ исторіи должна быть непосредственная, живая, самородная, а не книжная, не искусственная, и если на что само собою не откликается цѣлое общество, это едва ли стоитъ изученія и едва ли не нѣмо само по себѣ... Но если Иванъ Васильевичъ ни чего не узналъ о древностяхъ Владиміра, зато хорошо узналъ его настоящее положеніе, какъ губернскаго города. Сдѣлавъ яркую и вѣрную характеристику губернскаго города, которая, право, въ тысячу разъ стоитъ больше всякой самой ученой диссертаціи о гнилыхъ древностяхъ,—пріятель Ивана Васильевича разсказываетъ ему свою исторію, по имени которой эта глава названа «простой и глупой исторіей». Тутъ много вѣрнаго и правдиваго, хотя въ цѣломъ разсказѣ преобладаетъ догматическій и нравоучительный тонъ. Разсказъ начиняется съ опредѣленія на службу въ Петербургѣ. «Жить въ Петербургѣ и не служить—все равно, что̀ быть въ водѣ и не плавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ департаментомъ, и даже строенія его глядятъ министрами, директорами, столоначальниками, съ форменными стѣнами, съ вицемундирными окнами. Кажется, что самыя петербургскія улицы раздѣляются, по табели о рангахъ, на благородныя, высокоблагородныя и превосходительныя» Но служба не далась пріятелю Ивана Васильевича, что̀ онъ приписалъ своему невѣжеству. Странное уничиженіе! «Служба — лѣстница. По этой лѣстницѣ ползаютъ, шагаютъ, карабкаются и прыгаютъ люди зеленаго цвѣта, то толкая другъ друга, то срываясь отъ неосторожности, то зацѣпляясь за фалды надежнаго эквилибриста; немногіе идутъ твердо и безъ помощи. Немногіе думаютъ объ общей пользѣ, но каждый думаетъ о своей. Каждый помышляетъ, какъ бы схватить крестикъ, чтобъ поважничать передъ собратіями, да какъ бы набить карманъ потуже. Не думай впрочемъ, чтобъ петербургскіе чиновники брали взятки. Сохрани Богъ! Не смѣшивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, братецъ, дѣло подлое, опасное, и притомъ не совсѣмъ прибыльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогъ къ той же цѣли. Займы, аферы, акціи, облигаціи, спекуляціи... Этимъ способомъ, при нѣкоторомъ служебномъ вліяніи, при удачной смѣтливости въ дѣлахъ, состоянія точно также наживаются. Честь спасена, а деньги въ карманѣ». Не понимаемъ, зачѣмъ же послѣ этого нужны для службы наука и образованіе? Тутъ нужны, напротивъ, гибкая спина, ловкость акробата и практическая способность пріобрѣтать благонамѣреннымъ образомъ...

Разсказчикъ пустился въ свѣтъ. Слѣдуютъ моральныя нападки на гибельную страсть низшихъ сословій тянуться за высшими,

бѣдныхъ—за богатыми. Потерянное время, потерянныя слова! сколько ни толкуй знатный ничтожному, сколько ни увѣряй богатый бѣднаго, что онъ, ничтожный, такъ же осужденъ судьбой на ничтожество, какъ онъ, знатный, опредѣленъ на знатность; что онъ, бѣдный, такъ же осужденъ судьбой на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ для богатства,—ничтожный и бѣдный никогда не будутъ такъ глупы, чтобъ простодушно повѣрить подобнымъ увѣреніямъ. Никто изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и хуже другого,—и лѣзть на верхъ, гдѣ такъ спокойно и безопасно, вмѣсто того чтобъ ползти внизъ, въ грязь, подъ ноги другихъ, служа имъ мостовой,—это такой же инстинктъ, какъ пить и ѣсть. Только сильные и богатые убѣждены, что хорошо быть слабымъ и бѣднымъ, и то до тѣхъ поръ только, пока не ослабѣютъ и не обѣднѣютъ сами; но лишь случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убѣжденіе. И потому, право, давно бы пора оставить эту риторическую мораль, потому что теперь уже нѣтъ такихъ людей, которые допустили бы убѣдить себя въ ней. Свѣтскость пріятеля Ивана Васильевича кончилась тѣмъ, что онъ въ конецъ разорился и для поправленія обстоятельствъ рѣшился жениться, а для этого еще болѣе сталъ прикидываться богачомъ. Но женившись, онъ узналъ, что и его супруга такимъ же образомъ дѣлала спекуляцію, выходя замужъ. Жить было имъ нечѣмъ. Ему хотѣлось въ деревню, а она, какъ женщина образованная и свѣтская, не хотѣла и слышать о деревнѣ, и потому помирились на Москвѣ, гдѣ онъ попалъ въ особенный кружокъ, «составляющій въ огромномъ городѣ нѣчто вродѣ маленькаго досаднаго городка. Этотъ городокъ—городокъ отставной, отечество усовъ и венгерокъ, пріютъ недовольныхъ всякаго рода, вертепъ самыхъ странныхъ разбоевъ, горнило самыхъ странныхъ разсказовъ. Въ немъ живутъ отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбіемъ, вообще все люди лѣнивые и доброжелательные. Оттого и господствуетъ между ними духъ праздности и празднословія, и не даромъ называютъ этотъ городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы ни стало. Онъ разскажетъ вамъ, что сѣрый волкъ гуляетъ по Кузнецкому мосту и заглядываетъ во всѣ лавки; онъ повѣдаетъ вамъ на ухо, что турецкій султанъ усыновилъ французскаго короля; онъ выдумаетъ особую политику, особую Европу,—было бы о чемъ поболтать». Очень недурно еще замѣчаніе: «Пороки петербургскіе происходятъ отъ напряженной дѣятельности, отъ желанія выказаться, отъ тщеславія и честолюбія; пороки московскіе происходятъ отъ отсутствія дѣятельности, отъ недостатка живой цѣли въ жизни, отъ скуки и тяжелой барской лѣни» (стр. 83). На счетъ жены пріятеля Ивана Васильевича пошли по Москвѣ сплетни, за которыя онъ трепалъ одинъ хохолъ и одни усы и вызвалъ ихъ на дуэль. А между-тѣмъ жить ему съ женой было совершенно нечѣмъ, потому что онъ промоталъ все до копѣйки. Такъ какъ «русскій человѣкъ крѣпокъ заднимъ умомъ», онъ тогда только замѣтилъ, что у его жены есть и хорошія качества, и что онъ ее любитъ; жена его поняла то же въ отношеніи къ нему. Вызванные имъ на дуэль хохолъ и усы распорядились такъ, что его за вызовъ отправили на телѣгѣ во Владиміръ, гдѣ онъ и обрѣтался подъ присмотромъ полиціи, а жена его уѣхала въ Петербургъ къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое впечатлѣніе и заставилъ попризадуматься. Онъ вспомнилъ о своемъ путешествіи:

«Въ Германіи удивила меня глупость ученыхъ; въ Италіи страдалъ я отъ холода; во Франціи опротивѣли мнѣ безнравственность и нечистота. Вездѣ нашелъ я подлую алчность къ деньгамъ, грубое самодовольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на совершенство. И поневолѣ полюбилъ я тогда Россію и рѣшился посвятить остатокъ дней на познаніе своей родины. И похвально бы, кажется, и не трудно.

Только теперь вотъ вопросъ: какъ ее узнаешь? Хватился я сперва за древности,—древностей нѣтъ. Думалъ изучить губернскія общества,—губернскихъ обществъ нѣтъ. Всѣ они, какъ говорятъ, форменныя. Столичная жизнь—жизнь не русская, перенявшая у Европы и мелочное образованіе, и крупные пороки. Гдѣ же искать Россію? Можетъ-быть, въ простомъ народѣ, въ простомъ вседневномъ быту русской жизни. Но вотъ я ѣду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь дѣлай, ничего отмѣтить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, земли столько, что глаза устаютъ смотрѣть, дорога скверная... по дорогѣ идутъ обозы... мужики ругаются... Вотъ и все... а тамъ, то смотритель пьянъ, то тараканы по стѣнамъ ползаютъ, то щи сальными свѣчами пахнутъ... Ну, можно ли порядочному человѣку заниматься подобной дрянью?... И всего безотраднѣе то, что на всемъ огромномъ пространствѣ господствуетъ какое-то ужасное однообразіе, которое утомляетъ до чрезвычайности и отдохнуть не дастъ... Нѣтъ ничего новаго, ничего неожиданнаго. Все то же да то же... и завтра будетъ какъ нынче. Здѣсь станція, а тамъ еще та же станція; здѣсь староста, который проситъ на водку, а тамъ опять до безконечности все старосты, которые просятъ на водку... что же я стану писать? Теперь я понимаю Василія Ивановича. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ правъ, когда увѣрялъ, что мы не путешествуемъ и что въ Россіи путешествовать невозможно. Мы просто ѣдемъ въ Мордасы. Пропали мои впечатлѣнія!» (стр. 88—89).

Бѣдный Иванъ Васильевичъ! Жалкая карикатура на донъ-Кихота! У него го-

лова устроена рѣшительно вверхъ ногами: тамъ, гдѣ земля усѣяна развалинами рыцарскихъ замковъ и готическими соборами, онъ видѣлъ только мельницы и барановъ и сражался съ ними; а тамъ, гдѣ только мельницы и бараны, онъ ищетъ рыцарей... Въ уѣздномъ городишкѣ онъ спрашивалъ у мужика.

«— А что здѣсь любопытнаго?—Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нѣтъ.— «Древнихъ строеній нѣтъ?» — Никакъ нѣтъ-съ... Да бишь... былъ точно деревянный острогъ, неча сказать, никуда не годился... да и тотъ въ прошломъ году сгорѣлъ. — «Давно, видно, былъ построенъ?»—Нѣтъ-съ, не такъ давно, а лѣсомъ мошенникъ подрядчикъ надулъ совсѣмъ. Хорошо, что и сгорѣлъ... право-съ. — «А много здѣсь живущихъ?» — Нашей братьи мѣщанъ довольно-съ, а то служащіе только. — «Городничій?» — Да-съ, извѣстное дѣло, городничій, судья, исправникъ и прочіе—весь комплектъ. - «А какъ они время проводятъ?»—Въ присутствіе ходятъ, пуншы пьютъ, картишками тѣшатся... Да-бишь:—теперь у насъ за городомъ цыганскій таборъ, такъ вотъ они повадились въ таборъ таскаться. *Словно московскіе баря или купецкіе сынки.* Такой куражъ, что чудо. Судья на скрипкѣ играетъ, Артамонъ Ивановичъ, засѣдатель, отхватываетъ въ присядку; ну, и хмѣльного-то тутъ не занимать стать... Гуляютъ себѣ да и только. Эвтакая, знать, нація» (стр. 90 — 91).

И вотъ наши путешественники въ таборѣ. Иванъ Васильевичъ прежде всего огорчился, увидѣвъ на цыганкахъ жалкіе европейскіе костюмы: такой чудакъ! Потомъ онъ чуть не заплакалъ съ отчаянія, когда цыганки запѣли не дикую кочевую пѣсню, а русскій водевильный романсъ. Вынувъ изъ галстуха золотую булавочку, онъ подарилъ ее красавицѣ Наташѣ, съ тѣмъ, чтобъ она ходила въ своемъ національномъ костюмѣ и не пѣла русскихъ пѣсенъ... Больше этого быть шутомъ не позволяется человѣку, и сантиментальное, донъ-кихотовское фразёрство Ивана Васильевича въ этомъ смѣшномъ поступкѣ дошло до послѣднихъ предѣловъ возможнаго. Что бы онъ могъ еще сдѣлать?—развѣ жениться на Наташѣ, замѣтивъ въ ней какія-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, что уже сдѣлалъ онъ, чтобъ Наташа смѣялась надъ нимъ цѣлую жизнь...

Зато степная натура Василія Ивановича плавала въ блаженствѣ. Онъ забывалъ и себя, и грозную свою Авдотью Петровну, улыбался, притопывалъ, прищолкивалъ, сыпалъ въ жадную толпу двугривенными и четвертаками и прикрикивалъ: «а вотъ эту пѣсню, а вотъ ту», и т. д. Это для него была истинная итальянская опера, единственная, доступная ему. Въ заключеніе онъ бросилъ цыганамъ десятирублевую ассигнацію... Это называется широкимъ разметомъ русской души, богатырствомъ. Иностранецъ вышьетъ бутылку шампанскаго; русскій одну выпьетъ, а другую выльетъ на полъ: изъ этого нѣкоторые выводятъ такое слѣдствіе, что у людей гніющаго Запада мышиныя натуры, а у насъ—чисто медвѣжьи...

Эпизодъ объ интригѣ мѣщанина съ женой частнаго пристава разсказанъ съ неподражаемымъ, истинно-художественнымъ совершенствомъ и превосходно заканчиваетъ собою картину жизни уѣзднаго города.

Теперь послушаемъ проповѣдь Ивана Васильевича противъ русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой, Василью Ивановичу никакой нужды не было; — это однакожъ не помѣшало его спутнику ораторствовать громко, фразисто, книжно, съ надутымъ восторгомъ и натянутымъ негодованіемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, который безграмотнымъ людямъ объявилъ рѣшительно, что все, что̀ ни пишется и ни издается въ Петербургѣ, все это — его сочиненіе,—Иванъ Васильевичъ также рѣшительно объявилъ безграмотному Василію Ивановичу, что литература теперь вездѣ—торговля и спекуляція, и что «въ Европѣ чистыя чувства задушены пороками и разсчетомъ». Что̀ нужды, что Иванъ Васильевичъ, какъ мы уже видѣли выше, ничему не учился, ничего не читалъ и—можно побиться о закладъ—понятія не имѣетъ о нравственномъ движеніи и литературѣ современной Европы: ему тѣмъ легче корчить судью грознаго и неумолимаго, и изрекать приговоры рѣшительные и неизмѣнные! Вѣдь Василію Ивановичу, который въ этомъ дѣлѣ ничего не понимаетъ и совершенно равнодушенъ къ нему, вѣдь ему все равно, и онъ не помѣшаетъ болтать этому витязю, сражавшемуся съ мельницами и баранами... Всего больше досталось отъ него русской литературѣ. Онъ раздѣлилъ ее на двѣ литературы: на благородную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую и бездарную. «Одна даровитая, но усталая, которая показывается въ люди рѣдко, смиренно, иногда съ улыбкой на лицѣ, а всегда чаще съ тяжкой грустью на сердцѣ. Другая наша литература, напротивъ, кричитъ на всѣхъ перекресткахъ, чтобъ только се приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую... Оттого наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются отъ ея прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ ея странную дѣятельность». Вотъ какія бѣлоручки, подумаешь! Имъ нельзя писать и дѣйствовать потому только, что наша литература, подобно всѣмъ литературамъ въ мірѣ, бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имѣетъ свои пятна.

свои темныя стороны! Чтобъ они могли писать, для этого нужно сперва настрого запретить писать всѣмъ, кто, по ихъ мнѣнію, недостоинъ писать въ то время, когда они сами изволятъ писать! Иначе они станутъ появляться на литературномъ поприщѣ рѣдко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, будутъ удаляться отъ его прикосновенія, опасаясь быть замѣшанными въ его странную дѣятельность! Иванъ Васильевичъ и не подозрѣваетъ, что подобными обсахаренными и переслащенными комплиментами онъ дѣлаетъ смѣшными тѣхъ, кого прославляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературѣ имѣетъ такое же ясное понятіе, какъ о европейской, и что русскую литературу онъ изучалъ заграницей по столовымъ картамъ въ трактирахъ. У кого есть талантъ, тотъ съ особеннымъ жаромъ дѣйствуетъ именно тогда, когда въ литературѣ застой, бездарность и духъ спекуляціи. Только маленькіе таланты или таланты самозванные, прославлённые въ своемъ кружкѣ и признанные за геніевъ своими пріятелями, удаляются отъ литературы въ ея бѣдномъ, безпомощномъ состояніи. Если наши таланты, истинные и большіе, рѣдко напоминаютъ о себѣ своими новыми произведеніями,—значитъ или они лѣнивы, или имъ нечего писать, или не о чемъ писать. Можетъ-быть нашлись бы и другія причины, только совсѣмъ не тѣ, о которыхъ декламируетъ Иванъ Васильевичъ... Если ужъ предположить, что истинный талантъ можетъ не писать изъ презрѣнія къ настоящему положенію литературы, то ужъ не долженъ писать совсѣмъ и никого не смѣшить рѣдкими появленіями, какъ признаками невыдержаннаго характера. А между тѣмъ изъ живущихъ теперь литераторовъ и писателей нѣтъ ни одного, который бы хоть изрѣдка не показывался, если ужъ не съ чѣмъ-нибудь дѣльнымъ, то хоть со стишками—вѣдь привычка другая натура! Когда начиналась «Библіотека для Чтенія», въ нее всѣ бросились съ своими вкладами, отъ Пушкина и Жуковскаго до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать же имена для доказательства, что и теперь пишутъ всѣ, которые и прежде писали,—трудъ совсѣмъ лишній: нѣтъ рѣшительно ни одного имени въ подтвержденіе такъ нелѣпо выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ факта... Многимъ покажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, существующаго въ книгѣ, а не въ дѣйствительности. Въ томъ то и горе, что Ивановъ Васильевичей слишкомъ много въ дѣйствительности; мы не даромъ говорили, что даровитый авторъ «Тарантаса» слишкомъ хорошо проникъ мыслью въ типъ людей этого рода и такъ художественно-вѣрно воспроизвелъ его. Эти-то Иваны Васильевичи издавна уже твердятъ и повторяютъ время отъ времени будто нашимъ даровитымъ писателямъ то негдѣ печататься, то вовсе нельзя писать по причинѣ торговаго и недобросовѣстнаго направленія литературы,—и мы очень рады случаю отбить охоту у этихъ господъ повторять подобныя нелѣпости. Иванъ Васильевичъ въ особенности сердитъ на русскую критику, какъ въ «Горѣ отъ Ума» Скалозубъ сердитъ на басню, и называетъ ее «чудовищной неблагопристойностью». Это понятно: мыши не любятъ кошекъ. Извѣстное дѣло, Иваны Васильевичи большіе охотники «пописать, иногда прозой, иногда стишками—какъ выкинется» (какъ говоритъ Хлестаковъ); но критика мѣшаетъ имъ попасть въ геніи, т. е. выдавать всякій вздоръ за удивительныя красоты поэзіи. Разумѣется и русская критика, подобно всякой отрасли русской литературы, имѣетъ свои пятна и черныя стороны; но изъ этого не слѣдуетъ бросать анафему на всю критику, которая принесла и приноситъ столько пользы и литературѣ, и публикѣ очищеніемъ вкуса, преслѣдованіемъ ложныхъ авторитетовъ и ложныхъ произведеній. Мы понимаемъ впрочемъ, что разумѣютъ Иваны Васильевичи подъ критикой благородной и благопристойной: критику безъ убѣжденій, безъ принциповъ, безъ энергіи, безъ жара, безъ души, безъ оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную, — критику, которая выѣзжаетъ на общихъ мѣстахъ, кадитъ признаннымъ знаменитостямъ за все, что бы ни написали онѣ, не смѣетъ признать новаго таланта, рабски угождаетъ своей партіи и бросаетъ камешки изъ-за угла только въ чужихъ,—наконецъ критику, на которую никто не сердится, которой никто не ненавидитъ, потому что всѣ презираютъ ее. Такая критика есть полное выраженіе слабенькихъ и пошленькихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько поразить ненавистную ему критику, Иванъ Васильевичъ представляетъ ее въ видѣ заморскаго шута, который коверкается передъ мужиками, а мужики на него не хотятъ и смотрѣть; очень остроумно! жаль только, что ни мало не правдоподобно и натянуто, потому что критика пишется не для мужиковъ, а мужики не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ея существованіи. «Русскій человѣкъ (продолжаетъ декламировать Иванъ Васильевичъ) не отзовется ни на одинъ голосъ ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родныя картины, чтобъ забилось его сердце, чтобъ засвѣтлѣло въ его душѣ». Что за фразы! какая риторика!... Далѣе

Иванъ Васильевичъ предлагаетъ рѣшительную мѣру: выбросить за окошко все, что̀ сдѣлано слишкомъ столѣтіемъ и что̀ дѣйствительно существуетъ, и замѣнить это тѣмъ, что проблематически существуетъ въ головахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ — ему все ни по чемъ! Сказано — и сдѣлано! Въ заключеніе онъ зоветъ нашихъ поэтовъ и писателей въ мужицкую избу—набираться тамъ мудрости. Особенно совѣтуетъ онъ слушать со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ этихъ словахъ, по его убѣжденію, заключается богатое содержаніе для литературы... Что̀ за пустой человѣкъ Иванъ Васильевичъ!..

Тарантасъ повстрѣчалъ карету, у которой опустилась рессора и лопнула шина. Въ каретѣ Иванъ Васильевичъ узналъ русскаго князя, съ которымъ познакомился за-границей. Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ галлицизмами, кричитъ на ямщиковъ и лакеевъ и каждому сулитъ по пяти-сотъ палокъ. «Въ деревню ѣду (говоритъ князь Ивану Васильевичу). Нечего дѣлать. Бурмистръ оброка не высылаетъ; чортъ ихъ знаетъ, что̀ пишутъ. Неурожай у нихъ тамъ какой-то, деревня какая-то сгорѣла. А мнѣ что̀ за дѣло? Я—человѣкъ европейскій, я не мѣшаюсь въ дѣла своихъ крестьянъ; пускай живутъ какъ хотятъ, только чтобъ деньги доставляли аккуратно. И ихъ насквозь знаю. Такіе мошенники, что ужасти. Они думаютъ, что я заграницей, такъ они могутъ меня обманывать. Да я знаю, какъ надо поступать. Сыновей бурмистра въ рекруты, неплательщиковъ въ рабочій домъ, возьму весь доходъ за годъ впередъ, да на зиму въ Римъ». Къ несчастью, портретъ этого европейца не совсѣмъ невѣренъ: бываютъ такіе. Хуже всего въ этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные невѣжды по нимъ дѣлаютъ свои заключенія о русскихъ путешественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодушнымъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бываютъ всякіе: одни, побывавъ за-границей, дѣлаются еще хуже и дерутся еще больнѣе; а другіе перемѣняются къ лучшему и научаются уважать человѣческое достоинство даже и въ своемъ собственномъ лакеѣ...

Разъ Иванъ Васильевичъ былъ не въ духѣ и, презрительно поглядывая на своего спутника, говорилъ про себя: «О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая природа, ты самъ не что иное, какъ тарантасъ, уродливое созданіе, начиненное дрянными предразсудками, какъ тарантасъ начиненъ перинами. Какъ тарантасъ, ты не видишь ничего лучше степи, ничего далѣе Москвы. Лучъ просвѣщенія не пробилъ твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается въ вѣтренной мельницѣ, наука въ молотильной машинѣ, а поэзія въ ботвиньѣ, да въ кулебякѣ. Дѣла тебѣ нѣтъ до стремленія вѣка, до современныхъ европейскихъ задачъ. Были бы у тебя лишь щи, да баня, да погребецъ, да тарантасъ, да пѣсень твоя деревенская. Дубина ты, Василій Ивановичъ!» Вся эта филиппика устремлена противъ Василія Ивановича за то, что онъ не хотѣлъ помедлить въ Нижнемъ и дать оратору время изучать Россію на ярмаркѣ. Но Василій Ивановичъ тотчасъ же представился своему спутнику совсѣмъ съ другой стороны—истиннымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, точь въ точь какъ представляютъ ихъ въ дивертисментахъ на нашихъ театрахъ. Тутъ все дѣло вертится на любви крестьянъ къ господамъ, внушенной имъ уже самой природой, и еще на томъ, что Авдотья Петровна сама лѣчитъ больныхъ простыми средствами. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что все хорошо, какъ есть, и никакихъ измѣненій къ лучшему, особенно въ иноземномъ духѣ, вовсе не нужно. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гнилого Запада,—къ чему они тамъ, гдѣ всякая безграмотная баба умѣетъ лѣчить простыми средствами?... Какъ бы то ни было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа!) чуть не расплакался при разсказѣ Василія Ивановича о томъ, какъ будетъ онъ встрѣченъ своими мужиками, которые на радости свиданія съ бариномъ предстанутъ передъ его свѣтлыя очи, кто съ индюкомъ подъ мышкой, кто съ ковригой хлѣба. Эта сцена изображена на картинкѣ: Василій Ивановичъ съ своей полу-русской и полу-татарской физіономіей, а мужички съ греческими лицами героевъ «Иліады», можетъ быть въ ознаменованіе того, что всѣ мужики—красавцы, и непріятныхъ физіономій между ними не бываетъ.

Въ заштатномъ городѣ неизвѣстнаго званія тарантасъ измѣнилъ довѣренности друга своего, Василія Ивановича, и потребовалъ починки. Кузнецъ, впрочемъ незнакомый съ развратнымъ Западомъ, запросилъ за починку 50 рублей, а согласился за три цѣлковыхъ. Съ горя путешественники наши зашли въ харчевню напиться чаю. Тамъ сидѣли купцы, чистые русаки, нисколько незнакомые съ развращеннымъ Западомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ онъ купилъ у проигравшагося въ карты помѣщика скверной муки, смѣшалъ ее съ хорошей, да и продалъ въ Рыбинскѣ за лучшій сортъ. «Что-жъ, коммерческое дѣло!» сказалъ одинъ.—«Оборотецъ извѣстный, прибавилъ другой». Разумѣется, они

и или чай, держа блюдечки на растопыренной пятернѣ, и потъ ручьями катился съ ихъ физіономій—но попадалъ ли въ блюдечки, объ этомъ авторъ ничего не говоритъ. Вообще купцы изображены превосходно, и наблюдательный талантъ автора торжествуетъ въ этомъ изображеніи такъ же, какъ и вездѣ, гдѣ приходится ему изображать. Очень ловко съумѣлъ онъ заставить ихъ высказываться передъ Иваномъ Васильевичемъ, который думалъ, что онъ видитъ все это во снѣ,—такъ пораженъ онъ былъ принципомъ этой особой «коммерціи», которая избѣгаетъ по возможности векселей и всякихъ формальностей и вертится на навыкѣ, рутинѣ, обманѣ и плутняхъ. Какъ ни убѣждалъ онъ ихъ въ превосходствѣ правильной, систематической европейской коммерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ барышничествомъ на авось,—купцы остались при своемъ. Одинъ изъ нихъ, помолчавъ нѣсколько, сказалъ:

«— Вы, можетъ быть кое-что, признательно сказать, и справедливо тутъ говорите, хошь и больно грозное. Да изволите видѣть, люди-то мы не грамотные. Дѣловъ всѣхъ разсудить не въ состояніи. Какъ разъ подвернутся французы, да аферисты, заведутъ компаніи, а тамъ глядишь и поклонился капиталу. Чего добраго въ несостоятельные попадешь. Нѣтъ ужъ, батюшка, по старому-то оно не такъ складно, да ладно. Нашъ порядокъ съ-изстари такъ ведется. Отцы наши такъ дѣлали и не промотались, слава Богу, и капиталъ намъ оставили. Да вотъ-съ, и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже, слава Богу, не промотали отцовскаго благословенія, да и дѣтей своихъ надѣлили. А дѣти пущай дѣлаютъ, какъ знаютъ. Ихняя будетъ воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?

— Нѣтъ, спасибо.

— Одну хоть чашечку.

— Право, не могу...

— Со сливочками!...» (стр. 170).

Въ большомъ селѣ, гдѣ былъ праздникъ, Иванъ Васильевичъ пустился изучать русскую народность, но его аристократическій носъ безпрестанно отворачивался отъ народныхъ сценъ, которыя, какъ извѣстно, бываютъ грязноваты не у насъ однихъ. Увидя молодицъ, онъ поправилъ на себѣ пальто и, въ надеждѣ вѣрнаго эффекта, подошелъ къ толпѣ.

«Однако онъ ошибся. Здоровая румяная дѣвка указывала на него довольно нахально, обращаясь къ подругамъ: «Вишь, какой облизанный нѣмецъ идетъ!»

Молодицы засмѣялись, а парень въ красной рубашкѣ вмѣшался въ разговоръ:

— Эка зубастая Матрёха. Смотри, *рыло разобью!*

Матрёха улыбнулась.

— Вишь, больно напужалъ... Озарникъ этакой. Я и сама тресну, что сдачи не попросишь.» (стр. 220).

Насладившись этой сценой сельской идилліи и рыцарской любезности, нашъ изыскатель наткнулся на раскольника и попробовалъ допроситься у мужика, что́ за секта, много ли у нихъ раскольниковъ, и проч. Но на всѣ свои вопросы получалъ одинъ отвѣтъ: «по старымъ книгамъ». Далѣе пьяный солдатъ разсказывалъ, какъ онъ ходилъ подъ турку, и объяснялъ причину войны тѣмъ, что «турецкій салтанъ, по ихъ нѣмецкому языку, вишь, государь такой значитъ, прислалъ къ нашему Царю грамату: я хочу-де, чтобъ ты посторонился, а то мѣста не даешь; да изволь-ка еще окрестить всѣхъ твоихъ православныхъ въ нашу языческую поганую вѣру», и проч. Долго еще бродилъ Иванъ Васильевичъ, много еще видѣлъ пьяныхъ сценъ,—а народности все не нашелъ. Мимо его промчался на тройкѣ засѣдатель, и Иванъ Васильевичъ воскликнулъ: «О, чиновники! Ужъ не вы ли, по привычкѣ къ воровству, украли у насъ народность!» Вотъ что называется съ больной-то головы да на здоровую! Ужъ не чиновники ли, по привычкѣ къ воровству, украли у Ивана Васильевича способность смотрѣть прямо на вещи? Или онъ не получилъ ея отъ природы? Послѣднее вѣроятнѣе.

Какъ нарочно, при входѣ въ избу на слѣдующей станціи, Иванъ Васильевичъ встрѣтилъ чиновника. Это былъ исправляющій должность исправника, выѣхавшій на встрѣчу губернатору. Василій Ивановичъ пригласилъ его съ собою напиться чаю и спросилъ, давно ли онъ служитъ.—Съ восемьсотъ четвертаго. «А почему вы служите по выборамъ?» лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичъ. Чиновникъ объяснилъ свое житьё-бытьё очень просто, безъ риторики,—и Ивану Васильевичу отъ чего-то стало грустно... Народность опять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ занавѣсъ стоявшей въ сторонѣ кровати, онъ увидѣлъ на ней больного старика съ дѣтьми, и первое чувство этого Европейца, который такъ гнушается развратнымъ просвѣщеніемъ Запада, этого либерала, который такъ любитъ трактовать объ отношеніяхъ мужика къ барину,—первое движеніе его было—обидѣться, что простой станціонный смотритель осмѣлился не встать передъ нимъ, европейцомъ и либераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно лишился ногъ, и, по милости начальства, должность за него правитъ его сынъ, мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Ивану Васильевичу опять стало грустно, и его гнѣвъ на чиновниковъ утихъ.

Въѣхавъ въ Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣшался: такую дичь понесъ о Западѣ и Востокѣ, притиснувшихъ между собою бѣдное славянское начало, что у

насъ рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановиться на этой декламаціи, въ которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ заходитъ. За нее Востокъ, въ лицѣ татаръ, надулъ Ивана Васильевича: продалъ ему за большія деньги разной дряни, которую опытный Василій Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и въ 15 рублей ассигнаціями.

Но вотъ мы уже у послѣдней главы, которая оканчивается сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ истощилъ въ немъ всю иронію и чудесно дорисовалъ имъ своего миніатюрнаго донъ-Кихота. Вообще старикъ Дмитріевъ сказалъ о снахъ великую истину: «Когда же складны сны бываютъ?» Прибавьте къ этому, что сонъ этотъ видится такому человѣку, какъ Иванъ Васильевичъ,—и трепещите заранѣе. А между тѣмъ дѣлать нечего — станемъ бредить съ Иваномъ Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ обратился въ птицу и попалъ въ пещеру съ тѣнями, какъ мертвыя призраки подъячихъ поднялись за Иваномъ Васильевичемъ, ругали его подлецомъ и канальей и хотѣли растерзать живого. Намъ лучше хотѣлось бы пересказать все, что̀ видѣлъ онъ на землѣ, мчавшись на тарантасѣ-птицѣ по воздуху, но не умѣемъ, а выписывать цѣликомъ—слишкомъ много. И потому волей или неволей пропускаемъ даже возрожденіе русскаго тарантаса на европейскую стать, и спѣшимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тѣмъ княземъ, который недавно ругалъ своихъ людей въ сломанной каретѣ. Встрѣча послѣдовала въ Москвѣ, которая въ чудномъ снѣ, по своей архитектурѣ, перещеголяла Италію. «На головѣ его (князя) была бобровая шапка, станъ былъ плотно схваченъ тонкимъ суконнымъ полушубкомъ на собольемъ мѣху, а на ногахъ желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство». Въ нравственномъ отношеніи князь такъ же измѣнился, какъ и наружно; онъ уже считаетъ глупостью путешествія... Почему? спросите вы, ужъ не изъ патріотизма ли?— Отчасти такъ. — Но, скажете вы: если въ чемъ всего менѣе можно упрекнуть англичанъ, такъ это въ отсутствіи или недостаткѣ патріотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству переходитъ даже въ недостатокъ, въ порокъ, въ какое-то слѣпое и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому— и между тѣмъ вся Европа наводнена англійскими туристами, особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но вѣдь не забудьте, что̀ за человѣкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все это онъ бредитъ во снѣ. Главная же причина, почему князь съ гордостью отвергалъ въ русскомъ даже возможность желанія путешествовать, состоитъ въ томъ, что русскому въ эти блаженныя времена желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (какъ жаль, что эта эпоха не означена цифрами!), что русскому тогда не зачѣмъ будетъ ѣхать ни на западъ, ни на востокъ, ни на югъ, ни на сѣверъ, ибо въ огромной Россіи есть свой западъ и востокъ, югъ и сѣверъ. Изъ этого можно навѣрное заключить, что въ это вожделѣнное время, которое можетъ только представиться во снѣ, и то развѣ какому-нибудь Ивану Васильевичу, въ Россіи будетъ свой Римъ, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, свои Альпы, своя Швейцарія, свой Гиммалай и Индія, словомъ, будетъ все, чего нѣтъ теперь, и что манитъ и раздражаетъ любопытство путешественниковъ всѣхъ странъ. Далѣе, въ эту вожделѣнную желто-сапожную эпоху уже не будетъ существовать между народами братскаго размѣна идей, никакихъ связей, торговли, науки, образованности, и новый Гумбольдтъ уже не поѣдетъ къ намъ изучать природу Уральскаго хребта!.. Нѣтъ, ужъ лучше бы князь попрежнему проматывался за-границей и обнаружилъ свой европеизмъ пятьюстами палокъ, чѣмъ вдаваться въ такую дикую философію!.. Да! чуть было не забыли мы: въ желто-сапожную эпоху будетъ процвѣтать арзамаская школа живописи, которая вѣроятно смѣнитъ собою нынѣшнюю суздальскую... Князь исчезъ —и Иванъ Васильевичъ очутился въ объятіяхъ своего пансіонскаго товарища,—того самаго, который на владимірскомъ бульварѣ разсказывалъ ему о себѣ «простую и глупую исторію». Этотъ такъ же исправился, какъ и князь, и съ своей милой супругой сталъ идеаломъ семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтель въ томъ, что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бѣденъ... Позвольте! опять чуть было не забыли мы одного изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-сапожной эпохи (въ которую процвѣтетъ Торжокъ, бойко торгующій сафьянными издѣліями): въ эту желто-сафьянную эпоху будутъ равно отвратительны и тунеядцы, надувающіеся глупой надменностью, и жадные завистники всякаго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (наслѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности. Жаль, что Иванъ Васильевичъ, посѣтившій во снѣ эту славянофильскую эпоху, не выглядѣлъ въ ней ничего на счетъ зависти нищей даровитости, нищей геніальности: вѣроятно таланты и геніи будутъ ходить въ красныхъ сапожкахъ, и потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. Обращаемся къ семейному блаженству пансіоннаго товарища Ивана Васильевича.

«— Есть на землѣ счастье! сказалъ Иванъ Васильевичъ съ вдохновеніемъ:—есть цѣль въ жизни... и она заключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!... Бѣда... помогите... Валимся, падаемъ!...

Иванъ Васильевичъ вдругъ почувствовалъ сильный толчокъ и, шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдругъ проснулся отъ сильнаго удара.

— А... что?... что такое?...

«Батюшки, помогите, умираю!» кричалъ Василій Ивановичъ: «кто бы могъ подумать... тарантасъ опрокинулся.»

Въ самомъ дѣлѣ, тарантасъ лежалъ во рву вверхъ колесами. Подъ тарантасомъ лежалъ Иванъ Васильевичъ, ошеломленный нежданнымъ паденіемъ. Подъ Иваномъ Васильевичемъ лежалъ Василій Ивановичъ въ самомъ ужасномъ испугѣ. Книга путевыхъ впечатлѣній утонула на вѣки на днѣ влажной пропасти. (Туда ей и дорога! скажемъ мы отъ себя.) Сенька висѣлъ внизъ головой, зацѣпясь ногами за козлы...

Одинъ ямщикъ успѣлъ выпутаться изъ постромокъ и уже стоялъ довольно равнодушно у опрокинутаго тарантаса... Сперва оглядѣлся онъ кругомъ, нѣтъ ли гдѣ помощи, а потомъ хладнокровно сказалъ вопіющему Василію Ивановичу:

— Ничего, ваше благородіе!»

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы съ талантомъ первой величины, не могъ лучше прервать вздорнаго сна и лучше закончить прекрасной книги... Нельзя не согласиться, что юморъ автора «Тарантаса» тѣмъ болѣе исполненъ глубины и желчи, что онъ замаскированъ удивительнымъ спокойствіемъ, такъ что мѣстами читателю можетъ казаться, будто авторъ раздѣляетъ образъ мыслей своего жалкаго и смѣшного героя, этого маленькаго донъ-Кихота въ миніатюрѣ и въ карикатурѣ. Между тѣмъ ясно, что эта книга, по ея тонкому и глубокому юмору, принадлежитъ къ разряду книгъ вродѣ «Epistolae obscurorum Virorum», «Писемъ Юнія» и «Lettres Persannes» Монтескьё. Славянофилы, въ лицѣ Ивана Васильевича, получили въ ней страшный ударъ, потому что ничего нѣтъ въ мірѣ страшнѣе смѣшного: смѣшное — казнь уродливыхъ нелѣпостей. Какъ! эти люди... но оставимъ людей и поговоримъ объ одномъ человѣкѣ—объ Иванѣ Васильевичѣ... Какъ! этотъ человѣкъ съ жидкой натурой, слабой головой, безъ энергіи, безъ знаній, безъ опытности, съ одной мечтательностью, съ однѣми пошлыми фантазійками могъ вообразить, что онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна своротить съ пути, указаннаго ей ея великимъ преобразователемъ!... Комары, мошки хотятъ поправлять и передѣлывать громадное зданіе, сооруженное исполиномъ!.. Близорукіе, косые, кривые и слѣпые, они хотятъ заглядывать въ будущее и думаютъ видѣть его такъ же ясно, какъ и настоящее! Ихъ маленькому самолюбію не приходитъ въ голову, что и настоящее-то въ ихъ головѣ отражается невѣрно, какъ въ кривомъ или разбитомъ зеркалѣ. Головы, устроенныя вверхъ ногами, онѣ мыслятъ вѣчно заднимъ числомъ, и если имъ удается замѣтить кое-что такое, что всѣмъ бросается въ глаза и что на всѣхъ производитъ грустное и тяжелое впечатлѣніе,— онѣ ждутъ исцѣленія не отъ будущаго, но, вычеркивая настоящее (какъ-будто бы его вовсе не было или какъ-будто бы оно не есть необходимый результатъ прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, котораго или вовсе не знаютъ, или плохо знаютъ, смотря на него въ очки своей фантазіи,— и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго salto mortale хотятъ выдвинуть это давно-прошедшее, мимо настоящаго, прямо въ будущее. Не понимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, никакого времени (потому что кто живетъ внѣ настоящаго, современнаго, тотъ нигдѣ не живетъ), новые донъ-Кихоты, они сочинили себѣ одно изъ тѣхъ нелѣпыхъ убѣжденій, которыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мертвомъ пониманіи мертвой буквы, и изъ этого убѣжденія сдѣлали себѣ новую Дульцинею тобозскую, ломаютъ за нее перья и льютъ чернила. Не понимая, что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что невинное помѣшательство пользуется счастливой привилегіей не имѣть враговъ) — они выдумываютъ, ищутъ себѣ враговъ и думаютъ видѣть главнаго своего врага въ просвѣщеніи Запада; но Западъ не хочетъ и знать о ихъ существованіи: онъ идетъ себѣ, куда указало ему Провидѣніе, не замѣчая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянныхъ копій... Подобныя нелѣпости давно уже требовали одной изъ тѣхъ жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми можетъ поражать только художественный талантъ... «Тарантасъ» графа Соллогуба явился такой сатирой, исполненной ума, остроумія, мысли, юмора, художественности...

Мы все сказали. Прощайте жъ, Иванъ Васильевичъ! Спасибо вамъ: вы заняли насъ, вы и посердили, и позабавили насъ на свой счетъ. Прощайте, смѣшной и жалкій донъ-Кихотъ! Вѣчное спасибо вамъ за то, что вы сказали всему свѣту, какъ зовутся по имени и по отчеству люди извѣстнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильевичами...

Прощай, «Тарантасъ»! прощай, книга умная, даровитая и—что всего важнѣе— книга дѣльная! Благодаримъ тебя за наслажденія, которыми подарила ты насъ и которыхъ вѣроятно долго, долго не дождаться намъ, потому что такія книги и не у насъ рѣдко появляются...

ОПЫТЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Сочиненіе э.-о. профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, доктора философіи А. Никитенко. Книга первая. Введеніе. Спб. 1845.

Давно чувствуется всѣми настоятельная потребность въ исторіи русской литературы. Впрочемъ въ послѣднее время обнаружились нѣкоторые признаки, по которымъ можно судить, что уже предпринята не одна попытка къ удовлетворенію этой потребности. Еще въ 1839 году Максимовичъ издалъ первую часть своей «Исторіи Древней Русской Словесности»; когда выйдетъ вторая часть, и выйдетъ ли она когда-нибудь,—намъ не извѣстно, и потому эта попытка доселѣ остается попыткой, неперешедшей въ дѣло. Вышедшая теперь въ свѣтъ первая часть «Опыта Исторіи Русской Литературы» Никитенко, была упреждена многочисленными чтеніями Шевырева въ «Москвитянинѣ», касающимися до исторіи древней, преимущественно теологической, русской словесности и предвѣщающими появленіе полной исторіи всей русской литературы. Къ этому мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ «Критической Исторіи Русской Литературы» (преимущественно новой, съ обозрѣніемъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи); впрочемъ мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не желать, чтобъ всѣ эти сочиненія вышли какъ можно скорѣе, вполнѣ оконченныя: каковы бы ни были ихъ направленія и степень достоинства—они не могутъ не способствовать довольно сильно движенію общественнаго сознанія въ столь важномъ предметѣ, какъ отечественная литература. И чѣмъ различнѣе и противоположнѣе въ своихъ взглядахъ и направленіяхъ будутъ всѣ эти сочиненія, тѣмъ больше принесутъ они пользы.

Есть три способа знакомиться съ литературой и изучать ее. Первый—чисто критическій, который состоитъ въ критическомъ разборѣ каждаго замѣчательнаго писателя; второй—чисто-историческій, который состоитъ въ обозрѣніи хода и развитія всей литературы: здѣсь обращается больше вниманія на эпохи и на школы литературы, чѣмъ на отдѣльныя дѣйствующія лица. Третій способъ состоитъ въ соединеніи, по возможности, обоихъ первыхъ. Этотъ способъ самый лучшій. Во всякомъ случаѣ, вліяніе и важность критики не подвергаются никакому сомнѣнію. Первымъ критикомъ и слѣдовательно основателемъ критики въ русской литературѣ былъ Карамзинъ. Самая замѣчательная его критическая статья была «О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ»; къ числу критическихъ же его статей должно отнести и статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ», въ которой онъ сообщаетъ краткія извѣстія, не чуждаясь мѣстами критическаго взгляда, о старинныхъ писателяхъ—Несторѣ, Никонѣ, Матвѣевѣ (Артамонѣ Сергѣевичѣ), царевнѣ Софіи, Симеонѣ Полоцкомъ, Дмитріи Туптадѣ, Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, князѣ Хилковѣ, князѣ Кантемирѣ, Татищевѣ, Климовскомъ, Буслаевѣ, Тредьяковскомъ, Сильвестрѣ, Кулябкѣ, Крашенинниковѣ, Барковѣ, Гедеоновѣ, Дмитріи Сѣченовѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Ѳедорѣ Эминѣ, Майковѣ, Поповскомъ, Поповѣ. Не говоримъ о множествѣ мелкихъ рецензій Карамзина въ его «Московскомъ Журналѣ» и «Вѣстникѣ Европы»,—рецензій, которыми онъ такъ много способствовалъ къ очищенію и утвержденію вкуса публики.—Кромѣ Карамзина, какъ критикъ, заслуживаетъ почетнаго упоминовенія современникъ его, Макаровъ, изъ критическихъ статей котораго особенно замѣчательны: «Сочиненія и переводы Ивана Дмитріева» и «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка». Онѣ были напечатаны въ его журналѣ: «Московскій Меркурій», который онъ издавалъ въ 1803 году.—Черезъ нѣсколько лѣтъ Жуковскій написалъ двѣ критическія статьи «О Сатирахъ Кантемира» и «Басняхъ Крылова». Батюшковъ разобралъ сочиненія Муравьева (М. Н.) и писалъ объ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» Тасса и сонетахъ Петрарки.—Князь Вяземскій долженъ быть упомянутъ, какъ одинъ изъ первыхъ критиковъ эпохи русской литературы до двадцатыхъ годовъ: онъ написалъ «О Жизни и Сочиненіяхъ Озерова», «О Державинѣ» и другія критическія статьи, въ

свое время очень замѣчательныя. Но критикомъ по ремеслу, критикомъ ex officio во второе десятилѣтіе настоящаго вѣка былъ Мерзляковъ, писавшій въ особенности о Сумароковѣ и Херасковѣ. Въ то же время Мерзляковъ былъ и теоретикомъ поэзіи, какъ искусства.—Въ началѣ двадцатыхъ годовъ критики начали размножаться, и въ альманачныхъ «обозрѣніяхъ литературы» за тотъ или другой годъ видны попытки дѣлать очерки исторіи русской литературы. Представителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но безпокойной и горячей, ратовавшей за такъ называемый романтизмъ противъ такъ называемаго классицизма,—критики, распространившей много поверхностныхъ и неосновательныхъ мыслей, но и принесшей большую пользу сближеніемъ литературы съ жизнью,—представителями этой критики были Марлинскій и Полевой. Послѣдній около десяти лѣтъ былъ главнымъ органомъ русской критики, черезъ свой журналъ—«Московскій Телеграфъ». Потомъ, въ 1839 году, онъ издалъ, подъ именемъ «Очерковъ Русской Литературы», свои важнѣйшія критическія статьи въ двухъ томахъ: въ нихъ онъ показалъ крайніе предѣлы, до которыхъ могла доходить наша такъ называемая романтическая критика—равно какъ и собственная его критическая тенденція. Въ самомъ дѣлѣ, еще до выхода этихъ двухъ томовъ Полевой уже отсталъ отъ самого себя и началъ издавать такія произведенія, которыя еще такъ недавно и такъ жестоко преслѣдовала его критика и въ принципѣ, и въ исполненіи. Поэтому на его «Очерки Русской Литературы» можно смотрѣть, какъ на памятникъ, сооруженный авторомъ своей критической славѣ.—Шевыревъ вышелъ на поприще критики вскорѣ послѣ Полевого. До тридцатыхъ годовъ характеръ и направленіе его критики носили отпечатокъ знакомства съ нѣмецкими эстетиками и вообще съ нѣмецкой литературой. Въ критикѣ его замѣтно было присутствіе чего-то похожаго на принципъ, и потому въ ней меньше было произвольныхъ мнѣній, чѣмъ въ критикѣ Полевого; но со стороны таланта Шевыревъ далеко уступалъ Полевому,—и потому послѣдній имѣлъ большое вліяніе на современную ему литературу, а первый не имѣлъ на нее почти никакого вліянія. Съ тридцатыхъ годовъ критика Шевырева приняла какое-то quasi-итальянское направленіе; по крайней мѣрѣ онъ безпрестанно, и кстати, и некстати, толковалъ о Дантѣ, Петраркѣ и Тассѣ, говоря о русскихъ писателяхъ. Это вѣроятно было слѣдствіемъ его пребыванія въ Италіи. Въ эту-то итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ во-первыхъ напечаталъ знаменитое свое стихотвореніе, названное имъ: «Чтеніе Данта», и начинающееся этимъ безсмертнымъ стихомъ:

Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

во-вторыхъ, учинилъ два безцѣнныя критическія открытія касательно русской литературы: первое сдѣлано имъ по поводу разбора «Трехъ Повѣстей» Н. Павлова, и мы передаемъ его, это открытіе, словами самого изобрѣтателя, Шевырева:

«Жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящиковъ, между которыми есть одинъ глубокій, тайный ящикъ съ пружиной. Всѣ повѣствователи шарятъ въ этомъ бюро, но не всякому извѣстна пружина закрытаго ящика. Въ немъ-то лежитъ тайна повѣсти истинной, повѣсти глубокой. Авторъ повѣстей, мною разбираемыхъ, нашелъ путь къ этому секрету; онъ открылъ въ немъ маленькій уголокъ; но этотъ ящикъ чрезвычайно сложенъ. Въ немъ такъ много пружинъ и пружинокъ. Есть надежда, что и тѣ онъ откроетъ со временемъ, послѣ такого прекраснаго начала; но есть святое мѣсто этого ящика, которое надо непремѣнно заранѣе открыть всякому повѣствователю, но которое нашъ авторъ только что вскрылъ слегка, коснулся одной его поверхности. Въ этомъ ящикѣ лежитъ вещь, сильно дѣйствующая въ нашемъ мірѣ, лежитъ половина насъ самихъ, а иногда и всѣ мы. Это сердце женское.»

Кто не согласится, что это открытіе очень оригинально?.. Второе открытіе, уже чисто-литературное, еще оригинальнѣе. Разбирая стихотворенія Бенедиктова, Шевыревъ, съ свойственной критической проницательностью, замѣтилъ, что въ русской поэзіи до появленія Бенедиктова не было мысли;—замѣтьте: не было мысли въ поэзіи, которой представителями были Державинъ, Фонвизинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ и Грибоѣдовъ,—а, по мнѣнію Шевырева, ея представителями были еще и Языковъ, Хомяковъ и tutti quanti... Вотъ его собственныя слова: «Это была эпоха изящнаго матеріализма въ поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался ими, скользилъ по нимъ, иногда не вслушиваясь въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинами, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной, вѣяло чѣмъ-то духовнымъ въ нашей поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ надъ всѣмъ... Формы убивали духъ... Нѣжные, сладкіе, упоительные звуки оплетали насъ своей невидимой сѣтью...» Итакъ, въ этой поэзіи не доставало мысли: Бенедиктовъ—первый поэтъ, въ поэзіи котораго нѣтъ матеріальности—одна духовность, т. е. проникновеніе мыслью, и потому Шевыревъ, въ восторгѣ отъ своего открытія, воскликнулъ: «Вотъ почему съ особенной радостью встрѣчаю я такого поэта, въ первыхъ пре-

людіяхъ котораго доносится мнѣ сквозь матеріальные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна возможная спасительница нашей поэзіи!»

Въ этомъ можно на́-слово повѣрить Шевыреву: онъ самъ поэтъ, и ему ли не знать толка въ поэзіи? Потому-то онъ мало того что расхвалилъ Бенедиктова, но и нашелъ въ его стихахъ мысль, которой не находилъ даже въ созданіяхъ Пушкина! Въ эту же итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ пустился было на изобрѣтеніе русской октавы, по примѣру итальянской; но предпріятіе такъ же точно не удалось, какъ и введеніе гекзаметровъ въ русскую поэзію другимъ извѣстнымъ поэтомъ, критикомъ и профессоромъ. Можетъ-быть октавы потому не восторжествовали, что въ поэтическомъ достоинствѣ нисколько не превосходили помянутые гекзаметры, хотя между тѣми и другими легло чуть не столѣтіе...

Въ первую эпоху своей критической дѣятельности Шевыревъ дѣйствовалъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» Погодина (1827—1830); во вторую—въ «Московскомъ Наблюдателѣ» Андросова (1835—1837). Но онъ не ограничился этими двумя эпохами, и теперь обрѣтается въ третьей, въ которой онъ отступился не только отъ Германіи, но и отъ Италіи, равно какъ и отъ всего Запада. Эта третья эпоха—восточная, славянофильская; ея дѣятельность проявилась въ «Москвитянинѣ». Она ознаменовалась многими любопытными и оригинальными открытіями и изобрѣтеніями, такъ что перечесть ихъ всѣ нѣтъ никакой возможности; но лучшимъ изъ нихъ кажется намъ замѣчаніе о Лермонтовѣ, какъ подражателѣ не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и Бенедиктова!...

Много было и другихъ критиковъ, изъ которыхъ каждый чѣмъ-нибудь да прославилъ себя: одинъ «душегрѣйкой новѣйшаго уныніе»; другой—мыслью, что Пушкинъ не болѣе какъ легкій и пріятный стихотворецъ, мастеръ на мелочи, что герои поэмъ его—бѣсенята, и что изящество его произведеній есть не болѣе, какъ изящество хорошосшитаго моднаго фрака; а Ломоносовымъ де не налюбоваться «въ сытость» и позднѣйшему потомству, и что Шекспиръ и Байронъ неомовенными руками возлагали возгребія нечистыя и уметы поганыя на алтарь чистыхъ дѣвъ, сирѣчь музъ... [1]) Третій снискалъ себѣ безсмертную славу просто прославленіемъ писателей своего прихода и бранью на чужихъ; четвертый—похвалой и бранью однимъ и тѣмъ же лицамъ, смотря по обстоятельствамъ и погодѣ. Обо всѣхъ такихъ мы умалчиваемъ. Наша цѣль была поименовать только главнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ критики въ различныя эпохи русской литературы.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каждая эпоха русской литературы имѣла свое сознаніе о самой себѣ, выражавшееся въ критикѣ. Но ни одна эпоха не выразила этого сознанія о цѣлой литературѣ въ историческомъ изложеніи ея хода и развитія. Были попытки, но до того ничтожныя, что не стоитъ и упоминать о нихъ. Впрочемъ такъ называемый «Краткій опытъ исторіи русской литературы» Греча имѣетъ по крайней мѣрѣ достоинство литературнаго адресъ-календаря и справочной книги о времени рожденія, смерти, о служебномъ поприщѣ, чинахъ, орденахъ и времени появленія въ свѣтъ сочиненій значительной части нашихъ писателей. Какъ справочная книга, она очень полезна для современниковъ и будетъ полезна даже для отдаленнѣйшаго потомства, которое узнаетъ изъ нея, что старинные литераторы и поэты были вмѣстѣ и чиновники. Что же касается до практической и критической стороны этой книги, — смѣшно и говорить о ней. Многіе изъ нашихъ читателей изъявляли намъ свое удивленіе, что мы рѣшились на серьезный и дѣльный разборъ новаго изданія «Учебной Книги Русской Словесности», вмѣсто того чтобъ посмѣшить публику забавной рецензіей на эту поистинѣ забавную книгу. Мы очень рады случаю объясниться на этотъ счетъ съ читателями. Во-первыхъ, мы хотѣли быть полезны многочисленному классу учащихъ и учащихся «россійской словесности», для которой на русскомъ языкѣ нѣтъ ни одного сколько-нибудь сноснаго руководства. Во-вторыхъ, сочинителя этой невѣроятной книги мы хотѣли лишить всякой возможности утѣшить себя мыслью, что наша статья—брань безъ доказательствъ и что она внушена намъ завистью и недоброжелательствомъ къ автору такого превосходнаго учебника... Безъ этихъ причинъ, которыя конечно гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ для нашихъ читателей,—мы никакъ не рѣшились бы съ важностью доказывать, что книга, въ которой все — противорѣчіе, никуда не годится. Поступивъ такъ, мы за одинъ разъ вырвали зло съ корнемъ,—и жалкаго учебника теперь какъ не бывало!... Есть и еще книга, претендующая знакомить своихъ читателей съ исторіей русской литературы. Это — «Руководство къ познанію литера-

[1]) Все это факты не только не преувеличенные, но еще ослабленные нами. Еслибъ нужно было, мы представили бы *печатныя* доказательства, что такимъ слогомъ писалась критика назадъ тому лѣтъ восемнадцать.

туры» Плаксина. Но Плаксинъ даже не означилъ въ заглавіи своей книги—какой литературы хочетъ онъ повѣствовать исторію; зато въ самой книгѣ, разсказавъ кратко исторію литературъ еврейской, индійской, греческой, римской и объяснивъ духъ новыхъ литературъ, классицизмъ и романтизмъ, пространнѣе изложилъ исторію русской литературы. Эта книга — повѣрятъ ли?—далеко ничтожнѣе книги Греча... Впрочемъ всѣ учебники и ученыя сочиненія такого рода ровно никуда не годятся по совершенному отсутствію въ нихъ всякаго начала, которое проникало бы собою всѣ ихъ сужденія и приговоры и давало бы имъ единство. Для Плаксина напримѣръ и Пушкинъ—поэтъ, и Херасковъ—тоже поэтъ, да еще какой!... Есть ли тутъ что нибудь похожее на взглядъ, на образъ мыслей, на мнѣніе, на убѣжденіе, на принципъ? Не такъ мыслилъ и понималъ въ этомъ отношеніи напримѣръ Мерзляковъ. Можно не соглашаться съ его системой и даже считать ее ложной; но нельзя не видѣть въ ней ни самобытнаго мнѣнія, ни послѣдовательности въ доказательствахъ и выводахъ. Каково бы ни было его начало, онъ вѣренъ ему и ни въ чемъ не противорѣчитъ самому себѣ. Признавая великимъ поэтомъ Ломоносова, находя поэтическія достоинства и красоты въ сочиненіяхъ Сумарокова, Хераскова и Петрова,—Мерзляковъ не видѣлъ (потому что не могъ видѣть, оставаясь вѣрнымъ своему началу) въ Пушкинѣ великаго поэта. И потому вы или вовсе отвергнете основное начало критики Мерзлякова и слѣдовательно его выводы, или во всемъ согласитесь съ нимъ. А у этихъ господъ все смѣшано и перемѣшано: въ ихъ книгѣ мирно уживаются самыя разнородныя, противорѣчащія понятія,—и то, что дважды-два—четыре, и то, что дважды-два—пять съ половиной...

Тѣмъ важнѣе теперь появленіе всякаго опыта исторіи русской литературы, хоть сколько-нибудь отличающагося самостоятельнымъ взглядомъ на предметъ и послѣдовательностью въ выводахъ. Но опытъ Никитенко далеко не принадлежитъ къ числу какихъ-нибудь и сколько-нибудь сносныхъ или порядочныхъ опытовъ: онъ обѣщаетъ гораздо больше. Говоримъ, обѣщаетъ, потому что «Опытъ» пока состоитъ еще только въ одномъ введеніи; но это введеніе тѣмъ не менѣе даетъ надѣяться читателю найти въ исторіи русской литературы Никитенко сочиненіе прекрасное и по взгляду на предметъ, и по изложенію содержанія,—сочиненіе, болѣе чѣмъ прекрасное, сочиненіе дѣльное. Но пока оно еще не въ рукахъ публики, пока мы еще не прочли его, поговоримъ пока не о будущемъ, а о настоящемъ, поговоримъ о «Введеніи», тѣмъ болѣе, что, обѣщая хорошую исторію русской литературы, оно въ то же время и само по себѣ, какъ отдѣльное произведеніе, заслуживаетъ большого вниманія. Содержаніе этого «Введенія» само по себѣ можетъ служить предметомъ особеннаго сочиненія, и потому, пока не явятся въ свѣтъ остальныя части труда Никитенко, — мы имѣемъ право разсмотрѣть его «Введеніе», какъ само по себѣ полное и оконченное сочиненіе.

Вотъ предметы, которые разсматриваются во «Введеніи» къ исторіи русской литературы: 1) идея и значеніе исторіи литературы; 2) методъ изученія исторіи литературы; 3) источники исторіи литературы; 4) идея и значеніе исторіи литературы русской; 5) раздѣленіе исторіи русской литературы на періоды. Этотъ простой перечень главъ, изъ которыхъ состоитъ «Введеніе», много говоритъ въ пользу сочиненія, свидѣтельствуя, что авторъ началъ съ начала и принялся за тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ должно быть положено во главу, краеугольнымъ камнемъ исторіи русской литературы, и что въ послѣдующихъ частяхъ труда его изложеніе фактовъ будетъ озарено свѣтомъ мысли. Мы сейчасъ увидимъ, какъ счастливо успѣлъ авторъ избѣжать двухъ крайностей, которыя для писателей бываютъ Сциллой и Харибдой—успѣлъ избѣжать односторонняго идеализма, гордо отвергающаго изученіе фактовъ, и односторонняго эмпиризма, который дорожитъ только мертвой буквой и, набирая фактъ на фактъ, подавляется безполезнымъ избыткомъ собственныхъ пріобрѣтеній и завоеваній. Авторъ «Введенія» начинаетъ прямымъ нападеніемъ на послѣднюю крайность...

Въ мысли, въ идеѣ видитъ авторъ таинственную психею народной жизни, которая составляетъ содержаніе исторіи; а преимущественно откровеніе этой мысли, этой идеи видитъ онъ въ словѣ. «Человѣкъ,—говоритъ онъ,—есть органъ мысли; это верховнѣйшее изъ его преимуществъ, долгъ его, злополучіе и благо». По нашему мнѣнію, думать такъ, значитъ — думать справедливо объ исторіи. «Несмотря однакожъ (говоритъ авторъ) ни на очевидность успѣховъ мыслительной дѣятельности, ни на требованіе вѣка, многіе писатели не совсѣмъ еще чуждаются прежней методы и воззрѣній исторіи. Направленіе, характеръ и мысли народной, выраженные въ словѣ, судьба науки и литературы у нихъ все еще составляетъ одно какое-то дополненіе къ жизни внѣшней. Они, кажется, до

сихъ поръ не довольно вникли въ тѣсную органическую связь глубокихъ внутреннихъ явленій этого рода со внѣшними; ихъ не слѣдуетъ разлучать тамъ, гдѣ дѣло идетъ о полнотѣ знанія. Такое положеніе науки дѣлаетъ необходимымъ спеціализированіе главнѣйшихъ элементовъ исторіи, и мы принуждены изъ исторіи литературы составлять особую науку, тогда какъ настоящее ея мѣсто въ общей великой наукѣ, обнимающей жизнь и судьбу народа въ цѣлости и нераздѣльно». Вотъ истинный взглядъ на исторію литературы! Исторія народа есть исторія развитія мысли, выраженной и непосредственной, и сознательной стороной жизни народа, а мысль народа преимущественно выражается въ его литературѣ, потому что обнаруживается въ ней прямѣе и сознательнѣе. Правда, литература не есть исключительное и полное выраженіе умственной жизни народа, которая еще высказывается и въ искусствѣ въ обширномъ значеніи этого слова. Громадные храмы Индіи, высѣченные изъ скалъ, построенные изъ горъ, стоятъ «Махабгараты» или «Рамайяны»; изящные памятники древней греческой архитектуры и скульптуры составляютъ какъ-бы одно съ «Иліадой», «Одиссеей» и трагедіями; огромныя римскія зданія, ознаменованныя печатью гражданскаго и государственнаго величія, не менѣе повѣствованій Тита Ливія и Тацита, не менѣе Юстиніанова кодекса свидѣтельствуютъ о бытіи народа, который былъ державнымъ владыкой міра, властелиномъ царей и народовъ и который, даже по смерти своей, внесъ преобладающій элементъ своей жизни въ жизнь новѣйшихъ народовъ Европы, ознакомивъ ихъ съ лучшими идеями о правѣ. Въ готическихъ соборахъ, картинахъ и музыкѣ мастеровъ среднихъ вѣковъ жизнь этой по преимуществу религіозно-христіанско-католической эпохи отразилась едва ли еще не полнѣе и роскошнѣе, нежели въ поэмѣ Данте и романсахъ менестрелей. И теперь, въ наше время, жизнь народовъ выражается не въ одной литературѣ, а только преимущественно въ литературѣ. Это впрочемъ было и всегда, за исключеніемъ развѣ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, что литература объемлетъ собою несравненно обширнѣйшій кругъ народнаго созданія, нежели всякое другое искусство, — ея памятники прочнѣе, несокрушимѣе, вѣковѣчнѣе, потому что она, по сущности своей, духовнѣе другихъ искусствъ, менѣе зависитъ отъ матеріальныхъ средствъ.

Но здѣсь есть недоразумѣніе: мы назвали литературу искусствомъ и противопоставили ее другимъ искусствамъ. Это не совсѣмъ опредѣлительно, и на этотъ счетъ надо яснѣе выразиться: надо начать съ начала, надо опредѣлить литературу, съ точностью указать, что входитъ въ ея кругъ, съ чѣмъ она соприкасается, и что должно исключать изъ ея круга. Авторъ «Опыта», какъ и должно, не миновалъ этого вопроса, но разсмотрѣлъ и по своему рѣшилъ его. Онъ начинаетъ разсматривать его съ отношеній между частнымъ и общимъ, національнымъ и общечеловѣческимъ и въ основу сокровенной внутренней жизни литературы полагаетъ общія всему человѣчеству идеи разума...

Во всемъ, что онъ говоритъ по этому поводу, много истины, и все очень близко къ истинѣ, многое выражено необыкновенно удачно и опредѣленно; но намъ кажется, что тутъ вопросъ рѣшенъ не вполнѣ удовлетворительно. Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что Никитенко противопоставляетъ науку литературѣ. Это не совсѣмъ вѣрно съ его же собственной точки зрѣнія на литературу, потому что подъ его опредѣленіе литературы подходитъ и наука, какъ «мысль человѣческая, возникающая у народа вмѣстѣ съ нимъ изъ его духа, жизни, историческихъ и мѣстныхъ обстоятельствъ и посредствомъ слова выражающая свое народо-человѣческое развитіе подъ совокупнымъ вліяніемъ верховныхъ и всеобщихъ идей истиннаго и изящнаго». Повторяемъ: это опредѣленіе такъ же идетъ и къ наукѣ, какъ и къ литературѣ, и по этому самому не выражаетъ вѣрно ни той, ни другой. Содержаніе науки и литературы одно и то же — истина; слѣдовательно, вся разница между ними состоитъ только въ формѣ, въ методѣ, въ пути, въ способѣ, которыми каждая изъ нихъ выражаетъ истину. Такъ какъ у обѣихъ одно и то же орудіе выраженія — слово, то и отдѣлить ихъ другъ отъ друга можно только на существенномъ отличіи. Литература, въ обширномъ значеніи, обнимаетъ собою и науку, и потому говорится: литература исторіи, литература химіи, литература медицины и т. д. Такимъ образомъ въ этомъ смыслѣ сама наука относится къ литературѣ, какъ видъ къ роду, какъ часть къ цѣлому. Противопоставивъ литературѣ науку, авторъ хотѣлъ яснѣе и точнѣе опредѣлить первую черезъ ея противоположность. Цѣль хорошая и средство вѣрное; но тутъ есть ошибка, которая парализировала средство и не допустила вполнѣ достичь цѣли: авторъ упустилъ изъ вида искусство, которое и слѣдовало противопоставить литературѣ, чтобъ точно и вѣрно опредѣлить послѣднюю. Но можетъ быть мы сами ошибаемся, и авторъ подъ литературой разумѣетъ именно искусство. Въ такомъ случаѣ его ошибка дѣлается

еще большей. Во-первыхъ, подъ его опредѣленіе литературы искусство никакъ не подойдетъ, потому что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ни слова о творчествѣ; во-вторыхъ, литература состоитъ не изъ однихъ только произведеній искусства. Говоря объ искусствѣ по поводу литературы, должно разумѣть искусство словесное, т. е. поэзію. Опредѣлить поэзію — значитъ опредѣлить искусство вообще, т. е. столько же опредѣлить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзію, потому что послѣдняя отъ первыхъ разнится не сущностью, а способомъ выраженія. Правда, этотъ способъ, т. е. слово, дѣлаетъ ее выше всѣхъ другихъ искусствъ и производитъ цѣлый кругъ эстетическихъ законовъ, только ей одной свойственныхъ и всякому другому искусству чужихъ. Но это показываетъ только, что теорія поэзіи существенно раздѣляется на двѣ части—общую и прикладную; въ первой объясняется значеніе искусства вообще и излагаются законы, равно общіе всѣмъ искусствамъ; а во второй поэзія разсматривается какъ особенное искусство, имѣющее свои, только ей свойственные законы. Вотъ это-то словесное или литературное искусство, т. е. поэзія, и должно противополагаться наукѣ, для взаимнаго опредѣленія той и другой, какъ двухъ самостоятельныхъ областей литературы. Въ такомъ случаѣ ихъ различіе очевидно: наука—область спекулятивнаго, діалектическаго развитія истины, какъ мысли прямо, безъ всякаго посредства образовъ. Главный дѣятель науки—умъ, и всего менѣе фантазія. Искусство, слѣдовательно и поэзія, есть, напротивъ, непосредственное развитіе истины, въ которомъ мысль высказывается черезъ образъ и въ которомъ главный дѣятель есть фантазія. Наука, разлагающей дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творящей дѣятельностью фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами. Наука мертва для непосвященнаго въ ея таинства; искусство оказываетъ свое вліяніе иногда надъ самыми грубыми и невѣжественными людьми. Наука требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка; искусство болѣе или менѣе дается почти всякому. Наука дѣйствуетъ мыслью прямо на умъ; искусство дѣйствуетъ непосредственно на чувство человѣка. Это два полюса совершенно противоположные. Только въ исторіи наука и искусство соединяются вмѣстѣ для достиженія одной и той же цѣли, потому что въ наше время исторія есть столько же ученое, по внутреннему содержанію, сколько художественное, по изложенію, произведеніе. Доселѣ мы говорили о наукѣ спекулятивной, которая весь міръ явленій переводитъ на языкъ мысли, идеи, и въ которой бытіе является единымъ изъ самаго себя вѣчно развивающимся идеальнымъ началомъ: другая наука — наука опытная, эмпирическая терпѣливымъ и постояннымъ трудомъ медленно, шагъ за шагомъ, пріобрѣтающая и приготовляющая поприще для завоеваній мысли, — эта наука тоже противоположна искусству. Она находитъ, разлагаетъ, сравниваетъ, приводитъ въ порядокъ безконечный міръ фактовъ, классифицируетъ ихъ. Она тоже не для толпы, а для избранныхъ, тоже требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка, также имѣетъ своихъ героевъ и мучениковъ.

Итакъ, вотъ первое различіе науки отъ искусства въ отношеніи къ обществу; тайны ея, т. е. процессъ ея дѣятельности, доступенъ только для посвященныхъ, для тружениковъ, по страсти обрекшихъ себя ея служенію,—слѣдовательно для самой малѣйшей части общества; результаты же науки доступны уже для большей части общества, т. е. не для однихъ ученыхъ, но и для дилетантовъ. Искусство, напротивъ, по его доступности, существуетъ для всѣхъ, хотя и не въ равной мѣрѣ, и не для всѣхъ одинаково.

Искусство существуетъ даже для дикихъ народовъ. Пѣснью дикарь торжествуетъ свою побѣду надъ врагомъ; пѣснью возбуждаетъ онъ въ себѣ воинственный пылъ, готовясь на битву; въ пѣснѣ изливаетъ онъ и горе, и радость. Но неизмѣримое пространство раздѣляетъ народную пѣсню отъ художественной поэмы или драмы. Въ образованныхъ обществахъ (у которыхъ однихъ можетъ быть художественная поэзія) художественныя произведенія имѣютъ обширный кругъ читателей, а драматическая поэзія, чрезъ театръ, дѣлается доступной даже безграмотнымъ людямъ. Однакожъ изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ художественныя произведенія были не только доступны всему обществу, но и вполнѣ доступны только его меньшей части. Для полнаго, истиннаго постиженія искусства, а слѣдовательно и полнаго, истиннаго наслажденія имъ необходимо основательное изученіе, развитіе; — эстетическое чувство, получаемое человѣкомъ отъ природы, должно возвыситься на степень эстетическаго вкуса, пріобрѣтаемаго изученіемъ и развитіемъ. А это возможно только для тѣхъ, кто на искусство смотритъ не какъ на пріятное препровожденіе времени, веселое занятіе отъ нечего-дѣлать или легкое средство отъ скуки, но кто видитъ въ искусствѣ серьезное дѣло, требующее размышленія, вызывающее на мысль, развивающее и умъ, и сердце. Искусство

должно имѣть не однихъ только диллетантовъ, но и жрецовъ, героевъ и мучениковъ, которые, не производя ничего сами, тѣмъ не менѣе занимаются имъ какъ дѣломъ своей жизни, какъ своимъ назначеніемъ, горячо берутъ къ сердцу его успѣхи, его ослабленіе, его упадокъ; изучая его сами, объясняютъ его другимъ. Это та же наука, та же ученость, потому что для истиннаго постиженія искусства, для истиннаго наслажденія имъ нужно много и много всегда и всегда учиться, и притомъ учиться многому такому, что̀ повидимому находится совершенно внѣ сферы искусства. Сами диллетанты, эти любезники искусства, ищущіе въ немъ только наслажденія и развлеченія, сами диллетанты раздѣляются на множество разрядовъ по степени ихъ страсти или пристрастія къ искусству. Для толпы же собственно существуютъ только результаты искусства, и то безъ ихъ вѣдома и сознанія: само искусство вовсе не существуетъ для нея такъ же, какъ и наука. Толпа никогда не понимаетъ высокихъ произведеній искусства, и они рѣдко ей нравятся, потому что, какъ мы сказали выше, искусство требуетъ изученія, требуетъ особеннаго посвященія въ его таинства. А между тѣмъ необходимо, чтобъ и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имѣетъ то и другое въ такъ называемой беллетристикѣ, за неимѣніемъ другого, болѣе опредѣлительнаго термина. Дѣятели беллетристики—таланты, иногда большіе, всего чаще малые. Беллетристика (belles-lettres) есть ежедневная пища общества, которая перемѣняется ежедневно, потому что одни и тѣ же блюда скоро надоѣдаютъ. Беллетристика относится къ искусству, какъ гравюры и литографіи относятся къ картинамъ, какъ статуэтки и фигурки, бронзовыя, мраморныя и гипсовыя,—къ вѣковѣчнымъ произведеніямъ скульптуры, къ статуямъ Венеры Медичейской и Аполлона Бельведерскаго. Какъ бы ни была хороша гравюра или литографія, хотя бы это была мастерская копія съ мастерской картины: она—не болѣе, какъ украшеніе вашей комнаты,—украшеніе, которое скоро наскучаетъ, и вы спѣшите замѣнить ее другой, какъ спѣшите перемѣнить мебель, обои вашихъ комнатъ, занавѣски вашихъ оконъ, сообразуясь съ требованіями моды. Но если вы владѣете картиной великаго мастера и если умѣете понимать ее,—она никогда не наскучитъ вамъ, вы никогда не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать въ ней новыя красоты, прежде незамѣченныя вами; вы повѣсите ее не для украшенія комнаты, потому что комната, какъ бы ни была великолѣпна, такъ же не стоитъ этой картины, такъ же недостойна украшаться ею, какъ не стоитъ она человѣка. И вы для этой картины выберете не лучшую, не великолѣпнѣйшую, не роскошнѣйшую, а удобнѣйшую, хотя бы самую простую комнату вашего дома,—комнату, которая должна быть удобно для картины освѣщена и въ которой не должно быть никакихъ игрушекъ. Изъ сказаннаго видно, въ чемъ состоитъ существенная разница между художественными и беллетристическими произведеніями. Вѣдь и гравюра, и статуэтка принадлежатъ къ области изящнаго, и въ нихъ есть и творчество, и художественность; но въ какой мѣрѣ—вотъ вопросъ! Мало этого: всѣ эти игрушки, всѣ домашнія принадлежности—лампы, жирандоли, шандалы, чернильницы, прессъ-папье, сигарочницы, мебель, и пр., и пр.,—всѣ эти вещи теперь дѣлаются съ такимъ вкусомъ, такимъ изяществомъ, что тѣ, которые изобрѣтаютъ ихъ форму, болѣе имѣютъ право называться артистами, нежели мастеровыми. Но естественно, что гравюры и статуэтки стоятъ еще на высшей степени художественности, нежели домашняя утварь, и болѣе, нежели она, принадлежатъ къ міру изящнаго. И такъ, гдѣ же, въ чемъ же та рѣзкая черта, которая отдѣляетъ искусство отъ беллетристики?—Рѣзкой черты нѣтъ и быть не можетъ, такъ же, какъ и въ психологическомъ мірѣ нѣтъ рѣзкой черты между геніальностью и бездарностью, умомъ и глупостью, красотой и безобразіемъ, потому что между всѣми этими крайностями есть посредствующія звенья, переходы и оттѣнки незамѣтные и невидимые. Рѣзкой черты нѣтъ, но черта есть. Истинно-художественное произведеніе безсмертно; оно составляетъ вѣчный капиталъ литературы. Оно при своемъ появленіи иногда можетъ быть даже не узнано и не признано современниками, не только толпой, но и учеными; однакожъ оно возьметъ свое, и будущія поколѣнія преклонятся передъ нимъ, вдохновенныя вѣющимъ въ немъ духомъ новой жизни. Беллетристическія произведенія, напротивъ, могутъ добиваться только развѣ долговѣчности, но никогда не достигнутъ безсмертія; родятся они тысячами, — тысячами и умираютъ; вчера еще побѣдоносныя, владѣвшія вниманіемъ свѣта, восхищавшія и радовавшія его, веселыя, гордыя, свѣжія, яркія, блестящія,—сегодня они уже блекнутъ, вянутъ, а завтра ихъ нѣтъ. Всего болѣе и всего чаще они имѣютъ огромный успѣхъ при своемъ появленіи; толпа тотчасъ же провозглашаетъ ихъ геніальными произведеніями, кромѣ ихъ не хочетъ ничего знать, ничего читать, ни о чемъ слышать, ни о чемъ говорить; но время идетъ, и колоссаль-

ное, великое произведеніе умираетъ вмалѣ, и неблагодарная толпа забываетъ даже, какъ она превозносила его, и нагло отпирается даже отъ знакомства съ нимъ, какъ отпираются люди отъ знакомства съ разорившимся богачемъ, у ногъ котораго недавно ползали они...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ беллетристическія эфемериды были ничтожными явленіями и не заслуживали вниманія и уваженія людей дѣльныхъ. Нѣтъ, онѣ необходимы, онѣ имѣютъ великое значеніе, великій смыслъ. Само искусство такъ же не замѣнитъ ихъ, какъ и онѣ не замѣнятъ искусства; онѣ необходимы и благодѣтельны, какъ и художественныя произведенія. Онѣ—искусство толпы; безъ нихъ толпа была бы лишена благодѣяній искусства. Сверхъ того въ беллетристикѣ выражаются потребности настоящаго, дума и вопросъ дня, которыхъ иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни самъ авторъ подобнаго беллетристическаго произведенія. Слѣдовательно, подобныя произведенія, такъ же какъ и наука, и искусство, бываютъ живыми отъ кровеніями дѣйствительности, живой почвой истины и зерномъ будущаго.

Итакъ, мы нашли уже три области литературы: науку, искусство (поэзію) и беллетристику. Но это еще не все: остается еще область, неназванная нами, но не менѣе великая и важная, особенно въ наше время, въ которое она такъ развилась и усилилась. Для этой области нѣтъ названія на русскомъ языкѣ, и потому мы назовемъ ее такъ, какъ она называется тамъ, гдѣ родилась, гдѣ ея владычество и сила—прессой (la presse). Въ эту область литературы входятъ журналистика, брошюра, словомъ—все, что̀ легко, изящно и доступно для всѣхъ и каждаго, для общества, для толпы, что̀ популяризуетъ, обобщаетъ идеи, знакомитъ съ результатами науки и искусства и распространяетъ энциклопедическое образованіе, превращаетъ интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокіе, въ интересы и вопросы жизни, для всѣхъ и каждаго равно близкіе и важные, словомъ, сближаетъ науку и искусство съ жизнью.

Теперь взглянемъ на взаимныя отношенія этихъ четырехъ областей литературы, чтобъ увидѣть, какъ и въ какой мѣрѣ всѣ онѣ могутъ служить содержаніемъ исторіи литературы.

Наука имѣетъ свою исторію, искусство также; но искусствъ много, и каждое изъ нихъ, независимо отъ другихъ, можетъ имѣть свою исторію, слѣдовательно и словесное или литературное искусство—поэзія. Но исторія поэзіи безъ связи съ исторіей беллетристики и прессы вообще была бы неполна и односторонна; слѣдовательно она такъ и просится сама въ исторію литературы, какъ одна изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ частей ея. Наука, несмотря на всю свою противоположность поэзіи, не можетъ не дѣйствовать на нее, ни не принимать на себя ея вліянія. Мы не будемъ говорить уже о томъ, какъ дѣйствуетъ философія на поэзію и поэзія на философію: это завлекло бы слишкомъ далеко; скажемъ только, что никакъ невозможно отрицать хотя не прямого и невидимаго вліянія на искусство даже положительныхъ наукъ, какова напримѣръ математика. Новый способъ рѣшать теорему конечно не можетъ имѣть никакого вліянія на искусство; но рѣшеніе вопроса о круглотѣ земли и ея обращеніи вокругъ неподвижнаго въ отношеніи къ ней солнца, о движеніи всей міровой системы,—рѣшеніе такихъ вопросовъ, развязавъ умы, сдѣлавъ ихъ смѣлѣе и полётистѣе, могло ли не имѣть вліянія на фантазію поэта и его произведенія? Все живое въ связи между собою; наука и искусство суть стороны бытія, которое едино и цѣло: могутъ ли стороны одного предмета быть чужды другъ другу? И такъ, исторія науки должна входить въ исторію литературы, по крайней мѣрѣ въ той мѣрѣ, въ какой наука, по своимъ результатамъ, имѣла вліяніе на искусство. Вліяніе поэзіи на беллетристику очевидно: беллетристика есть также поэзія, только низшая, менѣе строгая и чистая,—то же золото, только низшей пробы, только смѣшанное съ металлами низшаго достоинства. Поэзія даетъ беллетристикѣ жизнь и направленіе, и потому иногда одно высокое художественное произведеніе порождаетъ множество болѣе или менѣе прекрасныхъ беллетристическихъ явленій; одинъ геній даетъ полетъ множеству талантовъ. Но и беллетристика съ своей стороны имѣетъ вліяніе на искусство: она переводитъ на языкъ толпы его идеи и даже дѣлаетъ толпѣ доступными художественныя произведенія, подражая имъ. Сверхъ того беллетристика имѣетъ свои минуты откровенія, указывая на живыя потребности общества, на непредвидѣнные вопросы дня, и не даетъ искусству изолироваться отъ жизни, отъ общества и принять характеръ педантическій и аскетическій. Что̀ же касается до прессы, — она всему служитъ, она равно необходима и наукѣ, и искусству, и беллетристикѣ, и обществу.

И такъ, содержаніе исторіи литературы составляютъ: исторія поэзіи, беллетристики, прессы и отчасти науки. Въ этомъ случаѣ мы нисколько не разнимся съ Никитенко во взглядѣ на предметъ; но намъ кажется, что онъ не довольно опредѣлительно выра-

зился въ рѣшеніи этого вопроса. Вотъ почти единственное мѣсто во всемъ «Введеніи», которое мы могли не оспаривать, потому что въ сущности мы согласны съ нимъ, но противъ котораго мы нашли сказать что-нибудь. Почти во всемъ остальномъ мы вполнѣ согласны съ идеями автора, такъ прекрасно вездѣ изложенными. Мы могли бы прослѣдить ихъ, чтобъ представить содержаніе всей книги Никитенко, но думаемъ, что для читателей будетъ пріятнѣе непосредственно познакомиться съ этою книгою...

СЛАВЯНСКІЙ СБОРНИКЪ.

Н. В. Савельева-Ростиславича. Спб. 1845.

Трепещите и кланяйтесь, читатели! Вы готовитесь имѣть дѣло съ книгой, которая—бездна премудрости, океанъ учености... Вообразите: однихъ примѣчаній полторы тысячи!.. Предметъ книги самый ученый—славянскій міръ, иначе словянщина или словенщина... Цѣль книги — возстановленіе русской народности, будто бы съѣденной врагами нашими, нѣмцами; вожделѣнное возстановленіе это торжественно совершается книгой черезъ рѣшеніе вопроса, что варяго-руссы были не нѣмцы, а славяне, — чистые, породистые славяне, безъ всякой нѣмецкой или другой какой еретической примѣси. Средства книги — страшная эрудиція, неслыханная начитанность. Не знаемъ, какъ вамъ это покажется, но что̀ касается до насъ, мы нисколько не испугались этой книги. Ученость—вещь почтенная, и мы сочли бы варваромъ, готтентотомъ всякаго, кто безъ уваженія сталъ бы смотрѣть на ученость; но ученость учености рознь: есть ученость истинная, свѣтлая, плодотворная и благотворная, и есть ученость ложная, мрачная, безплодная, хотя и работящая. Черезъ ученость люди доискиваются истины: черезъ ученость доискивался истины Фаустъ, тревожимый внутренними вопросами, мучимый страшными сомнѣніями, жаждавшій обнять, какъ друга, всю природу, стремившійся добраться до начала всѣхъ началъ, до источника жизни и свѣта, и безтрепетно пускавшійся въ безпредѣльный и невещественный міръ матерей — первородныхъ, чистыхъ идей. Но черезъ ученость же добивался истины и Вагнеръ, человѣкъ узколобый, ограниченный, слабоумный, сухой, безъ фантазіи, безъ сердца, безъ огня душе внаго, прототипъ педанта, представитель всѣхъ возможныхъ Тредьяковскихъ, изобрѣтателей русскихъ гекзаметровъ на греческій ладъ и русскихъ октавъ на итальянскій манеръ... Къ чему ни прикоснется Вагнеръ — все изсыхаетъ и гніетъ подъ его мертвой рукой: цвѣты теряютъ свои краски и благоуханіе, красота превращается въ мертвый аппаратъ, нравственность становится скучнымъ жеманствомъ, истина — пошлой сентенціей... Глядя на Вагнера, особенно слушая его, чувствуешь невольное отвращеніе къ наукѣ и къ учености: такъ противѣетъ въ глазахъ вашихъ красивый, благоухающій, вкусный и сочный плодъ, если по немъ проползетъ отвратительный слизнякъ...

Вагнеровъ много, и они раздѣляются и подраздѣляются на множество родовъ и видовъ. Мы имѣемъ теперь въ виду только одинъ родъ этихъ, впрочемъ очень любопытныхъ, людей. Сохраняя общіе родовые признаки всѣхъ Вагнеровъ, т. е. ограниченность, слабоуміе, сухость, пошлость, задорливость и фанатизмъ, — Вагнеръ, о которомъ мы хотимъ говорить въ общемъ типическомъ смыслѣ, не примѣняя ни къ кому въ особенности его характера,—нашъ Вагнеръ ко всѣмъ этимъ прекраснымъ качествамъ присовокупляетъ еще ипохондрическую способность впадать въ манію какой-нибудь нелѣпой мысли, какого-нибудь дикаго убѣжденія. Избравъ предметомъ своихъ занятій, напримѣръ, исторію, онъ видитъ въ исторіи совсѣмъ не исторію, а средство къ защищенію и оправданію чудовищныхъ идей. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ существо доброе и нисколько не опасное, — онъ дѣлается разъяреннымъ, когда онъ говоритъ или пишетъ о своей завѣтной идеѣ, на которой помѣшался. Всѣ противники этой идеи—личные враги Вагнера, хотя бы они жили за сто или за тысячу лѣтъ до его рожденія; всѣ они, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди слабоумные, глупые, низкіе, злые, презрѣнные, способные на всякое дурное дѣло. Всѣ ея защитники и послѣдователи, мертвые и живые, по его мнѣнію, люди умные, геніальные, добродѣтельные, чуть не праведные. Идея его — истинна и непреложна: онъ ее доказалъ, утвердилъ, сдѣлалъ яснѣе солнца,—и только люди, ослѣпленные невѣжествомъ или злобой, могутъ не видѣть этого. Говоря о своей идеѣ, какъ объ аксіомѣ, принятой всѣмъ міромъ, за исключеніемъ

нѣсколькихъ невѣждъ и злодѣевъ (хотя бы въ самомъ-то дѣлѣ, кромѣ самого Вагнера и его пріятелей, или никто и знать не хочетъ ея, или всѣ смѣются надъ нею, какъ надъ вздоромъ), — онъ самъ о себѣ говоритъ какъ о великомъ человѣкѣ, великомъ ученомъ, великомъ геніи и, въ подтвержденіе этого, не краснѣя, вставляетъ въ свою книгу похвалы самому себѣ, полученныя имъ отъ своихъ пріятелей, такихъ же Вагнеровъ, какъ и самъ онъ, и, въ благодарность, съ своей стороны также превозноситъ ихъ до седьмого неба. Бѣдный человѣкъ, жалкій человѣкъ! Хуже всего въ немъ то, что онъ отъ всей души считаетъ себя великимъ ученымъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ усердно занимается своимъ предметомъ, много прочелъ и перечелъ, знаетъ бездну фактовъ, — словомъ, по всѣмъ правамъ принадлежитъ къ числу самыхъ остервенѣлыхъ книгоѣдовъ. Но, несмотря на то, онъ такъ-же мало имѣетъ право претендовать на титло ученаго, какъ и на званіе умнаго человѣка. Это не потому только, что Вагнеръ ограниченъ и, какъ говорится, недалекъ и пороха не выдумаетъ: и ограниченные люди могутъ быть учеными (эмпирически и фактически) и своими посильными трудами, очищая старые факты и натыкаясь на новые, приносить пользу наукѣ— но потому, что Вагнеръ, о которомъ мы говоримъ, въ наукѣ видитъ не науку, а свою мысль и свое самолюбіе. Онъ принимается за науку уже съ готовой мыслью, съ опредѣленной цѣлью, садится на науку, какъ на лошадь, зная впередъ, куда привезетъ она его. Мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ нельзя было приступить къ наукѣ изъ желанія оправдать ею свою задушевную мысль, въ которой человѣкъ убѣжденъ по чувству, предчувствію, a priori, и которой онъ хочетъ, путемъ науки, дать дѣйствительное, реальное существованіе. Нѣтъ, такъ приступалъ къ наукѣ не одинъ великій человѣкъ, и не безъ успѣха; но для этого нужно прежде всего, чтобъ задушевная, завѣтная, пророческая мысль родилась въ благодатной натурѣ, въ свѣтломъ умѣ, и чтобъ она носила въ себѣ зерно разумности; потомъ необходимо, чтобъ приступающій такимъ образомъ къ наукѣ, для оправданія своей мысли въ собственныхъ глазахъ и глазахъ всего міра,—вошелъ въ святилище науки съ обнаженными и чистыми ногами, не занося въ него сора и пыли заранѣе принятыхъ на вѣру убѣжденій. Онъ долженъ на все время изслѣдованія отречься отъ всякаго пристрастія въ пользу своей идеи, долженъ быть готовъ дойти и до убивающаго ее результата. Человѣкъ, который посвящаетъ себя наукѣ, не только можетъ, долженъ быть живымъ человѣкомъ въ тѣлѣ, съ кровью, съ сердцемъ, съ любовью; но у науки не должно быть тѣла, крови и сердца: она — духъ безтѣлесный, чисто отвлеченный разумъ, безъ крови и сердца, безъ страстей и пристрастій, холодный, строгій, суровый и безпощадный. У нея есть любовь, но своя особенная, ей только свойственная, духовная, идеальная любовь къ предмету безплотному, отвлеченному—къ истинѣ,—не къ той или вотъ этой истинѣ, заранѣе извѣстной, а къ такой, какая сама-собою явится результатомъ свободнаго изслѣдованія. Въ этомъ смыслѣ типъ истиннаго ученаго—математикъ, который, ища неизвѣстной величины, нисколько не заботится, какая именно будетъ эта величина, и понравится она ему, или нѣтъ: для него всѣ величины равно хороши, и онъ добивается именно той, которая необходимо должна быть результатомъ рѣшаемой имъ задачи. У кого есть любимая мысль и кто такимъ образомъ оправдаетъ ее черезъ науку, тотъ вполнѣ заслуживаетъ высокаго и благороднаго титла ученаго; равнымъ образомъ какъ и тотъ, кто умѣетъ отказаться отъ любимаго убѣжденія, если увидитъ, что оно оказалось, чрезъ ученое изслѣдованіе, предубѣжденіемъ или заблужденіемъ. Не таковы Вагнеры, о которыхъ мы говоримъ: они обращаются съ наукой какъ съ лошадью, которую заставляютъ насильно везти себя, куда имъ нужно или куда имъ угодно. Любимыя мысли ихъ всегда внѣ науки и ея интересовъ. Устремятъ ли они свое исключительное вниманіе напримѣръ на русскую исторію,—не думайте, чтобъ ихъ цѣль была разработать ея матеріалы, разъяснить ея темные факты; или изложить въ стройномъ повѣствованіи ея событія. Нѣтъ, подобные труды и задачи они охотно предоставляютъ другимъ, а сами занимаются вопросами, которые столько же легки для ученой болтовни, сколько пусты въ своей сущности. Имъ, видите ли, нужно непремѣнно узнать, кто были варяго-руссы. Зачѣмъ? Для окончательнаго рѣшенія перваго вопроса русской исторіи, какова бы ни была степень его важности?—О, совсѣмъ нѣтъ! Имъ это нужно для изъявленія ихъ отвращенія къ нѣмцамъ и любви къ славянскому міру. Какъ надо рѣшить вопросъ—это они знаютъ напередъ. Еще не начиная заниматься русской исторіей, они уже знали, что варяго-руссы—чистые славяне, и что Шлецеръ съ умысла «вралъ», называя ихъ норманами, увлекаемый рейнскимъ патріотизмомъ. Читая этихъ господъ, такъ и думаешь, что читаешь писаніе какого-нибудь бородатаго учителя какого-нибудь старообрядческаго толка: та же стрѣлецкая ненависть ко всему

иноземному, та же нелѣпая логика, то же фанатическое изступленіе въ дикихъ убѣжденіяхъ...

Но это Вагнеровское направленіе становится еще диче, когда къ нему примѣшивается охота сочинять историческія гипотезы и догадки, которыя выдаются за непреложныя истины на основаніи натянутыхъ словопроизводствъ, сближеній, цитатъ и такъ называемой «исторической логики». Ни одна область науки такъ не богата чудовищными нелѣпостями, какъ область филологіи и исторіи. Происхожденіе, начало и сродство языковъ и народовъ представляютъ самое обширное поле для произвольныхъ толкованій, нелѣпыхъ догадокъ и дикихъ заключеній. Первоначальная исторія всѣхъ народовъ покрыта глубокимъ и непроницаемымъ мракомъ,—и потому Вагнерамъ тутъ легко одними и тѣми же доказательствами утверждать самыя противорѣчащія положенія. Для этого и невѣжество, и многознаніе равно служатъ, и послѣднее иногда доходитъ еще до бо̀льшихъ нелѣпостей, нежели первое. По крайней мѣрѣ послѣднее увлекаетъ за собой толпы адептовъ и иногда переходитъ отъ поколѣнія къ поколѣнію. Ученость этого рода по-истинѣ забавна съ своими важными изслѣдованіями вопросовъ, которыя въ сущности очень не важны, а главное—неразрѣшимы. Великій нашъ юмористическій поэтъ, глубокій знатокъ тѣхъ комическихъ слабостей человѣческой натуры, въ которыхъ такъ трудно уловить тонкую черту, отдѣляющую геніальность отъ сумасшествія,—превосходно характеризуетъ манеры и уловки историческихъ изслѣдователей. Онъ сдѣлалъ это, чтобъ объяснить происхожденіе глупыхъ сплетней, которыя возникли на счетъ героя его романа и ни съ того, ни съ сего въ глазахъ сплетницъ обратились въ достовѣрность. «Наша братья, народъ умный, какъ мы называемъ себя, поступаетъ почти такъ-же, и доказательствомъ служатъ наши ученыя разсужденія. Сперва ученый подъѣзжаетъ въ нихъ необыкновеннымъ подлецомъ, начинаетъ робко, умѣренно, начинаетъ самымъ смиреннымъ запросомъ: не оттуда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежитъ ли этотъ документъ къ другому позднѣйшему времени? или: не нужно ли подъ этимъ народомъ разумѣть вотъ какой народъ? Цитуетъ медленно тѣхъ и другихъ писателей, и чуть только видитъ какой-нитудь намекъ, или показалось ему намекомъ, ужъ онъ получаетъ рысь и бодрится, разговариваетъ съ древними писателями запросто, задаетъ имъ запросы и самъ даже отвѣчаетъ за нихъ, позабывая вовсе о томъ, что началъ робкимъ предположеніемъ; ему уже кажется, что онъ это видитъ, что это ясно—и разсужденіе заключено словами: такъ это вотъ какъ было, такъ вотъ какой народъ нужно разумѣть, такъ вотъ съ какой точки нужно смотрѣть на предметъ. Потомъ во всеуслышаніе, съ каѳедры,—и новооткрытая истина пошла гулять по свѣту, набирая себѣ послѣдователей и поклонниковъ» («Мертвыя Души», стр. 362—363).

Это столько же не преувеличено и вѣрно, сколько зло и смѣшно... Главный источникъ подобныхъ человѣческихъ слабостей заключается въ человѣческомъ самолюбіи. Ученому, литератору пріятно не только основать въ наукѣ свою систему, свой взглядъ на предметъ, но даже и быть послѣдователемъ новаго ученія, кѣмъ-нибудь другимъ основаннаго.—Мы-де не старовѣры, мы-де впереди всѣхъ, — думаютъ, самолюбиво осклабляясь, такіе ученые или такіе литераторы, не подозрѣвая, что они дѣйствительно впереди всѣхъ... на пути нелѣпости.

Но мы совсѣмъ забыли объ «ученой» книгѣ Савельева-Ростиславича, о знаменитомъ «Славянскомъ Сборникѣ», увлекшись разными размышленіями, которыя, разумѣется, нисколько не относятся ни къ ученому Савельеву-Ростиславичу, ни къ его варяго-русскому альманаху. Займемся же имъ исключительно.

Книга Савельева-Ростиславича начинается увѣреніемъ, что Петръ Великій любилъ Россію и русскихъ и что онъ, когда могъ, всегда предпочиталъ русскаго нѣмцу. Это справедливо, хотя уже и не ново. Сочинитель, ссылаясь на донесеніе Кампредона французскому двору, увѣряетъ, что Петръ Великій для того сзывалъ въ Петербургъ всѣхъ дворянъ подъ опасеніемъ конфискаціи имѣній и лишенія дворянскаго званія за неявку, чтобы узнать способныхъ на службу дворянъ и замѣнить ими иностранцевъ, которыхъ онъ хотѣлъ вскорѣ уволить отъ службы и отослать. Это похоже на правду, однакожъ на самомъ дѣлѣ не правда, что̀ бы ни говорили Кампредонъ и Савельевъ-Ростиславичъ. Что Петръ желалъ освободиться отъ лишнихъ иностранцевъ, между которыми естественно было много пустыхъ и даже вредныхъ для Россіи людей, и дать ходъ своимъ способнымъ людямъ,—это вѣрно; но чтобъ онъ хотѣлъ отослать всѣхъ иностранцевъ, даже достойныхъ и оказавшихъ ему услуги, онъ, у котораго между ними былъ когда-то Тиммерманъ, Гордонъ, Лефортъ, былъ Остерманъ, и послѣ котораго остался Россіи Минихъ,—это просто выдумка, не сто̀ящая опроверженія. Импе-

ратрица Екатерина, нѣмка по рожденію, но дочь Петра Великаго не по крови, а по духу, равно умѣла дать свободный ходъ и широкое поприще и даровитымъ русскимъ, и даровитымъ нѣмцамъ и умѣла дѣлать это такъ, что при ней не было ни русской, ни нѣмецкой партіи, а было вмѣсто ихъ твердое, умное и славное русское правительство. Савельевъ-Ростиславичъ продолжаетъ сочинять: «Но Великій умеръ — и мысль его осталась безъ исполненія. Люди, къ которымъ онъ питалъ глубочайшее презрѣніе, размножались. Въ благодарность Россіи, которая кормила ихъ и поила, они подарили бироновщину (1730—1740), тяготѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воцаренія дочери Петровой, кроткой Елисаветы, очистившей Русь отъ иноплеменниковъ и приготовившей намъ вѣкъ Екатерины Великой». Тутъ что̀ ни слово, то вопіющая ложь! Читая это, невольно подумаешь, что иноплеменники съ умыслу подготовили намъ Бирона, какъ іезуиты, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, подготовили московскому царству Дмитрія Самозванца... Въ благодарность подарили намъ бироновщину—что̀ за нелѣпость! Этакъ иной подумаетъ, пожалуй, что Анна Іоанновна была иноплеменница, а не родная дочь Іоанна Алексѣевича, не родная племянница Петра Великаго!... Не знаемъ, право, въ какой мѣрѣ Елисавета Петровна предуготовила царствованіе Екатерины Великой; мы даже думаемъ, что славой и блескомъ своего царствованія Екатерина II никому не обязана, кромѣ самой себя и своихъ сподвижниковъ, которыхъ она такъ хорошо умѣла выбирать... Жаль, что Савельевъ-Ростиславичъ не заглянулъ хоть въ исторію Устрялова, если ему неизвѣстны другіе источники касательно царствованія Елисаветы Петровны... Но что̀ ему до источниковъ, что̀ до истины: Елисавета Петровна «очистила Русь отъ иноплеменниковъ», а это въ его глазахъ все равно, что сдѣлать Русь счастливой! Но исторія говоритъ не то... Трудно было Россіи при Петрѣ—и реформа, и войны, и трудъ, и пожертвованія; но правосудіе и нелицепріятіе великаго царя, доступность къ нему для всѣхъ и каждаго, очарованіе имени и обильные плоды его подвиговъ вознаграждали Русь за все,—и послѣ его смерти она, къ несчастью, слишкомъ скоро и слишкомъ хорошо узнала, что была при немъ счастлива. По смерти же Петра только съ царствованія Екатерины II настала для Россіи и теперь продолжающаяся эпоха счастья, благоденствія и славы.

По мнѣнію Савельева-Ростиславича, система скандинавскаго происхожденія Руси явилась во время Бирона изъ угожденія временщикамъ-иноземцамъ. Тутъ онъ видитъ рѣшительный заговоръ нѣмцевъ противъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Байеръ правъ, и варяго-русскіе князья пришли къ намъ изъ Скандинавіи, — горе намъ; наша національная честь посрамлена на вѣки, достоинство попрано, и мы—нѣчто менѣе собаки, какъ говорятъ персіяне. Словомъ, послѣ этого намъ, русскимъ, остается только взять да повѣситься всѣмъ до единаго! Зато какое торжество для Швеціи: послѣ этого ей нечего даже жалѣть ни о прибалтійскихъ областяхъ, ни о Финляндіи! Но утѣшьтесь: Байеръ былъ нѣмецъ, увлекавшійся рейнскимъ патріотизмомъ, врагъ Россіи, злодѣй, извергъ, который хотѣлъ украсть нашу честь, славу, достоинство. Нашлись люди, которые изобличили его. Первымъ изъ нихъ былъ великій Ломоносовъ, послѣднимъ—Савельевъ-Ростиславичъ. Въ «Славянскомъ Сборникѣ» подробно и краснорѣчиво изображены подвиги того и другого по этой части. Во время Бирона нѣмцы жили дружно между собою въ Россіи, а объ русскихъ въ этомъ отношеніи вотъ что̀ сказалъ Волынскій: «Намъ, русскимъ, не надобенъ хлѣбъ; мы другъ друга ѣдимъ, и съ того сыты бываемъ». И все-таки не мы, а нѣмцы были виноваты въ нашихъ бѣдствіяхъ: по крайней мѣрѣ Савельевъ-Ростиславичъ крѣпко держится этого̀ мнѣнія. Главную же причину нашихъ бѣдствій въ то время онъ полагаетъ въ скандинавскомъ происхожденіи Руси. Скажи Байеръ съ самаго начала, что варяго-руссы пришли къ намъ съ славянскаго балтійскаго поморья, и прими это мнѣніе Шлёцеръ,— Биронъ ничего бы не могъ намъ сдѣлать, и мы непремѣнно сослали бы его въ Великій-Кутъ или Прибалтійскую Сербь, въ славянскій городъ Винету, недавно дотла разрушенный диссертаціей Грановскаго. Но когда Ломоносовъ принялся за русскую исторію, которой онъ не зналъ, и за возстановленіе славы россовъ, — было уже поздно: нѣмцы, Биронъ и Байеръ, уже успѣли призвать въ Россію скандинавскихъ варяго-руссовъ. Умный, ученый, энергическій, геніальный Шлёцеръ своей могущественной исторической критикой, своими изслѣдованіями и авторитетомъ утвердилъ Байерово ученіе о скандинавскомъ происхожденіи Руси. Если и въ наше время есть люди, которые, подобно Вельтману, считаютъ «предосудительнымъ для чести Россіи скандинавское происхожденіе варяго-руссовъ», —то могли ли на Шлёцера смотрѣть иначе въ тѣ времена надуто-риторическаго патріотизма, когда самъ Ломоносовъ,—человѣкъ высокаго ума, геніальныхъ способностей, сильнаго характера, великой ученo-

сти, — если не принималъ за достовѣрное нелѣпаго и педантическаго мнѣнія о происхожденіи Рюрика отъ Кесарей, то и не отрицалъ въ немъ вѣроятности!!!... Итакъ, Ломоносовъ первый возсталъ противъ Байерова ученія. Причиной этого возстанія человѣка ученаго и геніальнаго, но рѣшительно незнавшаго исторіи, было, во-первыхъ, убѣжденіе, столь свойственное риторическому варварству того времени, будто бы скандинавское происхожденіе варяго-руссовъ позорно для чести Россіи, и во-вторыхъ, не безосновательная вражда Ломоносова къ нѣмцамъ-академикамъ, и вообще огорченія, которымъ, по своей великой ревности къ успѣхамъ наукъ въ Россіи, онъ подвергался вслѣдствіе академической кабалы и сплетень подъяческаго характера. Въ числѣ его противниковъ (которыхъ— надо сказать правду — Ломоносовъ умѣлъ наживать себѣ вспыльчивостью и крутостью своего нрава) былъ и безсмертный «профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей ѳитическихъ», Василій Кирилловичъ Тредьяковскій. Савельевъ-Ростиславичъ до того осерчалъ на бѣднаго и жалкаго Тредьяковскаго, который держался нѣмецкой партіи и скандинавскаго происхожденія Руси, что съ восторгомъ и необыкновенной элоквенціей пересказываетъ исторію истязанія, которому Волынскій подвергъ Тредьяковскаго ровно ни за что. «Артемій Петровичъ накормилъ друга плюхами (говоритъ краснорѣчивый Савельевъ-Ростиславичъ); приказалъ ввалить ему 70 палокъ по голой спинѣ; велѣлъ закатить ему еще 30 палокъ; далъ ему на прощанье еще съ десятокъ палокъ»... Вотъ что значитъ истощить на яркое повѣствованіе оплеушнаго и палочнаго событія все богатство славянскаго языка и краснорѣчиво воспользоваться всей энергіей и живописностью великокутскихъ глаголовъ! накормить плюхами, ввалить, закатить и проч.!... Савельевъ-Ростиславичъ съ презрѣніемъ говоритъ о Тредьяковскомъ, который, по паденіи Волынскаго, взыскалъ съ его наслѣдниковъ за побои 720 рублей. Что жъ тутъ удивительнаго? Могъ ли иначе поступить человѣкъ, котораго «кормили оплеухами» и «валяли палками», заказавъ ему стихи на шутовскую свадьбу въ ледяномъ домѣ?... И можно ли слишкомъ порицать низость чувствъ въ писакѣ, котораго, какъ всякаго писаку, въ то время можно было бить?... А хорошее было то время, когда вельможа Волынскій, провозглашенный патріотомъ, потѣшался собственноручнымъ кормленіемъ бѣднаго писаки оплеухами?... И писатели нашего времени берутъ сторону Волынскаго въ этомъ позорномъ фактѣ, забывая, что, каковъ бы ни былъ Тредьяковскій, но вѣдь все же и писака—братъ писателя по ремеслу, если не по таланту... То-то славянская-то логика! А еще жалуются, что нѣмцы обижали нашихъ ученыхъ и литераторовъ! Да найдите хоть одного нѣмца, который бы не оскорбился, видя, что его брата по ремеслу бьютъ оплеухами и палками, хотя бы этотъ братъ по ремеслу былъ его личный врагъ... Правъ Волынскій: «Намъ, русскимъ, не нужно хлѣба: мы ѣдимъ другъ друга, и съ того сыты бываемъ»... Бѣдный Тредьяковскій! тебя до сихъ поръ ѣдятъ писаки и не нарадуются до-сыта, что въ твоемъ лицѣ нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученаго и поэта!...

Савельевъ-Ростиславичъ, словно за великое преступленіе, упрекаетъ Байера и Шлёцера за ихъ мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи Руси и приписываетъ его: 1) злому умыслу извести русское самопознаніе и 2) нѣмецкому патріотизму. Мы рѣшительно не можемъ понять, почему бы Байеръ и Шлёцеръ, даже ошибаясь, не могли дойти до убѣжденія въ скандинавскомъ происхожденіи Руси совершенно безпристрастно, безъ всякихъ злыхъ умысловъ и безъ всякаго патріотизма? Что Савельевъ-Ростиславичъ принялъ мнѣніе Морошкина о происхожденіи варяго-руссовъ отъ балтійско-приморскихъ славянъ Великаго-Кута,— принялъ его не по ученому убѣжденію, а по чувству патріотическому,—это ясно,— и онъ самъ въ этомъ сознается, находя предосудительнымъ для Россіи скандинавское происхожденіе варяго-руссовъ. Нѣмецъ вообще не слишкомъ страстный патріотъ, а въ наукѣ онъ еще болѣе космополитъ, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ. Мнѣніе Байера, развитое и утвержденное Шлёцеромъ, сверхъ того совсѣмъ не такъ нелѣпо, какъ угодно утверждать Ростиславичу. Оно имѣетъ за себя сильныя доказательства и много вѣроятности; если же оно также имѣетъ сильныя доказательства и противъ себя, и если оно не имѣетъ полной достовѣрности,—такъ это потому, что вопросъ о происхожденіи Руси, будь сказано не во гнѣвъ Ростиславичу, столько же не разрѣшимъ, сколько и безплоденъ, даже еслибъ онъ и былъ разрѣшимъ. По тому же самому и мнѣніе Эверса о черноморскомъ происхожденіи Руси такъ же точно вѣроятно, какъ и мнѣніе о скандинавскомъ, такъ же точно имѣетъ сильныя доказательства за себя, какъ и противъ себя. По тому же самому и мнѣніе славянофиловъ о славянскомъ происхожденіи Руси не вовсе лишено смысла и вѣроятности.

Много было мнѣній объ этомъ предметѣ,

и еще будетъ больше, благодаря охотѣ людей рѣшать неразрѣшимое и изслѣдовать безполезное,—и каждое изъ этихъ мнѣній будетъ имѣть свою долю вѣроятности. Таково свойство гипотезъ: онѣ представляютъ широкій разгулъ колобродству человѣческаго ума. Гипотеза можетъ имѣть свое относительное достоинство, но ничего нѣтъ нелѣпѣе, какъ принимать ее за непреложную истину, за аксіому, и честить невѣждами, глупцами и безнравственными людьми всѣхъ тѣхъ, кто съ нею несогласенъ. Догадки и соображенія должны играть важную роль въ исторической критикѣ; безъ логики тутъ, какъ и вездѣ, нельзя шага сдѣлать: но эти догадки и соображенія, эта логика должны имѣть матеріалъ, безъ котораго онѣ—пустыя, хотя бы и ученыя фантазіи; этотъ матеріалъ—историческіе факты. Только по ихъ основанію логика соображенія и даже догадки доводятъ до истины. Еслибъ хоть одно изъ многочисленныхъ мнѣній о происхожденіи Руси основывалось на достаточномъ числѣ несомнительныхъ фактовъ,—то это мнѣніе сейчасъ же побѣдило бы всѣ другія и было бы признано за непреложное единодушно всѣми учеными. Но пока объ одномъ и томъ же вопросѣ существуетъ множество различныхъ и противоположныхъ мнѣній,—до тѣхъ поръ вопросъ не далеко подвинулся, и нелѣпо считать его рѣшеннымъ. Карамзинъ очень умно поступилъ, послѣдовавъ Шлёцеровскому мнѣнію о происхожденіи Руси, но въ то же время давъ мѣсто и другому мнѣнію. Но мы думаемъ, что будущій историкъ русской земли еще лучше поступитъ, когда, касательно вопроса о происхожденіи Руси, перечтетъ всѣ важнѣйшія мнѣнія, съ ихъ главнѣйшими доказательствами, и порѣшитъ, что ни одного изъ нихъ невозможно ни принять, ни отринуть, и что поэтому всѣ они ровно никуда не годятся. Развѣ найдется подлинная рукопись Несторовой лѣтописи безъ искаженій и пропусковъ, а въ ней найдется опредѣленное и никакому сомнѣнію неподверженное указаніе на происхожденіе Руси; или развѣ отыщется другой какой-нибудь древній манускриптъ, русскій, славянскій, латинскій или нѣмецкій, который окончательно рѣшитъ вопросъ о происхожденіи Руси: тогда другое дѣло! Но въ ожиданіи этого, право, давно пора бы перестать компрометтировать и русскую исторію, и русскую ученость этими безплодными изысканіями, этой безплодной полемикой, этими безплодными гипотезами и всей этой ученостью Рудбековъ и Тредьяковскихъ! И что̀ важнаго въ рѣшеніи этого вопроса?—Положимъ, что Байеръ и Шлёцеръ правы, что варяго-руссы пришли изъ Скандинавіи; яснѣе ли отъ этого хоть на волосъ первый періодъ русской исторіи? Эти варяго-русскіе князья изъ Скандинавіи, призванные новгородскими славянами, такъ мало привели съ собой своихъ норманскихъ земляковъ, что новгородская національность не получила отъ ихъ вліянія никакого отпечатка, и если они что-нибудь привили къ ней, такъ развѣ съ десятокъ собственныхъ именъ, скоро ославянившихся, да много-много если съ десятокъ словъ, тоже скоро измѣнившихся, такъ что теперь никакъ не разберешь, они ли къ намъ зашли отъ нѣмцевъ или отъ насъ зашли къ нѣмцамъ. Скандинавскіе варяго-руссы не занесли къ намъ даже феодализма—главнѣйшей черты тевтонской народности, потому что наша удѣльная система столько же въ сущности похожа на феодальную, сколько русскій языкъ похожъ напримѣръ на англійскій: прототипъ нашей удѣльной системы совсѣмъ не политическій и не государственный, а чисто семейственный и племенной, который и теперь сохранился во всей чистотѣ въ помѣщицкомъ правѣ. Оттого и не вошло въ нее маіората, но, напротивъ, она сама собой исчезла бы чрезъ раздробленіе, еслибъ нашествіе татаръ не дало перевѣса Москвѣ. Гдѣ же другіе слѣды вліянія скандинавскаго происхожденія варяго-руссовъ на нравы, обычаи, характеръ, умъ, фантазію, законодательство и другія стороны славянской народности новгородцевъ? Пока—ихъ еще не отыскано, а о нихъ-то прежде всего и слѣдовало бы позаботиться Шлёцеру и его послѣдователямъ. Итакъ, что же намъ въ томъ, что къ нашимъ предкамъ пришли шведы, а не другой какой-нибудь народъ, напримѣръ не японцы?

Теперь положимъ, что совершенно и несомнѣнно правы Ниманъ и Эверсъ,—варяги-русь пришли изъ-за Чернаго моря: что̀ жъ въ томъ, что пришли варвары къ варварамъ, да и потонули въ ихъ народности, не оставивъ въ ней никакого слѣда, словно канули на дно? Сверхъ того на Эверсѣ и его послѣдователяхъ лежитъ болѣе тяжкое обвиненіе, нежели на послѣдователяхъ другихъ мнѣній: ихъ воззрѣніе (которое впрочемъ едвали не достовѣрнѣе всѣхъ другихъ) совершенно ниспровергаетъ авторитетъ лѣтописи Нестора,—и имъ слѣдовало бы окончательно рѣшить вопросъ о ней, сличивъ ея списки и строго разобравъ ее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ. Ученый профессоръ Каченовскій, исключительно и долгое время занимавшійся развитіемъ Эверсова взгляда на черноморское происхожденіе варяго-руссовъ, дѣйствовалъ такъ медленно, робко и нерѣшительно, что только возбудилъ новые (правда, очень

важные и дѣльные, какихъ до него не существовало) вопросы, но не рѣшилъ ихъ, а школа его со смертью Сергѣя Строева (Скромненки) какъ-будто исчезла.—Теперь положимъ, что варяги-русь пришли изъ прибалтійскаго Великаго Кута, т. е. свои пришли къ своимъ: чѣмъ же это лучше скандинавовъ или хозаръ, нѣмцевъ или татаръ? Славянофилы говорятъ, будто это тѣмъ лучше, что иноплеменное происхожденіе Руси оскорбляетъ наше національное достоинство; но это такая нелѣпость, на которую смѣшно и возражать... Потомъ они говорятъ еще, что отъ рѣшенія вопроса: нѣмцы или славяне были варяго-руссы? зависитъ рѣшеніе современной и будущей судьбы нашей народности, т. е. можемъ ли мы развиваться своебытно и самостоятельно, или должны ограничиться жалкой ролью подражателей и передразнивателей той или другой, но всегда чуждой намъ жизни. Это уже изъ рукъ вонъ нелѣпо, особенно въ приложеніи къ Россіи! Во-первыхъ, что за дикая мысль разгадывать и опредѣлять будущее народа, писать его программу? На основаніи многихъ данныхъ можно быть убѣждену, что Россію ожидаетъ великая и блестящая будущность; но какая именно и какимъ образомъ—стараться или надѣяться узнать это—такая же чудовищная нелѣпость, какъ думать, что можно узнать будущую участь каждаго человѣка. Для народа, какъ и для человѣка, жизнь тѣмъ и интересна, тѣмъ и заманчива, тѣмъ и обаятельна, что ея даль закрыта отъ его взоровъ и недоступна имъ, что онъ можетъ заглядывать только развѣ въ идею своего будущаго, но никогда въ форму его проявленія. Дайте ему это всевѣдѣніе будущаго, и вы увидите, что онъ не захочетъ жить. Потомъ, что̀ за нелѣпость судить о будущемъ народа по его отдаленному прошедшему, которое такъ оторвано даже отъ его настоящаго? Что̀ общаго между новгородцемъ IX-го, московитомъ XV-го и русскимъ XIX вѣка? Если можно предчувствовать и предугадывать (въ идеѣ) будущее, то не иначе, какъ на основаніи настоящаго, которое одно есть испытанная мѣра, и прошедшаго, какъ результатъ его. Вѣдь дерево узнается по плоду. Если вы хотите узнать, выйдетъ ли что-нибудь путное изъ молодого человѣка, вѣрно вы не захотите справляться, каково онъ велъ себя въ утробѣ своей матери или потомъ въ колыбели, а напротивъ, какимъ обнаружилъ онъ себя въ лѣта юности, когда созрѣли его силы, развились способности, обнаружилась воля? Положимъ, что варяги-русь были иноплеменники—шведы, хозары, чухны, или кто угодно: что̀ жъ изъ этого? Кажется, Францію и Англію напримѣръ нельзя обвинить въ отсутствіи или недостаткѣ народности—какъ вы объ этомъ думаете, гг. славянофилы? А между тѣмъ развѣ національность ихъ сложилась и развилась изъ одного элемента? Напротивъ, изъ многихъ. Галлы, коренное и туземное народонаселеніе Франціи, были сперва покорены римлянами и отчасти смѣшались съ ними кровью, языкомъ, религіей, обычаями, изъ чего и образовался элементъ галло-римскій. Потомъ римская Галлія была завоевана франками (которыхъ Савельевъ-Ростиславичъ считаетъ вмѣстѣ съ Венелинымъ славянскимъ народомъ!!...) и наконецъ цѣлая часть римско-галльско-франкской Франціи была завоевана норманами. Сколько различныхъ элементовъ! Но сильное галльское начало восторжествовало надо всѣми, и въ комментаріяхъ Юлія Цезаря нельзя не видѣть зародыша нынѣшней современной Франціи. А Англія? Бритты, потомъ римляне, потомъ саксонцы и наконецъ французскіе норманы! Здѣсь, кажется, наоборотъ Франціи, тевтонское начало явилось преобладающимъ надъ цельтическимъ, а результатомъ все-таки была сильная, крѣпкая, оригинальная національность! Неужели этихъ уроковъ мало для доказательства славянофиламъ! что кто-бы ни были варяго-руссы—нѣмцы или славяне,—вопросъ о нашей народности чрезъ нихъ ровно нисколько не рѣшается, и къ нашему будущему они имѣютъ еще менѣе существеннаго отношенія, нежели сколько имѣли къ тому давно-прошедшему Руси, въ которое пришли въ нее?...

Пусть Шлёцеръ ошибался въ происхожденіи руссовъ: въ этомъ нѣтъ никакого преступленія съ его стороны, никакого нѣмецкаго патріотизма, никакого злоумышленія на честь и благоденствіе Россіи. И вообще о Шлёцерѣ не худо было бы говорить съ бо̀льшимъ уваженіемъ, нежели какъ позволяетъ себѣ говорить о немъ Савельевъ-Ростиславичъ, который, кажется, ровно ничего еще не сдѣлалъ для русской исторіи... Да, пусть даже главная мысль Шлёцера о русской исторіи — ошибка, заблужденіе; но все-таки заслуги Шлёцера русской исторіи велики: онъ своимъ изслѣдованіемъ Нестора далъ намъ истинный, ученый методъ исторической критики. Есть за что̀ быть намъ вѣчно благодарными ему! И если какой-нибудь Ростиславичъ можетъ, будто-бы съ ученой манерой, нападать на Шлёцера, то благодаря все ему же, Шлёцеру же. И что̀ за вина со стороны Шлёцера быть нѣмцемъ, и за что̀ такая фантастическая ненависть къ нѣмцамъ, у которыхъ Петръ Великій выучился побѣждать ихъ же самихъ, и которые дали намъ флотъ, тор-

говлю, просвѣщеніе, образованность, науку, искусство, нравы, благодатныя выгоды цивилизованной человѣческой жизни и все, чего не знали и чему были чужды наши предки, которые такъ чуждались и такъ ненавидѣли нѣмцевъ?

Но у Ростиславича, какъ истаго славянина, нѣмцы всегда и во всемъ виноваты—безъ вины виноваты, какъ говоритъ славянская пословица. Шлёцеръ, смѣясь надъ Рудбековскимъ искусствомъ подвергать слова филологической дыбѣ, говоритъ: «Если дадутъ мнѣ сотню русскихъ именъ, то, съ помощью извѣстнаго Рудбековскаго искусства, возьмусь я отыскать столько же подобныхъ звуковъ въ малайскомъ, перуанскомъ и японскомъ языкахъ». Какъ же понялъ эти слова Шлёцера добросовѣстный, безпристрастный славянинъ, Ростиславичъ? —На основаніи этихъ словъ онъ утверждаетъ, что будто-бы «онъ самъ» (т. е. Шлёцеръ) «хвастался Рудбековскимъ искусствомъ находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства»!!... Мало того, Ростиславичъ въ восторгѣ отъ этой остроумно-полемической выходки Ломоносова противъ Шлёцера, который дѣйствительно смѣшно ошибался въ производствѣ нѣкоторыхъ русскихъ словъ: «Изъ сего заключать должно, какихъ гнусныхъ пакостей не наколоблюдитъ въ россійскихъ древностяхъ такая допущенная въ нихъ скотина»—«Рѣзко, а вѣдь справедливо! (восклицаетъ Ростиславичъ), и Ломоносовъ имѣлъ право (!) такъ (?!) говорить, какъ русскій (??!!) и какъ ученый (???!!!), коротко знакомый съ отечественной исторіей (sic), который удѣлялъ часть своихъ занятій впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ». Что за образъ мыслей и чувствованій у Савельева-Ростиславича!... Но и этого еще не довольно для варяжскаго его правдолюбія: что ни дѣлаютъ нѣмцы, все это глупо и низко въ его глазахъ; что ни дѣлаетъ Ломоносовъ, все это у него и умно, и благородно. Онъ въ восторгѣ, что рѣчь академика Миллера (ученаго знаменитаго, который, даже по признанію Савельева-Ростиславича, оказалъ великія заслуги собраніемъ матеріаловъ и Сибирской Исторіей), рѣчь Миллера «о началѣ народа и имени русскаго», написанная въ Байеровскомъ духѣ, была запрещена. Ломоносовъ съ Крашенинниковымъ и Поповскимъ объявили рѣчь Миллера «предосудительной для Россіи». Въ этомъ случаѣ какъ Ломоносовъ, такъ и Ростиславичъ обнаружили истинно славянскія понятія о свободѣ ученаго изслѣдованія, не говоря уже объ «учености» ихъ взгляда на то, что приговоры науки могутъ быть предосудительны государству или народу. Но и всего этого было мало Ростиславичу: ему оставалось еще доказать, что Миллеръ виноватъ и въ томъ, что хотѣлъ защищаться и вознаградить себя за уничтоженіе его рѣчи напечатаніемъ ея. «Миллеръ (говоритъ Ростиславичъ) старался отмстить своимъ противникамъ другимъ образомъ: онъ сталъ, по выраженію Ломоносова, въ ежемѣсячныхъ и другихъ своихъ сочиненіяхъ всѣвать, по обычаю своему, заносливыя рѣчи (какое преступленіе!), и больше всего высматривать пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія,—а между тѣмъ въ разныхъ сочиненіяхъ началъ вмѣщать свою скаредную диссертацію о россійскомъ народѣ по частямъ (какой, подумаешь, извергъ былъ этотъ Миллеръ!) и хвастать, что онъ ту диссертацію, за кою оштрафованъ, напечатаетъ золотыми литерами». Эти строки возбуждаютъ въ насъ желаніе спросить Ростиславича: что бы онъ заговорилъ, еслибъ такъ называемые имъ Шлёцеріане успѣли добиться запрещенія всѣхъ изысканій касательно русской исторіи, дѣлаемыхъ не въ духѣ Шлёцера? Или можетъ быть, какъ истый славянинъ, онъ уважаетъ свободу ученаго изслѣдованія только для самого себя и для своихъ?.. И подобныя монгольскія книги пишутся въ XIX вѣкѣ и выдаются за «ученыя» сочиненія! Хороша ученость!

Но послѣдуемъ желанію Родиславича, отбросимъ всѣхъ этихъ нѣмцевъ, которые совсѣмъ перепортили первый періодъ нашей исторіи, и посмотримъ на историческіе подвиги Ломоносова, полюбуемся ими. Ломоносовъ признавалъ варяжскую Русь племенемъ славянскимъ, обитавшимъ на южныхъ берегахъ Балтійскаго моря: великая заслуга съ его стороны, въ глазахъ Ростиславича! Но почему Ломоносовъ думалъ такъ, а не иначе, какимъ путемъ дошелъ онъ до этого убѣжденія? — Не почему другому, какъ потому, что не-славянское происхожденіе варяговъ-руси было бы «предосудительно славѣ россовъ». Миллеръ, по внѣшней необходимости, попытавшійся было на сближеніе съ мыслью Ломоносова, сталъ подкрѣплять ее учеными доводами, о которыхъ Ломоносовъ и не думалъ; но все-таки въ племени роксолановъ подумалъ видѣть скандинавовъ. Желая оправдать и очистить память Ломоносова отъ незнанія и неучености въ исторіи и доказать, что Ломоносовъ былъ и великій историкъ, только оклеветанный Шлёцеромъ, Савельевъ-Ростиславичъ дѣлаетъ длинную выписку изъ вступленія къ его «Древней Россійской Исторіи». Мы думали и Богъ знаетъ что увидѣть въ этой выпискѣ, которой Савельевъ-Ростисла-

вичъ грозился убить наповалъ всѣхъ Шлёцеріанъ и не-славянофиловъ; а вмѣсто того, что же увидѣли мы въ этихъ строкахъ Ломоносова, по мнѣнію его апологиста, исполненныхъ такой удивительной мыслительности, до которой нѣмцамъ никогда не удавалось доходить? что нашли мы въ этомъ историческомъ profession de foi Ломоносова?—Ничего, кромѣ надутаго риторическаго пустословія и суесловія о древней славѣ россовъ и объ удивительномъ сходствѣ русской исторіи съ римской... Вотъ маленькій отрывокъ для образчика историческихъ воззрѣній Ломоносова: «Посему всякъ, кто увидитъ въ россійскихъ преданіяхъ—равныя дѣла и героевъ греческимъ и римскимъ подобныя, унижать насъ передъ оными причины имѣть не будетъ; но только вину полагать долженъ на бывшій нашъ недостатокъ въ искусствѣ, каковымъ греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности...». Мы не намѣрены издѣваться надъ этими простодушными словами великаго человѣка, жившаго въ томъ вѣкѣ, когда идея и значеніе исторіи едва только предчувствовались немногими свѣтлыми умами, отличавшимися философическимъ направленіемъ. Ломоносовъ былъ умъ положительный и практическій, чуждый всякаго умозрительнаго направленія, да и исторія была совсѣмъ не его предметъ. Нѣмецкіе ученые, съ которыми онъ такъ опрометчиво, такъ запальчиво и такъ неосновательно вступилъ въ историческую полемику, стояли въ отношеніи къ исторіи какъ наукѣ неизмѣримо выше его, потому что они глубоко чувствовали и сознавали необходимость строгой и холодной критики, чтобъ очистить исторію отъ басни. Короче, мы не видимъ уголовнаго преступленія со стороны Ломоносова, что онъ взялся явно не за свое дѣло; но какъ же не грѣхъ Ростиславичу видѣть въ словахъ Ломоносова что-нибудь другое, кромѣ пустой риторики? Какъ! въ наше время, не шутя, всю разницу между исторіей древнихъ грековъ и римлянъ и между исторіей Россіи видѣть только въ «нашемъ недостаткѣ искусства, каковымъ греческіе и латинскіе писатели своихъ героевъ въ полной славѣ предали вѣчности»! Да это-то только и составляетъ все! Поэтому-то и нѣтъ ничего общаго между древней Греціей, древнимъ Римомъ и Россіей временъ Елисаветинскихъ, что у насъ не было ни науки, ни искусства! Вѣдь между греческими и римскими героями и между греческими и латинскими писателями есть кровная, живая связь: явленіе однихъ необходимо условливало явленіе другихъ, и Оміръ, Исіодъ, Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ, Пиндаръ, Геродотъ, Ѳукидидъ, Ксенофонтъ, Сократъ, Платонъ, Аристотель, Демосѳенъ, Аристофанъ, Праксителъ, Фидіасъ, Апеллесъ, Титъ-Ливій, Горацій, Виргилій, Овидій, Тацитъ и другіе были такими же точно героями и историческими лицами, какъ Ахиллъ, Агамемнонъ, Гекторъ, Кодръ, Ликургъ, Солонъ, Мильтіадъ, Периклъ, Алкивіадъ, Александръ Македонскій и всѣ герои Рима, отъ консула Брута до Юлія Цесаря и послѣдняго римлянина, современника первому консулу. Гдѣ нѣтъ поэтовъ, историковъ, ораторовъ, художниковъ, тамъ нѣтъ въ нихъ и потребности, тамъ не могли они быть, да тамъ и нечего было имъ дѣлать. Ломоносовъ далѣе находитъ рѣшительное сходство между римской и русской исторіей... Вотъ поистинѣ наивная манера находить сходство тамъ, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ совершенной противоположности и совершеннаго несходства. Но Ломоносову это извинительно: онъ и въ исторіи былъ такимъ же риторомъ, какъ и въ своихъ надутыхъ одахъ на иллюминаціи и въ своей раздутой quasi-русской трагедіи «Темира и Селимъ», и поэтому въ русской исторіи искалъ не истины, а «славы россовъ». Но простительно-ли Ростиславичу, не шутя, безъ смѣха, безъ мистификаціи передавать эти слова Ломоносова, какъ его право на титло историка, какъ доказательство, что Ломоносовъ указывалъ русской исторіи настоящую дорогу, съ которой сбили ее лукавые и злонамѣренные нѣмцы?.. Мало всего этого; кончивъ выписку риторическихъ фразъ Ломоносова, Ростиславичъ очень наивно восклицаетъ: «Это вступленіе лучше всего знакомитъ со взглядомъ Ломоносова на русскую исторію и на обязанности историка». Именно такъ! Прочтя это вступленіе, кто же захочетъ прочесть самую исторію Ломоносова или упоминать имя ея автора, говоря объ исторіи, какъ о наукѣ, а не какъ о риторическомъ панегирикѣ россамъ!..

Но—дѣлать нечего—скрѣпя сердце, посмотримъ на дальнѣйшіе историческіе подвиги Ломоносова. Говоря о первобытныхъ племенахъ славянскихъ, Ломоносовъ заключаетъ о ихъ древности и величіи по пространству, которое они занимали. «Сравнивъ тогдашнее состояніе могущества и величества славянскаго съ нынѣшнимъ, едва чувствительное нахожу въ немъ приращеніе. Чрезъ покореніе западныхъ и южныхъ словенъ въ подданство чужой власти и приведеніе въ магометанство едва ли не послѣдовалъ бы знатный уронъ сего племени передъ прежнимъ,—еслибы приращенное могущество Россіи съ одной стороны онаго умаленія съ избыткомъ не наполнило. Того ради безъ сомнѣнія заключить можно, что

величество словенскихъ народовъ, вообще считая, стоитъ близъ тысячи лѣтъ почти на одной мѣрѣ». Видите ли въ чемъ дѣло! Для русскихъ XVIII вѣка много было радости въ томъ, что славяне, около тысячи лѣтъ коснѣя въ безплодномъ для человѣчества существованіи, все-таки, несмотря на то, пребывали въ величествѣ! Индійцы, китайцы, японцы ужъ конечно гораздо древнѣе славянъ и, своимъ существованіемъ, оставили въ исторіи человѣчества болѣе глубокій, нежели славяне, слѣдъ; но что жъ въ этомъ пользы для нихъ теперь, когда они превратились въ какія-то нравственныя окаменѣлости какъ-будто допотопнаго міра? Для насъ, русскихъ, важна русская, а не словенская исторія; да и русская-то исторія становится важной не прежде, какъ съ возвышенія московскаго княженія, съ котораго для Россіи наступило время уже историческаго существованія. Первый періодъ русской исторіи до Ярослава совершенно неуловимъ для историка, то мелькая, то исчезая изъ глазъ въ баснословномъ и миѳическомъ сумракѣ. Непроходимая чаща удѣльнаго періода составляетъ только полу-историческій періодъ русской исторіи, — періодъ, въ которомъ важна одна только сторона—распространеніе и расширеніе Руси на сѣверъ, черезъ удѣльную систему. Все это въ русской исторіи можетъ занимать не болѣе, какъ двѣ главы: первая будетъ состоять изъ малаго числа фактовъ и съ умѣренностью и осторожностью употребленныхъ гипотезъ и догадокъ, а вторая будетъ родомъ введенія въ русскую исторію, которая начнется собственно съ Іоанна Калиты (съ 1328 года). До славянъ же намъ нѣтъ дѣла, потому что они не сдѣлали ничего такого, что̀ дало бы имъ право на вниманіе науки, и на основаніи чего наука могла бы видѣть въ ихъ существованіи фактъ исторіи человѣчества. Если славяне не были варварами, но, напротивъ, обладали цивилизаціей, просвѣщеніемъ и образованіемъ,—тѣмъ лучше для нихъ, а совсѣмъ не для насъ, которымъ отъ этого ни холоднѣе, ни теплѣе, ни хуже, ни лучше. И если Байеръ и Шлёцеръ были не правы, отзываясь о новгородскихъ славянахъ, какъ о невѣжественныхъ варварахъ, а Ломоносовъ былъ правъ, приписывая имъ цивилизацію, просвѣщеніе и образованность,—пусть славянофилы уличатъ первыхъ и оправдаютъ послѣдняго, пусть покажутъ они въ памятникахъ письменности, законодательства, самаго язычества, науки и искусства, какъ велики были цивилизація, просвѣщеніе и образованность новгородскихъ славянъ. Но въ такомъ случаѣ пусть покажутъ и докажутъ все это не ради ложнаго патріотизма, который тутъ совершенно неумѣстенъ, но ради объективной истины предмета, которая всегда имѣетъ свою относительную важность и достоинство. Пусть они въ этомъ случаѣ обопрутся на факты, а не на гипотезы, догадки и фантазіи; пусть не хвалятся, какъ Богъ знаетъ чѣмъ, мірской сходкой, искони существовавшей у всѣхъ славянскихъ племенъ и даже до нашихъ дней сохранившейся и въ Россіи,—пусть, говоримъ, не хвалятся ею, потому что она существовала и существуетъ у индійцевъ и даже у обитателей Океаніи, оставаясь обычаемъ, изъ котораго ничего не развивается для исторіи. А еслибъ славянофиламъ и удалось уличить Байера и Шлёцера и оправдать Ломоносова, еслибы они и доказали, основываясь на фактахъ, что новгородскіе славяне были народъ цивилизованный, просвѣщенный и образованный,—все-таки да остерегутся они хвалиться этимъ, какъ чѣмъ-то очень лестнымъ для чести современной намъ Россіи, потому что, повторяемъ, эта цивилизація и образованность, это просвѣщеніе, если онѣ—не мечта, дѣлаютъ честь новгородскимъ славянамъ прежде-Рюриковскихъ временъ, а не намъ,—и изъ нихъ (т. е. изъ цивилизаціи, просвѣщенія и образованности) не вышло ровно никакихъ слѣдствій, потому что въ періодъ удѣловъ и татарщины мы не видимъ ни цивилизаціи, ни просвѣщенія, ни образованности. Съ Іоанна III развилась полувосточная цивилизація Московскаго-царства; но просвѣщеніе и образованность все-таки появились только съ царствованія Петра Великаго. Но, увы! славянофилы тщетно вопіютъ намъ о цивилизаціи, просвѣщеніи и образованности кіевскихъ и новгородскихъ славянъ еще задолго до пришествія къ послѣднимъ варяго-руссовъ: нѣтъ никакихъ слѣдовъ этой цивилизаціи, этой образованности, этого просвѣщенія! Что̀ за просвѣщеніе безъ грамотности, а грамотностью мы обязаны христіанству, а христіанство явилось у насъ послѣ Рюрика! И что̀ унизительнаго для нынѣшней Россіи, что предки ея—славяне, были необразованы? Развѣ не варвары были галлы и всѣ племена цельтическія? Развѣ не варвары были племена тевтонскія, положившія основаніе нынѣшнихъ просвѣщенныхъ европейскихъ государствъ? Развѣ Европа до открытія Америки, изобрѣтенія книгопечатанія и пороха не была страной варварской? И неужели Европѣ нашихъ временъ должно стыдиться сознаться въ этомъ? Какая нелѣпость! Изъ всѣхъ народовъ человѣчества древніе греки были народомъ-аристократомъ, и тѣмъ не менѣе отцы ихъ—пелазги—были

дикіе варвары. Какъ будто бы происхожденіе можетъ унизить человѣка или народъ? Какъ-будто бы каждый народъ не бываетъ въ своемъ происхожденіи дикимъ варваромъ,—такъ же, какъ-будто бы каждый человѣкъ не родился младенцемъ?... Неужели все это—не аксіомы въ глазахъ славянофиловъ? Неужели для нихъ ново и странно, что дважды-два—четыре, а не пять?... Странные люди!...

Обратимся еще разъ къ Ломоносову; но, избѣгая длинныхъ выписокъ, скажемъ просто, что Савельевъ-Ростиславичъ вмѣстѣ съ Ломоносовымъ въ превеликомъ восторгѣ оттого, что славянское имя будто бы прославилось еще въ началѣ VI столѣтія по Р. Х.; что вмѣстѣ съ другими варварами славяне способствовали разрушенію Римской имперіи; и что, по свидѣтельству Птоломея, Сармацію одержали «превеликіе вендскіе народы», которые были не кто другіе, какъ наши предки—славяне... Положимъ, что все это и такъ; но чему же тутъ радоваться? Древности славянъ?— Но что̀ она передъ древностью китайцевъ? — молодость, просто молодость! Но еслибъ славяне были древнѣе самихъ китайцевъ, что̀ жъ въ этомъ? Современная намъ китайская цивилизація смѣшна, уродлива, пошла; но, какъ окаменѣлый памятникъ цивилизаціи, можетъ-быть древнѣйшей, нежели цивилизаціи всѣхъ другихъ историческихъ народовъ глубокой древности, она интересна, поучительна, достойна глубочайшаго изученія. Что̀ же осталось намъ отъ древности славянъ, которые, положимъ, были уже страшными головорѣзами еще задолго до Птоломея,— ничего, ровно ничего! Такая древность и не сто̀итъ ничего,—и юность Россійской имперіи, существующей не болѣе полутора столѣтія, въ милліонъ разъ лучше такой древности... Но что̀ мы говоримъ! Какое тутъ сравненіе, какая параллель! Развѣ можно сравнивать пустоту съ содержаніемъ, ничто — со многимъ?...

Забавнѣе всего, что Савельевъ-Ростиславичъ, послѣ выписки изъ Ломоносова, восклицаетъ: «И такъ, вотъ на чемъ хотѣлъ основать свою историческую критику Ломоносовъ. Сравненіе тѣхъ временъ съ нынѣшними, естественное теченіе бытія человѣческаго, то есть естественность и логическая возможность событій, и наконецъ примѣры прошедшаго, послѣ чего и филологія составляетъ уже не безсильное доказательство, но только тогда, когда опирается на свидѣтельствѣ древнихъ, согласна съ истинными основаніями, извлекаемыми изъ разсмотрѣнія временъ уже чисто историческихъ, вполнѣ извѣстныхъ. Какое безмѣрное разстояніе отъ Байера (,) Миллера и самого Шлёцера!» Именно — безмѣрное! Байеръ, Миллеръ и Шлёцеръ могли и ошибаться, но они всегда понимали сами, что̀ говорили, и ихъ всегда можно понимать, даже иногда и не соглашаясь съ ними...

Слѣдить шагъ за шагомъ за мыслями или, лучше сказать, за мечтами Савельева-Ростиславича нѣтъ возможности; это и скучно, и безполезно. Сверхъ того мы вѣдь и взялись не опровергать его (это не стоило бы труда), а только показать и обнаружить нелѣпость славянофильскаго направленія въ наукѣ, — направленія, незаслуживающаго никакого вниманія ни въ ученомъ, ни въ литературномъ отношеніяхъ, но очень любопытнаго... въ психологическомъ отношеніи... И потому будемъ указывать на особенно курьёзныя мѣста въ книгѣ Савельева-Ростиславича.

Вотъ образчикъ ученаго достоинства, литературной вѣжливости и гуманнаго образованія Савельева-Ростиславича: разругавъ Полевого за то, что онъ въ своемъ «Телеграфѣ» расхвалилъ сочиненіе Погодина «О происхожденіи Руси», и сказавъ, что Погодинъ, въ благодарность за это, объявилъ Полевого человѣкомъ неспособнымъ связать въ порядкѣ двухъ идей,—Савельевъ-Ростиславичъ такъ продолжаетъ говорить о Полевомъ: «Смѣтливый журналистъ, ради потѣхи почтеннѣйшей публики, особенно изъ недоучившихся купеческихъ сынковъ, придумалъ особое названіе квасного патріотизма и потчивалъ имъ всѣхъ несогласныхъ съ рейнскими идеями, перенесенными цѣликомъ въ «Исторію Русскаго Народа», и пр. Мы понимаемъ, что названіе квасного патріотизма, по извѣстнымъ причинамъ, должно крѣпко не нравиться Савельеву-Ростиславичу; но тѣмъ не менѣе остроумное названіе это, котораго многіе боятся пуще чумы, придумано не Полевымъ, а княземъ Вяземскимъ,—и, по нашему мнѣнію, изобрѣсти названіе «квасного патріотизма» есть бо̀льшая заслуга, нежели написать нелѣпую, хотя бы и ученую, книгу въ 700 страницъ. Мы помнимъ, что Полевой, тогда еще не писавшій квасныхъ драмъ, комедій и водевилей, очень ловко и удачно умѣлъ пользоваться остроумнымъ выраженіемъ князя Вяземскаго, но совсѣмъ не противъ только противниковъ Шлёцеровскаго ученія о варяго-руссахъ, а противъ всѣхъ тѣхъ непризнанныхъ и самозванныхъ патріотовъ, которые мнимымъ патріотизмомъ прикрываютъ свою ограниченность и свое невѣжество и возстаютъ противъ всякаго успѣха мысли и знанія. Со стороны Полевого это заслуга, которая дѣлаетъ ему честь. Но Полевой принялъ мнѣніе Шлёцера о скап-

динавскомъ происхожденіи,—и ему уже никакъ не оправдаться передъ неумолимымъ къ такому ужасному преступленію Савельевымъ-Ростиславичемъ. По-мнѣнію послѣдняго, «Исторія Русскаго Народа» не могла не быть дурной уже потому, что авторъ ея послѣдовалъ Шлёцеру», и Савельевъ-Ростиславичъ повторяетъ кстати плоскую, пошлую и старую остроту, что Нибуръ умеръ отъ прочтенія посвященной ему «Исторіи Русскаго Народа»,—остроту, которая такъ идетъ къ такой ученой книгѣ, каковъ «Славянскій Сборникъ»... Но вѣдь и Карамзинъ преимущественно держался мнѣнія Шлёцера, хотя и далъ мѣсто въ своей «Исторіи» другому мнѣнію: отчего же Савельевъ-Ростиславичъ находитъ хорошія качества въ «Исторіи Государства Россійскаго».—На это у него есть достаточная причина: на страницахъ CCVIII и CCIX-й мы узнаёмъ отъ него самого, что онъ, Савельевъ, «рѣшился посвятить всѣ свои способности разработкѣ отечественной исторіи въ память единственнаго нашего русскаго исторіографа, Николая Михайловича Карамзина, который прислалъ ему, новорожденному, безсмертный трудъ свой съ надписью: «маленькому тезкѣ, можетъ-быть также будущему историку»... Видите ли, что̀ значитъ подарокъ во̀-время и кстати: и Карамзина «Исторія» сдѣлалась безсмертной, несмотря на Шлёцеровскія идеи, принятыя ею за основаніе, и Савельевъ, маленькій тёзка великаго писателя, сдѣлался также не горикомъ.... О, велико-кутская наивность!...

Отдѣлавъ Полевого, нашъ рыцарь Великаго-Кута принимается за Погодина. И подѣломъ ему, Погодину: зачѣмъ онъ Шлёцеру вѣритъ больше, чѣмъ Венелину, Морошкину и Савельеву! Вотъ какъ онъ отдѣлываетъ его, мимоходомъ не давая спуску и тёзкѣ своему Карамзину, несмотря на подарокъ:

«*Фантастическо-ученое построеніе древней Русской Исторіи наперекоръ Несторовой лѣтописи.* Нѣкогда въ «Московскомъ Вѣстникѣ» Погодинъ писалъ объ «Исторіи Государства Россійскаго»: «Карамзинъ *великъ* какъ художникъ-живописецъ, хотя его картины часто похожи на картины того славнаго итальянца, который *героевъ всѣхъ временъ* одѣвалъ въ платье *своего времени*, хотя въ его Олегахъ и Святославахъ мы видимъ часто Ахиллесовъ и Агамемноновъ Расиновскихъ. Какъ критикъ, Карамзинъ *только что̀ могъ* воспользоваться тѣмъ, что *до него было сдѣлано*, особенно въ древнѣйшей исторіи»: вотъ ужъ, право, излишняя снисходительность! Слѣдовало сказать: Карамзинъ *не умѣлъ* воспользоваться открытіями Байера, что новгородцы суть кабардинцы, а бужане — татарскіе Буджаки, или что Витичевъ на Днѣпрѣ есть Витебскъ (на Двинѣ); *не умѣлъ* воспользоваться и тѣмъ, что̀ сдѣлано для древнѣйшей исторіи Миллеромъ, особенно касательно превращенія царя Додона въ скандинавскаго бога Одина, а Бовы Королевича—въ Бауса Одеповича; *не умѣлъ* воспользоваться и открытіями Струбе, что Перунъ славянскій именно есть скандинавскій Торъ; *не умѣлъ* воспользоваться и гипотезой Шлёцера, что у насъ на югѣ былъ особый азіатскій народъ, Khos, неизвѣстная орда варваровъ, которые показались на западѣ и исчезли; или съ востока, неизвѣстно откуда; названы россами, неизвѣстно почему; прогнаны опять въ свои пустыни не европейскимъ просвѣщеніемъ или храбростью, но случаемъ; только неизвѣстно куда; *не умѣлъ* воспользоваться геніальной мыслью рейнскаго патріотизма о внутреннемъ бытѣ славянъ и значеніи русскаго славянскаго племени, забытаго до IX вѣка Отцовъ человѣчества; *не умѣлъ* воспользоваться удивительно высокой мыслью объ основаніи Русскаго Царства шайкой дерзкихъ разбойниковъ, жестокихъ шведскихъ грабителей, призванныхъ по неосторожности славянами въ ландманы; *не умѣлъ* воспользоваться превосходными соображеніями о томъ, какъ Елена перешла въ католичество потому, что въ Царьградѣ всѣ знакомые померли; наконецъ слѣдовало сказать: Карамзинъ не только не умѣлъ воспользоваться ни одной изъ этихъ *ученыхъ* идей, но даже осмѣлился замѣтить, что Байеръ уважалъ сходство именъ, недостойное замѣчанія, и худо зналъ географію; что Миллеръ повторялъ датскія сказки, и что у Шлёцера народы падаютъ съ неба и скрываются въ землю, какъ мертвецы по сказкамъ суевѣрія... Въ самомъ дѣлѣ, какой же ограниченный человѣкъ былъ Карамзинъ, не постигавшій величія Байера, Миллера и Шлёцера!... Но послушаемъ Михаила Петровича: «Какъ *философъ*, онъ имѣетъ *еще меньше* достоинствъ, и *ни на одинъ философскій вопросъ не отвѣтятъ намъ* изъ его «Исторіи». Апофегмы Карамзина въ «Исторіи» суть большей частью общія мѣста. *Взглядъ* его на *Исторію*, какъ науку, *невѣрный*, и это ясно видно изъ Предисловія.» Въ чемъ̀ состоитъ невѣрность взгляда Карамзина, несправедливость общихъ мѣстъ его «Исторіи», и какіе философскіе вопросы занимали умъ почтеннаго профессора — любители исторіи не узнали, потому что и до нынѣ еще не увидѣла свѣтъ Божій — обѣщанная профессоромъ (1829) книга «Карамзинъ, собраніе статей, относящихся до Исторіи». Вмѣсто ее, Михаилъ Петровичъ началъ упражняться въ стихахъ и прозѣ: отъ профессора исторіи, такъ строго осудившаго славное твореніе исторіографа, всѣ русскіе ждали *доказательствъ;* но вмѣсто разбора Карамзина — въ 1830 году явилась «*Марѳа Посадница Новгородская,* трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, въ стихахъ». Почтенный профессоръ хотѣлъ испытать свои силы въ *историческомъ* родѣ, а именно: когда безсмертная Екатерина ввела при дворѣ русскій языкъ, то за каждое иностранное слово, употребленное въ разговорѣ, опредѣлялось въ видѣ наказанія — выучить 100 стиховъ изъ «Телемахиды»; въ наше время, при славномъ Внукѣ Екатерины Великой, русская народность опять воскресаетъ; но если-бы для введенія въ общество русскаго языка введено было подобное же наказаніе, то гдѣ современная «Телехамида»? Почтенный профессоръ Исторіи чувствовалъ этотъ важный недостатокъ и — удачно восполнилъ его знаменитой «Марѳой Посадницей», написанной такими стихами, какіе уже не показывались со временъ «Телемахиды» Василья Кирилловича. — Въ 1832 году вышли «*Повѣсти Михаила Погодина*» (въ 3 частяхъ), написанныя почтеннымъ авторомъ въ *дидактическомъ* родѣ: ловкій и остроумный профессоръ исторіи хотѣлъ представить *очевидное* доказательство, что у кого нѣтъ ни слога, ни воображенія, ни глубины мысли, тому не должно писать *повѣсти*. Убѣдивъ себя и читателей въ этой великой истинѣ, онъ рѣшился опять испытать свои силы въ

стихахъ à la Trédiakowsky, и съ этой цѣлью написалъ драму «*Петръ Великій*», которая до нынѣ остается ненапечатанной, хотя отрывки и явились было къ русскимъ читателямъ; почтенный профессоръ исторіи убѣдился наконецъ на опытѣ, что пародія на стихи и на шекспировское созданіе изъ жизни безсмертнаго императора была бы только оскорбленіемъ памяти великаго человѣка, и потому, какъ русскій патріотъ, обрекъ свою драму на вѣчное забвеніе. Въ благодарность за это русскіе почитатели Погодина уже терпѣливо стали ждать появленія давно обѣщаннаго историческаго творенія. Въ 1835 году они съ радостью прочли объявленіе, что вышла «*Исторія въ лицахъ о Димитріи Самозванцѣ*, сочиненіе М. Погодина», но почтенный профессоръ исторіи на этотъ разъ вздумалъ пошутить: подъ именемъ «Исторіи въ лицахъ» онъ попотчивалъ своихъ читателей опять драмой, только въ прозѣ. Это сочиненіе, кажется, написано авторомъ съ благой цѣлью — рѣшительно и окончательно убѣдить всѣхъ своихъ друзей и почитателей въ совершенной неспособности писать драму, даже въ прозѣ. Успѣшно достигнувъ этой цѣли, почтенный авторъ принялся *отдѣлывать* исторію, какъ философъ.

«Пока издавался «Московскій Вѣстникъ», М. П. Погодинъ умѣлъ пріобрѣсть себѣ хорошую извѣстность, какъ знатокъ русской и всеобщей исторіи, нѣсколько умными и дѣльными критическими замѣтками на разныя историческія сочиненія; участіе, которое принималъ въ изданіи журнала Юрій Ивановичъ Венелинъ, оказалось въ самыхъ благотворныхъ слѣдствіяхъ относительно развитія мыслительности у Михаила Петровича. Но по мѣрѣ ослабленія этого вліянія скандинавоманія пріобрѣтала бо́льшую и бо́льшую силу надъ почтеннымъ авторомъ «Маѳы» и «Исторіи въ лицахъ», наконецъ возобладала имъ совершенно, и чѣмъ дальше шелъ онъ, тѣмъ глубже погружался въ тинистое болото дикихъ мыслей и странныхъ выраженій.»

Все это или почти это было уже сказано о Погодинѣ въ странной брошюрѣ: «Современные историческіе труды въ Россіи, М. Т. Каченовскаго, М. П. Погодина, Н. Г. Устрялова, и пр.», о которой читатели наши могутъ справиться въ 5-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» нынѣшняго года въ отдѣлѣ Библіографической Хроники. Во всѣхъ этихъ нападкахъ на Погодина есть своя доля правды; но онѣ здѣсь неумѣстны и производятъ на читателя непріятное впечатлѣніе: читатель видитъ, что Погодина бранятъ совсѣмъ не за тѣ факты, которые выставляютъ на видъ, а за то, что онъ раздѣляетъ мнѣніе Шлёцера. Это возмутительно! Можно не соглашаться съ мнѣніемъ другого, можно и даже должно опровергать его, но кому бы то ни было ставить въ преступленіе мнѣніе объ ученомъ предметѣ и преслѣдовать за него ненавистью и ругательствомъ, это ни на что не похоже! Отдѣлавъ à la Atilla (вѣдь Атилла былъ тоже славянинъ?) всѣхъ байеріанъ, миллеріанъ и шлёцеріанъ, Савельевъ раздаетъ вѣнцы мученичества, славы и величія всѣмъ историческимъ критикамъ въ славянофильскомъ духѣ, преимущественно же — Венелину, Морошкину и самому себѣ, Савельеву-Ростиславичу!...

Мы не будемъ входить въ разборъ мнѣній Савельева о Венелинѣ. Скажемъ только, что всѣ странности этого страннаго человѣка Ростиславичъ безусловно принимаетъ за несомнѣнныя истины, и что онъ, столь строгій къ Байеру и Шлёцеру за ихъ филологическія натяжки, въ филологической дыбѣ Венелина видитъ свободные и раціональные филологическіе выводы. Для него ясно, какъ день Божій, что гунны были славяне, а Атилла — Тѣланъ, что франки были тоже славяне, и т. п. Всему этому онъ такъ радъ, всѣмъ этимъ онъ такъ гордъ, какъ-будто бы и въ самомъ дѣлѣ для насъ, русскихъ XIX вѣка, большая радость—кровное родство съ варварами-гуннами и ихъ Тамерланомъ-Атиллой, грозившимъ гибелью будущей европейской цивилизаціи!... Что̀ касается до насъ, мы охотно признаемъ въ Венелинѣ, какъ въ ученомъ, хорошія стороны. Это былъ одинъ изъ тѣхъ умовъ замѣчательныхъ, но парадоксальныхъ, которые вѣчно обманываются въ главномъ положеніи своей доктрины, но открываютъ иногда истины побочныя, которыхъ касаются мимоходомъ. Страстный къ своему предмету, владѣвшій огромной, хотя и спеціальной, ученостью, изступленный славянинъ, Венелинъ, доказывая нелѣпость—славянизмъ большей части народовъ, игравшихъ роль въ Европѣ среднихъ вѣковъ до крестовыхъ походовъ, въ то же время обогатилъ свои сочиненія интересными побочными сближеніями и выводами, можетъ-быть дѣйствительно поубавилъ число народовъ, доказавъ, что одинъ и тотъ же народъ принимался за нѣсколькихъ, потому что былъ извѣстенъ подъ разными именами и т. п. Нѣмцы не будутъ благодарны Венелину за ославяненіе нѣмцевъ; но въ томъ, что касается собственно славянъ, указанія Венелина могли бы имѣть свою цѣну и въ глазахъ нѣмцевъ, незнающихъ славянскихъ нарѣчій, еслибъ только истинно-ученая и безпристрастная рука отдѣлила въ сочиненіяхъ Венелина плевелы отъ зеренъ. Усердіе Венелина къ успѣхамъ просвѣщенія болгаръ, доказанное не одними словами, но и дѣломъ, любовь и признательность, которыя успѣлъ онъ возбудить въ нихъ къ себѣ, даютъ о немъ хорошее понятіе, можетъ-быть еще болѣе какъ о человѣкѣ, нежели какъ объ ученомъ. Suum cuique! Но смотрѣть на Венелина, какъ на славянскаго Нибура, какъ на великаго ученаго, который оказалъ человѣчеству услугу не меньше услуги напримѣръ Коперника, видѣть въ ультра-славянизмѣ что-нибудь другое, кромѣ болѣзненной односто-

ронности, вѣрить ему на-слово, что гунны и франки—славяне, а Аттила—Тѣланъ, и т. п.,—все это, воля ваша, не больше, какъ только смѣшно и жалко! Есть же наконецъ вещи, о которыхъ нельзя говорить серьезно, не рискуя сдѣлаться посмѣшищемъ въ глазахъ людей съ здравымъ смысломъ.

Что̀ касается до Морошкина, нельзя не отдать ему справедливости, какъ профессору, который любитъ свой предметъ, говоритъ о немъ съ знаніемъ дѣла, съ жаромъ и увлекательностью убѣжденія. Но вѣдь онъ читаетъ исторію русскаго права, а не русскую исторію,—и мы, право, не знаемъ, какимъ образомъ увлекся онъ пустымъ и безплоднымъ вопросомъ о происхожденіи Руси. По крайней мѣрѣ онъ рѣшаетъ его столько же забавно, какъ и утвердительно. По его мнѣнію, слово Русь происходитъ отъ рощи, прута, розги или лозы (Roscia Pruthenia Ruthe, Rosgi), другими словами, Россія значитъ древлянская или лѣсная роща, лѣсъ. Тутъ играетъ роль даже жезлъ, сирѣчь палка, трость (по-малороссійски кій), и т. д. Все это филологическое производство утверждено на глаголѣ расти. Скиѳъ, (чужакъ, по Венелину), по мнѣнію Морошкина, значитъ лѣсной житель, Урманъ (отсюда норманъ), напоминающій Аримана, значитъ лѣсъ; Будинъ значитъ то же, что̀ скиѳъ (лѣсной житель); аланъ значитъ съ лѣсомъ равный; роксоланы значитъ то же, что̀ аланы, а благороднѣйшая отрасль роксоланъ суть рязанцы, а всѣ эти имена значатъ то же, что̀ россы... Далѣе Морошкинъ находитъ поволожскую или туркестанскую Россію. «Я вѣрю,—говоритъ онъ:—арабскимъ географамъ и не боюсь, когда они меня, истаго славянина и русса, назовутъ туркомъ: я точно турокъ, ибо я руссъ; турокъ есть такъ же руссъ, какъ и я: ибо онъ славянинъ». Довольно! Охотниковъ до курьёзныхъ вещей отсылаемъ къ книгѣ Морошкина: «О значеніи имени руссовъ и славянъ», а если они испугаются цѣлой книги, то къ рецензіи объ этой книгѣ въ 63 нумерѣ «Литературной газеты» 1841 года. Очевидно, Морошкинъ пошелъ гораздо далѣе самого Венелина; и если нельзя сказать, чтобъ, подобно Венелину, онъ мимоходомъ и стороной сдѣлалъ что-нибудь для знанія,—зато нельзя сказать, чтобъ онъ не довелъ до послѣдней крайности его странностей. Но тѣмъ выше заслуга Морошкина въ глазахъ Савельева-Ростиславича, который иногда позволяетъ себѣ не во всемъ соглашаться съ Венелинымъ, но Морошкина во всемъ находитъ непогрѣшительнымъ, какъ турки (они же славяне) своего пророка. Вотъ истинная-то стачка геніевъ!...

Но нельзя безъ слезъ умиленія читать полное и подробное изложеніе собственныхъ ученыхъ подвиговъ, которому Савельевъ-Ростиславичъ посвятилъ цѣлыхъ двадцать страницъ. Боже мой, какая скромность, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое глубокое, какое твердое сознаніе своихъ заслугъ, своего достоинства! Кто возьметъ терпѣніе прочесть эти двадцать страницъ, тотъ вполнѣ пойметъ, какимъ образомъ Бюфонъ имѣлъ смѣлость говорить, не краснѣя: «Геніевъ три: Лейбницъ, Ньютонъ и я!». Хотя Савельевъ-Ростиславичъ и не выговариваетъ прямо, что на Руси не было геніевъ выше трехъ—Венелина, Морошкина и въ особенности его, Савельева-Ростиславича, — однако это само собою выходитъ изъ сущности всей его толстой книги, которая, кажется, для того больше и была написана. Савельевъ-Ростиславичъ помѣстилъ въ ней свою автобіографію, и началъ ее съ самаго нѣжнаго своего дѣтства,—мало!—просто съ самаго дня своего рожденія, когда великій тёзка его, Карамзинъ, прислалъ свою «Исторію» родителю новорожденнаго,—что̀ и рѣшило послѣдняго посвятить себя обработанію (обрабатыванію?) русской исторіи, «отсюда (прибавляетъ скромный автобіографъ) объясняется критическое направленіе первыхъ трудовъ автора этой книги». Увѣдомленіе, драгоцѣнное для потомства, которое поэгому избавлено отъ труда разыскивать, писать диссертаціи, толстыя книги, спорить, браниться, стараясь рѣшить великій вопросъ: чѣмъ объяснить критическое направленіе первыхъ трудовъ Савельева-Ростиславича!... Отъ дня своего рожденія Савельевъ-Ростиславичъ ведетъ насъ съ собой уже прямо въ университетъ: жаль! черезъ это лишились мы драгоцѣнныхъ фактовъ о его младенчествѣ и отрочествѣ... Съ удивительной снисходительностью и добротой, столь свойственными генію, знакомитъ насъ Савельевъ-Ростиславичъ съ подробностями своего университетскаго курса: какихъ профессоровъ онъ особенно уважалъ и съ особеннымъ вниманіемъ слушалъ, и кто именно изъ нихъ особенно способствовалъ развитію въ немъ, Савельевѣ-Ростиславичѣ, мыслительности, плодомъ которой былъ его «Славянскій Сборникъ». Затѣмъ переходитъ онъ къ разбору своихъ сочиненій, и хотя многія ихъ нихъ, за давностью и за негодностью, давно уже забыты, тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ терпѣніе приводить и опровергать всѣ сужденія о нихъ журналовъ... До чего не доводитъ людей сочинительское самолюбіе!.. Мимоходомъ сыплются у него брани и ругательства на Полевого, Устрялова, Погодина и другихъ шлёцеріанъ, которые, не боясь Бога и со-

вѣсти, не радѣя о чести и славѣ отечества, преступно и злоумышленно унижаютъ Россію, выводя варяго-руссовъ изъ Скандинавіи... Велико ихъ преступленіе—нельзя не согласиться, но зато и казнитъ же ихъ нашъ великокутскій инквизиторъ!... Правду говорятъ моралисты, что добродѣтель всегда торжествуетъ, а порокъ наказывается,—да, всегда и вездѣ, но особенно въ «Славянскомъ Сборникѣ» Савельева-Ростиславича... Полевой, Устряловъ и Погодинъ — живыя доказательства, что преступленіе не остается безъ кары; зато Савельевъ-Ростиславичъ—живое доказательство, что добродѣтель вознаграждается. Обѣ эти истины онъ развилъ съ удивительной тщательностью, особенно послѣднюю: какой-то Игнатовичъ отозвался о его «Исторіи сѣверо-восточной Европы и миніаго переселенія народовъ», что «немного найдется произведеній ума положительнаго не только въ русской, но и въ европейской литературѣ, соединяющихъ въ себѣ такую бездну учености съ живымъ, почти изящнымъ и вмѣстѣ строго-отчетливымъ изложеніемъ», и что «теорія объ азіатскомъ и нѣмецкомъ происхожденіи всѣхъ безъ изъятія воинственныхъ дружинъ, разрушившихъ Западную Римскую Исторію (имперію?), такъ сильно потрясена розысканіями Н. В. Савельева, что еще одинъ толчокъ — и она рушится безвозвратно». Но справедливо говорится, что нѣтъ розы безъ шиповъ, т. е. что и добродѣтель иногда страдаетъ: тутъ же приложено мнѣніе и Полевого объ этомъ геніальномъ сочиненіи ученаго Савельева-Ростиславича,—мнѣніе, которое обвиняетъ послѣдняго, что онъ «хвалилъ бредни Венелина, разглагольствія Шаффарика, возгласы другихъ славянофиловъ, передѣлывалъ Всеобщую Исторію и спорилъ объ Атиллѣ». — вслѣдъ затѣмъ Полевой воскликнулъ: «Какъ не жаль ему (Савельеву) тратить время, трудъ и дарованіе на такой вздоръ!». Но Савельевъ-Ростиславичъ, какъ истинный геній, не струсилъ этого приговора, съ которымъ согласны всѣ здравомыслящіе люди, и подарилъ его гордымъ презрѣніемъ, которое выразилъ курсивомъ, восклицательными и вопросительными знаками въ скобкахъ. Да и странно было бы огорчиться Савельеву-Ростиславичу приговоромъ Полевого, когда черезъ страницу,—онъ могъ привести мнѣніе одного знатока исторіи о своей статьѣ «Паденіе Пскова», что это—«живой отголосокъ простодушныхъ лѣтописцевъ нашихъ, въ изящной формѣ нашего времени,—произведеніе, которое принесло бы честь самому Тьерри, еслибъ онъ писалъ по-русски». Савельевъ-Ростиславичъ почему-то не почелъ за нужное сказать, кто этотъ знатокъ исторіи, который произвелъ его въ русскаго Тьерри; но изъ выноски видно, что слова эти были напечатаны въ «Маякѣ»: Sic transit gloria mundi!... Но ничего! Савельевъ-Ростиславичъ—человѣкъ не брезгливый на похвалы, изъ какой бы ямы ни шли онѣ къ нему... За нихъ онъ сейчасъ же готовъ произвести въ «знатоки исторіи» даже человѣка, который совершенно невиненъ въ знаніи исторіи, и которому совершенно безполезно знаніе и того, что онъ дѣйствительно знаетъ...

Одной только похвалы себѣ не рѣшился повторить скромный Савельевъ-Ростиславичъ: это гимнъ, который накропалъ въ честь его, Венелина, Атиллы и Морошкина какой-то московскій виршеплетъ и который начинается такъ:

Напрасно все: вашъ понять трудъ
И оцѣненъ *великій геній!*
Всѣ толки мелочныхъ сужденій
Ужъ никогда не потрясутъ
Глубокихъ вашихъ *умозрѣній!*

а оканчивается такъ:

Хвала тебѣ, Венелинъ славный!
Ура! Морошкинъ-славянинъ!
Савельевъ, Руси православной
Неутомимый, вѣрный сынъ!
Нѣтъ, ваша слава не затмится,
Вашъ трудъ великій не умретъ;
И правда всюду водворится
И плодъ обильный принесетъ!

Вотъ мы какъ! Ай-да наши! молодцы!... Но, Боже мой, что̀ съ нами! Кажется, и мы впадаемъ въ маяковскій тонъ... Вотъ что̀ значитъ чтеніе славянофильскихъ книгъ...

«Библіотека для Чтенія» когда-то, по случаю спора между Погодинымъ и Скромненко (Строевымъ), совѣтовала новой исторической школѣ сразиться на смерть съ Шлёцеровской школой, чтобъ окончательно порѣшить, которая изъ нихъ права. «Но для этого труднаго, важнаго, великаго предпріятія (сказано тамъ же) юная историческая школа, кажется, еще слишкомъ юна. Желаемъ ей расти не по днямъ, а по часамъ: ея будущность занимаетъ всѣхъ любителей отечественной исторіи». Савельевъ отвѣчаетъ на это: «Прошло десять лѣтъ, и вотъ юная историческая школа представляетъ шлёцеріанамъ уже не брошюрку, не статью, а цѣлый томъ въ семьсотъ страницъ (,) съ 1,500 примѣчаній—основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть». Какъ вамъ это покажется? А это не выдумано нами: это напечатано на CCXXVII страницѣ «Славянскаго Сборника» и списано здѣсь съ возможной точностью!

Но, во-первыхъ, съ чего взялъ Савельевъ-Ростиславичъ, что слова «Библіотеки для Чтенія» относятся къ нему? Тутъ явно го-

ворится объ исторической школѣ, основанной Каченовскимъ, человѣкомъ умнымъ, ученымъ, здравомыслящимъ, осторожнымъ и ужъ совсѣмъ не славянофиломъ. Развѣ ученикъ его, Сергѣй Строевъ, говорилъ когда-нибудь похожее на то, что̀ утверждаетъ Ростиславичъ, ученикъ и вмѣстѣ соперникъ Венелина и Морошкина?... Томъ въ семьсотъ страницъ—великая важность! Сочтите-ка число страницъ въ томахъ Тредьяковскаго—и ваша книга въ семьсотъ страницъ исчезнетъ въ нихъ какъ ручеекъ въ морѣ. Съ 1,500 примѣчаній, изъ которыхъ, слѣдовало бы прибавить, большая часть состоитъ или изъ площадной брани на шлёцеріанъ, или изъ указаній на страницы «Русскаго Вѣстника», «Сына Отечества», «Маяка», «Москвитянина» и другихъ журналовъ!... «Основной вопросъ рѣшенъ на жизнь и смерть»— верхъ хвастливаго самовосхваленія! Нѣтъ, г. Савельевъ-Ростиславичъ, вы слишкомъ скоры: подождите, пока противники ваши сознаются побѣжденными и примутъ ваше мнѣніе. Такъ побѣждать, какъ побѣждаете вы, очень легко и очень смѣшно: вѣдь китайскій богдыханъ считаетъ себя царемъ царей и, платя за англійскіе товары китайскими товарами и китайскимъ золотомъ, говоритъ же въ своихъ манифестахъ, что рыжіе варвары приносятъ ему съ Запада дань, въ изъявленіе ихъ покорности владыкѣ Небесной Имперіи... Берегитесь, господа, обольщеній своего кружка: въ немъ какъ разъ увѣрятъ васъ, что вы геній и что вы побѣдили всѣхъ вашихъ противниковъ, которые даже и не думали съ вами бороться, а просто или смѣялись надъ вами, или не обращали на ваше ратованіе никакого вниманія. Кружокъ — вещь опасная: онъ можетъ довести человѣка до жалкаго донъ-кихотства. Кружокъ и свѣтъ—двѣ вещи разныя; первый признаётъ за достовѣрное, доказанное и несомнѣнное то, надъ чѣмъ часто смѣется второй, какъ надъ нелѣпостью. Живите въ кружкѣ, который вамъ нравится; — но заглядывайте и въ свѣтъ, прислушивайтесь и къ его сужденіямъ, чтобъ не впасть сперва въ односторонность и исключительность, а потомъ и просто въ нелѣпость. Исключительное и безвыходное пребываніе въ себѣ или въ пріятельскомъ кружкѣ, или въ приходѣ своего журнала — гибельно для человѣка. Ограниченіе себя однимъ и тѣмъ же, отчужденіе отъ всего, что не мы и не наше, гибельно не только для частныхъ лицъ, но и для народовъ: вспомните Китай и Японію!

Мы не отнимаемъ у Савельева того, что̀ принадлежитъ ему по праву: начитанности, эрудиціи, трудолюбія, знанія, даже дарованія въ извѣстной степени; онъ владѣетъ языкомъ, и еслибъ захотѣлъ держаться болѣе приличнаго и спокойнаго тона, писалъ бы, если не изящно, то литературно. Не будучи не только Тьерри, но и десятой долей Тьерри, Савельевъ могъ бы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ въ сферѣ нашей исторической литературы и нашей исторической критики. Статьи Савельева: «Дмитрій Іоанновичъ Донской первоначальникъ русской славы»; «Паденіе Пскова»; «Царь Василій Шуйскій»; «Критика на русскую Исторію г. Устрялова» (въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», 1837); «О необходимости критическаго изданія Исторіи Карамзина»,—всѣ эти статьи не безъ достоинствъ, хотя и не безъ недостатковъ, словомъ—сочиненія хорошія, полезныя, хотя и не великія, не геніальныя. И вообще не мѣшало бы Савельеву не дѣлать самому себѣ приговоровъ, но ожидать ихъ отъ другихъ, и если онъ не пугается осужденія, то не слѣдовало бы ему на-слово вѣрить похваламъ и повторять ихъ въ своей книгѣ, какъ великія истины, говоря о себѣ, какъ Богъ знаетъ о комъ, и величая себя то юнымъ критикомъ, то авторомъ Донского...

Только вышедшее изъ всякихъ границъ ослѣпленіе мелкаго самолюбія могло заставить Савельева повторить отзывы Полевого о его двухъ статьяхъ, какъ такіе отзывы, которые сто̀итъ только повторить, чтобъ показать всю ихъ неосновательность и нелѣпость. А между тѣмъ эти отзывы очень основательны и, главное, совершенно безпристрастны. Вотъ слова Полевого: «Мы готовы отдать справедливость труду, еслибъ и видѣли въ немъ что-нибудь противъ насъ самихъ и противъ трудовъ нашихъ *). Вотъ напримѣръ мы съ удовольствіемъ упомянемъ о небольшой полемической брошюркѣ Савельева: «Димитрій Іоанновичъ Донской». Онъ не соглашается съ нами, даже бранитъ насъ, но въ изысканіяхъ своихъ показываетъ тщательность, усердіе, начитанность — мы въ сторонѣ, а труду автора почетъ, еслибъ намъ вздумалось даже и поспорить съ нимъ». О статьѣ Савельева «О необходимости критическаго изданія Исторіи Карамзина» Полевой отозвался такъ: «Это розысканіе—статья дѣльная, и мы порадовались, что, бросая свои прежніе вздорные толки объ исторіи, г. Савельевъ принимается за дѣльныя занятія».

*) Здѣсь Савельевъ дѣлаетъ въ скобкахъ замѣчаніе, пересыпанное всѣмъ аттицизмомъ велико-кутской соли: «Все несчастное, эгоистическое Я, а гдѣ же истина-то? объ ней-то, *бѣдняжкѣ*, и помину совсѣмъ нѣтъ!»

Первый отзывъ Полевого долженъ быть для Савельева лестнѣе всякаго другого мнѣнія, потому что въ брошюрѣ о Донскомъ онъ опровергаетъ, не всегда вѣжливо и въ тонѣ приличія, мнѣнія Полевого; но Савельеву, видно, не суждено знать ни того, что̀ ему дѣлаетъ истинную честь, ни того, чѣмъ бы онъ могъ заняться съ пользой для себя и для науки, и на что̀ бы онъ могъ не безполезно употребить свои способности и свое трудолюбіе: онъ больше вѣритъ возгласамъ и увѣреніямъ мнимыхъ друзей своихъ, для разсчетливости которыхъ очень полезно производить его въ Тьерри и величать геніемъ въ нелѣпыхъ и плохихъ стишонкахъ.

Не слѣдовало бы также Савельеву браться не за свое дѣло и толковать о вопросахъ всеобщей исторіи, которой онъ—извините нашу откровенность—вовсе не понимаетъ, что̀ и доказалъ онъ огромными статьями. Равнымъ образомъ хорошо бы онъ сдѣлалъ, еслибъ, для пользы русской исторіи и еще больше для своей собственной, оставилъ въ покоѣ славянъ, болгаръ, гунновъ, франковъ, варяго-руссовъ, Великій-Кутъ, Байера, Миллера и Шлёцера и обратилъ свою дѣятельность исключительно на тѣ вопросы русской исторіи, которые доступны критикѣ и розысканіямъ и которые такъ давно и такъ тщетно дожидаются дѣятелей. Поле великое и едва-едва тронутое,—сколько пищи для дѣятельности, сколько пользы для труда, сколько славы для успѣха! Но еще болѣе слѣдовало бы Савельеву постараться посвятить себя наукѣ настоящимъ образомъ, сдѣлаться ученымъ въ истинномъ значеніи этого слова, т. е. научиться находить въ наукѣ одинъ интересъ — объективную истину предмета, не примѣшивая къ нему никакихъ посторонихъ интересовъ, ни мѣстныхъ, ни космополитическихъ, ни славянскихъ, ни тевтонскихъ, ни русскихъ, ни нѣмецкихъ. Внѣ объективной истины предмета нѣтъ науки, нѣтъ учености, нѣтъ ученыхъ, а есть только ученыя мечты, фантазіи, мечтатели и фантазёры. Ученый долженъ быть рыцаремъ истины, а не сектантомъ, не гернгутеромъ, не раскольникомъ. Фанатизмъ и мистицизмъ—враги науки, потому что они—тьма, а наука—свѣтъ. Языкъ науки можетъ принимать полемическій тонъ, но наука не должна ругаться, соблюдая свое достоинство. Въ ученыхъ сочиненіяхъ и остроуміе —не лишняя вещь, но вѣдь не всякому дана способность быть остроумнымъ, и Савельевъ, надо сказать правду, остритъ тяжело, неловко, едва ли еще не хуже, чѣмъ острилъ покойный Венелинъ, варяжскому остроумію котораго такъ удивляется сочинитель «Славянскаго Сборника». Но больше всего надо беречься въ наукѣ мистицизма, потому что онъ доводитъ до величайшихъ нелѣпостей, что̀ и сбылось такъ жалко и смѣшно надъ Савельевымъ, который до того дошелъ, что, на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, вѣритъ, будто Ахиллъ (герой «Иліады») былъ не эллинъ, а скиѳъ, слѣдственно славянинъ!... Боже мой! Ахиллъ, героическій представитель эллинскаго духа, герой величайшей національной поэмы величайшаго національнаго поэта Эллады, лицо баснословное, обликъ чисто миѳическій,—скиѳъ, славянинъ, и это на основаніи свидѣтельства Льва Діакона, который жилъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ Ахилла!... О, нелѣпость нелѣпостей! Мистицизмъ, внесенный въ науку, заставляетъ признавать бывшимъ и сущимъ то, чего не было и нѣтъ; бѣлое представляетъ чернымъ, черное—бѣлымъ; полярную зиму превращаетъ въ африканское лѣто; въ экваторіальныхъ странахъ находитъ мертвыя замерзшія тундры, а подъ полюсами видитъ роскошную природу Индіи; помноживъ два на два, получаетъ въ произведеніи пять и семь-восьмыхъ... Мы не шутимъ: за примѣрами ходить не далеко, и книга Савельева въ этомъ отношеніи истинный кладъ. Она утверждаетъ, что славяне оказали великую услугу человѣчеству, боровшись съ Римомъ и избавивъ Европу отъ оковъ римскаго деспотизма!... Во-первыхъ, только для Савельева рѣшенное дѣло, что варвары, разрушившіе Западную Римскую имперію, были славяне, а не тевтоны; во-вторыхъ, кто бы они ни были, за эту услугу мы не намѣрены имъ кланяться, потому что они и не думали освобождать Европу отъ римскаго деспотизма, а просто грабили, рѣзали, жгли, брали въ плѣнъ, убивали и злодѣйствовали изъ корысти, для себя самихъ, вовсе не думая о будущности разоряемыхъ ими земель. Потомъ Савельевъ приписываетъ славянамъ честь обновленія Запада свѣжей, нерастлѣнной жизнію: это просто-на-просто значитъ, что нѣмцы — славяне, и что нѣмцевъ въ Европѣ никогда и не бывало,—все это были славяне!... Но что̀ всѣ эти странности въ сравненіи съ словами Морошкина, которыми Савельевъ заключаетъ свою статью! Слушайте: «Племя славянское живетъ будущностью, надеждой, что вновь возстанетъ великій царь Волги (??!!...) и воззоветъ ихъ къ единому великому знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ нѣдрахъ семейственнаго христіанскаго быта, который, кажется, предоставлено развить славянскимъ народамъ. Царство мира и любви имѣетъ семейственную форму, данную отъ природы и духа, а не изы-

сканную, не созданную переходящими вѣками исторіи» (стало быть, переходящіе вѣка исторіи — не отъ природы и духа, а такъ себѣ, ни отъ чего?). «Когда настанетъ судъ исторіи, тевтонскій міръ дастъ славянамъ все, что̀ взято (что̀ именно взято и кѣмъ—желательно бы знать? Но, кажется, этого и самъ прорицатель не вѣдаетъ...) у нихъ. Не своими козарскими саблями славянскій міръ грозитъ тевтонамъ, а славянской цивилизаціей, первородными формами человѣческаго быта (да помилуйте! Калмыки давно уже обрѣтаются и еще въ болѣе чистыхъ, нежели славяне, первородныхъ формахъ), грозитъ ему преемничествомъ (хорошо, еслибъ и причастностью его жизни!), званіемъ наслѣдника во всемірной исторіи». Вы удивляетесь, читатель; но то ли еще пишутъ и печатаютъ господа-славянофилы! Вотъ напримѣръ одинъ изъ нихъ недавно напечаталъ въ журналѣ слѣдующія неслыханныя новости, а именно, что «у насъ не было ненависти и гордости», которыя были въ исторіи Запада, и что наша «родимая почва была упитана не кровью—кровью упитана западная земля,—но слезами нашихъ предковъ, перетерпѣвшихъ и варяговъ, и татаръ, и Литву, и жестокости Іоанна Грознаго (человѣка безкровнаго!), и нашествіе двадесяти языковъ, и навожденіе легіона духовъ». Послѣдняя фраза — верхъ мистической безсмыслицы, непонятна; но остальное въ этихъ словахъ все понятно; дѣло, изволите видѣть, въ томъ, что битва при Калкѣ, битва донская, нашествіе Литвы, наконецъ вторженіе въ Россію полчищъ сына судьбы не стоили намъ ни капли крови, и мы отдѣлались отъ нихъ однѣми слезами; мы не дрались, а только плакали!!...

Не будемъ разбирать другихъ статей «Славянскаго Сборника» — онѣ не сто̀ятъ этого труда; ихъ можно читать для забавы, для потѣхи; но серьезно разсуждать о нихъ было бы и безполезно, и смѣшно. Говоря о первой статьѣ Савельева, мы имѣли въ виду не «Славянскій Сборникъ», не сочиненіе Савельева, а славянофильскую доктрину, которой Савельевъ является такимъ горячимъ и наивнымъ представителемъ. Его «Славянскій Сборникъ», въ 700 страницъ, съ 1.500 примѣчаній, только въ этомъ отношеніи и замѣчателенъ; во всѣхъ же другихъ отношеніяхъ эта книга пустая, ничтожная. Въ заключеніе, совѣтуемъ Савельеву воспользоваться, не на словахъ, а на дѣлѣ, полезнымъ совѣтомъ, заключающимся въ китайскомъ выраженіи изъ Сан-цзы-цзына, которымъ онъ достойно заключилъ свою статью:

«Кто читаетъ исторію, долженъ изслѣдовать бытописанія; проникнетъ (проникнуть?) древнее и настоящее какъ-бы собственными очами. Устами читай, мыслью вникай».

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.

Изданіе книгопродавца А. Смирдина. Томъ третій. — Бенедиктовъ. Бѣгичевъ. Гречъ. Марковъ. Михайловскій-Данилевскій. Мятлевъ. Ободовскій. Скобелевъ. Ушаковъ. Хмельницкій. — Спб. 1845.

За шесть лѣтъ передъ тѣмъ вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Таинственные слухи заранѣе предупредили читающій міръ о появленіи этого изданія. Въ Россіи все идетъ скоро, и потому не удивительно, что въ 1839 году великолѣпныя изданія могли казаться чудомъ. Въ самомъ дѣлѣ, огромный, изящно изданный сборникъ статей лучшихъ русскихъ писателей,—при каждой статьѣ гравированный на стали, въ Лондонѣ, портретъ автора, и гравированная на стали же картинка къ каждой статьѣ: да это что-то прекрасное по мысли, великолѣпное по изданію! Имя издателя, книгопродавца Смирдина, давно уже пріобрѣло на Руси общую извѣстность и общую довѣренность. Въ глазахъ русской публики Смирдинъ давно уже не принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ торгашей книгами, для которыхъ книги — такой же товаръ, какъ и сѣно, сало или деготь, только можетъ-быть менѣе наживной и выгодный, и которые могутъ знать толкъ и въ сѣнѣ, и въ салѣ, и въ дегтѣ, но не въ книгахъ. Нѣтъ, русская публика видѣла въ Смирдинѣ книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца съ благороднымъ самолюбіемъ, для котораго не столько было важно нажиться черезъ книги, сколько слить свое имя съ русской литературой, внести его въ ея лѣтописи. И русская публика не ошиблась въ этомъ случаѣ: Смирдинъ точно былъ достоинъ ея высокаго о немъ мнѣнія. Онъ хотѣлъ торговать, слѣдовательно хотѣлъ барышей, хотѣлъ наживать, —однакожъ наживать не только честно, но еще и почетно, со славой. Для этого онъ поставилъ себѣ за правило издавать только хорошія сочиненія и давать ходъ только хорошимъ сочиненіямъ. Правда, онъ могъ

издать и дурную книгу, но не намѣренно, а по ошибкѣ своего вкуса или по ошибочному совѣту тѣхъ, чьему вкусу довѣрялъ онъ. Но какихъ бы барышей ни обѣщало ему сочиненіе, въ ничтожности котораго онъ былъ убѣжденъ,—никогда не рѣшился бы онъ издать его на свой счетъ. Ему всегда легче было рѣшаться на изданіе хорошаго сочиненія, которое требовало большихъ издержекъ и, вмѣсто барышей, обѣщало убытокъ, нежели рѣшиться на изданіе дурной книги, обѣщающей вѣрную прибыль. Въ этомъ было его самолюбіе, его честолюбіе, его гордость, его страсть—тѣмъ болѣе удивительныя, тѣмъ болѣе безкорыстныя, что онъ самъ, по своему образованію, воспитанію, привычкамъ, понятіямъ, образу жизни, не могъ ни цѣнить, ни наслаждаться содержаніемъ и достоинствомъ тѣхъ сочиненій, которыхъ былъ издателемъ и которыми доставлялъ наслажденіе всему читающему русскому міру. Вслѣдствіе этого онъ долженъ былъ руководствоваться совѣтами и указаніями тѣхъ книжныхъ людей, которые и читаютъ, и сами пишутъ книги. Надо согласиться, что положеніе Смирдина было въ этомъ отношеніи очень затруднительно, потому что онъ не обладалъ никакимъ прочнымъ основаніемъ, которое могло бы руководить его въ выборѣ совѣтниковъ. Это непріятное обстоятельство было впослѣдствіи причиной всѣхъ его неудачъ и разрушенія его надеждъ — быть долго полезнымъ русской литературѣ. А между тѣмъ онъ все-таки сдѣлалъ для русской литературы такъ много, что упрочилъ своему имени почетную страницу въ ея исторіи. Итакъ, не будемъ обвинять его за то, что онъ могъ бы еще сдѣлать и чего однакожъ не сдѣлалъ: но отдадимъ ему должную справедливость за то, что имъ сдѣлано.

А онъ, повторяемъ, много сдѣлалъ: онъ произвелъ рѣшительный переворотъ въ русской книжней торговлѣ и вслѣдствіе этого въ русской литературѣ. Онъ издалъ сочиненія Державина, Батюшкова, Жуковскаго, Карамзина, Крылова—такъ, какъ они, въ типографскомъ отношеніи, никогда прежде того не были изданы, т. е. опрятно, даже красиво, и — что всего важнѣе—пустилъ ихъ въ продажу по цѣнѣ, доступной и для небогатыхъ людей. Въ послѣднемъ отношеніи заслуга Смирдина особенно велика: до него книги продавались страшно дорого и поэтому были доступны большей частью только тѣмъ людямъ, которые всего менѣе читаютъ и покупаютъ книги. Благодаря Смирдину, пріобрѣтеніе книгъ болѣе или менѣе сдѣлалось доступнымъ и тому классу людей, которые наиболѣе читаютъ и слѣдовательно наиболѣе нуждаются въ книгахъ. Повторяемъ: это главная заслуга Смирдина передъ русской литературой и русской образованностью. Чѣмъ дешевле книги, тѣмъ больше ихъ читаютъ, а чѣмъ больше въ обществѣ читателей, тѣмъ общество образованнѣе. Въ этомъ отношеніи дѣятельность книгопродавца, опирающаяся на капиталѣ, благородна, прекрасна и богата самыми благотворными слѣдствіями. Такова была дѣятельность Смирдина: она безукоризненна въ томъ отношеніи, которое зависѣло отъ его воли, отъ его честнаго самолюбія, его благородной страсти. Но въ томъ, что зависѣло отъ вкуса, образованности и знанія, и въ чемъ Смирдинъ, какъ мы уже сказали, самъ зависѣлъ не отъ самого себя, а отъ совѣтовъ и внушеній тѣхъ литераторовъ, на сужденіе которыхъ онъ долженъ былъ безусловно полагаться,—въ этомъ отношеніи его изданія имѣли большіе недостатки. Редакція его изданій всегда была далеко ниже ихъ типографскаго выполненія, зависѣвшаго только отъ издателя. Такъ напримѣръ, сочиненія Державина изданы не въ хронологическомъ порядкѣ, по времени ихъ появленія изъ-подъ пера поэта, а на основаніи ложнаго раздѣленія по родамъ, которымъ всегда руководствовалась, при изданіи сочиненій каждаго автора, старая, такъ называемая классическая школа. «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, благодаря Смирдину, стоила только тридцать рублей ассигнаціями, вмѣсто прежнихъ полутораста и больше рублей, слѣдовательно въ пять разъ дешевле. Вышла она въ двѣнадцати небольшихъ книжкахъ въ 12-ю долю листа, напечатанныхъ однакожъ не слишкомъ мелкимъ и очень четкимъ шрифтомъ. Чего бы, кажется, лучше И дѣйствительно, на сторонѣ книгопродавца тутъ одна только заслуга, и заслуга великая! Но образованные, просвѣщенные, ученые и даровитые писатели, принимавшіе участіе въ редакціи «Исторіи» Карамзина, дали ему благой и мудрый совѣтъ — частью посократить, частью повыбросить примѣчанія!... Зачѣмъ это было сдѣлано? Затѣмъ, чтобъ книжка была тоньше, изданіе обошлось дешевле, и его можно было бы пустить въ продажу дешевле. Очень хорошо! Но въ такомъ случаѣ всего бы лучше было напечатать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній. Тогда она годилась бы по крайней мѣрѣ для тѣхъ людей, которые читаютъ исторію какъ романъ, какъ повѣсть, какъ сказку, и для которыхъ скучно заглядывать въ примѣчанія, состоящія часто изъ интереснѣйшихъ и любопытнѣйшихъ выписокъ изъ лѣтописей и современныхъ записокъ, чтобъ повѣрять имъ и событія, и автора исторіи.

Но редакторы или совѣтчики, желая угодить всѣмъ, не угодили никому. Тѣмъ, кто не любитъ примѣчаній, они все-таки навязали же примѣчанія, хотя и не полныя, которыя только безъ нужды увеличили книгу и ея цѣну; тѣхъ же, для которыхъ примѣчанія важны не меньше самаго текста, они снабдили искаженными примѣчаніями, которыя поэтому не имѣли уже никакой цѣны. И если для первыхъ лучше было бы издать «Исторію» Карамзина совсѣмъ безъ примѣчаній, то естественно, что для послѣднихъ слѣдовало бы ее издать съ полными примѣчаніями, тѣмъ болѣе, что три или много четыре лишніе листа при книгѣ не слишкомъ увеличили бы ея толщину (книжки вышли очень тонки) и расходы изданія. Въ послѣднемъ случаѣ лучше бы возвысить цѣну книги рублями пятью, потому что и 35 рублей — все-таки вчетверо дешевле 150 рублей. Тогда изданіе равно годилось бы для всѣхъ—и для тѣхъ, кому не нужны примѣчанія, и для тѣхъ, кому они нужны, между тѣмъ какъ искаженіе примѣчаній много повредило успѣху изданія и слѣдовательно выгодамъ издателя. Раскройте журналы-того времени,—вы увидите, что мы говоримъ правду: это произвольное и ненужное искаженіе примѣчаній встрѣчено было общимъ ропотомъ. И неудивительно: теперь каждый образованный читатель съ большей охотой заплатитъ Эйнерлингу 50 рублей ассигнаціями за его компактное и прекрасное изданіе «Исторіи» Карамзина, нежели Смирдину 10 руб. асс. за его же дешевое изданіе той же «Исторіи».

Смирдину пришла счастливая мысль издать полный каталогъ своей огромной библіотеки; но для осуществленія этой мысли онъ могъ только пожертвовать капиталомъ, а не быть редакторомъ изданія, и изданіе вышло изъ рукъ вонъ плохо. Составлявшіе каталогъ держались такого неслыханнаго порядка въ раздѣленіи книгъ по ихъ содержанію, что изъ хорошей книги поневолѣ вышелъ вздоръ. Повѣрятъ ли, что въ этомъ каталогѣ, въ отдѣлѣ богословскихъ книгъ, помѣщены: «Ключъ къ таинствамъ натуры» Эккартсгаузена, «Дочь молочника, истинная и занимательная повѣсть» и другія повѣсти и сказки нравственнаго содержанія; а въ отдѣлѣ философіи—книги вродѣ слѣдующей: «Смѣющійся Демокритъ, или поле честныхъ увеселеній съ поруганіемъ меланхоліи»?... Еще хорошо, что при этомъ каталогѣ есть общій каталогъ, по алфавиту, всѣхъ книгъ и всѣхъ авторовъ, и потому, хотя и съ трудомъ, а можно пріискать книгу, которую нужно. Благодаря этому обстоятельству, каталогъ Смирдина — настольная ручная книга въ кабинетѣ каждаго литератора. Но будь онъ составленъ какъ слѣдуетъ, это была-бы безцѣнная книга. Изъ всего этого видно, что̀ могъ бы сдѣлать для русской литературы и русскаго образованія такой книгопродавецъ, какъ Смирдинъ, еслибъ онъ не имѣлъ нужды въ чужихъ совѣтахъ и чужомъ руководствѣ и могъ дѣйствовать самостоятельно...

Но еще большій переворотъ въ русской литературѣ сдѣлалъ Смирдинъ своимъ журналомъ — «Библіотека для Чтенія». Появленіе этого журнала — истинная эпоха въ исторіи русской литературы. До него наша журналистика существовала только для немногихъ, только для избранныхъ, только для любителей, но не для общества. Лучшій тогда журналъ «Московскій Телеграфъ», пользовавшійся большимъ успѣхомъ, нежели всѣ предшествовавшіе и современные ему журналы, почти постоянно держался на 1,200 подписчикахъ и никогда не имѣлъ ихъ больше 1,500. Это считалось тогда огромнымъ успѣхомъ; но съ появленія «Библіотеки для Чтенія» всякому журналу необходимо стало имѣть больше 1,000 подписчиковъ только для издержекъ на изданіе. Отчего произошла такая быстрая перемѣна? Оттого, что съ появленія «Библіотеки для Чтенія» литературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Много было тогда объ этомъ споровъ, и многіе видѣли въ этомъ униженіи литературы, литературное торгашество. Рыцари литературнаго безкорыстія или, лучше сказать, литературнаго донъ-кихотства не замѣчали, что въ ихъ пышныхъ фразахъ больше ребячества, нежели возвышенности чувства. Въ наше время, когда не-богачамъ жить такъ трудно и жить можно только трудомъ, въ наше время не цѣнить литературы на деньги—значитъ не цѣнить ея ни во что̀, не признавать ея существованія. Дѣйствительно, можно-ли предполагать богатую литературу тамъ, гдѣ книги — не товаръ и гдѣ говорятъ: «все товаръ — и битое стекло, и мусоръ, и песокъ; но книги— не товаръ»? Можно-ли предполагать дѣйствительное существованіе литературы тамъ, гдѣ можетъ жить своимъ трудомъ и подёнщикъ, и разносчикъ, и продавецъ стараго тряпья и битой посуды, и тѣмъ болѣе писецъ, но гдѣ не можетъ жить своимъ трудомъ писатель, литераторъ? Что̀ бы ни говорили, но аксіома неоспоримая, что нельзя въ одно и то же время быть вполнѣ и хорошимъ чиновникомъ, и хорошимъ литераторомъ: чиновникъ непремѣнно будетъ мѣшать литератору, а литераторъ — чиновнику. Чтобъ быть ученымъ, поэтомъ или литераторомъ вполнѣ, необходимо видѣть въ наукѣ, въ искусствѣ или въ литера-

турѣ свое исключительное призваніе, свое, такъ сказать, ремесло, свой родъ промышленности, говоря языкомъ политической экономіи. Намъ скажутъ, что между нашими знаменитыми писателями были и есть люди, отличавшіеся и отличающіеся на служебномъ поприщѣ. Вѣримъ; но что же это доказываетъ, если не то, что эти-же самые знаменитые писатели были бы еще знаменитѣе, т. е. лучше и больше писали бы, еслибъ могли посвятить свою дѣятельность исключительно одной литературѣ? Мы вѣдь не говоримъ, что только литература непремѣнно мѣшаетъ службѣ; нѣтъ, мы говоримъ, что у одного литература мѣшаетъ службѣ, у другого служба мѣшаетъ литературѣ, а у третьяго служба и литература взаимно мѣшаютъ другъ другу (послѣднее бываетъ чаще всего и хуже всего, потому что полу-чиновникъ хуже чиновника такъ же, какъ полу-литераторъ хуже литератора). И это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока литературная дѣятельность не будетъ одна обезпечивать существованіе литератора. До сихъ поръ одной изъ существенныхъ причинъ жалкаго состоянія нашей литературы должно считать то, что у насъ очень много полу-литераторовъ и очень мало литераторовъ. Говоря это, мы хотимъ только указать на существующій фактъ, а совсѣмъ не винить въ этомъ кого-нибудь. Что необходимо, въ томъ никто не виноватъ, а полу-литераторство до сихъ поръ необходимость, своего рода неотразимый fatum. Въ этомъ даже есть своя хорошая сторона, хотя и не для литературы: лучше пусть чиновникъ дополняетъ скудные свои доходы урывочными литературными трудами и ими пріобрѣтаетъ возможность существовать, нежели служебными злоупотребленіями — этимъ любимымъ источникомъ людей стараго поколѣнія. Но еще будетъ лучше, когда всякій человѣкъ съ талантомъ или способностями къ литературѣ только въ одной литературной дѣятельности будетъ находить вѣрный и благородный источникъ своего обезпеченія.

Мы не скажемъ, чтобъ Смирдинъ своей «Библіотекой для Чтенія» довелъ русскую литературу до состоянія обезпечивать внѣшнее положеніе ея дѣятелей; но онъ первый положилъ начало такому ходу русской литературы. Бывало, журналъ могъ не только держаться, но и доставлять выгоды своему издателю при какихъ-нибудь трехъстахъ подписчикахъ,—а при пяти-стахъ журналъ считался богачомъ. И не мудрено: издатель его тратился только на бумагу и печать. Вотъ отчего такъ много издавалось тогда журналовъ въ Москвѣ, гдѣ бумага и печать и теперь гораздо дешевле, нежели въ Петербургѣ. Книжки журналовъ тогдашнихъ были маленькія, тощенькія и набивались стишками, изрѣдка оригинальными повѣстями (большей частью отрывками изъ неконченныхъ романовъ и повѣстей) да переводами. Весь этотъ матеріалъ доставался издателямъ даромъ, и если они давали за что скудную плату, такъ развѣ за переводы. Исключенія бывали рѣдки... Тогда былъ золотой вѣкъ литературной невинности или, лучше сказать, ребяческаго литературщичества: тогда читали и писали изъ одной чистой любви къ литературѣ, какъ невинному и благородному занятію, а печатались изъ одной чести видѣть себя въ печати. Истинная литературная Аркадія, настоящая журнальная идиллія, въ которой овцы были довольны, а пастухи сыты!... Правда, тутъ не было торгашества, по крайней мѣрѣ со стороны добровольныхъ вкладчиковъ, если не издателей; зато сколько было тутъ мелкаго самолюбія, сколько ребячества, и какъ вся литература походила на дѣтскую игру въ мячикъ: перебрасывались стишками ни на что и полемикой изъ ничего—и были довольны, счастливы!...

Но все вдругъ измѣнилось съ появленіемъ журнала Смирдина: за статьи установилась плата, литературный трудъ сдѣлался капиталомъ. Сначала это новое движеніе въ литературѣ не могло не имѣть своихъ дурныхъ сторонъ, какъ и всякій общественный успѣхъ. Но вѣдь и цивилизація имѣетъ свои дурныя стороны, которыхъ не знаютъ общества, пребывающія въ дикомъ состояніи; однако-жъ только славянофилы могутъ утверждать, что лучше оставаться людямъ дикарями, нежели вмѣстѣ съ благодѣяніями цивилизаціи принять и ея неизбѣжные недостатки. Итакъ, сначала приманка платы за литературный трудъ произвела вмѣстѣ съ хорошими слѣдствіями и дурныя: появилось множество писакъ, которые думали, что за ихъ сочиненія такъ вотъ и польется на нихъ золотой дождь; даже люди съ способностями и дарованіемъ начали заботиться не столько о томъ, чтобъ хорошо писать, сколько о томъ, чтобъ много и скоро писать. Но это не было продолжительно: лишь только новость обратилась въ обычай и обыкновеніе, какъ все вошло въ свои должныя границы. И теперь, право, лучше и вѣрнѣе, чѣмъ прежде, цѣнится и талантъ, и бездарность, писака никогда не перебьетъ дороги у писателя, и плохое произведеніе никогда не предпочтется хорошему за то, что послѣднее дороже. По крайней мѣрѣ такъ бываетъ теперь въ мірѣ журналистики. Книгопродавцы доселѣ продолжаютъ руково-

диться совѣтами литераторовъ, съ которыми имѣютъ дѣла и мнѣнію которыхъ вѣрятъ, а не то—именами мѣряютъ достоинства произведеній и за плохую повѣсть знаменитаго, хотя и выписавшагося писателя всегда дадутъ втрое и впятеро больше, нежели за прекрасное произведеніе молодого человѣка, который только что начинаетъ и еще не успѣлъ пріобрѣсти себѣ литературнаго имени. Но журналы (разумѣется, хорошіе) должны быть чужды этого упрека, — и если вы прочтете въ журналѣ плохую повѣсть, приписывайте ея помѣщеніе не безвкусію и не скупости журналиста, а только тому, что и за деньги не могъ онъ достать хорошей повѣсти. Этимъ, и только этимъ должно объяснить помѣщеніе въ журналахъ всего посредственнаго и дурного: если негдѣ взять хорошаго, поневолѣ станешь печатать что̀ есть, выбирая изъ худого менѣе худое; но хорошій романъ, хорошая повѣсть, драма, хорошая журнальная статья уже не залежится въ портфёлѣ автора потому только, что онъ хочетъ взять за свой трудъ хорошую цѣну. Если же журналистъ, по разсчету, изъ экономіи, наполняетъ свой журналъ балластомъ—этимъ онъ не можетъ не вредить успѣху своего изданія, слѣдовательно и въ матеріальныхъ выгодахъ не можетъ не терять, думая выигрывать. Сами книгопродавцы, издавая много посредственнаго, уже почти не издаютъ дурного, а, напротивъ, часто издаютъ и хорошее. Еслибъ въ настоящее время русская литература была богаче талантами, и таланты были бы дѣятельнѣе, то плата за трудъ, обратившаяся въ обычай, сдѣлала бы то, что печатались бы только хорошія произведенія, а посредственныя и дурныя нашли бы свой складочный магазинъ только въ тѣхъ журналахъ, которые издаются на прежнемъ основаніи литературнаго безкорыстія, т. е. безкорыстнаго обычая прежнихъ журналистовъ не платить сотрудникамъ и вкладчикамъ. И потому такъ называемое торговое направленіе, данное Смирдинымъ русской литературѣ, даже и въ отношеніи къ успѣхамъ вкуса принесло великую пользу и только вначалѣ произвело немного вреда.

Любопытно вспомнить кстати, какіе толки и вопли пробудила тогда «Библіотека для Чтенія» въ отношеніи къ ея правилу платить за статьи. Черезъ годъ послѣ появленія этого журнала (въ 1835 г.) въ Москвѣ основался новый журналъ—и оффиціальный критикъ этого журнала вотъ что̀ провозгласилъ въ своей статьѣ: «Словесность и Торговля»:

«Да, да, — мой взглядъ на современную нашу литературу будетъ нынѣ совершенно матеріальный. На журналы я смотрю, какъ на капиталистовъ. *Библіотека для Чтенія* имѣетъ для меня пять тысячъ душъ подписчиковъ, *Сѣверная Пчела*, можетъ быть—вдвое. Замѣчательно, что эти журналы еще въ томъ сходятся съ богачами, что любятъ хвастаться всенародно своимъ богатствомъ.— Эти души подписчиковъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ твои оброчныя; за ними нѣтъ никогда недоимки, они платятъ впередъ, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнаціи. — Вотъ ѣдетъ литераторъ въ новыхъ саняхъ; ты думаешь — это сани. Нѣтъ, это статья *Библіотеки для Чтенія*, получившая видъ саней, покрытыхъ медвѣжьей полостью, съ богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этотъ коверъ, этотъ лакъ чистый и опрятный—все это листы дорого заплаченной статьи, принявшіе разные образы саннаго издѣлія. Литераторъ хочетъ дать обѣдъ и жалуется, что у него нѣтъ денегъ. Ему говорятъ: да напиши повѣсть — пошли въ *Библіотеку для Чтенія:* вотъ и обѣдъ. Однимъ словомъ, литература наша сыта, дастъ обѣды, *живетъ въ чертогахъ* (?!), *ѣздитъ въ каретахъ*, въ лаковыхъ саняхъ, кутается въ медвѣжью шубу, въ бекешь съ бобровымъ воротникомъ, *возвышаетъ голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совѣта, покупаетъ имѣнія!...* (??!!...) Насталъ если не золотой, то самый сытный вѣкъ нашей литературы. Дождались мы того счастливаго времени, что статьи наши считаются за вѣрные банковые билеты, что словесность наша имѣетъ свой торговый домъ, въ которомъ эти измаранные билеты тотчасъ вымѣниваются на чистые печатные, все пріобрѣтающіе. Не на Парнасѣ сидятъ наши музы, не среди ихъ въ небесахъ, а въ снѣгу обитаетъ наша словесность. Я представляю ее себѣ владѣтельницей ломбарда: здѣсь, на престолѣ изъ ассигнацій, возсѣдаетъ она со счетами въ рукѣ. Въ огромныхъ залахъ ея чертоговъ великое множество просителей съ исписанными тетрадями въ рукахъ; билеты равно принимаются отъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ; она всѣхъ сравняла по уровню печатнаго листа, за исключеніемъ немногихъ прежнихъ капиталистовъ; — но между этими просителями нѣтъ уже ни одного героя, который осмѣлился бы, какъ прежде, поднять голову надъ всѣми и объявить монополію на повѣсть, на романъ, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого міра? Кто устроилъ ломбардъ нашей словесности и взялъ ея производителей подъ свою опеку? Кто движетъ всей этой машиной нашей литературы? *Книгопродавецъ.* Съ нимъ подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась въ вѣчной вѣрности.»

Эта шумливая выходка противъ прекраснаго дѣла Смирдина говоритъ всего убѣдительнѣе въ его пользу. Во первыхъ, широковѣщательная и многоглаголивая статья эта напечатана въ журналѣ, который въ своей программѣ объявилъ, что онъ будетъ «платить за статьи, и платить не скупо». Во-вторыхъ, велерѣчивый сочинитель этой статьи не замедлилъ послать въ журналъ Смирдина статью на общихъ для всѣхъ основаніяхъ денежнаго вознагражденія. (Вотъ подлинно, продался да и бранитъ другихъ, что они продаютъ свои труды!..) Въ третьихъ, въ отрывкѣ, который мы выписали изъ статьи, что̀ ни слово, то неправда, что̀ ни слово, то выдумка, что̀ ни слово, то преувеличеніе. Все это наговорено, какъ выражается Маниловъ въ «Мертвыхъ Душахъ», только «для красоты слога», для метафоръ и фигуръ, для риторики. Риторъ,

*

когда говоритъ, прислушивается къ собственнымъ словамъ, жуетъ ихъ, облизывается; что̀ ему за дѣло, что въ нихъ заключается сущая нелѣпость или вовсе ничего не заключается!.. Что иной авторъ могъ купить себѣ сани за цѣну статьи, отданной имъ въ журналъ Смирдина — это не невозможное дѣло. За деньги, полученныя отъ того же журнала за цѣлый рядъ статей, печатавшихся впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, иной могъ, пожалуй, купить и карету: опять не невозможное дѣло. Но превратить статью въ карету, или посредствомъ многихъ статей придти въ состояніе возвышать голосъ на аукціонахъ Опекунскаго Совѣта и покупать деревни,—воля ваша, все это нелѣпость, т. е. пустая и шумливая риторика. Правда, у насъ были два романиста, которые своими романами, говорятъ, пріобрѣли себѣ состояніе; но это случилось или до «Библіотеки для Чтенія», или безъ ея содѣйствія, и подобный успѣхъ былъ совершенной случайностью, изъ которой смѣшно было бы дѣлать общее правило. Золотой дождь, полившійся изъ журнала г. Смирдина на русскихъ литераторовъ, привидѣлся во снѣ московскому критикану, а онъ взялъ да и напечаталъ свой сонъ, какъ будто все это было дѣйствительностью, благо, что бумага все терпитъ и ни отъ чего не краснѣетъ... Довольно и того, что журналъ Смирдина положилъ начало обычаю вознаграждать по мѣрѣ возможности литературный трудъ, и черезъ это далъ литераторамъ бо̀льшую возможность, нежели какую имѣли они прежде, предаваться литературнымъ занятіямъ. И то было истиннымъ подвигомъ съ его стороны, и за то ему честь и слава! Говорятъ: нашъ вѣкъ желѣзный, денежный и промышленный: — фразы! Люди всегда были и будутъ людьми: ни прежде, ни теперь и ни послѣ не могли, не могутъ и не будутъ они въ состояніи питаться и одѣваться воздухомъ. Плата за честный трудъ нисколько не унизительна; унизительно злоупотребленіе труда. И, по нашему мнѣнію, гораздо честнѣе продать свою статью журналисту или книгопродавцу, нежели кропать стишонки въ честь какого-нибудь мецената, милостивца и покровителя, какъ это дѣлывалось въ невинное и безкорыстное время нашей литературы, когда подобными одами добивались чести играть роль шута въ боярскихъ палатахъ, получали мѣсто и выходили въ люди...

Движеніе, данное Смирдинымъ русской литературѣ, сначала было очень сильно. Почти вслѣдъ за журналомъ его началъ издаваться Плюшаромъ «Энциклопедическій Лексиконъ», — предпріятіе огромное и приведшее въ движеніе много перьевъ,—которыя до того лежали безъ употребленія. Пока это изданіе шло хорошо, его владѣлецъ показалъ едва ли не первый примѣръ честнаго вознагражденія за трудъ на правилахъ европейской коммерціи, т. е. записка отъ главнаго редактора, предъявленная въ конторѣ редакціи, была истиннымъ банковымъ билетомъ: деньги выдавались въ ту же минуту, сполна, безъ ужимокъ, безъ гримасъ, безъ отсрочекъ до слѣдующей недѣли, безъ просьбы—принять пока половинку, и монеткой, вмѣсто ассигнацій (такъ какъ тогда ассигнаціи ходили съ лажемъ), безъ жалобъ на недостатокъ денегъ, на дороговизну времени, стѣсненныя обстоятельства,—словомъ, безъ всѣхъ этихъ непріятностей, которыя дѣлаютъ для васъ истинной мукой полученіе денегъ, по праву вамъ принадлежащихъ...

Какъ пошелъ въ ходъ журналъ Смирдина, какъ дѣйствовала его редакція, объ этомъ мы не будемъ говорить, потому что это не относится къ предмету статьи. Скажемъ только, что Смирдинъ все дѣлалъ для своего изданія, что̀ долженъ былъ и что̀ могъ онъ сдѣлать, даже болѣе. Онъ не боялся риска, сыпалъ деньгами, ходилъ къ литераторамъ, принималъ ихъ у себя, гонялся за статьями, заказывалъ ихъ, торопилъ окончаніемъ, кланялся, просилъ... Что̀ бы могъ дѣлать онъ больше?

«Сто Русскихъ Литераторовъ» едва ли не самое любимое изъ всѣхъ изданій, которыя когда либо предпринималъ Смирдинъ. Онъ началъ его со страстью, продолжаетъ съ упорствомъ и повидимому ожидаетъ отъ него много пользы. Посмотримъ, до какой степени основательны эти надежды.

Мысль изданія «Ста Русскихъ Литераторовъ» не лишена оригинальности. Это своего рода портретная галлерея русскихъ писателей, которая не только знакомитъ читателя съ лицомъ и почеркомъ каждаго замѣчательнаго писателя, но и напоминаетъ ему его талантъ и его манеру статьей, приложенной къ портрету. Картинки, сюжетъ которыхъ заимствованъ изъ статей, составляющихъ содержаніе книги, дополняютъ собой роскошь изданія. Все это очень недурно придумано и такимъ образомъ можно было бы составить цѣлый рядъ очень интересныхъ книгъ, изданіе которыхъ принесло бы и честь и прибыль книгопродавцу. Но и тутъ Смирдинъ сдѣлалъ все, что̀ могъ и чего въ правѣ была требовать отъ него публика, т. е. онъ не жалѣлъ ни денегъ, ни хлопотъ. Изданные имъ три тома «Ста Русскихъ Литераторовъ», по красотѣ изданія, по портретамъ и картинкамъ,—книги хоть куда, книги, какихъ

у насъ не много, и какихъ до выхода перваго тома этого изданія никогда не бывало. Смирдинъ предположилъ себѣ издать десять томовъ, съ десятью портретами и десятью картинками въ каждомъ; что же касается до статей, то, по его плану, ихъ не могло быть меньше, не могло быть больше десяти въ каждомъ томѣ. И такъ, сто портретовъ, сто литераторомъ для всего изданія! Гдѣ наберетъ Смирдинъ? спрашивали мы самихъ себя, когда прошелъ слухъ объ этомъ предпріятіи. Не полагая, чтобъ невозможное было возможно,—мы думали, что, во-первыхъ, Смирдинъ начнетъ свое изданіе съ Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова, Поповскаго, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Фонвизина, Богдановича, Княжнина, Аблесимова, Капниста и т. п. Въ такомъ случаѣ, держась хронологическаго порядка, онъ могъ бы наполнить тома три одними писателями, предшествовавшими Пушкину. Подобная мысль была бы не дурна. Тутъ нечего было бы разсуждать о томъ, поэты, или не поэты были Тредьяковскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ; они играли въ свое время важную роль въ русской литературѣ и пользовались огромной извѣстностью: этого довольно. Строгость выбора — дѣло важное; но Смирдинъ въ этомъ выборѣ непремѣнно долженъ былъ принять за основаніе извѣстность, какой въ свое время пользовался тотъ или другой писатель. Мы думали, что Смирдину удалось достать хоть по одному или по нѣскольку изъ неизданныхъ сочиненій этихъ писателей, а при портретахъ тѣхъ, послѣ которыхъ не оставалось ничего непапечатаннаго, онъ приложитъ что-нибудь уже изъ напечатаннаго и извѣстнаго,—что-нибудь такое, что характеризовало бы писателя, портретъ котораго находился передъ глазами читателя. Это была бы истинная портретная и въ то же время историческая галлерея русской литературы, великолѣпный памятникъ, воздвигнутый русской литературѣ просвѣщеннымъ и умнымъ усердіемъ книгопродавца. Тутъ главное дѣло—хронологическая послѣдовательность дѣятелей русской литературы, такъ, чтобы каждый томъ представлялъ цѣлую группу писателей отдѣльной эпохи, и чтобъ это была, такъ сказать, своего рода исторія русской литературы въ лицахъ. Нечего и говорить, что когда бы дошло дѣло до живыхъ литераторовъ, ихъ портреты являлись бы съ новыми статьями. Но и тутъ насъ ужасало число семьдесятъ: гдѣ наберетъ столько писателей Смирдинъ?... Но когда вышелъ первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», мы тотчасъ поняли, что, при нуждѣ, онъ можетъ набрать ихъ, пожалуй, цѣлыхъ пятьсотъ, и даже надѣлать ихъ, еслибъ не нашлось уже готовыхъ. Какъ надѣлать? да очень просто: встрѣтилъ человѣка, который знаетъ грамотѣ и любитъ «читать книжки», да и попросилъ его написать повѣсть или драму. Тотъ сперва удивится, потомъ поломается, а тамъ и согласится. Есть тысячи людей, которые изъ денегъ или изъ чести видѣть въ печати свой портретъ и свое сочиненіе готовы пуститься въ сочинительство, даже и не зная грамотѣ...

Еще первый томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» показалъ, что это изданіе предпринято безъ всякаго плана, безъ всякаго порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось общество, члены котораго не могутъ довольно надивиться тому, какъ они сошлись вмѣстѣ. Старые писатели смѣшаны съ новыми, геніальные съ бездарными, знаменитые съ неизвѣстными, хорошіе съ плохими: Пушкинъ съ Зотовымъ, Крыловъ съ Каменскимъ, Шишковъ съ Веревкинымъ, Гречъ съ Бенедиктовымъ, и т. д. Но пусть старые писатели смѣшаны безъ толку съ новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; не хорошо, но такъ и быть. Хуже всего то, что геніальность смѣшана съ бездарностью, талантъ съ посредственностью, знаменитость съ неизвѣстностью. Конечно не Смирдину взвѣшивать и сортировать литературные таланты; но все-таки ему слѣдовало крѣпко держаться въ этомъ отношеніи основанія извѣстности, репутаціи таланта. Спрашиваемъ его, ради какихъ причинъ Зотовъ попалъ въ его сборникъ? Говорятъ, онъ написалъ нѣсколько десятковъ томовъ; хорошо; но развѣ мало томовъ написалъ извѣстный московскій романистъ, Александръ Анфимовичъ Орловъ, развѣ романы и повѣсти его не расходились тысячами, и онъ не нашелъ себѣ многочисленной публики? Почему же его не видимъ мы въ числѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»? Или еще можетъ быть въ которомъ-нибудь изъ слѣдующихъ томовъ мы будемъ имѣть удовольствіе встрѣтить этого счастливаго, по таланту и славѣ, соперника Зотова? Дай-то Богъ!... Но шутки въ сторону.

. . . . . .

Мы пересмотрѣли два первые тома и внимательно разсмотрѣли третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»: что же нашли мы въ нихъ?—Въ первомъ томѣ два портрета совершенно лишніе и неумѣстные (Зотова и Свиньина); при двухъ портретахъ (Александрова и Марлинскаго) плохія статьи. Во второмъ: три портрета (Каменскаго, Веревкина и Масальскаго) совершенно излишніе и неумѣстные; четыре

портрета (Булгарина, Загоскина, Панаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключеніемъ Крылова, десять портретовъ съ плохими статьями. Въ третьемъ: четыре портрета (Ободовскаго, Мятлева, Бѣгичева и Маркова) лишніе и неумѣстные; три портрета (Греча, Хмельницкаго и Ушакова) запоздалые; при восьми портретахъ плохія статьи. Итого: изъ тридцати портретовъ девять лишнихъ и неумѣстныхъ, восемь запоздалыхъ; изъ тридцати слишкомъ статей девятнадцать плохихъ (считая за одну статью пять стихотвореній Бенедиктова и за одну же статью десять стихотвореній Мятлева). Хорошій итогъ!... Жалуйтесь послѣ этого на холодность и равнодушіе русской публики къ поддержанію цвѣтущаго состоянія русской литературы! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!

Еслибъ еще Смирдинъ въ своихъ «Ста Русскихъ Литераторахъ» имѣлъ цѣлью представить историко-картинную галлерею русской литературы,—по крайней мѣрѣ въ его изданіи не было бы запоздалыхъ портретовъ! Но это изданіе предпринято безъ всякаго соображенія: оттого его успѣхъ кажется довольно сомнительнымъ...

КНЯЗЬ АНТІОХЪ ДМИТРІЕВИЧЪ КАНТЕМИРЪ.

Русскую литературу начинаютъ съ Ломоносова,—и справедливо. Ломоносовъ дѣйствительно былъ основателемъ русской литературы. Какъ геніальный человѣкъ, онъ далъ ей форму и направленіе, которыя она надолго удержала. Каковы были эта форма и это направленіе—вопросъ другой; дѣло въ томъ, что дать форму и направленіе цѣлой литературѣ могъ только человѣкъ необыкновенный, но, несмотря на общее согласіе въ томъ, что русская литература начинается съ Ломоносова, всѣ начинаютъ ея исторію съ Кантемира. Это тоже справедливо. Если Кантемиръ и Тредьяковскій не были основателями русской литературы, ихъ труды нѣкоторымъ образомъ были какъ бы предисловіемъ къ ея основанію. Оба они, особенно послѣдній, брались за то, за что̀ прежде всего должно было взяться; но оба они не имѣли достаточныхъ средствъ для выполненія предлежавшаго имъ дѣла. Впрочемъ къ Кантемиру это относится гораздо меньше, чѣмъ къ Тредьяковскому. Кантемиръ не столько начинаетъ собой исторію русской литературы, сколько заканчиваетъ періодъ русской письменности. Кантемиръ писалъ такъ называемыми силлабическими стихами, — размѣромъ, который совершенно несвойственъ русскому языку; но этотъ размѣръ существовалъ на Руси задолго до Кантемира. Онъ зашелъ къ намъ изъ Польши чрезъ Малороссію, въ XVI столѣтіи. Этимъ размѣромъ писали и Петръ Могила, и Димитрій Ростовскій, и Симеонъ Полоцкій; но ихъ стихи были духовнаго содержанія, не блестѣли поэзіей и отличались однажды-навсегда принятой и неподвижной риторической формой; Кантемиръ же первый началъ писать стихи, тѣмъ же силлабическимъ размѣромъ, но содержаніе, характеръ и цѣль его стиховъ были уже совсѣмъ другіе, нежели у его предшественниковъ на стихотворческомъ поприщѣ. Кантемиръ началъ собой исторію свѣтской русской литературы. Вотъ почему всѣ, справедливо считая Ломоносова отцомъ русской литературы, въ то же время не совсѣмъ безъ основанія Кантемиромъ начинаютъ ея исторію. Несмотря на страшную устарѣлость языка, которымъ писалъ Кантемиръ, несмотря на бѣдность поэтическаго элемента въ его стихахъ, Кантемиръ своими сатирами воздвигъ себѣ маленькій, скромный, но тѣмъ не менѣе безсмертный памятникъ въ русской литературѣ. Имя его уже пережило много эфемерныхъ знаменитостей, и классическихъ, и романтическихъ, и еще переживетъ ихъ многія тысячи. Этотъ человѣкъ, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свелъ поэзію съ жизнью,—тогда-какъ самъ Ломоносовъ только развелъ ихъ надолго. Поэзія Кантемира уже по тому одному, что она была сатирической, не могла быть риторической. Не только при Кантемирѣ, но и гораздо спустя послѣ него, русская литература могла, еслибъ поняла свое положеніе, смѣяться и осмѣивать, а между-тѣмъ она больше восторгалась и надувалась. Впрочемъ дѣйствительность таки взяла свое,—и русская литература какъ-то, сама-собой, безсознательно, раздѣлилась на сатирическую и риторическую. Значительная часть сочиненій Сумарокова въ сатирическомъ родѣ,—и, несмотря на тупость и аляповатость сатирической музы этого неутомимаго писателя, стремившагося къ всеобъемлемости и ничего не обнявшаго, его нападки

на подъячихъ не были безполезны; если онѣ не исправляли нравовъ, зато поддерживали въ обществѣ сознаніе, что порокъ есть все-таки порокъ, хотя бы онъ былъ и неизбѣжнымъ зломъ. Слѣдовательно, благодаря можетъ-быть заслугѣ одной только литературы, у насъ зло не смѣло называться добромъ, а лихоимство и казнокрадство не титуловались благонамѣренностью, какъ это всегда водилось и теперь водится напримѣръ въ Китаѣ. И могло ли это быть у насъ иначе, если сатирическое направленіе со временъ Кантемира сдѣлалось живой струей всей русской литературы? Не говоря уже о Фонвизинѣ, котораго превосходный талантъ былъ по преимуществу сатирическій,—самъ Державинъ, который по духу своего времени риторическую превыспренность считалъ заодно съ поэзіей,—заплатилъ большую дань сатирѣ. И еще далеко не успѣлъ блестящій лирикъ вѣка Екатерины допѣть своихъ громозвучныхъ одъ, какъ явился на Руси національный баснописецъ—Крыловъ. Это сатирическое направленіе, столь важное и благодѣтельное, столь живое и дѣйствительное для общества, въ которомъ такъ странно боролась прививная европейская форма съ азіатской сущностью родной старины, — это сатирическое направленіе никогда не прекращалось въ русской литературѣ, но только переродилось въ юмористическое, какъ болѣе глубокое въ психологическомъ отношеніи и болѣе родственное художественному характеру новѣйшей русской поэзіи.

Говоря о Кантемирѣ, нѣтъ нужды распространяться въ біографическихъ подробностяхъ; но не мѣшаетъ взглянуть бѣгло на жизнь Кантемира въ ея связи съ литературой. Есть на русскомъ языкѣ старинная книжица, изданная Новиковымъ въ 1783 году, подъ титуломъ: «Исторія о жизни и дѣлахъ молдавскаго господаря князя Константина Кантемира, сочиненная Санктпетербургской Академіи Наукъ покойнымъ профессоромъ Беером, съ россійскимъ переводомъ и съ приложеніемъ родословной князей Кантемировъ». Въ этой книжицѣ сказано, что Кантемиры свой родъ производятъ отъ крымскихъ татаръ, и доказано кстати, что въ этомъ обстоятельствѣ для Кантемировъ нѣтъ ничего унизительнаго, потому-что «знатностью породы, каковую предки наши или на прямой добродѣтели, или на неякой мнимой славѣ въ своемъ утвердили потомствѣ, татары намъ не токмо ни мало не уступаютъ, но еще гораздо больше, нежели мы, благородствомъ знаменитѣйшихъ мужей превозносятся: ибо нѣтъ у нихъ ни единаго таковаго важнаго и храбраго дѣла, за которое подлой или простолюдинъ могъ бы когда-нибудь причтенъ быть въ число мурзъ». Послѣ такого по-истинѣ татарскаго воззрѣнія на несомнѣнность родовой знаменитости князей Кантемировъ наивная книжица неоспоримо доказываетъ, что Кантемиры происходятъ по прямой линіи отъ Тамерлана, что̀ видно изъ самаго ихъ имени: Канъ-Тимуръ, т. е. родственникъ Тимура. Но для русской литературы все равно, отъ Тамерлана или, еще древнѣе—отъ Адама произошелъ сатирикъ Кантемиръ. Для нея довольно знать, что онъ былъ сынъ молдавскаго господаря Димитрія Кантемира, столь извѣстнаго въ исторіи Петра Великаго по турецкой войнѣ, кончившейся миромъ при Прутѣ. Князь Димитрій былъ человѣкъ ученый; съ особеннымъ удовольствіемъ занимался онъ исторіей, «былъ весьма-искусенъ въ философіи и математикѣ и имѣлъ знаніе въ архитектурѣ»; былъ членомъ Берлинской Академіи; говорилъ по-турецки, по-персидски, по-гречески, по-латынѣ, по-итальянски, по-русски, по-молдавски, порядочно зналъ французскій языкъ и оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій на латинскомъ, греческомъ, молдавскомъ и русскомъ языкахъ. Изъ нихъ «Система Мухаммеданскаго Закона», по повелѣнію Петра Великаго, напечатана въ Петербургѣ въ 1722 году. Очень естественно, что у такого отца дѣти были людьми учеными и образованными.

Антіохъ былъ четвертымъ сыномъ князя Димитрія и родился въ Константинополѣ 1708 года сентября 10. Такъ какъ отецъ скоро замѣтилъ въ немъ отличныя дарованія, то и приложилъ особенное стараніе о его воспитаніи преимущественно передъ всѣми другими своими сыновьями. Сначала Антіохъ воспитывался въ Харьковѣ, потомъ въ Москвѣ, наконецъ въ Петербургѣ. Вездѣ пользовался онъ уроками лучшихъ въ то время преподавателей. Не желая ни на минуту спустить глазъ своихъ съ любимаго сына, князь Димитрій взялъ Антіоха съ собою въ персидскій походъ, въ которомъ онъ сопровождалъ Петра Великаго, въ 1722 году. Во время похода ученіе Антіоха не прерывалось ни на минуту; самое путешествіе это практически не могло не быть чрезвычайно полезно любознательному четырнадцатилѣтнему юношѣ. Страсть и уваженіе къ учености были такъ сильны въ старомъ Кантемирѣ, что онъ желалъ имѣть наслѣдникомъ своего имѣнія того изъ сыновей, который больше другихъ отличится въ наукахъ. Онъ даже просилъ объ этомъ Петра Великаго, а въ духовномъ завѣщаніи прямо указалъ на Антіоха, какъ на того изъ своихъ сыновей, который по способностямъ и

познаніяхъ достоинъ быть наслѣдникомъ его имѣнія *). Въ 1725 году была учреждена С.-Петербургская Императорская Академія Наукъ, и Антіохъ выслушалъ курсъ высшихъ наукъ у иностранныхъ профессоровъ, приглашенныхъ Петромъ Великимъ въ Россію. Математикѣ учился онъ у Бернуллія, физикѣ—у Бильфингера, исторіи—у Беера, нравственной философіи—у Гросса. Блестящія дарованія скоро обратили на молодого Кантемира общее вниманіе. Еще бывъ поручикомъ преображенскаго полка, почти двадцати лѣтъ отъ роду, онъ едва не былъ посланъ къ французскому двору; намѣреніе это почему-то было отмѣнено, но оно показываетъ, какой репутаціей пользовался этотъ молодой человѣкъ въ такое время, когда молодость считалась порокомъ, отъ котораго едва избавлялись въ сорокъ лѣтъ. По нѣкоторымъ словамъ книги Беера можно заключить не безъ основанія, что первыя три сатиры Антіоха Кантемира не мало способствовали его возвышенію въ глазахъ самого правительства. Вмѣстѣ съ его братьями, Матвѣемъ и Сергіемъ, и сестрой Маріею Анна Іоанновна пожаловала ему тысячу тридцать крестьянскихъ дворовъ. Въ 1731 году онъ былъ посланъ въ Лондонъ въ качествѣ резидента. Проѣзжая чрезъ Голландію, Кантемиръ запасся книгами и поручилъ одному книгопродавцу въ Гагѣ напечатать сочиненіе своего отца: «Описаніе историческое и географическое Молдавіи»; впрочемъ это сочиненіе не было напечатано. Въ Лондонѣ Кантемиръ былъ принятъ съ отличіемъ, какъ ученый человѣкъ и глубокій политикъ. За удовлетворительное окончаніе возложеннаго на него порученія онъ былъ облеченъ званіемъ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра. Свободное отъ политическихъ занятій время онъ посвящалъ наукамъ и бесѣдѣ съ учеными людьми Англіи, которую онъ почиталъ просвѣщеннѣйшей страной въ мірѣ. Знакомство съ нѣкоторыми итальянцами побудило его выучиться итальянскому языку, которымъ онъ такъ хорошо овладѣлъ, что и говорилъ, и писалъ на немъ какъ природный итальянецъ. Вслѣдствіе оспы, которую Кантемиръ перенесъ въ дѣтствѣ, онъ всегда страдалъ истеченіемъ мокроты изъ глазъ. Отъ усиленнаго занятія чтеніемъ въ Лондонѣ эта болѣзнь до того у него усилилась, что онъ поѣхалъ въ 1736 году въ Парижъ лѣчиться у знаменитаго въ то время врача Жандрона, лейбъ-медика французскаго регента. Жандронъ дѣйствительно помогъ Кантемиру; а когда, въ 1738 году, Кантемиръ пріѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ полномочнаго министра, то и совсѣмъ излѣчилъ его отъ глазной болѣзни. Въ 1739 году Кантемиръ былъ именованъ чрезвычайнымъ посломъ при французскомъ дворѣ. При запутанныхъ обстоятельствахъ этой эпохи Кантемиръ удержался въ милости и при Правительницѣ, которая пожаловала его въ 1741 году въ тайные совѣтника, и при Елисаветѣ Петровнѣ, подтвердившей его въ этомъ чинѣ. Въ Парижѣ Кантемиръ велъ жизнь уединенную, знался только съ людьми учеными и литераторами, и съ страстью предавался ученію. Съ особеннымъ рвеніемъ занимался онъ тогда алгеброй и сочинилъ на русскомъ языкѣ «Руководство къ Алгебрѣ»», которое осталось въ рукописи. Батюшковъ, представившій Кантемира въ бесѣдѣ съ Монтескьё, аббатомъ В. и аббатомъ Гуаско, справедливо замѣтилъ, что Кантемиръ писалъ бы стихи и на необитаемомъ островѣ, потому-что онъ писалъ ихъ въ Парижѣ, который въ отношеніи къ нему, какъ къ стихотворцу, былъ для него дѣйствительно необитаемымъ островомъ. Весь характеръ, вся личность Кантемира отразилась въ этихъ, его же, стихахъ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто, малымъ доволенъ,
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ сустныхъ воленъ
Мыслей, что мучатъ другихъ, и топчетъ надежну
Стезю добродѣтели къ концу неизбѣжну.
Небольшой домъ, на своемъ построенный полѣ,
Даетъ нужное моей умѣренной волѣ;
Не скудный, не лишній кормъ, и средню забаву,
Гдѣ бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему нраву
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки бремя,
Гдѣ бъ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время
Провождать межъ мертвыми греки и латины,
Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,
И, учась, знать образцомъ другихъ, что полезно,
Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно иль любезно:
То одно желаніе мои составляетъ.

Съ 1740 года здоровье Кантемира начало совершенно разстроиваться. Вотъ что говоритъ объ этомъ книжица Беера: «Князь Антіохъ подверженъ былъ человѣческимъ слабостямъ, какъ и другіе люди. Онъ чув-

*) Впрочемъ это дѣло какъ-то безтолково объяснено въ книгѣ Беера: на стр. 321 сказано о второмъ сынѣ князя Димитрія, Константинѣ, что «Императоръ Петръ II, снисходя на желаніе умершаго родителя его, князя Димитрія, повелѣлъ (19 мая 1729 года) въ недвижимомъ имѣніи быть одному ему наслѣдникомъ». Во всякомъ случаѣ, и всѣ другіе братья Константина не остались бѣдняками, благодаря щедротамъ Петра Великаго и его преемниковъ. Такъ какъ Антіохъ не былъ женатъ и не оставилъ по себѣ наслѣдниковъ, то имѣніе его перешло къ братьямъ.

ствовалъ то самъ, яко человѣкъ, и имѣлъ несчастіе искуситься въ скорби, свойственной человѣческому роду. Съ 1740 года почувствовалъ онъ внутреннюю болѣзнь, которая отъ часу умножалась. И хотя онъ въ пищѣ весьма былъ воздерженъ, однако желудокъ его почти ничего уже варить не могъ». Въ 1741 году онъ ѣздилъ на ахенскія воды, отъ которыхъ и получилъ облегченіе, равно какъ и отъ лѣкарства какой-то дѣвицы Стефенсъ, которое онъ употреблялъ по совѣту же Жандрона. Въ 1743 году онъ пользовался пломбьерскими водами, которыя однако не помогли ему. По возвращеніи въ Парижъ онъ отдался на руки разнымъ врачамъ, которые совсѣмъ залѣчили его. Въ это время онъ страдалъ крайнимъ ослабленіемъ желудка, рѣзью въ въ почкахъ и безсонницей. Потомъ онъ схватилъ лихорадку, довольно вирочемъ легкую, и у него открылся кашель. По совѣту одного изъ друзей своихъ, который, вопреки мнѣнію докторовъ, смотрѣлъ серьёзно на эти припадки, Кантемиръ рѣшился провести зиму въ Неаполѣ. Но, когда онъ получилъ на это разрѣшеніе отъ своего двора, было уже поздно: усилившаяся болѣзнь и дурное время года не позволили ему тронуться съ мѣста. Полгода страдалъ онъ болѣзнью въ груди, не переставая чтеніемъ прогонять скуку безсонницы. На увѣщанія, что онъ этимъ вредитъ себѣ, онъ обыкновенно отвѣчалъ, что «тогда только не чувствуетъ болѣзни, когда трудится». Охоту къ чтенію онъ потерялъ только за три или за четыре дня до своей смерти, и это-то обстоятельство открыло ему опасность его положенія. Одинъ изъ друзей его, читая съ нимъ разсужденіе Цицерона «о дружбѣ», во имя налагаемаго этимъ чувствомъ долга, заговорилъ съ нимъ прямо о его положеніи и посовѣтовалъ заняться послѣдними распоряженіями. Кантемиръ съ благодарностью принялъ этотъ совѣтъ, какъ доказательство истинной дружбы, и не медля приступилъ къ составленію духовной, въ которой, отказавъ все свое имѣніе братьямъ и сестрамъ, завѣщалъ, чтобъ тѣло его, по вскрытіи, было набальзамировано, отвезено въ Россію и похоронено, безъ всякой церемоніи, въ греческомъ монастырѣ, въ Москвѣ, гдѣ схоронены были его родители. До самой минуты своей смерти онъ былъ въ полномъ разумѣ. Умеръ онъ 1744 г., марта 31, тридцати пяти лѣтъ и семи мѣсяцевъ отъ роду. По вскрытіи тѣла оказалось, что у него была водяная въ груди.

О личномъ характерѣ Кантемира извѣстно только, что онъ былъ человѣкъ благородный, правдивый и кроткій. Сначала онъ казался непривѣтливымъ, но эта неприв ѣтливость постепенно исчезала въ отношеніи къ людямъ, которые ему болѣе и болѣе нравились. Слабое и болѣзненное его тѣлосложеніе придавало его характеру меланхолическій оттѣнокъ, что однакожъ не мѣшало ему быть и любезнымъ, и веселымъ въ обществѣ людей, которые ему нравились, и съ которыми онъ могъ быть откровененъ. Въ частной жизни онъ былъ экономенъ и, какъ говоритъ книжица Берга, изъ которой мы заимствовали эти подробности: «никогда не признавалъ, что долги были знакомъ благородства и высокаго достоинства». Вотъ все, что дошло до потомства о Кантемирѣ, какъ о человѣкѣ; въ его сатирахъ мы увидимъ его какъ поэта, и вновь встрѣтимся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ.

Въ 1739 году написалъ Кантемиръ свою первую сатиру, слѣдовательно ровно за десять лѣтъ до первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), написанной новымъ размѣромъ. Это едва ли не лучшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Она была направлена противъ обскурантовъ (людей, одержимыхъ болѣзнью мракобѣсія), враговъ просвѣщенія, словомъ, славянофиловъ того времени. Въ ней, какъ и во всѣхъ сатирахъ Кантемира, нѣтъ ни желчнаго негодованія, ни бурнаго паѳоса; но въ ней много ума, много комической соли и есть одушевленіе, тихое, ровное, но постоянно выдерживаемое. Кантемиръ не бичуетъ, а только сѣчетъ обскурантовъ. Оно и естественно: сатира страстная, грозная, бѣшеная, вооруженная свитымъ изъ змѣй бичомъ, сатира въ образѣ Немезиды, бросающей молніи изъ очей, съ пѣной у рта, такая сатира возможна только или у народа, который уже пережилъ самого себя, для котораго уже нѣтъ ни выхода, ни будущаго, или у народа, который еще полонъ свѣжихъ силъ жизни, но уже созналъ причины, которыя удерживаютъ его стремленіе на пути дальнѣйшаго развитія. Ни то, ни другое положеніе не могло относиться къ Россіи временъ Кантемира. Прогрессъ, который тогда для нея былъ возможенъ, весь заключался больше въ формѣ, нежели въ духѣ, слѣдовательно былъ слишкомъ внѣшенъ, и потому не могъ имѣть слишкомъ сильныхъ и опасныхъ враговъ. Эти враги были больше смѣшны, нежели страшны, и для нихъ нуженъ былъ не свистящій бичъ ювеналовской сатиры, а легкая лоза насмѣшки и ироніи. И въ этомъ отношеніи сатиры Кантемира были именно такими, какія тогда были нужны и могли быть полезны. Первая сатира, «На хулящихъ ученіе», особенно богата смѣшными чертами и вѣрными снимками съ общества того времени. Поэтъ дѣлаетъ обращеніе къ

уму своему, прося его не понуждать его рукъ къ перу. Можно, говоритъ поэтъ, и не писавши достичь славы: вѣдь въ нашъ вѣкъ къ ней ведутъ многіе пути; а изъ нихъ самый трудный и невыгодный—тотъ, «что босы проклали девять сестръ».

. . . . . Кто надъ столомъ гнется,
Пяля на книгу глаза, большихъ не добьется
Палатъ, ни расцвѣчена мраморами саду;
Овцы не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду.
Правда, въ нашемъ молодомъ монархѣ*) надежда
Восходитъ музамъ не мала: со стыдомъ невѣжда
Бѣжитъ его. Аполлонъ славы въ немъ защиту
Своей не слабу почулъ, чтяща свою свиту
Видѣлъ его самого, и во всемъ обильно
Тщится множить жителей Парнасскихъ онъ сильно:
Но та бѣда, многіе въ царѣ похваляютъ
За страхъ то, что̀ въ подданномъ дерзко осуждаютъ.

Какъ ловко выражена мысль двухъ послѣднихъ стиховъ! За ними слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго общества, написанныхъ мастерской кистью. Поэтъ заставляетъ невѣждъ, подъ вымышленными именами, говорить филиппики противъ просвѣщенія. И каждый изъ этихъ антагонистовъ свѣта Божія высказывается сообразно своему характеру, и ни одинъ изъ нихъ не повторяетъ другого.

«Расколы и среси наукъ суть дѣти,
Больше вретъ, кому далось больше разумѣти,
Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ»,
Критонъ съ чотками въ рукахъ ворчитъ и вздыхаетъ,
И *проситъ свята душа съ горькими слезами*
Смотрѣть, сколь сьмя наукъ вредно между нами:
«Дѣти наши, что̀ предъ тѣмъ тихи и покорны
Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
Службѣ, *съ страхомъ слушая, что сами не знали,*
Теперь, къ церкви соблазну, Библію честь стали,
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало вѣры подая священному чину;
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;
Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ,
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишну чаютъ,
Шепча, что *тьмъ, что̀ мірной жизни ужъ отстали,*
Помыслы и вотчины весьма не пристали».
Сильванъ другую вину наукамъ находитъ:
«Ученіе, говоритъ, намъ голодъ наводитъ;
Живали мы прежъ сего, не зная латынѣ,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ,
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.
Буде рѣчь моя слаба, буде нѣтъ въ ней чину,
Ни связи, должноль о томъ тужить дворянину:
Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхъ то есть дѣло;
Знатнымъ полно подтверждать, иль отрицать смѣло.
Съ ума сошолъ, кто души силу и предѣлы
Испытаетъ, кто въ поту томится дни цѣлы,
Чтобъ строй міра и вещей вывѣдать премѣну
Иль причину; глупо онъ лѣпитъ горохъ въ стѣну.
Приростетъ ли мнѣ съ того день къ жизни иль въ ящикъ
Хоть грошъ? могуль чрезъ то узнать, что̀ приказчикъ,
Что̀ дворецкій крадетъ въ годъ? какъ прибавить воду
Въ мой прудъ? какъ бочекъ число съ винаго заводу?
Не умнѣе, кто глаза, полонъ безпокойства,
Коптитъ печась при огнѣ, чтобъ вызвать рудъ свойства;
Вѣдь не теперь мы твердимъ, что̀ буки, что̀ вѣди;
Можно знать различіе злата, сребра, мѣди.
Травъ, болѣзней знаніе — все то̀ голы враки;
Глава ль болитъ? тому врачъ ищетъ въ рукѣ знаки;
Всему въ насъ виновна кровь, будетъ ему вѣру
Нять хощешь. Слабѣемъ ли? — кровь тихо чрезмѣру
Течетъ; если спѣшно — жаръ въ тѣлѣ ответъ смѣло
Дастъ, *хотя внутрь никто видѣлъ живо тьло.*
А пока въ басняхъ такихъ время онъ проводитъ,
Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его входитъ.
Къ чему звѣздъ теченіе числить, и ни къ дѣлу,
Ни кстати за однимъ ночь пятномъ не спать цѣлу?
За любопытствомъ однимъ лишиться покою,
Ища — солнце ль движется, или мы съ землею?
Въ часовникѣ можно честь на всякій день года
Число мѣсяца и часъ солнечнаго всхода.
Землю въ четверти дѣлить безъ Евклида смыслимъ;
Сколько копьекъ въ рублѣ, безъ алгебры счислимъ,
. . . . . .
Румяный, трожды рыгнувъ, Лука подпѣваетъ:
«Наука содружество людей разрушаетъ;
Люди мы къ сообществу Божія тварь стали
Не въ нашу пользу одну смысла даръ пріяли:
Что̀ же пользы иному, когда я запруся
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ лишуся?
Когда все содружество, вся моя ватага
Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?
Въ весельи, въ пирахъ мы жизнь должны проводжати;
И такъ она недолга: на что коротати,
Крушиться надъ книгою и повреждать очи?
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?
Вино — даръ божественный, много въ немъ провору;
Дружитъ людей, подаетъ поводъ къ разговору,
Веселитъ, всѣ тяжкія мысли отымаетъ,
Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,
Жестокихъ мягчитъ сердца, угрюмость отводитъ,
Любовникъ лучше виномъ въ цѣль свою доходитъ.
Когда по небу сохой бразды водить станутъ,
А съ поверхности земли звѣзды ужъ проглянутъ,
Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры [рѣки,
И возвратятся назадъ минувшіе вѣки; Когда въ постъ чернецъ одну ѣсть станетъ визигу,
Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу».
Медоръ тужитъ, что чрезчуръ бумаги исходитъ
На письмо, на печать книгъ, а ему приходитъ,
Что не во что̀ завертѣть завитыя кудри;
Не смѣнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры.

*) Поэтъ говоритъ о Петрѣ Второмъ, которому тогда было четырнадцать лѣтъ. Онъ въ дѣтствѣ съ особенной ревностью учился, а впослѣдствіи подтвердилъ данныя его предшественниками привилегіи Академіи наукъ и назначилъ ея членамъ и даже чиновникамъ постоянные оклады.

Предъ *Егоромъ* [1]) двухъ денегъ Виргилій не стоитъ,
Рексу [2]), не Цицерону, похвала достоитъ.

Обращаясь вновь къ своему уму и доказывая ему безплодность борьбы съ невѣждами, сатирикъ говоритъ:

Гордость, лѣность, богатство, мудрость одолѣло;
Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:
Подъ митрой гордится, то въ шитомъ платьѣ ходитъ,
Судитъ за краснымъ сукномъ, смѣло полки во-
Наука ободрана въ лоскутахъ обшита, [дитъ.
Изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита,
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ съ науки!
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки!
Коли кто карты мѣшать, разныхъ винъ вкусъ знаетъ,
Танцуетъ, на дудочкѣ пѣсни три играетъ,
Смыслитъ искусно прибрать въ своемъ платьѣ [цвѣты,—
Тому ужъ и въ самыя молодыя лѣты
Всякая высша степень—мзда ужъ не велика,
Седми мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лика.

Вторая сатира, «Филаретъ и Евгеній», написанная мѣсяца черезъ два послѣ первой, нападаетъ «на зависть и гордость дворянъ злонравныхъ». Это впрочемъ чуть ли не слабѣйшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Въ ней больше разсужденій, больше морали, нежели жолчи. Впрочемъ и въ ней есть мѣста замѣчательныя.

Вотъ напримѣръ картина жизни фата или льва того времени:

Пѣлъ пѣтухъ, встала заря, лучи освѣтили
Солнца верхи горъ; тогда войско выводили
На поле предки твои, а ты подъ парчою,
Углубленъ мягко въ пуху тѣломъ и душою,
Грозно сопешь; когда дня пробѣгутъ двѣ доли,
Зѣвнешь, растворишь глаза, выспишься до воли,
Тянешься ужъ часъ другой, нѣжишься ожидая
Пойла, что̀ шлетъ Индія иль везутъ съ Китая.
Изъ постели къ зеркалу однимъ спрыгнешь скокомъ,
Тамъ ужъ въ попеченіи и трудѣ глубокомъ,
Женскихъ достойную плечъ завѣску на спину
Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ чину.
Часть надъ плоскимъ лбомъ торчать будутъ становиты,
По румянымъ часть щекамъ въ колечки завиты
Свободно станетъ играть, часть уйдетъ за темя
Въ мѣшокъ. Дивится тому строенію племя
Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарцисъ, жадно
Глотаешь очьми себя; нога жмется складно
Въ тѣсномъ башмакѣ твоя, потъ со слугъ валится,
Въ двѣ мозоли и тебѣ красота становится;
Избитъ полъ и подъ башмакъ стерто много мѣлу.
Деревню вздышешь потомъ на себя ты цѣлу.

Дальнѣйшее описаніе облаченія фата и въ особенности слова сатирика на счетъ того, какъ хорошо воспользовался фатъ своимъ путешествіемъ по Европѣ, чрезвычайно забавны, за исключеніемъ устарѣлаго языка, слога и силлабическаго стихосложенія. Пусть читатели сами повѣрятъ справедливость нашихъ словъ, прочтя эту сатиру всю, а мы выпишемъ изъ нея еще вотъ эти стихи:

Бѣдныхъ слезы предъ тобой льются, пока злобно
Ты смѣешься нищетѣ; каменный душою
Бьешь холопа до крови, что махнулъ рукою
Вмѣсто правой лѣвою (звѣрямъ лишь прилична
Жадность крови; *плоть въ слугѣ твоей одномична*).
Мало, правда, ты копишь денегъ, но къ нимъ жаденъ:
Мотъ почти всегда живетъ сребролюбьемъ сраденъ,
И все законно онъ мнитъ, что̀ ужъ истощенной
Можетъ дополнить мѣшокъ; нужды совершенной
Стала ему золота куча, безъ которой
Прохладамъ долженъ своимъ конецъ видѣть скорой.

Въ этомъ отрывкѣ есть стихи (не указываемъ на нихъ: человѣческое чувство читателя ихъ угадаетъ и безъ насъ), которые могутъ служить торжественнымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что наша литература, даже въ самомъ началѣ ея, была провозвѣстницей для общества всѣхъ благородныхъ чувствъ, всѣхъ высокихъ понятій. Да, она умѣла не только льстить, но и выговаривать святыя истины о человѣческомъ достоинствѣ. Самая лесть у ней была не столько убѣжденіемъ, сколько, во-первыхъ, подчиненіемъ всѣми принятому обычаю, а во-вторыхъ, риторической манерой. До поэзіи достигала она и у самого Державина только тамъ, гдѣ онъ переставалъ быть поэтомъ въ духѣ времени и становился просто человѣкомъ. Простимъ же ей, нашей старой литературѣ, ея грѣхи, вольные и невольные, и будемъ ей благодарны за то, что она, и только одна она, была воспитательницей юнаго, созданнаго Петромъ Великимъ, общества, отъ Кантемира до нашихъ временъ. По мнѣ, нѣтъ цѣны этимъ неуклюжимъ стихамъ умнаго, честнаго и добраго Кантемира:

. . . . . Лучшую дорогу
Избралъ, кто правду всегда говорить принялся;
Но и кто правду молчитъ, виновенъ не сталея,
Буде ложью утаить правду не посмѣетъ.
Счастливъ, кто средины оной держаться умѣетъ;
Умъ свѣтлый нуженъ къ тому, разговоръ пріятный,
Учтивость приличная, что даетъ родъ знатный.
Ползать не совѣтую, хоть спѣсь гнушаюсь,
. . . . . .
Адамъ дворянъ не родилъ, по одному сыну
Жребій былъ копать садъ, пасть другому скотину;
Ной въ ковчегѣ съ собою спасъ все себѣ равныхъ
Простыхъ земледѣтелей, нрава лишь славныхъ:
Отъ нихъ мы произошли, одинъ пораньше
Оставя дудку, соху, другой — попозднѣе.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же предмету, выпишемъ теперь же

[1]) Славный сапожникъ того времени въ Москвѣ.
[2]) Славный портной того времени въ Москвѣ.

изъ шестой сатиры стихи, въ которыхъ Кантемиръ казнитъ насмѣшкой добровольное униженіе человѣческаго достоинства низкопоклонствомъ и лестью:

Съ пѣтухами пробудясь, нужно потащиться
Изъ дому въ домъ на поклонъ, въ передникъ томиться,
Полдня торчать на ногахъ съ холопы въ бесѣдѣ,
Ни сморкнуть, ни кашлянуть смѣя. По обѣдѣ
Та же жизнь до вечера; ночь вся безпокойно
Пройдетъ, думая къ тому поутру пристойно
Еще бѣжать, передъ кѣмъ гнуть шею и спину,
Что̀ слугѣ въ подарокъ, что̀ понесть господину,
Нужно часто полыгать, небылицѣ вѣрить,
Что одною скорлупою можно море смѣрить;
Господскую сносить спѣсь, признавать, что ро- [домъ
Моложе Владиміра однимъ только годомъ,
Хоть ты помнишь, какъ отецъ носилъ кафтанъ
Кривую жену его называть Венерой. [сѣрой,
И въ шальныхъ дѣтяхъ хвалить остроту природну;
Не зѣвать, когда онъ самъ несетъ сумасбродну.
Нужно благодѣтелемъ звать того, другого,
Отъ кого вѣкъ не видать добра никакого...

Третья сатира, «Къ Ѳеофану, епископу новгородскому», написанная въ 1730 году, разсуждаетъ о различіи страстей человѣческихъ. Тутъ осмѣиваются сребролюбцы, сплетники, болтуны, ханжи, самолюбцы, пьяницы, завистники и т. п. Въ четвертой сатирѣ, написанной въ 1731 г., Кантемиръ спрашиваетъ свою музу, не пора ли имъ перестать писать сатиры?

. . . . . Многимъ тѣ нелюбы,
И ворчитъ ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ дѣла,
Тамъ мѣшаюсь, и кажу себя чрезчуръ смѣла.

Ты (говоритъ онъ своей музѣ) смѣло хулишь и находишь свое веселіе въ томъ, чтобы бѣсить злыхъ, «а я вижу, что въ чужомъ пиру мнѣ похмѣлье». Одинъ (продолжаетъ сатирикъ) хочетъ потянуть меня къ суду, что, нападая на пьяницъ, «умаляю кружальные доходы»; другой, похваляясь, что отъ доски до доски прочелъ Библію острожской печати, убѣдился изъ нея, что «во мнѣ нечистый духъ злословитъ бороду»; третій сердится, что нападаю на взятки. Тогда сатирикъ, желая перемѣнить грубый тонъ на вѣжливый, начинаетъ иронически хвалить глупцовъ и негодяевъ; но это доводитъ его до сознанія, что онъ не умѣетъ и въ шутку хвалить того, что̀ считаетъ дурнымъ.

. . . . . когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нравъ сломить стараюсь,—
Сколько ногти ни грызу, и тру лобъ вспотѣлый,
Съ трудомъ стишка два сплету, да и тѣ не спѣлы,
Жостки, досадны ушамъ, и на тѣ походятъ,
Что по цѣлой азбукѣ святыхъ жить водятъ *).
Духъ твой лѣнивъ, и въ зубахъ вязнетъ твое слово
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;
А какъ въ нравахъ вредно что̀ усмотрю, умняе
Самъ ставши, подъ перомъ стихъ течетъ скоряе;
Тогда я стихотворцемъ самъ себя поздравлю,
И чтецовъ моихъ звать тщетно не заставлю;
Проворенъ, веселъ спѣшу, какъ вождь на побѣду,
Иль какъ почъ съ похоронъ къ жирному обѣду.

Кантемиръ заключаетъ эту сатиру тѣмъ, что сатиры могутъ не нравиться только дурнымъ людямъ и глупцамъ, на которыхъ нечего смотрѣть:

Такимъ однимъ сатира наша быть противна
Можетъ; да ихъ нечего щадить, и не дивна
Мнѣ любовь ихъ, какъ и гнѣвъ ихъ мнѣ страшенъ мало.
Просить у нихъ не хочу, съ ними не пристало
Вестись, чтобъ не почернѣть, касался сажи;
Вредить не могутъ тѣ мнѣ, пока въ сильной
Нахожуся матери отечества пазой. [стражи
Акоимъ Богъ чистой духъ далъ и разумъ здравой,
Беззлобны беззлобные наши стихи взлюбятъ,
И охотно станутъ честь, надѣясь, что сгубятъ
Можетъ быть или уменьшатъ злые людей нравы.
Сколько тѣмъ придастся имъ и пользы, и славы!

Въ этихъ стихахъ — весь Кантемиръ! Этотъ человѣкъ не былъ поэтомъ; непосредственный художественный талантъ не былъ его удѣломъ. Его поэзія—поэзія ума, здраваго смысла и благороднаго сердца. Кантемиръ въ своихъ стихахъ — не поэтъ, а публицистъ, пишущій о нравахъ энергически и остроумно. Насмѣшка и иронія — вотъ въ чемъ заключался талантъ Кантемира.

Пятая сатира, «Сатиръ и Періергъ», написанная въ 1737 г. въ Лондонѣ, устремлена «на человѣческія злонравія вообще». Ея форма очень изысканна, и въ цѣломъ она скучна; но подробности есть удивительныя, какъ напримѣръ это мѣсто:

Болваномъ Макаръ вчера казался народу,
Годенъ лишь дрова рубить или таскать воду;
О безуміи его худая шла повѣсть,
Углемъ чернымъ всякъ пятналъ его плоху со- [вѣсть.
Улыбнулося тому жъ счастіе Макару,—
И сегодня временщикъ: ужъ совсѣмъ подъ-пару
Честнымъ, знатнымъ, искуснымъ людямъ становится,
Всякъ уму наперерывъ чудному дивится.
Сколько пользы отъ него царство ждать имѣетъ,
Поправить взглядомъ однимъ все легко умѣетъ.
Чѣмъ бывшій глупецъ предъ нимъ народъ весь озлобилъ;
Богъ въ благополучіе ваше его собилъ.

Заключеніе этой сатиры особенно забавно. Исчисляя разныя человѣческія глупости, сатирикъ говоритъ:

Пахарь, соху ведучи иль оброкъ считая,
Не однажды привздохнетъ, слезы отирая:
За что-де меня Творецъ не сдѣлалъ солдатомъ?

*) Вотъ примѣчаніе, изъ изданія 1762 г., на этотъ стихъ: «нѣкто, прозваніемъ *Максимовичъ*, стихами описалъ и по азбукѣ расположилъ житія святыхъ печерскихъ. Сія книга напечатана въ Кіевѣ въ листъ и пальца въ два толщины; однакожъ въ ней, кромѣ именъ святыхъ и государя царевича Алексѣя Петровича, которому приписана, ничего путнаго не найдешь».

Не ходилъ бы въ сѣрякѣ, но въ платьѣ богатомъ,
Зналъ бы лишь одно свое ружье да капрала,
На правежѣ бы нога моя не стояла.
Для меня бъ свинья моя только поросилась,
Съ коровы мнѣ бъ молоко, мнѣ бъ куря неслилась,
А то все приказчицѣ, стряпчицѣ, княгинѣ
Понеси въ поклонъ, а самъ жирѣй на мякинѣ.
Пришолъ наборъ, пахаря вписали въ солдаты:
Не однажды дымные вспомнитъ ужъ палаты,
Проклинаетъ жизнь свою въ зеленомъ кафтанѣ,
Десятью заплачетъ въ день по сѣромъ жупанѣ.
Толь не житье было мнѣ, говоритъ, въ крестьянствѣ?

Правда, тогда не ходилъ я въ такомъ убранствѣ;
Да лѣтомъ въ подклѣтѣ я, на печи зимою
Сыпалъ, въ дождикъ изъ избы я вонъ ни ногою;
Заплачу подушное, оброкъ господину,
Какую жъ больше найду я тужить причину?
Щей горшокъ, да самъ большой, хозяинъ я дома,
Хлѣба у меня черезъ годъ, а скотамъ солома.
Дальна ѣзда мнѣ была съѣздить въ торгъ для соли
Иль въ праздникъ пойти въ село, и то съ доброй воли!

А теперь—чортъ, не житье, волочись по свѣту,
Все бы рубашка бѣла, а вымыть чѣмъ нѣту;
Ходи въ штанахъ, вознеся за ружьемъ пострѣлымъ,
И гдѣ до смерти всѣхъ бьютъ надобно быть смѣлымъ.

Ни выспаться нѣкогда, часто нѣтъ что кушать;
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать.
Чернецъ тотъ, коль день назадъ чрезмѣрну охоту
Имѣлъ ходить въ клобукѣ, и всяку работу
Въ церкви легку сказывалъ, прося со слезами,
Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ счетѣ чинами,—

Сегодня не то постъ: радъ бы скинуть рясу,
Скучили ужъ сухари, полетѣлъ бы къ мясу;
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣльцомъ быти,
Нѣтъ мочи ужъ ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ слыти.

Шестая сатира, написанная въ 1738 г., разсуждаетъ «о истинномъ блаженствѣ». Сатирикъ доказываетъ въ ней, что истинное счастье заключается въ благоразумной серединѣ и въ бесѣдѣ съ музами. Седьмая сатира, «Къ князю Никитѣ Юрьевичу Трубецкому», написанная въ 1739 году въ Парижѣ, разсуждаетъ «о воспитаніи». Эта сатира исполнена такихъ здравыхъ, гуманныхъ понятій о воспитаніи, что стоила бы и теперь быть напечатанной золотыми буквами; и не худо было бы, еслибы вступающіе въ бракъ предварительно заучивали ее наизусть.

Вотъ нѣсколько отрывковъ на выдержку:

Завсегда дѣтямъ твердя строгіе уставы,
Наскучишь; истребишь въ нихъ всяку любовь славы,
Если часто предъ людьми обличать ихъ станешь:
Дай имъ время и играть; самъ себя обманешь,
Буде станешь торопить лишно спѣша дѣло;
Наединѣ исправлять можешь ты ихъ смѣло.
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей исправитъ,
Нежъ суровость въ цѣлый годъ; кто часто заставитъ
Дрожать сына предъ собой, хвальну въ немъ загладитъ
Смѣлость, и безвременно торопѣть повадитъ.
Счастливъ кто надеждою похвалъ взбудить знаетъ
Младенца; много къ тому примѣръ пособляетъ:
Относятъ къ сердцу глаза вѣсть уха скорѣе.
. . . . . .
Не одни тѣ растятъ насъ, коимъ наше дѣтство
Вѣрено; со всѣхъ сторонъ находитъ посредство
Вскользнуться внутрь сердца нравъ: *все,* что окружаетъ
Младенца, произвести въ немъ нравъ помогаетъ.
. . . . . .
Обычно цвѣтъ чистоты первый увядаетъ
Отрока въ объятіяхъ рабыни; и знаетъ
Унесши младенецъ, что небомъ и землею
Отлыгаться предъ отцомъ наставленъ слугою.
Слуги язва суть дѣтей; родителей злѣе
Всѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы честнѣе,
Еслибъ и мать, и отецъ предъ младенцемъ знали
Собой владѣть, и языкъ свой въ уздѣ держали.

Повторяемъ: такія мысли о воспитаніи и теперь скорѣе новы, нежели стары.

Восьмая сатира, «На безстыдну нахальчивость», написанная въ 1739 году въ Парижѣ, заключаетъ въ себѣ понятіе сатирика о скромности. Онъ говоритъ о томъ, какъ осторожно пишетъ свои стихи, не лѣнится ихъ «хѣрить», прячетъ на долго въ ящикъ и, сбираясь печатать, выправляетъ.

Стыдливымъ, боязливымъ и всегда собою
Недовольнымъ быть во мнѣ природы рукою
Втиснено, иль отеческимъ совѣтомъ изъ дѣтства.

Въ параллель себѣ, сатирикъ противопоставляетъ людей наглыхъ и безстыдныхъ. —Кантемиръ началъ было и девятую сатиру, но за болѣзнью не могъ ея написать.

Мелкія стихотворенія Кантемира любопытны, но не столько, какъ поэтическія произведенія, сколько какъ произведенія человѣка съ умомъ и сердцемъ. Если хотите, въ нихъ есть своя гармонія, свой ритмъ; замѣтна поэтическая идя, лучше сказать, стихотворческая замашка; но поэзіи мало. Кантемиръ писалъ пѣсни, басни и эпиграммы. Пѣсни его раздѣляются на любовныя и на нравственныя. Первыя остались не напечатанныя и вѣроятно погибли для потомства,—что очень жаль, потому-что, по словамъ самого Кантемира, они имѣли большой успѣхъ: онъ самъ говоритъ въ четвертой сатирѣ:

Довольно моихъ поютъ пѣсней и дѣвицы
Чистыя, и отроки, коихъ отъ денницы
До другой невидимо колетъ любви жало.

А въ примѣчаніи къ этимъ стихамъ сказано: «сатирикъ сочинилъ многія пѣсни, которыя въ Россіи и понынѣ поются». Кантемиръ какъ бы раскаивается въ этихъ пѣсняхъ, какъ въ грѣхѣ своей юности; въ этой же сатирѣ онъ говоритъ:

Любовны пѣсни писать, я чаю, тѣхъ дѣло,
Коихъ столько умъ не спѣлъ, сколько слабо тѣло.

Вотъ образчикъ нравственныхъ пѣсенъ Кантемира:

Видишь, Никита, какъ крылато племя
Ни землю пашетъ, ни жнетъ, ниже сѣетъ;
Отъ руки вышней однакъ въ свое время
Пищу довольну, жизнь продлить, имѣетъ.
Лилеи въ полѣ, какъ зришь, многоцвѣтной
Ни прядетъ, ни тчетъ; царь мудрый Сіона
Однако въ славѣ своей столь примѣтной
Не имѣлъ одежды. Ты голосъ закона,
Въ сердцахъ природа кой отъ вѣкъ вложила,
И Богъ во плоти подтвердилъ, внушая,
Что честно, благо, пусть того лишь сила
Тобой владѣетъ, злости убѣгая, и пр.

Изъ этого отрывка достаточно видно, что преобладающее направленіе Кантемира было не поэтическое, а дидактическое, и что трудность выражаться на языкѣ не только необработанномъ, даже не тронутомъ, много мѣшала ясности и красотѣ его слога. Басни Кантемира интересны, какъ первые опыты въ этомъ родѣ—не самаго автора, а русскаго языка. Ихъ впрочемъ немного—всего шесть. Изъ девяти эпиграммъ выпишемъ одну для образчика.

На что Друзъ Лиду беретъ?—Дряхла ужъ и сѣда,
Съ трудомъ ножку воробья сгрызетъ въ полобѣда.
Къ старинѣ охотникъ Друзъ, въ томъ забаву ставитъ;
Лидой медалей число собранныхъ прибавитъ.

Наконецъ, къ числу стихотворческихъ трудовъ Кантемира принадлежатъ еще «Десять Писемъ Горацієвыхъ», стихами безъ риѳмъ, съ приложеніемъ письма о русскомъ стихосложеніи, подъ вымышленнымъ именемъ Макетина, «Оды Анакреонтовы» (были ли напечатаны, когда и гдѣ, или не были напечатаны — неизвѣстно). Сверхъ того Кантемиръ предупредилъ Ломоносова въ намѣреніи — воспѣть въ эпической поэмѣ подвиги Петра Великаго: поэма Ломоносова называлась «Петріадой», Кантемира — «Петреидой» и, подобно первой, не была кончена *).

Всѣ эти стихотворные, равно какъ и прозаическіе труды Кантемира очень важны, какъ первые опыты, которые должны были и другихъ подвигнуть къ литературной дѣятельности; важны они еще и какъ первый памятникъ тяжелой борьбы умнаго, ученаго и даровитаго писателя съ трудностями языка, не только не разработаннаго, но и нетронутаго, подобно полю, которое, кромѣ дикихъ самородныхъ травъ, ничего не произращало. Перо Кантемира было первымъ плугомъ, который прошелъ по этому полю. Скажутъ: у насъ и до Кантемира была словесность. Такъ, но какая? теологически-схоластическая или лѣтописная, или, наконецъ, состоявшая изъ произведеній народной поэзіи. Но честь усилія—найти на русскомъ языкѣ выраженіе для идей, понятій и предметовъ совершенно новой сферы,—сферы европейской, принадлежитъ прямѣе всѣхъ Кантемиру. И еще большее и высшее значеніе имѣютъ его сатиры. Здѣсь Кантемиръ является первымъ писателемъ, вызваннымъ реформой того Петра Великаго, образъ и духъ котораго глубоко впечатлѣлся еще въ юношеской душѣ будущаго сатирика. Такимъ образомъ Кантемиръ былъ первымъ сподвижникомъ Петра на такомъ поприщѣ, котораго Петръ не дождался увидѣть, но которое, какъ и все въ Россіи, приготовлено имъ же. О, какъ бы горячо обнялъ великій преобразователь Россіи двадцатилѣтняго стихотворца, еслибы дожилъ до его первой сатиры! Но за Петра это сдѣлалъ одинъ изъ птенцовъ его ординаго гнѣзда—Ѳеофанъ Прокоповичъ. Сатиры Кантемира—подражаніе и большей частью то переводъ, то передѣлка сатиръ Горація, Буало и частью Ювенала: но тѣмъ не менѣе онѣ—въ высшей степени оригинальныя произведенія: такъ умѣлъ Кантемиръ примѣнить ихъ къ быту и потребностямъ русскаго общества! Онъ не нападаетъ въ нихъ на пороки, свойственные созрѣвшимъ или перезрѣвшимъ цивилизаціямъ: нѣтъ, онъ нападаетъ на фанатизмъ невѣжества, на предразсудки современнаго ему русскаго общества. Во второй сатирѣ онъ осмѣиваетъ дворянскую спѣсь — порокъ столь же свойственный русскимъ, сколько и всякому другому народу въ Европѣ; но колоритъ этого порока, равно какъ и манера нападать на него въ его сатирѣ—чисто русскіе. Короче: подражая Горацію и Буало, Кантемиръ до того обрусилъ ихъ въ своихъ сатирахъ, что аббатъ Гуаско не усомнился перевести ихъ на французскій языкъ, какъ произведенія, которыя для французовъ могли имѣть всю прелесть оригинальности. И вотъ въ чемъ состоитъ великая заслуга Кантемира не только передъ русскимъ языкомъ или русской литературой, но и передъ русскимъ обществомъ

*) Труды Кантемира въ прозѣ были слѣдующіе: 1) *Разговоры о множествѣ міровъ, соч. Фонтенелла*, перев. съ франц. Санктпетербургъ; три изданія (когда вышло первое изданіе, неизвѣстно; второе—въ 1761, третье—въ 1802); оставшіеся въ рукописи: 2) *Юстинова исторія;* 3) *Корнелій Непотъ;* 4) *Кевита таблица;* 5) *Письма Персидскія Монтескьё;* 6) *Епиктетово нравоученіе;* 7) *Итальянскіе разговоры Алеротти о свѣтѣ.* Всѣ эти переводы интересны, какъ живой памятникъ первой борьбы русскаго языка съ европейскими идеями, и какъ факты исторіи русскаго языка. Сверхъ того осталось въ рукописи сочиненіе Кантемира: *Руководство къ Алгебрѣ*, и никогда не были обнародованы его дипломатическія изъ Лондона и Парижа реляціи, письма, замѣчанія, вѣроятно очень любопытныя не въ одномъ литературномъ отношеніи. Изъ напечатанныхъ его сочиненій извѣстно еще: *Симфонія или согласіе на боговдохновенную книгу псалмовъ царя и пророка Давида* (Спб. 1727, второе изданіе 1821). Это сводъ всѣхъ стиховъ псалтыря, по азбучному порядку, для удобнѣйшаго пріисканія текстовъ.

его времени. Теперь вопросъ: какъ велико было вліяніе сатиръ Кантемира на русское общество, въ которомъ грамотность была мало распространена, а о литературности не было и помина? Сатиры Кантемира изданы гораздо послѣ его смерти (въ 1762 г.), но съ его собственноручнаго списка, посланнаго имъ изъ Парижа къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, съ посвященіемъ ей. Онѣ снабжены многочисленными подробными примѣчаніями въ выноскахъ, кѣмъ писанными—неизвѣстно, но, кажется, не самимъ Кантемиромъ. При каждой сатирѣ въ примѣчаніи говорится: издана въ такое-то время; но, кажется, здѣсь слово «издана» значитъ ни больше, ни меньше, какъ — написана, и при жизни Кантемира, кажется, ни одна сатира его не была напечатана. Но тѣмъ не менѣе не подвержено никакому сомнѣнію, что сатиры Кантемира, какъ и всѣ его стихотворныя произведенія, пользовались большой извѣстностью въ обществѣ того времени. Самъ Кантемиръ говоритъ о большомъ успѣхѣ его любовныхъ пѣсенъ. Рукописныя сатиры свои онъ прислалъ императрицѣ: значитъ, онѣ были ей извѣстны и прежде, а если такъ: значитъ, на нихъ всѣ смотрѣли, какъ на что-то важное. Если ихъ читала императрица, то читалъ и весь дворъ. Сверхъ того онѣ нашли себѣ большую извѣстность и большое одобреніе въ духовенствѣ, между которымъ было тогда много людей ученыхъ и образованныхъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ до того былъ восхищенъ первой сатирой Кантемира, что написалъ къ ихъ автору, не зная его, извѣстное посланіе, которое начинается стихомъ: «Не знаю, кто ты, пророче рогатый», и которое дышитъ неподдѣльнымъ восторгомъ. Новоспаскій архимандритъ Ѳеофилъ Кроликъ привѣтствовалъ Кантемира тоже посланіемъ въ стихахъ, только на латинскомъ языкѣ. О чемъ говорятъ и чѣмъ интересуются высшіе представители общества по уму, образованности и знатности, — о томъ, разумѣется, говоритъ и общество. Поэтому очень могло быть, что сатиры Кантемира скоро пошли разгуливать въ спискахъ по всей Россіи между грамотнымъ народомъ. Это тѣмъ естественнѣе, что въ сатирахъ Кантемира почти вовсе нѣтъ или есть очень мало риторики, что въ нихъ говорится только о томъ, что у всѣхъ было передъ глазами, и говорится не только русскимъ языкомъ, но и русскимъ умомъ. Въ жизнеописаніи Кантемира сказано, что всѣ сатиры его имѣли большой успѣхъ, и что «многіе его стихи пошли въ пословицы». И не мудрено: въ сатирахъ Кантемира попадаются стихи до того забавные и наивно-остроумные, что невольно остаются въ памяти. Таковы напримѣръ эти два стиха въ первой сатирѣ:

И проситъ свята душа съ горькими слезами
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами.

Таковы же стихи, которые приведемъ изъ разныхъ сатиръ.

Ябеда и ся другъ дьякъ или подъячій.

—

. . . . . Безъ всякой украсы
Болтнешь, что не дѣлаютъ черница одиѣ рясы.

—

Сегодня одинъ изъ тѣхъ дней святъ Николаю,
Для чего весь городъ пьянъ отъ края до краю.

—

Вино долженъ перевесть, кто пьяныхъ не любитъ.

—

Пространный столъ, что семьѣ поповской съѣсть трудно,
Въ тридцать блюдъ, еще ему мнилось яство скудно.

—

Мнѣ ли въ такомъ возрастѣ поправлять довлѣетъ
Сѣдыхъ, пожилыхъ людей, кои чтутъ съ очками,
И чуть три зуба сберечь могли за губами;
Кои помнятъ моръ въ Москвѣ, и какъ сего года
Дѣла Чигиринскаго сказуютъ похода.

Послѣдній стихъ невольно приводитъ на память стихи Грибоѣдова:

Извѣстья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ
Временъ очаковскихъ и покоренья Крыма.

Кантемиръ, по своему болѣзненному сложенію, меланхолическому характеру, былъ наклоненъ къ нравственному дидактизму. Немножко суровый моралистъ (что̀ доказываетъ его раскаяніе въ любовныхъ пѣсняхъ) и весьма остроумный человѣкъ, Кантемиръ любилъ только избранное общество, слѣдовательно не любилъ общества вообще, которое оскорбляло его своими пороками и недостатками; такой характеръ предполагаетъ раздражительность и любовь къ уединенію. Всѣ эти обстоятельства необходимо дѣлали Кантемира сатирикомъ. По языку неточному, неопредѣленному, по конструкціи часто запутанной, не говоря уже о страшной устарѣлости въ наше время того и другого, по стихосложенію, столь несвойственному русской просодіи, сатиры Кантемира нельзя читать безъ нѣкотораго напряженія, тѣмъ болѣе нельзя ихъ читать много и долго. Но, несмотря на то, въ нихъ столько оригинальности, столько ума и остроумія, такія яркія и вѣрныя картины тогдашняго общества, личность автора отражается въ нихъ такъ прекрасно, такъ человѣчно, что развернуть изрѣдка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь изъ его сатиръ есть истинное наслажденіе. По крайней мѣрѣ для меня гораздо легче и пріятнѣе читать сатиры Кантемира, нежели громозвучныя оды Ломоносова, поэмы Хераскова и даже многія оды Державина (какъ напримѣръ «На взятіе Измаила», «Цѣленіе

Саула» и т. п.); отъ всѣхъ этихъ одъ и поэмъ можно заснуть, а отъ сатиръ Кантемира проснуться. Вообще для меня Кантемиръ и Фонвизинъ, особенно послѣдній,—самые интересные писатели первыхъ періодовъ нашей литературы: они говорятъ мнѣ не о заоблачныхъ превыспренностяхъ по случаю плошечныхъ иллюминацій, а о живой дѣйствительности, исторически существовавшей, о нравахъ общества, которое такъ не похоже на наше общество, но которое было ему роднымъ дѣдушкой.

Посвященіе сатиръ Кантемира императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, по своему изобрѣтенію, напоминаетъ оду Державина «По слѣдамъ Анакреона».

О Кантемирѣ, кромѣ статьи Жуковскаго, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1809 года, почти ничего дѣльнаго писано не было. Сочиненія и переводы его большей частью остались ненапечатанными, а напечатанныя изданы врозь. Въ 1836 году кѣмъ-то было предпринято изданіе «Русскихъ Классиковъ», началось съ Кантемира, да на немъ и остановилось, кажется, на пятой сатирѣ. Изданіе было это красивое и снабженное біографіей Кантемира и необходимыми примѣчаніями. Жаль только, что примѣчанія не были слово въ слово перепечатаны съ изданій 1762 года: они необходимы, потому что характеризуютъ духъ времени, состояніе русскаго языка и общества того времени.

ПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА.

Предки наши, принужденные въ кровавыхъ бояхъ познакомиться съ *божіими дворянами* и съ берегами Невы, конечно не воображали, чтобъ на этихъ дикихъ, бѣдныхъ, низменныхъ и болотистыхъ берегахъ суждено было возникнуть Россійской Имперіи, равно какъ не воображали они, чтобы Московское царство когда-нибудь сдѣлалось Россійской Имперіей. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто можетъ предузнать явленіе генія, и можетъ ли толпа предвидѣть пути генія, хотя этотъ геній и есть не что иное, какъ мысль, разумъ, духъ и воля самой этой толпы, съ той только разницей, что все, что таится въ ней, какъ смутное предчувствіе, въ немъ является отчетливымъ сознаніемъ? Въ концѣ XVII вѣка Московское Царство не представляло собою уже слишкомъ рѣзкій контрастъ съ европейскими государствами, уже не могло болѣе двигаться на ржавыхъ колесахъ своего азіатскаго устройства; ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, и потому изъ него же самого Богъ воздвигъ ему генія, который долженъ былъ сблизить его съ Европой. Какъ всѣ великіе люди, Петръ явился въ пору для Россіи, но во многомъ не походилъ онъ на другихъ великихъ людей. Его доблести, гигантскій ростъ и гордая, величавая наружность съ огромнымъ творческимъ умомъ и исполинской волей,—все это такъ походило на страну, въ которой онъ родился, на народъ, который возсоздать былъ онъ призванъ, страну безпредѣльную, но тогда еще не сплоченную органически, народъ великій, но съ однимъ глухимъ предчувствіемъ своей великой будущности. Поэтому Петръ самъ долженъ былъ создать самого себя и средства для этого самовоспитанія найти не въ общественныхъ элементахъ своего отечества, а внѣ его, и первымъ пестуномъ его было *отрицаніе*. Совершенные невѣжды и фанатики обвиняли его въ презрѣніи къ родной странѣ; но они обманывались: Петра тѣсно связывало съ Россіей обоимъ имъ родное и ничѣмъ не побѣдимое чувство своего великаго призванія въ будущемъ. Петръ страстно любилъ эту Русь, которой самъ онъ былъ представителемъ по праву высшаго, отъ Бога истекавшаго избранія; но въ Россіи онъ видѣлъ двѣ страны,—ту, которую онъ засталъ, и ту, которую онъ долженъ былъ создать: послѣдней принадлежали его мысль, его кровь, его потъ, его трудъ, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученикъ Европы, онъ остался русскимъ въ душѣ, вопреки мнѣнію слабоумныхъ, которыхъ много и теперь, будто бы европеизмъ изъ русскаго человѣка долженъ сдѣлать не-русскаго человѣка, и будто-бы слѣдовательно все русское можетъ поддерживаться только дикими и невѣжественными формами азіатскаго быта. Москва, столица Московскаго царства, Москва, уже по самому своему положенію въ центрѣ Руси, не могла соотвѣтствовать видамъ Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому-что берега Сѣвернаго и Восточнаго океана и Каспійское море нисколько не могли способствовать сближенію Россіи съ Европой.

Надо было немедля завоевать новое море. Два моря могъ онъ имѣть въ виду для завоеванія—Черное и Балтійское. Но для перваго ему нужно имѣть Малороссію въ своемъ полномъ подданствѣ, а не подъ своимъ только верховнымъ покровительствомъ, а это совершилось не прежде, какъ по измѣнѣ Мазепы. Кромѣ того ему нужно было отнять у турковъ Крымъ и взять въ свое владѣніе обширныя степныя пустыни, прилегающія къ Черному морю, а взять ихъ во владѣніе значило—населить ихъ: трудъ несвоевременный! и притомъ къ чему бы повелъ онъ? Столица на берегу Чернаго моря сблизила бы Россію не съ Европой, а развѣ съ Турціей, и насильственно притянула бы силы Россіи къ пункту столь отдаленному, что Россія имѣла бы тогда свою столицу, такъ сказать, въ чужомъ государствѣ. Не такіе виды представляло Балтійское море. Прилежащія къ нему страны изстари знакомы были русскому мечу; много пролилось на нихъ русской крови, и оставить ихъ въ чуждомъ владѣніи, не сдѣлать Балтійскаго моря границей Россіи—значило бы сдѣлать Россію навсегда открытой для непріятельскихъ вторженій и навсегда закрытой для сношеній съ Европой. Петръ слишкомъ хорошо понялъ это, и война съ Швеціей по необходимости сдѣлалась главнымъ вопросомъ всей его жизни, главной пружиной всей его дѣятельности. Ревель и особенно Рига какъ бы просились сдѣлаться новой столицей Россіи,—мѣстомъ, гдѣ русскій элементъ лицомъ къ лицу столкнулся бы съ европейскимъ, не для того, чтобы погибнуть въ немъ, но принять его въ себя. Но Ревель и Рига сдѣлались позднѣе достояніемъ Петра, который вначалѣ хлопоталъ не изъ многаго—только изъ уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, въ ожиданіи завоеваній, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и дѣйствовать,—и потому, когда Ревель и Рига сдѣлались русскими городами,—городъ Санктпетербургъ существовалъ уже семь лѣтъ, на него было уже истрачено столько денегъ, положено столько труда, а по причинѣ Котлина острова и Невы съ ея четверным устьемъ онъ представлялъ такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положеніе, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другомъ мѣстѣ для новой столицы. Онъ давно уже смотрѣлъ на Петербургъ, какъ на свое твореніе, любилъ его, какъ дитя своей творческой мысли; можетъ-быть ему самому не разъ казалась трудной и отчаянной эта борьба съ дикой, суровой природой, съ болотистой почвой, сырымъ и нездоровымъ климатомъ, въ краю пустынномъ и отдаленномъ отъ населенныхъ мѣстъ, откуда можно было получать продовольствіе,—но непреклонная сила воли надо всѣмъ восторжествовала; геній упоренъ потому именно, что онъ—геній, и чѣмъ тяжелѣе борьба, охлаждающая слабыхъ, тѣмъ больше для него наслажденія развертывать передъ міромъ и самимъ собою все богатство своихъ неисчерпаемыхъ силъ. Торжественна была минута, когда, при осмотрѣ дикихъ береговъ Финскаго залива, впервые заронилась въ душу Великаго мысль основать здѣсь столицу будущей имперіи. Въ этой минутѣ была заключена цѣлая поэма, обширная и грандіозная: только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ея содержанія этими немногими стихами:

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ... Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко;
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ...
И думалъ Онъ:
«Отсель грозить мы будемъ шведу,
Здѣсь будетъ городъ заложенъ
На зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ,
И запируемъ на просторѣ.»

Петербургъ строился экспромптомъ: въ мѣсяцъ дѣлалось то, чего бы стало дѣлать на годъ. Воля одного человѣка побѣдила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всѣмъ разсчетамъ вѣроятностей, захотѣла забросить столицу Россійской Имперіи въ этотъ непріязненный и враждебный человѣку природой и климатомъ край, гдѣ небо блѣдно-зелено, тощая травка мѣшается съ ползучимъ верескомъ, сухимъ мохомъ, болотными порослями и сѣрыми кочками; гдѣ царствуютъ колючая сосна и печальная ель и не всегда нарушаетъ ихъ томительное однообразіе чахлая береза—это растеніе сѣвера; гдѣ болотистыя испаренія и разлитая въ воздухѣ сырость проникаютъ и каменныя дома, и кости человѣка; гдѣ нѣтъ ни весны, ни лѣта, ни зимы, но круглый годъ свирѣпствуетъ гнилая и мокрая осень, которая пародируетъ то весну, то лѣто, то зиму... Казалось, судьба хотѣла, чтобы спавшій дотолѣ непробуднымъ сномъ русскій человѣкъ кровавымъ потомъ и отчаянной борьбой выработалъ свое будущее, ибо прочны только тяжкимъ трудомъ одержанныя побѣды, только страданіями

и кровью стяжанныя завоеванія! Можетъ-быть въ болѣе благопріятномъ климатѣ, среди менѣе враждебной природы, при отсутствіи неодолимыхъ препятствій, русскій человѣкъ скоро возгордился бы своими легкими успѣхами, и его энергія снова заснула бы, не успѣвъ даже и проснуться вполнѣ. И для того-то тотъ, кто посланъ ему былъ отъ Бога, былъ не только царемъ и повелителемъ, дѣйствовалъ не однимъ авторитетомъ, но еще болѣе собственнымъ примѣромъ, который обезоруживалъ закоснѣлое невѣжество и вѣками взлелѣянную лѣнь:

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ!

Несмотря на всю дѣятельность, которой исторія не представляетъ подобнаго примѣра, Петербургъ, оставленный Петромъ Великимъ, былъ слишкомъ бѣдный и ничтожный городокъ, чтобъ объ немъ можно было говорить, какъ о чемъ-то важномъ. Казалось, этому городку, обязанному своимъ насильственнымъ существованіемъ волѣ великаго человѣка, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного изъ его наслѣдниковъ могла осудить его на вѣчное забвеніе или на ничтожное чахоточное существованіе... Но здѣсь-то и является во всемъ блескѣ творческій геній Петра Великаго: его планы, его предначертанія должны были продолжаться вѣковѣчно. Таковы право и сила генія: онъ кладетъ камень въ основаніе новому зданію и оставляетъ его чертежъ; преемники дѣла можетъ-быть и хотѣли бы перенести зданіе на другое мѣсто, да негдѣ имъ взять такого прочнаго камня въ основаніе, а камень, положенный геніемъ, такъ великъ, что съ человѣческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его.

Петербургъ не могъ не продолжаться, потому что съ его существованіемъ тѣсно было связано существованіе Россійской Имперіи, смѣнившей собою Московское царство. И росъ Петербургъ не по днямъ, а по часамъ.

Прошло сто лѣтъ — и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво.
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ; нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева,
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова;
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.

Такимъ образомъ Россія явилась вдругъ съ двумя столицами — старой и новой, Москвой и Петербургомъ. Исключительность этого обстоятельства не осталась безъ послѣдствій болѣе или менѣе важныхъ. Въ то время какъ росъ и украшался Петербургъ, по своему измѣнялась и Москва. Вслѣдствіе неизбѣжнаго вторженія въ нее европеизма съ одной стороны и въ цѣлости сохранившагося элемента старинной неподвижности съ другой стороны, она вышла какимъ-то причудливымъ городомъ, въ которомъ пестрѣютъ и мечутся въ глаза перемѣшанныя черты европеизма и азіатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный городъ! А походите по ней, — и вы увидите, что ея обширности много способствуютъ длинные, предлинные заборы. Огромныхъ зданій въ ней нѣтъ; самые большіе дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурнымъ достоинствомъ они не щеголяютъ. Въ ихъ архитектуру явно вмѣшался геній древняго Московскаго царства, который остался вѣренъ своему стремленію къ семейному удобству. Стоитъ часъ походить по кривымъ и косымъ улицамъ Москвы, — и вы тотчасъ же замѣтите, что это городъ патріархальной семейственности: дома стоятъ особнякомъ, почти при каждомъ есть довольно обширный дворъ, поросшій травою и окруженный службами. Самый бѣдный москвичъ, если онъ женатъ, не можетъ обойтись безъ погреба и, при наймѣ квартиры, болѣе заботится о погребѣ, гдѣ будутъ храниться его съѣстные припасы, нежели о комнатахъ, гдѣ онъ будетъ жить. Нерѣдко у самаго бѣднаго москвича, если онъ женатъ, любимѣйшая мечта цѣлой его жизни—когда-нибудь перестать шататься по квартирамъ и зажить своимъ домкомъ. И вотъ, съ горемъ пополамъ, призвавъ на помощь родное «авось», онъ покупаетъ или нанимаетъ на извѣстное число лѣтъ пустопорожнее мѣсто въ какомъ-нибудь захолустьѣ, и лѣтъ пять, а иногда и десять строитъ домишко о трехъ окнахъ, покупая матеріалы то въ долгъ, то по случаю, изворачиваясь такъ и сякъ. И наконецъ наступаетъ вожделѣнный день переѣзда въ собственный домъ; домишко плохъ, да зато свой, и притомъ съ дворомъ—стало-быть, можно и куръ водить, и теленка есть гдѣ пасти; но главное, при домишкѣ есть по-

гребъ—чего же болѣе? Такихъ домишекъ въ Москвѣ неизчислимое множество, и они-то способствуютъ ея обширности, если не ея великолѣпію. Эти домишки попадаются даже на лучшихъ улицахъ Москвы, между лучшими домами, такъ же, какъ хорошіе (т. е. каменные въ два или три этажа) попадаются въ самыхъ отдаленныхъ и плохихъ улицахъ, между такими домишками. Для русскаго, который родился и жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ, Москва такъ же точно изумительна, какъ и для иностранца. По дорогѣ въ Москву нашъ петербуржецъ увидѣлъ бы, разумѣется, Новгородъ и Тверь, которые совсѣмъ не приготовили бы его къ зрѣлищу Москвы; хотя Новгородъ и древній городъ, но отъ древняго въ немъ остался только его кремль, весьма невзрачнаго вида, съ Софійскимъ соборомъ, примѣчательнымъ своей древностью, но ни огромностью, ни изяществомъ. Улицы въ Новѣгородѣ не кривы и не узки; многіе дома своей архитектурой и даже цвѣтомъ напоминаютъ Петербургъ. Тверь тоже не дастъ нашему петербуржцу идеи о Москвѣ: ея улицы прямы и широки, а для губернскаго города она довольно красива. Слѣдовательно, въѣзжая въ первый разъ въ Москву, нашъ петербуржецъ въѣдетъ въ новый для него міръ. Тщетно будетъ онъ искать главной или лучшей московской улицы, которую могъ бы онъ сравнить съ Невскимъ проспектомъ. Ему покажутъ Тверскую улицу,—и онъ съ изумленіемъ увидитъ себя посреди кривой и узкой, по горѣ тянущейся улицы, съ небольшой площадкой съ одной стороны,—улицы, на которой самый огромный и самый красивый домъ считался бы въ Петербургѣ весьма скромнымъ, со стороны огромности и изящества домомъ; съ страннымъ чувствомъ увидѣлъ бы онъ, привыкшій къ прямымъ линіямъ и угламъ, что одинъ домъ выбѣжалъ на нѣсколько шаговъ на улицу, какъ будто бы для того, чтобы посмотрѣть, что дѣлается на ней, а другой отбѣжалъ на нѣсколько шаговъ назадъ, какъ будто изъ спѣси или изъ скромности,—смотря по его наружности; что между двумя довольно большими каменными скромно и уютно помѣстился ветхій деревянный домишко и, прислонившись стѣнами своими къ стѣнамъ сосѣднихъ домовъ, кажется, не нарадуется тому, что они не даютъ ему упасть и сверхъ того защищаютъ его отъ холода и дождя; что подлѣ великолѣпнаго моднаго магазина лѣпится себѣ крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще болѣе удивился бы нашъ петербуржецъ, почувствовавъ, что въ странномъ гротескѣ этой улицы есть своя красота. И пошелъ бы онъ на Кузнецкій мостъ: тамъ все то же, за исключеніемъ деревянныхъ домишекъ; зато увидѣлъ бы онъ каменные съ модными магазинами, но до того миніатюрные, что ему пришла бы въ голову мысль—ужъ не заѣхалъ ли онъ, новый Гуливеръ, въ царство лилипутовъ... Хотя ни одинъ истинный петербуржецъ ничему не удивляется и ничѣмъ не восторгается, но не удержался бы онъ отъ какого-нибудь громко произведеннаго междометія, еслибы, пройдя кругъ опоясывающихъ Москву бульваровъ—лучшаго ея украшенія, которому Петербургъ имѣетъ полное право завидовать,—онъ, то спускаясь подъ гору, то подымаясь въ гору, видѣлъ бы со всѣхъ сторонъ амфитеатры крышъ, перемѣшанныхъ съ зеленью садовъ: будь при этомъ вмѣсто церквей минареты, онъ счелъ бы себя перенесеннымъ въ какой-нибудь восточный городъ, о которомъ читалъ въ Шехерезадѣ. И это зрѣлище ему понравилось бы, и онъ по крайней мѣрѣ впродолженіе весны и лѣта охотно не сталъ бы искать столицы и города тамъ, гдѣ, взамѣнъ этого, есть такіе живописные ландшафты...

Многія улицы въ Москвѣ, какъ-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обѣ линіи по сторонамъ Тверского и Никитскаго бульваровъ, состоятъ преимущественно изъ «господскихъ» (московское слово!) домовъ. И тутъ вы видите больше удобства, чѣмъ огромности или изящества. Во всемъ и на всемъ печать семейственности: и удобный домъ, обширный, но тѣмъ не менѣе для одного семейства, широкій дворъ, а у воротъ въ лѣтніе вечера многочисленная дворня. Вездѣ разъединенность, особность; каждый живетъ у себя дома и крѣпко отгораживается отъ сосѣда. Это еще замѣтнѣе въ Замоскворѣчьѣ, этой чисто купеческой и мѣщанской части Москвы: тамъ окна завѣшаны занавѣсками, ворота на запоръ; при ударѣ въ нихъ раздается сердитый лай цѣпной сабаки, все мертво или, лучше сказать, сонно; домъ или домишко похожъ на крѣпостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Вездѣ семейство, и почти нигдѣ не видно города!...

Въ Москвѣ много трактировъ, и они всегда биткомъ набиты преимущественно тѣмъ народомъ, который въ нихъ пьетъ только чай. Не нужно объяснять, о какомъ народѣ говоримъ мы: это народъ, выпивающій въ день по пятнадцати самоваровъ,—народъ, который не можетъ жить безъ чаю, который пять разъ пьетъ его дома и столько же разъ въ трактирахъ. И еслибы вы посмотрѣли на этотъ народъ, вы не удиви-

лись бы, что чай не разстраиваетъ ему нервъ, не мѣшаетъ спать, не портитъ зубовъ; вы подумали бы, что онъ безнаказанно для здоровья можетъ пудами употреблять опіумъ... Кондитерскихъ въ Москвѣ мало; въ нихъ покупаютъ много, но посѣщаютъ ихъ мало. Гостинницы въ Москвѣ существуютъ преимущественно для пріѣзжающихъ или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обѣдаютъ въ Москвѣ больше дома. Тамъ даже бѣдные холостые люди по большей части любятъ обѣдать у себя дома, вѣрные семейственному характеру Москвы. Если же они обѣдаютъ внѣ дома, то въ какомъ-нибудь знакомомъ имъ семействѣ, особенно у родныхъ. Вообще Москва, славная своимъ хлѣбосольствомъ и гостепріимствомъ, чуждается жизни городской, общественной и любитъ обѣдать у себя дома, семейно. Славится своими сытными обѣдами Англійскій клубъ въ Москвѣ; но попробуйте въ немъ пообѣдать—и, несмотря на то, что вы будете сидѣть между пятью стами или болѣе человѣкъ, вамъ непремѣнно покажется, что вы пообѣдали у родныхъ. Что же касается до постоянныхъ членовъ клуба, они потому и любятъ въ немъ обѣдать, что имъ кажется, будто они обѣдаютъ у себя дома, въ своемъ семействѣ. Характеръ семейственности лежитъ на всемъ и во всемъ московскомъ! Родство даже до сихъ поръ играетъ великую роль въ Москвѣ. Тамъ никто не живетъ безъ родни. Если вы родились бобылемъ и пріѣхали жить въ Москву, — васъ сейчасъ женятъ, и у васъ будетъ огромное родство до семьдесятъ-седьмого колѣна. Не любить и не уважать родни въ Москвѣ считается хуже, чѣмъ вольнодумствомъ. Вы обязаны будете знать день рожденія и именинъ по крайней мѣрѣ полутораста человѣкъ, и горе вамъ, если вы забудете поздравить хоть одного изъ нихъ. Это немножко хлопотно и скучно, но вѣдь зато родство—священная вещь. Гдѣ развита въ такой степени семейственность, тамъ родство не можетъ не быть въ великомъ почетѣ. По смерти Петра Великаго Москва сдѣлалась убѣжищемъ опальныхъ дворянъ высшаго разряда и мѣстомъ отдохновенія удалившихся отъ дѣлъ вельможъ. Вслѣдствіе этого она получила какой-то аристократическій характеръ, который особенно развился въ царствованіе Екатерины Второй. Кто не слышалъ о пирокой, распашной жизни вельможъ въ Москвѣ? Кто не слышалъ разсказовъ о томъ, какъ въ своихъ великолѣпныхъ палатахъ ежедневно угощали они столомъ и званаго, и незванаго, и знакомаго, и незнакомаго, и въ городѣ, и въ деревнѣ, гдѣ для всѣхъ отворяли свои пышные сады? Кто нѣ слышалъ разсказовъ о ихъ пирахъ,—разсказовъ, похожихъ на отрывки изъ «Тысячи и Одной Ночи»? Видите ли, что Москва и тутъ осталась вѣрна своему древне-московскому элементу: чванство и чивость, распашная и потѣшная жизнь въ ней нашли свой пріютъ! Но съ предшествовавшаго царствованія Москва мало-по-малу начала дѣлаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она одѣваетъ всю Россію своими бумажно-прядильными издѣліями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея уѣздъ—все это усѣяно фабриками и заводами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое ея положеніе почти въ серединѣ Россіи назначило ей быть центромъ внутренней промышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желѣзная дорога соединитъ ее съ Петербургомъ, и какъ артеріи отъ сердца, потянутся отъ нея шоссе въ Ярославль, въ Казань, въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу...

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками; она—сама историческая древность и во внѣшнемъ и во внутреннемъ отношеніи! Но какъ она сама, такъ и ея допетровскія древности представляютъ странное зрѣлище смѣси съ новымъ: отъ Кремля остался одинъ чертежъ, потому что его ежегодно поправляютъ, а въ немъ возникаютъ новыя зданія. Духъ новаго вѣетъ и на Москву и стираетъ мало-помалу ея древній отпечатокъ.

Мы начали о Петербургѣ, а распространились о Москвѣ, но это совсѣмъ не отступленіе отъ главнаго предмета. У насъ двѣ столицы: какъ же говорить объ одной, не сравнивая ея съ другой? Только чрезъ такое сравненіе можемъ мы узнать особенности и характеръ каждой изъ нихъ. Ничто въ мірѣ не существуетъ напрасно: если у насъ двѣ столицы — значитъ каждая изъ нихъ необходима, а необходимость можетъ заключаться только въ идеѣ, которую выражаетъ каждая изъ нихъ. И потому Петербургъ представляетъ собою идею; Москва —другую. Въ чемъ состоитъ идея того и другого города, это можете узнать, только проведя параллель между тѣмъ и другимъ. И потому мы не разъ еще, говоря о Петербургѣ, будемъ обращаться и къ Москвѣ. Пока мы нашли, что отличительный характеръ Москвы—семейственность. Обратимся къ Петербургу.

О Петербургѣ привыкли думать, какъ о городѣ, построенномъ даже не на болотѣ, а чуть ли не на воздухѣ. Многіе, не шутя, увѣряютъ, что это городъ безъ исторической святыни, безъ преданій, безъ связи съ родной страной,—городъ, построенный на сва-

яхъ и на разсчетѣ. Всѣ эти мнѣнія немного ужъ устарѣли, и ихъ пора бы оставить. Правда, коли хотите, въ нихъ есть своя сторона истины, но зато много и лжи. Петербургъ построенъ Петромъ Великимъ какъ столица новой Россійской Имперіи, и Петербургъ — городъ неисторическій, безъ преданія!... Это нелѣпость, не стоящая опроверженія! Вся бѣда вышла изъ того, что Петербургъ слишкомъ молодъ для самого себя и совершенное дитя въ сравненіи со старушкой Москвой. Такъ неужели молодой человѣкъ, ознаменовавшій свое вступленіе въ жизнь великихъ подвиговъ, — не историческій человѣкъ, потому-что онъ мало жилъ; а старичокъ какой-нибудь—историческій человѣкъ, потому-что онъ много жилъ? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московскаго царства; у ней есть своя исторія — никто не споритъ противъ этого, но что же вся ея исторія въ сравненіи съ великимъ эпосомъ біографіи Петра Великаго? А не тѣсно ли связанъ Петербургъ съ этой біографіей? Отвергать историческую важность Петербурга—не значитъ ли не умѣть цѣнить Петра для русской исторіи? Говоря объ исторической святынѣ, спрашиваютъ: гдѣ у Петербурга эти памятники, надъ которыми пролетѣли вѣка, не разрушивъ ихъ? Да, милостивые государи, такихъ памятниковъ въ Петербургѣ нѣтъ и быть не можетъ, потому что самъ онъ существуетъ со дня своего заложенія только сто сорокъ одинъ годъ; но зато онъ самъ есть великій историческій памятникъ. Всюду видите вы въ немъ живые слѣды его строителя, и для многихъ (въ томъ числѣ и для насъ) такія маленькія строенія, какъ напримѣръ домикъ на Петербургской сторонѣ, дворецъ въ Лѣтнемъ саду, дворецъ въ Петергофѣ, стоятъ не одного, а многихъ Кремлей... Что дѣлать—у всякаго свой вкусъ! Петербургъ построенъ на разсчетѣ —правда; но чѣмъ же разсчетъ ниже слѣпого случая? Мудрые вѣка говорятъ, что желѣзный гвоздь, сдѣланный грубой рукой деревенскаго кузнеца, выше всякаго цвѣтка, съ такой красотой рожденнаго природой,—выше его въ томъ отношеніи, что онъ—произведеніе сознательнаго духа, а цвѣтокъ есть произведеніе непосредственной силы. Разсчетъ есть одна изъ сторонъ сознанія. Говорятъ еще, что Петербургъ не имѣетъ въ себѣ ничего оригинальнаго, самобытнаго, что онъ есть какое-то, будто бы, общее воплощеніе идеи столичнаго города и, какъ двѣ капли воды, похожъ на всѣ столичные города въ мірѣ. Но на какіе же именно? На старые, каковы напр. Римъ, Парижъ, Лондонъ, онъ походить никакъ не можетъ; стало-быть, это сущая неправда. Если онъ похожъ на какіе-нибудь города, то вѣроятно на большіе города Сѣверной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на разсчетѣ. И развѣ въ этихъ городахъ нѣтъ своего, оригинальнаго? Развѣ въ стѣнахъ города и въ каждомъ камнѣ его видѣть будущее, не значитъ—видѣть что-то оригинальное и притомъ прекрасно оригинальное? Но Петербургъ оригинальнѣе всѣхъ городовъ Америки, потому-что онъ есть новый городъ въ старой странѣ, слѣдовательно есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великаго была только великой исторической ошибкой, или Петербургъ имѣетъ необъятно-великое значеніе для Россіи. Что-нибудь одно: или новое образованіе Россіи, какъ ложное и призрачное, скоро исчезнетъ совсѣмъ, не оставивъ по себѣ и слѣда, или Россія навсегда и безвозвратно оторвана отъ своего прошедшаго. Въ первомъ случаѣ, разумѣется, Петербургъ—случайное и эфемерное порожденіе эпохи, принявшей ошибочное направленіе,—грибъ, который въ одну ночь выросъ и въ одинъ день высохъ; во второмъ случаѣ Петербургъ есть необходимое и вѣковѣчное явленіе, величественный и крѣпкій дубъ, который сосредоточитъ въ себѣ всѣ жизненные соки Россіи. Нѣкоторые доморощенные политики, считающіе себя удивительно глубокомысленными, думаютъ, что такъ какъ-де Петербургъ явился непосредственно, выросъ и расширился не вѣками, а обязанъ своимъ существованіемъ волѣ одного человѣка, то другой человѣкъ, имѣющій власть свыше, также можетъ оставить его, выстроить себѣ новый городъ на другомъ концѣ Россіи: мнѣніе крайне дѣтское! Такія дѣла не такъ легко затѣваются и исполняются. Былъ человѣкъ, который имѣлъ не только власть, но и силу сотворить чудо, и былъ мигъ, когда эта сила могла проявиться въ такомъ чудѣ,—и потому для новаго чуда въ этомъ родѣ потребуется опять два условія: не только человѣкъ, но и мигъ. Произволъ не производитъ ничего великаго: великое исходитъ изъ разумной необходимости, слѣдовательно отъ Бога. Произволъ не состроитъ въ короткое время великаго города: произволъ можетъ выстроить развѣ только вавилонскую башню, слѣдствіемъ которой будетъ не возрожденіе страны къ великому будущему, а раздѣленіе языковъ. Гораздо легче сказать—оставить Петербургъ, чѣмъ сдѣлать это: языкъ безъ костей, по русской пословицѣ, и можетъ говорить, что ему угодно; но дѣло не то, что пустое слово. Только господамъ

Маниловымъ легко строить въ своей праздной фантазіи мосты черезъ пруды, съ лавками по обѣимъ сторонамъ.

Иностранецъ Альгаротти сказалъ: «Петербургъ есть окно, черезъ которое Россія смотритъ на Европу», — счастливое выраженіе, въ немногихъ словахъ удачно схватившее великую мысль! И вотъ въ чемъ заключается твердое основаніе Петербурга, а не въ сваяхъ, на которыхъ онъ построенъ, и съ которыхъ его не такъ-то легко сдвинуть! Вотъ въ чемъ его идея и слѣдовательно его великое значеніе, его святое право на вѣковѣчное существованіе! Говорятъ, что Петербургъ выражаетъ собою только внѣшній европеизмъ. Положимъ, что и такъ; но при развитіи Россіи, совершенно противоположномъ европейскому, т. е. при развитіи сверху внизъ, а не снизу вверхъ, внѣшность имѣетъ гораздо высшее значеніе, бо́льшую важность, нежели какъ думаютъ. Что̀ вы видите въ поэзіи Ломоносова? — одну внѣшность, русскія слова, втиснутыя въ латинско-нѣмецкую конструкцію; выписныя мысли, какихъ и признака не было въ обществѣ, среди котораго и для котораго писалъ Ломоносовъ свои риторическіе стихи! И однакожъ Ломоносова не безъ основанія называютъ отцомъ русской поэзіи, которая тоже не безъ основанія гордится напримѣръ хоть такимъ поэтомъ, какъ Пушкинъ. Нужно ли доказывать, что еслибы у насъ не было заведено этой мертвой, подражательной, чисто внѣшней поэзіи,—то не родилась бы у насъ и живая, оригинальная и самобытная поэзія Пушкина? Нѣтъ, это и безъ доказательствъ ясно, какъ день Божій. И такъ, иногда и внѣшность чего-нибудь да сто̀итъ. Скажемъ болѣе: внѣшнее иногда влечетъ за собой внутреннее. Положимъ, что надѣть фракъ или сюртукъ, вмѣсто овчиннаго тулупа, синяго армяка или смураго кафтана, еще не значитъ сдѣлаться европейцемъ; но отъ чего же у насъ, въ Россіи, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтеніемъ, и обнаруживаютъ и любовь, и вкусъ къ изящнымъ искусствамъ только люди, одѣвающіеся по европейски? Что̀ ни говорите, а даже и фракъ съ сюртукомъ—предметы, кажется, совершенно внѣшніе, не мало дѣйствуютъ на внутреннее благообразіе человѣка. Петръ Великій это понималъ, и отсюда его гоненіе на бороды, охабни, терлики, шапки-мурмолки и всѣ другія завѣтныя принадлежности московитскаго туалета.

Есть мудрые люди, которые презираютъ всѣмъ внѣшнимъ; имъ давай идею, любовь, духъ, а на факты, на міръ практическій, на будничную сторону жизни они не хотятъ и смотрѣть. Есть другіе мудрые люди, которые, кромѣ фактовъ и дѣла, ни о чемъ знать не хотятъ, а въ идеѣ и духѣ видятъ однѣ мечты. Первые изъ нихъ за особенную честь поставляютъ себѣ слушать съ презрительнымъ видомъ, когда при нихъ говорятъ о желѣзной дорогѣ. Эти средства къ возвышенію нравственнаго достоинства страны имъ кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждутъ отъ чуда и думаютъ, что образованіе въ одно прекрасное утро свалится прямо съ неба, а народъ возьметъ на себя трудъ только поднять его, да проглотить, не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именемъ романтиковъ. Мудрецы второго разряда спятъ и видятъ шоссе, желѣзныя дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разныхъ спекуляцій: въ этомъ ихъ идеалъ народнаго и государственнаго блаженства; духъ, идея въ ихъ глазахъ—вредныя или безполезныя мечты. Это классики нашего времени. Не принадлежа ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, мы въ послѣднихъ видимъ хоть что-нибудь, тогда какъ въ первыхъ—виноваты—равно ничего не видимъ. Есть два способа проводить новый источникъ жизни въ застоявшійся организмъ общественнаго тѣла: первый—наука или ученіе, книгопечатаніе, въ обширномъ значеніи этого слова, какъ средство къ распространенію идей; второй—жизнь, разумѣя подъ этимъ словомъ формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычаи. Тотъ и другой способъ равно важны, и послѣдній едва ли еще не важнѣе въ томъ отношеніи, что и само чтеніе, и самая идея тогда только важны и дѣйствительны, когда входятъ въ жизнь, становятся, такъ сказать, обычаемъ или обыкновеніемъ. Нѣтъ ничего сильнѣе и крѣпче обычая: гораздо легче убѣдить людей логикой въ какой угодно истинѣ, нежели преклонить ихъ къ практическому примѣненію этой истины, если въ этомъ мѣшаетъ имъ обычай. Намъ кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпалъ этотъ второй способъ распространенія и утвержденія европеизма въ русскомъ обществѣ. Петербургъ есть образецъ для всей Россіи во всемъ, что̀ касается до формъ жизни, начиная отъ моды до свѣтскаго тона, отъ манеры класть кирпичи до высшихъ таинствъ архитектурнаго искусства, отъ типографскаго изящества до журналовъ, исключительно владѣющихъ вниманіемъ публики. Сравните петербургскую жизнь съ московской—и въ ихъ различіи или, лучше сказать, ихъ противоположности вы сейчасъ увидите значеніе того и другого города. Несмотря на узкость московскихъ улицъ, снабженныхъ тротуа-

арами въ поларшина шириною, онѣ только днемъ бываютъ тѣсны, и то далеко не всѣ, и притомъ больше по причинѣ ихъ узкости, чѣмъ по многолюдству. Съ десяти часовъ вечера Москва уже пустѣетъ, и особенно зимой скучны и пустынны эти кривыя улицы съ еще болѣе кривыми переулками. Широкія улицы Петербурга почти всегда оживлены народомъ, который куда-то спѣшитъ, куда-то торопится. На нихъ до двѣнадцати часовъ ночи довольно людно и до утра вездѣ попадаются то тамъ, то сямъ запоздалые. Кондитерскія полны народомъ; нѣмцы, французы и другіе иностранцы, туземные и заѣзжіе, пьютъ, ѣдятъ и читаютъ газеты; русскіе больше пьютъ и ѣдятъ, а нѣкоторые пробѣгаютъ «Пчелу», «Инвалидъ» и иногда пристально читаютъ толстые журналы, переплетенные, для удобства, въ особенныя книжки, по отдѣламъ: это охотники до литературы; охотниковъ до политики у насъ вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерскія заведенія тоже. Тутъ то же самое: пьютъ, ѣдятъ, читаютъ, курятъ, играютъ на билліардѣ, и все большей частью молча. Если и говорятъ, то тихо, и то сосѣдъ съ сосѣдомъ; зато часто случается слышать прегромкіе голоса, которые ни мало не жеманируются говорить о предметахъ, нисколько для постороннихъ не интересныхъ, напримѣръ о томъ, какъ Иванъ Семеновичъ вчера остался безъ двухъ, играя семь въ червяхъ, или о томъ, что Петръ Николаевичъ получилъ мѣсто, а Василій Степановичъ произведенъ въ слѣдующій чинъ, и тому подобныхъ литературныхъ и политическихъ новостяхъ. Дома въ Петербургѣ, какъ извѣстно, огромные. Петербуржецъ о погребѣ не заботится: если не женатъ, онъ обѣдаетъ въ трактирѣ; женатъ,—онъ все беретъ изъ лавочки. Домъ, гдѣ нанимаетъ онъ квартиру,—сущій ноевъ ковчегъ, въ которомъ можно найти по парѣ всякихъ животныхъ. Рѣдко случается узнать петербуржцу, кто живетъ возлѣ него, потому что и сверху, и снизу, и съ боковъ его живутъ люди, которые такъ же, какъ и онъ, заняты своимъ дѣломъ и такъ же не имѣютъ времени узнавать о немъ, какъ и онъ о нихъ. Главное удобство въ квартирѣ, за которымъ гонится петербуржецъ, состоитъ въ томъ, чтобы ко всему быть поближе—и къ мѣсту своей службы, и къ мѣсту, гдѣ все можно достать и лучше, и дешевле. Послѣдняго удобства онъ часто достигаетъ въ своемъ ноевомъ ковчегѣ, гдѣ есть и погребокъ, и кондитерская, и кухмистеръ, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свѣтѣ. Идея города больше всего заключается въ сплошной сосредоточенности всѣхъ удобствъ въ наиболѣе сжатомъ кругѣ: въ этомъ отношеніи Петербургъ несравненно больше городъ, чѣмъ Москва, и можетъ-быть одинъ городъ во всей Россіи, гдѣ все разбросано, разъединено, запечатлѣно семейственностью. Если въ Петербургѣ нѣтъ публичности въ истинномъ значеніи этого слова, зато ужъ нѣтъ и домашняго или семейнаго затворничества. Петербургъ любитъ улицу, гулянье, театръ, кофейную, вокзалъ, словомъ, любитъ всѣ общественныя заведенія. Этого пока еще немного, но зато изъ этого можетъ многое выйти впереди. Петербургъ не можетъ жить безъ газетъ, безъ афишъ и разнаго рода объявленій; Петербургъ давно уже привыкъ, какъ къ необходимости, къ «Полицейской Газетѣ», къ городской почтѣ. Едва проснувшись, петербуржецъ хочетъ тотчасъ же знать, что̀ дается сегодня на театрахъ, нѣтъ ли концерта, скачки, гулянья съ музыкой; словомъ, хочетъ знать все, что̀ составляетъ сферу его удовольствій и разсѣяній,—а для этого ему стоитъ только протянуть руку къ столу, если онъ получаетъ всѣ эти извѣстительныя изданія, или забѣжать въ первую попавшуюся кондитерскую. Въ Москвѣ многіе подписчики на «Московскія Вѣдомости», выходящія три раза въ недѣлю (по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ), посылаютъ за ними только по субботамъ и получаютъ вдругъ три номера. Оно и удобно: подъ праздникъ есть свободное время заняться новостями всего міра... Кромѣ того, по неимѣнію городской почты и разсыльныхъ, надо посылать своего человѣка въ контору университетской типографіи, а это не для всякаго удобно и не для всѣхъ даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день въ «Пчелу» или «Инвалидъ»—такая же необходимость, такой же обычай, какъ напиться по утру чаю... Въ противоположность Москвѣ, огромные дома въ Петербургѣ днемъ не затворяются и доступны черезъ ворота и черезъ двери; ночью у воротъ всегда можно найти дворника или вызвать его звонкомъ, слѣдовательно всегда можно попасть въ домъ, въ который вамъ непремѣнно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многихъ дверяхъ не только нумеръ, но и мѣдная или желѣзная дощечка съ именемъ занимающаго квартиру. Хотя въ Москвѣ улицы не длинны, каждая носитъ особенное названіе и почти въ каждой есть церковь, а иногда еще и не одна. почему легко бы, казалось, отыскать, кого нужно, если знаешь адресъ; однакожъ, отыскивать тамъ—истинное мученіе, если въ домѣ есть не одинъ жилецъ. Обыкновенно входите вы тамъ на довольно большой дворъ,

на которомъ, кромѣ собаки или собакъ, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться въ двери съ вопросомъ: не здѣсь ли живетъ такой-то, потому что въ Москвѣ дворники рѣдки, а звонки еще и того рѣже. Нѣтъ никакой возможности ходить по московскимъ улицамъ, которыя узки, кривы и наполнены проѣзжающими. Надо быть москвичемъ. чтобы умѣть смѣло ходить по нимъ, такъ же, какъ надо быть парижаниномъ, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязныхъ улицахъ. Впрочемъ сами москвичи ходить не любятъ; отъ того извозчикамъ въ Москвѣ много работы. Извозчики тамъ дешевы,но на плохихъ дрожкахъ и прескверныхъ саняхъ; дрожки вездѣ скверны по самому ихъ устройству; это просто орудіе пытки для допроса обвиненныхъ; но саней плохихъ въ Петербургѣ не бываетъ: здѣсь самыя скверныя санишки сдѣланы на манеръ будто-бы хорошихъ и покрыты полостью изъ теленка, похожаго на медвѣдя, а полость покрыта чѣмъ-то вродѣ сукна. Въ Петербургѣ никто не сѣлъ бы на сани безъ медвѣдя!.. Впрочемъ въ Петербургѣ мало ѣздятъ, больше ходятъ: оно и здорово, ибо движеніе есть лучшее и притомъ самое дешевое средство противъ геморроя, да притомъ же въ Петербургѣ удобно ходить: горъ и косогоровъ нѣтъ, все ровно и гладко, тротуары изъ плитняка, а индѣ и изъ гранита, широкіе, ровные и во всякое время года чистые, какъ полы.

Чтобы ближе познакомиться съ обѣими нашими столицами, сравнимъ между собою ихъ народонаселеніе.

Высшее сословіе или высшій кругъ общества во всѣхъ городахъ въ мірѣ составляетъ собой нѣчто исключительное. Большой свѣтъ въ Петербургѣ еще болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, есть истинная terra incognita для всѣхъ, кто не пользуется въ немъ правомъ гражданства: это городъ въ городѣ, государство въ государствѣ. Непосвященные въ его таинства смотрятъ на него издалека, на почтительномъ разстояніи, смотрятъ на него съ завистью и томленіемъ, съ какими путникъ, заблудившійся въ песчаной степи Аравіи, смотритъ на миражъ, представляющійся ему цвѣтущимъ оазисомъ; но недоступный для нихъ рай большого свѣта, стрегомый булавой швейцара и толпой оффиціантовъ, разодѣтыхъ маркизами XVIII вѣка, даже и не смотритъ на этихъ чающихъ для себя движенія райской воды. Люди различныхъ слоевъ средняго сословія, отъ высшаго до низшаго, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ отдаленному и непонятному для нихъ гулу большого свѣта и по своему толкуютъ долетающіе до ихъ ушей анекдоты, искаженные ихъ простодушіемъ. Словомъ, они такъ заботятся о большомъ свѣтѣ, какъ будто безъ него не могутъ дышать. Не довольствуясь этимъ, они изо всѣхъ силъ бьются, бѣдные, передразнивать бытъ большого свѣта, и—à force de forger—достигаютъ до сладостной самоувѣренности, что и они—тоже большой свѣтъ. Конечно настоящій большой свѣтъ очень бы добродушно разсмѣялся, еслибъ узналъ объ этихъ безчисленныхъ претендентахъ на близкое родство съ нимъ; но отъ этого тѣмъ не менѣе страсть считать себя принадлежащимъ или прикосновеннымъ къ большому свѣту доходитъ въ среднихъ сословіяхъ Петербурга до изступленія. Поэтому въ Петербургѣ счету нѣтъ различнымъ кругамъ «большого свѣта». Всѣ они отличаются со стороны высшаго къ низшему—величаво или лукаво насмѣшливымъ взглядомъ; а со стороны низшаго къ высшему — досадой обиженнаго самолюбія, впрочемъ утѣшающаго себя тѣмъ, что и мы-де не отстанемъ отъ другихъ и постоимъ за себя въ хорошемъ тонѣ. Хорошій тонъ это—точка помѣшательства для петербургскаго жителя. Послѣдній чиновникъ, получающій не болѣе семисотъ рублей жалованья, ради хорошаго тона отпускаетъ при случаѣ искаженную французскую фразу—единственную, какую удалось ему затвердить изъ «Самоучителя»; изъ хорошаго тона онъ одѣвается всегда у порядочнаго портного и носитъ на рукахъ хотя и засаленныя, но желтыя перчатки. Дѣвицы даже низшихъ классовъ ужасно любятъ ввернуть въ безграмотной русской запискѣ безграмотную французскую фразу,—и если вамъ понадобится писать къ такой дѣвицѣ, то ничѣмъ вы ей такъ не польстите, какъ смѣшеніемъ нижегородскаго съ французскимъ: этимъ вы ей покажете, что считаете ее дѣвицей образованной и «хорошаго тона». Любятъ онѣ также и стишки, особенно изъ водевильныхъ куплетовъ; но нѣкоторыя возвышаются своимъ вкусомъ даже до поэзіи Бенедиктова,—и это дѣвицы самыхъ аристократическихъ, самыхъ бонтонныхъ круговъ чиновническаго сословія. Видите-ли: Петербургъ во всемъ себѣ вѣренъ; онъ стремится къ высшей формѣ общественнаго быта.... Не такова въ этомъ отношеніи Москва. Въ ней даже большой свѣтъ имѣетъ свой особенный характеръ. Но кто не принадлежитъ къ нему, тотъ о немъ и не заботится, будучи весь погруженъ въ сферу собственнаго сословія.

Ядро коренного московскаго народонаселенія составляетъ купечество. Девять десятыхъ этого многочисленнаго сословія носятъ православную, отъ предковъ завѣ-

щанную бороду, длиннополый сюртукъ синяго сукна и ботфорты съ кисточкой, скрывающіе въ себѣ оконечности плисовыхъ или суконныхъ брюкъ; одна десятая позволяетъ себѣ брить бороду и, по одеждѣ, по образу жизни, вообще во внѣшности, походитъ на разночинцевъ и даже дворянъ средней руки. Сколько старинныхъ вельможескихъ домовъ перешло теперь въ собственность купечества! И вообще эти огромныя зданія, памятники уже отжившихъ свой вѣкъ нравовъ и обычаевъ, почти всѣ безъ исключенія превратились или въ казенныя учебныя заведенія, или, какъ мы уже сказали, поступили въ собственность богатаго купечества. Какъ расположилось и какъ живетъ въ этихъ палатахъ и дворцахъ «поштенное» купечество,—объ этомъ любопытные могутъ справиться между прочимъ въ повѣсти Вельтмана «Пріѣзжій изъ уѣзда, или суматоха въ столицѣ». Но не въ однѣхъ княжескихъ и графскихъ палатахъ,—хороши также эти купцы и въ дорогихъ каретахъ и коляскахъ, которыя вихремъ несутся на превосходныхъ лошадяхъ, блистающихъ самой дорогой сбруей: въ экипажѣ сидитъ «поштенная» и весьма довольная собой борода; возлѣ нея помѣщается плотная и объёмистая масса ея дражайшей половины, разбѣленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда съ платкомъ на головѣ и съ косичками отъ висковъ, но чаще въ шляпкѣ съ перьями (прекрасный полъ даже и въ купечествѣ далеко обогналъ мужчинъ на пути европеизма!), а на запяткахъ стоитъ сидѣлецъ въ длиннополомъ жидовскомъ сюртукѣ, въ рыжихъ сапогахъ съ кисточками, пуховой шляпѣ и въ зеленыхъ перчаткахъ... Проходящіе мимо купцы средней руки и мѣщане съ удовольствіемъ пощолкиваютъ языкомъ, смотря на лихихъ коней, и гордо приговариваютъ: «Вишь, какъ наши-то!», а дворяне, смотря изъ оконъ, съ досадой думаютъ: «мужикъ проклятый, развалился, какъ и Богъ-знаетъ кто!»... Для русскаго купца, особенно москвича, толстая статистая лошадь и толстая статистая жена—первыя блага въ жизни... Въ Москвѣ повсюду встрѣчаете вы купцовъ, и все показываетъ вамъ, что Москва по преимуществу городъ купеческаго сословія. Ими населенъ Китай-городъ; они исключительно завладѣли Замоскворѣчьемъ, и ими же кишатъ даже самыя аристократическія улицы и мѣста въ Москвѣ, каковы — Тверская, Тверской бульваръ, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другія улицы. Базисомъ этому многочисленному сословію въ Москвѣ служитъ еще многочисленнѣйшее сословіе: это—мѣщанство, которое создало себѣ какой-то особенный костюмъ изъ національнаго русскаго и изъ басурманскаго нѣмецкаго, гдѣ неизбѣжно красуются зеленыя перчатки, пуховая шляпа или картузъ такого устройства, въ которомъ равно изуродованы и опошлены и русскій, и иностранный типы головной мужской одежды; выростковые сапоги, въ которыхъ прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополымъ жидовскимъ сюртукомъ и кучерскимъ кафтаномъ; красная александрійская или ситцевая рубаха съ косымъ воротомъ, а на шеѣ грязный пестрый платокъ. Прекрасная половина этого сословія представляетъ своимъ костюмомъ такое же дикое смѣшеніе русской одежды съ европейской: мѣщанки ходятъ большей частью (кромѣ ужъ самыхъ бѣдныхъ) въ платьяхъ и шаляхъ порядочныхъ женщинъ, а волосы прячутъ подъ шапочку, сдѣланную изъ цвѣтного шелковаго платка; бѣлила, румяна и сюрьма составляютъ неотъемлемую часть ихъ самихъ, точно такъ же, какъ стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мѣщанство есть вездѣ, гдѣ только есть русскій городъ, даже большое торговое село. Типъ этого мѣщанства вполнѣ постигъ петербургскій актеръ, Григорьевъ 2-й,—и этому-то типу обязанъ онъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ на Александринскомъ театрѣ.

Но въ Москвѣ есть еще другого рода среднее сословіе—образованное среднее сословіе. Мы не считаемъ за нужное объяснять нашимъ читателямъ, что̀ мы разумѣемъ вообще подъ образованными сословіями: кому не извѣстно, что у насъ, въ Россіи, есть рѣзкая черта, которая отдѣляетъ необразованныя сословія отъ образованныхъ и которая заключается, во-первыхъ, въ костюмахъ и обычаяхъ, обнаруживающихъ рѣшительное притязаніе на европеизмъ; во-вторыхъ,—въ любви къ преферансу; въ третьихъ,—въ бо̀льшемъ или меньшемъ занятіи чтеніемъ. Касательно послѣдняго пункта можно сказать съ достовѣрностью, что кто читаетъ постоянно хоть «Московскія Вѣдомости», тотъ уже принадлежитъ къ образованному сословію, если кромѣ того онъ въ одеждѣ и обычаяхъ придерживается западнаго типа. Къ числу необходимыхъ отличій «образованнаго» человѣка отъ «необразованнаго» у насъ полагается и чинъ, хотя съ нѣкотораго времени и у насъ уже начинаютъ убѣждаться, что и безъ чина такъ же можно быть образованнымъ человѣкомъ, какъ и невѣждой съ чиномъ. Впрочемъ подобное мнѣніе нисколько не проникло въ низшіе классы общества, и—милліо-

неръ-купецъ, поглаживая свою бородку, смѣло претендуетъ на умъ (благо плутоватъ и мастеръ надуть и недруга, и друга), но никогда на образованность. Различій и степеней между «образованными» людьми у насъ множество. Одни изъ нихъ читаютъ только дѣловыя бумаги и письма, до нихъ лично касающіяся, да еще календари и «Московскія Вѣдомости»; нѣкоторые идутъ далѣе—и постоянно читаютъ «Сѣверную Пчелу»; есть такіе, которые читаютъ рѣшительно всѣ русскіе журналы, газеты, книги и брошюры и не читаютъ ничего иностраннаго, даже зная какой-нибудь иностранный языкъ; наконецъ, есть такіе esprits forts, которые очень много читаютъ на иностранныхъ языкахъ и рѣшительно ничего на своемъ родномъ; но «образованнѣйшими» должно почитать безъ сомнѣнія тѣхъ немногихъ у насъ людей, которые, иногда заглядывая въ русскіе журналы, постоянно читаютъ иностранные, и зрѣдка прочитывая русскія книги (благо хорошихъ-то изъ нихъ очень мало), часто читаютъ иностранныя книги. Но еще многочисленнѣе оттѣнки нашей образованности въ отношеніи къ одеждѣ, обычаямъ и картамъ. Есть у насъ люди, которые европейскую одежду носятъ только оффиціально, но у себя дома, безъ гостей, постоянно пребываютъ въ татарскихъ халатахъ, сафьянныхъ сапогахъ и разнаго рода ермолкахъ; нѣкоторые халату предпочитаютъ ухарскій архалухъ — щегольство провинціальныхъ лакеевъ; другіе, напротивъ, и дома остаются вѣрны европейскому типу и ходятъ въ пальто, въ которомъ могутъ, безъ нарушенія приличія, принимать визиты за-просто; одни слѣдуютъ постоянно модѣ, другіе увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, залихватскими и ухарскими изобрѣтеніями провинціальнаго изящнаго вкуса. Въ образѣ жизни главный оттѣнокъ различій состоитъ въ томъ, что они поздно встаютъ, обѣдаютъ никакъ не ранѣе четырехъ часовъ, вечеромъ пьютъ чай никакъ не ранѣе десяти часовъ, и чѣмъ позже ложатся спать, тѣмъ лучше, а другіе въ этомъ отношеніи болѣе придерживаются старины. Въ обращеніи оттѣнки нашего общества такъ безчисленны, что нѣтъ никакой возможности и говорить объ нихъ. Но въ этомъ отношеніи всѣ оттѣнки, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, имѣютъ въ себѣ то общаго, что всѣ равно вѣрны внѣшности, которая не обязываетъ ни къ чему внутреннему: это та же одежда. Въ отношеніи къ картамъ есть только три различія: одни играютъ только въ преферансъ; другіе—только въ банкъ и въ палки; третьи —и въ преферансъ, и въ палки. Различіе кушей подразумѣвается само собою. Въ Петербургѣ въ преферансъ играютъ по мастямъ и на семь не прикупаютъ; въ въ Москвѣ и въ провинціи прикупаютъ и на десять, безъ различія мастей. Образованный классъ въ Москвѣ довольно многочисленъ и чрезвычайно разнообразенъ. Несмотря на то, всѣ москвичи очень похожи другъ на друга, къ нимъ всегда будетъ идти эта характеристика, сдѣланная знаменитѣйшимъ москвичемъ Фамусовымъ:

Отъ головы до пятокъ
На всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ.

Москвичи—люди на распашку, истинные аѳиняне, только на русско-московскій ладъ. Они любятъ пожить, и въ ихъ смыслѣ дѣйствительно хорошо живутъ. Кто не слышалъ о московскомъ Англійскомъ клубѣ и его сытныхъ обѣдахъ? Кромѣ Англійскаго и Нѣмецкаго клубовъ, теперь въ Москвѣ есть еще — Дворянскій. Кто не слышалъ о московскомъ хлѣбосольствѣ, гостепріимствѣ и радушіи? Въ какомъ другомъ городѣ въ мірѣ можете вы съ такимъ удобствомъ и жениться, и пообѣдать, какъ въ Москвѣ?... Гдѣ, кромѣ Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, какъ только для собственнаго развлеченія, для отдыха? Гдѣ лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, какъ не въ Москвѣ? Гдѣ, если не въ Москвѣ, можете вы много говорить о своихъ трудахъ, настоящихъ и будущихъ, прослыть за дѣятельнѣйшаго человѣка въ мірѣ—и въ то же время ровно ничего не дѣлать? Гдѣ, кромѣ Москвы, можете вы быть довольнѣе тѣмъ, что вы ничего не дѣлаете, а время проводите препріятно? Оттого-то въ Москвѣ такъ много заѣзжаго празднаго народа, который собирается туда изъ провинціи жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то тамъ такъ много халатовъ, венгерокъ, штатскихъ панталонъ съ лампасами и такихъ невиданныхъ сюртуковъ съ шнурами, которые, появившись на Невскомъ проспектѣ, заставили бы смотрѣть на себя съ ужасомъ все народонаселеніе Петербурга. Въ Москвѣ есть, говорятъ, даже шапки-мурмолки, вродѣ той, которую, по увѣренію москвичей, носилъ еще Рюрикъ. Оттого-то наконецъ въ Москвѣ только можетъ процвѣтать цыганскій хоръ Ильюшки. Лицо москвича никогда не озабочено: оно добродушно и откровенно, и смотритъ такъ, какъ будто хочетъ вамъ сказать: а гдѣ вы сегодня обѣдаете? Кто хоть сколько-нибудь знаетъ Москву, тотъ не можетъ не знать, что, кромѣ англійскаго комфорта, есть еще и

московскій комфортъ, иначе называемый «жизнью на распашку». Москвичи такъ рѣзко отличаются ото всѣхъ не-москвичей, что напримѣръ московскій баринъ, московская барыня, московская барышня, московскій поэтъ, московскій мыслитель, московскій литераторъ, московскій архивный юноша, все это—типы, все это—слова техническія, рѣшительно непонятныя для тѣхъ, кто не живетъ въ Москвѣ. Это происходитъ отъ исключительнаго положенія Москвы, въ которое постановила ее реформа Петра Великаго. Москва одна соединила въ себѣ тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва—городъ промышленный. Въ Москвѣ находится не только старѣйшій, но и лучшій русскій университетъ, привлекающій въ нее свѣжую молодежь изо всѣхъ концовъ Россіи. Хотя значительная часть воспитанниковъ этого университета, по окончаніи курса, оставляетъ Москву, чтобъ хоть что-нибудь дѣлать на этомъ свѣтѣ, но все же изъ нихъ довольно остается и въ Москвѣ. Эти остающіеся, вмѣстѣ съ учащимися, составляютъ собою особенное среднее сословіе, въ которомъ находятся люди всѣхъ сословій. Ихъ соединяетъ и подводитъ подъ общій уровень образованіе или по крайней мѣрѣ стремленіе къ образованію. Среднее сословіе такого рода—оазисъ на песчаномъ грунтѣ всѣхъ другихъ сословій. Такіе оазисы находятся во многихъ, если не во всѣхъ, русскихъ городахъ. Въ иномъ городѣ такой оазисъ состоитъ изъ пяти, въ иномъ и изъ одной только души, а въ нѣкоторыхъ городахъ и совсѣмъ нѣтъ такихъ оазисовъ —все чистый песокъ, или чистый черноземъ, поросшій бурьяномъ и крапивой. Къ особенной чести Москвы, никакъ нельзя не согласиться, что въ ней такихъ оазисовъ едва ли не больше, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ русскомъ городѣ. Это происходитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ исключительнаго положенія Москвы, чуждой всякаго административнаго, бюрократическаго и оффиціальнаго характера, ея значенія и столицы, и вмѣстѣ оргомнаго губернскаго города; во-вторыхъ,—отъ вліянія Московскаго университета. Оттого въ дѣлѣ вопросовъ, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяемъ, лучшая сторона московскаго быта. Но на свѣтѣ все такъ чудно устроено, что самое лучшее дѣло непремѣнно должно имѣть свою слабую сторону. Что нѣтъ въ мірѣ народа ученѣе нѣмцевъ—это извѣстно всякому: сами москвичи, по наукѣ, не годятся нѣмцамъ въ ученики. Но зато и у нѣмцевъ есть та слабая сторона, что они до тридцати лѣтъ бываютъ буршами, а остальную—и большую —половину жизни — филистерами, и поэтому не имѣютъ время быть людьми. Такъ и Москвѣ: люди, поставившіе образованность цѣлью своей жизни, сначала бываютъ молодыми людьми, подающими о себѣ большія надежды, и потомъ, если вовремя не выѣдутъ изъ Москвы, дѣлаются москвичами, и тогда уже перестаютъ подавать о себѣ какія-нибудь надежды, какъ люди, для которыхъ прошла пора обѣщать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающіе о себѣ большія надежды», въ Москвѣ имѣютъ тотъ общій недостатокъ, что часто смѣшиваютъ между собой самыя различныя и противоположныя понятія, какъ-то: стихотворство съ дѣломъ, фантазіи празднаго ума—съ мышленіемъ. Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стоитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію или фантазію о чемъ бы то ни было,—и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи или этой фантазіи въ самой дѣйствительности,—и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностью. Отсюда игра словами, которыя принимаются за дѣла, игра въ понятія, которыя считаются фактами. Все это очень невинно, но отъ того не меньше смѣшно. Что бы ни дѣлали въ жизни молодые люди, оставляющіе Москву для Петербурга,—они дѣлаютъ; москвичи же ограничиваются только бесѣдами и спорами о томъ, что должно дѣлать, бесѣдами и спорами часто очень умными, но всегда рѣшительно безплодными. Страсть разсуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дѣла изъ этихъ разсужденій и споровъ у нихъ не выходитъ. Нигдѣ нѣтъ столько мыслителей, поэтовъ, талантовъ, даже геніевъ, особенно «высшихъ натуръ», какъ въ Москвѣ; но всѣ они дѣлаются болѣе или менѣе извѣстными внѣ Москвы только тогда, какъ переѣдутъ въ Петербургъ; тутъ они, волей или неволей, или попадаютъ въ составъ той толпы, которую всегда бранили, и дѣлаются простыми смертными, или дѣйствительно находятъ, какое бы то ни было, поприще своимъ способностямъ, часто болѣе или менѣе замѣчательнымъ, если и не геніальнымъ. Нигдѣ столько не говорятъ о литературѣ, какъ въ Москвѣ, и между тѣмъ въ Москвѣ-то и нѣтъ никакой литературной дѣятельности, по крайней мѣрѣ теперь. Если тамъ появится журналъ, то не ищите въ немъ ничего, кромѣ напыщенныхъ толковъ о мистическомъ значеніи Москвы, опирающихся

на царь-пушкѣ и большомъ колоколѣ, какъ будто городъ Петра Великаго стоитъ внѣ Россіи, и какъ будто исполинъ на Исаакіевской площади не есть величайшая историческая святыня русскаго народа: не ищите ничего кромѣ множества посредственныхъ стихотвореній къ дѣвѣ, къ лунѣ, къ Ивану-великому, Сухаревой башнѣ, а иногда—повѣрятъ ли?—къ пѣнному вину, будто бы источнику всего великаго въ русской народности, плохихъ повѣстей, запоздалыхъ сужденій о литературѣ, исполненныхъ враждой къ Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащихъ къ приходу этого журнала и не удивляющихся геніальности его сотрудниковъ. Если выйдетъ брошюрка,—это опять или несовсѣмъ образованныя выходки противъ, будто бы, гніющаго Запада; или какія-нибудь дѣтскія фантазіи съ самонадѣянными притязаніями на открытіе глубокихъ истинъ вродѣ тѣхъ, что Гоголь—не шутя нашъ Гомеръ, и «Мертвыя Души»—единственный послѣ «Иліады» типъ истиннаго эпоса.

Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о слабыхъ сторонахъ, не отрицая возможности прекраснѣйшихъ исключеній изъ нихъ. Вездѣ есть свое хорошее и слѣдовательно свое слабое или недостаточное. Петербургъ и Москва — двѣ стороны или, лучше сказать, двѣ односторонности, которыя могутъ современемъ образовать своимъ сліяніемъ прекрасное и гармоническое цѣлое, прививъ другъ другу то, что̀ въ нихъ есть лучшаго. Время это близко: желѣзная дорога дѣятельно дѣлается...

Обратимся къ Петербургу.

Низшій слой народонаселенія, собственно простой народъ, вездѣ одинаковъ. Впрочемъ петербургскій простой народъ нѣсколько разнится отъ московскаго: кромѣ полугара и чая, онъ любитъ еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный полъ петербургскаго простонародья, въ лицѣ кухарокъ и разнаго рода служанокъ, чай и водку отнюдь не считаетъ необходимостью, а безъ кофею рѣшительно не можетъ жить; подгородныя крестьянки Петербурга забыли уже національную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуютъ подъ звуки гармоники, ими самими извлекаемые: вліяніе лукаваго Запада, разсчитанное слѣдствіе его адскихъ козней! Петербургскія швейки и вообще всѣ простыя женщины, усвоившія себѣ европейскій костюмъ, предпочитаютъ шляпки чепцамъ, тогда какъ въ Москвѣ наоборотъ, и вообще одѣваются съ бо̀льшимъ вкусомъ противъ московскихъ женщинъ даже не одного съ ними сословія. То же должно сказать и о мужчинахъ: къ какому сословію принадлежитъ иной служитель и мастеровой, это можно узнать только по его манерамъ, но не всегда по его платью. Это опять вліяніе того же лукаваго Запада! Далѣе въ нашей книгѣ благосклонный читатель современемъ найдетъ описаніе такъ-называемыхъ «лакейскихъ баловъ», о которыхъ въ Москвѣ люди этого сословія еще и не мечтали. Говоря о Москвѣ, мы нарочно распространились о купеческомъ и мѣщанскомъ сословіяхъ, какъ о самыхъ характеристическихъ ея принадлежностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, мѣщане, вродѣ тѣхъ, которыхъ такъ удачно представляетъ на сценѣ Александринскаго театра Григорьевъ 2-й, есть и въ Петербургѣ, и притомъ еще въ довольномъ количествѣ; но здѣсь они какъ будто не у себя дома, какъ будто въ гостяхъ, какъ будто колонисты или заѣзжіе иностранцы. Петербургскій нѣмецъ болѣе ихъ туземецъ петербургскій. На улицахъ Петербурга они попадаются гораздо рѣже, чѣмъ въ Москвѣ; ихъ надо искать на Щукиномъ, въ овощныхъ лавкахъ, въ мясныхъ рядахъ и всякаго рода маленькихъ лавочкахъ, которыя разсыпаны тамъ и сямъ по Петербургу. Мѣщане-сидѣльцы и приказчики въ лавкахъ, находящихся на болѣе видныхъ улицахъ Петербурга,—какъ-то цивилизованнѣе своихъ московскихъ собратій. Вообще-же всѣ они такъ перетасованы въ петербургскомъ народонаселеніи, что не бросаются въ глаза прежде всего, какъ въ Москвѣ; скажемъ болѣе: въ Петербургѣ они какъ-то совсѣмъ незамѣтны. И вотъ почему мы думаемъ, что Григорьевъ 2-й не имѣлъ бы такого успѣха на московской сценѣ, какимъ пользуется онъ на петербургской: представляемый имъ типъ конечно—не невидаль въ Петербургѣ, но въ то же время онъ—и не такое обыкновенное явленіе, которое своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ нравами преобладающаго сословія въ Петербургѣ могло бы не возбуждать громкаго и веселаго смѣха на свой счетъ. Что̀ же касается до петербургскаго купечества,—оно рѣзко отличается отъ московскаго. Купцовъ съ бородами, особенно богатыхъ, въ Петербургѣ очень мало, и они кажутся рѣшительными колонистами въ этомъ оевропеившемся городѣ; они даже выбрали особенныя улицы своимъ исключительнымъ мѣстомъ жительства: это —Троицкій переулокъ, улицы, сопредѣльныя Пяти-угламъ и около старообрядческой церкви. Въ Петербургѣ множество купцовъ изъ нѣмцевъ, даже англичанъ, и потому большая часть даже русскихъ купцовъ смотрятъ не купчинами, а негоціантами, и ихъ не отличить отъ сплошной массы, со-

ставляющей петербургское среднее сословіе. Наконецъ мы дошли до главнаго (по его многочисленности и общности его физіономіи) «петербургскаго сословія». Извѣстно, что ни въ какомъ городѣ въ мірѣ нѣтъ столько молодыхъ, пожилыхъ и даже старыхъ бездомныхъ людей, какъ въ Петербургѣ, и нигдѣ осѣдлые и семейные такъ не похожи на бездомныхъ, какъ въ Петербургѣ. Въ этомъ отношеніи Петербургъ—антиподъ Москвы. Это рѣзкое различіе объясняется отношеніями, въ которыхъ оба города находятся къ Россіи. Петербургъ—центръ правительства, городъ по преимуществу административный, бюрократическій и оффиціальный. Едва ли не цѣлая треть его народонаселенія состоитъ изъ военныхъ, а число штатскихъ чиновниковъ едва ли еще не превышаетъ собою числа военныхъ офицеровъ. Въ Петербургѣ все служитъ, все хлопочетъ о мѣстѣ или объ опредѣленіи на службу. Въ Москвѣ вы часто можете слышать вопросъ: «чѣмъ вы занимаетесь?»; въ Петербургѣ этотъ вопросъ рѣшительно замѣненъ вопросомъ: «гдѣ вы служите?». Слово «чиновникъ» въ Петербургѣ такое же типическое, какъ въ Москвѣ «баринъ», «барыня», и т. д. Чиновникъ—это туземецъ, истый гражданинъ Петербурга. Если къ вамъ пришлютъ лакея, мальчика, дѣвочку хоть пяти лѣтъ, каждый изъ этихъ посланныхъ, отыскивая въ домѣ вашу квартиру, будетъ спрашивать у дворника или у самого васъ: «здѣсь ли живетъ чиновникъ такой-то?», хотя бы вы не имѣли никакого чина и нигдѣ не служили и никогда не намѣревались служить. Такой ужъ петербургскій «норовъ»! Петербургскій житель вѣчно боленъ лихорадкой дѣятельности; часто онъ въ сущности дѣлаетъ ничего, въ отличіе отъ москвича, который ничего не дѣлаетъ, но «ничего» петербургскаго жителя для него самого всегда есть «нѣчто»: по крайней мѣрѣ онъ всегда знаетъ, изъ чего хлопочетъ. Москвичи, Богъ ихъ знаетъ какъ, нашли тайну все на свѣтѣ дѣлать такъ, какъ въ Петербургѣ отдыхаютъ или ничего не дѣлаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже визитъ, прогулка, обѣдъ—все это петербуржецъ исправляетъ съ озабоченнымъ видомъ, какъ будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это рѣшается онъ не всегда безъ цѣли и безъ разсчета. Въ Москвѣ даже солидные люди молчатъ только тогда, когда спятъ, а юноши, особенно «подающіе о себѣ большія надежды», говорятъ даже и во снѣ, а потомъ даже иногда печатаютъ, если имъ случится сказать во снѣ что-нибудь хорошее,—чѣмъ и должно объяснять иныя литературныя явленія въ Москвѣ. Петербуржецъ, если онъ—человѣкъ солидный, скупъ на слова, если они не ведутъ ни къ какой положительной цѣли. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, привѣтливо; москвичъ всегда радъ заговорить и заспорить съ вами о чемъ угодно, и въ разговорѣ москвичъ откровененъ. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржецъ всегда вѣжливъ, часто даже любезенъ, но какъ-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ; серьёзно онъ говоритъ только о службѣ, а спорить и разсуждать ни о чемъ не любитъ. По лицу москвича видно, что онъ доволенъ людьми и міромъ; по лицу петербуржца видно, что онъ доволенъ — самимъ собой, если, разумѣется, дѣла его идутъ хорошо. Отсюда проистекаетъ его тонкая наблюдательность; отъ этого безпрестанно вспыхиваетъ его тонкая иронія: онъ сейчасъ замѣтитъ, если ваши сапоги не хорошо вычищены или у вашихъ панталонъ оборвалась штрипка, а у жилета виситъ готовая оборваться пуговка, замѣтитъ—и улыбнется лукаво, самодовольно... Въ этой улыбкѣ впрочемъ и состоитъ вся его иронія. Москвичъ снисходителенъ ко всякому туалету и не замѣчателенъ вообще во всемъ, что́ касается до наружности. Прежде всего онъ требуетъ, чтобы вы были или добрый малый, или человѣкъ съ душой и сердцемъ... При первой же встрѣчѣ онъ съ вами заспоритъ, и только тогда начнетъ иронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши мнѣнія не сходятся съ мнѣніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ или въ которомъ онъ слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ, и который онъ непремѣнно считаетъ за литературную или философскую «партію». Вообще всякій москвичъ, къ какому бы званію ни принадлежалъ онъ, вполнѣ доволенъ жизнью, потому-что доволенъ Москвой и по своему умѣетъ наслаждаться жизнью, потому-что по своему онъ живетъ широко, раздольно, на-распашку. Въ чемъ заключается его наслажденіе жизнью—это другой вопросъ. Умные люди давно уже согласились между собой, что крѣпкій сонъ, сильный аппетитъ, здоровый желудокъ, внушающіе уваженіе размѣры брюшныхъ полостей, полное и румяное лицо и наконецъ завидная способность быть всегда въ добромъ расположеніи духа суть самое прочное основаніе истиннаго счастья въ этомъ подлунномъ мірѣ. Москвичи, какъ умные люди, вполнѣ соглашаясь съ этимъ, думаютъ еще, что чѣмъ менѣе человѣкъ о чемъ-нибудь заботится серьёзно, чѣмъ менѣе что-нибудь дѣлаетъ и чѣмъ болѣе обо всемъ говоритъ, тѣмъ онъ счастливѣе. И едва ли

они не правы въ этомъ отношеніи, счастливые мудрецы! Зато одинъ видъ москвича возбуждаетъ въ васъ аппетитъ и охоту говорить много, горячо, съ убѣжденіемъ, но рѣшительно безъ всякой цѣли и безъ всякаго результата! Не такое дѣйствіе производитъ на душу наблюдателя видъ петербургскаго жителя. Онъ рѣдко бываетъ румянъ, часто бываетъ блѣденъ, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальнымъ колоритомъ, свойственнымъ петербургскому небу; и на этомъ лицѣ почти всегда видна бываетъ забота, что-то безпокойное, тревожное и вмѣстѣ съ этимъ какое-то довольство самимъ собою, что-то похожее на непобѣдимое убѣжденіе въ собственномъ достоинствѣ. Петербургскій житель никогда не ложится спать ранѣе двухъ часовъ ночи, а иногда и совсѣмъ не ложится; но это не мѣшаетъ ему въ девять часовъ утра сидѣть уже за дѣломъ или быть въ департаментѣ. Послѣ обѣда онъ непремѣнно въ театрѣ, на вечерѣ, на балѣ, въ концертѣ, маскарадѣ, за картами, на гуляньи, смотря по времени года. Онъ успѣваетъ вездѣ, и какъ работаетъ, такъ и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, какъ будто боясь, что у него не хватитъ времени. Москвичъ — предобрѣйшій человѣкъ, довѣрчивъ, разговорчивъ и особенно наклоненъ къ службѣ. Петербурженцъ, напротивъ, не говорливъ, на другихъ смотритъ съ недовѣрчивостью и съ чувствомъ собственнаго достоинства: ему какъ будто все кажется, что онъ или занятъ дѣловыми бумагами, или играетъ въ преферансъ, а извѣстно, что важныя занятія требуютъ вниманія и молчаливости. Петербурженцъ рѣзко отличается отъ москвича даже въ способѣ наслаждаться: въ столѣ и винахъ онъ ищетъ утонченнаго гастрономическаго изящества, а не излишества, не разливаннаго моря. Въ обществѣ онъ рѣшится лучше скучать, нежели, предавшись обаянію живого разговора, манкировать передъ чинностью и церемонностью, въ которыхъ онъ привыкъ видѣть величіе и хорошій тонъ. Исключеніе остается за холостыми пирушками; русскій человѣкъ кутитъ одинаково во всѣхъ концахъ Россіи, и въ его кутежѣ всегда равно проглядываетъ какое-то степное раздолье, напоминающее древненовгородскіе нравы.

Въ Москвѣ нѣтъ чиновниковъ. Порядочные люди въ Москвѣ, къ чести ихъ, внѣ мѣста своей службы умѣютъ быть просто людьми, такъ что и не догадаешься, что они служатъ. Низшій классъ бюрократіи тамъ слываетъ еще подъ именемъ «приказныхъ» и мало замѣтенъ, разумѣется, для тѣхъ, кто не имѣетъ до нихъ дѣла, и за-то, разумѣется, тѣмъ замѣтнѣе для тѣхъ, кому есть до нихъ нужда. Военныхъ въ Москвѣ мало, притомъ многіе изъ нихъ являются туда на время, въ отпускъ. Словомъ, въ Москвѣ почти не замѣтно ничего оффиціальнаго, и петербургскій чиновникъ въ Москвѣ есть такое же странное и удивительное явленіе, какъ московскій мыслитель въ Петербургѣ. Хотя москвичъ вообще оригинальнѣе и какъ будто самобытнѣе петербуржца, однако тѣмъ не менѣе онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить. Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ въ этомъ отношеніи пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣлъ сберечь и душу, и сердце не насчетъ здраваго смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству,— тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку... Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздной жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности,—и вы остаетесь можетъ-быть съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго... Что̀ мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не сто̀ятъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому-что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и притомъ плодотворная въ будущемъ...

Для дополненія нашей картины выпишемъ нѣсколько строкъ о Москвѣ и Петербургѣ изъ одной старой статьи, которая такъ хороша, что въ ней многое осталось новымъ и по прошествіи семи лѣтъ.

«Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаетъ печь французскіе хлѣбы, которые назавтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свѣтится, то другой; Москва ночью вся спитъ и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужескаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, чтобъ во всей формѣ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней какъ сарайныя двери. Петербургъ— аккуратный человѣкъ, совершенный нѣмецъ, на все глядитъ съ разсчетомъ, и прежде, нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотритъ въ карманъ;

Москва — русскій дворянинъ, и если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ; она не любитъ середины. Москва всегда ѣдетъ завернувшись въ медвѣжью шубу и большей частью на обѣдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу или въ «должность». Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымается съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшитъ въ своемъ байковомъ сюртукѣ въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается на легкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежные и разъѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ изрядным капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ ухабамъ сбывать и покупать; въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ лѣтней порой строить и работать. Москва — кладовая: она нагаливаетъ тюки да вьюки, на мелкаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазины и ловитъ мелкихъ покупщиковъ. Москва говоритъ: «коли нужно покупщику — сыщетъ»; Петербургъ суетъ вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ позъ съ «ренскимъ погребомъ» и ставитъ извозчичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстухи и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва — большой гостиный дворъ; Петербургъ — свѣтлый магазинъ. Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фраковъ безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвой, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадется въ самой срединѣ модной толпы какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи.» («Современникъ», 1837, т. VI, стр. 403.)

Мы выпустили нѣсколько строкъ изъ этого отрывка, потому что онѣ уже устарѣли и безъ комментарій не годятся. Кромѣ этого нельзя оставить безъ замѣчанія фразы: «Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія». Эта фраза болѣе остроумна, чѣмъ справедлива. Петербургъ такъ же нуженъ Россіи, какъ и Москва, а Россія такъ же нужна для Москвы, какъ и для Петербурга. Нельзя отнять важнаго значенія у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Значеніе самаго Петербурга яснѣе пока à priori, чѣмъ à posteriori. Это отъ того, что мы все еще находимся въ настоящемъ моментѣ нашей исторіи; наше прошедшее такъ еще невелико, что по немъ мы можемъ только догадываться о будущемъ, а не говорить о немъ утвердительно. Мы все еще въ переходномъ положеніи. Поэтому мудрено схватить вѣрно и опредѣленно характеристику обоихъ городовъ. Говоря о томъ, что̀ они теперь, все надо думать, чѣмъ они могутъ сдѣлаться въ будущемъ. Можетъ-быть назначеніе Москвы состоитъ въ удержаніи національнаго начала (сущности котораго, какъ сущности многихъ вещей этого міра, пока нѣтъ возможности опредѣлить) и въ противоборствѣ иноземному вліянію, которое могло бы оставаться рѣшительно внѣшнимъ, а потому и безплоднымъ, еслибъ не встрѣчало на своемъ пути національнаго элемента и не боролось съ нимъ. Все живое есть результатъ борьбы; все, что̀ является и утверждается безъ борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новыхъ мнѣній или, пожалуй, и до новыхъ идей,—она, моя матушка, до сихъ поръ живетъ все по старому и не тужитъ. Съ этими идеями, она обращается какъ-то понѣмецки: идеи у нея сами по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Ясно, что въ ней есть свое собственное консервативное начало, которое только уступаетъ, и то понемногу и медленно, новизнѣ, но не покоряется ей. Представитель этой новизны есть Петербургъ, и въ этомъ его великое значеніе для Россіи. Петербургъ не заносится идеями, онъ—человѣкъ положительный и разсудительный. Своего байковаго сюртука онъ никогда не назоветъ римской тогой; онъ лучше будетъ играть въ преферансъ, нежели хлопотать о невозможномъ; его не удивишь ни теоріями, ни умозрѣніями, а мечты онъ терпѣть не можетъ; стоять на болотѣ ему не совсѣмъ пріятно, но все-таки лучше, чѣмъ держаться безъ всякихъ подпоръ на воздухѣ. Его законъ—нудящая сила обстоятельствъ, и онъ готовъ сдѣлаться чѣмъ угодно, если это угодно будетъ обстоятельствамъ. Поэтому его мудрено опредѣлить на основаніи того, чѣмъ онъ былъ и что̀ онъ есть. Ни одинъ петербуржецъ не лѣзетъ въ геніи и не мечтаетъ передѣлывать дѣйствительности: онъ слишкомъ хорошо ее знаетъ, чтобъ не смиряться передъ ея силой. Геніи родятся сотнями только тамъ, гдѣ, вслѣдствіе обстоятельствъ, царствуетъ полное невѣдѣніе того, что̀ называется дѣйствительностью, гдѣ каждый собой мѣряетъ весь міръ и мечты своей праздношатающейся фантазіи принимаетъ за несомнѣнные факты исторіи и современной дѣйствительности. Въ Петербургѣ каждый является на своемъ мѣстѣ и самимъ собой, потому-что, еслибы въ немъ кто-нибудь объявилъ притязанія быть лучше и выше другихъ, ему сказали бы: «а ну-те, попробуйте!». Словомъ, Петербургъ не вѣритъ, а требуетъ дѣла. Въ немъ каждый стремится къ своей цѣли, и какова бы ни была его цѣль, петербур-

жецъ ее достигаетъ. Это имѣетъ свою пользу, и притомъ большую: какова бы ни была дѣятельность, но привычка и пріобрѣтаемое чрезъ нее умѣнье дѣйствовать—великое дѣло. Кто не сидѣлъ сложа руки и тогда, какъ нечего было дѣлать, тотъ съумѣетъ дѣйствовать, когда настанетъ для этого время. Городъ—не то, что̀ человѣкъ; для него и сто лѣтъ не Богъ знаетъ какое время. Короче: мы думаемъ, что Петербургу назначено всегда трудиться и дѣлать такъ же, какъ Москвѣ подготовлять дѣлателей. Это видно и теперь: сколько молодыхъ людей, окончившихъ въ Московскомъ университетѣ курсъ наукъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ на службу! Вслѣдствіе вліянія Московскаго университета и вслѣдствіе тихаго провинціальнаго положенія Москвы въ ней, говоря вообще, читаютъ не больше, чѣмъ въ Петербургѣ, но въ дѣлѣ вопросовъ науки, искусства, литературы москвичи обнаруживаютъ больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ большинство петербургской читающей и разсуждающей публики. Вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ обстоятельствъ въ Москвѣ больше, чѣмъ въ Петербургѣ, молодыхъ людей, способныхъ къ дѣлу, но дѣлаютъ что-нибудь они опять-таки только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ только говорятъ о томъ, что̀ бы и какъ бы они дѣлали, если-бы стали что-нибудь дѣлать.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1845 ГОДУ.

Тихо и незабвенно еще канулъ годъ въ вѣчность, канулъ, какъ капля въ море! И никто не пожалѣлъ о покойникѣ, никто не проводилъ его ласковымъ словомъ,—онъ былъ забытъ заживо, забытъ совершенно: въ декабрѣ на него смотрѣли всѣ какъ на докучнаго, засидѣвшагося гостя, который только мѣшаетъ радостной встрѣчѣ съ вожделѣннымъ новымъ годомъ. Старый годъ въ своемъ послѣднемъ мѣсяцѣ бываетъ похожъ на начальника, который подалъ въ отставку, но, за сдачей дѣлъ, еще не оставилъ своего мѣста. Разница только въ томъ, что о старомъ начальникѣ всегда жалѣютъ, если не по сознанію, что онъ былъ хорошъ, то по боязни, что новый будетъ еще хуже; новаго же года люди никогда не боятся: напротивъ, ждутъ его съ нетерпѣніемъ, какъ-будто въ условной цифрѣ заключается талисманъ ихъ счастья. И все это для того, чтобъ измѣнить ему, когда онъ состарѣется, и снова возложить свои надежды на его преемника! Такимъ образомъ непримѣтно уходитъ годъ за годомъ,—и только развѣ тогда, какъ человѣкъ почувствуетъ на плечахъ своихъ порядочное количество годовъ, впадаетъ онъ въ невольное раздумье, и уже не съ такой холодностью провожаетъ старый и не съ такой радостью встрѣчаетъ новый годъ... Ему въ первый разъ приходитъ на умъ очень простая истина, что первое января, которымъ теперь называется новый годъ, ничѣмъ не лучше перваго сентября, которымъ прежде начинался годъ; что условныя вѣхи, столбы и станціи на безконечной дорогѣ жизни въ сущности ничего не значатъ, и что для каждаго лично всего лучше измѣрять свое время объемомъ своей дѣятельности или хоть своихъ удачъ и своего счастья. Ничего не сдѣлать, ничего не достигнуть, ничего не добиться, ничего не получить впродолженіе цѣлаго года — значитъ потерять годъ, значитъ не жить впродолженіе цѣлаго года. А сколько такихъ годовъ теряется у людей! Не дѣлать — не жить; для мертваго это небольшая бѣда, но не жить живому—ужасно! И между тѣмъ такъ много людей живетъ не живя, но только сбираясь жить! Кто въ самомъ себѣ не носитъ источника жизни, т. е. источника живой дѣятельности, кто не надѣется на себя,—тотъ вѣчно ожидаетъ всего отъ внѣшняго и случайнаго. И вотъ причина чествованія новаго года. Новый годъ даетъ то, чего не далъ прошлый... И вотъ—

Настали святки. То-то радость!
Гадаетъ вѣтреная младость,
Которой ничего не жаль,
Передъ которой жизни даль
Лежитъ свѣтла, необозрима;
Гадаетъ старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потерявъ невозвратимо;
И все равно: надежда имъ
Лжетъ дѣтскимъ лепетомъ своимъ.

Святочныя гаданія всегда относятся къ новому году; люди убѣждены, что только въ новомъ году могутъ они быть счастливы. О томъ, достойны ли, способны ли они быть счастливы, имъ и въ голову не приходитъ. Еще тѣ, которые ждутъ своего счастья отъ денегъ, отъ матеріальныхъ выгодъ, могутъ быть правы: не удалось въ прошломъ

году — авось удастся въ будущемъ! Притомъ же люди этого сорта дѣятельны и крѣпко держатся пословицы: «на Бога надѣйся, самъ не плошай». Но романтическіе лѣнивцы, но вѣчно бездѣятельные, или глупо дѣятельные мечтатели думаютъ объ этомъ иначе: небрежно, въ сладкой задумчивости, опустивъ руки въ пустые карманы, прогуливаются они по дорогѣ жизни, глядя все впередъ,—туда, въ туманную даль, и думаютъ, что счастье гонится за ними, ищетъ ихъ и вотъ—того и гляди—наконецъ найдетъ ихъ и бросится въ ихъ объятія, чтобъ никогда уже не разставаться съ ними. «О, что-то сулишь ты мнѣ, таинственный новый годъ!» восклицаютъ они въ стихахъ и въ прозѣ... А о томъ и не подумаютъ, что они перехитрились, перемудрились до того, что сами не знаютъ, чего имъ надо и чего не надо; что они утратили способность просто чувствовать, просто понимать вещи; что сдѣлались олицетвореннымъ противорѣчіемъ— de facto живутъ на землѣ, а мыслію на облакахъ; что стали ложны, неестественны, натянуты

Съ *своей* безнравственной душой,
Самолюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ *своимъ* озлобленнымъ умомъ,
Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ.

Въ наше время особенно много людей мечтающихъ и разсуждающихъ, о которыхъ впрочемъ не всегда можно сказать, чтобъ они были въ то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и разсуждать о жизни — вотъ въ чемъ заключается ихъ жизнь... Нельзя не подивиться, что юморъ современной русской литературы до сихъ поръ не воспользовался этими интересными типами, которыхъ такъ много теперь въ дѣйствительности, что ему было бы гдѣ разгуляться! Это существа странныя, иногда жалкія, иногда достойныя участія, но всегда равно любопытныя для наблюденія. Ихъ значеніе у насъ очень важно; они явились вслѣдствіе внутренней необходимости, какъ выраженіе нравственнаго состоянія общества. Еще недавно были они «героями своего времени». Теперь на нихъ мода проходитъ, но ихъ все еще много, и они еще не скоро переведутся. Притомъ же они не столько переводятся, сколько измѣняются, принимая новыя формы. Поэтому они раздѣляются на множество оттѣнковъ, заслуживающихъ подробнаго изслѣдованія.

Что же это за люди, что это за типы?— Это высокія натуры, презирающія толпу: вотъ общее ихъ опредѣленіе, довольно полное и вѣрное. Что же касается до оттѣнковъ, начнемъ съ перваго.

Онъ слезы лилъ, добросердечно
Бранилъ толпу,
И проклиналъ безчеловѣчно
Свою судьбу.
Являлся горестнымъ страдальцемъ,
Писалъ стишки,
И не дерзалъ коснуться пальцемъ
Ея руки.

Никакой натуралистъ такъ хорошо и полно не составлялъ исторіи какого-нибудь genus или species животнаго царства, какъ хорошо и полно разсказана въ этихъ восьми стихахъ исторія человѣческой породы, о которой говоримъ мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вѣчное страданіе, почти всегда кропаніе стишковъ и идеальное обожаніе неземной дѣвы—вотъ родовые признаки этихъ «романтиковъ» жизни. Первый разрядъ ихъ состоитъ больше изъ людей чувствующихъ, нежели умствующихъ. Ихъ призваніе—страдать, и они горды своимъ призваніемъ. Не спрашивайте ихъ, по чемъ, отчего они страдаютъ: они презираютъ страданіе, которое можно объяснить какой-нибудь причиной. Они любятъ страданіе для страданія. Имъ стыдно минуты веселаго, беззаботнаго увлеченія; они боятся здоровья, хотятъ быть блѣдными, худыми, и ничѣмъ такъ нельзя встревожить ихъ, какъ сказавъ, что они пополнѣли. Для чего все это? —Для того, что толпа любитъ ѣсть, пить, веселиться, смѣяться, а они, во что бы то ни стало, хотятъ быть выше толпы. Имъ пріятно увѣрять себя, что въ нихъ клокочутъ неистовыя страсти, что ихъ юная грудь разбита несчастіемъ, свѣтлыя надежды на жизнь давно разлетѣлись, и на долю имъ осталось одно горькое разочарованіе. Имъ непремѣнно нужна душа, которая поняла бы ихъ, но они рѣшительно не знаютъ, что имъ дѣлать съ такой душой, когда имъ удастся найти ее, потому что ихъ страсти въ головѣ, а не въ сердцѣ, а счастливая любовь становитъ ихъ втупикъ. Поэтому, они предпочитаютъ любовь непонятую, нераздѣленную, любви счастливой, и желаютъ встрѣчи или съ жестокою дѣвой, или съ измѣнницей... Во всемъ этомъ главную роль играетъ самолюбіе, и однакожъ тутъ есть или была когда-то своя хорошая сторона; но мы объ этомъ скажемъ ниже, а теперь обратимся къ другому, высшему разряду «романтиковъ».

Между этими «романтиками» бываютъ люди умные, даже очень, хотя и безплодно умные. Они толкуютъ не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда оно имѣетъ прочную основу, практическій характеръ! Но романтики вообще враги всего практическаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на до-

лю «толпы», не понимая въ своемъ ослѣпленіи, что всякій геній, всякій великій дѣятель есть человѣкъ практическій, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ дѣйствительностью—болѣзнь этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спѣшить жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на то, чтобъ разсуждать о жизни, которой онъ никогда не извѣдалъ. Толпа живетъ, не мысля, и оттого живетъ пошло; но мыслить, не живя,—развѣ это лучше? развѣ это не такая же или даже еще не бо́льшая уродливость?...

Но теперь всѣ заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и та же фраза:—«надо дѣлать!». И между тѣмъ все-таки никто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что, во что́ бы ни нарядился романтикъ, онъ все остается романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и вышелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть чѣмъ угодно—и туркомъ, и жидомъ, и рыцаремъ. Нѣкоторые, говорятъ, не шутя надѣли на себя терликъ, охабень и шапку-мурмолку; болѣе благоразумные довольствуются только тѣмъ, что ходятъ дома въ татарской ермолкѣ, татарскомъ халатѣ и желтыхъ сафьянныхъ сапожкахъ — все же историческій костюмъ! Назвались они «партіями» и думаютъ, что дѣлать значитъ—разсуждать на пріятельскихъ вечерахъ о томъ, что только они—удивительные люди, и что кто думаетъ не по ихъ, тотъ бродитъ во тьмѣ.

Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокій внутренній разладъ съ дѣйствительностью. Сперва хотятъ составить программу жизни, хорошенько обдумать и обсудить ее, а потомъ уже и жить по этой программѣ. Удивительно ли, что вся жизнь такихъ людей проходитъ въ составленіи программъ? Человѣкъ долженъ сознавать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни—тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основой жизни долженъ быть инстинктъ, непосредственное чувство. Безъ нихъ жизнь есть пустое, холодное и къ довершенію преглупое умничанье; такъ же, какъ, безъ мыслительности, непосредственное существованіе есть животное состояніе. Любовь къ женщинѣ—высокое чувство, но оно тогда только истинно, когда выходитъ изъ сердца, а не изъ головы. А между тѣмъ романтики по преимуществу живутъ головными, а не сердечными страстями, и потому вся гамма жизни ихъ поется визгливой фистулой. Ихъ презрѣніе къ «толпѣ» такъ велико, что они не могутъ понять, какимъ образомъ самъ геній потому только и великъ, что служитъ толпѣ, даже борясь съ нею. Поэтому они не хотятъ снизойти до ознакомленія себя съ толпой, до изученія ея характера, положенія, потребностей, нуждъ. Для обихода цѣлой ихъ жизни достаточно нѣсколькихъ мыслей, иногда нѣсколькихъ фразъ, вычитанныхъ въ книгѣ, поверхностно понятыхъ, не впопадъ приложенныхъ къ дѣйствительности. Они смотрятъ на толпу не какъ на силу, которая гнется и подается только отъ силы генія, а какъ на стадо, которое можетъ гнать передъ собою, куда угодно, первый умникъ, если вздумаетъ взяться за это дѣло. Ихъ любовь и довѣренность къ теоріямъ (разумѣется, преимущественно къ своимъ собственнымъ) такъ велика, что они скорѣе рѣшатся не признать существованія цѣлаго народа, который не подходитъ подъ ихъ теорію, нежели отказаться отъ нея. Имъ это такъ легко, а для народа это такъ не опасно! Пусть тѣшатся!... Но вѣдь этимъ потѣхамъ долженъ же быть когда-нибудь и конецъ: самъ донъ-Кихотъ опомнился передъ смертью... Что́ жъ! когда горькій опытъ жизни разобьетъ мечты романтика, — у него не все еще будетъ отнято: у него останется великолѣпная мантія страданія вслѣдствіе непризнанной геніальности...

И однакожъ такіе романтики—не случайное явленіе. Они были необходимымъ результатомъ прививного образованія нашего общества; ихъ исторія тѣсно соединена съ исторіей нашей литературы, съ которой такъ-же тѣсно слита и исторія образованія нашего общества.

До начала литературы дѣды и отцы наши жили просто, безъ претензіи, безъ хитростей, безъ мудрованія, ѣли, пили, спали (и какъ еще ѣли, и пили, и спали! намъ, ихъ внукамъ и дѣтямъ, увы! уже не ѣсть, не пить и не спать такъ!), женили дѣтей своихъ (тогда сыновья не могли сами жениться — ихъ женили отцы, такъ же, какъ теперь они выдаютъ дочерей замужъ), умнѣли лѣтъ въ сорокъ, старѣли лѣтъ въ семьдесятъ, умирали лѣтъ въ девяносто... Безъ сомнѣнія, это была жизнь весьма простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грубо-простая. Вѣдь простота простотѣ—рознь, и для общества лучшая простота есть та, которая выработалась изъ затѣйливой вычурности, какъ напримѣръ простота обращенія въ

современной Европѣ, вышедшая изъ изысканной хитрости обращенія XVIII вѣка. Въ этомъ черезчуръ простомъ обществѣ не было жизни, разнообразія, потому что личность человѣка поглощалась этимъ обществомъ, и каждый долженъ, обязанъ былъ жить, какъ жили всѣ, а не какъ указывалъ ему его разумъ, его чувство, его наклонности. Реформа Петра Великаго потрясла въ основаніи это оцѣпенѣлое общество; но она только разбудила, растревожила, взволновала его, и если перемѣнила, то извнѣ только. Внутреннее измѣненіе общества долженствовало быть дальнѣйшимъ результатомъ этой реформы. Явилась литература, сперва безъ читателей, безъ публики, литература громозвучная, торжественная, надутая, школьная риторическая, педантическая, книжная, безъ всякаго живого отношенія къ жизни и обществу. Въ блестящее царствованіе Екатерины II было положено основаніе знакомства русскаго общества съ европейскимъ: съ этого времени начало сильно распространяться въ Россіи знаніе французскаго языка, а вмѣстѣ съ нимъ и изысканная вѣжливость обращенія и сантиментальный характеръ нравовъ. Бѣдный молодой дворянинъ Карамзинъ объѣхалъ большую часть Европы и своими «Письмами Русскаго Путешественника», очаровавшими его современниковъ, прочитанными всей грамотной Россіей того времени, довершилъ и утвердилъ знакомство русскаго образованнаго общества съ Европой. Эта книга, которую теперь такъ скучно читать,—тѣмъ не менѣе великій фактъ въ исторіи нашей литературы и въ исторіи образованія нашего общества. Съ Карамзина наше сочинительство и писательство уже начало становиться не просто книжничествомъ, а литературой, потому что талантъ Карамзина создалъ и образовалъ публику. Направленіе, данное Карамзинымъ нашей литературѣ, было по преимуществу сантиментальное. Такъ какъ оно было въ духѣ времени, то скоро проникло и въ нравы общества. Чувствительныя души толпами ходили гулять на Лизинъ-прудъ; Эрасты, Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмиліи, Юліи размножились до чрезвычайности, вздохи превращали самые тихіе дни въ вѣтреные, слезы потекли рѣками... Будь это въ наше время, сейчасъ бы составились компаніи на акціяхъ для постройки вѣтреныхъ и водяныхъ мельницъ, въ разсчетѣ на движущую силу вздоховъ и слезъ чувствительныхъ душъ... Теперь это конечно смѣшно, но тогда имѣло свое глубокое значеніе. Литература въ первый разъ стала выраженіемъ общества и потому начала оказывать на него сильное нравственное вліяніе. Чувствительныя души были тогда если не лучшія души въ обществѣ, то безъ сомнѣнія самыя образованныя. Онѣ рѣзко отдѣлились отъ безчувственной толпы; но онѣ гордились передъ ней только своей способностью чувствовать, умиляться до слезъ отъ всего прекраснаго и человѣческаго, а еще не тянулись въ герои и великіе люди. Но тѣмъ не менѣе раздѣленіе избранныхъ отъ толпы уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одномъ мѣстѣ, но должно было идти впередъ, развиваться. Романическая муза Жуковскаго своими очаровательно-задумчивыми звуками, похожими на уныло-гармоническіе звуки эоловой арфы, дала сантиментальному обществу болѣе истинный и болѣе поэтическій характеръ. Въ ней, несмотря на ея мечтательность, была сила, энергія, и она любила не одну слабую задумчивость, но и мрачныя картины фантастической дѣйствительности, наполненной гробами, скелетами, духами, злодѣйствами и преступленіями— темными преданіями среднихъ вѣковъ... Въ двадцатыхъ годахъ раздалось въ нашей литературѣ слово «романтизмъ». Всѣ заговорили о Байронѣ, и байронизмъ сдѣлался пунктомъ помѣшательства для прекрасныхъ душъ... Вотъ съ этого-то времени и начали появляться у насъ толпами маленькіе великіе люди съ печатью проклятія на челѣ, съ отчаяніемъ въ душѣ, съ разочарованіемъ въ сердцѣ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ «ничтожной толпѣ». Герои сдѣлались вдругъ очень дешевы. Всякій мальчикъ, котораго учитель оставилъ безъ обѣда за незнаніе урока, утѣшалъ себя въ горѣ фразами о преслѣдующемъ его рокѣ и о непреклонности своей души, пораженной, но не побѣжденной. Эти господа провозгласили своимъ органомъ Пушкина, потому что не поняли его. Они обѣими руками ухватились за его молодыя произведенія,—прекрасныя, но въ то же время и незрѣлыя; зато, когда Пушкинъ нашелъ путь, назначенный ему его натурой, когда онъ развился до всей высоты своего генія и сдѣлался великимъ художникомъ,—они отступились отъ него, какъ отъ падшаго таланта. Истиннымъ выраженіемъ романтическаго направленія были повѣсти Марлинскаго, съ дополненіемъ къ нимъ повѣстей вродѣ «Живописца», «Блаженства Безумія», «Эммы» и т. п., и потомъ стихотворенія нѣкоторыхъ поэтовъ, явившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и доведшихъ это направленіе до послѣдней крайности. Въ немъ была и отчаянная фразеологія ложныхъ, натянутыхъ страстей, и притязательная (prétentieuse) фразеологія нѣмецко-бюргеровской мечтательности по-

*

поламъ съ плохо-понятымъ нѣмецко-философскимъ мудрованіемъ, и наша, будто бы, народная удаль чувствъ и выраженій, сбивающаяся нѣсколько на ямщицкое ухарство. Превосходнымъ образчикомъ послѣдняго можетъ служить слѣдующее стихотвореніе, напечатанное въ «Эхо», альманахѣ на 1830 годъ, изданномъ въ Москвѣ:

Прочь съ *презрѣнною толпою*,
Цыцъ, схоластики, молчать!
Вамъ ли черствою душею
Жаръ поэзіи понять?
Дико, бѣшено стремленье,
Чѣмъ поэтъ одушевленъ:
Такъ въ *безумномъ* упоеньи
Богъ *поэтовъ*, Аполлонъ,
Съ Марсіаса содралъ кожу!
Берегись его дѣтей:
Эпиграммой *хлопнутъ въ рожу*,
Рѣмой *бѣшеной* своей
Въ *поэтическія плети*
Прѣударятъ дураковъ,
И позоръ вашъ, мрака дѣти,
Отдадутъ на свистъ вѣковъ.

Нельзя не согласиться, что это немножко пошло, немножко грязно, даже отчасти глуповато; но нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что это только доведенная до послѣдней крайности та «мило забубённая» поэзія, которая воспѣвала удаль бурсацкой жизни и возвышенныя стремленія разума къ чашѣ съ шипучимъ,—та разудалая поэзія, которой мы съ вами, читатель, такъ восхищались во время оно, и которая и теперь еще имѣетъ простодушіе претендовать на вниманіе и на почетъ... Справедлива русская пословица: яблоко отъ яблони не далеко упало... Что же касается до неистовой и глубокомысленной романтической фразеологіи въ стихахъ и прозѣ, мы не высказали бы ясно нашей мысли о романтическомъ направленіи, еслибы не привели здѣсь нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе характерическихъ.

Вотъ на выдержку нѣсколько мѣстъ изъ разныхъ романтическихъ авторовъ:

«Человѣкъ созданъ изъ Добра и Любви; съ ними все соединялось у него въ первобытной его жизни. Кто былъ добръ, тотъ любилъ; кто любилъ, тотъ былъ добръ. И любовь родила душу Человѣка съ мертвой Природой. Философія не разогрѣетъ Вѣры, и не логикой убѣждаются въ ея святыхъ истинахъ — но сердцемъ. Такъ въ сердцѣ человѣческомъ *воздвигнутъ алтарь* святой Вѣры; *рядомъ съ нимъ поставленъ* алтарь Любви; и на обоихъ горитъ *одинокая жертва* вѣчной истинѣ — *пламень надежды!* Безъ этого пламени *солнце* наше давно *погасло бы*, и *кометы праздновали* бы только *погребальную тризну* на *скелетѣ земли*, *съ ужасомъ* спѣша отъ мрачной пустоты *), гдѣ тлѣетъ трупъ ея, спѣша — *туда, выше, выше*, гдѣ свѣтъ чище, ярче, *болѣе вѣченъ*...

—

Чудная Вѣринька! скажи, кто ты: демонъ или ангелъ? Нѣтъ! ты *неземная*. Это я знаю лучше тебя самой.

—

Сказали бы мнѣ: *будь поэтомъ* — и чрезъ годъ я склонилъ бы свою увѣнчанную голову передъ тою, которой обязанъ вдохновеніемъ *). Развѣ не поэзія — *высокая* любовь моя! Развѣ нѣтъ пылу въ моей душѣ! Я бы *разбилъ ее въ искры*, и звуки, и мысль — и свѣтъ отвѣчалъ бы мнѣ вздохами, и слезами, и рукоплесканіями.

—

Ногу на землю, взоры на небо — вотъ истинное твое положеніе, человѣкъ

— !

Любовь! любовь! души моей восторгъ!
Въ умѣ моемъ ты лучшая идея,
Въ познаніяхъ ты лучшее познанье,
Въ надеждахъ — нѣтъ надежды равной,
Въ мечтахъ моихъ — роскошнѣйшей мечты!

—

Отдайте Вѣриньку, кому угодно, забросьте ея за моря, за непроходимые лѣса и горы, позвольте мнѣ *ползти на колѣняхъ* по всему свѣту искать ее..

—

Вездѣ есть змѣй коварнаго сомнѣнья.
Но змѣй *любви безмѣрно* ядовитъ.

—

Душа моя изъѣдена мученьемъ,
Какъ злой разбойникъ совѣстью и кровью!
За что, за что? за чистоту страстей,
За благородство сердца и души!!

—

Не понимай, не понимай, божественная дѣва,
Моихъ *пустыхъ рѣчей* не понимай!
Не слушай словъ *сердечнаго напѣва*,
Насмѣшками *сожги душевный рай;*
О, удержи порывъ нѣмого гнѣва,
Не понимай меня, не понимай!

—

Умремъ, моя мечта!.. Да и на что намъ жизнь?

—

Ты *моя, моя* — ты не вырвешься изъ объятій души моей; я умерщвляю тебя моимъ послѣднимъ смертнымъ дыханіемъ.

—

Душа велѣла *жизнь* любить,
А жизнь—и душу ненавидѣть...

Все это очень смѣшно, смѣшнѣе ничего нельзя выдумать, самая злая пародія не могла бы такъ страшно осмѣять этихъ выписокъ, какъ осмѣиваютъ онѣ сами себя; но это смѣшно теперь; а было время—что грѣха таить!—когда это всѣхъ приводило въ восторгъ: явный знакъ, что все это было нужно и необходимо въ свое время, и даже имѣло свою хорошую сторону, принесло свои хорошіе результаты. Уже одно то, что, благодаря этимъ туманнымъ, заоблачнымъ и разудалымъ фразёрствамъ, мы навсегда какъ-будто застрахованы въ будущемъ отъ

*) Великолѣпная картина! Любопытно было бы взглянуть, какъ кометы съумѣли бы помѣститься въ скелетѣ земли, чтобъ праздновать на ней погребальную тризну и *въ то же самое время* съ ужасомъ спѣшить изъ мрачной пустоты туда, и пр. Для этого стоило бы погасить пламень надежды въ алтарѣ сердца...

*) Романтизмъ думаетъ, что стоитъ только влюбиться въ *дѣву неземную*, чтобъ сдѣлаться поэтомъ не хуже Байрона, не имѣя отъ природы таланта ни на грошъ. Не знаемъ, думалъ ли романтизмъ, что если безталантный человѣкъ влюбится въ *дѣву неземную*, то сейчасъ же сдѣлается первымъ умникомъ на свѣтѣ...

опасности увидѣть нашу литературу на такой странной дорогѣ,—одно это уже большая заслуга. Что же касается до романтиковъ жизни, порожденныхъ и взлелѣянныхъ этой романтической литературой, высокопарной безъ крыльевъ, глубокой безъ основанія, таинственной безъ смысла, разгульной безъ вдохновенія, смѣлой изъ бравуры, оригинальной изъ фанфаронства, тщеславной по ограниченности, странной по духу противорѣчія,—романтики жизни, какъ мы сказали выше, не перевелись и теперь; нѣкоторые изъ нихъ и остались такими, какими были—ихъ кругъ состоитъ или изъ людей уже слишкомъ пожилыхъ, или изъ дѣтей; другіе, прикинувшись учеными, облекли старыя претензіи въ новыя фразы. Твердя безпрестанно, что абстрактное мышленіе ни къ чему не ведетъ, что достоинство знанія повѣряется его отношеніями къ жизни, а важность теоріи опредѣляется ея приложимостью къ практикѣ,—они тѣмъ не менѣе продолжаютъ жить въ мечтѣ, съ той только разницей, что сочиняютъ мечтательныя теоріи не объ отвлеченныхъ предметахъ, а о дѣйствительности, которую схватываютъ въ своихъ опредѣленіяхъ такъ вѣрно, какъ вѣрно чудодѣйственная кисть Ефрема писала портреты, изображая Архипа Сидоромъ, а Луку Петромъ.

Стать смѣшнымъ—значитъ проиграть свое дѣло. Романтизмъ проигралъ его всячески—и въ литературѣ, и въ жизни. Онъ самъ это чувствуетъ. Что же было причиной его паденія?—Переворотъ въ литературѣ, новое направленіе, принятое ею. Этого переворота не могъ бы сдѣлать ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Мы видѣли выше, какъ легко наши «романтики» вообразили себя Байронами, не будучи въ состояніи даже подозрѣвать, что такое была эта титаническая натура. Для всего ложнаго и смѣшного одинъ бичъ, мѣткій и страшный—юморъ. Только вооруженный этимъ сильнымъ орудіемъ писатель могъ дать новое направленіе литературѣ и убить романтизмъ. Нужно ли говорить, кто былъ этотъ писатель? Его давно уже знаетъ вся читающая Россія, теперь его знаетъ и Европа.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы,—мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на все близорукая посредственность или низкая зависть,—въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ ней же самой. Это значило завершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполнѣ національной, русской, оригинальной и самобытной; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ.

Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго, долженствовало быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора». Съ тѣхъ поръ весь ходъ нашей литературы, вся сущность ея развитія, весь интересъ ея исторіи заключились въ успѣхахъ новой школы.

Еслибы ежегодныя обозрѣнія русской литературы постоянно помѣщались съ тѣхъ поръ въ какомъ-нибудь журналѣ,—они оправдали бы вполнѣ нашу мысль. Чего нельзя замѣтить въ годъ, то дѣлается замѣтнымъ въ годы. Перечесть литературныя произведенія за цѣлый годъ ничего не значитъ; одинъ годъ можетъ быть ими богаче, другой бѣднѣе—это дѣло случайности. Критическій отчетъ за годовой итогъ произведеній долженъ прежде всего показать успѣхъ литературы или ея упадокъ впродолженіе года со стороны ея духа и направленія. Такъ дѣлали мы впродолженіе пяти лѣтъ сряду; такъ сдѣлаемъ и теперь.

Прошлый 1845 годъ литературными произведеніями былъ нѣсколько богаче своего предшественника. Но главная заслуга 1845 года состоитъ въ томъ, что въ немъ замѣтно опредѣленнѣе выказалась дѣйствительность дѣльнаго направленія литературы. По крайней мѣрѣ такъ должно заключать изъ отчаянныхъ воплей нѣкоторыхъ отставныхъ или отсталыхъ ci-devant талантовъ, теперь плохихъ сочинителей, которые клятвенно увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ ихъ книги нейдутъ съ рукъ и ихъ никто уже не читаетъ, литература наша гибнетъ, въ чемъ виновата, во-первыхъ, новая школа, которая пишетъ такъ хорошо, что только ея произведенія и читаются публикой, а во-вторыхъ, толстые журналы, которые принимаютъ на свои страницы произведенія этой школы или хвалятъ ихъ, когда они являются отдѣльными книгами... Но оставимъ этихъ господъ—и обратимся къ прошлогодней литературѣ.

Отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности въ прошломъ году было не много, если даже включить сюда и сборники. Первое мѣсто между ними безспорно должно принадлежать «Тарантасу» графа Соллогуба. Эта книга вдвойнѣ интересна—и какъ прекрасное литературное произведеніе, и какъ изящное, великолѣпное изданіе. Въ послѣднемъ отношеніи

«Тарантасъ»—рѣшительно первая книга въ русской литературѣ. Въ свое время мы представили публикѣ наше мнѣніе о произведеніи графа Соллогуба въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики. Статья наша была понята двояко: одни приняли ее за восторженную и неумѣренную похвалу, другіе—за что-то вродѣ памфлета. Это произошло оттого, что и самъ «Тарантасъ» одними былъ принятъ за искреннее profession de foi такъ называемаго славянофильства; другими—за злую сатиру на него. Что̀ касается до насъ, мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, и теперь, какъ и тогда, понимаемъ «Тарантасъ» какъ сатиру и будемъ его понимать такъ до тѣхъ поръ, пока онъ не изгладится изъ литературныхъ воспоминаній публики. Мы не можемъ иначе думать, уважая умъ и талантъ автора «Тарантаса», потому что герой этого сатирическаго очерка, Иванъ Васильевичъ, играетъ въ немъ такую смѣшную роль, говоритъ такія несообразности и странности, что увидѣть во всемъ этомъ искреннее выраженіе убѣжденій автора было бы слишкомъ смѣло и неосторожно. Мы думаемъ, напротивъ, что «Тарантасъ» тѣмъ и дѣлаетъ особенную честь таланту и изобрѣтательности своего автора, что въ немъ еще впервые въ русской литературѣ является одинъ изъ комическихъ «героевъ нашего времени»,—этихъ героевъ, которые тѣмъ смѣшнѣе, что они считаютъ себя лицами очень серьезными, даже чуть не геніями, чуть не великими людьми. За нихъ давно бы слѣдовало приняться нашимъ даровитымъ писателямъ: это и сдѣлалъ графъ Соллогубъ прежде всѣхъ. Нечего и говорить, что онъ выполнилъ свою задачу съ необыкновеннымъ талантомъ,—хотя впрочемъ и нельзя сказать, чтобъ въ его произведеніи не было недостатковъ и довольно важныхъ, какъ напримѣръ увѣренія, будто русская критика пишется для забавы мужиковъ, которые однакожъ предпочитаютъ ей шутовъ въ ихъ мужицкомъ костюмѣ; что будто бы литература русская должна набирать идей и вдохновенія у постелей умирающихъ мужиковъ, сидя подлѣ нихъ въ качествѣ стенографа и записывая ихъ послѣднія слова, которыя,—какъ всѣмъ извѣстно,—касаются только разныхъ житейскихъ заботъ и распоряженій на счетъ дѣтей, снохъ, коровъ и барановъ. Но, несмотря на эти недостатки, которые притомъ еще и легко исправить при второмъ изданіи «Тарантаса», — сочиненіе графа Соллогуба все-таки принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ литературнымъ явленіямъ прошлаго года.

Въ прошломъ же году вышелъ вторымъ изданіемъ второй томъ повѣстей графа Соллогуба, подъ общимъ названіемъ: «На Сонъ Грядущій». Это насъ особенно порадовало, какъ неопровержимое доказательство готовности и охоты нашей публики покупать, читать и перечитывать все, что̀ выходитъ изъ-за черты посредственности.

Къ числу замѣчательныхъ произведеній прошлаго года должно причислить и «Петербургскія Вершины» Буткова. Эта книга не обнаруживаетъ въ авторѣ поэта; изъ нея видно, что его талантъ—писать сатирическіе очерки, а не юмористическія повѣсти. Но хорошо и это. Въ наше время сатирическій талантъ не останется незамѣченнымъ.

Въ Москвѣ есть писатель, нѣкто Ваненко, о которомъ почти никто не знаетъ, котораго имя почти неизвѣстно въ нашей литературѣ, но который тѣмъ не менѣе одаренъ талантомъ, нечуждымъ даже и юмора. Жаль только, что Ваненко исключительно привязался къ простонароднымъ розсказнямъ и считаетъ очень выгоднымъ писать для простого народа, который не читаетъ его, потому что еще не довольно грамотенъ для занятія литературой. Мы думаемъ, что для Ваненко было бы гораздо выгоднѣе взяться за изображеніе сферы жизни ступенью выше. Пусть тутъ будутъ и мужики, но только пусть они дѣйствуютъ не въ сказочномъ, а въ дѣйствительномъ мірѣ. Мы убѣждены, что у Ваненко стало бы таланта и на это, и что только тогда нашелъ бы онъ поприще, достойное таланта. Въ прошломъ году Ваненко напечаталъ вторымъ изданіемъ: «Пару новыхъ русскихъ Розсказней. 1) О солдатѣ Яшкѣ красной рубашкѣ, синія ластовицы; 2) О молодомъ Ильѣ женатомъ, да о лысомъ Мартынѣ тароватомъ». Читая эту книжку, видишь въ ней талантъ и жалѣешь, что онъ потраченъ ни на что!

Прошлый литературный годъ дебютировалъ вдругъ двумя весьма замѣчательными поэмами въ стихахъ. Первая—«Разговоръ», Тургенева, написана удивительными стихами, какіе теперь являются рѣдко, исполнена мысли; но вообще въ ней слишкомъ замѣтно вліяніе Лермонтова,—и, прочитавъ новую поэму Тургенева (поэму «Андрей»), помѣщенную въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», нельзя не замѣтить, что въ этомъ послѣднемъ родѣ талантъ Тургенева гораздо свободнѣе, естественнѣе, оригинальнѣе, больше, такъ сказать, у себя дома, нежели въ «Разговорѣ». Поэма Майкова—«Двѣ Судьбы», доказала, что его талантъ не ограниченъ исключительно тѣснымъ кругомъ антологической поэзіи, и что ему предстоитъ въ будущемъ богатое раз-

витіе. Несмотря на явную небрежность, съ какой написаны многіе стихи въ этой поэмѣ, несмотря на то, что нѣкоторыя мѣста въ ней отзываются юношеской незрѣлостью мысли,—поэма чрезвычайно замѣчательна въ цѣломъ, блеститъ удивительными частностями, исполненными ума и поэзіи.

«Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера»; «Стихотворенія Эдуарда Губера»; «Новыя стихотворенія Н. Языкова» и пятое (компактное, въ одной книгѣ) изданіе «Сочиненій Державина» довершаютъ собою рядъ вышедшихъ въ прошломъ году книгъ стихотворнаго содержанія. — Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о прекрасномъ талантѣ Струговщикова переводить Гёте, который мы глубоко уважаемъ, и потому всегда жалѣли, что Струговщиковъ не хочетъ ограничиться ролью переводчика, вѣрно, не мудрствуя лукаво, передающаго по-русски творенія великаго германскаго поэта, но, вмѣсто этого, хочетъ быть какимъ-то полу-оригинальнымъ поэтомъ, передѣлывая то, что̀ надо только переводить и что̀ хорошо само по себѣ. Общее мнѣніе, обнаружившееся по выходѣ книжки Струговщикова, показало, что мы были правы.—Поэзія Губера, отличающаяся замѣчательно хорошимъ стихомъ и избыткомъ болѣзненнаго чувства, бѣдна оригинальностью. Она не принадлежитъ ни къ какой странѣ, ни къ какому времени; ее можно счесть за переводъ съ какого угодно языка.—«Новыя стихотворенія Н. Языкова» оказались весьма старыми.—Изданіе «Сочиненій Державина» вышло сѣровато и плоховато во всѣхъ отношеніяхъ.

«Физіологія Петербурга» (двѣ части), «Вчера и Сегодня», «Сто Русскихъ Литераторовъ» (третій томъ) и второе изданіе двухъ частей «Новоселья», изданнаго въ первый разъ въ 1833 году, были замѣчательнѣйшими сборниками прошлаго года. О «Физіологіи Петербурга» было впродолженіе всего года столько говорено, что страшно и вспомнить. Одна газета жила въ 1845 году преимущественно нападками на эту книгу, имѣвшую большой успѣхъ. Статьи этого сборника всѣ безъ исключенія болѣе или менѣе могли доставить публикѣ занимательное и пріятное чтеніе; но особенно замѣчательны изъ нихъ въ прозѣ: «Петербургскій Дворникъ», В. И. Луганскаго, «Петербургскіе Углы», Н. А. Некрасова; въ стихахъ: «Чиновникъ», Н. А. Некрасова.—Въ сборникѣ «Вчера и Сегодня» прочли мы два открывка изъ неоконченныхъ повѣстей Лермонтова, чрезвычайно интересныхъ; его же нѣсколько стихотвореній, впрочемъ ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ; премиленькій разсказъ графа Соллогуба—«Собачка» и очень интересную статью Второва — «Гаврила Петровичъ Каменевъ».—Въ третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», кромѣ первыхъ двухъ статей, все остальное представляетъ превосходнѣйшіе образцы посредственности и бездарности.

Переводы по части изящной словесности, отдѣльно вышедшіе въ прошломъ году, не нужно пересчитывать; былъ одинъ, но который сто̀итъ множества. Мы говоримъ о большомъ предпріятіи — перевести всего Вальтеръ - Скотта. Доселѣ вышли два романа— «Квентинъ Дорвардъ», «Антикварій», и на-дняхъ поступитъ въ продажу третій—«Айвенго». Переводъ и изданіе достойны подлинника.

Теперь перейдемъ къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ по части изящной литературы, являвшимся въ журналахъ. Стиховъ теперь вообще мало печатаютъ въ журналахъ. Жалѣть или радоваться?— Намъ кажется, что это очень пріятное явленіе. Писать стихи, даже порядочные, въ наше время ничего не сто̀итъ, и въ этомъ отношеніи «поэтовъ» у насъ несмѣтные легіоны—тьмы темъ. Но—увы!— ихъ уже не печатаютъ или мало печатаютъ, потому что не читаютъ. Дѣва просто, потомъ № 1, неземная дѣва, № 2, луна, ночь, унынie, разочарованіе, цыганка, шампанское, лѣнь, похмѣлье, разгулье, отчаяніе, горе, страданіе, дружба, игры, любовь, слава, мечта,—все это до того уже перепѣто на разные голоса, что наконецъ надоѣло всѣмъ смертельно. Нужно что-нибудь новое, но новое открываетъ геній, и въ настоящую минуту у насъ, увы! не имѣется въ наличности ни одного геніальнаго поэта.

Конечно и таланту, если онъ друженъ съ умомъ, если онъ умный талантъ, удается угадывать, что̀ можетъ имѣть успѣхъ въ настоящую минуту, особенно, если это указано или хоть издалека намекнуто геніемъ. Въ прошлый годъ явилось въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, нѣсколько счастливыхъ вдохновеній таланта, которыя впрочемъ мы можемъ перечесть всѣ до одного, не утомляя ни себя, ни читателя: «Современная Ода» Не—ва и «Старушкѣ», его же (въ «Отеч. Запискахъ»); «Чиновникъ» (въ «Физіологіи Петербурга»); «Духъ Вѣка», Майкова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Къ этому небольшому итогу слѣдуетъ прибавить три энергическія пьески: «Хавронья», неизвѣстнаго (въ «Отеч. Запискахъ») и слѣдующія два посланія во 2-й книжкѣ «Москвитянина», которыя, особенно первое, —

такъ хороши, что, желая содѣйствовать ихъ извѣстности, мы считаемъ за нужное выписать ихъ здѣсь.

Къ усопшимъ льнетъ какъ червь Фигляринъ неотвязный.
Въ живыхъ ни одного онъ друга не найдетъ.
Зато, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,
Клеймитъ онъ прахъ его своею дружбой грязной.
— Такъ что же? Тутъ разсчетъ: онъ съ прибылью двойной:
Презрѣнье отъ живыхъ на мертвыхъ вымѣщаетъ,
И чтобъ нажить друзей, какъ Чичиковъ другой,
Онъ души мертвыхъ покупаетъ.

—

Что ты несешь на мертвыхъ небылицу,
Такъ нагло лѣзешь къ нимъ въ друзья?
Пріязнь посмертная твоя
Не запятнаетъ ихъ гробницу.
Все тѣ жъ и Пушкинъ, и Крыловъ,
Хоть ѣстъ ихъ червь, по волѣ Бога,
Не лобызай же мертвецевъ —
И безъ тебя у нихъ васъ много.

Справедливость требуетъ еще указать, какъ на довольно замѣчательныя стихотворныя произведенія, на нѣкоторые опыты Григорьева (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»), какъ напримѣръ прекрасное стихотвореніе: «Городъ», и на разсказъ въ стихахъ: «Олимпій Радинъ», въ которомъ цѣлое темно, безсвязно, но есть прекрасныя мѣста. Вообще о Григорьевѣ можно сказать, что онъ, кажется, сдѣлался поэтомъ не по избытку таланта, а по избытку ума, и что на немъ мучительно отяготѣло вліяніе Лермонтова, отчего и происходятъ темнота и неопредѣленность въ цѣломъ многихъ пьесъ его и большихъ и малыхъ: видно, что онъ не въ силахъ ни отдѣлаться отъ преслѣдующей его мысли генія, ни овладѣть ею. Онъ написалъ даже драму въ стихахъ: «Два Эгоизма»,—въ цѣломъ довольно блѣдное отраженіе довольно блѣдной драмы Лермонтова: «Маскарадъ». Григорьевъ въ этой драмѣ такъ запутался въ неопредѣленныхъ рефлексіяхъ, возбужденныхъ въ немъ извнѣ, что читатель никакъ не въ состояніи понять чувствъ героевъ ея, ни того, за что они любятъ и ненавидятъ себя и другъ друга, ни того, за что̀ непонятный герой отравляетъ ядомъ непонятную героиню. Но вообще въ этомъ странномъ и неудачномъ произведеніи промелькиваетъ мѣстами что-то такое, что̀ невольно возбуждаетъ интересъ, если не къ лицамъ драмы, то къ лицу автора. Мѣстами хороши въ ней сатирическія выходки; какъ хорошъ напримѣръ этотъ монологъ славянофила Баскакова:

Семья — славянское начало.
Я въ диссертаціи моей
Подробно изложу, какъ въ ней преобладала
Безъ примѣси другихъ идей
Идея чистая, славянская идея...
Читая Гегеля съ Мертвиловымъ вдвоемъ,
Мы согласились оба въ томъ,
Что, чувство съ разумомъ согласовать умѣя,
Различіе половъ — славяне лишь одни
Уразумѣть могли такъ тонко и глубоко...
У нихъ однихъ, отъ самой старины,
Поставлена разумно и высоко
Идея мужа и жены...
Жена не res у нихъ, не вещь, но нѣчто; воля
Не признается въ ней конечно, но она
Законами ограждена...
Мужъ можетъ бить ее, но убивать не смѣетъ:
Надъ ней духовное лишь право онъ имѣетъ,
И только частію in corpore; притомъ
Глубокій смыслъ въ преданьи томъ
Иль, лучше, въ мысли той о власти надъ женою.
Пусть проявляется подъ жесткою корою,
Подъ формою побой: что форма? Признаюсь,
Семья меня всегда приводитъ въ умиленье...
Власть мужа, и жены покорное смиренье...
Чета славянская — я ей не надивлюсь!

Замѣчательными оригинальными повѣстями наши журналы въ прошломъ году были не очень богаты. Начнемъ съ «Библіотеки для Чтенія». Лучшимъ оригинальнымъ произведеніемъ въ этомъ родѣ былъ въ ней сатирическій очеркъ китайскихъ нравовъ, подъ названіемъ: «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ», барона Брамбеуса. У этого писателя нѣтъ ни дара творчества, ни юмора, но много таланта карикатуры, много того, что̀ по-малороссійски называется жартованіемъ или жартомъ. Его повѣсти и разсказы мѣстами невольно заставляютъ читателя смѣяться; въ нихъ много блестокъ и порывовъ ума. Еслибы въ этихъ сатирическихъ очеркахъ было больше опредѣленности въ мысли, больше глубины и дѣльной злости,—ихъ литературное значеніе имѣло бы большую важность. «Совершеннѣйшая изъ всѣхъ Женщинъ» есть одно изъ удачныхъ произведеній шутливаго пера барона Брамбеуса, и нельзя не пожалѣть, что эта забавная повѣсть осталась неконченной.—«Счастье лучше Богатырства», рукопись, найденная и изданная Ѳ. В. Булгаринымъ и Н. А. Полевымъ,—романъ, написанный въ сотрудничествѣ, двумя лицами,—небывалое до сихъ поръ явленіе въ нашей литературѣ! Умъ хорошо, два лучше, говоритъ русская пословица; но на этотъ разъ, кажется, численность не имѣла никакого вліянія на романъ. Это довольно неудачное усиліе двухъ прежнихъ писателей поддѣлаться подъ новую школу. Особенно жалко тутъ лицо какого-то удалившагося отъ людей добродѣтельнаго химика. Но если о достоинствѣ вещей должно судить относительно, то скучная сказка «Счастье лучше Богатырства» можетъ показаться даже очень сноснымъ произведеніемъ въ сравненіи со всѣми остальными оригинальными изящными произведеніями въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года.—«Емеля или Превращенія», первая часть новаго романа Вельтмана, рѣшительно напоминаетъ собою блаженной

памяти «Русалку», волшебную оперу, которая такъ забавляла нашихъ дѣдовъ своими «превращеніями». Тутъ ничего не поймете: это не романъ, а довольно нескладный сонъ. Даровитый авторъ «Кащея Безсмертнаго» въ «Емелѣ» превзошелъ самого себя въ странной прихотливости своей фантазіи; прежде эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзіи; о «Емелѣ» и этого нельзя сказать.—«Вояжеры» quasi комедія Основьяненко—высокій образецъ бездарности и плоскаго вкуса.—«Башня Веселуха» (вскорѣ потомъ изданная отдѣльно)—такъ себѣ, ни то, ни сё.—«Петербургъ Днемъ и Ночью»—пародія на «Парижскія Тайны»; сочинитель впрочемъ не думалъ писать пародію—пародія вышла противъ его воли, и оттого читать ее очень скучно. Ни образовъ, ни лицъ, ни характеровъ, ни правдоподобія, ни естественности, ни мыслей! Зато фразъ—разливанное море! Давно уже не являлось въ русской литературѣ такого страннаго произведенія.—«Три Періода», романъ Кукольника, можетъ служить мѣрой читательскаго терпѣнія...

Переводныхъ романовъ и повѣстей въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года было шесть, кромѣ «Теверино» и нѣсколькихъ небольшихъ разсказовъ, помѣщенныхъ въ «Смѣси», и кромѣ окончанія «Лондонскихъ Тайнъ» и «Вѣчнаго Жида», начатаго еще съ 1844 года и тянувшагося почти цѣлый прошлый годъ. Лучшими можно назвать «Элену Миддльтонъ», г-жи Фуллертонъ и «Якова Ванъ-деръ Несъ», г-жи Паальцовъ: эти двѣ повѣсти, особенно первая, по крайней мѣрѣ естественны, хотя и страшно растянуты, особенно первая. Конечно «Графъ Монте-Кристо»—блестящее беллетристическое произведеніе, которое читается легко и скоро; но оно—не романъ, а волшебная сказка, только не въ арабскомъ, а въ европейскомъ вкусѣ.—Что̀ касается до «Вѣчнаго Жида»,—онъ окончательно дорѣзалъ литературную репутацію своего автора. Правда, въ немъ много частностей очень интересныхъ, умныхъ, обличающихъ въ писателѣ замѣчательный талантъ; но цѣлое—океанъ фразёрства въ вымыслѣ площадныхъ эффектовъ, невыносимыхъ натяжекъ, невыразимой пошлости. Лица мадмуазель Кардовиль, мосьё Гарди, Габріеля, двухъ сиротокъ—Розы и Бланки, дражайшаго родителя ихъ, маршала Симона—верхъ неестественности и приторности. Какое отношеніе имѣютъ къ роману «Вѣчный Жидъ» и «Иродіада»? — ровно никакого, гораздо меньше, нежели листъ бумаги, въ которую завертываютъ книгу, имѣетъ отношенія къ самой книгѣ. Еслибы авторъ назвалъ свой романъ просто: «Іезуиты», не ввелъ бы въ него ни вѣчнаго жида, ни Иродіады, ни Самуила съ женою, ни двухъ сотъ милліоновъ нелѣпаго наслѣдства, ни приторно-сантиментальныхъ лицъ вродѣ сиротокъ-сестеръ и Габріеля, еслибъ не преувеличилъ характера Родэна, придумалъ неестественнѣе завязку и вмѣсто десяти томовъ написалъ только четыре, и написалъ не торопясь, но обдумывая,—изъ-подъ пера его вышелъ бы прекрасный романъ, потому что у Эжена Сю больше таланта, чѣмъ у Бальзака, Дюма, Жанена, Сулье, Гозлана и tutti quanti вмѣстѣ взятыхъ. Но жажда денегъ и мгновеннаго успѣха равняетъ теперь всѣ таланты, и большіе, и малые, подводя ихъ произведенія подъ одинъ и тотъ же уровень ничтожности.

Рядъ оригинальныхъ произведеній по части изящной прозы въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года заключился одной изъ тѣхъ повѣстей, которыя составляютъ пріобрѣтеніе литературы, а не литературнаго только года. Мы говоримъ о превосходной повѣсти: «Кто виноватъ?», напечатанной въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Эта повѣсть не принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, запечатлѣнныхъ высокою художественностью, которая иногда творитъ изъ ничего, не заботясь ни о цѣли, ни о ничтожествѣ содержанія; но эта повѣсть не принадлежитъ и къ числу тѣхъ умныхъ произведеній, въ которыхъ лишенный фантазіи авторъ, словно въ диссертаціи, развиваетъ свои мысли и взгляды о томъ или другомъ нравственномъ вопросѣ, и въ которыхъ нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствій. Авторъ повѣсти: «Кто виноватъ?» какъ-то чудно умѣлъ довести умъ до поэзіи, мысль обратить въ живыя лица, плоды своей наблюдательности — въ дѣйствіе, исполненное драматическаго движенія. Какая во всемъ поразительная вѣрность дѣйствительности, какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрно — ничего лишняго, ничего недосказаннаго; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства! Если это не случайный опытъ, не неожиданная удача въ чуждомъ автору родѣ литературы, а залогъ цѣлаго ряда такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ пріобрѣтеніемъ необыкновеннаго таланта въ совершенно новомъ родѣ.—«Маменькинъ Сынокъ», романъ Панаева, напечатанный въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ», отличается всѣми достоинствами и всѣми недостатками таланта этого писателя. Мы не будемъ распространяться ни о тѣхъ, ни о другихъ, и

скажемъ коротко, что они связаны съ сущностью таланта Панаева, который, не рискуя ошибиться, можно назвать дагерротипнымъ. Во всякомъ случаѣ «Маменькинъ Сынокъ»—одно изъ лучшихъ его произведеній и одна изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года.—«Необыкновенный Поединокъ», романтическая повѣсть Говорилина (псевдонимъ), чуждъ всякаго художественнаго достоинства, но весьма нечуждъ литературнаго интереса, особенно для тѣхъ, кто пойметъ живое отношеніе этого разсказа къ эпиграфамъ, которыми онъ украшенъ, и эпиграфовъ къ разсказу. Съ этой точки зрѣнія мы считали и считаемъ «Необыкновенный Поединокъ» произведеніемъ, заслуживающимъ вниманіе и способнымъ навести читателя на нѣкоторыя весьма любопытныя соображенія на счетъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ именъ нашей литературы.—«Богатая Невѣста», драматическій разсказъ М., написанъ подъ вліяніемъ комедій Гоголя и есть едва ли не единственный опытъ въ этомъ родѣ, который читается съ наслажденіемъ и послѣ комедій Гоголя. Жаль, что этому разсказу повредило то, что не означено званіе дѣйствующихъ въ немъ лицъ.—Въ повѣсти Ста-Одного—«Старое Зеркало», много интересныхъ частностей и умныхъ замѣтокъ, хорошо очерчено лицо Ивана Анисимовича и дочки его, Маши; но въ цѣломъ эта повѣсть не выдержана, и развязка ея какъ-то странна, неестественна и неудовлетворительна.—«Милочка, повѣсть Побѣдоносцева, не лишена интереса; жаль, что разсказъ ея не довольно сжатъ и быстръ. —Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были напечатаны: «Дача на Петергофской дорогѣ», повѣсть Жуковой; «Ошибка», драматическій анекдотъ, Нестроева, и «Няня», повѣсть Побѣдоносцева.

«Жанна», «Теверино» и «Маркиза»—три романа Жоржъ Занда, были переведены въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года. «Маркиза» одно изъ старыхъ произведеній этой писательницы, «Жанна»—изъ недавнихъ, «Теверино» — послѣднее. Излишне говорить о ихъ художественномъ достоинствѣ: Жоржъ Зандъ безспорно-первый талантъ во всемъ пишущемъ мірѣ нашего времени. Скажемъ только, что въ лицѣ Жанны поэтическій инстинктъ представилъ міру лучшій и вѣрнѣйшій комментарій на значеніе исторической Жанны (д'Аркъ), нежели какой могла представить наука, много хлопотавшая объ этомъ вопросѣ. «Теверино» въ своемъ родѣ стоитъ «Жанны», и оба эти романа безспорно принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ геніальнаго автора. Замѣчательно, что «Теверино» написанъ послѣ «Le Meunier d'Angibault», прекраснаго романа, но испорченнаго двумя главными лицами, до приторности неестественными,—и послѣ «Изидоры», во всѣхъ отношеніяхъ слабаго и неудачнаго произведенія.—«Вотчимъ»—одна изъ лучшихъ повѣстей одного изъ лучшихъ французскихъ нувеллистовъ, Шарля Бернара, который съ замѣчательнымъ талантомъ изображаетъ нравы современной Франціи. Можетъ-быть, современемъ выписавшись, и онъ начнетъ писать эффектныя сказки на манеръ «Тысячи и одной ночи» или «Вѣчнаго Жида» и «Графа Монте-Кристо»; но пока талантъ его еще сохраняетъ всю свою свѣжесть и силу, такъ что послѣ повѣстей Жоржъ Занда только и можно читать его повѣсти.—«Американцы», романъ, переведенный съ нѣмецкаго, представляетъ гораздо меньше художественности, нежели романы Купера, но едва ли не больше ихъ знакомитъ съ нравами Сѣверо-Американскихъ Штатовъ и ихъ отношеніями къ племенамъ дикихъ, потому что это прямая и положительная цѣль автора, нѣмца, долго и прилежно изучавшаго интересную страну. Романическая или поэтическая сторона этого романа, не отличаясь особеннымъ достоинствомъ, въ то же время и не лишена вовсе достоинства. Авторъ «Американцевъ» извѣстенъ въ Европѣ уже не однимъ романомъ въ этомъ родѣ. Имени своего онъ не выставляетъ на романахъ; но мы слышали, что это—Р. Вессельгёфтъ, котораго любопытная статья —«Семейная Жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ» была переведена въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года. Говорятъ, будто большинству нашей публики больше понравилась «Королева Маргò», нежели романы Жоржъ Занда, «Вотчимъ» Шарля Бернара и «Американцы»... О вкусахъ спорить не станемъ, а съ этой книжки начинаемъ печатать продолженіе «Королевы Маргò», т. е. новѣйшій романъ Дюма: «Графиня Монсорò».

Упомянувъ о статьяхъ: «Бараны», коротенькій, но исполненный глубокаго значенія восточный апологъ В. И. Буганскаго (въ «Москвитянинѣ»); «Иванъ Ивановичъ», прехорошенькій разсказъ Гребенки (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»); «Деньщикъ», физіологическій очеркъ В. И. Луганскаго (тамъ же); «Лука Лукичъ», нравоописательный очеркъ Д. (тамъ же); «Факторъ», нравоописательный разсказъ Гребенки (тамъ же); «Чужая голова — темный лѣсъ», разсказъ Гребенки (въ «Иллюстраціи»); «Колокола, чудесная повѣсть о колоколахъ, отзванивающихъ старину и привѣтствующихъ новый годъ», повѣсть

Диккенса (переведенная въ «Москвитянинѣ»),—мы исчислили все, что̀ было замѣчательнаго по части изящной прозы, оригинальной и переводной, въ русскихъ журналахъ прошлаго года. Изъ этихъ послѣднихъ статей мы должны указать на «Деньщика» В. И. Луганскаго, какъ на одно изъ капитальныхъ произведеній русской литературы. В. И. Луганскій создалъ себѣ особенный родъ поэзіи, въ которомъ у него нѣтъ соперниковъ. Этотъ родъ можно назвать физіологическимъ. Повѣсть съ завязкой и развязкой — не въ талантѣ В. И. Луганскаго, и всѣ его попытки въ этомъ родѣ замѣчательны только частностями, отдѣльными мѣстами, но не цѣлымъ. Въ физіологическихъ же очеркахъ лицъ разныхъ сословій онъ — истинный поэтъ, потому что умѣетъ лицо типическое сдѣлать представителемъ сословія, возвести его въ идеалъ, не въ пошломъ и глупомъ значеніи этого слова, т. е. не въ смыслѣ — украшенія дѣйствительности, а въ истинномъ его смыслѣ—воспроизведенія дѣйствительности во всей ея истинѣ. «Колбасники и Бородачи», «Дворникъ» и «Деньщикъ» — образцовыя произведенія въ своемъ родѣ, тайну котораго такъ глубоко постигъ В. И. Луганскій. Послѣ Гоголя это до сихъ поръ рѣшительно первый талантъ въ русской литературѣ.

Книгъ ученыхъ, учебныхъ и вообще дѣльныхъ въ прошломъ году вышло довольно много. Литература этого рода оказываетъ у насъ видимые успѣхи, которые должны радовать патріотическое чувство русскаго. Причина этихъ успѣховъ заключается сколько въ усиліяхъ правительства, которое всегда готово поощрять усилія частныхъ лицъ и само предпринимаетъ изданія лѣтописей и всякаго рода историческихъ памятниковъ,—столько же и въ быстрыхъ успѣхахъ образованности русскаго общества. Въ жизни все связано тѣсно: образованность ведетъ за собой просвѣщеніе. Пока легкая изящная литература еще не укоренилась въ обществѣ до того, чтобъ войти въ его привычки, сдѣлаться его необходимой роскошью,—она замѣняетъ ему науку. Но когда она перестаетъ быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ и становится потребностью толпы,—люди избранные дѣлаются требовательнѣе и разборчивѣе въ изящныхъ удовольствіяхъ своего ума и, не оставляя ихъ, стремятся въ то же время и къ болѣе прочнымъ, основательнымъ потребностямъ ума—къ знанію, къ наукѣ. Такимъ образомъ по мѣрѣ того, какъ высшіе (нравственно) слои общества переходятъ отъ легкой литературы къ наукѣ, низшіе отъ невѣжества и необразованности восходятъ къ легкой литературѣ. Это круговая порука, и успѣхи легкой литературы—ручательство успѣховъ науки. Одно безъ другого быть не можетъ. Просвѣщеніе, основанное на наукѣ, не можетъ быть удѣломъ всѣхъ, даже удѣломъ большинства; но образованіе, основанное на успѣхахъ легкой литературы, можетъ и должно быть удѣломъ всѣхъ, даже самыхъ низшихъ слоевъ общества, которые могутъ быть грамотны только тогда, когда имъ есть что̀ читать. Вотъ почему нельзя не радоваться, видя, что у насъ страсть къ легкому чтенію сдѣлалась уже не роскошью, а насущной потребностью, которой едва въ состояніи удовлетворить наши журналы, наполняемые романами и повѣстями. Эта страсть къ легкому чтенію—признакъ распространившагося въ обществѣ образованія, которое въ свою очередь свидѣтельствуетъ о близкихъ успѣхахъ просвѣщенія, основаннаго на наукѣ.

Изъ перечня вышедшихъ въ прошломъ году книгъ и изданій серьезнаго содержанія мы увидимъ, что ихъ число несравненно больше числа отдѣльно вышедшихъ книгъ по части легкой литературы. Скажутъ: беллетристическія сочиненія преимущественно помѣщаются въ журналахъ; но мы покажемъ, что въ тѣхъ же самыхъ журналахъ помѣщается множество статей и серьезнаго содержанія.

Особенно должно было радовать всѣхъ видимое усиленіе литературы русской исторіи и русскихъ древностей. Въ прошломъ году вышли слѣдующія книги по этой части: «Всеобщая библіотека Россіи или каталогъ книгъ для изученія нашего отечества во всѣхъ отношеніяхъ и подробностяхъ». Это—второе прибавленіе въ книгѣ того же названія, изданное Чертковымъ въ 1838 году, которая, вмѣстѣ съ первымъ прибавленіемъ, заключала въ себѣ до 7000 названій книгъ; во второмъ прибавленіи, вышедшемъ въ прошломъ году, заключается ихъ до 1800 названій.—«Московская Оружейная Палата» — изданная отъ правительства опись содержащимся въ этомъ палладіумѣ нашей древности вещей; текстъ книги, прекрасно составленный Вельтманомъ, объясняется изображеніями, превосходно сдѣланными. Книга эта вышла въ прошломъ году, хотя на ней и выставленъ 1844 годъ. — «Памятники Московской Древности, съ присовокупленіемъ очерка монументальной исторіи Москвы и Древнихъ видовъ и плановъ древней столицы»,—великолѣпное и изящное изданіе, начатое въ 1842 году, въ прошломъ году окончилось выходомъ послѣднихъ трехъ тетрадей (9, 10 и 11-й). Эта драгоцѣнная книга равно дѣлаетъ честь

и автору, Снигиреву, и издателю, Семену.— «Памятники, изданные временной коммиссіей для разбора древнихъ актовъ, Высочайше утвержденной при кіевскомъ военномъ, подольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ, и Собраніе древнихъ грамотъ и актовъ городовъ: Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ монастырей, церквей, и по разнымъ предметамъ» принадлежатъ къ тѣмъ монументальнымъ изданіямъ, которыя возможны только для правительства, а не для частныхъ лицъ, — между тѣмъ какъ «Симбирскій Сборникъ» принадлежитъ къ числу тѣхъ важныхъ изданій, которыя, будучи обязаны своимъ появленіемъ усиліямъ и ревности частныхъ лицъ, болѣе всего свидѣтельствуютъ объ успѣхахъ просвѣщенія въ обществѣ. — «Записки Дюка Лирійскаго и Бервикскаго во время пребыванія его при императорскомъ россійскомъ дворѣ въ званіи посла короля испанскаго» были послѣднимъ трудомъ Д. И. Языкова, оказавшаго столько услугъ русской исторической литературѣ. — Тромонинъ и въ прошломъ году продолжалъ свое итересное изданіе: «Достопамятности Москвы»; Москва теперь дѣятельно изучается, и литература ея древностей уже богата превосходными сочиненіями и изданіями. Здѣсь же мѣсто упомянуть объ интересной брошюрѣ Снигирева: «О лубочныхъ картинахъ русскаго народа», какъ о сочиненіи, относящемся если не къ русской исторіи, то къ русской старинѣ, которая имѣетъ полное право на наше вниманіе. Въ прошломъ году вышло нѣсколько замѣчательныхъ книгъ по части критическаго изслѣдованія фактовъ русской исторіи, именно: «Іомбергъ и Винета», историческое изслѣдованіе Грановскаго; «Объ отношеніяхъ Новгорода къ Великимъ Князьямъ», историческое изслѣдованіе Соловьева; «Очеркъ литературы русской до Карамзина», Сгарчевскаго, и «Изслѣдованіе о мѣстничествѣ», Валуева (отдѣльно напечатанная статья изъ «Симбирскаго сборника»). Съ успѣхомъ продолжалось великолѣпное изданіе: «Императоръ Александръ I-й и его сподвижники»; портреты и текстъ этого изданія не оставляютъ желать ничего лучшаго. Второе изданіе первой части «Руководства къ «Всеобщей Исторіи» Лоренца, «Краткая исторія крестовыхъ походовъ», переведенная съ нѣмецкаго, и 4 и 5-я части «Всемірной Исторіи» Беккера заключаютъ собою историческую литературу прошлаго года.—Изъ беллетристическихъ сочиненій дѣльнаго содержанія можно указать на 2-й томъ «Воспоминаній Слѣпого», интересное описаніе кругосвѣтнаго путешествія Араго, изящно изданное съ прекрасными картинками; «Англійская Индія въ 1843 году», соч. Варрена; «Римъ и Италія среднихъ и новѣйшихъ временъ», соч. кн. Волконскаго. — Изъ спеціальныхъ сочиненій можно вспомнить 5-ю и 6-ю части «Народной Медицины», Чаруковскаго; 3-ю часть «Руководства къ воспитанію, образованію и сохраненію здоровья дѣтей», Грума; «Карманный Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка»; «Указатель Законовъ для Сельскихъ Хозяевъ»; «Лекціи Популярной Астрономіи», Зеленаго; «Нумизматическіе Факты Грузинскаго Царства», князя Баратаева.

Какъ на особенно пріятныя явленія въ литературѣ прошлаго года, должно указать на первую часть «Опыта Исторіи Русской Литературы», Никитенко, и третью книжку «Сельскаго Чтенія», издаваемаго княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ.

Теологическая литература наша обогатилась въ прошломъ году изящнымъ изданіемъ «Словъ и Рѣчей» знаменитаго духовнаго витіи нашего, высокопреосвященнаго Филарета, митрополита московскаго, вышедшихъ въ трехъ большихъ томахъ.— Сверхъ того по части духовной литературы вышли въ прошломъ году: «О Подражаніи Христу», Ѳомы Кемпійскаго, въ переводѣ графа Сперанскаго; «Творенія Святыхъ Отцовъ», въ русскомъ переводѣ, издаваемыя при Московской Духовной Академіи, первая, вторая и третья книжки третьяго года.

Перечень нашъ едва ли полонъ—такъ много выходитъ теперь у насъ хорошихъ книгъ серьезнаго содержанія: по крайней мѣрѣ втрое больше, нежели хорошихъ книгъ по части легкой литературы.

Въ журналахъ статьи серьезнаго содержанія тоже едва ли не превосходятъ и числомъ, и объемомъ статьи беллетристическія. Въ этомъ легко убѣдиться изъ простого перечня. Въ «Библіотекѣ для Чтенія», въ отдѣлѣ Наукъ и Искусствъ, были помѣщены статьи: «Еремія Бентемъ»; «Древніе Мексиканцы»; «Естественная Исторія Пресмыкающихся»; «Метеорическіе камни, преимущественно упавшіе въ Россіи», Э. Эйхвальда; «Венеція въ 1843 году» (Уварова); «Врачебное сословіе въ Англіи»; «Письма, Инструкціи и Записки Маріи Стюартъ», изданныя кн. Лобановымъ; «Лафатеръ и Галль», С. С. Куторги; «Историческій характеръ Людовика XIV», К. П.; «О прекрасномъ и объ искусствѣ», Виктора Кузена; «Писатели и ученые предыдущаго пятидесятилѣтія», лорда Брума.—Статья Кузена есть выборка мыслей изъ «Эстетики» Гегеля; знаменитый эклектикъ только поразжидилъ и поопошлилъ такъ легко доставшееся ему пріобрѣтеніе, объ источникѣ

котораго онъ счёлъ за лучшее скромно умолчать. Статьи лорда Брума о Вольтерѣ и Руссо, о Юмѣ и Робертсонѣ, несмотря на громкое имя ихъ автора, довольно пусты и ничтожны. Въ Смѣси «Библіотеки для Чтенія» была очень умная и интересная статья: «Судьба поэтовъ въ Германіи», къ сожалѣнію неоконченная.

Въ «Москвитянинѣ» прошлаго года (№№ 5 и 6-й) насъ удивила статья: «Письмо изъ Парижа», подписанная: Н.Л—й; по мыслямъ, духу, направленію, благородному тону, безпристрастію, наблюдательности и мастерству изложенія это одна изъ такихъ статей, которыя въ нашей литературѣ—слишкомъ рѣдкія явленія.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ», по отдѣлу наукъ и искусствъ, были помѣщены статьи: «Англійская Индія въ 1843 году», изъ книги Варрена; «Письма объ изученіи природы», Искандера; окончаніе статьи: «Реформація», начатой и продолжавшейся въ 1844 году, «Консульство и Имперіи», Тьера, «Алтай» (естественная исторія, его копи и жители), статья Катрфажа, написанная по поводу сочиненія Чихачева: «Voyage Scientifique dans l'Altai oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine»; «Космосъ», опытъ физическаго мірописанія, Александра Гумбольда; «Вѣрованія Индусовъ». Сверхъ ученыхъ извѣстій о дѣятельности Парижской Академіи Наукъ, о всѣхъ новыхъ открытіяхъ въ области наукъ, искусствъ и ремеслъ, въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ» были помѣщены библіографическіе очерки знаменитыхъ современниковъ: Теодора Гука, Талейрана, Верцеліуса, Круга, Мартинеза де-ла Розы, лорда Брума, Сальватора Тончи, Беранже, Августа-Вильгельма Шлегеля, Эспартеро, генерала Джаксона, барона Бозіо, Джона Росселя, лэди Стенгопъ.

Нѣкоторые безпристрастные доброжелатели «Отечественныхъ Записокъ» и намеками и явно, словесно и печатно утверждаютъ, будто бы содержаніе и направленіе «Отечественныхъ Записокъ» не соотвѣтствуетъ ихъ названію, потому-де, что въ нихъ нѣтъ ничего отечественнаго. Мы не станемъ спорить съ этими благонамѣренными доброжелателями, но только выставимъ имъ на видъ нѣсколько фактовъ. Въ отдѣлѣ Словесности «Отечественныхъ Записокъ» помѣщаются развѣ одни только переводы? Развѣ не бываетъ оригинальныхъ статей въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ? Развѣ въ отдѣлѣ Критики и Библіографической Хроники разсматриваются не русскіе книги? Развѣ не «отечественное» составляетъ предметъ отдѣла Домоводства, Сельскаго хозяйства и Промышленности вообще?... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» есть особый отдѣлъ, который, подъ именемъ «Современной Хроники Россіи», представляетъ собой фактическую лѣтопись русскаго законодательства и распоряженія высшаго правительства по части государственнаго управленія. Это «Отечественныя Записки» съ особенной охотой принимаютъ въ себя все, исключительно касающееся до Россіи,—для доказательства стóитъ только указать на слѣдующія статьи въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ и Смѣси прошлаго года: «Коронованіе императрицы Екатерины Алексѣевны Петромъ Великимъ (статья, доставленная редакціи покойнымъ Д. И. Языковымъ); «Воспоминаніе о генералъ-фельдмаршалѣ Петрѣ Александровичѣ Румянцовѣ - Задунайскомъ», Н. Кутузова; «Военно-учебныя заведенія, подвѣдомственныя Его Императорскому Высочеству, Главному Начальнику—въ царствованіе императрицы Екатерины II-й», П. И. Глѣбова; «Иванъ Андреевичъ Крыловъ»; «Замѣтки на пути изъ Москвы въ Закавказскій Край»; «Величина поверхности тридцати семи губерній и областей въ Европейской Россіи»; «Народонаселеніе въ губерніяхъ Европейской Россіи», и пр., и пр. Въ отдѣлѣ Критики разобраны два важныя изданія, относящіяся къ отечественной исторіи: «Памятники, изданные временной коммиссіей для разбора древнихъ актовъ, учрежденной при кіевскомъ военномъ, подольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ и Собраніе древнихъ актовъ городовъ Вильны, Ковна, Трокъ, православныхъ церквей, монастырей и по разнымъ предметамъ». Въ отдѣлѣ Библіографической Хроники обращено особенное вниманіе на книги русской исторіи, чему доказательствомъ могутъ въ особенности служить обширныя рецензіи на «Симбирскій Сборникъ» и «Отношенія Новгорода къ Великимъ Князьямъ» и др. А что въ то же время «Отечественныя Записки» представляютъ своимъ читателямъ и возможно подробную картину движенія современныхъ литературъ Германіи, Англіи и Франціи,—мы думаемъ, что одно другому нисколько не мѣшаетъ и что въ этомъ отношеніи со стороны нашего журнала заслугой больше... Одинъ журналъ (мы не назовемъ его), обвинивъ въ разныхъ ересяхъ всю русскую литературу и достойныхъ представителей ея — Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, въ томъ же самомъ обвинилъ «Библіотеку для Чтенія» и «Отечественныя Записки», вѣроятно основываясь на томъ, что въ нихъ нѣтъ статей теологическаго содержанія! Да, ихъ не

было и не будетъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», потому что теологія не входитъ въ ихъ программу. Сверхъ того издатель и редакторъ «Отечественныхъ Записокъ» думаетъ и глубоко убѣжденъ, что писать о богословскихъ предметахъ—должно быть исключительнымъ правомъ и обязанностью людей духовнаго сана, которые суть единственные истинные проповѣдники и блюстители святыхъ истинъ православной церкви, и что было бы великой профанаціей допустить какихъ-нибудь самозванныхъ ревнителей свѣтскаго званія мѣшать въ литературныхъ изданіяхъ статьи религіознаго содержанія съ любовными стишками, романами, повѣстями и комедіями... Оставаться въ законныхъ предѣлахъ дозволенной дѣятельности, не стараясь самовольно вмѣшиваться въ вопросы, подлежащіе не нашему вѣдѣнію,—всегда было и будетъ первымъ правиломъ нашего журнала...

Теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о журналахъ. Ихъ у насъ немного, а изъ существующихъ мы не имѣемъ охоты говорить о всѣхъ... Мы указали на все, что̀ было въ какомъ бы то ни было отношеніи замѣчательнаго въ журналахъ прошлаго года; говорить о направленіи изданій, уже пользующихся давнишней извѣстностью, было бы излишне. И потому скажемъ нѣсколько словъ о новыхъ журналахъ — «Финскомъ Вѣстникѣ» и «Иллюстраціи». Мы не спѣшили нашимъ сужденіемъ о нихъ, желая дать имъ время опредѣленнѣе высказаться. Къ тому же мы не любимъ разсуждать о журналахъ во время подписки, и охотно предоставляемъ эту благонамѣренную методу признаннымъ ея любителямъ. Мы уже указали на замѣчательныя оригинальныя статьи въ «Финскомъ Вѣстникѣ» по части легкой литературы; теперь остается сказать, что въ немъ были хорошія статьи и серьезнаго содержанія, какъ напримѣръ: «Очеркъ исторической дѣятельности до Карамзина», Старчевскаго; Финляндской войны 1741 и 1742 годовъ»; «Общественныя науки въ Россіи», В. Майкова и пр. Вообще «Финскій Вѣстникъ» былъ вѣренъ своему значенію — быть спеціальнымъ сборникомъ: всѣ иностранныя статьи его переводились со шведскаго и знакомили русскихъ читателей съ Финляндіей. Другого же значенія онъ не имѣлъ и, кажется, имѣть не будетъ. Слѣдственно, не ищите того, что̀ требуется отъ журнала—опредѣленной физіономіи, вѣрности однажды избранному принципу и т. п. Это—сборникъ, не болѣе. О недостаткахъ «Финскаго Вѣстника» пока умолчимъ изъ уваженія къ достоинствамъ, которыя онъ уже обнаружилъ, надѣясь, что въ будущемъ году послѣднія совершенно перевѣсятъ первые.—Вотъ объ «Иллюстраціи», къ сожалѣнію, не можемъ сказать того же. Картинокъ въ ней много, такъ что больше требовать было бы несправедливо: въ этомъ отношеніи мы отдаемъ «Иллюстраціи» полную честь. Прибавимъ къ этому, что въ ней много и русскихъ оригинальныхъ картинокъ—что̀ также большая заслуга со стороны подобнаго изданія. Жаль только, что иностранныя картинки въ «Иллюстраціи» не совсѣмъ хорошо отпечатываются, а русскія сверхъ того (большею частью) дурно рисуются. Намъ пріятно было встрѣтить въ «Иллюстраціи» портреты: Каратыгина, Брянскаго, Мочалова, Петрова, г-жи Александръ-Мейеръ; но весьма непріятно было видѣть, что эти портреты или почти не похожи, или вовсе не похожи на оригиналы. Хуже всѣхъ въ этомъ отношеніи портреты Брянскаго и Петрова, и г-жи Александръ-Мейеръ: тонкія, нѣжныя черты худощаваго лица этой артистки очутились на портретѣ крупными, грубыми, а лицо сдѣлано не только полнымъ, но и одутловатымъ. Такова художественная сторона «Иллюстраціи»; къ сожалѣнію и литературная такова же. Во-первыхъ, въ этомъ изданіи нѣтъ ничего, похожаго на журналъ, на газету, отчего оно ужасно сухо и вяло. Являются въ немъ изрѣдка рецензіи, но до того неловкія, тяжелыя и бѣдныя содержаніемъ и направленіемъ, что нѣтъ никакого интереса читать ихъ. Даже ссоры «Иллюстраціи» съ одной газеткой были такъ неловки и тяжелы, что не стоило труда и начинать ихъ. Извѣщая о смерти Августа-Вильгельма Шлегеля, издатель «Иллюстраціи» сказалъ между прочимъ, что Шлегель былъ «порядочнымъ стихослагателемъ», что онъ «обратился къ критикѣ по недостатку высшаго, самостоятельнаго таланта» и что, будто-бы, эту профессію (т. е. критику) въ отдѣльномъ ея видѣ создала бездарность (№ 10)... Вотъ истинно-европейское, устинно-ученое понятіе о критикѣ! Мы понимаемъ, что издатель «Иллюстраціи» не можетъ быть доволенъ критикой, которая не слишкомъ снисходительна бывала къ нему, но въ то же время не шутя боимся, чтобъ онъ, по изложенной имъ причинѣ, не сдѣлался критикомъ... Впрочемъ онъ принимался и за критику, и все съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ бра̀лся за лирическую поэзію, за драму, за романъ, за повѣсть, за изданіе «Художественной Газеты», «Дагеротипа» и tutti quanti... Но Шлегель былъ превосходный переводчикъ и для своего времени превосходный критикъ.—Статьи, которыми наполняется «Иллюстрація», большей ча-

стью запечатлѣны посредственностью и замѣчательною небрежностью. Изъ оригинальныхъ статей только и можно указать на разсказъ Гребенки: «Чужая голова — темный лѣсъ». Ко всему этому надо прибавить особенную манеру издателя выражаться какимъ-то страннымъ языкомъ: сотрудникъ у него гласитъ истину, сѣни аристократическаго дома онъ хочетъ описать купно съ лѣстницей... Но всего лучше въ этомъ изданіи «Переписка»: ничего еще подобнаго не бывало въ русской литературѣ! Это самый забавный отдѣлъ «Иллюстраціи»: по крайней мѣрѣ мы обязаны ему многими веселыми минутами. Когда-нибудь въ замѣткахъ нашего журнала мы выпишемъ нѣсколько примѣровъ этой наивно-курьёзной переписки, чтобъ доставить богатый матеріалъ будущему историку русской литературы...

ГОЛОСЪ ВЪ ЗАЩИТУ ОТЪ „ГОЛОСА ВЪ ЗАЩИТУ РУССКАГО ЯЗЫКА".

Wär der Gedank nicht so verwünscht gescheidt,
Man wär versucht ihn herzlich dumm zu nennen.
Schiller (*Wallenstein*).

Но умыселъ другой тутъ былъ:
Хозяинъ музыку любилъ...
Крыловъ (*Музыканты*).

Должно однакожъ замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное что, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали однимъ законнымъ и честнымъ оружіемъ; тогда искали торжества мнѣнію своему, хотѣли выказать искусство свое, удовлетворить нѣкоторой удалости ума, искавшаго въ подобныхъ сшибкахъ случайностей, гласности и блеска. По вышеприведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе аматёровъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сихъ распряхъ выходили другъ противъ друга добровольные, безкорыстные бойцы, а не наемники, которые ратуютъ изъ денегъ, нападаютъ сегодня на того, за котораго дрались вчера, торгуютъ равно и присягой, и оружіемъ своимъ, и за безсиліемъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всѣмъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытаго поля битвы, поруганные и уязвленные побѣдителемъ, они не признаютъ себя побѣжденными: если стрѣлы ихъ не мѣтки и удары не вѣрны, то они имѣютъ въ запасѣ другое оружіе, потаенное, ядовитое, имѣютъ свои неприступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣрное.

Князь Вяземскій (*Библіографическія и Литературныя записки о Фонвизинѣ и его времени*, помѣщенныя въ *Утренней Зарѣ* 1841 года).

Всѣ согласны въ очевидности успѣховъ нашей литературы. Каждая эпоха ея имѣла своихъ достойныхъ представителей; настоящая имѣетъ своихъ, и въ этомъ отношеніи ей нечѣмъ гордиться передъ своими предшественницами. Но она имѣетъ полное право гордиться передъ ними своей зрѣлостью. Съ годами она стала мужественнѣе, опытнѣе, умнѣе. И если она пережила не слишкомъ много годовъ, зато въ пережитые ею немногіе годы подвергалась многимъ неожиданнымъ измѣненіямъ, перепробовала много новыхъ путей мысли и формы; это принесло ей ту великую пользу, что «новость» мысли или формы она уже не принимаетъ больше за достоинство этой мысли или за достоинство этой формы. Съ литературой, естественно, возмужала и публика. Теперь посредственность тщетно стала бы рядиться въ павлинья перья изысканной оригинальности, ложнаго паѳоса, блестящей фразеологіи: время успѣховъ ея миновало. Разсчетливое корыстолюбіе, въ связи съ добродушной ограниченностью, тщетно стало бы теперь надѣвать на себя маску изступленнаго фанатизма; оно никого не увѣритъ въ глубокости своихъ убѣжденій, въ которыхъ всѣ увидятъ одно только низкое лицемѣріе. Старый, выписавшійся сочинитель можетъ теперь, сколько ему угодно, нападать на талантъ и геній, на убѣжденіе и заслугу, и хвалить самого себя и свои сочиненія: отъ этого ни ему, ни его сочиненіямъ не будетъ лучше, такъ же, какъ не будетъ

хуже ни таланту, ни генію, ни убѣжденію, ни заслугѣ. Имена потеряли теперь все свое очарованіе. Публика восхищается сочиненіями, а не именами. Кто бы ни издалъ для нея сборникъ хорошихъ статей,—если статьи хороши, она раскупаетъ сборникъ, хотя бы его издатель былъ вовсе ей неизвѣстенъ; если статьи плохи, она не покупаетъ сборника, хотя бы его издатель былъ презнаменитое лицо въ литературѣ и подъ статьями сборника тоже выставлены были громкія имена. Еслибы геніальный писатель вдругъ издалъ что-нибудь недостойное его таланта и имени, это сочиненіе безъ всякихъ обиняковъ было бы названо всѣми посредственнымъ или плохимъ. Новый талантъ, великій или обыкновенный, можетъ теперь смѣло выходить на литературное поприще безъ журнальныхъ и всякихъ другихъ протекцій: онъ сейчасъ же будетъ признанъ за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и его успѣхъ всегда будетъ болѣе или менѣе соотвѣтственъ его степени. Направленіе современной литературы русской носитъ на себѣ отпечатокъ зрѣлости и мужественности. Литература наша съ недоступныхъ высотъ великихъ идеаловъ, которыхъ осуществленій никто не видалъ и не встрѣчалъ на землѣ, спустилась на землю и принялась за разработку современной дѣйствительности, представляемой толпой. Этимъ изъ предмета праздной забавы она сдѣлалась предметомъ дѣльнаго занятія. Въ ней теперь утвердились два великіе элемента — стражи здраваго эстетическаго вкуса противъ всего фразёрскаго, натянутаго, неестественнаго, слабаго, сантиментальнаго, ложнаго: мы говоримъ объ иронiи и юморѣ. Съ ними открытъ для нашей литературы прямой, широкій и надежный путь къ истиннымъ, плодотворнымъ успѣхамъ въ будущемъ.

Но главная, существенная сторона успѣховъ современной русской литературы заключается конечно въ томъ, что теперь широкъ и легокъ путь для таланта, узокъ и труденъ для посредственности, невозможенъ для бездарности. Но изъ этого самаго прогресса вышло не совсѣмъ отрадное слѣдствіе, какъ бы для доказательства того, что, если справедлива поговорка, «нѣтъ худа безъ добра», видно, правда и то, что не бываетъ и добра безъ худа. Посредственность и бездарность всегда были завистливы, безпокойны и раздражительны; но теперь неудачи доводятъ ихъ до готовности пользоваться всѣми средствами для поддержанія своего падшаго кредита, для пораженія всѣхъ и каждаго, кто съ бо́льшимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствуетъ на литературномъ поприщѣ.. Журнальная полемика не новость въ нашей литературѣ. Почти всѣ записные читатели на святой Руси до страсти любятъ полемическія статьи — и въ то же время почти всѣ любятъ бранить полемику. Многіе изъ нихъ точно такъ же отъ всей души убѣждены въ страшномъ вредѣ полемики для нравовъ, какъ и въ великой пользѣ для тѣхъ же нравовъ отъ пферапса, сплетенъ и зѣвоты. Что до насъ,—мы убѣждены, что въ благоустроенномъ обществѣ нестерпимы злоупотребленія полемики, т. е. дурной тонъ, площадная рѣзкость выраженій, личности; но что въ полемикѣ, умѣющей держаться въ предѣлахъ чисто-литературныхъ вопросовъ и выражаться прилично, нѣтъ никакого вреда, а, напротивъ, есть много пользы, потому что такая полемика даетъ литературѣ жизнь и движеніе. Еслибы иногда полемика и позволила себѣ немного забываться и проговариваться — большой бѣды въ этомъ нѣтъ, и такого рода промахи должны подлежать суду общественнаго мнѣнія. Назадъ тому лѣтъ двѣнадцать полемика наводняла собою всѣ журналы, и нельзя сказать, чтобъ иногда она не грѣшила противъ хорошаго тона; но зато и нельзя сказать, чтобы позволила себѣ такія странныя выходки, которыя скорѣе можно назвать «юридическими», нежели «литературными».

Что русскій языкъ—одинъ изъ богатѣйшихъ языковъ въ мірѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но при этомъ не должно забывать историческаго развитія Россіи и быстраго оборота, произведеннаго въ немъ реформой Петра Великаго. До Петра Великаго русскій языкъ вполнѣ соотвѣтствовалъ нравственному состоянію Руси и былъ больше, чѣмъ только достаточенъ для выраженія всего круга понятій того времени. Но съ реформой Петра Великаго, отворившей двери Россіи дотолѣ чуждымъ ей понятіямъ, русскій языкъ по необходимости долженъ былъ подвергнуться наводненію чужестранныхъ словъ и даже оборотовъ, а высшее общество по необходимости должно было предпочесть чужой языкъ своему родному. Теперь, когда у насъ есть уже литература и когда самый языкъ подвергся большимъ измѣненіямъ, эта необходимость не существуетъ болѣе и для высшаго общества. Но, несмотря на то, еще не близко время окончательнаго установленія русскаго языка, и чѣмъ оно отдаленнѣе, тѣмъ больше надежды на болѣе богатое развитіе нашего языка.

Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» назвалъ слова: «фабрика, губернія, маляръ, кучеръ, мастеръ, мастерство, подмастерье, смастерить» — иностранными, вошедшими

въ составъ русскаго языка. Рецензентъ «Москвитянина», прибавивъ къ нимъ, какъ онъ говоритъ, и старшихъ ихъ братьевъ азіатскаго происхожденія: «ясакъ, ерлыкъ, аргамакъ, халатъ», изъявляетъ свое согласіе признать всѣ эти слова не русскими, а иностранными, но не просто, а на томъ условіи, чтобъ рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» доказалъ ему, что «тѣ, чьи предки выѣхали въ XIV столѣтіи отъ нѣмецъ и изъ Золотой-Орды къ Димитрію Іоанновичу Донскому, и доселѣ не русскіе, а иностранцы, хотя 500 лѣтъ исповѣдаютъ (исповѣдываютъ) православную вѣру, говорятъ русскимъ языкомъ, служатъ и пользуются всѣми правами гражданства». Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» рѣшительно отказывается доказывать такую странность; а что̀ касается до помянутыхъ словъ, онъ такъ же признаетъ ихъ не русскими, а иностранными, какъ русскихъ людей иностраннаго, и притомъ древняго происхожденія, признаетъ совершенно русскими, а не иностранцами,—и основывается на томъ, что національность человѣка способна къ перерожденію физическому и нравственному, и что слова не исповѣдываютъ никакой вѣры, не женятся и не родятъ.

Особенное негодованіе возбудило въ «Москвитянинѣ» мнѣніе «Отечественныхъ Записокъ» о непереводимости на русскій языкъ французскаго слова charité, котораго значеніе не вполнѣ передается русскими словами «милосердіе». «Москвитянинъ» почелъ долгомъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ приводитъ тексты изъ апостола Павла на французскомъ, русскомъ, церковно-славянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, изъ которыхъ видно, что французское слово charitè по-русски и по-нѣмецки замѣнено словомъ любовь. Не явное ли это доказательство, что у французовъ словомъ больше противъ русскихъ и нѣмцевъ, потому что, кромѣ слова amour (любовь), у нихъ есть еще слово charité, которое означаетъ дѣятельную, практическую любовь, обнаруживающуюся стремленіемъ облегчать страданія ближняго. Мы не думали доказывать, что отсутствіе этого слова у народа можетъ служить признакомъ отсутствія и выражаемаго имъ понятія. Нѣтъ, отсутствіе слова charité даетъ слову любовь только обширнѣйшее значеніе, а у французовъ оно служитъ признакомъ филологическаго, а отнюдь не христіанскаго преимущества передъ нами.

«Москвитянинъ» увѣряетъ, что «нашлось возможнымъ передать на нашемъ языкѣ философію, даже (?) Шеллинга и Окена». А кто же говорилъ, что они непереводимы по-русски? Мы говорили только, что ихъ невозможно перевести, не испестривъ русскаго перевода множествомъ иностранныхъ словъ, и повторяемъ это теперь. Если нѣкоторые пуристы слова: «индивидуумъ» и «фактъ» замѣняютъ словами «недѣлимый» и «быть», такъ это только смѣшно, а ничуть не доказательно. Что французскій языкъ былъ разработанъ и развитъ два вѣка назадъ,—это фактъ, несмотря на всѣ цитаты «Москвитянина». Тутъ невозможны никакія параллели съ русскимъ языкомъ. Не говоря уже о превосходствѣ генія, сравните по чистотѣ языка—Расина (и даже Корнеля) съ Озеровымъ,—и вы увидите, что тутъ неумѣстны всѣ сравненія; а между тѣмъ это писатели XVII вѣка, Озеровъ же—писатель XIX вѣка. Тутъ нечего восклицать: «этому ли богатству намъ завидовать?». Именно этому! Что Вольтеръ жаловался на бѣдность французскаго языка,—это не доказываетъ богатства русскаго; это доказываетъ только, что Вольтеръ не принадлежалъ къ числу тѣхъ посредственностей, которыя способны остановиться на чемъ-нибудь и удовлетвориться чѣмъ-нибудь. Сверхъ того никакой языкъ ни въ какую эпоху не можетъ быть до того удовлетворительнымъ, чтобъ отъ него нечего было больше желать и ожидать.

Царство вѣры не отъ міра сего. Церковь для ея дѣйствованія не нуждается въ обыкновенныхъ средствахъ. Для ея вѣчныхъ, непереходящихъ и неизмѣнныхъ истинъ всякій человѣческій языкъ былъ, есть и будетъ достаточенъ и богатъ. Проповѣдь требуетъ больше и любви, и убѣжденія отъ проповѣдника, нежели богатаго развитія отъ языка, на которомъ говоритъ проповѣдникъ. Первые апостолы были рыбари, которые, въ простотѣ сердечнаго убѣжденія, прозрѣвъ духовно, увидѣли больше мудрыхъ міра и сдѣлались «ловцами человѣковъ»... Короче: мы думаемъ, что исторія духовнаго краснорѣчія должна быть изучаема и излагаема отдѣльно отъ исторіи свѣтской литературы. Это дѣло людей, посвятившихъ себя изученію богословія. Говоря о духовныхъ витіяхъ, нельзя же ограничиться одной внѣшней стороной ихъ «словъ» и «рѣчей», т. е. однимъ краснорѣчіемъ, но невольно коснешься и содержанія, съ которымъ оно связано, и отъ котораго оно получаетъ свою силу. А это значитъ войти въ сферу теологіи... О предметахъ теологическихъ должны разсуждать теологическіе, а не литературные журналы, наполняемые стишками, сказками, всякой мірской суетой, а иногда—что̀ грѣха таить!—и спорами, которые порождаются не совсѣмъ христіанскими чувствами....

ПЕТЕРБУРГСКІЙ СБОРНИКЪ,

изданный Н. Некрасовымъ. Спб. 1846.

«Бѣдные люди», романъ Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ—первая статья и по мѣсту, и по достоинству. Начинаемъ съ нея.

Появленіе всякаго необыкновеннаго таланта рождаетъ въ читающемъ и пишущемъ мірѣ противорѣчія и раздоры. Если такой талантъ является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы,—онъ встрѣчаетъ съ одной стороны восторженные клики, неумѣренныя хвалы, съ другой—безусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидѣли въ немъ «сѣвернаго Байрона» (какъ-будто гдѣ-нибудь былъ южный Байронъ!), представителя современнаго человѣчества, и все это—по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабѣе другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цѣнность; другіе упорно смотрѣли на его произведенія, какъ на униженіе, профанацію поэзіи, во имя дебелыхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дѣтства. Понять Пушкина предоставлено было уже другому поколѣнію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрѣтилъ себѣ враговъ талантъ Пушкина, но несравненно болѣе явилось преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы лѣтами и духомъ; за него—и молодыя поколѣнія, и сохранившіе свѣжесть чувства старики. Какъ всякій великій талантъ, Гоголь скоро нашелъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонѣ Пушкина было большинство, такъ на сторонѣ Гоголя—меньшинство; большинство же было сначала рѣшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: міръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежитъ исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастіемъ и нелишенными эстетическаго смысла, нашлись такіе, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недоумѣніи имъ казалось, что это или ужъ слишкомъ хорошо, или ужъ слишкомъ дурно,—и они помирились на половинѣ съ твореніями самаго національнаго и можетъ-быть самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. рѣшили, что у него есть талантъ, даже большой, только идущій по ложной дорогѣ. Естественность поэзіи Гоголя, ея страшная вѣрность дѣйствительности изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совсѣмъ исчезла изъ русской литературы та чопорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ pruderie, и въ которой такъ вѣрно отразились нравы полубоярской и полумѣщанской части нашего общества; если и теперь еще существуютъ литераторы, которые естественность считаютъ великимъ недостаткомъ въ поэзіи, а неестественность великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзіи думаютъ унизить эпитетомъ «натуральной»,—то понятно, какъ должно было большинство публики встрѣтить основателя новой школы. И потому естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ признавать великій талантъ часто тѣ самые люди, которые съ жадностью читаютъ и перечитываютъ каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаетъ съ жадностью его новыхъ и не перечитываетъ съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нѣтъ нужды говорить, что безпощадная истина его созданій—одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признать на словахъ великимъ поэтомъ того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самыми своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ первая и главная причина этого непризнанія заключается въ безпримѣрной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ безпримѣрной, потому что съ одной стороны ни одинъ русскій поэтъ не можетъ идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій геніальный талантъ оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одной и другой оригинальностью, между одной и другой самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина въ отношеніи къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ печати особенности, положенной личностію его на его творенія, состояла преимущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ

поэзіи, а его—самой поэзіей; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ былъ поэтомъ-художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тѣмъ не менѣе къ чести предшественниковъ Пушкина должно сказать, что они имѣли на него бо́льшее или меньшее вліяніе, и ихъ поэзія больше или меньше была предвѣстницей его поэзіи, особенно первыхъ его опытовъ. Еще прямѣе и непосредственнѣе было вліяніе на Пушкина современныхъ ему европейскихъ поэтовъ. Если при всемъ этомъ первыя произведенія Пушкина, однихъ непріятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу, поразили не только новостью, но оригинальностью и самобытностью,—это показываетъ, какъ геніаленъ былъ талантъ его. Но все-таки его первыя произведенія напоминали собой многое и въ русской литературѣ, хотя и отдаленно, и еще болѣе многое, и притомъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ,—чему доказательствомъ служитъ неудачно и неловко приданный ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературѣ, не было (и не могло быть) образцовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родѣ его поэзіи, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругъ, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзію. Конечно нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны напримѣръ Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествѣ Гоголя, а не на особенности, не на физіономіи, такъ сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болѣе времени, которое Пушкинъ подвинулъ впередъ, нежели самого Пушкина. Разумѣется, еслибъ Гоголь явился прежде Пушкина, онъ не могъ бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямого вліянія, такого, какое имѣли (въ бо́льшей или меньшей степени, ближе или отдаленнѣе) на Пушкина предшествовавшіе ему русскіе и современные ему европейскіе поэты, — такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ слѣдовъ въ сочиненіяхъ послѣдняго. Сверхъ того, поэзія избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и рѣдко испытываемыя человѣкомъ высокія ощущенія,—такая поэзія если не совсѣмъ понятна въ сущности, то всѣмъ доступна по наружности. По крайней мѣрѣ она до того нравится толпѣ, что даже и ложные таланты, если они не лишены блеска и смѣлости, увлекаютъ ее, пародируя въ своихъ хитро-изысканныхъ выдумкахъ высокую сторону дѣйствительности; это доказываетъ чрезвычайный, хотя и мгновенный успѣхъ Марлинскаго и... но не будемъ называть другихъ—довольно и одного примѣра... Скажемъ болѣе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпѣть не можетъ, чтобъ поэзія занималась ею, хотя и не смиреніе, а опасливость неувѣреннаго въ себѣ самолюбія причиною этого, напротивъ, она любитъ, чтобъ поэзія представляла ей все героевъ да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За голосомъ немногихъ, которымъ дано дѣйствительно понимать высокое жизни, толпа готова провозгласить великимъ геніемъ даже Байрона, въ которомъ она, толпа, неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно плѣняетъ и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое пародированіе высокой стороны жизни (какъ въ повѣстяхъ Марлинскаго) или истинное и дѣйствительно прекрасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не слишкомъ великое, нѣсколько незрѣлое и дѣтское, потому что сама толпа есть не что иное, какъ вѣчный недоросль, что-то похожее на дряхлаго ребенка или на младенчествующаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слава его была въ своей апогеѣ, когда представители толпы провозглашали его «сѣвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человѣчества?»—Тогда, какъ онъ удивлялъ ихъ «Русланомъ и Людмилой», «Братьями Разбойниками», «Кавказскимъ Плѣнникомъ», «Бахчисарайскимъ фонтаномъ» и тѣми стишками, въ которыхъ воспѣвалъ золотую лѣнь, шипучее вино и тому подобное. «Цыгане» приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; «Полтава» публикой принята холодно, а журналисты встрѣтили ее бранью; «Борисъ Годуновъ» вовсе не былъ оцѣненъ... и многіе ли даже теперь *догадываются*, что̀ за великія созданія—«Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы», «Скупой Рыцарь», «Галубъ», «Мѣдный Всадникъ», «Каменный гость?» Одинъ изъ критиковъ того времени въ седьмой главѣ «Евгенія Онѣгина», которая, по глубинѣ чувства, по зрѣлости мысли, по художественной отдѣлкѣ, гораздо выше первыхъ шести главъ, — увидѣлъ «рѣшительное паденіе, chute complète», и съ торжествомъ возвѣстилъ его на двухъ языкахъ—русскомъ и французскомъ!.. Другой критикъ, говоря о той же седьмой главѣ «Онѣгина», сдѣлалъ такое заключеніе, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, и что на него «прошла мода», какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ вѣка!.. Еще двое другихъ, какъ будто сговорясь между собою, несмотря на

*

то, что были противниками по мнѣніямъ, объявили, что въ трётьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832 году) не видно прежняго Пушкина!.. И они не ошиблись бы, еслибъ сказали это въ томъ смыслѣ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталъ выше, нежели какъ былъ въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но—увы!—добрые критики говорили тутъ о паденіи Пушкина!.. Все это факты, которые, еслибы понадобилось, мы скрѣпили бы указаніемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такія диковинки. И вотъ какъ судила толпа и о поэтѣ, избравшемъ предметомъ пѣсенъ своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась отъ него тотчасъ, какъ сталъ онъ мастеромъ, и какимъ еще мастеромъ—великимъ!..

Какъ же должна была судить толпа о поэтѣ, дерзнувшемъ пойти по дорогѣ, до него никому невѣдомой, рѣшившемся, оставивъ въ покоѣ героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являются гораздо рѣже, нежели въ фантазіи поэтовъ), обратиться къ толпѣ и къ будничной жизни?.. Сначала, какъ и слѣдуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслію за границу вседневной прозаической жизни. И такое заключеніе было очень естественно съ ея стороны: она не встрѣчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходокъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуетъ ей своихъ странныхъ героевъ и ихъ бѣдную, жалкую жизнь очень серьёзно, говоритъ о нихъ почти съ такой же важностью, какъ въ дѣйствительности говорятъ они о самихъ себѣ и своихъ дѣлишкахъ. Конечно это писатель, положимъ, не безъ дарованія, но мелкій, безъ фантазіи, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую природу! Но — странное дѣло!—толпа сама не могла не замѣтить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чѣмъ-то сильно задѣваетъ и сердитъ ее; потомъ съ изумленіемъ узнаетъ она, что высшій свѣтъ, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставляя безъ вниманія бонтонныя, опрятныя произведенія дюжинныхъ сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствіемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненныя дурного тона, оскорбляющихъ приличіе выраженій и картинъ и, кажется, назначенныхъ для потѣхи самыхъ необразованныхъ читателей... Въ то же время нашлись люди, которые по поводу сочиненій этого писателя заговорили о юморѣ, какъ могущественномъ элементѣ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служитъ всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о нихъ, но только вѣрно воспроизводя явленія жизни, по ихъ сущности противуположныя высокому и прекрасному, — другими словами, путемъ отрицанія достигая той же самой цѣли, только иногда еще вѣрнѣе, которой достигаетъ и поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не могло не имѣть вліянія на мнѣніе толпы; а между тѣмъ съ теченіемъ времени она все болѣе и болѣе привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что̀ казалось ей въ нихъ страннымъ и рѣзкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естественнымъ,—чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ теперь, когда французскій переводъ нѣсколькихъ его повѣстей доставилъ ему громкую извѣстность въ Европѣ,—теперь и самые враги его таланта, имѣющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его успѣховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ...

Вообще литература наша, въ лицѣ Пушкина и Гоголя, перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый талантъ тотчасъ же оцѣняется по его достоинству. Явился Лермонтовъ—и первыми своими опытами заставилъ всѣхъ смотрѣть на его талантъ съ изумленнымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Много ли успѣлъ написать онъ втеченіе своего краткаго (четырехлѣтняго) литературнаго поприща?—а между тѣмъ нуженъ былъ только одинъ смѣлый голосъ, чтобъ за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, геніальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ ни хлопочетъ теперь посредственность выдавать себя за геніальность, — ей это никакъ не удается. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и итальянскія, ни романы и повѣсти русскіе, французскіе, литовскіе и нѣмецкіе, ни стихотворенія, ни дагерротипы, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотѣла сдѣлать изъ Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, и что̀ же? Всѣ нашли, что у Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда, и теперь появленіе необыкновеннаго таланта не можетъ не возбуждать довольно противорѣчащихъ толковъ; но, во-первыхъ, это свойство необыкновеннаго таланта во всякой литературѣ, пока не привыкнутъ къ нему (привычка—умъ толпы), а во-вторыхъ, въ самомъ противорѣчіи этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорятъ и спорятъ о томъ, что̀ хорошо и что̀ дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ—объ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Нѣсколько невѣжественныхъ или завистливыхъ голосовъ тутъ ничего не значитъ. Если какой-нибудь quasi-критикъ или критиканъ рѣшится объявить, что произведеніе новаго писателя, возбудившаго своимъ появленіемъ сильное движеніе въ читательскомъ мірѣ, рѣшительно дурно, что въ немъ нѣтъ ни искры таланта, — такой критиканъ поступитъ очень неразсчетливо въ отношеніи къ самому себѣ. Самые недогадливые увидятъ ясно, что онъ, критиканъ, не иное что̀, какъ жалкая и купно завистливая посредственность... Но съ другой стороны и преувеличенно восторженныя похвалы, критическіе гимны и диѳирамбы теперь тоже возможны только со стороны людей, немогущихъ имѣть никакого вліянія на общественное мнѣніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требуютъ, чтобъ онъ спокойно и трезво сказалъ, какъ понимаетъ онъ поэтическое произведеніе; а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нѣтъ нужды: это его домашнее дѣло.

Слухи о «Бѣдныхъ Людяхъ» и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ все равно— быть или не быть предубѣжденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что̀ это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а не знатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ уже не видитъ въ произведеніи и того, что̀ болѣе или менѣе ему доступно и что̀ навѣрное понравилось бы ему, еслибъ онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ «Бѣдныхъ Людей» былъ полный. Еслибъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ, — это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть талантъ, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ можетъ-быть двухъ-трехъ испугавшихся за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иной многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшительный — время. Впрочемъ не должно забывать, что романъ Достоевскаго прочтенъ всѣми только въ Петербургѣ, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мнѣніе о талантѣ новаго поэта. Въ Москвѣ еще только читаютъ его «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника» (помѣщеннаго въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и уважаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читаютъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно нигдѣ въ Россіи нѣтъ такой многочисленной читающей публики, сосредоточенной на такомъ маломъ пространствѣ, какъ въ Петербургѣ,— и при всемъ томъ насъ (chaque baron a sa fantaisie!) почему-то всегда интересуетъ болѣе мнѣніе Москвы и провинціи о книгѣ, нежели Петербурга. Мы никогда не говоримъ: «это сочиненіе такъ хорошо, что даже въ провинціи имѣло огромный успѣхъ»; но, напротивъ, мы какъ-то особенно не расположены къ сочиненіямъ, которыя только въ Петербургѣ возбуждаютъ общій восторгъ. Можетъ-быть по этому самому намъ не нравятся стихотворенія Бенедиктова, «Сенсаціи мадамъ Курдюковой» и всѣ патріотическія и патетическія драмы, возбуждающія такіе оглушительные аплодисманы на сценѣ Александринскаго театра. Можетъ быть въ этомъ случаѣ мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга—ужъ черезчуръ занятые, черезчуръ дѣловые люди, и потому едва-ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вкусомъ. Имъ надо что-нибудь, во первыхъ, не слишкомъ большое, а во вторыхъ, и это главное — что-нибудь

полегче, что-нибудь не слишкомъ требующее углубленія мыслью, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, словомъ,—такое, что̀ было бы и коротко, и ясно и не заставило бы думать, какъ фѣльетонная статья въ «Сѣверной Пчелѣ», какъ правоописательная статейка Булгарина. И это понятно: въ Петербургѣ всѣ бѣдны временемъ: кто служитъ, кто спекулируетъ, кто играетъ въ преферансъ, а часто случается и такъ, что одно и то же лицо несетъ на себѣ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читаемомъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которое вырабатываютъ наши типографіи. Въ Москвѣ число читателей несравненно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замѣчательная книга есть фактъ, есть «нѣчто», которые читаютъ ее сами, читаютъ другимъ или настоятельно рекомендуютъ другимъ читать ее, думаютъ о ней, толкуютъ, спорятъ. Смѣшно было бы утверждать, что и въ Петербургѣ нѣтъ такихъ читателей; но мы знаемъ достовѣрно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненіи со всей читающей массой, и что большая часть ихъ состоитъ изъ такого молодого народа, который не успѣлъ еще ни поступить на службу, ни постичь поэзію преферанса. Что касается до провинціи, въ ней можетъ-быть въ сложности не менѣе, если не болѣе истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ обѣихъ столицахъ нашихъ; и если ихъ кажется такъ мало въ провинціи, это потому, что они разсѣяны на огромномъ пространствѣ и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что отъ одного до другого иногда хоть мѣсяцъ скачи на лихой тройкѣ—не доѣдешь! Велика матушка Россія!.. По всему этому очень интересно узнать, какое впечатлѣніе талантъ Достоевскаго произведетъ на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданіи этого, мы поспѣшимъ отдать отчетъ въ собственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ перваго взгляда видно, что талантъ Достоевскаго не сатирическій, не описательный, но въ высокой степени творческій, и что преобладающій характеръ его таланта—юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и притомъ глубоко знаетъ, но a priori, слѣдовательно чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлился отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что̀ же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоихъ романовъ Достоевскаго («Бѣдныхъ Людей» и «Двойника») видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ въ талантѣ Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя вѣроятно не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ даже никакого намека на подражательность: сынъ, живя своей собственной жизнью и мыслью, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился впослѣдствіи талантъ Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Колумбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по «Бѣднымъ Людямъ», мы заключили было, что глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но, прочтя «Двойника», мы увидѣли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ «Двойникѣ» глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, этотъ колоритъ и тонъ въ «Двойникѣ» спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ «Запискахъ Сумасшедшаго» Гоголя... Вообще талантъ Достоевскаго при всей его огромности еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и высказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писате-

ля, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многаго ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ «Герой Нашего Времени», но еслибъ кто подумалъ, что Лермонтовъ впослѣдствіи не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о талантѣ Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ талантъ Достоевскаго блеститъ яркой самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣевичу Дѣвушкину, старику Покровскому и Голядкину старшему Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ и Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже никому болѣе не оказать) на эти забитыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что Достоевскій самъ собой взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности.

Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта «Бѣдные Люди» и непосредственно за ними «Двойникъ» — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однакожъ со всѣмъ тѣмъ подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что еслибъ онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ «Бѣдныхъ Людяхъ»: вѣдь и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится разсказывать, если уже рѣшиться на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброй душой и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтелью, дѣвической красотой. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ,—существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его «маточкѣ, ангельчику и херувимчику Варинькѣ» есть что-то похожее на чувство любовника,—на чувство, которое онъ силится не признавать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, еслибъ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ и говоритъ, что «все въ розовомъ цвѣтѣ представляется». Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка,—все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варинькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя,—до послѣдней крайности обманываетъ свою Вариньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ пріобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его

понятій онъ могъ бы навязать себя Варинькѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для нея самой, и жертвовать для ней всѣмъ—было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ въ лицѣ Макара Алексѣевича показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, броситъ нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душой отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копѣекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,—такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: «вѣдь это тоже люди, ваши братья!»

Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человѣкъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку, но если, смѣясь надъ ней, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкой, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына,—не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы,—какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти, то къ тому, то къ другому!... Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственной особой, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особой. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ратазяевъ, ростовщикъ,—словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ-будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Варинькикакъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неоконченно; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось въ лицѣ Татьяны схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтской дамой, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны

Ѳедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій.

Разсказывать содержаніе этого романа было бы излишне; дѣлать большія выписки тоже. Но не мѣшаетъ инымъ можетъ быть забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственныя впечатлѣнія, ихъ же самихъ призвать въ свидѣтели справедливости и вѣрности нашего мнѣнія о высокомъ художественномъ достоинствѣ «Бѣдныхъ Людей», и потому считаемъ необходимымъ выписать нѣсколько мѣстъ изъ писемъ Макара Алексѣевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей;—а между тѣмъ посреди нихъ вѣроятно найдутся такіе, которымъ эти выписанныя нами мѣста покажутся какъ-будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство можетъ быть заставитъ ихъ вновь перечесть всю повѣсть и сознаться себѣ, что они только при этомъ второмъ чтеніи поняли ее... Такія произведенія, какъ «Бѣдные Люди», никому не даются съ перваго раза: они требуютъ не только чтенія, но и изученія.

«Пишу къ вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я разскажу-то вамъ теперь! Вотъ мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ: я все это предчувствовалъ. Все это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже намедни во снѣ что-то видѣлъ подобное.

«Вотъ что случилось. — Разскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положитъ. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ вчера подходитъ ко мнѣ Тимоѳей Ивановичъ и лично изволитъ показывать, что—вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говоритъ, Макаръ Алексѣевичъ, почище, поспѣшно и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ.—Замѣтить вамъ нужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо. только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли нечистый меня попуталъ, или тайными судьбами какими опредѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться—только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знаетъ какой, просто никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядкомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавняго времени сталъ вдвое болѣе прежняго совѣститься и въ стыдъ приходить. И въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стулъ заскрипитъ у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, припалъ, приумирѣлъ, сжомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было) сказалъ во всеуслышаніе: Что, дескать, вы, Макаръ Алексѣевичъ, сидите сегодня такимъ у-у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня ни были, такъ и покатились со смѣху, и ужъ, разумѣется, на мой счетъ. И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ, и глаза зажмурилъ, сижу себѣ, не пошевелюсь. Таковъ ужъ обычай мой; они этакъ скорѣй отстаютъ. И такъ я уткнулся носомъ въ бумагу и пишу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу—не обманываются ли уши мои? зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ ужъ надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкина! Дѣвушкина! гдѣ Дѣвушкинъ? Подымаю глаза: передо мной Евстафій Ивановичъ; говоритъ: Макаръ Алексѣевичъ! къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказалъ, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду — ну, да ужъ просто ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ — предсталъ! Положительнаго отчета, объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоятъ его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отъ чего, маточка. Во первыхъ, совѣстно; я взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было, отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидѣлъ. А во вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ будто бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можетъ быть слышали, такъ, мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

«Начали гнѣвно: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это,—тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—нерадѣнье! неосмотрительность! Вводите въ непріятности!—Я раскрылъ было ротъ для чего-то. Хотѣлъ было прощенья просить, да не могъ, убѣжать—покуситься не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.—Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ—вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатилась и прямо, такъ-таки прямо, проклятая, къ стопамъ его превосходительства, и это передъ всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспомнилъ, что я видѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить пуговку. нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ушахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ коли дуракъ, такъ стоялъ бы себѣ смирно, руки по швамъ! Такъ

нѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она и пристанетъ; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потомъ опять на меня взглянули—слышу говоритъ Евстафію Ивановичу: какъ же?... посмотрите въ какомъ онъ видѣ?... какъ онъ!... что онъ!... — Ахъ, родная моя, что ужъ тутъ — какъ онъ? Да что онъ? отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился. Слышу, Евстафій Ивановичъ говоритъ—не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу... Ну, облегчите его какъ-нибудь, говоритъ его превосходительство. Выдать ему впередъ... — Да забралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то времени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно такія, а поведенія хорошаго и не замѣченъ, никогда не замѣченъ. — Я, ангельчикъ мой, горѣлъ, въ адскомъ огнѣ горѣлъ! Я умиралъ!—Ну, говорятъ его превосходительство громко: переписать же вновь поскорѣе; Дѣвушкинъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки; да послушайте: тутъ его превосходительство обернулись къ прочимъ, раздали приказанія разныя, и всѣ разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспѣшно вынимаетъ книжникъ и изъ него сторублевую: вотъ—говорятъ они—чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите... да и всунулъ мнѣ въ руку. Я, ангелъ мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить ихъ ручку хотѣлъ. А онъ-то весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да — вотъ ужъ тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя; взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровнѣ своей, словно такому же какъ самъ генералу. Ступайте, говоритъ; чѣмъ могу... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.»

Такая страшная сцена можетъ не потрясти глубоко только душу такого человѣка, для котораго человѣкъ, если онъ чиновникъ не выше 9-го класса, не стоитъ ни вниманія, ни участія. Но всякое человѣческое сердце, для котораго въ мірѣ нѣтъ выше и священнѣе человѣка, кто бы онъ ни былъ, всякое человѣческое сердце судорожно и болѣзненно сожмется отъ этой, повторяемъ, страшной, глубоко-патетической сцены... И сколько потрясающаго душу дѣйствія заключается въ выраженіи его благодарности, смѣшанной съ чувствомъ сознанія своего паденія и съ чувствомъ того самоуниженія, которое бѣдность и ограниченность ума часто считаютъ за добродѣтель!...

«Теперь, мамочка, вотъ какъ я рѣшилъ: васъ и Ѳедору прошу, и еслибы и дѣти у меня были, то и имъ бы повелѣлъ, чтобъ Богу молились, то-есть вотъ какъ: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили. Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!...»

Другимъ образомъ, но не менѣе ужасна эта картина:

«Сего числа случилось у насъ на квартирѣ до нельзя горестное, ни чѣмъ необъяснимое и неожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка) совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось. Какая тамъ была вина на немъ, за нерадѣніе и неосмотрительность — на все вышло полное отпущеніе. Приступили выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше, — однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, блѣдный какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается — обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбой ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ стороны, жалъ у каждаго изъ насъ руку по нѣсколько разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такомъ бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ знаетъ что такое — говорилъ: «честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои»— и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частію прослезились. Ратазяевъ видно хотѣлъ его ободрить и сказалъ — «что, батюшка, честь, когда нечего ѣсть, деньги, батюшка, деньги главное, вотъ за что Бога благодарите!»—и тутъ же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, т. е. не на то чтобы прямо неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ какъ-то странно на Ратазяева, да руку его съ плеча своего снялъ. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочемъ! различные бываютъ характеры. — Вотъ я, напримѣръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній и уничиженіе изъявляешь, не отъ чего иного, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но впрочемъ не во мнѣ тутъ и дѣло-то. — Да, говоритъ, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!.. и потомъ все время, какъ мы у него были, твердилъ: слава Богу, слава Богу!... Жена его заказала обѣдъ поделикатнѣе, пообильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его. Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ; скажетъ что-нибудь, а иногда и ничего не скажетъ и уйдетъ. У мичмана даже карты въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, напуталъ въ игрѣ какого-то вздора, сдѣлалъ три-четыре хода и бросилъ играть. Нѣтъ, говоритъ, вѣдь я такъ, я это только такъ — и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ корридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно, пожалъ мнѣ руку и отошелъ, и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости весело такъ у нихъ

было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говоритъ женѣ: — «Послушайте, душенька, вотъ я немного прилягу»— да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на голову руку и долго долго гладилъ по головѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женѣ; дескать, а что жъ Петинька? Петя нашъ, Петинька? .. Жена перекрестилась да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ уже умеръ. — Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь въ царствѣ небесномъ.— Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говоритъ ему — вы бы, душенька, заснули. — Да, говоритъ, я сейчасъ... я немножко, — тутъ онъ отвернулся, полежалъ немного, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена его не разслышала; спросила его: что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко — ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась — видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спитъ, сѣла и стала работать что-то. Она разсказываетъ, что она работала съ полчаса и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже и не помнитъ, о чемъ она думала, говоритъ только, что она и позабыла объ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кровать и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотритъ — а ужъ онъ холодехонекъ — умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно его громомъ убило. А отчего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до сихъ поръ опомниться не могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человѣкъ. Этакой бѣдняга, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать... ужъ не могу самъ навѣрное сказать. Только жалко! Грустно подумать, что этакъ въ самомъ дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь!... Погибаешь ни за что...»

Что передъ этой картиной, написанной такой широкой и мощной кистью, что передъ нею мелодраматическіе ужасы въ повѣстяхъ модныхъ французскихъ фѣльетонныхъ романистовъ! Какая страшная простота и истина! И кто все это разсказываетъ?— ограниченный и смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ!..

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частности этого романа: легче перечесть весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ цѣломъ—превосходенъ. Упомянемъ только о послѣднемъ письмѣ Дѣвушкина къ его Варинькѣ: это слезы, рыданіе, вопль, раздирающіе душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тѣмъ это пишетъ ограниченный, смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ! И читая его, вы сами готовы рыдать и въ то же время вы улыбаетесь... Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчаянія въ этихъ простодушныхъ словахъ старика, теряющаго все, чѣмъ мила была ему жизнь: «Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда вы ѣдете-то, маточка? Вы можетъ-быть этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный пьяница ходитъ...».

Мы думаемъ, что теперь кстати сказать нѣсколько словъ и о «Двойникѣ», хотя онъ и не относится къ «Петербургскому Сборнику». Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,—и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа—г. Голядкинъ—одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на амбиціи людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ, и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ недурно, но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ, и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямой дорогой. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. И такъ, герой романа — сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякого, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ «Двойникѣ» еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ «Бѣдныхъ Людяхъ». А между тѣмъ почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!.. Справедливо ли такое заключеніе? — Мы, не обинуясь, скажемъ, что съ одной стороны оно крайне ложн

а съ другой—что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что «Двойникъ» нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта,—вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго, и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишней плодовитостью. Еслибъ авторъ «Двойника» далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его «Двойника» все, что̀ показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ,—у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что̀ каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ — верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ «Двойникѣ» ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ, и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ «Двойника» еще не пріобрѣлъ себѣ такта мѣры и гармоніи, и оттого не совсѣмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости даже и «Бѣдныхъ Людей», хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ «Двойнику». И такъ, въ этомъ отношеніи судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что̀ же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своей дорогой, никого не слушая, или, желая угодить толпѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно искусственную зрѣлость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ поддѣльному чувству мѣры?.. По нашему мнѣнію, объ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ идти своей дорогой, съ каждымъ днемъ естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время онъ долженъ, обязанъ «принимать къ свѣдѣнію», чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что̀ можно счесть въ «Двойникѣ» растянутостью, такъ это частое и мѣстами вовсе ненужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ напримѣръ: «Дожилъ я до бѣды», *дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бѣды...* Эта бѣда вѣдь какая!.. *экая вѣдь бѣда одолѣла какая!..*» Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романѣ найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ въ сознаніи своей силы и своего богатства какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще «Двойникъ» носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что еслибъ авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой «Двойникъ», чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки,—мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это съ одной стороны показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но съ другой стороны это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи,—даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски впрочемъ очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что̀.

Мы только слегка коснулись обоихъ произведеній Достоевскаго, особенно послѣдняго; говорить о нихъ подробно,—значило бы зайти гораздо далѣе, нежели сколько позволяютъ предѣлы журнальной статьи

Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра,—и это богатство видимо мучитъ и тяготитъ автора «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника». Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но впрочемъ отнюдь не находящіе, чтобъ «Парижскія Тайны», «Вѣчный Жидъ» или «Графъ Монте-Кристо» были растянуты. И съ одной стороны чтецы такого рода правы; не всякому дано знать тайны искусства, такъ же, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины, ни истиннаго значенія того, что̀ называютъ они «растянутостью»; они знаютъ только, что чтеніе «Бѣдныхъ Людей» нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а «Двойникъ» не многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ поймет̀ъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ̀ говорятъ одно и то же,— такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности—Сцилла и Харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ «Двойника», все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что̀ же касается до толковъ большинства, что «Двойникъ»—плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены и т. п.,—объ этомъ Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много впродолженіе его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью поспѣшатъ схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудро и окончательно рѣшили по «Двойнику», что у него или вовсе нѣтъ таланта, или есть, да такъ-себѣ, небольшой...

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ по поводу «Бѣдныхъ Людей»; но мы чувствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположеніи духа, что хотимъ ограничиться совѣтомъ Достоевскому—перепечатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ, приложившій ко второму или третьему изданію «Руслана и Людмилы» всѣ критики и рецензіи, въ которыхъ бранили эту поэму...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ «Петербургскаго Сборника».

«Три портрета», разсказъ Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи имѣетъ всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шелъ бы эпиграфъ: «Дѣла минувшихъ дней!»...

«Мартингалъ» (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевскаго, исполненъ интереса и по содержанію, и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ разсказъ былъ бы естественнѣе, еслибы въ немъ не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ нѣмецъ и ученъ, едва ли бы молодой человѣкъ сталъ открывать свои завѣтныя и страшныя тайны, готовясь можетъ быть умереть насильственной смертью...

Къ отдѣлу разсказовъ въ альманахѣ должно присовокупить и «Парижскія Увеселенія», легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся французы и какъ поддѣлываются подъ ихъ способъ веселиться русскіе, живущіе въ Парижѣ. Эта статья тоже интересна.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цѣлыми двумя, и къ тому еще прекрасными, поэмами. «Помѣщикъ» Тургенева—легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ Тургенева нашелъ свой истинный родъ, и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ. Стихъ легокъ, поэтиченъ, блещетъ эпиграммой. Кто-то увѣрялъ печатно, будто «Помѣщикъ»—подражаніе «Евгенію Онѣгину»: ужъ не «Энеидѣ» ли Виргилія? Право, послѣднее предположеніе ничѣмъ не несправедливѣе перваго. Первое произведеніе такого рода въ русской литературѣ принадлежитъ Дмитріеву, автору «Модной Жены». Оно было написано въ духѣ и вкусѣ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ «Графѣ Нулинѣ» и «Домикѣ въ Коломнѣ». А объ «Онѣгинѣ» тутъ и поминать нечего, какъ о произведеніи совсѣмъ другого и притомъ высшаго рода. Пусть успокоится на этотъ счетъ почтенный кри-

тиканъ, одаренный такой удивительной способностью находить сходство тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ. Что «Помѣщикъ» Тургенева можетъ ему не правиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которымъ напримѣръ очень не нравится, что повѣсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что̀ талантъ Гоголя получилъ европейскую извѣстность); а намъ нравится (и притомъ еще какъ!) и «Помѣщикъ» Тургенева, и то, что повѣсти Гоголя изданы въ Парижѣ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ «Помѣщику» приложены прекрасныя картинки, рисованныя Агинымъ. Мы очень рады случаю отдать должную справедливость таланту этого молодого художника. Тиммъ—безспорно лучшій рисовальщикъ въ Россіи, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотря на картинки Агина, невольно вспомнишь стихъ Пушкина: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Его картинки къ «Помѣщику» — заглядѣнье! — за исключеніемъ впрочемъ четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началѣ прошлаго года Майковъ подарилъ публику прекрасной поэмой—«Двѣ Судьбы»; въ началѣ нынѣшняго года онъ опять даритъ ее прекрасной поэмой—«Машенька». Разсказывать содержаніе новаго произведенія Майкова было бы излишне: оно такъ просто. У бѣднаго чиновника соблазнили страстно любимую имъ дочь; увидѣвъ ее на гуляньѣ, на островахъ, ѣдущую, въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаетъ ее; оставленная своимъ любовникомъ, бѣдная Маша, которой вся вина состоитъ въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу—и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ и все. Сюжетъ даже не новъ. Но въ художественномъ произведеніи дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерахъ, въ краскахъ и тѣняхъ разсказа. Съ этой стороны поэма Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizine, какъ институтки, очерчены безподобно; но характеръ Маши, какъ героини поэмы, не совсѣмъ ровенъ и опредѣлителенъ; чего-то не достаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы Майкова—то, что̀ на вульгарномъ языкѣ называется соединеніемъ патетическаго элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣнье представлять жизнь въ ея истинѣ. Этой истины много въ поэмѣ. Особенно порадовала насъ въ ней прелесть комическаго разговора, который даетъ надежду, что для таланта молодого поэта предстоитъ еще въ будущемъ богатое развитіе въ такомъ родѣ поэзіи, къ которому въ началѣ его поприща никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красотъ поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для поясненія и подтвержденія нашей мысли, выписываемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стопой,
Одна съ больной, растерзанной душой:
«Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!
Весь міръ—чужой мнѣ... А отецъ?... старикъ...
Оставленный... и онъ... онъ проклялъ тоже!
За что жъ? хоть на него взглянуть бы мигъ,
Все разсказать... а тамъ—пусть проклинаетъ!»
Она идетъ; сторонится народъ,
Кто молча, кто съ угрозой, кто шепнетъ:
«Безумная!» и въ страхѣ отступаетъ.
И вотъ знакомый домикъ: меркнулъ день,
Зарей вечерней небо обагрилось,
И длинная по улицамъ ложилась
Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.
Вотъ садъ, скамья, поросшая травою
Подъ вѣтвями широкими березъ.
На ней старикъ. Послѣдній клокъ волосъ
Давно ужъ выпалъ. Блѣдный, онъ казался
Однимъ скелетомъ. Ветхій вицъ-мундиръ
Не снятъ: онъ видно снять не догадался,
Прійдя отъ должности. Покой и миръ
Его лица былъ страшенъ: это было
Спокойствіе отчаянья. Уныло
Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.
Вдругъ слышитъ вздохъ и листья задрожали
Отъ шороха. «Что, ужъ не воры ль тутъ?
А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,
Вѣдь ужъ они... они ее украли»...
Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,
И чудится ему рыданья тоже,
И голосъ: «Что я сдѣлала съ нимъ, Боже!»
Не зная какъ, онъ дочь ужъ обнималъ,
Не въ силахъ слова вымолвить.—«Папаша,
Простите!»—«Что, я развѣ звѣрь иль жидъ!»
—«Простите!»—«Полно! Богъ тебя проститъ!
А ты... а ты меня простишь ли, Маша?»

Мелкихъ стихотвореній въ «Петербургскомъ Сборникѣ» немного. Самыя интересныя изъ нихъ принадлежатъ перу издателя сборника, Некрасова. Они проникнуты мыслью; это — не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго и современнаго. Лучшее изъ нихъ—«Въ Дорогѣ». Изъ другихъ стихотвореній въ «Сборникѣ» замѣчательны переводы Тургенева: «Тьма», изъ Байрона, и «Римская Элегія», Гёте.

«Макбетъ» Шекспира, переведенный Кронебергомъ, одинъ заслуживалъ бы особой критической статьи, потому что это переводъ классическій, вполнѣ достойный подлинника. «Макбетъ»—одно изъ самыхъ колоссальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ чудовищныхъ произведеній Шекспира, гдѣ съ одной стороны отразилась вся исполинская сила творческаго его генія, а съ другой—все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значеніи вѣдьмъ, играющихъ въ «Макбетѣ» такую важную роль: одни хотѣли видѣть въ

нихъ просто вѣдьмъ, другіе—олицетвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свирѣпствовавшихъ на днѣ души его; третьи — поэтическія аллегоріи. Справедливо только первое изъ этихъ мнѣній. Шекспиръ — можетъ быть величайшій изъ всѣхъ геніевъ въ сферѣ поэзіи, какихъ только видѣлъ міръ; но въ то же время онъ былъ сынъ своего времени, своего вѣка, того варварскаго вѣка, когда разумъ человѣческій едва началъ пробуждаться отъ своего тысячелѣтняго сна, когда въ Европѣ тысячами жгли колдуновъ, и когда никто не сомнѣвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ нечистой силой. Шекспиръ не былъ чуждъ слѣпоты своего времени, — и вводя вѣдьмъ въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думалъ дѣлать изъ нихъ философическія олицетворенія и поэтическія аллегоріи. Это доказывается между прочимъ и важной ролью, какую играетъ въ «Гамлетѣ» тѣнь отца героя этой великой трагедіи. «Другъ Гораціо,— говоритъ Гамлетъ:—на землѣ есть много такого, о чемъ и не бредила ваша философія». Это убѣжденіе Шекспира, это говоритъ онъ самъ или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видѣлъ и Богъ-вѣсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходѣ Бирнамскаго Лѣса и въ томъ обстоятельствѣ, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденнаго женой. Дѣло оказалось чѣмъ-то вродѣ плохого каламбура; но такова творческая сила этого человѣка, что, несмотря на всѣ нелѣпости, которыя ввелъ онъ въ свою драму, «Макбетъ» все-таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готическіе храмы среднихъ вѣковъ. Что-то сурово-величаво-грандіозно-трагическое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судьбѣ; кажется, имѣешь дѣло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ человѣческой природы, сколько рѣшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!.. Вотъ доказательство, что время не губитъ генія, но геній торжествуетъ надъ временемъ, и что каждый моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества даетъ равнообильную жатву для поэзіи. Пройдутъ еще два вѣка, а можетъ быть и меньше, когда будутъ дивиться варварству XIX столѣтія, какъ мы дивимся варварству XVI-го; не найдутъ въ немъ Шекспира, но найдутъ Байрона и Жоржъ Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человѣчество, а спираль, гдѣ каждый послѣдующій кругъ обширнѣе предшествующаго. Нашъ вѣкъ имѣетъ передъ XVI-мъ то важное преимущество, что онъ заранѣе знаетъ, въ чемъ послѣдующіе вѣка должны увидѣть его варварство...

У насъ было довольно переводовъ стихами драмъ Шекспира. Лучшіе изъ нихъ доселѣ принадлежали Вронченко («Гамлетъ» и «Макбетъ»). Но переводы Вронченко, вѣрно передавая духъ Шекспира, не передаютъ его изящности. Кронебергъ умѣлъ счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вѣренъ и духу, и изящности подлинника, исполненъ въ одно и то же время и энергіи, и легкости выраженія. Это рѣшительно не только лучшій, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводъ одной изъ лучшихъ трагедій Шекспира, такъ же, какъ его же переводъ «Двѣнадцатой Ночи» («Отечественныя Записки» 1841, томъ XVII) есть единственный и превосходный переводъ одной изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретическаго содержанія въ «Петербургскомъ Сборникѣ». «Капризы и Раздумье», Искандера, автора повѣсти: «Кто Виноватъ?» (въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года) и разныхъ статей литературно-философскаго содержанія, — есть родъ замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Не можемъ удержаться, чтобъ не выписать небольшого отрывка:

«Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь во всей Европѣ, стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предпріимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и внѣшнихъ необходимостяхъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ,— не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій: Только лѣта юности обставлены поэтическимъ порывомъ любви—утомительное semper idem закулисной жизни, ежедневной жизни — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни: впрочемъ украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же, люди, какъ испанцы, хотятъ только сохранить *фуэросы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивишься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходки рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей ви-

вандскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда—не болѣе. У каждаго человѣка за его оффиціальной моралью есть свой спрятанный ésprit de conduite: оффиціально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣденъ, оффиціально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины, — privatim онъ беретъ страшные проценты, privatim онъ считаетъ себя вправѣ безчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернитъ его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это конечно много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ родятся и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго — по тому, что никогда не добьешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

«Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится *въ міръ подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ пальцѣ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физіологіи, а волосяные сосуды, а клѣтчатка, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненныя энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьёзно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ,—но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр., и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиться угрызеніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ,—а не пора ли бы имъ на свѣтъ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прячь не прячь— все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt—wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

«Изрѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставитъ ихъ задуматься... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, разсказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него» — скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства»—скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть, какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемыя слезы.

«Людямъ необходимы декораціи, обстановка, надпись; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса— и мы не плачемъ надъ ними.

«Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное—въ этомъ никто не сомнѣвается: да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго,— разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ напримѣръ мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь—продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и не мудрено: ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реагенцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши»—говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому что онъ хочетъ,—себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его, на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. «Все такъ,—говорятъ умнѣйшіе,—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу.»

«А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали—это понятно, а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву—да гдѣ же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву,—такая жертва, само собою разумѣется, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ вѣроятно не остановился на куплѣ, потребовалъ сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви, и не найдя ея, началъ par dépit тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту par force, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ: оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гіены, сказалъ бы я, еслибъ гіены улыбались: хищные звѣри добросовѣстны: они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена — супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами откровенными: онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

«Людямъ непремѣнно надобно видимые знаки, несчастью нѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!». Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравняться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши; тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно заключеніе тяжело—я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннолѣтію, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

«Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы,—слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ,—слезы обманутыхъ надеждъ,—слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Есть конечно дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непремѣнно кому-нибудь да солоно жить.

«Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось вродолженіе шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

«Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфекты и прочее,—дѣло дѣтское!»

Въ статьѣ своей «О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ» Никитенко разсматриваетъ одинъ изъ интереснѣйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно рѣшаетъ его съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народнымъ и общечеловѣческимъ. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывокъ не далъ бы о ней никакого понятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О статьѣ Бѣлинскаго «Мысли и замѣтки о русской литературѣ», по извѣстнымъ публикѣ отношеніямъ ея автора къ нашему журналу, мы не считаемъ себя вправѣ говорить, предоставляя судить о ней читателямъ. Думаемъ однакожъ, что во всякомъ случаѣ она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ «Петербургскаго Сборника» упредилъ наше о немъ сужденіе. Дивиться этому успѣху нечего: такой альманахъ—еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, внѣшняя изящность изданія,—все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разъединенія: у каждаго нашего сословія все свое, особенное—и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только провести вечеръ, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студентъ, се-

минаристъ, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществѣ, вы можете подумать, что присутствуете при раздѣленіи языковъ... Такъ велико разъединеніе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ разъединенія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста разъединяетъ ихъ. Многіе думаютъ, что спѣсь, остатокъ славянской старины, уничтожаетъ у насъ соціабельность (sociabilité). Если это и справедливо, то развѣ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходится съ людьми низшаго званія; но люди низшихъ званій чѣмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бѣда въ томъ, что это сближеніе всегда бываетъ внѣшнимъ, формальнымъ, похожимъ на шапочное знакомство; самолюбію богатаго купца льститъ знакомство даже съ бѣднымъ дворяниномъ, но, перезнакомившись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается вѣренъ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, то есть купеческаго, званія. Этотъ духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенные оттѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походятъ, если иногда то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?.. У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать, что̀ такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозрѣваютъ живой связи ихъ искусства съ наукой, съ литературой, съ жизнью. И потому сведите такого ученаго съ такимъ художникомъ,—и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будутъ не разговоромъ, а работой. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятилъ себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ ироническій улыбкой на философію и исторію и на тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику смотритъ просто какъ на вздоръ. Такъ-называемый нашъ «словесникъ» съ презрѣніемъ смотритъ на математику, которая не далась ему въ школѣ. Скажутъ: все это не духъ разъединенія, а духъ полупросвѣщенія или полуобразованности. Такъ! но вѣдь всѣ эти люди получили первоначальное образованіе, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школѣ математикѣ, а математикъ—словесности. Многіе изъ нихъ даже очень хорошо разсуждаютъ при случаѣ о томъ, что существуетъ только искусственное раздѣленіе наукъ, а существеннаго нѣтъ и быть не можетъ, потому что всѣ науки составляютъ одно знаніе объ одномъ предметѣ—о бытіи, что искусство такъ же, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формѣ, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всѣхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя разсужденія придется имъ приложить къ дѣлу,—тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые посматриваютъ другъ на друга или съ нѣкоторой иронической улыбкой и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какой-то недовѣрчивостью... Какъ же тутъ требовать соціабельности между людьми различныхъ сословій, изъ которыхъ каждое по своему и думаетъ, и говоритъ, и одѣвается, ѣстъ и пьетъ?..

И однакожъ, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомнѣнно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другого; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на̀ бокъ, — и теперь со дня на день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ что починять ихъ—значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрытаго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбѣжное, паденіе. И если теперь раздѣленныя этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незамѣтно, теперь дѣлается быстрѣе и замѣтнѣе,—и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается. Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами, и черезъ стѣны, тунелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между собою въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ

исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, сплоченное въ одну массу только одними матеріальными интересами, было бы жалкимъ и нечеловѣческимъ обществомъ. Какъ бы ни были велики внѣшнее благоденствіе и внѣшняя сила какого-нибудь общества,—но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, желѣзныя дороги и вообще всѣ матеріальныя движущія силы составляютъ первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвѣщенію и образованію,—то едва ли можно позавидовать такому обществу... Въ этомъ отношеніи намъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвѣщеніе и образованіе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ мелкимъ и едва замѣтнымъ, но зато изъ высшаго и благороднѣйшаго источника — изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листъ его мелокъ и рѣдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурѣ, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ,—корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанетъ онъ давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому-что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятіе и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другого, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто вродѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго средняго сословія отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собой черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

Если хотите понять и оцѣнить вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ея различныхъ эпохъ, поговорите съ ними или заставьте ихъ поговорить между собой. Литература наша такъ молода, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществѣ всѣхъ ея представителей. Первое замѣчательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ, Ломоносова «Ода на взятіе Хотина», явилось въ 1739 году, ровно 107 лѣтъ тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 лѣтъ назадъ тому. Теперь конечно нѣтъ уже людей, которые видѣли бы Ломоносова хотя въ дѣтствѣ ихъ, или, видѣвши его, могли бы помнить объ этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу и которые и теперь считаютъ его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помнятъ и лицо, и голосъ Державина и эпоху его полной славы считаютъ лучшихъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убѣждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэтъ Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ поколѣній къ таланту творца «Россіады» и «Владиміра»? Есть еще много стариковъ, которые съ умиленіемъ вспоминаютъ о трагедіяхъ Сумарокова и при спорѣ готовы наизусть продекламировать лучшія, по ихъ мнѣнію, тирады изъ «Димитрія Самозванца». Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова дѣйствительно очень устарѣлъ, укажутъ вамъ съ особеннымъ уваженіемъ на трагедіи и комедіи Княжнина, какъ на образецъ драматическаго паѳоса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковѣ и Княжнинѣ, но тѣмъ съ бо́льшимъ жаромъ и съ бо́льшей увѣренностью заговорятъ объ Озеровѣ. Что́ же касается до Карамзина,—не только старыя, но и старѣющія поколѣнія беззавѣтно принадлежатъ ему душой и тѣломъ, чувствуютъ, думаютъ и живутъ его духомъ, несмотря на то, что они не только читали Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всѣми ими болѣе или менѣе... Потомъ есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина и съ благоговѣніемъ говорятъ о Жуковскомъ, какъ будто уваженіе къ послѣднему несовмѣстно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдываютъ свое предубѣжденіе на счетъ его тѣмъ, что они понимаютъ Пушкина!.. Но не думайте, чтобы все это были чисто-литературные факты: нѣтъ, если вы внимательнѣе присмотритесь и прислушаетесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества,— вы не можете не замѣтить болѣе или менѣе живого отношенія между ихъ литературными и ихъ

житейскими понятіями и убѣжденіями. Что же касается собственно до литературнаго ихъ образованія, — это люди, раздѣленные другъ отъ друга какъ-будто столѣтіями, потому-что наша литература съ небольшимъ во сто лѣтъ пробѣжала разстояніе не одного вѣка. И потому была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эпическихъ поэмъ, и обществомъ, которое ходило плакать на Лизинъ прудъ;—между обществомъ, которое жадно читало «Людмилу» и «Свѣтлану», упивалось фантастическими ужасами «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» или нѣжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки «Эоловой Арфы», — и между обществомъ, которое для «Евгенія Онѣгина» забыло и «Кавказскаго Плѣнника», и «Бахчисарайскій Фонтанъ», для «Горя отъ Ума» — комедіи Фонвизина, для «Бориса Годунова»—«Димитрія Донского» Озерова (какъ нѣкогда для послѣдняго забыло оно «Димитрія Самозванца» Сумарокова), а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ-будто охолодѣло къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всѣхъ романистовъ и нувеллистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось... Подумайте только, какое неизмѣримое пространство времени легло между «Иваномъ Выжигинымъ», который вышелъ въ 1829 году, и между «Мертвыми Душами», которыя вышли въ 1842 году... Это различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дѣйствующія, мыслящія и убѣжденныя поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собой признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирой и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическіе нападки на «крапивное сѣмя» всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминовенія отъ историка русской литературы. Комедіи Фонвизина были еще болѣе заслугой предъ обществомъ, нежели предъ литературой. Отчасти то же можно сказать и объ «Ябедѣ» Капниста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ попреимуществу лирическій, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ напримѣръ въ «Фелицѣ», «Вельможѣ» и другихъ пьесахъ. Наконецъ пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя, и его «Ревизора» называютъ «безнравственнымъ» сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ теперь уже никто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человѣкомъ, — нѣтъ, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но вѣдь у взяточниковъ такъ же бываютъ дѣти, какъ и у невзяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность то и принимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшеніе общества! Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственныя убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію...

Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкой соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ внутренно разъединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ за свой талантъ и свою ученость достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускаютъ его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сближаетъ его съ людьми бѣдными и ничтож-

ными въ гражданскомъ отношеніи. Бѣдный дворянинъ Державинъ за свой талантъ самъ дѣлается вельможей, — и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу «Громвалъ», пріѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому сорокъ лѣтъ, когда купцы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплатѣ котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою черезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже нисколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣщанинъ, — кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія ихъ внѣшнія различія и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ просто людей. Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературой! Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множествомъ людей, связанныхъ между собою внутренно. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связываютъ людей и общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и при этомъ взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивались до сихъ поръ и еще долго будутъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

Повидимому нѣтъ ничего легче, а въ сущности нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать о русской литературѣ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, положимъ, младенецъ-Алкидъ, но все же младенецъ. А о дѣтяхъ вообще гораздо труднѣе сказать что-нибудь положительное, опредѣленное, нежели о взрослыхъ людяхъ. Притомъ же наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собой зрѣлище всевозможныхъ противорѣчій, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама-собой, а была сперва пересадкомъ на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому объ нашей литературѣ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаетъ въ богатствѣ и зрѣлости ни одной европейской литературѣ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ геніевъ и сотнями нашихъ талантовъ; или доказывайте, что у насъ вовсе нѣтъ литературы, что наши лучшіе писатели—или случайныя явленія, или просто ничего не стоятъ: въ обоихъ случаяхъ васъ по крайней мѣрѣ поймутъ, и ваше мнѣніе найдетъ себѣ жаркихъ послѣдователей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ—одно изъ свойствъ еще не установившейся натуры русской; русскій человѣкъ любитъ или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать. И потому у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ европейцевъ, которые съ восхищеніемъ говорятъ о послѣдней фельетонной сказкѣ выписавшагося французскаго беллетриста, или съ амфазомъ поютъ новый водевильный куплетъ, давно забытый парижанами,—и съ презрительнымъ равнодушіемъ или съ оскорбительной недовѣрчивостью смотрятъ на геніальное произведеніе русскаго поэта, для которыхъ Россія не имѣетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можетъ; а съ другой стороны, у насъ такъ много квасныхъ патріотовъ, которые всѣми силами натягиваются ненавидѣть все европейское—даже просвѣщеніе, и любить все русское—даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристаньте къ одной изъ этихъ партій,—она сейчасъ же произведетъ васъ въ великіе люди и въ геніи, тогда какъ другая—возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣя враговъ, вы будете имѣть и друзей. Держась же безпристрастнаго, трезваго мнѣнія объ этомъ предметѣ,—вы возстановите противъ себя обѣ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презрѣніемъ; другая, пожалуй, объявитъ васъ человѣкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ и будетъ писать на васъ литературныя донесенія—разумѣется, публикѣ... Самое непріятное тутъ то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣмъ его

добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчіями, которыя онъ носитъ въ самомъ себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собой столько крайностей и противорѣчій, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противорѣчіемъ. Такъ напримѣръ, сказавши о сильномъ и благотворномъ вліяніи нашей литературы на общество и слѣдовательно о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали бо̀льшихъ размѣровъ, нежели какіе мы разумѣли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любой европейской литературой. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведеніями, если брать въ соображеніе ея средства и молодость, — но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому-что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредѣленна и безцвѣтна для того, чтобъ иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себѣ за славу копировать европейскіе образцы, который за картины русской жизни выдавалъ копіи съ картинъ европейской жизни. И это составляетъ характеръ цѣлой эпохи литературы нашей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдѣлалась мастеромъ, и вмѣсто того чтобы копировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, простодушно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смѣло начала воспроизводить картины и европейской, и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполнѣ мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспѣшно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ періода нашей литературы отъ Пушкина до Гоголя. Съ появленія Гоголя литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дѣйствительности. Можетъ-быть черезъ это она сдѣлалась болѣе односторонней и даже однообразной, зато и болѣе оригинальной, самобытной, а слѣдовательно и истинной. Теперь взглянемъ на эти періоды русской литературы въ отношеніи къ ихъ значенію не для насъ, а для иностранцевъ. Нѣтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имѣютъ для насъ великое значеніе; но попробуйте перевести ихъ сочиненія на любой европейскій языкъ, — и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтутъ, то много ли найдутъ въ нихъ интереснаго для себя. Они скажутъ: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ русскихъ писателей». То же бы самое сказали они и о сочиненіяхъ Дмитріева, Озерова, Батюшкова, Жуковскаго. Изо всего этого періода былъ бы имъ интересенъ только одинъ писатель—баснописецъ Крыловъ; но онъ рѣшительно не переводимъ ни на какой языкъ въ мірѣ, и его могутъ оцѣнить только тѣ изъ иностранцевъ, которые знаютъ русскій языкъ и долго жили въ Россіи. Итакъ, цѣлый періодъ русской литературы рѣшительно не существуетъ для Европы. Что̀ же касается до второго,—онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ извѣстной степени. Еслибы такія произведенія Пушкина, какъ напримѣръ «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость», были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскій языкъ,—иностранцы не могли бы не признать ихъ превосходными созданіями поэзіи, но тѣмъ не менѣе эти пьесы не имѣли бы для нихъ почти никакого интереса, какъ созданія русской поэзіи. То же можно сказать и о лучшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хороши были переводы ихъ сочиненій. Причина очевидна: хотя въ твореніяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскій умъ, сила и глубокость чувства,—однакожъ эти качества виднѣе намъ, русскимъ, нежели иностранцамъ, потому-что русская національность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскій поэтъ могъ налагать на свои произведенія ея рѣзкую печать, выражая въ нихъ общечеловѣческія идеи. А требованія европейцевъ въ этомъ отношеніи велики. И не мудрено: національный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытно и рѣзко отражается въ ихъ литературахъ, что̀, какъ бы ни было велико въ художественномъ отношеніи произведеніе, не запечатлѣнное рѣзкой печатью національности,—оно уже теряетъ въ глазахъ европейца главное свое достоинство. Въ

какомъ-нибудь Марріетѣ, Бульверѣ или еще меньше значительномъ беллетристѣ англійскомъ вы такъ же точно видите англичанина, какъ и въ Шекспирѣ, Байронѣ, Вальтеръ-Скоттѣ. Жоржъ-Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собой крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаетъ собой все прекрасное, человѣческое и высокое, а послѣдній—ограниченное и пошлое французской національности,— однако вы сейчасъ видите, что оба они равно могли явиться только во Франціи. Какой-нибудь Клауренъ или Августъ Лафонтенъ такъ же нѣмцы, какъ Гёте и Шиллеръ. Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую или слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штемпель, лежитъ тамъ какъ на произведеніи генія, такъ и на произведеніи бездарнаго писаки. Французы оставались въ высшей степени національными, изо всѣхъ силъ подражая грекамъ и римлянамъ. Виландъ остался нѣмцемъ, подражая французамъ. Барьеры національности непереходимы для европейцевъ. Можетъ-быть это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всѣ національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся въ своихъ произведеніяхъ и греками, и римлянами, и французами, и нѣмцами, и англичанами, и итальянцами, и испанцами; но эта выгода въ будущемъ, какъ указаніе на то, что наша національность должна выработаться широко и многосторонне. Въ настоящемъ же это пока скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредѣленность своего собственнаго личнаго начала.

И потому для иностранцевъ интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ «Евгеній Онѣгинъ» былъ бы для иностранцевъ интереснѣе «Моцарта и Сальери», «Скупого Рыцаря» и «Каменнаго Гостя». И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Это не предположеніе, а фактъ, доказанный замѣчательнымъ успѣхомъ во Франціи перевода пяти повѣстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Парижѣ Луи Віардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ огромности своего художественнаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дѣйствительности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ страной, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобъ геній его былъ признанъ вездѣ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобъ, будучи національнымъ, онъ въ то же время былъ и всемірнымъ, то есть, чтобы національность его твореній была формой, тѣломъ, плотью, физіономіей, личностью духовнаго и безплотнаго міра, общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имѣлъ великое историческое значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло всемірно-историческое значеніе. Такіе поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человѣчества всемірно-историческую роль, то есть своею національною жизнью имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего человѣчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы нельзя быть всемірно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-историческимъ поэтомъ, то есть имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право ставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы,— даже и въ такомъ случаѣ, еслибы мы ясно видѣли, что со стороны таланта онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Пьесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» и «Каменный Гость» такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онѣ достойны генія самого Шекспира; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Пушкинъ былъ равенъ Шекспиру. Не говоря уже о томъ, что есть большая разница въ силѣ и объемѣ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина, — еслибы Пушкинъ написалъ столько же и въ такой же мѣрѣ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смѣлой гипотезой. Тѣмъ болѣе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бѣдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ

произведеній Шекспира. Вообще мы скорѣе можемъ сказать, что въ нашей литературѣ есть нѣсколько произведеній, которыя мы можемъ, по ихъ художественному достоинству, противопоставлять нѣкоторымъ геніальнымъ произведеніямъ европейскихъ литературъ; но мы не можемъ сказать, чтобъ у насъ были поэты, которыхъ мы могли бы противопоставлять европейскимъ поэтамъ первой величины. Есть глубокій смыслъ въ томъ, что мы нуждаемся въ знакомствѣ съ великими поэтами иностранныхъ литературъ, и что иностранцы не нуждаются въ знакомствѣ съ нашими. Отношеніе нашихъ великихъ поэтовъ къ великимъ поэтамъ Европы можно выразить такъ: о нѣкоторыхъ пьесахъ Пушкина можно сказать, что самъ Шекспиръ не постыдился бы назвать ихъ своими, такъ же какъ нѣкоторыя пьесы Лермонтова самъ Байронъ не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть въ нелѣпость, нельзя сказать наоборотъ, что подъ нѣкоторыми сочиненіями Шекспира и Байрона Пушкинъ и Лермонтовъ не постыдились бы подписать своего имени. Мы можемъ называть нашихъ поэтовъ Шекспирами, Байронами, Вальтеръ-Скоттами, Гёте, Шиллерами и пр. только для показанія силы или направленія ихъ таланта, но не ихъ значенія въ глазахъ всего образованнаго міра. Кого называютъ не своимъ именемъ, тотъ не можетъ быть равенъ тому, чьимъ именемъ его называютъ. Байронъ явился послѣ Гёте и Шиллера,—и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ Гёте или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россіи придетъ время производить поэтовъ всемірнаго значенія,—этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому что будетъ типическимъ.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можетъ въ настоящее время достигать равнаго съ нимъ значенія, — мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можетъ соперничествовать съ нимъ только въ формѣ, но не въ содержаніи своей поэзіи. Содержаніе даетъ поэту жизнь его народа, слѣдовательно достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависятъ прямо и непосредственно не отъ самого поэта и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только сто-тридцать-шесть лѣтъ прошло съ того вѣчно-памятнаго дня, какъ Россія громами полтавской битвы возвѣстила міру о своемъ пріобщеніи къ европейской жизни, о своемъ вступленіи на поприще всемірно-историческаго существованія,—и какой блестящій путь преуспѣянія и славы совершила она въ этотъ короткій срокъ времени! Это что-то баснословно-великое, безпримѣрное, нигдѣ и никогда не бывалое! Россія рѣшила судьбы современнаго міра, «поваливъ въ бездну тяготѣвшій надъ царствами кумиръ», и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мѣсто между первоклассными державами Европы, она вмѣстѣ съ ними держитъ судьбы міра на вѣсахъ своего могущества... Но это показываетъ, что мы ни отъ кого не отстали, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи — важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но въ одномъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всѣхъ сторонъ, долженствующихъ составлять полноту и цѣлость жизни великаго народа. Въ будущемъ мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на вѣсы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будутъ у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имѣть право равнять съ европейскими поэтами первой величины. Но теперь будемъ довольны тѣмъ, что̀ есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чѣмъ владѣемъ. По времени наша литература оказала огромные успѣхи, свидѣтельствующіе несомнѣнно о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинаетъ интересовать даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно одностороненъ, потому-что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы могутъ находить для себя только мѣстный колоритъ, живопись нравовъ и обычаевъ столь рѣзко противоположной имъ страны...

—

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто бы, равнодушіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературѣ; то на критиковъ, будто-бы, старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія; между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неутомимые защитники нашей литературы, скромно величающіе себя «патріотами» и «правдолюбами», больше всего жалуются на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но

факты говорятъ совсѣмъ другое: изъ нихъ ясно, какъ дважды два—четыре, что у насъ хорошо расходятся даже сколько-нибудь порядочныя книги, не говоря уже о превосходныхъ. «Героя нашего времени» впродолженіе шести лѣтъ разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуется третье изданіе, несмотря на то, что они всѣ были первоначально напечатаны въ журналахъ; «Вечера на Хуторѣ» Гоголя печатались едва ли не четыре раза; «Ревизора» разошлось три изданія; второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; «Мертвыя Души», напечатанныя въ 1842 году въ числѣ двухъ тысячъ четырехъ-сотъ экземпляровъ, давно расхватаны до послѣдняго экземпляра. Даже повѣсти графа Соллогуба, прочитанныя публикой въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; «Тарантасъ» вѣроятно тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорятъ даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатаютъ такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ «правдолюбовъ», жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это доказываетъ только, какъ невыгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазіи эти господа вздумали свалить вину паденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будто бы, ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія стоятъ одно другого. Обвинители говорятъ, будто наша литература гибнетъ оттого, что въ журналахъ печатаются цѣликомъ многотомные романы, исторіи и тому подобное. Они даже увѣряютъ, что сама публика недовольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесятъ рублей въ годъ пріобрѣтать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдѣльно, обошлись бы ей чуть ли не въ пятеро дороже!.. Какъ же послѣ этого публикѣ не жаловаться на журналы! Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своимъ чередомъ? — Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большомъ количествѣ экземпляровъ: журналы вамъ не помѣшаютъ. Несмотря на то, что книги и у насъ сдѣлались гораздо дешевле, нежели какъ были онѣ лѣтъ за пятнадцать назадъ тому, когда крошечные альманахи, сѣренько издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтеръ-Скотта и оригинальные русскіе романы—по двадцати и больше рублей ассигнаціями за экземпляръ,—несмотря на то, книги у насъ еще и теперь—страшно дорогой товаръ. Это, къ несчастью, слишкомъ хорошо знаютъ тѣ, кто считаетъ за необходимое имѣть въ своей библіотекѣ сочиненія всѣхъ извѣстныхъ русскихъ писателей. Только въ прошломъ году вышло изданіе сочиненій Державина, стоящее три рубля серебромъ, — тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слѣдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоитъ пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковскаго теперь съ трудомъ можно пріобрѣсти и за пятнадцать рублей серебромъ, потому-что изданіе давно разошлось, а новаго все нѣтъ какъ нѣтъ. Сочиненія Пушкина, дурно изданныя, стоятъ до шестидесяти рублей ассигнаціями. «Мертвыя Души» Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новомъ изданіи даже и не слышно. Какъ же процвѣтать книжной торговлѣ, когда публикѣ нечего покупать, при всей ея охотѣ покупать? Скажутъ: у насъ есть книгопродавцы-издатели, которые вмѣсто того, чтобы наживаться, только разоряются отъ изданія книгъ. Такъ, но многіе ли изъ этихъ книгопродавцевъ знаютъ толкъ въ товарѣ, которымъ торгуютъ?.. Кто же тутъ виноватъ—неужели толстые журналы?..

Конечно нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совсѣмъ похожа напримѣръ на французскую въ ея любви къ отечественнымъ талантамъ и отечественной литературѣ. Въ Парижѣ вышло новое изданіе (которое счетомъ—и сказать трудно) сочиненій Гюго въ то самое время, когда Французская академія отказала ему въ званіи своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тѣмъ, что въ нѣсколько дней раскупила все изданіе... У насъ еще невозможны такія явленія. Почти каждый образованный французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библіотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ — что грѣха таить! — не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ геніи и славѣ. Это отчасти происходитъ оттого, что наше образованіе еще не установилось и образованныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ-

быть еще болѣе существенная, причина, которая не только объясняетъ, но частью и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читаютъ напримѣръ Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому-что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни французы, но и нѣмцы, и англичане, словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ, но содержаніе ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому-что оно тѣсно связано со смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только содержаніе, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, несмотря на измѣненіе языка, нравовъ и понятій въ обществѣ. Тутъ даже и талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ былъ великій, геніальный человѣкъ; его ученыя сочиненія всегда будутъ имѣть свою цѣну; но его стихи для насъ могутъ имѣть только одинъ интересъ — какъ историческій фактъ рождающейся литературы, а больше никакого. Читать ихъ и скучно, и трудно. На это можно рѣшиться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ геніемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читаютъ теперь, то больше съ цѣлью изученія исторіи русской литературы, нежели для прямого эстетическаго наслажденія. Карамзинъ изъ торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкціи, славяно-церковныхъ рѣченій и оборотовъ и схоластической надутости выраженія вывелъ русскій языкъ на настоящій и естественный ему путь, заговорилъ съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу, и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всей охотой, и считаемъ для себя не только за долгъ, но и за наслажденіе быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не даетъ содержанія «Бѣдной Лизѣ», «Натальѣ Боярской Дочери», «Марѳѣ Посадницѣ» и пр., не сдѣлаетъ ихъ интересными для нашего времени и не заставитъ насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразятъ: «Таково было ихъ время; они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время». Согласны, совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусахъ спорить трудно; но если кого изъ старыхъ писателей нашихъ можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонвизина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совсѣмъ не записки или мемуары. Фонвизинъ былъ необыкновенно умный человѣкъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминованной сторонѣ своего времени, но смотрѣлъ больше на его внутреннюю, домашнюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловѣ не говоримъ: всѣ мы, разъ заучивъ его въ дѣтствѣ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовѣ, Державинѣ и Карамзинѣ многими принято будетъ за flagrant délit злостнаго униженія критикой нашихъ литературныхъ славъ. Въ самомъ дѣлѣ, улика на лицо — и намъ нѣтъ спасенія! Но, какъ говоритъ русская пословица, «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!». Къ счастью мнѣніе объ униженіи критикой литературныхъ славъ со дня на день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на долю самихъ же такъ-называемыхъ критиковъ, сдѣлалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извѣстностей, падшихъ талантовъ, выписавшихся сочинителей,—орудіемъ, вполнѣ достойнымъ ихъ!.. Кто не хочетъ превозносить ихъ или, еще болѣе, кто не хочетъ замѣчать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избитыхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнѣній, но хочетъ, по своему разумѣнію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оцѣнить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мѣсто и значеніе въ русской литературѣ; что̀ дѣлать съ такимъ критикомъ, особенно если его мнѣнія находятъ отзывъ въ публикѣ? — Больше нечего съ нимъ дѣлать, какъ кричать о немъ, сколько можно громче и чаще, что онъ унижаетъ литературныя славы, порочитъ Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, даже Пушкина!.. Кстати можно намекнуть, что онъ проповѣдуетъ безнравственность, развращаетъ молодыя поколѣнія, что онъ... по крайней мѣрѣ — ренегатъ, если не что нибудь еще хуже... Это тоже называется «критикой»... Неужели такая критика находитъ еще себѣ послѣдователей въ публикѣ?... Какихъ—это другой вопросъ, но что находитъ, это очень возможно, потому-что наша читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между ней есть люди, для которыхъ «Ревизоръ» и «Мерт-

выя Души»—грубые фарсы, а «Сенсаціи госпожи Курдюковой» — остроумнѣйшее произведеніе; есть люди, которые, какъ сказалъ Гоголь, «любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ». Такіе люди, или такіе чтецы (читателями ихъ грѣхъ назвать) въ критикѣ видятъ или безусловную похвалу, или безусловную брань: имъ такъ легко понимать такую критику, отъ всякой другой у нихъ закружилась бы голова, потому-что имъ пришлось бы думать, что̀ для нихъ всего тяжелѣе и труднѣе. Когда является разборъ сочиненій писателя, написанный въ духѣ истинной критики, отдѣляющій въ авторѣ безусловныя достоинства отъ условныхъ, недостатки таланта отъ недостатка времени,—такого разбора помянутые чтецы не станутъ читать; но имъ скажетъ о немъ какой-нибудь присяжный ихъ критикъ, какой-нибудь творецъ всякой всячины, который изо всей мочи хвалитъ себя, да старыхъ писателей, уже не опасныхъ ему, и бранитъ наповалъ все даровитое въ новомъ поколѣніи. Этотъ критикъ по-своему разберетъ для своихъ чтецовъ вновь явившійся разборъ, вырветъ изъ него по строчкѣ, по слову изъ странницы и воскликнетъ: можно ли такъ унижать заслуженные авторитеты! И чтецы вѣрятъ ему, потому что понимаютъ его: онъ говоритъ имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями, ихъ чувствами, ихъ вкусомъ, — les beaux esprits se rencontrent... Имъ, этимъ чтецамъ, и въ голову не входитъ, что правда не унижаетъ таланта, такъ же, какъ и ошибочное мнѣніе не вредитъ ему, что унизить можно только незаслуженную извѣстность, и что слѣдовательно независимое сужденіе о литературѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вредно, но часто бываетъ полезно. Изобрѣтатель такой критики увѣритъ своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что критикъ, при имени котораго онъ не можетъ оставаться хладнокровнымъ, хвалитъ только своихъ друзей; а чтецы и вѣрятъ печатному: гдѣ же имъ справляться, что этотъ критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми писателями, которымъ онъ удивляется?— Это дѣло частное; и гдѣ же имъ сообразить, что онъ еще не родился на свѣтъ, когда умеръ Ломоносовъ, и не зналъ еще грамотѣ, когда умеръ Державинъ и когда были въ полнотѣ своей славы Карамзинъ и Жуковскій, заслугамъ и генію которыхъ онъ отдаетъ полную справедливость но только не съ чужого голоса и не безотчетно?—Для соображенія вѣдь нужна способность соображать. Гораздо легче повѣрить на слово тому, кто повторяетъ себѣ да и только: хвалитъ-де все своихъ пріятелей...

Вообще вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи проглядываетъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткость и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся аксіомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ, — у насъ все еще не подвергались сужденію, еще не всѣмъ извѣстны. Вы напримѣръ не написали никакой книги, а между тѣмъ издаете журналъ, пользующійся огромнымъ успѣхомъ, — и ваши противники кричатъ, что вашъ журналъ плохъ, потому-что вы не написали никакой книги. Это «потому-что» очень оригинально! Да если журналъ хорошъ, какое вамъ дѣло до того, написалъ или не написалъ его издатель книгу?—Вы занимаетесь критикой, и хоть на столько успѣшно, чтобы живо затронуть чужія мнѣнія или пристрастія и нажить себѣ враговъ: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положенія, оспаривать ваши выводы. Нѣтъ, вмѣсто всего этого они начнутъ вамъ говорить, что, ничего не написавши сами, вы не имѣете права критиковать другихъ; что вы молоды, а между тѣмъ судите о произведеніяхъ людей, которые уже стары, и т. д. Подобныя выходки хоть кого приведутъ въ затруднительное положеніе,—не потому, чтобы трудно было отвѣчать на нихъ, а потому именно, что слишкомъ легко отвѣчать на нихъ. Но у кого же достанетъ духу опровергать подобныя мнѣнія, съ важностью доказывать, что можно не быть поваромъ—и вѣрно судить о столѣ; не быть портнымъ—и безошибочно сказать свое мнѣніе о достоинствѣ или недостаткахъ новаго фрака;—такъ же точно, какъ не умѣть писать стиховъ, романовъ, повѣстей, драмъ—и быть въ состояніи дѣльно и здраво судить о чужихъ произведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастрономіи имѣть тонкій вкусъ есть своего рода талантъ—то тѣмъ болѣе это въ сферѣ искусства, и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которыя даже пошлы, потому именно, что слишкомъ очевидны, какъ напримѣръ то, что лѣтомъ тепло, а зимой холодно, что подъ дождемъ можно вымочиться, а передъ огнемъ высушиться. А между-тѣмъ у насъ иногда необходимо защищать подобныя истины всей силой логики и діалектики... Но это еще можетъ быть только или смѣшно, или досадно, смотря по расположенію вашего духа; но бываютъ явленія, отъ которыхъ не захочется смѣяться. Вспомните только, что произведеніе,

вѣрно схватывающее какія-нибудь черты общества, считается у насъ часто пасквилемъ то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели, да мелодраматическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобъ ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, запретить другимъ жить... Писаки во фризовыхъ шинеляхъ, съ небритыми подбородками, пишутъ на заказъ мелкимъ книгопродавцамъ плохія книжонки: что жъ тутъ худого? Почему писакѣ не находить свой кусокъ хлѣба, какъ онъ можетъ и умѣетъ? —Но эти писаки портятъ вкусъ публики, унижаютъ литературу и званіе литератора?— Положимъ, такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика.—Нѣтъ, намъ этого мало: будь наша воля—мы запретили бы писакамъ писать вздоры, а книгопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходятъ подобныя мысли?—изъ журналовъ, отъ литераторовъ!.. Между ними есть ужасные запретители: кромѣ своихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ... Нѣкоторые и на этомъ не остановились бы, но желали бы запретить продажу всякихъ другихъ товаровъ,—даже хлѣба и соли, кромѣ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направленіе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ —Поль-де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шелъ себѣ впередъ. Публика въ отношеніи къ нему раздѣлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рѣшительно противъ него,—что впрочемъ нисколько не мѣшало ей раскупать, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ и большинство публики стало за него: что дѣлать порицателямъ? Они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій не по настоящему пути; но вмѣстѣ съ этимъ стали давать знать и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ и т. п. Но эти господа хлопочутъ совсѣмъ не о чиновникахъ, а о самихъ себѣ: имъ бы хотѣлось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имѣя ничего хорошаго, поневолѣ принялась за чтеніе ихъ сочиненій и начала бы снова покупать ихъ... И это все печатается, а публика читаетъ, потому-что еслибы этого никто не читалъ, то это и не печаталось бы... Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже послѣдователей. Что же это, если не незрѣлость и не шаткость общественнаго мнѣнія? Но со всѣмъ этимъ истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой безпорядочной битвы мнѣній. Если всякій ложный и пустой, но блестящій талантъ непремѣнно пользуется успѣхомъ, то не было еще примѣра, чтобъ истинный талантъ не былъ у насъ признанъ и не получилъ успѣха. Ложные авторитеты падаютъ со дня на день. Давно ли слава Марлинскаго — этого жонглёра фразы, казалась колоссальной? — Теперь о немъ уже и не говорятъ, не только не хвалятъ, даже и не бранятъ его. Такихъ примѣровъ можно бы привести много. Все это доказываетъ, что и литература, и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, обѣщающей богатое развитіе въ будущемъ.

Разъ гдѣ-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели беллетристическихъ произведеній, больше геніевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И дѣйствительно, съ перваго взгляда эта мысль можетъ показаться страннымъ парадоксомъ; но тѣмъ не менѣе она справедлива въ основаніи. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только бросить бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы, отъ ея начала до настоящаго времени. Беллетристъ есть подражатель, онъ живетъ чужой мыслью—мыслью генія. Правда, геніи перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были не чѣмъ инымъ, какъ беллетристами въ отношеніи къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились писать, заимствовали и форму, и мысли; но въ нашей литературѣ роль ихъ была совсѣмъ другая. Кантемиръ подражалъ Горацію и Буало и со всѣмъ тѣмъ въ русской литературѣ былъ совершенно оригинальнымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видѣли въ немъ генія, и уваженія для потомства, которое видитъ въ немъ одно изъ замѣчательныхъ лицъ нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношеніи о Ломоносовѣ, Державинѣ и Фонвизинѣ: это были дѣйствительно геніальные люди, а второй изъ нихъ даже былъ дѣйствительно геніальнымъ поэтомъ. Но и Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ считались въ ихъ время и даже долго послѣ ихъ смерти

ве ликими поэтами. Сергѣй Николаевичъ Глинка—этотъ почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы,—и теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаетъ объ этомъ совсѣмъ иначе, однакожъ оно не можетъ не согласиться, что и мнѣніе Сергѣя Николаевича Глинки и его времени имѣетъ свое основаніе. Первые дѣятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размѣрахъ, которые уже не существуютъ для такихъ же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успѣховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убѣжденію его современниковъ, далеко оставилъ за собой и баснописца Лафонтена, и трагиковъ Корнеля и Расина и сравнялся съ господиномъ Вольтеромъ. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Петровъ — Пиндаромъ, Богдановичъ—Зефиръ давалъ ему перо изъ своихъ крылъ, и Амуръ водилъ его рукой, когда онъ писалъ «Душеньку»... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные геніи? Много ли породилъ подражателей самъ Державинъ? Правда, торжественныхъ одъ было въ тѣ блаженныя времена написано и напечатано милліоны; но это оттого, что тысячи рукъ писали ихъ, и если на каждую руку по одной одѣ—такъ ужъ выйдетъ страшный итогъ. Но много ли дошло до насъ именъ талантливыхъ беллетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, сообщеннымъ нашей литературѣ ея первыми геніями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть талантливыхъ подражателей; но много ли было ихъ у Державина? Нѣсколько одъ написалъ Дмитріевъ, и немного больше написалъ ихъ Капнистъ—вотъ и все... Оды обоихъ этихъ поэтовъ по числу—ничто въ сравненіи съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между тѣмъ такъ естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образцу; но у насъ это всегда бывало наоборотъ. Макаровъ и Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно послѣдній, дѣйствовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шаликовъ и, право, не помнимъ, кто еще: такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковскаго было обширнѣе: у него и теперь, и всегда можно учиться переводить, стихъ его тоже всегда будетъ образцовымъ. Козловъ, Ѳ. Глинка и частью Туманскій были отголосками музы Жуковскаго. Геній Пушкина породилъ еще болѣе подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта и которые въ свое время пользовались огромной извѣстностью, но всѣ, вмѣстѣ взятые, они едва ли написали половину того, что̀ написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написалъ не очень много,—и какъ скоро пережили они свой талантъ и свою извѣстность! И теперь пишутъ многіе; одинъ сходитъ со сцены, то есть забывается (это у насъ дѣлается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всѣ производятъ довольно много (по крайней мѣрѣ относительно), но каждый особенно пишетъ очень мало. И притомъ всѣ претендуютъ на художественность, на творчество, никто не хочетъ быть просто разсказчикомъ, сказочникомъ, беллетристомъ. Почти всѣ пишутъ на заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая строчка, каждое слово, каждая запятая, но въ то же время всѣ пишутъ и по вдохновенію. Многіе продаютъ еще ненаписанныя повѣсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разразится повѣстью въ годъ—и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удастся написать въ годъ двѣ повѣсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого у насъ нѣтъ беллетристики, и публикѣ нечего читать. Всѣ сколько нибудь замѣчательныя произведенія каждаго года (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечесть по пальцамъ. Во Франціи это дѣлается иначе: тамъ пишутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извѣстный беллетристъ исписываетъ ежегодно цѣлые томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что̀ приметъ его публика—за генія или просто за талантъ. Тамъ беллетристъ пишетъ гораздо болѣе, чѣмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ-Зандъ написала много больше, нежели сколько у насъ пишется многими впродолженіе многихъ лѣтъ; но кипа сочиненій Жоржъ-Занда въ сравненіи съ кипою сочиненій Ежена Сю или Александра Дюма—то же, что̀ озеро въ сравненіи съ моремъ или море въ сравненіи съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется волѣ, и художнику нужно время обдумать и выносить въ умѣ своемъ концепированную имъ мысль... Въ настоящемъ, въ истинномъ значеніи этого слова у насъ было и есть только три беллетриста: это—Булгаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неутомимость ихъ изумительна...

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи слабѣе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По крайней мѣрѣ хоть такъ-называемая классическая трагедія имѣла у насъ свое время развитія и успѣховъ.

Трагедіи Сумарокова дали пищу нашему рождающемуся театру и не только восхищали современниковъ, но «Димитрій Самозванецъ» давался на провинціальныхъ театрахъ еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Трагедіи и комедіи Княжнина имѣли для своего времени неотъемлемое достоинство, — и вообще можно сказать, что наше время много бы выиграло, еслибъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по части драматической литературы, какимъ для своего времени былъ Княжнинъ. Еще выше его былъ Озеровъ. Изъ этого видно, что классическая трагедія у насъ развивалась впродолженіе цѣлыхъ трехъ поколѣній. Явился романтизмъ,—и пошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ даже народныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужъ и онѣ пишутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсѣмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великолѣпнаго или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дѣлѣ драмы еще больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемъ больше геніевъ (хотя ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ» далъ намъ истинный и геніальный образецъ народной драмы; но потому-то можетъ быть онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ истиненъ и геніаленъ. По крайней мѣрѣ ни на одномъ драматическомъ произведеніи съ признаками таланта не отразилось вліяніе «Бориса Годунова». Скажутъ: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! но отчего же у насъ появлялись и появляются поэмы въ стихахъ съ признаками таланта, да иногда еще и замѣчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?.. Послѣ «Бориса Годунова» лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежитъ Пушкину же: это—«Русалка». Его драматическія поэмы: «Сцена изъ Фауста», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость», тоже не отозвались въ въ русской литературѣ никакими сколько-нибудь счастливыми опытами. А между тѣмъ всѣ драматическіе опыты Пушкина— великія художественныя созданія...

Такова же участь и нашей комедіи: или что-нибудь необыкновенное, или — меньше чѣмъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это были или переводы, или передѣлки, и въ этомъ отношеніи труды Княжнина заслуживаютъ уваженія, но какъ оригинальныя русскія комедіи—это было странное уродство. «Бригадиръ» и «Недоросль», не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тѣмъ не менѣе были геніальными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вѣрными и мѣткими сатирами въ формѣ комедіи. Были имъ подражанія, но уродливыя и нелѣпыя. Впрочемъ, хоть и поздно, но ихъ вліяніе отозвалось въ комедіи Основьяненко «Дворянскіе Выборы»,—произведеніи,имѣющемъ свои недостатки, но и не безъ достоинствъ. Между «Бригадиромъ» и «Недорослемъ» Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водевилемъ. Это была случайность, хотя и прекрасная; ей и слѣдовало остаться безъ послѣдствій для литературы. «Ябеда» Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейти прямо къ «Горю отъ Ума» Грибоѣдова, потому-что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежуткѣ времени отъ Фонвизина до Грибоѣдова, не стоятъ упоминовенія. «Горе отъ Ума»—это наполовину художественная, наполовину сатирическая комедія, этотъ высокій образецъ ума, остроумія, таланта, геніальности, злого, желчнаго вдохновенія,—«Горе отъ Ума» до сихъ поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей литературѣ, въ родѣ котораго ни одинъ талантъ не рѣшился попытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибоѣдова должно перейти прямо къ «Ревизору». Кромѣ этой въ высочайшей степени художественной комедіи, исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истины, Гоголь еще написалъ небольшую комедію—«Женитьба» и нѣсколько сценъ, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему и которыя относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора «Ревизора» и, подобно ему, до сихъ поръ остаются въ нашей литературѣ уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни дерева, ни былинки... Были, правда, двѣ или три попытки, не совсѣмъ неудачныя, но слишкомъ нерѣшительныя...

Односторонность во взглядѣ на предметы всегда ведетъ къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не былъ лишенъ глубокости и проницательности. Способность убѣжденія, одна изъ прекраснѣйшихъ способностей человѣческой природы, при односторонности ведетъ къ фанатизму. Литера-

турный фанатизмъ такъ же глухъ и слѣпъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живетъ во имя теоріи. Нѣмецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на воспріимчивой почвѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ послѣдователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотрѣли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія. Для неисправимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая ихъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они ни мало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это впрочемъ не удивительно: вѣдь нѣкоторые историки временъ реставраціи настаивали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII!... Въ самомъ дѣлѣ, съ чисто-теоретической точки зрѣнія, не прибѣгая къ живому историческому созерцанію, не много хорошаго можно найти во французской литературѣ, восторгаясь нѣмецкой. Нѣмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нѣмецкая поэзія вышла изъ нѣмецкой эстетики. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, какъ писалъ впрочемъ геніальный Шиллеръ: въ «Валленштейнѣ» все было имъ не только заранѣе обдумано, но и доказано, и оправдано, все вышло изъ теоріи, и авторъ писалъ эту драму восемь лѣтъ. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэму изъ жизни Фридриха Великаго; но хотѣлъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всѣ эти явленія, нѣмного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія генію Шиллера, какъ и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціальнаго положенія нѣмцевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, вся вышла изъ общественной и исторической жизни и тѣсно слита съ нею. Поэтому о французской литературѣ нельзя судить по готовой теоріи, не впавши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедіи Корнеля, правда, очень уродливы по ихъ классической формѣ, и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный геній Корнеля вслѣдствіе насильственнаго вліянія Ришельё, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, еслибы за уродливой псевдо-классической формой корнелевскихъ трагедій проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ паѳоса. Французы нашего времени говорятъ, что Мирабо обязанъ Корнелю лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого удивляйтесь французамъ, что они забываютъ скоро свои романическія трагедіи à la Шекспиръ и до сихъ поръ читаютъ и всегда будутъ читать стараго Корнеля. Каждый изъ знаменитыхъ изъ писателей неразрывно связанъ съ эпохой, въ которой онъ жилъ, и имѣетъ право на мѣсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторіи Франціи. Здѣсь всѣ мысли о творчествѣ имѣютъ уже нѣсколько другое значеніе, нежели какое имѣютъ онѣ въ нѣмецкой литературѣ: онѣ должны раздѣлить свою власть и силу съ мыслями объ обществѣ и его историческомъ ходѣ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что «Ревизоръ» есть глубоко-творческое и художественное произведеніе, и что ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводѣ, который они дѣлаютъ изъ этого факта. Дѣйствительно, ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики, потому-что всѣ онѣ больше сдѣланы, нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ или по крайней мѣрѣ допускаютъ въ себя фарсы (какъ напримѣръ ложные: муфтій, дервишъ и турки въ «Le Bourgeois-Gentilhomme»); пружины ихъ дѣйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, сатира слишкомъ рѣзко выглядываетъ изъ-подъ формы поэтическаго изобрѣтенія и т. д. Но вмѣстѣ съ этимъ Мольеръ имѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко поднялъ французскій театръ, —что могъ сдѣлать только человѣкъ даже не просто съ талантомъ, а съ геніемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видѣть на сценѣ, и притомъ непремѣнно на французской сценѣ, потому-что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имѣютъ права гордиться именно той или вотъ этой комедіей Мольера; но имѣютъ полное право гордиться комедіями или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому-что Мольеръ далъ имъ цѣлый театръ. То же можно сказать и о Скрибѣ. Нельзя указать ни на одну его драму, ни на одинъ водевиль, какъ на художественное произведеніе, которое всегда будетъ имѣть свою цѣну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ имѣть свою цѣну, а теперь ему и цѣны нѣтъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всѣхъ классовъ, образованныхъ и необразованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя...

У насъ есть нѣсколько высоко-художе-

ственныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могутъ составить постояннаго репертуара для театра и которыя, при всемъ ихъ достоинствѣ, смертельно надоѣли бы всѣмъ, еслибы кромѣ ихъ ничего не давалось на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надоѣдаетъ...

У французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но зато есть театръ, который существуетъ для всѣхъ и въ которомъ общество и учится, и эстетически наслаждается...

На чьей сторонѣ выгода?...

Пусть рѣшатъ читатели. Наше дѣло—сторона.

Чѣмъ отличается геній отъ таланта?—Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудрено. Не беремся, но попытаемся объяснить его просто. Что геній и талантъ дается природой, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самаго организма человѣка, какъ свѣтъ и теплота есть свойство огня,—объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, на счетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта, и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любятъ напримѣръ читать, слѣдятъ за литературой и хотятъ судить о ней; но которые тогда только смѣло судятъ о новой книгѣ, когда успѣли прочитать о ней сужденіе журнала, пользующагося ихъ безусловной довѣренностью, и которые чувствуютъ себя въ самомъ затруднительномъ положеніи, если рецензія или критика на книгу, надѣлавшую шуму, долго не является въ ихъ журналѣ? Кому не случалось встрѣчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь кто-нибудь рѣзко возразитъ имъ, они тотчасъ же отказываются отъ своего мнѣнія и безусловно соглашаются съ мнѣніемъ возразившаго? Это люди безъ мнѣнія, безъ способности имѣть мнѣніе,—люди, которые могутъ быть сильны только чужимъ мнѣніемъ, и для которыхъ авторитетъ есть необходимость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развитъ инстинктъ чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между тѣмъ это могутъ быть совсѣмъ не глупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самодѣятельности и требуетъ опоры въ авторитетѣ. Толпа большей частью состоитъ изъ такихъ людей, и ею всегда и вездѣ управляютъ люди съ большей или меньшей самостоятельностью мнѣнія. И вотъ причина, почему толпа не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее дѣйствуютъ другіе, а она только повинуется. Безъ этой нравственной дисциплины въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшная анархія.

Талантъ, какъ способность дѣлать, производить, относится больше къ формѣ созданія, и съ этой точки зрѣнія талантъ —есть сила внѣшняя, которая можетъ существовать въ человѣкѣ независимо отъ ума, сердца и другихъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ сторонъ человѣческой природы. Но для формы нужно содержаніе, —и вотъ здѣсь-то получаетъ всю свою важность самостоятельная дѣятельность духовныхъ силъ человѣка. Если есть люди, которые лишены способности имѣть о вещахъ свое мнѣніе и которые принимаютъ чужое мнѣніе цѣликомъ, какъ что-то готовое, о чемъ имъ уже нечего больше и думать; то есть люди, которые, вѣчно живя чужимъ мнѣніемъ, имѣютъ способность усвоять его себѣ, развивать, выводить изъ него новыя слѣдствія, находить чрезъ него на другія мысли,—и эта способность до того обманываетъ людей этого рода, что они очень добросовѣстно убѣждены въ самостоятельности своей собственной мыслительности. И они почти правы въ этомъ: натуры живыя и воспріимчивыя, они сами не знаютъ и не помнятъ, отъ кого зашла къ нимъ та или другая мысль, потому-что все извнѣ легко и быстро пристаетъ къ нимъ почти безсознательно, инстинктивно. Имъ стоитъ только поговорить съ умнымъ человѣкомъ или прочесть хорошую книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цѣлый рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могутъ не принять за свои собственныя. Эти люди, управляясь другими, въ свою очередь имѣютъ большое вліяніе на толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; особенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чѣмъ просвѣщеннѣе и образованнѣе общество, тѣмъ больше въ немъ такихъ людей. Наконецъ есть люди (такихъ очень мало), которые дѣйствительно обладаютъ способностью творческой самодѣятельности своихъ способностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, оригинально, во всемъ видятъ именно то, чего безъ нихъ никто не видитъ, а послѣ нихъ всѣ видятъ и всѣ удивляются, что прежде этого не видѣли. Эти люди совсѣмъ не хитрые и не мудреные; они все понимаютъ просто, но ихъ простое пониманіе сначала кажется всѣмъ очень мудренымъ, а иногда безумнымъ и

нелѣпымъ, а потомъ кажется уже столь простымъ, что нѣтъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ голову — вѣдь это такъ просто! Когда Колумбъ сбирался открыть Америку, —на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотѣлъ признать въ этомъ даже заслуги, потому-что открытую Америку всѣмъ казалось такъ легко открыть!...

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мы хотѣли сказать о толпѣ, талантѣ и геніи...

Въ наше время талантъ не рѣдкость во всемъ, но особенно въ литературѣ. Просто ни почемъ! Его часто даже смѣшиваютъ съ геніемъ. И не мудрено, нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ генія. Это приводитъ намъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ разсказываетъ объ авторствѣ своего героя.

«Онъ признавался, что все начатое имъ принималo послѣ первыхъ десяти строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ такое сходство съ писателями, которыхъ читалъ онъ, что онъ краснѣлъ, видя себя способнымъ только на подражаніе. Онъ показалъ мнѣ нѣсколько стиховъ и фразъ, подъ которыми Ламартинъ, Викторъ Гюго, Поль Курье, Шарль Нодье, Бальзакъ и даже Беранже могли бы подписать имена свои. Но всѣ эти опыты, которые можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили бы въ сочиненіяхъ тѣхъ писателей для украшенія индивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ хотѣлъ выразить какую-нибудь идею, вы тотчасъ и увидѣли бы (онъ и самъ тотчасъ же увидѣлъ) явную кражу: идея эта была не его; она принадлежала этимъ писателямъ, принадлежала всѣмъ, только не ему.»

Вотъ вѣчная исторія таланта! Конечно она не всегда бываетъ именно такой, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ни былъ великъ, онъ не можетъ наложить печати своей личности на свои произведенія, и потому не можетъ быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоять себѣ чужія идеи, онъ не надолго скроетъ, что его вдохновенье не бьетъ живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только «плѣнной мысли раздраженье». Но зато какъ бы ни тѣсна и ни ограничена была сфера таланта, но если на его произведеніяхъ виденъ тотъ рѣзкій отпечатокъ личности, который дѣлаетъ произведенія такъ оригинальными, что подъ нихъ невозможно поддѣлаться, тогда это уже не талантъ, а геній. Къ числу такихъ геніальныхъ поэтовъ принадлежитъ въ нашей литературѣ баснописецъ Крыловъ.

ВОСПОМИНАНІЯ ѲАДДЕЯ БУЛГАРИНА.

Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни. Спб. 1864. Двѣ части, съ эпиграфомъ:

Отцы и братіе! еже ся гдѣ описалъ или переписалъ или недописалъ, чтите исправлявливая Бога для, а не кляните!
(*Послѣсловіе въ лѣтописи Нестора.*)

Уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ появилась первая часть «Воспоминаній» Булгарина, мѣсяцемъ позже явилась и вторая; но мы до сей поры почти ничего не сказали отъ себя объ этихъ «Воспоминаніяхъ»—и не сказали съ намѣреніемъ. Причина заключается въ томъ, что въ «Воспоминаніяхъ» Булгарина видѣли мы не просто обыкновенную книгу, какихъ довольно наплодилъ онъ въ русской литературѣ втеченіе своего долгаго и блестящаго поприща, но что-то гораздо важнѣе. «Воспоминанія» Ѳаддея Булгарина— отрывки изъ того, что̀ видѣлъ, слышалъ и испыталъ Ѳаддей Булгаринъ!...Какой свѣтъ должна бросить подобная книга на ея сочинителя! Не въ ней ли разгадка многихъ его дѣйствій, которыя до сихъ поръ казались темными? Не въ ней ли ключъ къ цѣлой литературной жизни Булгарина, которая не только въ публикѣ, но даже въ нѣмецкихъ консерваціонс-лексиконахъ и, разумѣется, тоже въ нѣмецкихъ журналахъ подвергалась донынѣ такимъ страннымъ толкованіямъ, что люди, читающіе «Сѣверную Пчелу», гдѣ безпрестанно втеченіе двадцати слишкомъ лѣтъ ежедневно прославляется любовь къ правдѣ и другія добродѣтели Булгарина, терялись въ недоумѣніи? Именно такой ключъ видѣли мы въ «Воспоминаніяхъ» Булгарина.

Не входя въ разсужденіе о томъ, имѣлъ ли право Булгаринъ издавать свои «Воспоминанія», то есть занимать публику самимъ собою, скажемъ, что донынѣ у великихъ людей видѣлось обыкновеніе оста

влять записки о самихъ себя, воспоминанія и всякія автобіографическія замѣтки въ рукописи до конца дней своихъ. Великій человѣкъ умеръ,—являются его записки; конечно деньги, выручаемыя отъ продажи экземпляровъ, уже не поступаютъ въ карманъ его, — но зато записки появленіемъ своимъ какъ бы продолжаютъ на нѣкоторое время существованіе ихъ автора. По поводу высказанныхъ въ нихъ фактовъ, бросающихъ новый свѣтъ на жизнь и дѣйствія великаго покойника, возникаютъ жаркіе споры, пренія, и плодомъ всего бываетъ болѣе или менѣе вѣрная окончательная оцѣнка жизни и дѣятельности покойника...

Что же заставило Булгарина отступить отъ этого установившагося и естественнаго порядка? Почему издалъ онъ свои записки при жизни?... У него есть на это отвѣтъ въ предисловіи. «Вѣдь это только отрывки», говоритъ онъ, и вслѣдъ затѣмъ, чувствуя, что причина слаба и даже вовсе неудовлетворительна, прибавляетъ:

«При воспоминаніи прошлаго кажется мнѣ, будто жизнь моя расширяется и увеличивается, и будто я молодѣю! Нынѣшнее единообразіе жизни исчезаетъ — и я смѣшиваюсь съ оживленными событіями прошлаго времени, вижу передъ собой людей замѣчательныхъ или для меня драгоцѣнныхъ, наслаждаюсь прежними радостями и веселюсь минувшими опасностями *), прежнимъ горемъ и нуждой. Пишу съ удовольствіемъ, потому что это занимаетъ меня и доставляетъ случай излить чувство моей благодарности къ людямъ, сдѣлавшимъ мнѣ добро, отдать справедливость многимъ забытымъ людямъ, достойнымъ памяти, высказать нѣсколько полезныхъ истинъ, представить характеристику своего времени. Найдется много кое-чего любопытнаго и даже поучительнаго!»

Но, скажете вы: никто не запрещалъ Булгарину вспоминать и даже записывать свои воспоминанія и при этомъ чувствовать жизнь свою расширенной и себя помолодѣвшимъ, наслаждаться минувшими опасностями, радостями, неудачами. Благодарность къ людямъ, сдѣлавшимъ добро Булгарину, тоже нисколько не выдохлась бы, пролежавъ въ рукописи до смерти сочинителя, напротивъ, она пріобрѣла бы ароматъ благодарности безкорыстной и незаискивающей,—и все бы остальное могло бы такъ же удобно сдѣлаться, только нѣсколькими годами позже, — вотъ вся разница...

Стало быть, и второй отвѣтъ не отвѣтъ. И такъ что же?

Далѣе въ предисловіи читаемъ: «Явился мой добрый М. Д. Ольхинъ и рѣшилъ печатать,—печатаю!»

*) Для неномнящихъ какимъ разнообразнымъ опасностямъ подвергался Булгаринъ.

Итакъ, появленіемъ «Воспоминаній Ѳадея Булгарина» обязаны мы доброму Ольхину, которому обязаны мы также началомъ компактнаго изданія сочиненій Булгарина, да разными иллюстрированными очерками съ лицевой стороной и изнанкой и всѣмъ тѣмъ, за что Ольхинъ пріобрѣлъ эпитетъ «добраго» отъ Булгарина, — отъ самого Булгарина, который, какъ извѣстно, по любви своей къ правдѣ, хвалитъ даромъ всѣхъ, не исключая и самого себя...

Какъ бы то ни было, но «Воспоминанія» передъ нами, — и прежде, нежели успѣли мы сказать о нихъ хоть слово, публика уже ознакомилась съ ними частью черезъ нихъ самихъ, а еще больше черезъ статьи Полевого въ «Литературной Газетѣ»,—статьи, которыми онъ такъ блистательно, какъ будто вновь, съ свѣжими силами, начиналъ свое литературное поприще и которыми, къ общему сожалѣнію, ему суждено было кончить его... Изъ другихъ журналовъ, старавшихся познакомить публику съ «Воспоминаніями» Булгарина, должно упомянуть о «Финскомъ Вѣстникѣ», представившемъ объ этой книгѣ двѣ рецензіи, мастерски написанныя. Теперь очередь за нами. Но если, какъ мы сказали, «Воспоминанія» объясняютъ все литературное поприще Булгарина, то съ другой стороны и литературное поприще его, взятое въ цѣломъ, если не объясняетъ «Воспоминаній», то служитъ достойной къ нимъ прелюдіей. А это поприще объемлетъ собою двадцать-пять лѣтъ времени—что составляетъ цѣлую четверть вѣка! Поэтому мы рѣшились начать съ начала, т. е. сперва бросить взглядъ на все литературное поприще Булгарина, а потому уже, какъ вѣнецъ дѣла, какъ послѣднее слово длинной рѣчи, какъ разгадку загадки, разсмотрѣть «Воспоминанія»...

Булгаринъ—извѣстный правдолюбъ;такъ по крайней мѣрѣ еженедѣльно провозглашаетъ онъ самъ себя черезъ «Всякую Всячину». По увѣренію «Всякой Всячины», пламенная любовь Булгарина къ правдѣ надѣлала ему бездну враговъ и поставила его въ кругу русскихъ литераторовъ въ положеніе Сократа между аѳинянами: цикута зависти, клеветъ, обидъ, оскорбленій такъ и подносится ему врагами, ожесточенными противъ него за его правду. Удивительно-ли, что насъ онъ считаетъ въ числѣ самыхъ свирѣпыхъ враговъ своихъ? И не безъ причины: мы хвалимъ сочиненія Гоголя, а въ сочиненіяхъ Булгарина видимъ— не больше, какъ сочиненія Булгарина... Это обстоятельство смущаетъ насъ: «Всякая Всячина» непремѣнно объявитъ статью нашу пристрастной, несправедливой, бран-

чивой, или еще и хуже того... И потому, чтобы избѣжать этого, мы рѣшились почти ничего не говорить или по крайней мѣрѣ какъ можно меньше говорить отъ себя о сочиненіяхъ Булгарина, а больше ссылаться на факты или приводить мнѣнія другихъ литераторовъ о литературныхъ подвигахъ Булгарина. Безпристрастіе наше въ этомъ случаѣ простирается до такой степени, что мы намѣрены ссылаться на сужденія о Булгаринѣ даже такихъ людей, которые его не разъ хвалили и которыхъ онъ самъ не разъ хвалилъ, которые бывали его друзьями и которымъ онъ самъ бывалъ другомъ. Такъ, мы особенно будемъ ссылаться на Полевого...

Не помнимъ хорошенько, съ котораго именно года Булгаринъ сталъ уже не воинъ, а писатель, и—русскій къ славѣ нашихъ дней; но помнимъ, что въ 1821 году онъ издалъ книжку ученаго поляка, Ежовскаго, «Избранныя Оды Горація» съ комментаріями на русскомъ языкѣ, и выставилъ на ней свое имя, позабывъ упомянуть объ имени Ежовскаго... Это былъ одинъ изъ первыхъ подвиговъ Булгарина во славу русской литературы и въ ознаменованіи пламенной любви его къ правдѣ. Въ 1822 году, Булгаринъ является уже издателемъ журнала «Сѣверный Архивъ». Итакъ, дѣятельность Булгарина на поприщѣ русской литературы началась не позже (если не раньше) 1821 года; но, несмотря на то, что онъ пишетъ и печатается по-русски уже двадцатьпять лѣтъ, несмотря на ужасное разнообразіе его литературной дѣятельности,—ее не трудно обозрѣть и основательно, и подробно: для этого стóитъ только раздѣлить труды Булгарина по ихъ родамъ и каждый родъ подвести подъ общій взглядъ.

Начнемъ съ журнальной дѣятельности Булгарина. Ею онъ прежде всего нажилъ себѣ, по его словамъ, непримиримыхъ враговъ, говоря о нихъ правду. Итакъ, развернемъ старые журналы—эту живую лѣтопись прошедшихъ временъ нашей литературы, и посмотримъ, какія горькія истины высказалъ своимъ собратіямъ по ремеслу Булгаринъ, движимый пламенной любовью къ правдѣ: посмотримъ, какъ его безпримѣрное (за исключеніемъ Сократа) въ лѣтописяхъ міра, «рьяное» и неукротимое правдолюбіе навлекло ему вражду и ненависть столькихъ людей, почти съ перваго шага, сдѣланнаго имъ на поприщѣ русской журналистики. Зрѣлище любопытное и поучительное! Съ одной стороны мы увидимъ одного человѣка, съ рыцарской запальчивостью готоваго переломить копье за даму своего сердца—истину, вызвать за нее на бой съ собой хоть цѣлый свѣтъ, и друга, и недруга; а съ другой—цѣлую толпу пристрастныхъ и ожесточенныхъ гонителей истины, готовыхъ на всѣ средства противъ ея храбраго защитника—даже на ложь и на клевету...

Литературно-боевое поприще Булгарина началось въ 1825 году; первый важный походъ его за истину и правду былъ противъ «Московскаго Телеграфа». Застрѣльщикомъ былъ Булгаринъ. Всѣхъ подробностей войны нечего приводить здѣсь: онѣ у всѣхъ еще въ памяти; но дѣло въ томъ, что Булгаринъ навлекъ на себя ожесточенныя гоненія со стороны «Телеграфа» слѣдующими оскорбительными для самолюбія этого журнала истинами и правдами:

I. Нилъ негровъ течетъ мимо Тумбуктской гавани. На что̀ оскорбленный «Телеграфъ» отвѣчалъ Булгарину, черезъ «Матюшу журналоучку», сперва лукавымъ вопросомъ: «какой-де Нилъ негровъ?» а потомъ не менѣе коварнымъ объясненіемъ, что въ Африкѣ нѣтъ и никогда не бывало никакой Тумбуктской гавани, а вмѣсто нея есть тамъ земля и городъ Томбукту, но что этотъ городъ отстоитъ отъ гавани верстъ на тысячу, и что поэтому Нигеръ (названный Булгаринымъ Ниломъ негровъ) никакимъ образомъ не можетъ течь мимо гавани...

II. Не задолго до наводненія въ Петербургѣ всѣ собаки въ Гостинномъ Дворѣ пропали и явились не прежде, какъ на другой день.

На эту правду «Телеграфъ» съ свойственной ему недобросовѣстностью замѣтилъ Булгарину, что собаки въ Гостинномъ Дворѣ бываютъ только по ночамъ, и какъ ихъ на это время привязываютъ, то онѣ не могли скрыться, ни по предчувствію наводненія и ни по какой другой фантазіи съ ихъ стороны.

III. Въ Константинополѣ есть мраморный бассейнъ, въ которомъ плаваютъ «семь рыбокъ жареныхъ или имѣющихъ видъ поджареныхъ».

IV. Лошадь турецкаго султана такъ обременена сбруей изъ драгоцѣнныхъ камней, что съ трудомъ везетъ его, и шесть человѣкъ едва могутъ снять чепракъ.

V. Въ Турціи на большихъ дорогахъ вездѣ у фонтановъ висятъ «золотые ковши».

VI. Одинъ малороссійскій казакъ «цѣлые три часа» защищался противъ «цѣлой польской арміи», былъ прострѣленъ «четырнадцатью» пулями и продолжалъ сражаться.

VI. Въ Манчестерѣ недавно одинъ ювелиръ отлучился на два дня. Между тѣмъ индѣйскій пѣтухъ вскочилъ къ нему въ комнату, съѣлъ у него брильянтовъ на

*

8,000 ф. ст. и вылетѣлъ въ окно. Но пѣтуха зарѣзали и съѣли, а брильянты отдали хозяину.

VIII. Корабли придумали обивать кожей, но это оказалось неудобнымъ, потому-что къ кожѣ пристаетъ такое множество червей, что это препятствуетъ свободному ходу кораблей.

Не считаемъ нужнымъ говорить, какъ воспользовались враги Булгарина этими истинами и правдами, изъ которыхъ можетъ быть не всѣ сказаны были имъ, но которыя всѣ защищалъ онъ самъ съ блистательнымъ успѣхомъ. Желающихъ знать подробности этой интересной битвы отсылаемъ къ «Московскому Телеграфу».

Читатели наши съ основаніемъ могутъ сказать, что семь изъ истинъ, сказанныхъ или несказанныхъ самимъ Булгаринымъ, такъ неважны, что заслуживаютъ только улыбки, а не спору. Это справедливо, но тѣмъ не менѣе справедливо и то, что 1) эти истины или правды были высказаны въ изданіяхъ или принадлежавшихъ Булгарину, или отданныхъ подъ его надзоръ Гречемъ, и 2) что онъ, Булгаринъ, не въ одной жаркой полемической статьѣ отстаивалъ несомнѣнность этихъ истинъ съ свойственной ему любовью къ правдѣ. Но враги его не ограничились этимъ. Бросивъ тѣнь сомнѣнія на географическія свѣдѣнія Булгарина опроверженіемъ существованія Тумбуктской гавани, они обвинили его еще въ томъ, что онъ заставляетъ Нестора считать новый годъ съ сентября, тогда какъ Несторъ считалъ его съ марта (лѣтосчисленіе съ 1-го сентября ввелъ Кипріанъ въ XIV ст., какъ это открыто Карамзинымъ); что онъ Московскій соборъ, бывшій въ 1347 году, отнесъ къ 1343-му году, что онъ, Булгаринъ, выдумалъ, будто въ Россіи еще при Великомъ Князѣ Игорѣ били монету, основываясь на монетѣ, принадлежавшей къ эпохѣ далѣе половины XVI вѣка; что онъ, Булгаринъ, графа Сегюра произвелъ въ курфюрсты; увѣрялъ, что Байкалъ длиной около 600, а шириной отъ 35 до 100 слишкомъ, а окружностью до 2000 верстъ,—тогда какъ длина Байкала (отъ Култука до Верхней Ангары) 585 верстъ, самая большая ширина около 100, а самая малая менѣе 30 верстъ; что Булгаринъ нашелъ рѣку Богульденху, которой въ Сибири нѣтъ, потому-что вмѣсто ея тамъ есть Малая и Большая Бугульдеиха; нашелъ рыбу харіуги, вмѣсто дѣйствительно существующей рыбы харіусы, и торговлю въ Иркутскѣ омулевымъ жиромъ, о каковой торговлѣ въ Иркутскѣ никто и не слыхалъ. Враги Булгарина потому особенно громко смѣялись надъ этими его истинами, что онъ самъ совѣтовалъ другимъ, «взявшись за изданіе журнала, почерпать свои географическія свѣдѣнія не изъ напечатанныхъ для дѣтей географій, но слѣдовать за успѣхами этой науки, читать произведенія ученыхъ мужей по этой части, всѣ новые журналы на иностранныхъ языкахъ, пересматривать вновь выходящія карты, замѣчать поправки на нихъ, сдѣланныя вслѣдствіе новыхъ открытій и ученыхъ изслѣдованій». И всѣ эти слова сказаны Булгаринымъ для доказательства, что Сахалинъ—полуостровъ, а не островъ!!.. Враги Булгарина никакъ не хотѣли согласиться съ нимъ, чтобы Эльборусъ и Казбекъ были два разныя имени одной и той же горы, какъ онъ утверждалъ это въ «Сѣверномъ Архивѣ»; что Гомеръ былъ статистикъ; что ложь нынѣ употребляется въ логикѣ вмѣсто силлогизма; что «умъ—кукла, которая вышла изъ моды»; что «очень отзывается истиной то сказаніе, что Палемонъ римлянинъ приплылъ въ Россію во время Нерона и построилъ городъ «Рома нова, впослѣдствіи названный Романово»; что Кіевъ построенъ Кіемъ, словяниномъ, въ 430 году, и что славяне еще во 2-мъ вѣкѣ по Р. Х. умѣли писать и пр., и пр.—всего и не перечтешь.

Но пламенѣющій правдой Булгаринъ не допустилъ враговъ своихъ торжествовать надъ нимъ безнаказанно. Онъ блистательно опровергъ всѣ ихъ обвиненія. Опроверженія его крайне интересны. Касательно Несторова лѣтосчисленія онъ сказалъ, что «русскіе со введенія христіанской вѣры считали гражданскій годъ съ сентября, и что Несторъ слѣдовалъ этому лѣтосчисленію; но ученику всякому извѣстно, что русскіе до конца XIV вѣка считали годъ съ марта», и прибавляетъ къ этому убѣдительному возраженію: «не лучше ли не спорить о томъ, въ чемъ еще вы сами не увѣрены». Гораздо труднѣе было ему свести концы съ концами касательно Игоревой монеты. Дѣло было не шуточное. При всей глубокости и обширности своихъ историческихъ, археологическихъ и нумизматическихъ познаній Булгаринъ впалъ въ ошибку, принявъ слова: «и Государь», вычеканенныя на монетѣ сокращенно ИГДРЬ, за собственное имя Игоря, и забывши, что еслибы при Игорѣ и чеканилась русская монета, то все же безъ изображенія св. Георгія, потому-что князь Игорь и его подданные были идолопоклонники. Но и тутъ Булгаринъ нашелся, какъ увернуться отъ бѣды неминучей. Онъ отвѣтилъ: «Помилуйте, господа! гдѣ вы нашли, что я говорилъ о Игорѣ идолопоклонникѣ? Прошу вспомнить, что многіе изъ русскихъ князей имѣли сверхъ крестныхъ именъ

военныя свои имена». Когда же враги Булгарина на это возразили ему, что кромѣ Игоря Рюриковича и Игоря Олеговича, убитаго въ 1147 году, въ Россіи не было ни одного великаго князя этого имени; что титулъ: государь всея Руси принятъ Іоанномъ Васильевичемъ, начавшимъ царствовать въ 1461 г., когда уже не было у насъ варяжскихъ именъ и употреблялись одни христіанскія; что всадникъ на конѣ, копіемъ поражающій змія, вовсе не Георгій Побѣдоносецъ, а просто чеканъ московскихъ денегъ, установленный съ 1535 г., ибо до того времени изображался на нихъ всадникъ съ поднятой надъ головой саблей, и что слѣдовательно Игоревская монета Булгарина принадлежитъ къ половинѣ XVI вѣка;—Булгаринъ нисколько не сконфузился и отъ этихъ возраженій, и съ свойственной ему любовью къ правдѣ, равно какъ и съ свойственнымъ ему остроуміемъ, такъ отвѣтилъ врагамъ своимъ:

«Г. Лебедевъ сообщилъ мнѣ монету, найденную въ землѣ, въ городѣ Грязовцѣ. На этой монетѣ находится надпись: «Князь Игорь всея Руси»— и изображенъ Георгій Побѣдоносецъ на конѣ. Въ № 15 «С. А.» на 1823 г. сообщилъ я извѣстіе о сей монетѣ, безъ всякихъ съ моей стороны разсужденій и поясненій. — Виноватъ ли я, что въ Грязовцѣ найдена эта мудреная для васъ монета? Я, Булгаринъ, не копалъ земли, не чеканилъ монеты, не описывалъ ея (?). Я долженъ былъ извѣстить читателей о сообщенной мнѣ рѣдкости—и только! Зачѣмъ же вы обвиняете меня въ незнаніи исторіи?»

Очень жалѣемъ, что, по неимѣнію времени, не можемъ справиться, что̀ отвѣчалъ врагамъ своимъ Булгаринъ, вторично уличившимъ его въ незнаніи исторіи по поводу открытой имъ монеты царей Ѳеодора и Іоанна, братьевъ Петра Великаго. Но должно думать, что пламенная любовь Булгарина къ правдѣ и тутъ доставила ему блестящую побѣду надъ врагами... Было бы очень затруднительно и даже, такъ сказать, скучно выписывать всѣ «правды», которыми Булгаринъ нажилъ себѣ столько «враговъ», навлекъ на себя столько ненавистей и даже гоненій. Вотъ послѣ этого и любите правду, и говорите ее людямъ! Но шутки въ сторону; поговоримъ серьезно. Все, о чемъ мы говорили до сихъ поръ, есть какъ бы программа всего журналнаго поприща Булгарина. Булгаринъ остался себѣ вѣренъ въ этомъ отношеніи и въ остальныя двадцать лѣтъ своей журнальной дѣятельности. И теперь онъ точно таковъ же, какъ былъ во время первыхъ схватокъ своихъ съ «Телеграфомъ», только сталъ еще рѣшительнѣе и смѣлѣе, еще болѣе усовершенствовалъ свою тактику. Никогда ни прежде, ни теперь не оставлялъ онъ никого въ покоѣ, но ко всѣмъ придирался, всѣхъ зацѣплялъ, и всегда съ намѣреніями не совсѣмъ литературными; но лишь попробуй кто отвѣтить ему—и пошла перепалка, пошли споры изъ ничего, доказательства ни о чемъ, и глядишь — литературное дѣло превращается вовсе не въ литературное. При этихъ случаяхъ Булгаринъ обыкновенно начинаетъ говорить о своихъ врагахъ. Повѣрить ему, такъ и у самого Наполеона не было такихъ ожесточенныхъ и непримиримыхъ враговъ. Чѣмъ же онъ вооружилъ ихъ противъ себя?—Правдой, одной правдой, да еще развѣ своими удивительными талантами, своими неслыханными успѣхами въ литературѣ. Но развѣ Крыловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ,—развѣ эти люди ниже Булгарина своими талантами, своими успѣхами? —А между тѣмъ, имѣя враговъ, они имѣли и друзей, тогда какъ Булгаринъ, кромѣ Греча и блаженной памяти Ушакова, во всемъ пишущемъ мірѣ видитъ однихъ враговъ, которые словно сговорились между собою не давать ему покоя, преслѣдовать его. Право, если повѣрить Булгарину,—онъ, подобно Наполеону, имѣетъ своихъ (литературныхъ, разумѣется) Жоржей Кадудалей.... Съ кѣмъ не бранился онъ? «Вѣстникъ Европы», «Мнемозина», «Телеграфъ», «Московскій Вѣстникъ», «Атеней», «Галатея», «Телескопъ», «Молва», «Московскій Наблюдатель», «Славянинъ», «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду» (изд. Воейковымъ), «Литературная Газета» (Дельвига), «Библіотека для Чтенія», «Литературныя прибавленія къ «Инвалиду» и «Литературная Газета» (изд. Краевскимъ), «Пантеонъ», «Репертуаръ», «Москвитянинъ», «Иллюстрація», «Отеч. Записки»,— со всѣми этими изданіями Булгаринъ или былъ въ войнѣ, или и теперь воюетъ. Онъ былъ въ постоянной враждѣ съ цѣлыми поколѣніями журналовъ, съ цѣлыми поколѣніями писателей; ссорился съ людьми, которые уже печатались, когда еще онъ не начиналъ учиться грамотѣ; ссорился съ людьми, которые еще не начинали учиться грамотѣ, когда уже онъ печатался. Мало этого: онъ бранился даже съ «Сыномъ Отечества» и «Русскимъ Вѣстникомъ» подъ редакціей Полевого; ссорился съ сотрудниками «С. Пчелы», возражалъ имъ въ «Пчелѣ» на ихъ статьи, напечатанныя въ «Пчелѣ» же, и велъ съ ними цѣлыя троянскія войны, когда они начинали принимать участіе (какъ Полевой, Кони, Межевичъ) въ другихъ изданіяхъ. Мало и этого: онъ сегодня бранилъ людей, которыхъ превозносилъ вчера, сегодня прославлялъ людей, которыхъ унижалъ вчера. Онъ главный источникъ и прямая причина полемики

нашего времени, и одинъ изъ прямыхъ источниковъ и главныхъ причинъ полемики за цѣлыя двадцать-пять лѣтъ русской журналистики. Вотъ что разъ высказалъ на счетъ этого Полевой, бывшій редакторомъ «Русскаго Вѣстника»,—тотъ Полевой, съ которымъ Булгаринъ столько разъ ссорился и мирился, котораго онъ столько разъ бранилъ и превозносилъ, и съ которымъ передъ его смертью онъ опять разсорился за то, что тотъ умно и дѣльно высказалъ правду о его «Воспоминаніяхъ»:

«Намъ не понравилось въ «Комарахъ» одно: перепалки Ѳ. В. съ литературной братіей и безпрестанное толкованіе его о томъ, что на него всѣ нападаютъ; что всѣ на него нападающіе не правы; что большая часть изъ нихъ очень глупы; что нападенія ихъ служатъ ему въ пользу; что онъ ихъ не боится. Не пора ли перестать? Все исчисленное нами повторяется Ѳ. В. безпрестанно, а какая же пѣсня не припоется, если безпрестанно пѣть ее! Дѣло очень простое: на Ѳ. В. нападаютъ — правда, а онъ развѣ никого не трогаетъ? Какъ же требовать, чтобъ задѣтые молчали, если еще не было примѣра, чтобъ Ѳ. В. оставилъ когда-нибудь безъ отвѣта самое невинное и кроткое замѣчаніе? Кто погрозитъ ему иголкой — онъ рубитъ того мечомъ, а кто броситъ въ него хлопушку — онъ отвѣчаетъ изъ пушки, когда притомъ изъ *десяти перепалокъ девять всегда начинаетъ Ѳ. В.*? Вопросъ о томъ: всѣ ли противники Ѳ. В. не правы,—думаемъ, и самъ онъ по совѣсти рѣшитъ отрицательно. Совершенство не дано въ удѣлъ человѣку, а ошибки—неизбѣжный удѣлъ его. Задачу о томъ, всѣ ли соперники Ѳ. В. дураки, невѣжды и негодяи литературные, опять почитаемъ мы безспорно отрицательной. Если же нападки на Ѳ. В. ему не вредны, а полезны, изъ чего же заводить споры и шумъ? А что Ѳ. В. не боится нападокъ, пора публикѣ увѣриться и безъ непрестанныхъ о томъ напоминаній съ его стороны. Скажемъ откровенно: *замолчи Ѳ. В., и никто не затронетъ его. Не угодно ли ему не заводить споровъ хоть полюда, хоть для опыта, для удостовѣренія въ словахъ нашихъ? Посмотрите, какъ все будетъ тихо и смирно.* («Русскій Вѣстникъ» *1842, № 4, стр. 21.*)»

Это тревожное безпокойство, эта задорливость и спорливость присяжнаго литератора могли бы быть своего рода достоинствами и имѣть болѣе или менѣе полезное вліяніе на литературу, еслибы они вытекали дѣйствительно изъ любви къ истинѣ, хотя бы и ложно понимаемой, изъ живого и страстнаго убѣжденія. Тогда споры и самыя ссоры, безпрестанно заводимые такимъ литераторомъ, болѣе или менѣе оживляли бы журналистику и способствовали разрѣшенію разныхъ вопросовъ, уясненію разныхъ истинъ. Но Булгарина грѣхъ обвинить въ рыцарской рьяности такого рода: къ литературнымъ, эстетическимъ и ученымъ вопросамъ онъ оказывалъ всегда ледяное равнодушіе, дѣлалъ видъ, что даже и не подозрѣваетъ существованія того, что называется мнѣніемъ, убѣжденіемъ, правиломъ, принципомъ. Всѣ эти слова всегда казались и кажутся ему смѣшными, и онъ истощилъ надъ ними весь запасъ своего посильнаго остроумія. Переберите всѣ изданія, которыя онъ редижировалъ или редижируетъ, въ которыхъ онъ участвовалъ или участвуетъ —«Сѣверный Архивъ», «Литературные Листки» и «Сынъ Отечества», «Репертуаръ» и «Пантеонъ» (1842) и «Сѣверную Пчелу»: какъ безцвѣтны и безхарактерны всѣ эти журналы! Но, вѣрные нашему слову, мы опять приведемъ свидѣтельство людей, совершенно чуждыхъ намъ и нашему изданію. Вотъ какъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» была оцѣнена «С. Пчела» въ отношеніи къ направленію и духу ея критики.

«...но «Сѣверная Пчела»!... Боясь уклониться отъ нашего предмета, мы прямо спросимъ себя: какой въ ней образъ мыслей? Пристально разсмотрѣвъ всѣ ея статьи критическія, мы рѣшительно отвѣчаемъ: никакого. Въ ней критика замѣняется такъ-называемой *литературной тактикой*, честь усовершенствованія которой принадлежитъ единственно гг. издателямъ «С. Пчелы». Ужасно, какъ подумаешь: въ наше время ничего не стоитъ, жалко насмѣхаясь надъ истиной, поднять до небесъ и растоптать въ прахъ *одно и то же* произведеніе! Утѣшимся тѣмъ только, что въ одной «С. Пчелѣ» совершаются подобныя явленія.—Итакъ, за недостаткомъ въ ней образа мыслей мы должны обличить сокровенныя правила ея тактики.

1) Если вы не обнаружили еще своего мнѣнія на счетъ сочиненій и журналовъ гг. издателей «Пчелы», то васъ оставляютъ въ покоѣ, дожидаясь отъ васъ рѣшительнаго поступка, вслѣдствіе котораго вы или другъ, или врагъ этому журналу: какъ аукнется, такъ и откликнется, вотъ ея эпиграфъ! Похвалите—и васъ похвалятъ. Если же вы когда-нибудь осмѣлились сказать что-либо противъ сочиненій и журналовъ гг. издателей, то не ожидайте помилованія ни себѣ, ни произведенію вашему, какого бы достоинства ни было сіе послѣднее. Лишь только вы напечатаете что-либо, какъ одинъ издатель выступаетъ на васъ съ остротами, составляющими яркую противоположность со стихами Крылова, Дмитріева и другихъ, которыми онъ обыкновенно снабжаетъ свои критики; а другой, расщипавъ по клочкамъ ваше произведеніе, ищетъ въ немъ ошибокъ грамматическихъ, опечатокъ и т. п., и съ указкой учителя грамматики ясно, какъ *дважды два — пять*, доказываетъ вамъ, что вы не знаете ни логики, ни грамматики. Примѣромъ этому служатъ всѣ прошлогоднія пренія «С. Пчелы» съ «Телеграфомъ» и «Славяниномъ». Вы не думайте найти здѣсь замѣчаній на образъ мыслей этихъ журналовъ, на существенное достоинство статей: рѣшительно ничего болѣе не найдете, кромѣ мелкихъ придирокъ къ слогу, личностей и пустыхъ восклицаній. Отъ этихъ послѣднихъ переходятъ часто къ домашнимъ объясненіямъ...

2) Если авторъ или издатель книги находится въ близкихъ литературныхъ отношеніяхъ къ издателямъ, тотчасъ раздаются похвалы неумѣренныя. Коль нечего хвалить въ особенности, то выписываютъ нѣсколько строкъ изъ предисловія или излагаютъ подробно содержаніе, или на нѣсколькихъ страничкахъ хвалятъ изданіе, шрифтъ и проч. —Здѣсь кстати должно замѣтить, что въ «С. Пчелѣ» книги оцѣниваются вѣрно только въ

типографическомъ отношеніи... Всѣ похвалы оканчиваются восклицаніями: «*покупайте, гг. покупатели! Не скупитесь, папеньки! Да это раскупятъ, какъ конфекты, да и какъ не купить того, что полезно, хорошо и дешево?* (стр 137). Невольно подумаешь, что существенная цѣль каждой критики, помѣщенной въ «С. Пчелѣ», состоитъ въ томъ, чтобъ заставить купить книгу или отклонить покупателя, нанести *существенный* вредъ автору или издателю ея. Кромѣ этой существенной цѣли всѣхъ разборовъ «С. Пчелы», есть еще другая — побочная. Во всякой критикѣ стороной, кстати или некстати, задѣваютъ объявленныхъ противниковъ «С. Пчелы». Чувство какого-то обиженнаго самолюбія и мелочного мщенія обнаруживается вездѣ...

3) Если къ автору не имѣютъ никакихъ отношеній, то о произведеніи его отзываются и такъ, и сякъ, указавъ на нѣкоторые мелкіе недостатки. Но если дерзновенный осмѣлится возразить, тогда въ пылу негодованія жертвуютъ даже собственнымъ мнѣніемъ, чтобъ поразить противника, извиняются въ своей опрометчивости передъ публикой, вновь разбираютъ книгу и находятъ въ ней кучи ошибокъ...

Наконецъ 4) нѣкоторымъ извѣстнымъ писателямъ расточаются похвалы въ «С. Пчелѣ». Но онѣ скучны для читателей и еще скучнѣе для самихъ авторовъ... Образъ критики въ «С. Пчелѣ» всего болѣе обличаетъ жалкую скудость ея сужденій. Всѣ рецензіи лучшихъ произведеній въ ней состоятъ въ выпискѣ нѣкоторыхъ отрывковъ, приправленной общими мѣстами и пустыми восклицаніями, въ маловажныхъ замѣчаніяхъ на слова, правильно или неправильно употребленныя, на ошибки грамматическія, на опечатки и т. п... Обыкновенно начинаются эти критики такимъ образомъ: «Новое прелестное стихотвореніе такого-то!» — «*Честь вамъ и слава, г. поэтъ!*» (№ 145),—«Это вещь совершенно оригинальная» (№ 147),—«*Сіи стихи жгутъ страницы!*» (№ 124). Иногда послѣ подобныхъ восклицаній случаются объясненія эстетическія, въ которыхъ всего замѣтнѣе и недостатокъ точки зрѣнія, и нетвердость мыслей, и незнаніе науки вкуса... Но всего чаще, не пускаясь въ вопросы эстетическіе, рецензенты прямо приступаютъ къ разбору выраженій, и иногда въ жару восторга ораторскаго говорятъ непонятныя вещи... Но всего забавнѣе критика выраженій. Выписавши нѣсколько стиховъ изъ «Финляндіи» (стихотворенія Баратынскаго), рецензентъ (Булгаринъ) восклицаетъ: «Картина живая! вы видите все, что читаете. Какъ искусно поэтъ умѣлъ воспользоваться обыкновенными оборотами рѣчей! Еслибъ простой поселянинъ сталъ описывать вамъ языкомъ природы этотъ видъ, онъ сказалъ бы: Тутъ море, надъ моремъ гора, а съ горы сходитъ лѣсъ къ берегу.— Поэтъ, такъ-сказать, *позолотилъ простонародный разсказъ и пропѣлъ при звукахъ лиры* (!!!). *Тяжелыя* стопы прекрасно изображаютъ огромныя деревья. Кто видалъ въ натурѣ лѣсъ, растущій на косогорѣ, колеблемый вѣтрами, тотъ живо представитъ себѣ *это шествіе тяжелыми стопами*»... «Элегія буря—прелесть»—«Чужихъ безбрежныхъ водъ свинцовая равнина—есть совершенство поэзіи. Этотъ свинецъ, оковывающій пришельца въ чужой странѣ—поэзія». Все это пересыпано похвалами неумѣренными и не тонкими, замѣчаніями о словахъ, риѳмахъ и проч...

Статья о выставкѣ въ Академіи художествъ отличается тѣмъ же восторгомъ насильственнымъ, прензобилуетъ тѣми же выраженіями темными; а общими мѣстами, похвалами однообразными ясно обличаетъ незнаніе дѣла. По мнѣнію рецензента, всѣ живописцы на одно лицо: и Довъ, и Кипренскій, и Щедринъ—всѣ равно превосходны; у всѣхъ на картинахъ видишь живыя лица, живую природу, живой воздухъ и проч. Преимущественно обращаетъ вниманіе рецензентъ на отдѣлку существенныхъ подробностей, какъ-то: шинелей, подкладокъ, налощеннаго пола, эполетовъ серебряныхъ и золотыхъ украшеній и проч....

Съ такой же основательностью судитъ «С. Пчела» и о музыкѣ...

Вмѣсто того, чтобъ говорить о поэзіи, живописи и музыкѣ, для чего нужно познаніе дѣла, не лучше ли бъ было «С. Пчелѣ» ограничиться извѣстіями о балансерахъ, скакунахъ, скороходахъ, ученыхъ собакахъ и проч.?

Изъ всего этого само собой извлекается, что главный характеръ образа мыслей въ «С. Пчелѣ» есть совершенная пустота; но этой-то необходимости критика замѣнена въ ней *Литературной тактикой*. Гг. издатели въ совершенной увѣренности, что они давностью своихъ журналовъ пріобрѣли всеобщее довѣріе публики, что въ ихъ рукахъ находится участь всей литературы русской, смѣло упражняются въ своемъ искусствѣ журнальномъ и съ какой-то непростительной запальчивостью, безъ уваженія къ приличіямъ не только людей ученыхъ, но и свѣтскихъ, не умѣя даже скрывать въ себѣ порывовъ оскорбленнаго самолюбія, подписываютъ всему приговоры рѣшительные, ни на чемъ не основанные и всегда внушаемые не любовью къ истинѣ, а посторонними отношеніями.»

Это было сказано въ 1828 году, слѣдовательно девятнадцать лѣтъ назадъ,—а между тѣмъ можно ли о «Пчелѣ» 1846 года сказать что-нибудь болѣе новое, болѣе современное?...

Теперь намъ слѣдуетъ объяснить фактами, что̀ должно разумѣть подъ литературной тактикой Булгарина. Предметъ весьма любопытный! Въ 1824 году издавался въ Москвѣ литературный сборникъ «Мнемозина». Булгаринъ, разсчитывая на дружбу издателей сборника, похвалилъ это изданіе; но видя, что его похвалы приняты были издателями сборника равнодушно, онъ разбранилъ «Мнемозину» и въ цѣломъ, и каждую статью особо:

«Желаніе дать, какъ говорится, ходъ *Мнемозинѣ* заставило меня смотрѣть сквозь пальцы на недостатки этого изданія и *выставить* передъ публикой *посредственное за изрядное*, извиняя слабое добрыми намѣреніями одного издателя и юностью другого. *Признаюсь откровенно въ винѣ* моей передъ публикой, которая должна приписать *отступленіе мое отъ истины* моему *нѣмецкорному* желанію поддержать новорождающееся изданіе.»

Примѣровъ подобнаго отступленія отъ истины со стороны правдолюбиваго Булгарина—несть числа! Но мы ограничимся нѣсколькими, самыми разительными. О томъ, какъ онъ сперва бранилъ «Телеграфъ», потомъ превозносилъ его, потомъ опять бранилъ—можно бы составить не одну курьезную статью. Какъ будто забывши, что̀ говорилъ онъ о Полевомъ впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, какъ величалъ его верхоглядомъ, невѣждой, отрицалъ въ немъ талантъ и знаніе;—какъ будто забывъ, что,

почему-то усомнившись въ дружбѣ «Телеграфа», онъ въ «Сынѣ Отечества» 1830 г. сказалъ объ «Исторіи Русскаго Народа»: «Нынѣ нѣкто Николай Полевой, въ сочинительскомъ пылу о дарованіяхъ и знаніяхъ своихъ возмечтавъ, первый томъ «Исторіи Русскаго Народа» напечаталъ и тамъ равномѣрно свои суесловія о происхожденіи руссовъ помѣстилъ»; — какъ будто позабывъ все это, Булгаринъ, въ торжествѣ примиренія съ «жесточайшимъ врагомъ» своимъ (одна изъ наиболѣе употребляемыхъ имъ фразъ), обнаружилъ всю тактику свою въ слѣдующемъ отзывѣ о той же самой «Исторіи Русскаго Народа»:

«Чуждый зависти и всѣхъ литературныхъ мелочей *(sic!)*, я всегда отдавалъ справедливость жесточайшимъ моимъ противникамъ *(такъ точно!)*; но теперь съ удовольствіемъ говорю истину о трудѣ писателя самостоятельнаго, благонамѣреннаго и пламеннаго любителя просвѣщенія. Занимаясь съ любовью всю жизнь исторіей, и преимущественно русской, осмѣливаюсь сказать явно *(чего робкіе!)*, что я въ состояніи судить объ исторіи (*доказательство: монеты Игоря и царей Федора и Іоанна вкупѣ*). Не почитаю *Исторію Русскаго Народа* совершенной, но признаю ее сочиненіемъ чрезвычайно важнымъ, любопытнымъ и полезнымъ для Россіи, ибо въ ней въ первый разъ появляются (?) политика, философія и критика. Повторяю однажды уже сказанное, что «*Исторія* русскаго народа, соч. Полевого, есть такая книга, которую не только можно, но и должно, и непремѣнно должно прочесть послѣ «Исторіи» Карамзина, и что каждый любитель отечественнаго обязанъ даже имѣть ее. Льщу себя надеждой, что я заслужилъ довѣренность публики (*о, совершенно!*), и что въ этомъ случаѣ она повѣритъ словамъ моимъ болѣе, нежели тѣмъ отвратительнымъ нападкамъ, которые превращаютъ литературное поприще въ какое-то торжище и унижаютъ званіе литератора. Почтенный, добрый, благородный Карамзинъ сказалъ, что первая потребность писателя есть *доброе сердце*. Читая въ журналахъ (*чуждыхъ Булгарину*) грубую брань, клеветы, сплетни, гнусныя выходки зависти, рядомъ съ преувеличенными похвалами безсмертному исторіографу, поневолѣ выводимъ заключеніе, которое... не идетъ въ печать». («С. Пчела», 1830, № 110.)

Можно ли усомниться въ искренности этихъ словъ, вспомнивъ другой подвигъ правдолюбія Булгарина, совершенный имъ въ томъ же 1830 году по поводу VII главы «Онѣгина». Отрывокъ изъ этой главы былъ напечатанъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ»; но по причинѣ нѣсколькихъ опечатокъ Пушкинъ позволилъ «С. Пчелѣ» перепечатать этотъ отрывокъ,—и «С. Пчела» чуть не съ колѣнопреклоненіемъ приняла его на свои листки. Не помнимъ, котораго года и въ которомъ нумерѣ «Пчелы» было все это; но хорошо помнимъ, что по выходѣ въ свѣтъ VII-ой главы «Онѣгина», въ 1830 году, Булгаринъ разбранилъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, въ 35 № «Пчелы». Вотъ его собственныя слова:

«Холодный пріемъ, оказанный поэмѣ «Полтава», служитъ яснымъ доказательствомъ, что очарованіе именъ исчезло, и въ самомъ дѣлѣ,—можно ли требовать вниманія публики къ такимъ произведеніямъ, какова напр. глава VII «Евгенія Онѣгина»!... Но глава VII *испещрена* (?) такими *стихами* и балагурствомъ, что въ сравненіи съ ними даже «Евгеній Вельскій» кажется чѣмъ-то похожимъ на дѣло. *Ни одной мысли* въ этой *водяной* главѣ, *ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрѣнія! совершенное паденіе,* chute complète!... Въ пустынѣ нашей поэзіи появился опять «*Опытникъ*», *бѣдный, слабый*... сердцу больно, когда взглянешь на эту безцвѣтную картину.— Всѣ вводныя и вставныя части, всѣ постороннія описанія такъ ничтожны, что намъ вѣрить не хочется, чтобы можно было печатать такія мелочи.»

При этомъ удобномъ случаѣ глубокомысленный критикъ (Булгаринъ считалъ себя критикомъ!) не шутя обвинилъ Пушкина, что тотъ возвратился съ Кавказа съ VII главой «Онѣгина», а не съ торжественными одами на побѣды русскихъ войскъ въ азіатской Турціи. Эта выходка показалась очень смѣшной важному «Московскому Вѣстнику», который и выразился на этотъ счетъ такъ:

«Это показываетъ, какъ нашъ аристархъ понимаетъ вдохновеніе, и вмѣстѣ можетъ служить мѣриломъ его способности оцѣнивать то, что проистекаетъ отъ вдохновенія. Въ глазахъ его поэтъ, вѣрно, ботаникъ или минералогъ, который съ Кавказа непремѣнно долженъ возвратиться съ произведеніями Кавказа, а изъ Америки съ тѣмъ, что̀ растетъ или добывается въ Америкѣ. Г. критикъ (?) забываетъ, что Грибоѣдовъ съ этого же Кавказа привезъ намъ комедію, въ которой отразился бытъ свѣтскій, міръ московскихъ правовъ и причудъ; что Байронъ создалъ Гяура въ Англіи, а Сервантесъ «Донъ-Кихота» въ темницѣ; что Тассъ никогда не бывалъ въ Ерусалимѣ, Муръ никогда не посѣщалъ Индіи.»

Исторія съ драмой Полевого «Уголино» была однимъ изъ блистательныхъ подвиговъ Булгарина по части литературной тактики и любви къ правдѣ. Будучи въ 1838 году редакторомъ «Сына Отечества» и находясь съ Булгаринымъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ, Полевой очень снисходительно отозвался о «Россіи», извѣстной компиляціи Булгарина, и только замѣтилъ что-то о недостаткахъ приложенныхъ къ этой компиляціи картъ. А передъ этимъ Булгаринъ, разбирая «Уголино», поставилъ автора этой драмы если не выше Шекспира и Шиллера, то рядышкомъ съ ними. И вдругъ—о ужасъ! черезъ нѣсколько недѣль, если не дней, Булгаринъ самъ протестовалъ противъ своей собственной статьи, объявивъ, что въ ней похвалы драмѣ Полевого были слѣдствіемъ camaraderie!.. Вотъ до чего доводитъ людей излишняя любовь къ правдѣ!... Съ сокрушеннымъ сердцемъ воскликнулъ при этомъ случаѣ Булгаринъ: «mea culpa, mea maximaculpa»,—что̀, если не ошибаемся, по-русски значитъ: «согрѣшилъ, окаянный!», а по-польски! «пàдамъ дò ногъ!»... Потомъ, когда Полевой былъ редакторъ «Русскаго

Вѣстника», въ 1842 году, и помѣстилъ въ этомъ журналѣ статейку: «Хозяйственныя Замѣтки», что-то, помнится, о кочерыжкахъ,—Булгаринъ, увидя въ этомъ злонамѣренный подрывъ «Эконому», такъ пріударилъ въ полемическій набатъ, такого надѣлалъ шуму, что публика отъ души хохотала съ мѣсяцъ времени,—только на этотъ разъ вовсе не надъ Полевымъ... Кстати ужъ вспомнимъ, что «Юрій Милославскій» Загоскина во время торжества его былъ объявленъ въ «Пчелѣ» самымъ плохимъ романомъ, а теперь, когда онъ—не болѣе, какъ литературное воспоминаніе, никому не опасное, та же «Пчела» говоритъ о романахъ Загоскина чуть не съ благоговѣніемъ...

А война съ «Иллюстраціей», которая тянется вотъ уже другой годъ?.. Эта война чуть было не прервалась по случаю статьи Полевого о «Воспоминаніяхъ»: Булгаринъ началъ было уже захваливать драмы Кукольника, недавно еще имъ унижаемыя и уничтожаемыя, чтобы этой диверсіей унизить и уничтожить драмы Полевого, недавно еще превозносимыя и прославляемыя имъ; но смерть Полевого сдѣлала ненужной эту стратегику—и война съ «Иллюстраціей» пошла прежней колеей... А изъ чего? Жаль видѣть въ непріязненныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ, столь достойныхъ, литераторовъ!.. Но, видно, Булгарину не суждено уживаться такъ же и съ своими, какъ и съ чужими... А все излишняя любовь къ правдѣ!..

Такихъ образчиковъ правдолюбія Булгарина, т. е. примѣровъ его всегдашней готовности разбранить сегодня сочиненіе или автора, которыхъ онъ хвалилъ и превозносилъ вчера, или расхвалить и превознести сочиненіе или автора, которыхъ онъ вчера бранилъ,—такихъ примѣровъ мы могли бы привести до нѣсколькихъ десятковъ, съ указаніемъ на нумеръ и страницу журнала или газеты, съ точной выпиской подлинныхъ словъ Булгарина; но скучно рыться въ хламѣ забытыхъ изданій, и еще скучнѣе говорить объ одномъ и томъ же, особенно о такихъ правдолюбивыхъ подвигахъ. Впрочемъ, если Булгарину эта статья покажется неудовлетворительной, мы готовы пополнить ее фактами и доказательствами: мы тоже любимъ правду—хотя и не такъ, какъ онъ, а по своему,—и для нея готовы снова обрѣчь себя на трудъ и скуку... А что это не слова только, а дѣло, и что мы хорошо знаемъ дѣла давно минувшихъ дней въ области русской литературы и журналистики, въ доказательство этого приводимъ небольшую выписку изъ одной страницы «Московскаго Телеграфа» 1825 г.

Въ *«Литер. Листкахъ»* 1824 г. напечатано: «Въ «Revue Encyclopédique», одномъ изъ отличнѣйшихъ европейскихъ журналовъ, издаваемомъ въ Парижѣ обществомъ ученыхъ мужей всѣхъ странъ и всѣхъ народовъ, въ майской книжкѣ (1823 г.) на страницѣ 384 помѣщенъ полный разборъ *Русскаго Инвалида* и *Новостей литературы*, изд. Воейковымъ. Совѣтуемъ почтенному издателю этихъ журналовъ прочесть *основательныя и справедливыя замѣчанія на счетъ его трудовъ* и, если возможно, послѣдовать совѣтамъ благонамѣренной критики».—Въ томъ же году *Литературныхъ Листковъ* напечатано: «Въ Revue Encyclopédique *одна только часть разборовъ хороша, а сообщаемыя издателями извѣстія объ иностранныхъ книгахъ и литераторахъ таковы, что у насъ не могли бы появиться даже въ* «Мнемозинѣ»: *названія странъ, заглавія, содержаніе книгъ—все тамъ перемѣшано».*—Воейковъ замѣтилъ, что тутъ явное противорѣчіе: два разныя мнѣнія объ одной книгѣ. Булгаринъ отвѣчаетъ: «Не могу понять, какимъ образомъ Воейковъ отыскалъ тутъ противорѣчіе. Въ *Литер. Листкахъ* сказано, что въ «Rev. Enc.» помѣщенъ *полный разборъ Русскаго Инвалида и Новостей Литературы*, и повторяю, что въ «Revue Encyclopédique» одна только часть разборовъ хороша, *слѣдовательно* превосходство *полнаго разбора Рус. Инвалида* не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію».—Въ заключеніе Булгаринъ обѣщаетъ помѣстить этотъ разборъ въ *Сынѣ Отечества,* но онъ не исполнилъ этого; угодно ли знать *почему?*—Въ «Revue Encyclopédique» *никогда не бывало полнаго разбора Рус. Инвалида!* Тамъ помѣщено съ небольшимъ на двухъ страничкахъ библіографическое извѣстіе объ *Инвалидѣ* (слѣдовательно въ томъ разрядѣ извѣстій, который былъ осужденъ Булгаринымъ). Сколько неправдъ и противорѣчій насказалъ Булгаринъ! 1) Когда надобно было осудить *Инвалидъ* — онъ похвалилъ «Revue». 2) Когда надобно было унизить *Мнемозину* — онъ уничтожилъ достоинство «Revue». 3) Когда ему замѣтили тутъ противорѣчіе, онъ отдѣлался неправдой, сказавши, что въ «Revue» помѣщенъ полный разборъ *Инвалида.* 4) Такъ какъ въ «Revue» нѣтъ полнаго разбора, а онъ обѣщалъ помѣстить его въ «Сын. Отеч.»—онъ не помѣстилъ разбора.—Кромѣ того всякій замѣтитъ, что онъ почитаетъ своихъ читателей или слѣпыми, или совершенными невѣждами, которые ничего не читаютъ кромѣ его журнала и вѣрятъ всему, что онъ скажетъ Булгаринъ.»

Доселѣ мы говорили о военныхъ отношеніяхъ Булгарина почти ко всей русской литературѣ, почти ко всѣмъ журналамъ и писателямъ русскимъ, существовавшимъ или существующимъ впродолженіе послѣднихъ двадцати-пяти лѣтъ. Теперь, любя справедливость, считаемъ священнѣйшей обязанностью нашей показать, до какой степени способенъ Булгаринъ къ постоянству и неизмѣнности въ дружескихъ отношеніяхъ. Кому не извѣстенъ трогательный союзъ, оборонительный и наступательный, въ которомъ уже двадцать-пять лѣтъ находятся къ чести и славѣ россійской словесности эти два достойные литератора — Булгаринъ и Гречъ? И этотъ союзъ ни разу не былъ нарушенъ даже со стороны Булгарина, этого по преимуществу неугомоннаго рушителя всевозможныхъ союзовъ!.. И за то печать благодатности возлегла на этомъ достойномъ союзѣ и не сходитъ съ него...

Нечего и говорить, какъ выгоденъ былъ этотъ союзъ для обоихъ союзниковъ: онъ далъ имъ возможность взаимнаго самопрославленія. Правда, извѣстно изъ многочисленныхъ опытовъ, что союзники, особенно Булгаринъ, никогда не затрудняются замолвить доброе словцо въ свою пользу: такъ напр., Булгаринъ сказалъ, что нападать на «Выжигина», такъ весело разгуливающаго въ свѣтѣ, — все равно, что прославляться храбростью геростратовой, чухонскимъ остроуміемъ и безпристрастіемъ шемякинскаго суда... Но все же неловко хвалить самого себя, особенно имѣя такъ много «ожесточенныхъ враговъ», какъ много имѣлъ и имѣетъ ихъ Булгаринъ. И вотъ почему Булгаринъ хвалитъ больше Греча, а Гречъ хвалитъ больше Булгарина. Пушкинъ подъ псевдонимомъ Косичкина такъ описываетъ это отрадное явленіе въ нашей литературѣ:

«Посреди полемики, раздирающей нашу бѣдную словесность, Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ болѣе десяти лѣтъ подаютъ утѣшительный примѣръ согласія, основаннаго на взаимномъ уваженіи, сходствѣ душъ и занятій гражданскихъ и литературныхъ. Этотъ назидательный союзъ ознаменованъ почтенными памятниками. Ѳаддей Венедиктовичъ скромно призналъ себя ученикомъ Николая Ивановича; Н. И. поспѣшно провозгласилъ Ѳаддея Венедиктовича *ловкимъ своимъ товарищемъ;* Ѳ. В. посвятилъ Николаю Ивановичу своего *Димитрія Самозванца;* Н. И. посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свою Поѣздку въ Германію; Ѳ. В. написалъ для *Грамматики* Николая Ивановича хвалебное предисловіе; Н. И. въ *С. Пчелѣ* (издаваемой Гречемъ и Булгаринымъ) напечаталъ хвалебное объявленіе объ *Иванѣ Выжигинѣ*. Единодушіе истинно трогательное!»

Въ «Сынѣ Отечества» (издававшемся Гречемъ и Булгаринымъ) было объявлено, что «Булгаринъ остроумный, основательный критикъ, литераторъ образованный, просвѣщенный, умный, съ отличнымъ успѣхомъ владѣетъ языкомъ»; что «имя Булгарина займетъ отличное мѣсто въ исторіи русской словесности»; что «у него», Булгарина, «есть добрый капиталъ ума, свѣдѣній и дѣятельности»; что «онъ», Булгаринъ, «въ короткое время занятія своего литературой опередилъ многихъ нашихъ ветерановъ, пріобрѣлъ на этомъ поприщѣ несомнѣнную, лестную извѣстность, и самъ своими трудами приноситъ честь нашей словесности», и что, «не говоря уже о польской, онъ, Булгаринъ, могъ бы заняться французской или нѣмецкой литературой съ равнымъ успѣхомъ». Въ томъ же «Сынѣ Отечества» 1824 г. № 38 было объявлено, что Булгаринъ описываетъ моды «правильно, легко, свободно, пріятно, кратко и мило»... Но все это ничто въ сравненіи съ похвалой, которой превознесло Булгарина дружеское перо Греча въ «Сынѣ Отечества» 1831 года: тутъ Гречъ объявилъ, что «у Булгарина въ одномъ мизинцѣ болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ»... Остроумный Ѳеофилактъ Косичкинъ (псевдонимъ, подъ которымъ скрывался, какъ извѣстно, Пушкинъ) принялъ этотъ намекъ на себя и, оскорбленный имъ, удостоилъ оригинальную выходку Греча о чудномъ мизинцѣ его товарища такимъ замѣчаніемъ:

«Гречъ въ журналѣ, съ жадностью читаемомъ во всей просвѣщенной Европѣ, даетъ понимать, будто бы въ мизинцѣ его товарища болѣе ума и таланта, чѣмъ въ головѣ моей! Отзывъ слишкомъ для меня оскорбительный! Полагаю себя вправѣ объявить во *всеуслышаніе всей Европы*, что я ни чьихъ мизинцевъ не убоюсь, ибо, не входя въ разсмотрѣніе головъ, увѣряю, что пальцы мои (каждый особо и всѣ пять въ совокупности) готовы воздать сторицею, кому бы то ни было, Dixi!»

Но пока довольно о журнальномъ поприщѣ Булгарина. Намъ еще придется (для круглоты рѣчи) возвратиться къ нему; теперь обратимся къ другимъ родамъ его литературныхъ занятій. Мы уже упоминали объ «Избранныхъ одахъ Горація», которыя съ чужими примѣчаніями, безъ всякаго намека на «заимствованіе», издалъ Булгаринъ. Перепечатать латинскій текстъ одъ Горація и перевести ученыя примѣчанія къ нимъ съ польскаго на русскій языкъ,—для этого не требуется не только особеннаго, даже никакого знанія латинскаго языка. Булгаринъ понялъ это — и доказалъ свое знаніе тѣмъ, что родительный падежъ имени богини Strenae превратилъ въ Strenaa, а именительный Strenua — въ Strenno, да еще спорилъ, что онъ правъ; и тѣмъ еще, что въ книгѣ своей «Россія» онъ латинское слово castriensis—лагерный—принялъ за кастрата, и на этомъ основалъ, что римскій comes castriensis былъ не иной кто, какъ «начальникъ надъ евнухами»... Потомъ издалъ онъ (1823 г.) «Воспоминанія объ Испаніи». Несмотря на то, что подъ крыльями побѣдоносныхъ орловъ Наполеона Булгаринъ самъ могъ многое видѣть и замѣтить въ Испаніи,— его «Воспоминанія объ Испаніи» напоминаютъ не одну Испанію, но еще и «Исторію войны португальской и испанской», соч. Бошана... Потомъ въ своемъ театральномъ альманахѣ «Талія» Булгаринъ напечаталъ статью «О Драматическомъ Искусствѣ», подписанную буквами А. Ѳ. И что же?—«Ожесточенные враги» Булгарина доказали, что все хорошее въ этой статьѣ выбрано изъ курса Шлегеля «О Драматургіи»!... Мало этого: они объявили, что авторъ этой «заимствованной» статьи есть не кто иной, какъ Булгаринъ! Но несмотря на то, что самъ Булгаринъ проговорился, а

Гречъ прямо объявилъ, что статья «О Драматическомъ Искусствѣ» писана издателемъ «Таліи»,—несмотря на все это, Булгаринъ написалъ къ себѣ письмо отъ имени мнимаго А. Ѳ., въ которомъ письмѣ онъ пишетъ, будто въ статьѣ его были даже означены страницы шлегелева курса, изъ которыхъ что̀ заимствовано, но «издатель русской «Таліи», г. Булгаринъ, нашелъ неприличнымъ обременять альманахъ учеными цитатами (т. е. указаніемъ на страницы книги, изъ которой взята статья, или хоть указаніемъ на имя автора!...) и исключилъ оныя». Внизу прибавлено: «Правда. Б.» (отъ чего впослѣдствіи и произошло техническое выраженіе правда-буки, для означенія извѣстнаго рода правды...). По случаю всей этой исторіи въ «Телеграфѣ» было замѣчено: «Гречъ недавно сказалъ: «ловкаго моего товарища трудно поймать». Нашли чѣмъ похвалиться, М. Г.! Все до времени!»

«Россія въ историческомъ, географическомъ, статистическомъ» и еще не помнимъ, право, въ какихъ отношеніяхъ была попыткой Булгарина сдѣлаться историкомъ. Несчастная попытка! Книга эта до того отзывалась компиляціей, наскоро и въ нѣсколько рукъ состряпанной, что не возбудила толковъ даже и во «враждебныхъ» Булгарину журналахъ, осталась недоконченной и перешла на лари толкучаго рынка и въ мѣшки букинистовъ. И такъ, ее мимо.

Обратимся къ нравоописательнымъ и нравственно-сатирическимъ статейкамъ, повѣстямъ, разсказамъ и романамъ, равно какъ и къ историческимъ романамъ Булгарина, которыми онъ особенно превозносился нѣкоторое время, и о которыхъ онъ теперь уже и самъ такъ рѣдко вспоминаетъ. Вѣрные нашему обѣщанію—говорить больше отъ лица другихъ, нежели отъ себя собственно, приводимъ здѣсь нѣсколько сужденій объ этихъ произведеніяхъ Булгарина,—сужденій людей, совершенно чуждыхъ намъ и другъ другу.

Вотъ что̀ сказано было въ той статьѣ «Московскаго Вѣстника», изъ которой мы уже сдѣлали выше довольно большое извлеченіе, о нравственно-сатирическихъ статьяхъ Булгарина:

«Всѣ его статьи подъ рубрикой «Нравы» носятъ на себѣ общіе признаки всѣхъ его сочиненій, о которыхъ мы уже говорили. Все это пріятно и полезно для того круга читателей, который ограничивается немногими нравственными правилами и не требуетъ отъ писателя ни новыхъ, ни глубокихъ мыслей, какъ новой пищи уму дѣятельному. Для людей сколько-нибудь просвѣщенныхъ, для людей мыслящихъ и знакомыхъ съ литературами чужеземными такого рода статьи вялы и скучны. Архипъ Ѳадѣичъ, главный и любимый герой его, есть человѣкъ пустой съ одними общими мѣстами; онъ любитъ расточать давно извѣстные всѣмъ совѣты и, какъ поваръ въ баснѣ Крылова, богатъ поученіями. Въ своихъ нападкахъ на молодежь онъ платитъ дань своему возрасту; но, къ чести нашего времени, молодые люди, питая всевозможное уваженіе къ урокамъ опыта, къ совѣтамъ мудрой старости, мимо ушей пропускаютъ невоздержанные нападки стариковъ скучныхъ, запальчивыхъ и кропотливыхъ. Заносины, Цапцарапкины, Кривокознины, лица, вводимыя Булгаринымъ, не принадлежатъ болѣе нашему времени. Это скудные остатки отъ того племени судей, которое поражено было перомъ Фонвизина и Капниста... Въ доказательство того, что наше мнѣніе внушено истиной, а не пристрастіемъ, мы безъ всякихъ *нападокъ* опять повторяемъ наше мнѣніе и утверждаемъ, что сочиненія его, не представляя намъ ни души высокой, ни теплоты чувства, ни глубокомыслія, ни ироніи, ни ѣдкаго остроумія, ни оригинальности взгляда, имѣютъ одни только отрицательныя достоинства, какъ-то: гладкость и правильность слога, иногда живость разсказа и другія качества, не всѣмъ въ равной мѣрѣ принадлежащія»...

Въ томъ же «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 г. еще прежде было высказано слѣдующее по поводу мелкихъ статей:

«Эта теплота чувства или мысли, которая роднитъ душу читателя съ писателемъ, совершенно отсутствуетъ въ сочиненіяхъ Булгарина. Главный ихъ характеръ — безжизненность: изъ нихъ вы не можете даже опредѣлить образа мыслей въ авторѣ. Слогъ правиленъ, чистъ, гладокъ, иногда живъ, изрѣдка блещетъ остроуміемъ, — но холоденъ... Булгаринъ, кажется, завладѣлъ монополіей въ описаніи *Нравовъ;* но писатель безъ *своего* воззрѣнія на міръ, безъ глубокомыслія, съ одними только обветшалыми правилами, безъ проницательности, безъ ироніи, никогда не успѣетъ въ этомъ родѣ. У Булгарина вы не найдете свѣтлой, разнообразной, пестрой картины современныхъ обычаевъ и характеровъ; онъ смотритъ на нихъ не своими глазами, а сквозь стекло чужеземныхъ писателей; не русскіе нравы описываетъ, а передѣлываетъ чужіе на русскіе, подражая въ этомъ случаѣ нашимъ комикамъ. Часто встрѣчается у него давно забытый родъ аллегорій нравственныхъ безъ всякаго поэтическаго вымысла, безъ теплоты чувства, которыми отличаются аллегоріи Глинки; нерѣдко найдете смѣшные анахронизмы, какъ напр. въ *Предразсудкахъ*, которымъ нынѣ никто не вѣритъ; онъ часто, по примѣру старыхъ нашихъ комиковъ, заставляетъ свои лица невпопадно высказывать другимъ свои недостатки, какъ будто они до того уже не тонки и не хитры, что не умѣютъ скрывать въ себѣ и дурного. Нехитрость лицъ, создаваемыхъ авторомъ, показываетъ недостатокъ искусства въ немъ самомъ. Мы говоримъ безпристрастно о сочиненіяхъ Булгарина и, въ случаѣ возраженій, готовы доказать примѣрами справедливость нашихъ замѣчаній... Гречъ, товарищъ Булгарина, доказываетъ достоинства его сочиненій числомъ подписчиковъ. Аргументъ важный;—но просимъ Греча заглянуть въ послѣднія страницы *Александроиды*, и онъ убѣдится въ непрочности своего аргумента, равно какъ и въ томъ, что число подписчиковъ не всегда зависитъ отъ достоинства произведеній».

Отзывъ «Литературн. Газеты», изд. барономъ Дельвигомъ, не менѣе замѣчателенъ по умѣренному и безпристрастному тону:

«Вступленіе Булгарина на поприще литератора,

и литератора русскаго, было явленіемъ замѣчательнымъ. Человѣкъ, неизвѣстный дотолѣ никакими литературными трудами на нашемъ языкѣ, долго не жившій въ Россіи, отвыкнувшій, по собственному его признанію, отъ русскаго языка и можетъ быть хотѣвшій отвыкнуть отъ него,— вдругъ вступилъ на сцену въ нашей словесности, въ тѣхъ лѣтахъ, когда уже почти не учатся болѣе новымъ языкамъ, и выступилъ не съ стишками или короткими статейками, а съ двумя журналами, которые, по разнообразію своего содержанія, требовали по крайней мѣрѣ достаточнаго знанія языка и большой гибкости слога. Что ни говори, а подвигъ смѣлый, хотя выполненіе его, особливо въ первыхъ произведеніяхъ Булгарина, отзывалось болѣе отвагой юноши, пускающагося на удачу, нежели предпріятіемъ человѣка зрѣлыхъ лѣтъ, взвѣшивающаго свои силы и испытующаго свои способности прежде, нежели примется за дѣло. Впослѣдствіи онъ началъ писать свободнѣе, но и тогда, но и теперь еще въ сочиненіяхъ его замѣтенъ прежній недостатокъ: въ нихъ нѣтъ слога, и этому причиной слабое знаніе русскаго языка. Неумѣнье выразиться прямо и точно заставляетъ сочинителя пускаться въ перифразы; а это дѣлаетъ фразы его растянутыми, вялыми и потому скучными. Болѣе всего недостатокъ этотъ замѣтенъ въ драматическихъ мѣстахъ сочиненій Булгарина: въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ и въ живомъ разсказѣ дѣйствія, требующемъ быстроты и движенія... Въ сочиненіяхъ Булгарина все сглажено, обдѣлано, но безцвѣтно и безжизненно. Должно однакожъ отдать справедливость авторскому чистосердечію Булгарина: онъ самъ признавался и не однажды, что Гречъ былъ его руководителемъ въ русскомъ языкѣ и даже исправлялъ въ его сочиненіяхъ ошибки противъ него... Скажемъ и то: обязательная пріязнь не всегда можетъ стоять на стражѣ. Какъ бы она ни пеклась о чужихъ умственныхъ дѣтищахъ, но на нее также находятъ минуты дремоты, и въ это время ошибки противъ языка, ошибки противъ смысла, ошибки противъ логики и другіе грѣхи литературные насильственно вползаютъ въ сочиненія литератора недоучившагося, подобно, какъ грѣхи нравственные прокрадываются въ душу человѣка нетвердыхъ правилъ. Такъ было нерѣдко и съ сочиненіями Булгарина: неправильное употребленіе словъ, странно обточенныя, ученическія фразы, мѣстами незнаніе управленія и даже спряженія глаголовъ, встрѣчаемыя въ статьяхъ, явно доказываютъ, что Гречъ не всегда могъ съ одинаковой внимательностью наблюдать за чистотой языка въ статьяхъ своего друга...

Въ *пяти* томахъ новаго изданія сочиненій Булгарина находятся и *статьи историческія*, и *военные разсказы*, и *литературныя повѣствовательныя статьи*, и *исторія*, и наконецъ *повѣсти*. Заглавія всѣхъ этихъ отдѣленій вѣроятно придуманы для того, чтобы болѣе заманить любопытство читателя разнообразіемъ содержанія; но неужели Булгаринъ печатаетъ и перепечатываетъ свои сочиненія только для тѣхъ, которые читаютъ безъ повѣрки?... Изъ повѣстей Булгарина лучшая, по нашему мнѣнію, *Эстерка;* и еслибы не разговоры и рѣчи, о которыхъ уже мы говорили въ 1-й нашей статьѣ, то она еще была бы лучше. Но какъ вообразить напр. молодого гайдамака, который, сидя у подножія Карпатскихъ горъ, пародируетъ монологъ *Царя Лира:* «Бушуйте, вѣтры! греми, громъ! припоминайте намъ, что мы не имѣемъ ни крова, ни пристанища!» Такой же недостатокъ соображенія (часто и недостатокъ воображенія) встрѣчается и въ другихъ повѣстяхъ Булгарина. Тѣ изъ нихъ, которымъ даны заглавія нравственныя (какъ-то: *Милость и правосудіе*, *Правосудіе и заслуга*, *Фонтанъ милости* и т. п.) и которыя названы *Восточными повѣстями*, *Восточными сказаніями*, *Восточными сказками*, *Восточными апологами*, смотря по прихоти сочинителя, сбиваются все на одинъ ладъ и похожи на нехитрыя варіаціи одной и той же темы. Въ нихъ нѣтъ ни примѣтъ востока, ни занимательности; любая сказка Мармонтеля, Флоріана и даже писателей гораздо низшаго разряда, болѣе удовлетворяетъ читателя, особливо въ отношеніи слога. Помѣщенныя въ отдѣленіяхъ *Исторіи*, *Статей историческихъ* и *Военныхъ разсказовъ* статьи, въ которыхъ самъ сочинитель играетъ роль, похожи на *быль съ примѣсью*, какъ сказано съ большой точностью въ заглавіи: *Ѳедора*. Укажемъ на нѣкоторыя изъ тѣхъ, которыхъ названія выписаны нами выше; къ нимъ можно отнести: *Ужасную ночь* и *Приключенія уланскаго корнета подъ Фридландомъ*.

Но главную часть сочиненій Булгарина составляютъ такъ-называемыя статьи *О нравахъ;* вѣроятно онѣ наполнятъ всѣ 7 томовъ, недостающіе къ обѣщаннымъ двѣнадцати...

Хорошо быть гонителемъ пороковъ и проповѣдникомъ благонравія; полезно даже искоренять дурныя привычки и, для пользы образованности и вкуса, осмѣивать глупости и странности. Худо только то, когда сатирикъ лозой своей стегаетъ по воздуху; когда онъ осуждаетъ пороки, небывалые въ народѣ, или осмѣиваетъ странности, имъ самимъ выдуманныя. Что, еслибы какой иностранецъ заговорилъ китайцамъ, что они не соблюдаютъ постовъ, установленныхъ нашей церковью, или сталъ бы подшучивать надъ тѣмъ, что они слишкомъ много танцуютъ и любятъ гоняться за европейскими модами? Такія или подобныя нравственно-сатирическія обвиненія бывали однакожъ у насъ, именно въ статьяхъ Булгарина. Большая часть изъ нихъ писана была, какъ по всему видно, на скорую руку, для пополненія пустого мѣста въ журналѣ; и первая встрѣтившаяся мысль, первая попавшаяся подъ руку книга: Жуи, Поль-де-Кокъ, словомъ, кто бы ни былъ, снабжала его предметомъ для статьи *о нравахъ русскихъ*. Онъ не хотѣлъ или не имѣлъ времени зрѣло обдумывать: водится ли на Руси описываемый имъ порокъ или странность, и если водится, точно ли въ томъ видѣ, въ какомъ изображаетъ ихъ авторъ чужеземный? Онъ писалъ, какъ человѣкъ, не коротко знающій Россію и русскихъ; и плодомъ ложнаго о нихъ понятія былъ нравственно-сатирическій романъ: *Иванъ Выжигинъ*, въ которомъ болѣе, нежели въ другихъ сочиненіяхъ, авторъ относитъ къ общимъ нравамъ народа тѣ пороки и странности, которыхъ едва ли встрѣчается нѣсколько печальныхъ примѣровъ.

Страннѣе всего авторская самоувѣренность его въ непогрѣшительности своихъ наблюденій и приговоровъ. Не хвалить его сочиненій, значитъ сдѣлаться заклятымъ его врагомъ и накликать на себя колкости, въ которыхъ личность и неумѣренность выраженій часто выходитъ изъ всѣхъ возможныхъ границъ. Истинное дарованіе скромно, а посредственность всегда заносчива. Чиновникъ, который проспѣлъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ мѣстѣ, едва имѣя способность для должности писца, и почти безъ пользы для службы, но съ пользой для себя, потому что, не хотя его лишить хлѣба и обходить другихъ ради его ничтожности, давали ему и чины, и награды,—первый готовъ жаловаться на несправедливость, видя, что награжденъ больше его человѣкъ съ талантомъ, но младшій его и лѣтами, и службой. Офицеръ, который для счета стоялъ въ ряду воиновъ, который не только не выдумаетъ пороху, но и не зажжетъ готоваго, и котораго *пуля-дура*, по выраженію Суворова, задѣла можетъ быть нехотя, громче

всѣхъ возвыситъ свой голосъ, и будетъ толковать о заслугахъ своихъ отечеству, о пролитой кровп, сравнивая себя съ тѣмъ или другимъ изъ своихъ сверстниковъ, болѣе награжденныхъ за подвиги, достойные награды. То же видимъ и въ литературѣ: вездѣ посредственность шумитъ больше прямого достоинства. На это можно бы, кажется, со всей откровенностью сказать этимъ авторамъ того-сего, этимъ любителямъ незаслуженныхъ похвалъ: «Мм. Гг.! вы хвалите сами себя, вы тщеславитесь тѣмъ, что сочиненій вашихъ вышло столько-то изданій, что они читаются тамъ-то и тамъ-то: слѣдовательно, цѣль ваша достигнута, и болѣе существенные или вещественные плоды вашихъ трудовъ должны для васъ замѣнить дымъ славы, который можетъ быть пучитъ и не насыщаетъ.»

«Иванъ Выжигинъ» есть краеугольный камень литературной извѣстности Булгарина. Успѣхъ этого романа, можно сказать безъ преувеличенія, былъ блестящій. Тотчасъ же расхватанный, прочитанный и зачитанный, онъ былъ превознесенъ пріятелями автора *), похваленъ его союзниками, которые готовы были на всѣ моральныя уступки и пожертвованія, лишь бы обезоружить безпокойное «правдолюбіе» Булгарина, и былъ разбраненъ во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, не захотѣвшихъ приступить къ насильственному союзу. Представляемъ здѣсь нѣсколько мнѣній о «Выжигинѣ», современныхъ появленію этого романа.

«Менѣе таланта, но болѣе литературной опытности (нежели въ «Черномъ годѣ» или «Горскихъ князьяхъ», романѣ Нарѣжнаго), языкъ болѣе гладкій, хотя и безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ *Выжигинѣ*, нравственно-сатирическомъ романѣ Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность, нравственныя сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, приторность шутокъ,—вотъ качества этого сочиненія,—качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки и катихизиса приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ *Выжигина* съ удовольствіемъ и слѣдовательно съ пользой, это доказывается тѣмъ, что *Выжигинъ* расходится. Но гдѣ же эти люди?—спросятъ меня. Мы не видимъ ихъ, точно такъ же, какъ и тѣхъ, которые наслаждаются *Сонникомъ* и книгой *О клопахъ;* но они есть, ибо и *Сонникъ*, и *Выжигинъ*, и *О клопахъ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ» (*Деница*, альманахъ на 1830 годъ).

«Быстрое распространеніе фамилій *Выжигиныхъ* (Булгарина и Орлова) есть натуральное слѣдствіе давно признаннаго въ основателѣ ея достоинства, что онъ приходится не только *по сердцу,* но и *по плечу* читающей нашей публикѣ. Но несчастію, наша читающая публика не есть самая высшая по тону и образованію. Лучшая часть нашего общества, непривыкшая еще порядочно разбирать по-русски, по сю пору предается добродушному патріотическому сокрушенію, что у насъ, на отечественномъ языкѣ, почитать нечего. *Иванъ Выжигинъ*, какъ благоразумный дѣтина, выжженный обстоятельствами, не думалъ и хлопотать объ ея вниманіи. Не надѣясь на князи, отъ которыхъ самый блестящій талантъ награждается однимъ холоднымъ междометіемъ удивленія, онъ избралъ себѣ другую, менѣе высокую, но болѣе широкую дорогу, на которой встрѣченъ былъ радушнѣе и награжденъ тороватѣе. Онъ приноровился къ потребностямъ, вкусу и замашкамъ нашего средняго сословія, въ которомъ охота къ чтенію ежедневно усиливается болѣе и болѣе, и заполонилъ его вниманіе, выбравъ для своей кукольной комедіи содержаніе, цвѣтъ и тонъ къ нему близкіе. Въ самомъ дѣлѣ, эта коллекція уродливыхъ образинъ, одѣтыхъ въ знакомыя платья, какъ могла не понравиться русскому народу, который любитъ показать изъ кармана фигу дурачествамъ, которыхъ явно осуждать не смѣетъ? *Иванъ Выжигинъ* доставилъ вполнѣ ему это удовольствіе. Благодаря его карикатурамъ, деревенскіе помѣщики могли вымѣщать горе, претерпѣваемое отъ уѣздныхъ судовъ и губернскихъ палатъ, громкимъ и раздольнымъ хохотомъ надъ грозными членами; миролюбивые купцы находили тайное удовольствіе посмѣяться себѣ въ бороду надъ спѣсивыми барами; пронырливые сидѣльцы, въ свою очередь, могли забавляться изуродованными харями суровыхъ своихъ хозяевъ; лакеи тѣшились надъ господами, горничныя пересмѣхали барынь. Коротко сказать—*Иванъ Выжигинъ* умѣлъ найти чувствительную струну въ каждомъ сословіи русскаго народа и пошевелить ее пріятнымъ щекотаньемъ. Само собою разумѣется, что на это не требовалось большого искусства. Занимательность представляемыхъ имъ карикатуръ состояла не въ вѣрности, а въ уродливости. Обыкновенно, чѣмъ безобразнѣе и отвратительнѣе фигуры, выставляемыя на посмѣшище, тѣмъ хохотъ громче и продолжительнѣе. Попробуйте развѣсить подъ Новинскимъ характеристическія картины нравовъ, написанныя самой вѣрной и богатой кистью: ихъ никто и не замѣтитъ. Но вокругъ паяца, въ дурацкомъ колпакѣ, съ ослиными ушами, краснымъ носомъ, кривыми ногами и огромнымъ брюхомъ, всегда толпится и зрителей, и слушателей видимо невидимо! *Иванъ Выжигинъ* зналъ хорошо эту слабость; воспользовался ею, какъ нельзя лучше, и награжденъ за то, какъ нельзя больше. Отъ выставленнаго имъ райка не было отбоя» (*Телескопъ*, 1831 г.).

Но вотъ сужденіе о Петрѣ Ивановичѣ Выжигинѣ, отличающееся особеннымъ безпристрастіемъ къ его автору и совершенно спокойнымъ тономъ; не соглашаясь съ нимъ вполнѣ, мы все-таки приводимъ и его:

«Доселѣ Булгаринъ писалъ повѣсти и романы двухъ родовъ: такъ-называемые нравственно-сатирическіе и историческіе. Къ первому роду принадлежитъ, какъ извѣстно, *Иванъ Выжигинъ;* ко второму—*Димитрій Самозванецъ*. Въ *II. Выжигинѣ* онъ соединилъ оба эти рода, соединилъ *Ив. Выжигина* съ *Самозванцемъ*, и должно сознаться, исполнилъ это дѣло весьма неудачно. Сцены *историческія* или вообще все, что относится къ войнѣ 1812 года, такъ рѣзко отдѣляется отъ остального—*нравоописательнаго*, какъ масло отъ воды. Вездѣ видны вставки и, такъ сказать, заплаты изъ порфиры *Самозванца* на ветхомъ рубищѣ сироты—*Выжигина*. Даже второе названіе этого романа:

*) Одинъ изъ нихъ, В. Ушаковъ, разбирая впослѣдствіи *Димитрія Самозванца* Булгарина, воскликнулъ: «Приступаю къ разсмотрѣнію романа, сочиненнаго моимъ короткимъ пріятелемъ, Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ Булгаринымъ, и объ этихъ моихъ сношеніяхъ съ авторомъ предварительно увѣдомляю всѣхъ *острящихъ жало* на новое произведеніе *моего друга*». Подлинно:

Блаженъ, кто друга здѣсь по сердцу обрѣтаетъ!

историческій—есть въ полномъ смыслѣ придаточное. Эти вставки бросаются въ глаза при самомъ бѣгломъ чтеніи. Кажется, будто читаешь два романа, между собой совершенно различные или сшитые другъ съ другомъ на живую нитку, безъ всякой послѣдовательности и связи. Можно подумать, что авторъ вклеилъ происшествія 1812 года не прежде, какъ по окончаніи нравоописательной части романа, или, наоборотъ, вставилъ интригу, написавъ сперва историческія сцены... Этому разногласію и безсвязности, кромѣ недостатка въ общемъ планѣ и въ правильномъ распредѣленіи частей, могла быть и другая причина: по моему мнѣнію, Булгаринъ имѣетъ талантъ преимущественно къ сценамъ историческимъ и не склоненъ къ нравоописательному роду. Онъ обладаетъ воображеніемъ, то есть способностью передавать вѣрно и живо то, чего былъ *самъ* нѣкогда свидѣтелемъ, что изучалъ съ подробностью, словомъ, что коротко ему знакомо изъ чтенія или изъ опытовъ жизни. Но, скажемъ прямо: онъ не одаренъ фантазіей, той творческой способностью, которая созидаетъ характеры, даже приключенія, и придаетъ вымыслу не только правдоподобіе, но и дѣйствительность... То, что должно дышать жизнью, возбуждать къ себѣ участіе, завлекать возрастающимъ интересомъ, у него вяло, безцвѣтно, холодно, утомительно. Ложная система нравоученія еще болѣе увеличиваетъ эти недостатки. Въ подтвержденіе мною сказаннаго, разсмотрите историческія сцены новаго *Выжигина*,—тѣ, въ которыхъ является Наполеонъ съ своей блестящей свитой, съ своими маршалами, съ своей главной квартирой; возьмите даже прибытіе Кутузова въ армію или картину Москвы до вступленія въ нее непріятеля: все это заманчиво, живо, естественно. Отъ чего? Отъ того, что онъ не отступаетъ отъ исторіи, вѣрно слѣдуетъ за своими вожатыми—Сегюромъ, Шамбре, Глинкой, или быть-можетъ за лучшимъ изъ вожатыхъ—своими воспоминаніями. Всю вторую половину III-го тома можно по справедливости назвать великимъ оазисомъ въ пустынѣ этого романа. Но шагъ за оазисъ—и васъ останавливаетъ безплодіе: нигдѣ тѣни, чтобы принять утомленнаго путника; нигдѣ источника, чтобы отвести душу. Дѣйствующія лица становятся неестественными и, чтобъ продолжить сравненіе—ходятъ на ходуляхъ, подобно жителямъ степей (Landes) во Франціи. Васъ встрѣчаютъ толпы героевъ великодушія или дюжины злодѣевъ и преступниковъ всѣхъ родовъ, для которыхъ мало бы висѣлицы, и которые, къ счастію рода человѣческаго, не существуютъ на свѣтѣ, ибо суть такія же безжизненныя отвлеченности, какъ и образцы всѣхъ возможныхъ добродѣтелей» (*Телескопъ* 1831 г.).

Выписывая всѣ эти мнѣнія о романахъ Булгарина, мы равно далеки отъ того, чтобы признавать ихъ безусловно справедливыми и въ осужденіи, и въ похвалѣ. Что касается до осужденія, нѣкоторыя изъ выписанныхъ нами строкъ, при всей справедливости ихъ основанія, писаны явно не въ спокойномъ духѣ, а это показываетъ, что онѣ не безусловно справедливы. Съ другой стороны, мнѣніе о заманчивости, живости и естественности нѣкоторыхъ описаній и картинъ въ «Петрѣ Выжигинѣ», равно какъ и о предполагаемой способности Булгарина къ историческимъ сценамъ, кажется намъ преувеличеннымъ. Какъ бы то ни было, но для насъ во всѣхъ этихъ выпискахъ, извлеченныхъ изъ разныхъ повременныхъ изданій, изъ статей, писанныхъ людьми, совершенно другъ другу чуждыми, — во всемъ этомъ ясно видно, что мнѣніе о совершенномъ отсутствіи въ сочиненіяхъ Булгарина фантазіи и изобрѣтенія, о холодности и сухости его языка, впрочемъ по большей части гладкаго и чистаго,—что это было общимъ мнѣніемъ еще назадъ тому болѣе пятнадцати лѣтъ.

Теперь намъ легче высказать собственное наше мнѣніе о сочинительствѣ Булгарина,—и мы выскажемъ его sine ira et studio. Отнимать всякое значеніе у того необыкновеннаго успѣха, который пріобрѣтенъ «Иваномъ Выжигинымъ», объяснять его успѣхомъ «Сонниковъ» и книгъ «О клопахъ»,—по нашему мнѣнію, вовсе несправедливо, и критики Булгарина подобными выходками только лишали свои статьи того довѣрія у публики, котораго онѣ заслуживали по справедливости своего основанія. Если нельзя принять за безусловное правило, что большой расходъ книги всегда есть доказательство ея достоинства,—то нельзя также думать, чтобы большой расходъ книги не свидѣтельствовалъ по крайней мѣрѣ въ пользу ея условнаго, современнаго достоинства, въ доказательство того, что книга была въ потребности времени и лучше другихъ удовлетворила этой потребности.Вообще незаслуженный успѣхъ есть болѣе рѣдкое явленіе въ литературѣ, нежели какъ объ этомъ думаютъ,—особенно большой успѣхъ. И мы, ни мало не обинуясь,скажемъ, что необыкновенный успѣхъ «Ивана Выжигина» былъ точно такъ же заслуженъ, какъ и необыкновенный успѣхъ «Юрія Милославскаго», хотя въ послѣднемъ романѣ мы видимъ несравненно больше и таланта, и вообще литературнаго достоинства, нежели въ первомъ. «Иванъ Выжигинъ», говорите вы, угодилъ насмѣшливости разныхъ сословій русскаго общества рядомъ карикатуръ одна другой уродливѣе и безобразнѣе. Хорошо! Но зачѣмъ же никто другой, кромѣ Булгарина, не подумалъ угодить этой насмѣшливости? Что ни говорите, а на успѣхъ, на чемъ бы онъ ни основывался, всегда много охотниковъ; но успѣваетъ всегда только рѣшительный, смѣлый, предпріимчивый и трудолюбивый. До «Выжигина» у насъ почти вовсе не было оригинальныхъ романовъ, тогда-какъ потребность въ нихъ уже была сильная. Булгаринъ первый понялъ это, и зато первый же былъ и награжденъ сторицей. Правда, появленіе Булгарина на литературномъ поприщѣ въ качествѣ романиста было упреждено появленіемъ на томъ же поприщѣ Нарѣжнаго, человѣка съ замѣча-

тельнымъ и оригинальнымъ талантомъ. Но это обстоятельство, во всѣхъ отношеніяхъ болѣе нежели невыгодное, можно сказать — страшное для Булгарина, по многимъ причинамъ не могло вредить ему. Во-первыхъ, Нарѣжный дебютировалъ въ 1822 году весьма плохимъ романомъ — «Аристіонъ, или перевоспитаніе», будучи до того времени едва извѣстенъ, какъ авторъ скопированной съ «Разбойниковъ» Шиллера драмы «Димитрій Самозванецъ» (1804 г.) и «Славянскихъ Вечеровъ»—надуто-риторическихъ поэмъ въ прозѣ (1809 г.); въ 1824 году издалъ онъ свои «Новыя Повѣсти», которыя слѣдовало бы правильнѣе назвать плохими повѣстями. Лучшія его произведенія—«Бурсакъ», романъ въ 4-хъ частяхъ (1824 г.), и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», въ 3-хъ частяхъ (1825 г.),— несмотря на все ихъ достоинство, не могли вдругъ воспользоваться огромнымъ успѣхомъ, потому что, по ихъ содержанію, касающемуся одной Малороссіи, не имѣли общаго интереса для всѣхъ русскихъ. Сверхъ того самыя достоинства этихъ романовъ Нарѣжнаго были таковы, что нужно было время для уразумѣнія и оцѣнки ихъ. Притомъ талантъ Нарѣжнаго былъ какой-то нерѣшительный: идя въ подробностяхъ и частностяхъ путемъ совершенно новымъ, въ общей завязкѣ и развязкѣ онъ шелъ путемъ избитымъ; богатый комизмомъ, онъ въ то же время былъ щедръ и на скучную мораль. Комическія же сцены его въ то время могли смѣшить публику, но не могли поставить его въ ея глазахъ на слишкомъ высокое мѣсто. Булгаринъ взялся за дѣло иначе и, съ свойственной ему смѣтливостью, понялъ, что нападки на такъ называемыя злоупотребленія не могутъ не расшевелить сильно всѣхъ струнъ русскаго общества. И онъ не обманулся. Не имѣя фантазіи, вовсе чуждый дара творчества, онъ замѣнилъ цѣлью художество, сатирой — вѣрность дѣйствительности, карикатурой — характеры и образы. Взявши себѣ въ образецъ старинный романъ А. Измайлова: «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія» (первая часть напечатана въ 1799, вторая—въ 1801 году), онъ такъ искусно съумѣлъ тряхнуть стариной на новый манеръ, предпріятіе его всѣмъ показалось такъ оригинальнымъ, что успѣхъ превзошелъ ожиданія. Это очень понятно. Всегда такъ было, есть и будетъ въ литературахъ, возникшихъ не изъ собственной, родной почвы, а начавшихся подражаніемъ иностраннымъ литературамъ: сперва въ нихъ тотъ и беретъ, кто смѣлѣе и явнѣе подражаетъ иностраннымъ образцамъ, а потомъ тотъ, кто подражаніе иностраннымъ образцамъ лучше другихъ умѣетъ выдавать за что-то оригинальное, народное. Было время, когда наше юное общество въ «Синавахъ» и «Димитріяхъ Самозванцахъ» Сумарокова добродушно видѣло героевъ и лицъ русской исторіи; потомъ пришло время, и это нѣсколько подросшая публика добродушно думала видѣть Россію и русскихъ въ безцвѣтныхъ аллегорическихъ олицетвореніяхъ, играющихъ роль дѣйствующихъ лицъ въ «Иванѣ Выжигинѣ»; но черезъ годъ послѣ этого, прочитавъ «Юрія Милославскаго», она воскликнула «вотъ это ужъ настоящая Русь, настоящіе русскіе!». Теперь она поняла, что въ литературномъ произведеніи только то лицо можетъ быть истинно-русскимъ, которое поэтически, художественно изображено,—и потому уже и въ «Юріи Милославскомъ» такъ же не видитъ русскихъ лицъ, какъ не видитъ ихъ болѣе въ «Иванѣ Выжигинѣ», въ трагедіяхъ и комедіяхъ Сумарокова. Но этимъ нисколько не отнимается заслуга ни Сумарокова, ни Булгарина и Загоскина. Эти три писателя выразили своими произведеніями три постепенные момента русской литературы, три ступени, перешагнутыя ею въ ея развитіи. Благодаря младенческому состоянію нашей литературы, успѣхъ Сумарокова былъ продолжителенъ; но успѣхъ Булгарина былъ уже только минутный: «Юрій Милославскій» наповалъ убилъ его «Димитрія Самозванца», «Петръ Ивановичъ Выжигинъ», какъ повтореніе двухъ первыхъ романовъ Булгарина, имѣлъ успѣхъ гораздо слабѣе, а «Рославлевъ» Загоскина и совершенно добилъ остатки «Петра Ивановича Выжигина». Но первый романъ Булгарина далъ ему огромную извѣстность, и, благодаря ей, онъ могъ еще нѣкоторое время писать романы, хотя не съ прежнимъ успѣхомъ, но все же не вовсе безъ успѣха. Надо сказать, что съ появленія «Выжигина» литература наша круто поворотила отъ стиховъ къ прозѣ. Въ какія-нибудь пять-шесть лѣтъ съ того времени явились новыя имена, новыя знаменитыя по успѣху и относительнымъ, условнымъ достоинствамъ произведенія: Загоскинъ, Лажечниковъ, Вельтманъ, Ушаковъ, Бѣгичевъ и другіе, и ихъ романы и повѣсти. Но въ 1831 году появилась первая книжка «Вечеровъ на Хуторѣ», неизвѣстнаго дотолѣ автора, какого-то Гоголя...

Говоря о Булгаринѣ, мы не напрасно вспомнили о Сумароковѣ. Булгаринъ давно уже жалуется на своихъ «враговъ», что они огласили его бездарнымъ сочинителемъ. Особенно горько и много жаловался онъ за это на «Отеч. Записки». Но это не совсѣмъ справедливо, и на этотъ счетъ

мы готовы хладнокровно объясниться. Если Булгаринъ думаетъ, что природа снабдила его даромъ поэзіи, творчества,—то мы дѣйствительно считаемъ его положительно бездарнымъ писателемъ. Если же подъ словомъ «бездарный» онъ разумѣетъ отрицаніе всякихъ способностей къ чему-нибудь, то мы никогда не думали считать его бездарнымъ. Даже въ его статьяхъ о нравахъ мы не отвергаемъ способности—хотя поддѣлываться подъ Адиссона и Жуи. Статьи эти сухи, блѣдны, безцвѣтны и потому скучны; ихъ такъ же невозможно сравнивать съ статьями въ томъ же родѣ «Новаго живописца общества и литературы» Полевого, какъ невозможно сравнивать произведенія прилежнаго ученика, копирующаго съ чужихъ картинъ, съ произведеніями даровитаго живописца, пишущаго съ натуры. Что же до «Ивана Выжигина» и даже другихъ романовъ Булгарина,—въ нихъ нѣтъ ни даже признака фантазіи, изобрѣтенія, творчества, поэзіи; но тѣмъ не менѣе о нихъ можно сказать, что въ нихъ выразилась посредственность, и никакъ нельзя сказать, чтобы въ нихъ выразилась бездарность. Сумароковъ теперь забытъ, читать его невозможно; таланта поэзіи въ немъ не было и признака; но все же онъ человѣкъ способный, и ему литература наша обязана многимъ. Сдѣлать то, что сдѣлалъ онъ, было не совсѣмъ легко, а потому, кромѣ его, и не нашлось никого, кто взялся бы за его дѣло. Сумароковыхъ у насъ было много, и нельзя сказать, чтобъ ихъ не было и теперь. Разница та, что теперешніе Сумароковы уже обязаны имѣть не одну способность, но купно и что-то вродѣ дарованія, для того, чтобы успѣть хотя не на долго въ какой-нибудь еще неизвѣданной отрасли литературы. Такъ Марлинскій съ блестящимъ успѣхомъ взялся за, будто бы, русскую повѣсть съ мелодраматическими страстями и ходульными характерами. Такъ иной брался за драму съ итальянскими художниками и за народно-русскую драму съ русскими собственными именами. И тутъ былъ успѣхъ; не на долго, но былъ. Въ свое время имѣлъ успѣхъ и Булгаринъ. Но это время прошло, и напрасно онъ нападками на «новую натуральную школу» думаетъ воротить невозвратимое... Видя невозможность писать романы, онъ хочетъ вознаградить себя за это униженіемъ новой школы, и какъ будто сдѣлалъ себѣ какую-то задачу ратовать противъ нея въ фельетонахъ «С. Пчелы»...

И вотъ мы естественнымъ путемъ возвратились опять къ журнальному поприщу Булгарина. Журналистикой началъ онъ свое литературное поприще, журналистикой и оканчиваетъ его теперь. Но и здѣсь, какъ во всемъ, остался онъ вѣренъ самому себѣ: никакихъ принциповъ, никакихъ убѣжденій, одна литературная тактика, какъ и двадцать лѣтъ назадъ. Такъ же точно говоритъ онъ неумолкаемо о своей любви къ правдѣ и о своихъ «врагахъ». Такъ же точно хвалитъ сегодня то, что бранилъ вчера и что снова будетъ хвалить завтра, смотря по отношеніямъ. Такъ же точно позволяетъ себѣ приписывать своимъ противникамъ то, чего они не дѣлали и не говорили и возражать на мнѣнія, которыхъ они никогда не обнаруживали. Такъ напр., въ 88 № «Сѣв. Пчелы» прошлаго года обвинилъ онъ «Отеч. Записки» въ постоянномъ будто бы стремленіи унижать Каратыгина 1-го, и не могъ представить изъ «Отеч. Записокъ» ни одного слова въ оправданіе взводимаго имъ на нихъ обвиненія. Такъ, въ 55 № «Сѣв. Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ взводитъ на «Отеч. Записки» небылицу, будто онѣ сравнили Гоголя съ Гомеромъ, тогда-какъ «Отеч. Записки» прежде всѣхъ другихъ журналовъ посмѣялись надъ забавной московской брошюркой, въ которой Гоголь сравненъ былъ съ Гомеромъ. Какъ и прежде, Булгаринъ позволяетъ себѣ, въ нападкахъ на своихъ противниковъ, выходить изъ чисто-литературной сферы. Напомнимъ читателямъ нашимъ небольшую статейку въ «Литературной Газетѣ» 1830 г.

«Въ 39 № «Сѣверной Пчелы» помѣщено окончаніе статьи о VII главѣ «Онѣгина», въ которой между прочимъ прочли мы, будто бы Пушкинъ, описывая Москву, «взялъ обильную дань изъ *Горя отъ Ума* и, просимъ не погнѣваться, изъ другой извѣстной книги». Седьмая глава «Онѣгина» лучше всѣхъ защитниковъ отвѣчаетъ за себя своими красотами, и никто, кромѣ «Сѣв. Пчелы», не найдетъ въ описаніи Москвы заимствованій изъ «Горя отъ Ума». И Грибоѣдовъ, и Пушкинъ писали свои картины съ одного предмета; неминуемо и у того, и другого должны встрѣчаться черты сходныя. Но изъ какой, просимъ не прогнѣваться, другой извѣстной книги Пушкинъ что-то похитилъ? Не называетъ ли «Сѣв. Пчела» извѣстной книгой «Ивана Выжигина», гдѣ находится странное раздѣленіе московскаго общества на классы, въ числѣ которыхъ одинъ составленъ изъ архивныхъ юношей? Кажется, что такъ; и мы также обвиняемъ Пушкина, хотя по какой-то игрѣ случая его описаніе Москвы было написано прежде «Ивана Выжигина» и напечатано въ «Сѣв. Пчелѣ» почти за годъ до появленія этого романа. Обвиняемъ Пушкина и въ другомъ, еще важнѣйшемъ похищеніи: онъ многое заимствовалъ изъ романа «Димитрій Самозванецъ» и этими хищеніями удачно, съ искусствомъ, ему свойственнымъ, украсилъ свою историческую трагедію «Борисъ Годуновъ», хотя тоже, по странному стеченію обстоятельствъ, имъ написанную за пять лѣтъ до рожденія историческаго романа Булгарина.»

Въ той же «Литературной Газетѣ» напечатанъ протестъ противъ статьи Булгарина, въ которой онъ говоритъ, что въ

чужихъ краяхъ странствуетъ нѣсколько юныхъ россіянъ, которые «выдаютъ себя за первоклассныхъ русскихъ поэтовъ, философовъ и критиковъ и всѣмъ журналистамъ обѣщаютъ сообщать извѣстія о Россіи, а болѣе о русской литературѣ». Въ числѣ этихъ юныхъ россіянъ поименованъ Шевыревъ, «авторъ писемъ изъ Италіи, помѣщаемыхъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ», и соучастникъ по изданію этого журнала». Протестъ противъ этихъ болѣе полицейскихъ, нежели литературныхъ извѣстій былъ написанъ въ «Литерат. Газетѣ» самимъ Шевыревымъ.

И теперь Булгаринъ дѣлаетъ то же самое, какъ бы въ доказательство, что ему, какъ віотійцамъ въ Аѳинахъ, все позволительно, все возможно... Чего не писалъ Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики «Отеч. Записокъ»!.. то увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся за неимѣніемъ подписчиковъ; то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи, будто онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры: въ 55 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отеч. Записки» основаны были съ цѣлью уронить «Библіотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отеч. Записокъ», рѣшительно объявила извѣстное правило: «кто съ нами, тотъ не противъ насъ». Во-первыхъ, нигдѣ не было объявлено, чтобы «Отеч. Записки» издавались компаніей, и на заглавномъ листѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ Булгаринъ компанію?.. Далѣе: «Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ «Молвѣ», заставилъ добрыхъ людей взглянуть на себя съ улыбкой удивленія (и такъ добрые люди, а въ числѣ ихъ и Булгаринъ, посмотрѣли на себя съ удивленіемъ??..) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожать все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все: что не съ нами, то противъ насъ. Вотъ и пошла потѣха». Спросимъ Булгарина, ссылаясь на его совѣсть: все это литературныя ли подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?.. Но ему до правды нужды нѣтъ, лишь бы, какъ говорится, насолить врагу, лишь бы взять не мытьемъ такъ катаньемъ... Какой правдолюбъ!.. Еслибы кто печатно разсказалъ, что напр. гдѣ-нибудь, хоть въ Китаѣ положимъ, есть старый журналистъ, онъ же и выписавшійся сочинитель, который въ досадѣ, что его не читаютъ, а молодыхъ писателей читаютъ, еженедѣльно пишетъ на нихъ въ своемъ изданіи: «Сплетни», самую пошлую брань, хуже всякой всячины, и, чтобы дѣло шло успѣшнѣе, пригласилъ себѣ въ сотрудники одного бездарнаго и глупаго писаку, обругаинаго во всѣхъ журналахъ, привыкшаго узнавать своихъ критиковъ по когтямъ, какъ они привыкли узнавать его по ушамъ; что писака, доселѣ игравшій роль литературнаго зайца, травлей котораго потѣшался весь свѣтъ, обрадовался, что въ рукахъ патрона своего можетъ быть грязной тряпкой, чтобы марать порядочныхъ людей,—цѣпной собакой, чтобы лаять на людей лучше и выше себя и тѣмъ добиться похвалы: «Ай, моська! знать она сильна, что лаетъ на слона!»,—еслибы, говоримъ мы, кто-нибудь разсказалъ это печатно, въ этомъ не было бы ничего неприличнаго и, кромѣ китайскихъ журналистовъ, этого некому было бы принять на свой счетъ. Такъ и сдѣлалъ Пушкинъ (назвавшись Ѳеофилактомъ Косичкинымъ), сказавши: «Я человѣкъ миролюбивый, но всегда готовъ заступиться за моего друга; я не похожу на того китайскаго журналиста, который, потакая своему товарищу и въ глаза выхваляя его бредни, говоритъ на ухо всякому: «этотъ пачкунъ и мерзавецъ ссоритъ меня со всѣми порядочными людьми, мараетъ меня своимъ товариществомъ; но что дѣлать? онъ человѣкъ дѣловой и расторопный».

Все это позволительно, какъ выдумка, не выдаваемая за истину; но входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять на нихъ цѣлыя исторіи, — это называется личностями и за это иногда и отвѣчаютъ личностью же... А что же, если не это позволяетъ себѣ дѣлать Булгаринъ? Объ этомъ кстати должны мы разсказать цѣлую исторію. Въ 57 № «С. Пчелы» Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ:

«Віардо, изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя, принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу очень сомнительную, похожую на ту, которой, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость – все это исчезло подъ губительнымъ перомъ варвара-переводчика: остались нелѣпые вымыслы, уродливыя сцены, отвратительныя подробности, безвкусіе и отсутствіе всякаго благородства и изящества литературнаго; вмѣсто живого тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ, всякъ воленъ переводить что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами: Віардо, печатая юродивую повѣсть «Вій» въ «Journal des Débats», снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говоритъ, что Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своемъ созданіе литературы оригинальной, обогащенной

трудами двухъ умершихъ писателей ея—Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени; признаемъ въ его *Тарасѣ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ*, и не можемъ натѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ;* но не дерзаемъ ставить его не только наравнѣ съ Пушкинымъ и съ Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ ихъ. У него нѣтъ главнаго—*нѣтъ языка;* онъ позайметъ, позабавитъ публику своимъ разсказомъ, но не подвинетъ ее впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ. Журналы здѣшніе (??) смѣются надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставятъ его гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій» и скажите, можетъ ли быть что уродливѣе и нелѣпѣе».

Что̀ сказать на это? «Сѣв. Пчела» вольна находить переводъ Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобы французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя къ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,—это—просимъ не прогнѣваться—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣв. Пчелы»... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что̀ весь этотъ коммеражъ «Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующей выходкой Булгарина.

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что̀ Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ къ Віардо, я обязанъ, зная дѣло, представить, при обвиненіи его, обличительныя обстоятельства (circonstances atténuantes). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ» *(Всякая всячина* № 22), что у насъ есть люди, которые ловятъ каждаго заѣзжаго чужеземнаго литератора, чтобъ *внушить* ему свои понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ. Такимъ образомъ *уловили* Мармье и другихъ; точно такъ-же поймали и Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть Гоголь, и пригласили перевесть его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? *къ нему отрядили одного изъ геніевъ новой натуральной школы, знающаго французскій языкъ (т. е. французскія слова)*, и онъ сталъ надстрочно переводить для Віардо сочиненія Гоголя, а Віардо долженствовалъ сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится—*офранцузить* чужеземное слово. *Встрѣчая часто у Віардо этого генія новой натуральной школы, за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобъ не изъявить моего удивленія*, и *тогда Віардо* сознался *мнѣ*, что это геній *переводитъ для него сочиненія Гоголя, съ которыми онъ намѣренъ познакомить Европу...*»

И затѣмъ, какъ бы насмѣхаясь надъ добродушіемъ своихъ читателей или испытывая мѣру ихъ терпѣнія, Булгаринъ увѣряетъ, что «не выносить сору изъ избы»—его неизмѣнное правило!.. А наконецъ изъявляетъ сожалѣніе, что «Віардо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!»... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались заграницей переводы его сочиненій, и, напуганный собственнымъ примѣромъ, до того не вѣритъ возможности успѣха русскаго писателя за-границей, что и похвалы (да еще какія!) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголю принимаетъ за брань... Но, спрашиваемъ, во имя кого и чего позволилъ себѣ Булгаринъ сочинять небывалыя исторіи о геніи, отправленномъ школой къ Віардо, о томъ, что этотъ геній знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, и что онъ видалъ его у Віардо за бумагами и т. п.? Ужъ не во имя ли своего дивнаго мизинца, въ которомъ, по увѣренію Греча, ловкаго товарища Булгарина, болѣе ума и таланта, нежели во многихъ головахъ рецензентовъ? Въ такомъ случаѣ не худо бы Булгарину подумать, что вѣдь мизинцы, хотя и не столь умные и талантливые, какъ его, есть и у другихъ, да еще съ придачей добрыхъ восьми пальцевъ другихъ названій... Впрочемъ чего ожидать отъ такъ называемаго литератора, который позволяетъ себѣ, на старости лѣтъ, писать сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ», будто бы помѣшавшемся на idée fixe, т. е. который печатно называетъ своихъ противниковъ сумасшедшими!.. Или чего ожидать отъ фёльетониста, который изъ ничего — изъ капустныхъ кочерыжекъ—поссорившись съ Полевымъ, недавно еще имъ превозносимымъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ» и о «какомъ-то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкой»?..

Впрочемъ во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ Булгаринъ, «облегчительныя обстоятельства» (circonstances atténuantes). Ничего нѣтъ тяжелѣе, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ-Скотты, но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Пчелы» во время отсутствія Булгарина изъ Петербурга и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеръ-Скоттомъ, и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему его сотрудниками титла, иногда величалъ себя для разнообразія Сократомъ,—однакожъ публика видитъ теперь въ немъ только фёльетониста «Сѣв. Пчелы», ни больше, ни меньше, совершенно забывъ объ его прежнихъ тво-

реніяхъ. А кто виной этому? — Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые, своими романами, успѣли изгладить изъ памяти публики романы Булгарина!... Есть отъ чего сдѣлать изъ Гоголя свою idée fixe, говоря словами Булгарина! Сначала Гоголь въ глазахъ Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда, по увѣренію Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, Булгаринъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ онъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни, и которую за это Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новой натуральной школой», въ отличіе отъ старой риторической или ненатуральной, т. е. искусственной, другими словами—ложной школы. Этимъ Булгаринъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;—новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданный ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестанно, такъ сказать, задираетъ новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и доселѣ есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева»?..Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учителя—Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ Гоголѣ и Лермонтовѣ. А объ ученикахъ нечего и говорить: волей или неволей, а пришлось имъ пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни браните новую школу, а она уже не станетъ идти раковой походкой и писать по вашему. И притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы сердиты на нее за ея успѣхи. Иначе вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ вами. А вы на чужое мнѣніе, несогласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь, какъ на преступленіе! На что же это похоже, теперь цѣлые фельетоны «Сѣв. Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у Достоевскаго нѣтъ ни искорки таланта. А нѣтъ—такъ и нѣтъ—тѣмъ лучше для васъ. Скажите это—и успокойтесь; а то подумаютъ, что вы не искренни, что вы, чего добраго, испугались новаго таланта, и хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

Но ученаго учить—только портить, говоритъ пословица. Наше дѣло было—представить въ легкомъ очеркѣ литературную дѣятельность Булгарина за двадцать-пять лѣтъ. Какъ умѣли, мы это сдѣлали, и теперь отъ нашихъ воспоминаній объ его литературной дѣятельности обращаемся къ его собственнымъ «Воспоминаніямъ», надѣясь, что тѣ и другія взаимно будутъ служить другъ другу комментаріемъ...

НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОЛЕВОЙ.

...На жизненныхъ браздахъ,
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Пушкинъ.

Всякая сфера дѣятельности безконечно разнообразна и требуетъ различныхъ дѣятелей. Съ перваго взгляда кажется, что науку можетъ поднять и двинуть впередъ только ученый, поэзію—поэтъ, литературу—литераторъ. Безъ всякаго сомнѣнія, безъ ученыхъ наука не могла бы не только подниматься и двигаться, но даже и существовать, такъ же какъ и поэзія—безъ поэтовъ, литература—безъ литераторовъ; однакожъ тѣмъ не менѣе справедливо и то, что наукѣ, искусству и литературѣ оказывали иногда величайшія услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое вліяніе на успѣхи литературы можетъ иногда имѣть книгопродавецъ-издатель? Вспомнимъ Новикова. Этотъ человѣкъ,—столь мало у насъ извѣстный и оцѣненный (по причинѣ почти совершеннаго отсутствія публичности),—имѣлъ сильное вліяніе на движеніе русской литературы и слѣдовательно русской образованности. Самъ онъ ничего или почти

ничего не писалъ, но онъ обладалъ удивительной способностью заставлять писать другихъ. Владѣя значительными средствами, онъ издавалъ множество книгъ въ такое время, когда у насъ почти вовсе не было книгъ. Но и въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ не какъ книгопродавецъ, хотя въ то время и роль дѣльнаго книгопродавца была бы еще благодѣтельнѣе, нежели какъ могла бы она быть теперь. Нѣтъ! Новиковъ не былъ книгопродавцемъ: нажиться продажей книгъ нисколько не было его цѣлью. Благородная натура этого человѣка постоянно одушевлялась высокой гражданской страстью—разливать свѣтъ образованія въ своемъ отечествѣ. И онъ увидѣлъ могущественное средство для достиженія этой цѣли въ распространеніи въ обществѣ страсти къ чтенію. Для чтенія нужны книги и журналы, а ихъ-то и не было тогда. И вотъ Новиковъ издаетъ книги и журналы, всюду ищетъ молодыхъ людей, способныхъ или охотливыхъ къ книжному дѣлу. Знающимъ иностранные языки онъ заказываетъ переводы, у стихотворцевъ печатаетъ стихи, у прозаиковъ—прозу; всѣхъ одобряетъ и понуждаетъ, бѣднымъ даетъ средства къ образованію. Кому не извѣстно, что самъ Карамзинъ многимъ былъ обязанъ Новикову? Еслибы это и несправедливо было приписано Новикову, все же это важный фактъ въ его пользу. Когда явился Пушкинъ, всякое ходячее по рукамъ стихотвореніе, дѣйствительно хорошее или только казавшееся хорошимъ, приписывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Такъ и Новикову приписывалось изданіе всякой книги и одобреніе всякаго таланта: это выразительно указываетъ на его роль на сценѣ русской литературы...

Но эта роль, какъ ни важна и ни велика она, имѣла опредѣленный и ограниченный характеръ. Новикову нужно было, во что бы ни стало, заохотить общество къ чтенію, давши ему средства удовлетворять этой охотѣ—книги и журналы. О направленіи этой охоты онъ не думалъ, да и думать тогда объ этомъ было рано. Онъ печаталъ почти все, что̀ ни писалось, и считалъ за писателя всякаго, кто только имѣлъ охоту писать для печати. Новиковъ не былъ архитекторомъ: онъ приготовлялъ только строительные матеріалы и строительныхъ мастеровъ. Давать литературѣ направленіе, дѣйствовать на нее лично—это роль людей другого рода. Но и для этой роли—повторяемъ—нужны не одни ученые и поэты.

Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

Ломоносовъ, Карамзинъ — и Полевой!.. Какъ многихъ оскорбитъ такое сближеніе именъ! Имена еще до сихъ поръ играютъ въ нашей литературѣ чрезвычайно важную роль, потому-что для многихъ еще замѣняютъ они идеи... Имена въ нашей литературѣ—то же, что̀ чины въ нашей общественной жизни, т. е. легкое внѣшнее средство оцѣнять человѣка... Не всякому дана способность судить вѣрно о качествахъ человѣка и узнавать безошибочно, хорошъ онъ, или нѣтъ. Такъ точно, не всякому дана способность судить вѣрно объ истинномъ значеніи и достоинствѣ писателя; но нѣтъ глупца и невѣжды, который бы, услышавъ громкое или извѣстное имя, не догадался бы тотчасъ же, что это—большой сочинитель. Чѣмъ старѣе имя писателя, тѣмъ бо̀льшимъ уваженіемъ пользуется оно (особенно со стороны людей, никогда не читавшихъ этого писателя),—и поставить съ нимъ рядомъ имя хоть бы и весьма извѣстнаго, но еще живого или только недавно умершаго писателя —значитъ разсердить на-смерть множество людей, которымъ литература, по разнымъ отношеніямъ, близка къ сердцу, а еще болѣе людей, которымъ до литературы вовсе нѣтъ никакого дѣла... Въ настоящемъ случаѣ мы дѣлаемъ большой рискъ въ этомъ отношеніи. Старики, которые и теперь считаютъ Ломоносова вмѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ образцовыми писателями, увидятъ страшную профанацію въ сближеніи имени Полевого съ именемъ Ломоносова. Но этихъ уже не много, и они будутъ жаловаться про себя и между собой; ихъ дрожащіе голоса не возвысятся среди общества, которое такъ молодо въ отношеніи къ нимъ, что уже не помнитъ пудренныхъ косъ съ кошельками... Но что̀ кажутъ тѣ, которые съ личностью и эпохой Карамзина сливаютъ воспоминаніе о лучшемъ времени своей жизни; которые наконецъ помнятъ въ Полевомъ человѣка, писавшаго противъ Карамзина, хотя и послѣ его смерти?.. Что̀ скажутъ бывшіе журналисты, современники Полевого, и многіе писатели и писаки, которыхъ нѣкогда уничтожалъ онъ своимъ журналомъ, и у которыхъ еще цѣлы шрамы отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ его перомъ ихъ самолюбію?.. Что̀ скажутъ всѣ они?—Пусть говорятъ, что̀ хотятъ: страшенъ сонъ да милостивъ Богъ!.. Истина выше

людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человѣкѣ, могила котораго требуетъ суда, а не осужденія, должной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей или пристрастнаго ропота раненыхъ самолюбій...

За Ломоносовымъ потомство не безъ основанія утвердило имя основателя и отца русской поэзіи и литературы. Что онъ былъ первый, по времени, русскій поэтъ: это такъ же очевидно, какъ и то, что Державинъ былъ первый, по таланту, русскій поэтъ! Но Ломоносовъ, натура поэтическая, какъ всякая геніальная натура, тѣмъ не менѣе не былъ поэтомъ. Онъ поэтически чувствовалъ и мыслилъ, но не владѣлъ поэтическимъ даромъ творчества. Лучшая оцѣнка въ этомъ отношеніи, была сдѣлана ему Пушкинымъ:

«Ломоносовъ былъ великій человѣкъ. Между Петромъ I-мъ и Екатериной II-ой онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ университетомъ. Но въ этомъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ которыя отливалъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость полу-славянская, полу-латинская, сдѣлалась было необходимостью; къ счастью, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.

«Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своей поэзіей, и гораздо болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высокоторжественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о Сумароковѣ, страстномъ къ своему искусству,—объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ, кромѣ какъ о бѣдномъ своемъ риѳмотворствѣ, не думаетъ... Зато съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи.»

Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно вѣрный, но тѣмъ не менѣе односторонній. «Вліяніе Ломоносова на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается»: это такъ и не такъ въ одно и то же время. Подъ статьей Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому намъ слѣдуетъ ограничиться увѣренностью, что она была написана не раньше 1836 года, — десять или около того лѣтъ назадъ тому. Въ Россіи все идетъ скоро, и десять лѣтъ для насъ — много времени. Въ новой школѣ, которую сами враги ея почтили именемъ «натуральной» нѣтъ уже ни малѣйшихъ слѣдовъ Ломоносовскаго вліянія, слѣдовательно оно уже прошло. Даже въ старой школѣ видно устарѣлое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова. Если вліяніе послѣдняго и было вредно, все же оно не было зломъ неизлѣчимымъ. Съ другой стороны, если и нельзя согласиться, что вліяніе Ломоносова на русскую литературу было вредное, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы оно не было необходимо. А что необходимо, то уже полезно, хотя бы съ другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова намъ не нужно было народной поэзіи: тогда великій вопросъ—быть или не быть заключался для насъ не въ народности, а въ европеизмѣ. Далеко ли ушелъ бы Ломоносовъ въ наукѣ, еслибы, оставивъ безъ вниманія ея успѣхи въ Европѣ, сталъ хлопотать о наукѣ русской, рѣшился бы сдѣлаться не нововводителемъ въ этой области, а продолжателемъ трудовъ россійскихъ книжниковъ и мудрецовъ до него бывшихъ?.. Первымъ благодѣтельнымъ слѣдствіемъ возникавшей тогда литературы долженствовало быть отрѣшеніе общества не отъ національности, а отъ непосредственнаго или безсознательнаго характера этой національности. Мы должны были на время перестать быть русскими, чтобы потомъ сознательно сдѣлаться русскими. Что вліяніе Ломоносова на литературу было надолго вредно,—это правда; но развѣ не правда и то, что и результаты реформы Петра Великаго были во многихъ отношеніяхъ временно вредны? Однакожъ изъ этого вѣдь не слѣдуетъ, чтобы реформа Петра Великаго не была въ высочайшей степени полезна и благодѣтельна для Россіи.—Ломоносовъ былъ Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кромѣ ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія; но многое ли осталось теперь и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тѣмъ Россія нашего времени—все-таки твореніе Петра Великаго...

Сужденіе Пушкина о Ломоносовѣ очень вѣрно, какъ отвѣтъ на безсознательно восторженные возгласы слѣпыхъ почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, упорно хотятъ видѣть въ немъ не только поэта, но еще и великаго поэта, тогда какъ въ сущности онъ не былъ ни то, ни другое; но какъ окончательный приговоръ надъ Ломоносовымъ, сужденіе о немъ Пушкина — повторяемъ — односторонне. Имя основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежитъ этому вели-

кому человѣку. Натура по преимуществу практическая, онъ былъ рожденъ реформаторомъ и основателемъ. Не приписывая непринадлежащаго ему титла поэта, нельзя не видѣть, что онъ былъ превосходный стихотворецъ (версификаторъ). Если прибавить къ этому его глубокое знаніе русскаго языка (хотя по духу и потребностямъ своего времени онъ и старался придавать ему полу-славянскую и полу-латинскую величавость),—то нельзя не согласиться, что въ отношеніи къ стиху можно подумать, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова. Этого мало: въ нѣкоторыхъ стихахъ Ломоносова, несмотря на ихъ декламаторскій и напыщенный тонъ, промелькиваетъ иногда поэтическое чувство — отблескъ его поэтической души. Въ словахъ нашихъ нѣтъ противорѣчія: живая натура — всегда поэтическая натура, хотя изъ этого и нисколько не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ съ живой натурой былъ непремѣнно поэтъ: иначе и изъ Наполеона легко было бы сдѣлать поэта, и имя его внести въ исторію французской поэзіи... Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзіи, есть большая заслуга съ его стороны. Нѣкоторые думаютъ, что ямбы, хореи, дактили, амфибрахіи и анапесты несвойственны просодической натурѣ русскаго языка. Говорятъ, будто самъ Пушкинъ впослѣдствіи ставилъ себѣ въ вину, что своими дивными стихами окончательно и безвозвратно утвердилъ эти размѣры за русской поэзіей, и будто онъ хотѣлъ воротиться къ размѣрамъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, для чего и написалъ свою «Сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ». Если это правда,—это была ошибка со стороны великаго поэта. Метръ народныхъ пѣсенъ былъ хорошъ для выраженія бѣднаго круга понятій, выражаемыхъ ими; но и въ этомъ кругѣ онъ далеко не исчерпывалъ просодическаго богатства русскаго языка; для выраженія же новой безконечно-разнообразной и широкой сферы понятій онъ былъ бы совершенно недостаточенъ и крайне однообразенъ. Версификація Ломоносова не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу; отъ этого всѣ попытки замѣнить ее были и будутъ безплодны.

Что̀ касается до славяно-латино-нѣмецкихъ періодовъ Ломоносова, напыщенности его рѣчи,—намъ теперь до всего этого такъ же мало дѣла, какъ и до странныхъ костюмовъ эпохи Петра Великаго: то и другое замѣнено теперь лучшимъ. По словамъ Пушкина, Карамзинъ къ счастью освободилъ нашъ языкъ отъ чуждаго ига. Слово къ счастью указываетъ какъ бы на случайность, тогда какъ тутъ была необходимость, и Карамзинъ—или кто бы ни былъ, лишь бы съ такими же способностями,—не могъ бы послѣ Ломоносова сдѣлать ничего другого, кромѣ этого освобожденія языка отъ чуждаго ига. Карамзинъ, разрушивъ дѣло Ломоносова, тѣмъ самымъ только продолжалъ его. Великій реформаторъ приходитъ не съ тѣмъ, чтобы разрушить, а съ тѣмъ, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзинъ возвратилъ свободу нашему языку и обратилъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова? Извѣстно, что его прозаическій слогъ дѣлится на двѣ эпохи — до-историческую и историческую, т. е. что слогъ его «Исторіи Государства Россійскаго» рѣзко отличается отъ слога всѣхъ его сочиненій, предшествовавшихъ ей. До-историческій слогъ Карамзина былъ великимъ шагомъ впередъ со стороны и языка литературы русской: въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но не менѣе несомнѣнно и то, что это слогъ далеко еще не русскій, хотя и несравненно болѣе свойственный духу русскаго языка, нежели слогъ Ломоносова. Скажемъ болѣе: не безъ причины восхищавшій современниковъ, до-историческій слогъ Карамзина теперь блѣденъ и безцвѣтенъ. Онъ относится къ настоящему русскому слогу, какъ языкъ новѣйшихъ латинистовъ къ языку Горація и Тацита. Въ немъ и для иностранца, учащагося по-русски, будетъ все просто и легко, потому что иностранецъ не встрѣтитъ въ немъ того, что̀ называется идіотизмами, т. е. чисто-русскихъ оборотовъ или руссизмовъ. Историческій же слогъ Карамзина слишкомъ отзывается искусственной поддѣлкой подъ языкъ лѣтописей и слишкомъ не лишенъ риторическаго оттѣнка. Впрочемъ, все это мы говоримъ не для униженія великаго подвига Карамзина, а какъ бы въ отвѣтъ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзинъ не сдѣлалъ всего, какъ не сдѣлалъ всего Ломоносовъ, и что, относительно, потомство вправѣ обвинять и Карамзина въ тѣхъ же недостаткахъ, въ какихъ обвиняетъ Пушкинъ Ломоносова; но что тотъ и другой — и Ломоносовъ, и Карамзинъ — оба сдѣлали именно то, что̀ нужно было сдѣлать въ ихъ время, и слѣдовательно обоимъ имъ равно принадлежитъ вѣчная честь великаго подвига...

Карамзинъ явился въ то самое время, когда направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ, такъ сказать, истощило само себя и обратилось въ застой. Въ духѣ этого направленія уже ничего нельзя было дѣлать. Въ самой литературѣ обнаружилась ему реакція: языкъ и самый характеръ сочиненій Фонвизина уже отошли отъ Ломоносовскаго типа. Позднѣе Макаровъ,

независимо отъ Карамзина, началъ переводить и писать языкомъ, совершенно Карамзинскимъ. Нуженъ былъ только человѣкъ, который, по своимъ интеллектуальнымъ средствамъ, былъ бы способенъ завладѣть общественнымъ мнѣніемъ и стать во главѣ литературнаго движенія. Такимъ человѣкомъ явился Карамзинъ. Онъ былъ для своей эпохи всѣмъ: и реформаторомъ, и теоретикомъ, и практикомъ, и стихотворцемъ, и прозаикомъ, и поэтомъ, и журналистомъ, лирикомъ, сказочникомъ, повѣлистомъ, археологомъ. Его стихи учились наизусть, его повѣсти, особенно «Бѣдная Лиза» и «Марѳа Посадница», сводили съ ума всю публику. И хотя Карамзинъ нисколько не былъ поэтомъ, тѣмъ не менѣе этотъ успѣхъ былъ вполнѣ заслуженный. Его «Письма Русскаго Путешественника» познакомили тогдашнее общество съ Европой, которая только для высшаго слоя его не была terra incognita,—и въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ истиннымъ Колумбомъ. Письма Фонвизина изъ Франціи были несравненно дѣльнѣе «Писемъ Русскаго Путешественника», но они не могли произвести на общество такого вліянія, потому-что были понятны только для людей, знакомыхъ съ состояніемъ дѣлъ въ Европѣ того времени, а всѣмъ другимъ могли сообщить о ней самое превратное понятіе. Письма Фонвизина такъ дѣльны, что только теперь настало время для ихъ настоящей оцѣнки. Но во времена переходныя, въ эпохи преобразованій часто бываютъ нужнѣе и полезнѣе тѣ легкія произведенія, которыя, могущественно увлекая толпу, тотчасъ умираютъ, какъ скоро сдѣлаютъ свое дѣло. И вотъ гдѣ самая слабая, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самая важная сторона литературной дѣятельности Карамзина. Онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, творенія которыхъ всегда свѣжи и юны, не знаютъ ни старости, ни смерти. Нѣтъ, къ чему лицемѣрить! «Бѣдная Лиза», «Наталья Боярская Дочь», «Счастливый Карло», «Марѳа Посадница», «Островъ Борнгольмъ»,—всѣ эти и другія повѣсти Карамзина для однихъ теперь дороги только какъ воспоминаніе о свѣтлыхъ дняхъ юности, какъ память о сказочкѣ нянюшки, подъ разсказъ которой когда-то сладко было засыпать; для другихъ онѣ интересны какъ стародавніе костюмы, какъ факты образованія и развитія общества во времена давнопрошедшія; но читать ихъ для эстетическаго наслажденія, читать ихъ какъ поэтическія произведенія теперь никто не будетъ... Еще въ то время, когда авторитетъ Карамзина только стремился къ своей апогеѣ, равно какъ и въ то время, когда онъ достигъ ея, появились Крыловъ, Жуковскій и Батюшковъ,—поэты по натурѣ, люди, призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзіи, а не преходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремѣло по всей Россіи, когда умеръ Карамзинъ...

Но все это служитъ не къ уменьшенію заслугъ Карамзина, а къ опредѣленію рода и характера его литературной дѣятельности. Если его творенія, какъ говорится, отжили свое время, тѣмъ не менѣе имя его будетъ всегда знаменито и почтенно, если хотите—безсмертно: его навсегда сохранитъ не только исторія литературы, но и благодарная память образованной части народа русскаго.

Новиковъ старался распространить въ русскомъ обществѣ охоту къ чтенію множествомъ книгъ; Карамзинъ дѣлалъ то же самое, но уже заманчивостью сочиненій. Удивительно ли, что онъ болѣе Новикова успѣлъ въ своемъ дѣлѣ? Онъ создалъ въ Россіи многочисленный, въ сравненіи съ прежнимъ, классъ читателей, создалъ, можно сказать, нѣчто вродѣ публики, потому-что образованный имъ классъ читателей получилъ уже извѣстное направленіе, извѣстный вкусъ, слѣдовательно болѣе или менѣе отличался характеромъ единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились къ прежнимъ, какъ относятся люди съ гастрономическими замашками къ людямъ, которые безъ разбору ѣдятъ все, что̀ ни поставятъ передъ ними, ни чѣмъ особенно не услаждаясь, ни чѣмъ не оскорбляясь. Это былъ безмѣрный шагъ впередъ. Повѣсти Карамзина, извлекшія столько слезъ изъ очей его нѣжныхъ читательницъ и столько вздоховъ изъ груди его чувствительныхъ читателей, нисколько не были произведеніями поэзіи, какъ искусства, какъ творчества; но тѣмъ не менѣе онѣ были для своего времени прекрасными беллетристическими произведеніями человѣка съ большимъ дарованіемъ. Самая сантиментальность направленія вообще всего, написаннаго Карамзинымъ, имѣетъ свое великое достоинство: она была необходима, какъ для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новой ступенью, новымъ шагомъ впередъ начавшей развиваться литературы. До Карамзина у насъ были періодическія изданія, но не было ни одного журнала: онъ первый далъ намъ его. Его «Московскій Журналъ» и «Вѣстникъ Европы» были для своего времени явленіемъ удивительнымъ и огромнымъ, особенно если сравнить ихъ не только съ бывшими до нихъ, но и съ бывшими послѣ

нихъ на Руси журналами, до самаго «Московскаго Телеграфа».. Какое разнообразіе, какая свѣжесть, какой тактъ въ выборѣ статей, какое умное, живое передаваніе политическихъ новостей, столь интересныхъ въ то время! Какая по тому времени умная и ловкая критика!

Къ чему ни обратитесь въ нашей литературѣ,—всему начало положено Карамзинымъ: журналистикѣ, критикѣ, повѣстироману, повѣсти исторической, публицизму, изученію исторіи. Мы не говоримъ уже о его стихотворствѣ, имѣвшемъ большую цѣну для своего времени; ни о его «Исторіи Государства Россійскаго», положившей начало дѣльному, ученому изученію русской исторіи и давшей для этого возможность. Въ «Исторіи Государства Россійскаго» — весь Карамзинъ, со всей огромностью оказанныхъ имъ Россіи услугъ и со всей несостоятельностью на безусловное достоинство въ будущемъ своихъ твореній. Причина этого—повторяемъ—заключается въ родѣ и характерѣ его литературной дѣятельности. Если онъ былъ великъ, то не какъ художникъ-поэтъ, не какъ мыслитель-писатель, а какъ практическій дѣятель, призванный проложить дорогу среди непроходимыхъ дебрей, расчистить арену для будущихъ дѣятелей, приготовить матеріалы, чтобы геніальные писатели въ разныхъ родахъ не были остановлены на ходу своемъ необходимостью предварительныхъ работъ. Державинъ былъ геніальный поэтъ по своей натурѣ, но если онъ не явился такимъ же по своимъ твореніямъ,—это потому именно, что прежде его былъ только Ломоносовъ, а не Карамзинъ,—тогда какъ для Пушкина было большимъ счастьемъ явиться уже на закатѣ дней Карамзина... Это вполнѣ опредѣляетъ нашу мысль о сущности дѣятельности и заслугъ Карамзина... Онъ, сказали мы, создалъ на Руси если еще не публику, то возможность публики, нѣчто вродѣ публики: подвигъ великій, но для котораго требовался не геній, обыкновенно устремляющій всѣ силы свои въ одну сторону, на одинъ предметъ, а энциклопедическій, разнообразный талантъ.

Сильно было движеніе, сообщенное нашей литературѣ Карамзинымъ. И оно принесло свои плоды. При полномъ владычествѣ и очарованіи имени Карамзина, тихо и незамѣтно возникло то новое, которое должно было смѣнить собою Карамзинскую эпоху. Но новый духъ не сознавалъ своихъ правъ и охотно подчинялся вліянію Карамзина. Крыловъ считался не больше какъ замѣчательнымъ послѣ Дмитріева баснописцемъ, и дѣйствительно, самобытность его таланта проявлялась только изрѣдка; по большей частью онъ или подражалъ въ своихъ басняхъ Лафонтену, или морализировалъ въ нихъ въ пользу и назиданіе дѣтей. Жуковскаго, пересадившаго романтизмъ на почву русской литературы, всѣ похвалили, но немногіе подозрѣвали его истинное значеніе. Батюшковъ, основатель пластически-художественнаго элемента въ русской поэзіи, восхищалъ своихъ современниковъ совсѣмъ не тѣмъ, что составляло величайшее достоинство его музы, родственной музѣ эллинской. Всѣ эти люди смотрѣли на Карамзина, какъ на своего учителя и хорега; всѣ они находились подъ вліяніемъ его идей. Очевидно, что это была школа или, лучше сказать, это были школы новыя, но переходныя, и потому нерѣшительныя, изъ которыхъ ни одна не была въ силахъ стоять во главѣ движенія и руководить имъ. Все, какъ будто, колебалось между прошедшимъ и будущимъ, и только ждало человѣка, который сдѣлалъ бы рѣшительный шагъ. И этотъ человѣкъ не замедлилъ явиться: то былъ Пушкинъ... Съ нимъ явилась новая школа поэзіи, не совсѣмъ удачно провозглашенная «романтической»...

Съ Пушкинымъ почти исчезли изъ русской поэзіи всѣ слѣды карамзинскаго направленія. Новое время и новое положеніе вещей дали поэту той эпохи другое направленіе. Но онъ былъ силенъ не столько силой времени, сколько своей глубоко-художественной натурой: вотъ что съ перваго же шагу эманципировало его отъ вліянія Карамзина. Первоначальному направленію своему онъ измѣнилъ впослѣдствіи, именно потому, что источникъ его скрывался въ современности, а не въ натурѣ его. Какъ человѣкъ, Пушкинъ отразилъ на себѣ всю неопредѣленность и шаткость направленій и убѣжденій своего времени, и въ умѣ его какъ-то странно уживались вмѣстѣ тенденціи поэта и помѣщика, человѣка и дворянина, мѣщанина и аристократа. Какъ поэтъ, Пушкинъ противорѣчилъ себѣ какъ человѣку, по крайней мѣрѣ вездѣ, гдѣ былъ онъ вѣренъ своей артистической натурѣ, гдѣ онъ былъ преимущественно художникомъ. Повторяемъ: сила его всегда была въ его художественной натурѣ. Становясь человѣкомъ (лицомъ частнымъ—particulier), онъ суевѣрно благоговѣлъ передъ карамзинскими идеями; становясь поэтомъ, онъ опережалъ ихъ на цѣлые вѣка...

Пушкинъ былъ главой поэтическаго движенія. Но времена перемѣнились: если уже беллетристъ-публицистъ не могъ быть главой литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ

удовлетворить собою всѣмъ требованіямъ эпохи. До какой степени эта эпоха рѣзко отдѣлилась отъ предшествовавшей, можно видѣть изъ обстоятельствъ появленія Пушкина на литературное поприще. Прежде всѣ поэты принимались безусловно, и каждому, кому только ни захотѣлось бы въ поэтическіе боги, готово было почетное мѣсто въ капищѣ поэзіи. Когда явился Карамзинъ, ограниченный кругъ тогдашнихъ читальщиковъ почти съ равнымъ восторгомъ произносилъ имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Самъ Карамзинъ высоко поставилъ Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всѣми съ восхищеніемъ. Появленіе Жуковскаго и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только нѣкоторыя сомнѣнія въ безусловномъ достоинствѣ Сумарокова и Хераскова, обнаруженныя Мерзляковымъ (1815 года), да юношески-рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева *) нѣсколько нарушили аркадскую безмятежность, съ которой весь пишущій людъ пользовался заслуженной и незаслуженной славой. Явившись на поприще литературной дѣятельности, Карамзинъ принялъ всѣ авторитеты; по крайней мѣрѣ не счелъ нужнымъ возставать противъ тѣхъ, которыхъ не признавалъ втайнѣ. Самъ онъ былъ вполнѣ главой литературной эпохи и изъ новыхъ писателей только Дмитріеву уступалъ пальму первенства въ стихотворствѣ. Во всемъ прочемъ онъ безусловно первенствовалъ въ литературѣ и былъ въ ней не только первымъ литераторомъ, но и первымъ поэтомъ, какъ нувеллистъ-романистъ. И это первенство было безусловно признано всѣми. Нападки на Карамзина славянофиловъ того времени, подъ предводительствомъ Шишкова, касались одного языка и были притомъ слишкомъ ничтожны сами по себѣ, потому-что на сторонѣ пуристовъ были только книжники, а на сторонѣ Карамзина—вся публика. Не такъ былъ принятъ Пушкинъ. Онъ былъ слишкомъ великъ, чтобы тотчасъ же быть понятымъ и оцѣненнымъ всѣми. И потому его встрѣтили съ одной стороны восторженные клики молодого поколѣнія, а съ другой—ожесточенная брань теоретиковъ и людей привычки, для которыхъ хорошо все старое, и дурно все новое. Притомъ же хотя поэзія Пушкина, въ смыслѣ историческаго развитія, и была, такъ сказать, результатомъ поэтическихъ усилій всѣхъ прежде него бывшихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова,—тѣмъ не менѣе однакожъ она была и ихъ отрицаніемъ. По крайней мѣрѣ такъ могло казаться съ перваго взгляда. Тогда естественно многимъ могла придти въ голову такая дилемма: «Если сочиненія Пушкина, писанныя вопреки всѣмъ правиламъ, извлеченнымъ изъ твореній великихъ геніевъ и утвержденнымъ вѣками, если они—истинныя поэтическія произведенія, то произведенія нашихъ великихъ поэтовъ (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанныя по вѣковымъ правиламъ,—уже не истинныя поэтическія творенія». Это ихъ по инстинкту рѣшило не признавать въ Пушкинѣ поэта или по крайней мѣрѣ видѣть въ немъ не болѣе, какъ обыкновенный талантъ, способный писать только безъ правилъ. Съ своей стороны восторженные почитатели Пушкина естественнымъ образомъ доходили до такой же несправедливости въ отношеніи къ его предшественникамъ на поэтическомъ поприщѣ. Такъ всегда раздѣляетъ людей на двѣ крайнія стороны всякая рѣзкая реформа. Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареной которыхъ должна была сдѣлаться журналистика.

Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературѣ. Она условливалась обстоятельствами. По роду своихъ способностей, Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ: его доставало на все—на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому-что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ нельзя играть роль поэта человѣку, не рожденному поэтомъ. Сверхъ того Полевой въ вопросѣ о поэзіи находился подъ вліяніемъ Пушкина, какъ живой практики всѣхъ теорій о поэзіи; но Пушкинъ въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны не могъ находиться ни подъ чьимъ вліяніемъ, потому-что самъ могъ черпать идеи изъ того-же источника, который служилъ всякому журналисту, т. е. изъ личнаго знакомства съ иностранными литературами. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своей эпохи и ужъ конечно не изъ русскихъ журналовъ могъ учиться и слѣдить за ходомъ европейскаго развитія.

Но, не смотря на это, Полевому предстояла роль дѣятельная и блестящая, вполнѣ сообразная съ его натурой и способ-

*) Теперь почтеннаго археолога. Въ 1815 году онъ издавалъ журналъ: *Современный наблюдатель россійской словесности*, въ которомъ отъ него порядкомъ и дѣльно досталось *Россіадѣ* и *Владиміру* къ величайшему соблазну литературныхъ старовѣровъ.

ностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобъ быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю. Чтобъ оцѣнить его журнальную дѣятельность и ея огромное вліяніе на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояніе, въ которомъ находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились по всей Россіи, проникли во всѣ ея захолустья, въ которыя дотолѣ проникали только буквари и сонники. Масса читателей увеличилась чрезъ это по крайней мѣрѣ въ десятеро и стала походить на публику. Вездѣ чувствовалась потребность въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно и въ теоріи. А этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на неприступной высотѣ; Сумарокова считали великимъ писателемъ; между Ломоносовымъ и Державинымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счету, и объ нихъ позволялось говорить однѣ только похвальныя фразы, которыя давно уже обратились въ общія мѣста. Литературные нравы вполнѣ соотвѣтствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести—попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искусъ: прежде всего онъ обязанъ былъ «не смѣть свое сужденіе имѣть»; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже пріобрѣтя лестную репутацію грибоѣдовскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть просить позволенія—прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ перемѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное его дѣтище поступало наконецъ въ печать. Еще лѣтъ десятокъ—и литература русская обогащалась, въ лицѣ этого новиціанта, или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакой. Во всякомъ случаѣ онъ поступалъ тогда, съ благословенія своихъ меценатовъ, въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей,—и всѣ вѣрили, что онъ—большой писатель, потому-что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авторитеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и меценаты, и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую-же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которые «вывели его въ люди». Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ!

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что̀ не отзывалось рутиной, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячей фразой,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ...

А журналы тогдашніе?.. «Вѣстникъ Европы», вышедши изъ-подъ редакціи Карамзина, только подъ кратковременнымъ завѣдываніемъ Жуковскаго напоминалъ о своемъ прежнемъ достоинствѣ. Затѣмъ онъ становился все суше, скучнѣе и пустѣе, наконецъ сдѣлался просто сборникомъ статей, безъ направленія, безъ мысли, и потерялъ совершенно свой журнальный характеръ. Конечно всегда, даже въ самые худшіе годы свои, былъ онъ лучше всѣхъ журналовъ, существовавшихъ въ Россіи до «Московскаго Журнала», издававшагося Карамзинымъ въ 1791 и 1792 годахъ. И не диво: благодаря Карамзину, ему и не было возможно быть хуже ихъ; но онъ долженъ былъ бы считать своей обязанностью быть лучше даже карамзинскаго «Вѣстника Европы», потому-что съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ его (съ 1804 года), много прошло времени, и отъ издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы возвысить и улучшить начатый имъ журналъ. Но вышло не такъ. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ «Вѣстникъ Европы» былъ идеаломъ мертвенности, сухости, скуки и какой то старческой заплѣсневѣлости. О другихъ журналахъ не стоитъ и говорить: иные изъ нихъ были сравнительно лучше «Вѣстника Европы», но не какъ журналы съ мнѣніемъ и направленіемъ, а только какъ сборники разныхъ статей. «Сынъ Отечества» даже принималъ на свои, до крайности сѣрые и жосткіе, листки стихотворенія Пушкина, Баратынскаго и другихъ поэтовъ новой тогда школы, даже открыто взялъ на себя обязанность защищать эту школу; но тѣмъ не менѣе самъ онъ представлялъ собой смѣсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, всего, что̀ похоже на опредѣленное и ни въ чемъ не противорѣчащее себѣ мнѣніе. Какъ судилъ и рядилъ «Сынъ Отечества» объ искусствѣ даже впослѣдствіи, можно видѣть изъ его опредѣленія романтизма, который, по его мнѣнію, начался съ Байрона и отличается отъ классицизма

тѣмъ, что начинаетъ съ половины или даже съ конца дѣла!..

Вообще должно замѣтить, что война за такъ - называемый романтизмъ противъ такъ-называемаго классицизма была начата не Полевымъ. Романтическое броженіе было общимъ между молодежью того времени. Острыя и бойкія полемическія статейки Мерлинскаго противъ литературныхъ старовѣровъ, печатавшіяся въ «Сынѣ Отечества», и его же такъ-называемые обзоры русской словесности, печатавшіеся въ извѣстномъ тогда альманахѣ; трехъ-мѣсячный сборникъ «Мнемозина», — все это выразило собою совершенно новое направленіе литературы, котораго органомъ былъ «Телеграфъ», и все это нѣсколькими годами упредило появленіе «Телеграфа». Слѣдовательно, Полевой не былъ ни первымъ, ни единственнымъ представителемъ новаго направленія русской литературы, какъ Карамзинъ былъ въ свое время первымъ и почти единственнымъ представителемъ новаго направленія, почти имъ же однимъ и произведеннаго, потому-что подлѣ его имени въ этомъ дѣлѣ можно вспомнить только два другихъ имени—Макарова и Дмитріева.

Но это нисколько не уменьшаетъ заслуги Полевого: мы увидимъ, что онъ съумѣлъ на своемъ пути стать выше всѣхъ соперничествъ и даже восторжествовать въ борьбѣ противъ всѣхъ враждебныхъ соревнованій...

Романтизмъ — вотъ слово, которое было написано на знамени этого смѣлаго, неутомимаго и даровитаго бойца,—слово, которое отстаивалъ онъ даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значеніе и когда уже не было противъ кого отстаивать его!.. Что же такое этотъ «романтизмъ», который наполнялъ собой цѣлую литературную эпоху, за который было столько чернильныхъ войнъ, столько полемическихъ битвъ на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, въ европейскихъ литературахъ уже давно кипѣли страшныя войны за него. Но не вездѣ онъ имѣлъ одинаковое значеніе. Первое движеніе въ его пользу обнаружилось въ Германіи, какъ реакція вліянію французской литературы, какъ протестъ въ пользу нѣмецкой національности въ литературѣ. Въ своей настоящей современной дѣйствительности Германія не видѣла, по извѣстнымъ причинамъ, никакихъ національныхъ элементовъ и обратилась къ своему прошедшему, къ своимъ среднимъ вѣкамъ, къ рыцарскимъ замкамъ, съ ихъ башнями и подъемными мостами, съ ихъ поэтическимъ варварствомъ и романтической дикостью ихъ нравовъ. Гёте и Шиллеръ не были вполнѣ представителями этого романтическаго движенія, но заплатили ему не малую дань, особенно послѣдній. Потомъ нѣмецкій романтизмъ началъ принимать новое направленіе, какъ реакція сухой и обнаженной простоты протестантизма, какъ усиліе въ пользу мистицизма среднихъ вѣковъ и противъ философскаго раціонализма. Жаркими поборниками этого направленія явились братья Шлегели. Думая найти всякую опору своимъ теоріямъ въ посредственномъ, но зато ультра-романтическомъ Тикѣ, они провозгласили его великимъ поэтомъ, имѣли жалкую смѣлость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затѣя не больше, какъ воспоминаніе: романтизмъ, на время искусно воскрешенный, давно уже вновь опочилъ сномъ непробуднымъ. Шлегелей нѣтъ, а Тику удивляется только рѣдѣющая толпа стариковъ, скудно вознаграждая его этимъ удивленіемъ за насмѣшки и презрѣніе молодыхъ поколѣній... Въ Англіи романтизмъ былъ особожденіемъ отъ вліянія французскаго классицизма, принятаго школой Попе, Адиссона и Драйдена. Байронъ и не думалъ быть романтикомъ въ смыслѣ поборника среднихъ вѣковъ: онъ смотрѣлъ не назадъ, а впередъ. Романтизмъ во Франціи сперва былъ реакціей революціонному раціонализму и явился въ ней съ Шатобріаномъ, этимъ рыцаремъ реставраціи. Потомъ французскій романтизмъ превратился въ простой, чисто литературный вопросъ о свободѣ поэтическихъ формъ, до уродливости сжатыхъ и искаженныхъ прежнимъ классицизмомъ. Въ сущности дѣло тутъ шло о томъ, которая школа натуральнѣе— Расина или Шекспира, и можно ли въ трагедіи вводить лица низшихъ сословій и патетическое мѣшать съ комическимъ. Представителемъ этого романтическаго движенія во Франціи былъ Викторъ Гюго, поэтъ даровитый, отнюдь не геніальный, болѣе богатый воображеніемъ, нежели тактомъ истины. По чувству противорѣчія, онъ дошелъ до величайшихъ нелѣпостей: вмѣсто того, чтобы отрицать въ прежней псевдо-классической школѣ однѣ ея крайности, онъ почелъ за нужное идти ей наперекоръ даже и въ томъ, что̀ составляло ея истинное и высокое достоинство, что̀ дѣлало ее глубоко національной: чувство мѣры и постоянное присутствіе того, что̀ французы называютъ le bon sens. Онъ дошелъ до того, что гордо объявилъ чудовищное прекраснымъ: le laid, c'est le beau... Подчиняясь нѣмецкому вліянію, онъ ринулся въ средніе вѣка, но вынесъ оттуда только одни нелѣпыя преувеличенія. Гюго имѣлъ свою минуту торжества, но давно уже во Франціи и онъ, и романтизмъ не

больше, какъ преданіе... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится тамъ условныхъ и стѣснительныхъ формъ псевдо-классицизма, но за это никого уже не называютъ тамъ «романтикомъ».

Само-собою разумѣется, что у насъ романтизмъ не могъ имѣть никакого соотношенія ни съ католицизмомъ, ни съ средними вѣками. Онъ могъ бы еще быть стремленіемъ къ лирической, субъективной настроенности въ поэзіи, усиліемъ сдѣлать поэзію выраженіемъ преимущественно внутреннихъ тайнъ сердца, мистики человѣческой личности, потому-что такое направленіе поэзіи есть дѣйствительно романтическое. Но Жуковскій уже ввелъ въ нашу поэзію этотъ романтизмъ гораздо прежде, нежели слово «романтизмъ» сдѣлалось извѣстнымъ въ нашей литературѣ. И однакожъ Жуковскаго ни тогда, ни послѣ никто не называлъ романтикомъ: это названіе было утверждено общимъ голосомъ за Пушкинымъ, который и по своей натурѣ, и по характеру своей поэзіи несравненно меньше Жуковскаго былъ романтикомъ. За что же прослылъ онъ такимъ ультра - романтикомъ? — За то, что откинулъ въ своихъ произведеніяхъ всѣ старыя формы и началъ писать элегіи и поэмы. Изъ этого ясно видно, что нашъ романтизмъ никогда не былъ ничѣмъ другимъ, какъ реакціей стѣснительнымъ и условнымъ формамъ, занятымъ нашей литературой у французской литературы. Новѣйшій классицизмъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ усиліемъ поддѣлываться подъ формы древнихъ литературъ, греческой и латинской, произведенія которой были признаны классическими, т. е. образцовыми,—такими, которыя могли читаться въ училищахъ, въ классахъ, какъ непогрѣшительные образцы, достойные подражанія. Потомъ дошли до убѣжденія, что писать хорошо можно не иначе, какъ рабски подражая древнимъ. Разумѣется, подражать древнимъ можно было только въ формѣ, а не въ духѣ, но и это не могло не вредить добровольнымъ подражателямъ, потому-что это значило новый духъ заковывать въ старыя и чуждыя ему формы. Такъ и было во Франціи. Но французскіе писатели, подражая древнимъ, на зло самимъ-себѣ и безъ собственнаго вѣдома, оставались вѣрными своему національному духу, тогда-какъ ихъ подражатели, думая быть греками и римлянами, были ровно ничѣмъ. Объ уравновѣшеніи природы и духа, выражавшемся въ пластически-прекрасной формѣ, никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, а всѣ твердили только о знаменитомъ тріединствѣ, плохо понятомъ изъ Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что въ классическомъ искусствѣ форма преобладаетъ надъ идеей, а въ романтическомъ, наоборотъ,—идея надъ формой. Но это, во-первыхъ, не совсѣмъ было вѣрно въ отношеніи къ древнему искусству, потому-что въ немъ видно было примиреніе духа съ природой, уравновѣшеніе идеи съ формой, а не перевѣсъ формы надъ идеей. Равнымъ образомъ не совсѣмъ вѣрно судили и о романтизмѣ, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона,—тогда какъ истинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а изъ извѣстныхъ поэтовъ развѣ только Петрарка и Дантъ, первый въ своихъ сонетахъ, исполненныхъ мечтательной идеальной любви, а второй въ своей чудовищной и тѣмъ не менѣе великой поэмѣ, исполненной католическихъ тенденцій и богословскихъ аллегорій и такъ полно отразившей въ себѣ всю уродливо-величавую жизнь среднихъ вѣковъ. Новѣйшее искусство скорѣе должно стремиться подойти къ древнему, нежели къ романтическому, оставаясь въ сущности ровно ни тѣмъ, ни другимъ. Все это теперь ясно, какъ день. Но тогда вопросъ былъ многосложенъ, и спорящія стороны не понимали ни себя, ни другъ друга. Какъ ни бросались въ философію, что̀ ни твердили о внѣшнемъ и внутреннемъ, о формѣ и идеѣ, но главнымъ вопросомъ все-таки оставалось освобожденіе отъ условныхъ правилъ, безъ нужды стѣснявшихъ вдохновеніе и отдалявшихъ искусство отъ естественности, самобытности и народности.

Вопросъ сто̀илъ споровъ, дѣло сто̀ило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и мертво, забыты и побѣжденные, и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимой плотиной для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, беллетристъ.

«Московскій Телеграфъ» былъ явленіемъ необыкновеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, нигдѣ не учившійся, купецъ званіемъ, берется за изданіе журнала, —и его журналъ съ первой же книжки изумляетъ всѣхъ живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ вѣрностью въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выразившемуся направленію. Такой журналъ не могъ бы не быть замѣченнымъ и въ толпѣ

хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безцвѣтной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ втеченіе почти десяти лѣтъ съ той постоянной заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабѣваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ могутъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее въ общество, сдѣлать ходячей истиной. И это совершилъ Полевой! Боже мой! какъ взъѣлись на него за эту мысль ученые невѣжды, безталанные литераторы, плохіе журналисты, закоснѣвшіе въ предразсудкахъ старики! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умной, оригинальной, чуждой предразсудковъ критикой «Московскаго Телеграфа», высказывавшаго свои мнѣнія прямо, не смотрѣвшаго ни на какіе авторитеты! И было изъ чего сердиться на этотъ журналъ: нѣтъ возможности пересчитать всѣ авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовыми стишищами переложилъ расиновскую трагедію; другой написалъ мадригалъ Лилетѣ и тріолетъ Хлоѣ; третій—дюжину плаксивыхъ стишонковъ; четвертый—сантиментальную повѣсть; извѣстность пятаго была основана на статьѣ, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдалъ за свое сочиненіе забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. «Московскій Телеграфъ» на все навелъ справки, все вспомнилъ, все вывелъ наружу... Многимъ сказалъ онъ, что ихъ сочиненія въ свое время могли имѣть свою относительную цѣнность, но что время ихъ прошло, и что теперь мальчики пишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и знаменитыхъ авторовъ. На все на это нужно было тогда много смѣлости: въ то время самое легкое замѣчаніе не въ пользу автора или сочиненія принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, рекритикъ, отвѣтовъ, возраженій и проч. Считавшіе себя обиженными не забывали этого; а кому пріятно имѣть безчисленное множество враговъ, иногда просто изъ ничего? Да, для этого нужно было больше, чѣмъ смѣлость, — нужно было самоотверженіе. Особенную ненависть навлекъ на себя Полевой со стороны ученаго люда, учившагося по старымъ книгамъ и не подозрѣвавшаго, что могутъ быть новыя и лучшія. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что онъ, да кто онъ, гдѣ онъ учился, гдѣ его аттестаты, какія его ученыя званія? онъ купецъ, торгашъ, самоучка, всезнайка и т. п. Повѣрятъ ли, что многіе «ученые» въ своихъ выходкахъ противъ Полевого не стыдились дѣлать намеки на его водочный заводъ,—пятно, какъ сказалъ Пушкинъ, ужасное, какъ извѣстно, всему нашему дворянству!.. Вотъ что̀ напримѣръ было сказано между прочимъ о Полевомъ въ «Вѣстникѣ Европы» (1828 года, № 23, стр. 199): «Онъ прикидываетъ къ нимъ (къ поэтамъ) волчокъ критики съ размаху и опредѣляетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэтическаго угара»...

Загляните въ современные «Московскому Телеграфу» журналы—и вы подумаете, что Полевой не умѣлъ иначе говорить, какъ страшными ругательствами, что журналъ его былъ складочнымъ мѣстомъ полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московскій Телеграфъ» хоть за все время его существованія,—и вы увидите, что всегда, въ жару самой запальчивой полемики, онъ умѣлъ сохранять свое достоинство, уважать приличіе и хорошій тонъ, и что въ самыхъ любезностяхъ его противниковъ было больше грубости и плоскости, нежели въ его брани. Мы пишемъ не панегирикъ, не эклогу, а характеристику замѣчательнаго дѣятеля на поприщѣ русской литературы, и потому мы не скажемъ не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы онъ всегда былъ безпристрастенъ въ отношеніи къ своимъ противникамъ, всегда умѣлъ отдавать имъ должную справедливость. Нѣтъ, онъ былъ человѣкъ, и притомъ постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями, ошибался и бывалъ не правъ; но въ исторіи человѣческихъ дѣлъ вопросъ не въ томъ, кто былъ безупреченъ и непогрѣшителенъ, а въ томъ, кто болѣе другихъ относительно, по возможности, былъ справедливъ, или у кого сумма добраго стремленія и добрыхъ дѣлъ если не перевѣшиваетъ недостатковъ и слабостей, то искупляетъ ихъ... И въ этомъ отношеніи издатель «Московскаго Телеграфа» смѣло могъ бы разсказать всему свѣту исторію своихъ отношеній къ противникамъ,

не скрывая своихъ промаховъ и ошибокъ, смѣло могъ бы одинъ противостать цѣлой ихъ фалангѣ... Наведя справки, не трудно убѣдиться, что полемики въ «Московскомъ Телеграфѣ» было не много, по крайней мѣрѣ меньше, нежели въ каждомъ изъ современныхъ ему журналовъ, не говоря уже о томъ, что его полемическія статьи всегда были умны, дѣльны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общаго ожесточенія противъ этого журнала должно искать не столько въ полемическихъ статьяхъ, сколько въ его критикѣ и библіографіи, гдѣ правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась больнѣе. До «Телеграфа» въ нашей журналистикѣ уклончивый тонъ принимали за одно съ вѣжливымъ; старались какъ можно меньше говорить о писателяхъ и сочиненіяхъ, а если говорили, то съ тѣмъ, чтобы хвалить общими избитыми фразами. Полевой показалъ первый, что литература — не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина—не такая бездѣлица, которой можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и высказать себя человѣкомъ «безпокойнымъ», т. е. хуже чѣмъ безнравственнымъ.

Многіе раздѣляютъ людей въ нравственномъ отношеніи на благонамѣренныхъ и безпокойныхъ: первые не мѣшаютъ другимъ обдѣлывать свои дѣлишки, каковы бы они ни были, лишь бы только и имъ никто не мѣшалъ въ тихомолочку заниматься тѣмъ же самымъ; вторые никакъ не могутъ вытерпѣть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что ихъ сосѣдъ, посредствомъ справокъ и отношеній, пустилъ по міру цѣлое семейство, или,

Когда весь городъ знаетъ,
Что у него ни за собой,
Ни за женой —
А смотришь, помаленьку
То домикъ выстроитъ, то купитъ деревеньку.

И въ литературномъ мірѣ даже и теперь «благонамѣренныхъ» несравненно больше, нежели «безпокойныхъ», а въ то время, то есть до «Телеграфа», послѣднихъ почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этотъ журналъ многимъ казался чудовищнымъ явленіемъ, именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истину ставилъ выше людей и ради ихъ не щадилъ авторскихъ самолюбій. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда-нибудь могло быть такимъ образомъ и до такой степени: и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указываетъ на рѣзкое различіе роли Полевого отъ роли Карамзина на одномъ и томъ же впрочемъ поприщѣ. Карамзинъ не былъ связанъ прошедшимъ, и ему не съ чѣмъ было бороться, почему онъ и не оскорбилъ ни чьего самолюбія, не возбудилъ ни чьей вражды къ себѣ, кромѣ завистниковъ, блѣдный рой которыхъ скоро долженъ былъ исчезнуть при быстрыхъ успѣхахъ его славы и при общей любви къ нему большинства образованнаго общества. Обстоятельства, положеніе литературы дали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отрицалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Кромѣ того во время Карамзина было не до идей и вопросовъ; первыхъ никто не спрашивалъ, вторыхъ не было, общество было для нихъ еще слишкомъ молодо, неразвито и безсознательно. Спорили о фразахъ, хлопотали о правильности и чистотѣ языка, и всѣ вопросы заключались въ стилистикѣ. Во всемъ остальномъ дѣло шло о томъ, чтобы педантическую школьную литературу сдѣлать свѣтской, общественной и общительной, равно привлекательной и для кабинетнаго труженика, и для дѣлового человѣка, и для свѣтскаго щеголя и свѣтской дамы. И Карамзинъ это сдѣлалъ не теоріями, не спорами, а образчиками сочиненій, которыхъ требовалъ духъ времени. Онъ былъ знакомъ хорошо и съ французской, и съ нѣмецкой, и съ англійской литературами, но ихъ вліяніе на него было больше внѣшнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII вѣка не волновали его, по крайней мѣрѣ этого не замѣтно въ его сочиненіяхъ. Фонвизинъ предшественникъ Карамзина, гораздо больше былъ сыномъ своего вѣка. Карамзинъ заимствовалъ у XVIII вѣка только сантиментальное направленіе и обожаніе природы, которую называлъ онъ Натурой, тоже сантиментальное, но не пантеистическое; о любви и всѣхъ сердечныхъ склонностяхъ говорилъ онъ какъ будто съ голосу Руссо, но въ сущности смотрѣлъ на нихъ не больше, какъ на извинительныя слабости человѣческаго естества. Вотъ все, чѣмъ ограничилось вліяніе на него вѣка. Но чрезъ двадцать-пять лѣтъ явились уже другія потребности, явилось стремленіе къ сознанію, къ изслѣдованію, къ анализу. Захотѣли узнать, что̀ такое Шекспиръ и Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шиллеръ, что̀ такое Востокъ и классическая древность, что̀ такое философія, политическая экономія и т. д., и все это свели на вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, или по крайней мѣрѣ кстати и некстати все это привязали къ нему.

Всѣ новыя идеи, возникшія въ Европѣ въ началѣ XIX вѣка, смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались въ ней. Это было время, когда хотѣли ломать и строить, но на половинѣ ломки останавливались, чтобы сдѣлать новую надстройку, а на половинѣ стройки останавливались, чтобы кончить по старому. Это была эпоха чисто переходная. И «Телеграфъ», вѣрный своему названію, былъ полнымъ представителемъ этой эпохи. Въ немъ было много силы, энергіи, жару, стремленія, безпокойства, тревожности, онъ неусыпно слѣдилъ за всѣми движеніями умственнаго развитія въ Европѣ и тотчасъ же передавалъ ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ все въ немъ было неопредѣленно, часто смутно, а иногда и противорѣчиво. Это давало полную возможность придираться къ нему людямъ, стоявшимъ внѣ умственнаго движенія своей эпохи. И они не шутя считали себя неизмѣримо выше Полевого и съ важностью ловили и высчитывали его обмолвки, промахи, ошибки, не понимая, что ихъ преимущество надъ нимъ состояло только въ томъ, что они спали, а онъ жилъ и дѣйствовалъ: кто спитъ, тотъ, разумѣется, не грѣшитъ, особенно если спитъ такъ крѣпко, что и во снѣ ничего не видитъ... Они гордо величали его то самоучкой, то недоучкой, и на основаніи его ошибокъ (а часто и того, что только имъ казалось ошибками, то есть чего они не въ состояніи были понять) доказывали, что онъ невѣжда и шарлатанъ.

Правда, онъ учился самоучкой, и то, что другимъ давалось безъ труда, досталось ему страшными усиліями; но если этотъ путь къ знанію немогъ не повредить Полевому, болѣе или менѣе разладивши его съ систематичностью и методой, зато и принесъ ему большую пользу: спасъ его отъ школьныхъ предразсудковъ, отъ педантизма и образовалъ изъ него публициста, которому нужно имѣть дѣло не съ аудиторіей, а съ обществомъ. Его все интересовало, ко всему влекло, и онъ учился съ жаромъ, съ упорствомъ, съ настойчивостью; но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія при житейскихъ заботахъ, при изданіи журнала естественно не допускала его углубиться въ какой-нибудь исключительный предметъ, сдѣлаться ученымъ. Неопредѣленность идей (свойство той эпохи) и поверхностность многосторонняго знанія (результатъ энциклопедическаго направленія и самообразованія) отзывались во многомъ, что писалъ онъ, особенно въ его философскихъ воззрѣніяхъ; но онъ равно былъ чуждъ и невѣжества, и шарлатанства, въ которыхъ его обвиняли противники. Натура живая и воспріимчивая, онъ страстно увлекался всѣми современными идеями, и его можно было обвинять только въ томъ, что онъ часто понималъ ихъ по своему, но не въ томъ, чтобы онъ говорилъ о нихъ, не понимая ихъ. Журналистъ и беллетристъ по призванію, человѣкъ практическій по своей природѣ, онъ всегда былъ ясенъ и опредѣленъ, когда не бросался въ теорію, но говорилъ просто, какъ человѣкъ со вкусомъ, съ здравымъ смысломъ и съ образованіемъ. Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямого источника, недоступнаго для диллетантовъ и любителей философіи, а изъ популярныхъ лекцій Кузена,—и его главная ошибка тутъ состояла въ томъ, что этого беллетриста философіи онъ принялъ за главу философическаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ. Даже и въ этомъ отношеніи, можетъ-быть составляющемъ самую слабую сторону образованія Полевого, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремившейся, ничего не оставившей безъ вниманія. Вмѣстѣ съ нимъ много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потомъ называвшихъ себя «учеными»; всѣ они были противъ него одного; но что же сдѣлали они, или что они дѣлаютъ теперь?.. Гдѣ свершеніе тѣхъ надеждъ, которыя они подавали?.. Черезъ два года послѣ «Московскаго Телеграфа» явился «Московскій Вѣстникъ», за нимъ—«Атеней» и «Галатея», даже дряхлый «Вѣстникъ Европы» оживился, ударился въ ожесточенную полемику, схватился за теорію и даже философію, потомъ всѣ они соединились въ «Телескопѣ», чтобы сильнѣе ударить на своего общаго врага; но они могли только поднять его своими нападками, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для публики...

Сначала въ «Телеграфѣ» принимали участіе, хотя и не большое, даже Жуковскій и Пушкинъ, и весьма значительное участіе принималъ въ немъ князь Вяземскій. Но вскорѣ участь этого журнала стала зависѣть только отъ дѣятельности и таланта его издателя, постоянно вспомоществуемаго только своимъ братомъ, К. А. Полевымъ; но журналъ отъ этого не упалъ, а годъ отъ году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже двѣ важныя ошибки его издателя. Первая изъ нихъ была—примиреніе съ однимъ петербургскимъ журналомъ и одной петербургской газетой послѣ продолжительной и постоянной войны съ ними. Такъ какъ эта война дѣлала особен-

ную честь «Телеграфу», то примиреніе не могло не окомпрометтировать его. Эта важная ошибка была слѣдствіемъ другой, еще важнѣйшей. Въ 1829 году Полевой напечаталъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ «Исторіи Государства Россійскаго». Статья была превосходно написана, мѣра заслугъ Карамзина оцѣнена въ ней была вѣрно, безпристрастно, съ полнымъ уваженіемъ къ имени знаменитаго писателя. Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось въ «Телеграфѣ» объявленіе о скоромъ выходѣ «Исторіи Русскаго Народа». Тогда поднялась противъ Полевого страшная буря: его статья объ исторіи Карамзина объяснялась его противниками, какъ предисловіе къ объявленію о подпискѣ на собственную исторію. Но всѣ эти вопли Полевому легко было сдѣлать ничтожными и обратить къ собственной чести и къ предосужденію своихъ противниковъ: ему стоило только всегда сохранять тонъ должнаго уваженія къ Карамзину, даже доказывая его ошибки; но онъ не вытерпѣлъ—и досаду на своихъ противниковъ сталъ вымѣщать на «Исторіи» Карамзина. «Исторія Русскаго Народа» явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была исторія, а въ другомъ—довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отведено ровно по полустраницѣ... Пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги, но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью...

Къ этой же эпохѣ «Телеграфа» относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя съ его статьями, многоглаголивыми, широковѣщательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ подъ фирмой ратованія за новое скрывались отсталость и страшная ограниченность въ понятіяхъ... Но «Телеграфъ» вынесъ и этотъ сильный ударъ, имъ же самимъ нанесенный себѣ: не смотря на все это, онъ не падалъ, а улучшался. Причина этого заключалась въ личности его издателя. Онъ былъ литераторомъ, журналистомъ и публицистомъ не по случаю, не изъ разсчета, не отъ нечего дѣлать, не по самолюбію, а по страсти, по призванію. Онъ никогда не неглижировалъ изданіемъ своего журнала, каждую книжку его издавалъ съ тщаніемъ, обдуманно, не жалѣя ни труда, ни издержекъ. И при этомъ онъ владѣлъ тайной журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшной способностью. Онъ постигъ вполнѣ значеніе журнала, какъ зеркала современности; «и современное» и «кстати»—были въ рукахъ его по истинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о пріѣздѣ Гумбольдта въ Россію, онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ ли какда-нибудь европейская знаменитость, —въ «Телеграфѣ» тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэтъ, то критическая оцѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущей новостью, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. Поэтому «Телеграфъ» совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т. е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостью... И потому, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать положительно, что «Московскій Телеграфъ» былъ рѣшительно лучшимъ журналомъ въ Россіи отъ начала журналистики.

Въ 1832, 1833 и 1834 годахъ «Телеграфъ», нисколько не ослабѣвая ни въ энергіи, ни въ разнообразіи, ни въ достоинствѣ, тѣмъ не менѣе былъ уже въ своей апогеѣ, даже на поворотѣ съ нея. Онъ сдѣлалъ свое дѣло и, попрежнему хлопоча о движеніи впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, наперекоръ самому себѣ, началъ принимать характеръ коснѣнія. Въ эти три года были напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полевого сочиненій Державина, Жуковскаго, Пушкина и повѣсти: «Блаженство Безумія», «Живописецъ», «Эмма». Въ тѣхъ и другихъ Полевой высказался вполнѣ, въ тѣхъ и другихъ вполнѣ выказались уголъ его зрѣнія, сгибъ его ума, характеръ его образованія, равно какъ вполнѣ отразилась его эпоха съ ея живой дѣятельностью, безпокойнымъ, тревожнымъ движеніемъ, заносчивостью, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностью и неопредѣленностью въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами и туманными фразами вмѣсто теоріи, съ смѣлостью, отвагой, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повѣстяхъ Полевой какъ бы поспѣшилъ представить результатъ своей журнальной дѣятельности, разомъ цѣлостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ говорилъ нѣсколько лѣтъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствовалъ, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ нашей литературѣ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное,—и торопился высказаться вполнѣ и опредѣленно. А новое между тѣмъ дѣй-

ствительно возникало,—и Полевой отступилъ отъ Пушкина, какъ отъ отсталаго поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшаго великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понялъ онъ Гоголя и, по искренному убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи...

Съ прекращеніемъ «Телеграфа» поприще Полевого, какъ журналиста, было кончено, и ему слѣдовало ограничиться такъ-называемыми солидными трудами—доканчивать свою исторію, писать и издавать книги... Но что прикажете дѣлать съ неугомонной журнальной натурой? Быть столько времени и съ такимъ успѣхомъ первымъ голосомъ въ журналистикѣ — и слышать новые, дотолѣ безвѣстные голоса, которые поютъ уже совсѣмъ другую пѣсню, на это у него не достало силы резиньироваться. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходился съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался было за редакцію новыхъ — и только доказывалъ этимъ, что время его прошло невозвратно... При этомъ естественно не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикой, выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонѣ... Но довольно объ этомъ: заслуги Полевого такъ велики, что, при мысли о нихъ, нѣтъ ни охоты, ни силы распространяться о его ошибкахъ...

О его драмахъ мы ничего не скажемъ, кромѣ того, что онѣ доказываютъ его удивительную способность быть всѣмъ въ области беллетристики и во всемъ дѣйствовать съ бо́льшимъ или меньшимъ успѣхомъ. Возьмись онъ за нихъ въ началѣ, а не въ концѣ своего поприща, —и онѣ можетъ-быть умножили бы его права на общую признательность... Повѣсти его потому именно имѣютъ свое относительное достоинство, что явились во-время. Не долго нравились онѣ, но нравились сильно, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ былъ вѣренъ себѣ, и для него онѣ были только особенной отъ журнальныхъ статей формой для развитія тѣхъ же тенденцій, которыя развивалъ онъ и въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. То же должно сказать и о его романахъ, изъ которыхъ «Клятва при Гробѣ Господнемъ» отличается мѣстами замѣчательнымъ умѣньемъ пользоваться историческими источниками для романическихъ сценъ и картинъ.

Вѣренъ былъ онъ себѣ и въ своей «Исторіи Русскаго Народа»: какъ во всемъ, что̀ ни писалъ онъ, и въ ней былъ онъ журналистомъ, а не историкомъ. Въ этомъ ея слабая сторона, но въ этомъ и ея относительныя достоинства. Онъ взялся за нее не по призванію, однакожъ и не изъ разсчета, какъ утверждали это его противники, а по страстному влеченію своей журнальной натуры—все представлять въ новомъ видѣ, ко всему прилагать новыя идеи. Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ его головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприложимъ къ русской исторіи. Это значило вовсе не понять русской исторіи, и не нужно говорить, что̀ изъ этого вышло. Истина взяла наконецъ свое, и послѣдніе томы «Исторіи Русскаго Народа» уже очень похожи на «Исторію Государства Россійскаго»... Конечно нельзя сказать, чтобы въ первой не было ничего дѣльнымъ образомъ новаго, но въ сущности «Исторія» Полевого только возвысила «Исторію» Карамзина... Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая изъ хорошаго источника, ошибка человѣка умнаго и даровитаго, думавшаго быть дальше своей эпохи, но на дѣлѣ бывшаго только однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ ея выраженій... Впослѣдствіи Полевой написалъ русскую исторію для дѣтей: это былъ трудъ простой, безъ претензій, и потому очень дѣльный и полезный, отличавшійся даже ясностью и картинностью историческаго изложенія.

Полевой родился въ купеческомъ семействѣ и готовился быть купцомъ. Ему было около двадцати лѣтъ отъ роду, когда рѣшился онъ учиться и образоваться. Отецъ его, человѣкъ стараго времени, неблагосклонно смотрѣлъ на его любовь къ книгамъ, и Полевой занимался ими тайкомъ. Кончивъ днемъ дѣла свои по торговлѣ, ночью, вмѣсто того чтобы спать, принимался онъ за ученье. Не всегда могъ доставать онъ для этого огарокъ свѣчи, потому-что отецъ его запретилъ ему сидѣть по ночамъ. Не было свѣчи — онъ пользовался луннымъ свѣтомъ; доставалъ свѣчу— и затыкалъ щелки своей комнаты, чтобы предательскій свѣтъ огня не бросился въ глаза отцу. Въ такихъ страшныхъ, разрушительныхъ для здоровья трудахъ провелъ онъ три года. Въ это время написалъ онъ статью о проѣздѣ императора Александра черезъ Курскъ и послалъ ее въ «Московскія Вѣдомости». Статья обратила на себя вниманіе курскаго губернатора, который захотѣлъ познакомиться съ молодымъ авторомъ. Это живо затронуло самолюбіе старика-отца, и онъ позволилъ своему сыну заниматься книгами. У пьянаго дьячка началъ Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенной памятью, для начала выучилъ наизусть цѣлый французскій лексиконъ...

Эта неудержимая страсть къ ученію, эта страшная сила воли въ достиженіи цѣли и преодолѣніи препятствій достаточно доказываютъ, что Полевой не былъ человѣкомъ обыкновеннымъ. Почти двадцати-двухъ лѣтъ началъ онъ самоучкой учиться русской грамматикѣ: это было около 1818 года, а въ 1825 году, т. е. чрезъ семь лѣтъ, Полевой былъ издателемъ лучшаго журнала въ Россіи... Такіе люди не часто являются, и гораздо легче попасть въ доктора всѣхъ возможныхъ наукъ, нежели сравниться съ ними...

Заключаемъ. Предлагаемая статья не есть ни памфлетъ, ни панегирикъ; мы старались безъ преувеличенія оцѣнить заслуги одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, не скрывая слабыхъ сторонъ его литературной дѣятельности, но смотря на нихъ sine ira et studio. Пусть судятъ читатели, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Явится много толковъ о Полевомъ: одни будутъ безъ мѣры превозносить, другіе безъ мѣры унижать его, тѣ провозгласятъ его великимъ ученымъ, другіе—великимъ романистомъ и нувеллистомъ, третьи—чего добраго!—великимъ драматургомъ; но едва ли кто-нибудь признаетъ его тѣмъ, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ замѣчателенъ... Такъ думаемъ мы, хорошо зная современную литературу и ея дѣятелей... Дай Богъ, чтобы мы ошиблись въ этомъ; но во всякомъ случаѣ смѣемъ думать, что голосъ нашъ, упредивши другія сужденія, не будетъ безполезенъ для тѣхъ, которые возьмутся судить о Полевомъ...

АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

Русскій бытъ —
Увы! — совсѣмъ не такъ гладитъ,
Хоть о семейности его
Славянофилы намъ твердятъ
Уже давно, — но, виноватъ,
Я въ немъ не вижу ничего
Семейнаго... О старинѣ
Разсказовъ много знаю я,
И память вѣрная моя
Тьму пѣсенъ сохранила мнѣ
Однообразныхъ и простыхъ,
Но страшно грустныхъ... Слышенъ въ нихъ
То голосъ воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подколодною змѣей
Опутанный, — то плачъ о томъ,
Что тускло зимнимъ вечеркомъ
Горитъ лучина, — хоть не спать
Бѣдняжкѣ ночь, и друга ждать,
И тѣшить старую любовь, —
Что ту лучину залила
Лихая старая свекровь...
О, вѣрьте мнѣ: не весела
Картина — русская семья...
Семья для насъ всегда была
Лихая мачиха, не мать...

А. Григорьевъ.

Издавая въ свѣтъ полное собраніе стихотвореній покойнаго Кольцова, мы прежде всего думаемъ выполнить долгъ справедливости въ отношеніи къ поэту, до сихъ поръ еще не понятому и не оцѣненному надлежащимъ образомъ. Конечно нельзя сказать, чтобы Кольцовъ не обратилъ на себя общаго вниманія еще при первомъ появленіи своемъ на литературное поприще; но это вниманіе относилось не столько къ поэту съ сильнымъ самобытнымъ талантомъ, сколько къ любопытному феномену. Большей частью въ немъ видѣли русскаго мужичка, который, едва зная грамотѣ, самъ собою открылъ и развилъ въ себѣ способность писать стишки, и притомъ недурные. Всѣ поняли, что по таланту Кольцовъ выше Слѣпушкина, Суханова, Алипанова; но не многіе поняли, что у него рѣшительно не было ничего общаго съ этими поэтами-самоучками, какъ ихъ тогда величали. Впрочемъ это естественно, и тутъ некого винить. Для вѣрной оцѣнки всякаго поэта нужно время, и не разъ случалось, что даже великіе геніи въ области искусства были признаваемы только потомствомъ. Теперь этого уже не

бываетъ, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть въ геніи, нежели генію не быть признаннымъ; но и теперь это признаніе цѣлой массой общества тоже требуетъ времени и обходится не безъ борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замѣчательному таланту, выходящему изъ-подъ уровня обыкновенности.

Кромѣ этого обстоятельства, Кольцовъ явился въ то время русской литературы, когда она, такъ сказать, кипѣла новыми талантами въ новыхъ родахъ. Едва замолкли поэты, вышедшіе по слѣдамъ Пушкина, какъ начали появляться романисты, нувеллисты, а потомъ поэты-стихотворцы, рѣзко отличавшіеся отъ прежнихъ своимъ направленіемъ и колоритомъ. Въ литературѣ молодой и не установившейся новость возбуждаетъ такое же вниманіе, какъ и геніальность, и часто считается за одно съ нею, хотя и не надолго. Среди всѣхъ этихъ новостей самъ Кольцовъ возбудилъ собою вниманіе, какъ новость, появившаяся подъ именемъ поэта-прасола. Будь онъ не мѣщанинъ, почти безграмотный, не прасолъ, — его стихотворенія можетъ-быть едва ли были бы тогда замѣчены. Первыя стихотворенія Кольцова печатались изрѣдка въ разныхъ малоизвѣстныхъ изданіяхъ. Публика узнала о немъ только въ 1835 году, когда въ Москвѣ вышла книжка его стихотвореній, въ числѣ восьмнадцати пьесъ, изъ которыхъ едва ли половина носила на себѣ отпечатокъ его самобытнаго таланта, потому-что пора настоящаго творчества и полнаго развитія таланта Кольцова настала только съ 1836 года. Однако же вниманіе, какое обратили на Кольцова многіе литераторы и между ними Жуковскій и самъ Пушкинъ, отозвалось и въ публикѣ. Книжка имѣла успѣхъ, и имя Кольцова пріобрѣло общую извѣстность. Съ 1836 года онъ постоянно печаталъ свои стохотворенія въ журналахъ: «Современникѣ», «Телескопѣ», «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ «Русскому Инвалиду», «Сынѣ Отечества» (1838), «Московскомъ Наблюдателѣ» (1838—1839), а потомъ большей частью въ «Отечественныхъ Запискахъ» и въ альманахахъ: «Утренняя Заря» и «Сборникъ». Когда даже и большія сочиненія, повѣсти и драмы, разбросаны такимъ образомъ по разнымъ изданіямъ, и тогда публикѣ неудобно составить себѣ о ихъ авторѣ опредѣленное понятіе: тѣмъ болѣе это относится къ автору мелкихъ стихотвореній, которыя впродолженіе почти восьми лѣтъ печатались въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Появляется въ журналѣ новое стихотвореніе даровитаго поэта, производитъ свой эффектъ—и, какъ все въ мірѣ, мало-по-малу забывается. Иной читатель и хотѣлъ бы вновь перечесть его, но для этого надо отыскивать стихотвореніе въ кучѣ журналовъ; а притомъ не всякій помнитъ, гдѣ именно помѣщено оно, и не всякій имѣетъ возможность доставать старые журналы. Такимъ образомъ общій колоритъ и характеръ произведеній поэта ускользаютъ отъ читателей. Отъ времени до времени поэтъ производитъ на нихъ впечатлѣніе то тѣмъ, то другимъ своимъ стихотвореніемъ, но не общностью, не цѣлостью своей поэзіи, которая, если онъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный міръ дѣйствительности.

Прежде, нежели приступимъ мы къ разсмотрѣнію произведеній Кольцова, считаемъ нужнымъ коснуться нѣкоторыхъ подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата или, лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями; но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровой судьбой.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мѣщанинъ, былъ человѣкъ не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки матеріала на салотопенные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получилъ никакого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ у насъ и не въ одномъ этомъ сословіи. Само-собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ онъ не могъ набраться не только какихъ-нибудь нравственныхъ правилъ или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не могъ обогатиться никакими хорошими впечатлѣніями, которыя для юной души важнѣе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видѣлъ вокругъ себя домашнія хлопоты, мелочную торговлю съ ея продѣлками, слышалъ грубыя и не всегда пристойныя рѣчи даже отъ тѣхъ, изъ чьихъ устъ ему слѣдовало бы слышать одно хорошее. Всѣмъ извѣстно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она въ особенности въ среднемъ классѣ, гдѣ мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена съ мѣщанской спѣсью, ломаньемъ и кривляньемъ. По счастью къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой былъ воспитанъ. Съ дѣтства онъ жилъ въ своемъ особенномъ мірѣ, — и ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты производили на него гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели грубая и удушливая атмосфера его до-

*

машней жизни. Предоставленный самому себѣ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всѣмъ дѣтямъ любившій бродить босикомъ по травѣ и по лужамъ, чуть-было не лишился на всю жизнь употребленія ногъ, и долго былъ боленъ, такъ-что хотя его впослѣдствіи и вылѣчили, однако онъ всегда чувствовалъ отзывы этой болѣзни. Только необыкновенно крѣпкое сложеніе могло спасти его отъ калѣчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ напримѣръ, будучи уже старше шестнадцати лѣтъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ея голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но, несмотря на все это, онъ всегда былъ здоровъ и крѣпокъ.

На десятомъ году Кольцова начали учить грамотѣ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ-какъ грамота ребенку удалась, и онъ скоро ей выучился, его отдали въ воронежское уѣздное училище, изъ котораго онъ былъ взятъ, пробывши около четырехъ мѣсяцевъ во второмъ классѣ: такъ-какъ онъ умѣлъ уже читать и писать, то отецъ его и заключилъ, что больше ему ничего не нужно знать, и что воспитаніе его кончено. Не знаемъ, какимъ образомъ былъ онъ переведенъ во второй классъ, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищѣ, потому-что, какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замѣтили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія. Мало того: изъ примѣра Кольцова мы больше всего убѣдились въ важности элементарнаго образованія, которое можно получить въ уѣздномъ училищѣ. При всѣхъ его удивительныхъ способностяхъ, при всемъ его глубокомъ умѣ,—подобно всѣмъ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ всегда чувствовалъ, что его интеллектуальному существованію не достаетъ твердой почвы, и что вслѣдствіе этого ему часто достается съ трудомъ то, что легко усвоивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодѣяніями первоначальнаго обученія. Такъ напримѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что̀ относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ дѣтствѣ, чтобы понимать его. Для всякаго, кто въ уѣздномъ училищѣ прошелъ хоть Кайданова «Исторію», незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героевъ древности. Древняя жизнь и древній бытъ такъ не похожи на нашу жизнь и бытъ, что только чрезъ науку въ лѣта дѣтства можемъ мы освоиваться съ ними и привыкать находить ихъ возможными и естественными. Вслѣдствіе этого же недостатка въ элементарномъ образованіи, Кольцовъ, при всей глубокости и гибкости своего эстетическаго вкуса, не могъ понимать «Иліады», хотя и не разъ принимался читать ее въ переводѣ Гнѣдича,—между-тѣмъ какъ Шекспиръ восхищалъ его даже въ посредственныхъ и плохихъ переводахъ, и онъ съ жадностью собиралъ, читалъ и перечитывалъ ихъ. Что онъ немного вынесъ изъ уѣзднаго училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ,—это всего яснѣе видно изъ того что онъ не имѣлъ почти никакого понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орѳографіи.

Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе его интеллектуальной жизни: онъ началъ пристращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на игрушки онъ употреблялъ на покупку сказокъ, и «Бова Королевичъ» съ «Еруслановъ Лазаревичемъ» составляли его любимѣйшее чтеніе. На Руси не одна одаренная богатой фантазіей натура, подобно Кольцову, начала съ этихъ сказокъ свое литературное образованіе. Охота къ сказкамъ всегда есть вѣрный признакъ въ ребенкѣ присутствія фантазіи и наклонности къ поэзіи,—и переходъ отъ сказокъ къ романамъ и стихамъ очень естественъ: тѣ и другіе даютъ пищу фантазіи и чувству, съ той только разницей, что сказки удовлетворяютъ дѣтскую фантазію, а романы и стихи составляютъ потребность уже болѣе развившейся и болѣе подружившейся съ разумомъ фантазіи. Но вотъ особенная черта, обнаружившая въ Кольцовѣ не только пассивную и воспринимающую, но и дѣятельную фантазію: читая сказки, онъ почувствовалъ охоту составлять самому что-нибудь въ ихъ родѣ. Но такъ-какъ тогда онъ еще не имѣлъ привычки повѣрять бумагѣ все, что̀ ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались въ однѣхъ мечтахъ.

Десятилѣтній Кольцовъ взятъ былъ изъ училища отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему въ торговлѣ. Онъ бралъ его съ собой въ степи, гдѣ впродолженіе всего лѣта бродилъ его скотъ; а зимой посылалъ его съ приказчиками на базары для закупки и продажи товара. Итакъ, съ десятилѣтняго возраста Кольцовъ окунулся въ омутъ довольно грязной дѣйствительности; но онъ какъ будто и не замѣтилъ ея: его юной душѣ полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще въ состояніи понять и оцѣнить торговой дѣятельности,

кипѣвшей въ этой степи,— онъ тѣмъ лучше понялъ и оцѣнилъ степь, и полюбилъ ее страстно и восторженно, полюбилъ ее какъ друга, какъ любовницу.

Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Разстилается!
Ахъ, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ Морю-Черному
Понадвинулась!

Многія пьесы Кольцова отзываются впечатлѣніями, которыми подарила его степь: «Косарь», «Могила», «Путникъ», «Ночлегъ Чумаковъ», «Цвѣтокъ», «Пора любви» и другія. Почти во всѣхъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь даже и не играетъ никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и въ колоритѣ и въ тонѣ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ—сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣяла. И потому ремесло прасола не только не было ему непріятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его со степью и давало ему возможность цѣлое лѣто не разставаться съ ней. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша; любилъ ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травѣ; любилъ иногда цѣлые дни не слѣзать съ коня, перегоняя стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь не была безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось цѣлые дни и недѣли проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вѣтру, засыпать на голой землѣ, подъ шумъ дождя, подъ защитой войлока или овчиннаго тулупа. Но привольное раздолье степи въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта вознаграждало его за всѣ лишенія и тягости осени и бурной погоды.

Разставаясь со степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно наслажденіе на другое: въ городѣ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Бывши еще въ училищѣ, онъ сблизился съ мальчикомъ, ровесникомъ ему по лѣтамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотвореніе: «Ровеснику», написано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмѣстѣ читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не что-нибудь дѣльное, а романы Дюкре-дю-Мениля, Августа Лафонтена и подобныхъ имъ; но если для впечатлительной, одаренной сильной фантазіей натуры и сказки о Бовѣ и Еруслапѣ могли служить нравственнымъ будильникомъ,—то естественно, что эти романы еще болѣе не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбились Кольцову изъ этихъ книгъ «Тысяча и одна ночь» и «Кадмъ и Гармонія» Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы плѣнять и очаровывать впечатлительное воображеніе дѣтей и младенчествующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цѣну: это былъ съ его стороны первый шагъ впередъ на пути развитія. Ему уже не хотѣлось сочинять сказокъ: романы овладѣли всѣмъ существомъ его и, разумѣется, у него родилось желаніе самому произвести что-нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтѣ.

Такимъ образомъ между степью съ баранами и чтеніемъ съ пріятелемъ провелъ Кольцовъ три года. Въ это время ему суждено было въ первый разъ узнать несчастье: онъ лишился своего друга, умершаго отъ болѣзни. Горесть Кольцова была глубока и сильна; но онъ не могъ не утѣшиться скоро, потому-что былъ еще слишкомъ молодъ, и въ немъ было слишкомъ много жизни, стремленія и отзыва на призывы бытія. Чтеніе сдѣлалось его прибѣжищемъ отъ горести и утѣшеніемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободѣ, и въ городѣ, и въ степи. До сихъ поръ онъ не читалъ стиховъ и не имѣлъ о нихъ никакого понятія. Вдругъ нечаянно покупаетъ онъ на рынкѣ, за сходную цѣну, сочиненія Дмитріева. Въ восторгѣ отъ своей покупки бѣжитъ онъ съ нею въ садъ и начинаетъ пѣть стихи Дмитріева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пѣть: такъ заключалъ онъ по пѣснямъ, между которыми и стихами не могъ тотчасъ же не замѣтить близкаго сходства. Гармонія стиха и риемы полюбилась Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что̀ такое стихъ и въ чемъ состоитъ его отличіе отъ прозы. Многія пьесы онъ заучилъ наизусть, и особенно понравился ему «Ермакъ». Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать такія же звучныя строфы съ риемами но у него не было ни матеріала для содержанія, ни умѣнія для формы. Однакожъ матеріалъ вскорѣ ему представился, и онъ по-своему воспользовался имъ для перваго опыта въ стихахъ. Тогда ему было 16 лѣтъ. Одному изъ

его пріятелей приснился странный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодыя лѣта всякій сколько-нибудь странный или необыкновенный сонъ имѣетъ для насъ таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ и разсказалъ его Кольцову, чѣмъ и произвелъ на него такое глубокое впечатлѣніе, что тотъ сейчасъ же рѣшился описать его стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засѣлъ за дѣло, не имѣя никакого понятія о размѣрѣ и версификаціи; выбралъ одну пьесу Дмитріева и началъ подражать ея стиху. Первые стиховъ десятокъ достались ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, и въ ночь готова была пречудовищная пьеса, подъ названіемъ «Три Видѣнія», которую онъ потомъ истребилъ, какъ слишкомъ нелѣпый опытъ. Но какъ ни плохъ былъ этотъ опытъ, однакожъ онъ навсегда рѣшилъ поэтическое призваніе Кольцова: послѣ него онъ почувствовалъ рѣшительную страсть къ стихотворству. Ему хотѣлось и читать чужіе стихи, и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже не охотно читалъ прозу, и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Такъ какъ въ Воронежѣ и тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которыя иногда давалъ ему отецъ, Кольцовъ скоро пріобрѣлъ себѣ сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжалъ писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе: ему некому было показывать своихъ опытовъ, не съ кѣмъ было совѣтоваться на ихъ счетъ, а между тѣмъ совѣтникъ ему былъ необходимъ, —и онъ рѣшился обратиться за совѣтами къ воронежскому книгопродавцу, наивно предполагая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дѣлѣ, и принесъ ему «Три Видѣнія» и другія свои пьесы. Книгопродавецъ былъ человѣкъ необразованный, но не глупый и добрый; онъ сказалъ Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хоть онъ и не можетъ ему объяснить, почему именно; но что если онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка: «Русская Просодія», изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона». Видно, какой-то инстинктъ сказалъ этому книгопродавцу, что онъ видитъ передъ собою человѣка не совсѣмъ обыкновеннаго, и видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарилъ ему «Русскую Просодію» и предложилъ ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ пріобрѣлъ книгу, которая должна посвятить его въ таинства стихотворства и дать ему возможность самому сдѣлаться поэтомъ, и сверхъ того у него очутилась подъ руками цѣлая библіотека! Это было для него счастьемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать однѣ и тѣ же книги; цѣлый новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всѣмъ жаромъ, со всей жадностью нестерпимаго голода, и безъ разбору пожиралъ чтеніемъ и хорошее, и дурное. Книги, которыя ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая библіотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковскаго, Пушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ въ раздольѣ этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство прошло пять лѣтъ. Кольцовъ достигъ семнадцатилѣтняго возраста, и тогда съ нимъ совершилось событіе, имѣвшее могущественное вліяніе на всю жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ страстныхъ организацій, которыя рано открываются для всѣхъ симпатій сердца, для любви и дружбы въ особенности. До сихъ поръ это были чувства и привязанности хотя жаркія, но дѣтскія: теперь настала пора чувствъ и привязанностей другого рода. Въ семейство Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки. Несмотря на низкое званіе, она получила отъ природы все, чѣмъ можно было потрясти въ основаніи такую сильную и поэтическую натуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось безъ отвѣта. Не знаемъ, долго ли продолжалась эта связь; но знаемъ, что она не была шалостью или легкимъ безотчетнымъ чувствомъ, впервые пробудившейся потребностью молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любилъ, онъ уважалъ, свято чтилъ предметъ своей любви, въ которомъ нашелъ свой осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтая объ идеалахъ и не ища ихъ. Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась его семейству и даже безпокоила его. Извѣстное дѣло, что въ этомъ сословіи первое задушевное желаніе отца состоитъ въ томъ, чтобы поскорѣе женить своего сына на какомъ-нибудь размалеванномъ бѣлилами, румянами и сюрьмой болванѣ съ черными зубами и хорошимъ, соотвѣтственно состоянію семьи жениха, приданымъ. Связь Кольцова была опасна для этихъ мѣщанскихъ плановъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ дикихъ невѣждъ, простодушно и грубо чуждыхъ

всякой поэзіи жизни, она казалась предосудительной и безнравственной. Надо было разорвать ее во что бы ни стало. Для этого воспользовались отсутствіемъ Кольцова въ степь,—и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ея тамъ... Это несчастье такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни и призанявши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи развѣдывать о несчастной. Сколько могъ, далеко ѣздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Не знаемъ, долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва варварскаго разсчета, попавшись въ донскія степи, въ казачью станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

Эти подробности мы слышали отъ самого Кольцова въ 1838 году. Несмотря на то, что онъ вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его устъ и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ... Только одинъ разъ говорилъ онъ съ нами объ этомъ, и мы никогда не рѣшались болѣе распрашивать его объ этой исторіи, чтобъ узнать ее во всей подробности; это значило бы раскрывать рану сердца, которая и безъ того никогда вполнѣ не закрывалась...

Эта любовь, и въ ея счастливую пору, и въ годину ея несчастья, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не стихотворцемъ, одолѣваемымъ охотой слагать размѣренныя строчки съ риѳмами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдѣлался отзывомъ на призывы жизни, грудь котораго носила въ себѣ богатое содержаніе для поэтическихъ изліяній. Пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Первая любовь», «Къ ней» (Опять тоску, опять любовь), «Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь», «Къ Милой», «Примиреніе», «Міръ Музыки» и нѣкоторыя другія явно относятся къ этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова. Натура Кольцова была крѣпка и здорова физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія-нибудь сладковато-мистическія утѣшенія, какъ это дѣлаютъ послѣ несчастья нравственно-слабыя натуры. Нѣтъ, онъ взялъ свое горе съ собой, бодро и мощно понесъ его по пути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни и ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи увидѣлъ онъ вознагражденіе за тяжкое горе своей жизни и весь погрузился въ море поэзіи, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ, и по ихъ слѣдамъ пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтическіе звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же онъ уже не имѣлъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому-что нашелъ себѣ совѣтника и руководителя, какого давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, какъ бы въ вознагражденіе за нее, остался другъ. Это былъ человѣкъ замѣчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ. Натура сильная и широкая, Серебрянскій, будучи семинаристомъ, рано почувствовалъ отвращеніе къ схоластикѣ, рано понялъ, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призваніе, и, руководимый инстинктомъ, онъ самъ себѣ создалъ образованіе, котораго нельзя получить въ семинаріи. Въ его натурѣ и самой судьбѣ было много общаго съ Кольцовымъ, и ихъ знакомство скоро превратилось въ дружбу. Дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинной школой развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ Кольцовъ нашелъ себѣ въ Серебрянскомъ судью строгаго, безпристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ, знающаго дѣло. Въ посланіи къ нему (написанномъ неизвѣстно въ которомъ году—должно быть между 1827 и 1830) Кольцовъ говоритъ:

Вотъ мой досугъ; въ немъ умъ твой строгій
Найдетъ ошибокъ слишкомъ много:
Здѣсь каждый стихъ — чай грѣшный бредъ.
Что жъ дѣлать! Я—такой поэтъ,
Что на Руси смѣшнѣе нѣтъ.
Но не щади ты недостатки,
Замѣть, что требуетъ поправки.

Это посланіе вполнѣ обнаруживаетъ взаимныя отношенія обоихъ друзей и какъ важенъ былъ Серебрянскій для развитія таланта Кольцова. Въ самомъ дѣлѣ, только съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совѣту Серебрянскаго, а насчетъ удававшихся сразу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго пользовался Кольцовъ совѣтами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ до-

рогу, и не столько по влеченію, сколько по разсчету поприще врача онъ предпочелъ другимъ, чтобы не отчаяваться въ будущемъ, по крайней мѣрѣ, въ кускѣ хлѣба, и поступилъ въ московскую медико-хирургическую академію.

Какъ бы то ни было, но поэтическое призваніе Кольцова было рѣшено и сознано имъ самимъ. Непосредственное стремленіе его натуры преодолѣло всѣ препятствія. Это былъ поэтъ по призванію, по натурѣ,— и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще бо́льшую энергію. Прасолъ, верхомъ на лошади гоняющій скотъ съ одного поля на другое; по колѣни въ крови присутствующій при рѣзаніи или, лучше сказать, при бойнѣ скота; приказчикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ —и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца,и умственными сомнѣніями, и въ то же время дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смышленый и бойкій русскій торговецъ, который продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ копейки и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отвращается какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!.. Возвращаясь домой, онъ встрѣчаетъ не ласку, не привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочетъ быть человѣкомъ и въ этомъ отношеніи уже рѣзко отличился отъ невѣжественныхъ животныхъ въ человѣческомъ образѣ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головѣ,
Много въ сердцѣ огня! —

и онъ закрываетъ глаза на грязную дѣйствительность, не замѣчаетъ презрѣнія, не видитъ ненависти. Презрѣніе, ненависть!.. За что́ же?.. Кому онъ сдѣлалъ зло, кого обидѣлъ? Не жертвуетъ ли онъ лучшими своими чувствами, благороднѣйшими своими стремленіями этой грязной и сальной дѣйствительности, чтобы тяжкимъ трудомъ и скучными хлопотами въ чуждой ему сферѣ способствовать матеріальному благосостоянію своего семейства? Но, увы! удивляться этому презрѣнію и этой ненависти безъ причины—значитъ не знать людей. Сойдитесь съ пьяницей, сами оставаясь трезвымъ человѣкомъ: онъ не взлюбитъ васъ. Неряха никогда не проститъ вамъ опрятности, низкопоклонникъ — благородной гордости, негодяй — честности. Но еще болѣе невѣжество не проститъ вамъ ума и стремленія къ образованности. И какъ простить! Не желая оскорблять его, будучи съ нимъ ласковы и обязательны, вы все-таки унижаете его вашимъ достоинствомъ, вы — живой упрекъ ему! И если это невѣжество — пожилой, почтенный человѣкъ, ничего неумѣющій дѣлать, а вы—юноша, который и въ житейскихъ дѣлахъ превосходитъ его способностью и соображеніемъ, тогда онъ лютый, непримиримый врагъ вашъ. Онъ воспользуется вашими услугами, выжметъ васъ насухо, какъ апельсинъ, а потомъ растопчетъ ногами и выброситъ за окно, видя, что вы уже больше не нужны ему...

Слухъ о самородномъ талантѣ Кольцова дошелъ до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ Московскомъ университетѣ и пріѣзжавшій на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его опыты и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году Кольцовъ, по дѣламъ отца своего, пріѣхалъ въ Москву и черезъ Станкевича пріобрѣлъ тамъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, впослѣдствіи довольно важныхъ для него. Въ это время двѣ или три пьески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ впрочемъ довольно плохомъ московскомъ журналѣ. Для Кольцова, не смѣвшаго вѣрить въ свой талантъ, это было лестно и пріятно. Впослѣдствіи Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это намѣреніе было выполнено въ 1835 году.Изъ довольно увѣсистой и толстой тетради Станкевичъ выбралъ 18 пьесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ въ маленькой опрятной книжкѣ, которая доставила Кольцову большую извѣстность въ литературномъ мірѣ. Правда, тутъ больше всего дѣйствовало волшебное словцо поэтъ-самоучка, поэтъ-прасолъ, — и будь эти 18 стихотвореній изданы какъ произведенія человѣка хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, но кончившаго курсъ въ университетѣ и уже служившаго чиновникомъ въ департаментѣ,—на нихъ не обратили бы такого вниманія. Но надо и то сказать, что въ этой книжкѣ видно было больше обѣщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836-й годъ былъ эпохой въ жизни Кольцова. По дѣламъ отца своего онъ долженъ былъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ и пробыть довольно долгое время въ обѣихъ

столицахъ. Въ Москвѣ онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый пріѣздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомилъ его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами, потому что почти каждый литераторъ спѣшилъ дарить его своими сочиненіями и изданіями. Такимъ образомъ библіотека его въ короткое время значительно умножилась. Что же касается до чести знакомства со всѣми литературными знаменитостями, большими и малыми, — то нельзя сказать, чтобы Кольцовъ добивался ея или слишкомъ дорожилъ ею. Съ одной стороны онъ былъ скроменъ и робокъ, а съ другой— въ немъ сильно было чувство своего достоинства, и потому онъ не любилъ быть на выставкѣ. По чувству деликатности и благодарности онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ, но игралъ тутъ болѣе пассивную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убѣдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имѣлъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представляться кому бы то ни было въ качествѣ таланта или литературной рѣдкости ему было и неловко, и больно. Притомъ же Кольцовъ былъ очень проницателенъ и имѣлъ много такту: онъ очень хорошо понималъ и видѣлъ, что одни принимали его, какъ диковинку, смотрѣли на него, какъ смотрятъ на заморскаго звѣря, на великана, на карлика; что другіе, снисходя до равенства въ обращеніи съ нимъ, были въ восторгѣ отъ своей просвѣщенной готовности уважать талантъ даже и въ мѣщанинѣ; и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіемъ и искренностью. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достоинства и говорили съ нимъ тономъ покровительства; а нѣкоторые только изъ вѣжливости не оборачивались къ нему спиной. Все это онъ очень хорошо видѣлъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и вѣжливо; потомъ, встрѣтившись съ молодымъ литераторомъ, который представилъ ему Кольцова, началъ надъ нимъ подшучивать: «Что-де вы нашли въ этихъ стишонкахъ, какой тутъ талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку ради шутки». Другой, тоже очень извѣстный литераторъ, не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а, напротивъ, увидѣлъ въ немъ очень положительнаго человѣка, изъ чего и заключилъ, что у него не можетъ быть таланта... Это послѣднее заключеніе особенно замѣчательно: такъ судитъ толпа о поэтѣ! Не находя въ себѣ довольно способности, чтобъ изъ сочиненій поэта удостовѣриться въ его талантѣ, — она требуетъ отъ него, чтобъ онъ показывался передъ ней не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирѣ, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженной рѣчью, съ поэтическимъ опьянѣніемъ или безумiемъ въ манерахъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ нисколько не подходилъ подъ этотъ идеалъ поэта: онъ былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль энтузіаста. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе и думалъ, что въ обществѣ особенно должно держать себя прилично, быть просто человѣкомъ, какъ всѣ, а не геніемъ, не поэтомъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ глупцовъ, которые думаютъ, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повѣстцу или десятокъ стихотвореній, то всѣ должны почитать за счастье видѣть ихъ, и что кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скоръ ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ видѣлъ съ чьей-нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. «Что я ему? Что такое во мнѣ?»— говаривалъ онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходился съ человѣкомъ, когда увѣрялся, что тотъ не изъ прихоти, а дѣйствительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему тѣмъ же,— тогда раскрывалъ онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умѣлъ любить, глубоко чувствовалъ потребность дружбы и любви и, какъ немногіе, былъ способенъ къ нимъ; но не любилъ шутить ими...

Однакожъ знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался отъ замѣшательства перваго представленія и сколько-нибудь освоивался съ новымъ лицомъ, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, онъ все замѣчалъ, и едва ли что ускользало отъ его проницательности, — что было ему тѣмъ легче, что каждый готовъ былъ видѣть въ немъ скорѣе замѣшательство и нелюдимость, нежели проницательность. Ему любопытно было видѣть себя въ кругу тѣхъ умныхъ людей, которые издалека казались ему существами высшаго рода; ему интересно бы-

ло слышать ихъ умныя рѣчи. Много-ли наслушался онъ ихъ, объ этомъ мы кое-что слышали отъ него впослѣдствіи...

Въ Петербургѣ Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ, былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоминалъ онъ всегда о радушномъ и тепломъ пріемѣ, который оказалъ ему тотъ, кого онъ съ трепетомъ готовился увидѣть, какъ божество какое-нибудь—Пушкинъ. Почти со слезами на глазахъ разсказывалъ намъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минутѣ. Кто познакомился въ Петербургѣ съ первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоитъ перезнакомиться съ второстепенными. Сперва онъ и здѣсь больше все молчалъ и наблюдалъ, но потомъ, смекнувъ дѣломъ, давалъ волю своей ироніи... О, какъ бы удивились многіе изъ фѣльетонныхъ и стихотворныхъ рыцарей, еслибы могли догадаться, что этотъ мужичокъ, котораго они думали импонировать своей литературной важностью, видитъ ихъ насквозь и умѣетъ настоящимъ образомъ цѣнить ихъ таланты, образованность и ученость...

Въ 1838 году Кольцовъ опять былъ по дѣламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи изъ него, и жизнь въ Москвѣ особенно полюбилась ему. Постоянно-пріятное расположеніе духа было причиной, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращеніе домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе манитъ его къ себѣ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладѣло чувство одиночества, которое преодолѣвалось въ немъ только любовью къ природѣ и чтеніемъ. Вотъ что̀ писалъ онъ объ этомъ къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей: «Въ Воронежъ я пріѣхалъ хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, а не то. Дѣла коммерціи безъ меня разстроились порядочно, новыхъ непріятностей куча, что день—то горе, что шагъ—то напасть. Но, слава Богу, какъ-то я всѣ ихъ переношу теперь терпѣливо, и онѣ сдѣлались для меня будто предметами посторонними и до меня почти не касающимися. На душѣ тепло, покойно. Хорошее лѣто, славная погода, синее небо, свѣтлый день, вечерняя тишь — все прекрасно, чудесно, очаровательно,—и я жизнью живу и тону своей душой въ удовольствіяхъ нашего лѣта. Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали; о, слишкомъ много, много! Эти послѣдніе два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя, и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного — некогда, въ головѣ дрянь такая набита, что хочется плюнуть; матеріализмъ дрянной, гадкій, и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водѣ, гдѣ велятъ дѣла житейскія; ныряй и въ тинѣ, когда надобно нырять; гнись въ дугу и стой прямо въ одно время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотой. Новаго не написалъ ничего—некогда. Воронежъ принялъ меня противу прежняго въ десять разъ радушнѣе; я благодаренъ ему. До меня люди выдумали, будто я въ Москвѣ женился; будто въ Питеръ уѣхалъ навсегда жить; будто меня оставили въ Питерѣ стихи писать. И всѣ встрѣчаются со мной, и такъ любопытно глядятъ, какъ на заморскую чучелу. Я сгоряча немного посердился на нихъ за это; но подумалъ,—и вышло, что я былъ глупъ. На людей сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а въ лѣсу больше кривого и суковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они судятъ по своему. Спасибо и за это, и мнѣ они нравятся въ этихъ странностяхъ. Старикъ-отецъ со мной хорошъ; любитъ меня болѣе за то, что дѣло хорошо кончилось: онъ всегда такія вещи очень любитъ. Степь опять очаровала меня, я чортъ знаетъ до какого забвенія любовался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ пѣлъ: Пора Любви—она къ ней идетъ. Только это чувство было другого совсѣмъ рода; послѣ мнѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-другъ, и то не надолго. Къ ней пріѣхалъ погостить—и въ городъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама-по-себѣ слишкомъ однообразна и молчалива. Серебрянскій доѣхалъ до двора, но очень боленъ; кажется, проживетъ не болѣе мѣсяцовъ двухъ, а можетъ я ошибаюсь. Съ моими знакомыми расхожусь по-маленьку, наскучили мнѣ ихъ разговоры пошлые. Я хотѣлъ съ пріѣзда увѣрить ихъ, что они криво смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ такъ и такъ. Они надо мной смѣются, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. Я повернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу; хотѣлъ ихъ научить — да ба! — и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушаю, думая самъ-про-себя о другомъ; всѣхъ ихъ хвалю во всю мочь; всѣ они у меня люди умные, ученые, прекрас-

ные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мной довольны; и я самъ-про-себя смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ все идетъ ладно; а то что въ самомъ дѣлѣ изъ ничего наживать себѣ дураковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудрилъ, такъ онъ съ своей мудростью и умретъ».

Въ этомъ письмѣ весь Кольцовъ. Такъ писалъ онъ всегда и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностью, но зато поражалъ какой-то наивностью и оригинальностью. Тогдашнее состояніе души его выражено въ этомъ письмѣ вѣрнѣе, нежели какъ можетъ-быть думалъ онъ самъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сдѣлалась скучна; только прекрасная пора лѣта составляла всю его отраду, онъ любилъ еще степь, но уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту и то не одному... И такъ кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало съ цѣны, настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Прежнія знакомства, дотолѣ сносныя и, можетъ-быть, даже пріятныя, сдѣлались невыносимы, и тѣ-же люди явились въ другомъ свѣтѣ. Все родное Кольцова было уже не въ опустѣломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всѣ думы его. Въ семействѣ своемъ онъ горячо любилъ младшую сестру, и между ними существовала самая тѣсная дружба. Кольцовъ видѣлъ въ сестрѣ много хорошаго, уважалъ ея вкусъ и часто совѣтовался съ ней насчетъ своихъ стихотвореній,—словомъ, дѣлился съ ней своей внутренней жизнью. Вѣря въ ея къ нему задушевное расположеніе, онъ дѣлалъ для нея все, что̀ могъ. Настойчивостью, просьбами, лестью, всякими хитростями онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанялъ учителя музыки и французскаго языка. Новыя связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабилъ этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось вдаль. Натура Кольцова была не только сильна, но и нѣжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходился съ ними недовѣрчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ, то отдавался весь. Это имѣло для него гибельныя слѣдствія въ отношеніи къ нѣкоторымъ привязанностямъ: предательство, вѣроломство, низкія интриги особы, которой онъ былъ преданъ безусловно и которая казалась ему также преданной, были для него страшнымъ ударомъ. Онъ все на свѣтѣ могъ перенести, кромѣ этого, и кошачья лапка имѣла силу ранить его сильнѣе львиной лапы. Горячо любилъ онъ также своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Съ отцомъ онъ былъ всегда на политическихъ отношеніяхъ, которыя и въ размолвкѣ, и въ мирѣ были борьбой. Тутъ старые предразсудки и невѣжество явно и тайно боролись съ смѣлымъ умомъ и стремленіемъ къ свѣту. Счастливое окончаніе нѣкоторыхъ важныхъ для благосостоянія семейства дѣлъ и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову,—вниманіе, которому свидѣтелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 году, способствовали наружному миру и согласію между отцомъ и сыномъ. Къ тому-же сынъ былъ еще необходимъ для отца: на немъ лежали всѣ торговыя дѣла, на него переведены были всѣ долги, всѣ векселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣніи и ловкости вести дѣла лежала участь цѣлаго дома, который былъ въ такомъ положеніи, что еще нѣсколько счастливо преодолѣнныхъ препятствій—и его благосостояніе совершенно упрочивалось; но въ случаѣ неуспѣха должно было слѣдовать конечное разореніе.

Еслибы Кольцовъ принялся за дѣла, будучи лѣтъ 18-ти, не раньше, навѣрное можно сказать, что онъ съ ними никакъ бы не освоился, и его поэтическая натура съ ужасомъ и омерзеніемъ отворотилась бы отъ этой грязной дѣйствительности. Но онъ понемногу и незамѣтно для самого себя освоился съ ними съ дѣтства; эта дѣйствительность украдкой подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе. Самъ не зная какъ, втянулся онъ въ дѣла мелкаго торгашества, тѣмъ легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтенію, мечтамъ, природѣ и поэзіи. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дѣйствительности и людей, и борьба съ ними; здѣсь была его школа жизни. Тутъ случались съ нимъ обстоятельства не только непріятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за что-то такъ озлобился на него, что рѣшился его зарѣзать. Намекнули-ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался; но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защищаться невозможно. Надобно было рѣшиться на траги-комедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозрѣвая и не замѣчая, онъ сталъ съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ и братался. Этимъ опасность была

отстранена, потому-что русскаго мужика такъ же можно и отвести отъ убійства, какъ и навести на него. Только по возвращеніи въ Воронежъ Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удальцомъ, требовавшимъ разсчета. При этомъ разсчетѣ, продолжавшемся очень долго, злодѣй имѣлъ причину и время раскаяться въ своемъ умыслѣ, а можетъ-быть и въ томъ, что не удалось ему его выполнить... Вотъ міръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дѣйствительностью!... Не съ одними волками, которые стаями слѣдили за стадами барановъ, приходилось вести ожесточенную войну...

Около этого времени, т. е. послѣдней поѣздки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинѣ своей, долженъ былъ давать около семи тысячъ ассигнаціями ежегоднаго доходу. Къ несчастью, не одинъ онъ былъ наслѣдникомъ этого дома,—обстоятельство, которое впослѣдствіи дорого ему стоило... Всѣ эти дѣла онъ велъ и ладилъ, и чрезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше и больше усиливалось отвращеніе къ нимъ. Это не было слѣдствіемъ пошлаго идеальничанья, которое любитъ одни облака и не любитъ земли; нѣтъ, тутъ былъ другой, благороднѣйшій источникъ. Кольцовъ полагалъ большое различіе между купцомъ-капиталистомъ, которому не только необходимо, даже выгодно быть честнымъ, потому-что честность даетъ кредитъ, а безъ кредита большая торговля невозможна,—и между мелкимъ торговцемъ, котораго положеніе всегда скользко, ненадежно, неопредѣленно, который всегда принужденъ вертѣться ужомъ и жабой, кланяться, подличать, божиться, натягивать всѣми правдами и неправдами... Кольцовъ не боялся дѣла, но не любилъ низости и грязи. Волей и неволей былъ онъ съ дѣтства завербованъ въ эту грязную дѣятельность; запряженный разъ, терпѣливо тащилъ свою ношу въ надеждѣ будущихъ благъ; но по-временамъ эта ноша доводила его до отчаянія. Съ послѣдней поѣздки въ Москву эти минуты унынія, апатіи и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкѣ дома онъ думалъ сдать отцу приведенныя имъ въ порядокъ дѣла по степи, а самому заняться присмотромъ за домомъ и открыть въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей натуры съ внѣшней дѣйствительностью. Но, при всемъ своемъ знаніи жизни и людей, Кольцовъ жестоко обманывался въ своей надеждѣ... Но пока надо было жить, какъ судьба хотѣла. Слѣдующія строки изъ письма его къ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще 1836 году, представляютъ яркую картину его занятій: «Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ рощѣ рублю дрова; осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зари до полночи». Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года писалъ въ Москву къ пріятелю: «Писать къ вамъ хочется, а ничего не идетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сдѣлалась въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отъ чего—не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ перемѣны жизни. Я было такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другого; а тутъ вдругъ все надобно позабыть, дѣлать другое, думать о другомъ—вѣдь и дѣла торговыя тоже сами не дѣлаются тоже кой-о-чемъ надобно подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. Боже избави! ужъ это будетъ весьма рано; не хотѣлось бы это слышать отъ самого себя. Что-то скажетъ осень. Кажется, у ней будетъ для меня больше свободнаго времени—посмотримъ. Стройка дома безъ меня и дѣла торговыя у отца шли дурно. Теперь, слава Богу, плыветъ ровнѣе. Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно—и лучше. Онъ ко мнѣ больше имѣетъ уваженія теперь, нежели прежде, а все виною хорошій конецъ дѣла. Онъ эти вещи очень любитъ, и хорошо дѣлаетъ: ему старику это идетъ».—Мѣсяца черезъ два онъ писалъ къ тому же лицу: «Хотѣлось бы писать къ вамъ совсѣмъ не такъ, какъ пишу теперь; но что жъ прикажете дѣлать, когда дѣла дьявольски работаютъ со мной. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда—ажъ на душѣ тошнитъ, такъ хорошо мнѣ жить!—Серебрянскій умеръ. Да, лишился я человѣка, котораго любилъ столько лѣтъ душой и котораго потерю горько оплакиваю. Много желаній не сбылося, много надеждъ не исполнилось—проклятая болѣзнь! Прекрасный міръ прекрасной души, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внѣшнія обстоятельства могутъ подавить и великую душу человѣка, если они безпрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ защиты нѣтъ. На плодотворной почвѣ земли хорошо удобритъ человѣкъ свою ниву, посѣетъ хлѣбъ; но не соберетъ плода, если лѣто выжжетъ корень, роса зари ему не помочь—ей нуженъ въ пору дождь. А

этой-то земной благодати и капли не сошло на его жизнь; нужда и горе сокрушили тѣло страдальца. Грустно думать, былъ нѣкогда, недавно даже, милый человѣкъ—и нѣтъ его, и не увидишь никогда, и все кругомъ тебя молчитъ, и самый зовъ свиданія мретъ безотвѣтно въ безчувственной дали». Интересны и слѣдующія строки изъ одного письма Кольцова, какъ живое свидѣтельство того, что̀ значили для этой симпатической натуры дружескія связи и отношенія: «Не было еще мучительнѣе въ жизни моей состоянія, какъ въ прошломъ годѣ. Плохое, мучительное дѣло: больной Серебрянскій—смерть его все довершила. Скажите, въ одну минуту разломить, что̀ крѣпло нѣсколько лѣтъ—моя любовь къ нему, прекрасная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, надежды на будущее—и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я такъ много былъ ему обязанъ, онъ черезчуръ меня баловалъ. Вотъ почему я онѣмѣлъ было совсѣмъ, и всему хотѣлъ сказать: прощай! и еслибы не вы, я все бы потерялъ навсегда. Вѣдь меня не очень увлекала и увлекаетъ блестящая толпа; сходка, общество людей—конечно хорошо, но если есть человѣкъ, то такъ; а безъ него толпа немного даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому надобны сильныя потрясенія; иначе я—ноль. Никто меня не уничтожитъ съ другой душой, а собственно мою уничтожитъ всякій».

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова и еще годъ, и горизонтъ его жизни все гуще заволакивался тучами. Свѣтлыя минуты навѣщали его все рѣже и рѣже. «Пророчески угадали вы мое положеніе (писалъ онъ въ 1840 году въ Петербургъ, къ пріятелю); у меня у самого давно уже лежитъ на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемѣню себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ дважды-два четыре. Хоть я и отказалъ себѣ во многомъ и частью, живя въ этой грязи, отрѣшилъ себя отъ ней, но все-таки не совсѣмъ, но все-таки я не вышелъ изъ нея». Въ это время Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложеніе принять управленіе книжной лавкой, основанной на акціяхъ. Другое предложеніе было сдѣлано ему А. А. Краевскихъ—принять на себя завѣдываніе конторой «Отечественныхъ Записокъ». Первое предложеніе было ему совершенно не по душѣ. Сумма акцій была незначительна, а онъ былъ убѣжденъ, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только съ большимъ капиталомъ, и что иначе поневолѣ выйдетъ или разореніе, или не торговля, а торгашество со всѣми его продѣлками, при одной мысли о которыхъ ему дѣлалось гадко. Кромѣ того ему ни того, ни другого предложенія нельзя было принять еще и потому, что, по причинѣ долга въ 20,000, векселя котораго были сдѣланы на его имя, онъ не могъ выѣхать изъ Воронежа противъ воли отца. Разъ какъ-то Кольцовъ зажился въ Москвѣ, и только-что пріѣхалъ домой, какъ его зовутъ въ полицію по векселю въ 3,000 рублей. Опоздай онъ нѣсколькими днями, и вексель былъ бы посланъ въ Москву, гдѣ онъ не имѣлъ бы никакой возможности расплатиться по немъ. И это было бы дѣломъ отца его. «Онъ человѣкъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ ничего, вѣкъ рожь молотилъ на обухѣ. Такъ его грудь такъ черства, что его на все достанетъ для своей пользы и для своей торговли. Настоящій купецъ устраиваетъ одни свои дѣла, а есть-ли польза отъ нихъ другимъ—ему и дѣла нѣтъ, и онъ что̀ только съ рукъ сойдетъ, все дѣлать во всякую пору готовъ. Мнѣ отъ него и такъ достается довольно. Чуть маломальски что не такъ, ворчитъ и сердится: вы, говоритъ, все по-книжному, да по-печатному, народъ грамотный—ума палата». —Далѣе: «Вы боитесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь можетъ быть,— не только черезъ пять лѣтъ, даже и скорѣе, живя такъ и въ Воронежѣ. Но что жъ дѣлать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сдѣлаю; употреблю всѣ силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу въ дѣйствіе всѣ зависящія отъ меня средства. И когда послѣ этого упаду—мнѣ краснѣть будетъ не передъ кѣмъ, и предъ самимъ собой я буду правъ. Другого дѣлать нечего. А что въ 1838 году написалъ такъ много порядочнаго—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня каждый день настроивали, а во-вторыхъ, я почти ничего не дѣлалъ и былъ праздень. Тяготило меня до-смерти одно дѣло, но только одно дѣло, не больше. И я все еще писалъ такъ мало. А здѣсь кругомъ меня другой народъ — татаринъ на татаринѣ, жидъ на жидѣ, а дѣлъ—беремя: стройка дома (которая кончилась съ мѣсяцъ назадъ), судебныя дѣла, услуги, прислуги, угожденія, посѣщенія, счеты, разсчеты, брани,

ссоры. И какъ еще я пишу? И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ; а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлецъ такъ на меня и лѣзетъ, дескать писакѣ-то и крылья ошибить... Это часто меня смѣшитъ, когда какой-нибудь чудакъ пѣтушится».

Осенью 1840 года снова представился Кольцову случай ѣхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжебнымъ дѣламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа и увидѣться съ людьми родными ему по чувству и по мысли. Это была его послѣдняя поѣздка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петербургѣ, и по пріѣздѣ сюда Кольцовъ остановился у него и прожилъ съ нимъ около трехъ мѣсяцевъ. Одно дѣло его было проиграно. Надо было спѣшить въ Москву поправить и спасти другое, самое важное. Такъ-какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправился въ нее съ тоской. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращеніи въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петербургѣ навсегда, кончивши дѣло въ Москвѣ; но остаться безо всего, съ одними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидѣльца, приказчика, мелкаго торгаша—одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. Онъ все надѣялся, что отецъ дастъ ему тысячъ десять денегъ, на условіи отказаться отъ дома и всякаго другого наслѣдства, и что съ этимъ небольшимъ капиталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Изъ Москвы онъ писалъ къ своему пріятелю: «Ахъ! еслибы къ вамъ скорѣе! Еслибъ вы знали, какъ не хочется ѣхать домой—такъ холодомъ и обдаетъ при мысли ѣхать туда, а надо ѣхать, необходимость, желѣзный законъ». Дѣло его въ Москвѣ кончилось хорошо, чѣмъ, какъ и въ прежнихъ дѣлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными письмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Новый годъ встрѣтилъ онъ шумно и весело въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвѣ. «Не хочется ѣхать (писалъ онъ), да и только. Вотъ пришло время—и домъ, и родные не взлюбились наконецъ. И еслибъ была какая-нибудь возможность жить въ Питерѣ—я бы прямо маршъ, и остался бы въ немъ навсегда. Но безъ средствъ этого сдѣлать нельзя,—и я ѣду домой. И эта поѣздка много похожа на ловлю сурковъ: ихъ изъ земли выливаютъ водой, а меня нужда посылаетъ голодомъ. Я писалъ къ отцу по окончаніи дѣла, чтобы онъ прислалъ мнѣ денегъ. Старикъ мой говоритъ:«Денегъ нѣтъ тебѣ ни копѣйки, а что дѣло кончилось хорошо, мнѣ все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мнѣ 68 лѣтъ и жить осталось меньше, чѣмъ вамъ. Я даже слышалъ, что ты хочешь остаться въ Питерѣ—съ Богомъ, во святой часъ. Благословеніе дамъ, а больше ничего.—Я прочелъ сіи родительскія строки и сказалъ: вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день! Спрòсите, отчего это такъ сдѣлалось? А вотъ отчего: дѣло кончилось послѣднее и самое гадкое; слѣдственно, его кредитъ теперь очищенъ совершенно. Прежде онъ боялся полиціи, и потому любилъ меня до излишества: а теперь она ему не страшна—и домъ его, и все у него въ рукахъ: такъ я, выходитъ, сталъ ему не нуженъ... Эта новость и особенно эта непризнательность срѣзали меня глубоко. Вотъ отчего я такъ долго живу въ Москвѣ и не ѣду домой, и ѣхать не хочется, и не пишу къ вамъ. Я думалъ сначала махнуть въ Питеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, я и присѣлъ—и хорошо сдѣлалъ».

По возвращеніи домой Кольцовъ нашелъ, по обыкновенію, всѣ дѣла въ упадкѣ и разстройствѣ, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся ихъ устраивать. Отецъ принялъ его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей въ годъ изъ семи тысячъ, которыя долженъ былъ приносить домъ, въ ожиданіи чего Кольцовъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копѣйки въ карманѣ,—онъ, которому одному все семейство было обязано своимъ благосостояніемъ... Тогда имъ овладѣла одна мысль—устроивши дѣла, ѣхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативши всѣ долги по векселямъ на имя сына и рѣшившись прекратить торговлю со скотомъ. Но въ это время Кольцовъ началъ себя дурно чувствовать, и на страстной недѣлѣ чуть не умеръ, но однакожъ кое-какъ оправился. Къ счастью, докторъ его былъ человѣкъ благородный и симпатичный, который лѣчилъ его болѣе изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ разсчета; онъ зналъ впередъ, что получитъ бездѣлицу, а занимался своимъ паціентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болѣзни Кольцовъ говорилъ ему: «Докторъ, если моя болѣзнь неизлѣчима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и вамъ

меньше хлопотъ». Докторъ ручался за его излѣченіе: «Когда такъ, будемъ лѣчиться». Что терпѣлъ Кольцовъ во время болѣзни отъ близкихъ и кровныхъ, за исключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать. Это усилило разстройство его здоровья. Но тутъ, какъ нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое онъ дорого долженъ былъ расплатиться. Страстной любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зловѣщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. Закрывъ глаза на все, полной чашей, съ безумной жадностью пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги. На бѣду его, эта женщина была совершенно по немъ — красавица, умна, образована, и ея организація вполнѣ соотвѣтствовала его кипучей, огненной натурѣ. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. Еще до этой разлуки онъ уже почувствовалъ ослабленіе во всемъ организмѣ своемъ; вскорѣ открылась болѣзнь. Знакомый ему докторъ снова помогъ ему; но вслѣдъ затѣмъ открылась боль въ груди, слабость во всемъ тѣлѣ, по ночамъ сильная испарина, разстройство желудка и желудочный кашель. По совѣту доктора, Кольцовъ поѣхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ успѣлъ кончить курсъ своего купанья, и надо было прекратить его. Вслѣдъ затѣмъ сдѣлалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ все-таки сталъ оправляться. До сихъ поръ онъ ничего не читалъ, не писалъ, ни о чемъ не думалъ кромѣ лѣкарства, лѣченья, обѣда и ужина; но тутъ опять принялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силѣ духа этого человѣка. Правда, онъ надѣялся выздоровѣть, и не хотѣлось ему умереть; но возможность смерти онъ видѣлъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо, не мигая глазами. Вотъ слова, которыми онъ заключаетъ письмо свое къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте— на долго ли?—не знаю. Но какъ-то это слово горько отозвалось въ душѣ моей. Но еще—прощайте, и въ третій разъ прощайте. Еслибъ я была женщина, хорошая бы пора плакать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!» А между тѣмъ все письмо проникнуто бодростью духа, надеждой и даже веселостью...

Но это выздоровленіе было только отсрочкой смерти. Для возстановленія его здоровья нужно было прежде всего спокойствіе, а между тѣмъ его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили, какъ дикаго звѣря въ клѣткѣ. Иногда ему не на что было купить лѣкарства; иногда у него не было ни чая, ни сахару, ни свѣчей, а иногда мать его только украдкой отъ отца могла доставлять ему обѣдъ и ужинъ. Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмѣстѣ съ ними, гдѣ ему не было бы покою ни на минуту. Онъ перешелъ на мезонинъ, который цѣлую зиму не топился,—ему отказано было въ дровахъ, и онъ добывалъ ихъ по ночамъ, какъ воръ. Узнавши объ этомъ, ему обѣщали выгнать его по шеи изъ дому... Дѣлать было нечего, и онъ перешолъ внизъ. Разъ въ сосѣдней комнатѣ у сестры его много было гостей, и онѣ затѣяли игру: поставили на середину комнаты столъ, положили на него дѣвушку, накрыли ее простыней и начали хоромъ пѣть вѣчную память рабу Божію Алексѣю... Это была невинная шутка...

Вскорѣ послѣдовала свадьба сестры. «Все начало ходить и бѣгать черезъ мою комнату; полы моютъ то и дѣло, а сырость для меня убійственна. Трубки, благовонія курятъ каждый день; для моихъ разстроенныхъ легкихъ все это плохо. У меня опять образовалось воспаленіе, сначала въ правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здѣсь-то я струсилъ не на шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскѣ. Лѣкарь мой, несмотря на то, что я ему очень мало платилъ, пріѣзжалъ три раза въ день. А въ эту пору у насъ вечеринки каждый день —шумъ, крикъ, бѣготня, двери до полночи въ моей комнатѣ ни минуты не стоятъ на петляхъ. Прошу не курить,—курятъ больше; прошу не благовонить—больше, прошу не мыть половъ—моютъ». Все это потомъ кое-какъ уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасенія жизни, прибѣгъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивши у всѣхъ извиненія за мерзости, которыя съ нимъ дѣлали; его оставили въ покоѣ, и онъ увидѣлъ себя точно въ раю. «Я теперь ,слава Богу, живу покойно, смирно. Они меня не безпокоятъ. Въ комнатѣ тишина; самъ большой, самъ старшой. Съ отцомъ вижусь рѣдко; онъ меня не оскорбляетъ больше пока, и я имъ доволенъ. Обѣдъ готовятъ порядочный. Чай есть, сахаръ тоже, а мнѣ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Началъ прохаживаться, и два раза былъ въ театрѣ. Лѣкарь увѣряетъ, что я въ постъ не умру, а весной меня вылѣчитъ. Но силъ, не только духовныхъ, и физическихъ еще нѣтъ; памяти тоже. Волоса начали расти, съ лица зелень сошла, глаза чисты». Въ

заключеніи письма, говоря о своемъ нравственномъ состояніи, онъ прибавляетъ: «Что, если и выздоровѣвши, такимъ останусь?—Тогда прощайте, друзья, Москва, Петербургъ! Нѣтъ, дай Господи умереть, а не дожить до этого подлаго состоянія. Или жить для жизни, или — маршъ на покой!»

Мысль о переѣздѣ въ Петербургъ съ новой силой воскресла въ немъ, какъ скоро начиналъ онъ себя чувствовать лучше. Онъ только ждалъ для этого совершеннаго выздоровленія. Но и тутъ внутри его происходила страшная борьба, которую мы перескажемъ его собственными словами: «Какъ вы скажете: удерживаться ли въ Воронежѣ дома, бросить ли все, ѣхать въ Петербургъ? Удерживаться дома—житье мнѣ будетъ плохое. Но все старикъ меня, какъ не говори, а со двора не сгонитъ. У меня много здѣсь людей хорошихъ, которымъ я еще ни слова. Про это знаетъ лѣкарь и тотъ, у кого я жилъ на дачѣ: скажи я имъ, они помогутъ. Съ старикомъ уладиться легко—жениться, и онъ будетъ ко мнѣ хорошъ. Но зато надо взять тамъ, гдѣ ему будетъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ—онъ не дастъ ни гроша. Ну, положимъ, я найдусь туда пріѣхать; у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но пріѣхавши туда, что я буду дѣлать? Наняться въ приказчики? не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Положить надежду на мои стишонки: что за нихъ дадутъ! И что за нихъ буду получать въ годъ—пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить правду—особенно теперь, въ рѣшительное время, талантъ мой пустой. Нѣсколько пѣсенокъ въ годъ—дрянь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю; а мнѣ тридцать-три года. Вотъ мое положеніе. Пожалуйста, напишите мнѣ ваше мнѣніе; я имъ дорожу болѣе всего. В. Г. пишетъ: ѣхать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свѣтѣ, хорошаго не видалъ, или видѣлъ, да немного, да и то живя въ Москвѣ и Питерѣ, а въ Воронежѣ не помню когда. Что, если въ сорокъ лѣтъ придется нищенствовать?—Плохо!»

Послѣднее письмо, которое мы получили отъ Кольцова, было отъ 27-го февраля 1842 года. Лѣтомъ мы писали къ нему, но отвѣта не было; а осенью мы получили изъ Воронежа отъ незнакомыхъ намъ людей извѣстіе о его смерти... Поэтому подробностей о послѣднемъ времени его жизни мы не знаемъ, и только можемъ предполагать, что это была продолжительная агонія, страданіе, мученичество... Онъ умеръ 19 октября 1842 года, въ три часа по полудни, на тридцать-четвертомъ году отъ рожденія.

Такова была жизнь этого человѣка! Рожденный для жизни, онъ исполненъ былъ необыкновенныхъ силъ и для наслажденія ею и для борьбы съ нею, а жить для него значило—чувствовать и мыслить, стремиться и познавать. Любовь и симпатія были основной стихіей его натуры. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ быть въ любви идеалистомъ, и былъ слишкомъ деликатно и благородно созданъ, чтобъ быть въ ней матеріалистомъ. Грубая чувственность могла увлекать его, но не надолго, и онъ умѣлъ отрѣшаться отъ нея, не столько силой воли, сколько природнымъ отвращеніемъ ко всему грубому и низкому. Нѣжнымъ вздыхателемъ, довольствующимся обожаніемъ своего идеала, онъ никогда не былъ и не могъ быть, потому что для такой смѣшной роли онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ одаренъ жизнью и страстью. Женщина никогда не была въ его глазахъ безплотнымъ идеаломъ, эѳирной мечтой, туманнымъ образомъ, таинственнымъ видѣніемъ невѣдомаго міра; но въ то же время онъ умѣлъ понимать ее поэтически; видѣлъ въ ней существо родное мужчинѣ, слѣдовательно, подобно ему, земное, и тѣмъ болѣе прекрасное, и поклонялся въ ней красотѣ, граціи, жизни, чувству, могуществу страсти. Но вполнѣ обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина съ сильнымъ характеромъ, которой страсти и воля не останавливались передъ деревяннымъ болваномъ общественнаго мнѣнія, передъ лицемѣрнымъ судомъ безнравственныхъ моралистовъ, глупыхъ умниковъ и невѣжественныхъ глупцовъ. И вотъ почему его послѣдняя любовь совершенно изгладила въ его сердцѣ всѣ скорбныя воспоминанія первой, и ему казалось, что онъ любитъ только въ первый разъ... Онъ не могъ наслаждаться безъ чувства, безъ раздѣла; но когда его страсти отвѣчала страсть—онъ предавался ей и ея наслажденіямъ со всѣмъ самозабвеніемъ, всей стремительностью натуры пламенной и сильной, думая не о послѣдствіяхъ, а только о томъ, что «жить намъ на свѣтѣ не дважды!..»

Въ дружбѣ онъ не зналъ разсчета и эгоизма. Грубая и грязная дѣйствительность, въ среду которой втолкнула его судьба, какъ неизбѣжной жертвы, требовала отъ него и поклоновъ, и униженія, и лжи, и всѣхъ изворотовъ мелкаго торгашества, но онъ и тутъ умѣлъ сохранить свое человѣческое достоинство и всегда держаться неизмѣримо выше людей своего сословія, находящихся въ такомъ же положеніи. Внутренно онъ всегда оставался чистъ отъ этой грязи, и ничего изъ нея не

внесъ въ задушевный міръ своей жизни. Всегда готовый одолжить близкаго человѣка, онъ избѣгалъ всякаго случая одолжиться имъ: его пугала одна мысль внести разсчетъ въ чистоту дружественныхъ отношеній, и съ этой стороны онъ доходилъ до ребячества. Какъ всѣ люди съ глубокимъ чувствомъ, онъ больше всего боялся сдѣлать изъ чувства комедію, и потому медленно и робко сходился съ человѣкомъ; но, разъ сблизившись, онъ умѣлъ любить, умѣлъ быть преданнымъ безъ увѣреній и фразъ. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, какъ года за полтора передъ смертью, вдалекѣ отъ тѣхъ, которые понимали и любили его, онъ видѣлъ себя въ кругу дикихъ невѣждъ, которые уже не нуждались въ немъ и потому поспѣшили снять съ себя маску родственной любви и отомстить ему за его превосходство надъ ними. Какъ ни тяжело было подобное разочарованіе, но у Кольцова всегда стало бы силы перенести его, тѣмъ болѣе, что онъ никогда не дорожилъ особенно связями крови безъ связи духа; да, у него стало бы силы отвѣтить презрѣніемъ на подлости и предательство, порожденныя ограниченностью и невѣжествомъ. Но сила измѣнила ему, когдако всему этому—и къ болѣзни, и къ нуждѣ, и къ черной неблагодарности за услуги, ему пришлось еще горько разочароваться въ тѣхъ дорогихъ и нѣжныхъ отношеніяхъ, гдѣ, по его мнѣнію, связь крови была скрѣплена связью духа, и когда тутъ за свою любовь, дружбу и преданность онъ вдругъ и неожиданно увидѣлъ вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это въ формѣ грязной, наглой, безстыдной... Тутъ все было оскорблено въ немъ—и благороднѣйшія, святѣйшія чувства его сердца, и его самолюбіе: ему горько было убѣдиться, что его такъ долго и такъ коварно обманывали, и что бисеръ души своей онъ бросалъ подъ ноги нечистымъ животнымъ...

Говорятъ, будто любящее сердце, умъ, талантъ и всякое превосходство надъ людьми есть страшный даръ природы, родъ проклятья, изрекаемаго судьбой надъ человѣкомъ избраннымъ въ самую минуту его рожденія... Говорятъ, будто несчастьемъ и страданіями цѣлой жизни избранникъ долженъ расплатиться за дерзкую привилегію быть выше другихъ. И все это доказываютъ примѣрами людей замѣчательныхъ... Но справедливо ли такое мнѣніе, и должна ли жизнь быть мачихой въ отношеніи къ любимѣйшимъ дѣтямъ природы?.. О, нѣтъ! эта вражда жизни съ природой отнюдь не есть законъ разумной необходимости, но есть только результатъ несовершенства человѣческихъ обществъ. Избранный человѣкъ болѣе, чѣмъ всякій другой, родится для жизни и наслажденія ею, — и не жизнь, а общество виновато въ томъ, что, едва родившись, онъ съ бою долженъ брать даже самый воздухъ, чтобъ ему можно было дышать... Въ своемъ семействѣ, гдѣ, кажется, естественная любовь должна была бы стоять на стражѣ его дѣтства и лелѣять его,—въ своемъ семействѣ прежде всего встрѣчаетъ онъ, съ ужасомъ и отвращеніемъ, чудовищный образъ общества, которое въ человѣкѣ не хочетъ признавать человѣка, но видитъ въ немъ только породу и касту или смотритъ на него только какъ на работника, какъ на живой капиталъ, съ котораго нѣкогда можно будетъ брать проценты... Семейство, узы крови: что̀ вы, если не бичи и цѣпи тамъ, гдѣ полудикое и невѣжественное общество еще въ колыбели встрѣчаетъ человѣка, въ видѣ патріархальнаго логовища, глава котораго есть степной деспотъ съ нагайкой въ рукѣ, «самолюбивый, упрямый, хвастунъ безъ совѣсти, не любитъ жить съ другими въ домѣ человѣчески, а любитъ, чтобы все передъ нимъ трепетало, боялось и рабствовало?..»

Мы уже говорили, что Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего образованія. «Будь человѣкъ и геніальный (говоритъ онъ въ одномъ письмѣ), а не умѣй грамотѣ — не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы. Прежде я-таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то, и то, а теперь кровь какъ угомонилась, такъ и осталося одно желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ прочный, и его мнѣ надолго станетъ; а тамъ что̀ Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всѣ дурныя пьесы бросайте безъ вниманія, а какія нравятся, тѣ печатайте». Люди обыкновенно не столько наслаждаются тѣмъ, что̀ имъ дано, сколько горюютъ о томъ, чего имъ не дано; притомъ они мало цѣнятъ то, что̀ дается имъ безъ труда, и видятъ верхъ совершенства только въ томъ, что̀ добывается по̀томъ и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далась проза, которая, по его выраженію, «съ нимъ еще при рожденіи разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ». Въ 1840 году нашъ знаменитый трагическій актеръ, Мочаловъ, посѣтилъ Воронежъ и давалъ представленія на тамошнемъ театрѣ. Кольцову, горячо любившему Мочалова, какъ художника и какъ человѣка, очень хотѣлось написать что-нибудь для журнала о его представленіяхъ; но

онъ, разумѣется, не рѣшился и попробовать. Досада его очень наивно излилась въ письмѣ къ пріятелю: «Глупое положеніе нашей братіи-риемачей! Вотъ теперь и хочется написать статейку о Павлѣ Степановичѣ, а чертовскіе размѣры на даютъ ходу прозѣ и велятъ молчать». Отдѣлаться отъ мелочной торговли и на свободѣ предаться ученью было любимѣйшей мечтой всей жизни Кольцова. Не имѣя яснаго понятія о наукахъ, онъ хотѣлъ учиться всему — и тому, чему бы могъ и долженъ былъ учиться, и тому, чему не могъ и не долженъ былъ; но сквозь этотъ хаосъ темныхъ представленій о наукѣ ясно было видно, что еслибы онъ и не могъ заняться исторіей, какъ наукой, то съ жаромъ и страстью предался бы чтенію преимущественно историческихъ сочиненій. Онъ желалъ учиться и языкамъ; но для осуществленія всѣхъ этихъ проэктовъ его время прошло, и все, что̀ оставалось для него,—это предаться съ упоеніемъ чтенію всего, что̀ могъ найти лучшаго на русскомъ языкѣ. Пріобрѣтеніе книгъ было счастьемъ и радостью его жизни. «Вы не можете представить (писалъ онъ въ 1840 году къ пріятелю), какой богачъ я сталъ хорошими книгами. Есть что̀ читать! Вашъ подарокъ получилъ; «Отечественныя Записки», «Современникъ» тоже; отъ Губера получилъ «Фауста», отъ Владиславлева—«Утреннюю Зарю»; купилъ полное собраніе сочиненій Пушкина, «Исторію философскихъ системъ» Галича: мнѣ ее наши бурсаки сильно расхвалили; прочелъ первую часть—вовсе ничего не понялъ. Развѣ философія — другое дѣло? Можетъ быть и такъ; будемъ читать еще до конца. Теперь одинъ недостатокъ оказался: надобно непремѣнно обзавестись «Исторіей» Карамзина; у меня есть Полевого и Ишимовой краткія, да хочется имѣть полную, да оперъ нѣсколько». Какъ человѣкъ необразованный или, лучше сказать, какъ полуобразованный самоучка, Кольцовъ нѣкоторыя изъ лучшихъ своихъ пѣсенъ хотѣлъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить ихъ. Не изъ этого ли источника происходило и его страстное желаніе написать либретто для оперы, — дѣло, къ которому онъ едва ли былъ способенъ? Другое дѣло—къ готовому, но голому драматическому очерку написать аріи, разумѣется, вродѣ его русскихъ пѣсенъ—это онъ могъ бы выполнить прекрасно, и можетъ-быть этого-то и хотѣлось ему. Какъ бы то ни было, но оперныя либретто на русскомъ языкѣ онъ собиралъ съ жадностью. Изъ другого, болѣе истиннаго и глубокаго источника выходило у него страстное желаніе путешествовать по Россіи. Это было тоже любимѣйшей его мечтой, которой, какъ и многимъ другимъ, не суждено было осуществиться.

Какъ человѣку не только съ истиннымъ, но еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знакомы были горькія минуты разочарованія въ своемъ поэтическомъ призваніи. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднѣе быть судьей собственныхъ произведеній, онъ думалъ, что у него вовсе нѣтъ эстетическаго вкуса. Такъ писалъ онъ разъ къ одному изъ своихъ друзей объ одной изъ лучшихъ своихъ пьесъ: «Чортъ знаетъ, иногда прочтешь Хуторокъ—покажется, а иногда разорвать хочется». Въ другой разъ онъ писалъ: «Сколько я ни бьюся съ самимъ-собой, но все эстетическое чувство не управляетъ мной, не обладаю имъ я, какъ бы хотѣлось—хоть лягъ, да умри».

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся пьесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ, наиболѣе ему нравившихся. Таковы пьесы: «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлегъ чумаковъ», «Путникъ», «Красавицѣ», «Сестрѣ», «Приди ко мнѣ», «Разувѣреніе», «Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный», «Мщеніе», «Вздохъ на могилѣ Веневитинова», «Къ рѣкѣ Гайдарѣ», «Что значу я», «Утѣшеніе», «Я былъ у ней», «Первая любовь», «Къ ней же», «Наяда», «Къ N.», «Соловей», «Къ Другу», «Изступленіе», «Поэтъ и няня», «А. П. Серебрянскому». Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторыя изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоваться до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усиліемъ выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ-бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ вся-

каго желанія подражать или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ риѳмы, съ которой онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ пьесъ: «Цвѣтокъ», «Бѣдный призракъ», «Товарищу») пьесы: «Послѣдняя борьба», «Къ милой», «Примиреніе», «Міръ музыки», «Не разливай волшебныхъ звуковъ», «К***», «Вопль страданія», «Звѣзда», «На новый 1842 годъ». Пьесы же: «Очи, очи голубыя», «Размолвка», «Люди добрые, скажите», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Совѣтъ старца», «Глаза», «Домикъ лѣсника», «Женитьба Павла»— составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду—русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ безсознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простого народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня—не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастью, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между «настоящими» стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ—вѣдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь, и вѣрно онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало-быть, русская пѣсня не вздоръ, не глупость, а тоже поэзія... И съ тѣхъ поръ онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первыя пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднимъ между романсомъ и русской пѣсней, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще съ 1830 года ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта, и пьесамъ: «Кольцо», «Удалецъ», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселянина» (1830—1832), недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобъ быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсенъ «Ты не пой, соловей», 1830) и «Не шуми ты, рожь» (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсенъ, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются большей частью два слова: талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ —высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже второго, а второй выше перваго; но чѣмъ же именно ниже или выше—вотъ вопросъ! Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и наконецъ историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываетъ своими твореніями новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но безсознательно; пережившій извѣстный историческій моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній—и возвѣщаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ, и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; дико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающійся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новыя поколѣнія упрочиваютъ за нимъ побѣду. Имя генія— милліонъ, потому-что въ груди своей носитъ онъ страданія, радости, надежды и стремленія милліоновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или другого сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достояніе таланта,— и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь внѣшній и случайный толчокъ: одинъ отъ того, что ослѣпъ, другой отъ того, что лишился любимой имъ женщины, третій отъ того, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступленіе, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей всѣ эти люди никогда не сдѣлались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому

нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствіе оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта: онъ живетъ не своей, а чужой жизнью, его вдохновеніе есть не что иное, какъ «плѣнной мысли раздраженье»,—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпой, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идетъ за модой; куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и въ свою очередь порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исчезаетъ, какъ скоро привыкнутъ и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣетъ степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скуденъ, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе, и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и отъ обыкновенныхъ талантовъ. Но это названіе довольно неопредѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло названіе геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значатъ, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому мы должны оправдать употребляемое нами выраженіе «геніальнаго таланта», показавши его отношеніе къ «генію и «таланту». Геніальный талантъ отличается отъ обыкновеннаго таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственной жизнью, творитъ свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаетъ печать оригинальности и самобытности со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому геній есть полный властелинъ своего времени, которое носитъ на себѣ его имя,—тогда какъ вліяніе геніальнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собой цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніальный талантъ—одинъ уголокъ ея. Что въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства,—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе геніальнаго таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между геніемъ и толпой, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала и тѣмъ самымъ приближаетъ ихъ къ разумѣнію толпы. Подъ рукой таланта, идеи генія, такъ сказать, мельчаютъ и опошливаются, но этимъ самымъ онѣ и дѣлаются популярными, становятся всѣмъ доступными и каждому извѣстными. И потому талантъ совершаетъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ онъ дѣлается жертвой собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомитъ и сближаетъ толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собой,—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому генію, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому-что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдняго слова о существенномъ различіи между геніальнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ натуры человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который

—не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно нажить другой: капиталъ—внѣшнее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромной извѣстностью своего таланта, пережили свой талантъ и свою извѣстность, и которые, несмотря на то, съумѣли вознаградить себя другими благами жизни: пріобрѣли большіе чины и большія деньги и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный геніальнымъ талантомъ: его нельзя отдѣлить отъ его таланта, его талантъ—его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, біеніе его сердца, дыханіе его груди, словомъ—весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчать его къ одной цѣли, къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рожденію, воспитанію, всѣмъ внѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него—инстинктъ, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
. . . . . .
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Сила геніальнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствѣ человѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда-какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собой необыкновеннаго человѣка; тутъ человѣкъ и талантъ—каждый самъ по-себѣ, и человѣкъ въ отношеніи къ таланту есть то же, что̀ ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуръ обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна,—и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человѣка есть лицо, слѣдовательно всякій человѣкъ есть личность; и однакожъ въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ неопредѣленныхъ, безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ особности. Лицо есть выраженіе, душа человѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидѣвши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цѣлые годы и забываешь, не видя недѣлю. Слѣдовательно, личность имѣетъ свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣе, тѣмъ ничтожнѣе она; чѣмъ болѣе поражаетъ оригинальностью, тѣмъ она выше. Поэтому геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляетъ собственно не умъ; умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей;—не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей;—не сердце: оно тоже, и очень часто, бываетъ удѣломъ людей обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе физіономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но физіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходитъ къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученіемъ, и свѣтской жизнью; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ въ присутствіи геніальнаго невѣжды какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ-бы боясь проговориться. Вотъ что̀ значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурой человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностью и натурой человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто внѣшняя сила производить на основаніи увлеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, онъ уже сила творческая, зиждительная, слѣдовательно въ немъ уже заключается

искра геніальности,—и если, по его объему, его нельзя назвать «геніемъ», то можно и должно назвать «геніальнымъ талантомъ».

Къ числу такихъ талантовъ принадлежитъ и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ просто мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся «народными», до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсенъ, хотя многіе русскіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже пріобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ «народныхъ». Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что̀ можетъ сдѣлать талантъ. Но, несмотря на то, въ цѣломъ его русскія пѣсни не что̀ иное, какъ романсы, пропѣтые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что̀ же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига—это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсѣмъ русскій, а скорѣе нѣмецкій или, еще ближе къ дѣлу, итальянскій баринъ. Мерзляковъ по крайней мѣрѣ перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское гореванье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенькой задумчивости, слѣдовательно нѣтъ ничего русскаго. Впрочемъ наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженію его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскій человѣкъ, сынъ народа въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформой Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массой народа. Въ пьесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формѣ, видна душа глубоко-русская, но въ то же время видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ «Каменномъ Гостѣ» изобразилъ природу и нравы Испаніи съ такой же поразительной вѣрностью, какъ въ «Русалкѣ» изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой «Русалкѣ», если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту, — нельзя не открыть въ ней примѣси поэтическихъ элементовъ, болѣе обрусѣвшихъ поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта пьеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пѣсенъ Кольцова: въ нихъ и содержаніе, и форма чисто русскія, — и, несмотря на всю объективность своего генія, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни вродѣ Кольцова, потому-что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайной этой пѣсни. Этой пѣсней онъ создалъ свой особенный, только одному ему довлѣвшій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать, — но не по недостатку таланта, а потому, что міръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для генія, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тѣсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ Пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа въ полномъ значеніи этого слова. Бытъ, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтой, а душой, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что̀, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни, — зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ и по всей натурѣ, и по своему положенію былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи,

способность бѣшено предаваться и печали, и веселью, а вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянья, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;
Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять;
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,
Быть съ веселымъ лицомъ;
На погибель идти —
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собой сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его «Пѣсню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его «Крестьянской пирушкѣ» и въ пѣснѣ:

Что ты спишь, мужичокъ!
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ;
Вслѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
Путь снѣжкомъ порошитъ,
Подъ санями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ возутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ піитикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклоченныя бороды, и старыя онучи—и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзіи. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, жетъ-быть еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копѣйки, то прожитое счастье, то жалоба на судьбу-мачиху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, разсказывать ребятишкамъ сказки, ботѣть, старѣться. Такъ, говоритъ онъ, хоть оно и не того, но ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? «Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежитъ?» И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронію:

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горахъ — лѣса, сады, дома;
На днѣ моря — груды золота;
Облака идутъ — нарядъ несутъ!...

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучитъ душу мука смертная,
Вонъ изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тѣшиться;
Съ злою долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни («Измѣна суженой») прочтите пѣсню: «Ахъ, зачѣмъ меня»— какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отдѣлить ее отъ содержанія—значитъ уничтожить само содержаніе; и наоборотъ: отдѣлить содержаніе отъ формы — значитъ уничтожить форму. Эта живая связь или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формой и формы съ идеей бываетъ достояніемъ только одной геніальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со стороны формы, или преимущественно блистаетъ формой, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное и въ томъ, и другомъ случаѣ

богатыя мыслью или щеголяющія внѣшней красотой, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего яснѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами, — и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство геніальности, есть черта, которая отдѣляетъ геніальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателей въ языкѣ поэта, не должна быть искусственной или изысканной: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная какъ, и если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истинѣ выраженія: оригинальность придетъ сама собой, если въ талантѣ его есть геніальность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такой оригинальностью Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова. Даже русскія пѣсни, созданныя народомъ, не могутъ равняться съ пѣснями Кольцова въ богатствѣ языка и образовъ, чисто русскихъ. Это естественно: въ народныхъ пѣсняхъ заключаются только элементы народнаго духа и поэзіи, но въ нихъ нѣтъ художественности, подъ которой должно разумѣть цѣлость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы. Многія русскія пѣсни имѣютъ значеніе только въ пѣніи, а въ чтеніи почти, или и вовсе, лишены смысла; другія при богатствѣ наивныхъ поэтическихъ образовъ не чужды прозаическихъ выраженій и слабыхъ мѣстъ, и только очень немногія, и то не вполнѣ, удовлетворяютъ болѣе или менѣе богатствомъ содержанія при силѣ выраженія. Изъ поэтовъ только Мерзляковъ, и то въ одной только пѣснѣ, и то не вполнѣ, умѣлъ приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не внѣшнимъ только образомъ, но и внутренно; умѣлъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сантиментальности романса,—въ пѣснѣ: «Чернобровый, черноглазый». По крайней мѣрѣ слѣдующіе стихи изъ этой пѣсни нельзя не признать удивительными:

Воетъ сыръ-боръ за горою,
Метелица въ полѣ;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога...

Кольцовъ, напротивъ, никогда не проговаривается противъ народности ни въ чувствѣ, ни въ выраженіи. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадаетъ въ сантиментальность, даже и тамъ, гдѣ оно становится нѣжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи онъ также вѣренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пѣсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его пѣсни представляютъ собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальныхъ образовъ въ высшей степени русской поэзіи. Съ этой стороны языкъ его столько же удивителенъ, сколько и неподражаемъ. Гдѣ, у кого, кромѣ Кольцова, найдете вы такіе обороты, выраженія и образы, какими напримѣръ усыпаны, такъ сказать, двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича? У кого, кромѣ Кольцова, можно встрѣтить такіе стихи:

Грудь бѣлая волнуется,
Что рѣченька глубокая —
Песку со дна не выкинетъ.
Въ лицѣ огонь, въ глазахъ туманъ...
Смеркаетъ степь, горитъ заря...

—

На гумнѣ — ни снопа,
Въ закромахъ — ни зерна;
На дворѣ, по травѣ,
Хоть шаромъ покати.
Изъ клѣтей домовой
Соръ метлою посмелъ,
И лошадокъ за долгъ
По сосѣдямъ развелъ.

—

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Всѣ *заказаны?*

—

Не держи жъ, пусти, дай волюшку
Тамъ опять мнѣ жить, гдѣ хочется,
Безъ талана—гдѣ талантиться,
Молодымъ кудрямъ счастливиться.

—

Отчего жъ на свѣтъ
Глядѣть хочется,
Облетѣть его
Душа просится?

Мы не выбирали этихъ отрывковъ, но брали, что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее—значило бы большую часть пьесъ Кольцова въ одной и той же книгѣ напечатать вдвойнѣ. И потому мы не войдемъ въ подробный разборъ отдѣльныхъ пьесъ. Скажемъ просто: еслибы Кольцовъ написалъ только такія пьесы, какъ «Совѣтъ старца», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселянина», «Два прощанія», «Размолвка», «Кольцо», «Пѣсня старика», «Не шуми ты, рожь», «Удалецъ», «Ты не пой, соловей», «Пѣсня пахаря», «Не

на радость, не на счастье», «Всякому свой таланъ», «Пѣсню о Грозномъ», «Я любила его», «Что онъ ходитъ за мной», «Нынче ночью къ себѣ»,—и тогда въ его талантѣ нельзя было бы не признать чего-то необыкновеннаго. Но что же сказать о такихъ пьесахъ, какъ «Урожай», «Молодая жница», «Косарь», «Раздумье селянина», «Горькая доля», «Пора любви», «Послѣдній поцѣлуй», «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», «Пѣсня разбойника», «Тоска по волѣ», «Говорилъ мнѣ другъ прощаючись», «Безъ ума, безъ разума», «Разлука», «Разсчетъ съ жизнью», «Перепутье», «Дуютъ вѣтры», «Грусть дѣвушки», «Доля бѣдняка», «Ты прости-прощай», «Разступитесь, лѣса темные», «Какъ здоровъ да молодъ»?—Такія пьесы громко говорятъ сами за себя, и кто бы не увидалъ въ нихъ огромнаго таланта, съ тѣмъ нечего и словъ тратить—съ слѣпыми о цвѣтахъ не разсуждаютъ. Что же касается до пьесъ: «Лѣсъ» (посвященный памяти Пушкина), «Двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича», «Ахъ, зачѣмъ меня», «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», «Путь», «Что ты спишь, мужичокъ», «Въ непогоду вѣтеръ», «Дума сокола», «Свѣтитъ солнышко», «Такъ и рвется душа», «Много есть у меня», «Не весна тогда», «Хуторокъ» и «Ночь»—эти пьесы принадлежатъ не только къ лучшимъ пьесамъ Кольцова, но и къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній русской поэзіи. Мы не говоримъ уже о неподражаемомъ превосходствѣ собственно лирическихъ пѣсенъ—талантъ Кольцова былъ по преимуществу лирическій; но не можемъ не указать на повѣствовательный характеръ пьесъ: «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», обѣ «пѣсни Лихача-Кудрявича», и на страстно-драматическій характеръ пьесъ: «Хуторокъ» и «Ночь».

Почти всѣ пѣсни Кольцова писаны правильнымъ размѣромъ: но этого вдругъ не замѣтишь, а если замѣтишь, то не безъ удивленья. Дактилическое окончаніе ямбовъ и хореевъ и полуриема, вмѣсто риомы, а часто и совершенное отсутствіе риомы, какъ созвучія слова, но, взамѣнъ, всегда риома смысла или цѣлаго реченія, цѣлой соотвѣтственной фразы—все это приближаетъ размѣръ пѣсенъ Кольцова къ размѣру народныхъ пѣсенъ. Кольцовъ не имѣлъ яснаго понятія о версификаціи, и руководствовался только своимъ слухомъ. И потому безъ всякаго старанія и даже совершенно безсознательно умѣлъ онъ искусно замаскировать правильный размѣръ своихъ пѣсенъ, такъ-что его и не подозрѣваешь въ нихъ. Притомъ онъ придалъ своему стиху такую оригинальность, что и самые ихъ размѣры кажутся совершенно оригинальными. И въ этомъ отношеніи, какъ и во всемъ другомъ, подражать Кольцову невозможно: легче сдѣлаться такимъ же, какъ онъ, оригинальнымъ поэтомъ, нежели въ чемъ-нибудь поддѣлаться подъ него. Съ нимъ родилась его поэзія, съ нимъ и умерла ея тайна.

Нѣкоторыя пѣсни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большей частью не лучшія его пѣсни, что произошло вѣроятно отъ того, что пѣсни Кольцова были доселѣ разсѣяны во множествѣ періодическихъ изданій. Теперь выходомъ въ свѣтъ этой книги музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязанія съ поэтическимъ талантомъ. Русскіе звуки поэзіи Кольцова должны породить много новыхъ мотивовъ національной музыки. И придетъ время, когда пѣсни Кольцова пройдутъ въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси, какъ нѣкогда пройдутъ въ народъ и будутъ заучены ими наизусть басни Крылова...

Къ третьему разряду произведеній Кольцова принадлежатъ думы—особый и оригинальный родъ стихотвореній, созданный имъ. Эти думы далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ его пѣснями; нѣкоторыя изъ нихъ даже слабы, и только немногія прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порыванія своего духа къ знанію, силился разрѣшить вопросы, возникавшіе въ его умѣ. И потому въ нихъ естественно представляются двѣ стороны: вопросъ и рѣшеніе. Въ первомъ отношеніи нѣкоторыя думы прекрасны, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Молитва», «Вопросъ». Такъ, напримѣръ, что можетъ быть прекраснѣе этихъ стиховъ, проникнутыхъ глубокой мыслью, выраженной поэтически и страстно:

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы!
Но, Боже, и вѣрѣ
Могила темна!
Что слухъ мой замѣнитъ?
Потухшія очи?
Глубокое чувство
Остывшаго сердца?
Что будетъ жизнь духа
Безъ этого сердца?

Но во второмъ отношеніи эти думы естественно не могутъ имѣть никакого значенія. Сильный, но неразвитый умъ, томясь великими вопросами и чувствуя себя не въ силахъ разрѣшить ихъ, обыкновенно старается успокоить себя или какой-нибудь риторической фразой о высшемъ мірѣ, или иронической выходкой противъ слабости ума человѣческаго, какъ напримѣръ сдѣ-

лалъ это Кольцовъ въ думѣ: «Неразгаданная истина», которая оканчивается такъ:

Подсѣку-жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Прокляну усилья
Къ тайнамъ провидѣнья.
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу.

Это случалось и случается и съ великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше ихъ времени или выше ихъ самихъ. Кольцовъ съ его вопросами не могъ быть ни въ какихъ отношеніяхъ ни съ какимъ вѣкомъ: они были важны только для него, и тѣмъ труднѣе было ему рѣшать ихъ. Но самый вопросъ излагается у него часто съ необыкновенной поэзіей, доходящей до высокаго (sublime); чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть его «Великую тайну». Несмотря на мистическую темноту выраженія, которая иногда доходитъ до рѣшительной безсмыслицы, какъ напримѣръ въ трехъ первыхъ стихахъ думы «Божій міръ», и естественная причина которой была та, что поэтъ больше ощущалъ и чувствовалъ или, лучше сказать, больше предощущалъ и предчувствовалъ сердцемъ, нежели сознавалъ умомъ то, что хотѣлъ выразить словомъ,—несмотря на эту мистическую темноту, почти во всѣхъ его думахъ есть поэзія и мысли, и выраженія. Многіе осуждали Кольцова за этотъ родъ стихотвореній, видя въ нихъ претензіи полуграмотнаго прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что не осуждали Кольцова эти «многіе»—даже за то, что въ бесѣдахъ онъ сидѣлъ не все молча, но иногда осмѣливался высказывать свое мнѣніе о предметѣ общаго разговора. Этой строгостью къ Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И по-дѣломъ ему: какъ было смѣть ему, безграмотному мѣщанину, удостоенному за его талантъ чести быть принятымъ въ общество умныхъ людей,—какъ было ему при нихъ «смѣть свое сужденіе имѣть!»... Люди съ книжнымъ, вычитаннымъ умомъ, съ готовыми сужденіями о чемъ угодно, никогда не поймутъ, чтобы человѣкъ съ высшей натурой, но обдѣленный образованіемъ, могъ на своемъ странномъ языкѣ вслухъ выговаривать то, что глубоко запало въ его душу и сильно заняло его умъ; никогда не растолкуете вы имъ, что такой человѣкъ и ошибается-то лучше, нежели какъ они говорятъ дѣло, потому-что онъ ошибается по своему, а они говорятъ чужое...

Особенное достоинство думъ Кольцова заключается въ ихъ чисто-русскомъ, народномъ языкѣ. Кольцовъ не по кокетству таланта, а по необходимости прибѣгалъ къ этому складу. Въ своихъ думахъ Кольцовъ—русскій простолюдинъ, ставшій выше своего сословія на столько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не на столько, чтобы овладѣть ею и самому совершенно отрѣшиться отъ своей прежней сферы. И потому онъ по необходимости говоритъ ея понятіями и ея языкомъ объ увидѣнной имъ вдали сферѣ другихъ, высшихъ понятій; но потому же онъ въ своихъ думахъ искренъ и истиненъ до наивности,—что и составляетъ главное ихъ достоинство. Хотя пѣсни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простого народа, но все же онѣ были бы для него гораздо высшей школой поэзіи, а слѣдовательно чувствъ и понятій, нежели поэзія народныхъ пѣсенъ,—и потому были бы очень полезны для нравственнаго и эстетическаго его образованія. Такимъ же точно образомъ думы Кольцова, изложенныя образами и складомъ чисто-русскими и представляющія собою первую высшую ступень простого русскаго человѣка въ стремленіи къ нравственно-идеальному развитію,—были бы очень полезны для избранныхъ натуръ въ простомъ народѣ.

Мистическое направленіе Кольцова, обнаруженное имъ въ думахъ, не могло бы у него долго продолжиться, еслибъ онъ остался живъ. Этотъ простой, ясный и смѣлый умъ не могъ бы долго плавать въ туманахъ неопредѣленныхъ представленій. Доказательствомъ этому служитъ его превосходная дума «Не время ль намъ оставить», написанная имъ менѣе нежели за годъ до смерти. Въ ней виденъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерцаніямъ здраваго разсудка.

—

Теперь намъ остается сказать слова два о редакціонной части изданія сочиненій Кольцова. Мы расположили его сочиненія по годамъ и раздѣлили ихъ на два отдѣла. Въ первомъ помѣстили мы одно лучшее, избранное, не нарушая однако же хронологической послѣдовательности, — и потому въ этомъ отдѣлѣ сперва идутъ пьесы перваго періода поэтическихъ опытовъ Кольцова, которыя естественно слабѣе послѣдующихъ, которыя занимаютъ собой середину и бо́льшую часть отдѣла; а въ концѣ его по той же причинѣ рѣшились мы помѣстить и четыре послѣднія сихотворенія, довольно слабыя и написанныя Кольцовымъ уже не задолго до смерти, во время тяж-

кой болѣзни, въ мучительныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ стихотвореніе «На новый 1842-й годъ» имѣетъ свой интересъ, какъ скорбное предчувствіе поэта,—увы!—слишкомъ вѣрно сбывшееся; остальныя же три—какъ послѣдніе, уже замирающіе звуки еще недавно громкаго, мощнаго и гармоническаго голоса... Думы помѣстили мы отдѣльно, непосредственно послѣ пѣсенъ и не отдѣлили лучшихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому-что эти пьесы слишкомъ тѣсно слиты съ личностью Кольцова и интересны болѣе какъ факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произведенія, хотя нѣкоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки зрѣнія, какъ напримѣръ: «Великая тайна», «Могила», «Не время ль намъ оставить». Такимъ образомъ изъ 125 пьесъ въ первомъ отдѣлѣ помѣщено 79 пьесъ. Остальныя 46 стихотвореній мы напечатали въ особомъ отдѣлѣ, въ видѣ приложенія. Между ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нѣтъ ни одного, которое не имѣло бы хотя относительнаго интереса или замѣчательной степенью одушевленія, даже страсти, или оригинальной мыслью, или счастливыми оборотами выраженій, или наконецъ болѣе или менѣе любопытнымъ отношеніемъ къ жизни и личности автора. Нѣкоторыя изъ стихотвореній этого отдѣла были бы даже очень недурны, еслибы отзывались большей зрѣлостью и выдержанностью. Таковы напримѣръ пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Домикъ лѣсника», «Размышленіе поселянина», «Глаза», «Два прощанья», «Бѣдный призракъ», «Товарищу», «Не скажу никому», «Гдѣ вы, дни мои».

Такъ же, въ видѣ приложенія, рѣшились мы, при собраніи стихотвореній Кольцова, напечатать «Мысли о музыкѣ», статью друга его Серебрянскаго. Это единственный оставшійся послѣ Серебрянскаго литературный памятникъ, погребенный въ одномъ малоизвѣстномъ и притомъ старомъ уже журналѣ. Мы увѣрены, что отношенія Серебрянскаго къ Кольцову, равно какъ и достоинство статьи, которая сама такъ похожа на музыкальное произведеніе, вполнѣ оправдываютъ ея помѣщеніе въ книгѣ сочиненій Кольцова.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА.

Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Поэтому говорить о русской литературѣ 1846 года,—значитъ говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть. Но мы не вдадимся ни въ какія историческія подробности, которыя завлекли бы насъ далеко. Главная цѣль нашей статьи—познакомить заранѣе читателей «Современника» съ его взглядомъ на русскую литературу, слѣдовательно съ его духомъ и направленіемъ, какъ журнала. Программы и объявленія въ этомъ отношеніи ничего не говорятъ: они только обѣщаютъ. И потому программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обѣщаніями, чисто внѣшними. Предполагаемая статья вмѣстѣ съ статьей самого редактора, напечатанной во второмъ отдѣлѣ этого же нумера, будетъ второй, внутренней, такъ сказать, программой «Современника», въ которой читатели могутъ сами до извѣстной степени повѣрять обѣщанія исполненіемъ.

Еслибы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью, съ дѣйствительностью, въ большей и большей близости къ зрѣлости и возмужалости. Само собой разумѣется, что подобная характеристика можетъ относиться только къ литературѣ недавней, молодой, и притомъ возникшей не самобытно, а вслѣдствіе подражательности. Самобытная литература зрѣетъ вѣками, и эпоха ея зрѣлости есть въ то же время и эпоха числительнаго богатства ея замѣчательныхъ произведеній (chefs d'oeuvre). Этого нельзя сказать о русской литературѣ. Ея исторія, какъ исторія самой Россіи, не похожа на исторію никакой другой литературы. И потому она представляетъ собой зрѣлище единственное, исключительное, которое тотчасъ дѣлается страннымъ, непонятнымъ, почти безсмысленнымъ, какъ скоро на нее будутъ смотрѣть, какъ на всякую другую европейскую литературу. Какъ и все, что̀ ни есть въ современной Россіи живого, прекраснаго и разумнаго, наша литература есть результатъ реформы Петра Великаго. Правда, онъ не заботился о литературѣ и ничего не сдѣлалъ для ея возникновенія, но онъ заботился о просвѣщеніи, бросивъ въ плодо-

витую землю русскаго духа сѣмена науки и образованія, — и литература безъ его вѣдома явилась впослѣдствіи сама собой, какъ необходимый результатъ его же дѣятельности. Въ томъ-то, скажемъ мимоходомъ, и состояла органическая жизненность преобразованія Петра Великаго, что оно породило много и такого, о чемъ онъ можетъ-быть и не думалъ, чего онъ даже и не предчувствовалъ. Даровитый и умный Кантемиръ, вполовину подражатель, вполовину перелагатель на русскіе нравы сатиръ римскихъ поэтовъ (преимущественно Горація) и ихъ подражателя и перелагателя на французскіе нравы—Буало, Кантемиръ, съ его силлабическимъ размѣромъ, съ его языкомъ полу-книжнымъ, полу-народнымъ, который по самой этой смѣси былъ языкомъ образованнаго общества того времени, Кантемиръ и, вслѣдъ за нимъ, Тредьяковскій, съ его безплодной ученостью, съ его бездарнымъ трудолюбіемъ, съ его схоластическимъ педантизмомъ, съ его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тоническіе размѣры и древніе гекзаметры, съ его варварскими виршами и варварскимъ двоекратнымъ переложеніемъ Роллена, — Кантемиръ и Тредьяковскій были, такъ сказать, прологомъ, предисловіемъ къ русской литературѣ. Отъ смерти перваго прошло съ небольшимъ сто два года (онъ умеръ 31 марта 1744 года); отъ смерти второго прошло только съ небольшимъ 77 лѣтъ (онъ умеръ 6 августа 1769 года). Тредьяковскій былъ еще въ цвѣтѣ своей славы и еще только шесть лѣтъ величалъ себя «профессоромъ элоквенціи и хитростей піитическихъ»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкій къ смерти, Кантемиръ былъ живъ *), когда въ 1739 году двадцативосьмилѣтній Ломоносовъ — Петръ Великій русской литературы — прислалъ изъ нѣмецкой земли свою знаменитую «Оду на взятіе Хотина», съ которой по всей справедливости должно считать начало литературы. Все, что сдѣлано было Кантемиромъ, осталось безъ слѣда и вліянія въ книжномъ мірѣ; все, что было сдѣлано Тредьяковскимъ, оказалось неудачнымъ—даже его попытки ввести въ русское стихотворство правильные тоническіе метры... Поэтому ода Ломоносова показалась всѣмъ первымъ стихотворнымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ, которое было написано правильнымъ размѣромъ. Вліяніе Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, какъ вліяніе Петра Великаго на Россію вообще: долго литература шла по указанному имъ ей пути, но наконецъ, совершенно освободясь отъ его вліянія, пошла по дорогѣ, которой самъ Ломоносовъ не могъ ни предвидѣть, ни предчувствовать. Онъ далъ ей направленіе книжное, подражательное, и оттого повидимому безплодное и безжизненное, слѣдовательно вредное и губительное. Это совершенная правда, которая однакожъ нисколько не умаляетъ великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимаетъ у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорятъ о Петрѣ Великомъ наши литературные старообрядцы? И надо сказать, что ихъ ошибка состоитъ не въ томъ, что они говорятъ о Петрѣ Великомъ и созданной имъ Россіи, а въ томъ, какое они выводятъ изъ этого слѣдствіе. По ихъ мнѣнію, реформа Петра убила въ Россіи народность, а слѣдовательно и всякій духъ жизни, такъ что Россіи для своего спасенія не остается ничего другого, какъ снова обратиться къ благодатнымъ полупатріархальнымъ нравамъ эпохи Котошихина. Повторяемъ: ошибаясь въ выводѣ, они правы въ положеніи, и поддѣльный, искусственный европеизмъ Россіи, созданный реформой Петра Великаго, дѣйствительно можетъ казаться не болѣе, какъ внѣшней формой безъ внутренняго содержанія. Но развѣ нельзя того же самаго сказать о всѣхъ поэтическихъ ораторскихъ опытахъ Ломоносова? За что же, по какому же странному противорѣчію съ собственнымъ своимъ взглядомъ эти самые люди благоговѣютъ передъ именемъ Ломоносова и съ странной раздражительностью принимаютъ за преступленіе всякое свободное мнѣніе объ этомъ риторѣ и въ поэзіи, и въ краснорѣчіи? Не было ли бы съ ихъ стороны гораздо послѣдовательнѣе и сообразнѣе съ логикой и здравымъ смысломъ и на Ломоносова смотрѣть такъ же точно, какъ смотрятъ они на Петра Великаго?..

Чужое, извнѣ взятое содержаніе никогда не можетъ замѣнить ни въ литературѣ, ни въ жизни отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія; но оно можетъ переродиться въ него со временемъ, какъ пища, извнѣ принимаемая человѣкомъ, перерождается въ его кровь и плоть и поддерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдѣлалось съ Россіей, созданной Петромъ, и русской литературой, созданной Ломоносовымъ; но что это дѣйствительно сдѣлалось и дѣлается съ ними—это историческій фактъ, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибоѣдова, произведенія Пуш-

*) Кантемиру тогда было 31 годъ, а Тредьяковскому—36 лѣтъ.

кина, Лермонтова и въ особенности Гоголя, — сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи, вы подумаете, что въ русской литературѣ все случайно—и талантъ, и геній; а можетъ ли имѣть какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призракъ, мечта? И дѣйствительно, было время, когда вопросъ—есть ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ. И такое рѣшеніе естественно и неизбѣжно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы наконецъ поняли, что у Россіи была своя исторія, нисколько не похожая на исторію ни одного европейскаго государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основаніи ея же самой, а не на основаніи исторій, ничего не имѣющихъ съ ней общаго, европейскихъ народовъ. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школой дѣйствительно нѣтъ ничего общаго, никакой связи, если сравнивать ихъ, какъ двѣ крайности; но между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать въ хронологическомъ порядкѣ всѣхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движеніе русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и безсознательномъ, освободиться отъ вліянія Ломоносова и сблизиться съ жизнью, съ дѣйствительностью, слѣдовательно сдѣлаться самобытной, національной, русской. Если въ произведеніяхъ Хераскова и Петрова, такъ незаслуженно превознесенныхъ современниками, нельзя увидѣть ни малѣйшаго прогресса въ этомъ отношеніи, — зато прогрессъ есть уже въ Сумароковѣ, писателѣ безъ генія, безъ вкуса, почти безъ таланта, но на котораго современники смотрѣли, какъ на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачныя, на комедію изъ русскихъ нравовъ, его сатиры, а главное его простодушно-жолчныя выходки противъ «крапивнаго сѣмени», равно какъ и нѣкоторыя прозаическія статьи, болѣе или менѣе касавшіяся вопросовъ современной ему дѣйствительности, — все это показываетъ какое-то стремленіе на сближеніе литературы съ жизнью. И въ этомъ отношеніи сочиненія Сумарокова, лишенныя всякаго художественнаго или литературнаго интереса, заслуживаютъ изученія, такъ же какъ имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потомъ столько же несправедливо унижаемое, заслуживаетъ уваженія въ потомствѣ. Нельзя смотрѣть, какъ на безполезныя явленія, даже и на Хераскова съ Петровымъ: современники видѣли въ нихъ геніевъ, превозносили ихъ до седьмого неба, стало-быть, читали ихъ, а если читали, стало-быть, эти писатели сильно способствовали распространенію въ Россіи вкуса къ занятію и наслажденью литературой. Безобразныя притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французскихъ басенъ въ басняхъ Хемницера и Дмитріева, а въ басняхъ Крылова онѣ явились впослѣдствіи превосходными народными произведеніями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговѣвшій даже передъ Херасковымъ и Петровымъ, Державинъ, если не былъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ, то уже не былъ и только риторомъ. Одаренный отъ природы великимъ поэтическимъ геніемъ, онъ потому только не могъ создать самобытной русской поэзіи, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественныхъ силъ и средствъ. Русскій языкъ былъ тогда еще не выработанъ, духъ книжничества и риторики царилъ въ литературѣ; но главное—тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной, потому что тогда не было общества, а былъ только дворъ, на который всѣ смотрѣли, но который знали только принадлежавшіе къ нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественныхъ интересовъ; поэзіи и литературѣ не откуда было брать содержаніе, и потому онѣ существовали и поддерживались не сами собой, а покровительствомъ сильныхъ и знатныхъ, и носили характеръ оффиціальный. Такъ должно смотрѣть на эту эпоху, сравнивая ее съ нашей; но не такъ должно смотрѣть на нее, сравнивая ее съ эпохой Ломоносова: тутъ былъ сравнительно большой прогрессъ. Если въ это время еще не было общества, за то именно въ это время оно зарождалось, потому что блескъ и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднемъ дворянствѣ, и тогда же начали устанавливаться въ немъ тѣ нравы, которые мы видимъ теперь. И потому, кромѣ огромной разницы въ поэтическомъ геніи, Державинъ уже имѣлъ передъ Ломоносовымъ большое преимущество и со стороны содержанія для своей поэзіи, хотя онъ былъ человѣкомъ безъ образованія, не только безъ учености. Поэтому поэзія Державина далеко разнообразнѣе, живѣе, человѣчнѣе со стороны содержанія, нежели поэзія Ло-

моносова, Причина этого не въ томъ только, что Ломоносовъ былъ больше превосходный стихотворецъ, нежели поэтъ, тогда какъ Державинъ отъ природы получилъ поэтическій геній, но и въ сравнительномъ успѣхѣ общества временъ Екатерины Великой передъ обществомъ временъ императрицы Анны и Елизаветы.

По этой же причинѣ литература екатерининскаго времени рѣшительно заслоняетъ собой предшествовавшую ей литературу. Кромѣ Державина, въ то время былъ Фонвизинъ,— первый даровитый комикъ въ русской литературѣ, писатель, котораго теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслажденіе. Въ его лицѣ русская литература какъ будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью: его сочиненія — живая лѣтопись той эпохи. Въ это же время литература наша отъ древнихъ литературъ, изучавшихся въ семинаріяхъ и на семинарскій ладъ, начала исключительно наклоняться къ французской литературѣ. Вслѣдствіе этого начали хлопотать о такъ-называемой легкой литературѣ, въ которой блисталъ Богдановичъ. Къ концу царствованія Екатерины явился Карамзинъ, давшій русской литературѣ новое направленіе. Мы не будемъ говорить о его великихъ заслугахъ, его великомъ вліяніи на нашу литературу и черезъ нее на образованіе нашего общества. Мы не будемъ также входить въ подробности о слѣдовавшихъ за нимъ писателяхъ. Скажемъ коротко, что въ каждомъ изъ нихъ видно постепенное освобожденіе отъ книжнаго, риторическаго направленія, даннаго Ломоносовымъ нашей литературѣ, и постепенное сближеніе литературы съ обществомъ, съ жизнью, съ дѣйствительностью. Загляните въ лицейскія стихотворенія Пушкина, даже во многія изъ пьесъ въ первой части его сочиненій, имъ самимъ изданныхъ,—и вы увидите въ нихъ вліяніе почти всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова включительно. Баснописецъ Крыловъ, предшествуемый Хемницеромъ и Дмитріевымъ, такъ сказать, приготовилъ языкъ и стихъ для безсмертной комедіи Грибоѣдова. Стало быть, въ нашей литературѣ всюду живая историческая связь, новое выходитъ изъ стараго, послѣдующее объясняется предыдущимъ, и ничто не является случайно. «Но,— спросятъ насъ можетъ-быть,—въ чемъ же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга послѣдующихъ писателей состояла въ постепенной эманципаціи русской литературы изъ-подъ его вліянія, слѣдовательно въ томъ, что они старались писать не такъ, какъ онъ писалъ? И не странное ли это противорѣчіе — говорить съ уваженіемъ о заслугахъ и геніи писателя, котораго вы же сами называете риторомъ?»

Во-первыхъ, Ломоносовъ нисколько не былъ риторомъ по его натурѣ: для этого онъ былъ слишкомъ великъ; но его сдѣлали риторомъ не отъ него зависѣвшія обстоятельства. Его сочиненія раздѣляются на ученыя и литературныя: къ послѣднимъ мы относимъ оды, «Петріаду», трагедіи, словомъ, —всѣ стихотворные его опыты и похвальныя слова. Въ его ученыхъ сочиненіяхъ по части астрономіи, физики, химіи, металлургіи, навигаціи—нѣтъ риторики, хотя онѣ и писаны длинными періодами по латино-нѣмецкой конструкціи, съ глаголами въ концѣ; но его стихотворныя произведенія и похвальныя рѣчи преисполнены риторики. Отчего же это? Оттого, что для ученыхъ своихъ сочиненій у него было готовое содержаніе, которое добылъ онъ себѣ наукой и трудомъ въ нѣмецкой землѣ, и котораго ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Пріобрѣтенное ученіемъ и трудомъ онъ развилъ и увеличилъ собственнымъ геніемъ. Стало быть, онъ зналъ, что̀ писалъ, и не нуждался въ риторикѣ. Содержанія же для своей поэзіи онъ не могъ найти въ общественной жизни своего отечества, потому что тутъ не было не только сознанія, но и стремленія къ нему, стало-быть, не было никакихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ; слѣдовательно, онъ долженъ былъ взять для своей поэзіи совершенно чуждое, но зато готовое содержаніе, выражая въ своихъ стихахъ чувства, понятія и идеи, выработанныя не нами, не нашей жизнью и не на нашей почвѣ. Это значило сдѣлаться риторомъ поневолѣ, потому что понятія чуждой жизни, выдаваемыя за понятія своей жизни, всегда риторика. Еще болѣе риторикой были въ то время европейскіе кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кромѣ теоретиковъ и фантазеровъ, скажетъ, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сдѣлались національными для лучшей, т. е. образованнѣйшей части русскаго общества, нисколько не мѣшая ему быть русскимъ на самомъ дѣлѣ, а не по названію только? Скажемъ болѣе: въ отношеніи не только къ образованнѣйшей части русскаго общества, но и всего народа русскаго, теперь сдѣлались чистой риторикой всѣ понятія, опредѣленія и слова до-петровскаго русскаго быта, — и еслибы военные и гражданскіе чины наши были переименованы въ стра-

тиговъ, бояръ, стольниковъ и т. п., — простой народъ тутъ ровно бы ничего не понялъ. То же самое, благодаря Ломоносову, совершилось и въ литературномъ мірѣ: всѣ поддѣлки подъ народность теперь пахнутъ простонародностью, т. е. пошлостью, и всѣ попытки въ этомъ родѣ самыхъ даровитыхъ писателей отзываются риторикой.

«Но какимъ же чудомъ, — спросятъ насъ, — внѣшнее, абстрактное заимствованіе чужого и искусственное перенесеніе его на родную почву, — какимъ чудомъ могло породить оно живой органическій плодъ?» — Въ отвѣтъ на это скажемъ то же, что уже говорили: рѣшеніе этого вопроса безъ сомнѣнія интересно; но намъ нѣтъ дѣла до него: для насъ довольно сказать, что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достовѣрности котораго не можетъ и подумать опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобъ видѣть, и уши, чтобъ слышать. Писатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движеніе черезъ освобожденіе литературы русской отъ Ломоносовскаго вліянія, нисколько не думали объ этомъ; это дѣлалось у нихъ безсознательно; за нихъ работалъ духъ времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговѣли передъ его геніемъ, старались подражать ему, и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примѣръ этого — Державинъ. Но въ томъ-то и состоитъ жизненность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не коснѣетъ въ мертвой стоячести, но движется, идетъ впередъ, развивается. Еслибы Ломоносовъ не вздумалъ писать одъ по образцу современныхъ ему нѣмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жанъ-Батиста Руссо, не вздумалъ писать своей «Петріады» по образцу Виргиліевой «Энеиды», гдѣ вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдѣлалъ дѣйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прохладнаго Бѣлаго моря; еслибы, говоримъ мы, вмѣсто всѣхъ этихъ книжныхъ, школярныхъ нелѣпостей онъ обратился къ источникамъ нашей народной поэзіи — къ «Слову о Полку Игоревомъ», къ русскимъ сказкамъ (извѣстнымъ теперь по сборнику Кирши Данилова), къ народнымъ пѣснямъ и, вдохновленный, проникнутый ими, на ихъ чисто-народномъ основаніи рѣшился бы построить зданіе новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопросъ повидимому важный, но въ сущности препустой, похожій на вопросы вродѣ слѣдующихъ: что было бы, еслибы Петръ Великій родился во Франціи, а Наполеонъ — въ Россіи, или: что было бы, еслибы за зимой слѣдовала не весна, а прямо лѣто? и т. п. Мы можемъ знать, что было и что есть, но какъ намъ знать, чего не было или чего нѣтъ? Разумѣется, и въ сферѣ исторіи все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не такъ, какъ было; но ея великія событія, имѣющія вліяніе на будущность народовъ, не могутъ быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бываютъ, разумѣется, въ отношеніи къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленія. Петръ Великій могъ построить Петербургъ пожалуй тамъ, гдѣ теперь Шлиссельбургъ, или по крайней мѣрѣ хоть немного выше, т. е. дальше отъ моря, чѣмъ теперь; могъ сдѣлать новой столицей Ревель или Ригу: во всемъ этомъ играла большую роль случайность, разныя обстоятельства; но сущность дѣла была не въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средство легко и удобно сноситься съ Европой. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего такого, что могло бы равно и быть, и не быть, или быть иначе, нежели какъ было. Но для тѣхъ, для кого не существуетъ разумной необходимости великихъ историческихъ событій, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, еслибъ Ломоносовъ основалъ новую русскую литературу на народномъ началѣ? — и отвѣтимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя формы нашей бѣдной народной поэзіи были достаточны для выраженія ограниченнаго содержанія племенной, естественной, непосредственной, полу-патріархальной жизни старой Руси; но новое содержаніе не шло къ нимъ, не улегалось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда спасеніе наше зависѣло не отъ народности, а отъ европеизма; ради нашего спасенія тогда необходимо было не задушить, не истребить (дѣло или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время (suspendre) ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвѣ новые элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымъ, какъ масло къ водѣ,—у насъ естественно все было риторикой—и нравы, и—ихъ выраженіе—литература. Но тутъ было живое начало органическаго сроненія, черезъ процессъ усвоиванія (assimilation), и потому литература отъ абстрактнаго начала мертвой подражательности двигалась все къ живому началу самобытности. И мы дождались наконецъ до того, что переводъ нѣсколькихъ повѣстей Гоголя на французскій языкъ обратилъ на русскую литературу удивленное вниманіе всей Европы, —

говоримъ удивленное, потому что переводы русскихъ романовъ и повѣстей на иностранные языки дѣлались и прежде, но вмѣсто вниманія порождали въ иностранцахъ совсѣмъ не лестное для насъ невниманіе къ нашей литературѣ, по той причинѣ, что эти русскіе повѣсти и романы, переведенные на ихъ языки, они считали, напротивъ, переводами съ ихъ языковъ: такъ чужды они были всего русскаго, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзинъ окончательно освободилъ русскую литературу отъ Ломоносовскаго вліянія, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ освободилъ ее отъ риторики и сдѣлалъ національной: онъ много для этого сдѣлалъ, но этого не сдѣлалъ, потому что до этого было еще далеко. Первымъ національнымъ поэтомъ русскимъ былъ Пушкинъ*); съ него начался новый періодъ нашей литературы, еще больше противоположный Карамзинскому, нежели этотъ послѣдній Ломоносовскому. Вліяніе Карамзина до сихъ поръ ощутительно въ нашей литературѣ, и полное освобожденіе отъ него будетъ великимъ шагомъ впередъ со стороны русской литературы. Но это не только ни на волосъ не уменьшаетъ заслугъ Карамзина, но, напротивъ, обнаруживаетъ всю ихъ великость: вредное во вліяніи писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не въ свое время, необходимо, чтобы въ свое время оно было новымъ, живымъ, прекраснымъ и великимъ.

Въ отношеніи къ литературѣ, какъ къ искусству, поэзіи, творчеству, вліяніе Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставивъ никакихъ слѣдовъ. Въ этомъ отношеніи литература наша всего ближе къ той зрѣлости и возмужалости, рѣчью о которыхъ мы начали эту статью. Такъ называемую «натуральную школу» нельзя упрекнуть въ риторикѣ, разумѣя подъ этимъ словомъ вольное или невольное искаженіе дѣйствительности, фальшивое идеализированіе жизни. Мы отнюдь не хотимъ этимъ сказать, чтобы всѣ новые писатели, которыхъ (въ похвалу имъ или въ осужденіе) причисляютъ къ натуральной школѣ, были все геніи или необыкновенные таланты; мы далеки отъ подобнаго дѣтскаго обольщенія. За исключеніемъ Гоголя, который создалъ въ Россіи новое искусство, новую литературу, и котораго геніальность давно уже признана не нами одними и даже не въ одной Россіи только,—мы видимъ въ натуральной школѣ довольно талантовъ, отъ весьма замѣчательныхъ до весьма обыкновенныхъ. Но не въ талантахъ, не въ ихъ числѣ видимъ мы собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направленіи, ихъ манерѣ писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали дѣйствительность, т. е. изображали несуществующее, разсказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводятъ жизнь и дѣйствительность въ ихъ истинѣ. Отъ этого литература получала важное значеніе въ глазахъ общества. Русская повѣсть въ журналѣ предпочитается переводной, и мало того, чтобы повѣсть была написана русскимъ авторомъ, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Безъ русскихъ повѣстей теперь не можетъ имѣть успѣха ни одинъ журналъ. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имѣющая глубокій смыслъ, глубокое основаніе: въ ней выражается стремленіе русскаго общества къ самосознанію, слѣдовательно пробужденіе въ немъ нравственныхъ интересовъ, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякаго таланта русскаго. Умѣя отдавать справедливость чужому, русское общество уже умѣетъ цѣнить и свое, равно чуждаясь какъ хвастливости, такъ и уничиженія. Но если оно болѣе интересуется хорошей русской повѣстью, нежели превосходнымъ иностраннымъ романомъ, въ этомъ виденъ огромный шагъ впередъ съ его стороны. Въ одно и то же время умѣть видѣть превосходство чужого надъ своимъ и все-таки ближе принимать къ сердцу свое, — тутъ нѣтъ ложнаго патріотизма, нѣтъ ограниченнаго пристрастія: тутъ только благородное и законное стремленіе сознать себя...

Натуральную школу обвиняютъ въ стремленіи все изображать съ дурной стороны. Какъ водится, у однихъ это обвиненіе — умышленная клевета, у другихъ — искренняя жалоба. Во всякомъ случаѣ возможность подобнаго обвиненія показываетъ только то, что натуральная школа, несмотря на ея огромные успѣхи, существуетъ еще недавно, что къ ней не успѣли еще привыкнуть, и что у насъ еще много людей Карамзинскаго образованія, которыхъ риторика имѣетъ свойство утѣшать, а истина—огорчать. Разумѣется, нельзя, чтобы всѣ обвиненія противъ натуральной школы

*) Намъ могутъ замѣтить, ссылаясь на собственныя наши слова, что не Пушкинъ, а Крыловъ; но вѣдь Крыловъ былъ только баснописецъ-поэтъ, тогда какъ трудно было бы такимъ же образомъ однимъ словомъ опредѣлить, какой поэтъ былъ Пушкинъ. Поэзія Крылова—поэзія здраваго смысла, житейской мудрости, и для нея скорѣе, чѣмъ для всякой другой поэзіи, можно было найти готовое содержаніе въ русской жизни. Притомъ же самыя лучшія, слѣдовательно самыя народныя басни свои Крыловъ написалъ уже въ эпоху дѣятельности Пушкина, и слѣдовательно новаго движенія, которое послѣдній далъ русской поэзіи.

были положительно ложны, а она во всемъ была непогрѣшительно права. Но еслибы ея преобладающее отрицательное направленіе и было односторонней крайностью, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни дастъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время, вѣрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически.

Но внѣ міра собственно беллетристическаго вліяніе Карамзина до сихъ поръ еще очень ощутительно. Это всего лучше доказываетъ такъ называемая партія славянофильская. Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы впрочемъ во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ въ свою очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ называемое славянофильство безъ всякаго сомнѣнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится—это другое дѣло. Но прежде всего славнофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны. Славянофиловъ у насъ много, и число ихъ все увеличивается,—фактъ, который тоже говоритъ въ пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ нею и часть публики, если не вся публика, раздѣлилась на двѣ стороны—славянофиловъ и не-славянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, разсмотрѣвши его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которой обрекла себя. Поэтому нѣтъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотятъ, да и сами они неохотно говорятъ и пишутъ объ этомъ, хотя и не дѣлаютъ изъ этого никакой тайны. Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что̀ она говоритъ противъ гніющаго будто бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ); но въ томъ, что̀ они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ напримѣръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какого-бы то ни было факта, а должно изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сдѣлали; но зато они заставили если не сдѣлать, то дѣлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдѣ ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онѣ ни были—о нашей ли народной славѣ, или о нашемъ европеизмѣ,—равно безплодно и вредно, ибо сонъ есть не жизнь, а только грёзы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервetъ такой сонъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не имѣло такого серьёзнаго характера, какой приняло оно въ послѣднее время. Вы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значеніе, за наше прошедшее и будущее, и скорѣе хотимъ рѣшить великій вопросъ: «быть или не быть?». Тутъ уже дѣло идетъ не о томъ, откуда пришли варяги—съ Запада или съ Юга, изъ-за Балтійскаго или изъ-за Чернаго моря,—а о томъ, проходитъ ли черезъ нашу исторію какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходитъ, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, отъ котораго мы какъ будто оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изслѣдованій начинаетъ ока-

зываться, что, во-первыхъ, мы не такъ рѣзко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тѣсно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Когда русскій бываетъ за-границей, его слушаютъ, имъ интересуются не тогда, какъ онъ истинно-европейски разсуждаетъ о европейскихъ вопросахъ, но когда онъ судитъ о нихъ, какъ русскій, хотя бы по этой причинѣ сужденія его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому онъ чувствуетъ тамъ необходимость придать себѣ характеръ своей національности и, за неимѣніемъ лучшаго, становится славянофиломъ, хотя на время и притомъ неискренно, чтобы только чѣмъ-нибудь казаться въ глазахъ иностранцевъ. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнѣнія и изслѣдованія, мы не можемъ не видѣть, какъ во многихъ отношеніяхъ смѣшно и жалко успокоилъ насъ нашъ русскій европеизмъ на счетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, забѣливъ и зарумянивъ, но вовсе не изгладивъ ихъ. И въ этомъ отношеніи поѣздки за-границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная кѣмъ, и по тому самому съ искреннимъ желаніемъ сдѣлаться русскими. Что же все это означаетъ?—Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великаго только лишила насъ народности и сдѣлала междоумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ общественному устройству и нравамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексѣя Михайловича (на счетъ этого сами господа славянофилы еще не условились между собой)?...

Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполнѣ исчерпала, изжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дѣло, сдѣлала для нея все, что могла и должна была сдѣлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ: неужели это значитъ развиваться самобытно? Смѣшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и перемѣнить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весной слѣдовать зиму, а за осенью—лѣто. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи (можетъ быть до самаго 1812 года,—эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россіи), признать ихъ случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человѣкъ открываетъ глаза. Но такъ думать сродно господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобъ быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Вмѣсто того чтобъ думать о невозможномъ и смѣшить всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не Маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашей волей, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшей насъ волей. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшности принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно человѣческое, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго, отвергать съ такой же энергіей, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европѣ, чтобъ сознавать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно.

Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другого рода уходъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россія такъ же молода, какъ Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они

забыли, что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что̀ впослѣдствіи должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношеніи Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла діаметрально противоположно нашей, и давно уже дала и цвѣтъ, и плодъ. Безъ всякаго сомнѣнія, русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомитъ его и наука, и современная дѣйствительность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себѣ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумѣется, въ этомъ есть нѣчто грустное, но зато какъ много и утѣшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человѣку сродно желать скораго свершенія своихъ желаній, но скороспѣлость ненадежна: намъ болѣе, чѣмъ кому другому, должно убѣдиться въ этой истинѣ. Извѣстно, что французы, англичане, нѣмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояніи понимать другъ друга,—тогда какъ русскому равно доступны и соціальность француза, и практическая дѣятельность англичанина, и туманная философія нѣмца. Одни видятъ въ этомъ наше превосходство передъ всѣми другими народами; другіе выводятъ изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра: ибо, говорятъ они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко поддѣлываться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую жизнь—не значитъ жить; понять чужіе интересы—не значитъ усвоить ихъ себѣ. Въ послѣднемъ мнѣніи много правды, но не совсѣмъ лишено истины и первое мнѣніе, какъ ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, слѣдовательно живущихъ чисто внѣшней жизнью. Въ Европѣ есть одно такое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же неизвѣстно, что его крѣпость и сила—до поры и времени?... Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы слились въ крѣпкое и могучее государство, и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели, и всегда успѣвали спасаться отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ, чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости, этой силы. Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль,—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими... Такъ какъ русская литература есть главный предметъ нашей статьи, то въ настоящемъ случаѣ будетъ очень естественно сослаться на ея свидѣтельство. Она существуетъ всего какихъ-нибудь сто семь лѣтъ, а между тѣмъ въ ней уже есть нѣсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность,—этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго.

Что̀ же касается до многосторонности, съ какой русскій человѣкъ понимаетъ чуждыя ему національности—въ этомъ заключается равно и его слабая, и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности дѣйствительно много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностью, что эта независимость только помогаетъ этой многосторонности; а едва-ли можно сказать съ какой-нибудь достовѣрностью, чтобы она производила ее. По крайней мѣрѣ намъ кажется, что было-бы слишкомъ смѣло приписывать положенію то, что̀ всего болѣе должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, имѣющихъ только субъективное значеніе выводовъ, мы не утверждаемъ за непреложное, что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усвоивать себѣ все чуждое ему;

но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія...

Просимъ извиненія у гг. славянофиловъ, если мы приписали имъ что-нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если-бы они могли упрекнуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примутъ это за простую и неумышленную ошибку съ нашей стороны. Каковы бы ни были ихъ понятія или, по нашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искренному, независимому и благородному въ его началѣ убѣжденію, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметральную противоположность нашему убѣжденію. На чьей сторонѣ истина—разсудитъ время, великій и непогрѣшительный судья всѣхъ умственныхъ и теоретическихъ тяжбъ. Журналъ, который теперь одинъ остался органомъ славянофильскаго направленія, объявилъ нѣкогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направленію. Что̀ касается до насъ, имѣя свое опредѣленное направленіе, свои горячія убѣжденія, которыя намъ дороже всего на свѣтѣ, мы тоже готовы защищать ихъ всѣми силами нашими и вмѣстѣ съ тѣмъ противоборствовать всякому противоположному направленію и убѣжденію, но мы хотѣли бы защищать наши мнѣнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ—противоборствовать съ твердостью и спокойствіемъ, безъ всякой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуетъ, тотъ сердится, а кто сердится, тотъ чувствуетъ, что онъ не правъ. Мы имѣемъ самолюбіе до того считать себя правыми въ главныхъ основаніяхъ нашихъ убѣжденій, что не имѣемъ никакой нужды враждовать и сердиться, смѣшивать идеи съ лицами, и вмѣсто благородной и позволенной борьбы мнѣній заводить безполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбій....

На свѣтѣ нѣтъ ничего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могутъ спорить только тѣ исключительно теоретическія натуры, которыя до тѣхъ поръ и умны, пока носятся въ общихъ отвлеченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ,—въ міръ дѣйствительности, тотчасъ оказываются сомнительными на счетъ нормальнаго состоянія ихъ мозга. О такихъ людяхъ русская поговорка выражается, что у нихъ умъ за разумъ зашелъ,—выраженіе, столько же глубокомысленное, сколько и справедливое, потому что оно не отнимаетъ у людей этого разбора ни ума, ни разсудка, но только указываетъ на ихъ неправильныя, превратныя дѣйствія, словно на два испортившіяся колеса въ машинѣ, которыя дѣйствуютъ одно за другое, вопреки своему назначенію, и этимъ дѣлаютъ всю машину негодной къ употребленію. Итакъ, все на свѣтѣ только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. «Какъ,—скажутъ намъ, и истина, и добродѣтель—понятія относительныя?». — Нѣтъ, какъ понятіе, какъ мысль, онѣ безусловны и вѣчны; но какъ осуществленіе, какъ фактъ—онѣ относительны. Идея истины и добра признавалась всѣми народами во всѣ вѣка; но что̀ непреложная истина, что̀ добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью или зломъ для другого народа въ другой вѣкъ. Поэтому безусловный, или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ, или отвлеченнымъ. Ничего нѣтъ легче, какъ опредѣлить, чѣмъ долженъ быть человѣкъ въ нравственномъ отношеніи; но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человѣкъ сдѣлался тѣмъ, что̀ онъ есть, а не сдѣлался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теоріи нравственной философіи, слѣдовало быть.

Вотъ точка зрѣнія, съ которой мы находимъ признаки зрѣлости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, прислушайтесь: о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?—о народности, о дѣйствительности. На что̀ больше всего нападаютъ они?—на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О нѣкоторыхъ изъ этихъ предметовъ много было толковъ и прежде, да не тотъ они имѣли смыслъ, не то значеніе. Понятіе о «дѣйствительности» совершенно новое; на «романтизмъ» прежде смотрѣли, какъ на альфу и омегу человѣческой мудрости, и въ немъ одномъ искали рѣшенія всѣхъ вопросовъ; понятіе о «народности» имѣло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы; но разница въ томъ, что литература-то теперь сдѣлалась эхомъ жизни. Какъ судятъ теперь объ этихъ предметахъ—вопросъ другой. По обыкновенію, одни лучше, другіе хуже, но почти всѣ одинаково въ томъ отношеніи, что въ рѣшеніи этихъ вопросовъ видятъ какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности вопросъ о «народности» сдѣлался всеобщимъ вопросомъ и проявился въ двухъ крайностяхъ. Одни смѣшали съ народностью старинные обычаи, сохранившіеся теперь

только въ простонародьи, и не любятъ, чтобы при нихъ говорили съ неуваженіемъ о курной и грязной избѣ, о рѣдькѣ и квасѣ, даже о сивухѣ; другіе, сознавая потребность высшаго національнаго начала и не находя его въ дѣйствительности, хлопочутъ выдумать свое и неясно, намеками указываютъ намъ на смиреніе, какъ на выраженіе русской національности. Съ первыми смѣшно спорить; но вторымъ можно замѣтить, что смиреніе есть въ извѣстныхъ случаяхъ весьма похвальная добродѣтель для человѣка всякой страны, для француза, какъ и для русскаго, для англичанина, какъ и для турка, но что она едвали можетъ одна составить то, что̀ называется «народностью». Притомъ-же этотъ взглядъ, можетъ-быть превосходный въ теоретическомъ отношеніи, не совсѣмъ уживается съ историческими фактами. Удѣльный періодъ нашъ отличается скорѣе гордыней и драчливостью, нежели смиреніемъ. Татарамъ поддались мы совсѣмъ не отъ смиренія (что̀ было-бы для насъ не честью, а безчестьемъ. какъ и для всякаго другого народа), а по безсилію, вслѣдствіе раздѣленія нашихъ силъ родовымъ, кровнымъ началомъ, положеннымъ въ основаніе правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита былъ хитеръ, а не смиренъ; Симеонъ даже прозванъ былъ «гордымъ»; а эти князья были первоначальниками силы Московскаго царства. Димитрій Донской мечомъ, а не смиреніемъ предсказалъ татарамъ конецъ ихъ владычества надъ Русью. Іоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смиреніемъ. Только слабый Ѳеодоръ составляетъ исключеніе изъ правила. И вообще какъ-то странно видѣть въ смиреніи причину, по которой ничтожное Московское княжество сдѣлалось впослѣдствіи сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійской имперіей, пріосѣнивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достояніе, Сибирь, Малороссію, Бѣлоруссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Кавказъ. Конечно въ русской исторіи можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ добродѣтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторіи какого же народа нельзя найти ихъ, и чѣмъ какой-нибудь Людовикъ IX уступаетъ въ смиреніи Ѳеодору Іоанновичу?.. Толкуютъ еще о любви, какъ о національномъ началѣ, исключительно присущемъ однимъ славянскимъ племенамъ, въ ущербъ гальскимъ, тевтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у нѣкоторыхъ обратилась въ истинную мономанію, такъ-что кто-то изъ этихъ «нѣкоторыхъ» рѣшился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отдѣлались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона... Не правда ли, что въ этихъ словахъ высокій образецъ ума, зашедшаго за разумъ, вслѣдствіе увлеченія системой, теоріей, несообразной съ дѣйствительностью?.. Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство человѣческой натуры вообще и такъ же не можетъ быть исключительной принадлежностью одного народа и племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово... Ошибка тутъ въ томъ, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основаніе европейскимъ государствамъ, тотчасъ же породила тамъ чисто-юридическій бытъ, въ которомъ само насиліе и угнетеніе приняло видъ не произвола, а закона. У славянъ же, напротивъ, господствовалъ обычай, вышедшій изъ кроткихъ и любовныхъ патріархальныхъ отношеній. Но долго ли продолжался этотъ патріархальный бытъ и что̀ мы знаемъ о немъ достовѣрнаго? Еще до удѣльнаго періода встрѣчаемъ мы въ русской исторіи черты вовсе нелюбовныя—хитраго воителя Олега, суроваго воителя Святослава, потомъ Святополка (убійцу Бориса и Глѣба), дѣтей Владиміра, возставшихъ на своего отца, и т. п. Это, скажутъ, занесли къ намъ варяги и — прибавимъ мы отъ себя—положили этимъ начало искаженію любовнаго патріархальнаго быта. Изъ чего же въ такомъ случаѣ и хлопотать? Удѣльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скорѣе періодъ рѣзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодѣ нечего и говорить: тогда лицемѣрное и предательское смиреніе было нужнѣе и любви, и настоящаго смиренія. Уголовные законы, пытки, казни періода Московскаго царства и послѣдующихъ временъ, до самаго царствованія Екатерины Великой, опять посылаютъ насъ искать любви въ до-историческія времена славянъ. Гдѣ же тутъ любовь, какъ національное начало? Національнымъ началомъ она никогда и не была, но была человѣческимъ началомъ, поддерживавшимся въ племени его историческимъ или, лучше сказать, его не-историческимъ положеніемъ. Положеніе измѣнилось, измѣнились и патріархальные нравы, а съ ними исчезла и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужъ не возвратиться ли намъ къ этимъ временамъ? Почему жъ бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сдѣлаться юношей, а юношѣ—младенцемъ?..

Естественно, что подобныя крайности вызываютъ такія же противоположныя

крайности. Одни бросились въ фантастическую народность; другіе — въ фантастическій космополитизмъ, во имя человѣчества. По мнѣнію послѣднихъ, національность происходитъ отъ чисто-внѣшнихъ вліяній, выражаетъ собой все, что̀ есть въ народѣ неподвижнаго, грубаго, ограниченнаго, неразумнаго, и діаметрально противополагается всему человѣческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать въ народѣ и человѣческаго, противоположнаго, по ихъ мнѣнію, національному, они раздѣляютъ недѣлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая послѣднему качества, діаметрально противоположныя качествамъ перваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видятъ всюду, даже тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ, они сами впадаютъ въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ внѣ своей національности, и вся заслуга, все величіе ихъ въ томъ и заключается, что они идутъ прямо противъ своей національности, борятся съ нею и побѣждаютъ ее. Вотъ истинно русское и въ этомъ отношеніи рѣзко-національное мнѣніе, которое не могло бы придти въ голову европейцу! Это мнѣніе вытекло прямо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ Россіи мнѣнію, будто бы уничтожилъ русскую народность. Это мнѣніе тѣхъ, которые народность видятъ въ обычаяхъ и предразсудкахъ, не понимая, что въ нихъ дѣйствительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляютъ народности. Раздѣлить народное и человѣческое на два совершенно-чуждыя, даже враждебныя одно другому начала, значитъ впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ.

Что̀ составляетъ въ человѣкѣ его высшую, его благороднѣйшую дѣйствительность? — Конечно то, что̀ мы называемъ его духовностью, т. е. чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его вѣчная, непреходящая, необходимая сущность. А что̀ считается въ человѣкѣ низшимъ, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ?— Конечно его тѣло. Извѣстно, что наше тѣло мы съиздѣтства привыкли презирать, можетъ-быть потому именно, что, вѣчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважаютъ тѣло, потому что больше другихъ знаютъ его. Вотъ почему отъ болѣзней чисто-нравственныхъ они лѣчатъ иногда средствами чисто-матеріальными, и наоборотъ. Изъ этого видно, что врачи, уважая тѣло, не презираютъ души: они только не презираютъ тѣла, уважая душу. Въ этомъ отношеніи они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотритъ не только на богатство получаемыхъ имъ отъ земли зеренъ, но и на самую землю, которая ихъ произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилилъ плодотворность этой земли.— Вы конечно очень цѣните въ человѣкѣ чувство?—Прекрасно!—такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, который вы называете сердцемъ и котораго замедленное или ускоренное біеніе вѣрно соотвѣтствуетъ каждому движенію вашей души.—Вы конечно очень уважаете въ человѣкѣ умъ?—Прекрасно!—такъ останавливайтесь же въ благоговѣйномъ изумленіи и передъ этой массой мозга, гдѣ происходятъ всѣ умственныя отправленія, откуда по всему организму распространяются черезъ позвоночный хребетъ нити нервъ, которыя суть органы ощущеній и чувствъ и которыя исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что онѣ ускользаютъ отъ матеріальнаго наблюденія и не даются умозрѣнію. Иначе вы будете удивляться въ человѣкѣ слѣдствію мимо причины, или—что̀ еще хуже—сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворитесь ими. Психологія, не опирающаяся на физіологію, такъ же несостоятельна, какъ и физіологія, не знающая о существованіи анатоміи. Современная наука не удовольствовалась и этимъ: химическимъ анализомъ хочетъ она проникнуть въ таинственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбріономъ (зародышемъ) прослѣдить физическій процессъ нравственнаго развитія. Но это внутренній міръ физіологической жизни человѣка; всѣ его сокровенныя отъ насъ дѣйствія, какъ результатъ, выказываются наружи въ лицѣ, взглядѣ, голосѣ, даже манерахъ человѣка. А между тѣмъ что̀ такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вѣдь это все — тѣло, внѣшность, слѣдовательно все преходящее, случайное, ничтожное, потому что вѣдь все это—не чувство, не умъ, не воля? — такъ! но вѣдь во всемъ этомъ мы видимъ и слышимъ и чувство, и умъ, и волю. Всего случайнѣе въ человѣкѣ его манеры, потому что онѣ больше всего зависятъ отъ воспитанія, образа жизни, отъ общества, въ которомъ живетъ человѣкъ; но почему же иногда и въ грубыхъ манерахъ мужика чувство ваше угадываетъ добраго человѣка, которому вы смѣло можете довѣриться, и въ то же время изящныя манеры свѣтскаго человѣка заставляютъ васъ иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свѣтѣ людей съ душой, съ чувствомъ, но у каждаго изъ нихъ его

чувство имѣетъ свой характеръ, свою особенность. Сколько на свѣтѣ умныхъ людей, и между тѣмъ у каждаго изъ нихъ свой умъ. Это не значитъ, чтобы умы людей были разные: въ такомъ случаѣ люди не могли бы понимать другъ друга, но это значитъ, что у самаго ума есть своя индивидуальность. Въ этомъ его ограниченность, и поэтому умъ величайшаго генія всегда неизмѣримо ниже ума всего человѣчества; но въ этомъ же и его дѣйствительность, его реальность. Умъ безъ плоти, безъ физіономіи, умъ, не дѣйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дѣйствія, есть логическая мечта, мертвый абстрактъ. Умъ— это человѣкъ въ тѣлѣ или, лучше сказать, человѣкъ черезъ тѣло, словомъ,—личность. Оттого на свѣтѣ столько умовъ, сколько людей, и только у человѣчества одинъ умъ. Посмотрите, сколько нравственныхъ оттѣнковъ въ человѣческой натурѣ: у одного умъ едва замѣтенъ изъ за сердца, у другого сердце какъ будто помѣстилось въ мозгу; этотъ страшно уменъ и способенъ на дѣло, да ничего сдѣлать не можетъ, потому что нѣтъ у него воли; у того страшная воля да слабая голова, и изъ его дѣятельности выходитъ или вздоръ, или зло. Перечесть этихъ оттѣнковъ такъ же невозможно, какъ перечесть различія физіономій: сколько людей, столько и лицъ, и двухъ совершенно схожихъ найти еще менѣе возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожіе между собой... Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца: иначе, когда вамъ укажутъ на другую, которой нравственныя качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предметъ своей любви для новаго, какъ оставляютъ хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать вліянія нравственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любятъ человѣка, любятъ его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любятъ въ немъ особенно то, чего не умѣютъ ни опредѣлить, ни назвать. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы опредѣлили и назвали вы напримѣръ то неуловимое выраженіе, ту таинственную игру его физіономіи, его голоса, словомъ,—все то, что составляетъ его особность, что дѣлаетъ его не похожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе зачѣмъ бы вамъ было рыдать въ отчаяніи надъ трупомъ любимаго вами существа?—Вѣдь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднѣйшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ и нравственнымъ, — а умерло только грубоматеріальное, случайное?.. Но объ этомъ то случайномъ и рыдаете вы горько, потому что воспоминанье о прекрасныхъ качествахъ человѣка не замѣнитъ вамъ человѣка, какъ умирающаго отъ голода не насытитъ воспоминаніе о роскошномъ столѣ, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно соглашусь съ спиритуалистами, что мое сравненіе грубо, но зато оно вѣрно, а это для меня главное. Державинъ сказалъ:

Такъ весь я не умру; но часть меня большая,
Отъ тлѣна убѣжавъ, по смерти станетъ жить.

Противъ дѣйствительности такого безсмертія нечего сказать, хотя оно и не утѣшитъ людей близкихъ поэту; но что передаетъ поэтъ потомству въ своихъ созданіяхъ, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чѣмъ кто-нибудь, личность по преимуществу, его созданія были бы безцвѣтны и блѣдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляютъ собой совершенно особенный, оригинальный міръ, и между Гомеромъ, Шекспиромъ, Байрономъ, Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ Зандомъ общаго только то, что всѣ они—великіе поэты...

Но что же эта личность, которая даетъ реальность и чувству, и уму, и волѣ, и генію, и безъ которой все—или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много могъ бы наговорить вамъ объ этомъ, читатели, но предпочитаю лучше откровенно сознаться вамъ, что чѣмъ живѣе созерцаю внутри себя сущность личности, тѣмъ менѣе умѣю опредѣлить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всѣ ее видятъ, всѣ ощущаютъ себя въ ея нѣдрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно ученые, хорошо зная дѣйствіе и силы дѣятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнетизмъ, и потому нисколько не сомнѣваясь въ ихъ существованіи, всетаки не умѣютъ сказать, что они такое. Страннѣе всего, что все, что мы можемъ сказать о личности, ограничивается тѣмъ, что она ничтожна передъ чувствомъ, разумомъ, волей, добродѣтелью, красотой и тому подобными вѣчными и непреходящими идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродѣтели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глупости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія..

Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Другими словами: народности суть личность человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ

перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но къ счастью я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому...

Человѣческое присуще человѣку потому, что онъ—человѣкъ, но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основаніи его собственной личности и въ той мѣрѣ, въ какой она можетъ его вмѣстить въ себѣ, а во-вторыхъ—на основаніи его національности. Личность человѣка есть исключеніе другихъ личностей и по тому самому есть ограниченіе человѣческой сущности; ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни велика была его геніальность, никогда не исчерпаетъ самимъ собою не только всѣхъ сферъ жизни, но даже и одной какой-нибудь ея стороны. Ни одинъ человѣкъ не только не можетъ замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. сдѣлать ихъ существованіе не нужнымъ), но даже и ни одного человѣка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношеніи, но всѣ и каждый необходимы всѣмъ и каждому. На этомъ и основано единство и братство человѣческаго рода. Человѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но, чтобы и общество въ свою очередь было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — національность. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное, родовое происхожденіе всѣхъ національностей. Чѣмъ ближе человѣкъ или народъ къ своему началу, тѣмъ ближе онъ къ природѣ, тѣмъ болѣе онъ ея рабъ; тогда онъ не человѣкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ человѣческое развивается по мѣрѣ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію часто способствуютъ разныя внѣшнія причины; но человѣческое тѣмъ не менѣе приходитъ къ народу не извнѣ, а изъ него же самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

Собственно говоря, борьба человѣческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствованіе у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ себѣ силы перерабатывать ихъ самодѣятельностью собственной національности, въ собственную же сущность,—тогда онъ гибнетъ политически. На свѣтѣ много людей, извѣстныхъ подъ именемъ «пустыхъ»: они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имѣютъ своего мнѣнія, а между тѣмъ и учатся, и слѣдятъ за всѣмъ на свѣтѣ. Пустота ихъ въ томъ и состоитъ, что они заимствуютъ цѣликомъ, и ихъ мозгъ не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличные, потому что чѣмъ человѣкъ личнѣе, тѣмъ способнѣе обращать чужое въ свое, т. е. налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тѣмъ, что всѣ націи, игравшія и играющія первыя роли въ исторіи человѣчества, отличались и отличаются наиболѣе рѣзкой національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину за то, что онъ—англичанинъ, и наоборотъ. Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утѣшительное, гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А между тѣмъ они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говоритъ, что подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслѣдницей всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кромѣ основного пелазгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если пали, то не отъ внѣшнихъ заимствованій, а отъ того, что были послѣдними представителями исчерпавшаго всю жизнь свою древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская ли-

тература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила ихъ заимствованіями, — и все-таки оставалась національно-французской. Все отрицательное движеніе французской литературы XVIII вѣка вышло изъ Англіи; но французы до того умѣли усвоить его себѣ, наложивъ на него печать своей національности, что никто и не думаетъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нѣмецкая философія пошла отъ француза Декарта, нисколько не сдѣлавшись отъ этого французской.

Раздѣленіе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу, большинство и меньшинство можетъ быть и справедливо со стороны логики, но рѣшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаетъ собой большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслѣ. Еще страннѣе приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хорошія. Хороша была-бы французская нація, еслибы о ней стали судить по развратному дворянству временъ Людовика XV-го! Этотъ примѣръ указываетъ, что меньшинство скорѣе можетъ выражать собою болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что оно живетъ искусственной жизнью, когда противополагаетъ себя большинству, какъ что-то отдѣльное отъ него и чуждое ему. Это видимъ мы и въ современной намъ Франціи въ лицѣ bourgeoisie, —господствующаго теперь въ ней сословія. Что же касается до великихъ людей, они по преимуществу—дѣти своей страны. Великій человѣкъ всегда національненъ, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ собою свой народъ. Борьба генія съ народомъ не есть борьба человѣческаго съ національнымъ, а просто на просто— новаго со старымъ, идеи съ эмпиризмомъ, разума съ предразсудками. Масса всегда живетъ привычкой и разумнымъ, истиннымъ и полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остервененіемъ то старое, противъ котораго вѣкомъ или менѣе назадъ съ остервененіемъ же боролась она, какъ противъ новаго. Противодѣйствіе массы генію необходимо: это съ ея стороны экзаменъ генію; если онъ возьметъ свое, ни на что несмотря, значитъ, онъ точно геній, т. е. въ самомъ себѣ носитъ свое право дѣйствовать на судьбы своего отечества. Иначе всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленькій великій человѣкъ сталъ бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону...

Нѣтъ никакой необходимости раздѣляться народу на самого себя, чтобы доставить себѣ источникъ новыхъ идей. Источникъ всего новаго есть старое; по-крайней мѣрѣ старымъ приготовляется новое. Въ геніи не столько поражаетъ находчивость новаго, сколько смѣлость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведеній въ Россіи чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящимъ положеніемъ государства; но произвести реформу могъ только Петръ. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебныхъ отношеніяхъ къ своему народу, но, напротивъ, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство съ нимъ. Что въ народѣ безсознательно живетъ какъ возможность, то въ геніи является какъ осуществленіе, какъ дѣйствительность. Народъ относится къ своимъ великимъ людямъ, какъ почва къ растеніямъ, которыя производитъ она. Тутъ единство, а не раздѣленіе, не двойственность. И, вопреки силлогистамъ (новое слово!), для великаго поэта нѣтъ большей чести, какъ быть въ высшей степени національнымъ, потому-что иначе онъ и не можетъ быть великимъ. То, что называютъ резонёры человѣческимъ, противополагая его національному, есть въ сущности новое, непосредственно и логически слѣдующее изъ стараго, хотя-бы оно и было чистымъ его отрицаніемъ. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелѣпости, изъ нея одинъ естественный путь—переходъ въ противоположную крайность. Это въ натурѣ и человѣка, и народовъ. Слѣдовательно, источникъ всякаго прогресса, всякаго движенія впередъ заключается не въ двойственности народовъ, а въ человѣческой натурѣ, такъ же, какъ въ ней заключается и источникъ уклоненій отъ истины, коснѣнія и неподвижности.

Важность теоретическихъ вопросовъ зависитъ отъ ихъ отношенія къ дѣйствительности. То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины жизни, въ которыхъ никто не сомнѣвается, о которыхъ никто не споритъ, и въ которыхъ всѣ согласны. И— что всего лучше—эти вопросы рѣшены тамъ самой жизнью, или если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности.—Но это нисколько не должно отнимать у насъ смѣлости и охоты заниматься рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, потому что пока не рѣшимъ мы ихъ сами

собой и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они рѣшены въ Европѣ. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого рѣшенія.—Теперь Европу занимаютъ новые великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что̀ примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль донъ-Кихотовъ, горячась изъ него. Этимъ мы заслужили бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ—близость ея зрѣлости и возмужалости. Въ этомъ отношеніи литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней,—а это великій успѣхъ съ ея стороны.

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ признаковъ зрѣлости современной русской литературы—это роль, которую играетъ въ ней стихотворная поэзія. Бывало, стихи и стишки составляли отраду и утѣшеніе нашей публики. Ихъ читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалѣя денегъ, или переписывали въ тетради. Новая поэма въ стихахъ, отрывокъ изъ поэмы, новое стихотвореніе, появившееся въ журналѣ или альманахѣ,—все это пользовалось привилегіей производить шумъ, толки, восторги, споры и т. п. Стихотворцы являлись безъ счету, росли, какъ грибы послѣ дождя. Теперь не то. Стихи играютъ второстепенную въ сравненіи съ прозой роль. Ихъ читаютъ будто нехотя, едва замѣчаютъ, хладнокровно похваливаютъ хорошее и ничего не говорятъ о посредственномъ. Стихотворцевъ, противъ прежняго, стало теперь несравненно меньше. Изъ этого многіе заключили, будто вѣкъ поэзіи миновался для русской литературы, что поэзія скрылась отъ насъ чуть ли не навсегда. Мы такъ, напротивъ, видимъ въ этомъ скорѣе торжество, нежели упадокъ русской поэзіи. Что̀ поколебало, а потомъ и вовсе изгнало манію стихописанія и стихочтенія?—Прежде всего появленіе Гоголя, потомъ появленіе въ печати посмертныхъ сочиненій Пушкина и наконецъ явленіе Лермонтова. Поэтическую дѣятельность Пушкина можно раздѣлить на два періода: въ первомъ она является прекрасной, но еще не глубокой, не установившейся, еще доступной для копированія и подражанія; во второмъ мы видимъ ее на неприступной высотѣ художественной зрѣлости, глубины, могущества; тутъ уже нельзя копировать ее, нельзя подражать ей. Талантъ Лермонтова съ перваго же своего дебюта обратилъ на себя всеобщее вниманіе, отбилъ у всѣхъ и у всякаго охоту подражать ему. Послѣ этого доступъ къ поэтической славѣ сдѣлался очень труденъ, такъ что талантъ, который прежде могъ бы играть блестящую роль, теперь долженъ ограничиться болѣе скромнымъ положеніемъ. Это значитъ, что вкусъ публики сдѣлался разборчивѣе, требованія строже: а это конечно успѣхъ, а не упадокъ вкуса. Теперь нуженъ новый Пушкинъ, новый Лермонтовъ, чтобы книжка стихотвореній привела въ восторгъ всю публику, въ движеніе—всю литературу. Но уже теперь сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ для господъ поэтовъ обращать на себя вниманіе или пріобрѣтать славу или извѣстность хоть на волосъ выше той мѣры, въ какой они дѣйствительно заслуживаютъ по своему таланту вниманія, славы и извѣстности. Талантъ теперь всегда будетъ оцѣненъ, и его успѣхъ уже не зависитъ ни отъ покровительства, ни отъ преслѣдованія журналовъ (если еще чѣмъ могутъ они повредить ему, такъ развѣ молчаніемъ, но уже не похвалами и не бранью); онъ будетъ замѣченъ и оцѣненъ, но не иначе, какъ по мѣрѣ его истиннаго достоинства—ни больше, ни меньше.

Въ прошломъ 1846 году вышли стихотворенія Григорьева, Полонскаго, Лизандера, Плещеева, Жадовской, «Троянъ и Ангелица» Вельтмана—что то вродѣ дѣтской сказки не то въ стихахъ, не то въ мѣрной прозѣ; «Слово о Полку Игоря», передѣланное Минаевымъ на поэму во вкусѣ не древности, не старины, того недавняго времени, когда была мода на поэмы. Это въ сущности не больше, какъ растостраненіе или разжиженіе довольно бойкими стихами довольно короткаго и сжатаго «Слова о Полку Игоревомъ». Мы рады будемъ, если попытка Минаева понравится публикѣ; но что̀ до насъ собственно ка-

сается, намъ такъ нравится «Слово о Полку Игоревомъ» въ его настоящемъ видѣ, что мы не можемъ безъ непріятнаго чувства смотрѣть на его передѣлки. Намъ кажется, что его вовсе не нужно ни измѣнять, ни переводить, ни перелагать, но довольно замѣнить въ немъ слишкомъ обветшалыя и непонятныя слова болѣе новыми и понятными, хотя и взятыми же изъ народнаго языка. Мы назвали стихи Минаева бойкими; прибавимъ къ этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторжены, и что въ нихъ больше риторики, нежели поэзіи. Минаевъ—энтузіастическій поклонникъ «Слова о Полку Игоревомъ»; въ его глазахъ оно чуть ли не выше всей русской поэзіи отъ Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняетъ онъ въ послѣсловіи къ стихотворному труду своему, которое носитъ слѣдующее наивно-семинарское названіе: «Для любознательныхъ отроковицъ и юношей».

Стихотворенія Юліи Жадовской были превознесены почти всѣми нашими журналами. Дѣйствительно, въ нихъ нельзя отрицать чего-то вродѣ поэтическаго таланта. Жаль только, что источникъ вдохновенія этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэтому онъ не имѣетъ никакого отношенія къ жизни и бѣденъ поэзіей. Это впрочемъ выходитъ изъ отношеній Жадовской къ обществу, какъ женщины. Вотъ стихотвореніе, которое вполнѣ объясняетъ это положеніе:

Меня гнететъ тоски недугъ;
Мнѣ скучно *въ этомъ мірѣ*, другъ;
Мнѣ надоѣли сплетни, вздоръ —
Мужчинъ ничтожный разговоръ,
Смѣшной, нелѣпый женщинъ толкъ,
Ихъ вышитые бархатъ, шолкъ,
Ума и сердца пустота
И накладная красота.
Мірскихъ суетъ я не терплю,
Но Божій міръ душой люблю,
Но вѣчно будутъ милы мнѣ —
И звѣздъ мерцанье въ вышинѣ,
И шумъ развѣсистыхъ деревъ,
И зелень бархатныхъ луговъ,
И водъ прозрачная струя,
И въ рощѣ пѣсни соловья.

Нужно слишкомъ много смѣлости и героизма, чтобы женщина, такимъ образомъ отстраненная или отстранившаяся отъ общества, не заключилась въ ограниченный кругъ мечтаній, но ринулась бы въ жизнь для борьбы съ нею, если не для наслажденія, котораго возможности не видитъ въ ней. Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрѣніе на небо и звѣзды. Почти въ каждомъ своемъ стихотвореніи не спускаетъ она глазъ съ неба и звѣздъ, но новаго ничего тамъ не замѣтила. Это не то, что Леверье, который открылъ тамъ планету Нептунъ, до него никѣмъ не знаемую. Леверье больше поэтъ, чѣмъ Жадовская, хоть онъ и не пишетъ стиховъ. Охотно согласимся съ тѣми, кто найдетъ наше сближеніе неумѣстнымъ или натянутымъ, но все-таки скажемъ, что смотрѣть на небо и не видѣть въ немъ ничего, кромѣ общихъ фразъ съ риѳмами или безъ риѳмъ, — плохая поэзія. Да и что̀ путнаго можетъ увидѣть въ небѣ поэтъ нашего времени, если онъ совершенно чуждъ самыхъ общихъ физическихъ и астрономическихъ понятій, и не знаетъ, что этотъ голубой куполъ, плѣняющій его глаза, не существуетъ въ дѣйствительности, но есть произведеніе его же собственнаго зрѣнія, ставшаго центромъ видимой имъ сферической окружности; что тамъ на высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нѣтъ воздуха для дыханія, что отъ звѣзды до звѣзды и въ тысячу лѣтъ не долетишь на лучшемъ аэростатѣ... То ли дѣло земля!—на ней намъ и свѣтло, и тепло, на ней все наше, все близко и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія... Зато кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной высотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы...

Изъ поименованныхъ нами стихотворныхъ книжекъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣе другихъ «Стихотворенія Аполлона Григорьева». Въ нихъ по крайней мѣрѣ есть хоть блестки дѣльной поэзіи, т. е. такой поэзіи, которой не стыдно заниматься, какъ дѣломъ. Жаль, что этихъ блестокъ не много; ими обязанъ былъ Григорьевъ вліянію на него Лермонтова; но это вліяніе исчезаетъ въ немъ все больше и больше и переходитъ въ самобытность, которая вся заключается въ туманномистическихъ фразахъ, при чтеніи которыхъ невольно приходитъ на память эта старая эпиграмма:

Ужъ подлинно Бибрусъ боговъ языкомъ пѣлъ:
Изъ смертныхъ бо его никто не разумѣлъ.

Вотъ самобытность, которая не стоитъ даже подражательности!

Но истиннымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы вообще было вышедшее въ прошломъ году изданіе стихотвореній Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворенія всѣ были уже напечатаны и прочтены въ альманахахъ и журналахъ,—они производятъ впечатлѣніе новости, потому именно, что собраны вмѣстѣ и даютъ читателю понятіе о всей поэтической дѣятельности Кольцова, представляя собою нѣчто цѣлое. Эта книжка — капитальное, классическое пріобрѣтеніе русской литера-

туры, не имѣющее ничего общаго съ тѣми эфемерными явленіями, которыя, даже и не будучи лишены относительныхъ достоинствъ, перелистываются, какъ новость, для того, чтобы быть потомъ забытыми. Въ наше время стихотворный талантъ ни почемъ—вещь очень обыкновенная; чтобы онъ чего-нибудь стоилъ, ему нужно быть не просто талантомъ, но еще большимъ талантомъ, вооруженнымъ самобытной мыслью, горячимъ сочувствіемъ къ жизни, способностью глубоко понимать ее. Благодаря толкамъ журналовъ, нѣкоторые маленькіе таланты кое-какъ поняли это по своему и стали на заглавныхъ листкахъ своихъ книжекъ ставить эпиграфы во свидѣтельство, что ихъ поэзія отличается современнымъ направленіемъ, да еще латинскіе, вродѣ слѣдующаго: Homo sum, et nihil humani a me alienum, puto. Но ни ученость, ни латинскіе эпиграфы, ни даже дѣйствительное знаніе латинскаго языка не дадутъ человѣку того, чего не дала ему природа, и такъ называемое «современное направленіе» поэтовъ извѣстнаго разряда всегда будетъ только «плѣнной мысли раздраженьемъ». Вотъ отчего полуграмотный прасолъ Кольцовъ безъ науки и образованія нашелъ средство сдѣлаться необыкновеннымъ и самобытнымъ поэтомъ. Онъ сдѣлался поэтомъ, самъ не зная какъ, и умеръ съ искреннимъ убѣжденіемъ, что если ему и удалось написать двѣ, три порядочныя пьески, все-таки онъ былъ поэтъ посредственный и жалкій... Восторги и похвалы друзей не много дѣйствовали на его самолюбіе... Будь онъ живъ теперь, онъ въ первый разъ вкусилъ бы наслажденіе увѣрившагося въ самомъ себѣ достоинства; но судьба отказала ему въ этомъ законномъ вознагражденіи за столько мукъ и сомнѣній... Такъ какъ мы не можемъ сказать о поэзіи Кольцова ничего, кромѣ того, что уже высказано объ этомъ предметѣ въ статьѣ: «О жизни и о сочиненіяхъ Кольцова», вошедшей въ составъ изданія его сочиненій, то и отсылаемъ къ ней тѣхъ, которые не читали ея, но хотѣли бы знать наше мнѣніе о талантѣ Кольцова и его значеніи въ русской литературѣ.

Изъ стихотворныхъ произведеній, появившихся не отдѣльно, а въ разныхъ изданіяхъ прошлаго года, замѣчательны: «Помѣщикъ», разсказъ (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»), и «Андрей». поэма (въ «Отечественныхъ Запискахъ») Тургенева; «Машенька», поэма Майкова (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»); «Макбетъ» Шекспира, переводъ Кронеберга стихами и прозой. Замѣчательныхъ мелкихъ стихотвореній въ прошломъ году, какъ и вообще въ послѣднее время, было очень мало. Лучшія изъ нихъ принадлежатъ Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотвореніяхъ послѣдняго мы могли бы сказать болѣе, если бы этому рѣшительно не препятствовали его отношенія къ «Современнику»...

Кстати о стихотворныхъ переводахъ классическихъ произведеній. А. Григорьевъ перевелъ Софоклову «Антигону» («Библіотека для чтенія», № 8). За многими изъ нашихъ литераторовъ водится замашка говорить съ таинственною важностью о вещахъ давнымъ давно извѣстныхъ и приниматься съ самоувѣренностью за совершенно чуждую имъ работу. Григорьевъ объявляетъ въ небольшомъ предисловіи къ своему переводу, что онъ со временемъ «изложитъ свой взглядъ на греческую трагедію», взглядъ, «особенное начало котораго есть, впрочемъ, непосредственная связь ея съ ученіемъ древнихъ мистерій». Да это знаютъ дѣти въ низшихъ классахъ гимназій! Вотъ, напримѣръ, идея, что въ одной «Антигонѣ» является борьба двухъ началъ человѣческой жизни — личнаго права и долга противъ общаго права и долга, и что, слѣдовательно, «въ Антигонѣ «изъ-за древнихъ формъ вѣетъ предчувствіемъ иной жизни»—эта идея принадлежитъ исключительно Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за нимъ. Что̀ касается до самой «Антигоны», то едва ли Софоклъ—«аттическая пчела»—узналъ-бы себя въ этомъ торопливомъ, исполненномъ претензій и крайне-невѣрномъ переводѣ Григорьева. Величавый древній сенаръ (шестистопный ямбъ) превратился въ какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новѣйшія «драматическія представленія» нашихъ доморощенныхъ драматурговъ; мелодическіе хоры являются пустозвоннымъ наборомъ словъ, часто лишенныхъ всякаго смысла; о древнемъ колоритѣ, характеристикѣ каждаго отдѣльнаго лица нѣтъ и помина *). Спрашивается, для чего и для кого трудился Григорьевъ? Развѣ для того, чтобы отбить у насъ и безъ того не слишкомъ сильную охоту къ классической старинѣ, съ которой онъ такъ необдуманно обошелся?...

По части беллетристической прозы отдѣльными изданіями вышли въ прошломъ году только два сочиненія: «Брынскій Лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго», романъ Загоскина, и вторая часть «Петербургскихъ Вершинъ», Буткова.

*) Нечего говорить о безчисленныхъ промахахъ; по мнѣнію Григорьева, Аресъ (Марсъ) должно выговаривать Арѣсъ, и пр.

Новый романъ Загоскина отличается всѣми, какъ дурными, такъ и хорошими сторонами его прежнихъ романовъ. Отчасти это новое, не помнимъ уже которое счетомъ, подражаніе Загоскина своему первому роману — «Юрію Милославскому». Но герой послѣдняго романа еще безцвѣтнѣе и безличнѣе, нежели герой перваго. О героинѣ нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тѣмъ менѣе русская женщина конца XVII столѣтія. По своей завязкѣ «Брынскій Лѣсъ» напоминаетъ сантиментальные романы и повѣсти прошлаго вѣка. Стрѣлецкій сотникъ Лёвшинъ романически влюбляется въ какую-то неземную дѣву, съ которой сводитъ его судьба на постояломъ дворѣ. Изъ первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолѣтняя дочь въ Брынскомъ лѣсу, гдѣ онъ остановился проѣздомъ отдохнуть съ своей холопской свитой, состоявшей человѣкъ изъ пятидесяти. Узнавши это, вы сейчасъ догадываетесь, что идеальная дѣва, плѣнившая Лёвшина, есть дочь Буйносова, а вмѣстѣ съ тѣмъ узнаете, что̀ будетъ далѣе въ романѣ и чѣмъ онъ кончится. Любовь двухъ голубковъ высказывается избитыми французами романовъ прошлаго вѣка фразами, которыя ни коимъ образомъ не могли бы войти въ голову русскаго человѣка послѣдней половины XVII столѣтія, когда еще не появлялась и знаменитая книжица, рекомая: «Приклады, какъ пишутся комплименты разные на нѣмецкомъ языкѣ, то есть писанія отъ потентатовъ къ потентатамъ, поздравительные и сожалѣтельные и иные; такожде между сродниковъ и пріятелей». Къ слабымъ сторонамъ романа принадлежитъ и его направленіе, происходящее отъ охоты автора приходить въ восторгъ отъ всякихъ старинныхъ обычаевъ и нравовъ, даже самыхъ нелѣпыхъ, невѣжественныхъ и варварскихъ, и ими, кстати и некстати, колоть глаза современнымъ обычаямъ и нравамъ. Впрочемъ это недостатокъ не важный: гдѣ авторъ рисуетъ старину неправдоподобно, невѣрно, слабо, тамъ онъ, разумѣется, не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, кромѣ скуки; тамъ же, гдѣ онъ изображаетъ «доброе старое время» въ его истинномъ видѣ, какъ писатель съ талантомъ,—тамъ онъ всегда достигаетъ результата, совершенно противуположнаго тому, котораго добивается, т. е. разубѣждаетъ читателя именно въ томъ, въ чемъ хочетъ его убѣдить, и наоборотъ. И это лучшія страницы романа, написанныя съ замѣчательнымъ талантомъ и отличающіяся большимъ интересомъ, какъ, напр., картина Земскаго приказа и достойнаго подьяка, Ануфрія Трифоныча, разсказъ приказчика Буйносова о пропажѣ его дочери въ глазахъ семи нянекъ и полусотни челядинцевъ, а главное—картина суда на татарскій манеръ, — суда, гдѣ, въ лицѣ боярина Куродавлева и пришедшихъ къ нему судиться двухъ мужиковъ, выказывается вся прелесть нѣкоторыхъ изъ старинныхъ нравовъ. Къ числу хорошихъ сторонъ новаго романа Загоскина должно отнести еще вообще не дурно, а мѣстами и прекрасно очерченные характеры раскольниковъ: Андрея Поморянина, старца Пафнутія, отца Филиппа и Волосатаго старца, и боярина Куродавлева, добровольнаго мученика мѣстнической спѣси. Но всѣхъ ихъ лучше обрисованъ Андрей Поморянинъ. Нельзя не пожалѣть, что Загоскинъ занимаетъ въ своемъ романѣ вниманіе читателя больше безцвѣтной и скучной любовью своего героя, нежели картинами нравовъ и историческихъ событій этой интересной эпохи. Языкъ новаго романа Загоскина, какъ и всѣхъ прежнихъ его романовъ, вездѣ ясенъ, простъ, плавенъ, мѣстами одушевленъ и живъ.

Вторая книга «Петербургскихъ Вершинъ» Буткова показалась намъ гораздо лучше первой, хотя и первую мы не нашли дурной. По нашему мнѣнію, у Буткова нѣтъ таланта для романа и повѣсти, и онъ очень хорошо дѣлаетъ, оставаясь всегда въ предѣлахъ свойственнаго ему одному рода дагерротипическихъ разсказовъ и очерковъ. Это не творчество, не поэзія, но это стоитъ творчества, поэзіи. Разсказы и очерки Буткова относятся къ роману и повѣсти, какъ статистика къ исторіи, какъ дѣйствительность къ поэзіи. Въ нихъ мало фантазіи, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много иронiи и остроумія, источникъ которыхъ симпатичная душа. Можетъ быть талантъ Буткова одностороненъ и не отличается особеннымъ объемомъ, но дѣло въ томъ, что можно имѣть талантъ и многостороннѣе и больше таланта Буткова — и напоминать имъ о существованіи то того, то другого, еще большаго таланта; тогда какъ талантъ Буткова никого не напоминаетъ—онъ совершенно самъ по себѣ. Вотъ почему особенно любуемся мы имъ и уважаемъ его. Разсказы, очерки, анекдоты— называйте ихъ, какъ хотите — Буткова представляютъ собой какой-то особенный родъ литературы, доселѣ небывалый. Съ большимъ удовольствіемъ замѣтили мы, что въ этой второй книжкѣ Бутковъ рѣже впадаетъ въ каррикатуру, меньше употребляетъ странныхъ словъ, что языкъ его сталъ точнѣе, опредѣленнѣе и содержаніе еще болѣе проникло мыслью и истиной, чѣмъ было все это въ первой книжкѣ. Это

значитъ идти впередъ. Отъ души желаемъ, чтобы третья книжка «Петербургскихъ Вершинъ» поскорѣе вышла.

Обращаясь къ замѣчательнымъ произведеніямъ беллетристической прозы, являвшимся въ сборникахъ и журналахъ прошлаго года, — взглядъ нашъ прежде всего встрѣчаетъ «Бѣдныхъ Людей», романъ, вдругъ доставившій большую извѣстность до того времени совершенно неизвѣстному въ литературѣ имени. Впрочемъ объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всѣхъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предметѣ. Сила, глубина и оригинальность таланта Достоевскаго была признана тотчасъ же всѣми, и—что̀ еще важнѣе—публика тотчасъ же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которыя имѣетъ свойство возбуждать только сильный талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ «Бѣдныхъ Людяхъ» Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни—растянутости, другіе—неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что еслибы «Бѣдные Люди» явились хотя десятой долей въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однѣхъ и тѣхъ же фразъ и словъ,—это произведеніе явилось бы безукоризненно-художественнымъ. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» Достоевскій вышелъ на судъ заинтересованной имъ публики со вторымъ своимъ романомъ: «Двойникъ. Приключеніе господина Голядкина». Хотя первый дебютъ молодого писателя уже достаточно угладилъ ему дорогу къ успѣху, однако должно сознаться, что «Двойникъ» не имѣлъ никакого успѣха въ публикѣ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведеніе Достоевскаго, какъ неудачное, и еще менѣе, какъ неимѣющее никакихъ достоинствъ, — то нельзя также и признать судъ публики неосновательнымъ. Въ «Двойникѣ» авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истины въ этомъ произведеніи много, художественнаго мастерства тоже; но вмѣстѣ съ этимъ тутъ видно страшное неумѣнье владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что̀ въ «Бѣдныхъ Людяхъ» было извинительными для перваго опыта недостатками, въ «Двойникѣ» явилось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣньѣ богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примѣромъ. Гоголь такъ глубоко и живо концепировалъ идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдѣлать его героемъ еще цѣлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичъ являлся бы вѣрнымъ самому себѣ, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедіи, нѣтъ сомнѣнія, были бы такъ же превосходны, какъ и «Ревизоръ», но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорѣе бы наскучили, нежели нравились, потому что все ухà да ухà, хотя бы и «Демьянова», пріѣдается. Какъ скоро поэтъ выразилъ своимъ произведеніемъ идею, его дѣло сдѣлано, и онъ долженъ оставить въ покоѣ эту идею, подъ опасеніемъ наскучить ею. Другой примѣръ на тотъ же предметъ: что̀ можетъ быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедіи, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно онѣ не уступаютъ въ достоинствѣ ни одной изъ остальныхъ сценъ комедіи, почему же онъ выключилъ ихъ?—Потому, что онъ въ высшей степени обладаетъ тактомъ художественной мѣры и не только знаетъ, съ чего начать и гдѣ остановиться, но и умѣетъ развить предметъ ни больше, ни меньше того, сколько нужно. Мы убѣждены, что еслибъ Достоевскій укоротилъ своего «Двойника» по крайней мѣрѣ цѣлой третью, повѣсть его могла бы имѣть успѣхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колоритъ. Фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находиться въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ «Двойникъ» оцѣнили только немногіе диллетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоитъ не изъ диллетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читаютъ только то, что̀ имъ непосредственно нравится, не разсуждая, почему имъ это нравится, и тотчасъ закрываютъ книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не нравится большинству, можетъ имѣть свои достоинства, но истинно хорошее произведеніе есть то, кототорое нравится обѣимъ сторонамъ, или по крайней мѣрѣ, нра-

вясь первой, читается и второй; Гоголь не всѣмъ нравился, да прочли-то его всѣ...

Въ десятой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» появилось третье произведеніе Достоевскаго, повѣсть «Господинъ Прохарчинъ», которая всѣхъ почитателей таланта Достоевскаго привела въ непріятное изумленіе. Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не даетъ разсмотрѣть читателю... Не вдохновеніе, не свободное и наивное творчество породило эту странную повѣсть, а что-то вродѣ... какъ бы это сказать? —не то умничанья, не то претензіи... иначе она не была бы такой вычурной, манерной, непонятной, болѣе похожей на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствѣ не должно быть ничего темнаго и непонятнаго; его произведенія тѣмъ и выше такъ называемыхъ «истинныхъ происшествій», что поэтъ освѣщаетъ пламенникомъ своей фантазіи всѣ сердечные изгибы своихъ героевъ, всѣ тайныя причины ихъ дѣйствій, снимаетъ съ разсказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбѣжный результатъ достаточной причины. Мы не говоримъ уже о замашкѣ автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, напримѣръ, «Прохарчинъ мудрецъ!») и тѣмъ ослаблять силу его впечатлѣнія: это недостатокъ второстепенный и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя нѣтъ такихъ повтореній. Конечно мы не въ правѣ требовать отъ произведенія Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя; но тѣмъ не менѣе думаемъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примѣромъ еще большаго.

Къ замѣчательнымъ произведеніямъ легкой литературы прошлаго года принадлежатъ помѣщенныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсти: «Небывалое въ быломъ, или былое въ небываломъ» Луганскаго, и «Деревня» Григоровича. Оба эти произведенія имѣютъ между собою то общее свойство, что они интересны не какъ повѣсти, а какъ мастерскіе физіологическіе очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажемъ, чтобы собственно повѣсть Луганскаго не имѣла интереса; мы хотимъ только сказать, что она гораздо интереснѣе своими отступленіями и аксессуарами, нежели своей романической завязкой. Такъ напримѣръ, превосходная картина избы съ рѣзными окнами, въ сравненіи съ малороссійской хатой, лучше всей повѣсти, хотя входитъ въ нее только эпизодомъ и ничѣмъ внутренно не связана съ сущностью ея содержанія. Вообще въ повѣстяхъ Луганскаго всего интереснѣе подробности, и «Небывалое въ быломъ, или былое въ небываломъ» въ особенности богато интересными частностями, помимо общаго интереса повѣсти, которая служитъ тутъ только рамкою, а не картиною, средствомъ, а не цѣлью. Объ этомъ можно было бы сказать больше, но какъ мы скоро будемъ имѣть случай высказать наше мнѣніе о всей литературной дѣятельности этого писателя, то пока и ограничимся этими немногими строками.

О Григоровичѣ мы теперь же скажемъ, что у него нѣтъ ни малѣйшаго таланта къ повѣсти, но есть замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе «физіологическихъ». Но онъ хотѣлъ сдѣлать изъ своей «Деревни» повѣсть, и отсюда вышли всѣ недостатки его произведенія, которыхъ онъ легко бы могъ миновать, если бы ограничился безсвязными внѣшнимъ образомъ, но дышущими одной мыслью картинами деревенскаго быта крестьянъ. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ героини его повѣсти, и вообще изъ его Акулины вышло лицо довольно безцвѣтное и неопредѣленное, именно потому, что онъ старался сдѣлать изъ нея особенно интересное лицо. Къ недостаткамъ повѣсти принадлежатъ также и натянутыя, изысканныя и вычурныя мѣстами описанія природы. Но что̀ касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это блестящая сторона произведенія Григоровича. Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла, и умѣлъ высказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его «Деревня» — одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года.

Статья Луганскаго: «Русскій Мужикъ», явившаяся въ третьей части «Новоселья», исполнена глубокаго значенія, отличается необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія и вообще принадлежитъ къ лучшимъ физіологическимъ очеркамъ этого писателя, котораго необыкновенный талантъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ этомъ родѣ литературы.

Съ шестой книжки «Библіотеки для Чтенія» тянется романъ Вельтмана: «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», который еще не кончился послѣднею книжкою этого журнала за прошлой годъ. Вельтманъ обнаружилъ въ новомъ своемъ романѣ едва ли еще не больше таланта, нежели въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ же самый недостатокъ умѣнія распоряжаться своимъ талан-

томъ. Въ его «Приключеніяхъ» толпится страшное множество лицъ, изъ которыхъ многія очеркнуты съ необыкновеннымъ мастерствомъ; много поразительно вѣрныхъ картинъ современнаго русскаго быта, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть лица неестественныя, положенія натянутыя, и слишкомъ запутанные узлы событій разрѣшаются посредствомъ deus ex machina. Все, что̀ есть прекраснаго въ этомъ романѣ, принадлежитъ таланту Вельтмана, который безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени; а все, что̀ составляетъ слабыя стороны «Приключеній», вышло изъ намѣреннаго желанія Вельтмана доказать превосходство старинныхъ нравовъ передъ нынѣшними. Странное направленіе! Мы нисколько не принадлежимъ къ безусловнымъ почитателямъ современныхъ нравовъ русскаго общества, не менѣе всякаго другого видимъ ихъ странности и недостатки и желаемъ ихъ исправленія. Какъ и у славянофиловъ, у насъ есть свой идеалъ нравовъ, во имя котораго мы желали бы ихъ исправленія, но нашъ идеалъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ, на основаніи настоящаго. Впередъ идти можно, назадъ — нельзя, и что̀ бы ни привлекало насъ въ прошедшемъ, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутятъ на новый ладъ и лучше умѣютъ проматывать нажитое отцами, нежели пріобрѣтать сами, — мы согласны, что они страннѣе и нелѣпѣе своихъ отцовъ, которые упорно держатся старины. Но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы ихъ отцы не были тоже странны и нелѣпы. Молодыя поколѣнія даже купчиковъ выражаютъ собою переходное состояніе своего сословія, переходное отъ худшаго къ лучшему, но это лучшее окажется хорошимъ только какъ результатъ перехода, а какъ процессъ перехода оно разумѣется скорѣе хуже, нежели лучше стараго. Дѣйствуйте на исправленіе нравовъ сатирою, или — что̀ лучше всякой сатиры — вѣрнымъ ихъ изображеніемъ; но дѣйствуйте не во имя отжившихъ нравовъ, а во имя разума и здраваго смысла, не во имя мечтательнаго и невозможнаго обращенія къ прошедшему, а во имя возможнаго развитія будущаго изъ настоящаго. Пристрастіе, къ чему бы оно ни прилѣпилось — къ старинѣ или новизнѣ, всегда мѣшаетъ достиженію цѣли, потому что невольно вводитъ въ ложь человѣка, самаго страстнаго къ истинѣ и дѣйствующаго по самому благородному убѣжденію. Это и сбылось съ Вельтманомъ въ его новомъ романѣ. Онъ придалъ безнравственнымъ лицамъ своего романа такой колоритъ, какъ будто они безнравственны по милости новыхъ нравовъ, а живи-де они въ Кошихинскія времена, то были бы отличнѣйшими людьми. По крайней мѣрѣ мы считаемъ себѣ въ правѣ сдѣлать подобное заключеніе изъ того, что авторъ нигдѣ и не думаетъ маскировать своей симпатіи къ старинѣ, своей антипатіи къ новизнѣ. Такъ, напримѣръ, повинуясь истинѣ, онъ безпристрастно показалъ естественныя причины страшнаго богатства купчины Захолустьева, но въ то же время счелъ за необходимое противопоставить ему Селифонта Михѣича, который тоже страшно разбогатѣлъ, но честностью и порядкомъ, а главное потому, что «жилъ по старому русскому обычаю». Желали бы мы знать, что̀ бы наши купцы сказали объ этой утопіи честнаго благопріобрѣтенія огромнаго имѣнія... По мнѣнію Вельтмана, русскій человѣкъ, имѣющій несчастіе знать французскій языкъ, есть человѣкъ погибшій... Какихъ, подумаешь, не бываетъ предразсудковъ у людей съ умомъ и талантомъ!..

Герой романа, Дмитрицкій — нѣчто вродѣ Ваньки Каина новыхъ временъ, или того, что̀ французы называютъ chevalier d'industrie, лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное авторомъ. Зато героиня, Саломея Петровна, которой выпала невыгодная роль представительницы и жертвы новѣйшихъ нравовъ и знанія французскаго языка,—лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницей, холодной лицемѣркой, до пошлости неискусной актрисой, а потомъ самой страстной женщиной, какую только можно вообразить. Дѣйствіе романа презапутанное, въ немъ столько эпизодовъ, сколько лицъ, а лицамъ, какъ мы сказали, счету нѣтъ. Какъ только является новое лицо, авторъ безъ церемоніи бросаетъ героя и героиню и начинаетъ разсказывать читателю исторію этого новаго лица, со дня его рожденія, а иногда и со дня рожденія его родителей, по день его появленія въ романѣ. Большая часть изъ этихъ вводныхъ лицъ изображены или очеркнуты съ большимъ искусствомъ. Ходъ романа очень интересенъ, въ событіяхъ много истины, но въ то же время и много невѣроятностей. Когда автору нѣтъ средства естественно развязать узелъ завязки или завязать новый, у него сейчасъ является deus ex machina. Таково, напр., похищеніе Саломеи холопами Филиппа Савича, помѣщика Кіевской губерніи—самая невѣроятная романтическая натяжка, на какую только когда-либо рѣшался писатель съ талантомъ. Такихъ сказочныхъ невѣроятностей особенно много въ событіяхъ жизни Дмитрицкаго; ему все удается, онъ

всегда выходитъ съ выгодой для себя изъ самаго затруднительнаго, самаго невыгоднаго положенія. Пріѣзжаетъ въ Москву безъ бумагъ, съ однимъ червонцемъ, останавливается въ гостинницѣ, пьетъ, ѣстъ на широкую ногу, и вдругъ судьба посылаетъ ему литературщика, который принялъ его за литератора, занимавшаго еще вчера этотъ же самый номеръ гостинницы, везетъ его къ себѣ, предлагаетъ у себя квартиру, даетъ денегъ. Все это дѣлается по щучью велѣнью, а по моему прошенью, и доказываетъ, что у Вельтмана больше таланта для частностей и подробностей, нежели для созданія чего-нибудь цѣлаго, болѣе наклонности къ сказкѣ, нежели къ роману, и что системы и теоріи много дѣлаютъ вреда его замѣчательному таланту...

Упомянувши еще о «Венгерцахъ», физіологическомъ очеркѣ, въ «Финскомъ Вѣстникѣ», мы окончимъ нашъ перечень всего особенно замѣчательнаго, что̀ явилось въ прошломъ году по части изящной словесности. Перечень этотъ вышелъ не великъ*); обо многомъ мы не хотимъ упоминать вовсе не потому, чтобы во всемъ, о чемъ умалчиваемъ, видѣли мы одно дурное и ничего хорошаго, но потому, что считали нужнымъ говорить только объ особенно замѣчательномъ.

«Воспоминанія Ѳаддея Булгарина (Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни)», не принадлежа собственно ни къ ученой, ни къ поэтической, но къ такъ называемой легкой литературѣ, есть книга во многихъ отношеніяхъ интересная и замѣчательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочиненія мы выскажемъ ниже наше о немъ мнѣніе, а пока ограничимся однимъ упоминовеньемъ.

Къ числу такого же рода произведеній отнесли бы мы и «Записки Доктора», сочиненіе Малиновскаго, еслибы эти записки больше были вѣрны своей прекрасной цѣли и больше походили на записки, нежели на мелодраму въ формѣ неудавшагося романа, написаннаго безъ таланта, безъ умѣнія и такту.

Отъ чисто-литературныхъ произведеній переходя къ сочиненіямъ ученаго или серьёзнаго содержанія, начнемъ съ того, что̀ сдѣлано было въ прошломъ году по части русской исторіи. Скажемъ здѣсь кстати, что въ «Современникѣ» будетъ обращено особенное вниманіе на этотъ предметъ. Кромѣ статей по части русской исторіи, журналъ нашъ, не обѣщая своимъ читателямъ полной библіографіи по другимъ частямъ, будетъ представлять отзывы обо всемъ, что̀ будетъ являться сколько-нибудь замѣчательнаго по части русской исторіи*)...

«Исторія русской словесности, преимущественно древней, — XXXIII публичныя лекціи Шевырева» (доселѣ вышло двѣ части), принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ ученой русской литературы прошлаго года. Въ этомъ сочиненіи авторъ обнаружилъ короткое знакомство съ источниками, обширную начитанность, словомъ,— эрудицію, которая сдѣлала бы честь самому кропотливому нѣмецкому гелертеру. При этомъ оно отличается глубокимъ и искреннимъ убѣжденіемъ, самой наивной добросовѣстностью, которыя однакожъ не помѣшали трудолюбивому и почтенному профессору представлять факты въ самомъ неистинномъ видѣ. Это странное явленіе будетъ очень понятно, если взять въ соображеніе, какую ужасную силу имѣетъ надъ здравомысліемъ человѣка духъ системы, обаяніе готовой идеи, еще прежде изученія фактовъ принятой за непреложно-истинную. Вотъ причина, почему Шевыревъ въ духовныхъ сочиненіяхъ древней и старой Руси непремѣнно хочетъ видѣть произведенія народной словесности, а въ русскомъ сказочномъ витязѣ Ильѣ Муромцѣ находитъ что-то общее съ Сидомъ, рыцарственнымъ героемъ національныхъ испанскихъ романсовъ... Вѣдь ученый и трудолюбивый Венелинъ находилъ же Атиллу славяниномъ, а въ Меровингахъ франкскихъ видѣлъ славянскихъ «мировыхъ» или «міровыхъ» — не помнимъ, право... Это доказываетъ, что господа ученые, платя дань человѣческой слабости, бываютъ подвержены такимъ же странностямъ, какъ и самые простые, вовсе безграмотные люди... Можетъ-быть это происходитъ оттого, что они, какъ говоритъ простой народъ, зачитываются, и у нихъ умъ за разумъ заходитъ; можетъ быть это происходитъ и отъ другихъ причинъ—не знаемъ; но знаемъ только то, что духъ системы и доктрины имѣетъ удивительное свойство омрачать и фанатизировать даже самые свѣтлые умы... Впрочемъ книга Шевырева, внѣ своего славянофильскаго направленія, имѣетъ много достоинствъ, какъ памятникъ примѣрнаго трудолюбія и добросовѣстной, хотя и одно-

*) Это произошло частью оттого, что множество замѣчательныхъ беллетристическихъ произведеній, особенно повѣстей, должно бы было появиться въ прошломъ году въ одномъ огромномъ сборникѣ, предполагавшемся къ изданію. Но по случаю „Современника“ литераторъ, предпринимавшій изданіе этого сборника, счелъ за лучшее оставить свое предпріятіе и передать „Современнику“ собранныя имъ статьи.

*) Слѣдующее за тѣмъ въ этой статьѣ 1-го № „Современника“ о русской исторической литературѣ написано Кавелинымъ и помѣщено во второй части „Собранія его сочиненій“, стр. 299—315.

сторонней, учености. Болѣе всего важны примѣчанія, которыми снабжена она и куда отнесены авторомъ самые интересные факты, которые съ особеннымъ упорствомъ отказались свидѣтельствовать въ пользу любимыхъ идей его. Замѣчательна еще книга Шевырева и тѣмъ, что подала поводъ къ четыремъ прекраснымъ критическимъ статьямъ (въ «Отечественныхъ Запискахъ» №№ 5 и 12, въ «Библіотекѣ для Чтенія» и «Финскомъ Вѣстникѣ»).

Къ числу блистательнѣйшихъ пріобрѣтеній по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлаго года, принадлежитъ вышедшее въ прошломъ году второе отдѣленіе второй части «Руководства къ Всеобщей Исторіи» — сочиненіе профессора Лоренца. Этой книжкой заключается средняя исторія. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ продолженія и окончанія этого превосходнаго труда.

«Исторія консульства и имперіи» Тьера появилась въ двухъ переводахъ. Вышла шестая часть «Всемірной Исторіи» Беккера.

«Нравы, обычаи и памятники всѣхъ народовъ земного шара», изданіе Семена и Стойковича, превосходными иллюстрированными картинами и политипажами и вообще типографскимъ изяществомъ затмило собою всѣ когда-либо являвшіяся въ Россіи такъ называемыя великолѣпныя изданія. Содержаніе книги соотвѣтствуетъ ея внѣшнему достоинству и—что даетъ ей особенную важность—есть не переводъ, а почти оригинальный трудъ двухъ русскихъ литераторовъ, которые, пользуясь иностранными источниками, умѣли придать ему достоинство одушевленнаго одной идеей сочиненія. Въ вышедшей книгѣ содержится описаніе Индустана, сдѣланное Тютчевымъ, и Заганскаго полуострова, сдѣланное Стойковичемъ. Во второй книгѣ издатели обѣщаютъ описаніе Китая и Японіи.

Въ журналахъ прошлаго года было очень много интересныхъ статей ученаго содержанія, оригинальныхъ и переводныхъ. Изъ первыхъ въ особенности можно указать на: седьмое и восьмое «Письма объ изученіи природы» Искандера; «Кочующіе и осѣдло-живущіе въ Астраханской губерніи инородцы» барона Ѳ. А. Бюлера; «Европейскія желѣзныя дороги въ историческомъ, географическомъ и статистическомъ отношеніяхъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Нога и рука человѣка» С. С. Куторги (въ «Библіотекѣ для Чтенія»); «Жизнь и нравы змѣй; Жизнь и нравы пауковъ» Ушакова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Изъ переводныхъ статей особенно замѣчательна—«Оливеръ Кромвель» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Знаменитое ученое твореніе Гумбольдта было переведено въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ именемъ «Космоса», а въ «Библіотекѣ для Чтенія»—подъ именемъ «Козмоса». Нельзя не отдать справедливости обоимъ журналамъ за ихъ поспѣшность познакомить русскую публику съ произведеніемъ великаго ученаго, столь важнымъ по предмету и написаннымъ популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цѣли. Популярность изложенія Гумбольдта чисто-нѣмецкая, слѣдовательно вполнѣ доступная только людямъ, спеціально занимающимся естественными науками и астрономіей. Въ этомъ отношеніи гораздо полезнѣе перевода обоихъ журналовъ была статья въ «Сѣверной Пчелѣ» (№№ 175—180): «Александръ Гумбольдтъ и его Вселенная (Kosmos)». Не знаемъ, откуда переведена или кѣмъ написана она, но непосвященныхъ въ таинства науки она знакомитъ съ книгой Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги въ обоихъ журналахъ. Въ «Финскомъ Вѣстникѣ» переводится знаменитое твореніе Тьери: «Завоеваніе Англіи норманнами». Это сочиненіе конечно не ново вездѣ, кромѣ Россіи, и оттого мысль «Финскаго Вѣстника» перевесть его заслуживаетъ похвалы и благодарности.

Въ послѣднее время много стало появляться книгъ, брошюръ и статей по спеціальнымъ предметамъ. Конечно, истинно хорошихъ между ними еще мало, но всѣ онѣ важны, какъ свидѣтельство дѣльнаго направленія литературы. Такъ напримѣръ, въ прошломъ году вышли весьма замѣчательныя книги, которыя мы только поименуемъ, такъ какъ о нихъ было уже много говорено въ журналахъ: первая книга «Записокъ Русскаго Географическаго Общества»; третья часть «Исторіи Смутнаго времени» Бутурлина; «Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній» Журавскаго; «Нижегородская ярмарка въ 1843, 1844 и 1845 годахъ» Мельникова, и пр. Особенно пріятно видѣть, что появляется довольно много книгъ, брошюръ и статей, касающихся не только сельскаго хозяйства въ его техническомъ значеніи, но и быта того многочисленнаго класса людей, который играетъ такую великую роль въ отношеніи къ сельскому хозяйству, какъ живая и разумная производящая сила. Особенно заслуживаетъ вниманія въ 103 № «Московскихъ Вѣдомостей» превосходная статья С. А. Маслова — «Жаръ и Жатва Хлѣба (Лѣтнія замѣтки въ Московской губерніи)». Эта замѣчательная статья, за которую почтеннаго автора благословитъ всякій другъ человѣчества, была перепечатана почти во всѣхъ журналахъ, из-

дающихся отъ правительственныхъ вѣдомствъ.

Мы не упомянули о нѣсколькихъ замѣчательныхъ книгахъ, показавшихся въ концѣ прошлаго года, для того, чтобы начать съ нихъ отдѣлъ Критики и Библіографіи «Современника». Но прежде скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ отдѣлѣ нашего журнала. Почти во всѣхъ другихъ журналахъ критика составляетъ особый отъ библіографіи отдѣлъ. Пишущій эти строки семилѣтнимъ тяжкимъ опытомъ дозналъ невыгоду такого раздѣленія. Подъ критикой разумѣется статья извѣстнаго объема и даже особеннаго отъ рецензіи тона. Замѣчательныхъ книгъ, подлежащихъ вѣдомству серьёзной критики, у насъ выходитъ такъ мало, что обязанность писать по критикѣ каждый мѣсяцъ поневолѣ дѣлается чѣмъ-то вродѣ тяжелой поставки, ибо много замѣчательнаго печатается въ журналахъ. Поэтому, представляя отчеты наши публикѣ о всѣхъ болѣе или менѣе примѣчательныхъ явленіяхъ русской литературы, мы не будемъ нисколько заботиться, что̀ выйдетъ изъ нашего разбора—критика или рецензія. Пусть сами читатели наши рѣшаютъ это, каждый по своему вкусу и разумѣнію. Этимъ мы надѣемся доставить имъ услугу, избавивъ журналъ нашъ отъ балласта многословія и надутости, неизбѣжнаго иногда при двойномъ раздѣленіи критики: на большую, или собственно критику, и малую, или рецензію. Критика наша, какъ мы сказали выше, будетъ обращать вниманіе на всѣ сколько-нибудь замѣчательныя сочиненія по части русской исторіи; затѣмъ болѣе всего обратитъ она свое вниманіе на произведенія чисто литературныя; но въ отношеніи и къ нимъ мы не обѣщаемъ полной библіографіи, ибо о книгахъ ничтожныхъ даже отрицательно, по нашему мнѣнію, не стоитъ труда ни писать, ни читать. Мы даже будемъ считать нашей обязанностью, изъ уваженія къ ублико̀ и самимъ себѣ, проходить молчаніемъ дюжинныя произведенія дюжинныхъ писакъ, которые успѣли уже пріобрѣсти себѣ позорную извѣстность, которые, думая вѣрно изображать жизнь, какъ она есть, вмѣсто этого изображаютъ вѣрно только себя, такъ какъ они есть, т. е. во всемъ величіи ихъ претензій, ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумія. Съ другой стороны, чуждые всякихъ притязаній на энциклопедическую многосторонность познаній, мы не будемъ ничего говорить о спеціальныхъ сочиненіяхъ, какъ бы ни были они замѣчательны, если они выходятъ изъ круга нашихъ занятій. О книгахъ легкихъ и незначительныхъ будетъ у насъ говориться въ фёльетонѣ «Современника», въ отдѣлѣ смѣси, и отъ времени до времени прилагаться къ его книжкамъ полные библіографическіе списки всѣхъ, безъ исключенія, выходящихъ въ Россіи книгъ на русскомъ языкѣ, съ обозначеніемъ типографіи, формата, числа страницъ и даже по возможности цѣнъ.

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ.

Спб. 1847.

Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русскомъ языкѣ! Безпристрастный читатель, съ одной стороны, найдетъ въ ней жестокій ударъ человѣческой гордости, а съ другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бѣдной человѣческой природы... Впрочемъ нисколько не правъ будетъ тотъ, кѣмъ, при чтеніи этой книги, поперемѣнно стали бы овладѣвать то жестокая грусть, то злая радость,—грусть о томъ, что и человѣкъ съ огромнымъ талантомъ можетъ падать такъ же, какъ и самый дюжинный человѣкъ,—радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не можетъ замаскироваться, но всегда безпощадно казнится собственной же пошлостью... Смыслъ этой книги не до такой степени печаленъ. Тутъ дѣло идетъ только объ искусствѣ, и самое худшее въ немъ—потеря человѣка для искусства...

Сколько книгъ является съ эпиграфами, которые нисколько къ нимъ не идутъ и ничего въ нихъ не поясняютъ, и сколько эпиграфовъ такъ и просятся въ эту книгу, которая явилась безъ всякаго эпиграфа! Напримѣръ, какъ бы шелъ къ ней этотъ эпиграфъ: «Суета суетъ и всяческая суета!» или этотъ: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!»... Но не будемъ говорить о

томъ, чего въ ней нѣтъ, а обратимся къ тому, что̀ въ ней есть... Изъ предисловія узнаемъ мы, что авторъ былъ боленъ при смерти и написалъ было завѣщаніе. Все это очень обыкновенно и со всякимъ случиться можетъ. Но вотъ что̀ вовсе необыкновенно и чего доселѣ еще ни съ кѣмъ изъ частныхъ лицъ не случалось. Завѣщаніе Н. В. Гоголя, напечатанное въ книгѣ вполнѣ, не заключаетъ въ себѣ никакихъ семейныхъ подробностей, которыя, разумѣется, и не шли бы въ печать, но все состоитъ изъ интимной бесѣды автора съ Россіей... То есть: авторъ говоритъ и наказываетъ, а Россія его слушаетъ и обѣщаетъ выполнить... Тутъ между прочимъ говорится, какъ о вѣнцѣ творенія Гоголя, о какой-то «Прощальной повѣсти», написанной имъ въ назиданіе, поученіе и услажденіе высокихъ душъ... Потомъ объявляется, что авторъ сжегъ всѣ свои сочиненія, бывшія у него въ рукописяхъ, какъ безполезныя... Вмѣсто этого проситъ онъ друзей своихъ издать его письма съ 1844 года для пользы тоже высокихъ душъ... Но вотъ конецъ завѣщанія въ подлинныхъ словахъ:

«VII. Завѣщаю... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому право на его публичное изданіе, и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, еслибы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ соединялось другое обстолтельство: *портретъ мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его.* Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всѣмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло, подходящее нынѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малаго числа знатоковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаградить его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображеніе кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но еслибы случилось такъ, что послѣ моей смерти письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хоть бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что̀ не пользуется извѣстностью, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же по прочтеніи сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: гравировалъ Іорданъ. Симъ будетъ сдѣлано по крайней мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣй, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ, станутъ вмѣсто портрета моего покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлался передо мною невинно-виноватымъ, и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.»

Изданную теперь книгу «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» Гоголь проситъ своихъ соотечественниковъ прочитать нѣсколько разъ, а достаточныхъ изъ нихъ проситъ онъ покупать ее по нѣскольку экземпляровъ для раздачи тѣмъ, которые сами купить ее не въ состояніи. Собираясь въ Сирію на поклоненіе святымъ мѣстамъ, проситъ онъ прощенія у всѣхъ, передъ которыми виноватъ, равно какъ и у тѣхъ, передъ которыми не виноватъ... Въ особенности сознаетъ онъ, что въ его обхожденіи съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго.

«Отчасти это происходило (говоритъ онъ) оттого, что я избѣгалъ встрѣчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человѣку (пустыхъ же и не нужныхъ словъ произносить не хотѣлось), и будучи въ то же время убѣжденъ, что, по причинѣ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. *Отчасти же это происходило и отъ мелочного самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя вправѣ спесиво глядѣть на другихъ».*

За предисловіемъ и завѣщаніемъ слѣдуютъ письма. Въ этихъ письмахъ авторъ изображаетъ себя какъ бы прозрѣвшимъ вслѣдствіе своей болѣзни, исполнившимся духа любви, кротости и въ особенности смиренія... Содержаніе ихъ совершенно соотвѣтствуетъ такому духу: это не письма, это скорѣе строгія и иногда грозныя увѣщанія учителя ученикамъ... Онъ поучаетъ, наставляетъ, совѣтуетъ, уличаетъ, упрекаетъ, прощаетъ и т. д. Къ нему всѣ обращаются съ вопросами, и онъ никого не оставляетъ безъ отвѣта. Онъ самъ говоритъ: «Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта». Тутъ же, черезъ нѣсколько строкъ: «Въ послѣднее время мнѣ случалось даже полу-

чать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не съумѣлъ дать прежде. А между прочимъ (?) я ничуть не умнѣе никого» Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе, что эта мудрость произошла отъ болѣзни. Въ другомъ письмѣ, давая пріятелю совѣтъ по части хозяйства, авторъ говоритъ «только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладѣ; два человѣка уже благодарятъ меня, одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К**». Видите ли? онъ самъ сознаетъ себя чѣмъ-то вродѣ curé du village или даже и папы своего маленькаго католическаго міра... Послушаемъ же его совѣтовъ и подивимся имъ...

Говоря въ письмѣ къ одной дамѣ о значеніи женщины въ свѣтѣ, авторъ открываетъ намъ главную причину лихоимства въ Россіи. Найти причину зла — почти то же, что найти противъ него лѣкарство. И авторъ «Переписки» нашелъ его... Слушайте: главная причина взяточничества чиновниковъ происходитъ «отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ, большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей» Признаемся: мы были сильно поражены этимъ страннымъ открытіемъ.... Мы однакожъ не остановились на этомъ, но пошли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно конечно хорошо, если чиновницы перестанутъ щеголять и блистать въ свѣтѣ, но что еще будетъ лучше, если онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда оставятъ дурную привычку—поутру и вечеромъ пить чай или кофе, а въ полдень обѣдать, равно какъ и другую не менѣе дурную привычку прикрывать наготу свою чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы имъ вовсе не для чего было просить у мужей денегъ, а мужьямъ вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправленіе нравовъ было бы всесовершенное... Съ этимъ могутъ не согласиться только такъ называемые практическіе люди, которые все понимаютъ не вдохновеніемъ, а здравымъ смысломъ да опытностью... Они могутъ сказать, что до Петра Великаго у насъ не было модъ, и женщины сидѣли взаперти, а взяточничество было, да еще въ несравненно сильнѣйшей степени, чѣмъ теперь... Пожалуй, они могутъ еще сказать, что, хорошо зная человѣческую натуру и ея слабости, они считаютъ рѣшительно невозможнымъ, чтобы у однихъ уничтожить желаніе блистать, когда другіе, по своимъ средствамъ, согласятся скорѣе умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство въ средствахъ есть неосуществимая мечта, то никакія «переписки» въ мірѣ не убѣдятъ никакого Кира не желать быть Крезомъ, или не завидовать ему, ибо это внѣ природы человѣческой, а немногія и рѣдкія исключенія тутъ ровно ничего не значатъ. Но мало ли чего могутъ наговорить практическіе люди, да что ихъ слушать! Вѣдь они черпаютъ свои мысли въ разумѣ, разсудкѣ, опытѣ и знаніи—источникахъ мірскихъ, свѣтскихъ и грѣховныхъ!.. Эти люди, пожалуй, скажутъ вамъ, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать здоровая душа, что только не страждущій никакимъ разстройствомъ мозгъ можетъ правильно мыслить... Заткните уши отъ такихъ вольнодумныхъ мыслей и плюньте (любимое выраженіе автора «Переписки») на проповѣдниковъ такой ереси; вотъ что̀ говоритъ объ этомъ нашъ авторъ:

«О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже такимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое *здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человѣка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими,* заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходятъ ко мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, *и я вижу самъ, что теперь все, что̀ ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнѣе прежняго*».

Теперь неоспоримо, какъ дважды два—четыре, что нездоровье лучше здоровья; въ здоровьѣ человѣкъ, особенно русскій, любитъ рисоваться и заноситься, а въ болѣзни онъ ясно видитъ, что прежде онъ дѣлалъ однѣ глупости, а вотъ теперь-то за умъ хватился и сталъ молодецъ хоть куда! Онъ ужъ тутъ самъ видитъ, что онъ и пишетъ лучше прежняго, и если весь свѣтъ видитъ это дѣло совершенно наоборотъ, можно «плюнуть» на весь свѣтъ, брешешь, —молъ ты, дуракъ!.. Вы думаете, что съ свѣтомъ, даже съ большимъ, нельзя такъ говорить? По крайней мѣрѣ въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ дружеской переписки» свѣтскіе люди иначе не называются, какъ «глупыми умниками». Вообще, замѣтимъ кстати, обращеніе нашего смиренномудраго совѣтодателя какъ съ своими адептами, такъ и съ людьми, никогда его не знавшими, отличается немножко черезчуръ восточной откровенностью. «Критика (у него) устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь». Вотъ, чтобы помочь этому горю и направить критику на истинный путь, онъ и написалъ свою превосходную

критическую статью «Объ «Одиссеѣ», переводимой Жуковскимъ»,—статью, въ которой, разумѣется, дичи не было нисколько... Но вотъ черта еще лучше: «Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ миѳъ, а всѣ творенія его—народныя пѣсни и рапсодіи». Сколько мы помнимъ, главнымъ поборникомъ этого мнѣнія былъ профессоръ Вольфъ,—человѣкъ конечно не геніальный, но весьма ученый и совсѣмъ не дуракъ... Но вотъ бѣда: это мнѣніе раздѣлялъ и Гёте, который хотя былъ и нѣмецъ, но дуракомъ ни въ чьихъ глазахъ никогда еще не былъ... Что скажутъ о насъ нѣмцы, если узнаютъ, что ихъ Гёте былъ не болѣе, какъ—дуракъ!.. А между тѣмъ, воля ваша, а вѣдь оно должно быть такъ, потому что нашъ авторъ не знаетъ ни греческаго языка, столь знакомаго Вольфу и Гёте, да едва-ли знаетъ и по нѣмецки-то; сверхъ того онъ судитъ не по разуму, не по знанію, а по вдохновенію: изъ всего этого слѣдуетъ, что онъ правъ и что Гёте—дѣйствительно дуракъ... Нѣтъ, это дѣло рѣшеное—Гёте дуракъ! Да и что тутъ чиниться съ какими-нибудь нѣмцами!..

Но вотъ особенно интересное сужденіе автора о славянофилахъ, отличающееся всѣмъ достоинствомъ его патріархальной откровенности:

«Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполнѣ проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти славянисты и европисты — или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покамѣстъ они мнѣ кажутся только карикатурами на то, чѣмъ хотятъ быть, — всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не поперечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ, что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ, что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумѣется, правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ фасадъ и, стало-быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видятся имъ верхушка всего строенія, то есть глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посовѣтовать обоимъ—одному попробовать, хоть на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: *они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуется въ рѣпу.* Разумѣется, что такимъ *строптивымъ хвастовствомъ* вооружаютъ они еще болѣе противъ себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде неслышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человѣку.»

А въ другомъ мѣстѣ вотъ что говоритъ авторъ о томъ же предметѣ:

«Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европѣ: «смотрите, нѣмцы: мы лучше васъ!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Наилучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь! А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются! Хвастаются будущимъ! Нѣтъ, по мнѣ, уже лучше временное уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадѣянность въ себѣ.»

Но мы начали рѣчь о совѣтахъ, которыми авторъ надѣляетъ своихъ адептовъ; надо кончить эту интересную матерію. Одинъ изъ пріятелей автора посягнулъ на дѣло неслыханной дерзости: онъ рѣшился сказать автору письменно, что, по его мнѣнію, теперь-де самое время для выпуска второй части «Мертвыхъ Душъ»... Подобная дерзость не могла не подѣйствовать нѣсколько смутно на смиреніе нашего автора,—и онъ разразился слѣдующимъ громовымъ отвѣтомъ неосторожному смѣльчаку:

«Вотъ, еслибы ты вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какого-то праздного любопытства), собралъ всѣ дѣльныя замѣчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, жизнью опытной и дѣльной, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околоткѣ вашемъ и во всей губерніи, въ подтвержденіе или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу, тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успѣшнѣе пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ, моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая ни къ чему неведущая торопливость, которой, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ, и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, взвѣсилъ ли ты хорошенько слова свои: «второй томъ нуженъ теперь необходимо?» Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудо-

вольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ,такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ? Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залѣзъ ты развѣ въ мою голову? Почувствовалъ существо второго тома? Но твоему онъ нуженъ теперь, а по моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображеніе попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на боку, къ дѣлу настоящему лѣнивъ, а другого торопитъ, точно, какъ будто непремѣнно другой долженъ изо всѣхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежитъ на боку. Чуть замѣтятъ, что хотя одинъ человѣкъ занялся серьёзно какимънибудь дѣломъ, ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ, и потомъ его же выбранятъ, если сдѣлаетъ глупо, скажутъ: зачѣмъ поторопился? Но оканчиваю тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣчалъ, и даже сказалъ тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще никому. Не думай однако же послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними, и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ; только въ *глупой септской башкѣ* могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многаго тѣмъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которой выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостью, которая всѣмъ видна. И когда повѣряю себя на исповѣди передъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мірѣ и освобождаться отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себѣ пороковъ; но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году. Святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣлясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣтъ и на другіе запросы, если попристальнѣе вглядишься. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлялъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силой въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ—я также не выдумывалъ; кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло.»

Но истинный перлъ по совѣтодательной части составляютъ три письма автора. Въ одномъ онъ учитъ мужа и жену жить по супружески. Жалѣемъ, что длинота этого письма лишаетъ насъ возможности пересказать его содержаніе: это чудо, прелесть. еще ничего не являлось подобнаго на русскомъ языкѣ, и передъ этимъ даже путевыя записки за границей Погодина—просто пасъ!.. Въ другихъ двухъ письмахъ содержатся преудивительные совѣты помѣщику, какъ управлять своими крестьянами. Въ одномъ изъ нихъ замѣчательнѣе всего совѣтъ касательно сельскаго суда и расправы. Такъ какъ, по мнѣнію автора, въ спорахъ, жалобахъ, неудовольствіяхъ и тяжбахъ всегда бываютъ неправы обѣ стороны, то онъ и рѣшаетъ, что дѣло судьи—наказать обѣ...

«Эта мысль (говоритъ онъ), какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и не умный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. *Мы* только, *люди высшіе*, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, т. е. оба виноваты. И видишь, что *весьма здраво* поступила комендантша въ повѣсти Пушкина *Капитанская Дочка*, которая, пославши поручика разсудить городского солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такой инструкціей: «Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи.»

Въ другомъ письмѣ авторъ совѣтуетъ помѣщику прежде всего, не шутя, искренно показать своимъ крестьянамъ, что ему, помѣщику, деньги—нуль.

«Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старостѣ, приказчику, попу или даже самому тебѣ. Чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозяина, *летѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ*, и все бы давало дорогу, а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе или не послушается умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ, ты, *невымытое рыло!* Самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ, что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! *Поклонись же ему въ ноги* и попроси, чтобъ навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ—собакой пропадешь».

Хорошъ и этотъ совѣтъ: «Мужика не бей: съѣздить его въ рожу еще не большое искусство: это съумѣетъ сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ, и только что почешетъ слегла у себя въ затылкѣ». Затѣмъ авторъ учитъ помѣщика ругаться съ мужиками... Что это такое? гдѣ мы? ужъ не перенеслись ли мы въ давно-прошедшія времена?..

Но это еще не все. Вотъ слушайте: «Замѣчанія твои о школахъ совершенно спра-

ведливы. Учить мужика грамотѣ за тѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издаютъ для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не полѣзетъ въ голову — и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ». Либо пойдетъ въ кабакъ, что̀ онъ и дѣлаетъ нерѣдко... Но не понимаемъ, съ чего взялъ авторъ, будто народъ бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги? Бумагъ юридическихъ не любитъ не одинъ нашъ народъ, особенно если грамотѣ не знаетъ; но грамоты нашъ народъ не боится, напротивъ, любитъ ее и бѣжитъ къ ней, а не отъ нея. Пусть попроситъ авторъ своихъ друзей, чтобы они переслали ему отчетъ за 1846 годъ Министра Государственныхъ Имуществъ, напечатанный во всѣхъ оффиціальныхъ русскихъ газетахъ: изъ него увидитъ онъ, какъ быстро распространяется въ Россіи грамотность между простымъ народомъ... А еслибы захотѣлъ онъ пожить въ той Россіи, которую такъ расхваливаетъ, живя въ разныхъ нѣмецкихъ земляхъ, и попригляд'ѣться къ нашему простому народу, о которомъ онъ судитъ такъ рѣшительно, не зная его, — онъ убѣдился бы, что эти быстрые успѣхи въ дѣлѣ распространенія грамотности въ простомъ народѣ основаны именно на глубокой потребности, какую чувствуетъ народъ въ грамотности, и на сильномъ стремленіи, какое онъ оказываетъ къ ученію... Авторъ увидѣлъ бы, какъ часто бородатые русскіе мужики ничего не жалѣютъ для обученія дѣтей своихъ грамотѣ и достигаютъ иногда этой цѣли при всевозможной бѣдности въ средствахъ.. Да, эта любовь къ свѣту, выразившаяся въ пословицѣ: ученье—свѣтъ, неученье — тьма, составляетъ одно изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ свойствъ русскаго народа, — и это-то свойство до сихъ поръ не признано въ немъ его близорукими восхвалителями и льстецами, которые, взамѣнъ того, навыдумывали для него множество похвальныхъ качествъ, или не бывалыхъ въ немъ, или составляющихъ еще его темную сторону.

Замѣчательна слѣдующая черта: въ началѣ письма авторъ совѣтуетъ помѣщику показывать крестьянамъ, искренно, безъ штукъ, что деньги ему ни почемъ, т. е. вовсе не нужны; а въ концѣ письма говоритъ: «Разбогатѣешь ты, какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врозь съ выгодами мужиковъ»...

Особеннымъ оттѣнкомъ отличаются письма автора къ Жуковскому. Вотъ нѣсколько образчиковъ писемъ этого рода:

«Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которой произнесенъ смертный приговоръ, т. е. о статьѣ подъ названіемъ: *О лирикѣ нашихъ поэтовъ*. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобой, о мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ *Современникъ* мои сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько *глупостей* успѣлъ бы я уже надѣлать, еслибы только послушался другихъ моихъ пріятелей... Итакъ, вотъ тебѣ моя благодарственная пѣснь—а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда помыслю, *какъ до сихъ поръ еще я глупъ* и какъ *не умѣю заговорить ни о чемъ, что̀ поумнѣе. Всего нелѣпѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ*. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать или написать ничего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчье.»

Знаменитая статья: «Объ «Одиссеѣ», переводимой Жуковскимъ», вновь является въ этой книгѣ, въ видѣ письма къ Н. М. Я...ву. Вотъ основныя мысли этой удивительной статьи:

I. Для перевода «Одиссеи» необходимо приготовленіе цѣлой жизнью, необходимы въ жизни переводчика разныя внутреннія и внѣшнія событія, поселяющія въ душѣ миръ, гармонію и другія похвальныя качества. Жуковскій вполнѣ соотвѣтствуетъ этимъ «необходимымъ» требованіямъ.

II. Переводчикъ долженъ быть христіаниномъ по преимуществу, ибо язычника Гомера можно проникать и постигать только христіанскимъ чувствомъ. И съ этой стороны Жуковскій больше нежели удовлетворителенъ. (Нужно ли знать переводчику по гречески и знаетъ ли Жуковскій этотъ языкъ,—объ этомъ, какъ дѣлѣ мірскомъ и слѣдовательно ничтожномъ, авторъ умалчиваетъ).

III. Зато переводъ «Одиссеи» вышелъ несравненно лучше подлинника.

IV. Переводъ этотъ необходимъ для нашего времени, по причинѣ общаго охлажденія и недоразумѣнія.

V. «Одиссея» произведетъ у насъ вліяніе, какъ вообще на всѣхъ, такъ и отдѣльно на каждаго.

VI. Ее будутъ у насъ читать: дворяне, мѣщане, купцы, грамотѣи и не грамотѣи, рядовые солдаты, лакеи, дѣти обоего пола.

VII. Греческій политеизмъ, сирѣчь многобожіе, не введетъ въ искушеніе нашихъ

мужичковъ: они почешутъ у себя въ затылкѣ и сейчасъ смекнутъ, въ чемъ дѣло и въ чемъ вздоръ.

VIII. «Одиссея» произведетъ благодѣтельное вліяніе на нашу литературу: писатели и критики наши перестанутъ нести дичь. Но главное —

IX. «Одиссея» исправитъ всю нашу цивилизацію, испорченную вліяніемъ Европы, и возвратитъ насъ къ незапамятнымъ былымъ временамъ, помолодитъ насъ десятками тремя вѣковъ... Вѣдь это-то и значитъ идти впередъ...

«Словомъ (говоритъ авторъ), на *страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства*— «Одиссея» подѣйствуетъ. Много напомнитъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себѣ человѣчество, какъ свое законное наслѣдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природѣ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. *Благоухающими* устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакой властью».

Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому авторъ говоритъ:

«Твоя «Одиссея» принесетъ много общаго добра: *это тебѣ предрекаю. Она возвратитъ къ свѣжести современнаго человѣка*, усталаго отъ безпорядка жизни мыслей; она обновитъ въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ вздое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ».

Подобный великій благодѣтельный переворотъ, произведенный литературнымъ трудомъ, тѣмъ необходимѣе, что, по словамъ автора, «все теперь расплылось и расшнуровалось; дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ; обратилъ самъ себя въ подлое подножіе всего (?) и въ раба самыхъ пустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь нигдѣ свободы въ ея истинномъ смыслѣ».

Все это прекрасно. Но вотъ два смиренные вопроса съ нашей стороны. Какъ будетъ простой народъ читать «Одиссею»? Положимъ, «Одиссея» не принадлежитъ къ числу книжонокъ, издаваемыхъ для народа европейскими человѣколюбцами; но какъ будетъ читать ее нашъ народъ, которому авторъ такъ положительно и строго запрещаетъ знать грамотѣ?.. Или учиться грамотѣ, чтобъ умѣть читать, нужно только «глупымъ» нѣмцамъ, а словенину стоитъ только почесать у себя въ затылкѣ, чтобы прочесть всякую книгу, не умѣя читать?... Потомъ, что, если, сверхъ чаянія, мистическія предреченія Гоголя о вліяніи «Одиссеи» на судьбу русскаго народа вовсе не сбудутся, и переводъ этотъ, подобно переводу Гнѣдича «Иліады», будетъ существовать только слишкомъ для немногихъ?... Вѣдь тогда кто жъ не скажетъ:

Надѣлала синица славы,
А море не зажгла!...

Но самую любопытнѣйшую часть этой книги составляютъ четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ Душъ». Эти четыре письма обрадовали, привели въ восторгъ, сдѣлали истинно счастливыми нѣкоторыхъ литераторовъ, особенно занятыхъ литературной славой Гоголя. Это не тайна, ибо они поспѣшили печатно выразить свое торжество, забывъ мудрую русскую пословицу: поспѣшить—людей насмѣшить, и не менѣе мудрую французскую пословицу: bien ira qui ira le dernier... Изъ слѣдующихъ выписокъ легко будетъ всякому увидѣть, что именно въ этихъ фразахъ такъ восхитило враговъ таланта Гоголя.

«Вы напрасно негодуете на неумѣренный тонъ нѣкоторыхъ нападеній на «Мертвыя Души». Это имѣетъ свою хорошую сторону. Иногда нужно имѣть противъ себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что поневолѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы я не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было являться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мной были мнѣ нужны, несмотря на то, что съ перваго разу пришлись очень не по-сердцу. О! какъ намъ нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, проникающія насквозь насмѣшки! На днѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, скверная честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

«Я бы желалъ однакожъ побольше критикъ, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А между тѣмъ «Мертвыя Души» произвели много шума, много ропота; задѣли за живое многихъ и насмѣшкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами—хоть исполненъ промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ, мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, авось кто-нибудь выбранитъ меня хорошенько и въ бранн выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мной изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякихъ словъ, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мной описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается дѣло, нежели пустыми

словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и купецъ, и помѣщикъ, словомъ,—всякій грамотѣй, сидитъ ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскаетъ вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человѣкъ съ того мѣста или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе или образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой кромѣ его никто другой не можетъ видѣть. По поводу «Мертвыхъ Душъ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнѣйшая «Мертвыхъ Душъ», которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что—нечего таить грѣха—всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

«И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то «мертвыя души». И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непремѣнно силой Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея,—безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ эти литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели сами отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнилъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла; но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе. И говорю это не даромъ. Видитъ Богъ, говорю не даромъ!

«Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ поэмѣ будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими передъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкѣ сочиненія, что ввели въ заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни заикнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-какъ, бѣлыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слѣдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ,—можно было много сдѣлать нападеній несравненно дѣльнѣйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранятъ, и выбранить за дѣло.

. . . . . .

«Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе. Положима ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ?

«Одинъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, съумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно. Именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности «Мертвыхъ Душъ», будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему близки душѣ, точно какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія—исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно впослѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

«Это свойство выступило съ большой силой въ «Мертвыхъ Душахъ». «Мертвыя Души» не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь раны общества или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои, одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, еслибы я выставилъ картинныхъ изверговъ, но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! Испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. И такъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство, но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, еслибы съ нимъ не соединились мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

. . . . . .

«Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній; вы ошибетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали было отъ меня требовать, чтобы я отвѣчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести

эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое—*душа* и *прочное дѣло жизни*. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ незачѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, вѣрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему.»

Вотъ почти все главное, изъ котораго мы однакоже вкратцѣ извлечемъ самое существенное:

I. Гоголь самъ сознается, что онъ недоволенъ всѣмъ, что было имъ написано до сихъ поръ, а потому сжегъ рукопись второй части «Мертвыхъ Душъ» и другихъ своихъ сочиненій. Ergo: враги таланта Гоголя правы въ томъ, что столько лѣтъ выставляли его писателемъ безъ дарованія, безъ вкуса, мастеромъ на однѣ сальныя и грязныя картины въ родѣ Поль де-Кока.

II. Гоголь самъ соглашается, что особенность его таланта состоитъ въ умѣньи «очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ». Ergo: это явно талантъ мелкій и ничтожный...

III. Гоголь объявляетъ торжественно, что согласенъ съ тѣми, которые бранили его сочиненія, и не согласенъ съ тѣми, которые хвалили ихъ. Ergo: хвалители Гоголя суть литературная партія, уцѣпившаяся за него для униженія истинныхъ, но ненавистныхъ ей талантовъ.

IV. Гоголь самъ говоритъ, что «рожденъ онъ вовсе не за тѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной, а за тѣмъ, чтобы спасти свою душу». Ergo: лгали тѣ, которые провозгласили его главой новой литературной школы.

V. Гоголь признается самъ, что «въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго ему совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать», и что «еслибы онъ не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, то увидѣлъ бы потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было являться въ свѣтъ» и пр. Ergo: кромѣ «Вечеровъ на Хуторѣ» все, написанное Гоголемъ, есть чистый вздоръ и не заслуживаетъ никакого вниманія...

Подобные выводы могутъ показаться правильными и дѣльными только тѣмъ, которымъ они полезны. Сильно ошибаются тѣ, которые думаютъ, что публику нашего времени во всемъ можно увѣрить журнальной статьей, что она вѣритъ только печатному, а сама ничего не видитъ, ничего не понимаетъ. Такимъ образомъ хотятъ увѣрить, что слава Гоголя основана на крикливыхъ возгласахъ какой-то литературной партіи, которой нужно было поднять его изъ своихъ собственныхъ разсчетовъ. А добрая русская публика и повѣрила этой партіи, и начала раскупать сочиненія Гоголя и наполнять театры, когда въ нихъ давался «Ревизоръ»... Мало этого, помянутая литературная партія успѣла убѣдить въ геніальности Гоголя даже французскую, а за ней и всю европейскую публику... И все это обманъ, пуфъ, подлогъ,—потому что самъ Гоголь отрицается отъ своихъ сочиненій и своей славы... Только-то?... А намъ какое до этого дѣло?—Когда нѣкоторые хвалили сочиненія Гоголя, они не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, а судили о нихъ сообразно съ тѣми впечатлѣніями, которыя они производили... Такъ точно и теперь мы не пойдемъ къ нему спрашивать его, какъ теперь прикажетъ онъ намъ думать о его прежнихъ сочиненіяхъ и о его «Выбранныхъ мѣстахъ изъ Переписки съ Друзьями»... Какая намъ нужда, что онъ не признаетъ достоинства своихъ сочиненій, если ихъ признало общество? Это факты, которыхъ дѣйствительности не въ состояніи же опровергнуть онъ самъ... Нѣтъ, господа противники таланта Гоголя, раненько вы вздумали торжествовать побѣду, которой не одержали и которой не одержать вамъ! Именно теперь то еще болѣе, чѣмъ прежде, будутъ расходиться и читаться прежнія сочиненія Гоголя, теперь то еще выше, чѣмъ прежде, будетъ цѣниться онъ, потому что теперь онъ самъ существуетъ для публики больше въ прошедшемъ...

Но оставимъ и хулителей въ сторонѣ, обратимся опять къ нашему автору. Конечно въ его смиренномудромъ признаніи собственныхъ ошибокъ и правды въ нападкахъ враговъ много высокаго, дѣлающаго ему особенную честь; но, смотря на дѣло проще, т. е. не со стороны самолюбія, а со стороны самаго дѣла, можно замѣтить, что авторъ гораздо бы лучше поступилъ, еслибы, вмѣсто всякихъ признаній, воспользовался дѣльными замѣчаніями и второе изданіе «Мертвыхъ Душъ» выпустилъ бы въ опрятномъ видѣ... То же отчасти можно сказать и о «Выбранныхъ», но отнюдь не избранныхъ мѣстахъ изъ «Переписки съ Друзьями»: они могли явиться въ печати и грамотнѣе, и приличнѣе, и опрятнѣе вообще, такъ сказать... Но, видно, на словахъ блистать смиреніемъ легче, нежели трудиться на дѣлѣ...

Не можемъ не выставить на видъ еще одной черты. Вотъ что говоритъ авторъ

въ одномъ мѣстѣ своей книги: «Вотъ уже почти полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла,—и до сихъ поръ остаются также пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, также безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родной нашей крышей, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какой то холодной, занесенной вьюгой почтовой станціей, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «нѣтъ лошадей». Въ этомъ винитъ авторъ насъ же, и, разумѣется, винитъ основательно. Но вотъ что онъ же говоритъ въ другомъ мѣстѣ своей книги: «И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умнѣе бываютъ у насъ и не великіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи дѣлъ—и всѣ какъ пыль сметаются они съ земли вмѣстѣ съ нами». Потомъ читаемъ мы вотъ что: «Еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ,—то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа». Какъ вамъ кажутся, читатель, эти три выписки изъ различныхъ мѣстъ одной и той же книги?...

Вотъ еще оригинальный образчикъ логики автора: онъ говоритъ, что никто не можетъ признать русскихъ людей ни въ Простаковой, ни въ Тарасѣ Скотининѣ, ни въ Простаковѣ, ни въ Митрофанѣ Фонвизина,— и въ то же время всякій чувствуетъ, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи, не могли образоваться такія существа Вотъ тутъ и понимай, какъ знаешь!...

Теперь вопросъ: зачѣмъ написана вся эта книга?

Это такъ же трудно рѣшить, какъ и то, зачѣмъ написаны авторомъ эти строки: «О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!»

Какое слѣдствіе можно извлечь изъ этой книги?

Разумѣется, въ этомъ случаѣ всякій поступитъ по своему, и слѣдствій будетъ выведено почти столько же, сколько людей возьмется за это дѣло. Что̀ касается до насъ, мы вывели изъ этой книги такое слѣдствіе, что горе человѣку, котораго сама природа создала художникомъ, горе ему, если, недовольный своей дорогой, онъ ринется въ чуждый ему путь! На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое паденіе, послѣ котораго не всегда бываетъ возможно возвращеніе на прежнюю дорогу... При этомъ мы почему-то вспомнили эти стихи Крылова:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ!
И дѣло не пойдетъ на ладъ,
Да и примѣчено стократъ,
Что кто за ремесло чужое браться любитъ,
Тотъ за всегда другихъ упрямѣй и вздорнѣй:
Онъ лучше дѣло все погубитъ,
И радъ скорѣй
Посмѣшищемъ стать свѣта,
Чѣмъ у честныхъ и знающихъ людей
Спросить иль выслушать разумнаго совѣта.

Приходили намъ въ голову и другіе выводы изъ книги «Выбранныхъ мѣстъ изъ Переписки съ Друзьями»; но... статья наша и такъ вышла черезчуръ длинна.

ОТВѢТЪ „МОСКВИТЯНИНУ“.

Появленіе «Современника» въ преобразованномъ видѣ, подъ новой редакціей, возбудило, какъ и слѣдовало ожидать, много толковъ и шуму въ разныхъ литературныхъ кругахъ и кружкахъ, великолѣпно величающихъ себя «партіями». Особенное вниманіе обращено было ими на многія статьи по отдѣлу словесности, какъ напримѣръ: «Кто виноватъ?», «Обыкновенная Исторія», «Записки Охотника». Но до сихъ поръ эти сужденія о «Современникѣ» ограничивались короткими и отрывочными отзывами, иногда похвальными, чаще порицательными, мелкими нападками въ разсыпную. А вотъ теперь, во второй части «Москвитянина», вышедшей въ сентябрѣ нынѣшняго года, является большая статья, подъ названіемъ: «О мнѣніяхъ «Современника» историческихъ и литературныхъ».

Если бы тутъ дѣло шло только о «Современникѣ», мы не видѣли бы никакой необходимости отвѣчать на эту статью. Однимъ журналъ нашъ можетъ нравиться, другимъ не нравиться,—это дѣло личнаго вкуса, въ которое намъ всего менѣе слѣдуетъ вмѣшиваться. Но статья «Москвитянина» о «Современникѣ» касается основныхъ началъ (принциповъ) не одного «Современника», но всей русской литературы настоящаго времени. Такимъ образомъ споръ или полемика теряетъ тутъ свое личное значеніе и переходитъ въ борьбу за идеи. Въ такомъ случаѣ молчаніе съ нашей стороны не безъ основанія могло бы быть принято всѣми за тайное и невольное согласіе съ нашими противниками. Вотъ почему мы считаемъ себя обязанными возразить на статью «Москвитянина».

Въ ней разсмотрѣны три статьи, помѣщенныя въ первой книжкѣ «Современника» за нынѣшній годъ: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» Кавелина, «О современномъ направленіи русской литературы» Никитенко и «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» Бѣлинскаго. Статью Кавелина критикъ «Москвитянина» силится уничтожить, выказывая ея, будто бы, противорѣчія и опровергая ея основныя положенія своими собственными; но самого Кавелина онъ оставляетъ безъ всякой оцѣнки или критики. Приступая же къ разбору статей Никитенко и Бѣлинскаго, онъ счелъ за нужное представить въ легкихъ, но рѣзкихъ очеркахъ литературную характеристику ихъ авторовъ. И достается же имъ отъ него! Впрочемъ, строго судя Никитенко, критикъ «Москвитянина» еще помнитъ русскую пословицу: гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость; но къ Бѣлинскому онъ безпощадно строгъ; онъ-вышелъ противъ него съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уничтожить его дотла, съ знаменемъ, на которомъ огненными буквами написано pas de grâce! Въ своемъ мѣстѣ мы остановимся на этомъ посполитомъ рушеніи чужой литературной извѣстности и обнаружимъ ея тайныя причины и побужденія; а теперь начнемъ разборъ статьи нашего грознаго аристарха съ самаго начала. Грозенъ онъ—нечего сказать; но страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, а мы не изъ робкаго десятка... Критика была бы конечно ужаснымъ оружіемъ для всякаго, еслибы къ счастію она сама не подлежала—критикѣ же...

Такъ какъ Кавелинъ, статья котораго отдѣльно и съ особенной подробностью разобрана критикомъ «Москвитянина», рѣшился самъ отвѣчать ему, то отвѣтъ «Современника» «Москвитянину» будетъ состоять изъ двухъ статей. Что же касается до Никитенко, онъ и на этотъ разъ остается вѣрнымъ своему «независимому положенію въ нашей литературѣ», какъ выразился о немъ критикъ «Москвитянина», и предоставляетъ намъ отвѣтить за него въ той мѣрѣ, въ какой нужно это для защиты «Современника».

Въ началѣ статьи «Москвитянина», въ видѣ интродукціи, говорится довольно темно, какими-то намеками, о какомъ-то «литературномъ спорѣ между Москвой и Петербургомъ и о необходимости этого спора»;—отомъ,что«петербургскіе журналы встрѣтили московское направленіе съ насмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ, придумали для послѣдователей его (т. е. московскаго направленія) названіе старовѣровъ и славянофиловъ, показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурмолками», и что, «принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно перемѣнить его и сознаться въ легкомысліи». Въ доказательство указывается на «Отечественныя Записки», которыя въ особенности погрѣшили тѣмъ, что «такъ-называемымъ славянофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали». Въ свидѣтели всего этого призываются «московскіе ученые, не раздѣляющіе образа мыслей московскаго направленія». Потомъ отдается должная справедливость «Отечественнымъ Запискамъ» въ томъ, что «къ концу прошлаго года и въ нынѣшнемъ онѣ значительно перемѣнили тонъ и стали добросовѣстнѣе всматриваться въ тотъ образъ мыслей, котораго прежде не удостоивали серьезнаго взгляда». Вслѣдъ затѣмъ читаемъ слѣдующія строки, которыя выписываемъ вполнѣ:

«Въ это самое время отъ нихъ («Отечественныхъ Записокъ») отошли нѣкоторые изъ постоянныхъ ихъ сотрудниковъ и основали новый журналъ. Отъ нихъ, разумѣется, нельзя было ожидать направленія по существу своему новаго; но можно и должно было ожидать лучшаго, достойнѣйшаго выраженія того же направленія; всего отраднѣе было то, что редакцію принялъ на себя человѣкъ, умѣвшій сохранить независимое положеніе въ нашей литературѣ и не написавшій ни одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; наконецъ въ новомъ журналѣ должны были участвовать лица, издавна живущія въ Москвѣ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной партіи и съ ея послѣдователями, проведшія съ ними нѣсколько лѣтъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и узнавшія ихъ безъ посредства журнальныхъ статеекъ и сплетень, развозимыхъ заѣзжими посѣтителями.»

Но—увы!—ожиданія «Москвитянина» или его критика, М.... З.... К...., не сбылись!

«Скажемъ откровенно (говоритъ онъ): первый нумеръ «Современника» не оправдалъ нашего

ожиданія. Можетъ быть мы и ошибаемся; но, по нашему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: вопервыхъ, въ отсутствіи единства направленія и согласія съ самимъ собой; вовторыхъ, въ односторонности и тѣснотѣ своего образа мыслей; вътретьихъ, въ искаженіи образа мыслей противниковъ.»

Остановимся на этомъ. Увертюра разыграна мастерски и вполнѣ подготовила къ впечатлѣнію самой оперы; остается только слушать, восхищаться и апплодировать. Явно, что изъ трехъ важныхъ обвиненій, взводимыхъ критикомъ «Москвитянина» на «Современникъ», въ его глазахъ истинно важно только то, которое онъ не безъ умысла поставилъ послѣднимъ, какъ менѣе другихъ важное. Съ первыхъ же строкъ статьи видно, что тутъ дѣло собственно не о «Современникѣ»;

Но умыселъ другой тутъ былъ:
Хозяинъ музыку любилъ.

Что̀ такое «московское направленіе», загадочной рѣчью о которомъ начинается статья? Разумѣется, такъ называемое славянофильство. Очевидно, что авторъ статьи — славянофилъ. Но онъ не хочетъ этого названія; онъ говоритъ, что его партію окрестили имъ петербургскіе журналы. Изъ этого видно, что онъ самъ чувствуетъ все смѣшное, заключающееся въ этомъ словѣ, но онъ не чувствуетъ, что слово можетъ быть смѣшно не само собою, а заключеннымъ въ немъ понятіемъ, и что перемѣнить названіе вещи не значитъ измѣнить самую вещь. Петербургскіе журналы не сговаривались давать названіе славянофиловъ литераторамъ извѣстнаго образа мыслей; вѣроятно они или подслушали его у самихъ этихъ литераторовъ, или извлекли изъ сущности ихъ ученія, альфа и омега котораго суть славяне, враждебно и торжественно противополагаемые гніющему Западу. На свѣтѣ много охотниковъ называть своихъ противниковъ смѣшными или не смѣшными именами. Это же и не мудрено; но мудрено дать кому-либо такое названіе, которое бы принято было всѣми. Такія удачныя названія рѣдко выдумываются кѣмъ-нибудь, но принадлежатъ всѣмъ и никому въ особенности. Таково и названіе славянофиловъ. Но пусть славянофилы не будутъ больше славянофилами; намъ это все равно: мы не видимъ важнаго вопроса не только въ названіи славянофиловъ, но даже и въ сущности ихъ ученія. И такъ, пусть они изъ славянофиловъ переименуются во что̀ имъ угодно, но только не въ «московское направленіе»: этого не можетъ допустить здравый смыслъ. Вопервыхъ, выраженіе «московское направленіе» неловко и неудобно для обозначенія литературной партіи: какъ называть людей «направленіемъ»? А вовторыхъ—и это главное—почему славянофильство именно московское направленіе? Мы понимаемъ, что господамъ славянофиламъ, живущимъ въ Москвѣ, очень лестно прикрыться именемъ такого важнаго въ Россіи города, какъ Москва, и завербовать въ свои ряды всѣхъ москвичей поголовно; но лестно ли это будетъ для Москвы и москвичей—вотъ вопросъ! И что̀ на это скажутъ съ одной стороны тѣ московскіе ученые, которые, по словамъ самого критика «Москвитянина», не раздѣляютъ образа мыслей «московскаго направленія», но хорошо съ нимъ знакомы; а съ другой стороны лица, которыя раздѣляютъ этотъ образъ мыслей, но живутъ и пишутъ въ Петербургѣ?... Намъ кажется, что славянофильству чуть ли не болѣе слѣдуетъ названіе петербургскаго направленія, чѣмъ московскаго. По крайней мѣрѣ, сколько мы знаемъ славянофильство, оно совсѣмъ не такъ ново на Руси, какъ можетъ быть думаютъ сами послѣдователи этого ученія. Кому не извѣстно, что успѣхи Карамзина въ преобразованіи русскаго литературнаго языка вызвали въ началѣ нынѣшняго столѣтія партію, которая, вооружаясь противъ его нововведеній, думала отстаивать отъ иноземнаго вліянія родной языкъ и добрые праотческіе нравы! Какъ вы думаете, не сродни ли эта партія нынѣшнимъ славянофиламъ? Вотъ нѣсколько стиховъ на выдержку изъ посланія Василія Пушкина къ Жуковскому,—пьесы, по которой можно до извѣстной степени судить о живости и характерѣ борьбы двухъ партій нашей литературы того времени:

Въ чемъ увѣряютъ насъ Паскаль и Боссюэтъ,
Въ Синопсисѣ того, въ Степенной Книгѣ нѣтъ.
Отечество люблю, языкъ я русскій знаю;
Но Тредьяковскаго съ Расиномъ не равняю,—
И Пиндаръ нашихъ странъ тѣмъ слогомъ не писалъ,
Какимъ Баянъ въ свой вѣкъ героевъ воспѣвалъ.
Я правъ, и ты со мной конечно въ томъ согласенъ;
Но правду говорить безумцамъ—трудъ напрасенъ.
Я вижу весь соборъ безграмотныхъ *славянъ*,
Которыми здѣсь вкусъ къ изящному попранъ,
Противъ меня теперь рыкающій ужасно.
Къ дружинѣ вопіетъ нашъ Балдусъ велегласно:
«О братіи мои, зову на помощь васъ!
Ударимъ на него—и первый буду азъ.
Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
Во тьму кромѣшную, въ гіенну погрузится;
И аще смѣетъ кто Карамзина хвалить,
Нашъ долгъ, о людіе, злодѣя истребить.»
. . . . . .
И такъ, любезный другъ, я смѣло въ бой вступаю;
Въ словесности расколъ, какъ должно, осуждаю.
Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной,
И намъ отъ книгъ его нѣтъ пользы никакой,

Въ страницѣ каждой онъ слогъ древній выхватываетъ
И русскимъ всѣмъ словамъ прямой источникъ знаетъ;
Что нужды? Толстый томъ, гдѣ зависть лишь видна,
Не есть лагарповъ курсъ, а пагуба одна.
Въ славянскомъ языкѣ и самъ я пользу вижу,
Но вкусъ и варварскій гоню и ненавижу.
Въ душѣ своей ношу къ изящному любовь;
Творенье безъ идей мою волнуетъ кровь.
Словъ много затвердить не есть еще ученье:
Намъ нужны не слова, намъ нужно просвѣщенье.

Видите ли: и здѣсь уже люди, объявившіе себя противъ европейскаго образованія, названы славянами; а далеко ли отъ славянъ до славянофиловъ? Правда, съ обѣихъ сторонъ здѣсь споръ чисто литературный, потому что другого тогда и не могло быть; и разумѣется, славянофильская партія нашего времени двинулась дальше своей прародительницы. А гдѣ было гнѣздо этой старой славянской партіи?—въ Петербургѣ. Посланіе, изъ котораго мы выписали нѣсколько стиховъ, написано было въ Москвѣ—центрѣ литературной реформы того времени. Въ послѣднее время славянофильство, какъ новое направленіе, рѣзко и рѣшительно провозгласило себя въ московскомъ журналѣ «Москвитянинѣ»; но и тутъ оно упреждено было въ Петербургѣ: изданіе «Маяка» началось годомъ ранѣе «Москвитянина». Многіе славянофилы не любятъ вспоминать о «Маякѣ», какъ будто чуждаются его, никогда не высказываютъ своего мнѣнія ни за, ни противъ него; подумаешь, что они и не знаютъ ничего о существованіи подобнаго журнала. А это оттого, что «Маякъ» былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣдовательнымъ органомъ славянофильства. Вѣрный своему принципу, исходному пункту своего ученія, онъ никогда не противорѣчилъ ему и логически дошелъ до крайнихъ, до послѣднихъ своихъ результатовъ. Онъ не признавалъ ни тѣни истины во всемъ, что хоть сколько-нибудь противорѣчило его основному убѣжденію; и если знаменитѣйшихъ представителей русской литературы, отъ Ломоносова и Державина до Пушкина, онъ объявилъ зараженными западной ересью, вредными и опасными для нравственной чистоты русскаго общества,—онъ сдѣлалъ это не по чему другому, какъ по строгой послѣдовательности, строгой вѣрности началу своего ученія. Въ немъ все было едино и цѣло, все сообразно съ его направленіемъ и цѣлью: и языкъ, и манера выражаться, и литературное, и художественное достоинство его стиховъ и прозы. Онъ больше славянофилъ, чѣмъ «Москвитянинъ», и потому имѣлъ полное право смотрѣть на него, какъ на противорѣчивый, непослѣдовательный органъ того ученія, которое во всей чистотѣ своей явилось только въ немъ, пресловутомъ «Маякѣ». Но этимъ самымъ, разумѣется, онъ оказалъ очень дурную услугу славянофильству, потому что выставилъ его на позорище свѣта въ его истинномъ, настоящемъ видѣ; а извѣстно, что есть предметы, которые стоитъ только выказать въ ихъ дѣйствительномъ значеніи и образѣ, чтобы уронить ихъ, хотя это дѣлается иногда и съ цѣлью, напротивъ, поднять и повысить ихъ въ глазахъ общества...

Какъ бы то ни было, но изъ всего сказаннаго нами неоспоримо слѣдуетъ, что называть славянофильство «московскимъ направленіемъ» отнюдь не слѣдуетъ, потому что Петербургу славянофильство принадлежитъ не только не меньше, но чуть ли еще не больше, чѣмъ Москвѣ. Отстранивши отъ Москвы такъ невпопадъ навязываемое ей московскими славянофилами исключительное право на славянофильство, мы дѣйствуемъ въ ея пользу, а не противъ ея. Но точно также мы не согласились бы назвать славянофильство и «петербургскимъ направленіемъ». Только тогда можно означить какое-нибудь направленіе именемъ города, когда оно дѣйствительно есть главное, исключительное направленіе этого города, а всѣ другія, существующія въ немъ направленія, являются на второмъ и третьемъ планѣ, слабы, незначительны, ничтожны. Но по поводу славянофильства этого нельзя сказать ни о Петербургѣ, ни о Москвѣ. Въ томъ и другомъ городѣ жили и дѣйствовали знаменитѣйшіе представители нашей литературы, имѣвшіе рѣшительное и важное вліяніе и на литературу, и на образованіе общества, и они-то между тѣмъ нисколько не принадлежатъ къ славянофиламъ. Мы знаемъ, что гг. московскіе славянофилы могутъ указать намъ съ торжествомъ по крайней мѣрѣ на два знаменитыя въ литературѣ имени, какъ такія, которыя, еслибы и не принадлежали имъ вполнѣ, то болѣе или менѣе симпатизируютъ съ ними—особенно на имя Гоголя, послѣ изданія его «Переписки съ Друзьями». Но это ровно ничего не доказывало бы въ ихъ пользу, потому что великое значеніе Гоголя въ русской литературѣ основывается вовсе не на этой «Перепискѣ», а на его прежнихъ твореніяхъ, положительно и рѣзко антиславянофильскихъ. И потому гг. московскіе славянофилы были бы вполнѣ вѣрны своей точкѣ зрѣнія, еслибы восхищались только «Перепиской», а на всѣ другія произведенія Гоголя смотрѣли бы косо. Но они и ихъ приняли подъ свое высокое покровительство, вѣроятно ради будущихъ, новыхъ его произведеній, которыхъ характеръ заранѣе опредѣляется въ ихъ глазахъ «Пе-

перепиской». «Маякъ» никогда не обнаружилъ бы такой непослѣдовательности: еслибъ онъ здравствовалъ доселѣ, вѣроятно онъ расхвалилъ бы «Переписку» и простилъ бы за нее Гоголю его прежнія произведенія, но только простилъ бы, не отрицая настоятельной необходимости для нихъ очистительнаго ауто-да-фе.

Что̀ касается до массы русскихъ литераторовъ, прежнихъ и теперешнихъ, старыхъ и молодыхъ, они избираютъ мѣстомъ своего жительства Петербургъ или Москву по разнымъ обстоятельствамъ ихъ жизни, не всегда зависящимъ отъ ихъ воли, и ужъ конечно всего менѣе по уваженію къ тому образу мыслей, который раздѣляютъ. И потому отвести для славянофиловъ городъ Москву, а для литераторовъ противоположнаго направленія—городъ Петербургъ можетъ войти въ голову только квартирмейстерамъ особаго, исключительнаго рода. Какъ въ Петербургѣ много славянофиловъ, такъ точно въ Москвѣ много не-славянофиловъ, и наоборотъ. Критикъ «Москвитянина» указываетъ на Петербургъ, какъ на мѣстопребываніе противоположной «московскому направленію» партіи, и самъ же говоритъ, что въ Москвѣ есть ученые, не раздѣляющіе этого направленія, и отзывается о нихъ съ уваженіемъ. Странное дѣло: почему же направленіе славянофиловъ, живущихъ въ Москвѣ, «московское», а направленіе этихъ ученыхъ, тоже живущихъ въ Москвѣ, да еще издавна, по словамъ критика «Москвитянина», не-московское?... Въ этомъ видно притязаніе на первенство значенія, высокое уваженіе къ своему славянофильскому значенію, въ ущербъ всякому другому значенію. Мы такъ думаемъ, что право на первенство въ этомъ случаѣ можетъ дать только преимущество таланта, а не отношеніе къ той или другой партіи... Что̀ же ввело въ заблужденіе критика «Москвитянина» и заставило его выдумать «московское направленіе»? Неужели то обстоятельство, совершенно внѣшнее и случайное, что въ Петербургѣ мало журналовъ, но все же есть ихъ нѣсколько, и нѣкоторые изъ нихъ направленія славянофильскаго, другіе—не имѣютъ ничего общаго съ славянофильствомъ; а въ Москвѣ всего-на-все одинъ журналъ, и онъ славянофильскій? И что поэтому московскіе ученые и литераторы, не принадлежащіе къ славянофильской партіи, помѣщаютъ свои труды въ петербургскихъ журналахъ? Нѣтъ, это не то! Тутъ скрываются болѣе важныя причины. Господамъ славянофиламъ нужно, необходимо, волей или неволей, навязать Москвѣ славянофильство. По ихъ мнѣнію, это ученіе одно истинно-русское, національное, а Москва—представительница и хранительница русской народности. Итакъ, очевидно—что-нибудь одно изъ двухъ: или славянофильство—направленіе ложное, или оно московское... Москва, вишь, виновата! И потому, говоря такъ много о выраженіи «московское направленіе», мы не привязались къ мелочи, а обратили особенное вниманіе на одинъ изъ важнѣйшихъ спорныхъ пунктовъ славянофильства... Читатели уже видятъ, какъ крѣпокъ и проченъ этотъ спорный пунктъ; но мы покажемъ это еще больше, обратившись къ другимъ такимъ же точкамъ опоры направленія, претендующаго на званіе «московскаго»...

Такимъ же точно образомъ, какъ не признаемъ мы этого названія, не признаемъ мы существованія спора между Москвой и Петербургомъ. Правда, бывали прежде и бываютъ теперь споры между московскими и петербургскими литераторами, но такъ же точно, какъ и споры московскихъ съ московскими же и петербурскихъ съ петербургскими же литераторами; но ни Москва съ Петербургомъ, ни Петербургъ съ Москвой никогда и не думали спорить. Да изъ чего же бы имъ и спорить? Было время, когда Москва спорила съ Тверью и Рязанью, но на то были свои историческія причины, которыхъ теперь не существуетъ, и время это давно прошло. Петербургъ и Москва—оба принадлежатъ Россіи и равно дороги, важны и необходимы какъ ей, такъ и другъ другу. Петербургъ можетъ похвалиться передъ Москвой такими хорошими сторонами, какихъ въ ней нѣтъ, и отсутствіемъ такихъ недостатковъ, которые въ ней есть; Москва въ свою очередь можетъ на достаточномъ основаніи сдѣлать то же самое въ отношеніи къ Петербургу. Но именно то, что, кромѣ общихъ имъ выгодныхъ сторонъ, каждый изъ нихъ имѣетъ еще свои собственныя,—это-то самое и дѣлаетъ ихъ и необходимыми, и полезными другъ другу и должно соединять ихъ, вмѣсто того чтобъ раздѣлять. Подобное отношеніе должно быть источникомъ не споровъ, а взаимнаго другъ на друга полезнаго вліянія. Петербургъ—резиденція правительства и въ административномъ смыслѣ центральный городъ Россіи, хотя и стоитъ на одной изъ ея оконечностей; Петербургъ—окно въ Европу, посредникъ между Европой и Россіей. Такой роли не могъ бы играть городъ съ иностраннымъ народонаселеніемъ, какъ напр. Ревель или Рига, хотя бы это былъ и столько же огромный, какъ Петербургъ, городъ. Москва—центральный городъ Россіи по географическому положенію. Вся сѣверовосточная, восточ-

ная и южная Россія и съ самимъ Петергомъ сносится черезъ Москву. Сверхъ того Москва—городъ по преимуществу промышленный, торговый и, по своему университету, старѣйшему изъ русскихъ университетовъ, городъ науки. При этомъ не должно упускать изъ виду, что Москва есть городъ древній, историческій, городъ преданія, представительница народнаго духа. Петербургъ, напротивъ, городъ новый, построенный на завоеванной землѣ, торговая колонія, разросшаяся въ столицу; его почва чужда преданій; онъ кипитъ народонаселеніемъ, преимущественно наноснымъ, приплывающимъ къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, бо́льшей частью чисто русскимъ, меньшей частью обрусѣлымъ иностраннымъ. Это послѣднее никогда не можетъ дать ему иностраннаго характера, уже по одному тому, что оно состоитъ изъ людей разныхъ націй и вѣроисповѣданій, и потому не представляетъ собою сплошной массы, которая бы могла контро-балансировать съ массой русскаго народонаселенія Петербурга. Находясь подъ вліяніемъ русскихъ законовъ и тѣмъ болѣе чувствуя нравственный перевѣсъ надъ собою массы русскаго народонаселенія, эти иностранцы скоро дѣлаются почти русскими, дѣти же ихъ—совершенно русскіе; а между тѣмъ въ торговлѣ, въ ремеслахъ, въ формахъ жизни они приносятъ съ собою новые, необходимые намъ элементы. Благодаря морю и пароходству, Петербургъ отдѣленъ отъ Европы только тремя сутками пути; а благодаря желѣзнымъ дорогамъ, безъ перерыва идущимъ теперь отъ Штетина до Гавра, онъ ближе всѣхъ другихъ русскихъ городовъ и къ Парижу, и къ Лондону. Черезъ Петербургъ передаются Россіи всѣ новѣйшія изобрѣтенія, сдѣланныя въ Европѣ, по части наукъ, искусствъ, мануфактуръ, ремеслъ. Такимъ образомъ безъ Петербурга Москва представляла бы только крайность народнаго начала, не оживляемаго и не умѣряемаго элементами европейской жизни; а Петербургъ безъ Москвы имѣлъ бы на провинцію болѣе административное, нежели живое нравственное и соціальное вліяніе, потому-что если Петербургъ есть посредникъ между Европой и Россіей, то Москва есть посредникъ между Петербургомъ и Россіей. Называя Петербургъ посредникомъ между Европой и Россіей, мы не думаемъ этимъ сказать, что, только живя въ немъ, можно слѣдить за успѣхами наукъ и искусствъ въ Европѣ. Напротивъ, это можно дѣлать, живя не только въ Москвѣ, но и въ Тамбовѣ, и въ Саратовѣ. Но подобное наблюденіе успѣховъ ума человѣческаго въ Европѣ внѣ Петербурга возможно только для отдѣльныхъ лицъ, а не для массъ. Можно напримѣръ, и живя въ Москвѣ, знать лучшій способъ кладки камня и кирпичей при строеніи зданій; но говорятъ, при постройкѣ кремлевскаго дворца и храма Спасителя въ Москву было привезено изъ Петербурга нѣсколько работниковъ для ученія московскихъ мастеровъ надлежащему способу класть кирпичъ при выводѣ стѣнъ. Безъ сомнѣнія, московскіе архитекторы знали, какъ кладется въ Европѣ камень и кирпичъ; а въ Петербургѣ мастеровые, не заботясь объ Европѣ, умѣли класть кирпичъ, какъ кладутъ его тамъ.

Этотъ простой и ничтожный повидимому фактъ показываетъ, какое вліяніе имѣетъ Петербургъ по своей близости къ Европѣ не на одни избранныя личности, но на самую жизнь Россіи. Его роль чисто практическая; его вліянія надо искать не въ однѣхъ книгахъ, но въ нравахъ, въ образѣ жизни. Его замѣчательнѣйшія учебныя заведенія — спеціальныя, преимущественно техническія.

Естественно, что между Петербургомъ и Москвой должны быть существенныя различія, которыя должны отразиться и въ литературѣ разностью точекъ воззрѣнія на одни и тѣ же предметы. Изъ этого могъ бы возникнуть даже споръ, о которомъ говоритъ критикъ «Москвитянина». Но этого спора доселѣ не было, хотя и бывали споры между петербургскими и московскими литераторами. Можетъ-быть это происходитъ отъ сильнаго и быстраго вліянія другъ на друга обоихъ городовъ. Напримѣръ было время, когда московскіе литераторы (разумѣется, нѣкоторые) упрекали петербургскихъ за то, что тѣ берутъ деньги за свои труды, а не пишутъ изъ одной любви къ литературѣ, и еще за то, что ихъ журналистика отличается не направленіемъ, не идеями, а только аккуратнымъ, современнымъ выходомъ книжекъ. Если хотите, въ этомъ фактѣ выразилось болѣе или менѣе различіе обоихъ городовъ; но на долго ли? Еще не успѣлъ прекратиться этотъ споръ на перьяхъ, какъ причины его уже и не существовало: въ Петербургѣ явились журналы и съ направленіемъ, и съ идеями, да вдобавокъ и съ аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ; а въ Москвѣ такъ же, какъ и въ Петербургѣ, стали брать деньги за литературные труды, и безденежныя литературныя предпріятія сдѣлались невозможны; но отъ этого въ Москвѣ не перевелись люди съ убѣжденіями и идеями. Въ сущности же весь этотъ споръ вышелъ больше изъ того, что однихъ литераторовъ припи-

сали къ Петербургу, другихъ—къ Москвѣ, и по нимъ судили о томъ и другомъ городѣ. Такъ напримѣръ, московскіе журналисты въ своей полемической войнѣ съ Петербургомъ имѣли въ виду преимущественно Греча, Булгарина и Воейкова и какъ будто забывали, что кромѣ ихъ въ Петербургѣ жили Крыловъ, Гнѣдичъ, Жуковскій, Пушкинъ, потомъ Гоголь.— писатели, которыхъ конечно нельзя было обвинять въ отсутствіи направленія. Пушкинъ съ самаго появленія на литературное поприще продавалъ книгопродавцамъ свои сочиненія за неслыханныя до него цѣны, а между тѣмъ онъ не былъ тогда журналистомъ; въ его поэзіи не выражалось ни петербургскаго, ни московскаго направленія: живя въ Петербургѣ, онъ, какъ поэтъ, по своему таланту, по духу, содержанію и формѣ своихъ произведеній, принадлежалъ не Петербургу, не Москвѣ только, а цѣлой Россіи. Въ послѣднее время возникла полемика по поводу славянофильства, но это отнюдь не было споромъ между Петербургомъ и Москвой. Ссылаемся на тѣ самыя «Отечественныя Записки», о которыхъ говоритъ въ началѣ статьи своей критикъ «Москвитянина»: онъ найдетъ тамъ возраженія и отповѣди не одному «Москвитянину» или «Московскому Сборнику», но и «Маяку». Сверхъ того статьи противъ «Москвитянина» и «Московскаго Сборника» писаны тамъ не одними петербургскими литераторами, но и московскими; такъ напримѣръ, въ нынѣшнемъ году напечатана тамъ была статья московскаго профессора, Грановскаго, въ опроверженіе статьи Хомякова, помѣщенной въ «Московскомъ Сборникѣ» на 1847 годъ; въ возникшемъ затѣмъ спорѣ возраженія Хомякова печатались въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», а возраженія Грановскаго—въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Гдѣ жъ тутъ споръ Петербурга съ Москвой? Тутъ столько же споръ Петербурга съ Петербургомъ и Москвы съ Москвой, сколько и Петербурга съ Москвой. Нѣтъ, какъ ни хлопочите, а никакъ не удастся вамъ обыкновенные литературные споры превратить въ какую-то борьбу двухъ городовъ, и еще менѣе успѣете вы смѣшать съ Москвой какой нибудь литературный кружокъ. Москва велика, и какъ ни надувайтесь, а все съ нее не будете ростомъ, только повредите вашему здоровью и будете смѣшны...

Бывали когда-то въ нѣкоторыхъ петербургскихъ журналахъ насмѣшки надъ Москвой, а въ московскихъ — что-то вродѣ не совсѣмъ пріязненныхъ выходокъ противъ Петербурга. Но подобный споръ могъ быть только плодомъ юношескаго, незрѣлаго состоянія нашей литературы и нашей общественной образованности. Теперь, слава Богу, по крайней мѣрѣ въ петербургскихъ журналахъ вовсе вышли изъ употребленія наѣзднические возгласы противъ Москвы и въ патетическомъ, и въ ироническомъ духѣ. Со стороны московскихъ литераторовъ (по крайней мѣрѣ можно смѣло поручиться за тѣхъ, которые не раздѣляютъ такъ называемаго «московскаго направленія») тоже не видно никакихъ предубѣжденій противъ Петербурга. Всѣ совершеннолѣтніе давно уже предоставили подобные споры о превосходствѣ одной столицы передъ другой дѣтямъ, юношамъ и энтузіастамъ. И хорошо сдѣлали, потому что въ такихъ спорахъ играли главную роль не Москва и Петербургъ, а маленькое самолюбіе спорщиковъ: каждый хотѣлъ возвысить украшенный его присутствіемъ городъ насчетъ другого. Тамъ же, гдѣ къ самолюбію примѣшивался фанатизмъ теорій, не видно было ни малѣйшаго знанія ни того города, который превозносился, ни того, который приносился ему въ жертву. Короче, это былъ споръ дѣтскій, ребяческій. Петербургскіе журналы дѣйствительно подтрунивали надъ мурмолками, а московскіе журналы точно не подтрунивали надъ ними; но это не потому, чтобъ мурмолки были смѣшны только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ же были-бы не смѣшны, а опять-таки потому только, что въ Москвѣ всего-навсе одинъ журналъ, да и тотъ родственный мурмолкамъ. А что надъ ними смѣялись петербургскіе журналы — въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго для петербургскихъ журналовъ...

Смѣяться, право, не грѣшно
Надъ тѣмъ, что̀ кажется смѣшно.

Смѣхъ часто бываетъ великимъ посредникомъ въ дѣлѣ отличенія истины отъ лжи. Иная мысль или иной поступокъ совершенно оправдываются логикой; вы не соглашаетесь съ ихъ истинностью, но и не находите ничего возразить на доказательства ихъ неоспоримой истинности. Но тутъ дѣло рѣшаетъ смѣхъ! Такъ напримѣръ, можно видѣть и понимать, что вотъ этотъ господинъ надѣлъ мурмолку по глубокому убѣжденію, которымъ онъ не шутитъ, которому онъ благородно приноситъ въ жертву всю жизнь свою, что онъ правъ съ своей точки зрѣнія и защищаетъ мурмолку съ жаромъ, краснорѣчиво, логически и умно; все это можно видѣть и понимать — и все-таки смѣяться... Можно любить человѣка, даже уважать его—и вмѣстѣ съ этимъ смѣяться надъ нимъ... Тебя зову въ свидѣтели, о

знаменитый витязь ламанчскій, вѣчно-памятный обожатель несравненной Дульцинеи тобозской! Ты былъ рыцарь безъ пятна и страха, краса и честь кавалеровъ, гроза и трепетъ злодѣевъ, надежда и отрада угнетенныхъ и страждущихъ; благородный и великодушный, ты часто являлся мудрецомъ въ рѣчахъ своихъ, дышавшихъ возвышенностью мыслей и чувствъ, ясностью взгляда, здравымъ смысломъ и краснорѣчіемъ; храбрый воинъ, ты былъ еще и справедливымъ, искуснымъ судьей! Вижу и признаю всѣ твои достоинства, удивляюсь имъ—и все-таки, читая дивную эпопею твоей жизни, отъ всего сердца смѣюсь надъ тобой, до той самой минуты, когда, готовый изъ этого міра, населеннаго трактирщиками, волшебниками, злодѣями, вассалами, рабами и рыцарями, перейти въ другой, лучшій міръ, гдѣ вовсе нѣтъ всей этой дряни, ты вдругъ какъ бы прозрѣлъ и плачущему оруженосцу своему и будущему губернатору завоеваннаго тобою острова, Санхо-Пансѣ, сказалъ, что ты не рыцарь, а помѣщикъ... тогда мой смѣхъ, то веселый, то грустный, смѣняется уже одной безпримѣсной и глубокой грустью...

Приступая къ разбору статьи Никитенко, критикъ «Москвитянина» говоритъ, что «здѣсь должно быть обозначено направленіе журнала, то, къ чему онъ клонитъ общественное мнѣніе, мѣрило всѣхъ его литературныхъ сужденій и оправданіе сочувствій». То же видитъ онъ въ статьѣ Бѣлинскаго, вслѣдствіе чего основательно требуетъ, чтобы объ эти статьи выражали одно воззрѣніе, были проникнуты однимъ направленіемъ, а между тѣмъ находитъ въ нихъ страшныя противорѣчія. И поэтому мы скажемъ нѣсколько словъ о его взглядѣ на статью Никитенко только въ отношеніи къ этимъ противорѣчіямъ.

Критикъ «Москвитянина» соглашается съ Никитенко, что наша общественная образованность вообще отличается отсутствіемъ мощныхъ, широко раскрывающихся личностей, зато она разстилается въ ширину и глубину, течетъ спокойнѣе, тише, какъ дома, и работаетъ безъ шуму, но работаетъ около самыхъ основаній. Но никакъ не хочетъ согласиться съ нимъ насчетъ той же мысли, только высказанной въ приложеніи къ современной русской литературѣ. Вотъ слова Никитенко:

«Взамѣнъ сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненныя начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности... Въ ней есть сознаніе своей самостоятельности и своего назначенія. Она уже сила, организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными нуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетѣвшій изъ чужой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка уединенной геніальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, *но есть вся литература.*»

На это критикъ «Москвитянина» возражаетъ, что Никитенко, «кажется, слишкомъ снисходителенъ къ изящной литературѣ». При этомъ кстати онъ вспомнилъ, что мысль эту читалъ когда-то въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но тамъ, по его мнѣнію, она была кстати, а у Никитенко некстати, потому-де, что Никитенко любитъ искусство ради самаго искусства и глубоко понимаетъ его требованія, а въ этомъ случаѣ удовлетворяется количествомъ и легкимъ сбытомъ произведеній взамѣнъ качества и внутренняго достоинства. Остановимся на этомъ. Бѣлинскій неоднократно высказывалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ту мысль, что за исключеніемъ Гоголя, пишущаго въ послѣднее время мало и рѣдко, въ русской литературѣ теперь нѣтъ великихъ талантовъ, но зато есть теперь у насъ литература. Никитенко, независимо отъ Бѣлинскаго, въ статьѣ своей, помѣщенной въ первой книжкѣ «Современника», по своему высказалъ, и можетъ-быть тоже не въ первый разъ, ту же мысль. Что можно заключить изъ этого факта, касательно единства направленія «Современника»? Ничего болѣе, кромѣ того, что редакторъ «Современника» сходится съ своими сотрудниками въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ направленія его журнала. Но благонамѣренному критику «Москвитянина» непремѣнно нужно было, во что бы ни стало, найти тутъ противорѣчія; но какъ, не смотря на всю свою готовность къ этому, онъ все-таки не могъ найти въ словахъ Никитенко противорѣчія со взглядомъ Бѣлинскаго, то счелъ за нужное найти у Никитенко противорѣчіе съ самимъ собой... И дѣйствительно, въ словахъ редактора «Современника» есть противорѣчіе, не только не съ самимъ собой, а съ критикомъ «Москвитянина»: Никитенко видитъ въ новой русской литературѣ нѣчто достойное вниманія и уваженія, а М.... З.... К.... видитъ въ ней безобразную массу бездарныхъ и недѣлыхъ произведеній. Что сказать на это? Ничего болѣе, какъ посовѣтовать Никитенко, когда онъ будетъ что-нибудь писать, посылать программу каждой своей статьи на утвержденіе рѣшительнаго и непогрѣшительнаго въ своихъ приговорахъ критика «Москвитянина», что онъ у него одобритъ, такъ тому и быть, что забракуетъ, то вонъ изъ

статьи. Это, кажется, единственный способъ для Никитенко избѣгать мыслей и воззрѣній неосновательныхъ и ложныхъ... въ глазахъ критика «Москвитянина». — Многіе могутъ найти не совсѣмъ согласной съ здравымъ смысломъ подобную опеку какого-то замаскировавшагося таинственными буквами неизвѣстнаго литературнаго наѣздника надъ извѣстнымъ профессоромъ и литераторомъ, обладающимъ, по сознанію самого его противника, самобытнымъ взглядомъ на предметы мысли. Намъ самимъ это кажется такъ, но М.... З.... К.... думаетъ объ этомъ иначе: все, что̀ не согласно съ его образомъ мыслей, онъ считаетъ рѣшительнымъ вздоромъ. Въ этомъ отношеніи онъ не менѣе всѣхъ восточныхъ людей вѣритъ въ «несомнѣнную книгу», только въ отличіе отъ нихъ видитъ эту «несомнѣнную книгу»—въ себѣ.

Было бы слишкомъ утомительно и скучно слѣдить за критикомъ «Москвитянина» шагъ за шагомъ. Онъ выписываетъ изъ разбираемыхъ имъ статей цѣлыя страницы; разбирая его такъ же подробно, мы должны были бы выписывать и эти выписки, и его собственныя страницы; и потому постараемся какъ можно короче изложить сущность дѣла. Въ статьѣ своей Никитенко нападаетъ мѣстами на недостатки такъ называемой натуральной школы, состоящіе въ преувеличеніи и однообразіи предметовъ. Это его мнѣніе, и онъ выражаетъ его безъ рѣзкости, безъ всякой враждебности къ натуральной школѣ; напротивъ, въ самыхъ его нападкахъ видно, что онъ уважаетъ и любитъ ее, и на этомъ-то основаніи желаетъ указать ей ея настоящую дорогу. Словомъ, онъ признаетъ и талантъ, и достоинство въ произведеніяхъ натуральной школы, но признаетъ ихъ не безусловно, хвалитъ основаніе, но порицаетъ крайности. Во всемъ этомъ критикъ «Москвитянина» увидѣлъ страшныя противорѣчія съ статьей Бѣлинскаго, лишающія «Современникъ» всякаго единства мысли и направленія. «Одно изъ двухъ (говоритъ онъ): или журналъ не долженъ имѣть своего образа мыслей, и тогда онъ не журналъ,—а неизвѣстно что̀ такое; или онъ долженъ имѣть его, и тогда не мѣшаетъ участвующимъ въ немъ согласиться предварительно между собой». Здѣсь мы прежде всего считаемъ долгомъ поблагодарить грознаго критика за его уваженіе къ нашему журналу, невольно высказавшееся у него самой чрезмѣрностью требованій отъ «Современника». Прибавимъ къ этому, что его идеалъ журнала очень вѣренъ; но къ несчастью его существованіе рѣшительно невозможно при настоящемъ состояніи литературы и общественнаго образованія. Въ Европѣ не только каждое извѣстное мнѣніе можетъ сейчасъ же найти свой органъ въ журналѣ, но и каждый изъ оттѣнковъ этого мнѣнія: для этого тамъ всегда найдется достаточное число людей, способныхъ работать по опредѣленному направленію. Но и тамъ едва ли найдется хотя одинъ хорошій журналъ или одно хорошее обозрѣніе, въ которомъ все до послѣдней строки было бы проникнуто однимъ направленіемъ. Это возможно вполнѣ только въ отношеніи къ политическимъ или критическимъ статьямъ, но не всегда возможно въ отношеніи даже къ ученымъ статьямъ, и рѣшительно невозможно въ отношеніи къ произведеніямъ изящной словесности. Ни одинъ журналъ не откажется отъ превосходной статьи, потому только, что она, по духу своему, не совсѣмъ ладитъ съ направленіемъ журнала. Въ такомъ случаѣ обыкновенно статья печатается съ оговоркой отъ редакціи, а иногда въ томъ же журналѣ помѣщается и возраженье на несогласныя съ направленіемъ журнала мѣста въ статьѣ. Что̀ же касается до произведеній изящной словесности, на нихъ тамъ вовсе не простираются условія, налагаемыя направленіемъ журнала на статьи теоретическія. Жоржъ Зандъ напримѣръ по своимъ убѣжденіямъ и симпатіямъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми, участвующими въ «Journal des Débats» или «Revue des deux Mondes»; а между тѣмъ, вздумай она помѣстить тамъ свою повѣсть—возьмутъ, да еще съ какой радостью, не обращая никакого вниманія на духъ и направленіе повѣсти. И это очень естественно: кто дѣйствительно понимаетъ законы искусства, тотъ знаетъ, что повѣстей писать по заказу нельзя, и что тутъ направленіе и духъ должны зависѣть только отъ личности автора. Хорошихъ же поэтовъ вездѣ немного, стало быть, тутъ выборъ можетъ касаться только достоинства романа или повѣсти, но не направленія ихъ.

Что касается до нашихъ журналовъ,—необходимость имѣть извѣстное направленіе, извѣстный образъ мыслей и никогда не противорѣчить ему начала обнаруживаться только въ послѣднее время. Журналовъ у насъ немного, но все-таки больше, нежели сколько есть у насъ людей способныхъ своими трудами поддерживать журналы. У насъ большое счастье для журнала, если онъ успѣетъ соединить труды нѣсколькихъ людей и съ талантомъ, и съ образомъ мыслей, если не совершенно тождественнымъ, то по крайней мѣрѣ не расходящимся въ главныхъ и общихъ положеніяхъ. Поэтому требовать отъ журнала, чтобы всѣ

его сотрудники были совершенно согласны даже въ оттѣнкахъ главнаго направленія, значитъ требовать невозможнаго. Тутъ не помогутъ мудрые совѣты вродѣ слѣдующаго: сперва соберитесь да согласитесь между собою. Искусственнымъ образомъ нельзя соглашать людей въ дѣлѣ убѣжденія, и ни одинъ порядочный человѣкъ ничего не уступитъ изъ своего мнѣнія ради причины, лежащей внѣ его мнѣнія. Лишь бы журналъ имѣлъ общій характеръ, такъ-что съ его представленіемъ въ умѣ всякаго соединялось бы извѣстное направленіе: этого для него пока совершенно достаточно, чтобъ быть ему хорошимъ журналомъ. Разность въ оттѣнкахъ мыслей еще ничего; плохо какъ «изъ одного города да не однѣ вѣсти». Вотъ напримѣръ какъ М... З... К... отзывается о первой теперь поэтической знаменитости не только во Франціи, но и во всей Европѣ: «Жоржъ Зандъ, котораго конечно не назовутъ писателемъ отсталымъ отъ вѣка, истощивъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ всѣ виды страсти, всѣ образы личности, протестующей противъ общества, въ «Консуэло», «Жаннѣ», въ «Compagnon du tour de France», изображаетъ красоту и спокойное могущество самопожертвованія и самообладанія; а въ «Чортовой Лужѣ» она плѣняется мирной простотой семейнаго быта». Оставляя въ сторонѣ приложеніе, которое критикъ «Москвитянина» хочетъ сдѣлать изъ своего сужденія о Жоржъ Зандѣ, мы замѣтимъ только, что въ этомъ сужденіи видно высокое уваженіе къ таланту знаменитаго французскаго писателя, въ чемъ мы совершенно съ нимъ согласны. Но вотъ что́ о томъ же писателѣ сказалъ Хомяковъ, принадлежащій къ тому же «московскому направленію», къ которому принадлежитъ и М... З... К... и печатающій свои статьи въ тѣхъ же изданіяхъ, т. е. въ «Москвитянинѣ» и «Московскомъ Сборникѣ»:

«Впрочемъ, по мѣрѣ того, какъ художество народное дѣлается менѣе возможнымъ, такъ оскудѣваетъ и художество вообще, и Франція по необходимости была страной анти-художественной, т. е. не только неспособной производить, но неспособной понимать прекрасное, въ какой бы то ни было области искусства. Такъ напримѣръ, въ наше время Франція и офранцузившаяся (?) публика встрѣчала съ слѣпымъ благоговѣніемъ произведенія Жоржъ Занда, *которыя совершенно ничтожны въ смыслѣ художественномъ* (какое бы они ни имѣли значеніе въ отношеніи движенія общественной мысли), и не нашла ни похвалъ, ни удивленія, когда та же Жоржъ Зандъ почерпнула изъ скуднаго, но уцѣлѣвшаго источника простого человѣческаго быта прелестный и *почти художественный* разсказъ «Чортовой Лужи, подъ которымъ Диккенсъ и едва ли не самъ Гоголь могли бы подписать свои имена.» («Московскій Сборникъ». 1847, стр. 350—351).

Вотъ это такъ противорѣчіе! Тутъ поневолѣ вспомнишь стихъ Крылова:

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?

Чѣмъ другимъ давать совѣтъ «предварительно согласиться между собою», не лучше ль было бы прежде самимъ испытать на дѣлѣ возможность осуществленія такого совѣта, чтобъ не подать повода говорить о себѣ:

Запѣли молодцы: кто въ лѣсъ, кто по дрова!

Обратимся къ противорѣчіямъ «Современника». Послѣ многихъ выписокъ изъ статьи Никитенко критикъ «Москвитянина» задаетъ намъ слѣдующіе вопросы: «Но если таковъ образъ мыслей редактора, почему помѣщена въ той же книжкѣ повѣсть подъ заглавіемъ: «Родственники»? Развѣ для того, чтобы читатели тутъ же могли повѣрить на дѣлѣ справедливость впечатлѣній Никитенко, какъ будто произведенныхъ именно этой повѣстью? Вообще, почему отдѣлъ словесности отданъ почти исключительно въ распоряженіе тому направленію, которое такъ справедливо осуждается самимъ редакторомъ въ отдѣлѣ наукъ?» На всѣ эти вопросы мы отвѣтимъ критику «Москвитянина» однимъ вопросомъ: а на какомъ основаніи вы увѣрены такъ положительно, что Никитенко раздѣляетъ вашъ образъ мыслей касательно какъ повѣсти «Родственники», такъ и всѣхъ другихъ повѣстей въ отдѣлѣ словесности нашего журнала? Кромѣ того, что Никитенко и не думалъ, подобно вамъ, уничтожать натуральной школы, а только хотѣлъ, показавши ея достоинства (на что вы ему и возразили на стр. 177), показать и ея недостатки, состоящіе, по его мнѣнію, въ преувеличеніи и однообразіи. Для примѣненія онъ могъ имѣть въ виду произведенія, дѣйствительно отличающіяся грубой естественностью или впадающія въ карикатуру, какихъ немало появляется въ нашей литературѣ. Какъ бы то ни было, но какъ онъ не указалъ ни на одно произведеніе, то вы не имѣли никакого основанія навязывать ему этихъ указаній, кромѣ вашего самолюбія, которое увѣряетъ васъ, что судить безошибочно значитъ судить по вашему. И неужели вы не шутя думаете, что стоитъ только назвать, безъ всякихъ доказательствъ, ту или другую повѣсть дурной, чтобы всѣхъ убѣдить, что она точно дурна? Но нѣтъ, этого вамъ мало: вы, кажется, убѣждены, что вамъ ничего не нужно, и говорите, что съ вами безусловно должны быть согласны всѣ, даже не зная, какъ вы думаете о томъ или другомъ предметѣ: хотя Никитенко до появленія вашей статьи и не могъ знать вашего мнѣнія о повѣсти

«Родственники», однако тѣмъ не менѣе, думаете вы, не могъ не раздѣлять его... Странная увѣренность!

Далѣе скромный критикъ «Москвитянина», въ видѣ уступки, дѣлаетъ такое замѣчаніе: «Можетъ быть другого рода повѣстей достать нельзя; можетъ быть даже такія повѣсти нужны для успѣха журнала, чего мы впрочемъ не думаемъ». Странно видѣть человѣка, который, по собственному сознанію, рѣшительно не знаетъ журнальнаго дѣла, а между тѣмъ взялся разсуждать о немъ! Онъ не знаетъ, какія повѣсти можно доставать, и какія повѣсти нравятся публикѣ и слѣдовательно могутъ поддержать журналъ. То говоритъ: «можетъ быть», то: «чего мы впрочемъ не думаемъ». Какъ объяснить ему это? Онъ назвалъ только одну повѣсть: «Родственники». О ней можно судить съ двухъ сторонъ: со стороны направленія и со стороны выполненія. Въ первомъ отношеніи мы на «можетъ быть» нашего критика отвѣчаемъ утвердительно; во второмъ отношеніи, эта повѣсть не безъ достоинствъ, мѣстами замѣчательныхъ, но вообще не можетъ идти въ образецъ повѣстей той школы, на которую съ такимъ ожесточеніемъ нападаетъ нашъ критикъ. Въ этомъ случаѣ намъ трудно отвѣчать ему, сколько потому, что онъ по одной первой книжкѣ журнала хочетъ произнести судъ о всѣхъ будущихъ книжкахъ этого журнала, хотя бы ему суждено было продолжаться десять лѣтъ при постоянномъ участіи однихъ и тѣхъ же лицъ, сколько и потому, что онъ, говоря о повѣстяхъ, назвалъ только повѣсть «Родственники» и неопредѣленно указалъ на отдѣлъ словесности, не сказавши ни слова о повѣсти «Кто виноватъ?» Искандера, вышедшей какъ приложеніе къ первой книжкѣ, ни о «Хорѣ и Калинычѣ», разсказѣ Тургенева, помѣщенномъ въ Смѣси. Вѣроятно онъ имѣлъ свои причины не высказывать своего мнѣнія объ этихъ двухъ произведеніяхъ, и въ такомъ случаѣ надо отдать ему справедливость, онъ поступилъ очень ловко. Еслибы мы сказали, что онъ и ихъ считаетъ тѣмъ же, чѣмъ считаетъ всѣ произведенія натуральной школы, онъ могъ бы отвѣтить, что о нихъ ничего не говорилъ, что онъ указалъ только на то, что́ было помѣщено въ отдѣлѣ словесности. Но еслибы, сдѣлавши вопросъ: «можетъ быть даже такія повѣсти нужны для успѣха журнала», онъ указалъ на «Кто виноватъ?» и «Хорь Калинычъ»—тогда бы мы положительно и утвердительно отвѣчали ему: да! Но онъ хочетъ быть съ нами великодушнымъ; онъ отрицаетъ мысль, чтобы мы въ выборѣ повѣстей руководствовались разсчетомъ на успѣхъ журнала, а не внутреннимъ достоинствомъ повѣстей. Благодаримъ за доброе мнѣніе, но никакъ не думаемъ, чтобы потребности нашего читающаго общества были въ такомъ разладѣ съ истиннымъ вкусомъ, что удовлетворять имъ непремѣнно значило бы—руководствоваться корыстнымъ разсчетомъ, а не слѣдовать искренно своему вкусу и убѣжденію. Въ «Современникѣ» не было и не будетъ помѣщено ни одной повѣсти, которая бы, по искреннему убѣжденію редакціи, не заключала въ себѣ какихъ-нибудь хорошихъ сторонъ, дѣлающихъ ее стоющей печати, и уже было напечатано нѣсколько весьма замѣчательныхъ произведеній въ этомъ родѣ. Они были замѣчены и отличены публикою, и мы очень рады, что нашъ вкусъ, наше личное мнѣніе совпали, въ отношеніи къ нимъ, со вкусомъ и мнѣніемъ большинства публики. Эти произведенія: «Кто виноватъ?», «Обыкновенная Исторія», «Разсказы Охотника» и «Изъ сочиненій доктора Крупова о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности»... Замѣчательна также мысль критика, сдѣланная въ видѣ уступки, что «редакторъ «Современника» не властенъ пересоздать изящной литературы по своимъ желаніямъ. Вотъ что правда, то правда! Только съ чего вы взяли, что онъ желаетъ ее пересоздать? Желать видѣть ее въ лучшемъ, совершеннѣйшемъ видѣ, и желать пересоздать—не одно и то же.

Теперь слѣдуютъ критическія противорѣчія статьи Никитенко съ статьей Бѣлинскаго. Въ послѣдней сказано между прочимъ, что «еслибы преобладающее отрицательное направленіе и было въ натуральной школѣ односторонней крайностью, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни дастъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время, вѣрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически». Конечно тутъ нѣтъ буквальнаго, внѣшняго согласія съ статьей Никитенко; но нѣтъ и рѣзкаго противорѣчія. Съ одной стороны тутъ уступка, согласіе въ томъ, что отрицаніе составляетъ дѣйствительно преобладающее направленіе новой школы; съ другой показана польза и этого направленія. Но критикъ «Москвитянина» восклицаетъ патетически: «мы не спрашиваемъ, справедливо ли это или нѣтъ, но согласно ли съ убѣжденіями редактора и съ наставленіями, предложенными имъ въ его статьѣ? Думаетъ ли онъ, что, смотря по времени, литература можетъ изображать и темныя, и свѣтлыя

стороны дѣйствительности, т. е. быть правдивою; можетъ также изображать однѣ отрицательныя стороны, то есть клеветать? Полагаетъ ли онъ, что привычка отыскивать одни пороки и поносить людей способствуетъ развитію безпристрастія и справе́дливости?... Въ этихъ словахъ отозвалось рѣшительное отсутствіе живого практическаго пониманія искусства. Критикъ «Москвитянина», мы увѣрены въ этомъ, человѣкъ умный и начитанный, который знаетъ всевозможныя теоріи и системы искусства, особенно нѣмецкія. Это безспорно очень хорошо; но одного этого еще очень мало для дѣйствительнаго пониманія искусства; для этого прежде всего и больше всего нужно то врожденное эстетическое чувство, тотъ инстинктъ, тотъ тактъ изящнаго, которые обнаруживаются не въ теоріи, а въ ея критическомъ приложеніи къ произведеніямъ искусства. Мы еще обратимся къ этому вопросу и покажемъ, въ какомъ отношеніи находится къ нему критикъ «Москвитянина»; а теперь покажемъ, какъ мало истины въ его словахъ. Ему кажется рѣшительной нелѣпостью, чтобы литература, смотря по времени, отличалась то тѣмъ, то другимъ исключительнымъ направленіемъ. А между тѣмъ это всегда такъ было и будетъ; доказательства можно найти въ исторіи каждой литературы. Изображать однѣ отрицательныя стороны жизни—вовсе не значитъ клеветать, а значитъ только находиться въ односторонности; клеветать же значитъ взводить на дѣйствительность такія обвиненія, находить въ ней такія пятна, какихъ въ ней вовсе нѣтъ. Давать клеветѣ другое значеніе—тоже значитъ клеветать... не на клевету, разумѣется, а на людей не нашего прихода... Находить въ людяхъ тѣ пороки, которые въ нихъ дѣйствительно есть, не значитъ поносить ихъ: поношеніе въ самихъ порокахъ, и кто пороченъ, тотъ поноситъ самъ себя... Привычка отыскивать дѣйствительно существующее очень близка къ привычкѣ отыскивать истину, а это, разумѣется, способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости...

Противорѣчій между статьей Никитенко и статьей Бѣлинскаго критикъ «Москвитянина» находитъ такую бездну, что даже отказывается на всѣ указывать, а избираетъ самыя разительныя. «Редакторъ (говоритъ онъ) нападалъ сильно на карикатурныя изображенія помѣщиковъ и деревенскаго быта; критикъ въ числѣ замѣчательныхъ стихотворныхъ произведеній прошлаго года упоминаетъ о разсказѣ подъ заглавіемъ: «Помѣщикъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Дался же славянофиламъ этотъ «Помѣщикъ»! Вотъ уже скоро два года, какъ было напечатано (въ «Петербургскомъ Сборникѣ» Некрасова, а не «Отечественныхъ Запискахъ») это стихотвореніе Тургенева, а они до сихъ поръ не могутъ отъ него придти въ себя. Съ того времени и до сей минуты все толкуютъ о немъ. Увѣряютъ, что это произведеніе ничтожное, карикатура, что оно бездарно, плохо; кажется, стоило ли бы обращать на него вниманіе? А между тѣмъ они все продолжаютъ изъ за него волноваться и выходить изъ себя... Обращаясь къ противорѣчію, спросимъ критика «Москвитянина»: на какомъ основаніи вообразилъ онъ, что Никитенко, говоря о карикатурныхъ изображеніяхъ помѣщиковъ, мѣтилъ именно на пьесу Тургенева? Ужъ не на основаніи ли ея заглавія, такъ положительно указывающаго на помѣщика, что и ошибиться нельзя? Въ такомъ случаѣ намъ остается только дивиться тонкой проницательности критика «Москвитянина»... «Редакторъ (продолжаетъ онъ) строго осуждалъ направленіе тѣхъ писателей, которые созидаютъ такъ называемые народные характеры изъ грязи, лохмотьевъ, квасу, щей и кулаковъ русскаго человѣка, а критикъ восхваляетъ повѣсть подъ заглавіемъ «Деревня» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), которая создана именно по этому рецепту». Опять то же! Критику «Москвитянина» кажется, что повѣсть «Деревня» создана по этому рецепту, и этого ему достаточно для убѣжденія, что и Никитенкѣ кажется то же... Но здѣсь мы остановимся и отъ частностей перейдемъ къ общему вопросу—къ вопросу о натуральной школѣ, которая съ такимъ живымъ участіемъ и вниманіемъ принята публикой и съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдуется двумя литературными партіями—неестественной или риторической, состоящей изъ отставныхъ беллетристовъ, и славянофильской. Намъ очень непріятно, что мы должны повторять то, что̀ уже не разъ было говорено нами: но что̀ жъ намъ дѣлать, если противники натуральной школы, безпрестанно нападая на нее, твердятъ все одно и то же, не умѣя выдумать ничего новаго?

Обѣ эти партіи бо̀льшей частью согласны въ ихъ нападкахъ на натуральную школу, хотя и по разнымъ побужденіямъ; ихъ доводы, доказательства, даже тонъ — почти одинаковы; но только въ одномъ онѣ существенно разнятся. Первая партія, не любя натуральной школы, еще больше не любитъ Гоголя, какъ ея главу и основателя. Въ этомъ есть смыслъ и логика. Идя отъ начала ложнаго, эти люди по крайней мѣрѣ не противорѣчатъ себѣ до явной безсмы-

слицы: нападая на плодъ, не восхищаются корнемъ; осуждая результатъ, не хвалятъ причины. Ошибаясь въ отношеніи къ истинѣ, они совершенно правы въ отношеніи къ самимъ себѣ. Что̀ касается до причинъ ихъ нерасположенія къ произведеніямъ Гоголя, — онѣ давно извѣстны: Гоголь далъ такое направленіе литературѣ, которое изгнало изъ нея риторику и для успѣха въ которомъ необходимъ талантъ. Вслѣдствіе этого старая манера выводить въ романахъ и повѣстяхъ риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ, вмѣсто живыхъ типическихъ лицъ, пала. Всѣ попытки писателей этой школы на поддержаніе къ нимъ вниманія публики обращаются для нихъ въ рѣшительныя паденія. Даже тѣ ихъ произведенія, которыя къ свое время имѣли успѣхъ, даже значительный, давно уже забыты. Новыя изданія ихъ остаются въ книжныхъ лавкахъ. Согласитесь, что это непріятно, и есть изъ чего выйти изъ себя и увидѣть въ новой школѣ своего личнаго врага. Къ этому присоединяются и другія обстоятельства. Эти люди вышли на литературное поприще во время господства совершенно иныхъ понятій объ искусствѣ и литературѣ. Тогда искусство не имѣло ничего общаго съ жизнью, дѣйствительностью. Написать романъ или повѣсть тогда значило—наплести разныхъ неправдоподобныхъ событій, вмѣсто характеровъ, заставить говорить и дѣйствовать аллегорическія фигуры разныхъ дурныхъ и хорошихъ качествъ, все это напичкать моральными сентенціями, и изъ всего этого вывести какое нибудь нравственное правило, вродѣ того напримѣръ, что добродѣтель награждается, а порокъ наказывается. При этомъ допускалась легкая и умѣренная сатира, т. е. беззубыя насмѣшки надъ общими человѣческими слабостями, не воплощенными въ лицо и характеръ, и потому существующими равно вездѣ, какъ и нигдѣ. О колоритѣ мѣстности и времени не было вопроса, и потому нельзя было понять, какой землѣ и какому вѣку принадлежатъ дѣйствующія лица романа или повѣсти; зато можно было имѣть удовольствіе по произволу переносить ихъ въ какую угодно землю, въ какой угодно вѣкъ. Но взамѣнъ этого строго требовалось, чтобы подлѣ каждаго злодѣя рисовался добродѣтельный человѣкъ, подлѣ глупца — умница, подлѣ лжеца — правдолюбъ. Именъ эти герои не имѣли, но имъ давались клички по ихъ качествамъ: Добросердовъ, Честоновъ, Пріятовъ, Ножовъ, Вороватинъ и т. п. Такъ писать было легко: для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живого чувства дѣйствительности; а нужны были только нѣкоторая образованность и начитанность, а главное — охота и навыкъ писать. И подъ вліяніемъ этихъ-то понятій выросли и развились писатели той школы, о которой мы говоримъ. Удивительно ли, что до сихъ поръ они все такъ-же понимаютъ искусство? Оно для нихъ—невинное и полезное занятіе, которое должно тѣшить читателя, представляя ему только пріятныя картины жизни, рисуя только образованныхъ людей, и ни подъ какимъ видомъ — неотесанныхъ мужиковъ въ зипунахъ и лаптяхъ. Правда, еще эти писатели были не стары, когда такъ называемый романтизмъ вторгся вдругъ и въ нашу литературу, когда романы Вальтеръ-Скотта смѣнили «Малекъ Аделя» г-жи Котэнъ, и знакомство съ драмами Шекспира показало, что всякій человѣкъ, на какой бы низкой ступени общества и даже человѣческаго достоинства ни стоялъ онъ, имѣетъ полное право на вниманіе искусства потому только, что онъ человѣкъ. И многіе изъ писателей неестественной риторической школы горячо стали за романтизмъ; но это произвело въ нихъ только какую-то странную смѣсь старыхъ установившихся понятій съ новыми неустановившимися. Они не могли въ нихъ примириться по существенной противуположности другъ другу. И потому наши романисты и нувеллисты этой школы остались при старыхъ понятіяхъ, сдѣлавши нѣсколько нелогическихъ уступокъ въ пользу новыхъ. Это отразилось въ ихъ сочиненіяхъ тѣмъ, что они стали заботиться о мѣстномъ колоритѣ и позволяли себѣ рисовать и людей низшихъ сословій. Это называлось у нихъ народностью. Но въ чемъ состояла эта народность? Въ томъ, что своимъ сколкамъ съ чужеземныхъ образцовъ они давали русскія имена, да еще иногда и историческія, отчего ихъ лица нисколько не дѣлались русскими, потому что прежде всего не были созданіями искусства, а были только блѣдными копіями. Вообще ихъ романы походили на нынѣшніе русскіе водевили, передѣлываемые изъ французскихъ, посредствомъ переложенія чуждыхъ намъ французскихъ нравовъ на чуждые имъ русскіе нравы. Риторика всегда оставалась риторикой, даже и подрумяненная плохо понятнымъ романтизмомъ. Для яснаго уразумѣнія новыхъ образцовъ искусства и новыхъ о немъ понятій нужно было время, а для обращенія русской литературы на дорогу самобытности нужны новые образцы въ самой русской литературѣ. И такіе образцы даны были Пушкинымъ и потомъ Гоголемъ. Но слѣдовать за ними можно было бы только людямъ съ талантомъ. Вотъ отчего писа-

тели риторической школы такъ косо смотрѣли на Пушкина и почему такъ невыносимо имъ одно имя Гоголя! Въ чемъ состоятъ ихъ нападки на него? Вѣчно въ одномъ и томъ же: онъ рисуетъ грязь, представляетъ неумытую натуру и оскорбляетъ русское общество, находя въ немъ характеры низкіе и не противопоставляя имъ высокихъ... Все это совершенно согласно со старинными піитиками и риториками.

За то же самое, тѣми же самыми выраженіями нападаютъ славянофилы на натуральную школу, но за то же самое превозносятъ они Гоголя. Что̀ за странное противорѣчіе? Какая его причина? Еслибы критикъ «Москвитянина» не находилъ никакой связи между Гоголемъ и натуральной школой, онъ былъ бы правъ съ своей точки зрѣнія, какъ бы ни была она фальшива. Но вотъ что̀ говоритъ онъ самъ объ этомъ: «Петербургскіе журналы подняли знамя и провозгласили явленіе новой литературной школы, по ихъ мнѣнію, совершенно самостоятельной. Они выводятъ ее изъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и видятъ въ ней отвѣтъ на современныя потребности нашего общества. Происхожденіе натурализма, кажется, объясняется гораздо проще; нѣтъ нужды придумывать для него родословной, когда на немъ лежатъ явные признаки тѣхъ вліяній, которымъ онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Матеріалъ данъ Гоголемъ или, лучше, взятъ у него: это пошлая сторона нашей дѣйствительности». Основная мысль этихъ словъ справедлива: натуральная школа дѣйствительно произошла отъ Гоголя, и безъ него ея не было бы; но фактъ этотъ толкуется критикомъ «Москвитянина» фальшиво. Если натуральная школа вышла изъ Гоголя, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы она не была результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества, потому что самъ Гоголь, ея основатель, былъ результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества. Что онъ несравненно выше и важнѣе всей своей школы, противъ этого мы и не думали спорить,—это другое дѣло. Во взглядѣ критика «Москвитянина» на Гоголя видно рѣшительное непониманіе ни искусства, ни Гоголя. Ясно, что онъ держится тѣхъ же піитикъ и риторикъ, которыми руководствуются писатели неестественной школы, и что, за неимѣніемъ собственнаго прочнаго воззрѣнія на предметъ, онъ слишкомъ увлекся мнѣніемъ Пушкина о Гоголѣ, съ которымъ самъ Гоголь безусловно согласился. Вотъ его собственныя слова на этотъ счетъ: «Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей»(«Выбран. Мѣста изъ Перепис. съ Друзьями»). Въ этихъ словахъ много правды; но ихъ нельзя принимать за полное и окончательное сужденіе о Гоголѣ. Теньеръ былъ по преимуществу живописецъ пошлости жизни голландскаго простонародья (что̀ — скажемъ мимоходомъ—не помѣшало Европѣ признать его великимъ талантомъ); эта пошлость есть истинный герой его живописныхъ поэмъ, тутъ она на первомъ планѣ и прежде всего бросается въ глаза зрителю. Однакожъ было бы нелѣпо искать чего-нибудь общаго между талантомъ Теньера и Гоголя. Гогартъ—по преимуществу живописецъ пороковъ, разврата и пошлости, и больше ничего; но и съ нимъ у Гоголя такъ же мало сходства, какъ и съ Теньеромъ. Гоголь создалъ типы—Ивана Ѳедоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничаго, Бобчинскаго и Добчинскаго, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многіе другіе. Въ нихъ онъ является великимъ живописцемъ пошлости жизни, который видитъ насквозь свой предметъ во всей его глубинѣ и широтѣ и схватываетъ его во всей полнотѣ и цѣлости его дѣйствительности. Но зачѣмъ же забываютъ, что тотъ же Гоголь написалъ «Тараса Бульбу»,—поэму, герой и второстепенныя дѣйствующія лица которой—характеры высоко-трагическіе? И между тѣмъ видно, что поэма эта писана той же рукой, которой писаны «Ревизоръ» и «Мертвыя Души». Въ ней является та особенность, которая принадлежитъ только таланту Гоголя. Въ драмахъ Шекспира встрѣчаются съ великими личностями и пошлыя, но комизмъ у него всегда на сторонѣ только послѣднихъ; его Фальстафъ смѣшонъ, а принцъ Генрихъ и потомъ король Генрихъ V—вовсе не смѣшонъ. У Гоголя Тарасъ Бульба такъ же исполненъ комизма, какъ и трагическаго величія; оба эти противоположные элемента слились въ немъ неразрывно и цѣлостно въ единую, замкнутую въ себя, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и

смѣетесь надъ нимъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ произведеній европейскихъ литературъ примѣръ подобнаго, и то не вполнѣ, сліянія серьёзнаго и смѣшного, трагическаго и комическаго, ничтожности и пошлости жизни со всѣмъ, что̀ есть въ ней великаго и прекраснаго, представляетъ только «Донъ-Кихотъ» Сервантеса. Если въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь умѣлъ въ трагическомъ открыть комическое, то въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» и «Шинели» онъ умѣлъ уже не въ комизмѣ, а въ положительной пошлости жизни найти трагическое. Вотъ гдѣ, намъ кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это—не одинъ даръ выставлять ярко пошлость жизни, а еще болѣе—даръ выставлять явленія жизни во всей полнотѣ ихъ реальности и ихъ истинности. Въ «Перепискѣ» Гоголя есть одно мѣсто, которое бросаетъ яркій свѣтъ на значеніе и особенность его таланта, и которое было или ложно понято, или оставлено безъ вниманія: «Эти ничтожные люди (въ «Мертвыхъ Душахъ») однакожъ ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты; тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты моихъ пріятелей». Дѣйствительно, каждый изъ насъ, какой бы онъ ни былъ хорошій человѣкъ, если вникаетъ въ себя съ тѣмъ безпристрастіемъ, съ какимъ вникаетъ въ другихъ,—то непремѣнно найдетъ въ себѣ въ бо̀льшей или меньшей степени многіе изъ элементовъ многихъ героевъ Гоголя. И кому не случалось встрѣчать людей, которые немножко скупеньки, какъ говорится, прижимисты, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ—прекраснѣйшіе люди, одаренные замѣчательнымъ умомъ, горячимъ сердцемъ? Они готовы на все доброе, они не оставятъ человѣка въ нуждѣ, помогутъ ему, но только подумавши, поразсчитавши, съ нѣкоторымъ усиліемъ надъ собой. Такой человѣкъ, разумѣется, не Плюшкинъ,но съ возможностью сдѣлаться имъ, если поддастся вліянію этого элемента, и если при этомъ стеченіе враждебныхъ обстоятельствъ разовьетъ его и дастъ ему перевѣсъ надъ всѣми другими склонностями, инстинктами и влеченіями. Бываютъ люди съ умомъ, душой, образованіемъ, познаніями, блестящими дарованіями—и при всемъ этомъ съ тѣмъ качествомъ, которое теперь извѣстно на Руси подъ именемъ «хлестаковства». Скажемъ больше: многіе ли изъ насъ, положа руку на сердце, могутъ сказать, что имъ не случалось быть Хлестаковыми, кому цѣлые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть одинъ день, одинъ вечеръ, одну минуту? Порядочный человѣкъ не тѣмъ отличается отъ пошлаго, чтобы онъ былъ вовсе чуждъ всякой пошлости, а тѣмъ, что видитъ и знаетъ, что̀ въ немъ есть пошлаго, тогда какъ пошлый человѣкъ и не подозрѣваетъ этого въ отношеніи къ себѣ; напротивъ, ему то и кажется больше всѣхъ, что онъ—истинное совершенство. Здѣсь мы опять видимъ подтвержденіе вышесказанной нами мысли объ особенности таланта Гоголя, которая состоитъ не въ исключительномъ только дарѣ живописать ярко пошлость жизни, а проникать въ полноту и реальность явленій жизни. Онъ, по натурѣ своей, не склоненъ къ идеализаціи, онъ не вѣритъ ей; она кажется ему отвлеченіемъ, а не дѣйствительностью; въ дѣйствительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздѣльны, а только перемѣшаны не въ равныхъ доляхъ. Ему дался не пошлый человѣкъ, а человѣкъ вообще, какъ онъ есть, не украшенный и не идеализированный. Писатели риторической школы утверждаютъ, будто всѣ лица, созданныя Гоголемъ, отвратительны, какъ люди. Справедливо-ли это?—Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Возьмемъ на выдержку нѣсколько лицъ. Маниловъ пошлъ до крайности, сладокъ до приторности, пустъ и ограниченъ; но онъ не злой человѣкъ; его обманываютъ его люди, пользуясь его добродушіемъ; онъ—скорѣе ихъ жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное—не споримъ; но еслибы авторъ придалъ къ прочимъ чертамъ Манилова еще жестокость обращенія съ людьми, тогда всѣ бы закричали: что̀ за гнусное лицо, ни одной человѣческой черты! Такъ уважимъ же въ Маниловѣ и это отрицательное достоинство. Собакевичъ — антиподъ Манилова; онъ грубъ, неотесанъ, обжора, плутъ и кулакъ; но избы его мужиковъ построены хоть неуклюже, а прочно, изъ хорошаго лѣсу, и, кажется, его мужикамъ хорошо въ нихъ жить. Положимъ, причина этого не гуманность, а разсчетъ, но разсчетъ, предполагающій здравый смыслъ, разсчетъ, котораго, къ несчастью, не бываетъ иногда у людей съ европейскимъ образованіемъ, которые пускаютъ по міру своихъ мужиковъ на основаніи раціональнаго хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но вѣдь еслибы его не было въ Собакевичѣ, Собакевичъ былъ бы еще хуже: стало быть, онъ лучше при этомъ отрицательномъ достоинствѣ. Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ея дѣвчонка ходитъ въ грязи босикомъ, но зато не съ распухшими отъ пощечинъ щеками, не сидитъ голодна, не утираетъ слезъ кулакомъ,

не считаетъ себя несчастной, но довольна своей участью. Скажутъ: все это доказываетъ только то, что лица, созданныя Гоголемъ, могли бъ быть еще хуже, а не то, чтобъ они были хороши. Да мы и не говоримъ, что они хороши, а говоримъ только, что они не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ.

Писатели риторической школы ставятъ въ особенную вину Гоголю, что вмѣстѣ съ пошлыми людьми онъ для утѣшенія читателей не выводитъ на сцену лицъ порядочныхъ и добродѣтельныхъ. Въ этомъ съ ними согласны и почитатели Гоголя изъ славянофильской партіи. Это доказываетъ, что тѣ и другіе почерпнули свои понятія объ искусствѣ изъ однѣхъ и тѣхъ же піитикъ и риторикъ. Они говорятъ: развѣ въ жизни одни только пошлецы и негодяи? Что̀ сказать имъ на это? Живописецъ изобразилъ на картинѣ мать, которая любуется своимъ ребенкомъ и которой все лицо—одно выраженіе материнской любви. Что̀ бы сказали критику, который осудилъ бы эту картину на томъ основаніи, что женщинамъ доступно не одно материнское чувство, что художникъ оклеветалъ изображенную имъ женщину, отнявъ у нея всѣ другія чувства? Я думаю, вы ничего не сказали бы ему, даже согласились бы съ нимъ—и хорошо бы сдѣлали. Но тутъ, скажутъ, уже потому нѣтъ клеветы, что на лицѣ женщины изображено чувство похвальное. Стало быть, по вашему, живописецъ оклеветалъ бы женщину вообще, еслибы представилъ на картинѣ Медею, убивающую, изъ чувства ревности, собственныхъ дѣтей? Стало быть, вы будете осуждать его за то, что онъ не помѣстилъ на своей картинѣ фигуры добродѣтельной женщины, которая бы всѣмъ выраженіемъ своего лица и взора, всей своей позой протестовала противъ ужаснаго дѣйствія Медеи? Да художникъ хотѣлъ изобразить крайнюю степень ревности; это было задушевной идеей, которую хотѣлъ онъ выразить; стало быть, все чуждое этой идеѣ только раздвоило и ослабило бы интересъ его картины, нарушило бы единство ея впечатлѣнія. Стало быть, подобныя требованія съ вашей стороны противорѣчатъ основнымъ законамъ искусства. «Перебирая послѣдніе романы (говоритъ критикъ «Москвитянина»), изданные во Франціи, съ притязаніемъ на соціальное значеніе, мы не находимъ ни одного, въ которомъ бы выставлены были одни пороки и темныя стороны общества. Напротивъ, вездѣ, въ противоположность извергамъ, негодяямъ, плутамъ, ханжамъ, изображаются лица, принадлежащія къ однимъ сословіямъ и занимающія въ обществѣ одинаковое положеніе съ первыми, но честныя, благородныя, щедрыя и набожныя. Говорятъ, что типы честныхъ людей удаются хуже, чѣмъ типы негодяевъ; это отчасти справедливо: но еще справедливѣе то, что ни тѣ, ни другіе не имѣютъ художественнаго достоинства, пишутся не съ художественной цѣлью, а потому должно судить о нихъ не по выполненію, а по намѣренію». Мы замѣтимъ на это, что если произведеніе, претендующее принадлежать къ области искусства, не заслуживаетъ никакого вниманія по выполненію, то оно не стоитъ никакого вниманія и по намѣренію, какъ бы ни было оно похвально, потому что такое произведеніе уже нисколько не будетъ принадлежать къ области искусства. Истиннымъ художникамъ равно удаются типы и негодяевъ, и порядочныхъ людей; когда же мы находимъ въ романѣ удачными только типы негодяевъ и неудачными типы порядочныхъ людей, это явный знакъ, что или авторъ взялся не за свое дѣло, вышелъ изъ своихъ средствъ, изъ предѣловъ своего таланта и слѣдовательно погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства, т. е. выдумалъ, писалъ и натягивалъ риторически тамъ, гдѣ надо было творить, или что онъ безъ всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведенія, только по внѣшнему требованію морали, ввелъ въ свой романъ эти лица, и слѣдовательно опять погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства. Вотъ то-то и есть: хлопочутъ о чистомъ искусствѣ, и первые не понимаютъ его; нападаютъ на искусство, служащее постороннимъ цѣлямъ, и первые требуютъ, чтобы оно служило постороннимъ цѣлямъ, т. е. оправдывало бы теоріи и системы нравственныя и соціальныя. Творчество, по своей сущности, требуетъ безусловной свободы въ выборѣ предметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не вправѣ задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не вправѣ направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можетъ имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можетъ быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходится съ его талантомъ, его натурой, инстинктами и стремленіемъ. Онъ изобразилъ вамъ порокъ, развратъ, пошлость: судите, вѣрно ли, хорошо ли онъ сдѣлалъ это; а не толкуйте, зачѣмъ онъ сдѣлалъ это, а не другое, или вмѣстѣ съ этимъ не сдѣлалъ и другого. Говорятъ: что̀ это за направленіе — изображать одно низкое и пошлое? — А почему бы не такъ? Одинъ живописецъ прославился изображеніемъ вообще животныхъ, другой—только коровъ или лошадей, третій — кухонныхъ

припасовъ, и каждый изъ нихъ только этимъ и занимался всю жизнь, и никого изъ нихъ не обвиняли за это, а въ области поэзіи отнимаютъ у художника это право. То, скажутъ, живопись, а то поэзія. Но вѣдь то и другое, не смотря на все ихъ различіе, равно искусство, а основные законы искусства—одни и тѣ же во всѣхъ искусствахъ. Не вѣрю я эстетическому чувству и вкусу тѣхъ людей, которые съ удивленіемъ останавливаются передъ Мадонной Рафаэля и съ презрѣніемъ отворачиваются отъ картинъ Теньера, говоря: «это проза жизни, пошлость, грязь»; но такъ-же точно и не вѣрю я и эстетическому смыслу тѣхъ, которые съ нѣкоторой иронической улыбкой посматриваютъ на Мадонну Рафаэля, говоря: «кто идеалы, то, чего нѣтъ въ натурѣ!» и въ умиленіемъ смотрятъ на картины Теньера говоря: «вотъ натура, вотъ истина, вотъ дѣйствительность!» Для этихъ людей не существуетъ искусства; новая форма—и они не узнаютъ его, какъ маленькія дѣти не узнаютъ знакомаго имъ человѣка, потому толко, что онъ на сюртукъ надѣлъ шинель, въ которой они никогда его не видали. Имъ не растолкуешь, что Мадонну и сцены мужиковъ, какъни различны эти явленія, произвелъ одинъ и тотъ же духъ искусства, что Рафаэль и Теньеръ — оба художники и оба нашли содержаніе своихъ произведеній въ той же дѣйствительности, безконечно разнообразной и всегда единой, какъ разнообразна и едина природа, какъ разнообразно и едино существо человѣка! А сколько такихъ людей на бѣломъ свѣтѣ! По крайней мѣрѣ мнѣ не разъ случалось встрѣчать такихъ тонкихъ знатоковъ и цѣнителей искусства. Одни изъ нихъ отрицаютъ всякій талантъ въ Гоголѣ, и когда такому господину намекнешь, что это отъ отсутствія эстетическаго чувства, онъ сейчасъ съ торжествомъ возразитъ: «отчего же я понимаю Пушкина и восхищаюсь имъ?» Другіе не признаютъ особеннаго таланта въ Пушкинѣ на томъ основаніи, что имъ очень нравится Гоголь. Это значитъ только, что ни тѣ, ни другіе не понимаютъ ни Пушкина, ни Гоголя и восхищаются въ нихъ вовсе не тѣмъ, что̀ составляетъ сущность и красоту ихъ твореній. Одинъ писатель риторической школы печатно объявилъ, что еслибы ему нужно было выѣхать изъ Россіи и взять съ собой только лучшее изъ русской литературы, онъ взялъ бы только басни Крылова и «Горе отъ Ума» Грибоѣдова. Какъ выраженіе личнаго, частнаго вкуса, это было бы справедливо и основательно; но какъ взглядъ на искусство вообще, это ложь, это все равно, какъ еслибы кто, любя березу больше всѣхъ другихъ деревьевъ, сталъ доказывать, что дубъ—дерево некрасивое и дрянное.

Самое сильное и тяжелое обвиненіе, которымъ писатели риторической школы думаютъ окончательно уничтожить Гоголя, состоитъ въ томъ, что лица, которыя онъ обыкновенно выводитъ въ своихъ сочиненіяхъ, оскорбляютъ общество. Въ этомъ съ ними совершенно согласились и славянофилы, только больше въ этомъ отношеніи къ натуральной школѣ, нежели къ Гоголю; первую они нещадно бранятъ за это, а насчетъ Гоголя только изъявляютъ сожалѣніе, что онъ не рисуетъ искупительныхъ лицъ. Подобное обвиненіе больше всего показываетъ незрѣлость нашего общественнаго образованія. Въ странахъ, упредившихъ насъ развитіемъ цѣлыхъ вѣковъ, и понятія не имѣютъ о возможности подобнаго обвиненія. Никто не скажетъ, чтобы англичане не были ревнивы къ своей національной чести; напротивъ, едва ли есть другой народъ, въ которомъ національный эгоизмъ доходилъ бы до такихъ крайностей. какъ у англичанъ. И между тѣмъ они любятъ своего Гогарта, который изображалъ только пороки, развратъ, злоупотребленія и пошлость англійскаго общества его времени. И ни одинъ англичанинъ не скажетъ, что Гогартъ оклеветалъ Англію, что онъ не видѣлъ и не признавалъ въ ней ничего человѣческаго, благороднаго, возвышеннаго и прекраснаго. Англичане понимаютъ, что талантъ имѣетъ полное и святое право быть одностороннимъ, и что онъ можетъ быть великимъ въ самой односторонности. Съ другой стороны, они такъ глубоко чувствуютъ и сознаютъ свое національное величіе, что нисколько не боятся, чтобы ему могло повредить обнародованіе недостатковъ и темныхъ сторонъ англійскаго общества. Но и мы можемъ жаловаться только на незрѣлость общественнаго образованія, а не на отсутствіе въ нашемъ обществѣ чувства своего національнаго достоинства: это доказывается тѣмъ фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію, что, несмотря на ребяческіе возгласы не впопадъ усердныхъ патріотовъ, произведенія Гоголя въ короткое время получили на Руси народность. Ихъ не читаютъ только тѣ, которые ничего не читаютъ; а «Ревизора» знаютъ многіе и изъ тѣхъ, которые вовсе не знаютъ грамотѣ. Успѣхъ натуральной школы есть тоже фактъ, потверждающій ту же истину. И оно такъ должно быть: чѣмъ сильнѣе человѣкъ, чѣмъ выше онъ нравственно, тѣмъ смѣлѣе онъ смотритъ на свои слабыя стороны и недостатки. Еще болѣе можно сказать это о народахъ, которые

живутъ не человѣческій вѣкъ, а цѣлые вѣка. Народъ слабый, ничтожный или состарѣвшійся, изживній всю жизнь свою до невозможности идти впередъ, любитъ только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны: онъ знаетъ, что онѣ смертельны, что его дѣйствительность не представляетъ ему ничего отраднаго, и что только въ обманѣ самого себя можетъ онъ находить тѣ ложныя утѣшенія, до которыхъ такъ падки слабые и дряхлые. Таковы напримѣръ китайцы или персіяне: послушать ихъ, такъ лучше ихъ нѣтъ народа въ мірѣ и всѣ другіе народы передъ ними—ослы и негодяи. Не таковъ долженъ быть народъ великій, полный силъ и жизни; сознаніе своихъ недостатковъ вмѣсто того, чтобы приводить его въ отчаяніе и повергать въ сомнѣнія о своихъ силахъ, даетъ ему новыя силы, окриляетъ его въ новую дѣятельность. Вотъ почему первый нашъ свѣтскій писатель былъ сатирикъ, и съ легкой руки его сатира постоянно шла объ руку съ другими родами литературы. Лирикъ Державинъ, воспѣвавшій величіе Россіи, былъ въ то же время и сатирикомъ, и его оды къ «Фелицѣ», его «Вельможа» принадлежатъ къ лучшимъ и оригинальнѣйшимъ его произведеніямъ. Здѣсь мы не можемъ не упомянуть о просвѣщенномъ и благодѣтельномъ покровительствѣ, которымъ наше правительство ободряло сатиру: оно допустило къ представленію и «Недоросля», и «Ябеду», и «Горе отъ Ума», и «Ревизора». И наше общество было достойно своего правительства: за исключеніемъ второй изъ этихъ комедій, слабой по выполненію, всѣ другія въ короткое время сдѣлались народными драматическими пьесами.

На чемъ основаны доказательства противниковъ и почитателей Гоголя, что его произведенія оскорбительны для русскаго имени? На томъ только—и больше ни на чемъ—что, читая ихъ, каждый убѣдится, что въ Россіи нѣтъ порядочныхъ людей. Мы вполнѣ согласны, что точно найдется не мало людей, способныхъ вывести изъ сочиненій Гоголя такое оригинальное слѣдствіе; но гдѣ же нѣтъ такихъ простодушныхъ читателей, которые далѣе буквальнаго смысла книги ничего въ ней не видятъ, и неужели по нимъ должно судить о всей русской публикѣ, и только соображаясь съ ихъ ограниченностью должна дѣйствовать литература? Напротивъ, намъ кажется, о нихъ она всего менѣе должна заботиться. Есть люди, для которыхъ литература и наука, просвѣщеніе и образованіе дѣйствительно только вредны, а не полезны, потому что сбиваютъ ихъ съ послѣдняго остатка здраваго смысла, скупо удѣленнаго имъ природой, неужели же для нихъ уничтожить литературу и науку, просвѣщеніе и образованіе? Подобное предположеніе нелѣпо уже по одному тому, что такіе люди находятся въ рѣшительномъ меньшинствѣ, и что литература и наука оказываютъ благодѣтельное вліяніе не на однѣ избранныя натуры, но на всю массу общества. Намъ скажутъ, что не одни ограниченные люди видятъ въ сочиненіяхъ Гоголя оскорбленіе русскому обществу. Положимъ такъ; но мнѣніе-то это, кому бы ни принадлежало оно, всегда будетъ ограниченнымъ. Писатель выведетъ въ повѣсти пьяницу, а читатель скажетъ: можно ли такъ позорить Россію? будто въ ней все одни пьяницы? Положимъ, этотъ читатель умный, даже очень умный человѣкъ; да слѣдствіе-то, которое онъ вывелъ изъ повѣсти, нелѣпо. Намъ скажутъ, что искусство обобщаетъ частныя явленія и что оно уже не искусство, если представляетъ явленія случайныя. Правда; но вѣдь общество и особливо народъ заключаетъ въ себѣ множество сторонъ, которыя не только повѣсть, цѣлая литература никогда не исчерпаетъ. Критикъ «Москвитянина» особенно обидѣлся повѣстью «Деревня». «Въ ней (говоритъ онъ) собрано и ярко выставлено все, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ грубаго, оскорбительнаго и жестокаго. Но поражаютъ не частности, а глубокая безчувственность и совершенное отсутствіе нравственнаго смысла въ цѣломъ быту. Ни состраданія, ни раскаянія, ни стыда, ни страха, ни даже животной привязанности между единокровными, авторъ ничего не нашелъ въ русской деревнѣ. Можетъ-быть вы подумаете, что она представляется ему въ томъ состояніи первобытной дикости, которое, по мнѣнію нѣкоторыхъ, предшествуетъ пробужденію нравственнаго сознанія и слѣдовательно допускаетъ развитіе; но вы ошибетесь; въ сквернословіи крестьянъ авторъ подслушалъ какую-то иронію надъ попраннымъ чувствомъ, признакъ не дикости, а растлѣнія; имена отца, матери, слова молитвы произносятся безпрестанно, но безотзывно; ими играютъ безъ содроганія; они какъ будто выдуманы для другихъ людей, а не для жалкаго племени, утратившаго всякое подобіе съ человѣкомъ». У! какъ сильно! Только справедливо ли? Содержаніе повѣсти «Деревня» состоитъ въ томъ, что бѣдную, загнанную сиротку, по происканъ плута-старосты, господа выдали замужъ за негодяя, въ дурную семью. Что же критикъ «Москвитянина» думаетъ, что въ деревняхъ нѣтъ негодяевъ, нѣтъ дурныхъ семействъ? Или

онъ думаетъ, что изобразить негодяя или дурное семейство значитъ—доказать, что въ русскихъ деревняхъ все негодяи и дурныя семейства? Надо согласиться, что нашъ критикъ очень щедръ въ раздачѣ другимъ разныхъ дурныхъ цѣлей и намѣреній: но, къ счастью, вовсе невпопадъ. Въ повѣсти «Деревня» Григоровичъ изобразилъ деревню именно въ томъ видѣ, какъ это говоритъ критикъ «Москвитянина», хотя и не съ той цѣлью, не съ той мыслью, которыя онъ такъ великодушно ему приписываетъ. Въ нравахъ этой «Деревни» дѣйствительно только грубое и жестокое, и нѣтъ даже «животной привязанности между единокровными». Но вотъ тотъ-же самый Григоровичъ, который написалъ «Деревню», предлагаетъ читателямъ въ этой книжкѣ «Современника» новую свою повѣсть («Антонъ Горемыка»), въ которой на сценѣ опять деревня и которой герой — русскій крестьянинъ, но уже вовсе не вродѣ мужа Акулины, а человѣкъ добрый, который, по своему, нѣжно, человѣчески любитъ своего племянника, свою жену и обращается съ ними по-человѣчески. Слѣдуетъ ли же изъ этого, что Григоровичъ видитъ въ русской деревнѣ только дикость и звѣрство въ семейныхъ отношеніяхъ? Нѣтъ, изъ этого слѣдуетъ совсѣмъ другое, а именно то, что въ одной повѣсти онъ взялъ одну сторону деревни, а въ другой—другую. Вы сами сказали, что въ первой повѣсти онъ выставилъ все грубое, оскорбительное и жестокое, что̀ можно было найти въ нравахъ крестьянъ. Если это можно было найти, значитъ, это не выдумано, а взято съ дѣйствительности, значитъ, это истина, а не клевета. Послѣдней тутъ нельзя искать послѣ вашихъ собственныхъ словъ; ее скорѣе можно искать и найти въ вашемъ усиліи обвинить Григоровича въ дурныхъ цѣляхъ и намѣреніяхъ... Какое вы имѣете право требовать отъ автора, чтобы онъ замѣчалъ и изображалъ не ту сторону дѣйствительности, которая сама мечется ему въ глаза, которую онъ узналъ, изучилъ, а ту, которая васъ занимаетъ? Вы вправѣ только требовать, чтобы онъ не выдумалъ, былъ вѣренъ изображаемой имъ дѣйствительности; а все, что̀ есть и бываетъ, принадлежитъ ему, равно какъ и выборъ изъ всего этого. Въ «Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» есть слѣдующее статистическое извѣстіе касательно смертности въ Россіи:

«Кромѣ разницы въ численности (погибшихъ въ дракахъ) есть еще то различіе между мужчинами, женщинами и дѣтьми, что первые почти всѣ погибли въ обоюдныхъ ссорахъ и побоищахъ, часто вслѣдствіе собственной же задорливости при слабосиліи; изъ послѣднихъ женщины преимущественно были жертвами супружескихъ неудовольствій и исправительныхъ или наставительныхъ мѣръ супруговъ, кромѣ немногихъ случаевъ, гдѣ и онѣ пали, ратоборствуя даже иногда съ подобными же себѣ женщинами; а дѣти лишались жизни болѣе всего отъ неумѣреннаго наказанія ихъ, что̀ называется чѣмъ попало, за шалости или проступки. Всѣ эти случаи не составляютъ убійствъ преднамѣренныхъ, и не могутъ быть не причтены къ смертности отъ неосторожности. Въ Тверской губерніи напримѣръ одинъ крестьянинъ, желая наказать жену за что-то, убилъ ударомъ руки бывшаго у ней на груди ребенка: что это какъ не неосторожность? Весьма похожая на эту смерть постигла одного шестнадцатимѣсячнаго ребенка въ Полтавской губерніи, а въ Курской случилось точь-въ-точь подобное происшествіе.»

Такого рода оффиціальное извѣстіе можетъ быть до нѣкоторой степени указателемъ нравовъ простого народа. Что̀ случается часто или нерѣдко, то не есть явленіе случайное, исключительное и можетъ служить матеріаломъ для художественнаго произведенія, но отнюдь не можетъ быть принято за всеобщее явленіе, исключающее всѣ противоположныя, и служить позоромъ обществу или народу. Такъ напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что, кромѣ Россіи, нигдѣ нѣтъ обыкновенія париться въ жаркой банѣ, слѣдовательно нигдѣ же, кромѣ Россіи, не можетъ быть и примѣровъ смерти отъ запариванія. Но слѣдуетъ-ли скрывать такіе факты изъ боязни какого-то нареканія на народъ? Это случается въ народѣ, но кто же скажетъ, что весь русскій народъ какъ дорвется до полка, такъ и запарится сейчасъ же? Крайняя степень всякаго зла тѣмъ еще и выносима, что обрушивается всегда на меньшинствѣ, слѣдовательно, если и можетъ принадлежать тому или другому обществу, то никогда не можетъ послужить обвиненіемъ всему обществу.

Но обратимся исключительно къ критику «Москвитянина» и разберемъ его мнѣніе о Гоголѣ и натуральной школѣ. «Гоголь (говоритъ онъ) первый дерзнулъ ввести изображеніе пошлаго въ область художества». Неправда. Литература наша началась не съ Гоголя, а между тѣмъ именно началась попыткой ввести изображеніе пошлаго въ область художества. Вспомните Кантемира. Съ тѣхъ поръ, какъ мы замѣтили это выше, литература наша не оставляла вовсе этого направленія. Въ немъ блистательно отличился Фонвизинъ; оно отразилось во многихъ лучшихъ созданіяхъ Державина. Пушкинъ началъ писать своего (неоконченнаго впрочемъ) «Арапа Петра Великаго», когда еще имени Гоголя не появлялось въ печати. При этомъ не мѣшаетъ вспомнить не только «Графа Нулина», всего посвященнаго изображенію пошлости, но «Евгенія Онѣгина», въ которомъ изображеніе пош-

лости играетъ не послѣднюю роль. Гоголь только пошелъ далѣе всѣхъ въ томъ, что̀ критикъ «Москвитянина» разумѣетъ подъ выраженіемъ—изображеніе пошлости, и что̀, по нашему мнѣнію, справедливѣе называть изображеніемъ дѣйствительности, какъ она есть, во всей ея полнотѣ и истинѣ. Въ этомъ отношеніи Гоголь дѣйствительно сталъ такъ выше всѣхъ другихъ писателей русскихъ, обнаружилъ въ своей манерѣ столько самобытности и оригинальности, что сталъ основателемъ новой литературной школы, хотѣлъ ли онъ этого, или нѣтъ—все равно. Но пойдемъ далѣе за нашимъ критикомъ.

«На то нуженъ былъ его геній. Въ этотъ глухой, безцвѣтный міръ, безъ грома и безъ потрясеній, неподвижный и ровный, какъ бездонное болото, медленно и безвозвратно втягивающее въ себя все живое и свѣжее, *въ этотъ міръ высоко поэтическій самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго* (?), онъ первый опустился какъ рудокопъ, почуявшій подъ землей еще нетронутую силу. Съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигъ цѣлой жизни, *выраженіе личной потребности внутренняго очищенія*. Подъ изображеніемъ дѣйствительности, поразительно истиннымъ, *скрывалась душевная, скорбная исповѣдь*. Отъ этого произошла *односторонность* его послѣднихъ произведеній, *которыхъ однако нельзя назвать односторонними* (!), именно потому, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе (?!...). Оно такъ необходимо для полноты впечатлѣнія, такъ нераздѣльно съ художественнымъ достоинствомъ его произведеній, что литературный подвигъ Гоголя только въ этомъ смыслѣ и могъ совершиться (???...). Ни страсть къ наблюденіямъ, ни благородное негодованіе на пороки и вообще никакое побужденіе, какъ бы съ виду оно ни было безкорыстно, но допускающее въ душѣ художника чувство личнаго превосходства, не дало бы на него ни права, ни силъ (??). Нужно было породниться душой съ той жизнью и съ тѣми людьми, отъ которыхъ отворачиваются съ презрѣніемъ, нужно было почувствовать въ себѣ самомъ ихъ слабости, пороки и пошлость, чтобы въ нихъ же почувствовать присутствіе человѣческаго. Кто съ этимъ не согласенъ, или кто иначе понимаетъ внутренній смыслъ произведеній Гоголя, съ тѣмъ мы не можемъ спорить—это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые рѣшаются безъ апелляціи въ глубинѣ сознанія.»

Мы и не споримъ, потому что спорить можно только противъ того, съ чѣмъ бываешь не согласенъ, но что̀, въ то же время хорошо понимаешь; а въ этой выпискѣ, признаемся, мы почти ничего не поняли. Почему міръ, изображенный Гоголемъ, высокопоэтиченъ самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго? Почему послѣднія произведенія Гоголя односторонни, однакожъ ихъ не позволяется называть односторонними на томъ основаніи, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе? Воля ваша—темно что-то, мистицизмомъ отзывается! Ничего не понимаемъ! Что̀ значитъ «вмѣстѣ съ содержаніемъ передавать свою мысль»? Да въ искусствѣ иначе мысль и не передается, какъ черезъ содержаніе и форму; это дѣлали всѣ художники и до Гоголя, и будутъ дѣлать послѣ него, потому что въ этомъ сущность искусства. Почему Гоголь открылъ міръ пошлости не вслѣдствіе своей художнической натуры, своего художническаго призванія, а вслѣдствіе «личной потребности внутренняго очищенія»? Да это пахнетъ умилительной средневѣковой легендой, чѣмъ-то вродѣ баллады «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ!» Еще разъ—ничего не понимаемъ! И потому, оставивъ въ покоѣ этотъ великолѣпный наборъ громкихъ словъ и таинственныхъ фразъ, перейдемъ къ натуральной школѣ, которая въ глазахъ нашего критика безъ вины виновата передъ Гоголемъ тѣмъ, что пошла по пути, который онъ ей самъ указалъ.

Первая ея вина та, что она переняла у Гоголя только его односторонность, т. е. взяла у него одно содержаніе, изъ чего неоспоримо слѣдуетъ, что односторонность есть содержаніе, а содержаніе есть односторонность. Но пусть будетъ такъ. Вторая вина ея та, что она подражаетъ Гоголю во всемъ, даже въ опредѣленіи людей по бородавкѣ на носу, по цвѣту жилета и т. п. Но направленіе натуральная школа заимствовала не у Гоголя, а у новѣйшей французской литературы, и это направленіе есть «карикатура и клевета на дѣйствительность, понятая какъ исправительное средство». Затѣмъ слѣдуетъ характеристика новѣйшей французской литературы и ея сравненіе съ ловкимъ приказчикомъ, который, «поддѣлываясь подъ вкусъ публики и соблазняя ее яркими красками, заманиваетъ къ себя въ лавку толпу покупателей, отбиваетъ ихъ отъ сосѣдняго продавца и помогаетъ своему господину (т. е. хозяину) сбывать товаръ, иными словами: вербовать послѣдователей». Сравненіе очень вѣрно: всякое изящное произведеніе съ соціальнымъ направленіемъ есть, во-первыхъ, непремѣнно французское, хотя бы писано было напримѣръ Диккенсомъ; во-вторыхъ, вербовать послѣдователей значитъ—торговать, а торговать значитъ—набирать послѣдователей. Противъ этого нечего сказать, кромѣ развѣ того, что писатели риторической школы дадутъ большого маха, если собственными словами нашего критика не докажутъ, что Гоголь заимствовалъ свое направленіе у новѣйшей французской литературы. Это имъ будетъ тѣмъ легче сдѣлать, что они, подобно намъ, вѣроятно не вѣрятъ мистическому увѣренію, будто Гоголь открылъ міръ пошлости вслѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія, чѣмъ и отличился рѣзко и отъ новѣйшей французской литературы, и отъ русской натуральной школы.

подражающей ему. Но далѣе: новѣйшая французская литература приняла въ себя, какъ основное двигательное начало,—одушевленіе страсти, какъ цѣль — возбужденіе страсти; а страсть, по мнѣнію нашего критика, оскверняетъ все то, во что̀ ее вмѣшиваютъ. Мы думали доселѣ, что, напротивъ, страсть есть источникъ всякой живой, плодотворной дѣятельности, что ею сдѣлано все великое и прекрасное, и что зло не въ страсти вообще, а въ дурныхъ страстяхъ; но что безъ страстей вообще житейское море такъ же бы чуждо было всякаго движенія, какъ водяное море безъ вѣтровъ. Иные люди нападаютъ на страсти оттого именно, что сами слишкомъ страстны, что устали и измучились волненіемъ страстей. Другіе же потому, что вовсе ихъ не знаютъ и сами не вѣдаютъ, за что́ на нихъ сердятся. Всякіе бываютъ люди и всякія страсти. У иного напримѣръ всю страсть, весь паѳосъ его натуры составляетъ холодная злость, и онъ только тогда бываетъ уменъ, талантливъ и даже здоровъ, когда кусается.

Итакъ, это дѣло рѣшенное, не подлежащее никакому сомнѣнію, что сущность новѣйшей французской литературы—«клевета на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенная для поощренія къ совершенствованію». «Стремленіе (прибавляетъ нашъ критикъ) въ основѣ своей благородное, похвальное, но созданное ложно и потому безплодное». Однакожъ не думайте, чтобы натуральная школа ужъ ничѣмъ не отличалась отъ французской литературы: у нея содержаніе свое, національное, разработанное Гоголемъ. Что̀ за путаница! Какъ истина-то, противъ воли нашего критика, сама пробивается наружу сквозь непроходимую чащу умышленно наплетенныхъ клеветъ, съ благородной цѣлью если не исправить своихъ литературныхъ противниковъ, то хоть насолить имъ! Какъ ни припутываетъ онъ къ натуральной школѣ французскую словесность, а все-таки только одинъ Гоголь является въ прямомъ отношеніи къ ней. Какъ ни бились мы, чтобы понять, чѣмъ, по мнѣнію нашего критика, разнится натуральная школа отъ Гоголя, а поняли въ его словахъ только то, что́ давно хорошо понимали и безъ него, т. е. что Гоголь далеко выше всѣхъ своихъ послѣдователей. Значитъ, преступленіе натуральной школы состоитъ только въ томъ, что таланты ея представителей ниже таланта Гоголя. Да, это вина! Мы пропускаемъ юмористическую характеристику натуральной школы, сдѣланную критикомъ «Москвитянина» съ цѣлью показать всю ничтожность, пустоту и пошлость натуральной школы. Въ этой характеристикѣ онъ обнаружилъ бездну того остроумія, которое такъ и блещетъ въ его сравненіи французской соціальной литературы съ лавкой приказчика. Онъ говоритъ, что произведенія натуральной школы—пародіи на созданные Гоголемъ типы, карикатуры и клевета на дѣйствительность, что ея пріемы всегда одни и тѣ же, характеры блѣдны и безцвѣтны, интрига завязывается слабымъ узломъ, такъ что всякій разсказъ можно на любомъ мѣстѣ прервать и также тянуть до безконечности, и что всѣмъ этимъ достигается побочная цѣль, а именно: наводится нестерпимая скука на читателя. Далѣе онъ говоритъ положительно, что вліяніе натуральной школы безвредно, потому что ничтожно. Эта мысль даже повторена; въ другомъ мѣстѣ критикъ говоритъ, что писатели нелюбимой имъ школы впали въ односторонность «именно потому, что у насъ односторонность невинна и безопасна, что самое направленіе есть плодъ подражанія, а не дѣйствительныхъ потребностей общества, и потому забавляетъ его или наводитъ на него скуку, не задѣвая за живое». Наконецъ, что натуральная школа не поддержана ни однимъ сильнымъ талантомъ, что ей не поддался ни одинъ даже второклассный талантъ, и что она должна исчезнуть такъ же скоро и случайно, какъ она возникла.

Положимъ, все это справедливо; но въ такомъ случаѣ изъ чего-же вы горячитесь, зачѣмъ безпрестанно пишете о натуральной школѣ, ни на минуту не сводите съ нея вашего тревожнаго вниманія, посвящаете ей цѣлыя длинныя статьи, похожія на горькія жалобы, если еще не на что-то худшее?.. Воля ваша, а тутъ есть странное противорѣчье, которое можно объяснить только развѣ тѣмъ, что къ этому вопросу примѣшалась та страсть, которой вліяніе критикъ находитъ столь дурнымъ. Стоитъ ли толковать о пустякахъ, о вздорѣ,—словомъ, о литературныхъ произведеніяхъ, которыя клевещутъ на общество, даже не по злонамѣренности, напротивъ, съ добрымъ и благороднымъ намѣреньемъ, а потому, что они не самобытны, на половину подражаютъ Гоголю, перенимая его односторонность и недостатки, на половину — новѣйшей французской литературѣ, перенимая у ней преувеличенія и недобросовѣстное искаженіе дѣйствительности,—о литературныхъ произведеніяхъ, чуждыхъ всякаго достоинства, не ознаменованныхъ талантомъ, способныхъ наводить только скуку, и потому самому безвредныхъ и ничтожныхъ, несмотря на ложное ихъ направленіе? Но если уже нашъ критикъ

позволилъ себѣ сдѣлать такую несообразность, впасть въ такое противорѣчіе съ самимъ собой, несмотря на всю нелюбовь его къ подобнымъ противорѣчіямъ по крайней мѣрѣ въ другихъ, онъ все-же бы долженъ былъ представить хоть какія-нибудь доказательства въ подтвержденіе своего мнѣнія, вмѣсто того чтобы ограничиться только изложеніемъ своего мнѣнія. Нѣтъ ничего легче, какъ доказывать общими положеніями безъ примѣненій ихъ къ подробностямъ обсуживаемаго предмета. Этакъ легко доказать, что не только натуральная школа, но и любая литература никуда не годится; но подобная манера доказывать убѣдительна только для доказывающаго, больше ни для кого. Правда, критикъ сослался на три произведенія натуральной школы: «Деревню», «Родственники» и «Помѣщикъ»; но, во-первыхъ, натуральная школа состоитъ не изъ трехъ же только этихъ произведеній, а во-вторыхъ, онъ только назвалъ ихъ дурными, не приведя никакихъ доказательствъ, вѣроятно думая, что ему стоитъ только сказать то или другое, чтобы ему всѣ повѣрили безусловно. Правда, онъ распространился о «Деревнѣ», но изъ его диктаторскихъ возгласовъ противъ этой повѣсти видно только то, что ему не нравится ея направленіе, а не то, чтобы оно дѣйствительно было дурно. Нѣтъ, если онъ хотѣлъ, почему бы то ни было, уничтожить натуральную школу, ему бы слѣдовало, оставивъ въ сторонѣ ея направленіе, ея, какъ онъ вѣжливо выражается, клеветы на общество, разобрать главныя ея произведенія на основаніи эстетической критики, чтобы показать, какъ мало или какъ вовсе не соотвѣтствуютъ они основнымъ требованіямъ искусства. Тогда уже и ихъ направленіе само собой уничтожилось бы, потому что когда произведеніе, претендующее принадлежать къ области искусства, не выполняетъ его требованій, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасетъ его никакое направленіе. Искусство можетъ быть органомъ извѣстныхъ идей и направленій, но только тогда, когда оно — прежде всего искусство. Иначе его произведенія будутъ мертвыми аллегоріями, холодными диссертаціями, а не живымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности. Тѣмъ болѣе обязанъ былъ сдѣлать это нашъ критикъ, что онъ особенно заботится о чистомъ искусствѣ, объ искусствѣ, какъ искусство. Но онъ предпочелъ упомянуть, и то вскользь, о трехъ только произведеніяхъ натуральной школы, а обо всѣхъ другихъ умалчиваетъ и, кромѣ Григоровича, не назвалъ по имени ни одного изъ ея представителей.

На все на это у него были свои причины. Онъ вѣроятно чувствовалъ, что, пустившись въ настоящую критику произведеній натуральной школы, онъ принужденъ былъ бы найти въ ней что-нибудь и хорошее, что̀ было вовсе несообразно съ его намѣреніемъ; потомъ онъ не могъ бы избѣжать выписокъ, а онѣ могли бы доказывать совершенно противное его доказательствамъ. Называя по именамъ писателей натуральной школы, онъ этимъ показалъ бы, что не шутитъ своимъ дѣломъ и не смотритъ на отношенія, въ которыя могла бы его поставить его откровенность ко столькимъ лицамъ. Гораздо спокойнѣе было ему назвать только одного, да намекнуть еще на двухъ: остальные не вправѣ считать себя въ числѣ подпавшихъ его нападкамъ: при случаѣ можно сказать имъ, что онъ не относитъ ихъ къ натуральной школѣ. Но подобныя недоговорки и уклончивость никогда не разъясняютъ дѣла, а только усиливаютъ и усложняютъ недоразумѣнія, и потому мы просимъ нашего критика отвѣтить намъ прямо и откровенно: неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ не видитъ никакого таланта, не признаетъ никакой заслуги въ такихъ писателяхъ, каковы напримѣръ: Луганскій (Даль), авторъ «Тарантаса», авторъ повѣсти «Кто виноватъ?», авторъ «Бѣдныхъ Людей», авторъ «Обыкновенной Исторіи», авторъ «Записокъ Охотника», авторъ «Послѣдняго Визита», о которыхъ онъ не почелъ за нужное упомянуть? Потомъ; неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ ни во что ставитъ успѣхъ произведеній натуральной школы или думаетъ увѣрить насъ, что онъ его не видитъ и не признаетъ? Какіе журналы пользуются наибольшимъ успѣхомъ, если не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы, и которыхъ направленіе совпадаетъ съ направленіемъ этой школы? Скажемъ больше: безъ этихъ произведеній натуральной школы теперь невозможенъ успѣхъ никакого журнала. Или критикъ нашъ не шутя считаетъ русскую публику до сихъ поръ несовершеннолѣтней, какимъ-то недорослемъ, который шагу не можетъ сдѣлать безъ критическихъ нянекъ, и потому поневолѣ допускаетъ ихъ сбивать его съ толку, направляя то въ ту, то въ другую сторону? Это дѣйствительно было въ эпоху безусловной вѣры въ имена и авторитеты; но этого давно уже нѣтъ. Критика, слава Богу, давно уже изъ журналовъ перешла въ публику, сдѣлалась общественнымъ мнѣніемъ. Судьба книги или какого-нибудь литературнаго произведенія уже давно не зависитъ отъ произвола всякаго, кто только вздумаетъ ее поднять или уронить. Мо-

нополій критическихъ теперь нѣтъ, потому что у всякаго журнала свое мнѣніе, и что̀ хвалитъ одинъ, то бранитъ другой. Но обратимся къ фактамъ. Пушкинъ былъ встрѣченъ и восторженными похвалами, и ожесточенной бранью: неужели же наша публика признала его великимъ національнымъ поэтомъ только потому, что его хвалители перекричали его порицателей? Нужно ли говорить, что съ перваго появленія Гоголя на литературное поприще до сей минуты его постоянно преслѣдуетъ одна литературная партія, что самыя рѣшительныя нападки на него раздавались изъ журнала, имѣвшаго обширный кругъ читателей, и доселѣ раздаются изъ газеты, тоже пользующейся большимъ расходомъ? Неужели же опять необыкновенный и быстрый успѣхъ сочиненій Гоголя произошелъ оттого, что, какъ увѣряетъ одна газета, его хвалители кричали громче всѣхъ? Лермонтовъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ какихъ-нибудь четыре года и умеръ прежде, нежели талантъ его успѣлъ вполнѣ развернуться, а между тѣмъ во мнѣніи публики онъ еще при жизни своей сталъ въ ряду первоклассныхъ знаменитостей русской литературы: неужели и это опять дѣло литературной партіи? А публика тутъ что̀ же? Какая, подумаешь, сговорчивая публика! Но почему же наши противники съ обѣихъ сторонъ не могли увѣрить ее ни въ ничтожности прославляемыхъ нами литературныхъ именъ, ни въ великости талантовъ и заслугъ писателей своихъ партій? Вѣдь если дѣло пойдетъ на громкость голоса, рѣзкость выраженій и рѣшительность приговоровъ, наши противники едва-ли уступятъ намъ въ этомъ, но вѣроятно еще и далеко превзойдутъ насъ... Но риторическая школа, нападая на натуральную, по крайней мѣрѣ противопоставляетъ, хотя и безъ успѣха, ея писателямъ и произведеніямъ своихъ писателей и свои произведенія, но господа славянофилы не могутъ сдѣлать и этого. А между тѣмъ самымъ простымъ, законнымъ, справедливымъ и дѣйствительнымъ средствомъ уничтожить натуральную школу и дать настоящее направленіе вкусу публики было бы для нихъ—противопоставить ея писателямъ своихъ писателей, ея произведеніямъ—свои произведенія... Что̀ же мѣшаетъ имъ сдѣлать это? Они впрочемъ это и дѣлаютъ время отъ времени, понемножку и помаленьку: то напечатаютъ повѣсть, которой никто, кромѣ ихъ, читать не можетъ и не хочетъ, то стихотвореніе вродѣ «свѣтикалуны», въ народномъ тонѣ котораго виденъ баринъ, неловко костюмировавшійся крестьяниномъ... Бѣдные!...

Но мы еще не упомянули о самой главной, самой тяжкой винѣ, которая, по мнѣнію критика «Москвитянина», лежитъ на натуральной школѣ. Дѣло—видите-ли—въ томъ, что «она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клевещетъ на него, какъ и на общество»!... Вотъ ужъ этого-то обвиненія мы, признаться, не ожидали отъ славянофиловъ, хотя и многаго другого ожидали отъ нихъ! Но защищать противъ него натуральную школу мы не намѣрены, по крайней мѣрѣ серьёзно, потому что видимъ въ немъ даже не клевету, а просто нелѣпость. Это все равно, какъ еслибы славянофиловъ обвинять въ исключительной любви къ Западу и ненависти ко всему, что̀ носитъ на себѣ славянскій характеръ. Въ этомъ случаѣ мы искренно жалѣемъ о критикѣ «Москвитянина», что онъ не позаботился подкрѣпить ссылками на сочиненія натуральной школы и даже выписками изъ нихъ такое важное, уже не въ литературномъ, а въ нравственномъ отношеніи, обвиненіе, выставляющее въ дурномъ свѣтѣ не талантъ, а сердце его противниковъ, оскорбляющее уже не самолюбіе, а ихъ достоинство... Да, такой со стороны его необдуманный поступокъ возбуждаетъ въ насъ искреннее къ нему сожалѣніе...

Положеніе натуральной школы между двумя непріязненными ей партіями поистинѣ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ обѣихъ—самое себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... Оставимъ въ сторонѣ разглагольствованія критика «Москвитянина» о народѣ, который, по его мнѣнію, «сохранилъ въ себѣ какое-то здравое сознаніе равновѣсія между субъективными требованіями и правами дѣйствительности,—сознаніе, заглушенное въ насъ одностороннимъ развитіемъ личности», и предоставимъ ему самому разгадать таинственный смыслъ его собственныхъ словъ; а сами замѣтимъ только, что враги натуральной школы отличаются между прочимъ удивительной скромностью въ отношеніи къ самимъ себѣ и удивительной готовностью отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, Хомяковъ, съ рѣдкой въ нашъ хитрый и осторожный вѣкъ наивностью, объявилъ печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству «невольное и прирожденное», а у его противниковъ—«пріобрѣтенное волей и разсудкомъ, такъ сказать, наживное» («Моск. Сборникъ», 1847). А вотъ теперь М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, моно-

полію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всѣми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что̀ дѣлалось литераторами для споспѣшествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими. Укажемъ на «Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ: тамъ есть труды Даля, князя Одоевскаго, графа Соллогуба и другихъ литераторовъ, но ни одного изъ славянофиловъ. Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то очень не ласково и не высоко цѣнятъ его; но не будемъ здѣсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала что̀ могла для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезной; а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него. И почему думаетъ критикъ «Москвитянина», что писатели натуральной школы не знаютъ народа? Сошлемся въ особенности на того же Даля, о которомъ мы уже упоминали: изъ его сочиненій видно, что онъ на Руси человѣкъ бывалый; воспоминанія и разсказы его относятся и къ западу и къ востоку, и къ сѣверу и къ югу, и къ границамъ и къ центру Россіи; изо всѣхъ нашихъ писателей, не исключая и Гоголя, онъ особенное вниманіе обращаетъ на простой народъ, и видно, что онъ долго и съ участіемъ изучалъ его, знаетъ его бытъ до малѣйшихъ подробностей, знаетъ, чѣмъ владимірскій крестьянинъ отличается отъ тверского и въ отношеніи къ оттѣнкамъ нравовъ, и въ отношеніи къ способамъ жизни и промысламъ. Читая его ловкіе, рѣзкіе, теплые типическіе очерки русскаго простонародья, многому отъ души смѣешься, о многомъ отъ души жалѣешь, но всегда любишь въ нихъ простой нашъ народъ, потому что всегда получаешь о немъ самое выгодное для него понятіе. И публика послѣ этого повѣритъ какому нибудь М... З... К..., впродолженіе двухъ почти лѣтъ прогарцовавшему въ литературѣ двумя статейками, что такой писатель, какъ Даль, меньше его знаетъ и любитъ русскій народъ, и что онъ выставляетъ его въ карикатурѣ?... Не думаемъ! Нападая на Григоровича за злостное, будто бы, представленіе крестьянскихъ нравовъ въ его повѣсти «Деревня», критикъ «Москвитянина» не забылъ замѣтить, что лицо Акулины очерчено риторически и лишено естественности; а что въ самой неудавшейся попыткѣ автора повѣсти показать глубокую натуру въ загнанномъ лицѣ его героини видна его симпатія и любовь къ простому народу,—объ этомъ онъ забылъ упомянуть, вѣроятно по избытку безпристрастія и справедливости...

Приступая къ статьѣ Бѣлинскаго, критикъ «Москвитянина» почелъ нужнымъ отрекомендовать его публикѣ не только со стороны его литературной дѣятельности, но и со стороны характера. «Бѣлинскій (говоритъ онъ) составляетъ совершенную противоположность Никитенко. Онъ почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизной и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась наконецъ въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей». Не знаемъ, изъ какого источника почерпнулъ критикъ «Москвитянина» эти любопытныя свѣдѣнія о Бѣлинскомъ, но только не изъ его сочиненій; всего вѣроятнѣе, что изъ сплетень, развозимыхъ заѣзжими посѣтителями, о которыхъ онъ упоминаетъ въ началѣ своей статьи. Оттого и сужденіе его о Бѣлинскомъ не имѣетъ ничего общаго съ литературнымъ отзывомъ. Еслибы онъ обратился къ настоящему источнику, т. е. къ статьямъ Бѣлинскаго, то едва ли бы нашелъ тамъ подтвержденіе тому, что̀ говоритъ онъ о немъ. Повѣрить ему, такъ во всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго нѣтъ никакого единства, что сегодня онъ говоритъ одно, завтра—другое! Это едва-ли справедливо. По крайней мѣрѣ Бѣлинскому не разъ случалось читать на себя нападки своихъ противниковъ за излишнее постоянство въ главныхъ пунктахъ его убѣжденій касательно многихъ предметовъ. Вотъ ужъ сколько напримѣръ времени, какъ онъ говоритъ о славянофилахъ одно и то же, и можетъ положительно ручаться за себя, что никогда не измѣнится въ этомъ отношеніи. Онъ глубоко убѣжденъ, что критикъ «Москвитянина»—человѣкъ вполнѣ самостоятельный и родился уже готовымъ славянофиломъ, а не сдѣлался имъ вслѣдствіе несчастной воспріимчивости и таковой же

способности понимать легко и поверхностно, и что ничто не помѣшало развитію его способностей, съ такимъ блескомъ обнаруженныхъ имъ при защитѣ славянофильства. Да, Бѣлинскій охотно уступаетъ ему и самобытность, и глубокость пониманія, особенно предметовъ, недоступныхъ разумѣнію другихъ, напр. того, что Гоголь сдѣлался живописцемъ пошлости вслѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія; словомъ, Бѣлинскій охотно уступаетъ своему противнику все, что̀ онъ у него отнялъ; но, къ величайшему своему прискорбію, взамѣнъ этого, никакъ не можетъ признать въ немъ того, что̀ онъ такъ великодушно, хотя и вовсе непослѣдовательно, призналъ въ немъ, т. е. эстетическаго чувства. Бѣлинскій признаетъ вполнѣ оригинальность, глубину и силу мистическаго воззрѣнія въ сужденіи критика «Москвитянина» о Гоголѣ; но никакъ не можетъ сказать того же о его эстетическомъ воззрѣніи на Гоголя и на натуральную школу. Бѣлинскому странно только, что его противникъ могъ найти въ немъ эстетическое чувство, когда вслѣдъ затѣмъ же онъ говоритъ, что онъ, Бѣлинскій, былъ всегда подъ чужой мыслью, съ тѣхъ поръ какъ явился на поприщѣ критики. Да зачѣмъ же эстетическое чувство тому, кто опредѣляетъ достоинство изящныхъ произведеній съ чужого голоса, кто чужой мысли не умѣетъ провести черезъ себя самого и претворить ее въ свою собственную? И какъ въ критикахъ такого человѣка замѣтить эстетическое чувство? Далѣе критикъ «Москвитянина» обвиняетъ Бѣлинскаго въ отсутствіи терпимости, справедливо приписывая это его привычкѣ мыслить чужимъ образомъ мыслей. Бѣлинскій съ своей стороны видитъ несомнѣнное доказательство мыслительной самобытности М.... З.... К.... въ его терпимости, которую такъ умилительно обнаружилъ онъ при сужденіи о натуральной школѣ и о своихъ противникахъ, Кавелинѣ и Бѣлинскомъ. Что же касается до того, что М.... З.... К.... осудилъ Бѣлинскаго на вѣчную неразвитость способностей,—Бѣлинскій нисколько не удивляется благородной умѣренности и изящной вѣжливости такого о немъ отзыва: ему уже не въ первый разъ встрѣчать подобныя противъ себя выходки въ «Мосвитянинѣ». Чего тамъ не писали о немъ? И что онъ ни чему не учился, ни о чемъ не имѣетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка, и т. п. Въ началѣ прошлаго года Бѣлинскій собирался издать огромный литературный сборникъ; объ этомъ намѣреніи слегка было намекнуто въ числѣ другихъ литературныхъ слуховъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». И что же? — въ «Москвитянинѣ» вслѣдъ затѣмъ было напечатано, что въ Петербургѣ издается огромный альманахъ съ картинками, съ цыганскими хорами и плясками и т. п. Тутъ впрочемъ нечему удивляться: въ подобныхъ выходкахъ славянофилы не болѣе, какъ вѣрны началу своего ученія, т. е. слѣдуютъ тѣмъ неиспорченнымъ вліяніемъ лукаваго Запада нравамъ, которымъ они такъ удивляются, и которые къ ихъ сожалѣнію давно уже исчезли на Руси, но которые при ихъ помощи, будемъ надѣяться, еще воротятся къ намъ... Но пока Бѣлинскій не видитъ никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибѣгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама съумѣетъ увидѣть разницу между человѣкомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ,— и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ черезъ своего камердинера и думаетъ, что любитъ его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который между служебными и свѣтскими обязанностями занимается также и литературой, въ качествѣ диллетанта, и изъ году въ годъ высиживаетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ и, пожалуй, талантливымъ... Въ наше время талантъ самъ по себѣ не рѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстной дѣятельностью, потому что только тогда можетъ онъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобъ вѣрно судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ объ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это всегда бывало для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски,—для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности...

Говоря выше о Гоголѣ и натуральной

школѣ, мы отвѣтили на бо́льшую часть возраженій критика «Москвитянина» на статью Бѣлинскаго, особенно виноватаго въ его глазахъ за хорошее мнѣніе о натуральной школѣ. Это-то критикъ нашъ и называетъ «односторонностью и тѣснотой образа мыслей», составляющихъ второй пунктъ его обвинительнаго противъ «Современника» акта. Въ сущности эта односторонность и тѣснота образа мыслей есть самобытный, независимый отъ славянофильства взглядъ на литературу. Третье и послѣднее обвиненіе противъ насъ въ статьѣ «Москвитянина» состоитъ въ искаженіи нами образа мыслей гг. славянофиловъ. Можетъ-быть мы и дѣйствительно не совсѣмъ вѣрно излагали ихъ образъ мыслей и приписывали имъ иногда такія мнѣнія, которыя имъ не принадлежатъ, и умалчивали о такихъ, которыя составляютъ основу ихъ ученія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній. Вмѣсто этого у нихъ одни

Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто.

Доселѣ ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того они безпрестанно противорѣчатъ самимъ себѣ; такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнѣній, сколько и лицъ. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе то темные намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился впродолженіе вѣковъ. Все это можетъ-быть и заслуживаетъ по крайней мѣрѣ быть выслушаннымъ; но для этого сперва должно быть высказаннымъ. Бѣлинскій въ статьѣ своей въ первой книжкѣ «Современника» сказалъ, что явленіе славянофильства есть фактъ, замѣчательный до извѣстной степени, какъ протестъ противъ безусловной подражательности и какъ свидѣтельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитіи. Въ подобномъ отзывѣ не могло быть ничего оскорбительнаго для славянофиловъ. Напротивъ, онъ давалъ имъ удобный случай объясниться съ своими противниками, изложивъ имъ свое ученіе и показавъ имъ, въ чемъ и гдѣ именно они понимаютъ его невѣрно. Но славянофилы поступили иначе. Какъ люди, не привыкшіе къ благосклоннымъ о себѣ отзывамъ со стороны не принадлежащихъ къ нимъ литературныхъ партій, они до того обрадовались отзыву Бѣлинскаго, что начали смотрѣть на всѣхъ своихъ противниковъ, какъ на разбитое въ прахъ войско, а на себя—какъ на великихъ побѣдителей. Вотъ что́ называется—не давши сраженія, торжествовать побѣду! Вмѣсто того чтобы объяснить свой образъ мыслей, они съ ожесточеніемъ начали нападать на чужія мнѣнія.

Скажите, легко-ли послѣ этого судить вѣрно о такомъ образѣ мыслей?

Давно уже замѣчена за славянофилами замашка — основывать важность своего ученья на такихъ фактахъ, которые или вовсе на существуютъ, или доказываютъ совсѣмъ противное. Мы сейчасъ представимъ доказательство этого изъ статьи М.... З... К...., гдѣ между прочимъ выдается за несомнѣнную истину, будто бы «на краснорѣчивый голосъ Мицкевича взоры многихъ, въ томъ числѣ и Жоржъ Занда, обратились къ славянскому міру, который понятъ ими какъ міръ общины, и обратились не съ однимъ любопытствомъ, а съ какимъ то участіемъ и ожиданіемъ». Эта оригинальная выходка снабжена выноской, въ которой говорится объ извѣстномъ сочиненіи Жоржъ Запда—«Жишка» или «Зишка». Все это, по мнѣнію критика «Москвитянина», значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что Европа ужасно какъ занята такъ-называемымъ славянскимъ вопросомъ; а по нашему мнѣнію, все это ровно ничего не значитъ. Если Зандъ избрала предметомъ своего сочиненія гусситскую войну, это могло произойти безъ всякаго отношенія къ важности или неважности славянскаго вопроса, а, напротивъ, именно оттого, что гусситская война—событіе чисто европейское, западное, католическое; славянскаго тутъ только національное происхожденіе дѣйствователей, да безплодный для нихъ исходъ георической впрочемъ борьбы. Когда дѣло реформы взяло на себя германское племя, реформа восторжествовала надъ католицизмомъ. Что́ касается до Мицкевича, его дѣйствительно краснорѣчивый, хотя и сумасбродный, голосъ точно обратилъ къ себѣ на нѣкоторое время вниманіе парижанъ, жадныхъ до новостей; но къ славянскому вопросу все-таки не возбудилъ никакого участія. Извѣстно, что французское правительство принуждено было запретить Мицкевичу публичныя чтенія, но не

за ихъ направленіе, нисколько не опасное для него, а чтобы прекратить сцены, несогласныя съ общественнымъ приличіемъ. Надо сказать, что въ Парижѣ есть нѣкто Товьянскій, выдающій себя за пророка и чудотворца, который призванъ, когда настанетъ время, устроить къ лучшему дѣла сего міра. Мицкевичъ увѣровалъ въ этого шарлатана,—что̀ доказываетъ, что у него натура страстная и увлекающаяся, воображеніе пылкое и наклонное къ мистицизму, но голова слабая. Отсюда ученіе его носитъ названіе мессіянизма или товьянизма, и ему слѣдуютъ нѣсколько десятковъ человѣкъ изъ поляковъ. Когда разъ на лекціи Мицкевичъ въ фанатическомъ вдохновеніи спрашивалъ своихъ слушателей, вѣрятъ ли они новому мессіи, какая-то восторженная женщина бросилась къ его ногамъ, рыдая и восклицая: «вѣрю, учитель!» Вотъ случай, по которому прекращены лекціи Мицкевича, и о нихъ теперь вовсе забыли въ Парижѣ. Вообще въ Европѣ мало заботятся о чужихъ вопросахъ и чужихъ дѣлахъ, потому что у всѣхъ много своихъ и всѣ заняты ими. Это особенно относится къ французамъ; для нихъ всѣ другія страны существуютъ только по отношенію къ Франціи. Можетъ-быть поэтому въ ихъ журналахъ можно находить болѣе или менѣе вѣрныя извѣстія только объ Англіи, Испаніи и Италіи: онѣ къ нимъ ближе и больше связаны съ ними политически. Говорятъ въ Парижѣ и о Россіи, но отнюдь не потому, что это славянская земля, а потому, что это великое и могущественное государство съ огромнымъ вліяніемъ въ сферѣ европейской политики.

И вотъ на какихъ фактахъ славянофилы основываютъ важность своего ученія! Но вотъ еще примѣръ, какъ трудно, какъ невозможно понимать ихъ. Кавелинъ сказалъ, что на новгородскомъ вѣчѣ «дѣла рѣшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то неопредѣленно, сообща». Эти слова объясняются цѣлымъ взглядомъ Кавелина на новгородскую общину, какъ чуждую всякаго прочнаго основанія и потому неспособную развиться ни въ какую государственную форму. М.... З.... К.... возражаетъ на это, что въ Новгородѣ было двоевластіе, и что идеалъ новгородскаго быта можно опредѣлить, какъ согласіе князя съ вѣчемъ. Этимъ онъ хочетъ указать на особенности славянскаго общиннаго начала, составляющаго краеугольный камень славянофильства. Но изъ его словъ видно, что особеннаго и оригинальнаго въ этомъ бытѣ ничего не было, что онъ отзывается карикатурой на нынѣшнія конституціонныя монархіи, основа которыхъ—двоевластіе, а идеалъ—согласіе короля съ палатой. Критикъ «Москвитянина» прибавляетъ, что рѣдкія минуты этого согласія князя съ вѣчемъ представляютъ апогей новгородскаго быта, но признается, что оно осуществлялось только иногда, и то не на долго. Что̀ жъ тутъ было особенно любовнаго, согласнаго, общиннаго, по любимому выраженію славянофиловъ? Въ возраженіе на слова Кавелина критикъ «Москвитянина» замѣчаетъ, что «способъ рѣшенія по большинству запечатлѣваетъ распаденіе общества на большинство и меньшинство и разложеніе общиннаго начала; вѣче, выраженіе его (общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности, цѣль его—вынести и спасти единство; отъ этого вѣче обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулой: «снидошася вси въ любовь». Скажите, Бога ради, есть ли, можетъ ли быть въ какомъ бы то ни было совѣщательномъ правленіи другой способъ рѣшенія вопросовъ, кромѣ какъ по большинству голосовъ? Утверждать это—значитъ смѣяться надъ здравымъ смысломъ. Что на новгородскомъ вѣчѣ случалось бывать единодушному рѣшенію вопросовъ, безъ всякаго противорѣчащаго меньшинства—это не диво; это случается, даже не рѣдко, и въ представительныхъ камерахъ конституціонныхъ государствъ нашего времени; тѣмъ чаще это могло случаться въ массѣ народа, вездѣ наклоннаго къ мгновенному единодушному увлеченію и порыву, какъ въ добрѣ, такъ и въ злѣ. Также часто могло случаться, что меньшинство являлось слишкомъ ничтожнымъ, чтобы спорить съ большинствомъ, и часто соглашалось съ нимъ не по убѣжденію, а изъ опасенія хлебнуть волховской водицы. Извѣстно, что въ случаѣ раздѣленія мнѣній на половины равныя или почти равныя бывали драки и побоища, доставлявшія Волхову обильную добычу; которая сторона побѣждала, та и рѣшала вопросъ. И потому его рѣшеніе все-таки всегда зависѣло отъ большинства или по крайней мѣрѣ отъ перевѣса физической силы. Но Кавелинъ былъ правъ, сказавши, что дѣла рѣшались на вѣчѣ не по большинству голосовъ: онъ хотѣлъ этимъ указать на отсутствіе баллотировки или другой какой-нибудь постоянной, неизмѣнной, кореннымъ закономъ опредѣленной формы для обнаруженія большинства, а потому и прибавилъ: «а какъ то совершенно неопредѣленно, сообща», т.-е. безтолково и нелѣпо, какъ прилично общинѣ чисто патріархальной, совершенно чуждой юридическаго элемента. И такія общины были совсѣмъ не у однихъ славянскихъ племенъ, какъ увѣ-

ряютъ славянофилы, а были и у всѣхъ племенъ и народовъ въ патріархальномъ состояніи, даже и у дикарей, да только нигдѣ онѣ не развились, во многихъ мѣстахъ не удержались. И у цельтическихъ племенъ были эти общины, ибо они управлялись собраніями народа и совѣтами старцевъ, жрецовъ и т. д.; но только германскіе народы развили общинное начало, потому что внесли въ него юридическое начало, какъ главное и преобладающее.

А между тѣмъ общинный бытъ славянскихъ племенъ—краеугольный камень славянофильства; по крайней мѣрѣ онъ не сходитъ у нихъ съ языка, и ему назначили они свидѣтельствовать въ пользу любовности, какъ общественной стихіи, отличающей славянскія племена отъ всѣхъ другихъ. Но не значитъ ли это — основывать свое ученіе именно на тѣхъ фактахъ, которые особенно противорѣчатъ ему? Какъ же вы хотите, чтобы такое ученіе понимали, и чтобы, говоря о немъ, не впадали въ противорѣчія? И потому Бѣлинскій охотно признаетъ, что онъ изложилъ основанія славянофильства невѣрно и противорѣчиво, и не будетъ защищаться отъ возраженій своего противника по этому вопросу, тѣмъ болѣе, что эти возраженія не подвинули его, Бѣлинскаго, ни на шагъ впередъ по части пониманія славянофильства, а, напротивъ, повергли его еще въ бо́льшее прежняго недоразумѣніе насчетъ этого таинственнаго ученія. Онъ не станетъ спорить съ славянофилами даже и въ такомъ случаѣ, если они скажутъ ему, что онъ ошибся и впалъ въ противорѣчіе, назвавши славянофильство заслуживающимъ вниманіе и имѣющимъ какой-нибудь смыслъ явленіемъ, но охотно согласится съ ними въ этомъ, по личной потребности внутренняго очищенія... Да и какъ спорить съ славянофилами о чемъ бы то ни было, возражать имъ противъ чего бы то ни было или защищаться противъ нихъ въ чемъ бы то ни было, когда они, какъ кажется, окончательно порѣшили, что ихъ ученіе несомнѣннѣе самой несомнѣнной книги восточныхъ народовъ, что все несогласное съ нимъ есть оскорбленіе истины и нравственнаго чувства? Просимъ нашихъ читателей вспомнить, что́ наговорилъ критикъ «Москвитянина» на натуральную школу; нашелъ ли онъ въ ней хоть что-нибудь хорошее, что́ находятъ въ ней иногда, хотя и не искренно, а ради приличія, даже риторическіе враги ея? Еще разъ: какъ спорить съ людьми, которымъ, во что́ бы ни стало, нужно оправдать свою систему, и которые поэтому не уважаютъ даже фактовъ? Бѣлинскій напримѣръ сказалъ: «Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-Петровская Русь лучше Россіи новой: вотъ источникъ славянофильства». Говоря такъ, онъ имѣлъ въ виду не одну «Исторію» Карамзина, но и рукописный его обзоръ древней и новой исторіи Россіи, извѣстный многимъ. Критикъ «Москвитянина», выписывая изъ VI тома «Исторіи» Карамзина параллель между Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, самъ соглашается, что здѣсь дѣйствительно проглядываетъ предпочтеніе въ пользу Іоанна; а потомъ какъ-то выводитъ, что Бѣлинскій взвелъ на Карамзина небылицу.

Мы отвѣтили критику «Москвитянина» на всѣ три его обвинительные противъ «Современника» пункта. Читатели видѣли, какъ важны и дѣйствительны противорѣчія между статьей Никитенко и статьей Бѣлинскаго, равно какъ и помѣщаемыми въ нашемъ журналѣ произведеніями натуральной школы. Что́ касается до второго пункта, т. е. до односторонности и тѣсноты образа мыслей «Современника»,—ясно, какъ день, что онѣ заключаются въ нашемъ несогласіи съ основаніями славянофильства,—въ томъ, что мы никакъ не можемъ принять за аксіому предположенія, будто европейскій бытъ ложенъ своимъ основаніемъ отрицанія крайностей, — что мы не можемъ отдѣлить Гоголя отъ натуральной школы иначе, какъ только на основаніи неоспоримаго превосходства его таланта, а отнюдь не на томъ темномъ и непонятномъ для насъ основаніи, будто онъ сдѣлался живописцемъ пошлости по личному требованію внутренняго очищенія,—что мы не можемъ ненавидѣть и преслѣдовать натуральную школу, взводя на нее разныя небылицы и обращая противъ нея то, что́ составляетъ ея существенное достоинство, т. е. симпатію къ человѣку во всякомъ состояніи и званіи, за то только, что она не поняла личной потребности внутренняго очищенія. Но фанатизмъ послѣдователей какого-нибудь ученья доказываетъ не его истинность, а только его односторонность, исключительность и часто совершенную ложность. А какъ судятъ славянофилы объ изящныхъ произведеніяхъ напримѣръ? Для нихъ тутъ все дѣло въ направленіи: согласно оно съ ихъ направленіемъ, такъ въ произведеніи есть талантъ; не согласно, оно—чистѣйшая бездарность. Вотъ изъ тысячи примѣровъ одинъ. Тургеневъ у «Москвитянина» и у «Московскаго Сборника» постоянно находился въ разрядѣ бездарныхъ писакъ, особенно за его стихотворный физіологическій очеркъ: «Помѣщикъ». Но вотъ «Московскому Сборнику» показалось почему-то,

что въ своемъ разсказѣ охотника: «Хорь и Калинычъ», Тургеневъ совпалъ съ славянофилами въ понятіи о простомъ народѣ, —и за это Тургеневъ тотчасъ же и торжественно произведенъ «Московскимъ Сборникомъ» изъ бездарностей въ талантъ, а разсказъ его названъ—шутка ли!—превосходнымъ. Да неужели же талантъ писателя прежде всего не въ его натурѣ, не въ его головѣ, а всегда только въ его направленіи? Неужели сочиненіе не можетъ въ одно и то же время отличаться и талантомъ, и ложнымъ направленіемъ? Мы не думаемъ, чтобы славянофилы не знали этого; но они съ умысломъ закрываютъ глаза на эту истину, съ умысломъ держатся этой (говоря словами М.... З.... К....) «клеветы на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенной для поощренія къ совершенствованію», т. е. къ переходу въ славянофильство; но (скажемъ опять словами того же М.... З.... К....) «никто не вправѣ заподозрѣвать намѣренія; мы вѣримъ, что оно чисто и благородно, но средство не годится, и путь слишкомъ хитеръ», т. е. слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Но по крайней мѣрѣ «Московскій Сборникъ» обнаружилъ похвальную готовность похвалить хорошее въ писателѣ противной стороны, хотя и по своему объяснилъ это внезапное и неожиданное имъ явленіе хорошаго у писателя, который, по его мнѣнію, до тѣхъ поръ писалъ только дурное. Вотъ его собственныя слова по этому предмету: «Вотъ что̀ значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмигъ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ (а!), скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!» Почему же М.... З.... К.... не замѣтилъ этого: вѣдь разсказъ «Хорь и Калинычъ» напечатанъ въ первой же книжкѣ «Современника», въ которой напечатаны и разбираемыя имъ статьи? Ясно, что или онъ боялся это сдѣлать, чтобы его нападки на натуральную школу въ его же собственныхъ глазахъ не обратились въ совершенную ложь, или что два славянофила не могутъ говорить объ одномъ и томъ же предметѣ, не противорѣча другъ другу.

Какъ же послѣ этого требовать отъ другихъ, чтобы они вѣрно судили о такомъ ученіи, въ которомъ еще не успѣли согласиться сами его послѣдователи? Вотъ когда они сами вникнутъ хорошо и основательно въ то, что̀ выдаютъ за начало всякой премудрости, да ясно и опредѣленно изложатъ свое ученіе,—тогда ихъ будутъ слушать, не станутъ приписывать имъ того, чего они не говорили, и, можетъ быть не соглашаясь съ ними вполнѣ, охотно отдадутъ справедливость тому, что̀ есть хорошаго и справедливаго въ ихъ образѣ мыслей. Но для этого имъ нужно больше говорить о себѣ, чѣмъ о другихъ, больше доказывать свои положенія, чѣмъ опровергать чужія, потомъ выражаться насчетъ своихъ противниковъ повѣжливѣе, съ бо̀льшимъ достоинствомъ, и вообще не ограничиваться одними общими отвлеченными разсужденіями о любви и смиреніи, но проявлять ихъ въ дѣйствіи. Любовь и смиреніе, безспорно, прекрасныя добродѣтели на дѣлѣ, но на словахъ они стоютъ не больше всякой другой болтовни.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА.

I.

Время и прогрессъ.—Фельетонисты.—Враги прогресса.—Употребленіе иностранныхъ словъ въ русскомъ языкѣ.—Годичныя обозрѣнія русской литературы въ альманахахъ двадцатыхъ годовъ.—Обозрѣнія нашего времени.—Натуральная школа.—Ея происхожденіе.—Гоголь.—Нападки на натуральную школу.—Разсмотрѣніе этихъ нападокъ.

Когда долго не бываетъ тѣхъ замѣчательныхъ событій, которыя рѣзко измѣняютъ въ чемъ-нибудь обычное теченіе дѣлъ и круто поворачиваютъ его въ другую сторону, всѣ года кажутся похожими одинъ на другой. Новый годъ празднуется какъ условный календарный праздникъ, и людямъ кажется, что вся перемѣна, все новое, принесенное истекшимъ годомъ, состоитъ только въ томъ, что каждый изъ нихъ и еще однимъ годомъ сталъ старѣе—

И хоромъ бабушки твердятъ:
Какъ наши годы-то летятъ!

А между тѣмъ, какъ оглянется человѣкъ назадъ и пробѣжитъ въ своей памяти нѣсколько такихъ годовъ, то и видитъ, что все стало съ тѣхъ поръ какъ-то не такъ, какъ было прежде. Разумѣется, тутъ у всякаго свой календарь, свои люстры, олимпіады, десятилѣтія, годины, эпохи, періоды, опредѣляемые и назначаемые событіями его собственной жизни. И потому одинъ говоритъ: «какъ все перемѣнилось въ послѣднія двадцать лѣтъ!». Для другого перемѣна произошла въ десять, для третьяго—въ пять лѣтъ. Въ чемъ заключается она, эта перемѣна, не всякій можетъ опредѣлить, но всякій чувствуетъ, что вотъ съ такого-то времени точно произошла какая-то перемѣна, что и онъ какъ будто не тотъ, да и другіе не тѣ, да не совсѣмъ тотъ порядокъ и ходъ самыхъ обыкновенныхъ дѣлъ на свѣтѣ. И вотъ одни жалуются, что все стало хуже; другіе въ восторгѣ, что все становится лучше. Разумѣется, тутъ зло и добро опредѣляется большей частью личнымъ положеніемъ каждаго, и каждый свою собственную особу ставитъ центромъ событій и все на свѣтѣ относитъ къ ней: ему стало хуже, и онъ думаетъ, что все и для всѣхъ стало хуже, и наоборотъ. Но такъ понимаетъ дѣло большинство, масса; люди, наблюдающіе и мыслящіе въ измѣненіи обычнаго хода житейскихъ дѣлъ видятъ, напротивъ, не одно улучшеніе или пониженіе ихъ собственнаго положенія, но измѣненіе понятій и нравовъ общества, слѣдовательно развитіе общественной жизни. Развитіе для нихъ есть ходъ впередъ, слѣдовательно улучшеніе, успѣхъ, прогрессъ.

Фельетонисты, которыхъ у насъ теперь развелось такое множество, и которые, по обязанности своей еженедѣльно разсуждать въ газетахъ о томъ, что въ Петербургѣ погода постоянно дурна, считаютъ себя глубокими мыслителями и глашатаями великихъ истинъ,—фельетонисты наши очень не взлюбили слово «прогрессъ» и преслѣдуютъ его съ тѣмъ остроуміемъ, котораго неоспоримую и блестящую славу они дѣлятъ только съ нашими же водевилистами. За что же слово «прогрессъ» навлекло на себя особенное гоненіе этихъ остроумныхъ господъ? Причинъ много разныхъ. Одному слово это не любо потому, что о немъ не слышно было въ то время, когда онъ былъ молодъ и еще какъ-нибудь и смогъ бы понять его. Другому потому, что это слово введено въ употребленіе не имъ, а другими,—людьми, которые не пишутъ ни фёльетоновъ, ни водевилей, а между тѣмъ имѣютъ въ литературѣ такое вліяніе, что могутъ вводить въ употребленіе новыя слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло въ употребленье безъ его вѣдома, спросу и совѣта, тогда какъ онъ убѣжденъ, что безъ его участія ничего важнаго не должно дѣлаться въ литературѣ. Между этими господами много большихъ охотниковъ выдумывать что-нибудь новое, да только это никогда имъ не удается. Они и выдумываютъ, да все не впопадъ, и всѣ ихъ нововведенія отзываются чаромутіемъ и возбуждаютъ смѣхъ. Зато, чуть только кто нибудь скажетъ новую мысль или употребитъ новое слово, имъ все кажется, что вотъ эту-то мысль или это-то слово они и выдумали-бы непремѣнно, еслибы ихъ не упредили и такимъ образомъ не перебили у нихъ случая отличиться нововведеніемъ. Есть между этими господами и такіе, которые еще не пережили эпохи, когда человѣкъ способенъ еще учиться, и, по лѣтамъ своимъ, могли бы понять слово «прогрессъ», такъ не могутъ достичь этого по другимъ «не зависящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ». При всемъ нашемъ уваженіи къ господамъ фёльетонистамъ и водевилистамъ и къ ихъ доказанному блестящему остроумію, мы не войдемъ съ ними въ споръ, боясь, что бой былъ бы слишкомъ не равенъ, разумѣется — для насъ... Есть еще особенный родъ враговъ «прогресса»; это—люди, которые тѣмъ сильнѣйшую чувствуютъ къ этому слову ненависть, чѣмъ лучше понимаютъ его смыслъ и значеніе. Тутъ уже ненависть собственно не къ слову, а къ идеѣ, которую оно выражаетъ, и на невинномъ словѣ вымѣщается досада на его значеніе. Имъ, этимъ людямъ, хотѣлось бы увѣрить и себя, и другихъ, что застой лучше движенія, старое всегда лучше новаго и жизнь заднимъ числомъ есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастья и нравственности. Они соглашаются, хотя и съ болью въ сердцѣ, что міръ всегда измѣнялся и никогда не стоялъ долго на точкѣ нравственнаго замерзанья; но въ этомъ-то они и видятъ причину всѣхъ золъ на свѣтѣ. Вмѣсто всякаго спора съ этими господами, вмѣсто всякихъ доказательствъ и доводовъ противъ нихъ, мы скажемъ, что это—китайцы... Такое названье рѣшаетъ вопросъ лучше всякихъ изслѣдованій и разсужденій...

Слово «прогрессъ» естественно должно было встрѣтить особенную непріязнь къ нему со стороны пуристовъ русскаго языка, которые возмущаются всякимъ иностраннымъ словомъ, какъ ересью или расколомъ въ ортодоксіи родного языка. Подобный пуризмъ имѣетъ свое законное и дѣльное основаніе; но тѣмъ не менѣе онъ—односторонность, доведенная до послѣдней крайности. Нѣкоторые изъ старыхъ писателей, не любя современной русской лите-

ратуры (потому что она далеко ихъ обошла, а они отъ нея далеко отстали, и такимъ образомъ лишились всякой возможности играть въ ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмомъ и твердятъ безпрестанно, что въ наше время прекрасный русскій языкъ всячески искажается и уродуется, особенно введеніемъ въ него иностранныхъ словъ. Но кто же не знаетъ, что пуристы говорили то же самое объ эпохѣ Карамзина? Стало быть, наше время терпитъ тутъ совершенную напраслину, и если оно виновато въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ, то отнюдь не больше всякаго другого времени, предшествовавшаго ему. Еслибы употребленіе въ русскомъ языкѣ иностранныхъ словъ и было зломъ, оно—зло необходимое, корень котораго глубоко лежитъ въ реформѣ Петра Великаго, познакомившей насъ со множествомъ до того совершенно чуждыхъ намъ понятій, для выраженія которыхъ у насъ не было словъ. Поэтому необходимо было чужія понятія и выражать чужими готовыми словами. Нѣкоторыя изъ этихъ словъ такъ и остались непереведенными и незамѣненными, и потому получили право гражданства въ русскомъ словарѣ. Всѣ къ нимъ привыкли, всѣ ихъ понимаютъ: за что же гнать ихъ? Конечно простолюдинъ не пойметъ словъ «инстинктъ», «эгоизмъ», но не потому не пойметъ словъ, что они иностранныя, а потому, что его уму чужды выражаемыя ими понятія, и слова «побудка», «ячество» не будутъ для него нисколько яснѣе «инстинкта» и «эгоизма». Простолюдины не понимаютъ чисторусскихъ словъ, которыхъ смыслъ внѣ тѣснаго круга ихъ обычныхъ житейскихъ понятій, напримѣръ: «событіе, современность, возникновеніе» и т. п., и хорошо понимаютъ иностранныя слова, выражающія относящіяся къ ихъ быту или не чуждыя его понятія, напримѣръ: «пачпортъ, билетъ, ассигнація, квитанція» и т. п. Что же касается до людей образованныхъ, то «инстинктъ» для нихъ—воля ваша—яснѣе и понятнѣе «побудки», «эгоизмъ»—«ячества», «факты»—«бытей». Но если одни иностранныя слова удержались и получили въ русскомъ языкѣ право гражданства, зато другія съ теченіемъ времени были удачно замѣнены русскими, большей частью вновь составленными. Такъ Тредьяковскій, говорятъ, ввелъ слово «предметъ», а Карамзинъ—«промышленность». Такихъ русскихъ словъ, удачно замѣнившихъ собою иностранныя, множество. И мы первые скажемъ, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значитъ оскорблять и здравый смыслъ, и здравый вкусъ. Такъ напримѣръ, ничего не можетъ быть нелѣпѣе и диче, какъ употребленіе слова «утрировать» вмѣсто «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывомъ иностранныхъ словъ; наша, разумѣется, не избѣгла его. И это еще не скоро кончится: знакомство съ новыми идеями, выработавшимися на чужой намъ почвѣ, всегда будетъ приводить къ намъ и новыя слова. Но чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе это будетъ замѣтно, потому что до сихъ поръ мы вдругъ знакомились съ цѣлымъ кругомъ дотолѣ чуждыхъ намъ понятій. По мѣрѣ нашихъ успѣховъ въ сближеніи съ Европой запасы чуждыхъ намъ понятій будутъ все болѣе и болѣе истощаться, и новымъ для насъ будетъ только то, что̀ ново и для самой Европы. Тогда, естественно, и заимствованія пойдутъ ровнѣе, тише, потому что мы будемъ уже не догонять Европу, а идти съ нею рядомъ, не говоря уже о томъ, что и языкъ русскій съ теченіемъ времени будетъ все болѣе и болѣе вырабатываться, развиваться, становиться гибче и опредѣленнѣе.

Нѣтъ сомнѣнія, что охота пестрить русскую рѣчь иностранными словами безъ нужды, безъ достаточнаго основанія противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредитъ не русскому языку и не русской литературѣ, а только тѣмъ, кто одержимъ ею. Но противоположная крайность, т. е. неумѣренный пуризмъ, производитъ тѣ же слѣдствія, потому что крайности сходятся. Судьба языка не можетъ зависѣть отъ произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и вѣрный; это—его же собственный духъ, геній. Вотъ почему изъ множества вводимыхъ иностранныхъ словъ удерживаются только немногія, а остальныя сами собой исчезаютъ. Тому же самому закону подлежатъ и новосоставляемыя русскія слова: одни изъ нихъ удерживаются, другія исчезаютъ. Неудачно придуманное русское слово для выраженія чуждаго понятія не только не лучше, но рѣшительно хуже иностраннаго слова. Говорятъ, для слова «прогрессъ» не нужно и выдумывать новаго слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: «успѣхъ, поступательное движеніе», и т. д. Съ этимъ нельзя согласиться. Прогрессъ относится только къ тому, что̀ развивается само изъ себя. Прогрессомъ можетъ быть и то, въ чемъ вовсе нѣтъ успѣха, пріобрѣтенія, даже шагу впередъ; и, напротивъ, прогрессомъ можетъ быть иногда неуспѣхъ, упадокъ, движеніе назадъ. Это именно относится къ историческому развитію. Бываютъ въ жиз-

ни народовъ и человѣчества эпохи несчастныя, въ которыя цѣлыя поколѣнія какъ-бы приносятся въ жертву слѣдующимъ поколѣніямъ. Проходитъ тяжелая година—и изъ зла рождается добро. Слово «прогрессъ» отличается всей опредѣленностью и точностью научнаго термина, и въ послѣднее время оно сдѣлалось ходячимъ словомъ, его употребляютъ всѣ—даже тѣ, которые нападаютъ на его употребленіе. И потому, пока не явится русскаго слова, которое-бы вполнѣ замѣнило его собою, мы будемъ употреблять слово «прогрессъ».

Всякое органическое развитіе совершается черезъ прогрессъ, развивается же органически только то, что имѣетъ свою исторію, а имѣетъ свою исторію только то, въ чемъ каждое явленіе есть необходимый результатъ предыдущаго и имъ объясняется. Если можно представить себѣ литературу, въ которой являются отъ времени до времени сочиненія замѣчательныя, но чуждыя всякой внутренней связи и зависимости, обязанныя своимъ появленіемъ внѣшнимъ вліяніямъ, подражательности, — у такой литературы не можетъ быть исторіи. Ея исторія—каталогъ книгъ. Къ какой литературѣ слово «прогрессъ» неприложимо, и появленіе новаго, почему-нибудь замѣчательнаго произведенія въ ней не есть прогрессъ, потому что это произведеніе не имѣетъ корня въ прошедшемъ и не дастъ плода въ будущемъ. Тутъ время и годы ничего не значатъ: они могутъ идти себѣ, ничего не измѣняя. Не такъ бываетъ въ литературѣ, развивающейся исторически: тутъ каждый годъ что-нибудь да приноситъ за собой, и это что-нибудь есть прогрессъ. Но не каждый годъ можно ясно увидѣть и опредѣлить этотъ прогрессъ; часто онъ оказывается только впослѣдствіи. Но во всякомъ случаѣ очень полезно въ опредѣленные сроки, напримѣръ по окончаніи каждаго года, обозрѣвать въ цѣломъ ходъ литературы, ея пріобрѣтенія, ея богатства или ея бѣдность. Такія обозрѣнія не безполезны для настоящаго времени и могутъ служить важнымъ пособіемъ для будущаго историка литературы.

Отчеты о литературной дѣятельности за каждый истекшій годъ начали входить у насъ въ обыкновеніе съ 1823 годъ. Примѣръ былъ поданъ Марлинскимъ въ знаменитомъ того времени альманахѣ. И съ тѣхъ поръ годовыя обозрѣнія литературы почти не прерывались въ альманахахъ впродолженіе десяти лѣтъ. Въ журналахъ же они появлялись рѣдко, но въ послѣднее время постоянно печатаются въ одномъ извѣстномъ журналѣ уже лѣтъ семь сряду. Отдѣлъ критики въ «Современникѣ» прошлаго года началось обзоромъ русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый годъ всегда будетъ заключать въ себѣ такое обозрѣніе литературной дѣятельности за истекшій годъ.

Подобныя обозрѣнія съ теченіемъ времени дѣлаются истинными лѣтописями литературы, важнымъ пособіемъ для ея историка. Альманачныя обозрѣнія, о которыхъ мы сейчасъ говорили, имѣютъ теперь для насъ весь интересъ старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назадъ тому! Такъ быстро идетъ впередъ наша литература! Но какой отдаленной, какой глубокой стариной отзывается «Обозрѣніе русской литературы 1814 года», написанное Гречемъ и помѣщенное въ «Сынѣ Отечества» 1815 года! На нѣсколькихъ жиденькихъ страничкахъ исчислены всѣ ученыя и литературныя пріобрѣтенія и сокровища 1814 года. Годъ этотъ дѣйствительно ознаменованъ былъ появленіемъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ серьёзныхъ книгъ, какъ напримѣръ: «Собраніе государственныхъ россійскихъ грамотъ и договоровъ», обязанное своимъ изданіемъ графу Н. П. Румянцеву; «Исторія медицины въ Россіи» Рихтера и переводъ Дестуниса «Плутарховыхъ Жизнеописаній». Но что за страшная бѣдность по части собственно такъ-называемой изящной словесности! Переводъ Делилевой поэмы «Сады» Палицина, описательная поэма князя Шихматова «Сельскій Житель», стихотвореніе Державина «Христосъ», «Ночь на размышленіе» князя Шихматова и «Размышленіе о судьбѣ» князя Долгорукова. Все это поэмы въ дидактическомъ родѣ, который тогда былъ особенно въ ходу, а теперь давно уже признанъ анти-поэтическимъ и забытъ совершенно. Потомъ въ обозрѣніи Греча упоминается объ изданіи басенъ и сказокъ Александра Измайлова и о басняхъ какого-то Агафи, и въ заключеніе замѣчено, что басни Крылова были помѣщаемы въ журналахъ. Вотъ и все! Авторъ обозрѣнія замѣчаетъ, что втеченіе первыхъ пяти лѣтъ XIX столѣтія вышло болѣе сочиненій, нежели прежде того втеченіе десяти лѣтъ, но что, по причинѣ политическихъ обстоятельствъ того времени, съ 1806 до 1814 года, литературное движеніе въ Россіи почти совсѣмъ остановилось. Впродолженіе второй половины 1812 и первой 1813 годовъ не только не вышло въ свѣтъ, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имѣла предметомъ тогдашнихъ происшествій. «Наконецъ въ 1814 году,—говоритъ авторъ обозрѣнія,—увѣнчавшемъ всѣ напряженія и труды истекшихъ лѣтъ, русская литерату-

ра, посвящая поэзію и краснорѣчіе въ честь и славу великаго монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уровненный и огражденный навсегда. Втеченіе этого года вышли многіе сочиненія и переводы, которые останутся незабвенными въ лѣтописяхъ нашей литературы». Это отчасти справедливо, только не въ отношеніи къ произведеніямъ поэзіи... Замѣчательно, что, признавая бѣдность нѣкоторыхъ разрядовъ своего обозрѣнья, авторъ, какъ успѣху русской литературы, радуется тому, что втеченіе 1814 года вышло въ Петербургѣ и Москвѣ только по одному роману (оба переведены съ нѣмецкаго), да двѣ историческія повѣсти! Не думалъ онъ тогда, что романъ и повѣсть скоро станутъ во главѣ всѣхъ родовъ поэзіи, и что самъ онъ напишетъ нѣкогда «Поѣздку въ Германію» и «Черную женщину»! Но вотъ еще характеристическая черта нашей литературы или, лучше сказать, нашей публики,—черта, о которой, къ сожалѣнью, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариной: извѣстнаго путешествія Крузенштерна вокругъ свѣта, изданнаго въ 1809—1813 годахъ, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, и путешествія вокругъ свѣта Лисянскаго, изданнаго въ 1812 году, на русскомъ и англійскомъ языкахъ, въ Россіи разошлось — говоритъ авторъ обозрѣнья—едва-ли по двѣсти экземпляровъ каждаго, между тѣмъ какъ въ Германіи вышло три изданія путешествія Крузенштерна, а въ Лондонѣ продана въ двѣ недѣли половина экземпляровъ книги Лисянскаго.

Годичныя обозрѣнія появились въ альманахахъ вслѣдствіе начинавшаго возникать критическаго духа. Приступая къ обозрѣнію литературы извѣстнаго года, критикъ начиналъ иногда очеркомъ всей исторіи русской литературы. Писать эти обозрѣнія тогда было очень легко и очень трудно. Легко потому, что все ограничивалось легкими сужденіями, выражавшими личный вкусъ обозрѣвателя,—трудно, или, лучше сказать, скучно потому, что это была работа дробная, мелкая: надо было перечислить рѣшительно все, что появилось втеченіе обозрѣваемаго года отдѣльно изданнымъ, въ журналахъ и альманахахъ, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда по части изящной словесности въ журналахъ и альманахахъ? — большей частью крошечные отрывки изъ маленькихъ поэмъ, изъ романовъ, повѣстей, драмъ, и т. п. Большей частью цѣлыхъ сочиненій и не существовало: отрывокъ писался безъ всякаго намѣренья написать цѣлое. О каждой такой бездѣлицѣ надо было упомянуть и сказать свое мнѣніе, потому что тогда, при началѣ такъ-называемаго романтизма, все было ново, все интересовало собой, все считалось важнымъ событіемъ — и отрывокъ изъ несуществующей поэмы въ двадцать стиховъ счетомъ, и элегія, и сотое подражанье какой-нибудь пьесѣ Ламартина, переводъ романа Вальтеръ-Скотта и переводъ романа какого-нибудь Фанъ-деръ-Фельде.

Въ этомъ отношеніи теперь гораздо лучше писать обозрѣнія. Теперь уже не считается принадлежащимъ къ литературѣ все, что ни выходитъ изъ-подъ типографскихъ станковъ. Теперь многое испытано, ко многому приглядѣлись и привыкли. Конечно переводъ такого романа, какъ «Домби и Сынъ», и теперь замѣчательное явленіе въ литературѣ, и обозрѣватель не вправѣ пропустить его безъ вниманья; но зато переводы романовъ Сю, Дюма и другихъ французскихъ беллетристовъ, появляющіеся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явленіями. Они пишутся сплеча, ихъ цѣль—выгодный сбытъ, доставляемое ими наслажденье извѣстному разряду любителей такой литературы относится конечно ко вкусу, но не къ эстетическому, а тому, который у однихъ удовлетворяется сигарами, у другихъ—щелканьемъ орѣшковъ... Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произволъ критики уже не можетъ убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Французскіе романы наполняютъ собой наши журналы и издаются особо; въ томъ и другомъ случаѣ они находятъ себѣ множество читателей. Но по этому отнюдь не слѣдуетъ дѣлать рѣзкихъ заключеній о вкусѣ публики. Многіе берутся за романъ Дюма, какъ за сказку, впередъ зная, что это такое; читаютъ его съ тѣмъ, чтобы развлечь себя на время чтенія небывалыми приключеніями, а потомъ и забыть ихъ навсегда. Въ этомъ, разумѣется, нѣтъ ничего дурного. Одинъ любитъ качаться на качеляхъ, другой ѣздить верхомъ, третій плавать, четвертый курить, и многіе вмѣстѣ съ этимъ любятъ читать вздорныя сказки, хорошо разсказываемыя. Поэтому переводные романы и повѣсти уже не заслоняютъ собой оригинальныхъ; напротивъ, общій вкусъ публики отдаетъ послѣднимъ рѣшительное предпочтеніе, такъ что помѣщать въ журналахъ преимущественно переводные романы и повѣсти заставляетъ журналистовъ только одна крайность, т. е. недостатокъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ этого рода. И такое направленіе вкуса публики становится замѣтнѣе и опредѣленнѣе годъ отъ году. Въ отношеніи же къ оригинальнымъ произведеніямъ очарованіе именъ совер-

шенно исчезло; громкое имя конечно и теперь заставитъ каждаго взяться за новое сочиненіе, но уже никто не придетъ отъ него въ восторгъ, если въ немъ хорошаго одно только имя автора. Сочиненія посредственныя, слабыя проходятъ незамѣтными, умираютъ своей смертью, а не отъ ударовъ критики. Такому положенію литературы, столь различному отъ того, въ какомъ она находилась лѣтъ двадцать назадъ тому, должна соотвѣтствовать и критика. Отдавая отчетъ въ годичномъ движеніи литературной дѣятельности, теперь нечего обращать вниманіе на количество произведеній или хлопотать объ оцѣнкѣ каждаго явленія изъ опасенія, что безъ указаній критики публика не будетъ знать, что̀ считать ей хорошимъ и что̀—дурнымъ. Нѣтъ даже нужды останавливаться на каждомъ порядочномъ произведеніи и вдаваться въ подробный разборъ всѣхъ его красотъ и недостатковъ. Подобное вниманіе принадлежитъ теперь по праву только особенно замѣчательнымъ, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, произведеніямъ. Главная-же задача тутъ—показать преобладающее направленіе, общій характеръ литературы въ данное время, прослѣдить въ ея явленіяхъ оживляющую и движущую ее мысль. Только такимъ образомъ можно если не опредѣлить, то хоть намекнуть, на сколько истекшій годъ подвинулъ впередъ литературу, какой прогрессъ совершила она въ немъ.

Собственно новымъ 1847 годъ ничѣмъ не ознаменовалъ себя въ литературѣ. Явились въ преобразованномъ видѣ нѣкоторыя изъ старыхъ періодическихъ изданій, явился даже одинъ новый листокъ; замѣчательными произведеніями по части изящной словесности прошлый годъ былъ особенно богатъ въ сравненіи съ предшествовавшими годами; явилось нѣсколько новыхъ именъ, новыхъ талантовъ и дѣйствователей по разнымъ частямъ литературы. Но не явилось ни одного изъ тѣхъ ярко-замѣчательныхъ произведеній, которыя своимъ появленіемъ дѣлаютъ эпоху въ исторіи литературы, даютъ ей новое направленіе. Вотъ почему мы говоримъ, что собственно новымъ литература прошлаго года ничѣмъ не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, котораго нельзя назвать ни новымъ, потому что онъ успѣлъ уже обозначиться, ни старымъ, потому что слишкомъ недавно открылся для литературы,—именно немного раньше того времени, когда въ первый разъ было кѣмъ-то выговорено слово: «натуральная школа». Съ тѣхъ поръ прогрессъ русской литературы въ каждомъ новомъ году состоялъ въ болѣе твердомъ ея шагѣ въ этомъ направленіи. Прошлый 1847 годъ былъ особенно замѣчателенъ въ этомъ отношеніи въ сравненіи съ предшествовавшими годами, какъ по числу и замѣчательности вѣрныхъ этому направленію произведеній, такъ и большей опредѣленностью, сознательностью и силой самаго направленія и большимъ его кредитомъ у публики.

Натуральная школа стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы. Съ одной стороны, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это—фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ; а какіе журналы пользуются большей извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикой съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикой романы и повѣсти, не принадлежащіе къ натуральной школѣ? Какая критика пользуется бо̀льшимъ вліяніемъ на мнѣніе публики или, лучше сказать, какая критика болѣе сообразна съ мнѣніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоитъ за натуральную школу противъ риторической? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорятъ, спорятъ, на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу? Партіи, ничего неимѣющія между собою общаго, въ нападкахъ на натуральную школу дѣйствуютъ согласно, единодушно, приписываютъ ей мнѣнія, которыхъ она чуждается, намѣренія, которыхъ у ней никогда не было, ложно перетолковываютъ каждое ея слово, каждый ея шагъ, то бранятъ ее съ запальчивостью, забывая иногда приличіе, то жалуются на нее чуть не со слезами! Что̀ общаго между заклятыми врагами Гоголя, представителями побѣжденнаго риторическаго направленія, и между такъ-называемыми славянофилами?—Ничего!—и однакожъ послѣдніе, признавая Гоголя основателемъ натуральной школы, согласно съ первыми нападаютъ въ томъ-же тонѣ, тѣми-же словами, съ такими-же доказательствами на натуральную школу, и почли за нужное отличиться отъ своихъ новыхъ союзниковъ только логической непослѣдовательностью, вслѣдствіе которой они поставили Гоголю въ заслугу то самое, за что̀ преслѣдуютъ его школу, на томъ основаніи, что онъ писалъ по какой-то «потребности внутренняго очищенія». Къ этому должно прибавить, что школы,

непріязненныя натуральной, не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго произведенія, которое доказало-бы дѣломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами противоположными тѣмъ, которыхъ держится натуральная школа. Всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ послужили къ торжеству натурализма и паденію риторизма. Видя это, нѣкоторые изъ противниковъ натуральной школы пытались противопоставлять ей ея же писателей. Такъ, одна газета думала Бутковымъ уничтожить авторитетъ самого Гоголя...

Все это нисколько не ново въ нашей литературѣ, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него всѣ были согласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъ мнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Тредьяковскаго и Сумарокова. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней такъ-называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевелъ ее изъ книги въ жизнь, изъ школы въ общество. Тогда, естественно, явились и партіи, началась война на перьяхъ, раздались вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредятъ добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лицѣ его противниковъ, казалось, вновь возстала русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ, и тѣмъ болѣе безплоднымъ, напряженьемъ отстаивала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонѣ права, т. е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значеніе и свою значительность, все—даже его противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ литературы того времени. Но что̀ вся эта тревога въ сравненьи съ бурей, которая поднялась съ появленьемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всѣмъ, что нѣтъ нужды распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видѣли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзіи, несомнѣнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и — повѣрятъ-ли теперь этому? — для общественной нравственности!!.. Не желая шевелить старыя дрязги, мы удерживаемся отъ всякихъ указаній, но если у насъ ихъ потребуютъ, мы всегда готовы представить печатныя доказательства. Въ одной критикѣ на «Графа Нулина» Пушкинъ обвинялся въ неприличіи, доходящемъ до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что̀ она писана: такъ и кажется, что это сейчасъ написанная статья противъ какого-нибудь произведенія теперешней натуральной школы: тотъ же языкъ, тѣ же доводы, та же манера браться за дѣло, какіе и теперь употребляются въ нападкахъ на натуральную школу.

Что̀ же за причина, что противники всякаго движенья впередъ во всѣ эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и тѣми же словами?

Причина этого скрывается тамъ же, гдѣ надо искать и происхожденіе натуральной школы — въ исторіи нашей литературы. Она началась натурализмомъ: первый свѣтскій писатель былъ сатирикъ Кантемиръ. Несмотря на подражаніе латинскимъ сатирикамъ и Буало, онъ умѣлъ остаться оригинальнымъ, потому что былъ вѣренъ натурѣ и писалъ съ нея. Къ несчастью, однообразіе избраннаго имъ рода, грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзіи силлабическій метръ, не допустили Кантемира быть образцомъ и законодателемъ русской поэзіи. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но какъ Кантемиръ все-таки остается человѣкомъ съ необыкновеннымъ талантомъ, то его и нельзя выключить изъ русской исторіи литературы, какъ перваго, по времени, ея поэта. Поэтому мы вправѣ сказать, не искажая фактовъ и не дѣлая натяжекъ, что русская поэзія при самомъ началѣ своемъ потекла, если можно такъ выразиться, двумя параллельными другъ другу руслами, которыя, чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще сливались въ одинъ потокъ, разбѣгаясь послѣ опять на два, до тѣхъ поръ, пока въ наше время не составили одного цѣлаго. Въ лицѣ Кантемира русская поэзія обнаружила стремленіе къ дѣйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натурѣ. Въ лицѣ Ломоносова она обнаружила стремленіе къ идеалу, поняла себя, какъ оракула жизни высшей, выспренней, какъ глашатая всего высокаго и великаго. Оба эти направленья были законны и оба вышли не изъ жизни, а изъ теоріи, изъ книги, изъ школы. Но манера, съ какой Кантемиръ взялся за дѣло, утверждаетъ за первымъ направленьемъ преимущество истины и реальности. Въ Державинѣ, какъ талантѣ высшемъ, оба эти направленья часто сливались, и его оды къ «Фелицѣ», «Вельможѣ», «На Счастье»—едва ли не лучшія его произведенья, по крайней мѣрѣ, безъ всякаго сомнѣнья, въ нихъ больше оригинальнаго,

русскаго, нежели въ его торжественныхъ одахъ. Въ басняхъ Хемницера и въ комедіяхъ Фонвизина отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ уже рѣже переходитъ въ преувеличеніе и карикатуру, становится болѣе натуральной, по мѣрѣ того какъ становится болѣе поэтической. Въ басняхъ Крылова сатира дѣлается вполнѣ художественной; натурализмъ становится отличною характеристической чертой его поэзіи. Это былъ первый великій натуралистъ въ нашей поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія «низкой природы», особенно за басню «Свинья». Посмотрите, какъ натуральны его животныя: это—настоящіе люди, съ рѣзко очерченными характерами, и притомъ люди русскіе, а не другіе какіе-нибудь. А его басни, въ которыхъ дѣйствующія лица—русскіе мужички? Не есть ли это верхъ натуральности? И однакожъ теперь уже не упрекаютъ Крылова ни за свинью, которая, «не жалѣя рыла, весь задній дворъ изрыла», ни за то, что въ своихъ басняхъ онъ выводилъ мужиковъ, да еще заставлялъ ихъ говорить самымъ мужицкимъ складомъ. Скажутъ: то басня, то такой ужъ родъ поэзіи. А развѣ законы изящнаго не одинаковы для всѣхъ его родовъ? Дмитріевъ писалъ тоже басни и въ нихъ изрѣдка вводилъ, эпизодически, крестьянъ; но его басни, имѣющія свои неотъемленныя достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорятъ въ нихъ какимъ-то общимъ, не принадлежащимъ исключительно ни одному сословію языкомъ. Причина этой разницы лежитъ въ томъ, что поэзія Дмитріева и въ басняхъ его, такъ-же какъ и въ одахъ, шла отъ Ломоносова, а не отъ Кантемира, держалась идеала, а не дѣйствительности. Теорія Ломоносова опиралась на древнихъ, какъ понимали ихъ тогда въ Европѣ. Карамзинъ и Дмитріевъ, особенно послѣдній, смотрѣли на искусство глазами французовъ XVIII вѣка. А извѣстно, что французы того времени понимали искусство какъ выраженіе жизни не народа, а общества, и притомъ только высшаго, дворянскаго, и приличіе считали главнымъ и первымъ условіемъ поэзіи. Оттого у нихъ греческіе и римскіе герои ходили въ парикахъ и говорили героинямъ: madame! Эта теорія глубоко проникла въ русскую литературу, и, какъ увидимъ далѣе, слѣды ея вліянія не изгладились совсѣмъ и до сихъ поръ...

Озеровъ, Жуковскій и Батюшковъ продолжали собою направленіе, данное нашей поэзіи Ломоносовымъ. Они были вѣрны идеалу, но этотъ идеалъ у нихъ становился все менѣе и менѣе отвлеченнымъ и риторическимъ, все больше и больше сближающимся съ дѣйствительностью или по крайней мѣрѣ стремившимся къ этому сближенію. Въ произведеніяхъ этихъ писателей, особенно двухъ послѣднихъ, языкомъ поэзіи заговорили уже не одни оффиціальные восторги, но и такія страсти, чувства и стремленія, источникомъ которыхъ были не отвлеченные идеалы, но человѣческое сердце, человѣческая душа. Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба, до того текшіе раздѣльно, ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной, что̀ доказывается смѣлостью, въ то время удивившей всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ, не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телѣгъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ былъ тоже неслыханной дотолѣ сценой для кроваваго трагическаго событія. Но въ «Евгеніи Онѣгинѣ» идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дрязгами; около двухъ или трехъ лицъ, опоэтизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

Что̀ же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ?

Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью, къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Булгарина, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана,

Полевого, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше; мы говоримъ объ общемъ имъ всѣмъ стремленіи — сблизить романъ съ дѣйствительностью, сдѣлать его вѣрнымъ ся зеркаломъ. Между этими попытками были очень замѣчательныя, но тѣмъ не менѣе всѣ онѣ отзывались переходной эпохой, стремились къ новому, не оставляя старой колеи. Весь успѣхъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли старовѣровъ, въ романѣ стали появляться лица всѣхъ сословій, и авторы старались поддѣлываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишкомъ отзывалась маскарадностью: русскія лица низшихъ сословій походили на переряженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ геніальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русскій бытъ изъ подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдѣлалъ для этого; но докончить, довершить дѣло предоставлено было другому таланту. Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1829 годъ явился отрывокъ изъ романа Пушкина: «Арапъ Петра Великаго», подъ заглавіемъ: «IV глава изъ историческаго романа». Этотъ маленькій отрывокъ былъ верхъ натуральности! Въ такой тѣсной рамкѣ такая широкая картина нравовъ эпохи Петра Великаго! Но, къ сожалѣнію, этого романа было написано всего только шесть главъ и начало седьмой (вполнѣ онѣ были напечатаны уже по смерти Пушкина).

Съ появленія «Миргорода» и «Арабесокъ» (въ 1835 году) и «Ревизора» (въ 1836) начинается полная извѣстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Изъ всѣхъ сужденій объ этомъ писателѣ, высказанныхъ почитателями его таланта, самое замѣчательное и близкое къ истинѣ едва-ли не принадлежитъ человѣку, который вовсе не принадлежитъ къ числу его почитателей и который, какъ будто въ какомъ-то внезапномъ вдохновеніи, самъ не зная какъ, вышелъ на минуту изъ своей обычной колеи, которой былъ вѣренъ всю жизнь, проговорившись о Гоголѣ слѣдующій дивирамбъ:

«Всѣ произведенія Гоголя обнаруживаютъ въ немъ самоувѣренность, стремленіе къ самодѣятельности, какое-то умышленное, насмѣшливое пренебреженіе къ прежнимъ знаніямъ, опытамъ и образцамъ, онъ *читаетъ только книгу природы, изучаетъ только міръ дѣйствительный;* потому его идеалы слишкомъ естественны и просты до наготы; они, по выраженію Ивана Никифоровича, одного изъ его созданій, являются передъ читателемъ въ натурѣ. Красоты его созданій всегда новы, свѣжи, поразительны; *ошибки чуть не отвратительны (?); онъ, какъ будто забывъ исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искусствъ,* вызывая его изъ небытія въ *простонравное (?) хаотическое (?!)* состояніе; потому что его искусство какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ—великій художникъ, не знающій исторіи и не видавшій образцовъ искусства.»

Въ этомъ исполненномъ лирическаго безпорядка дивирамбѣ, безъ воли и сознанія автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя — оригинальность и самобытность, отличающія его отъ всѣхъ русскихъ писателей. Что это сдѣлано нечаянно, по вдохновенію, доказывается и параллелью, которую проводитъ авторъ между Гоголемъ и—кѣмъ бы вы думали?—Кукольникомъ!!—и странными, противорѣчащими словами и выраженіями въ самомъ дивирамбѣ, доказывающими, что не въ волѣ человѣка даже на минуту, и притомъ въ порывѣ вдохновенія, совершенно оторваться отъ обычной колеи своей жизни. Надо сказать, что авторъ — теоретикъ и всю жизнь провелъ въ составленіи и преподаваніи разныхъ риторикъ и піитикъ, которыя, какъ и всѣ книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но съ толку сбили многихъ. Вотъ почему его особенно поразила въ сочиненіяхъ Гоголя ихъ полная отрѣшенность и независимость отъ всякихъ школьныхъ правилъ и преданій,—и если онъ не могъ съ одной стороны не вмѣнить ему этого въ заслугу, то съ другой,—не могъ того-же самаго не поставить ему въ заслуженный упрекъ. Отсюда и увидалъ онъ въ сочиненіяхъ Гоголя «ошибки, чуть не отвратительныя», и «простонравное хаотическое состояніе искусства». Спросите его, какія это ошибки,—и мы увѣрены, что онъ прежде всего укажетъ на будочника, который казнитъ звѣря на ногтѣ (въ «Мертвыхъ Душахъ»), и этимъ фактомъ подтвердитъ окончательно, что Гоголь «не знаетъ исторіи и не видалъ образцовъ искусства». А между тѣмъ Гоголю вѣроятно извѣстнѣе, нежели его критику, что одна изъ извѣстнѣйшихъ галлерей въ Европѣ хранитъ, какъ безцѣнное сокровище, картину великаго Мурильо, представляющую мальчика, который съ усердіемъ и обстоятельно занимается тѣмъ, что будочникъ сдѣлалъ съ просонья и мимоходомъ.

Какъ-бы то ни было, но дѣйствительное вліяніе теорій и школъ было одной изъ главныхъ причинъ, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искренно и добросовѣстно видѣли въ Гоголѣ не болѣе, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вслѣдствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другой стороной, и важнаго значенія, которое онъ

быстро пріобрѣталъ въ общественномъ мнѣніи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ново было въ свое время направленіе Карамзина,—оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всѣхъ баллады Жуковскаго съ ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами,—но за нихъ были имена корифеевъ нѣмецкой литературы. Самъ Пушкинъ съ одной стороны былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія, а съ другой стороны его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона — авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть ихъ изъ головы, забыть о ихъ существованіи, — а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находится Гоголь къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнѣнія есть элементы русскіе, но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что напримѣръ поэмы: «Моцартъ и Сальери», «Каменный Гость», «Скупой Рыцарь», «Галубъ» могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ-бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать и о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ, вслѣдствіе любви къ идеаламъ, или какихъ-нибудь заранѣе принятыхъ идей, или привычныхъ пристрастій, какъ напримѣръ Пушкинъ въ «Онѣгинѣ» идеализировалъ помѣщицкій бытъ. Конечно преобладающій характеръ его сочиненій — отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала,—и этотъ идеалъ у Гоголя такъ же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ невозможно предложить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такой поразительной вѣрностью и истиной, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша была плодомъ сознательной мысли, явилась какъ нововведеніе, началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественной, натуральной. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носятъ на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди стараго образованія и вмѣняютъ ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкой, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства—какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ. Тутъ все дѣло въ типахъ, а идеалъ тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно ложь), а какъ отношенія, въ которыя авторъ становитъ другъ къ другу созданные имъ типы, сообразно съ мыслью, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

Искусство въ наше время обогнало теорію. Старыя теоріи потеряли весь свой кредитъ; даже люди, воспитанные на нихъ, слѣдуютъ не имъ, а какой-то странной смѣси старыхъ понятій съ новыми. Такъ напримѣръ, нѣкоторые изъ нихъ, отвергая старую французскую теорію во имя романтизма, первые подали соблазнительный примѣръ выводить въ романѣ лицъ низшихъ сословій, даже негодяевъ, къ которымъ шли имена Вороватиныхъ и Ножовыхъ; но они же потомъ оправдывались въ этомъ тѣмъ, что вмѣстѣ съ безнравственными лицами выводили и нравственныя подъ именемъ

Правдолюбовыхъ, Благотворовыхъ и т. п. Въ первомъ случаѣ видно было вліяніе новыхъ идей; во второмъ—старыхъ, потому-что по рецепту старой піитики необходимо было на нѣсколькихъ глупцовъ отпустить хоть одного умника, а на нѣсколькихъ негодяевъ —хоть одного добродѣтельнаго человѣка*). Но въ обоихъ случаяхъ эти междоумки совершенно упускали изъ виду главное, т. е. искусство, потому-что и не догадывались, что ихъ и добродѣтельныя, и порочныя лица были не люди, не характеры, а риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ. Это лучше всего объясняетъ, почему для нихъ теорія, правило важнѣе дѣла, сущности: послѣднее недоступно ихъ разумѣнію. Впрочемъ отъ вліянія теоріи не всегда избѣгаютъ и таланты, даже геніальные. Гоголь принадлежитъ къ числу немногихъ, совершенно избѣгнувшихъ всякаго вліянія какой бы то ни было теоріи. Умѣя понимать искусство и удивляться ему въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, онъ тѣмъ не менѣе пошелъ своей дорогой, слѣдуя глубокому и вѣрному художническому инстинкту, какимъ щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успѣхами на подражаніе. Это, разумѣется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполнѣ ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойствомъ его личности и слѣдовательно, подобно таланту, даромъ природы. Отъ этого онъ и показался для многихъ какъ бы извнѣ вошедшимъ въ русскую литературу, тогда-какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ ея необходимымъ явленіемъ, требовавшимся всѣмъ предшествовавшимъ ея развитіемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому-же пути, оставивши свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали унизить названіемъ натуральной. Послѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходки противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ-же обвиняютъ ее? Обвиненій не много, и они всегда одни и тѣ-же. Сперва нападали на нее за ея, будто бы, постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ быта этого сословія одни искренно, другіе умышленно видѣли злонамѣренныя карикатуры. Съ нѣкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняютъ писателей натуральной школы за то, что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ, дворниковъ, извозчиковъ, описываютъ углы, убѣжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на Карамзина и Дмитріева, избиравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные, и приводятъ въ примѣръ забытаго теперь изящества чувствительную пѣсенку: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ». Мы-же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повѣсть была написана Карамзинымъ, и ея героиня была обольщенная пятиметромъ крестьянка—Бѣдная Лиза.... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовоспитанной барышнѣ. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая піитика. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ болѣе крестьяне,—языкомъ литературнымъ, украшеннымъ «сими, оными, коими, таковыми», и т. п. Да чего-же лучше: пастушки и пастушки французскихъ писателей XVIII вѣка представляютъ готовый и прекрасный образецъ для изображенія русскихъ крестьянъ и крестьянокъ; берите цѣликомъ: вотъ вамъ и соломенныя шляпы съ голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки съ ретрусманами, башмаки на высокихъ красныхъ каблукахъ. Только въ языкѣ держитесь литературныхъ привычекъ, потому-что французы никогда не любили щеголять обветшалыми, неупотребляемыми въ разговорѣ словами. Это замашка чисто русская; у насъ даже первоклассные таланты любятъ «брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, гласъ» и тому подобныя принадлежности такъ-называемаго «высшаго слога». Короче: старая піитика позволяетъ изображать все, что̀ вамъ угодно, но только предписываетъ при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что̀ вы хотѣли изобразить. Слѣдуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который

*) Тогда слово *резонёръ* для комедіи было такимъ же техническимъ словомъ, какъ и *jeune premier*, первый любовникъ, или *примадонна* для оперы.

Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку—Кузьмой: онъ можетъ снять къ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но и ни на что на свѣтѣ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слѣдуетъ совершенно противному правилу; возможно-близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образцами въ дѣйствительности не составляетъ въ ней всего, но есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можетъ быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же послѣ этого не любить и не чтить старой піитики тѣмъ писателямъ, которые когда-то умѣли и безъ таланта съ успѣхомъ подвизаться на поприщѣ поэзіи? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это конечно относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмѣшалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убѣжденію не любятъ естественности въ искусствѣ, вслѣдствіе вліянія на нихъ старой піитики. Эти люди съ особенной горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. «Бывало—говорятъ они—поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притомъ же къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человѣкъ,—и во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ была бѣдность и нищета, и благодарныя слезы орошали благодѣтельную руку,—и читатель невольно подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добрѣе и чувствительнѣе.... А теперь! посмотрите, что теперь пишутъ! мужики въ лаптяхъ и сермягахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухой, баба—родъ центавра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; у г л ы—убѣжища нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору грязному по колѣни; какой-нибудь пьянюшка—подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы,—все это списывается съ натуры, въ наготѣ страшной истины, такъ что если прочтешь —жди ночью тяжелыхъ сновъ...» Такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы старой піитики. Въ сущности, ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, зачѣмъ отказалась она быть гремушкой, подъ которую дѣтямъ пріятно и прыгать, и засыпать. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтьми и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями,—и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ! Да читайте свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь — намъ истина: раздѣлимся безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... Но этому полюбовному раздѣлу мѣшаетъ другая причина — эгоизмъ, который считаетъ себя добродѣтелью. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ человѣка обезпеченнаго, можетъ быть богатаго; онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкой кофе, передъ пыляющимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ,—и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы,—и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть углы, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ отъ холоду цѣлое семейство, можетъ быть недавно еще знавшее довольство,—что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбой обреченные на нищету, — что послѣдняя копѣйка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее! «Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!» восклицаетъ онъ. — Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный свой голодъ, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было; управляющій его, Никита Ѳедорычъ, что-то замѣш-

кался высылкой. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываетъ ему подвиги Никиты Ѳедорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подъ пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ «малую толику». Всѣ читаютъ—надо и ему читать; но что̀ находитъ онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно разсказанную, хотя кромѣ его самого темныя похожденія его жизни—тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю не откуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшонъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: «Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обидѣться нечѣмъ!»

Есть особенный родъ читателей, который по чувству аристократизма не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно не знающими приличія и хорошаго тона, не любитъ грязи и нищеты, по ихъ противоположности съ роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, иронической улыбкой... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся «подлой чернью», которая въ ихъ глазахъ ниже хорошей лошади? Не спѣшите справляться о нихъ въ геральдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ: вы не найдете ихъ гербовъ, они не ѣздятъ ко двору, и если видали большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освѣщенныя окна, на сколько позволяли сторы и занавѣски... Предками они не могутъ похвалиться: они обыкновенно — или чиновники, или изъ новаго дворянства, богатаго только библейскими преданіями о дѣдушкѣ управляющемъ, о дядюшкѣ откупщикѣ, а иногда и о бабушкѣ просвирнѣ и тетушкѣ торговкѣ. Авторъ этой статьи считаетъ при этомъ обязанностью довести до свѣдѣнія своихъ читателей, что упрекать ближняго незнатностью происхожденія вовсе не въ его привычкахъ и положительно противно всѣмъ его убѣжденіямъ, и что онъ самъ отнюдь не стыдится признаться въ этомъ. Но онъ думаетъ—и вѣроятно читатели его согласятся съ нимъ—что ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ оборвать съ вороны павлиныя перья и доказать ей, что она принадлежитъ къ той породѣ, которую вздумала презирать. Человѣкъ простого званія еще не ворона, потому что онъ простого званія; вороной дѣлаетъ не званіе, а природа, и вороны такъ же бываютъ во всѣхъ званіяхъ, какъ во всѣхъ же званіяхъ бываютъ и орлы; но конечно только воронѣ свойственно рядиться въ павлиныя перья и величаться ими. Такъ почему-же не сказать воронѣ, что она—ворона? Презрѣніе къ низшимъ сословіямъ въ наше время отнюдь не есть порокъ высшихъ сословій; напротивъ, это болѣзнь выскочекъ, порожденіе невѣжества, грубости чувствъ и понятій. Умный и образованный человѣкъ, еслибъ онъ былъ одержимъ этой болѣзнью, никогда не обнаружитъ ея, потому что она не въ духѣ времени, потому что показать ее — значитъ каркнуть о себѣ во все воронье горло. Намъ кажется, что какъ ни гадко лицемѣріе, но въ этомъ случаѣ оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидѣтельствуетъ объ умѣ. Павлинъ, горделиво распускающій пышный хвостъ свой передъ другими птицами, слыветъ животнымъ красивымъ, но не умнымъ. Что̀-же сказать о воронѣ, спѣсиво выказывающей заимствованный нарядъ? Подобная спѣсь всегда чужда ума и есть порокъ по преимуществу плебейскій. Гдѣ больше ломанья и притязаній, какъ не въ тѣхъ слояхъ общества, которые начинаются тотчасъ послѣ самыхъ низшихъ? А это потому, что тутъ всего больше невѣжества. Посмотрите, какъ глубоко презираетъ лакей мужика, который во всѣхъ отношеніяхъ лучше, благороднѣй, человѣчнѣй его! Откуда эта гордость въ лакеѣ?—Онъ перенялъ пороки своего барина и оттого считаетъ себя далеко образованнѣе мужика. Внѣшній лоскъ грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» восклицаютъ аристократы извѣстнаго разряда. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что̀ закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель

былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой—мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа—вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ—человѣкъ. А развѣ мужикъ не человѣкъ?—Но что-же можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ? — Какъ что? — его душа, умъ, сердце, страсти, склонности,—словомъ, все то-же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ ботанистъ интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатомика и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ-же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ-же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки? А потомъ—вы говорите, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его напримѣръ со стороны ума, чувства, характера. Образованіе только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, чтобы природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ. «Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся съ кругу горемыка?» говорятъ еще эти аристократы средней руки. — Какъ чему? разумѣется, не свѣтскому обращенію и не хорошему тону, а знанію человѣка въ извѣстномъ положеніи. Одинъ спивается отъ лѣности, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другой—отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ можетъ быть нисколько не виноватъ. Въ обоихъ случаяхъ это примѣры поучительные и любопытные для наблюденія. Конечно отвернуться съ презрѣніемъ отъ человѣка падшаго гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утѣшенье и помощь, такъ же какъ осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели съ участьемъ и любовью войти въ его положеніе, изслѣдовать до глубины причину его паденія и пожалѣть о немъ, какъ о человѣкѣ, даже и тогда, когда онъ самъ окажется много виноватымъ въ своемъ паденіи. Искупитель рода человѣческаго приходилъ въ міръ для всѣхъ людей; не мудрыхъ и образованныхъ, а простыхъ умомъ и сердцемъ рыбаковъ призвалъ Онъ быть «ловцами человѣковъ»; не богатыхъ и счастливыхъ, а бѣдныхъ, страждущихъ, падшихъ искалъ Онъ, чтобы однихъ утѣшить, другихъ ободрить и возстановить. Гнойныя язвы на едва прикрытомъ нечистыми лохмотьями тѣлѣ не оскорбляли его исполненнаго любви и милосердія взгляда. Онъ — сынъ Бога, человѣчески любилъ людей и сострадалъ имъ въ ихъ нищетѣ, грязи, позорѣ, развратѣ, порокахъ, злодѣйствахъ; Онъ разрѣшилъ бросить камень въ блудницу тѣмъ, которые ничѣмъ не могли упрекнуть себя въ совѣсти, и устыдилъ жестокосердыхъ судей, и сказалъ падшей женщинѣ слово утѣшенія;—и разбойникъ, испуская духъ на орудіи заслуженной имъ казни, за одну минуту раскаянія услышалъ отъ него слово прощенія и мира... А мы—сыны человѣческіе—мы хотимъ любить изъ нашихъ братій только равныхъ намъ, отворачиваемся отъ низшихъ, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ... Какія добродѣтели и заслуги дали намъ на это право? Не отсутствіе ли именно всякихъ добродѣтелей и заслугъ!... Но божественное слово любви и братства не втунѣ огласило міръ. То, что прежде было обязанностью только призванныхъ на служеніе алтарю лицъ или добродѣтелью немногихъ избранныхъ натуръ,—это самое дѣлается теперь обязанностью обществъ, служитъ признакомъ уже не одной добродѣтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участью низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатыя вѣрными средствами общества для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбѣжнаго слѣдствія — безнравственности и разврата. Это общее движеніе,

столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдѣ же въ лучшихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могутъ быть причиной такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ толпу, не одушевлены болѣе благородными и высокими побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

Могло-ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе,—въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва-ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна-ли и благородна-ли такая роль; но за нее-то и нападаетъ на литературу безгербовная аристократія. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего они стоютъ...

Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки зрѣнія, во имя чистаго искусства, которое само себѣ цѣль и внѣ себя не признаетъ никакихъ цѣлей. Въ этой мысли есть основаніе, но ея преувеличенность замѣтна съ перваго взгляду. Мысль эта чисто-нѣмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всѣхъ и каждаго представляетъ широкое поле для живой дѣятельности. Что̀ такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т.-е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что̀, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нѣтъ поэзіи,—въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что̀ можно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намѣреніе, дурно выполненное. Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ о̀бразовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего типическаго,—какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что̀ въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго. Лица будутъ перемѣшиваться между собою въ его глазахъ; въ разсказѣ онъ увидитъ путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вѣрно съ натуры, мало умѣть писать, т.-е. владѣть искусствомъ писца или писаря; надобно умѣть явленія дѣйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложенное слѣдственное дѣло, имѣющее романическій интересъ, не есть романъ и можетъ служить развѣ только матеріаломъ для романа, т.-е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслью во внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было вѣрно списать портретъ человѣка? И иной цѣлый вѣкъ упражняется въ этомъ родѣ живописи, а все не можетъ списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это портретъ. Умѣть списать вѣрно портретъ есть уже своего рода талантъ, но этимъ не оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сдѣлалъ очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни малѣйшему сомнѣнью въ томъ смыслѣ, что вы не можете не узнать сразу, чей это портретъ, а все какъ-то недовольны имъ,—вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ, и не похожъ на него.

Но пусть съ него же сниметъ портретъ Тырыновъ или Брюловъ, — и вамъ покажется, что зеркало далеко не такъ вѣрно повторяетъ образъ вашего знакомаго, какъ этотъ портретъ, потому что это будетъ уже не только портретъ, но и художественное произведеніе, въ которомъ схвачено не одно внѣшнее сходство, но вся душа оригинала. Итакъ, вѣрно списывать съ дѣйствительности можетъ только талантъ, и какъ бы ни ничтожно было произведеніе въ другихъ отношеніяхъ, но чѣмъ болѣе оно поражаетъ вѣрностью натурѣ, тѣмъ несомнѣннѣе талантъ его автора. Что не все должно оканчиваться вѣрностью натурѣ, особенно въ поэзіи, — это другой вопросъ. Въ живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умѣнье вѣрно писать съ натуры можетъ служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзіи это не совсѣмъ такъ: не умѣя вѣрно писать съ натуры, нельзя быть поэтомъ, но и одного этого умѣнья тоже мало, чтобъ быть поэтомъ, по крайней мѣрѣ замѣчательнымъ. Обыкновенно говорятъ, что вѣрное списыванье съ натуры предметовъ ужасныхъ (наприм. убійства, казни и т. п.), безъ мысли и художественности, возбуждаетъ отвращенье, а не наслажденье. Это больше чѣмъ несправедливо, это ложно. Зрѣлище убійства или казни есть такой предметъ, который самъ по себѣ не можетъ доставлять наслажденья, и въ произведеніи великаго поэта читатель наслаждается не убійствомъ, не казнью, а мастерствомъ, съ какимъ то или другое изображено поэтомъ, слѣдовательно это наслажденье эстетическое, а не психологическое, смѣшанное съ невольнымъ ужасомъ и отвращеньемъ, тогда какъ картина высокаго подвига или счастья любви доставляетъ наслажденье болѣе сложное, и потому полное, столько же эстетическое, какъ и психологическое. Но человѣкъ безъ таланта никогда вѣрно не изобразитъ убійства или казни, хотя бы онъ тысячу разъ имѣлъ случай изучить этотъ предметъ въ дѣйствительности; все, что̀ можетъ онъ сдѣлать,—это болѣе или менѣе вѣрное его описаніе, но никогда не представитъ онъ вѣрной его картины. Описаніе его можетъ возбуждать сильное любопытство, но не наслажденье. Если же, не имѣя таланта, онъ пустится писать картину такого событія, она всегда произведетъ только одно отвращенье, но не потому, что вѣрно списана съ натуры, а по причинѣ противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральный эффектъ не есть выраженіе чувства.

Но, вполнѣ признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, мы тѣмъ не менѣе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ въ своей собственной сферѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдѣ не бывало. Безъ всякаго сомнѣнья, жизнь раздѣляется и подраздѣляется на множество сторонъ, имѣющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другой живымъ образомъ, и нѣтъ между ними рѣзкой раздѣляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна. Говорятъ: для науки нуженъ умъ и разсудокъ, для творчества—фантазія, и думаютъ, что этимъ порѣшили дѣло начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можетъ обойтись безъ фантазіи? Неправда! Истина въ томъ, что въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль, а въ наукѣ — умъ и разсудокъ. Бываютъ конечно произведенія поэзіи, въ которыхъ ничего не видно, кромѣ сильной блестящей фантазіи: но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазіи, или богатству всеобъемлющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требуютъ фантазіи, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведенье дѣйствительности, повторенный, какъ-бы вновь созданный міръ; можетъ ли же оно быть какой-то одинокой, изолированной отъ всѣхъ чуждыхъ ему вліяній дѣятельностью? Можетъ ли поэтъ не отразиться въ своемъ произведеніи какъ человѣкъ, какъ характеръ, какъ натура, — словомъ, какъ личность! Разумѣется, нѣтъ, потому-что и самая способность изображать явленія дѣйствительности безъ всякаго отношенія къ самому себѣ—есть опять-таки выраженіе натуры поэта. Но и эта способность имѣетъ свои границы. Личность Шекспира просвѣчиваетъ сквозь его творенья, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтеръ-Скотта невозможно не увидѣть въ авторѣ человѣка болѣе замѣчательнаго талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманьемъ жизни, тори, консерватора и аристократа по убѣжденью и привычкамъ. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, внѣ

всякихъ вліяній извнѣ. Поэтъ прежде всего — человѣкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дѣйствовать менѣе, чѣмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ старой веселой Англіи, которая впродолженіе немногихъ лѣтъ вдругъ сдѣлалась суровой, строгой, фанатической. Пуританское движеніе имѣло сильное вліяніе на его послѣднія произведенія, наложивъ на нихъ отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что, родись онъ десятилѣтіями двумя позже,—геній его остался бы тотъ же, но характеръ его произведеній былъ бы другой. Поэзія Мильтона — явно произведеніе его эпохи; самъ того не подозрѣвая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апоѳеозу возстанья противъ авторитета, хотя и думалъ сдѣлать совершенно другое. Такъ сильно дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе обществъ. Вотъ отчего теперь исключительно-эстетическая критика, которая хочетъ имѣть дѣло съ поэтомъ и его произведеніемъ, не обращая вниманья на мѣсто и время, гдѣ и когда писалъ поэтъ, на обстоятельства, подготовившія его къ поэтическому поприщу и имѣвшія вліянье на его поэтическую дѣятельность, потеряла теперь всякій кредитъ, сдѣлалась невозможной. Говорятъ: духъ партій, сектантизмъ вредятъ таланту, портятъ его произведенія. Правда! И потому-то онъ долженъ быть органомъ не той или другой партіи или секты, осужденной можетъ быть на эфемерное существованье, обреченной исчезнуть безъ слѣда, но сокровенной думы всего общества, его можетъ-быть еще не яснаго самому ему стремленья. Другими словами: поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ всей его эпохѣ. Какъ же разсмотритъ онъ въ этомъ хаосѣ противорѣчащихъ мнѣній, стремленій, которое изъ нихъ дѣйствительно выражаетъ духъ его эпохи? Въ этомъ случаѣ единственнымъ вѣрнымъ указателемъ больше всего можетъ быть его инстинктъ, темное безсознательное чувство, часто составляющее всю силу геніальной натуры: кажется, идетъ наудачу, вопреки общему мнѣнію, наперекоръ всѣмъ принятымъ понятіямъ и здравому смыслу, а между тѣмъ идетъ прямо туда, куда надо идти, — и вскорѣ даже тѣ, которые громче другихъ кричали противъ него, волей или неволей, а идутъ за нимъ и уже не понимаютъ, какъ же можно было бы идти не по этой дорогѣ. Вотъ почему иной поэтъ только до тѣхъ поръ и дѣйствуетъ могущественно, даетъ новое направленіе цѣлой литературѣ, пока просто, инстинктивно, безсознательно слѣдуетъ внушенію своего таланта; а лишь только начнетъ разсуждать и пустится въ философію, — глядь, и споткнулся, да еще какъ!... И обезсилѣетъ вдругъ богатырь, точно Самсонъ, лишенный волосъ, и онъ, который шелъ впереди всѣхъ, тащится теперь въ заднихъ отсталыхъ рядахъ, въ толпѣ своихъ прежнихъ противниковъ, а теперь новыхъ союзниковъ, и вмѣстѣ съ ними вооружается на собственное дѣло: да ужъ поздно: не его волей сдѣлано оно, не его волей и пасть ему, оно выше его самого и нужнѣе обществу, нежели онъ самъ теперь.... И больно, и жалко, и смѣшно смотрѣть на даровитаго поэта, захотѣвшаго сдѣлаться плохимъ резонёромъ!...

Въ наше время искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общѣе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это, разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ самые геніальные поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ таланту или по крайней мѣрѣ обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржъ Занда: «Le Meunier d'Angibault», «Le Péché de Monsieur Antoine», «Isidore». Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а отъ того, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопіей, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами возможными, съ лицами всѣмъ знакомыми, онъ вывелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него смѣшался со сказкой, натуральное заслонилось неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикой. Но изъ этого еще нѣтъ причины вопить о паденіи искусства; тотъ же Жоржъ Зандъ послѣ «Le Meunier d'Angibault» написалъ «Теверино», а послѣ «Изидоры» и «Le Péché de Monsieur Antoine»—«Лукрецію Флоріани». Порча искусства вслѣдствіе вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла бы скорѣе обнаружиться на талантахъ низшей степени, но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣніи отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго, и

еще болѣе—въ страсти къ мелодрамѣ, къ натянутымъ эффектамъ. Что̀ особенно хорошо въ романахъ Евгенія Сю?—вѣрныя картины современнаго общества, въ которыхъ больше всего видно вліяніе современныхъ вопросовъ. А что̀ составляетъ ихъ слабую сторону, портитъ ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ?—Преувеличенія, мелодрама, эффекты, небывалые характеры вродѣ принца Родольфа,—словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное,—а все это выходитъ отнюдь не изъ вліянія современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности и никогда на цѣлое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

Мы сказали, что чистаго, отрѣшеннаго, безусловнаго или, какъ говорятъ философы, абсолютнаго искусства никогда и нигдѣ не бывало. Если нѣчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы напримѣръ произведенія живописи итальянскихъ школъ въ XVI столѣтіи. Ихъ содержаніе повидимому преимущественно религіозное; но это большей частью миражъ, а на самомъ дѣлѣ предметъ этой живописи—красота какъ красота, больше въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романтическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ напримѣръ мадонну Рафаэля, этотъ chef d'oeuvre итальянской живописи XVI вѣка. Кто не помнитъ статьи Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведеніи, кто съ молодыхъ лѣтъ не составилъ себѣ о немъ понятія по этой статьѣ? Кто, стало-быть, не былъ увѣренъ, какъ въ несомнѣнной истинѣ, что это произведеніе по превосходству романтическое, что лицо мадонны—высочайшій идеалъ той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію, и то въ рѣдкія мгновенія чистаго восторженнаго вдохновенія?.. Авторъ предлагаемой статьи недавно видѣлъ эту картину. Не будучи знатокомъ живописи, онъ не позволилъ бы себѣ говорить объ этой удивительной картинѣ съ цѣлью опредѣлить ея значеніе и степень ея достоинства: но какъ дѣло идетъ только о его личномъ впечатлѣніи и о романтическомъ или неромантическомъ характерѣ картины,—то онъ думаетъ, что можетъ позволить себѣ на этотъ счетъ нѣсколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читалъ уже давно, можетъ быть больше десяти лѣтъ, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитывалъ ее со всѣмъ страстнымъ увлеченіемъ, со всей вѣрой молодости и зналъ ее почти наизусть,—то и подошелъ къ знаменитой картинѣ съ ожиданіемъ уже извѣстнаго впечатлѣнія. Долго смотрѣлъ онъ на нее, оставлялъ, обращался къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатлѣніе его было рѣшительно и опредѣленно въ одномъ отношеніи: онъ тотчасъ же почувствовалъ, что послѣ этой картины трудно понять достоинства другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ дрезденской галлереѣ и въ оба видѣлъ только эту картину, даже когда смотрѣлъ на другія и когда ни на что̀ не смотрѣлъ. И теперь, когда ни вспомнитъ онъ о ней, она словно стоитъ передъ его глазами, и память почти замѣняетъ дѣйствительность. Но чѣмъ дольше и пристальнѣе всматривался онъ въ эту картину, чѣмъ больше думалъ тогда и послѣ, тѣмъ болѣе убѣждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ рафаэлевой,—двѣ совершенно различныя картины, не имѣющія между собой ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ея выражаетъ ту красоту, которая существуетъ самостоятельно, не заимствуя своего очарованія отъ какого-нибудь нравственнаго выраженія въ лицѣ. На этомъ лицѣ, напротивъ, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознаніемъ и своего высокаго сана, и своего личнаго достоинства. Въ ея взорѣ есть что̀ то строгое, сдержанное, нѣтъ благости и милости, но нѣтъ и гордости, презрѣнія, а вмѣсто всего этого какое-то не забывающее своего величія снисхожденіе. Это—какъ бы сказать—idéal sublime du comme il faut. Но ни тѣни неуловимаго, таинственнаго, туманнаго, мерцающаго,—словомъ, романтическаго; напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная опредѣленность, оконченность, такая строгая правильность и вѣрность очертаній, и вмѣстѣ съ этимъ такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картинѣ только въ лицѣ божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положеніи младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумѣю зрителей картины) ру-

кахъ, въ расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гнѣвъ и угроза, а въ приподнятой нижней губѣ горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенія и милости, не искупительный агнецъ за грѣхи міра,—это Богъ судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурѣ младенца нѣтъ ничего романтическаго; напротивъ, его выраженіе такъ просто и опредѣленно, такъ уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что̀ видишь. Развѣ только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерцающихъ явленіе Божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнѣе искать такъ называемаго искусства у грековъ. Дѣйствительно, красота, составляющая существенный элементъ искусства, была едва-ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякаго другого къ идеалу такъ-называемаго чистаго искусства. Но тѣмъ не менѣе красота въ немъ была больше существенной формой всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религія, и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало-быть, и самое греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, какъ на представителей свободнаго, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ—величайшій творческій геній, поэтъ по преимуществу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но тѣ плохо понимаютъ его, кто изъ-за его поэзіи не видитъ богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковъ и фактовъ для психолога, философа, историка, государственнаго человѣка и т. п. Шекспиръ все передаетъ черезъ поэзію, но передаваемое имъ далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи. Вообще характеръ новаго искусства—перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства—равновѣсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнѣе, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажемъ это двумя примѣрами. Въ «Современникѣ» прошлаго года напечатанъ былъ переводъ гётевскаго романа «Wahlverwandschaften», о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германіи же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, о немъ написаны тамъ горы статей и цѣлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ русской публикѣ, и даже понравился-ли онъ ей: наше дѣло было познакомить ее съ замѣчательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ многому можно удивиться! Дѣвушка переписываетъ отчеты по управленію имѣніемъ; герой романа замѣчаетъ, что въ ея копіи, чѣмъ дальше, тѣмъ больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. «Ты любишь меня!» восклицаетъ онъ, бросаясь ей на шею. Повторяемъ, такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикѣ не можетъ не показаться странной. Но для нѣмцевъ она нисколько не странна, потому что это черта нѣмецкой жизни, вѣрно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй, и весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значитъ-ли это, что романъ Гёте написанъ до того подъ вліяніемъ нѣмецкой общественности, что внѣ Германіи онъ кажется чѣмъ-то странно необыкновеннымъ? Но «Фаустъ» Гёте конечно вездѣ великое созданіе. На него въ особенности любятъ указывать, какъ на образецъ чистаго искусства, неподчиняющагося ничему, кромѣ собственныхъ, одному ему свойственныхъ законовъ. И однакожъ—не въ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго искусства—«Фаустъ» есть полное отраженіе всей жизни современнаго ему нѣмецкаго общества. Въ немъ выразилось все философское движеніе Германіи въ концѣ прошлаго столѣтія. Недаромъ послѣдователи школы Гегеля цитовали безпрестанно въ своихъ лекціяхъ и философскихъ трактатахъ стихи изъ «Фауста». Недаромъ также во второй части «Фауста» Гёте безпрестанно впадалъ въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдѣ-же тутъ чистое искусство?

Мы видѣли, что и греческое искусство только ближе всякаго другого къ идеалу такъ-называемаго чистаго искусства, но не осуществляетъ его вполнѣ; что̀ же касается до новѣйшаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого идеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляетъ его силу. Собственно художественный интересъ не могъ не уступить мѣста другимъ важнѣйшимъ для человѣчества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ въ качествѣ ихъ органа. Но отъ этого оно нисколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характеръ. Отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ—значитъ не возвышать,

а унижать его, потому что это значитъ — лишать его самой живой силы, т.-е. мысли, дѣлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкой праздныхъ лѣнивцевъ. Это значитъ даже убивать его, чему доказательствомъ можетъ служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей вокругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ отжившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охладѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живого сочувствія.

Платонъ считалъ униженіемъ, профанаціей науки приложеніе геометріи къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалистѣ и романтикѣ, гражданинѣ маленькой республики, гдѣ общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имѣетъ даже оригинальности милой нелѣпости. Говорятъ, Диккенсъ своими романами сильно способствовалъ въ Англіи улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безщадномъ драньѣ розгами и варварскомъ обращеніи съ дѣтьми. Что жъ тутъ дурного, спросимъ мы, если Диккенсъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ какъ поэтъ? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношеніи? Здѣсь явное недоразумѣніе: видятъ, что искусство и наука не одно и то же, а не видятъ, что ихъ различіе вовсе не въ содержаніи, а только въ способѣ обрабатывать данное содержаніе. Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ—образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружась статистическими числами, доказываетъ, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, показываетъ въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убѣждаютъ, только одинъ логическими доводами, другой—картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаетъ самой истины. Если мы видимъ иногда людей, даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что такіе вопросы чужды искусству и губятъ его. Еслибы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ напримѣръ былъ забытый теперь романъ «Панъ Подстоличъ», вышедшій назадъ тому больше десяти лѣтъ и написанный съ похвальной цѣлью — представить картину состоянія бѣлорусскихъ крестьянъ; но все же онъ не былъ совсѣмъ безполезенъ, и хоть съ страшной скукой, но прочли же его иные. Конечно авторъ лучше достигъ бы своей благородной цѣли, еслибы содержаніе своего романа изложилъ въ формѣ записокъ или замѣтокъ наблюдателя, не пускаясь въ поэзію; но еслибы онъ взялся написать романъ чисто поэтическій, онъ еще меньше достигъ бы своей цѣли. Теперь многихъ увлекаетъ волшебное словцо: «направленіе»; думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательной мыслью,—что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самаго искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, какъ должно, но не проведенная черезъ собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капиталъ не только для поэтической, но и всякой литературной дѣятельности. Какъ ни списывайте съ натуры, какъ ни сдабривайте вашихъ списковъ готовыми идеями и благонамѣренными «тенденціями», но если у васъ нѣтъ поэтическаго таланта,—списки ваши никому не напомнятъ своихъ оригиналовъ, а идеи и направленія останутся общими риторическими мѣстами.

Теперь что нибудь одно изъ двухъ: или картины нѣкоторыхъ сторонъ общественнаго быта, представляемыя писателями натуральной школы, проникнуты истиной и вѣрностью дѣйствительности, и въ такомъ случаѣ онѣ порождены талантомъ, носятъ

на себѣ отпечатокъ созданія; или, если это наоборотъ, онѣ не могутъ никого увлекать и убѣждать, и въ нихъ никто не видитъ ни малѣйшаго сходства съ дѣйствительностью. Такъ и говорятъ о нихъ противники этой школы, но тогда слѣдуетъ вопросъ: отчего же съ одной стороны эти произведенія пользуются такимъ успѣхомъ у большинства читающей публики, а съ другой—имѣютъ способность такъ сильно раздражать противниковъ натуральной школы? Вѣдь только золотая посредственность пользуется завидной привилегіей — никого не раздражать и не имѣть враговъ и противниковъ?

Одни говорили, что натуральная школа клевещетъ на общество и унижаетъ его умышленно; другіе теперь прибавляютъ къ этому, что она особенно виновата въ этомъ отношеніи передъ простымъ народомъ. Послѣднее обвиненіе выходитъ какъ-то противорѣчиво у хулителей натуральной школы: одни изъ нихъ упрекаютъ ее съ мѣщански-аристократической точки зрѣнія, достойной прославленнаго Мольеромъ Журдэна, за излишнюю симпатію къ людямъ простого званія, другіе—за скрытую враждебность къ нимъ. Мы уже имѣли случай обстоятельно и подробно возразить на это обвиненіе и доказать всю его неосновательность и неблаговидность (въ статьѣ «Отвѣтъ «Москвитянину»), такъ что новаго объ этомъ сказать ничего не имѣемъ, пока наши доброжелатели не выдумаютъ чего нибудь новаго въ подкрѣпленіе этого, дѣлающаго имъ особенную честь, обвиненія. И потому скажемъ нѣсколько словъ о другомъ обвиненіи. Одни говорятъ (и очень справедливо на этотъ разъ), что натуральная школа основана Гоголемъ; другіе, отчасти соглашаясь съ этимъ, прибавляютъ еще, что французская неистовая словесность (лѣтъ десять назадъ тому какъ уже скончавшаяся вмалѣ) еще больше Гоголя имѣла участія въ порожденіи натуральной школы. Подобное обвиненіе изъ рукъ вонъ нелѣпо: всѣ факты рѣшительно противъ него. Обращаясь къ его родословной, можно сказать, что оно порождено или тѣми неблаговидными причинами, о которыхъ говорить запрещаетъ приличіе, или рѣшительнымъ непониманіемъ литературнаго дѣла. Послѣднее еще вѣрнѣе. Хотя эти господа и ратуютъ за искусство, но это не мѣшаетъ имъ не имѣть о немъ ни малѣйшаго понятія. Какія произведенія французской литературы причислены были у насъ почему-то къ неистовой школѣ?—Первые романы Гюго (и въ особенности его знаменитая «Notre-Dame de Paris»), Сю, Дюма, «Мертвый оселъ и гильотинированная женщина» Жюль Жанена. Не такъ-ли? Кто жъ теперь ихъ помнитъ, когда сами авторы ихъ давно уже приняли новое направленіе? И что̀ составляло главный характеръ этихъ произведеній, не лишенныхъ впрочемъ своего рода достоинствъ? — преувеличеніе, мелодрама, трескучіе эффекты. Представителемъ такого направленія у насъ былъ только Марлинскій, и вліяніе Гоголя положило рѣшительный конецъ этому направленію. Что же у него общаго съ натуральной школой? Теперь даже и рѣдкихъ попытокъ нѣтъ на произведенія съ такимъ направленіемъ, за исключеніемъ развѣ драмъ съ испанскими страстями, восхищающихъ обычныхъ посѣтителей Александринскаго театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень рѣдко, пріобрѣсти успѣхъ подражаніемъ французскимъ романамъ, то новѣйшимъ, болѣе нелѣпымъ и вздорнымъ, нежели неистовымъ. Къ такимъ попыткамъ принадлежитъ недавно напечатанный въ одномъ журналѣ романъ «Спекуляторы», наполненный небывалыми злодѣями или, вѣрнѣе сказать, негодяями, и невозможными похожденіями, изъ которыхъ однакожъ выводится въ концѣ чистѣйшая нравственность. Но натуральной школѣ что̀ за дѣло до подобныхъ произведеній? Они къ ней не относятся ни съ которой стороны.

Гораздо вѣрнѣе всѣхъ этихъ обвиненій тотъ фактъ, что въ лицѣ писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохновенія и идеаловъ, и чрезъ это сдѣлалась и современной, и русской. Съ этого пути она, кажется, уже не сойдетъ, потому-что это прямой путь къ самобытности, къ освобожденію отъ всякихъ чуждыхъ и посторонникъ вліяній. Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что она всегда останется въ томъ состояніи, какъ теперь; нѣтъ, она будетъ идти впередъ, измѣняться, но только никогда уже не перестанетъ быть вѣрной дѣйствительности и натурѣ. Мы нисколько не обольщены ея успѣхами и вовсе не хотимъ преувеличивать ихъ. Мы очень хорошо видимъ, что наша литература и теперь еще на пути стремленія, а не достиженія, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успѣхъ ея заключается пока въ томъ, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищетъ ея, но съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе твердымъ шагомъ продолжаетъ идти по ней. Теперь у ней нѣтъ главы, ея дѣятели—таланты не первой степени, а между тѣмъ она имѣетъ свой характеръ и уже безъ помочей идетъ по настоящей дорогѣ, которую ясно ви-

дитъ сама. Здѣсь невольно приходятъ намъ на память слова, сказанныя редакторомъ «Современника» въ первой книжкѣ этого журнала за прошлый годъ: «Взамѣнъ сильныхъ талантовъ, не достающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненныя начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности. Она уже, какъ мы замѣтили выше, явленіе опредѣленнаго рода; въ ней есть сознаніе самостоятельности и своего значенія. Она уже сила организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными нуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетѣвшій изъ чуждой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка уединенной геніальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство нашихъ полей, только-что освободившихся отъ ледяной земной коры: тутъ на холмахъ кой-гдѣ пробивается травка, въ оврагахъ лежитъ еще почернѣвшій снѣгъ, перемѣшанный съ грязью. Теперь ее можно сравнить съ тѣми же полями въ весеннемъ убранствѣ: хотя зелень не блистаетъ яркимъ колоритомъ, мѣстами она очень блѣдна и не роскошна, но она уже стелется повсюду; прекрасное время года наступаетъ».

Мы думаемъ, что въ этомъ есть прогрессъ...

Справедливость выписанныхъ нами словъ сдѣлается еще очевиднѣе, если обратить вниманіе и на другія стороны русской литературы нашего времени. Тамъ увидимъ мы явленіе, соотвѣтствующее тому, которое въ поэзіи называютъ натурализмомъ, т. е. то же стремленіе къ дѣйствительности, реальности, истинѣ, то же отвращеніе отъ фантазій и призраковъ. Въ наукѣ отвлеченныя теоріи, апріорныя построенія, довѣріе къ системамъ со дня на день теряютъ свой кредитъ и уступаютъ мѣсто направленію практическому, основанному на знаніи фактовъ. Конечно наука еще не пустила у насъ глубокихъ корней, но и въ ней уже замѣтенъ поворотъ къ самобытности, именно въ той сферѣ, въ которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки—въ сферѣ изученія русской исторіи. Въ ея событіяхъ, до сихъ поръ объяснявшихся подъ вліяніемъ изученія западной исторіи, уже приводятся начала жизни, только ей свойственныя, и русская исторія объясняется по-русски. То же обращеніе къ вопросамъ, имѣющимъ болѣе близкое отношеніе собственно къ нашей, русской жизни, то же усиліе разрѣшить ихъ по своему замѣтно и въ изученіи современнаго быта Россіи. Чтобы доказать это, мы разберемъ все, что̀ въ прошломъ году явилось замѣчательнаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи.

II.

Значеніе романа и повѣсти въ настоящее время.— Замѣчательные романы и повѣсти прошлаго года и характеристика современныхъ русскихъ беллетристовъ: Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Даль, Григоровичъ, Дружининъ. — «Путевыя замѣтки» Т. Ч.—«Испанскія письма», Боткина.—«Полное собраніе русскихъ авторовъ», А. Смирдина.

Романъ и повѣсть стали теперь во главѣ всѣхъ другихъ родовъ поэзіи. Въ нихъ заключилась вся изящная литература, такъ что всякое другое произведеніе кажется при нихъ чѣмъ-то исключительнымъ и случайнымъ. Причины этого—въ самой сущности романа и повѣсти, какъ рода поэзіи. Въ нихъ лучше, удобнѣе, нежели въ какомъ-нибудь другомъ родѣ поэзіи, вымыслъ сливается съ дѣйствительностью, художественное изобрѣтеніе смѣшивается съ простымъ, лишь бы вѣрнымъ, списываніемъ съ натуры. Романъ и повѣсть, даже изображая самую обыкновенную и пошлую прозу житейскаго быта, могутъ быть представителями крайнихъ предѣловъ искусства, высшаго творчества; съ другой стороны, отражая въ себѣ только избранныя, высокія мгновенія жизни, они могутъ быть лишены всякой поэзіи, всякаго искусства... Это самый широкій, всеобъемлющій родъ поэзіи. Въ немъ талантъ чувствуетъ себя безгранично свободнымъ; въ немъ соединяются всѣ другіе роды поэзіи—и лирика, какъ изліяніе чувствъ автора по поводу описываемаго имъ событія, и драматизмъ, какъ болѣе яркій и рельефный способъ заставлять высказываться данные характеры. Отступленія, разсужденія, дидактика, нетерпимыя въ другихъ родахъ поэзіи, въ романѣ и повѣсти могутъ имѣть законное мѣсто. Романъ и повѣсть даютъ полный просторъ писателю въ отношеніи преобладающаго свойства его таланта, характера, вкуса, направленія, и т. д. Вотъ почему въ послѣднее время такъ много романистовъ и повѣствователей. И потому же теперь самые предѣлы романа и повѣсти раздвинулись: кромѣ «разсказа», давно уже существовавшаго въ литературѣ, какъ низшій и болѣе легкій видъ повѣсти, недавно получили въ литературѣ право гражданства такъ-называемыя физіологіи, характеристическіе очерки разныхъ сторонъ обществен-

наго быта. Наконецъ самые мемуары, совершенно чуждые всякаго вымысла, цѣнимые только по мѣрѣ вѣрной и точной передачи ими дѣйствительныхъ событій, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляютъ какъ бы послѣднюю грань въ области романа, замыкая ее собою. Что же общаго между вымыслами фантазіи и строго историческимъ изображеніемъ того, что было на самомъ дѣлѣ? Какъ что?—художественность изложенія! Недаромъ же историковъ называютъ художниками. Кажется, что-бы дѣлать искусству (въ смыслѣ художества) тамъ, гдѣ писатель связанъ источниками, фактами и долженъ только о томъ стараться, чтобы воспроизвести эти факты какъ можно вѣрнѣе? Но въ томъ-то и дѣло, что вѣрное воспроизведеніе фактовъ невозможно при помощи одной эрудиціи, а нужна еще фантазія. Историческіе факты, содержащіеся въ источникахъ,—не болѣе, какъ камни и кирпичи: только художникъ можетъ воздвигнуть изъ этого матеріала изящное зданіе. Въ первой статьѣ нашей мы уже говорили о томъ, что вѣрно списывать съ натуры такъ же нельзя безъ творческаго таланта, какъ и создавать вымыслы, похожіе на натуру. Сближеніе искусства съ жизнью, вымысла — съ дѣйствительностью въ нашъ вѣкъ особенно выразилось въ историческомъ романѣ. Отсюда былъ только шагъ до истиннаго воззрѣнія на мемуары, въ которыхъ такую важную роль играютъ очерки характеровъ и лицъ. Если очерки живы, увлекательны, значитъ— они не копіи, не списки, всегда блѣдные, ничего не выражающіе, а художественное воспроизведеніе лицъ и событій. Такъ дорожатъ портретами Ванъ-Дейковъ, Тиціановъ и Веляскесовъ, вовсе не интересуясь знать, съ кого были писаны эти портреты: ими дорожатъ, какъ картинами, какъ художественными произведеніями. Такова сила искусства: лицо, ничѣмъ не замѣчательное само по себѣ, получаетъ чрезъ искусство общее значеніе, для всѣхъ равно интересное, и на человѣка, который при жизни не обращалъ на себя ничьего вниманія, смотрятъ вѣка по милости художника, давшаго ему своей кистью новую жизнь! То же самое и въ мемуарахъ, и въ разсказахъ, и во всякаго рода снимкахъ съ натуры. Тутъ степень достоинства произведенія зависитъ отъ степени таланта писателя. И вы можете въ книгѣ любоваться человѣкомъ, съ которымъ не захотѣли бы нигдѣ встрѣтиться, котораго можетъ-быть всегда знали бы какъ самое пустое и скучное созданіе. Запоздалыя эстетики утверждаютъ, что «поэзія не должна быть живописью, потому что въ живописи все дѣло въ вѣрномъ изображеніи предмета, схваченнаго въ одномъ извѣстномъ моментѣ». Но если поэзія беретъся изображать лица, характеры, событія,— словомъ, картины жизни, само собою разумѣется, что въ такомъ случаѣ она беретъ на себя ту же самую обязанность, что живопись, т. е. быть вѣрной дѣйствительности, которую взялась воспроизводить. И эта вѣрность есть первое требованіе, первая задача поэзіи. О поэтическомъ талантѣ автора тутъ должно судить, прежде всего основываясь на томъ, до какой степени удовлетворяетъ онъ этому требованію, рѣшаетъ эту задачу. Если онъ не живописецъ,— явный знакъ, что онъ и не поэтъ, что у него вовсе нѣтъ таланта. Но что поэзія не должна быть только живописью, это опять другое дѣло, и съ этимъ нельзя не согласиться. Въ картинахъ поэта должна быть мысль, производимое ими впечатлѣніе должно дѣйствовать на умъ читателя, должно давать то или другое направленіе его взгляду на извѣстныя стороны жизни. Для этого романъ и повѣсть, съ однородными имъ произведеніями, самый удобный родъ поэзіи. На его долю преимущественно досталось изображеніе картинъ общественности, поэтическій анализъ общественной жизни.

Прошлый 1847 годъ былъ особенно богатъ замѣчательными романами, повѣстями и разсказами. По огромному успѣху въ публикѣ, первое мѣсто между ними принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнья, двумъ романамъ: «Кто виноватъ?» и «Обыкновенная Исторія», почему мы и начнемъ съ нихъ наше обозрѣніе изящной литературы за прошлый годъ.

Искандеръ давно уже извѣстенъ публикѣ, какъ авторъ разныхъ статей, отличающихся замѣчательнымъ умомъ, талантомъ, остроуміемъ, оригинальностью взгляда на предметы и оригинальностью выраженія. Но какъ романистъ, онъ талантъ новый, обратившій на себя особенное вниманіе русской публики только съ прошлаго года. Правда, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны два его опыта въ искусствѣ разсказывать: «Записки одного молодого человѣка» (1840) и «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» (1841), въ которыхъ можно было предугадывать въ авторѣ будущаго даровитаго романиста, судя по вѣрности и живости этихъ легкихъ очерковъ. Гончаровъ, авторъ «Обыкновенной Исторіи»,—лицо совершенно новое въ нашей литературѣ, но уже занявшее въ ней одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Потому ли, что оба эти романа — «Кто виноватъ?» и «Обыкновенная Исторія»—появились почти въ одно время и раздѣлили между собой славу необыкновеннаго успѣ-

ха, — о нихъ не только говорятъ вмѣстѣ, но еще и сравниваютъ ихъ между собой, будто явленія однородныя. Одинъ журналъ, объявивъ недавно романъ Искандера въ высшей степени художественнымъ произведеніемъ, изъявилъ свое недовольство романомъ Гончарова на томъ основаніи, что въ послѣднемъ не нашелъ достоинствъ перваго. Мы тоже намѣрены въ разборѣ этихъ романовъ ставить ихъ вмѣстѣ, но не для того, чтобы показать ихъ сходство, котораго между ними, какъ произведеніями совершенно различными по ихъ сущности, нѣтъ и тѣни, а для того, чтобы самой ихъ взаимной противоположностью вѣрнѣе очертить особенность каждаго изъ нихъ и показать ихъ достоинства и недостатки.

Видѣть въ авторѣ «Кто виноватъ?» необыкновеннаго художника—значитъ вовсе не понимать его таланта. Правда, онъ обладаетъ замѣчательной способностью вѣрно передавать явленія дѣйствительности, очерки его опредѣленны и рѣзки, картины его ярки и сразу бросаются въ глаза. Но даже и эти самыя качества доказываютъ, что главная сила его не въ творчествѣ, не въ художественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполнѣ сознанной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера схватывать вѣрно явленія дѣйствительности—второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую, — вторая окажется слишкомъ несостоятельной для самобытной дѣятельности.

Подобный талантъ не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нѣтъ, такіе таланты такъ же естественны, какъ и таланты чисто художественные. Ихъ дѣятельность образуетъ особенную сферу искусства, въ которой фантазія является на второмъ мѣстѣ, а умъ — на первомъ. На это различіе мало обращаютъ вниманія и оттого въ теоріи искусства выходитъ страшная путаница. Хотятъ видѣть въ искусствѣ своего рода умственный Китай, рѣзко отдѣленный точными границами отъ всего, что̀ не искусство въ строгомъ смыслѣ слова. А между тѣмъ эти пограничныя линіи существуютъ больше предположительно, нежели дѣйствительно; по крайней мѣрѣ ихъ не укажешь пальцемъ, какъ на картѣ границы государствъ. Искусство, по мѣрѣ приближенія къ той или другой своей границѣ, постепенно теряетъ нѣчто отъ своей сущности и принимаетъ въ себя отъ сущности того, съ чѣмъ граничитъ, такъ что вмѣсто разграничивающей черты является область, примиряющая обѣ стороны.

Поэтъ-художникъ — болѣе живописецъ, нежели думаютъ. Чувство формы—въ этомъ вся натура его. Вѣчно соперничать съ природой въ способности творить — его высочайшее наслажденье. Схватить данный предметъ во всей его истинѣ, заставить его, такъ-сказать, дышать жизнью—вотъ въ чемъ его сила, торжество, удовлетвореніе, гордость. Но поэзія выше живописи, предѣлы ея обширнѣе, нежели предѣлы всякаго другого искусства. И потому поэтъ, разумѣется, не можетъ ограничиться одной живописью,—о чемъ мы впрочемъ уже говорили. Но какія бы ни были другія превосходныя, возбуждающія восторгъ и удивленье качества его твореній, — все-таки главная сила его въ поэтической живописи. Онъ обладаетъ способностью быстро постигать всѣ формы жизни, переноситься во всякій характеръ, во всякую личность,—и для этого ему нужны не опытъ, не изученіе, а достаточно иногда одного намека или одного быстраго взгляда. Два-три факта,—и его фантазія возстановляетъ цѣлый отдѣльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ жизни, со всѣми его условіями и отношеніями, съ свойственнымъ ему колоритомъ и оттѣнками. Такъ Кювье наукой дошелъ до искусства по одной ископаемой кости возстановлять умственно цѣлый организмъ животнаго, которому она принадлежала. Но тутъ дѣйствовалъ геній, развитый и вспомоществуемый наукой; поэтъ же преимущественно опирается на свое чувство, свой поэтическій инстинктъ.

Другой разрядъ поэтовъ, о которомъ мы начали говорить и къ которому принадлежитъ авторъ романа «Кто виноватъ?», можетъ изображать вѣрно только тѣ стороны жизни, которыя особенно почему бы то ни было поразили ихъ мысль и особенно знакомы имъ. Они не понимаютъ наслажденія представить вѣрно явленіе дѣйствительности для того только, чтобы вѣрно представить его. У нихъ не достаетъ ни охоты, ни терпѣнія на такой, по ихъ мнѣнію, безполезный трудъ. Для нихъ важенъ не предметъ, а смыслъ предмета,—и ихъ вдохновенье вспыхиваетъ только для того, чтобы черезъ вѣрное представленіе предмета сдѣлать въ глазахъ всѣхъ очевиднымъ и осязательнымъ смыслъ его. У нихъ, стало-быть, опредѣленная и ясно сознанная цѣль впереди всего, а поэзія—только средство къ достиженію этой цѣли. Поэтому доступный ихъ таланту міръ жизни опредѣляется ихъ задушевной мыслью, ихъ взглядомъ на жизнь; это магическій кругъ, изъ котораго они не могутъ выйти безнаказанно, т. е. не теряя вдругъ способности изображать дѣйствительность поэтически вѣрно. Отнимите у нихъ эту, одушевляющую ихъ, мысль, заставьте отка-

заться отъ ихъ взгляда на предметы,—и у нихъ нѣтъ больше и таланта; тогда какъ талантъ поэта-художника всегда съ нимъ, пока вокругъ него движется жизнь, какая бы она ни была.

Что̀ составляетъ задушевную мысль Искандера, которая служитъ ему источникомъ его вдохновенія, возвышаетъ его иногда въ вѣрномъ изображеніи явленій общественной жизни почти до художественности? — Мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предразсудками, невѣжествомъ, и унижается то несправедливостью человѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя. Герой всѣхъ романовъ и повѣстей Искандера, сколько бы ни написалъ онъ ихъ, всегда былъ и будетъ одинъ и тотъ же: это—человѣкъ, понятіе общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ—по преимуществу поэтъ гуманности. Поэтому въ его романѣ бездна лицъ, большей частью мастерски очерченныхъ, но нѣтъ героя, нѣтъ героини. Въ первой части, заинтересовавъ насъ четой Негровыхъ, онъ выводитъ намъ героями романа Круциферскаго и Любоньку. Въ эпизодѣ, записанномъ для связи обѣихъ частей, героемъ является Бельтовъ; но мать Бельтова и его гувернеръ-женевецъ едва ли не больше, нежели онъ самъ, интересуютъ собой читателя. Во второй части героями являются Бельтовъ и Круциферская, и въ ней только раскрывается вполнѣ основная мысль романа, являющаяся сначала такъ загадочной въ его названіи «Кто виноватъ?». Но мы должны признаться, что эта-то мысль всего менѣе и интересуетъ насъ въ романѣ, такъ же, какъ Бельтовъ, герой романа, кажется намъ самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романѣ. Когда Круциферскій сдѣлался женихомъ Любоньки, докторъ Круповъ сказалъ ему: «не пара тебѣ эта невѣста, ужъ что̀ хочешь,—эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепетъ, который иногда пробѣгаетъ по ея лицу,—она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы, а ты, да что̀ ты? ты—невѣста; ты, братецъ, нѣмка; ты будешь жена—ну, годно ли это?» Въ этихъ словахъ лежитъ завязка романа, который, по намѣренію автора, долженъ былъ только начаться свадьбой вмѣсто того, чтобы кончиться ею. Авторъ, познакомивши насъ съ Бельтовымъ, ведетъ насъ въ мирное убѣжище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихимъ семейнымъ счастьемъ; — но, помня мрачное предсказаніе оракула въ лицѣ скептическаго доктора, читатель невольно ждетъ, что въ самой картинѣ семейнаго счастья Круциферскихъ авторъ покажетъ ему зародышъ и начало будущихъ бѣдъ. Круциферскій дѣйствительно не женился, а вышелъ замужъ. Его жена была слишкомъ выше его, слѣдовательно слишкомъ не по немъ. Естественно, что онъ былъ вполнѣ счастливъ ею; но не естественно, чтобъ она была спокойно счастлива, не видѣла тревожныхъ сновъ, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, какъ существо младенчески чистое и благородное, которое сверхъ того вырвало ее изъ аду родительскаго дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить тѣ потребности, тѣ стремленія ея натуры, которыя тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ неопредѣленнѣе и безсознательнѣе? Знакомство съ Бельтовымъ, скоро превратившееся въ любовь, должно было только открыть ей глаза на ея положеніе, пробудить въ ней сознаніе того, что она не могла быть счастлива съ такимъ человѣкомъ, какъ Круциферскій. Но этого авторъ не сдѣлалъ.

Мысль была прекрасная, исполненная глубокаго трагическаго значенія. Она-то и увлекла большинство читателей и помѣшала имъ замѣтить, что вся исторія трагической любви Бельтова и Круциферской разсказана умно, очень умно, даже ловко, то зато ужъ нисколько не художественно. Тутъ мастерской разсказъ, но нѣтъ и слѣда живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умомъ онъ вѣрно понялъ положеніе своихъ героевъ, но передалъ его только какъ умный человѣкъ, хорошо понявшій дѣло, но не какъ поэтъ. Такъ иногда даровитый актеръ, взявшійся за роль, которая вовсе не въ его средствахъ и талантѣ, все-таки не портитъ ее, но умно и ловко выполняетъ ее, вмѣсто того чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а трагическій смыслъ пьесы дополняетъ недостатокъ въ выполненіи главной роли,—и зритель не вдругъ догадывается, что онъ былъ только увлеченъ, а совсѣмъ не удовлетворенъ.

Это доказывается между прочимъ и тѣмъ, что во второй части романа характеръ Бельтова произвольно измѣненъ авторомъ. Сперва это былъ человѣкъ, жаждавшій полезной дѣятельности и ни въ чемъ не находившій ея, по причинѣ ложнаго воспитанія, которое далъ ему благородный женевскій мечтатель. Бельтовъ зналъ многое и обо всемъ имѣлъ общія понятія, но совершенно не зналъ той общественной среды, въ которой одной могъ бы дѣйствовать съ пользой. Все это не только сказано, но и показано авторомъ мастерски.

Мы думаемъ, что при этомъ авторъ могъ бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кромѣ воспитанія, порядочно испорченную еще и богатствомъ. Тому, кто родился богатымъ, надо получить отъ природы особенное призваніе къ какой бы то ни было дѣятельности, чтобы не праздно жить на свѣтѣ и не скучать отъ бездѣйствія. Этого-то призванія и не замѣтно вовсе въ натурѣ Бельтова. Натура его была чрезвычайно богата и многосторонна, но въ этомъ богатствѣ и многосторонности ничто не имѣло прочнаго корня. У него много ума, но ума созерцательнаго, теорическаго, который не столько углублялся въ предметы, сколько скользилъ по нимъ. Онъ способенъ былъ понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствія и пониманія и мѣшаетъ такимъ людямъ сосредоточить всѣ свои силы на одномъ предметѣ, устремить на него всю свою волю. Такіе люди вѣчно порываются къ дѣятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумѣется, не находятъ ея.

Такимъ образомъ Бельтовъ осужденъ былъ томиться никогда неудовлетворяемой жаждой дѣятельности и тоской бездѣйствія. Авторъ мастерски передалъ намъ его неудачныя попытки служить, потомъ сдѣлаться врачемъ, артистомъ. Если нельзя сказать, что онъ вполнѣ очертилъ и разъяснилъ этотъ характеръ,—все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но въ послѣдней части романа Бельтовъ вдругъ является передъ нами какой-то высшей, геніальной натурой, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща... Это уже совсѣмъ не тотъ человѣкъ, съ которымъ мы такъ хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтовъ, а что то вродѣ Печорина. Разумѣется, прежній Бельтовъ былъ гораздо лучше, какъ всякій человѣкъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринымъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачѣмъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!... Неужели этимъ онъ хотѣлъ поднять Бельтова до Круциферской? Напрасно! для нея онъ былъ бы также интересенъ и въ прежнемъ своемъ видѣ; и тогда онъ сталъ бы подлѣ бѣднаго Круциферскаго настоящимъ колоссомъ подлѣ карлика. Онъ былъ человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, мужчина, по крайней мѣрѣ по уму и взгляду на жизнь; а Круциферскій съ его благородными мечтами вмѣсто настоящаго пониманія людей и жизни и подлѣ прежняго Бельтова все казался бы ребенкомъ, котораго развитіе задержано какой-нибудь болѣзнью.

Круциферская, въ свою очередь, является гораздо интереснѣе въ первой части романа, нежели въ послѣдней. Нельзя сказать, чтобы и тамъ ея характеръ былъ рѣзко очерченъ; но зато рѣзко было очерчено ея положеніе въ домѣ Негрова. Тамъ она хороша молча, безъ словъ, безъ дѣйствій. Читатель угадываетъ ее, хотя не слышитъ отъ нея почти ни слова. Авторъ въ обрисовкѣ ея положенія обнаружилъ необыкновенное мастерство. Только въ отрывкахъ изъ ея дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсѣмъ довольны этой исповѣдью. Кромѣ того, что манера знакомить читателей съ героинями романовъ черезъ ихъ записки—манера старая, избитая и фальшивая,—записки Любоньки немножко отзываются поддѣлкой: по крайней мѣрѣ не всякій повѣритъ, что ихъ писала женщина... Очевидно, что и тутъ авторъ вышелъ изъ сферы своего таланта. То же скажемъ мы и объ отрывкахъ Круциферской въ концѣ романа. Въ томъ и другомъ случаѣ авторъ ловко отдѣлался отъ задачи, которая была ему не по силамъ, но не больше. Вообще, сдѣлавшись Круциферской, Любонька перестала быть характеромъ, лицомъ и превратилась въ мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтовъ—два единственныя лица, съ которыми авторъ не совладалъ какъ слѣдуетъ. Но и въ нихъ нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддержать интересъ до конца и поразить, растрогать большинство читателей тамъ, гдѣ съ его талантомъ, но безъ его ума и вѣрнаго взгляда на предметы, всякій другой только насмѣшилъ бы.

Итакъ, не въ картинѣ трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинствъ романа Искандера. Мы видѣли, что все это вовсе не картина, а мастерски изложенное слѣдственное дѣло. Вообще «Кто виноватъ?»—собственно не романъ, а рядъ біографій, мастерски написанныхъ и ловко связанныхъ внѣшнимъ образомъ въ одно цѣлое именно той мыслью, которой автору не удалось развить поэтически. Но въ этихъ біографіяхъ есть и внутренняя связь, хотя и безъ всякаго отношенія къ трагической любви Бельтова и Круциферской. Это—мысль, которая глубоко легла въ ихъ основаніе, дала жизнь и душу каждой чертѣ, каждому слову разсказа, сообщила ему эту убѣдительность и увлекательность, которыя равно неотразимо дѣйствуютъ на читателей симпатизирующихъ и несимпатизирующихъ съ авторомъ, образованныхъ и необразованныхъ. Мысль эта является у автора какъ чувство, какъ страсть; словомъ, изъ его романа видно,

что она столько же составляетъ пафосъ его жизни, какъ и его романа. О чемъ бы онъ ни говорилъ, чѣмъ бы ни увлекся въ отступленіи, онъ никогда не забываетъ ея, безпрестанно возвращается къ ней, она какъ-будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась съ его талантомъ; въ ней его сила; еслибъ онъ могъ охладѣть къ ней, отречься отъ нея, — онъ бы вдругъ лишился своего таланта. Какая же эта мысль? Это — страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще больше безъ умысла; это то, что̀ нѣмцы называютъ гуманностью (Humanität). Тѣ, кому покажется непонятной мысль, заключающаяся въ этомъ словѣ, въ сочиненіяхъ Искандера найдутъ самое лучшее ея объясненіе. О самомъ же словѣ скажемъ, что нѣмцы сдѣлали его изъ латинскаго слова humanus, что̀ значитъ человѣческій. Здѣсь оно берется въ противоположность слову животный. Когда человѣкъ поступаетъ съ людьми, какъ слѣдуетъ человѣку поступать съ своими ближними, братьями по естеству, онъ поступаетъ гуманно; въ противномъ случаѣ онъ поступаетъ, какъ прилично животному. Гуманность есть человѣколюбіе, но развитое сознаніемъ и образованіемъ. Человѣкъ, воспитывающій бѣднаго сироту не по разсчету, не изъ хвастовства, а по желанію сдѣлать добро, — воспитывающій его какъ родного сына, вмѣстѣ съ этимъ дающій ему чувствовать, что онъ его благодѣтель, что онъ на него тратится, и пр., и пр., такой человѣкъ конечно заслуживаетъ названіе добраго, нравственнаго и человѣколюбиваго, но отнюдь не гуманнаго. У него много чувства, любви, но они не развиты въ немъ сознаніемъ, покрыты грубой корой. Его грубый умъ и не подозрѣваетъ, что въ натурѣ человѣческой есть струны тонкія и нѣжныя, съ которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сдѣлать человѣка несчастнымъ при всѣхъ внѣшнихъ условіяхъ счастья, или чтобы не огрубить, не опошлить человѣка, который, при болѣе гуманномъ съ нимъ обращеніи, могъ бы сдѣлаться порядочнымъ. А между тѣмъ сколько на свѣтѣ такихъ благодѣтелей, которые мучатъ, а иногда и губятъ тѣхъ, на кого изливаются ихъ благодѣянія, безъ всякаго дурного умысла, иногда горячо любя ихъ, смиренно желая имъ всякаго добра,—и потомъ добродушно удивляются тому, что вмѣсто привязанности и уваженія имъ заплачено холодностью, равнодушіемъ, неблагодарностью, даже ненавистью и враждой, или что изъ ихъ воспитанниковъ вышли негодяи, тогда какъ они имъ дали самое нравственное воспитаніе. Сколько есть отцовъ и матерей, которые дѣйствительно по своему любятъ своихъ дѣтей, но считаютъ священной обязанностью безпрестанно твердить имъ, что они обязаны своимъ родителямъ и жизнью, и одеждой, и воспитаніемъ! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишаютъ себя дѣтей, замѣняя ихъ какими-то пріемышами, сиротами, которыхъ они взяли изъ чувства благодѣтельности. Они спокойно дремлютъ на моральномъ правилѣ, что дѣти должны любить своихъ родителей, и потомъ въ старости со вздохомъ повторяютъ избитую сентенцію, что отъ дѣтей-де нечего ожидать, кромѣ неблагодарности. Даже этотъ страшный опытъ не снимаетъ толстой ледяной коры съ ихъ оцѣпенѣлыхъ умовъ и не заставляетъ ихъ накопецъ понять, что сердце человѣческое дѣйствуетъ по своимъ собственнымъ законамъ и никакихъ другихъ признавать не хочетъ и не можетъ, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство противное человѣческой природѣ, сверхъ-естественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви, что любви нельзя требовать, какъ чего-то слѣдующаго намъ по праву, но всякую любовь надо пріобрѣсти, заслужить, отъ кого бы то ни было, все равно — отъ высшаго или отъ низшаго насъ, сыну ли отъ отца, или отцу отъ сына. Посмотрите на дѣтей: часто случается, что дитя очень равнодушно смотритъ на свою мать, хотя она и кормитъ его своей грудью, и подымаетъ страшный ревъ, если, проснувшись, не увидитъ тотчасъ же своей няни, которую оно привыкло видѣть при себѣ безотлучно. Видите ли: ребенокъ — это полное и совершенное выраженіе природы — даритъ своей любовью того, кто доказываетъ ему любовь свою на самомъ дѣлѣ, кто отказался для него отъ всѣхъ удовольствій, словно желѣзной цѣпью приковалъ себя къ его жалкому и слабому существованію.

Гуманность нисколько не находится въ противорѣчіи съ уваженіемъ къ высокимъ общественнымъ положеніямъ и рангамъ; но она находится въ рѣшительномъ противорѣчіи съ презрѣніемъ къ кому бы то ни было, кромѣ негодяевъ и подлецовъ. Она охотно признаетъ общественное первенство людей, но только смотритъ на него не съ одной внѣшней, но болѣе съ внутренней стороны. Гуманность не только не обязываетъ человѣка низшаго сословія съ грубыми манерами, привычками осыпать непривычными ему вѣжливостями, но даже запрещаетъ это, потому что такое обращеніе поставило бы его въ неловкое положеніе, заставило бы подозрѣвать въ немъ на-

смѣшку или дурной умыселъ. Гуманный человѣкъ обойдется съ низшимъ себя и грубо развитымъ человѣкомъ съ той вѣжливостью, которая тому не можетъ показаться странной или дикой; но онъ не допуститъ его унижать передъ нимъ свое человѣческое достоинство, — не позволитъ ему кланяться себѣ въ ноги, не станетъ называть его Ванькой или Ванюхой и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будетъ легонько трясти его за бороду въ знакъ своего милостиваго къ нему расположенія, чтобы тотъ, подло ухмыляясь, говорилъ ему съ подобострастіемъ: «за что изволите жаловать?..». Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважаютъ въ другихъ человѣческаго достоинства, и еще болѣе оскорбляется и страдаетъ, когда человѣкъ самъ въ себѣ не уважаетъ собственнаго достоинства.

Вотъ это-то чувство гуманности и составляетъ, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя имъ на сцену лица — люди не злые, даже большей частью добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намѣреніями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостью чувствъ и гадостью поступковъ, представляются авторомъ больше какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой натуры. Онъ изображаетъ преступленія, неподлежащія вѣдомству законовъ и понимаемыя большинствомъ какъ дѣйствія разумныя и нравственныя. Злодѣевъ у него мало: въ трехъ повѣстяхъ, доселѣ напечатанныхъ, только въ одной «Сорокѣ-Воровкѣ» выведенъ злодѣй, да и то такой, котораго и теперь многіе готовы счесть за самаго добродѣтельнаго и нравственнаго человѣка. Главное орудіе Искандера, которымъ онъ владѣетъ съ такимъ удивительнымъ мастерствомъ, — иронія, нерѣдко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкой, граціозной и необыкновенно добродушной шуткой: вспомните добраго почтмейстера, который два раза чуть не убилъ Бельтову, сначала горемъ, потомъ радостью, и такъ добродушно потиралъ себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что «нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силу упрекнуть его за эту штуку, и которое бы не предложило ему закусить». А между тѣмъ и въ этой чертѣ, нисколько не возмутительной, а только забавной, авторъ остается вѣрнымъ своей завѣтной идеѣ. Все что̀ касается этой идеи въ романѣ «Кто виноватъ?», — все это отличается вѣрностью дѣйствительности, мастерствомъ изложенія, которыя выше всякихъ похвалъ. Здѣсь, а не въ любви Бельтова и Круциферской, блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, что романъ этотъ — рядъ біографій, связанныхъ между собой одной мыслью, но безконечно разнообразныхъ, глубоко правдивыхъ и богатыхъ философскимъ значеніемъ. Здѣсь авторъ вполнѣ въ своей сферѣ. Что̀ лучшаго въ той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, какъ не біографія почтеннѣйшаго Карпа Кондратьича, бойкой супруги его Марьи Степановны и бѣдной дочери ихъ Варвары Карповны, по домашнему Вавы, — біографія, вошедшая сюда эпизодомъ? Когда интересны въ романѣ Круциферскій и Любонька? Тогда, какъ они живутъ въ домѣ Негровыхъ и страдаютъ отъ всего ихъ окружающаго. Такія положенія сподручны автору, и онъ необыкновенный мастеръ рисовать ихъ. Когда интересенъ самъ Бельтовъ? Когда мы читаемъ исторію его превратнаго и ложнаго воспитанія и потомъ исторію неудачныхъ попытокъ найти свою дорогу въ жизни. Это также входитъ въ сферу таланта автора. Онъ — философъ по преимуществу, а между тѣмъ немножко и поэтъ, и воспользовался этимъ, чтобы изложить свои понятія о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходнымъ разсказомъ: «Изъ сочиненія доктора Крупова — О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности». Въ немъ авторъ ни одной чертой, ни однимъ словомъ не вышелъ изъ сферы своего таланта, и оттого здѣсь его талантъ въ большей опредѣленности, нежели въ другихъ его сочиненіяхъ. Мысль его та же, но она приняла здѣсь исключительно тонъ иронія, для однихъ очень веселой и забавной, для другихъ грустной и мучительной, и только въ изображеніи косого Лёвки — фигуры, которая бы сдѣлала честь любому художнику, — авторъ говоритъ серьёзно. По мысли и по выполненію, это рѣшительно лучшее произведеніе прошлаго года, хотя оно и не произвело на публику особеннаго впечатлѣнія. Но публика права въ этомъ случаѣ: въ романѣ «Кто виноватъ?» и въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ другихъ писателей она нашла больше ближайшихъ къ ней и потому нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ ей истинъ, а между тѣмъ въ послѣднемъ произведеніи тотъ же духъ, то же содержаніе, что̀ и въ первомъ. Вообще упрек-

*

нуть автора въ односторонности — значило бы вовсе не понять его. Онъ можетъ изображать вѣрно только міръ, подлежащій вѣдомству его задушевной мысли; его мастерскіе очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изученіи извѣстной стороны дѣйствительности. Натура воспріимчивая и впечатлительная, авторъ сохранилъ въ памяти своей многіе образы, поразившіе его еще въ дѣтствѣ. Легко понять, что выводимыя имъ лица не суть чистыя созданія фантазіи, это скорѣе мастерски обдѣланные, а иногда и вовсе передѣланные матеріалы, цѣликомъ взятые изъ дѣйствительности. Вѣдь мы сказали, что авторъ больше философъ и только немножко поэтъ...

Совершенную противоположность составляетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи авторъ «Обыкновенной Исторіи». Онъ—поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ-будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу; у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собой другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свѣтской женщиной, мечтательной и съ разстроенными нервами? И каждая изъ нихъ въ своемъ родѣ мастерское, художественное произведеніе. Мать молодого Адуева и мать Надиньки— обѣ старухи, обѣ очень добры, обѣ очень любятъ своихъ дѣтей и обѣ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ обѣ глупы и пошлы. А между тѣмъ это два лица совершенно различныя: одна—барыня провинціальная стараго вѣка, ничего не читаетъ и ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая—барыня столичная, которая читаетъ французскія книжки, ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства, словомъ, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. Въ изображеніи такихъ плоскихъ и пошлыхъ лицъ, лишенныхъ всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талантъ, потому что всего труднѣе обозначить ихъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этой живой, вѣтренной, своенравной и немножко лукавой Надинькой, и той спокойной по наружности, но пожираемой внутреннимъ огнемъ Лизой? Тетка героя романа — лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценѣ, оканчивающей первую часть романа! Мы не будемъ распространяться насчетъ мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замѣтить, потому что до сихъ поръ они рѣдко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина — или приторно сантиментальное существо, или семинаристъ въ юбкѣ, съ книжными фразами. Женщины Гончарова живыя, вѣрныя дѣйствительности созданія. Это новость въ нашей литературѣ.

Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа — молодому Адуеву и его дядѣ, Петру Иванычу: о послѣднемъ нельзя не сказать хотя нѣсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ противоположностью своей еще болѣе оттѣняетъ героя романа. Говорятъ, типъ молодого Адуева—устарѣлый; говорятъ, что такіе характеры уже не существуютъ на Руси. Нѣтъ, не перевелись и не переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производятъ не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси — Владиміръ Ленскій, по прямой линіи происходящій отъ гётевскаго Вертера. Пушкинъ первый замѣтилъ существованіе въ нашемъ обществѣ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченіемъ времени онѣ будутъ измѣняться, но сущность ихъ всегда будетъ та же самая.... Молодой Адуевъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какой радостью обниметъ своего обожаемаго дядю и въ какомъ восторгѣ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирѣ—и боится, что дядя осердится на него, зачѣмъ онъ не пріѣхалъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разсѣиваетъ его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже непріятно былъ пораженъ тѣмъ, что дядя назвалъ дуракомъ Заѣзжалова и дурой деревенскую тетку съ ея желтымъ цвѣткомъ, приславшихъ къ нему преглупѣйшія письма. Провинціалы часто быва

ютъ очень смѣшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка, мелка, всѣ другъ друга знаютъ, и если не враждуютъ между собой, то непремѣнно пребываютъ въ нѣжнѣйшей дружбѣ; среднихъ отношеній почти нѣтъ. И вотъ изъ городка отправляется искать счастья въ столицу молодой человѣкъ; всѣ имъ интересуются, провожаютъ его, желаютъ ему всякаго счастья, просятъ не забывать. Онъ уже сдѣлался въ столицѣ пожилымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смутнымъ видѣніемъ; подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно перезабылъ и имена, и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ дѣтствѣ, и помнитъ только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляются ему въ томъ видѣ, какъ онъ ихъ оставилъ, а вѣдь они съ тѣхъ поръ перемѣнились же. По ихъ письмамъ онъ видитъ, что у него съ ними нѣтъ ничего общаго; отвѣчая имъ, онъ поддѣлывается подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно-ли, что онъ пишетъ къ нимъ рѣже и рѣже, наконецъ и совсѣмъ перестаетъ писать. Мысль о пріѣздѣ въ столицу родственника или знакомаго пугаетъ его столько-же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдетъ ихъ дорогой. Въ столицѣ не понимаютъ заочной любви; здѣсь думаютъ, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ провинціи думаютъ совсѣмъ наоборотъ; вслѣдствіе однообразія жизни, тамъ удивительно развита наклонность къ любви и дружбѣ. Тамъ рады всякому; мѣшать другъ другу, не давать покою — тамъ считается священнѣйшей обязанностью. Если кому-нибудь перестанутъ надоѣдать родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболѣе обиженнымъ человѣкомъ въ мірѣ. Когда къ провинціалу, живущему въ маленькомъ городкѣ, вдругъ наѣзжаетъ орда родственниковъ и обращаетъ его маленькій домикъ въ боченокъ, набитый сельдями, онъ, по наружности, не знаетъ какъ и радоваться; съ веселымъ лицомъ бѣгаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклинаетъ ее. А между тѣмъ попробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ не проститъ этого. Такова ужъ патріархальная логика провинціи! И съ такой-то логикой пріѣзжаетъ иногда провинціалъ въ столицу по дѣламъ со всѣмъ семействомъ своимъ. Въ столицѣ есть у него родственникъ, который лѣтъ ужъ двадцать какъ выѣхалъ изъ своего мѣстечка и давнымъ давно перезабылъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ малыми дѣтьми, которыхъ надо размѣстить по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемой супругой, которая пріѣхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, писк, визгъ. «А мы прямокъ вамъ, мы не смѣли остановиться въ трактирѣ!» Столичный родственникъ блѣдиѣетъ, не знаетъ, что̀ дѣлать, что̀ сказать, онъ похожъ на жителя города, взятаго непріятелемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предавшихся грабежу непріятельскихъ солдатъ. А между тѣмъ ему уже подробно изъяснено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно говорятъ и какъ на него надѣются, какъ увѣрены, что онъ непремѣнно поможетъ опредѣлить Костиньку, Петиньку, Ѳединьку, Митиньку по корпусамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Таничку въ институтъ. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависитъ его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ и съ холодной вѣжливостью объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себѣ, что его квартира тѣсновата и для его собственнаго семейства, что въ корпуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по указанному порядку, что тутъ не поможетъ никакая протекція, если нѣтъ вакантныхъ мѣстъ, или если дѣти старше или моложе пріемныхъ лѣтъ, или не выдержатъ экзамена, а тѣмъ болѣе протекція такого незначительнаго человѣка, какъ онъ, который сверхъ того служитъ совсѣмъ по другому вѣдомству и не знакомъ ни съ кѣмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бѣшенствѣ, вопіютъ противъ столичнаго эгоизма и развращенія и говорятъ о своемъ родственникѣ, какъ о чудовищѣ. А между тѣмъ это можетъ быть очень порядочный человѣкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотѣлъ обратить своей квартиры въ безобразный таборъ, лишить себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься дѣлами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣснить себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотѣлъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тѣмъ и эти провинціалы по своему люди добрые и даже неглупые; вся

вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увѣрены найти въ ней, за исключеніемъ огромности, великолѣпія и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ тѣми же нравами, обычаями и понятіями. Они по своему любятъ роскошь и великолѣпіе, хотя и безъ вкусу; при средствахъ готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинетѣ не имѣютъ понятія и не знаютъ, зачѣмъ онъ; спальня и дѣтская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ничего не стоитъ потѣсниться и пожаться; понятіе о комфортѣ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тѣснотѣ, любятъ ее по пословицѣ: въ тѣснотѣ люди живутъ, да и жилымъ крѣпче пахнетъ. Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замѣчанію его племянника, эта черта составляетъ добродѣтель русскихъ, съ чѣмъ Петръ Ивановичъ рѣшительно не согласенъ. «Какая тутъ добродѣтель—говоритъ онъ.—Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какъ нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ... Препротивная добродѣтель!» Петръ Ивановичъ выразился немножко жестко, но не совсѣмъ несправедливо. Дѣйствительно, радушіе и гостепріимство провинціальное больше всего основываются на бездѣйствіи, праздности, скукѣ, привычкѣ. Силу столичныхъ людей они измѣряютъ не мѣстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души увѣрены, что если кто дѣйствительный статскій совѣтникъ, такъ ужъ непремѣнно всемогущая особа, которой стоитъ только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу пользу процессъ, тянувшійся пятьдесятъ лѣтъ, приняли вашихъ дѣтей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное мѣсто, чинъ и орденъ. Откажите имъ въ какой-нибудь просьбѣ, при всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, но по невозможности выполнить,—и вотъ вы самый безнравственный человѣкъ въ мірѣ, вы зазнались, подняли носъ, презираете провинціаловъ. А у нихъ первая добродѣтель—ни передъ кѣмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣхъ и каждаго. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важничанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго мира и согласія, смягчается тамъ добродѣтельной готовностью съежиться въ присутствіи человѣка, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронить своего достоинства передъ тѣмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ эта добродѣтель процвѣтаетъ и въ столицѣ, хотя и въ болѣе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дѣлается съ истинно аркадской наивностью. «Э, братецъ (говоритъ богатый помѣщикъ или важный чиновникъ бѣдному помѣщику или чиновнику), ты меня вовсе забылъ, аль недоволенъ мной? или плохо кормлю? кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты гороховый!» Бѣднякъ слегка конфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позѣ; но въ глазахъ его сіяетъ удовольствіе: онъ знаетъ, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чѣмъ въ иной ласкѣ. «Ну, да хорошо, Богъ тебя проститъ, теперь пойдемъ-ка хлѣба-соли откушать, обѣдъ готовъ». И оба довольны: одинъ, что выполнилъ въ точности законы патріархальнаго гостепріимства и обласкалъ бѣднаго человѣка; другой, что хорошо принятъ и обласканъ такой важной въ его глазахъ персоной. И этотъ бѣднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только общество аристократовъ его захолустья, но и общество низшихъ его людей, потому что онъ тогда только и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низшимъ. Конечно это отнюдь не можетъ относиться ко всѣмъ провинціаламъ; вездѣ есть люди образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствѣ, а мы говоримъ о большинствѣ. Непосредственное вліяніе окружающей человѣка среды такъ на него сильно, что лучшіе изъ провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальныхъ предразсудковъ, и на первый разъ теряются, пріѣхавши въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, на распашку; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосѣдъ къ сосѣду: въ прихожей или нѣтъ никого, или спитъ на грязномъ залавкѣ небритый лакей, или оборванный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего дѣлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вотъ гость входитъ въ залу — нѣтъ никого; въ гостиную—тоже никого; онъ въ спальню—и вдругъ тамъ раздается визгливое ахъ; гость говоритъ въ пріятномъ замѣшательствѣ: «извините-съ», медленно пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выбѣгаетъ, изъявляетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все на заперти, вездѣ колокольчики, вездѣ не-

избѣжное: «какъ прикажете доложить?» а потомъ—то дома нѣтъ, то нездоровъ, то просятъ извинить—заняты, а когда примутъ, то конечно вѣжливо, но зато какъ равнодушно, холодно, никакого радушія, ни позавтракать, ни пообѣдать не пригласятъ...

Но обратимся къ герою «Обыкновенной Исторіи». Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и былъ увѣренъ, что дядя приметъ его съ восторгомъ и помѣститъ у себя въ квартирѣ, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться въ трактирѣ. Еслибъ онъ сдѣлалъ хорошую привычку разсуждать о томъ, что всего ближе къ нему, онъ поразмыслилъ бы о темномъ чувствѣ, которое заставило его въѣхать въ трактиръ, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понялъ бы, что нѣтъ никакихъ причинъ ожидать отъ дяди другого пріема, кромѣ развѣ равнодушно-ласковаго, и что нѣтъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ квартирѣ. Но, къ несчастью, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбѣ и другихъ высокихъ и далекихъ предметахъ, и потому явился къ дядѣ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненныя ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное впечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ—по натурѣ, по воспитанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго человѣка и заставить его надѣлать тьму глупостей. Нѣкоторые находятъ, что онъ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совсѣмъ вѣроятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ, можетъ-быть въ этомъ замѣчаніи и есть доля правды; да дѣло-то въ томъ, что полное изображеніе характера молодого Адуева надо искать не здѣсь, а въ его любовныхъ похожденіяхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онъ представитель множества людей, похожихъ на него, какъ двѣ капли воды, и дѣйствительно обрѣтающихся въ здѣшнемъ мірѣ. Скажемъ нѣсколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежитъ этотъ романтическій звѣрекъ.

Это порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надѣляетъ нервической чувствительностью, часто доходящей до болѣзненной раздражительности (susceptibilité). Они рано обнаруживаютъ тонкое пониманіе неопредѣленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ слѣдить за ними, наблюдать ихъ и называютъ это—наслаждаться внутренней жизнью. Поэтому они очень мечтательны и любятъ или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще они богато одарены отъ природы душевными способностями, но дѣятельность ихъ способностей чисто страдательная; иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ не способенъ что-нибудь дѣлать, производить; онъ немножко музыкантъ, немножко живописецъ, немножко поэтъ, даже при нуждѣ немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими пріобрѣсти не только славы или извѣстности, но даже вырабатывать посредственное содержаніе. Изо всѣхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развивается воображеніе и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэтъ творитъ, а та фантазія, которая заставляетъ человѣка наслажденіе мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію дѣйствительными благами жизни. Это они называютъ жить высшей жизнью, недоступной для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презрѣнная толпа пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны къ великодушнымъ движеніямъ, но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ до сознательнаго презрѣнія къ «пошлому здравому смыслу—этому, по ихъ мнѣнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ничтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго»; сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волей, подъ управленіемъ фантазіи, скоро скудѣетъ любовью, и они дѣлаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замѣчая, а напротивъ того, будучи добросовѣстно убѣждены, что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дѣтствѣ они удивляли всѣхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ иные были гораздо выше ихъ,—естественно, что они были захвалены съ раннихъ лѣтъ и сами о себѣ возымѣли высокое понятіе. Природа и безъ того отпустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человѣческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе успѣхи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до невѣроятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они

добросовѣстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за геніальное стремленіе къ славѣ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бываютъ помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это—слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мнѣнію, достояніе презрѣнной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблятся, какой избрать путь для достиженія славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что, кто считаетъ себя равно способнымъ ко всѣмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни къ какому,—что самые великіе люди узнавали о своей геніальности не прежде, какъ сдѣлавши сперва что нибудь дѣйствительно великое и геніальное, и узнаютъ это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ военная слава, имъ очень бы хотѣлось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть небольшую, хоть стотысячную армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побѣдъ своихъ. Манитъ ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда готовы въ головѣ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только присѣсть да написать). Но какъ зависть людей сдѣлала невозможными такіе геніальные скачки для такихъ геніальныхъ людей и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще съ начала, а не съ конца, и на дѣлѣ, а не на словахъ только, доказалъ бы свою геніальность, то наши геніи поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но не на долго: сухая и скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нѣтъ никакой пищи сердцу и фантазіи. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому генію не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обиднѣе для романтиковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія—и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху и, еще ничего не сдѣлавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблужденіе состоитъ еще не въ нелѣпомъ убѣжденіи, что въ поэзіи нужны только талантъ и вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого дѣйствительно есть большой талантъ, тотъ силой самаго таланта скоро пойметъ нелѣпость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нѣтъ, главное и гибельное ихъ заблужденіе состоитъ въ томъ, что они увѣрили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинѣ, срослись съ этой несчастной мыслью, такъ что разочароваться въ ней—значитъ для нихъ потерять всякую вѣру въ себя и въ жизнь и въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлаться паралитическими стариками. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говорить въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не-поэтами. Онъ воспѣваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испыталъ, говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаетъ, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ-людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человѣчество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Бѣднякъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинетѣ, ничего не стоитъ вдругъ возгорѣться самой неистовой любовью къ человѣчеству, по крайней мѣрѣ гораздо легче, нежели провести безъ сна хоть одну ночь у постели трудно-больного. Обыкновенно романтики придаютъ страшную цѣну чувству, думаютъ, что только одни они надѣлены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, потому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство конечно важная сторона въ натурѣ человѣка, но не всѣ и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своей способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и такъ, что иной, чѣмъ сильнѣе чувствуетъ, тѣмъ безчувственнѣе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, отъ живого изображенія человѣческихъ бѣдствій въ романѣ или повѣсти—и равнодушно проходитъ мимо дѣйствительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ нѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какое-либо восторженное посланіе Шиллера къ Лаурѣ и, кончивши послѣдній стихъ, съ неменьшимъ удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсѣмъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благостояніи, отъ которыхъ только одинъ онъ и жирѣетъ, а они все худѣютъ. — Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки, хотя въ нихъ и довольно риторической водицы, однако въ нихъ мѣ-

стами проглядываетъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой мысли), — словомъ, замѣтно что-то вродѣ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ; а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ пріобрѣсти даже значительную извѣстность. Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извѣстность, пріобрѣтенная въ короткое время чѣмъ-то, и въ короткое-же время исчезаетъ просто отъ ничего; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а наконецъ и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновеніе даже ложной извѣстностью: его не допустили до этого и время, въ которое онъ вышелъ со своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастіе состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него вмѣсто таланта былъ полуталантъ, который въ поэзіи хуже бездарности, потому что увлекаетъ человѣка ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ противоположности натуръ; но во всякомъ случаѣ оно чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣпляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтаютъ о ней безпрестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но дѣлаютъ другъ для друга, что̀ могутъ. Бывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскорѣ послѣ него; другой отъ потери своего друга изъ веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбитъ, потужитъ, да и утѣшится, но если онъ навсегда сохранитъ воспоминаніе, и оно будетъ для него вмѣстѣ и грустно, и отрадно,—онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сошелъ съ ума, не сдѣлался меланхоликомъ, но еще нашелъ силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависятъ отъ личности друзей; тутъ главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутаго, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то иной готовъ и Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себѣ, а иногда и другимъ: «вотъ каковъ я въ дружбѣ!» или: «вотъ къ какой дружбѣ я способенъ!». Этотъ то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программѣ, заранѣе составленной, гдѣ съ точностью опредѣлены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключаютъ контрактовъ со своими друзьями. Имъ дружба нужна, чтобъ удивить міръ и показать ему, какъ великія натуры въ дружбѣ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толпы. Ихъ тянетъ къ дружбѣ не столько потребность симпатіи, столь сильной въ молодыя лѣта, сколько потребность имѣть при себѣ человѣка, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоцѣнной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ словомъ, для нихъ другъ есть драгоцѣнный сосудъ для изліянія самыхъ святыхъ и завѣтныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ то дѣлѣ въ ихъ глазахъ другъ есть лохань, куда они выливаютъ помои своего самолюбія. Зато они и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, вѣроломными, извергами, и они еще сильнѣе злобствуютъ на людей, которые не умѣли и не хотѣли понять и оцѣнить ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Обыкновенно любовь раздѣляютъ на многіе роды и виды; всѣ эти раздѣленія большей частью нелѣпы, потому что надѣланы людьми, которые способнѣе мечтать и разсуждать о любви, нежели любить. Прежде всего раздѣляютъ любовь на матеріальную или чувственную и платоническую или идеальную, презираютъ первую и восторгаются второй. Дѣйствительно, есть люди столь грубые, что могутъ предаваться только животнымъ наслажденьямъ любви, не хлопоча даже о красотѣ и молодости; но даже и эта любовь, какъ ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнѣе ея: послѣдняя хороша только для хранителей восточныхъ гаремовъ... Человѣкъ не звѣрь и не ангелъ; онъ долженъ любить не животно и не платонически, а человѣчески. Какъ бы ни идеализировали любовь, но какъ же не видѣть, что природа одарила людей этимъ прекраснымъ чувствомъ сколько для ихъ счастья, столько и для размноженія и поддержанія рода человѣческаго. Родовъ любви такъ же много, какъ много на землѣ людей, потому что каждый любитъ сообразно съ своимъ темпераментомъ, характеромъ, понятіями и

т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по своему, лишь бы только она была въ сердцѣ, а не въ головѣ. Но романтики особенно падки къ головной любви. Сперва они сочиняютъ программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за неимѣніемъ таковой любятъ пока какую-нибудь; имъ ничего не стóитъ велѣть себѣ любить, вѣдь у нихъ все дѣлаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденья, а для оправданія на дѣлѣ своей высокой теоріи любви. И они любятъ по тетрадкѣ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота являться въ любви великими и ни въ чемъ не унизиться до сходства съ обыкновенными людьми. И однакожъ въ любви молодого Адуева къ Надинькѣ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побѣдила его. Онъ могъ бы быть счастливъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Надинька была умнѣе его, а главное попроще и естественнѣе. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головой, безъ теорій и безъ претензій на геніальность; она видѣла въ любви только ея свѣтлую и веселую сторону, и потому любила какъ будто шутя—шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любилъ «горестно и трудно», весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ, словно лошадь, которая тащитъ въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ и педантъ: легкость, шутка оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотѣлъ быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталъ съ Надинькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Надинька хотѣла, чтобъ онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но къ этому Адуевъ былъ человѣкъ самый неспособный въ мірѣ, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслилъ, а мечталъ, бредилъ на яву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви, ему былъ опасенъ всякій соперникъ,—пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походилъ на него и могъ бы имѣть для Надиньки прелесть новости; а тутъ вдругъ является графъ, человѣкъ съ блестящимъ свѣтскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повелъ себя какъ глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дѣло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и безполезно для него, что во всей этой исторіи былъ виноватъ только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной натуры въ послѣднемъ его объясненіи съ Надинькой и потомъ въ разговорѣ съ дядей! Страданія его невыносимы; онъ не можетъ не согласиться съ доводами дяди, и между тѣмъ все-таки не можетъ понять дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ. Какъ! ему унизиться до такъ-называемыхъ хитростей, ему, который затѣмъ и полюбилъ, чтобъ удивить себя и міръ своей громадной страстью, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ, ни о его любви! По его теоріи, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дѣвчонку, бездушную кокетку! Надинька, которая была еще недавно въ глазахъ его выше всѣхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всѣхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, еслибъ не было такъ грустно. Ложныя причины производятъ такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Вотъ мало-помалу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать «своей нарядной печалью». Прошелъ годъ, и онъ уже презираетъ Надиньку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженія. На вопросъ тетки: какой любви потребовалъ бы онъ отъ женщины? онъ отвѣчалъ: «я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ; любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснѣе (тутъ онъ выпрямился), лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ; въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, разсчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенія, наконецъ презрѣть самую смерть—вотъ любовь!»

Какъ эта галиматья похожа на слова восточнаго деспота, который говоритъ своему главному евнуху: «если одна изъ моихъ одалисокъ проговоритъ во снѣ мужское имя, которое будетъ не моимъ,—сейчасъ же въ мѣшокъ и въ море!». Бѣдный мечтатель увѣренъ, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные, и

между тѣмъ тутъ выразились только самое необузданное самолюбіе и самый отвратительный эгоизмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбія. Прежде, чѣмъ требовать такой любви отъ женщины, ему слѣдовало бы спросить себя, способенъ ли самъ заплатить такой-же любовью; чувство увѣряло его, что способенъ, тогда какъ въ этомъ случаѣ нельзя вѣрить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиковъ чувство есть единственный непогрѣшительный авторитетъ въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни. Но еслибы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно было быть для него причиной бояться любви и бѣжать отъ нея, потому что это любовь не человѣческая, а звѣриная, взаимное терзаніе другъ друга. Любовь требуетъ свободы; отдаваясь другъ другу по временамъ, любящіеся по временамъ хотятъ принадлежать и самимъ себѣ. Адуевъ требуетъ любви вѣчной, не понимая того, что чѣмъ любовь живѣе, страстнѣе, чѣмъ ближе подходитъ подъ любимый идеалъ поэтовъ, тѣмъ она кратковременнѣе, тѣмъ скорѣе охлаждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе. И наоборотъ, чѣмъ любовь спокойнѣе и тише, т. е. чѣмъ прозаичнѣе, тѣмъ продолжительнѣе: привычка скрѣпляетъ ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь—это цвѣтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытываютъ рѣдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послѣ иные любятъ и еще нѣсколько разъ, да уже не такъ, потому что, какъ сказалъ нѣмецкій поэтъ, май жизни цвѣтетъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концѣ своей трагедіи: черезъ это они остаются въ памяти читателя героями любви, ея апоѳеозой; оставь же онъ ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые, сидя вмѣстѣ, зѣваютъ, а иногда и ссорятся, въ чемъ вовсе нѣтъ поэзіи.

Но вотъ судьба послала нашему герою именно такую женщину, т. е. такую-же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствѣ, все забылъ, все бросилъ, съ утра до поздней ночи просиживалъ у ней каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство?—Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человѣкъ, сидя наединѣ съ прекрасной молодой женщиной, которая его любитъ и которую онъ любитъ, не краснѣлъ, не блѣднѣлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви!... Это впрочемъ понятно: сильная наклонность къ идеализму и романтизму почти всегда свидѣтельствуетъ объ отсутствіи темперамента; это люди безполые,—то же, что въ царствѣ растеній тайнобрачные, грибы напримѣръ. Мы понимаемъ это трепетное, робкое обожаніе женщины, въ которое не входитъ ни одно дерзкое желаніе, но это не платонизмъ: это первый моментъ первой свѣжей, дѣвственной любви; это не отсутствіе страсти, а страсть, которая еще боится сказаться самой себѣ. Съ этого начинается первая любовь, но остановиться на этомъ такъ же смѣшно и глупо, какъ захотѣть остаться на всю жизнь ребенкомъ и ѣздить верхомъ на палочкѣ. Любовь имѣетъ свои законы развитія, свои возрасты, какъ цвѣты, какъ жизнь человѣческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лѣто, наконецъ осень, которая для однихъ бываетъ теплой, свѣтлой и плодородной, для другихъ—холодной, гнилой и безплодной. Но нашъ герой не хотѣлъ знать законовъ сердца, природы, дѣйствительности, онъ сочинилъ для нихъ свои собственные, онъ гордо признавалъ существующій міръ призракомъ, а созданный его фантазіей призракъ — дѣйствительно существующимъ міромъ. На зло возможности, онъ упорно хотѣлъ оставаться въ первомъ моментѣ любви на всю жизнь свою. Однакожъ сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дѣло предложеніемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что рѣшился, а въ самомъ-то дѣлѣ ему только былъ нуженъ предметъ для новыхъ мечтаній. Между тѣмъ Тафаева начала смертельно надоѣдать ему своей привязчивой любовью; онъ началъ тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ за то, что уже не любилъ ея. Еще прежде этого онъ ужъ начиналъ понимать, что свобода въ любви—вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть вправѣ пройтись по Невскому, когда хочется, отобѣдать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ,—что наконецъ при любви можно не бросать и службы. Измучивши бѣдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ гораздо больше ея, — онъ рѣшился наконецъ сказать себѣ, что онъ ея не любитъ, и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ любви былъ въ дребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увидѣлъ свою несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь свою. Онъ увидѣлъ ясно, что онъ

вовсе не герой, а самый обыкновенный человѣкъ, хуже тѣхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и надутъ собой безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнью, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рѣшился отомстить за свое ничтожество природѣ и человѣчеству, связавшись съ животнымъ Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Послѣдняя его любовная исторія гадка. Онъ хотѣлъ погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки, и не могъ бы въ этомъ покушеніи оправдаться даже бѣшенствомъ чувственныхъ желаній, хотя и это плохое оправданіе, особенно, когда есть для этого путь болѣе прямой и честный. Отецъ дѣвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія: онъ обѣщалъ поколотить его; герой нашъ хотѣлъ съ отчаянія броситься въ Неву, но струсилъ. Концертъ, на который затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ его на откровенное объясненіе съ теткой и дядей. Здѣсь онъ обвинялъ дядю во всѣхъ своихъ несчастіяхъ. Дядя по своему дѣйствительно кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ былъ тутъ самимъ собою, не лгалъ, не притворялся, говорилъ по убѣжденію, что̀ думалъ и чувствовалъ; если слова его подѣйствовали на племянника болѣе вредно, нежели полезно, въ этомъ виновата ограниченная, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ-что бываютъ только около нея, но никогда въ ней. Выѣзжая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: «Художникъ-варваръ кистью сонной»... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ—такіе болтуны!

Онъ пріѣхалъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измѣнилась, мать едва узнала его. Съ нею онъ обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открылъ, не объяснилъ. Онъ наконецъ понялъ, что между нимъ и ею нѣтъ ничего общаго, что еслибъ онъ сталъ ей объяснять, куда дѣвались его волоски, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ тягость. Мѣста—свидѣтели его дѣтства—расшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ невозвратной потерѣ, говоря, что счастье въ обманахъ и призракахъ. Это общее убѣжденіе всѣхъ дряблыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ натуръ. Вѣдь, кажется, опытъ достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія произошли именно оттого, что онъ предавался обманамъ и мечтамъ: воображалъ, что у него огромный поэтическій талантъ, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это былъ человѣкъ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ, любящъ и не глупъ, не лишенъ образованія; всѣ несчастія его произошли оттого, что,будучи обыкновеннымъ человѣкомъ, онъ хотѣлъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатіи, и кто потомъ не смѣялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно; романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткѣ и дядѣ, писанное послѣ смерти его матери и исполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла, — это письмо подѣйствовало на насъ какъ то странно; но мы объяснили его себѣ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ затѣмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ этимъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года послѣ вторичнаго пріѣзда нашего героя въ Петербургъ. На сценѣ Петръ Иванычъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своей противоположностью съ героемъ романа лучше оттѣнить его. Это набросило на весь романъ нѣсколько дидактическій оттѣнокъ, въ чемъ многіе не безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умѣлъ и тутъ показать себя человѣкомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Иванычъ— не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь ростъ кистью смѣлой, широкой и вѣрной. О немъ, какъ о человѣкѣ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обоихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видѣть въ немъ

какой-то идеалъ, образецъ для подражанія: это—люди положительные и разсудительные. Другіе видятъ въ немъ чуть не изверга: это—мечтатели. Петръ Иванычъ по своему человѣкъ очень хорошій; онъ уменъ, очень уменъ, потому-что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ—эгоистъ, холоденъ по натурѣ, неспособенъ къ великодушнымъ движеніямъ, но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемѣръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обѣщаетъ, чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что обѣщаетъ, то непремѣнно сдѣлаетъ. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составилъ себѣ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своей натурой и здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ ихъ непогрѣшительно вѣрными. Дѣйствительно, мантія его практической философіи была сшита изъ прочной и крѣпкой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы-же были его изумленіе и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясницѣ и до сѣдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантіи прорѣху—правда, одну только, но зато какую широкую. Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастіи, но былъ увѣренъ, что утвердилъ свое семейственное положеніе на прочномъ основаніи,—и вдругъ увидѣлъ, что бѣдная жена его была жертвой его мудрости, что онъ заѣлъ ея вѣкъ, задушилъ ее въ холодной и тѣсной атмосферѣ.

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человѣку нужно и еще чего-нибудь немножко, кромѣ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человѣческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетворить, но всякій человѣкъ можетъ быть счастливымъ только сообразно съ собственной натурой! Петръ Иванычъ хитро и тонко разсчелъ, что ему надо овладѣть понятіями, убѣжденіями, склонностями своей жены, не давая ей этого замѣтить, вести ее по дорогѣ жизни, но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ; но онъ сдѣлалъ въ этомъ разсчетѣ одну важную ошибку: при всемъ своемъ умѣ онъ не сообразилъ, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой онъ можетъ-быть не захотѣлъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало вовсе не жениться.

Петръ Иванычъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительной вѣрностью; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ: это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерожденіе для него было бы возможно только тогда, еслибъ онъ былъ обыкновенный болтунъ и фразёръ, который повторяетъ чужія слова, не понимая ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастью, часто бывалъ слишкомъ искренъ въ своихъ заблужденіяхъ и нелѣпостяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натурѣ; такіе романтики никогда не дѣлаются положительными людьми. Авторъ имѣлъ-бы скорѣе право заставить своего героя заглохнуть въ деревенской дичи въ апатіи и лѣни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественнѣе было ему сдѣлать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но всего лучше и естественнѣе было бы ему сдѣлать его напр. славянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ-бы мечтать о народахъ и племенахъ,—о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ—вражда,—о томъ, что во времена Гостомысла славяне имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивилизаціи, что этого не видятъ только слѣпые и ожесточенные разсудкомъ, а всѣ зрячіе и размягченные фантазіей давно это ясно видятъ. Тогда бы герой былъ вполнѣ современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому-что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши толь-

ко Петръ Иванычъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа эпилогъ хоть не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ—на почвѣ сознательной мысли—и пересталъ быть поэтомъ. Здѣсь всего яснѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера: тотъ и въ сферѣ чуждой для его таланта дѣйствительности умѣлъ выпутаться изъ своего положенія силой мысли; авторъ «Обыкновенной Исторіи» впалъ въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что̀ и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительной вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней слово, произнести судъ. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать; говорить и судить и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Картины Искандера отличаются не столько вѣрностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ дѣйствительности; онѣ отличаются больше фактической, нежели поэтической истиной, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія,—всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта Гончарова—всегда въ изящности и тонкости кисти, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ напримѣръ въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ Искандера поэзія — агентъ второстепенный, а главный—мысль; въ талантѣ Гончарова поэзія — агентъ первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ, романъ Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ между прочимъ языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печатная книга, а живая импровизація. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядей и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, неидущаго къ дѣлу; это—не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя, какъ человѣка и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ дидактическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тѣмъ больше чести Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самое по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ такъ легко было сбиться на тонъ резонёра.

Теперь у насъ на очереди «Разсказы Охотника» Тургенева. Талантъ Тургенева имѣетъ много аналогіи съ талантомъ Луганскаго (Даля). Настоящій родъ того и другого—физіологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда. Тургеневъ началъ свое литературное поприще лирической поэзіей. Между его мелкими стихотвореніями есть пьесы три, четыре очень недурныхъ, какъ напримѣръ «Старый помѣщикъ», «Баллада», «Ѳедя», «Человѣкъ, какихъ много»; но эти пьесы удались ему потому, что въ нихъ или вовсе нѣтъ лиризму, или что въ нихъ главное не лиризмъ, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирическія стихотворенія Тургенева показываютъ рѣшительное отсутствіе самостоятельнаго лирическаго таланта. Онъ написалъ нѣсколько поэмъ. Первая изъ нихъ, «Параша», была замѣчена публикой при ея появленіи по бойкому стиху, веселой ироніи, вѣрнымъ картинамъ русской природы, а главное—по удачнымъ физіологическимъ очеркамъ помѣщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успѣху поэмы помѣшало то, что авторъ, пиша ея, вовсе не думалъ о физіологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у него нѣтъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзіи. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай. Потомъ онъ написалъ поэму—«Разговоръ»: стихи въ ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли; но какъ эта мысль чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. Въ третьей поэмѣ Тургенева, «Андрей», много хорошаго, потому что много вѣрныхъ очерковъ русскаго быта; но въ цѣломъ поэма опять не удалась, потому что это повѣсть любви, изображать которую не въ талантѣ автора. Письмо героини къ герою поэмы длинно и растянуто, въ немъ больше чув-

ствительности, нежели пафоса. Вообще въ этихъ опытахъ Тургенева былъ замѣтенъ талантъ, но какой-то нерѣшительный и неопредѣленный. Онъ пробовалъ себя и въ повѣсти; написалъ «Андрея Колосова», въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ характеровъ и русской жизни, но, какъ повѣсть, въ цѣломъ это произведеніе до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногіе замѣтили, что въ ней было хорошаго. Замѣтно было, что Тургеневъ искалъ своей дороги и все еще не находилъ ея: потому что это не всегда и не всѣмъ легко и скоро удается. Наконецъ Тургеневъ написалъ стихотворный разсказъ — «Помѣщикъ», не поэму, а физіологическій очеркъ помѣщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ то вышла далеко лучше всѣхъ поэмъ автора. Бойкій эпиграмматическій стихъ, веселая иронія, вѣрность картинъ, вмѣстѣ съ этимъ выдержанность цѣлаго произведенія, отъ начала до конца,—все показывало, что Тургеневъ напалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нѣтъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи. Въ то же время былъ напечатанъ его разсказъ въ прозѣ — «Три Портрета», изъ котораго видно было, что Тургеневъ и въ прозѣ нашелъ свою настоящую дорогу. Наконецъ въ первой книжкѣ «Современника» за прошлый годъ былъ напечатанъ его разсказъ «Хорь и Калинычъ». Успѣхъ въ публикѣ этого небольшого разсказа, помѣщеннаго въ Смѣси, былъ неожиданъ для автора и заставилъ его продолжать «Разсказы Охотника». Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собой, изъ какихъ образуются сами собой романы или повѣсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность видѣнную и изученную имъ, если угодно—творить, но изъ готоваго, даннаго дѣйствительностью матеріала. Это не простое списываніе съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого необходимъ въ извѣстной мѣрѣ поэтическій талантъ. Правда, иногда все умѣніе его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣтелемъ, потому-что въ дѣйствительности бываютъ иногда явленія, которыя стоитъ только вѣрно переложить на бумагу, чтобы они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тургеневъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва-ли бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣчалъ въ дѣйствительности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатыя средства: даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія, и такимъ образомъ догадкой и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда разспросы мало объясняютъ.

Не удивительно, что маленькая пьеска—«Хорь и Калинычъ», имѣла такой успѣхъ: въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ. Хорь съ его практическимъ смысломъ и практической натурой, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его глубокимъ презрѣніемъ къ «бабамъ» и сильной нелюбовью къ чистотѣ и опрятности — типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значущее положеніе при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ—еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, какъ умѣетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! Всѣхъ «Разсказовъ Охотника» было напечатано прошлаго года въ «Современникѣ» семь. Въ нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ разными сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній и званій. Не всѣ его разсказы одинаковаго достоинства: одни лучше, другіе слабѣе, но между ними нѣтъ ни одного, который бы чѣмъ-нибудь не былъ интересенъ, занимателенъ и поучителенъ. «Хорь и Калинычъ» до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всѣхъ разсказовъ охотника; за нимъ — «Бурмистръ», а послѣ него «Однодворецъ Овсянниковъ» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы Тургеневъ написалъ еще хоть цѣлые томы такихъ разсказовъ.

Хотя разсказъ Тургенева—«Петръ Петровичъ Каратаевъ», напечатанный во второй книжкѣ «Современника» за прошлый годъ, и не принадлежитъ къ ряду «Разска-

зовъ Охотника», но это такой же мастерской физіологическій очеркъ характера чисто русскаго, и притомъ съ московскимъ оттѣнкомъ. Въ немъ талантъ автора выказался съ такой же полнотой, какъ и въ лучшихъ изъ «Разсказовъ Охотника».

Не можемъ не упомянуть о необыкновенномъ мастерствѣ Тургенева изображать картины русской природы. Онъ любитъ природу не какъ диллетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется. Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу....

Григоровичъ посвятилъ свой талантъ исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантѣ тоже много аналогіи съ талантомъ Даля. Онъ также постоянно держится на почвѣ хорошо извѣстной и изученной имъ дѣйствительности; но его два послѣдніе опыта—«Деревня» и въ особенности «Антонъ-Горемыка» — идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. «Антонъ-Горемыка» — больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ—мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта: чѣмъ бо́льшая ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значитъ, успѣхъ огромнѣе...

Въ послѣдней книжкѣ «Современника» за прошлый годъ была напечатана «Полинька Саксъ», повѣсть Дружинина, лица совершенно новаго въ русской литературѣ. Многое въ этой повѣсти отзывается незрѣлостью мысли, преувеличеніемъ, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, въ повѣсти такъ много истины, такъ много душевной теплоты и вѣрнаго, сознательнаго пониманія дѣйствительности, такъ много самобытности, что повѣсть тотчасъ-же обратила на себя общее вниманіе. Особенно хорошо въ ней выдержанъ характеръ героини повѣсти; видно, что авторъ хорошо знаетъ русскую женщину. Вторая повѣсть Дружинина, появившаяся въ нынѣшнемъ году, подтверждаетъ поданное первой повѣстью мнѣніе о самостоятельности таланта автора и позволяетъ многаго ожидать отъ него въ будущемъ.

Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ «Павелъ Алексѣевичъ Игривой», повѣсть Даля («Отечественныя Записки»). Карлъ Ивановичъ Гонобобель и ротмистръ Шилохвастовъ, какъ характеры, какъ типы, принадлежатъ къ самымъ мастерскимъ очеркамъ пера автора. Впрочемъ всѣ лица въ этой повѣсти очерчены прекрасно, особенно дражайшіе родители Любоньки; но молодой Гонобобель и другъ его Шилохвастовъ—созданія геніальныя. Это типы довольно знакомые многимъ по дѣйствительности, но искусство еще въ первый разъ воспользовалось ими и передало ихъ на пріятное знакомство всему міру. Повѣсть эта нравится не однѣми подробностями и частностями, какъ всѣ большія повѣсти Даля; она почти выдержана въ цѣломъ, какъ повѣсть. Говоримъ почти, потому что трагическое для героя повѣсти событіе производитъ на читателя впечатлѣніе чего-то неожиданнаго и непонятнаго Человѣкъ такъ любилъ женщину, столько дѣлалъ для нея; она повидимому такъ любила его; безпутный мужъ ея умеръ; другъ спѣшитъ за границу на свиданіе съ ней, окрыленный надеждами любви, и видитъ ее замужемъ за другимъ. Дѣло въ томъ, что авторъ не хотѣлъ окрасить своего разсказа тѣмъ колоритомъ, по которому читатель видѣлъ бы естественность такой развязки. Игривый—человѣкъ комически робкій и стыдливый, почему и дозволилъ двумъ негодяямъ изъ рукъ вырвать у него невѣсту. Во время страданій ея супружеской жизни онъ велъ себя въ отношеніи къ ней какъ деликатнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, но ни сколько какъ любовникъ; оттого ея оробѣвшее, запуганное чувство къ нему скоро обратилось въ благодарность, уваженіе, удивленіе, наконецъ въ благоговѣніе; она видѣла въ немъ друга, брата, отца, воплощённую добродѣтель, и уже по тому самому не видѣла въ немъ любовника. Послѣ этого развязка понятна, равно какъ и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сдѣлался какимъ-то помѣшаннымъ шутомъ.

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» прошлаго года тянулись «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», Вельтмана, кончившіяся во второй книжкѣ этого журнала на нынѣшній годъ. Такъ какъ этотъ романъ начался, кажется, въ 1846 г., то мы о немъ уже имѣли случай говорить. И потому снова

повторимъ, что въ этомъ произведеніи романъ смѣшанъ съ сказкой, невѣроятное—съ вѣроятнымъ, невозможное съ возможнымъ. Такъ напримѣръ, Дмитрицкій, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьемъ простофили молодого купчика, который, какъ нарочно, былъ очень похожъ на него лицомъ, является къ его отцу въ качествѣ его сына. Онъ такъ ловко играетъ свою роль, что ни отецъ, ни мать и никто изъ домашнихъ ни одну минуту не возымѣлъ подозрѣнія въ тождествѣ самозванца съ настоящимъ сыномъ. Самозванецъ женится на богатой невѣстѣ и, узнавши въ ночь брака, что настоящій сынъ появился, тотчасъ-же выбирается изъ чужого гнѣзда съ огромнымъ пукомъ ассигнацій, полученныхъ въ приданое за женой, и съ другого же дня начинаетъ играть въ московскомъ большомъ свѣтѣ роль богатаго венгерскаго магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица въ невѣроятныя положенія, авторъ тѣмъ не менѣе увлекательно описываетъ ихъ похожденія. Но тамъ, гдѣ въ романѣ нѣтъ натяжекъ, талантъ автора является въ самомъ выгодномъ для него свѣтѣ. Такъ напримѣръ, похожденія настоящаго сына, который все сбирается и никакъ не можетъ рѣшиться броситься въ ноги къ своему «тятенькѣ», боясь, что дражайшій родитель сразу пришибетъ его на смерть, исполнены истины, глубокаго знанія дѣйствительности, увлекающаго интереса. Такихъ прекрасныхъ эпизодовъ въ романѣ Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображенія купеческихъ, мѣщанскихъ и простонародныхъ нравовъ. Слабѣе всего у него картины большого свѣта. Такъ напримѣръ, у него важную роль играетъ великосвѣтскій молодой человѣкъ Чаровъ, котораго вся свѣтскость состоитъ въ томъ, что онъ всѣмъ своимъ пріятелямъ и знакомымъ говоритъ: ска-атина, у-уродъ... Несмотря на всѣ странности и, можно сказать, нелѣпости романа Вельтмана, это все-таки очень замѣчательное произведеніе.

. . . . . .

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году книгъ по части изящной словесности замѣчательны только «Путевыя Замѣтки» Т. Ч. Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая въ Одессѣ; авторъ—женщина; это видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишкомъ поженски, но никогда не набѣленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная, увлекательный разсказъ, прекрасный языкъ,—вотъ достоинство двухъ разсказовъ г-жи Т. Ч. Особенно интересенъ первый разсказъ: «Три варіаціи на старую тему». Взрослая дѣвушка влюбилась въ мальчика. Потомъ она потеряла его изъ виду и вышла замужъ за человѣка добраго и порядочнаго, но къ которому она не чувствовала ничего особеннаго. Вдругъ она встрѣчается съ Лёлей, который теперь уже сталъ Алексисомъ. У нихъ завязалось нѣчто вродѣ особенныхъ отношеній, которыя разрѣшились страстнымъ поцѣлуемъ съ обѣихъ сторонъ, полнымъ объясненіемъ и отъѣздомъ Алексиса по настоятельному требованію героини, въ которой любовь не побѣдила чувства долга. Потомъ она уѣхала съ больнымъ мужемъ на воды за границу. Тамъ она получила письмо отъ одной изъ своихъ пріятельницъ, изъ котораго она узнала, что Алексисъ ее любитъ страстно. Письмо это сильно взволновало ее. Разъ, перечитывая его и мечтая объ Алексисѣ, она вдругъ услышала въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ былъ мужъ ея, какой-то странный шумъ. Вбѣгаетъ — и видитъ своего мужа почти въ обморокѣ; съ нимъ случился жестокій чахоточный припадокъ. Оправившись нѣсколько, онъ началъ говорить ей о своей скорой смерти, благодарилъ ее за вниманіе и попеченіе о немъ, радовался, что оставляетъ ее не безъ состоянія, и совѣтовалъ ей выйти замужъ, такъ какъ она молода, хороша и дѣтей у нихъ не было. По обыкновенію всѣхъ восторженныхъ женщинъ, она съ ужасомъ отвергла послѣднее предложеніе. Затѣмъ ее начали мучить угрызенія совѣсти. И какъ же иначе: мужъ ея умиралъ и благодарилъ ее за любовь и вниманіе къ нему, а она въ это время думала о другомъ, любила другого. Бѣдная женщина чуть было не разсказала свою тайну умирающему мужу; къ счастью случившійся съ ней обморокъ помѣшалъ этому ненужному и нелѣпому признанію, которое могло только отравить послѣднія минуты добраго и благороднаго человѣка. Такова логика восторженной женщины!... Мужъ героини умеръ, ей было 35 лѣтъ, когда она увидѣла Алексѣя Петровича; онъ былъ женатъ и жилъ честолюбіемъ. Героиня наша едва могла подавить свое волненіе при видѣ его; но онъ обошелся съ ней съ холодной вѣжливостью. Тутъ она совершенно разочаровалась въ извергахъ мужчинахъ и горько плакала. Какъ! онъ все забылъ! Да что же ему помнить-то? Поцѣлуй? исторію любви, которая ничѣмъ не кончилась и прервалась въ самомъ началѣ;—одну изъ тѣхъ исторій, которыя со многими мужчинами случаются не одинъ разъ въ жизни? У мужчины много интересовъ въ жизни, и потому память его удерживаетъ только исторіи, которыя посерьёзнѣе одного по-

цѣлуя. Женщина—другое дѣло: она вся живетъ исключительно въ любви, и тѣмъ болѣе своими внутренними ощущеніями, чѣмъ болѣе обязана скрывать ихъ. Женщины особенно падки до любовныхъ исторій, которыя не оканчиваются ничѣмъ серьёзнымъ, въ которыхъ не нужно ничѣмъ рисковать, ничѣмъ жертвовать, можно измѣнить мужу въ сердцѣ—и остаться формально вѣрной своимъ обѣтамъ, удовлетворить потребности любить—и свято выполнить налагаемыя обществомъ обязанности. Героиня второй повѣсти — гувернантка, одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ фантазія преобладаетъ надъ сердцемъ, которыхъ надо аттаковать съ головы, т. е. прежде всего надо чѣмъ-нибудь удивить, поразить, возбудить любопытство: не красотой—такъ безобразіемъ, не умомъ—такъ глупостью, не достоинствомъ—такъ странностью, не добродѣтелью—такъ порокомъ. За ней волочится безобразный собой, нисколько не любившій ее человѣкъ, и ее же любитъ страстно благородный, красивый собой мужчина. Она знаетъ цѣну обоимъ имъ—и, какъ бабочка на огонь, рвется къ первому. Повѣсть разсказана хорошо; но видно, героиня не возбудила къ себѣ особеннаго участія, и потому первая повѣсть больше понравилась всѣмъ, нежели вторая. Въ обѣихъ виденъ талантъ, отъ котораго можно надѣяться хорошихъ результатовъ, если онъ будетъ развиваться.

Изъ иностранныхъ замѣчательныхъ романовъ въ «Современникѣ» и въ «Отечественныхъ Запискахъ была переведена «Лукреція Флоріани» (о ней было уже говорено въ нашемъ журналѣ), и продолжается переводомъ: «Торговый домъ подъ фирмой Домби и Сынъ»; когда этотъ превосходный романъ, далеко оставившій за собой всѣ прежнія произведенія Диккенса, появится весь въ русскомъ переводѣ, мы поговоримъ о немъ.

Къ разряду словесности принадлежатъ записки или воспоминанія былого. «Письма объ Испаніи» (въ «Современникѣ») Боткина были неожиданно пріятной новостью въ русской литературѣ. Испанія для насъ— terra инкогнита. Политическія извѣстія только сбиваютъ съ толку всякаго, кто бы захотѣлъ получить понятіе о положеніи этой земли. Главная заслуга автора «Писемъ объ Испаніи» состоитъ въ томъ, что онъ на все смотрѣлъ собственными глазами, не увлекаясь готовыми сужденіями объ Испаніи, разсѣянными въ книгахъ, журналахъ и газетахъ; вы чувствуете изъ его писемъ, что онъ сперва насмотрѣлся, наслышался, разспросилъ и изучилъ, и потомъ уже составилъ свое понятіе о странѣ. Оттого взглядъ его на нее новъ, оригиналенъ, и все завѣряетъ читателя въ его вѣрности, въ томъ, что онъ знакомится не съ какой-нибудь фантастической, а съ дѣйствительно существующей страной. Увлекательное изложеніе еще болѣе возвышаетъ достоинство «Писемъ» Боткина.

. . . . . .

Русская критика стоитъ теперь на болѣе прочномъ основаніи; она уже не въ однихъ журналахъ, но и въ публикѣ, вслѣдствіе все болѣе и болѣе развивающагося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благопріятствовать развитію самой критики: она уже дѣло, подлежащее суду общественнаго мнѣнія, а не книжное, не имѣющее связи съ жизнью занятіе. Теперь уже не всякому можно быть критикомъ, кому только вздумается, не всякое мнѣніе примется потому только, что оно печатное. Пристрастіе партій не можетъ уже убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Въ критикѣ нынѣшней часто слышится убѣжденіе, и люди, вовсе его неимѣющіе, стараются по крайней мѣрѣ прикрываться имъ. Борьба мнѣній, выражающаяся въ критикѣ, свидѣтельствуетъ, что русская литература только быстро подвигается къ совершеннолѣтію, но еще не достигла его. Конечно вездѣ есть люди, которые какъ будто самой природой назначены всѣхъ затрогивать, ко всѣмъ прицѣпляться, всѣхъ хулить, безпрестанно заводить ссоры, шумъ, брань. Кромѣ природной наклонности, ничѣмъ не побѣдимой, ихъ побуждаетъ къ этому и раздраженное самолюбіе, и мелкіе личные интересы, нисколько не относящіеся къ литературѣ. Такіе люди—всюду зло неизбѣжное, имѣющее даже свою полезную сторону: эти люди добровольно берутъ на себя ту роль передъ обществомъ, которую спартанцы заставляли играть илотовъ передъ своими дѣтьми...

Въ прошломъ году вниманіе критики было преимущественно занято «Перепиской Гоголя съ друзьями». Можно сказать, что память объ этой книгѣ и теперь поддерживается только статьями. Лучшая изъ статей противъ нея принадлежитъ Н. Ф. Павлову. Въ своихъ письмахъ къ Гоголю онъ сталъ на его точку зрѣнія, чтобъ показать его невѣрность собственнымъ началамъ. Тонкость мысли, ловкость діалектики, при изложеніи въ высшей степени изящномъ, дѣлаютъ письма Н. Ф. Павлова явленіемъ образцовымъ и совершенно особымъ въ нашей литературѣ. Жаль, если все дѣло окончится тремя письмами!

Извѣстный книгопродавецъ нашъ Смирдинъ своими изданіями русскихъ авторовъ приготовилъ и намѣренъ еще боль-

ше приготовить труда и хлопотъ русской критикѣ. Онъ уже издалъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озерова, Кантемира, Хемницера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. Въ одной газетѣ было говорено о скоромъ выходѣ въ свѣтъ сочиненій Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Тамъ-же увѣряли, что вслѣдъ за ними поступятъ въ печать: «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, сочиненія императрицы Екатерины II, сочиненія Сумарокова, Хераскова, Тредьяковскаго, Кострова, князя Долгорукова, Капниста, Нахимова, Нарѣжнаго,—и что сверхъ того приступлено къ пріобрѣтенію права на изданіе сочиненій Жуковскаго, Батюшкова, Дмитріева, Гнѣдича, Хмѣльницкаго, Шаховского и Баратынскаго. Довольно работы критикѣ! Пусть каждый выскажетъ свое мнѣніе, не безпокоясь о томъ, что другіе думаютъ не такъ, какъ онъ. Надо имѣть терпимость къ чужимъ мнѣніямъ. Нельзя заставить всѣхъ думать одно. Опровергайте чужія мнѣнія, несогласныя съ вашими, но не преслѣдуйте ихъ съ ожесточеніемъ потому только, что они противны вамъ, не старайтесь выставлять ихъ въ невыгодномъ для нихъ свѣтѣ не въ литературномъ отношеніи. Это плохой разсчетъ: желая выиграть больше простору вашимъ мнѣніямъ, вы можетъ быть этимъ самымъ лишите ихъ всякой почвы.

II. БИБЛІОГРАФІЯ.

Семейство, или домашнія радости и огорченія. *Романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ. Перев. съ подлинника. Спб. 1842.*

Вотъ романъ, который болѣе года тянулся въ «Современникѣ»... Изъ всѣхъ нашихъ журналовъ «Современникъ»—самый почтенный, самый безукоризненный. Онъ напоминаетъ собою то блаженное время русской литературы и русской журналистики, о которомъ теперь осталось одно преданіе, какъ о золотомъ вѣкѣ, и въ которомъ любили литературу для литературы, видя въ ней сколько невинное, столько же и благороднее препровожденіе времени. Тогда, какъ въ вѣкъ Астреи, сочиненія не продавались и не покупались, напротивъ, сами авторы готовы были платить деньги за честь видѣть свои творенія напечатанными въ журналѣ,—полемики не было: вмѣсто ея царствовала любезность самаго лучшаго тона. Писали стишки «къ милымъ», «прекраснымъ». Въ литературѣ не подозрѣвали никакого отношенія къ обществу и не вносили въ нее никакихъ вопросовъ, не касающихся до «прелестныхъ» или до мирной сельской жизни на берегу ручья, подъ соломенной кровлей, съ милой подругой и чистой совѣстью. Но противъ духа времени и его движенія идти нельзя,—и «Современникъ» конечно много разнится отъ журналовъ стараго добраго времени. Во-первыхъ, онъ издается изящно, а они издавались неопрятно; онъ существуетъ инкогнито, по доброй волѣ, а тѣ существовали инкогнито по недостатку въ публикѣ и въ читателяхъ, которые играли съ ними въ гулючки. Видите ли—никакого сходства! Но «Современникъ» сохранилъ эту свойственную журналамъ стараго добраго времени безкорыстную любовь къ литературѣ, какъ къ невинному и благородному занятію, въ самомъ себѣ имѣющему свою цѣль. И потому онъ идетъ себѣ своей дорогой, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства. И по наружности, и по внутреннему содержанію между всѣми другими журналами «Современникъ»—то же, что̀ аристократъ между плебеями. Онъ ни съ кѣмъ не бранится, ни съ кѣмъ не споритъ, ни на кого не нападаетъ (развѣ только изрѣдка на какой-нибудь иностранный журналъ, не умѣющій цѣнить сочиненій такого-то или такой-то), ни противъ кого не защищается. О немъ многіе говорятъ, иные порицая, другіе хваля его, но онъ ни о комъ не говоритъ, кромѣ «Звѣздочки», журнала для дѣтей, тоже почтеннаго и безукоризненнаго. У него свой кругъ предметовъ, свой міръ вѣдѣнія,—въ особенности Финляндія и ея литература,—и по этой части Гротъ снабжаетъ его поистинѣ превосходными статьями. Въ числѣ его отдѣловъ есть и библіографія, которой короткіе, но многозначительные отзывы многихъ приводили въ раздумье. У него своя философія,—и по этой части Петерсонъ снабжаетъ его удивительными статьями. У него все свое—поэты тоже. Въ «Современникѣ» изрѣдка раздаются нестарѣющіеся звуки лиры Жуковскаго; въ немъ допѣваетъ свои послѣднія пѣсни Баратынскій; сверхъ того въ немъ постоянно являются розовыя мечты, радужныя фантазіи и сладостныя чувства, облеченныя въ неподражаемый стихъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что все это показываетъ только изящный вкусъ «Современника». Такъ-же точно оригиналенъ и самобытенъ «Современникъ» въ отношеніи къ изящной прозѣ, украшающей его страницы вольно и широко раскидывающимися строками, безъ тѣсноты и давки, свойственной плебейской экономіи. У него свои повѣсти, какъ и свои стихи. Бывало, изобильно снабжалъ его повѣстями и разсказами Основьяненко: въ каждой книжкѣ «Современника» (а тогда онъ выходилъ въ числѣ четырехъ книжекъ ежегодно) читатели его находили повѣсть Основьяненко, а иногда и двѣ. Видя такую плодовитость малороссійскаго писателя, даже мы, люди посторонніе въ отношеніи къ «Современнику», чуть было не повѣрили достовѣрности вдругъ пронесшагося слуха, будто Основьяненко—первый писатель русскій... Но въ 1842 году нескончаемая нить повѣстей и разсказовъ Основьяненко вдругъ прервалась. Чьи-то повѣсти будетъ теперь печатать «Современникъ»?—думали мы, и много думали.... однакожъ не отгадали. Оставивъ въ покоѣ русскія повѣсти, «Современникъ» еще съ конца 1842 года началъ печатать романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ—

Романъ отмѣнно длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный.

Поговоримъ объ этомъ романѣ. Онъ обратилъ на себя общее вниманіе, и многіе увидѣли въ немъ даже колоссальное произведеніе, тогда какъ другіе ничего ровно не видѣли. Мы держались середины между двумя этими крайностями. Прежде всего надо сказать, что Бремеръ не лишена свойственной женщинамъ способности не только хорошо и легко разсказывать, но даже съ нѣкоторымъ

успѣхомъ очерчивать характеры, которые подъ-силу ея одностороннему взгляду на вещи и ея небогатой фантазіи. Основная мысль ея романа та, что счастье заключается только въ семейной жизни и человѣкъ назначенъ природой преимущественно для семейной жизни. Мысль, какъ видите, нелишенная истины, но довольно односторонняя, и притомъ не новая: на ней въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія выѣхала слава Августа Лафонтена, блаженной памяти. Этотъ добрый нѣмецъ такъ же во всякомъ человѣкѣ видѣлъ прежде всего мужа и жену, какъ натуралистъ во всякомъ животномъ прежде всего видитъ самца или самку. Но прославляемое имъ блаженство семейной жизни было такъ мѣщански идеально, такъ приторно-сладко, что оно скоро сдѣлалось всѣмъ непріятно, какъ теплая вода, разсыченная медомъ. Фредерика Бремеръ не испугалась этого и отважно сдѣлалась Августомъ Лафонтеномъ нашего вѣка. Надо согласиться, что она явилась весьма кстати и въ то же время весьма некстати:—кстати, потому что безъ такой жаркой защитницы блаженства супружеской и семейной жизни это блаженство сдѣлалось бы теперь столько же сомнительнымъ, какъ и дѣйствительность золотого вѣка;—некстати, потому что теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей, а на дѣтей смотрятъ, какъ на неизбѣжное неудобство семейной жизни. Сверхъ того въ наше скептическое время скорѣе повѣрятъ существованію волшебниковъ и кудесниковъ, чѣмъ существованію «счастья». Ему вѣрятъ теперь только безбородые юноши, да мечтательныя дѣвы; послѣднія вѣрятъ жарче первыхъ, но не дальше, какъ только до замужества; а если онѣ остаются на всю жизнь дѣвицами, то и до гробовой доски вѣрятъ счастью и мечтаютъ о немъ. Это исключительная привилегія старыхъ дѣвъ, — да и что имъ было бы дѣлать на свѣтѣ, еслибъ онѣ не вѣрили въ счастье и не мечтали о немъ?... Фредерика Бремеръ тѣмъ съ большимъ убѣжденіемъ и большимъ жаромъ вѣритъ въ счастье семейной жизни, что сама имѣетъ ни съ чѣмъ несравнимое преимущество быть «дѣвой», и притомъ уже, кажется, такой, которая годится Минервѣ въ ровесницы не по одному уму. Это очень выгодное обстоятельство для дѣла, котораго адвокатомъ явилась Фредерика Бремеръ; блаженство, которое мы знаемъ только въ мечтахъ, всегда кажется намъ лучше, выше, обольстительнѣе блаженства, которое извѣдано нами на самомъ дѣлѣ. И потому Фредерика Бремеръ съ восхищеніемъ, съ энтузіазмомъ описываетъ счастье семейной жизни, такъ что вы съ первыхъ же страницъ тотчасъ видите, что сочинительница не была, а только желала страстно быть замужемъ. Это, разумѣется, столько же выгодно для романа, сколь вредно для юныхъ читателей, особенно читательницъ, и особенно читательницъ безъ приданаго; бѣдняжки сейчасъ ударятся въ розовыя мечты о счастіи и о немъ,— и каково же будетъ ихъ разочарованіе, когда ни одинъ «онъ» ни въ грошъ не оцѣнитъ ихъ прекрасной души, которая, какъ ни хороша, а все-таки совсѣмъ не то, что «души»!... Каково будетъ разочарованіе и тѣхъ юныхъ читательницъ, которыя, съ склонностью къ мечтательности, владѣютъ и «дѣйствительными достоинствами», т. е. приданымъ? Бѣдняжки, пожалуй, потребуютъ отъ своихъ мужей любви и счастья, не подозрѣвая въ простотѣ сердца, что любовь и счастье при деньгахъ совершенно лишнія и даже вредныя вещи, какъ лекарство при здоровьѣ. Сначала имъ будетъ больно, а потомъ онѣ возненавидятъ всѣ эти романы, которые такъ добросовѣстно лгутъ и такъ благонамѣренно обманываютъ дѣтей, заранѣе ставя ихъ въ ложное положеніе къ дѣйствительности, вмѣсто того чтобъ заранѣе знакомить ихъ съ дѣйствительностью...

И однакожъ Фредерика Бремеръ не буквально повторила собою Августа Лафонтена: она, какъ бы противъ воли своей, принуждена была сдѣлать значительную уступку духу времени: въ заглавіи ея романа стоятъ не однѣ «радости» семейныя, но и «огорченія». А! такъ эта утопія имѣетъ и свои огорченія даже въ романахъ! Прочтите романъ Бремеръ,—и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полнаго семейнаго счастья мало одной любви, но еще болѣе нужно эгоистическаго сосредоточенія въ маленькой и тѣсненькой сферѣ домашняго быта,—нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна даетъ человѣку силу заткнуть уши отъ всѣхъ другихъ обаятельныхъ зововъ бытія и закрыть глаза на всѣ другія обаятельныя картины широко раскинувшейся, безконечно разнообразной жизни... И какая разница въ этомъ отношеніи напримѣръ между семейственной Германіей нашего времени и общественнымъ древнимъ міромъ! Въ первой жизнь такъ узко, такъ душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ...

Несмотря на все желаніе Фредерики Бремеръ быть безпристрастной въ отношеніи къ увлекшей ее идеѣ, она можетъ отстаивать ея преувеличенную истинность только ложью. Доказательствомъ этого можетъ служить искаженный ею, сколько съ умысломъ, столько и по слабости таланта, образъ Сары—единственнаго человѣческаго лица среди толпы этихъ добрыхъ, милыхъ, но въ то же время и дюжинныхъ характеровъ, каковы всѣ эти Франки, отъ суходушнаго ихъ родителя до долгоногой Петреи, отъ старой фрау Гуниллы до стараго же Мунтера. И за то, что эта бѣдная Сара была выше другихъ и не могла свободно дышать въ ихъ бѣдной атмосферѣ,—сочинительница заставила ее впасть въ бездну несчастья, и какъ замѣтно, что не подъ-силу сочинительницѣ былъ этотъ идеалъ, что не могла она сладить съ этимъ

характеромъ, потому такъ смѣшно и нелѣпо заставила больную и умирающую Сару говорить надутыя фразы и длинные риторическіе монологи! А все изъ чего эта буря въ стаканѣ воды?— Изъ того, чтобъ доказать всевозможными натяжками, что счастье въ идиллiи домашняго быта— и больше нигдѣ... Романъ Фредерики Бремеръ читается впрочемъ не безъ удовольствія, потому что эта писательница не безъ дарованія; но какъ всѣ произведенія, писанныя на тему, подъ вліяніемъ односторонней мысли, его нельзя долго читать безъ отдыха, и онъ мѣстами страшно наскучаетъ. Не дочесть его какъ-то не хочется, а какъ дочтешь, то чувствуешь удовольствіе преодолѣннаго труда,—и ужъ конечно никогда не вздумаешь перечесть его вновь.

Наль и Дамаянти. *Индѣйская повѣсть. В. А. Жуковскаго. Спб. 1844.*

«Наль и Дамаянти» есть эпизодъ огромной индійской поэмы «Магабгарата», — эпизодъ, какихъ въ ней довольно, и который представляетъ собою нѣчто цѣлое. На нѣмецкомъ языкѣ два перевода этой поэмы («Наль и Дамаянти»), одинъ Боппа, другой Рюкерта. Жуковскій переводилъ съ послѣдняго. О достоинствѣ его перевода нечего и говорить. Легкость, прозрачность, удивительная простота и благородная поэзія его гекзаметра обнаруживаютъ высокое искусство, неподражаемое художество. Это переводъ вполнѣ художественный, и русская литература сдѣлала въ немъ важное для себя пріобрѣтеніе.

Что касается до самой поэмы, она—индѣйская въ полномъ значеніи слова. Въ ней дѣйствуютъ боги, люди и животныя. Боги, какъ двѣ капли воды, похожи на людей, а люди — ни дать, ни взять—тѣ же животныя. Такъ напримѣръ, гуси играютъ въ поэмѣ такую роль, что безъ нихъ не было бы и поэмы. И эти гуси говорятъ и мыслятъ точь-въ-точь, какъ люди, а эти люди въ свою очередь говорятъ и мыслятъ точь-въ-точь, какъ гуси. Гуси здѣсь не глупѣе людей, а люди не умнѣе гусей. Въ этомъ выразился пантеизмъ Индіи и все индійское міросозерцаніе. Богъ индійца— природа; выше и дальше природы не простираются духовные взоры индійца. Поэтому въ его глазахъ гусь или корова—такія же важныя персоны, какъ и царь и герой, не говоря уже о простомъ человѣкѣ. Поэтому же индіецъ весь теряется въ міровой субстанціи и бѣденъ личностью. Ему легко отрываться отъ себя и погружаться, смотря на кончикъ своего носа, въ созерцаніе божественнаго ничтожества. Отсюда происходитъ чудовищность, нелѣпость, дикость, сердечная теплота, плѣнительная наивность, а иногда и грандіозность его поэзіи. Для насъ, европейцевъ, эта поэзія интересна какъ фактъ первобытнаго міра, и мы не можемъ сочувствовать ея суевѣрію, ея уродливому піэтизму, даже самымъ красотамъ ея. Это происходитъ отъ противоположности европейскаго духа съ азіатскимъ. Въ азіатскомъ нравственномъ мірѣ преобладаетъ субстанціональное, безразличное и неопредѣленное общее — это бездна, поглощающая и уничтожающая личность человѣка. Отсюда индійскія религіозныя самосожженія, самоуродованія и всякаго рода самоубійства ради блаженнаго погруженія въ лоно міровой жизни. Личность есть основа европейскаго духа, и потому въ немъ человѣкъ является выше природы. Сравните въ этомъ отношеніи «Иліаду» съ любой индійской поэмой: какая разница! Мы читаемъ «Иліаду» какъ колыбельную пѣсню человѣчества, по прекрасному выраженію Гёте; но мы сочувствуемъ ей вполнѣ, какъ своему собственному младенчеству, изъ котораго развивалась наша возмужалость. Въ «Иліадѣ» боги также принимаютъ участіе въ дѣлахъ людей, но о животныхъ уже нѣтъ и помина. Боги эти прекрасны, и каждый изъ нихъ — живое существо, имѣетъ страсти, желанія, характеръ, потому что каждый изъ нихъ — личность. Человѣкъ играетъ такую высокую роль, что сами боги его не что̀ иное, какъ апоѳеоза его же собственной нравственной природы.

Въ «Налѣ и Дамаянти» нѣтъ характеровъ; всѣ ея дѣйствующія лица—образы безъ лицъ! Вотъ напримѣръ характеристика Наля:

Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, чтитель смиренный
Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайный
Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный
Въ храмахъ боговъ, вожделѣній своихъ обуздатель, нечистымъ
Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума
Дѣвъ, гроза и ужасъ враговъ, друзей упованье,
Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и славный
Вождь, изъ лука дивный стрѣлокъ, наипаче же смѣлый
Чуднымъ искусствомъ править конями, на коихъ онъ въ сутки
Могъ сто миль проскакать—таковъ былъ Наль; но и слабость
Такъ же имѣлъ онъ великую: въ кости играть былъ безмѣрно
Страстенъ.

Какая же тутъ личность? Это описаніе идетъ равно ко всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ, гусямъ и змѣямъ поэмы. Это просто сказка, но сказка, имѣющая важное значеніе историческаго факта жизни великаго племени,—наконецъ сказка, изложенная поэтически.

Изданіе «Наля и Дамаянти» прекрасно; жаль только, что его портитъ орѳографія, отзывающаяся блаженной памяти семидесятыми годами.

Басни И. А. Крылова. *Въ десяти книгахъ. Спб. 1844.*

Изданіямъ басенъ И. А. Крылова потерянъ счетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ считалось однакожъ, что ихъ издано тридцать девять тысячъ экземпляровъ. Такимъ успѣхомъ не пользовался на Руси ни одинъ

писатель, кромѣ Ивана Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 40,000 экземпляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ, больше всѣхъ нашихъ писателей—кандидатъ на никѣмъ еще не занятое на Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ народомъ. Сверхъ того Крыловъ проложилъ и другимъ русскимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басенъ И. А. Крылова—лишнее дѣло: въ этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ грамотныхъ людей въ Россіи. Было время, когда не умѣли рѣшить, кто выше — Хемницеръ или Крыловъ, и было время, когда Дмитріева (И. И.), какъ баснописца, считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣнить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаютъ, что Крыловъ неизмѣримо выше ихъ обоихъ. Его басни—русскія басни, а не переводы, не подражанія. Это не значитъ, чтобъ онъ никогда не переводилъ напримѣръ изъ Лафонтена и не подражалъ ему: это значитъ только, что онъ и въ переводахъ, и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ не быть оригинальнымъ и русскимъ въ высшей степени. Такая ужъ у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь Вяземскій въ своемъ стихотвореніи, и не сдѣлается народнымъ именемъ Крылова во всей Руси!

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по нашему мнѣнію, заключаются въ седьмой и восьмой книгахъ. Здѣсь онъ очевидно уклонился отъ прежняго пути, котораго болѣе или менѣе держался по преданію; здѣсь онъ имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь больше басенъ, въ которыхъ герои — люди, именно все православный людъ; даже и звѣри въ этихъ баснях какъ-то больше, чѣмъ бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ стихѣ ясно видно большое улучшеніе. Вотъ лучшія, по нашему мнѣнію, басни въ седьмой и восьмой книгахъ: «Совѣтъ Мышей», «Мельникъ», «Мотъ и Ласточка», «Свинья подъ Дубомъ», «Лисица и Оселъ», «Муха и Пчела», «Крестьянинъ и Овца» (едва ли не лучшая изъ всѣхъ басенъ Крылова), «Волкъ и Мышенокъ», «Два Мужика», «Двѣ Собаки», «Кошка и Соловей», «Рыбьи Пляски», «Прихожанинъ», «Ворона», «Левъ состарѣвшійся», «Бѣлка», «Щука», «Кукушка и Орелъ», «Бритвы», «Бѣдный Богачъ», «Булатъ», «Купецъ», «Пушки и Паруса», «Оселъ», «Миронъ», «Волкъ и Котъ», «Три Мужика».

И въ девятой книгѣ, заключающей въ себѣ одиннадцать басенъ, талантъ Крылова еще удивляетъ своей силой и свѣжестью: для него нѣтъ старости! Намъ особенно нравятся двѣ басни: «Волки и Овцы» и «Вельможа». Также прекрасна басня «Кукушка и Пѣтухъ».

Странно: почему до сихъ поръ не изданы комедіи Крылова? Конечно эти комедіи не такъ хороши, какъ его же басни; но все же онѣ хороши на столько, чтобы стоить имени своего автора,—а это, право, не мало! Сверхъ того комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники нравовъ и литературы стараго времени.

Герой нашего времени. *Соч. М. Лермонтова. Изданіе третье. Спб. 1843. Двѣ части.*

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому что, при самомъ рожденіи ея, она была вспрыснута живой водой поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы было взяли первое изданіе ея, чтобъ справиться о его годѣ,—взглядъ нашъ упалъ на первую страницу—и страницы начали одна за другой переворачиваться подъ рукой. Сколько разъ читали мы эту книгу—пора бы ужъ было ей надоѣсть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ-будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ-будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года; какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ-будто для того, чтобъ рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русской поэзіей въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многіе изъ нихъ надѣлали шуму и доставили своимъ авторамъ славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и разсчетливости журнальныхъ крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ: но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечесть, ихъ наберется таки довольно; но, кромѣ «Мертвыхъ Душъ» и нѣсколькихъ новыхъ пьесъ Гоголя,—«Герой нашего времени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова—все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только, пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ съѣденъ и завтра его ужъ нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно и въ то же время такъ проникнуто жизнью, мыслью, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда вспадаетъ на умъ вопросъ: что жъ еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собой въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?... Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ геній, эта великая духовная сила привязана къ скудельному орга-

низму личности человѣка: не стало человѣка—и нѣтъ уже въ мірѣ его силы...

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ новая книга, хотя она уже и прочтена публикой еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что̀ было напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго и нынѣшняго годовъ,—такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что̀ было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось—развѣ какіе-нибудь незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» стихотвореніе «Пророкъ» принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ долго не дождаться Россіи!...

Третье изданіе «Героя нашего времени» въ типографическомъ отношеніи прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для нея такъ же безполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу—пока не разойдется она до послѣдняго экземпляра: тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ.

Амарантосъ, *или* розы возрожденной Эллады. *Произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ эллиновъ, собранныя, переведенныя и изданныя съ подлинникомъ, предисловіемъ, филологическими замѣчаніями и историческими Георгіемъ Эвлампіосомъ. Удостоено Демидовской преміи. Спб. 1843.*

Во времена владычества французскаго псевдоклассицизма народная поэзія была во всеобщемъ пренебреженіи и даже презрѣніи. Этому были и дѣльныя, и нелѣпыя причины. Съ одной стороны, псевдо-классики имѣли право отвергать, какъ пошлость, простодушныя произведенія народной музы, думая, что только просвѣщеніе и образованіе могутъ быть источникомъ истиннаго искусства; съ другой стороны, они жестоко ошибались, забывая, что всякій возрастъ имѣетъ свою поэзію, и что у народа, какъ и у частнаго лица, есть свое время младенчества, юности и возмужалости; сверхъ того они не знали, что въ дѣтскомъ лепетѣ народной поэзіи хранится таинство народнаго духа, народной жизни и отражается первобытная народная физіономія. Псевдо-романтизмъ, возникшій въ началѣ XIX вѣка, убилъ французскій псевдо-классицизмъ. Тогда всѣ европейскія литературы, по закону діалектическаго развитія мысли, перешли въ противоположную крайность: народныя пѣсни и сказки сдѣлались предметомъ безусловнаго уваженія и начали возбуждать неосновательный восторгъ. Нѣмецкой и англійской литературами въ особенности овладѣла эта манія. Бюргеръ долго пользовался славой великаго поэта за нелѣпую балладу свою «Леонору», написанную въ духѣ самыхъ грубыхъ и дикихъ предразсудковъ невѣжественнаго простонародья. Эта баллада было переведена на всѣ языки. Жуковскій сперва передѣлалъ ее на русскій ладъ, подъ именемъ «Людмилы», потомъ перевелъ ее. Подражаній этой балладѣ нѣсть числа на русскомъ языкѣ. Въ то же время, всѣ бросились собирать свои народныя пѣсни и переводить чужія. Все это было очень полезно во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе крайность была смѣшна. Слава Богу, теперь это народное бѣсноваціе уже прошло: теперь имъ одержимы только люди недалекіе, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе зады и не замѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не думаетъ теперь отвергать относительнаго достоинства народной поэзіи, но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не думаетъ и придавать ей важности, которой она не имѣетъ. Всякій знаетъ теперь, что въ ней есть своя жизнь, свое одушевленіе, естественное, наивное и простодушное; но что все этимъ и оканчивается, ибо она бѣдна мыслью, бѣдна содержаніемъ и художественностью. Главное же—всякая народная поэзія хороша у себя дома, а въ чужой землѣ теряетъ бо́льшую половину своего поэтическаго аромата и даже своего здраваго смысла. Исключеніе остается только за одной народной поэзіей въ мірѣ—поэзіей древне греческой, которая, будучи народной, есть въ то же время и художественная; будучи греческой, она въ то же время и общечеловѣческая, всемірно-историческая, міровая.

Поэтому, Георгій Евлампіосъ совсѣмъ не оказалъ такой великой услуги русской литературѣ, какую думалъ онъ оказать ей переводомъ какихъ-нибудь двадцати девяти народныхъ пѣсенъ новыхъ грековъ. Пѣсни эти хороши въ Греціи и для грековъ—въ томъ мы не сомнѣваемся; но на русскомъ языкѣ онѣ не то, чтобъ не хороши, а какъ-то не читаются. Это вѣроятно потому, что у насъ, русскихъ, есть свои народныя пѣсни, которыя намъ, русскимъ, болѣе или менѣе нравятся, но которыя на ново-эллинскомъ языкѣ вѣроятно не понравились бы ни грекамъ, ни тѣмъ изъ русскихъ, которые знаютъ ново-греческій языкъ...

Тысяча и одна ночь, *арабскія сказки. Томы XI, XII, XIII, XIV и XV. Спб. 1843.*

Какъ счастливы народы съ бритыми головами! они не только слушаютъ арабскія сказки, но еще и вѣрятъ всѣмъ чудесамъ, о которыхъ въ нихъ разсказывается, такъ добродушно и несомнѣнно, какъ мы не вѣримъ самымъ достовѣрнымъ статистическимъ таблицамъ о благосостояніи разныхъ земель и государствъ. Волшебники, волшебницы, крылатые кони, чудесныя красавицы со звѣздами во лбу, злые и добрые кадіи, мудрые визири,—всему этому мусульмане вѣрятъ такъ же, безъ всякаго сомнѣнія, какъ и неизрѣченному мило-

сердію и правосудію великаго халифа Гарунъ-аль-Рашида, который дѣйствительно былъ очень человѣколюбивъ и милостивъ, и только въ порывахъ внезапнаго гнѣва рубилъ голову и правому, и виноватому, всегда впрочемъ раскаяваясь въ этомъ, когда проходилъ гнѣвъ его. На Востокѣ это уже—nec plus ultra гуманности... Увы! мы, западные жители, отверженные гяуры, въ наказаніе за наше невѣріе въ Несомнѣнную Книгу и творца ея Мухаммеда (да не уменьшится никогда тѣнь его!),—мы лишены счастья вѣрить возможности чего бы то ни было, о чемъ повѣствуется въ арабскихъ сказкахъ, и оттого не можемъ наслаждаться ими вполнѣ. А между тѣмъ, для каждаго изъ насъ было время, когда мы съ жадностью читали разсказы Шехеразады и не меньше старыхъ мусульманъ вѣрили дѣйствительности этого небывалаго міра. Какъ не вспомнить этого золотого времени и вмѣстѣ съ нимъ этихъ стиховъ старика Дмитріева, которые въ то время восхищали насъ не меньше прозы Шехеразады:

Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтски лѣты,
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сижу, повѣся носъ; нѣтъ ни ушей, ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я взмостился на Парнасъ,—
А я... признаться вамъ игрушкою играю,
Которая была
Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила;
Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой
Вывалъ тотъ день, когда урокъ мой окончавъ,
Набѣгаясь въ саду, уставши отъ забавъ
И бросясь на постель, займусь *Шехеразадой!*
Какъ сказки я любилъ!
Читая ихъ... прощай, учитель,
Симбирскъ и Волга! все забылъ!
Уже я всей вселенны зритель,
И вижу тамъ и сямъ и карловъ, и духовъ,
И визирей рогатыхъ,
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадіевъ волковъ...
Но сколько нужно словъ,
Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!

Вѣроятно мусульмане оттого такъ и довольны арабскими сказками и такъ вѣрятъ имъ, что они—дѣти, хотя уже и старыя. Но и мы, не будучи дѣтьми, можемъ, ради воспоминанія нашего дѣтства, перелистовать Шехеразаду, особенно въ то время, когда не дѣлать ничего скучно, а дѣлать что-нибудь, требующее присутствія мыслительной способности, кажется труднымъ. Въ такомъ расположеніи духа, арабскія сказки—истинное сокровище, тѣмъ болѣе, что ихъ можно бросить безъ сожалѣнія тотчасъ, какъ скоро надоѣдятъ онѣ, и можно опять приняться за нихъ хоть черезъ годъ и начать читать съ той страницы, которая прежде всего откроется.

Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. *Николая Костомарова. Писано для полученія степени магистра историческихъ наукъ. Харьковъ. 1844.*

Въ наше время если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что́ можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было сказано. Но Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о малороссійской народной поэзіи; о русской тутъ упоминается мимоходомъ. Въ разсказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудиновича Костомаровъ нашелъ—что бы вы думали?—романтизмъ!!... На 200 страницѣ сочинитель по-ученому классифицируетъ русскую удаль... Изъ потопа словъ, разлитаго на 214 страницахъ, сочинитель силится доказать только три тезиса:

I. Народная поэзія особенно важна для историка, потому что въ ней виденъ взглядъ народа на свою жизнь. (Какая новость!)

II. Жизнь народа, разсматриваемаго въ его произведеніяхъ, можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую и общественную (sic!..).

III. Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя отрасли: южноруссовъ, или малоруссовъ, и сѣверноруссовъ, или великоруссовъ; а потому подъ именемъ русской народной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведенія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стóило хлопотать изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію бѣды, еще и не совсѣмъ истинны?

Гамлетъ. *Трагедія В. Шекспира, переводъ А. Кронеберга. Харьковъ. 1844.*

Что современная русская литература находится въ состояніи запустѣнія,—въ томъ теперь согласны почти всѣ литературныя партіи, во всемъ другомъ несогласныя между собою. Естественно, каждая изъ нихъ силится объяснить причину такого страннаго явленія. Эти объясненія часто бываютъ восхитительны своей наивностью, и если смотрѣть на дѣло со стороны, то можно забавляться имъ какъ игрой въ жмурки: изъяснитель съ завязанными глазами и распростертыми впередъ руками бѣгаетъ взадъ и впередъ, бросается изъ стороны въ сторону, ловя ускользающія отъ него искомыя причины, а зрители хохочутъ... Смѣшно и забавно! Одни говорятъ, что литература потому въ упадкѣ, что нѣтъ книжной торговли; но имъ сейчасъ возражаютъ, что книжной торговли потому нѣтъ, что литература въ упадкѣ, ибо весьма естественно, что торговля не можетъ существовать, когда ей нечего продавать. Слѣдовательно въ этомъ объясненіи остается несомнѣннымъ только фактъ, что литература въ упадкѣ, а причины этого факта все-таки нѣтъ. На бѣду объяснителей этого

рода сама дѣйствительность взялась рѣшить вопросы: книгопродавцы явились, — даже, по нѣкоторымъ, воздвиглись новые дѣятели, оживители литературы, съ самоотверженіемъ рѣшившіеся вновь издавать старый хламъ ея; другіе книгопродавцы покупаютъ рукописи, платятъ авторамъ посильную плату, издаютъ книги,—а литература попрежнему мертва, и книжная торговля въ застоѣ. Въ этомъ принуждены были сознаться сами объяснители. Другіе говорятъ: литература оттого въ упадкѣ, что наши писатели лѣнивы, мало пишутъ, ничего не дѣлаютъ, и т. п. Но факты доказываютъ, что теперь литераторы пишутъ по крайней мѣрѣ не меньше, если еще не больше того, какъ писывали они въ старину и во всѣ хваленыя времена русской литературы. Сколько является «драматическихъ представленій»; новымъ водевилямъ нѣтъ счета; повѣстей не оберешься; иллюстрованныхъ исторій, оригинальныхъ и переводныхъ, вдоволь; нравоописательныхъ и юмористическихъ книжекъ и тетрадокъ съ картинками просто некуда дѣвать. Нѣтъ, все не то! Третьи и говорятъ: неуваженіе къ талантамъ — вотъ причина упадка литературы! Прекрасно! но гдѣ же это неуваженіе, если все, что̀ является въ литературѣ отличнаго или порядочнаго, жадно читается публикой въ журналахъ, скоро раскупается въ отдѣльныхъ книгахъ? «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ, давно уже распроданы до послѣдняго экземпляра; «Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ частяхъ почти совсѣмъ разошлись въ какой-нибудь годъ времени, не смотря на то, что изъ нихъ около трехъ частей составлено изъ старыхъ, давно уже извѣстныхъ публикѣ статей; сочиненія Лермонтова то и дѣло издаются; повѣсти графа Соллогуба, давно прочитанныя въ періодическихъ изданіяхъ, хорошо распродавались и хорошо распродаются, изданныя отдѣльно. А между тѣмъ эти три писателя, особенно два первые, подвергались, подвергаются и вѣроятно еще долго будутъ подвергаться «неуваженію» со стороны разныхъ аристарховъ. Въ цѣлой книгѣ нельзя пересказать всѣхъ браней, которыя напечатаны на сочиненія Гоголя; о Лермонтовѣ теперь пишутъ, что такъ какъ онъ уже умеръ и отъ него никакихъ барышей ожидать нельзя, то уже смѣшно его хвалить, а надо его бранить, и на первый случай замѣтить напримѣръ, что въ его «Героѣ нашего времени» нѣтъ знанія жизни, свѣта, людей, человѣческаго сердца, и что всего этого слѣдуетъ искать въ «Дѣвахъ чудныхъ» и разныхъ «драматическихъ представленіяхъ». Правда, «неуваженіе» вредитъ многимъ талантамъ; но если оно, даже доведенное до ожесточенія, не могло повредить нѣкоторымъ, явный знакъ, что дѣло ни въ «уваженіи», ни въ «неуваженіи», а въ достоинствѣ сочиненій, въ силѣ таланта, который самъ собою заставляетъ уважать себя. Нѣкоторые сочинители для лучшаго хода своихъ сочиненій издаютъ журналы и газеты, въ которыхъ ихъ сочиненія весьма «уважаются», но — увы!—все это теперь уже нисколько не помогаетъ горю.—Наконецъ намъ недавно случилось читать гдѣ-то мнѣніе, что русская литература упала не отъ чего другого, какъ отъ журнальной полемики!... Это мнѣніе не ново: оно повторялось очень часто въ доброе старое время и брошено за негодностью. Кому-то вздумалось возобновить его. Очевидно, что возобновитель сродни падшимъ отъ полемики сочиненіямъ: иначе онъ такъ горячо не напалъ бы на эту мнимую причину посполитаго рушенія русской литературы. А прекурьезное мнѣніе! Ради самой юродивости его, нельзя пропустить его безъ вниманія.

Полемика составляетъ душу иностранныхъ литературъ: въ сравненіи съ нашею, иностранная полемика—то же, что океанъ въ сравненіи съ ручейкомъ. Отчего же иностранныя литературы не погибли отъ полемики? Возобновитель курьезнаго мнѣнія говоритъ между прочимъ, что журнальныя брани лишили русскую литературу всякаго довѣрія у публики, которая, будто-бы, повѣрила всѣмъ воюющимъ сторонамъ въ томъ, что̀ онѣ говорятъ одна другой, и—перестала читать русскіе журналы, изъ которыхъ однѣ «Отечественныя Записки» имѣютъ болѣе трехъ тысячъ подписчиковъ?— неужели иностранцы? А вѣдь что̀ было писано противъ «Отечественныхъ Записокъ», какъ бранили ихъ разные журналы и разные сочинители?... Кто раскупилъ «Мертвыя Души», напоналъ разруганныя половиной нашихъ журналовъ, какъ произведеніе пошлое и бездарное?... Да и когда полемика была тише, если не въ настоящее время? Глазамъ не вѣришь, читая брани, которыя нѣкогда печатались на Пушкина, а между тѣмъ Пушкина всѣ читали!... Нѣтъ, скорѣе одной изъ причинъ запустѣнія русской литературы можно почесть то, что у насъ еще и теперь не стыдятся показываться въ печати мнѣнія, подобныя тому, что какая-нибудь литература можетъ пасть отъ полемики...

Много есть разныхъ причинъ упадка нашей литературы въ настоящее время. Въ первой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1844 года мы, въ отдѣлѣ Критики, изложили нѣкоторыя изъ этихъ причинъ. Главнѣйшія изъ нихъ, — во-первыхъ, преждевременная смерть Пушкина и Лермонтова. Первый сдѣлалъ очень много, но еще больше обѣщалъ сдѣлать, судя по его посмертнымъ сочиненіямъ. Второй только что началъ было обнаруживать всю огромность своего таланта. Гоголь рѣдко является въ печати. Нѣсколько талантовъ, болѣе или менѣе яркихъ, не могутъ сдѣлать незамѣтнымъ недостатокъ въ людяхъ геніальныхъ, а геніальныхъ людей не могутъ создать ни «уваженіе», ни процвѣтаніе книжной торговли: ихъ творитъ природа. Во-вторыхъ, теперь русская литература вышла на такую дорогу и приняла такое направленіе, что многіе люди, недавно считавшіеся великими талантами, невольно обратились въ людей съ посредственными дарованіями; многое изъ того, что̀ прежде восхищало публику, теперь на-

водить на нее зѣвоту, а нѣкоторые ci-devant любимцы публики, воспользовавшіеся подъ шумокъ ея неопытностью, теперь тщетно напоминаютъ ей о себѣ разными новыми трудами своими и восторженными «уваженіями» этихъ трудовъ: въ первыхъ публика видитъ старыя погудки на новый ладъ, во вторыхъ—ужъ слишкомъ неловкую и грубую продѣлку...

Между причинами упадка современной литературы есть и такія, которыя такъ очевидны и понятны, что нечего распространяться о нихъ; кто же не въ состояніи самъ проникнуть въ нихъ, тому толковать—все равно, что съ глухимъ говорить шопотомъ. Но одна, также изъ главныхъ причинъ состоитъ сколько въ незрѣлости нашей литературы, столько и въ разнохарактерности читателей, составляющихъ нашу публику. Мы достигли уже до того, что у насъ не можетъ не имѣть хода романъ, повѣсть, комедія, означенные печатью истиннаго и самобытнаго таланта, особенно, если содержаніе романа, повѣсти или комедіи касается нашей русской дѣйствительности. Но только этимъ и ограничивается нашъ успѣхъ. Онъ великъ—это правда; но одного еще мало. Искусство въ общемъ значеніи этого слова еще далеко не вошло въ потребность нашей публики; дѣльныя сочиненія даже по части исторіи—науки, которая въ Европѣ преобладаетъ надъ всѣми другими, дѣльныя сочиненія теоретическія не составляютъ еще потребности публики... Но обратимся собственно къ искусству. У насъ повидимому любятъ Шекспира. Нѣкоторыя драмы его имѣли огромный успѣхъ на сценѣ, а потому расходились счастливо и книгами. Но въ этомъ-то успѣхѣ и видна вся дѣтскость эстетическаго образованія нашей публики. Больше всѣхъ другихъ драмъ Шекспира имѣлъ успѣхъ на сценѣ «Гамлетъ», поставленный на театръ, и напечатанный въ 1837 году Полевымъ. До этого времени о существованіи «Гамлета» большинство нашей публики какъ будто и не подозрѣвало. А между тѣмъ еще въ 1828 году былъ изданъ русскій переводъ этой драмы Вронченко—необыкновенно даровитымъ переводчикомъ. Въ переводѣ «Гамлета» Вронченко конечно есть свои недостатки, потому что совершеннаго ничего не бываетъ въ дѣлахъ человѣческихъ, и совершенные переводы гораздо менѣе возможны, чѣмъ совершенныя оригинальныя произведенія; но въ то же время переводъ «Гамлета» Вронченко отличается достоинствами великими: въ немъ вѣетъ духъ Шекспира и передается вѣрно глубокій смыслъ созданія, а не буква. И что же?—самыя достоинства перевода Вронченко были причиной малаго успѣха «Гамлета» на русскомъ языкѣ! Такое колоссальное созданіе, переданное вѣрно, были явно не подъ-силу нашей публикѣ, воспитанной на трагедіяхъ Озерова и едва возвысившейся до «Разбойниковъ» Шиллера. Полевой передѣлалъ «Гамлета». Онъ сократилъ его, выкинулъ многія существеннѣйшія мѣста, исказилъ характеры, и изъ драмы Шекспира сдѣлалъ рѣшительную мелодраму, какъ Дюси сдѣлалъ изъ нея классическую трагедію. Но все это сдѣлано Полевымъ безъ всякихъ особенныхъ соображеній, единственно потому, что онъ понялъ Шекспира, какъ понимаютъ его напримѣръ Дюма и другіе поборники подновленнаго романтизма, именно—какъ романтическую мелодраму. И это было причиной неимовѣрнаго успѣха «Гамлета» на сценѣ и въ печати: «Гамлетъ» былъ сведенъ съ Шекспировскаго пьедестала и придвинутъ, такъ сказать, къ близорукому понятію толпы; вмѣсто огромнаго монумента, ей показали фарфоровую статуэтку—и она пришла въ восторгъ. Такъ же точно держится на сценѣ чей-то преплохой переводъ «Лира», именно потому, что въ немъ оставлены только эффектныя мѣста, а все величественное теченіе внутренней драмы, основанной на глубокой идеѣ и борьбѣ характеровъ, раздроблено на мелкіе, врозь текущіе, несвязанные между собой ручейки. Послѣ «Гамлета» Полевого Вронченко издалъ свой переводъ «Макбета», который имѣлъ еще менѣе успѣха, чѣмъ «Гамлетъ»: суровое величіе и строгая простота этого творенія, переданныя переводчикомъ со всей добросовѣстностью, безъ всякаго угодничества вкусу большинства, безъ всякихъ вылощенныхъ прикрасъ, были сочтены толпой за шероховатость и прозаичность перевода. И теперь перевести вновь «Гамлета» или «Макбета» — значитъ только втунѣ потерять время: всякій скажетъ вамъ, что онъ уже читалъ ту и другую драму. Черта замѣчательная! Она показываетъ, что всѣ гоняются за сюжетомъ драмы, не заботясь о художественномъ его развитіи. Въ Англіи цѣлая толпа комментаторовъ трудилась надъ объясненіемъ каждаго сколько-нибудь неяснаго выраженія или слова въ Шекспирѣ,—и эти комментаторы всѣми читались и пріобрѣли извѣстность. Во Франціи и особенно въ Германіи сдѣлано по нѣскольку переводовъ всѣхъ сочиненій Шекспира,—и новый переводъ тамъ не убивалъ стараго, но всѣ они читались для сравненія, чтобъ лучше изучить Шекспира. У насъ этого не можетъ быть, ибо у насъ только немногіе избранные возвысились до созерцанія искусства какъ творчества, до чувства формы; толпа ищетъ въ литературномъ произведеніи только сюжета. Узнавъ сюжетъ, она думаетъ, что уже знаетъ сочиненіе, и потому новый переводъ уже разъ переведеннаго сочиненія ей кажется совершенно излишнимъ. Послѣ этого трудитесь, переводите, оживляйте литературу своей дѣятельностью!...

Вотъ почему мы невольно пожалѣли о трудѣ Кронеберга. Переводъ его положительно хорошъ и какъ бы дополняетъ собою переводъ Вронченко, показывая «Гамлета» въ новыхъ оттѣнкахъ; но кто оцѣнитъ этотъ трудъ, кто будетъ за него благодаренъ, кто захочетъ узнать его?... Дай Богъ, чтобъ слова наши не сбылись на дѣлѣ: мы первые охотно сознаемся въ ошибкѣ; но... Кронебергъ владѣетъ богатыми средствами для того, чтобъ съ успѣхомъ переводить Шекспира; онъ отъ отца сво-

его наслѣдовалъ любовь къ этому поэту, изучалъ его подъ руководствомъ отца своего, посвятившаго изученію Шекспира всю жизнь свою и написавшаго о немъ нѣсколько сочиненій европейскаго достоинства; онъ прекрасно знаетъ англійскій языкъ (зная притомъ отлично языки нѣмецкій и французскій) и хорошо владѣетъ русскимъ стихомъ. При такихъ средствахъ, будь у насъ потребность узнать Шекспира какъ великаго поэта, а не какъ романтическаго мелодраматиста, сценическаго эффектёра, — Кронебергъ можетъ быть обогатилъ бы русскую литературу замѣчательно хорошимъ переводомъ всего Шекспира, и притомъ мы имѣли бы можетъ быть Шекспира въ переводѣ Вронченко, Росковшенко, и вѣроятно нашлись бы и другіе дѣятели. Но до такихъ серьезныхъ потребностей не доросла еще наша публика, а потому и для литературы нашей еще не настало время такихъ важныхъ трудовъ.

Огрывокъ изъ переведеннаго Кронебергомъ «Гамлета» былъ напечатанъ въ одномъ альманахѣ и былъ разбраненъ въ одной газетѣ; цѣлый переводъ еще больше будетъ разбраненъ. Но такое «неуваженіе» ничего не значитъ: причина его заключается, во-первыхъ, въ томъ, что въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1839 г. была напечатана статья покойнаго профессора И. Э. Кронеберга, и въ этой статьѣ разобранъ не совсѣмъ «уважительно» переводъ «Гамлета» Полевого; во-вторыхъ, въ «Литературной Газетѣ» 1840 года была напечатана статья А. И. Кронеберга (переводчика «Гамлета» и «Двѣнадцатой ночи» Шекспира)—«Гамлетъ», исправленный Полевымъ». Послѣ этихъ «уважительныхъ» причинъ не всѣ критики на новый переводъ «Гамлета» должны казаться «уважительными». Для людей, которые въ литературѣ видятъ не забаву въ праздное время, а занятіе дѣльное, «Гамлетъ», въ переводѣ Кронеберга, долженъ быть замѣчательнымъ литературнымъ произведеніемъ. Жаль, что только отъ такихъ, слишкомъ немногочисленныхъ судей переводчикъ долженъ ожидать награды за свой безкорыстный, добросовѣстный и прекрасно выполненный трудъ!

Парижскія тайны. *Романъ Эженя Сю. Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей.*

Въ отдѣлѣ Критики мы отдали подробный отчетъ о «Парижскихъ Тайнахъ». Наше мнѣніе объ этомъ романѣ должно возбудить противъ насъ неудовольствіе многочисленныхъ почитателей и обожателей этого quasi-геніальнаго созданія. На насъ будутъ нападать и прямо и косвенно, и бранью и намеками. Въ добрый часъ! Мы почитаемъ свое мнѣніе о «Парижскихъ Тайнахъ» безусловно справедливымъ; иначе не высказали бы мы его такъ рѣшительно и рѣзко. До неудовольствій разныхъ господъ сочинителей намъ нѣтъ дѣла; кто добровольно принялъ на себя обязанность говорить правду, тотъ долженъ умѣть презирать толки и жужжаніе мелкихъ самолюбій, дурного вкуса, ограниченныхъ понятій. Но гдѣ опроверженіе подобныхъ толковъ и жужжаній можетъ вести къ выясненію истины, тамъ можно нагнуться до нихъ и сказать слова два касательно полемическихъ войнъ за рѣзко высказанное мнѣніе о пошлости какого-либо пошлаго произведенія, имѣющаго въ толпѣ своихъ восторженныхъ поклонниковъ. Между безчисленнымъ множествомъ ограниченныхъ людей, загромождающихъ собою Божій міръ, есть особенно несносный разрядъ: это люди, которымъ если удастся разъ въ жизни запастись какимъ-нибудь чувствованьицемъ или какой-нибудь мыслишкой, то они всякое чувствованьице, всякую мыслишку въ другомъ считаютъ за личное оскорбленіе своей особѣ, лишь только чувствованьице или мыслишка другого не похожи на ихъ собственныя и противорѣчатъ имъ. Но ничто не можетъ въ такой степени оскорбить ихъ мелкое самолюбіе и раздражить задорную энергію ихъ гнѣва, какъ чувство или мысль порядочнаго человѣка. Видя, что это чувство или эта мысль тяжестью своего содержанія уничтожаетъ и дѣлаетъ смѣшными ихъ чувствованьица и мыслишки, и сознавая свою слабость защищать послѣднія противъ первыхъ, они прибѣгаютъ къ извѣстной тактикѣ безсилія—начинаютъ вопить о безнравственности, грѣхѣ и соблазнѣ... Многіе изъ такихъ господъ добродушно преклонились уже передъ неслыханнымъ величіемъ «Парижскихъ Тайнъ» и, не будучи въ силахъ вообразить что-либо выше этого пресловутаго творенія (какъ мышь въ баснѣ Крылова не въ силахъ была вообразить звѣря сильнѣе кошки), во всеуслышаніе объявили Эжена Сю геніемъ, а его сказку—безсмертнымъ твореніемъ, не упустивъ при этой вѣрной оказіи разругать «Мертвыя Души» Гоголя, которыхъ любая страница, на удачу развернутая, убьетъ тысячи такихъ бѣдныхъ и жалкихъ произведеній, какъ «Парижскія Тайны». Посудите сами: какой неслыханной дерзостью долженъ показаться имъ нашъ откровенный отзывъ о нихъ «безсмертномъ» твореніи!... Они такъ обрадовались, что нашли наконецъ произведеніе, котораго огромность подъ силу ихъ чувствованьицамъ и мыслишкамъ—и вдругъ имъ д о к а з ы в а ю т ъ, что они могутъ и даже должны вѣрить въ своемъ подпольѣ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ», но что напрасно пугаютъ они этимъ звѣркомъ цѣлый свѣтъ... Посмотрите, что достанется намъ! А вотъ и фактическое подтвержденіе основательности и справедливости нашихъ предчувствій. Въ «Современникѣ» тянулся года полтора романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство»; въ концѣ прошедшаго года онъ вышелъ отдѣльной книгой. Мы высказали о немъ свое мнѣніе откровенно и прямо, какъ всегда имѣемъ привычку говорить. И что же? Нѣкто Гротъ, котораго воззрѣнія на жизнь нашли себѣ подтвер-

жденіе въ романѣ Бремеръ, и который поэтому увидѣлъ въ немъ для себя нѣчто вродѣ Корана, «несомнѣнной книги» мусульманъ, вдругъ грянулъ многоглаголивой, широковѣщательной и презадорливой противъ насъ филиппикой. По особеннымъ причинамъ, не любя полемическихъ битвъ съ разными россійскими и иностранными господами-сочинителями, мы охотно пропустили бы безъ вниманія статью, нестоющую вниманія, еслибы ея нападки не касались предметовъ, до которыхъ образованному литератору нельзя касаться. Послѣднее обстоятельство невольно заставляетъ насъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ Грота для отстраненія несправедливо устремленныхъ на насъ обвиненій; да притомъ оно и кстати пришлось.

Апелляціонная статья Грота напечатана въ 3-й книжкѣ «Москвитянина». Доселѣ Гротъ упражнялся преимущественно въ наполненіи пріятельскаго журнала довольно жиденькими и пустенькими статейками о финляндскихъ нравахъ и литературѣ; нельзя не пожалѣть, что онъ хотя на минуту могъ оторваться отъ такихъ невинныхъ и усладительныхъ занятій, чтобъ необдуманно и опрометчиво броситься въ омутъ полемики самой мутной и тинистой. Вотъ въ чемъ дѣло. Мы сказали, что для молодыхъ людей и особенно для молодыхъ дѣвушекъ очень вредно чтеніе романовъ въ духѣ Августа Лафонтена и Фредерики Бремеръ, потому что такіе романы нечувствительно пріучаютъ смотрѣть превратно на жизнь. Эти романы располагаютъ ихъ къ восторженности, которая совсѣмъ не годится въ прозаической дѣйствительности, ожидающей ихъ въ жизни; пріучаютъ ихъ видѣть жизнь въ розовомъ свѣтѣ, дѣлаютъ ихъ неспособными переносить ея часто черный и всегда сѣренькій цвѣтъ. Дѣвушекъ у насъ всегда назначаютъ для болѣе или менѣе выгодной партіи, а онѣ мечтаютъ о блаженствѣ любви, чистой и безкорыстной. Чувствительные романы поддерживаютъ и раздражаютъ опасную мечтательность. Отсюда выходитъ несчастіе цѣлой жизни многихъ мечтательницъ. Вотъ что̀ мы говорили,—а Гроту заблагоразсудилось обвинять насъ въ нападкахъ на бракъ, которыхъ у насъ и въ головѣ не было. Мы не менѣе всякаго Грота убѣждены въ важности брака, какъ религіознаго и гражданскаго установленія; но хотимъ видѣть бракъ, какъ онъ часто бываетъ въ суровой дѣйствительности, а не въ розовыхъ и дѣтскихъ мечтахъ экзальтированныхъ юныхъ головокъ. По нашему мнѣнію, браки бываютъ трехъ родовъ: браки по принужденію—самый гнусный родъ браковъ; браки по юношеской страсти — самый опасный родъ браковъ, потому что изо ста тысячъ наконецъ удастся только одинъ счастливый; и браки по разсудку, гдѣ при разсчетахъ не исключается и склонность въ извѣстной степени,—это самый благонадежный родъ браковъ. Гротъ, пожалуй, скажетъ, что именно этотъ-то родъ брака и прославляетъ г-жа Бремеръ. Въ томъ то и дѣло, что нѣтъ! Въ бракѣ, о которомъ мы говоримъ, нѣтъ ничего обаятельнаго для юныхъ мечтателей и мечтательницъ. Представьте его имъ въ романѣ, какъ онъ есть, они не станутъ торопиться жениться и выходить замужъ. Всѣ признаютъ необходимость брака, но это никому не мѣшаетъ сознаваться, что брачное состояніе—дѣло довольно трудное въ дѣйствительности, хотя и обольстительное въ романахъ извѣстнаго рода. Особенно возмутили Грота наши слова, что «теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей». Что жъ? развѣ это не несомнѣнная истина? При слухѣ о новомъ бракѣ всѣ спрашиваютъ, сколько приданаго, пріобрѣтаются ли связи, но никто не спрашиваетъ, любятъ ли брачащіеся другъ друга. И женихъ говоритъ громко: беру столько-то, или у моей невѣсты такая-то родня, а о любви умалчиваетъ; невѣста тоже говоритъ: у моего жениха столько-то, или у него такія-то связи, партія приличная и выгодная. Неужели все это непзвѣстно Гроту? Гдѣ же онъ живетъ, въ какой Аркадіи, въ какой Утопіи? Но Гротъ до того простираетъ милую наивность своихъ аркадскихъ убѣжденій, что людей, которые женятся не для страсти и счастья (этой невидимки на землѣ), а для выгодной партіи, называетъ людьми безнравственными, внушающими презрѣніе и жалость. Вотъ это и несправедливо, и невѣжливо. Ибо такихъ людей многое множество, и притомъ между ними много людей честныхъ, благородныхъ и понимающихъ нравственность не хуже Грота.

Нѣтъ, г. Гротъ, воля ваша, а вы слишкомъ уже много берете на себя, называя негодяями всѣхъ, кто женится не по страсти, а по разсчету и склонности. Мы сами убѣждены, что негодяй тотъ, кто по разсчету насильно женится на дѣвушкѣ, зная ея отвращеніе къ его особѣ, и еще болѣе, зная ея склонность къ другому; но гдѣ нѣтъ насилія, а есть разсчетъ—тамъ несправедливо видѣть развратъ. Согласны, что въ такомъ разсчетливомъ бракѣ можетъ быть много пошлаго, грубаго и даже низкаго; но не согласны, чтобъ въ немъ уже непремѣнно не могло быть благороднаго, честнаго и нравственнаго, и чтобъ люди, которые женятся по разсудку, а не по страсти, непремѣнно не могли быть хорошими мужьями и отцами. Вотъ что̀ бы слѣдовало развивать въ романахъ, а не рисовать притворныя и пошленькія картинки идиллическихъ радостей и мелочныхъ огорченій (разрѣшающихся потомъ опять въ радости) филистерской жизни. Не худо бы также предувѣдомить юныя души съ розовыми мечтами счастья о томъ, какъ иногда черезъ необдуманные браки размножаются въ обществѣ нищіе, какъ иногда мужъ тиранитъ свою жену и держитъ дѣтей въ рабскомъ трепетѣ, убивающемъ въ нихъ всѣ благородныя чувства въ самомъ ихъ зародышѣ... Вотъ такіе «семейные» романы были-бы въ духѣ нашего времени и способствовали бы къ тому, чтобъ браки, какъ

они есть,—сдѣлались браками, какъ они должны быть. А то, что въ своихъ водяныхъ и притворныхъ картинкахъ разсказываетъ Фредерика Бремеръ,—то давно уже истощено филистерской кистью Августа Лафонтена блаженной памяти. Но Гротъ съ чего-то вообразилъ, что пошленькіе романы Бремеръ—совсѣмъ не апокрифическія писанія, и что смѣть не преклоняться передъ ихъ авторитетомъ—значитъ отрицать бракъ, какъ религіозное (вишь куда метнулъ!) и гражданское установленіе, значитъ «отвергать законы, совѣсть, вѣру!!...»

Гротъ обвиняетъ насъ въ согласіи съ одной изъ героинь романа Бремеръ—Сарою. Да, это правда, мы бы вполнѣ симпатизировали съ этимъ лицомъ, еслибъ авторъ изобразилъ въ немъ идеалъ личности, сознающей свое человѣческое достоинство,—а не какую-то сумасшедшую, которая мечется изъ одной крайности въ другую, чтобъ подтвердить ложную мысль, что только женщина, умѣющая дѣлать картофельные соусы, можетъ быть счастлива. Несправедливо также находитъ Гротъ противорѣчіе въ нашихъ словахъ, что мы смѣемся надъ старыми дѣвами и этимъ, будто-бы, уничтожаемъ наши, напрасно взведенные на насъ Гротомъ, нападки на бракъ, какъ на установленіе. По нашему мнѣнію, старая дѣва—существо жалкое и смѣшное, не какъ незамужняя женщина, но какъ *не*-женщина, т. е. какъ существо, не выполнившее своего назначенія, слѣдовательно напрасно родившееся на свѣтъ. Это une existence manquée, un être avorté. Сдѣлаемъ еще замѣчаніе на одно замѣчаніе Грота. Онъ обвиняетъ насъ въ безнравственности на томъ основаніи, что мы не благоговѣемъ передъ микроскопическимъ талантомъ Бремеръ, и что онъ не понялъ нашихъ словъ... Вотъ какимъ образомъ противоположили мы семейственную Германію нашего времени общественному древнему міру: «Въ первой жизнь душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ». Гротъ изволилъ такъ же благонамѣренно, какъ и литературно, утверждать, что этими словами мы христіанскій міръ поставили ниже языческаго!.. Но съ котораго времени Германія стала представительницей христіанства?—ужъ не съ тѣхъ ли временъ, когда нѣмцы позволили себѣ иному вѣрить, а иному не вѣрить (слѣдовательно то и другое произвольно) и тѣмъ равно вооружили противъ себя и вполнѣ вѣрующихъ, и вполнѣ невѣрующихъ?..

Но оставимъ всѣ эти придирки и обратимся къ «Парижскимъ Тайнамъ», чтобъ заранѣе отвѣтить на подобнаго же рода привязки. А вѣдь случай самый удобный! Романъ Эжена Сю имѣетъ цѣль нравственную,—въ этомъ мы сами соглашаемся, а между тѣмъ романъ называемъ плохимъ. Что̀ мудренаго, если за это насъ обвинятъ Богъ знаетъ въ чемъ!.. Несмотря на все это, мы повторяемъ, что хорошая цѣль—сама по себѣ, а плохое выполненіе—само по себѣ, и что не слѣдуетъ ложью доказывать истину. А развѣ не ложь—такія лица, какъ напримѣръ Родольфъ и Пѣвунья, не говоря о многихъ другихъ? Они невозможны въ дѣйствительности, стало-быть, они—вздоръ, а вздоромъ не годится трактовать о дѣлѣ.

Молодикъ, *на 1844 годъ, украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ. Спб. 1844.*

Назадъ тому около четырнадцати лѣтъ русская литература была по преимуществу альманачной. Маленькія, тощенькія книжечки въ 16-ю долю листа ежегодно появлялись чуть не десятками; въ нихъ помѣщались большей частью отрывки изъ романовъ и повѣстей въ прозѣ, драмъ и комедій въ прозѣ и въ стихахъ, но больше всего отрывки изъ поэмъ въ стихахъ, мелкія лирическія стихотворенія, преимущественно элегіи. Молодая публика, которая теперь сдѣлалась уже солидной, возмужалой публикой, тѣмъ съ бо̀льшимъ жаромъ принимала эти книжки, что и сама участвовала въ ихъ составленіи. Одни изъ альманаховъ были аристократами, какъ напримѣръ: «Сѣверные Цвѣты», «Альбомъ Сѣверныхъ Музъ», «Денница»; другіе—мѣщанами, какъ напримѣръ: «Невскій Альманахъ», «Уранія», «Радуга», «Сѣверная Лира», «Альціона», «Царское Село» и проч.; третьи—простымъ, чернымъ народомъ, какъ, напримѣръ: «Зицерла», «Цефей», «Букетъ», «Комета» и т. п. Альманаховъ послѣдняго разряда не перечтешь — такъ много ихъ. Аристократическіе альманахи украшались стихами Пушкина, Жуковскаго и щеголяли стихами Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолинскаго, Туманскаго, Ознобишина, Ѳ. Глинки, Хомякова и другихъ модныхъ тогда поэтовъ. Эти альманахи издавались или извѣстными литераторами, или людьми, имѣвшими большія и прочныя литературныя связи,—и потому всѣ знаменитости охотно снабжали ихъ своими произведеніями; сочиненія же посредственныя или плохія попадали туда для балласта. Альманахи-мѣщане преимущественно наполнялись издѣліями сочинителей средней руки, и только для обезпеченія успѣха щеголяли нѣсколькими пьесками, вымоленными у Пушкина и другихъ знаменитостей, которыя бросали въ нихъ что-нибудь залежавшееся въ ихъ портфеляхъ, что-нибудь такое, чего бы они даже и совсѣмъ не желали видѣть въ печати. Альманахи-мужики наполнялись стряпней сочинителей пятнадцатаго класса, горемыкъ, которые за удовольствіе видѣть себя въ печати готовы были платить деньги. Вотъ почему нѣкоторые писаки издавали свои собственныя сочиненія въ видѣ альманаховъ.

Но мода на альманахи, свирѣпствовавшая больше десяти лѣтъ, вдругъ прошла. Это во всѣхъ отношеніяхъ отрадное событіе произошло отъ возвышенія цѣнности прозы на счетъ цѣнности

стиховъ. Стихи перестали забавлять погремушкой ріемъ и наборомъ модныхъ словъ; отъ нихъ потребовалось оригинальности и мысли (стало-быть, не одного уже смысла, который они, т. е. стихи, часто считали совершенно лишнимъ для себя украшеніемъ); смѣтивъ эту бѣду, стихи стали являться въ меньшемъ количествѣ. По мѣрѣ того, какъ стихи падали въ цѣнѣ, проза цѣнилась все дороже и дороже. Отрывковъ уже не читали, а требовали полнаго романа, оконченной повѣсти,—и эти романы и повѣсти сдѣлались скоро главной опорой журналовъ. Вслѣдствіе этого за статьи стали платить деньгами, и авторы оставили аркадскую привычку своими трудами кормить другихъ: они сами захотѣли находить посильное обезпеченіе въ своей литературной дѣятельности. Альманахамъ тутъ стало нечего дѣлать! Бывало, имъ нужны были деньги только на напечатаніе выпрошенныхъ и вымоленныхъ отрывковъ и разныхъ мелочей, которые легко укладывались въ крошечной книжкѣ, нетребовавшей большихъ расходовъ на изданіе; а тутъ потребовалось вдругъ платить деньги за статьи значительнаго объема и потомъ издавать уже не миніатюрныя книжечки, а порядочныя книжки. И такъ, перевелись альманахи, а съ ними и альманачники. А что это былъ за курьёзный народъ—эти альманачники! Мы удивляемся, какъ никому не придетъ на мысль—написать типъ альманачника добраго стараго времени (къ чести нашего образованія, это время уже старое)! Альманачникъ, это—родной братъ литературщику, — тоже очень типическому лицу. Альманачникъ, это—человѣкъ, у котораго не хватаетъ способности произвести самому что-нибудь порядочное, который если и пытался писать, то всегда неудачно, и неудача однакожъ не отбила у него охоты, во что бы ни стало, пріобрѣсти извѣстность въ литературномъ мірѣ. Что-жъ ему остается дѣлать? собирать чужіе труды и на сборникѣ ставить свое имя. Средство легкое и пріятное! Дѣла никакого, труда нисколько, а имя въ печати, къ нему приглядываются, привыкаютъ, и смотришь — нашъ собиратель уже лицо извѣстное... Впрочемъ должно сказать, что альманачникъ бывалъ не безъ страсти къ литературѣ, только эта страсть въ немъ была всегда горемычная и жалкая. Онъ толковалъ горячо о томъ, кто выше — Пушкинъ или Жуковскій, бранилъ классицизмъ, восхищался романтизмомъ, не имѣя ни малѣйшаго понятья ни о томъ, ни о другомъ, суевѣрно благоговѣлъ передъ вдохновеніемъ поэта, считая его за какое-то волшебное опьянѣнье, которое дѣлаетъ человѣка безъ ума — умнымъ, безъ науки—знающимъ, безъ труда — неотстающимъ отъ вѣка. Альманачникъ поклонялся множеству маленькихъ авторитетиковъ, дивившихъ свои муравейники, и съ негодованіемъ говорилъ о холодномъ и гибельномъ скептицизмѣ журналовъ, непризнавшихъ таланта и заслуги въ разной литературной тлѣ, которой дивился онъ, добрый альманачникъ,—самъ такая же жалкая тля, какъ и предметы его удивленья, въ свою очередь, добродушно даривше и его, альманачника, своимъ удивленіемъ.

Но увы!—теперь альманачникъ—такой же миоъ, какъ и альманахи добраго стараго времени! Смирдинъ издалъ альманахъ «Новоселье», въ которомъ было очень мало стиховъ (и то большей частью хорошихъ) и очень много прозы (тоже большей частью хорошей); самый форматъ «Новоселья» (въ 8-ю д. л.) показалъ, что время прежнихъ альманаховъ миновало навсегда. Да и кто изъ прежнихъ альманачниковъ могъ имѣть средства издать что-нибудь вродѣ «Новоселья»? Съ 1837-го года началъ выходить альманахъ «Утренняя Заря». Это опять было нѣчто совершенно непохожее на прежніе альманахи; въ ней съ типографской роскошью изданья составитель соединилъ прекрасныя гравюры и занимательность статей. Для того и другого онъ имѣлъ средства; связи съ художниками и всѣми извѣстнѣйшими литераторами дѣлали для него возможнымъ предпріятіе не для всѣхъ возможное; да притомъ онъ не щадилъ и издержекъ. Но и «Утренняя Заря» наконецъ прекратилась... Вдругъ, съ нѣкотораго времени началъ появляться въ Петербургѣ украинскій альманахъ Бецкаго. Цѣль его прекрасная; въ исполненіи видно, что издатель дѣлалъ съ своей стороны все, что только было въ его возможности, но альманахъ не имѣлъ успѣха:,—явный знакъ, что царство альманаховъ кончилось навсегда, и что если они могутъ существовать, то уже не на прежнихъ основаніяхъ добровольной вкладчины, но на основаніи журнальномъ, т. е. на платѣ за статьи... Дѣло извѣстное: если авторъ даетъ свою статью даромъ, значитъ, она никуда не годится. Скажутъ: это торгашество! гдѣ жъ любовь къ литературѣ? Гдѣ бы она ни была, но только конечно она не въ карманѣ тѣхъ, которые корыстно пользуются для себя чужимъ безкорыстнымъ трудомъ... Но, скажутъ: если книга издается съ доброй, безкорыстной цѣлью, почему же не пожертвовать статьей? Прекрасно. Вы—бѣдный человѣкъ и между прочимъ существуете и литературой (потому что одной литературой у насъ трудно существовать); у васъ есть напримѣръ повѣсть, за которую журналистъ даетъ вамъ 500 рублей; если при всей своей бѣдности вы считаете себя въ состояніи жертвовать на доброе дѣло 500-ми рублями—честь вамъ; но не осуждайте же строго и тѣхъ, у кого нѣтъ столько великодушія и любви къ добру, чтобъ, ради ихъ, питаться и одѣваться воздухомъ... Но любовь къ литературѣ, чистое стремленіе къ славѣ?—А развѣ надежда на обезпеченіе себя литературными трудами производитъ охлажденіе къ литературѣ, и развѣ слава хорошаго произведенія умалится отъ того, что авторъ получилъ за него приличный гонораріумъ?..

Все сказанное нами нисколько не относится къ альманаху Бецкаго. Мы имѣли въ виду защитить литераторовъ, нехотящихъ даромъ давать хорошихъ статей, противъ несправедливыхъ упрековъ въ корыстолюбіи и торгашествѣ...

Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера. *Спб. 1844.*

Переводчикъ думалъ оказать великую услугу русской публикѣ изданіемъ этой книжки. По его собственнымъ словамъ, она «должна возбудить у насъ желаніе изучить подробнѣе безсмертнаго генія Германіи (т. е. Жанъ-Поля Рихтера!!...), философа, натуралиста и живописца нравовъ», и «утолить въ читателяхъ, прельщенныхъ французскими романами, возбужденную ими жажду въ новомъ, чистомъ, живомъ источникѣ». Стало-быть, цѣль двояко полезная! Русской публикѣ послѣ этого ничего не остается, какъ низко присѣсть передъ любезнымъ и обязательнымъ г. Б., переводчикомъ и издателемъ «Антологіи изъ Жанъ-Поля Рихтера»...

Г. Б. питаетъ къ Жанъ-Полю Рихтеру любовь, доходящую до страсти, до энтузіазма,—любовь, тѣмъ болѣе благородную, что она совершенно одинока, ибо ея никто не раздѣляетъ съ нимъ. Нельзя не согласиться, что въ такой любви есть что-то умилительное, возбуждающее въ другихъ если не симпатію, то состраданіе. Такъ какъ Жанъ-Поль владѣетъ болѣе сердцемъ, чѣмъ умомъ г.-на Б., и какъ г. Б. болѣе «обожаетъ», чѣмъ постигаетъ Жанъ-Поля,—то совершенно понятно, почему г. Б. видитъ въ Жанъ-Полѣ «безсмертнаго генія, великаго писателя», родного брата Гёте и Шиллеру. Энтузіазмъ всегда неумѣренъ и опрометчивъ,—оттого онъ всегда и расходится съ истиной. Жанъ-Поль въ свое время былъ явленіемъ дѣйствительно замѣчательнымъ и не безъ основанія пользовался титломъ знаменитаго писателя; но великимъ писателемъ, безсмертнымъ геніемъ онъ никогда не былъ, и съ Гёте и Шиллеромъ, особенно съ первымъ, никогда и ни въ какомъ родствѣ не состоялъ. Поэтому намъ особенно неумѣстнымъ кажется примѣненіе къ Жанъ-Полю стиховъ Баратынскаго къ Гёте, которые г. Б. взялъ эпиграфомъ къ «Антологіи»:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Мы далеки отъ того, чтобъ унижать достоинство Жанъ-Поля, но тѣмъ не менѣе не затруднимся сказать, что эти стихи къ нему вовсе нейдутъ. Наполеоновскіе генералы были всѣ люди съ замѣчательными военными дарованіями и доселѣ пользуются большой извѣстностью; однако ни объ одномъ изъ нихъ нельзя говорить и писать того, что̀ можно говорить и писать о Наполеонѣ. Много на свѣтѣ есть высокихъ горъ, но это не мѣшаетъ имъ быть ниже каждой горы, которая въ сосѣдствѣ Монблана или Эльбруса считается очень незначительной горой. Есть большая разница между замѣчательнымъ и даже знаменитымъ человѣкомъ и между великимъ человѣкомъ. Для Наполеоновскихъ генераловъ большая честь занимать мѣсто на барельефахъ пьедестала его колоссальной статуи или своими миніатюрными изображеніями составлять рамку для его большого портрета: въ такомъ точно отношеніи находится Жанъ-Поль къ Гёте или Шиллеру. Противъ этой истины, утвержденной національнымъ сознаніемъ цѣлой Германіи и всего просвѣщеннаго міра, не устоитъ ничей личный энтузіазмъ.

Жанъ-Поль навсегда утвердилъ за собою почетное мѣсто въ нѣмецкой литературѣ. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на современную ему Германію, которая уже такъ мало походитъ на современную намъ Германію. Хотя отъ смерти Жанъ-Поля едва-ли прошло двадцать лѣтъ, однако въ это время въ умственной жизни германцевъ произошло много великихъ переворотовъ, возникло много новыхъ вопросовъ, и вообще направленіе Германіи и ея симпатіи значительно измѣнились. Несмотря на то, Жанъ-Поль всегда будетъ находить себѣ въ Германіи обширный кругъ читателей, и Германія всегда съ любовью будетъ воспоминать о немъ, какъ воспоминаетъ возмужалый человѣкъ о добромъ и умномъ учителѣ юности, или о книгѣ, которая уже не удовлетворяетъ его вкусамъ и требованіямъ, но которая въ его юношескія лѣта была столько-же полезной для него, сколько и любимой имъ книгой. Но изъ всего этого еще не слѣдуетъ, что Жанъ-Поль былъ великимъ писателемъ, геніемъ. Онъ обладалъ замѣчательно-сильнымъ талантомъ, принявшимъ впрочемъ до дикости странное направленіе и уродливо развившимся. Этому конечно много способствовалъ аскетическій духъ нѣмецкой націи, узкость и тѣснота ея общественной жизни, которыя способствуютъ сильному внутреннему развитію отдѣльныхъ лицъ, но задушаютъ всякое соціальное, богатое широкими симпатіями развитіе людей, рожденныхъ для общества. Такія геніальныя личности, какъ Гёте и Шиллеръ, собственной силой могли вырваться изъ этой душной сферы и, не переставая быть національными писателями, возвыситься въ то же время до всемірно-историческаго значенія. Но такіе впрочемъ яркіе и сильные, таланты, какъ Гофманъ и Рихтеръ, не могли не поддаться гибельному вліянію дурныхъ сторонъ общественности, которою они окружены были, какъ воздухомъ. По таланту Гофманъ вообще выше и замѣчательнѣе Рихтера. Юморъ Гофмана гораздо жизненнѣе, существеннѣе и жгучѣе юмора Жанъ-Поля,—и нѣмецкіе гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своихъ силу юморическаго Гофманова бича. Какой мастерской кистью изобразилъ Гофманъ почтеннаго князя Иринеуса, его комическій дворъ и его микроскопическое государство! Какой глубиной дышитъ его превосходная повѣсть «Мейстеръ Іоганнъ Вахтъ»! Сколько прекрасныхъ и новыхъ мыслей о глубокихъ тайнахъ искусства высказалъ въ самой поэтической формѣ этотъ человѣкъ, одаренный такой богато-артистической натурой! И все это не помѣшало ему вдаться въ самый нелѣпый и чудовищный фан-

тазмъ, въ которомъ, какъ многоцѣнная жемчужина въ тинѣ, потонулъ его блестящій и могучій талантъ! Что же загнало его въ туманную область фантазёрства, въ это царство саламандръ, духовъ, карликовъ и чудищъ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словомъ,— скука и пошлость общественной жизни, въ которой онъ задыхался и изъ которой готовъ былъ бѣжать хоть въ домъ сумасшедшихъ?.. Жанъ-Поль былъ совсѣмъ другой натуры. Преобладающей стороной всего его существа было чувство, болѣе пламенное и задушевное, чѣмъ сильное и крѣпкое, болѣе расплывающееся, чѣмъ сосредоточенное и подчиненное разуму, болѣе гуманное, чѣмъ многостороннее. Говорятъ, что Жанъ-Поль не могъ не заплакать отъ умиленія, видя человѣка съ лицомъ, сіяющимъ отъ довольства и счастья. Духъ его былъ по преимуществу внутренній и созерцательный. Поэтому его высочайшимъ идеаломъ человѣка была красота внутренняго развитія личности, безъ всякаго отношенія къ обществу,—и пафосъ всего его существованія составляла не разумная дѣятельность, силящаяся вносить въ дѣйствительность свои собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, ручьи, облака, цвѣты, ночь, звѣздное небо. Полная елейной, нѣсколько сантиментальной и расплывающейся любви, натура Жанъ-Поля была ясна, спокойна и кротка. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ характеровъ, которые всегда дѣлаются средоточіемъ избраннаго дружескаго кружка и обнаруживаютъ на него часто одностороннее, но всегда прекрасное и благодѣтельное вліяніе. Изъ всѣхъ душевныхъ способностей въ Жанъ-Полѣ особенно сильна была фантазія, такъ что она преобладала у него надъ самымъ разумомъ, которому не совсѣмъ недоступно было царство идей. Для такого человѣка все равно, гдѣ бы ни жить, и онъ можетъ быть доволенъ всякимъ обществомъ, лишь бы оно не мѣшало ему жить внутри самого себя; а такъ какъ нѣмецкое общество (особенно въ то время) всего менѣе способно вызывать человѣка изъ внутренняго міра души его и всего способнѣе, такъ сказать, вгонять его туда, —то аскетическій, въ дико-странныхъ формахъ выразившійся духъ сочиненій Жанъ-Поля становится совершенно понятенъ. Жанъ-Поль не зналъ, подобно Гофману, ни отчаянія, ни негодованія, ни жгучихъ страстей, и потому ему не трудно было всегда держаться на какихъ-то недостижимыхъ созерцательныхъ высотахъ, неопирающихся ни на какое дѣйствительное основаніе, и писать языкомъ по большей части эпически-спокойнымъ, тяжеловато-возвышеннымъ, нерѣдко натянутымъ и всегда туманнымъ. Онъ былъ романтикъ въ душѣ, и если спускался на минуту съ своихъ заоблачныхъ высотъ, озаренныхъ холодными свѣтомъ ночной луны, то не иначе, какъ для того, чтобъ подивиться, какъ люди могутъ не быть романтиками, и тогда-то разыгрывался его добродушный юморъ, который никого не кусалъ и не сердилъ, какъ юморъ Гофмана. Герои его романовъ или, лучше сказать, его выспреннихъ фантазій,—все люди восторженные, которые живутъ въ однихъ высокихъ, поэтическихъ мгновеніяхъ жизни, никогда не зѣваютъ и всегда импровизируютъ, вмѣсто того чтобъ говорить. Надо отдать имъ полную справедливость—они люди прекрасные, но только съ ними скука смертельная. Такъ напримѣръ, въ одномъ своемъ сочиненіи Жанъ-Поль представляетъ поэта Фирміана, имѣвшаго несчастье жениться на Линеттѣ, самой прозаической и ограниченной женщинѣ, которая ничего въ мірѣ не видитъ выше и важнѣе кухни. И дѣйствительно, вы видите, что Фирміанъ—человѣкъ возвышенный и восторженный, а Линетта— не болѣе, какъ хорошая кухарка; но въ то же время вы чувствуете, что вамъ легче было бы провести всю жизнь вашу съ Линеттой, женившись на ней, чѣмъ одну недѣлю прожить съ Фирміаномъ въ одной комнатѣ и слушать его восторженные монологи къ лунѣ и солнцу, къ жизни и смерти, къ небу и аду.

Г. Б. очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ въ своей книгѣ статью умнаго французскаго литератора Филарета Шаля «Очеркъ литературнаго характера Жанъ-Поля». Только онъ не понялъ, что этотъ «очеркъ» служитъ самымъ сильнымъ опроверженіемъ его собственнаго мнѣнія о великости Жанъ-Поля, какъ писателя. Какъ ловкій французъ, Филаретъ Шаль не выговариваетъ ясно своей мысли, но, посредствомъ тонкой, легкой иронія, граціозно разлитой въ его статьѣ, предоставляетъ угадать свою мысль самому читателю... Филаретъ Шаль называетъ Жанъ-Поля «писателемъ столь необъятнымъ, столь мало-читаемымъ, геніемъ совершенно германскимъ, покрытымъ для другихъ націй тройнымъ покрываломъ, единственнымъ оригинальнымъ писателемъ, столь оригинальнымъ, что онъ не нашелъ себѣ ни подражателя въ своемъ отечествѣ, ни переводчика у другихъ народовъ». Все это сильно противорѣчитъ мнѣнію о великости и геніальности Жанъ-Поля. Одно изъ первыхъ и непреложныхъ условій, составляющихъ великаго писателя, генія, есть простота, опредѣленность, ясность и общедоступность изложенія и слога, какъ свидѣтельство ясности и опредѣленности его идей. Обыкновенные писатели потому пишутъ ясно и общепонятно, что ихъ идеи обыкновенны и ничтожны; великіе писатели пишутъ ясно и опредѣленно потому, что вполнѣ владѣютъ своими идеями, и если ихъ сочиненія недоступны массамъ,—это не по мудрености изложенія, а по высотѣ идей. Великіе писатели даже въ стихахъ умѣютъ соединить красоту поэтическаго изложенія съ простотой почти прозаической. Чѣмъ общѣе, слѣдовательно огромнѣе содержаніе твореній великаго писателя, тѣмъ доступнѣе они для всѣхъ націй, тѣмъ болѣе они суть достояніе не одного какого-нибудь народа, но цѣлаго человѣчества. Какъ ни вытягивайте подъ эту мѣру добраго Жанъ-Поля, онъ скорѣе перервется пополамъ, чѣмъ подойдетъ подъ нее. Особенно не допуститъ его, даже и на цыпочкахъ, если хотите, на какихъ угодно длинныхъ ходуляхъ,

дотянуться до нея эта справедливая характеристика Филарета Шаля:

«Если разсматривать Жанъ-Поля въ отношеніи къ искусству и къ исполненію, онъ стоитъ ниже Сервантеса. Въ его произведеніяхъ обозначается недостатокъ цѣлаго, связи и плавности. Чтеніе ихъ оставляетъ впечатлѣнія неясныя и противоположныя. Изъ этого хаоса мыслей и чувствъ, какъ съ раскаленнаго желѣза, брызжутъ тысячи искръ пламенныхъ, высокихъ, комическихъ: но это хаосъ. Одинъ стиль этихъ дивныхъ созданій есть уже феноменъ: дѣвственная дуброва, вѣтви которой, переплетенныя между собой, образуютъ непроницаемую ограду, представляютъ вамъ неодолимыя препятствія. Языкъ, метафоры, правописаніе, все облекается у Жанъ-Поля въ праздничную одежду.»

Между тѣмъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что Жанъ-Поль—писатель, заслуживающій всякаго вниманія, и что изъ 60-ти томовъ его сочиненій можно выдать томовъ шесть болѣе или менѣе интересныхъ вещей, имѣющихъ рѣдко безотносительное, но чаще всего свое относительное достоинство. Желая говорить съ доказательствами, мы должны прибѣгнуть къ выпискамъ. Вотъ нѣсколько мыслей о назначеніи и судьбѣ женщины въ нашемъ обществѣ:

«Я думалъ въ то время о той брачной лотереѣ, въ которой молодыя дѣвушки выбираютъ себѣ супруга-властителя на той порѣ жизни, когда сердце ихъ согрѣто чувствомъ, но разумъ не просвѣтленъ. Въ ихъ душѣ пустота, и среди этой пустоты горитъ пламя, какъ горѣлъ пламень на жертвенникѣ въ храмѣ Весты, безъ образа божества. Идолъ подавалъ знакъ, чтобы подошли къ жертвеннику, и жертвоприношенье совершалось.—Я думалъ, что она подвергнется обыкновенной участи своихъ подругъ, что и она увянетъ, какъ цвѣтокъ, сорванный и измятый грубой людской рукой. Какъ быстро пробѣгутъ эти прекрасные дни кратковременной весны женской жизни! Не походила ли она, какъ почти всѣ невѣсты, на тѣхъ младенцевъ, что Гарофало любилъ помѣщать въ своихъ картинахъ: они тихо почиваютъ, надъ ихъ головками ангелъ держитъ терновый вѣнецъ. Терновый вѣнецъ есть бракъ: лишь только они просыпаются, ангелъ роняетъ вѣнецъ, и уязвленное чело покрывается кровью. Всѣ эти мысли меня занимали, но не отъ нихъ навернулись у меня слезы на глаза. Всякій разъ, какъ я устремлялъ взоры на это бѣлое и розовое лицо, столь граціозное, привѣтливое, доброе, я внутренно покушался воскликнуть: О, не будь такъ весела, несчастная жертва! это нѣжное сердце, хранимое тобой въ груди, жаждетъ чистыхъ и тихихъ наслажденій; ты сама того не знаешь... огонь грубой страсти испепелитъ его; но граціозныя, безцвѣтныя сновидѣнія, рождающіяся на домашней подушкѣ, не могутъ осчастливить этой милой головки.

«Ты не предугадываешь, юная дѣва-невѣста, что этотъ цвѣтокъ твоей благоухающей молодости превратится въ грубый источникъ, въ которомъ человѣкъ будетъ утолять свою жажду. Онъ скоро не будетъ требовать отъ тебя ни чувствительной души, ни добраго и свѣтлаго ума; онъ въ тебѣ будетъ цѣнить одну лишь работу рукъ, нотъ лица и быстроту твоихъ шаговъ, и если ты, въ душевномъ разслабленіи, будешь хранить долгое молчаніе и оставишь его въ покоѣ, онъ благословитъ свою судьбу. Этотъ сводъ безграничный и вѣчный, этотъ ковчегъ эмпирея, величественная вселенная—не привлекутъ твоихъ взоровъ и превратятся для тебя въ бѣдное жилище, въ убѣжище для хозяйства: ты будешь замѣчать въ немъ однѣ веревки, дрова, куски ветчины, прядильные станки и пзрѣдка, въ лучшіе дни, визитъ въ твоей пріемной. Ты будешь смотрѣть на солнце, какъ на огромный шаръ, висящій надъ твоей головой, чтобъ согрѣвать, подобно печкѣ, вселенную; на мѣсяцъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ кристальныхъ шаровъ, что̀ ночью употребляютъ башмачники для освѣщенія своей мастерской. Гордый Рейнъ не удивитъ тебя своимъ величіемъ: ты будешь цѣнить его лишь въ мелкихъ мѣстахъ, гдѣ безопасно можно полоскать бѣлье. Боже мой! Рейнъ, превращенный въ щелочной котелъ! Да и самъ океанъ будетъ представляться тебѣ водоёмомъ копченыхъ сельдей. Изъ безчисленнаго множества нѣмецкихъ книгъ ты изберешь себѣ одну: календарь на текущій годъ; и, благодаря положенію, занимаемому тобой въ хѣствицѣ живущихъ, едва ли найдешь въ газетахъ что-либо для тебя занимательнаго, развѣ только извѣстія о пріѣхавшихъ иностранцахъ съ паспортами въ рукахъ и остановившихся въ сосѣдней гостинницѣ. Того требуетъ положеніе женщины въ свѣтѣ, какъ говорятъ философы, *ея космологическій* nexus.

«Ты родилась для большого счастья: но какъ тебѣ достигнуть счастья? Твой бѣдный супругъ не въ состояніи даровать тебѣ лучшей участи, и общество не позволило бы ему иначе обращаться съ тобой! Смерть внезапно навѣститъ тебя, когда года доведутъ до равнодушія твое чувствительное сердце; добрыя сѣмена, зароненныя въ немъ заботливой природой, еще не созрѣютъ, и ты уже переселишься въ то блаженное небо, куда зоветъ тебя другое, улыбающееся будущее.

«Вы удивитесь моей печали? Да не то же ли совершается каждую недѣлю передъ моими глазами, съ душами, лишь только онѣ выберутъ земной обителью женское тѣло?»

—

«Мать бѣднаго сердца, которое ты хочешь осчастливить несчастіемъ, соединяя его на вѣки съ другимъ сердцемъ, имъ нелюбимымъ, выслушай меня! Положимъ, что дочь твоя не погибнетъ подъ тяжестью жалкой участи, тобой ей предназначенной; но не превратила ли ты для нея роскошное сновидѣніе жизни въ безплодный сонъ, не похитила ли ты у нея счастливые острова любви, всѣ цвѣты, ихъ украшающіе, очаровательные дни, въ нихъ проведенные, и чувство, всегда полное восторга, съ которымъ мы еще разъ возвращаемся къ нимъ, когда покрытые цвѣтами холмы удаляются на дальній горизонтъ? Если твое материнское сердце вкусило радости, не лишай ихъ своей дочери; а если другіе были такъ жестоки, что похитили ихъ у тебя, вспомни долгія мученія, тобой претерпѣнныя, и не передавай этого печальнаго наслѣдія!

«Положимъ даже, что твоя дочь осчастливитъ похитителя ея души, представь же себѣ—чѣмъ она была бы для предмета, любимаго ея сердцемъ, и скажи—не достойна ли она лучшей участи, чѣмъ увеселять придверника навсегда закрывшейся за ней темницы? Но рѣдко такъ счастливо сбывается.—Ты соберешь богатую жатву страданій и отяготишь душу двойнымъ преступленіемъ, съ одной стороны нѣмое отчаяніе твоей дочери, съ другой равнодушіе къ ней мужа, который позднѣе почувствуетъ къ ней отвращеніе или ненависть. Ты помрачишь ея молодость, ту эпоху ея жизни, когда каждое твореніе нуждается первыхъ лучей солнца. О, лучше затьми облакомъ печали всѣ другіе однообразные періоды жизни, такъ походящіе другъ на друга; не допу-

скай идти холодному дождю на ея зарѣ, пускай солнце взойдетъ тихо и радостно на безоблачномъ небѣ, да не блѣднѣютъ его лучи до полудня; не покрывай мракомъ это единственное утро жизни, никогда невозвратимое, разъ утраченное и ничѣмъ не замѣняемое!

«Но если ты отдаешь на жертву своимъ честолюбивымъ намѣреніямъ, своему деспотизму не только радости, самыя сладкія чувства, счастливый бракъ, улыбающіяся надежды и цѣлыя поколѣнія, но и самое существованіе той, которую принуждаешь отдать руку задушевному другу,— кто можетъ оправдать тебя въ твоихъ собственныхъ глазахъ или высушить твои слезы, если твоя дочь, по своей добродѣтели, повинуется, молчитъ и умираетъ, подобно монахамъ-траписта̀мъ, не осмѣливающимся нарушить обѣтъ молчанія, даже тогда, когда ихъ монастырь дѣлается жертвой неистоваго пламени; если дочь твоя, какъ плодъ, котораго одна сторона пользуется лучами солнца, а другая въ тѣни, краснѣетъ снаружи, между тѣмъ какъ сохнетъ внутри и не достигаетъ врѣлости; — если дочь твоя, говорю я, открываетъ тебѣ свое растерзанное сердце и являетъ въ весенѣ жизни блѣдность и скорбь могильную,— если тебѣ невозможно ее утѣшить, потому что совѣсть не щадитъ тебя отъ имени дѣтоубійцы,— наконецъ если твоя жертва, изнуренная, лежитъ здѣсь предъ тобой и безъ чувствъ рыдаетъ,— если это существо, лишившись силъ въ столь трудной и ранней борьбѣ, съ прощеніемъ на устахъ и укоризной въ растерзанныхъ и мутныхъ взорахъ, съ судорожнымъ трепетомъ падаетъ въ бездонное море смерти... и ты стоишь на берегу и видишь ее поглощенной еще въ свѣжемъ цвѣтѣ молодости: — о, виновная мать! Кто тебя утѣшитъ на краю этой бездны, куда ты насильно вовлекла ее! Если ты еще сберегла свое сердце— отчаянье убьетъ его, какъ оно убило сердце твоей дочери... Если же ты невиновна, я зову тебя—иди, присутствуй при этой жестокой смерти, смерти каждой минуты; я спрашиваю тебя: твое дитя должно ли такъ погибнуть?

«Какая бѣдная душа не произнесла хоть однажды тщетныя молитвы любви и, разслабленная ледянымъ ядомъ, не могла поднять отяжелѣвшаго языка! Продолжай любить, пламенная душа! Подобная весеннимъ цвѣтамъ, ночнымъ бабочкамъ, нѣжная и мягкая любовь наконецъ проникаетъ сквозь оцѣпененную морозомъ душу, и сердце, жаждущее другого сердца, наконецъ его найдетъ.»

Все это обнаруживаетъ въ Жанъ-Полѣ душу любящую, чистую, добродѣтельную; все это согрѣто у него убѣжденіемъ и чувствомъ, все такъ хорошо, мило, трогательно, а главное — все это такъ истинно. О томъ же именно говоритъ и Жоржъ Зандъ. Но что̀ такое передъ ея страстными, огненными страницами эти добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жанъ-Поля?—милый лепетъ умнаго и добраго ребенка въ сравненіи съ громовой рѣчью возмужалаго человѣка, исполненнаго глубокаго сознанія и могучаго негодованія!.. Жалкое положеніе женщины въ обществѣ возбуждаетъ живое состраданіе Жанъ-Поля—онъ оплакиваетъ его, но не перестаетъ на него смотрѣть, какъ на неизбѣжное и неизмѣняемое; Жоржъ Зандъ, напротивъ, видитъ въ немъ слѣдствіе историческаго развитія, которое уже совершило свой циклъ. Въ глазахъ Жанъ-Поля мать, торгующая счастьемъ цѣлой жизни своей дочери, есть явленіе какъ бы случайное, нарушающее собой гармонію общественной нравственности,—и онъ хлопочетъ силой кроткаго, теплаго убѣжденія исправить таковую «дражайшую родительницу», если-бы такая нашлась гдѣ-нибудь, не подозрѣвая въ своемъ простодушіи, что на такихъ матерей не дѣйствуютъ краснорѣчивыя строки. Въ то же время онъ видитъ въ поступкѣ такой матери только злоупотребленіе права, а самое право признаетъ неотъемлемымъ, — и еслибы бѣдная дочь, принесенная матерью въ жертву своей корысти, прибѣгла къ Жанъ-Полю съ жалобой растерзаннаго сердца и глубоко оскорбленнаго и поруганнаго своего человѣческаго достоинства,—добродушный Жанъ-Поль со всей филистерской елейностью любящаго сердца утѣшилъ бы ее краснорѣчивыми совѣтами — терпѣливо покориться ея участи, къ радости погубившихъ ее изверговъ спекулянтовъ. Онъ сказалъ бы ей: «О, дѣва! (Жанъ-Поль любилъ это смѣшное слово) ты носишь терновый вѣнецъ на окровавленной главѣ; зато вѣчныя розы цвѣтутъ въ груди твоей». Не знаемъ, могло ли бы дѣву сдѣлать счастливой подобное утѣшеніе; но знаемъ, что отъ такихъ утѣшеній общественныя раны никогда не излѣчатся, и что человѣкъ, выговаривающій такія утѣшенія высокимъ до напыщенности слогомъ, какъ великія истины, толчетъ воду въ ступѣ, ибо позволяетъ всему оставаться такъ, какъ оно есть. Сколько людей, и какъ уже давно, доказали вѣрно и несомнѣнно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая гарантія ихъ общей безопасности и благосостоянія; но люди тѣмъ не менѣе не хотятъ согласиться на такую любовь! Я очень радъ, если вслѣдствіе любви меня никто не ограбитъ и не убьетъ на большой дорогѣ, но при отсутствіи строгаго полицейскаго надзора я никакъ не положусь на любовь моихъ ближнихъ... Конечно естественная любовь матери къ дочери—хорошая порука въ томъ, что мать не выдастъ своей дочери насильно за какого-нибудь негодяя (ибо всякій мужчина, способный насильно жениться, есть негодяй); но все-таки мое сердце меньше обливается кровью при мысли о насильственныхъ бракахъ, когда возможность ихъ уничтожена строгостью ясно и положительно высказанныхъ законовъ...

«Дитя должно быть для васъ священнѣе настоящаго, которое состоитъ изъ вещей и людей образовавшихся. Вникните въ великое значеніе дѣтскаго возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для будущаго, заготовляете ему богатую жатву; не бросайте же на бразду земли пороху, который взорветъ мину: но посѣйте на ней зерно хлѣбное, которое принесетъ плодъ и насытитъ душу. Дайте этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай и собирающемуся въ путь далекій, неизвѣстный,—крѣпкую броню противъ судьбы, талисманъ, который защищалъ бы его въ странѣ опасностей; даруйте ему небо и полярную звѣзду, которая руководила бы его впродолженіе всей жизни и освѣтила бы передъ нимъ мрачныя страны, которыя ему позднѣе суждено посѣтить. Освѣтите прежде всего его сердце лучомъ нравственнаго чувства: то будетъ заря прекрасной души. Внутренній человѣкъ, подобно негру, родился бѣлымъ; жизнь—вотъ что очер-

няетъ его. Въ старости величайшіе примѣры нравственной силы проходятъ мимо насъ, не совращая болѣе нашей жизни съ ея пути, подобно кометѣ, летящей мимо земли; — въ первой же порѣ дѣтства, напротивъ, первый порывъ любви, внѣшней или внутренней, первыя несправедливости набрасываютъ долгую тѣнь или яркій свѣтъ на необозримое поле слѣдующихъ возрастовъ.

«Почему вы знаете, что младенецъ, рвущій цвѣты подлѣ васъ, не устремится нѣкогда со своей Корсики, какъ богъ войны, въ мятежную часть свѣта, чтобъ играть бурями, срывать, очищать или сѣять? Неужели для васъ ничего не значило бы, воспитавши его, сдѣлаться его Фенелономъ, его Корнеліей и его Дюбуа? И если вы не могли ни сокрушить, ни поправить полета его генія (чѣмъ глубже море, тѣмъ круче его берега), вы бы могли въ самомъ важномъ десятилѣтіи жизни, на этомъ первомъ порогѣ, чрезъ который проходятъ всѣ чувства, посѣщающія человѣческое сердце, сковать возникающую силу льва и опутать его нѣжнѣйшими привычками прекраснаго сердца и всѣми узами любви.»

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что дѣтей должно воспитывать хорошо, — объ этомъ многіе говорили и писали; и потому вопросъ давно уже не въ томъ, должно ли воспитывать дѣтей, а въ томъ, какъ должно воспитывать и въ чемъ должно состоять основное начало истиннаго воспитанія. У Жанъ-Поля на всѣ болѣзни одно лѣкарство и для всѣхъ цѣлей одно средство—любовь. Но вѣдь и госпожа Простакова любила же своего Митрофанушку, и Брутъ любилъ своихъ сыновей: любовь одна, а ея характеръ и проявленіе совершенно различны. Что же дало ей это различіе?—то, что въ первой есть только смыслъ, но нѣтъ никакой мысли, а во второй, кромѣ смысла, есть еще и мысль. Чтобъ развить любовь въ молодомъ сердцѣ, надо заставить его полюбить что-нибудь,—и это «что-нибудь» должно быть истиной, мыслью. Молодыхъ людей и дома, и въ школахъ учатъ любить правду, ненавидѣть ложь, а когда они вступятъ въ жизнь, ихъ гонятъ за правду, и ихъ правдивость называютъ гордостью, самонадѣянностью, буйствомъ и «вольнодумствомъ»—любимое слово филистеровъ и гофратовъ... И такъ, вопросъ въ томъ: должно ли дѣтей воспитывать такъ, чтобы они могли уживаться съ обществомъ, или должно желать, чтобы общество сдѣлалось способнымъ уживаться съ людьми благовоспитанными. Этотъ вопросъ важнѣе вопросовъ о всевозможныхъ родахъ любви.

«Любишь ли ты меня? воскликнулъ молодой человѣкъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу.—Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ:— заговори!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь; все теперь исчезло—надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю! и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь...»

Немножко дѣтски, немножко сантиментально, а хорошо! Мы по собственному опыту знаемъ, какъ сильно и какъ освѣжительно дѣйствуютъ на юныя души подобныя романтическія мысли, изложенныя такимъ эпически-торжественнымъ языкомъ, съ оттѣнкомъ мистицизма. Но у Жанъ-Поля есть вещи гораздо лучшія и высшія. Такова напримѣръ его пьеса «Уничтоженіе» («Die Vernichtung»), въ которой высокая мысль облечена въ образы часто странные и дикіе, но тѣмъ не менѣе грандіозные, изложеніе нѣсколько натянуто, но тѣмъ не менѣе исполнено блеска могучей фантазіи. «Сонъ несчастнаго подъ Новый Годъ», которымъ оканчивается «Антологія», принадлежитъ къ числу особенно полезныхъ для юношества пьесъ, потому что ея дидактизмъ не чуждъ нѣкотораго поэтическаго колорита. Среди мыслей изысканныхъ, среди сравненій натянутыхъ, остротъ и каламбуровъ, отличающихся истинно нѣмецкой легкостью и ловкостью, у Жанъ-Поля встрѣчаются мысли глубокія, сравненія вѣрныя и оригинальныя, остроты мѣткія.—Вотъ нѣсколько образчиковъ.

«Умереть за истину — не значитъ умереть за отечество, но за весь міръ. Истина, подобно Венерѣ Медичейской, перейдетъ къ потомству въ тридцати разныхъ отломкахъ; но потомство ихъ соберетъ, и изъ этихъ дребезговъ воздвигнется богиня. Твой храмъ, вѣчная истина, теперь вполовину сокрытый подъ землею, воздвигнется при раскапываніи могилъ твоихъ мучениковъ и возвысится надъ землей; каждая его бронзовая половица будетъ попирать любимую могилу.

«Мысль о смерти должна для насъ быть средствомъ сдѣлаться лучшими, но не конечной цѣлью; если прахъ могильный западетъ въ наше сердце, какъ земля въ чашечку цвѣтка, онъ его уничтожаетъ вмѣсто того, чтобъ оплодотворить.

«Когда человѣкъ въ присутствіи моря или горъ, пирамидъ или развалинъ, когда несчастье встаетъ передъ нимъ, готовое его поразить—кого призываетъ онъ? дружбу. Когда потоки гармоніи прельщаютъ его слухъ, когда томный свѣтъ луны играетъ на листьяхъ деревьевъ, когда весна воскрешаетъ природу — кого онъ призываетъ? любовь. И тотъ, кто никогда не искалъ ни той, ни другой, въ тысячу разъ бѣднѣе того, кто ихъ обѣихъ утратилъ.

«Знаменитые писатели не болѣе одарены творческими способностями, чѣмъ другіе люди; они одарены только большей смѣлостью; они, не смущаясь, выворачиваютъ свою душу и показываютъ себя такими, какими они есть, твердо опираясь на свою знаменитость, между тѣмъ какъ другіе краснѣютъ, скрываются и ослабляютъ главныя черты своего характера въ своихъ произведеніяхъ.

«Старые эмигранты походятъ на часы съ репетиціей, оставшіеся нѣсколько лѣтъ незаведенными. Когда подавишь пружинку, изъ всѣхъ часовъ дня они звонятъ и повторяютъ тотъ часъ, на которомъ остановились.»

Вообще изъ сочиненій Жанъ-Поля можно было бы выбрать для перевода на русскій языкъ не одну весьма полезную книжку. Но, должно сказать правду, переводчикъ и издатель «Антологіи» не обнаружилъ особенной разборчивости и

вкуса въ выборѣ отрывковъ изъ Жанъ-Поля: большая половина его «Антологіи» наполнена рѣшительнымъ пустословіемъ,—вещами, какихъ у Жанъ-Поля цѣлые томы и какія могли бы спокойно оставаться въ нѣмецкомъ подлинникѣ, безъ всякаго ущерба для русской публики, даже съ большой для нея пользой, потому что чѣмъ менѣе печатнаго вздора, тѣмъ больше публика въ выигрышѣ. Вѣроятно переводчикъ въ этомъ случаѣ разсчитывалъ на имя безсмертнаго генія Жанъ-Поля Рихтера, думая, что подъ сѣнью этого великаго имени и потертая мишура сойдетъ съ рукъ за чистое золото. Это большая ошибка съ его стороны. Въ наше время имена ровно ничего не значатъ, и еслибы у Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера нашлось что-нибудь ничтожное и вздорное, его назвали бы тотчасъ настоящимъ его именемъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Фаустъ» Гёте — великое произведенье, но «Стелла», «Братъ и Сестра» и еще многое кое-что изъ сочиненій Гёте же—превздорныя вещи. Впрочемъ и не съ такимъ неискуснымъ выборомъ Жанъ-Поль не вытѣснилъ бы французскихъ романовъ. Не только лучшіе, но и сколько-нибудь порядочные романы и повѣсти французскіе всегда будутъ читаться больше сочиненій Жанъ-Поля, ибо они дѣльнѣе ихъ, будучи исполнены интересовъ настоящаго, которое одно важно для живыхъ людей, потому что оно есть послѣдній результатъ всего прошедшаго и непосредственная причина будущаго.

Г. Б. обѣщаетъ продолжать изданіе «Антологіи». Доброе дѣло; желаемъ ему полнаго успѣха, для обезпеченія котораго нужно только побольше строгой разборчивости. Какъ бы то ни было, но «Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера», въ беллетристическомъ бюджетѣ нашей литературы за нынѣшній мѣсяцъ, есть единственная замѣчательная книга, о которой можно было сказать что-нибудь.

Старинная сказка объ Иванушкѣ-дурачкѣ, *разсказанная московскимъ купчиной Николаемъ Полевымъ. Лѣта 1844. Въ друкарнѣ Матвѣя Ольхина, въ городѣ Петербурхѣ. Цѣна 30 коп. сер., продается вездѣ, и на Апраксиномъ Дворѣ.*

Судя по нѣкоторымъ явленіямъ современной русской литературы, можно подумать, что мы, русскіе, близки къ реформѣ, которая должна снова совершенно перемѣнить насъ въ нашихъ обычаяхъ и вкусахъ, и которая должна состоять въ томъ, что мы снова замѣнимъ воду квасомъ, шампанское—пѣнникомъ, портеръ—брагой, сюртуки и фраки—зипунами, сапоги — лаптями, романы Вальтеръ-Скотта—сказками о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ, образованную литературу — произведеніями блаженной памяти лубочныхъ суздальскихъ типографій... словомъ,—совершенный разрывъ съ лукавымъ Западомъ и коренное обращеніе къ сермяжной народности!.. Въ самомъ дѣлѣ, изъ чего же хлопочутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ «Маякъ» и «Москвитянинъ»,—Касторъ и Поллуксъ на горизонтѣ нашей журналистики? О чемъ и для чего пишетъ Загоскинъ? Давно-ли мы читали повѣсть «Градскі(о)й Глава», гдѣ такъ неопровержимо доказано вліяніе александрійской рубахи съ косымъ воротникомъ на добродѣтель и стремленіе къ разнымъ гражданскимъ подвигамъ? Давно-ли самородный московскій поэтъ, Милькѣевъ, воспѣлъ свуху, какъ чистѣйшій источникъ всего великаго? Когда, въ дѣтствѣ, засыпали мы подъ разсказы нашихъ нянекъ о Ерусланѣ Лазаревичѣ, Бовѣ Королевичѣ, Жаръ-Птицѣ, Иванушкѣ-дурачкѣ,—думали-ли мы, что эти разсказы нѣкогда будутъ пересказываться съ картинками Тимма?... Но не бойтесь, не пугайтесь: реформы все-таки не будетъ. На литературу нашу не всегда можно смотрѣть какъ на зеркало нашей жизни. Этому много причинъ, и одна изъ нихъ та, что литература наша часто любитъ существовать заднимъ числомъ и, отъ нечего дѣлать, повторять собственные свои зады. Теперь она именно этимъ занимается. Чтобъ идти впередъ, ей нужны таланты свѣжіе и сильные; но таланты у насъ какъ-то недолговѣчны; а нѣтъ знамени—нѣтъ и солдатъ. Вотъ почему молодежь наша или ничего не дѣлаетъ, или дѣйствуетъ въ разсыпную, набѣгами, отрывочно и лѣниво. Можетъ-быть она чувствуетъ, что теперь не ея время. Зато старые таланты и quasi-таланты и молодые не-таланты какъ-будто спѣшатъ взапуски другъ передъ другомъ, перебивая старыя погудки на новый ладъ: видно почуяли, что на ихъ улицѣ праздникъ.

Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія въ русской литературѣ совершилась реакція духа подражательности литературѣ XVIII вѣка. Эта реакція явилась подъ именемъ «романтизма». Прежде всего она предъявила свои требованія на народность въ литературѣ. Реакція эта была необходима и полезна; но когда сдѣлала она свое дѣло, люди съ дарованіемъ, воспользовавшись ея плодами, отступились отъ нея и пошли своей дорогой, не заботясь болѣе ни о классицизмѣ, ни о романтизмѣ. Но не такъ думали люди, которые ратовали за ту или другую сторону: они вообразили, что если міръ существуетъ, такъ это не для чего другого, какъ только для того, чтобъ романтизмъ побѣдилъ классицизмъ. Вызванные быть глашатаями умственнаго движенія впередъ, они шагъ времени приняли за вѣчность, движеніе минуты сочли за конечное достиженіе цѣли, послѣ котораго ничего не остается дѣлать, какъ повторять одно и то-же,—а въ этомъ-то и упрекали они людей, которыхъ суждено было имъ смѣнить собою. Удивительно-ли послѣ этого, что они на людей, которые опередили ихъ, смотрятъ съ такой-же враждой, какъ на нихъ самихъ смотрѣли опереженные ими люди? Удивительно-ли, что они осыпаютъ опередившихъ ихъ людей той-же самой бранью (самоучками, недоучками, верхоглядами и т. п.), которой осыпали ихъ опереженные ими люди? Удивительно-ли, что во всемъ, что бы ни написали они теперь, видны все тѣ же воззрѣнія, тѣ же фразы, которыя въ

свое время были и новы, и истинны, и смѣлы, и даже глубокомысленны, а теперь кажутся просто избитыми общими мѣстами, истасканной рухлядью, безсильнымъ орудіемъ немощной посредственности, апатической отсталости, жалкой бездарности? Было время, когда языкъ литературный былъ скованъ условными приличіями, чуждался всякаго простого и выразительнаго слова, всякаго живописнаго и энергическаго выраженія народной рѣчи; когда наивной народной поэзіи всѣ чуждались, какъ грубаго мужичества. Романтическая реакція освободила насъ отъ этой узкости литературныхъ воззрѣній; благодаря ей, однообразная искусственность языка и изобрѣтенія поэтическаго уступила мѣсто естественности, простотѣ и разнообразію; міръ творчества расширился, и человѣкъ безъ всякихъ отношеній къ его званію получилъ въ немъ право гражданства. Всѣ согласились въ томъ, что въ народной рѣчи есть своя свѣжесть, энергія, живописность, а въ народныхъ пѣсняхъ и даже сказкахъ—своя жизнь и поэзія, и что не только не должно ихъ презирать, но и еще и должно ихъ собирать, какъ живые факты исторіи языка, характера народа. Но вмѣстѣ съ этимъ теперь никто уже не будетъ преувеличивать дѣла, а въ народной поэзіи видѣть что-нибудь больше, кромѣ младенческаго лепета народа, имѣющаго свою относительную важность, свое относительное достоинство. Но отсталые поборники блаженной памяти такъ называвшагося романтизма упорно остаются при своемъ. Они, такъ сказать, застряли въ поднятыхъ ими вопросахъ и, не совладѣвъ съ ними, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вязнутъ въ нихъ, какъ мухи, попавшіяся въ медъ. Для нихъ «Не бѣлы снѣжки» едва ли не важнѣе любого лирическаго произведенія Пушкина, а сказка о Емелѣ дурачкѣ едва ли не важнѣе «Каменнаго Гостя» Пушкина...

По крайней мѣрѣ мы ничѣмъ инымъ не можемъ объяснить себѣ появленія въ свѣтъ «Иванушки-Дурачка» въ красивомъ изданіи, съ картинками Тимма. Было время, когда Николай Полевой очень основательно возставалъ противъ русскихъ сказокъ, которыя Пушкинъ передѣлывалъ по своему въ прекрасныхъ стихахъ. Н. Полевой говорилъ тогда, что эти сказки хороши только въ томъ видѣ, какъ создала ихъ фантазія народа; но что передѣлывать ихъ или поддѣлываться подъ ихъ тонъ никомъ образомъ не слѣдуетъ. И Полевой былъ совершенно правъ, хотя говорилъ и противъ Пушкина; а вотъ теперь онъ самъ «разсказываетъ народныя сказки» довольно плохой прозою, въ которой народность прикрашена литературществомъ и которыя къ своимъ простодушнымъ оригиналамъ относятся, какъ деревенскій мужичокъ—къ городскому мѣщанину... Пушкинъ дѣлалъ то же, да не такъ: онъ перекладывалъ ихъ въ свои дивные стихи и, какъ истинно національный и притомъ великій поэтъ, часто придавалъ имъ поэзіи, которой онѣ вообще довольно бѣдны; а Н. Полевой лишаетъ ихъ своими передѣлками и послѣднихъ блестокъ поэзіи. Но мало ли что говаривалъ истиннаго Н. Полевой прежде, и что, вопреки себѣ, дѣлаетъ онъ теперь непстиннаго?... Вспомните его прежнія статьи противъ князя Шаховского и его теперешнія «драматическія представленія»; вспомните его прежнія умныя и благородныя нападки противъ квасного и кулачнаго патріотизма, и сравните съ ними нѣкоторыя изъ теперешнихъ его пьесъ; вспомните, что писывалъ онъ нѣкогда о невозможности дѣлать изъ повѣстей драмы, — и вспомните его драму «Смерть или Честь» ...

Стихотворенія М. Лермонтова. *Часть IV. Спб. 1844.*

Говорятъ: время поэзіи прошло, и стиховъ уже никто не хочетъ читать. Не подумайте, чтобъ это говорилось гдѣ-нибудь далеко за моремъ; нѣтъ, тамъ люди давно уже на столько поумнѣли, что не говорятъ подобныхъ пустяковъ. И не мудрено: тамъ люди давно живутъ, и потому уже успѣли выжить нѣсколько истинъ, о которыхъ у нихъ никто не споритъ, въ которыхъ всѣ единодушно согласились. У насъ не такъ; у насъ еще не для всѣхъ доказанная истина, что дважды-два — четыре: многіе думаютъ, что дважды-два такъ же легко могутъ производить пять и восемь, какъ и четыре. Вотъ отчего у насъ еще спорятъ о томъ, что нарядпѣе и величественнѣе—русскіе пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотней остроголовыхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксой; спорятъ о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ шапкѣ мурмолкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви къ обычаямъ старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами—московитовъ ли XVII-го вѣка, славянъ ли IX-го вѣка, или скиновъ и сарматовъ, кочевавшихъ по сю сторону Азовскаго и Чернаго морей еще въ то время, когда Мильтіадъ поразилъ ихъ родственниковъ, персовъ, при Марафонѣ,—когда на олимпійскихъ играхъ Иродотъ читалъ свою исторію, а юноша Θукидидъ плакалъ, внимая ему,—когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженныя оды, — когда Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ зрѣлищемъ своихъ трагедій заставляли аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни,—когда Фидій созидалъ статуи Зевса и Паллады,—когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученіе народу, Демосѳенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма... Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ: отыскивая родоначальниковъ скиновъ и сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ родоначальниковъ, мы непремѣнно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ

надо ходить въ костюмѣ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отставать отъ своихъ предковъ. Вѣдь надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать противорѣчить самимъ себѣ!..

Въ ожиданіи этого вожделѣннаго и, кажется, еще весьма неблизкаго времени обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ-будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей же,—и чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ потчуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который, въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что видитъ ее во всякихъ завостренныхъ рифмой, размѣренныхъ строчкахъ, и, чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣщаетъ стихи, уже отзывающіеся старческой дряхлостью, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ—весьма юныхъ, если судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по неумѣнью соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются эти плоды счастливаго досуга, не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса о томъ,—вздоръ или важное дѣло поэзія? Мы думаемъ, что обѣ эти крайности равно чужды истинѣ и притомъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного источника—отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, русскіе, очень богаты стихами и не совсѣмъ бѣдны поэзіей. По крайней мѣрѣ въ томъ и другомъ отношеніи мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любитъ одно чистое золото и уже не увлекается блестящей мишурой. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ почти, потому что дошли пока еще безсознательно. Публика не перестала читать стихи, но уже рѣдко перечитываетъ ихъ. Это не значитъ, чтобъ стихи надоѣли ей; это значитъ, что она хочетъ только хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ нихъ и не нашла ничего, кромѣ старыхъ, давно уже знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ сказокъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва-ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Потому теперь сдѣлалось очень труднымъ выйти въ таланты: мало таланта формы, мало даже фантазіи—нуженъ умъ, источникъ идей, нужна богатая натура, сильная личность, которая, опираясь на самую себя, могла бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣхъ. Вотъ что́ нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ. Послѣ Пушкина такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ, какъ извѣстно, умеръ рано и потому успѣлъ написать слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ въ это короткое время успѣлъ обратить на свой талантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него тотчасъ же стали смотрѣть, какъ на великаго поэта... И такой успѣхъ получить послѣ Пушкина!.. Согласитесь, что все это отнюдь не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей. Посредственность въ поэзіи не долговѣчна; но истинная поэзія вѣчна, вкусъ къ ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за что́ кому угодно—одни за книгу, другіе—за маленькую тетрадку. Тѣ, которымъ дорога память геніальнаго поэта, которые интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ эстетическомъ, то въ психологическомъ отношеніи,—тѣ, говоримъ, совершенно вправѣ счесть ее за книгу. Но тѣ, которые любятъ въ поэзіи одно совершенное, безъ отношенія личности поэта, въ правѣ счесть ее за маленькую тетрадку. Однакожъ эта маленькая тетрадка драгоцѣннѣе многихъ толстыхъ книгъ; въ ней они найдутъ пьесы: «Сонъ», «Тамара», «Утесъ», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Морская Царевна», «Изъ подъ таинственной холодной полумаски», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Пророкъ», «Свиданіе»,—одиннадцать пьесъ, всѣ высокаго, хотя и не равнаго достоинства, потому что «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу» и «Пророкъ», даже и между сочиненіями Лермонтова, принадлежатъ къ блестящимъ исключеніямъ... Что́ касается до остальныхъ десяти пьесъ (изъ нихъ одна—цѣлая поэма), которыхъ мы не поименовываемъ, бо́льшая часть ихъ ознаменована то проблесками таланта Лермонтова, то отпечаткомъ его личности, и въ этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайно любопытны. Одинъ журналъ жестоко нападалъ на «Отечественныя Записки» за помѣщеніе будто-бы Лермонтовскаго хлама, дѣлаемаго будто-бы изъ корыстныхъ разсчетовъ, и кончилъ эти нападки тѣмъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ разсчетовъ, въ одно прекрасное утро явился вдругъ съ семью стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ послѣдняго, всѣ довольно слабы и изъ которыхъ два («Весна» и «Я не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ». Послѣднее было напечатано еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, 1840 г., и въ первой части второго изданія, 1842 года, но передѣланное и въ лучшемъ видѣ; тамъ оно начинается стихомъ: «Разстались мы, но твой портретъ...».

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь навсегда собственностью ихъ издателя, вслѣдствіе права, пріобрѣтеннаго имъ отъ наслѣдниковъ покойнаго поэта. Это обстоятельство насъ очень радуетъ, ибо ручается, что изданія сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться безпрерывно по мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя ожидать перерыва. Равнымъ образомъ это

обстоятельство ручается сколько за то, что сочиненія Лермонтова всегда будутъ издаваться подъ хорошею редакціей и изящно въ типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочисленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться увидѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по другому плану. Что̀ касается собственно до насъ, то, не принимая на себя права совѣтовать, мы изъявляемъ здѣсь желаніе поскорѣе увидѣть сочиненія Лермонтова сжато изданными въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна заключала бы въ себѣ «Героя Нашего Времени», а другая—стихотворенія, расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія пьесы помѣщены были одна за другой по времени ихъ появленія; за ними слѣдовали-бы отрывки изъ «Демона», «Боярина Орша», «Хаджи Абрекъ», «Маскарадъ», «Уѣздная Казначейша», «Измаилъ Бей», а наконецъ уже всѣ мелкіе пьесы низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго литератора находится еще нѣсколько нигдѣ доселѣ ненапечатанныхъ пьесъ Лермонтова. Имя этого литератора вполнѣ можетъ служить ручательствомъ въ подлинности этихъ піесъ. Кто не пожелаетъ поскорѣе увидѣть ихъ въ печати, особенно въ новомъ и, слѣдовательно, болѣе полномъ изданіи сочиненій Лермонтова?...

Стихотворенія В. Жуковскаго. *Томъ девятый. Спб. 1844.*

Литература наша всячески бѣдна. У насъ мало геніальныхъ писателей,—да и тѣ писали и пишутъ очень мало, по крайней мѣрѣ гораздо меньше, нежели сколько можно и должно ожидать отъ ихъ средствъ; у насъ мало талантовъ,—да и тѣ писали и пишутъ еще меньше писателей перваго разряда. Самый дѣятельный и плодовитый изъ русскихъ писателей, безъ сомнѣнія—Пушкинъ. Дѣйствительно, онъ написалъ чрезвычайно много въ сравненіи съ каждымъ изъ его литературныхъ собратій; но тѣмъ не менѣе нельзя бояться утонуть въ этой безднѣ; отъ ея глубины даже и голова не закружится: количество сочиненій Пушкина безконечно уступаетъ ихъ достоинству. И причиною этому не одна только преждевременная смерть великаго поэта: онъ могъ бы написать вчетверо больше того, сколько написалъ впродолженіе своей литературной дѣятельности. Это частью происходило и оттого, что онъ долго не хотѣлъ вполнѣ отдаться своему призванію—хотѣлъ казаться больше волонтёромъ литературы, нежели писателемъ и по призванію и ex-officio вмѣстѣ. Только незадолго передъ своей кончиной началъ онъ видѣть въ своемъ призваніи цѣль и опредѣленіе своей жизни, началъ трудиться какъ человѣкъ, обрекшій себя постоянному труду литературному, смотрѣть на себя, какъ на писателя по преимуществу. Это было необходимымъ результатомъ полнаго развитія и полной зрѣлости его таланта. Можно сказать утвердительно, не въ видѣ предположенія, что еслибъ Пушкинъ прожилъ еще десять лѣтъ,—онъ написалъ-бы вдвое больше, нежели сколько написано имъ съ 1818 до 1836 года, слѣдовательно, почти въ двадцать лѣтъ,—и тѣмъ чувствительнѣе должна быть для насъ его безвременная утрата! Повидимому, какъ много произвела бездарность Сумарокова и Хераскова, а между тѣмъ это—оптическій обманъ, происходящій отъ неуклюжаго и разгонистаго изданія ихъ издѣлій. Еслибъ четыре тома сочиненій Державина издать въ одной книгѣ большого формата, сжатой печатью, въ два столбца, какъ издаются французскіе писатели, то вышла бы книжечка, по своей тоннѣ чудовищно несообразная съ ея форматомъ. Фонвизинъ написалъ едва-ли меньше Державина, а между тѣмъ изданныя книгопродавцемъ Салаевымъ четыре части сочиненій Фонвизина (1830 г.) вошли потомъ въ одну престранно тощую книжку большого формата, компактнаго изданія въ двѣ колонны, книгопродавца И. Глазунова (1838 г.).

Но мы почти не имѣемъ возможности пользоваться и тѣмъ, что̀ произвела необширная дѣятельность нашихъ немногихъ писателей: всѣ они издавались и издаются у насъ такимъ образомъ, что ихъ сочиненій нельзя имѣть тѣмъ именно людямъ, которые и читаютъ книги и покупаютъ. Люди, которые были-бы въ состояніи пріобрѣтать не только книги, но и цѣлыя библіотеки,—эти-то люди у насъ всего менѣе и всего рѣже покупаютъ книги, особенно русскія. Наша книжная торговля держится читателями или не весьма богатыми, или просто бѣдными. Поэтому охотники почитать и купить книгу у насъ рѣдко дозволяютъ себѣ это удовольствіе. И какъ же иначе? У насъ книга дороже золота. Вообразите себѣ, напримѣръ, учителя словесности, которому, по его профессіи, нельзя не имѣть собранія всѣхъ замѣчательнѣйшихъ писателей русскихъ, кромѣ теоретическихъ сочиненій по части преподаваемаго имъ предмета; представьте себѣ журналиста, рецензента, критика, которому необходимо имѣть не только замѣчательнѣйшихъ, но и всѣхъ сколько-нибудь извѣстныхъ писателей, не исключая изъ ихъ числа ни Третьяковскаго, ни Сумарокова,—необходимо имѣть ихъ для справокъ, указаній, ссылокъ, выписокъ; представьте себѣ, наконецъ, простого любителя русской литературы, который занимается ею съ толкомъ и во всякомъ даже устарѣвшемъ, но въ свое время имѣвшемъ вѣсъ, авторѣ видитъ болѣе или менѣе любопытную лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, языка, литературы прошедшаго времени:—сколько имъ надобно употребить денегъ на пріобрѣтеніе всѣхъ этихъ-ки игъ! Собранію сочиненій Сумарокова, въ десяти частяхъ, въ каталогѣ Смирдина, цѣна выставлена — сто рублей ассигнаціями!... Собраніе сочиненій Ломоносова, по этому каталогу, стóитъ шестьдесятъ рублей!... Собраніе сочиненій Хераскова, въ двѣнадцати частяхъ, стóитъ, по этому каталогу, восемьдесятъ рублей! Сочиненія Кантемира и Третьяковскаго никогда не были изданы вполнѣ, чтобъ собрать всѣ сочи-

ненія Тредьяковскаго, какъ вы думаете, сколько, по каталогу Смирдина, должно употребить на это денегъ?—Триста тридцать восемь рублей ассигн.!... И всѣхъ этихъ писателей трудно достать по случаю, а если и удастся, то они обойдутся не слишкомъ дешевле цѣны, выставленной въ каталогѣ Смирдина. Необходимость искать и собирать нѣсколько книгъ, чтобъ имѣть полное собраніе сочиненій одного автора, тоже стоитъ потери денегъ. Купивъ собраніе стихотвореній Капниста, надо еще купить его знаменитую въ свое время комедію «Ябеда». Фонвизинъ перевелъ прозой поэму Битобе «Іосифъ», басни Гольберга, «Жизнь Сноа, царя египетскаго», «Сидней и Силли, или Благодѣяніе и Благодарность», «Любовь Хариты и Полидора», «Слово похвальное Марку Аврелію» Томаса, «Торгующее Дворянство, противоположное дворянству военному»,—и всего этого, равно какъ и «Слово на выздоровленіе Великаго Князя Павла Петровича», и стихотвореній: «Сидней» и «Матюшка Разнощикъ»,—всего этого тщетно стали бы вы искать въ «Полномъ собраніи сочиненій Д. И. Фонвизина» (1838). Положимъ, вамъ вродолженіе многихъ лѣтъ, съ потерей значительныхъ (сравнительно съ товаромъ) денегъ, удалось все это собрать: сколько нужно мѣста для помѣщенія всѣхъ этихъ книгъ, разноформатныхъ, разношерстныхъ, старинныхъ, безвкусно, неопрятно изданныхъ, разгонисто напечатанныхъ! И все это изъ удовольствія или необходимости заглянуть въ иную изъ этихъ книгъ одинъ разъ въ три года! А новые-то писатели, напримѣръ Пушкинъ? Полное собраніе его сочиненій, не всѣхъ собранныхъ и дурно изданныхъ какъ въ отношеніи къ редакціи, такъ и въ отношеніи типографскомъ (особенно первые восемь томовъ), стоитъ шестьдесятъ рублей!... Шестьдесятъ рублей полное собраніе не вполнѣ собранныхъ сочиненій писателя, уже семь лѣтъ умершаго,—сочиненій, изъ которыхъ многія еще при жизни автора были по нѣскольку разъ изданы! Шестьдесятъ рублей—одиннадцать неуклюжихъ томовъ!... Когда авторъ самъ издаетъ свое сочиненіе, онъ воленъ назначить ему цѣну по своей прихоти, и вообще большіе проценты за новость сочиненія—самое законное пріобрѣтеніе. Но когда творенія автора извѣстны всѣмъ читающимъ людямъ цѣлаго народа, когда каждое изъ нихъ издавалось по нѣскольку разъ и когда наконецъ уже нѣтъ болѣе самого автора,—его сочиненія должны быть издаваемы вполнѣ, для всѣхъ, слѣдовательно дешевле. Восемь главъ «Онѣгина» сперва стоили сорокъ рублей; потомъ, изданный отдѣльно и вполнѣ, «Онѣгинъ» продавался по десяти рублей, а наконецъ—по пяти; теперь не худо было бы, еслибъ хорошенькое изданіе этой поэмы можно было имѣть за 50 или 40 к. серебромъ. Посмотрите, какъ за-границей издаются классическіе писатели. Огромный томъ превосходнаго компактнаго изданія въ двѣ колонны стоитъ не дороже десяти рублей. Превосходнѣйшее изданіе всего Байрона въ Лондонѣ стоитъ восемь рублей. Къ полному собранію сочиненій извѣстнаго писателя тамъ прилагается его біографія, писанная извѣстнымъ литераторомъ; примѣчанія и комментаріи почитаются тоже необходимостью подобныхъ книгъ. Въ изданіи полныхъ сочиненій Байрона, о которомъ мы сейчасъ говорили, вошли не только даже слабыя и неудачныя произведенія этого поэта, каковы—«Часы Праздности», не только его письма, но и всѣ критики и антикритики, написанныя при его жизни по поводу каждаго изъ его произведеній. Скажутъ: сочиненія Байрона—теперь въ Англіи общее достояніе, и издателю не нужно платить денегъ за право ихъ изданія, тогда какъ произведенія большей части лучшихъ нашихъ писателей составляютъ собственность или самихъ ихъ, или ихъ наслѣдниковъ, и потому еще не можетъ быть хорошихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыхъ изданій сочиненій напримѣръ Карамзина и Пушкина.—Это правда; но, во-первыхъ, почему не желать хотя дорогихъ, зато хорошихъ и полныхъ изданій Карамзина и Пушкина? А во вторыхъ, почему до сихъ поръ еще нѣтъ компактнаго изданія сочиненій Державина, которое, будучи полно, снабжено хорошимъ портретомъ, хорошо написанной біографіей этого поэта и необходимыми примѣчаніями въ поясненіе текста его твореній, стоило бы не дороже полутора рубля серебромъ? Вѣдь уже слишкомъ три года, какъ сочиненія Державина сдѣлались общимъ достояніемъ! Почему нѣтъ такого же изданія сочиненій Ломоносова, отъ смерти котораго протекло уже 79 лѣтъ? Мы даже думаемъ, почему бы не быть компактнымъ изданіямъ всѣхъ русскихъ писателей, которые хотя только въ свое время пользовались большой извѣстностью, а теперь забыты, каковы: Кантемиръ, Тредьяковскій, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Бобровъ? Французы въ этомъ отношеніи могли бы служить намъ образцомъ, подражаніе которому не было бы ни смѣшно, ни безполезно. Вѣдь они издаютъ же напримѣръ Делиля? И хорошо дѣлаютъ: кто ничего не видитъ для себя въ Делилѣ, тотъ пусть и не читаетъ его; но зачѣмъ же лишать удовольствія читать его тѣхъ, которые могутъ находить удовольствіе, читая его? И мы не безъ основанія думаемъ, что въ Россіи теперь еще не мало почтенныхъ пожилыхъ людей, которые Сумарокова, Хераскова и Петрова считаютъ великими писателями, гораздо выше Пушкина, и которые обрадовались бы возможности пріобрѣсти за дешевую цѣну вполнѣ, опрятно, хорошо изданныя вновь сочиненія этихъ корифеевъ добраго стараго времени. Сверхъ того подобныя изданія были бы нелишними въ библіотекахъ казенныхъ учебныхъ заведеній, были бы необходимы для всѣхъ занимающихся русской литературой по страсти или ex officio. Можно имѣть современныя понятія объ эстетическомъ достоинствѣ сочиненій Сумарокова, Хераскова и Петрова, но нельзя лишать ихъ всякаго значенія. Правда, со стороны содержанія скоро выдохлись и сочиненія писателей повыше

этихъ трехъ, и потому весьма естественно скорое охлажденіе къ нимъ вслѣдъ за ними же вышедшихъ поколѣній, которыя не чувствовали слишкомъ ощутительной связи интереса между ихъ сочиненіями и своими собственными потребностями, и которыя имѣли всѣ причины болѣе смотрѣть впередъ, нежели оглядываться назадъ. Но, съ другой стороны, нельзя не согласиться, что и сочиненія такихъ писателей, какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, не лишены своего интереса: они—болѣе или менѣе живая лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, литературы и языка прошедшаго времени. Въ отношеніи къ языку даже Тредьяковскій не лишенъ для насъ интереса. Сверхъ того всякій успѣхъ основывается на какомъ-нибудь правѣ и всегда болѣе или менѣе заслуженъ. Въ царствованіе Екатерины были довольно плодовитые писатели и кромѣ тѣхъ, которыхъ мы сейчасъ назвали, однако они не пользовались почти никакой извѣстностью, тогда какъ современники Сумарокова называли его побѣдителемъ Лафонтена, Расина, Вольтера; Петровъ ставился почти наравнѣ съ Державинымъ, а о Херасковѣ вотъ что̀ написалъ человѣкъ уже другого поколѣнія, товарищъ и сподвижникъ Карамзина—Дмитріевъ:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ:
Хераскову они вреда не нанесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Какъ бы то ни было, но людямъ, которые пользовались единодушнымъ, хотя и преувеличеннымъ, уваженіемъ своихъ современниковъ, потомство не можетъ, безъ несправедливости, отказать если не въ уваженіи, то во вниманіи,—и если въ школахъ считаютъ нужнымъ и полезнымъ преподавать между прочимъ и исторію русской литературы, то, знакомя учениковъ съ именами писателей, не худо было бы знакомить и съ ихъ сочиненіями,—хотя бы для того только, чтобъ они имѣли какую-нибудь возможность понять, за что̀ учитель хвалитъ или не хвалитъ этихъ писателей. А это рѣшительно невозможно безъ изданій, о которыхъ мы разговорились. Компактныя изданія въ большую восьмушку, въ два столбца—превосходное изобрѣтеніе: оно даетъ возможность дѣлать дешевыми дорогія книги. Если тотъ или другой авторъ написалъ довольно для наполненія такой большой книги,—пусть онъ будетъ изданъ отдѣльно. Писавшихъ мало можно соединять по нѣскольку въ одной книгѣ, съ общимъ заглавнымъ листомъ, гдѣ бы выставлены были ихъ имена подъ общей нумераціей. Такимъ образомъ въ одну книгу можно было бы соединить сочиненія Поповскаго, Дашковой, Баркова, Эмина, Кострова, Майкова, Аблесимова, Плавильщикова, Богдановича, Хемницера, Нелединскаго-Мелецкаго, Боброва, Долгорукова, Подшивалова, Муравьева (М. Н.) и другихъ. Другая книга соединила бы писателей другого поколѣнія—Макарова, Бурнскаго, Мартынова, Капниста, Дмитріева, Озерова, Вонйкова, Панина, Сумарокова (Панкратія), В. Пушкина, Милонова, Крюковскаго, Измайлова (А.), Ильина, Иванова и другихъ. Такъ какъ мы пишемъ здѣсь не планъ такого изданія, а только предлагаемъ мысль о возможности и пользѣ его, то и не отвѣчаемъ за точность и опредѣленность раздѣленія книгъ по писателямъ, сочиненія которыхъ должны туда войти. Мы не считаемъ излишнимъ и изданіе Шишкова, сочиненія котораго интересны по ихъ полемическому характеру и еще какъ живой фактъ для сужденія о реформѣ, произведенной Карамзинымъ въ русскомъ языкѣ и русской литературѣ. Весьма было бы полезно компактное изданіе (въ двухъ или—уже много—трехъ книгахъ) «Дѣяній Петра Великаго» Голикова, потому что новое изданіе ихъ неполно (въ чемъ издатель нисколько не виноватъ) и дорого (потому что оно не компактное), а старое изданіе и уродливо, и рѣдко. Мы думаемъ еще, что труды такихъ людей, какъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, Конисскій, Бецкій, Рычковъ, Румовскій (переводчикъ Тацита, котораго новаго перевода намъ, кажется, не дождаться), Лепехинъ, Миллеръ, Озерецковскій, Головинъ и другіе, очень бы стоили новаго изданія,—особенно при теперешней бѣдности русской литературы. Все это интересно, и всего этого нельзя достать.

Читатели не удивятся, что на эти мысли навелъ насъ девятый томъ «Стихотвореній В. Жуковскаго», если мы скажемъ, что первыхъ восьми томовъ сочиненій этого поэта теперь почти нѣтъ въ лавкахъ, и что теперь ихъ нельзя пріобрѣсти дешевле сорока пяти рублей... Кто не желалъ бы имѣть у себя собранія сочиненій Жуковскаго? скажемъ болѣе: кто изъ образованныхъ людей не обязанъ знать ихъ?—И между тѣмъ всѣ ли, многіе ли въ состояніи пріобрѣсти ихъ? Мы въ этомъ никого не винимъ, ни на кого за это не жалуемся: мы только показываемъ неопровержимое существованіе факта, что сочиненія Жуковскаго немногіе могутъ имѣть, и что занятіе русской литературой для людей небогатыхъ крайне разорительно. Въ этомъ мы видимъ одну изъ причинъ холодности русской публики къ русской литературѣ и жалкаго состоянія книжной русской торговли. Иному нужно имѣть сочиненія Жуковскаго; приходитъ онъ въ русскую книжную лавку. Что̀ стоитъ?—Сорокъ пять рублей. Дорого! и купилъ бы, да не на что̀! Тотъ же читатель заходитъ мимоходомъ во французскую книжную лавку; видитъ между прочимъ парижское компактное изданіе — «Oeuvres complèts de Sterne.—Oeuvres choisis de Goldsmith. Nouvelle édition, ornée de huit vignettes, revue et augmentée de notices biographiques et littéraires par Walter Scott, traduites par M. Francisque Michel». Развертываетъ—изданіе красиво, изящно; виньетками названы—прекрасный гравированный портретъ Стерна и семь прекрасныхъ гравированныхъ картинокъ. Что̀ стоитъ? Десять рублей. Еслибъ и не нужно было этой кни-

ги,—нельзя не соблазниться, не купить, хотя бы подъ опасеніемъ быть обвиненнымъ въ пристрастіи къ лукавому Западу и въ равнодушіи къ россійской словесности...

Сочиненій Жуковскаго было нѣсколько изданій; но изъ нихъ полное только одно, въ которомъ впрочемъ нѣтъ его переводовъ прозой («Переводы въ прозѣ В. Жуковскаго». Пять частей. Москва. 1816—1817 года»). Первые пять томовъ были изданы въ Петербургѣ въ 1835 году, подъ титуломъ «Стихотворенія В. Жуковскаго»; седьмой томъ изданъ тоже въ 1835 году и подъ титуломъ «Сочиненія В. Жуковскаго»; шестой томъ «Стихотвореній» въ 1836, а восьмой (тоже «Стихотвореній»)—въ 1837; теперь вышелъ девятый томъ. Онъ заключаетъ въ себѣ уже извѣстныя публикѣ новыя стихотворенія знаменитаго поэта: «Наль и Дамаянти», индійская повѣсть, съ нѣмецкаго; «Камоенсъ», драматическій отрывокъ, подражаніе Гальму; «Сельское Кладбище», Греева элегія, новый переводъ; «Бородинская Годовщина»; «Молитвой нашей Богъ смягчился»; «Цвѣтъ Завѣта». Если этотъ томъ объемлетъ собою и всю дѣятельность поэта отъ 1838 до 1844 года, то нельзя сказать, чтобъ онъ теперь меньше писалъ, нежели прежде, потому что эти всѣ девять томовъ (за исключеніемъ переводовъ въ прозѣ) написаны имъ впродолженіе сорока лѣтъ. Самый избытокъ достоинства въ сочиненіяхъ Жуковскаго еще болѣе заставляетъ сожалѣть объ умѣренности въ ихъ количествѣ. Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о значеніи этого поэта въ русской литературѣ. Оно велико: Жуковскому принадлежитъ честь введенія романтизма въ русскую поэзію. Романтикъ по натурѣ, Жуковскій и до сихъ поръ остался романтикомъ по преимуществу. Отсюда великія достоинства и нѣкоторые недостатки его поэзіи. Какъ бы чувствуя самъ, что уже прошло время для романтической поэзіи, Жуковскій, обремененный заслуженными лаврами, является теперь на поэтическое поприще болѣе, какъ ветеранъ поэзіи, нежели какъ воинъ, состоящій въ дѣйствительной службѣ. Его теперь особенно занимаетъ не сущность содержанія, а простота формы въ изящныхъ произведеніяхъ,—и надобно сказать, что въ этой простотѣ съ нимъ было бы трудно состязаться какому угодно поэту. При этой простотѣ, которой единственный недостатокъ состоитъ въ томъ, что она нѣсколько искусственна (потому что и самая простота можетъ быть искусственна, если за нею будете усильно стремиться)—при этой простотѣ стихъ Жуковскаго такъ легокъ, прозраченъ, тенелъ, прекрасенъ, что, благодаря ему, вы можете прочесть отъ начала до конца «Наль и Дамаянти»—индійскую поэму съ нѣмецко-романтическимъ колоритомъ—къ совершенному вашему удивленію, несмотря на то, что привыкли требовать отъ поэзіи пищи не одному вашему чувству или одной фантазіи, но и уму. Прочтите отрывокъ изъ довольно посредственной драмы Гальма «Камоенсъ», и вы опять удивитесь стиху Жуковскаго и поймете, что поэтъ, владѣющій такимъ стихомъ, можетъ быть не слишкомъ строгимъ въ выборѣ пьесъ для переводовъ. Говорятъ, Жуковскій переводитъ теперь «Одиссею» съ подлинника: утѣшительная новость! При удивительномъ искусствѣ Жуковскаго переводить, его переводъ «Одиссеи» можетъ быть образцовымъ, если только поэтъ будетъ смотрѣть на подлинникъ этой поэмы прямо по-гречески, а не сквозь призму нѣмецкаго романтизма.

Изданіе девятаго тома «Стихотвореній В. Жуковскаго» прекрасно во всѣхъ отношеніяхъ. Жаль только, что при оглавленіи не выставлено страницъ; это облегчило бы пріисканіе пьесы, которая нужна; но это вѣроятно вина редактора, а не издателя.

На сонъ грядущій. *Отрывки изъ вседневной жизни. Томъ I. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Спб. 1844.*

Изрѣдка явится въ толстомъ журналѣ хорошая оригинальная повѣсть, хорошее стихотвореніе; потомъ авторъ издастъ отдѣльной книгой свои повѣсти или свои стихотворенія, впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ помѣщавшіяся въ журналахъ; далѣе—новыя изданія этихъ повѣстей и стихотвореній или новыя изданія прежнихъ писателей: вотъ въ чемъ заключается движеніе изящной русской литературы нашего времени. За исключеніемъ этого, все мертво и пусто, даже посредственность и бездарность, столь дѣятельныя прежде, теперь дѣйствуютъ лѣнивo и робко. Впрочемъ въ этомъ есть своя хорошая сторона: лучше немного истинно хорошаго, нежели много посредственнаго и дурного. Мы не разъ уже говорили, что бѣдность современной русской литературы гораздо значительнѣе и плодотворнѣе, нежели прежнее ея богатство, потому что причина этой бѣдности между прочимъ заключается и въ томъ, что публика сдѣлалась взыскательнѣе и разборчивѣе, а для авторства сдѣлался необходимымъ талантъ. Таланты же не сѣются, а сами родятся. Прежде быть талантомъ ничего не стóило, и новость принималась за одно съ достоинствомъ. Дѣйствительно, новаго тогда было очень много сравнительно съ нашимъ временемъ; но цѣнность этого «новаго», которое теперь такъ устарѣло, уже опредѣляется совсѣмъ по другимъ основаніямъ. «Сѣверные Цвѣты» считались въ свое время лучшимъ русскимъ альманахомъ; появленіе этой крохотной книжки впродолженіе семи лѣтъ было годовымъ праздникомъ въ литературѣ, къ которому всѣ приготовлялись заранѣе журнальными и словесными толками. И чтó же было въ этомъ альманахѣ? Въ отдѣлѣ прозы совершенное ничтожество — статьи Ореста Сомова, аллегоріи Ѳ. Глинки и тому подобные невинные литературные опыты; а сколько балласта въ отдѣлѣ стиховъ! Хорошаго только и

было, что стихотворенія Пушкина, Жуковскаго, да нѣсколько стихотвореній Баратынскаго; почти все остальное дышало такой посредственностью, такимъ ничтожествомъ, что не можешь довольно надивиться безтребовательности тогдашней публики. А между тѣмъ сколько было и другихъ альманаховъ, которые пользовались тогда значительнымъ успѣхомъ и которые были еще хуже «Сѣверныхъ Цвѣтовъ»! Какого шума надѣлали своимъ появленіемъ повѣсти Марлинскаго, которыя теперь наводятъ зѣвоту даже на бывшихъ поклонниковъ этого фосфорическаго краснослова! И въ то же время со вниманьемъ читали отрывки изъ историческаго романа Б. Ф(ѳ)едорова—«Андрей Курбскій», и заранѣе видѣли въ его сочинителѣ русскаго Вальтеръ-Скотта. И въ то же время были въ восторгѣ отъ «Гайдамаковъ» Порфирія Байскаго, изрѣдка потчивавшаго публику гомеопатическими отрывками изъ этого романа, которому не суждено было выйти изъ отрывочнаго существованія. И въ то же время читали и «Ягуна Скупалова», и «Удивительнаго Человѣка», и «Записки Москвича», говорили и спорили о нихъ. И въ то же время авторъ «Монастырки» снискалъ себѣ безсмертную славу. Повѣсти Погодина и Полевого имѣли своихъ жаркихъ поклонниковъ, особенно повѣсти послѣдняго. Первыя отличались народностью: отъ нихъ такъ и несло кислой капустой; языкъ ихъ прямо, цѣликомъ перенесенъ былъ на бумагу съ базара; вторыя—электрической смѣсью самодѣльной идеальности и высшихъ взглядовъ съ нѣмецкой сантиментальностью по манерѣ Клаурена. Гдѣ все это, и что теперь во всемъ этомъ? Альманахи перевелись изъ моды, потому что слава видѣть себя въ печати потеряла цѣну даже и въ глазахъ мальчиковъ, а хорошія статьи перестали давать gratis. Повѣсти, о которыхъ мы говорили, какъ чахоточныя дѣти всѣ перемерли прежде отцовъ своихъ. Повѣсти Гоголя измѣнили вкусъ публики, дали новое направленіе литературѣ и погубили во цвѣтѣ лѣтъ много повѣстей и романовъ старой школы. Писать стало мудрено, успѣхъ сдѣлался труденъ. Прежніе повѣствователи и разсказчики потеряли кредитъ, исключая тѣхъ, которые догадались своротить съ старой тропы на новую дорогу. Насталъ чередъ новому поколѣнію.

Намъ скажутъ: много ли геніевъ и талантовъ явилось изъ новаго поколѣнія? много ли великихъ твореній произвело оно, и не та же ли участь, не то же ли забвенье ожидаетъ и его столь хвалимыя и такъ читаемыя теперь произведенія? Мы можемъ отвѣчать на этотъ вопросъ со всей искренностью и безъ всякаго самолюбиваго обольщенія. Геніевъ изъ новаго поколѣнія не явилось ни одного, за исключеніемъ автора «Героя Нашего Времени»; талантовъ явилось тоже немного, да и написано ими тоже не слишкомъ много. Долго ли они будутъ читаться — не знаемъ; но что ихъ повѣсти проживутъ гораздо дольше повѣстей, о которыхъ мы говорили, это для насъ ясно. И вотъ почему: покуда оставляя въ сторонѣ вопросъ о талантѣ, есть огромная разница между направленіемъ, манерой, духомъ и содержаніемъ повѣстей старой и новой школы. Эту разницу можно опредѣлить въ немногихъ словахъ: прежнія повѣсти изображали міръ, существовавшій только въ фантазіи ихъ авторовъ, тогда какъ повѣсти нашего времени изображаютъ дѣйствительную жизнь. Литература, въ которой нельзя видѣть вѣрнаго зеркала общества, не стоитъ вниманія людей мыслящихъ и можетъ служить только невинной забавой людямъ недалекимъ. Чтобы фактически показать существенную разницу между повѣстями старой и новой школы, укажемъ на нѣкоторыя изъ новыхъ произведеній въ этомъ родѣ. Скажите: какая изъ прежнихъ повѣстей можетъ быть перечитана послѣ напримѣръ «Колбасниковъ и Бородачей», повѣсти Луганскаго,—писателя не изъ новаго поколѣнія, но даровитаго и, къ счастью, оставившаго свое прежнее ложное направленіе для новаго и лучшаго? Была ли прежде хоть одна повѣсть, которая заслуживала бы какого-нибудь вниманія послѣ «Послѣдняго Визита», повѣсти псевдонима Нестроева? Скажемъ болѣе: въ какой изъ прежнихъ повѣстей найдется столько поразительно вѣрныхъ дѣйствительности чертъ, столько дѣльныхъ сторонъ, какъ въ «Чайковскомъ», повѣсти Гребенки?.. Повѣсти Панаева, столь жадно читаемыя теперешней публикой, не отличаются ни разнообразіемъ, ни особеннымъ присутствіемъ въ нихъ чисто-поэтическаго, чистотворческаго элемента,—и между тѣмъ какой аркадіей кажутся передъ ними прежнія повѣсти, какое на ихъ сторонѣ преимущество передъ прежними повѣстями во взглядѣ на вещи, въ дѣльности направленія, въ мѣткой наблюдательности!

Графъ Соллогубъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между писателями повѣстей новой школы. Это талантъ рѣшительный и опредѣленный, талантъ сильный и блестящій. Поэтическое одушевленіе и теплота чувства соединяются въ немъ съ умомъ наблюдательнымъ и вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности. Какъ всѣ истинные таланты, онъ не гоняется за необыкновенными идеалами и умѣетъ находить матеріалы для поэтическихъ созданій въ той прозаической существенности, которая у всѣхъ передъ глазами, но въ которой только немногіе провидятъ и жизнь, и поэзію. Въ основѣ почти каждой его повѣсти лежитъ мысль, которая одна даетъ полноту и цѣлость сюжету. Поэтому очень трудно пересказывать содержаніе повѣстей графа Соллогуба: въ нихъ важны не завязка съ развязкой, не внѣшнее событіе, а то внутреннее созерцаніе, котораго сюжетъ служитъ только выраженіемъ и которое постигается и оцѣнивается только созерцаніемъ же. Поэтому художественное достоинство повѣстей графа Соллогуба преимущественно заключается въ подробностяхъ и колоритѣ. По нашему мнѣнію, нѣтъ поэзіи и творчества, нѣтъ мысли въ той повѣсти, которую вы знаете, если вамъ разсказали ея сюжетъ. Поэтическая повѣсть не пересказываема: ее надо читать, чтобъ узнать ея содержаніе.

Повѣсти графа Соллогуба такъ извѣстны нашей публикѣ, что нѣтъ никакой нужды слишкомъ распространяться о каждой изъ нихъ въ особенности. Графъ Соллогубъ началъ писать съ 1837 года. Первые его опыты: «Три Жениха», «Два Студента» и «Сережа» — не болѣе, какъ довольно удачные опыты. «Исторія двухъ Калошъ» была первой повѣстью графа Соллогуба, обратившей на его талантъ общее вниманіе. «Большой Свѣтъ» упрочилъ это вниманіе за авторомъ «Исторіи двухъ Калошъ». Поименованныя нами повѣсти составляютъ содержаніе перваго тома «На Сонъ Грядущій». Всякій истинный талантъ развивается и идетъ впередъ: поэтому очень естественно, что второй томъ этой книги далеко превосходитъ первый въ достоинствѣ. Въ краткомъ, но исполненномъ ума и скромнаго сознанія, предисловіи даровитый авторъ говоритъ, что и порадованъ, и опечаленъ постояннымъ требованіемъ публики на его книгу: порадованъ, какъ доказательствомъ, что у насъ читать хотятъ; опечаленъ, какъ доказательствомъ, что у насъ нечего читать. Говоря, что его первыя повѣсти не стоили чести второго изданія, онъ признается, что думалъ ихъ переправить; «но (продолжаетъ онъ) переправить писанное за десять лѣтъ—такъ же легко, какъ сдѣлаться десятью годами моложе. И такъ, эти повѣсти остаются какъ были, со всѣми прежними своими недостатками, со всѣми прегрѣшеніями неопытности, но подъ защитой теплыхъ чувствъ молодости, которыя, къ сожалѣнію, утрачиваются по мѣрѣ того, какъ настоящая оцѣнка искусства и жизни яснѣе опредѣляется въ умѣ». Не совсѣмъ соглашаясь съ авторомъ въ его строгомъ судѣ надъ своими первыми произведеніями, мы очень рады, что онъ не рѣшилъ ихъ переправлять. Всякое поэтическое произведеніе тѣсно, родственно, кровно связано съ породившей его минутой: прошла минута—и переправлять значитъ портить. Желаемъ скорѣе дождаться второго изданія второго тома и выхода третьяго. Увѣрены, что третій будетъ еще лучше; но въ то же время увѣрены, что и первый сохранитъ свою цѣну. Публика бываетъ судьей ошибочнымъ только на первое время появленія новыхъ сочиненій; послѣ первой минуты она рѣдко ошибается. Второе изданіе перваго тома сочиненій графа Соллогуба можно принимать за третье, потому что въ немъ публика уже въ третій разъ читаетъ одни и тѣ же произведенія: въ первый разъ она прочла ихъ въ журналахъ. Значитъ, на сочиненія графа Соллогуба она смотритъ не какъ на пріятныя новости, но какъ на произведенія капитальныя, какъ на необходимую принадлежность хорошей библіотеки. Не имѣя причины раздѣлять строгости, очень понятной въ истинномъ талантѣ, мы смѣло можемъ увѣрить автора, что публика потребовала новаго изданія первыхъ его опытовъ не оттого, что ей нечего читать.

Правила высшаго краснорѣчія. *Сочиненіе Михаила Сперанскаго. Спб. 1844.*

О подражаніи Христу, *четыре книги Ѳомы Кемпійскаго, переведенныя съ латинскаго языка графомъ М. М. Сперанскимъ. Изданіе четвертое, Спб. 1845.*

Первое изъ этихъ произведеній особенно замѣчательно по имени ихъ автора, столь славному въ исторіи русской администраціи и русскаго законодательства. «Правила высшаго краснорѣчія» важны еще и какъ доказательство, что сильный умъ сохраняетъ свою самостоятельность, даже и слѣдуя по избитой дорогѣ, и умѣетъ сказать что нибудь дѣльное даже и о предметѣ, всѣми ложно понимаемомъ въ его время. Книга графа Сперанскаго любопытна еще и какъ живой историческій памятникъ литературныхъ понятій и русскаго языка въ эпоху 1792 года. Это во многихъ отношеніяхъ историческое сочиненіе составлено изъ лекцій, которыя Сперанскій читалъ въ Санктпетербургской Духовной Академіи тотчасъ послѣ того, какъ самъ кончилъ въ ней курсъ наукъ. Тогда ему былъ 21 годъ отъ рожденія, и вѣроятно еще онъ не предвидѣлъ другого, болѣе блестящаго и важнаго поприща, на которое готовила его судьба.

Что́ касается до книги Ѳомы Кемпійскаго, — нечего распространяться въ похвалахъ ей: за нее говорятъ почти четыреста лѣтъ огромнаго и повсемѣстнаго успѣха. На русскомъ языкѣ ея было восемь переводовъ: (1647, 1681, 1764, 1780, 1784, 1799, 1816 годовъ); переводъ графа Сперанскаго былъ девятымъ и въ первый разъ былъ изданъ въ 1819 году. Слогъ перевода большей частью сообразенъ съ духомъ оригинала, но уже слишкомъ отзывается славянщиной; впрочемъ назадъ тому двадцать пять лѣтъ никому бы и не пришло въ голову переводить иначе подобную книгу.

Импровизаторъ, или молодость и мечты итальянскаго поэта. *Романъ Андерсена. Переводъ со шведскаго. Спб. 1844*

Герой этого романа—презабавное лицо: восторженный итальянецъ, піэтистъ, поэтъ, любитъ женщинъ и страхъ какъ боится, чтобъ которая-нибудь не соблазнила его; человѣкъ со слабымъ характеромъ, чувствуетъ позоръ вельможескаго покровительства, страдаетъ отъ него—и не имѣетъ силы освободиться изъ-подъ обязательнаго ярма. Съ нимъ что́ ни шагъ, то приключеніе. Онъ влюбляется въ трехъ женщинъ, но съ одной расходится по недоразумѣнію; другая любитъ его братски; на третьей онъ наконецъ женится, несмотря на свою боязнь, что Мадонна накажетъ его за избраніе свѣтской жизни. Между многочисленными его приключеніями много по-истинѣ чудесныхъ, естественность которыхъ впослѣдствіи объясняется какъ-то натянуто. Вообще этотъ романъ не лишенъ занимательности, хотя мѣстами и очень ску-

ченъ, сколько по характеру героя, довольно жалкому, столько и по утомительному однообразію своего содержанія вообще. Самая интересная сторона его — итальянская природа и итальянскіе нравы, очерченные не безъ таланта и не безъ увлекательности. Но какъ блѣдны и слабы эти очерки въ сравненіи съ мастерскими картинами Италіи, дышащими глубокой мыслью и могучей жизнью въ романахъ Жоржъ Занда! При воспоминаніи о «Послѣдней Альдини», «Домашнемъ Секретарѣ», «Маттеа», «Метеллѣ», «Ускокѣ» и «Консюэлѣ», становится какъ-то жалко бѣднаго Андерсена... Впрочемъ, здѣсь всякое сравненіе возможно только по отношенію къ странѣ, которую онъ избралъ сценой своего романа. Невѣроятно, чтобъ Андерсенъ могъ быть представителемъ поэтическаго генія своего отечества, и чтобъ въ Даніи, имѣющей Эленшлегера, не было поэтовъ гораздо выше его. Можетъ-быть даже и этотъ романъ—далеко не лучшее произведеніе Андерсена. Во всякомъ случаѣ, этотъ невинный романъ можетъ съ удовольствіемъ и пользой читаться молодыми дѣвушками и мальчиками въ свободное отъ классныхъ занятій время. Переводъ «Импровизатора» очень хорошъ.

Исторія Наполеона. *Соч. Николая Полевого. Томъ первый. Спб. 1844.*

При каждомъ новомъ произведеніи Н. Полевого изумляешься неистощимой и разнообразной его дѣятельности. Чего не писалъ онъ! Лишь только зашевелится въ русской литературѣ что-нибудь похожее на новое направленіе или просто на новый вкусъ, новую моду, — онъ тутъ какъ тутъ, и всегда впереди тѣхъ, которые своимъ успѣхомъ прежде его открыли новое средство угождать прихоти публики. Но ему ни-почемъ обгонять русскихъ писателей и состязаться съ ними о пальмѣ первенства: онъ уже соперничествуетъ съ литературными славами Европы. Еще не успѣлъ Тьеръ напечатать свою «Исторію Наполеона», какъ Полевой уже выдалъ первый томъ своей «Исторіи Наполеона». Вотъ какъ мы состязуемся съ Европой! Изъ подъ пера Полевого, какъ видно по театральнымъ афишамъ, вышли почти въ одно и то же время драма «Павелъ и Виргинія» и — «Исторія Наполеона»! Впрочемъ что-жъ! Пусть читаютъ добрые люди «Исторію Наполеона», сочиненную Полевымъ, если не могутъ читать «Исторіи Наполеона», сочиненной Тьеромъ. Конечно это далеко не одно и то же, но и «что-нибудь» лучше, нежели «ничего». При огромномъ изобиліи матеріаловъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ, трудно было бы литератору, набившему руку въ многописаніи, не составить чего-нибудь вродѣ исторіи Наполеона, сколько-нибудь сносной. Жаль только, что Полевой иногда странно ошибается въ фактахъ, особенно во «Введеніи»; такъ наприм., онъ называетъ другомъ якобинцевъ заклятаго врага ихъ, жирондиста Дюмурье. Другой недостатокъ «Исторіи Наполеона» Полевого заключается въ общемъ недостаткѣ всѣхъ его сочиненій—въ языкѣ, который очень трудно читать.

Руководство къ познанію теоретической матеріальной философіи. *Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб. 1844.*

Германія — отечество философій новаго міра. Когда говорятъ о философіи, то всегда разумѣютъ германскую, потому что никакой другой философіи человѣчество не имѣетъ. Во всѣхъ другихъ странахъ философія есть попытка частнаго лица разрѣшить извѣстные вопросы о бытіи; въ Германіи философія—наука, исторически развивающаяся; ея обрабатываніе постепенно передается отъ поколѣнія къ поколѣнію. Кантъ первый положилъ прочныя начала новѣйшей философіи и далъ ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моментъ развитія философіи: дѣйствуя независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ тѣмъ не менѣе былъ только продолжателемъ начатаго Кантомъ дѣла. Шеллингъ и Гегель—представители дальнѣйшаго движенія философіи. Теперь гегелизмъ распался на три стороны — правую, которая остановилась на послѣднемъ словѣ гегелизма и далѣе не идетъ; лѣвую, которая отложилась отъ Гегеля и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примиреніи философіи съ жизнью, теоріи съ практикой; и центральную, составляющую нѣчто среднее между мертвой стоячестью правой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лѣвая сторона гегелизма отложилась отъ своего учителя, это не значитъ, чтобъ она отвергла его великія заслуги въ сферѣ философіи и признала его ученіе пустымъ и безплоднымъ явленіемъ. Нѣтъ, это значитъ только, что она хочетъ идти дальше и, при всемъ ея уваженіи къ великому философу, авторитетъ духа человѣческаго ставитъ выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте; такъ духомъ ученія своего объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ изъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшественника, и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философіи дѣлаетъ невозможными произвольныя проявленія личныхъ философствованій. Чтобъ дѣйствовать на поприщѣ философіи, въ Германіи мало того, чтобъ объявить печатно: «я такъ думаю», но должно посвятить цѣлые годы тяжелаго труда дѣльному и основательному изученію всего, что сдѣлано по части философіи, — должно быть современнымъ.

Съ этой точки зрѣнія нѣтъ ничего забавнѣе русской философіи и русскихъ книгъ по части философіи. О философіи, какъ наукѣ, у насъ никто не заботится; но всѣ наши философы думаютъ,

что для того, чтобъ сдѣлаться философомъ, стоитъ только захотѣть этого. Учиться философіи они не считаютъ нужнымъ; имъ легче объявить, что всѣ нѣмецкіе философы врутъ, нежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимаютъ, что у насъ для философіи нѣтъ еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдругъ, ни съ того, ни съ сего, придетъ охота нофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлинъ не берутъ, то вслѣдствіе этого неожиданнаго припадка философствованія явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все рѣшено, кромѣ одного только—зачѣмъ и для кого написанъ этотъ вздоръ...

Едва ли не смѣлѣе всѣхъ другихъ нашихъ философовъ Татариновъ: на сорока страничкахъ, разгонисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него «теоретическую-практическую» философію и начисто рѣшаетъ, что̀ такое истина, благо и красота: истина у него есть истина, благо—благо, а красота—красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что то только о Локкѣ, Лейбницѣ и Кантѣ, а о дальнѣйшемъ ходѣ философіи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгой и даже книжкой ее нельзя назвать)? Для тѣхъ, кто имѣетъ хоть какое-нибудь понятіе о философіи, тетрадка Татаринова будетъ только забавна; а тѣ, которые о философіи не имѣютъ никакого понятія, ровно ничего не поймутъ въ ней, въ этой тетрадкѣ.

Общая риторика. *Н. Кошанскаго. Изданіе девятое. Спб. 1844.*

Наука—великое дѣло. Въ этомъ согласны всѣ —отъ мудреца до безграмотнаго простолюдина. Ученье свѣтъ, неученье тьма, говорятъ наши русскіе мужички. Въ наше время эта истина становится аксіомой. Но и враги ученія и наукъ еще не перевелись, и—что всего хуже, они не всегда неправы въ своихъ нападкахъ на ученость и ученыхъ. Мы говоримъ не о тѣхъ противникахъ просвѣщенія, которые только во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ видятъ неиспорченность мысли и чистоту нравственности: нѣтъ, объ этихъ изувѣрахъ обскурантизма, объ этихъ чадахъ тьмы, объ этихъ фанатикахъ и лицемѣрахъ ложно понимаемаго добронравія не стоитъ труда и говорить. Но нельзя не обратить вниманія на тѣхъ противниковъ просвѣщенія, которые вооружаются не столько противъ науки, сколько противъ ученыхъ, которые, основываясь на простомъ здравомъ смыслѣ и на простомъ практическомъ чувствѣ, не теоріей, а указаніемъ на знакомыхъ имъ ученыхъ, доказываютъ то пустоту и безполезность, то даже вредъ ученія. Объяснимъ это примѣромъ. Положимъ, NN—человѣкъ неучившійся, но умный отъ природы, образовавшійся опытомъ жизни и нечуждый нѣкоторой начитанности, повинуясь духу времени, взялъ для своего сына учителя словесности. И вотъ, учитель аккуратно является давать юношѣ уроки, проходитъ съ нимъ грамматику, риторику, поэзію, логику. Конченъ курсъ словесности; всѣ довольны: сынъ—что узналъ столько мудреныхъ и полезныхъ наукъ; отецъ—что выполнилъ свой долгъ; учитель—что образовалъ новаго словесника. Но вдругъ декорація перемѣняется. Отецъ опредѣляетъ своего сына на службу и хочетъ, чтобъ тотъ служилъ подъ его руководствомъ. Для практики онъ даетъ ему составлять выписки изъ дѣлъ, задаетъ ему писать разныя бумаги оффиціальнаго содержанія,—и что же? Онъ съ удивленіемъ видитъ, что во всѣхъ юридическихъ опытахъ его сына бездна краснорѣчія, тропъ и фигуръ не оберешься, а дѣла нѣтъ и признаковъ; слогъ отличный, по истинѣ высокій, а что-нибудь понять въ немъ нѣтъ никакой возможности. Въ другое время онъ прослалъ сына написать письмо о томъ-то и тому-то: та же исторія! Періоды круглые, съ пониженіями и повышеніями; послѣ предложенія, начинающагося съ «хотя», всегда слѣдуетъ предложеніе, начинающееся съ «однако», слово «кто» всегда соотвѣтствуетъ слову «тотъ», и т. д.; но письмо тяжело, неприлично, неуклюже, какъ семинаристъ въ обществѣ. «Что̀ же это значитъ?» думаетъ отецъ. «Сынъ мой не глупъ, способности у него есть, въ обществѣ онъ держитъ себя прилично и говоритъ, какъ принято, а на письмѣ фразеръ, педантъ, надутый враль, тяжелый болтунъ. Учился онъ по хорошей книгѣ, по «Риторикѣ» Кошанскаго, которая вездѣ принята за лучшее руководство и напечатана девятымъ изданіемъ; учитель—человѣкъ извѣстный, учитъ во всѣхъ домахъ и меньше десяти рублей за урокъ не беретъ: все это такъ,—но чему же выучился мой сынъ?» Далѣе, отецъ замѣчаетъ, что его сынъ прошелъ полный курсъ словесности, слѣдовательно, выучившись и поэзіи, узнавъ и исторію русской словесности, свысока разсуждаетъ иногда о величіи генія Державина, вскользь упоминаетъ и о Пушкинѣ, а между тѣмъ читаетъ только новые романы и водевили, совершенно не интересуясь ничѣмъ инымъ. Зная названіе всѣхъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій на отечественномъ языкѣ, онъ только изъ нѣкоторыхъ читалъ отрывки, а большей части совсѣмъ не читалъ. И вотъ, дѣлать нечего, отецъ споритъ съ сыномъ, кое-какъ переламываетъ его, пріучаетъ хорошо писать и дѣловыя бумаги, и письма. Сынъ сталъ хоть куда! Но тогда отецъ съ удивленіемъ замѣчаетъ, что сынъ его исправился, благодаря тому, что совершенно забылъ, какъ вздоръ, все, чему училъ его учитель словесности. Какое же отецъ долженъ вывести мнѣніе изъ всего этого?—Разумѣется,—такое, что науки и ученье—вредный вздоръ. И онъ правъ, тысячу разъ правъ! за него фактъ и можетъ-быть тысячи фактовъ. Какое ему дѣло разсуждать, что̀ за наука—риторика, можетъ ли и должна ли она преподаваться, и такъ ли ее преподаютъ? Онъ

знаетъ, что риторикѣ учатъ во всѣхъ училищахъ, что безъ риторики никого не признаютъ ученымъ; знаетъ, что его сынъ учился по риторикѣ, изданной девятымъ изданіемъ, вездѣ принятой за руководство, и въ то же время онъ знаетъ, что риторика—сущій вздоръ, не только безполезный, но и страшно вредный.

Много можно привести такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что отъ ученія люди часто ничего не выигрываютъ, а много проигрываютъ: выигрываютъ—тяжелость, сухость, педантизмъ, претензіи, а проигрываютъ здравый смыслъ, живость ума, инстинктъ истины, тактъ дѣйствительности. «Метафизикъ» Хемницера дѣйствительно—безсмертная вещь: говоря объ ученіи и ученыхъ, часто по-неволѣ вспомнишь о ней...

Но наука и ученье тутъ ни въ чемъ не виноваты, потому что надо строго отличать науку и ученье отъ состоянія, въ которомъ наука и ея преподаваніе находятся въ извѣстное время и въ извѣстномъ обществѣ. Конечно людямъ практическимъ, которые привыкли обо всемъ судить на основаніи здраваго смысла и опыта, которые цѣнятъ вещи по ихъ результатамъ, видятъ ихъ, какъ онѣ суть, а не такъ, какъ-бы должны были быть,—такимъ людямъ мало дѣла до необходимости отдѣлять злоупотребленіе науки отъ самой науки,—и они совершенно правы съ своей точки зрѣнія. И потому мы хотимъ поговорить здѣсь о риторикѣ не для того, чтобъ убѣдить практическихъ людей въ высокомъ достоинствѣ риторики вообще и «Риторики» Кошанскаго въ частности, а для того, чтобъ практическіе люди не презирали всякой науки и всякаго знанія потому только, что риторика—вздорная наука и вредное знаніе.

Злоупотребленіе многихъ вещей происходитъ большей частью оттого, что люди смѣшиваютъ между собой самыя различныя вещи. Такъ напримѣръ, чаще всего смѣшиваются у насъ понятія: наука и искусство. Самое слово «наука» у насъ невѣрно выражаетъ заключенное въ немъ понятіе. Простой народъ нашъ правильнѣе употребляетъ это слово, говоря о мальчикѣ, отданномъ учиться сапожному ремеслу: «онъ отданъ въ науку». То, что̀ называется scientia, science, Wissenschaft, у насъ должно бы называться не наукой, а знаніемъ. Наука ничему не учитъ, ничему не выучиваетъ, она даетъ знаніе законовъ, по которымъ существуетъ все существующее; она многоразличіе однородныхъ предметовъ приводитъ въ идеальное единство. Искусство имѣетъ болѣе практическое значеніе: оно больше способность, талантъ, умѣніе что-либо дѣлать, нежели знаніе чего-либо. Искусства бываютъ двухъ родовъ: творческія и техническія. Дѣятельная, производительная способность первыхъ бываетъ въ людяхъ, какъ даръ природы; ученіе и трудъ развиваютъ этотъ даръ, но самаго дара не даютъ тѣмъ, кому не дано его природой. Техническія искусства даются людямъ наукой въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ это слово простой народъ,—въ смыслѣ практическаго ученія, изученія, навыка. И въ творческихъ искусствахъ есть своя техническая сторона, доступная и бездарнымъ людямъ: можно выучиться писать легкіе и гладкіе стихи, разбирать ноты и лучше или хуже разыгрывать ихъ, срисовывать копіи съ оригиналовъ и т. п., но поэтомъ, музыкантомъ, живописцемъ нельзя сдѣлаться ученіемъ и рутиной. Все, что̀ существуетъ, существуетъ на основаніи неизмѣнныхъ и разумныхъ законовъ, и потому подлежитъ вѣдѣнію науки (знаніе); слѣдовательно, и искусство подлежитъ вѣдѣнію науки, но не иначе, какъ только предметъ знанія, а совсѣмъ не какъ предметъ обученія, т. е. мастерство, которому можно выучиться посредствомъ науки. Искусствамъ учатся—это правда, особенно такимъ, въ которыхъ техническая сторона преимущественно важна и трудна; но здѣсь ученіе особеннаго рода—ученіе практическое, а не теоретическое, ученіе не по книгѣ, а по наглядному указанію мастера. Таковы и всѣ техническія искусства, всѣ ремесла. Напишите самое ясное, самое толковитое руководство къ искусству шить сапоги,—самый понятливый и способный человѣкъ въ пятьдесятъ, во сто лѣтъ не выучится по вашей книгѣ шить такъ хорошо, какъ бы выучился онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ у хорошаго мастера, при посредствѣ его наглядныхъ указаній и своего упражненія и навыка. Въ такомъ точно отношеніи находится наука къ искусству. Иной эстетикъ-критикъ судитъ лучше художника о произведеніи самого этого художника, но самъ не въ состояніи ничего создать. Въ сферѣ искусства ученый знаетъ, художникъ умѣетъ.

Но не всѣ, къ несчастью, понимаютъ это и теперь; еще меньше всѣ понимали это прежде. Вотъ откуда явилась риторика, какъ наука краснорѣчія,—наука, которая брала на выучку кого угодно сдѣлать великимъ ораторомъ; вотъ откуда явилась піитика, какъ наука дѣлать поэтами даже людей, которые способны только мостить мостовую.

Риторика получила свое начало у древнихъ. Соціализмъ и республиканская форма правленія древнихъ обществъ сдѣлали краснорѣчіе самымъ важнымъ и необходимымъ искусствомъ, ибо оно отворяло двери къ власти и начальствованію. Удивительно-ли, что всѣ и каждый хотѣли быть ораторами, хотѣли имѣть вліяніе на толпу посредствомъ искусства красно говорить? поэтому изучали рѣчи великихъ ораторовъ, анализировали ихъ и дошли до открытія троповъ и фигуръ, до источниковъ изобрѣтенія; стали искать общихъ законовъ въ частныхъ случаяхъ. Ораторъ сильно всколебалъ толпу могучимъ чувствомъ, выраженнымъ въ фигурѣ вопрошенія,—и вотъ могучее чувство отбросили въ сторону, а фигуру вопрошенія приняли къ свѣдѣнію: эффектная-де фигура, и на ней какъ можно чаще надобно выѣзжать—всегда вывезетъ. Это напоминаетъ басню о глупомъ мужикѣ или глупой обезьянѣ, которая, увидѣвъ, что ученый, принимаясь за чтеніе, всегда надѣвалъ на носъ очки, тоже достала себѣ очки и книгу, хотѣла читать, и съ досады, что ей не читается, разбила очки. Но

люди иногда бываютъ глупѣе обезьянъ. Изъ наблюденій и анализа надъ рѣчами великихъ ораторовъ они составили сборъ какихъ-то произвольныхъ правилъ и назвали этотъ сборъ риторикой. Явились риторы, которые къ ораторамъ относились, какъ діалектики и софисты относились къ философамъ, и начали обучать людей искусству краснорѣчія, завелись школы, но изъ нихъ выходили все-таки не ораторы, а риторы. Какая разница между ораторомъ и риторомъ? Такая-же, какая между философомъ и софистомъ, между присяжнымъ (jury) и адвокатомъ: философъ въ діалектикѣ видитъ средство дойти до знанія истины,—софистъ въ діалектикѣ видитъ средство остаться побѣдителемъ въ спорѣ; для философа истина—цѣль, діалектика—средство; для софиста и истина, и ложь—средство, діалектика—цѣль; присяжный видитъ свою цѣль въ оправданіи невиннаго, въ осужденіи виновнаго; адвокатъ видитъ свою цѣль въ оправданіи своего кліента, правъ-ли онъ, или виноватъ—все равно. Ораторъ убѣждаетъ толпу въ мысли, великость которой измѣряется его одушевленіемъ, его страстью, его паѳосомъ, и слѣдовательно жаромъ, блескомъ, силой, красотой его слова; ритору нѣтъ нужды до мысли, въ которой онъ хочетъ убѣдить толпу: риторъ—человѣкъ маленькій, и мысль его можетъ быть подленькой, даже у него можетъ не быть вовсе никакой мысли, а только гаденькая цѣль,—и лишь бы ея удалось ему достигнуть, а до прочаго ему нѣтъ дѣла. И тамъ, гдѣ ораторъ беретъ вдохновеніемъ, бурею страстей, громомъ и молніей слова, тамъ риторъ хочетъ взять тропами и фигурами, общими мѣстами, выточенными фразами, округленными періодами. Но въ древности риторика еще имѣла какой-нибудь смыслъ. Когда въ какой-нибудь республикѣ переводились на время великіе люди, тогда народомъ управляли крикуны и краснобаи, т. е. риторы. А много-ли людей, которые для такой цѣли не стали-бы учиться риторикѣ?—Но скажите, Бога ради, зачѣмъ нужна риторика въ новомъ мірѣ? Зачѣмъ она даже въ Англіи и во Франціи? Вѣдь Питтъ и Фоксъ были не только ораторы, но и государственные люди? Вѣдь въ наше время, когда вся общественная машина такъ многосложна, такъ искусственна, даже и великій по таланту ораторъ недалеко уйдетъ, если въ то же время онъ не будетъ государственнымъ человѣкомъ? И какимъ образомъ риторика сдѣлаетъ кого-нибудь краснорѣчивымъ въ Англіи и во Франціи, и кто изъ англійскихъ и французскихъ парламентскихъ ораторовъ образовался по риторикѣ? Развѣ риторика даетъ кому-нибудь смѣлость говорить передъ многочисленнымъ собраніемъ? Развѣ она даетъ присутствіе духа, способность не теряться при возраженіяхъ, умѣнье отразить возраженіе, снова обратиться къ прерванной нити рѣчи, находчивость, талантъ всемогущаго слова «кстати». Приведемъ извѣстный примѣръ изъ древняго міра. Демосѳенъ говорилъ о Филиппѣ, а вѣтренные аѳиняне толковали между собой о новостяхъ дня; раздраженный ораторъ начинаетъ имъ разсказывать пустую побасенку,—и аѳиняне слушаютъ его внимательно. «Боги!—воскликнулъ великій ораторъ: — достоинъ вашего покровительства народъ, который не хочетъ слушать, когда ему говорятъ объ опасности, угрожающей его отечеству, и внимательно слушаетъ глупую сказку!» Разумѣется, эта неожиданная выходка устыдила и образумила народъ. Скажите: какая риторика научитъ такой находчивости? Вѣдь подобная находчивость—вдохновеніе! Вздумай кто-нибудь повторить эту выходку—толпа расхохочется, потому что толпа не любитъ людей, которые велики или находчивы заднимъ числомъ. Какая риторика дастъ человѣку бурный огонь одушевленія, страсть, паѳосъ? Намъ возразятъ: конечно, не дастъ, но разовьетъ счастливые дары природы. Неправда! ихъ можетъ развить практика, трибуна, а не риторика. Геній полководца нуждается въ хорошихъ книгахъ о военномъ искусствѣ, но развивается онъ на поляхъ брани. И чѣмъ бы могла риторика развить геній оратора: неужели тропами, метафорами и фигурами? Но что̀ такое тропы, метафоры и фигуры, если выраженіе страсти — не произведеніе вдохновенія? Истинный ораторъ употребляетъ тропы и фигуры, не думая о нихъ. То энергическое выраженіе, которымъ онъ всколебалъ толпу, иногда срывается съ его устъ нечаянно, и онъ самъ не предвидѣлъ, не находилъ его въ своей головѣ, будучи отдѣленъ отъ него только двумя словами предшествовавшей фразы. Ученикамъ задаютъ писать тропы и фигуры: не значитъ ли это задавать имъ работу — быть вдохновенными, страстными? Это напоминаетъ соловья въ когтяхъ у кошки, которая заставляетъ его пѣть. Да, чего не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ! Въ старину въ семинаріяхъ, въ классѣ поэзіи, задавали ученикамъ описывать въ стихахъ разные назидательные предметы.

И такъ, какую же пользу можетъ приносить риторика? Не только риторики,—даже теоріи краснорѣчія (какъ науки краснорѣчія) не можетъ быть. Краснорѣчіе есть искусство,—не цѣлое и полное, какъ поэзія: въ краснорѣчіи есть цѣль, всегда практическая, всегда опредѣляемая временемъ и обстоятельствами. Поэзія входитъ въ краснорѣчіе какъ элементъ, является въ немъ не цѣлью, а средствомъ. Часто самыя увлекательныя, самыя патетическія мѣста ораторской рѣчи вдругъ смѣняются статистическими цифрами, сухими разсужденіями, потому что толпа убѣждается не одной красотой живой изустной рѣчи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣломъ, и фактами. Одинъ ораторъ могущественно властвуетъ надъ толпой силой своего бурнаго вдохновенія; другой—вкрадчивой граціей изложенія; третій—преимущественно ироніей, насмѣшкой, остроуміемъ; четвертый—послѣдовательностью и ясностью изложенія, и т. д. Каждый изъ нихъ говоритъ, соображаясь съ предметомъ своей рѣчи, съ характеромъ слушающей его толпы, съ обстоятельствами настоящей минуты. Еслибъ Демосѳенъ вдругъ воскресъ теперь и заговорилъ въ

англійской нижней палатѣ самымъ чистымъ англійскимъ языкомъ,—англійскіе джентльмены и Джонъ Буль опикали бы его; а наши современные ораторы плохо были бы приняты въ древней Греціи и Римѣ. Мало того: французскій ораторъ въ Англіи, а англійскій во Франціи не имѣли бы успѣха, хотя бы они, каждый въ своемъ отечествѣ, привыкли владычествовать надъ толпой силой своего слова. И потому, если вы хотите людямъ, которые не готовятся быть ораторами, дать понятіе о томъ, что̀ такое краснорѣчіе, а людямъ, которые хотятъ быть ораторами, дать средство къ изученію краснорѣчія,—то не пишите риторики, а переберите рѣчи извѣстныхъ ораторовъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, снабдите ихъ подробной біографіей каждаго оратора, необходимыми историческими примѣчаніями,—и вы окажете этой книгой великую услугу и ораторамъ, и не-ораторамъ.

Но зачѣмъ риторика у насъ въ Россіи?—Затѣмъ, чтобъ учить дѣтей сочинять?... Многіе смѣются надъ опредѣленіемъ грамматики, что она учитъ «правильно говорить и писать». Опредѣленіе очень умное и очень вѣрное! Всеобщая грамматика есть философія языка, философія человѣческаго слова: она раскрываетъ систему общихъ законовъ человѣческой рѣчи, равно свойственныхъ каждому языку. Частная грамматика учитъ не чему иному, какъ правильно говорить и писать на томъ или другомъ языкѣ: она учитъ не ошибаться въ согласованіи словъ, въ этимологическихъ и синтаксическихъ формахъ. Но грамматика не учитъ хорошо говорить, потому что говорить правильно и говорить хорошо—совсѣмъ не одно и то же. Случается даже такъ, что говорить и писать слишкомъ правильно значитъ говорить и писать дурно. Иной семинаристъ говоритъ и пишетъ какъ олицетворенная грамматика,—его нельзя ни слушать, ни читать: а иной простолюдинъ говоритъ неправильно, ошибается и въ склоненіяхъ, и въ спряженіяхъ, а его заслушаешься. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ грамматикѣ не должно было учиться, и чтобъ грамматика была вздорная наука: совсѣмъ напротивъ! Неправильная рѣчь одареннаго способностью хорошо говорить простолюдина была бы еще лучше, еслибъ онъ зналъ грамматику. Дѣло въ томъ только, чтобъ грамматика знала свои границы и слушалась языка, котораго правила объясняетъ: тогда она научитъ правильно и писать, и читать; но все-таки только правильно, не больше: учить же говорить и писать хорошо — совсѣмъ не ея дѣло. Сколько мы догадываемся, на это претендуетъ риторика. Нелѣпость, сущая нелѣпость! Кто готовится въ государственные ораторы,—тотъ пусть изучаетъ рѣчи государственныхъ ораторовъ, слушаетъ ихъ, какъ можно чаще бываетъ въ обществѣ государственныхъ людей; кто готовится въ адвокаты, тотъ пусть не выходитъ изъ судебныхъ мѣстъ, пусть ищетъ общества адвокатовъ; но еще лучше, если тотъ и другой какъ можно чаще сами будутъ пробовать свои силы на избранномъ поприщѣ; кто хочетъ блистать своимъ разговоромъ въ свѣтскомъ обществѣ, тотъ пусть живетъ въ свѣтѣ; кто хочетъ посвятить себя литературѣ, тотъ пусть изучаетъ писателей своего отечества и слѣдитъ за современнымъ движеніемъ литературы. Но и тотъ, и другой, и третій, и четвертый больше всего пусть опасаются риторики! Скажутъ: въ искусствѣ говорить, особенно въ искусствѣ писать есть своя техническая сторона, изученіе которой очень важно. Согласны; но эта сторона нисколько не подлежитъ вѣдѣнію риторики. Ее можно назвать стилистикой, и она должна составить собой дополнительную, окончательную часть грамматики, высшій синтаксисъ, то, что въ старинныхъ латинскихъ грамматикахъ называлось: syntaxis ornata и syntaxis figurata. Этотъ высшій синтаксисъ долженъ заключать въ себѣ главы: 1) о предложеніяхъ и періодахъ, 2) о тропахъ, и 3) объ общихъ качествахъ слога—чистотѣ, ясности, опредѣленности, простотѣ и проч. въ отношеніи къ выраженію. Въ главѣ о предложеніяхъ и періодахъ должны быть объяснены общія, на логическомъ строеніи мысли основанныя формы рѣчи; въ періодѣ должно показать силлогизмъ; надобно обратить особенное вниманіе на то, чтобъ отдѣлить внѣшнюю форму отъ внутренней и научить по возможности избѣгать школьной формы выраженія. Такъ напримѣръ, всякій школьникъ, особенно учившійся по «Риторикѣ» Кошанскаго, необходимой принадлежностью условнаго періода почитаетъ союзы: если, то; надо внушить ему, что условность можетъ заключаться въ періодѣ и безъ если и то, напримѣръ: «скажешь правду, потеряешь дружбу», и что эта послѣдняя форма проще, легче и лучше первой. Въ главѣ о тропахъ не должно гоняться за пошлыми примѣрами или искать ихъ непремѣнно въ сочиненіяхъ извѣстныхъ писателей, но брать ихъ преимущественно въ обыкновенномъ, разговорномъ языкѣ, въ пословицахъ и поговоркахъ. Надо показать ученику, что тропы породила необходимость о́бразнаго выраженія, и что тропы лучше всего объясняютъ и оправдываютъ философское положеніе: «ничего не можетъ быть въ умѣ, чего не было въ чувствѣ». Лучшіе примѣры троповъ должны быть въ такомъ родѣ: «острый умъ, тупая память, слѣды преступленія, имѣть кусокъ хлѣба», и т. п. Что касается до фигуръ, которыя, какъ извѣстно, раздѣляются риторами на «фигуры словъ» и «фигуры мыслей»,—то о нихъ лучше всего совсѣмъ не упоминать. Кто исчислитъ всѣ обороты, всѣ формы одушевленной рѣчи? Развѣ риторы исчислили всѣ фигуры? Нѣтъ, ученіе о фигурахъ ведетъ только къ фразистости. Всѣ правила о фигурахъ совершенно произвольны, потому что выведены изъ частныхъ случаевъ. Что̀ касается до главы «о слогѣ вообще»,—она должна состоять изъ опытныхъ наблюденій, изъ общихъ замѣчаній и отнюдь не должна претендовать на науко-образное изложеніе.

Чтобъ пріучить ученика владѣть фразой и не затрудняться въ выраженіи мысли,—всегда менѣе нужна теорія и всего болѣе практика. Упражняйте его въ переложеніи стиховъ на прозу, а главное—въ переводахъ съ иностранныхъ языковъ. Это истинная и единственная школа стилистики. Борьба между духомъ двухъ различныхъ языковъ, сравненіе средствъ того и другого для выраженія одной и той же мысли, всегдашнее усиліе найти на своемъ языкѣ фразу, вполнѣ соотвѣтствующую фразѣ иностраннаго языка: это всего лучше развяжетъ перо ученика и кромѣ того всего лучше заставитъ его вникнуть въ духъ роднаго языка. Но эти такъ называемые источники изобрѣтенія, эти троники, эти общія мѣста (lieux communs), которыми риторика гордится какъ своимъ истиннымъ и главнымъ содержаніемъ,—все это рѣшительно пустяки, и пустяки вредные, губительные. Мальчику задаютъ сочиненіе на какую-нибудь описательную, а чаще всего отвлеченную тему: велятъ ему или описать весну, зиму, восходъ солнца, или доказать, что лѣность есть мать пороковъ, что порокъ всегда наказывается, а добродѣтель всегда торжествуетъ. Боже великій, какое варварство! Мальчикъ сочинялъ! Мальчикъ — сочинитель! Да знаете ли вы, господа риторы, что мальчикъ, который сочиняетъ, почти то же, что̀ мальчикъ, который куритъ, волочится за женщинами, пьетъ водку?... Во всѣхъ этихъ четырехъ случаяхъ равно губительно упреждается природа искусственнымъ развитіемъ, и мальчишка играетъ роль взрослаго человѣка. Гдѣ ему разсуждать о природѣ, когда вся прелесть, все блаженство его возраста въ томъ и состоитъ, что онъ любитъ природу, не зная какъ и за что̀? А вы заставляете его находить причины его любви къ природѣ и анализировать это чувство. Мальчикъ любитъ своихъ товарищей, съ нѣкоторыми изъ нихъ друженъ—почему?—по простой симпатіи, которая влечетъ человѣка къ человѣку, соединяетъ возрастъ съ возрастомъ,—а вы заставляете его насильно увѣряться, что это происходитъ въ немъ то отъ того, то отъ другого, то отъ нужды въ помощи ближняго, то отъ пользы общаго труда! Что̀ изъ этого выходитъ?—мальчикъ былъ добрый шалунъ, который любилъ своихъ товарищей просто за то, что ему съ ними было весело,—этотъ мальчикъ, искусившійся въ риторикѣ, начинаетъ раздѣлять свое чувство на простое знакомство, на пріязнь и дружбу; дружбы у него является нѣсколько родовъ, и онъ уже по рецептамъ начинаетъ направлять свое расположеніе къ ближнимъ, и его чувство дѣлается искусственно, ложно. Изъ живого, здороваго полнотой чувства ребенка дѣлается рефлектёръ, резонёръ, умникъ, и чѣмъ лучше онъ говоритъ о чувствахъ, тѣмъ бѣднѣе онъ чувствами,—чѣмъ умнѣе онъ на словахъ, тѣмъ пустѣе онъ внутренно. Отъ дружбы недалека любовь,—и вотъ прежде, чѣмъ пробудилась въ немъ неопредѣленная потребность этого чувства, онъ уже знаетъ любовь въ теоріи, говоритъ объ измѣнѣ, ревности и кровавомъ мщеніи. Онъ влюбляется не по невольному влеченію, а по выбору, по рефлексіи, и описываетъ, анализируетъ свое чувство или въ письмѣ къ другу, или въ своемъ дневникѣ, или въ стишонкахъ, которые онъ давно уже кропаетъ. Результатъ всего этого тотъ, что въ мальчишкѣ не остается ничего истиннаго, что онъ весь ложенъ, что непосредственное чувство у него замѣнено прихотью мысли. Прежде, нежели почувствуетъ онъ что-нибудь, онъ назоветъ это, опредѣлитъ. Онъ не живетъ, а разсуждаетъ. И вотъ онъ уже не мальчишка, ему уже двадцать лѣтъ, — и въ этотъ-то счастливый возрастъ полноты жизни онъ—старикъ: на все смотритъ съ презрѣніемъ, съ ироніей; онъ все испыталъ, все узналъ: для него нѣтъ счастья — осталось одно разочарованіе, однѣ погибшія надежды, его настоящее скучно, будущее мрачно. Вотъ оно—нравственное растлѣніе, вотъ оно—развращеніе души и сердца! Конечно много причинъ такому явленію, и смѣшно было бы всю вину взвалить на риторику; но ясно и неопровержимо, что риторика—одна изъ главныхъ причинъ такого грустнаго явленія. Мальчику задаютъ тему: «порокъ наказывается, добродѣтель торжествуетъ». Сочиненіе, въ формѣ хріи или разсужденія, должно быть представлено чрезъ три дня, а иногда и завтра. Что̀ можетъ знать мальчикъ о порокѣ или добродѣтели? для него это—отвлеченныя и неопредѣленныя понятія; въ его умѣ нѣтъ никакого представленія о порокѣ и добродѣтели: что̀ же напишетъ онъ о нихъ? не безпокойтесь—риторика выучитъ его: она дастъ ему волшебные вопросы: кто, что, гдѣ, когда, какъ, почему и т. п., —вопросы, на которые ему стоитъ только отвѣчать, чтобъ по всѣмъ правиламъ науки молоть вздоръ о томъ, чего онъ не знаетъ. Риторика научитъ его брать доводы и доказательства отъ причины, отъ противнаго, отъ подобія, отъ примѣра, отъ свидѣтельства, а потомъ вывести заключеніе. Удивительная школа фразёрства! Ясно, что «риторика есть наука красно писать обо всемъ, чего не знаешь, чего не чувствуешь, чего не понимаешь». Удивительная наука! заику она дѣлаетъ краснобаемъ, дурака—мыслителемъ, нѣмого—ораторомъ. И потому, когда прочтутъ драму, въ которой оболгано сердце человѣческое, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ романъ, въ которомъ оболгана изображаемая въ немъ дѣйствительность, говорятъ: риторика! Когда прочтутъ пустозвонное стихотвореніе безъ чувства и мысли, говорятъ: риторика! Когда услышатъ взяточника, разсуждающаго о благонамѣренности, лицемѣра, разсуждающаго о развращеніи нравовъ, говорятъ: риторика! Словомъ, все ложное, пошлое, всякую форму безъ содержанія, все это называютъ риторикой! Учитесь же, милыя дѣти, риторикѣ: хорошая наука!

Всякая наука должна имѣть опредѣленное, только ей одной принадлежащее содержаніе, она не должна соединять въ себѣ нѣсколькихъ наукъ вдругъ. Такъ какъ наука есть органическое по-

строеніе идеальной сущности предмета, составляющаго ея содержаніе,—то въ ней все должно выходить и развиваться изъ одной мысли, а эта мысль должна быть вполнѣ схвачена ея опредѣленіемъ. Кошанскій даже не позаботился опредѣлить, что̀ такое риторика и какое ея содержаніе. Онъ начинаетъ съ того, что ничто столько не отличаетъ человѣка отъ прочихъ животныхъ, какъ «сила ума» и «даръ слова». До сихъ поръ мы думали, что человѣка отличаетъ отъ животныхъ разумъ, а не сила ума. По опредѣленію Кошанскаго выходитъ, что и у животныхъ есть умъ, только не столь сильный, какъ у человѣка. Сила ума, по мнѣнію Кошанскаго, открывается въ понятіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ, составляющихъ предметъ логики. Даръ слова заключается въ прекраснѣйшей способности выражать чувствованія и мысли, что̀ составляетъ предметъ словесности; а словесность заключаетъ въ себѣ грамматику, риторику и поэзію (поэзія—наука!) и граничитъ съ эстетикой. Потомъ грамматика занимается у Кошанскаго словами; риторика—преимущественно мыслями (которыми недавно занималась у него логика); поэзія—чувствованіями (стало-быть, въ поэзіи нѣтъ мыслей!); въ эстетикѣ хранятся (словно въ архивѣ) мечтательныя начала не только словесныхъ наукъ (грамматики, риторики и поэзіи?..), но и всѣхъ искусствъ изящныхъ...

Скучно говорить о такихъ странностяхъ... виноваты—о такой риторикѣ, т. е. о такомъ наборѣ словъ, лишенныхъ всякаго содержанія, всякаго значенія, всякаго смысла. «Риторика» Кошанскаго, какъ и всѣ риторики, говоритъ и о родахъ прозаическихъ сочиненій, учитъ: какъ писать исторію, какъ писать ученые трактаты, какъ описывать то или другое, какъ писать письма... Что̀ за нелѣпость! Да развѣ всему этому выучиваются? Это все равно, что учить (по книгѣ), какъ вести себя на похоронахъ и какъ держать себя на свадьбѣ, какъ обращаться на балу, и какъ разговаривать на званомъ обѣдѣ. Дайте молодому человѣку прочесть нѣсколько хорошихъ историческихъ сочиненій, познакомьте съ хорошими авторами, между сочиненіями которыхъ есть и описанія, и разсужденія, и письма, и разговоры,—и онъ сейчасъ пойметъ, какъ что̀ пишется. Но вы непремѣнно хотите искажать естественное развитіе, хотите знакомить умъ дѣтей съ предметами, которые не поражали ихъ чувства, — и удивляетесь, что изъ вашихъ учениковъ выходятъ автоматы, которые отлично хорошо знаютъ, какъ что̀ пишется, а сами не умѣютъ ничего написать и не въ состояніи понять и оцѣнить написаннаго другими. Кошанскій, по обычаю всѣхъ риторовъ, отъ Василія Кирилловича Тредьяковскаго, профессора элоквенціи, до риторовъ нашего времени, раздѣляетъ слогъ на высокій, средній и низкій и обстоятельно объясняетъ, какія сочиненія какимъ слогомъ пишутся. Кошанскій забылъ глубокомысленное выраженіе Бюффона: «въ слогѣ —весь человѣкъ», забылъ, что, кромѣ небывалыхъ высокаго, средняго и низкаго слоговъ, есть еще неисчислимое множество дѣйствительно существующихъ слоговъ; есть слогъ Ломоносова, есть слогъ Державина, слогъ Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова, и проч. Онъ забылъ, что слоговъ не три, а столько, сколько было и есть на свѣтѣ даровитыхъ писателей.

И потомъ, что̀ за пустая манера раздѣлять сочиненія на роды по внѣшней формѣ и опредѣлять, какому роду сочиненія какой приличенъ слогъ? Вы были свидѣтелемъ наводненія, разрушившаго городъ: въ вашей волѣ описать его въ формѣ письма или въ формѣ простого разсказа. Слогъ вашего описанія будетъ зависѣть отъ характера впечатлѣнія, которое произвело на васъ это событіе. Какъ можно сказать, какимъ слогомъ должно вамъ написать письмо къ вашему брату о смерти вашего отца. Въ наставленіи о писаніи разсужденій Кошанскій ввелъ логику: жаль, что не включилъ онъ въ свою риторику ни географіи, ни минералогіи!.. Что̀ за нелѣпости пишутся подъ именемъ «риторикъ»!

Всякая риторика есть наука вздорная, пустая, вредная, педантская, остатокъ варварскихъ схоластическихъ временъ; всѣ риторики, сколько мы ни знаемъ ихъ на русскомъ языкѣ, нелѣпы и пошлы; но риторика Кошанскаго перещеголяла ихъ всѣхъ. И эта книга выходитъ уже девятымъ изданіемъ! Сколько же невиннаго народа губила она собой!

Разговоръ. *Стихотвореніе. Ив. Тургенева. (Т. Л.) Спб. 1845 г.*

Имя Тургенева, автора «Параши», еще ново въ нашей литературѣ; однакожъ уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикой. Только истинный, неподдѣльный талантъ могъ быть причиной такого быстраго и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, Тургеневъ—поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не обѣщаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства;

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица *необщимъ* **выраженьемъ.**

Произведенія Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крѣпкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то же время стихъ роскошный и поэтическій, составляетъ не единственное достоинство произведеній Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, ознаменованная печатью дѣйствительности и современности и, какъ мысль даровитой натуры, всегда оригинальная. Поэтому отъ Тургенева многаго можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самобытныхъ и геніальныхъ талантовъ, которые, подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются власти-

телями думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направленіе; но въ его талантѣ есть свой элементъ, своя часть той самобытности, оригинальности, которая, завися отъ натуры, выводитъ талантъ изъ рода обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое вліяніе на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно пріобрѣсти на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта,—и въ то же время почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему «Параша»,—это произведеніе, запечатлѣнное всей свѣжестью, всей яркостью и страстностью и вмѣстѣ съ тѣмъ всей неопредѣленностью перваго опыта,—обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своемъ появленіи и удостоилась не только похвалы однихъ, но и брани другихъ журналовъ,—брани, въ которой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма Тургенева. Сравнивая «Разговоръ» съ «Парашей», нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ «Парашѣ» мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполнѣ совладѣть съ нею; въ «Разговорѣ» основная мысль съ выпуклой и яркой опредѣленностью представляется уму читателя. И между тѣмъ эта мысль не высказана никакой сентенціей: она вся въ изложеніи содержанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это —разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой,—и молодымъ человѣкомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни и нигдѣ, ни въ чемъ не находитъ ея, отравляемый, мучимый какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ внутренней пустоты, тайнаго недовольства собой и жизнью.

Пусть читатели сами прослѣдятъ, въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя вправѣ отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и слѣдовательно чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнью нашего вѣка—апатіей чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли,—всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный поэтическій «Разговоръ» Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается...

Леди Анна (,) *или* **Сирота.** *Дѣтская повѣсть. Съ англійскаго. Съ картинами, рисовачн. Р. Жуковскимъ. Спб. 1845.*

Чтеніе для дѣтей перваго возраста. *Сочиненіе Александры Ишимовой. Спб. 1845.*

«О дѣти! дѣти! какъ опасны ваши лѣта!» Вы такъ слабы физически, такъ слабы нравственно! Сколько у васъ враговъ и явныхъ, и тайныхъ! Вамъ угрожаютъ прорѣзывающіеся у васъ зубы, оспа, корь, скарлатина, крупъ: это ваши враги явные. А сколько у васъ такихъ враговъ, которые отъ искренняго сердца считаютъ себя вашими друзьями: дражайшіе родители, милыя тетеньки, нѣжныя бабушки, кормилицы, нянюшки, учители, учебныя книги и наконецъ эти маленькія книжки съ картинками, которыя издаются для васъ подъ общимъ названіемъ «дѣтскихъ» книгъ. Охъ, эти мнѣ дѣтскія книги! Если у меня будутъ дѣти, и я сдѣлаюсь «дражайшимъ родителемъ», не буду совсѣмъ учить моихъ дѣтей грамотѣ, для того, чтобъ избавить ихъ отъ грамматики и риторики Греча, отъ риторики Кошанскаго, логики Рождественскаго, курса словесности Плаксина и потомъ разныхъ «дѣтскихъ» книгъ съ картинками и безъ оныхъ. Пуще всего сохрани Богъ моихъ дѣтей отъ дѣтскихъ романовъ вродѣ «Семейства» Фредерики Бремеръ и дѣтскихъ повѣстей, драмъ и былей вродѣ тѣхъ, которыя у насъ безпрестанно издаются. Чему научатъ всѣ эти книжки моихъ дѣтей? Любить добродѣтель? Сохрани Боже! Съ этой любовью мои дѣти непремѣнно будутъ нищими... Любить правду? Еще хуже! Нѣтъ, благосклонный читатель! Вы можете воспитывать своихъ дѣтей, какъ вамъ угодно, учить ихъ, какимъ угодно наукамъ, добродѣтелямъ и правдамъ; а я—я буду учить ихъ прежде всего заслуживать себѣ хорошую репутацію и умѣть быть со всѣми въ ладу; только-что они изъ колыбели, я уже буду ихъ посылать къ родственникамъ (которые побогаче и съ вѣсомъ) съ поздравленіемъ въ новый годъ, во всѣ праздники, въ именины, въ день рожденія и т. д. Хоть у меня еще и нѣтъ дѣтей, но я человѣкъ предусмотрительный: я уже купилъ книжку Бурнашева: «Новыя дѣтскія поздравленія, въ стихахъ, съ праздниками. Подарокъ дѣтямъ къ наступающему новому 1839 году на дни рожденія, именинъ, Рождества Христова, Новый годъ и Свѣтлое Воскресенье». Превосходная книжка! Драгоцѣнная книжка! Хотя мои дѣти и не будутъ ее читать (такъ какъ я рѣшился не учить ихъ грамотѣ), но я самъ выучу ее наизусть, а они выучатъ ее наизусть съ моихъ словъ. Равнымъ образомъ я купилъ новое изданіе «Учебной Книги Русской Словесности» Греча и выписалъ изъ нея глубокомысленныя, практической мудростью запечатлѣнныя правила, какъ должно писать письма къ высшимъ себя, равнымъ и низшимъ, и какъ должно подъ ними подписываться. Больше никакихъ книгъ не узнаютъ мои дѣти! Книги, особенно дѣтскія, увѣрили бы ихъ, что добродѣтель — главное дѣло въ жизни, что больше всего надо любить правду, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ всегда наказывается, и каково было бы моимъ дѣтямъ, когда бы они, вышедъ изъ моего дома на дорогу жизни, вдругъ увидѣли бы, что въ свѣтѣ все дѣлается рѣшительно наоборотъ тому, какъ разсказываютъ дѣтскія книжки?... Нѣтъ! что́ ихъ обманывать заранѣе? Зачѣмъ учить тому, чему имъ послѣ надо бу-

детъ разучиваться? Я буду учить ихъ—но не наукамъ, не правиламъ нравственности: человѣкъ добросовѣстный, не лицемѣръ, не лжецъ, я буду учить ихъ играть въ преферансъ и не менѣе важному искусству нравиться людямъ. Я заранѣе убью въ нихъ самую самобытность; добродѣтелью ихъ съ раннихъ лѣтъ будутъ: скромность, аккуратность, бережливость, учтивость, ласковость, веселый видъ, даже когда ихъ бьютъ и унижаютъ... Да, не узнаютъ они никогда, что такое «дѣтскія книги», никогда не прочтутъ они «Леди Анны»... Бѣдная леди Анна! Сколько она вытерпѣла: ее ругали, били, морили голодомъ, холодомъ за то, что она была кротка, послушна, терпѣлива, прилежна, за то, что она не хотѣла обворовывать своихъ благодѣтелей: все точь въ точь, какъ это бываетъ въ жизни! Но она осталась тверда къ добродѣтели, но она нашла своего отца, сдѣлалась богата, знатна, счастлива: точь въ точь, какъ бываетъ это... въ дѣтскихъ книгахъ... А что за прелесть—«Чтеніе для дѣтей перваго возраста» Ишимовой! Какія правила, какая чистѣйшая нравственность, сколько наставленій, и какими разительными примѣрами, взятыми изъ міра... дѣтскихъ книгъ, подкрѣплено все это!... «Леди Анна» — романъ, не лишенный занимательности, безъ сентенцій; книжка Ишимовой, напротивъ, вся наполнена сентенціями; и дѣти могутъ легко набраться изъ нея мудрости на всю свою жизнь, хотя бъ имъ суждены были Мафусаиловы лѣта. «Леди Анна» переведена порядочно, издана недурно; книжка Ишимовой написана хорошимъ русскимъ языкомъ и издана даже очень хорошо.

Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе въ Россіи, *продолженіе* «Князя Скопина Шуйскаго». *Сочиненіе того же автора. Спб. 1845. Четыре части.*

Почти десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ появился въ свѣтъ романъ «Князь Скопинъ Шуйскій», до настоящей минуты, когда появляется продолженіе этого романа: «Прокопій Ляпуновъ, или Междуцарствіе въ Россіи». Десять лѣтъ—много времени, особенно для русской литературы,—это почти цѣлый вѣкъ для нея! Въ самомъ дѣлѣ, какой огромный шагъ впередъ сдѣлала наша литература! Какъ измѣнился вкусъ нашей публики впродолженіе этихъ десяти лѣтъ. Кинемъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе русской литературы. Въ 1830 году явился «Юрій Милославскій»; въ 1831—«Рославлевъ», Загоскина; въ этомъ же году выходятъ двѣ первыя части «Новика», въ 1832—третья, въ 1833—четвертая; въ 1835 году —«Ледяной Домъ», Лажечникова. Въ эти же пять лѣтъ выходятъ романы: «Поѣздка въ Германію», Греча, «Киргисъ-Кайсакъ», Ушакова, «Дочь Купца Жолобова», quasi-Куперовскій сибирскій романъ Калашникова, «Клятва при Гробѣ Господнемъ», Полевого, «Семейство Холмскихъ», «Монастырка», Погорѣльскаго; Вельтманъ открываетъ «Кощеемъ Безсмертнымъ» длинный рядъ своихъ археологически-фантастически-аллегорически-поэтическихъ романовъ; является «Аббадонна» Полевого; выходитъ вторая часть «Дворянскихъ выборовъ» и «Шельменко, волостной писарь», «Были и Небылицы», казака Луганскаго; въ то же время выпускается полное изданіе повѣстей Марлинскаго; Погодинъ перестаетъ писать повѣсти и издаетъ вмѣстѣ всѣ написанныя прежде; Полевой пишетъ «Живописца», «Блаженство Безумія», «Эмму». Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были очень замѣчательны для своего времени, и даже въ слабѣйшихъ изъ нихъ, не исключая ни приторно-сантиментальнаго и скучно-резонернаго «Семейства Холмскихъ», ни ложно-идеальныхъ повѣстей Полевого, есть свои хорошія стороны. Вообще вся эта романическая литература носитъ на себѣ отпечатокъ переходности и нерѣшительности; въ ней виденъ порывъ къ чему-то лучшему противъ прежняго, къ чему-то положительному, но только одинъ порывъ, безъ достиженія. Изъ этого не исключаются и «Повѣсти Бѣлкина», Пушкина, изданныя въ это же время. Въ то же время среди всѣхъ этихъ, болѣе или менѣе однородныхъ, явленій возникла совершенно новая романическая литература, которая не имѣла ничего общаго съ первой и впослѣдствіи окончательно убила ее, давъ всей русской литературѣ совершенно новое направленіе. Въ 1831 году вышла первая, а въ 1832 году вторая часть «Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки»; въ 1835 году напечатаны «Арабески» и «Миргородъ», а въ 1836—«Ревизоръ». Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое огромное вліяніе имѣли эти пропзведенія Гоголя на русскую литературу: только дѣйствительно слѣпые или притворяющіеся слѣпыми могутъ не видѣть и не признавать этого вліянія, вслѣдствіе котораго всѣ молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголемъ, стараясь изображать дѣйствительное, а не въ воображеніи существующее общество; изъ прежнихъ писателей нѣкоторые перемѣнили свое прежнее направленіе, подчинясь новому, данному Гоголемъ; а тѣ, которые не были въ состояніи этого сдѣлать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать безъ всякаго успѣха. Это совершилось въ послѣднія десять лѣтъ. Гоголь не издавалъ ничего послѣ «Ревизора» 1842 года, а дѣло шло своимъ чередомъ, и время лучше всѣхъ критиковъ рѣшило вопросъ. «Мертвыя Души», заслонившія собою все написанное до нихъ даже самимъ Гоголемъ, окончательно рѣшили литературный вопросъ нашей эпохи, упрочивъ торжество новой школы.

«Скопинъ Шуйскій» Шишкиной явился въ 1835 г., когда старая романическая школа уже совершила свой кругъ, а новая, еще не бывъ признанной, уже оказывала сильное вліяніе. Романъ Шишкиной былъ не безъ достоинствъ, особенно для того времени; но онъ далеко не могъ спорить въ достоинствѣ съ романами, которые породили его. Проходитъ десять лѣтъ, все измѣняется въ литературѣ, какъ мы уже сказали объ этомъ; жур-

нальные корифеи начала тридцатыхъ годовъ, «Телеграфъ» и «Телескопъ»,—теперь уже не болѣе, какъ отдаленное воспоминаніе, «дѣла давно минувшихъ дней»; даже «Библіотека для Чтенія», смѣнившая ихъ, уже дожила до глубокой старости; «Отечественныя Записки», долго колебавшіяся въ своемъ направленіи, наконецъ вполнѣ овладѣли имъ, возмужали и укрѣпились; обо многомъ въ это десятилѣтіе было переговорено, переспорено, и во многомъ даже согласились,—словомъ, все измѣнилось; но новый романъ Шишкиной, «Прокопій Ляпуновъ», вышелъ вѣрнымъ 1835 году, такъ что, читая его, не вѣришь 1845 году, выставленному на его заглавіи. Теперь этотъ романъ принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя не производятъ особеннаго впечатлѣнія, слегка похваливаются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тѣмъ онъ не безъ достоинствъ: написанъ правильнымъ и чистымъ языкомъ; разсказъ мѣстами хорошъ; историческая сторона его показываетъ основательное изученіе исторіи,—но нѣтъ творчески очерченныхъ характеровъ, нѣтъ поэтически вѣрнаго проникновенія въ духъ и значеніе исторической эпохи, нѣтъ эстетической жизни. Во многомъ замѣтенъ взглядъ слишкомъ далекій: такъ напримѣръ, въ предисловіи сочинительница, въ доказательство, что нельзя вѣрить безкорыстію Ляпунова, приводитъ, что онъ былъ дурнымъ мужемъ и не всегда трезво велъ себя,—какъ-будто нельзя быть въ одно и то же время и дурнымъ мужемъ, и ревностнымъ патріотомъ? Безъ всякаго сомнѣнія, быть дурнымъ мужемъ—не достоинство, а порокъ; но неужели патріотъ непремѣнно долженъ быть ангеломъ и имѣть всѣ добродѣтели? Если можно быть превосходнѣйшимъ мужемъ и отцомъ и въ то же время вовсе не быть патріотомъ: почему же нельзя быть дурнымъ мужемъ и патріотомъ! Конечно, гораздо лучше быть и хорошимъ мужемъ, и патріотомъ вмѣстѣ, но люди—прежде всего люди, что́ бы ни говорили на этотъ счетъ дамы... Что же касается до нетрезвости, этотъ порокъ въ тотъ вѣкъ не въ одной Россіи, но и во всей Европѣ считался добродѣтелью мужчины: тогда пили не по нынѣшнему и хвалились пьянствомъ, какъ храбростью. Лучшей оцѣнкой новаго романа Шишкиной могутъ служить ея собственныя слова въ предисловіи:

«Сама нерѣдко удивляюсь, какъ рѣшилась я писать историческіе романы. Много требовалось на это трудовъ и терпѣнія, много было мнѣ заботъ и препятствій. Но высокая цѣль оживотворяла меня. Я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божьимъ, желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками и не совсѣмъ справедливой, но великолѣпной картиной не-русскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ читаютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но, читая «Ивангоэ», «Юрія Милославскаго» и имъ подобные историческіе романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту.»

Видите-ли: романы пишутся для пріятнаго развлеченія ума и сердца? «Юрій Милославскій», безъ дальнихъ околичностей, поставленъ рядкомъ съ «Ивангоэ»?... Этимъ все сказано... Какъ дѣйствительно пріятное развлеченіе для ума и сердца... «Прокопій Ляпуновъ» и теперь конечно найдетъ себѣ читателей и даже почитателей,—чего отъ всей души желаемъ мы ему, какъ роману, написанному съ цѣлью, безъ всякаго сомнѣнія, благонамѣренной и похвальной.

Сочиненія Константина Масальскаго. *Спб. Пять частей. 1843, 1844, 1845.*

Давно извѣстная истина: «ничего не ново подъ луною»—ничѣмъ не подтверждается, какъ страстью стариковъ хвалить все старое и бранить все новое и страстью молодыхъ восхищаться всѣмъ новымъ и смѣяться надъ всѣмъ старымъ. Эта страсть современна міру и человѣчеству; она всегда была и всегда будетъ, потому что она въ натурѣ человѣка, потому что она естественна, какъ—наклонность больныхъ и несчастныхъ все видѣть въ мрачномъ свѣтѣ и наклонность здоровыхъ и счастливыхъ все видѣть въ радужномъ свѣтѣ. Старость стóитъ болѣзни и несчастья такъ же, какъ молодость стóитъ здоровья и счастья; по крайней мѣрѣ по большей части, и только за рѣдкими исключеніями, старость и несчастье, молодость и счастье—синонимы. Каждый человѣкъ—больше или меньше эгоистъ по своей натурѣ: обо всемъ, что́ до него не касается, онъ судитъ по отношенію къ самому себѣ. Здоровый, онъ, видя больныхъ, какъ-будто удивляется, что можно быть больнымъ; счастливый, онъ какъ-будто думаетъ, что всѣ должны быть счастливы; больной, онъ оскорбляется видомъ здоровья; несчастный, онъ готовъ видѣть насмѣшку надъ собой во всемъ, что́ дышитъ счастьемъ... Молодость есть лучшее время жизни каждаго человѣка такъ же, какъ старость худшее,—это аксіома. Ни обольщенія сухого и мелкаго честолюбія, ни приманки блестящихъ почестей, ни богатство, ни роскошь въ старости — ничто не замѣнитъ мечтаній, надеждъ, упоеній и даже горестей страстной, живой, увлекающейся, гордой собой, сильной и отважной юности! Удивительно ли, что все хорошее старики относятъ къ своему времени? Эгоисты поневолѣ, они думаютъ, что для всѣхъ должно казаться прекраснымъ только то, что было дѣйствительно прекрасно для нихъ, что всѣхъ должно тѣшить и обманывать только то, что́ тѣшило и обманывало ихъ,—какъ-будто бы міръ ими начался, ими и долженъ кончиться,—какъ будто бы молодыя поколѣнія обязаны жить ихъ жизнью, видѣть ихъ глазами, понимать ихъ умомъ, и этимъ самымъ сознаться, что напрасно природа дала

имъ глаза и умъ, и напрасно призваны они къ жизни! Когда же старцы замѣчаютъ наконецъ, что у молодыхъ поколѣній есть свои глаза и свой умъ, свои радости и свои горести, свои понятія и свои убѣжденія, которыя не совсѣмъ похожи, а иногда и вовсе не похожи, на радости и горести, на понятія и убѣжденія ихъ, старцевъ,— тогда они видятъ въ людяхъ молодого поколѣнія апостатовъ, еретиковъ, чуть-чуть не бунтовщиковъ. И тогда-то градомъ сыплются на молодыя поколѣнія упреки въ безнравственности, въ вольнодумствѣ, въ самонадѣянности; клюка старческой морали грозитъ ослушникамъ, безпрестанно выпадая изъ слабыхъ рукъ; нерѣдко льются изъ дрожащихъ устъ старческія поученія, прерываемыя кашлемъ и... смѣхомъ новыхъ поколѣній... Съ своей стороны, новыя поколѣнія бываютъ подвержены своей слабости—видѣть все прекрасное, умное, достойное удивленія только въ новомъ и современномъ, ожидать чудесъ только отъ будущаго, а на старое и прошедшее смотрѣть съ равнодушіемъ и даже съ насмѣшкой. Но, видно, обѣ эти крайности равно неизбѣжны; однакожъ нельзя не согласиться, что гораздо больше справедливости на сторонѣ молодыхъ поколѣній даже и тогда, когда они явно несправедливы, — потому самъ духъ жизни, ведущій человѣчество, всегда на сторонѣ новаго противъ стараго; потому что безъ этого исключительнаго односторонняго стремленія всегда къ новому, всегда къ будущему не было бы никакого движенія, никакого хода впередъ, не было бы прогресса, исторіи, жизни, и человѣчество привратилось бы въ огромное стадо дикихъ животныхъ. Для того и не вѣченъ человѣкъ, для того и долженъ онъ старѣть, дряхлѣть и умирать, для того и смѣняется одно поколѣніе другимъ,—словомъ, люди умираютъ для того, чтобъ жило человѣчество. Смерть есть великое орудіе, великая опора жизни... У новыхъ поколѣній бываютъ вожди, которые ведутъ ихъ по пути развитія; но самодѣятельная сила развитія до того присуща самой натурѣ человѣка, что развитіе обществъ совершается даже и тогда, когда не является новыхъ вождей. Это дѣлается очень просто: Богъ знаетъ какъ и почему, но только у новаго поколѣнія являются новые вкусы, наклонности, понятія, какихъ не было у стараго, хотя это старое поколѣніе, воспитывая новое, больше всего старалось сдѣлать его похожимъ на себя, какъ двѣ капли воды... Этотъ родъ прогресса самый прочный и несокрушимый и неодолимый: противъ него нѣтъ никакихъ мѣръ; въ отношеніи къ старымъ поколѣніямъ онъ— врагъ тѣмъ болѣе страшный, что невидимъ, на него нельзя указать, его нельзя разить; онъ не лицо, не образъ: онъ—духъ, въ воздухѣ, въ водѣ, въ пищѣ; ему равно служатъ и тѣ, которые любятъ его, и тѣ, которые ненавидятъ; для него все средство къ успѣху,—даже моды на платья, на мебель... потому что у китайцевъ не существуетъ даже модъ; но зато у китайцевъ нѣтъ молодыхъ поколѣній: каждый человѣкъ дѣлается тамъ старикомъ, лишь только успѣетъ родиться...

Самолюбіе играетъ большую (и чуть ли даже не главную) роль въ нерасположеніи стариковъ ко всему новому. Видя, что все на свѣтѣ идетъ и дѣлается не такъ, какъ бы имъ хотѣлось, не такъ, какъ все шло и дѣлалось въ ихъ время, старики обижаются и говорятъ юношамъ: «что же мы глупѣе васъ, а вы умнѣе насъ? Развѣ мы затѣмъ прожили вѣкъ свой, набирались уму-разуму, богатѣли мудрой опытностью, чтобъ на старости лѣтъ неопытные мальчики вздумали учить насъ?» Люди молодого поколѣнія должны были бы отвѣчать на это старикамъ: «каждый изъ насъ, отдѣльно взятый, можетъ быть менѣе опытенъ и мудръ, нежели каждый изъ васъ отдѣльно взятый; но наше молодое поколѣніе и опытнѣе, и мудрѣе вашего, потому что оно старше вашего, и къ вашей опытности приложили свою собственную». Но, къ сожалѣнію, молодые люди такъ же имѣютъ свои молодые слабости и недостатки, какъ старые люди имѣютъ свои старые слабости и недостатки, и почти каждый юноша готовъ смотрѣть на старика, какъ на ребенка, а на себя, какъ на взрослаго человѣка, не понимая, что вся его заслуга и все преимущество передъ старикомъ состоитъ только въ томъ, что онъ позже его родился, и что это вѣдь совсѣмъ не заслуга... И такъ, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы въ отношеніи къ молодымъ, а молодые всегда правы въ отношеніи къ старикамъ. Но борьба между ними не прекращается ни на минуту, и одно время рѣшаетъ безъ лицепріятія, кто правъ, кто виноватъ, хотя немногіе доживаютъ до рѣшенія своей тяжбы, и старики по большей части умираютъ съ убѣжденіемъ, что они правы, что ихъ тяжба выиграна, и что горе новому поколѣнію, которое пошло своей новой дорогой... Какъ бы то ни было, только самолюбіе играетъ чуть ли не главную роль въ этой вѣчной распрѣ. Это особенно замѣтно въ умственныхъ сферахъ, въ которыхъ борьба сильнѣе и живѣе, какъ напр. въ сферѣ литературной. Здѣсь самолюбіе дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что вопросъ идетъ не объ одной физической старости, не объ одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти за-живо. Въ лѣта молодости, способности человѣка дѣятельны и живы, душа его воспріимчива для впечатлѣній; въ лѣта возмужалости — впечатлѣнія молодости дѣлаются, такъ сказать, нравственнымъ капиталомъ человѣка, процентами съ котораго онъ живетъ и въ старости. Большей частью люди совершенно опредѣляются въ тридцать лѣтъ и считаютъ за истинное и прекрасное только то, что́ успѣли признать они истиннымъ и прекраснымъ до тридцатилѣтняго возраста ихъ жизни, подъ вліяніемъ своихъ первыхъ впечатлѣній, и не признаютъ никакой истины, которая явится, когда они перейдутъ за роковую черту своихъ тридцати лѣтъ. Такъ на Руси и теперь еще есть люди, которые безъ

ума отъ стиховъ Державина и которые косо смотрятъ на стихи Жуковскаго, видя въ Жуковскомъ новаго писателя, хотя этотъ новый писатель пишетъ уже болѣе сорока лѣтъ. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина въ то время, когда ихъ способность воспріемлемости была въ полной своей силѣ; когда же явился Жуковскій, ихъ душа уже закрылась для впечатлѣній: они уже не могли принять откровенной новой поэзіи всей полнотой своего существа. Идея и форма Державинской поэзіи до того овладѣли ихъ умомъ, что для нихъ поэзіей казалось только то, что походило на стихи Державина. Но какъ произведенія Жуковскаго нисколько не походили на оды Державина, то они и не могли признать въ Жуковскомъ поэта. Такимъ образомъ имъ невозможно было безъ досады видѣть, что другіе восхищаются Жуковскимъ, и на всѣхъ этихъ другихъ они стали смотрѣть, какъ на людей съ дурнымъ вкусомъ, какъ на людей заблуждающихся, потому что самолюбіе человѣческое всегда готово оправдать себя насчетъ другихъ и собственную свою ограниченность растолковать себѣ, какъ чужую ошибку, чужое заблужденіе. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, тяжело же сознаться, что мы отстали, что наше время прошло; и вѣдь не переучиваться же стать въ почтенныя лѣта... Кто не помнитъ, какой шумъ, какіе споры, какую борьбу возбудило появленіе Пушкина! Старцы (и старые, и молодые) съ такимъ ожесточеніемъ оспаривали поэтическое достоинство первыхъ произведеній Пушкина, какъ будто-бы дѣло шло о ихъ жизни и смерти. И дѣйствительно, дѣло шло ни больше, ни меньше, какъ о ихъ жизни и смерти—только нравственной, а не физической. Такихъ старичковъ теперь осталось мало, да и тѣ пріумолкли, а нѣкоторые даже, притерпѣвшись и привыкши къ славѣ Пушкина, на-слово повѣрили ея дѣйствительности. Но вотъ примѣръ свѣжѣе: кому не извѣстно, съ какимъ ожесточеніемъ встрѣтили старцы талантъ Гоголя? И до сихъ поръ еще бранятъ они его, даже подражая ему, чтобъ добиться какого-нибудь успѣха, —и бранятъ его даже въ тѣхъ самыхъ своихъ изданіяхъ, въ которыхъ такъ безуспѣшно подражаютъ ему... И это ожесточеніе противъ—можно смѣло сказать—геніальнаго писателя очень понятно. Всѣ люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотятъ казаться талантливыми тамъ, гдѣ имъ всего болѣе отказано въ талантѣ, и преимущественно люди съ мелкими способностями и дарованіями, которые когда-то воспользовались мгновеннымъ успѣхомъ. Переживъ свои сочиненія, нѣкогда имѣвшія какой-нибудь успѣхъ, видя, что ихъ новыя попытки возбуждаютъ только смѣхъ, въ отчаяніи, что они не могутъ поддѣлаться подъ писателя, увлекшаго за собой всю литературу, всю публику, въ досадѣ, что они не могутъ даже понять ни смысла, ни достоинства его сочиненій, эти горе-богатыри по-неволѣ раздражаются противъ него и вступаютъ съ его славой въ неравную для нихъ борьбу. Они со слезами на глазахъ и съ бранью на устахъ клянутся публикѣ, что это писатель безъ таланта, безъ вкуса, что онъ не знаетъ грамматики, тогда какъ они сами—первые грамотѣи; что онъ рисуетъ одну грязь, тогда какъ они изображаютъ одну добродѣтель и благонамѣренность, которыми преисполнены ихъ сердца. Но публика ихъ не слушаетъ, сочиненій ихъ не читаетъ, а преслѣдуемый ими авторъ какъ будто и не подозрѣваетъ ихъ существованія, идя своей дорогой и не замѣчая ихъ воплей. Что имъ дѣлать?—Не знаемъ, право, что они теперь дѣлаютъ или что будутъ дѣлать; но вотъ уже давно, какъ слышимъ жалобы на то, что современные писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно толстые, искажаютъ и губятъ русскій языкъ, и что остается только средство спасти его отъ гибели—начать подражать Карамзину, строго держась его слога и орѳографіи... Съ особеннымъ жаромъ приглашаются къ этому молодые и подающіе надежды писатели. Нужно ли говорить, что приглашающіе давно уже не принадлежатъ къ числу молодыхъ, и еще менѣе къ числу писателей, подающихъ надежды?.. И это пишется и печатается въ наше время!.. Подражать Карамзину въ слогѣ, держаться его орѳографіи! Ужъ не лучше ли обратиться къ Ломоносову и его избрать образцомъ!.. Что Карамзинъ справедливо названъ преобразователемъ русскаго языка, русской прозы, что онъ оказалъ русской литературѣ такого рода услуги, которыя никогда не забываются, —все это аксіомы. Но въ то же время нѣтъ никакого сомнѣнія, что достоинство его сочиненій теперь имѣетъ чисто историческое значеніе, тогда какъ въ свое время оно имѣло значеніе не только литературное, но и художественное. Теперь «Бѣдную Лизу» и «Марѳу Посадницу» можно читать не для эстетическаго наслажденія, а какъ историческій памятникъ литературы чуждой намъ эпохи; теперь на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же чувствомъ, какъ смотрятъ на портреты дѣдушекъ и бабушекъ, наслаждаясь добродушнымъ выраженіемъ ихъ лицъ и оригинальностью ихъ стариннаго костюма. Пусть укажутъ намъ старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой интересъ. Какъ же, спрашиваемъ мы, подражать произведеніямъ, которыя были безусловно хороши только для того времени, когда были писаны? Карамзинъ преобразовалъ русскую прозу, и въ этомъ его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразованія состояли совсѣмъ не въ томъ, что онъ далъ вѣчные образцы прозы, а въ томъ, что онъ далъ возможность явившимся послѣ него писателямъ опередить его на этомъ поприщѣ, имъ же открытомъ. До Карамзина русская проза не переставала скрипѣть тяжелыми Ломоносовскими періодами; Карамзинъ вывелъ ее изъ этого заколдованнаго круга на большую дорогу, и она пошла, ужъ больше не нуждаясь въ его исключительномъ руководствѣ. Отъ латинско-нѣмецкой

конструкціи, столь несвойственной русскому языку, онъ обратилъ ее къ французской конструкціи, болѣе ему свойственной, и чрезъ это далъ средства русскому языку, бывшему обезьяной то латинско-славяно-нѣмецкаго, то французскаго, сдѣлаться со временемъ совершенно русскимъ языкомъ. Но языкъ самого Карамзина далеко не-русскій: онъ правиленъ, какъ всеобщая грамматика безъ исключеній и особенностей, лишенъ руссизмовъ или этихъ чисто-русскихъ оборотовъ, которые одни даютъ выраженіе и опредѣленность, и силу, и живописность. Русскій языкъ Карамзина относится къ настоящему русскому языку, какъ латинскій языкъ, на которомъ писали ученые среднихъ вѣковъ,—къ латинскому языку, на которомъ писали Цицеронъ, Саллюстій, Горацій и Тацитъ; узнавъ въ совершенствѣ первый, можно совсѣмъ не знать второго; легко понимая первый, можно совсѣмъ не понимать второго. Языкъ мелкихъ сочиненій Карамзина, говорятъ, гораздо ниже языка, которымъ писана «Исторія Государства Россійскаго», и который, будто бы, есть вѣчный образецъ русскаго языка, русскаго слога. Это едва ли справедливо. Если что́ особенно хорошо въ «Исторіи» Карамзина, это—изложеніе событій, умѣнье разсказывать. Но слогъ этой «Исторіи» какой-то академическій, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, отдѣланный, ритмическій, нѣвучій, съ прилагательными послѣ существительныхъ. Карамзинъ употребляетъ часто слова лѣтописей, старается проникнуть свой слогъ ихъ духомъ, но остается при одномъ усиліи. Нѣтъ спора, что всякій, кто хочетъ быть писателемъ, долженъ читать старыхъ авторовъ для изученія отечественнаго языка; но утверждать, что онъ долженъ подражать кому-нибудь изъ писателей, особенно старыхъ,—это верхъ нелѣпости. Мы не разъ имѣли случай изъявлять удивленіе, какимъ образомъ поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не былъ поэтомъ, хотя и писалъ стихи, и сочинялъ повѣсти? И какое изъ его произведеній могли бы они взять себѣ за образецъ—«Бѣдную Лизу» или «Мароу Посадницу»?.. Хорошіе образцы для нашаго времени—нечего сказать! Въ такомъ случаѣ, почему же не начать подражать «Россіадѣ»? Интересно знать, какую бы поэму написалъ Лермонтовъ, еслибы взялъ себѣ за образецъ «Россіаду», какой бы романъ написалъ онъ, еслибы взялъ себѣ за образецъ «Кадма и Гармонію»?... Давайте же подражать старымъ писателямъ; давайте жить заднимъ умомъ, давайте ходить раковой манерой,—далеко уйдемъ!... Подражать! Да развѣ можно и должно кому нибудь подражать? Развѣ подражаніе произвело хоть одного порядочнаго писателя? Развѣ оно подкрѣпило чей-нибудь талантъ! Развѣ, напротивъ, оно не портило, не ослабляло и дѣйствительно сильныхъ талантовъ? Развѣ это не аксіома въ наше время? Развѣ вопросъ о подражательности не рѣшенъ давнымъ давно? Развѣ совѣтовать подражать не значитъ—подвергаться тому, что по-французски называется ridicule, и для выраженія чего нѣтъ равносильнаго русскаго слова?... Подражать—значитъ жить чужимъ умомъ, чужими мыслями, чужимъ талантомъ. Имѣть нужду въ подражаніи значитъ—не имѣть нисколько таланта, при сильной охотѣ марать бумагу... Но зачѣмъ же наши старцы такъ настоятельно совѣтуютъ подражать?—Затѣмъ, чтобъ никто не писалъ такъ, какъ пишетъ Гоголь... А! это другое дѣло!

Вотъ такъ, напримѣръ, хвалятъ они сочиненія Масальскаго: «Регентство Бирона», «Осада Углича», «Русскій Икаръ», «Донъ-Кихотъ XIX вѣка», «Стрѣльцы», «Черный Ящикъ», «Граница 1616 г.», «Бородолюбіе», «Терпи казакъ, атаманъ будешь» (повѣсть въ стихахъ), нѣсколько мелкихъ статей въ прозѣ и нѣсколько десятковъ стихотвореній, заключающихся въ этихъ пяти томахъ, написаны чистымъ, правильнымъ языкомъ, вмѣщаютъ въ себѣ умъ, чувство и познаніе исторіи, и представляютъ вѣрные очерки эпохъ и характеровъ. У К. П. Масальскаго нѣтъ такихъ остроумныхъ сочиненій, какъ напримѣръ «сапоги въ сиятку и т. п.». И мы не можемъ не похвалить Масальскаго за то, что онъ не употребляетъ нѣкоторыхъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ,—такъ же точно, какъ не можемъ не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они въ своихъ трагедіяхъ не выводили, подобно Шекспиру, ни публичныхъ женщинъ, ни пьяныхъ мужиковъ, ни развратниковъ дурного тона вродѣ Фальстафа: на что́ могъ осмѣливаться великій Шекспиръ, за то не слѣдовало браться мелкимъ подражателямъ Корнеля и Расина, потому что у нихъ непремѣнно вышло бы пошло, отвратительно и безсмысленно то, что́ у Шекспира живописно, поучительно и исполнено глубокаго смысла! Но, по мнѣнію нашихъ критическихъ patres conscripti, Масальскій потому не употреблялъ выраженій, употребляемыхъ Гоголемъ, что «онъ (Масальскій) въ языкѣ придерживается грамматики Греча, а въ изящномъ вкусѣ не отступаетъ отъ образцовъ, представленныхъ намъ Карамзинымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ, Батюшковымъ». Но тщетно сталъ бы кто-нибудь искать въ сочиненіяхъ Масальскаго чего-нибудь, кромѣ твердаго знанія грамматики Греча! Сочиненія Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени: сочиненія Масальскаго не были не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, въ которое началъ писать Карамзинъ, потому что въ сочиненіяхъ Карамзина есть талантъ, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нѣтъ и слѣдовъ въ сочиненіяхъ Масальскаго. Жуковскій... но скажите, ради здраваго смысла, можетъ ли существовать какое нибудь отношеніе между стихами переводчика «Іоанны д'Аркъ» Шиллера и «Шильйонскаго Узника» Байрона и между—хоть вотъ этими виршами Масальскаго?

Оселъ широкой нивой
Въ раздумьи важно брелъ,
И вдругъ свирѣль подъ ивой
По случаю нашелъ.

Любуяся находкой,
Онъ сталъ ее лизать,
И на нее всей глоткой
По случаю дышать.
Оселъ не понимаетъ,
Что̀ переливъ, что̀ трель;
Лишь дышитъ, и играетъ
По случаю свирѣль.
Какъ на осла, бываетъ
На всякаго смѣшно,
Кто сдуру поступаетъ
По случаю смѣшно.

Послѣ этого мы можемъ себя уволить отъ всякихъ параллелей между Масальскимъ и Батюшковымъ, и особенно Пушкинымъ. Можетъ-быть Масальскій и подражалъ имъ; но тѣмъ не менѣе все ихъ осталось при нихъ, а въ сочиненіяхъ Масальскаго ничего не осталось. Что́-жъ толку подражать? Кому нечего сказать своего, тому всего лучше молчать. Кто захочетъ послушать Пушкина, тотъ обратится къ нему, а не къ его подражателямъ. Какъ бы ни малъ былъ чей-нибудь талантъ, но онъ сто́итъ вниманія, если не подражаетъ, а говоритъ свое. И вотъ почему могло имѣть большой успѣхъ такое произведеніе, какъ напримѣръ «Юрій Милославскій». Въ немъ есть оригинальность; оно имѣло подражателей, но само никому не подражало. Впослѣдствіи авторъ этого романа, Загоскинъ, сталъ подражать своему первому произведенію, — что́ же вышло? всѣ послѣдующіе романы Загоскина оказались ниже посредственности и не имѣли успѣха. Вотъ каково подражать кому-нибудь, даже самому себѣ, и чему-нибудь, даже собственному своему сочиненію... Масальскій подражалъ не Карамзину, не Батюшкову, не Жуковскому, не Пушкину, а нѣкоторымъ изъ русскихъ романистовъ, явившихся въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія; но они ничего не дали его подражательнымъ сочиненіямъ — даже способности быть забавно неудачными, и потому эти сочиненія скучно и усыпительно неудачны. Сочинитель берется изображать то эпоху Петра Великаго, то регентство Бирона, то наше время, хочетъ быть высокимъ, патетическимъ, юмористическимъ, забавнымъ, хочетъ трогать и смѣшить,—и только усыпляетъ...

Скажутъ: это ли разборъ писателя, написавшаго пять томовъ? Наговорить о старыхъ и молодыхъ поколѣніяхъ, о Карамзинѣ, о Гоголѣ—развѣ это значитъ критиковать сочиненія, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ статьи? Отвѣчаемъ на это: русская литература и русская публика уже выросли и возмужали на столько, чтобъ рецензентъ нашего времени могъ уволить себя и своихъ читателей отъ серьезныхъ доказательствъ, что скучная книга скучна, а бездарность бездарна. Лучше по поводу подобныхъ сочиненій поговорить о чемъ-нибудь такомъ, о чемъ сто́итъ говорить. Удивительно-ли, что въ наше время, о чемъ бы ни сталъ писать рецензентъ, непремѣнно начнетъ бранить или хвалить «Мертвыя Души»? Есть произведенія, которыя наполняютъ шумомъ своего появленія цѣлую эпоху, оставляя послѣ себя глубокій и долгій слѣдъ... И есть произведенія, о которыхъ нечего сказать, даже и тогда, какъ заговорятъ о нихъ,— которыхъ нельзя ни бранить, ни хвалить...

Миръ вамъ, бѣдныя дѣти безпокойной охоты къ сочинительству, почивайте спокойно!...

Метеоръ, *на 1845 годъ. Спб.*

Наша стихотворная поэзія по справедливости можетъ гордиться созданіями истинно изящными, именами истинно геніальными; нельзя сказать, чтобъ она бѣдна была и талантами. Она совершила циклъ полный и законченный, — такъ что теперь уже нѣтъ возможности доставать славу невинными стишками, какъ бы они хороши ни были. Таланта для этого мало: нужна геніальность, а если и талантъ, то соединенный съ большимъ умомъ, съ сильной натурой. Быть поэтомъ теперь значитъ — мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобъ быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться, не грезы праздношатающейся фантазіи, не выписныя чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствіе съ вопросами современной дѣйствительности. Поэзія, которой корни находятся въ прихотяхъ, скорбяхъ или радостяхъ самолюбивой личности, посящейся, какъ курица съ яйцомъ, съ своими прекрасными чувствами, до которыхъ никому нѣтъ дѣла, — такая поэзія, вмѣсто вниманія, заслуживаетъ презрѣнія. Всякая поэзія, которой корни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, которая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя ее, — есть дѣло отъ бездѣлья, невинное, но пустое препровожденіе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ людей... Давно уже утвердилось мнѣніе и существуетъ до сихъ поръ, что поэтъ—пустой человѣкъ, неспособный ни къ какому дѣлу. Это мнѣніе варварски ложно, когда оно прилагается къ поэтамъ или геніальнымъ, или проявившимъ въ своихъ твореніяхъ положительный, никакому сомнѣнію неподлежащій талантъ, — талантъ, запечатлѣнный оригинальностью идеи, самобытностью формы. Пусть такой поэтъ и дѣйствительно неспособенъ ни къ какому другому дѣлу: онъ имѣетъ на это полное право, потому что способенъ къ своему дѣлу, для котораго годятся не всѣ, но одинъ изъ ста тысячъ, если не изъ милліона людей. Это мнѣніе страшно истинно, когда оно прилагается къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ сочиненія, какъ говорится, только что недурны, и которые, ставъ выше бездарности, все-таки не дошли до таланта. Такіе поэты—самые жалкіе люди въ мірѣ, и конечно всякій водовозъ, всякій дворникъ, на лѣстницѣ общественной іерархіи, есть почтенное существо въ сравненіи съ этими писклявыми и крикливыми воробьями царства поэзіи, потому что водовозъ и дворникъ полезны и необходимы для общества. Совершенно бездарный поэтъ лучше маленькихъ талантиковъ: на него по крайней мѣрѣ можно смотрѣть какъ на больного или по-

мѣшаннаго, и онъ рѣдко заносится и зазнается, не балуемый мелочными успѣхами. Но маленькіе талантики — несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые. Они не знаютъ, какъ и оцѣнить себя; ихъ чувствованьица, ихъ фантазійки, ихъ мыслишки кажутся имъ великими открытіями. Они и не догадываются, что все это у нихъ краденое, т. е. вычитанное или, какъ превосходно выразилъ это Лермонтовъ, «плѣнной мысли раздраженье». Они увѣрены, что только одни они и чувствуютъ, и мыслятъ, и страдаютъ,— и потому нещадно бранятъ толпу, которая предпочитаетъ свои домашнія заботы и личныя выгоды ихъ хорошенькимъ стишкамъ. Къ дѣлу они не способны ни къ какому, потому что самолюбивы, надуты, тщеславны, все, кромѣ стишковъ, считаютъ ниже себя, не хотятъ ничему учиться, ни на что̀ посмотрѣть со вниманіемъ. Они — изволите видѣть—геніи, толпа должна видѣть ореолъ надъ ихъ головами, а на челѣ звѣзду безсмертія. Такихъ поэтовъ надо преслѣдовать критикѣ неутомимо и строго; они вреднѣе вовсе бездарныхъ, которые не сто̀ятъ никакого вниманія; они подаютъ дурной примѣръ молодежи: соблазняя мальчиковъ дешево покупаемой славой, они отвлекаютъ ихъ отъ ученія и отъ дѣла.

И на что̀ намъ они, эти пріятные поэты, эти маленькіе талантики? Что̀ въ нихъ? Было время, и они были полезны и нужны! Но теперь, когда Пушкинъ и Лермонтовъ показали намъ образцы высокой поэзіи; когда менѣе сильные таланты разработали ея поле, подали примѣръ всѣхъ формъ, даже всѣхъ уклоненій и странностей поэзіи,—теперь, что дѣлать мелкимъ талантамъ? Вздумаетъ ли талантикъ писать басни,—кто же его станетъ читать послѣ Крылова, и въ состояніи ли онъ быть для своего времени тѣмъ, чѣмъ для своего были Хемницеръ и Дмитріевъ? Вздумаетъ ли онъ напримѣръ попробовать свои силы въ классическо-французской трагедіи,—ему непремѣнно нужно для своего времени стать хоть тѣмъ, чѣмъ для своего былъ Озеровъ. Рѣшиться на борьбу съ Батюшковымъ еще менѣе возможно для него. Пуститься развѣ въ романтизмъ? — но тогда надо крѣпко помнить, что вѣдь у насъ есть Жуковскій. Стало-быть, нѣтъ надежды и на возобновленіе старины. Возможность комедіи въ стихахъ убита Грибоѣдовымъ. Пѣть буйныя плотскія потѣхи?—но это уже сдѣлалъ Языковъ. Пуститься въ дикую оригинальность—мѣшаетъ Бенедиктовъ. И такъ, ни стараго возобновить, ни новаго изобрѣсти: что̀ же дѣлать?.. Всего лучше ничего не дѣлать.

Но мы заговорили и забыли о «Метеорѣ»; возвратимся къ нему. Онъ украшенъ стихами графини Растопчиной, Майкова, Бенедиктова, Мейснера, Познанскаго, Шевцова, Степанова, Якубовича, Филимонова, Дурова, Протопопова, Пальма, Бернета, Доводчикова, Огородникова, Григорьева, Гребенки, Гербаловскаго, Соколовскаго.... Сколько именъ! Мы теперь столько же богаты поэтами, сколько бѣдны поэзіей. Особенно яркаго, рѣзко выдающагося изъ подъ уровня обыкновенности въ «Метеорѣ» нѣтъ ничего...

Типы современныхъ нравовъ, *представленные въ иллюстрированныхъ повѣстяхъ и разсказахъ, издаваемыхъ подъ редакціей Николая Кирилова. Спб. 1845.*

Эта книжка, красиво изданная съ хорошенькими политипажами, состоитъ изъ одного разсказа: «Тертый Калачъ, сцены изъ провинціальной жизни». Въ этомъ разсказѣ есть довольно забавныя черты и можетъ-быть много правды; но въ немъ вовсе нѣтъ типовъ: отъ этого очень скучно читать его. Многіе думаютъ, что писать въ юмористическомъ родѣ ничего не значитъ; такъ-де вотъ возьми и списывай съ природы. Конечно выйдетъ хорошо, если кто умѣетъ хорошо списывать съ природы; и это тоже талантъ своего рода, хотя и талантъ низшій. Ужъ кто лучше дагерротипа списываетъ?—а между-тѣмъ, какъ далеко ниже сколько нибудь порядочнаго живописца самый лучшій дагерротипъ! И потому, повторяемъ: хорошо, если кто умѣетъ быть хорошимъ дагерротипомъ въ литературѣ, но несравненно лучше и почетнѣе быть въ литературѣ живописцемъ. Міръ пошлой повседневности, міръ прозы жизни для своего воспроизведенія такъ же требуетъ вдохновенія, творчества, таланта и генія, какъ и міръ великихъ характеровъ, дѣяній и страстей. И потому фламандская школа живописи сто̀итъ всякой другой. Но зато, когда у писателя нѣтъ способности быть даже дагерротипомъ,— простое списываніе съ природы бываетъ у него очень отвратительно: въ высокомъ и патетическомъ оно переходитъ у него въ сантиментальность и надутость; въ комическомъ и юмористическомъ—въ пошлость и тривіальность,—и въ обоихъ случаяхъ равно никогда не имѣетъ никакого сходства съ изображаемой природой. Къ такому роду рабскихъ снимковъ съ натуры принадлежитъ «Тертый Калачъ»: въ немъ можетъ быть узнаютъ себя пять или шесть человѣкъ во всей Россіи, но больше никто не узнаетъ, и эта книжка можетъ возбудить интересъ только въ томъ мѣстѣ, гдѣ живутъ оригиналы ея, потому что въ ней нѣтъ ничего общаго, типическаго, хотя она и претендуетъ на типы...

Краткая исторія крестовыхъ походовъ. *Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1845.*

Нѣмецкій подлинникъ этой «исторіи» принадлежитъ къ собранію исторій разныхъ государствъ, извѣстному подъ именемъ «Всеобщей Исторической Карманной Библіотеки». «Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ» переведена была лѣтъ за восемь передъ этимъ; но какъ ея переводчикъ узналъ, что Погодинъ издаетъ въ Москвѣ переводъ всего этого сборника подъ именемъ «Всеобщей Исторической Библіотеки»,—то и оставилъ намѣреніе печатать трудъ свой. Погодинъ издалъ исторію Неаполя, Пруссіи,

Швеціи, да на томъ и остановился. Видя, что предпріятію Погодина не суждено дойти до вожделѣннаго конца, переводчикъ «Краткой Исторіи Крестовыхъ Походовъ» наконецъ рѣшился издать въ свѣтъ свой переводъ. Нельзя не согласиться, что этимъ оказалъ онъ большую услугу русской литературѣ. «Исторія Крестовыхъ Походовъ» Мишо, весьма плохо переведенная на русскій языкъ, очень обширна, и поэтому именно не уничтожаетъ потребности въ болѣе краткомъ сочиненіи о томъ же предметѣ. Сверхъ того переводчикъ не просто переводилъ, но частью и передѣлывалъ. «Такъ какъ (говоритъ онъ въ предисловіи) въ разработкѣ исторіи крестовыхъ походовъ въ новѣйшее время, особенно на нѣмецкомъ языкѣ, изслѣдованія значительно подвинулись впередъ, то переводчикъ почелъ себя вправѣ и даже обязаннымъ воспользоваться нѣкоторыми изъ этихъ поясненій, и принялъ ихъ въ текстъ». Такимъ образомъ изъ его перевода вышла книга едва-ли не лучше подлинника, книга умная, проникнутая мыслью, запечатлѣнная единствомъ воззрѣнія. Излагая событія этого великаго, огромнаго, дикаго, фантастическаго и сумасброднаго событія, вполнѣ достойнаго невѣжества и варварства среднихъ вѣковъ,— переводчикъ смотритъ на него глазами современной науки, глазами чистаго разума, не увлекаясь никакими предубѣжденіями, ни фантастическими, ни раціональными. Выказывая въ истинномъ свѣтѣ немногія личности, исполненныя набожности и доблести, немногіе поступки, нечуждые человѣчности,—онъ въ то же время яркими красками изображаетъ невѣжество, своекорыстіе, развратъ, невѣріе, смѣшанное съ дикимъ фанатизмомъ, звѣрство, жестокость и кровожадность рыцарей гроба Господня, равно какъ и не скрываетъ превосходства мусульманъ надъ христіанами въ чувствѣ нравственности и гуманности. Вообще главную причину этого событія видитъ онъ преимущественно въ хитрой и своекорыстной политикѣ папъ, для которыхъ крестовые походы явились прекраснымъ средствомъ отдѣлаться отъ многихъ государей, опасныхъ ихъ самовластію, и слѣдовательно средствомъ къ увеличенію вліянія, силы и преобладанія престола намѣстниковъ св. Петра надъ властями свѣтскими. Но что всего лучше, переводчикъ «Исторіи Крестовыхъ Походовъ» видитъ въ этомъ невѣжественномъ событіи великій шагъ впередъ со стороны человѣчества на пути къ эмансипаціи отъ невѣжества; видитъ въ немъ причину паденія папскаго авторитета, слѣдовательно видитъ прогрессъ. Вспомнимъ, что крестовые походы кончились въ концѣ XIII столѣтія, а въ концѣ XIV явился Виклефъ, въ началѣ XV—Іоаннъ Гуссъ, а въ послѣдней половинѣ того же XV столѣтія родился Лютеръ, выступившій на свое великое дѣло въ началѣ XVI вѣка (1517)...

Жаль только, что такая прекрасная книга, какъ «Краткая Исторія Крестовыхъ Походовъ», мѣстами переведена не совсѣмъ изящно, и въ ней попадаются такія фразы и слова, которыя иной, пожалуй, сочтетъ за умышленное искаженіе русскаго языка. Во Франціи самая пошлая книжонка пишется правильно; а мы неужели еще не выучились внимательно издавать дѣльныя книги?..

Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка, *издаваемый Н. Кириловымъ. Спб. 1845 г. Выпускъ первый.*

Въ русскій языкъ по необходимости вошло множество иностранныхъ словъ, потому что въ русскую жизнь вошло множество иностранныхъ понятій и идей. Подобное явленіе не ново. Хотя изъ новѣйшихъ европейскихъ языковъ нѣмецкій — языкъ коренной и самостоятельный, однако въ него проникло множество греческихъ, латинскихъ, французскихъ и итальянскихъ словъ. Изобрѣтать свои термины для выраженія чужихъ понятій очень трудно, и вообще этотъ трудъ рѣдко удается. Потому съ новымъ понятіемъ, которое одинъ беретъ у другого, онъ беретъ самое слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ дѣйствіи видна справедливость: какъ бы въ награду за понятіе, рожденное народомъ, переходитъ къ другимъ народамъ и слово, выражающее это понятіе. Въ этомъ отношеніи всѣ образованные народы — должники и и вассалы древнихъ грековъ и римлянъ, и противъ нравственной зависимости этого рода, столь законной и справедливой, могутъ вооружаться только умы слабые и мелкіе, увлекаемые ложнымъ патріотизмомъ. Что за дѣло, какое и чье слово, лишь бы оно вѣрно передавало заключенное въ немъ понятіе! Изъ двухъ сходныхъ словъ, иностраннаго и роднаго, лучшее есть то, которое вѣрнѣе выражаетъ понятіе. Языки голландскій и англійскій всегда были, есть и будутъ богатѣйшими для выраженія понятій, относящихся къ мореплаванію и флоту вообще; такъ же, какъ итальянскій—для терминовъ по части искусствъ, въ особенности музыки и живописи; французскій—какъ языкъ общества; нѣмецкій—какъ языкъ ученый и въ особенности философскій. Всѣ народы мѣняются словами и занимаютъ ихъ другъ у друга. Въ Западной Европѣ, по ея географическому положенію, нѣтъ предмета, который далъ бы понятіе о степи, слѣдовательно нѣтъ и слова «степь», и оттого во французскій языкъ вошло русское слово stépp. Хорошо, когда иностранное понятіе само собой переводится русскимъ словомъ, и это слово, такъ сказать, само собой принимается: тогда нелѣпо было бы вводить иностранное слово. Но создатель и властелинъ языка—народъ, общество: что принято ими, то безусловно хорошо; грамотѣи должны безусловно покоряться ихъ рѣшенію; общество не приметъ напримѣръ «побудки», вмѣсто инстинкта, и «сверкальцевъ», вмѣсто алмазовъ и брильянтовъ. Что такое алмазъ или брильянтъ,—это знаетъ всякій стекольщикъ, почти всякій мужикъ; но что такое «сверкальцы»,— этого не знаетъ ни одинъ русскій человѣкъ...

Нѣтъ ничего смѣшнѣе и нелѣпѣе книжныхъ словъ, столь любимыхъ педантами. Пуристы боятся ненужнаго наводненія иностранныхъ словъ: опасеніе больше чѣмъ неосновательное! Ненужное слово никогда не удержится въ языкѣ, сколько ни старайтесь ввести его въ употребленіе. Книжники старой до-Петровской Россіи употребляли слово аеръ; но оно и осталось въ книгахъ, потому что въ устахъ народа русское слово воздухъ было ничѣмъ не хуже какого-нибудь аера. Галломаны писывали: воздухъ «ондируется», «имажинація», и эти нелѣпости не удержались. Стражъ чистоты языка—не академія, не грамматика, не грамотѣи, а духъ народа...

Такъ какъ, по новости русскаго образованія, новый русскій языкъ еще не установился и вѣроятно долго не установится, то естественно, что въ него вдругъ вторглось множество иностранныхъ словъ. Это обстоятельство дѣлало необходимымъ словарь такихъ словъ. Наконецъ такой словарь является. Мы тѣмъ болѣе рады ему, что онъ составленъ умно, съ знаніемъ дѣла, словомъ, столько удовлетворителенъ, сколько отъ перваго опыта и ожидать нельзя. Есть конечно недостатки, такъ напримѣръ неполнота: нѣтъ словъ: грамматика, граммата,—но, несмотря на то, этотъ словарь, какъ первый опытъ, все-таки превосходенъ. Когда онъ выйдетъ вполнѣ, мы еще скажемъ о немъ нѣсколько словъ; а пока совѣтуемъ запасаться имъ всѣмъ и каждому.

Стихотворенія Эдуарда Губера.

Спб. 1845.

Что̀ нужно человѣку для того, чтобъ писать—стихи?—Чувство, мысли, образованность, вдохновеніе, и т. д. Вотъ что̀ отвѣтятъ вамъ всѣ на подобный вопросъ. По нашему мнѣнію, всего нужнѣе — поэтическое призваніе, художническій талантъ. Это главное; все другое идетъ своимъ чередомъ уже за нимъ. Правда, на одномъ талантѣ въ наше время не далеко уйдешь; но дѣло въ томъ, что безъ таланта нельзя и двинуться, нельзя сдѣлать и шагу, и безъ него ровно ни къ чему не служатъ поэту ни наука, ни образованность, ни симпатія съ живыми интересами современной дѣйствительности, ни страстная натура, ни сильный характеръ; безъ таланта все это — потерянный капиталъ. Но въ чемъ же состоитъ талантъ? Въ непосредственной способности поэтически воспринимать чувствомъ впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ дѣятельностью фантазіи въ поэтическихъ образахъ. Замѣтьте: непосредственной, т. е. такой способности, которую размышленіе и мысль вообще можетъ развивать и усиливать (а иногда заглушать и ослаблять), но которую даетъ природа, а не размышленіе, не мысль. И такъ, эта способность есть счастливый даръ природы, составляетъ свойство, качество личности, но не заслугу съ ея стороны, такъ же, какъ красота не составляетъ заслуги женщины. Чувство есть одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей поэтической натуры; безъ чувства нѣтъ ни поэта, ни поэзіи; но тѣмъ не менѣе можно имѣть чувство, даже писать недурные стихи, насквозь проникнутые чувствомъ—и нисколько не быть поэтомъ. Вы знаете романсъ Мерзлякова—«Велизарій», начинающійся стихомъ:

Малютка, шлемъ нося, просилъ:

Вы знаете пѣсню Мерзлякова: «Среди долины ровныя»? Развѣ въ нихъ нѣтъ чувства. Напротивъ, очень много; а между тѣмъ обѣ эти пьесы, особенно послѣдняя, теперь больше смѣшны, нежели трогательны. То же самое можно сказать почти обо всѣхъ произведеніяхъ нашихъ старинныхъ поэтовъ, особенно Карамзинской эпохи. Вспомните или перечтите пьесы: «Выйду я на рѣченьку»; «Раиса»; «Пой во ракѣ тихой рощи»; «Кто могъ любить такъ страстно»; «Мы желали — и свершилось»; «Доволенъ я судьбою»; «Вѣютъ осенніе вѣтры»; «Видѣлъ славный я дворецъ»; «О любезный, о мой милый»; «Безъ друга и безъ милой»; «Куда инѣ, сердце страстно»; «Что̀ съ тобою, ангелъ, стало»; «Стонетъ сизый голубочекъ»; «Ахъ, когда бъ я прежде знала», и проч. Всѣ онѣ въ свое время считались образцовыми произведеніями поэзіи, восхищали цѣлую эпоху; ихъ читали, пѣли, покупали книгами, списывали въ тетради; всѣ онѣ написаны людьми съ душой и сердцемъ и проникнуты чувствомъ, — а между тѣмъ забыты теперь и смѣшатъ насъ, какъ парики и фижмы. Что̀ сгубило ихъ?—То, что для поэзіи мало одного чувства, а нуженъ прежде всего талантъ. Стало-быть, у авторовъ этихъ пьесъ не было таланта? — Напротивъ, былъ талантъ, и еще замѣчательный, но талантъ чисто беллетристическій и почти вовсе не поэтическій. Выразить хорошими, по своему времени, стихами какое-нибудь ощущеніе или чувство—еще не значитъ быть поэтомъ. Державинъ составляетъ исключеніе изъ нашихъ старинныхъ поэтовъ. Многія его пьесы страшно сухи и скучны, потому что въ нихъ, кромѣ риторики, нѣтъ ничего, и потому теперь нѣтъ никакой возможности читать ихъ; но у него же есть много пьесъ, которыя теперь устарѣли по языку, мѣстами не чужды риторики, словомъ, заключаютъ въ себѣ большіе недостатки; но эти пьесы и теперь нисколько не смѣшны, потому что сквозь ихъ старинную форму, сквозь ихъ недостатки проблескиваютъ, какъ яркая молнія среди мрачной ночи, красоты геніальныя. У Державина есть пьесы, которыя мѣстами и теперь можно читать съ живѣйшимъ восторгомъ, съ истиннымъ наслажденіемъ, и есть другія, которыя и въ цѣломъ прекрасны. Что̀ же дало Державину такое огромное преимущество передъ всѣми поэтами его времени и даже явившимися послѣ него, когда уже языкъ русскій сдѣлалъ большой шагъ впередъ?—Непосредственный талантъ творчества. Поэзія Державина испол-

нена проблесковъ художественности, и если художественный элементъ не могъ освободить его отъ риторики и сдѣлать его поэтомъ вполнѣ, — причина этого не недостатокъ, не слабость таланта, а время, въ которое Державинъ жилъ и которое не допустило развиться въ полнотѣ его громадному, великому таланту. Художественный элементъ, проглянувъ въ поэзіи Державина, надолго скрылся вовсе изъ русской поэзіи. Карамзинъ, Нелединскій-Мелецкій и особенно Дмитріевъ и Озеровъ много сдѣлали, чтобъ приготовить и угладить дорогу для торжественной колесницы поэзіи; но поэтами они не были, — они были только даровитыми и блестящими беллетристами въ области поэзіи. Явился Жуковскій — и оплодотворилъ почву русской поэзіи сѣменами романтизма. Но тутъ заслуга состояла больше въ расширеніи круга содержанія для русской поэзіи, доселѣ страдавшей скудостью содержанія и по-неволѣ прибѣгавшей къ риторикѣ, нежели въ созданіи образцовъ художественности. Впрочемъ и съ этой стороны въ лицѣ Жуковскаго русская поэзія сдѣлала значительный шагъ впередъ. Его стихъ, своей отдѣлкой, далеко оставилъ за собою стихъ Державина, Дмитріева, Озерова и сверхъ того отличался оригинальностью, силой, упругостью. Собственныя свои произведенія, особенно патріотическія (и преимущественно «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ»), принадлежатъ больше къ области краснорѣчія, нежели къ области поэзіи, и поэтому представляютъ собою ложные образцы поэзіи, которые никакимъ образомъ не могутъ быть даже и сравниваемы съ лучшими пьесами Державина, хотя и далеко превосходятъ послѣднія со стороны языка и вообще технической отдѣлки. Художественные переводы Жуковскаго (особенно изъ Шиллера, каковы: «Орлеанская Дѣва», «Торжество Побѣдителей», «Жалобы Цереры» и многіе другіе) относятся къ Пушкинской эпохѣ русской поэзіи. Почти въ то время какъ Жуковскій началъ вносить романтику въ содержаніе русской поэзіи,—Батюшковъ началъ возводить ее до художественности въ формѣ. Талантъ Батюшкова гораздо меньше таланта Державина, но, мимо всякихъ сравненій, это былъ замѣчательно сильный талантъ. Благодаря услугамъ, оказаннымъ языку и стиху русскому Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Озеровымъ и собственной наклонности въ классической поэзіи древняго міра, Батюшковъ въ художественности формъ ушелъ несоразмѣримо дальше Державина. Можно сказать, что художественный элементъ впервые выглянулъ въ поэзіи Державина, а въ поэзіи Батюшкова онъ уже силился взять перевѣсъ надъ беллетристикой и риторикой. Но до полной художественности Батюшкову не дано было дойти: это было дѣло генія, а не таланта, хотя бы и большого. Явился Пушкинъ—и русская поэзія перестала быть стремленіемъ къ поэзіи, какъ у Державина; перестала быть беллетристикой, какъ у Карамзина, Дмитріева, Озерова; перестала быть исключительной поэзіей одного только рода, какъ у Крылова; перестала быть одностороннимъ романтическимъ стремленіемъ къ неопредѣленному и туманному, какъ у Жуковскаго; перестала быть стремленіемъ къ художественности, какъ у Батюшкова: но явилась истинной, художественной, творческою поэзіей.

Вотъ этотъ-то элементъ, который такъ усильно стремился развиться въ русской поэзіи и который въ поэзіи Пушкина сдѣлался самостоятельнымъ и, подобно свѣту, проницающему кристаллъ, проникъ всѣ другіе элементы его поэзіи,—этотъ-то элементъ и есть произведеніе непосредственной способности поэтически воспринимать впечатлѣнія дѣйствительности и воспроизводить ихъ, дѣятельностью фантазіи, въ поэтическихъ образахъ, — способности, которая составляетъ творческій талантъ. Этотъ талантъ проявляется и въ концепціи цѣлаго созданія, и въ идеяхъ, и въ чувствахъ, и въ стихѣ, которые прежде всего должны быть поэтическими. Поэзія и стихотворство — двѣ вещи совершенно различныя, потому что въ стихѣ бываютъ достоинства внѣшнія и внутреннія: можно поддѣлаться подъ стихъ Пушкина, но легче создать собственный стихъ, не уступающій его стиху, нежели усвоить его стихъ, потому что сила, энергія, упругость, гибкость, прелесть, грація, полнота, звучность, гармонія, живописность и пластичность его стиха происходятъ не отъ внѣшней его отдѣлки, а отъ внутренней его жизненности, которую вдохнула въ него творческая власть и сила поэта.

Вотъ мысли, на которыя невольно навело насъ чтеніе стихотвореній Губера. Въ этихъ стихотвореніяхъ мы увидѣли хорошо обработанный стихъ, много чувства, еще больше неподдѣльной грусти и меланхоліи, умъ и образованность; но, признаемся, очень мало замѣтили поэтическаго таланта, чтобъ не сказать,—совсѣмъ не замѣтили его. Вездѣ сердце, которое чувствуетъ, вездѣ умъ, который не столько мыслитъ, сколько рефлектируетъ, т. е. разсуждаетъ о собственныхъ чувствахъ и собственныхъ мысляхъ,—и нигдѣ фантазіи, которая творитъ! Субъективности, какъ выраженія сильной личности, которая на все кладетъ свой отпечатокъ и все перерабатываетъ своей самостоятельностью, нѣтъ и слѣдовъ и признаковъ въ стихотвореніяхъ Губера; а между тѣмъ сколько найдется критиковъ, которые назовутъ его субъективнымъ поэтомъ, не понимая значенія этого эпитета! И немудрено: Губеръ воспѣваетъ больше свои собственныя страданія, свои ощущенія, свои чувства, свою судьбу, словомъ,—самого себя. Но это совсѣмъ не субъективность, хотя въ то же время совсѣмъ и не объективность: это скорѣе опоэтизированный эгоизмъ. «Могила Матери», «На Кладбищѣ», «Три Сновидѣнія», «Стремленіе», «Путь Жизни», «Три Клада», «Первое признаніе», «Печаль Вдохновенія», «Друзья», «Моя Гробница», «Перепутье», «Душѣ», «Ревность», «Молитва», «Благовѣстъ», «Одиночество», «Мертвая Красавица», «Жалоба», «Въ минуты скорбныя и гнѣва, и волненій», «На покой», «Могила», «Безсонница», «Когда въ годину испытанья», «Пѣсня», «Разсчетъ», «Князю

Д. П. Салтыкову», «На чужой могилѣ», «Проклятіе», «Странникъ»: вотъ 29 стихотвореній (изъ числа 50-ти, составляющихъ всю книжку), въ которыхъ авторъ говоритъ о самомъ себѣ. Да какой же поэтъ больше всего не говоритъ о самомъ себѣ? Вѣдь поэтъ потому и поэтъ, что онъ всю дѣйствительность проводитъ чрезъ свое *Я*, чтобъ она прошла изъ него какъ очищенное золото изъ горнила?—Такъ; но на это нужно имѣть право. А не то толпа какъ разъ скажетъ поэту: «Вы несчастны?—а намъ какое дѣло? Мы тоже несчастны». Въ самомъ дѣлѣ, что вы, поэтъ, скажете о себѣ столь интереснаго, чтобъ васъ могли съ участіемъ выслушать вотъ эти люди, которые сидятъ вмѣстѣ съ вами въ этой комнатѣ, и каждый изъ нихъ занятъ своимъ разговоромъ, своимъ интересомъ? Вотъ этотъ изъ нихъ тоже рыдалъ надъ могилой матери; этотъ оплакалъ кончину любимой женщины, составлявшей счастье его жизни; этотъ глупо влюбился, нелѣпо тратилъ силы души; этотъ страдалъ по непреклонной красавицѣ, хотѣлъ застрѣлиться, а кончилъ женитьбой по разсчету и охладѣлъ къ женщинамъ и къ любви; этотъ обманулся въ своихъ идеалахъ, а этотъ въ разсчетахъ своего самолюбія, и всѣ они, каждый по своему, озлоблены противъ жизни, людей и самихъ себя...

Что вы скажете имъ о себѣ такого, за что бы признали они васъ выше самихъ себя? Нѣтъ, они скажутъ вамъ:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ!

А не то, отвѣтятъ вамъ вашими же стихами:

Какое дѣло намъ до суетныхъ желаній
Любви восторженной твоей,
Или до жалкихъ ранъ, до мелочныхъ страданій
Твоихъ безсмысленныхъ страстей?
. . . . . .
Да прогремятъ они больному поколѣнью
Глаголы гнѣва и стыда;
Да соберутъ они бездѣйствіемъ и лѣнью
Изнеможенныя стада!
Въ годину тяжкую, въ минуту близкой брани
Мы ждемъ воззванія къ мечу;
Но вы—тщедушные пѣвцы своихъ страданій,
Вы дѣти, вамъ не по плечу!
Что общаго у насъ? Намъ ваши пѣсни чужды,
Намъ ваши жалобы смѣшны,
Вы плачете шутя, а намъ другія нужды,
Другія слезы намъ даны.
. . . . . .
Мы не хотимъ ни слезъ, ни вздоховъ вопію-[щихъ,
Долой, пустые воркуны!
Вы не нарушите святой судебъ грядущихъ
Глубоко-полной тишины.

Это будетъ жестко съ ихъ стороны; но не забудьте, что, подобно вамъ, они—люди озлобленные и о кладбищѣ и смерти думаютъ чаще, нежели о счастіи, любви и другихъ обманахъ сердца и фантазіи...

Поэтъ тогда только имѣетъ право говорить толпѣ о себѣ, когда его звуки покоряютъ ее невѣдомой силой, знакомятъ ее съ иными страданіями, съ инымъ блаженствомъ, нежели какое знала она, и даже ея собственное, знакомое ей страданіе и блаженство передаютъ ей въ новомъ, облагороженномъ и очищенномъ видѣ. Но для этого надо стоять цѣлой головой выше этой толпы, чтобъ она видѣла васъ не наравнѣ съ собою... Таковы бываютъ истинно субъективные поэты... Опоэтизированный эгоизмъ, вѣчно роющійся въ пустотѣ своего скучнаго существованія и выносящій оттуда одни стоны, хотя бы и искренніе, теперь никому не новость и всѣмъ кажется пошлымъ.

Для повѣрки нашего сужденія о поэзіи Губера прочтите хоть пьесы: «Печаль Вдохновенія», «Разсчетъ» и «Проклятіе»—не одна-ли и та же это пѣсня? А одно и то же, воля ваша, наскучаетъ... Въ нихъ есть и хорошій стихъ (который впрочемъ такъ обыкновененъ въ наше время), есть и чувство, если хотите, даже много чувства, и мы вѣримъ искренности поэта, вѣримъ его страданію; но гдѣ же поэзія? гдѣ же фантазія? гдѣ созданные ею образы?

Объективныя пьесы Губера всего лучше подтверждаютъ справедливость нашего сужденія. Вотъ одна изъ нихъ.

Волга.

Какъ младенецъ боязлива,
Одинока и дика,
То тиха, то говорлива,
Просыпается рѣка.
Оглянулась и выходитъ,—
Даль чужая передъ ней;
Буря рѣчи съ ней заводитъ,
Вѣтеръ пѣсни шепчетъ ей.
Вотъ она волной стыдливой,
Чуть колыша въ первый разъ,
Какъ ребенокъ боязливый
Выступаетъ на показъ.
Вотъ пошла и зашумѣла—
Ей попытка удалась,
Вотъ волнами закипѣла
И потокомъ разлилась.
Необъятная, какъ море
Широка и глубока,
Разгулялась на просторѣ,
Наша царская рѣка.
Передъ ней края чужбины—
Но она не измѣнитъ;
Никогда чужой долины
Свѣжій токъ не напоитъ.
За предѣлъ родной державы
Наша Волга не пойдетъ;
Свѣтлый поясъ русской славы
Чуждыхъ странъ не обойметъ.

Видите-ли, какъ скоро попробовалъ поэтъ выйти изъ самого себя и посмотрѣть на міръ и на жизнь,—въ его стихахъ не стало чувства, а явились однѣ фразы, да и тѣ довольно бѣдныя значеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, неужели это мысль, а не фраза, что Волга течетъ тамъ, гдѣ она течетъ, а не тамъ, гдѣ она не течетъ?...

У Губера нѣсколько пьесъ посвящены поэту, т. е. характеристикѣ поэта. Онъ смотритъ на него, правда, какъ на человѣка очень хорошаго и почтеннаго, но только поэта мы въ немъ все-таки не видимъ. Намъ кажется, что значеніе поэта не довольно вѣрно, ясно и отчетливо понято Губеромъ...

Нѣтъ, въ наше время трудно быть поэтомъ,—такъ же трудно, какъ легко писать стихи!...

Стихотворенія Петра Штавера. *Спб. 1845.*

Петръ Штаверъ—извините нашу нескромность—долженъ быть молодой, даже очень молодой человѣкъ—можетъ-быть не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрились мы чрезъ впечатлѣніе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобъ автору было никакъ не больше пятнадцати лѣтъ, потому что въ такомъ случаѣ мы имѣли-бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нѣчто вродѣ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленіе къ мысли,—а это не шуточное дѣло! Но что-жъ тутъ до лѣтъ, какая нужда въ метрикѣ автора, когда его стихотворенія сами за себя говорятъ?... Метрика иногда много значитъ не въ однихъ вопросахъ о званіи и наслѣдствѣ, но и въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатилѣтній малый, наметавшійся въ лавкѣ, ловко и скоро сводитъ счеты, складываетъ и вычитаетъ, множитъ и дѣлитъ, принимаетъ и сдаетъ,—тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, нѣтъ рѣчи ни о геніи, ни о талантѣ: тутъ только способность, развитая навыкомъ и рутиной. Но когда семилѣтній ребенокъ, который имѣетъ полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по пальцамъ и простымъ соображеніемъ умѣетъ разсчесть сумму наприм. во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дѣля, тогда, если вы и не увидите въ немъ генія математики, то все-таки подивитесь въ немъ необыкновенной природной способности. Выйдетъ-ли со временемъ изъ этого мальчика замѣчательный математикъ, или ничего изъ него не выйдетъ,—это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ дѣтей, ничего необѣщающихъ, выходятъ геніальные люди, а изъ геніальныхъ дѣтей—дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Извѣстно, что, имѣя болѣе или менѣе вѣрный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдѣлаться не только способнымъ музыкантомъ, но даже и сочинять кой-какія фантазійки: обыкновенно до этого доходятъ уже въ лѣта возмужалости, при охотѣ къ музыкѣ, при знакомствѣ со множествомъ музыкальныхъ произведеній. Но это еще не значитъ быть ни музыкантомъ-артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилѣтнее или еще болѣе малолѣтнее дитя обнаруживаетъ способность запомнить и вѣрно пропѣть всякую музыкальную пьесу, какую удастся ему услышать, въ этомъ дитяти конечно еще нельзя навѣрное увидѣть будущаго Моцарта или будущаго Листа, но по крайней мѣрѣ на его счетъ простительно ошибиться въ такихъ неумѣренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значеніи метрики въ отношеніи къ поэзіи. Умѣнье писать стихи — конечно еще не талантъ, но все же способность; этой способностью владѣетъ многое-множество дѣтей, и она-то заставляетъ многихъ изъ нихъ видѣть въ себѣ талантъ поэтическій. И вотъ, когда такой, владѣющій способностью стихотворства, человѣкъ поначитается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то въ извѣстныя лѣта ему ничего не стоитъ перекладывать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другіе не подозрѣваютъ въ немъ вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Въ наше время чувство и мысли — пипочемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имѣть Пушкина и Лермонтова, чтобъ владѣть неисчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Возьмите любой стихъ изъ того или другого — и вотъ вамъ тема, на которую потянутся у васъ нескончаемыя варіаціи... Но варіировать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можетъ только человѣкъ возмужалый, развившійся; безбородый же юноша, тѣмъ болѣе отрокъ, никогда не съумѣетъ, не фальшивя, пѣть съ чужого голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли онъ непремѣнно исказитъ, изуродуетъ. И потому, если въ стихахъ слишкомъ молодого человѣка замѣтно что-то вродѣ оригинальности, чувства и мысли,—явный знакъ, что у него есть талантъ. Даже его неумѣнье сладить съ непокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ—не только не портитъ дѣла, но еще придаетъ ему ту прелесть, которой такъ исполненъ несвязный лепетъ младенца.

Намъ показалось (и мы были бы рады, еслибъ послѣдствія доказали, что мы не ошиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворенія Штавера носятъ на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремся опредѣлять степень этого дарованья, ни предсказывать границы его развитія, потому что неопредѣленность составляетъ главный характеръ слишкомъ юныхъ дарованій. Они могутъ развиться — и могутъ исчезнуть, не давъ цвѣта. Въ нихъ не должно видѣть что-то непремѣнно великое въ будущемъ. Стихотворенія Пушкина-ребенка были довольно плохи, и по нимъ трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. И такъ, говоря о стихотвореніяхъ Штавера, ограничимся настоящимъ, не забѣгая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можетъ быть и можетъ не быть.

Всѣ стихотворенія Штавера довольно слабы, и еслибъ мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стоило бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человѣка поражаетъ слабостью таланта или просто посредственностью, которая хуже бездарности,—то самое въ опытахъ слишкомъ молодого человѣка можетъ быть признакомъ таланта неподдѣльнаго, но еще неовладѣвшаго собственной силой. Намъ кажется, что нельзя не видѣть этого напримѣръ вотъ хоть въ пьесѣ — «На Кладбищѣ». Въ этомъ стихотвореніи есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бѣденъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то мило-дѣтскимъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняетъ
Мертвецовъ безстрастныхъ *ледъ*.—

даже эти стихи, возбуждая въ читателѣ улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благосклонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книжкѣ Штавера надо признать «Желаніе».

Я не хочу, чтобъ всѣ меня любили,
Я не хочу вездѣ встрѣчать друзей,
Хочу, чтобы враги меня язвили
Безсильной злобою своей!
Пусть возстаютъ! Я каждый шагъ побѣдный
Готовъ своею кровію залить!
Пусть упаду измученный и блѣдный,
Но только прежде побѣдить!
Пусть за моей побѣдной колесницей
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ:
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—
И хоръ завистниковъ затихъ!
Но не для славы жажду я боренья,
А потому, что для моей души
Потребны страсти, бури и волненья,
Чтобы не замереть въ тиши.
Въ горнилѣ сталь сильнѣе закалится,
Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтетъ;
Вода чиста, доколь она струится,
Въ покоѣ—тиной заростетъ.
Крѣпись, душа! Познай свое значенье,
Познай себя, познай свою всю мочь,
И ты поймешь, какъ сладостно мученье,
Когда есть сила превозмочь!
И скажешь ты: «за тѣмъ даны страданья,
Чтобъ согрѣвать остывшія сердца,
И назначенье жизни не мечтанье,
А дѣятельность мудреца.
Мечта,—ты скажешь,—дѣтская забава,
Занятье мужа истиннаго—трудъ!
Не за мечты дается въ мірѣ слава,
Ее страданьями берутъ!»

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ человѣкомъ,—оно было бы плохо въ эстетическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразерствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія въ нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа, еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности, — оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработанномъ, невыдержанномъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которомъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которой оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это—дѣтская мысль.

Вотъ что̀ сказали бы мы Штаверу, еслибы онъ захотѣлъ насъ послушать:

Жаль, любезный поэтъ, что вы поторопились издать въ свѣтъ книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко бы могла обойтись, и не подождали болѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній, которыя для всѣхъ были бы интереснѣе. Но дѣло сдѣлано, и да проститъ васъ за него Богъ! Но впередъ не торопитесь ни писать, ни печатать, особенно—печататься. Если у васъ есть талантъ, и призваніе ваше велико въ будущемъ — успѣете написаться и напечататься; если же это окажется не болѣе какъ «кипѣніемъ крови и избыткомъ силъ»,—ваша преждевременная книжка будетъ вамъ досадна, какъ грѣхъ юности, какъ ошибка самолюбія. Но намъ пріятнѣе думать, что у васъ есть сѣмя таланта, которое современемъ можетъ вырости и разрастись. Приготовьте себя къ этому, и не погубите сѣмени. Въ наше время поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что наше время отъ каждаго — слѣдовательно и отъ поэта—требуетъ, чтобъ онъ прежде всего и больше всего былъ человѣкомъ. Не заботьтесь же о себѣ, какъ о поэтѣ, и воспитывайте въ себѣ человѣка. Не говорите, что вы не хотите, чтобы васъ всѣ любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей, и жаждете имѣть враговъ: это чувство ложное и парадное, которое извиняется только его юностью. Не покупайте любви людей измѣной истинѣ, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дорожить ею или презирать ее: любовь ближнихъ, законно и разумно пріобрѣтенная,—благо, которое выше всѣхъ благъ. Вѣрьте, что люди совсѣмъ не такъ хороши, и совсѣмъ не такъ дурны, какъ дѣлаетъ ихъ фантазія поэтовъ, которые то любятъ въ нихъ восхищаться собственной своей особой, то позволяютъ себѣ вымещать на нихъ свои недостатки или раны своего самолюбія, клеймя ихъ презрѣніемъ. Вообще люди по своей натурѣ болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь дѣлаютъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона, только трудно подсмотрѣть и открыть ее. Послѣднее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принадлежитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же какъ ему же принадлежитъ по праву преслѣдованіе ложныхъ и не разумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и безсильнымъ животнымъ. Люди—братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято призваніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей! Имѣть враговъ... источникъ этого желанія заключается въ эгоизмѣ и самолюбивой увѣренности быть лучше и выше всѣхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породитъ высокихъ поэтическихъ созданій! Побѣдить врага пріятно: объ этомъ ни слова, — однакожъ врага, котораго мы не вызывали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнѣе сдѣлать себѣ врага другомъ: это лучшая изъ побѣдъ! Человѣкъ имѣетъ право ненавидѣть въ другомъ ложь и порокъ, но человѣкъ не имѣетъ права ненавидѣть человѣка, подъ опасеніемъ ужаснѣйшаго изъ наказаній — перестать быть человѣкомъ. Имѣть враговъ своей мысли, своему убѣжденію и бороться съ ними до послѣднихъ силъ—въ этомъ есть свое величіе, своя прекрасная сторона; но ничего нѣтъ хуже, какъ имѣть личныхъ враговъ: этого

никто не пожелаетъ себѣ, и высочайшее несчастье для человѣка—носить въ сердцѣ своемъ личную вражду къ человѣку: это болѣзнь, манія, почти сумасшествіе, отъ котораго надо лѣчиться. Ѣздить на побѣдной колесницѣ конечно пріятно, но только тогда, когда вмѣстѣ съ вами торжествуетъ правое дѣло; иначе вы—Марій или Сулла, которые купались въ крови безсильныхъ враговъ... Что́ жъ тутъ хорошаго? Но вы, любезный поэтъ, говорите въ свое оправданіе:

Но не для славы жажду я боренья,
А потому, что для моей души
Потребны страсти, бури и волненья,
Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилѣ сталь сильнѣе закалится,
Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтетъ;
Вода чиста, доколь она струится,
Въ покоѣ—тиной зарастетъ!

Прекрасно! но что́ бы вы сказали о человѣкѣ, который для того, чтобъ его члены и мускулы не ослабли въ бездѣйствіи и неподвижности, пошелъ бы по улицѣ, да и ну колотить встрѣчнаго и поперечнаго? Не правда ли, это смѣшно?.. Нѣтъ, любезный поэтъ, не заботьтесь о врагахъ и страданіяхъ; напротивъ, употребляйте всѣ силы избѣгать ихъ, потому что враги и страданья явятся сами—ихъ никто не избѣгалъ. Обратите прежде всего вниманіе на самого себя и постарайтесь познакомиться, сблизиться и разумно подружиться съ самимъ собой, чтобъ со временемъ не найти въ себѣ собственнаго своего врага,—а это самый опасный, самый жестокій изъ враговъ! Не льстите себѣ и будьте съ собой строги, чтобъ найти въ себѣ друга разумнаго и честнаго, а не предателя коварнаго. Тогда одержите вы самую великую и блестящую побѣду надъ злѣйшимъ изъ враговъ своихъ: это побѣда! Она будетъ стоить много труда и большой борьбы, которая не дастъ вамъ «замереть въ тиши»... Но это еще не все, чтобъ спастись отъ душевнаго застоя, отъ нравственной апатіи: передъ вами жизнь и міръ—полюбите ихъ и наслаждайтесь ими! Для этого также нужны трудъ и борьба. Жизнь, природа, человѣкъ, человѣчество, наука, искусство — какое обширное, великое, безконечное поприще для борьбы благородной, для упражненія юныхъ и свѣжихъ силъ! Зачѣмъ говорить:

Пусть за моей побѣдной колесницей
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ.
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—
И хоръ *завистниковъ* затихъ...?

Въ небѣ, т. е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми — «въ тѣснотѣ люди живутъ»... Только гордость, основанная на самолюбіи и эгоизмѣ—одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ,—только гордость гонитъ человѣка изъ общества ближнихъ его и стремитъ его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находитъ жалкое наслажденіе видѣть подъ собой «хоръ завистниковъ». Сказать: я имѣю завистниковъ—не значитъ ли это: какой я замѣчательный человѣкъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ — не значитъ ли это обнаружить то мелкое и пошлое чувство, которое свойственно только маленькимъ великимъ людямъ — этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нѣтъ, истинно хорошему, дѣльному человѣку горько имѣть завистниковъ, для него это—несчастье. Онъ хочетъ имѣть таланты и достоинства, хочетъ много знать, много смѣть и много мочь, но не для потѣхи своего самолюбія, не для жалкаго удовольствія пріобрѣсть враговъ и завистниковъ, а для разумнаго и законнаго наслажденія жизнью, потому что чѣмъ болѣе онъ имѣетъ, знаетъ, смѣетъ и можетъ,—тѣмъ болѣе онъ живетъ. Его никогда не порадуетъ, но всегда огорчитъ ничтожество окружающихъ его людей, — и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имѣетъ, поднять ихъ еще выше самого себя. Благородная душа, исполненная великодушныхъ стремленій, не терпитъ вокругъ себя ни рабовъ, ни угодниковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тѣсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ съ ней узами симпатіи ко всему разумному и человѣческому. Для нея жизнь—богатая и роскошная трапеза, которую она хотѣла бы раздѣлить со всѣми, чтобъ тѣмъ болѣе самой насладиться ею... Да, любезный поэтъ, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ — оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимъ поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое — просто и скромно; оно цѣломудренно стыдится своего достоинства, какъ красота цѣломудренно стыдится красоты своей и оттого дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ,—какъ внутренно-драгоцѣнное само по себѣ, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто щеголяетъ въ немъ, удивленіе и зависть толпы. Человѣкъ сильный, могущественный, огромный—еще не всегда въ то же время и великій человѣкъ. Нѣтъ спора, что, какъ вонтель, Наполеонъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ исторіи человѣчества; но въ глазахъ истинно-мудрыхъ простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ въ тысячу разъ болѣе всѣхъ возможныхъ Наполеоновъ имѣетъ право на имя великаго человѣка. Только невѣжественная толпа, тупая чернь и жалкое суемудріе преклоняютъ колѣни и обожествляютъ гнетущую ее наглую силу, отражающуюся на безсовѣстности, обманѣ, вѣроломствѣ и злодѣйствѣ... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блеститъ; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона Бельведерскаго и раскрашенную восковую куклу: онъ удивится куклѣ и не обратитъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей и невѣждъ между такъ называемыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Бойтесь, любезный поэтъ, попасть въ число этихъ людей,—

*

и чтобъ избѣжать такого несчастья, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутаго, ложнаго, призрачнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселіе—грусти, наслажденіе—страданію. Сносите все горькое мужественно и благородно, когда горе посѣтитъ васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которыя боятся унизить свое достоинство глубокихъ и высшихъ натуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хныкать и предавшись веселому влеченію минуты. Смотрите на жизнь, какъ на наслажденіе, и умѣйте наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастья и упоенья, и какъ жалки слѣпые романтическіе клеветники жизни, которые все смотрятъ куда-то туда, сами не зная куда... И пусть руководятъ вами на пути жизни любовь, которая все прощаетъ, все очищаетъ, все облагораживаетъ и освѣщаетъ,—и смѣлый свободный разумъ, который не боится мукъ сомнѣнья и, многимъ рискуя, много завоевываетъ для счастья... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистниковъ, и что безъ борьбы съ ними вамъ будетъ чѣмъ наполнить свою жизнь, не дать очерствѣть чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, пѣсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, плодородны; а если и не будете поэтомъ—что жъ! вы будете человѣкомъ, а это, право, стоитъ всякаго поэта...

Физіологія Петербурга, *составленная изъ трудовъ русскихъ литераторовъ, подъ редакціей Н. Некрасова. (Съ политипажами.) Часть II. Спб. 1845.*

Лѣто—всегда глухая пора въ русской литературѣ. Тутъ обыкновенно даже и журналы какъ-будто устаютъ, истощаются, дѣлаются вялыми, даже тонѣютъ, за исключеніемъ развѣ «Отечественныхъ Записокъ», на здоровую толстоту которыхъ не дѣйствуютъ и лѣтніе жары. Но оригинальныхъ русскихъ повѣстей уже не ищите въ эту пору ни въ одномъ журналѣ. Если найдется хоть одна какая-нибудь плохонькая, то и ею журналистъ запасся еще съ зимы. Наши романисты и нувеллисты вообще не заслуживаютъ ни малѣйшаго упрека въ излишней дѣятельности или многописаніи. Мало пишутъ они зимой и осенью, почти не пишутъ и весной, какова бы ни была весна въ Петербургѣ, хотя бы хуже самой дурной осени; но лѣтомъ—пусть оно будетъ хуже самой дурной зимы, они ни за что въ свѣтѣ не станутъ писать. Да и когда?—Они на дачѣ, они наслаждаются прелестями петербургскаго лѣта, гуляютъ по лужамъ, въ которыхъ отражается небо, тоже похожее на лужу, или съ горя играютъ въ преферансъ. Сверхъ того русскій человѣкъ, какъ извѣстно, тяжелъ на подъемъ. Для того, чтобъ приняться за работу, ему нужно гораздо больше времени, нежели кончить ее. Русскому литератору никогда не понять досужести французскихъ писателей, которые успѣваютъ быть на балахъ, на гуляньяхъ, въ театрахъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, присутствовать въ засѣданіяхъ палаты депутатовъ и при этомъ иногда управлять министерствомъ,—и въ то же время издавать многотомныя исторіи. Французскій литераторъ ѣдетъ на лѣто изъ Парижа въ деревню отдохнуть, полѣниться, повеселиться; а въ Парижъ изъ деревни привозитъ съ собой нѣсколько рукописей, изданіе которыхъ, по объему, иногда можетъ сравняться съ полнымъ собраніемъ сочиненій самаго дѣятельнѣйшаго русскаго литератора. Какъ они это дѣлаютъ,—русскій человѣкъ,—я этого рѣшительно не понимаю, и никогда не пойму. Говорятъ, будто бы это происходитъ оттого, что трудъ и занятіе составляютъ для европейца такое же необходимое условіе жизни, какъ воздухъ,—нѣтъ, больше, чѣмъ воздухъ,—какъ и лѣнь и бездѣйствіе для русскаго человѣка. Говорятъ, будто бы для европейца и самый отдыхъ есть только нѣсколько ослабленная дѣятельность, потому что для него быть вовсе безъ занятія, безъ дѣла, безъ труда значитъ—не жить, будто бы ужъ онъ такъ пріученъ съ малолѣтства... Не знаемъ, правда ли это. Должно быть, неправда! Славны бубны за горами: не такъ ли, читатель? Какъ русскій человѣкъ, вы, вѣрно, махнете рукой, повторивъ эту чудесную поговорку, благодаря которой вамъ можно ничего не дѣлать, живя на бѣломъ свѣтѣ? Благодѣтельная поговорка! вѣчная память тому, кто изобрѣлъ ее: съ нею жизнь такъ проста, ни къ чему не обязываетъ—ни къ труду, ни къ самосовершенствованію...

Но нынѣшній годъ, какъ нарочно, Петербургъ посѣтило такое лѣто, о какомъ онъ и мечтать не смѣлъ, помня, что на святой недѣлѣ, которая была во второй половинѣ апрѣля, онъ ѣздилъ на саняхъ... Сухое и теплое, почти жаркое лѣто, каково нынѣшнее, должно бы быть порою совершенной засухи для литературной дѣятельности. Кого теперь засадишь за дѣло? И чѣмъ бы можно было засадить?—развѣ голодомъ! Пора теперь глухая: у книгопродавцевъ, какъ говорятъ они, лѣтомъ ни копейки, потому что русская публика лѣтомъ книгъ не покупаетъ, да и въ городѣ никого теперь не найдешь—все и всѣ на дачахъ. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонутъ, а работаютъ; для нихъ нѣтъ каникулъ, какъ для полицейскихъ и извозчиковъ нѣтъ праздниковъ. Поэтому въ нынѣшнее лѣто нечего бы и ожидать появленія чего-нибудь похожаго на сносную книгу. Но вышло иначе: весной появились—«Тарантасъ», «Вчера и Сегодня» и первая часть «Физіологіи Петербурга», въ іюнѣ, среди лѣта, началось изданіе романовъ Вальтеръ-Скотта «Квентиномъ Дорвардомъ», а теперь вышла вторая часть «Физіологіи Петербурга». Но все это совсѣмъ не весеннія и не лѣтнія произведенія, а запоздалыя зимнія. Извѣстное дѣло: на Руси все дѣлается безъ торопливости и съ проволочкой. Объ иной тяжбѣ каждый день говорятъ: завтра

рѣшится, а глядишь, это «завтра» тянется лѣтъ пятьдесятъ, иногда и больше. Такъ точно объ иной книгѣ полгода твердятъ: на-дняхъ выйдетъ; самъ издатель крѣпко убѣжденъ въ этомъ, а между тѣмъ книга, обѣщанная въ январѣ, глядишь, появится въ іюлѣ, и притомъ не всегда того же года. Какъ и отчего это дѣлается—Богъ знаетъ!.. Да то ли еще дѣлывалось у насъ! Бывало, журналистъ объявляетъ къ новому году подписку на свой журналъ, съ обѣщаніемъ «въ скорѣйшемъ времени» додать пять книжекъ за предпрошлый и семь книжекъ за прошлый годъ—для чего, говоритъ онъ,—приняты имъ самыя дѣятельныя мѣры; а глядишь: въ февральской книжкѣ напримѣръ 1844 года являются моды и политическія извѣстія за іюль 1842 года... Теперь въ журналистикѣ снова воскресаютъ милые, пасторальные и наивные обычаи старины. Недавно одинъ плохой журналъ, издававшійся года три и только въ концѣ третьяго года догадавшійся о себѣ, что онъ никуда не годится,—принялъ благое намѣреніе исправиться на 1845 годъ, т. е. сдѣлаться умнымъ, дѣльнымъ и интереснымъ. Пышная программа съ обѣщаніемъ коренной реформы вышла въ свѣтъ за тѣмъ, чтобы журналъ могъ въ четвертый разъ поймать въ силки «почтеннѣйшую» публику. И въ самомъ дѣлѣ, первыя три книжки были и пограмотнѣе и, будто, подѣльнѣе, но съ четвертой дѣло пошло прежнимъ порядкомъ, а реформы нѣтъ и слѣдовъ, такъ же какъ и слѣдовъ таланта или смысла... Пятая же книжка отличалась одной изъ тѣхъ старыхъ новостей, къ которымъ впрочемъ этотъ журналъ прежде не прибѣгалъ; но, видно, ему пришлось плохо, потому что «почтеннѣйшая»-то не допустила въ четвертый разъ поймать себя, вполнѣ удовлетворившись тремя первыми разами; на пятой книжкѣ выставлены числа V и VI, въ знакъ того, что эту книжку, которая, несмотря на чудовищную толстоту бумаги, вышла какъ-то тоньше первыхъ четырехъ, должно считать за двѣ книжки... Обертка извѣщаетъ, что такимъ-же точно образомъ выйдетъ и шестая книжка, которую подписчики этого журнала (подѣломъ имъ, пусть не подписываются впередъ на плохіе журналы!), волей или неволей, а должны принять за седьмую и восьмую... Все это дѣлается для того, чтобъ не отстать отъ времени, которое, какъ извѣстно, имѣетъ преглупую привычку идти себѣ, не дожидаясь остальныхъ книжекъ плохихъ журналовъ... По истинѣ, легкій, дешевый и выгодный способъ не только не отставать отъ времени, но и опережать его!...

И такъ, вторая часть «Физіологіи Петербурга» должна одна составить собой всю собственно русскую лѣтнюю литературу нынѣшняго года... нѣтъ,—чуть было не забыли!—нынѣшнее лѣто необыкновенно богато книгами беллетристическаго содержанія: недавно вышелъ третій томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Книга, какъ сами можете видѣть изъ ея названія, столько же важная, сколько и толстая: изъ трудовъ цѣлой сотни литераторовъ, хотя бы и русскихъ, можно выбрать много хорошаго, много такого, что̀ можетъ эту книгу сдѣлать представительницей русской литературы. И такъ, еще разъ, да здравствуетъ лѣто 1845 года! Сухое, теплое, бездождливое, оно оставило насъ вовсе безъ грибовъ, но зато надѣлило книгами. О «Ста Русскихъ Литераторахъ» мы говорили, займемся же второй частью «Физіологіи Петербурга».

Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нѣчто вродѣ повѣстей и очерковъ, а иногда взглядовъ, изложенныхъ въ формѣ журнальной статьи, мѣстами серьезныхъ, но всегда оттѣненныхъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей—познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и можетъ быть еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль?—На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣчать утвердительно. Не должно забывать, что «Физіологія Петербурга»—первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучшій изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались,—потому едва ли не лучшій, что, во-первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и нѣтъ статей плохихъ, а во-вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собой нѣчто цѣлое, несмотря на то, что онѣ писаны разными лицами. Первая часть «Физіологіи Петербурга» имѣла большой успѣхъ. И неудивительно: статьи «Дворникъ» и «Петербургскіе углы» могли бы украсить собою всякое изданіе; статья «Петербургскіе Шарманщики» не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи «Петербургъ и Москва», ее прочли всѣ, многіе оцѣнили выше, нежели чего она сто̀итъ въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что̀ въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его,—это, по нашему мнѣнію, успѣхъ. Замѣчательнѣе всего отзывы журналовъ о «Физіологіи Петербурга». Одна газета выписала изъ статьи «Петербургъ и Москва» пять строкъ, заключающихъ въ себѣ мысль одного великаго нѣмецкаго философа, назвала эту мысль вздорной и нелѣпой, а вмѣстѣ съ ней и всю статью. Такимъ же точно образомъ выписала она нѣсколько строкъ изъ «Петербургскихъ Угловъ», и коротко, безъ изложенія содержанія статьи, безъ доказательствъ объявила, что статья плоха, исполнена сальностей, грязи и дурного тона. «Дворникъ»—этотъ превосходный физіологически-юмористическій очеркъ, оскорбилъ въ газетѣ аристократическое чувство и заставилъ ее подивиться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворникахъ! Но никакой истинный аристократъ не презираетъ въ искусствѣ и литературѣ изображенія людей низшихъ сословій и вообще такъ называемой низкой природы,—чему доказательствомъ картинныя галлереи вельможъ, наполненныя между прочимъ и картинами фламандской школы. Ужъ нечего и говорить о томъ, что люди низшихъ сословій прежде всего—люди же, а не животныя, наши братья по

природѣ и о Христѣ,—и презрѣніе къ нимъ, особенно изъявляемое печатно, очень неумѣстно. Хорошъ также отзывъ одного журнала о первой части «Физіологіи Петербурга». Хотѣлось ему обнаружить къ ней равнодушное презрѣніе, да не удалось выдержать притворнаго тона: изъ каждаго слова такъ и видно, что̀ bon homme сердится. Хотѣлось ему также и сострить à la баронъ Брамбеусъ, да вмѣсто остроты у него вышло какъ-то ложное обвиненіе въ преступленіи: натура-то сказалась! Въ предисловіи къ первой части «Физіологіи Петербурга» между прочимъ сказано, что у насъ въ литературѣ болѣе хорошихъ произведеній, ознаменованныхъ печатью художественности, нежели хорошихъ беллетристическихъ произведеній,—болѣе геніальныхъ талантовъ (какъ впрочемъ ни мало ихъ), нежели обыкновенныхъ талантовъ, которыхъ дѣятельность удовлетворяла бы насущнымъ потребностямъ читающей публики. Журналъ, о которомъ мы говоримъ, выдумалъ, будто-бы въ предисловіи сказано, что у насъ все таланты, а нѣтъ посредственности, и что «Физіологія Петербурга» рѣшилась сдѣлаться сборникомъ посредственныхъ статей. Изъ этого видно, что бѣдный журналъ нездоровъ и страждетъ разстройствомъ печени. И немудрено: его давно ужъ не читаютъ и, чтобъ привлечь къ себѣ подписчиковъ, онъ рѣшился изъ одной своей книжки дѣлать иногда двѣ книжки, выставляя на оберткѣ по двѣ цифры. Слогъ остроумной статьи о «Физіологіи Петербурга» напоминаетъ своей несвязанностью, сухостью и безталанностью статью того же журнала о поэмѣ Тургенева—«Разговоръ», гдѣ это прекрасное произведеніе напоналъ разругано за то, что оно написано не въ славянофильскомъ духѣ,—а слогъ статьи о «Разговорѣ» напоминаетъ собою слогъ брошюрки о «Мертвыхъ Душахъ», которая года три назадъ насмѣшила весь читающій міръ нелѣпостью мыслей и бездарностью изложенія. Разумѣется, за подобныя статьи издателю «Физіологіи Петербурга» остается только благодарить и газету, и журналъ, потому что, прочитавъ такую статью, опытный читатель сейчасъ поймета, въ чемъ дѣло, и захочетъ прочесть книгу, о которой намѣреваются писать хладнокровно, а пишутъ съ сердцемъ, и скажетъ: «Tu te fâches, Jupiter, donc tu as tort».

Вторая часть «Физіологіи Петербурга» содержитъ въ себѣ статью: «Александрійскій театръ», «Чиновникъ», «Омнибусъ», «Петербургская Литература», «Лоттерейный Балъ», «Петербургскій Фельетонистъ». Самая лучшая изъ нихъ—«Чиновникъ»; самая слабая—«Петербургская Литература». Послѣдняя могла бы незамѣтно пройти въ журналѣ, даже имѣть въ немъ какое-нибудь значеніе; но въ книгѣ она какъ-то неумѣстна. «Чиновникъ»—пьеса въ стихахъ, Некрасова, есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своей вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соотвѣтствующей ей формѣ, такъ что никакой, самый предпріимчивый критикъ не зацѣпится за одну черту, которую могъ бы онъ похулить. Пьеса эта написана въ юмористическомъ духѣ и вѣрно воспроизводитъ одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга—чиновника:

Какъ человѣкъ разумной середины,
Онъ многаго въ сей жизни не желалъ;
Передъ обѣдомъ пилъ настойку изъ рябины
И чихиремъ обѣдъ свой запивалъ.
У Кинчерфа заказывалъ одежду
И съ давнихъ поръ (простительная страсть!)
Питалъ въ душѣ далекую надежду
Въ коллежскіе ассессоры попасть,—
За тѣмъ, что былъ онъ крови не боярской
И не хотѣлъ, чтобъ въ жизни кто-нибудь
Дѣтей его породой семинарской
Осмѣлился надменно попрекнуть.
. . . . . .
Сиротъ и вдовъ онъ не былъ благодѣтель,
Но нищимъ иногда давалъ гроши,
И называлъ святую добродѣтель
Первѣйшимъ украшеніемъ души.
Объ ней твердилъ въ семействѣ безпрерывно,
Но не во всемъ ей слѣдовалъ подчасъ,
И извинялъ грѣшки свои наивно
Женой, дѣтьми, какъ многіе изъ насъ.
По службѣ велъ дѣла свои примѣрно
И не бывалъ за взятки подъ судомъ,
Но (на жену, какъ водится) въ Галерной
Купилъ давно пяти-этажный домъ.
И радовалъ родительскую душу
Сей прочный домъ—спокойствія залогъ.
И на Ѳому, Ванюшу и Феклушу
Безъ сладкихъ слезъ онъ посмотрѣть не могъ...
. . . . . .
Въ недѣлю разъ, пресытившись игрой,
Въ театръ Александрійскій ради скуки
Являлся нашъ почтеннѣйшій герой.
Удвоенной цѣной на бенефисы
Отечественный геній поощрялъ,
Но званіе актера и актрисы
Постыднымъ по преданію считалъ.
Любилъ пальбу, кровавые сюжеты,
Гдѣ при концѣ карается порокъ...
И, слушая скоромные куплеты,
Толкалъ жену тихонько подъ бочокъ.
Любилъ щепнуть въ антрактѣ толстой дамѣ
(Всему научитъ хитрый Петербургъ),
Что страсти и движенья нужны въ драмѣ
И что Шекспиръ—великій драматургъ,—
Но, впрочемъ, не былъ твердо въ томъ увѣренъ
И черезъ часъ другое подтверждалъ.
По службѣ бывъ всегда благонамѣренъ,
Онъ прочее другимъ предоставлялъ.
За то, когда являлася сатира,
Гдѣ авторъ—тунеядецъ и нахалъ—
Честь общества и украшенье міра
Чиновниковъ за взятки порицалъ,—
Свирѣпствовалъ онъ, не жалѣя груди,
Дивился, какъ допущена въ печать
И какъ благонамѣренные люди
Не совѣстятся видѣть и читать.
Съ досады пилъ (сильна была досада!)
Въ удвоенномъ количествѣ чихирь
И говорилъ, что авторовъ бы надо
За дерзости подобныя—въ Сибирь!...

Выписывая эти мѣста, мы выбирали не то, что̀ лучше, а то, что̀ короче, слѣдовательно читатели вполнѣ могутъ судить по этимъ выпискамъ о цѣлой пьесѣ. Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: «что̀ за предметъ! и какъ можно восхищаться пьесой, которая изображаетъ такой предметъ!». Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которыя изображаютъ все предметы высокіе и колоссальные. Что̀ же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія прежд-

де всего по ихъ выполненію, а потомъ уже по ихъ содержанію, предмету и цѣли. Послѣднее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ одинаково хорошо выполненныхъ произведеній, чтобъ опредѣлить ихъ относительную другъ къ другу цѣнность. Поэтому для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшую изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять напримѣръ съ «Онѣгинымъ» Пушкина: тутъ огромная, неизмѣримая разница въ достоинствѣ «Онѣгина» предъ басней,—и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не формѣ или, лучше сказать, выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать «Чиновника» Некрасова ни съ какимъ извѣстнымъ произведеніемъ, то и скажемъ просто, что эта пьеса—одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года.—Изъ прозаическихъ статей лучшая во второй части «Физіологіи Петербурга»—статья Панаева: «Петербургскій Фёльетонистъ». Она уже была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но здѣсь перепечатана, нѣсколько переправленная и пополненная,—отъ чего она много выиграла въ достоинствѣ. Она очень идетъ къ «Физіологіи Петербурга», потому что вѣрно изображаетъ одно изъ самыхъ характеристическихъ петербургскихъ явленій. Есть у Панаева еще статья «Тля», напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 года, которая такъ и просится въ «Физіологію Петербурга»,—и еслибъ къ ней можно было сдѣлать картинки получше, то она произвела бы сильный эффектъ, хотя и была бы уже не новымъ произведеніемъ.—«Лоттерейный Балъ» Григоровича—статья не безъ занимательности, но, кажется, слабѣе его же «Шарманщиковъ», помѣщенныхъ въ первой части «Физіологіи». Она слишкомъ сбивается на дагерротипъ и отзывается его сухостью.—«Омнибусъ» Кульчицкаго (Говорилина)—статья совершенно дагерротипическая, вѣрный списокъ съ случая, не лишенный занимательности. Ее упрекаютъ многіе за сальность въ изображеніи безпрестанно рыгающаго купца-бороды. По нашему мнѣнію, писатель, изображающій дѣйствительность, только въ двухъ случаяхъ можетъ впадать въ сальность и грязность: или когда онъ самъ тѣмъ болѣе восхищается своими картинками, чѣмъ грязнѣе онѣ,—по своей личной любви ко всему грязному, или когда онъ впадаетъ въ противоположную крайность, и черезчуръ рѣзкимъ изображеніемъ грязи, несмягченнымъ художественностью выраженія, старается выразить свое отвращеніе отъ грязи. Послѣднее нерѣдко бываетъ съ людьми, которыхъ чувства и образованность выше таланта. Можетъ-быть въ этомъ отношеніи Кульчицкій немножко и погрѣшилъ противъ вкуса въ своемъ «Омнибусѣ»; но все-таки его купецъ-борода и его герой очень похожи на дѣйствительныхъ людей этого разряда,—и потому «Омнибусъ» для насъ все-таки много лучше множества произведеній съ изображеніями великихъ и колоссальныхъ предметовъ, а купецъ-борода и герой въ тысячу разъ интереснѣе Греминыхъ, Звонскихъ, Лидиныхъ, Зоричей и тому подобныхъ такъ называемыхъ «идеальныхъ» созданій.—Въ статьѣ «Александрійскій театръ» собрано все, что́ уже было говорено и сказано новаго объ этомъ театрѣ,—такъ что теперь едва ли уже можно сказать о немъ что нибудь, чего уже не было бы сказано. Особенно любопытно въ этой статьѣ сравненіе петербургскаго русскаго театра съ московскимъ въ отношеніи къ ихъ артистамъ.

Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ «Физіологія Петербурга», была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не будучи первымъ опытомъ,—была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія.

Грамматическія разысканія. *В. А. Васильева. 1) О буквѣ ё. 2) Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго. Спб. 1845.*

Появленіе книжки Васильева очень порадовало насъ. Въ самомъ дѣлѣ, давно бы уже пора приняться намъ за разрабатываніе русской грамматики.—А то—вѣдь стыдно сказать!—грамматика полагается у насъ въ основаніе ученію общественному и частному,—а между тѣмъ у насъ нѣтъ рѣшительно ни одной удовлетворительной грамматики! И какъ же бы могла она явиться у насъ, когда теорія языка русскаго почти не начата, и для грамматики, какъ систематическаго свода законовъ языка, не приготовлено никакихъ данныхъ? Оттого, если сличить двѣ русскія грамматики разныхъ составителей, напримѣръ грамматику Греча съ грамматикой Востокова,—подумаешь, что каждый изъ нихъ разсуждаетъ объ особенномъ языкѣ, или что онѣ отдѣлены одна отъ другой большимъ промежуткомъ времени. Каждый пишущій въ Россіи руководствуется своей собственной грамматикой; нововведеніямъ, этимологическимъ, синтаксическимъ и орѳографическимъ, нѣтъ числа и мѣры: всякій молодецъ на свой образецъ! И между тѣмъ, несмотря на вопли нѣкоторыхъ старыхъ писакъ противъ этой грамматической анархіи, въ которой они видятъ злоупотребленіе и чуть не разбой,—при настоящемъ положеніи русскаго языка эта грамматическая анархія неизбѣжна и необходима—даже полезна и благотворна... Русскій языкъ еще не установился,—и дай Богъ, чтобъ онъ еще какъ можно долѣе не установился, потому что чѣмъ дольше будетъ онъ установляться, тѣмъ лучше и богаче установится онъ. Есть люди, которые вѣрятъ, или только дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ, будто Карамзинымъ русскій языкъ совершенно утвердился и дальше идти не можетъ: много благодарны за этотъ языкъ-скороспѣлку, которому только безъ году недѣля, а онъ ужъ и состарѣлся! Какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ развитія русскаго языка, мы принимаемъ Карамзинскій языкъ съ любовью, уваженіемъ, благодарностью и даже, если хотите съ удивленіемъ; но намъ и да-

ромъ не нужно Карамзинскаго языка, если въ немъ должно видѣть совершенно установившійся языкъ русскій... Мы думаемъ, что если Крыловъ и обязанъ Карамзину чистотой своего языка, то все же языкъ Крылова во сто разъ выше языка Карамзина, по той простой причинѣ, что языкъ Крылова до nec plus ultra языкъ русскій, тогда какъ языкъ Карамзина только въ «Исторіи Государства Россійскаго» обнаружилъ стремленіе быть языкомъ русскимъ, а до тѣхъ поръ обнаруживалъ стремленіе только не быть славяно-латинско-нѣмецкимъ, или Ломоносовскимъ языкомъ (что и было со стороны Карамзина великой заслугой). Но сфера языка Крылова сама по себѣ довольно ограничена, и потому не въ ней русскій языкъ могъ достичь своего установленія, и не на баснѣ остановиться. Ему надо было идти, и онъ пошелъ впередъ, содѣйствіемъ Жуковскаго, Батюшкова, Гнѣдича, самого Карамзина, который въ своей «Исторіи Государства Россійскаго» говорилъ совсѣмъ другой манерой, нежели прежде,—правда, манерой еще болѣе искусственной, но зато и болѣе полезной для успѣха русскаго языка. Явился Пушкинъ—и русскій языкъ обрѣлъ новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное—сталъ развязенъ, естественъ, сталъ вполнѣ русскимъ языкомъ. Поэтому, слушая людей, которые наивно утверждаютъ, что Карамзинъ кончилъ, такъ сказать, воспитаніе русскаго языка, и совсѣмъ умалчиваютъ о Пушкинѣ, какъ будто бы, въ дѣлѣ языка, онъ не заслуживаетъ и упоминовенія, — невольно вспоминаешь стихъ Крылова, обратившійся въ пословицу:

Слона-то я и не замѣтилъ!

Теперь посмотрите: Ломоносовъ установляетъ славяно-латинско-нѣмецкую форму русскаго языка, всѣми принятую безусловно; но въ писателяхъ Екатерининскаго вѣка уже виденъ въ ходѣ языка значительный успѣхъ: Державина и Фонвизина, по отношенію къ языку, уже никакъ нельзя сравнивать съ Ломоносовымъ. Карамзинъ, такъ сказать, убиваетъ на-смерть языкъ Ломоносова, съ одной стороны представивъ образцы новой прозы, а съ другой вмѣстѣ съ Дмитріевымъ—представивъ образцы стиха, далеко въ отношеніи къ языку (а не поэзіи) опередившаго стихъ Державина. Мало этого: лишь только проза его сдѣлалась образцовой и начала развиваться далѣе содѣйствіемъ Жуковскаго, какъ онъ самъ отрекается отъ нея и въ своей «Исторіи» силится создать совсѣмъ другого рода прозу. О Крыловѣ мы говорили. Стихъ Жуковскаго и Батюшкова неизмѣримо далеко оставляетъ за собой стихъ Дмитріева и Карамзина; Гнѣдичъ создаетъ русскій гекзаметръ и дѣлаетъ русскій языкъ способнымъ для воспроизведенія изящной древней рѣчи эллинской. Кажется, много сдѣлано? Трудно повѣрить, чтобъ можно было идти дальше? И что же?—Пушкинъ является полнымъ реформаторомъ языка, увлекаетъ за собой Крылова,—писателя, опередившаго его цѣлой четвертью вѣка, увлекаетъ Жуковскаго. Вмѣстѣ съ Пушкинымъ является Грибоѣдовъ и создаетъ языкъ русской стихотворной комедіи, какъ Крыловъ создалъ языкъ русской басни. Самъ Пушкинъ не стоялъ на одномъ мѣстѣ: съ «Полтавы», вышедшей въ 1829 году, началась для его поэтической дѣятельности новая эпоха въ отношеніи и къ творчеству, и къ языку. Прозой онъ писалъ до того времени мало, но и въ его прозаическихъ отрывкахъ (особенно въ «Арапѣ Петра Великаго») видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сдѣлалось въ какія-нибудь девяносто лѣтъ, считая отъ первой оды Ломоносова—«На взятіе Хотина», написанной правильнымъ тоническимъ размѣромъ, навсегда утвердившимся въ русской поэзіи (1739), до «Полтавы» Пушкина (1829)!... Какая же могла тутъ явиться грамматика? Вѣдь грамматика есть абстракція языка, существующаго въ созданіяхъ литературы, а литература измѣнялась съ каждымъ годомъ? При такихъ условіяхъ какую ни напишите грамматику,—она успѣетъ отстать отъ языка литературы, пока вы будете печатать ее.

Но почему же, спросятъ васъ, мы говоримъ все о языкѣ литературы, а не о языкѣ народа? По самой простой причинѣ: масса народа отстала отъ образованнаго общества, и языкъ ея сдѣлался для общества слишкомъ бѣднымъ, неудовлетворительнымъ: вѣдь не у всякаго же достанетъ духа объясняться маленько-мужицкимъ слогомъ. Языкъ же общества безпрестанно измѣнялся вмѣстѣ съ литературой.

Однакожъ и Пушкинымъ не кончилось развитіе русскаго языка, который и теперь еще далеко отъ того, чтобъ установиться. Особенно бѣденъ доселѣ разговорный, общественный русскій языкъ. Для поэзіи, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державинымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ) сдѣлано было много, а Пушкинымъ довершено ихъ дѣло. И немудрено: русскій языкъ необыкновенно богатъ для выраженія явленій природы и, по своему близкому сродству съ древне-церковнымъ славянскимъ языкомъ, причастенъ генію древнихъ классическихъ языковъ, способенъ къ передачѣ произведеній древне-греческой и латинской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, какое богатство для изображенія явленій естественной дѣйствительности заключается только въ глаголахъ русскихъ, имѣющихъ виды! «Плавать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплывать, заплыть, переплыть, уплывать, уплыть, наплывать, наплыть, подплывать, подплыть, поплавать, поплыть, расплаваться, расплыться, наплаваться, заплаваться»: это все одинъ глаголъ для выраженія двадцати оттѣнковъ одного и того же дѣйствія!

Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ травой
Разстилается!
Ахъ, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,

Пораскинулась,
Къ Морю Черному
Понадвинулась!

На какомъ другомъ языкѣ передали бы вы поэтическую прелесть этихъ выраженій покойнаго Кольцова о степи: «разстилается, пораскинулась, понадвинулась»?...

Да, благодаря уже самому свойству русскаго языка, поэзія природы, поэзія чувствъ и мыслей, не ознаменованныхъ ни печатью абстракціи, ни печатью общественности, навсегда установилась у насъ Пушкинымъ, и языкъ для нея вполнѣ выработался,—такъ что дальнѣйшій прогрессъ для языка будетъ уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержанія. Но такой прогрессъ возможенъ не только для юнаго русскаго языка, еще далеко не во всѣхъ отношеніяхъ вышедшаго изъ пеленъ, но и для вполнѣ развившагося слишкомъ два вѣка назадъ французскаго языка. Каждый вновь появляющійся великій писатель открываетъ въ своемъ родномъ языкѣ новыя средства выраженія новой сферы созерцанія. Такъ напримѣръ, въ грамматическомъ отношеніи нѣтъ почти никакой разницы между языкомъ Руссо и Жоржъ Занда; но зато какая разница между тѣмъ и другимъ языкомъ въ отношеніи къ ихъ содержанію! Въ этомъ отношеніи, благодаря Лермонтову, русскій языкъ далеко подвинулся впередъ послѣ Пушкина, и такимъ образомъ онъ не перестанетъ подвигаться впередъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ на Руси являться великіе писатели.

Но зато, какъ еще бѣденъ русскій языкъ для выраженія предметовъ науки, общественности,—словомъ, всего отвлеченнаго, всего цивилизованнаго, глубоко и тонко развитого, даже ежедневныхъ житейскихъ отношеній! И причина этой бѣдности заключается, къ несчастью, не въ томъ только, что русскій языкъ молодъ, неразвитъ, необработанъ, но еще и въ историческомъ развитіи русскаго народа. Какъ богаты передъ нимъ въ этомъ отношеніи языки народовъ Западной Европы!—А почему? — Потому, что они образовались большей частью изъ обломковъ латинскаго, черезъ который приняли въ себя не малое число даже греческихъ словъ. Исключеніе остается за нѣмецкимъ языкомъ, какъ самостоятельнымъ; а попробуйте исключить и изъ него всѣ взятыя нѣмцами латинскія и греческія слова,—и вы увидите, какъ страшно обѣднѣетъ онъ. Вмѣстѣ съ словами искаженнаго латинскаго языка тевтонскіе варвары взяли отъ римлянъ и тѣ понятія, тѣ идеи, которыя могла породить и развить только гуманическая классическая древность, и которыя не могли-бы инымъ путемъ достаться варварамъ. Отъ этого напримѣръ французскій языкъ такъ богатъ словами, которыя заключаютъ въ себѣ философскій смыслъ, и которыя, несмотря на то, употребляются въ самомъ простомъ житейскомъ разговорѣ: «Субъектъ, объектъ, индивидуумъ, индивидуальный, абсолютный, субстанція, субстанціональный, конкретный, универсальный, абстрактный, категорія, раціонализмъ, раціональный, обскурантизмъ, индифферентизмъ, спеціальный, спеціализмъ, коллизія»; всѣ эти слова считаются у насъ книжными, смѣшными и дикими и навлекаютъ на себя глумленіе невѣждъ, если употребляются и не въ разговорѣ, а въ разсужденіяхъ объ умственныхъ предметахъ. Оно отчасти и понятно: ихъ не было въ русскомъ языкѣ, потому что въ русской цивилизаціи до Петра-Великаго не было выражаемыхъ ими понятій; а во французскомъ языкѣ они существуютъ какъ весьма обыкновенныя слова: l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualité, absolut, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalité, abstrait, la catégorie, le rationalisme, rationel, l'obscurantisme, l'indifférentisme, le spécialisme, la collision»... Такихъ словъ мы не перечли здѣсь и сотой доли. Всѣ такія слова мы, поневолѣ, должны брать цѣликомъ у иностранцевъ; многія изъ нихъ совершенно обрусѣли, и мы такъ привыкли къ нимъ, что какъ будто и не считаемъ ихъ за чужія: «коммерція, монополія, манифестъ, декларація, прокламація, инстинктъ, фабрика, мануфактура, брильянтъ, поэзія, проза, музыка, гармонія, мелодія, администрація, губернія, мастеръ, мастерство, маляръ, кучеръ, солдатъ, офицеръ, и пр., и пр., и пр. Такихъ словъ мы не исчислили здѣсь и тысячной доли. Многія изъ иностранныхъ словъ удачно переведены на русскій языкъ и получили въ немъ право гражданства: «правительство, промышленность, предметъ, личность (не оскорбленіе, a personnalité), дѣйствительность, любезность, воспроизведеніе (reproduction), вліяніе, отношеніе, заключеніе (conclusion), изложеніе (exposition)», и пр. Нечего уже говорить, что чрезъ столкновеніе русскаго ума съ доселѣ чуждыми ему идеями русскій языкъ сталъ богаче словами, которыя умножились этимологическимъ производствомъ для выраженія оттѣнковъ уже существовавшихъ понятій. Такимъ образомъ произошло неисчислимое множество словъ вродѣ слѣдующихъ: «враждебность, количественность, творчество, знаменитость (въ смыслѣ славнаго чѣм[illegible]дь человѣка, célébrité), множественность, письменность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, грамотность» и т. п. Но, несмотря на то, во французскомъ языкѣ остается множество словъ, въ значеніи которыхъ мы не можемъ не нуждаться, но которыхъ въ то же время не можемъ перевести (потому что у насъ нѣтъ соотвѣтствующихъ имъ словъ), ни взять цѣликомъ (потому что они какъ-то не вошли сами въ нашъ языкъ). Впрочемъ нѣкоторыя изъ нихъ мы, поневолѣ, мѣшаемъ въ свой русскій разговоръ, къ величайшему неудовольствію пуристовъ, которыхъ ограниченность не видитъ въ нихъ нужды; таковы: «compromettre, solidarité, alternative, charité, exagérer, se prononcer, pretendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initier, initiation, initiative, varier, remonter, prépondérance, chance, camaraderie, association, attribut, étaler, detailler, assortir, revanche и пр. (компрометти-

ровать, эксажирировать, прононсироваться, претендовать, концепція, гарантировать, эксплоатировать, варіировать, ремонтировать, препондерансъ, шансъ, ассоціація, аттрибутъ, эталировать, детальировать, сортировать, реваншъ). Нечего говорить о богатствѣ французской фразеологіи, о гибкости французскаго языка, способнаго на выраженіе всевозможныхъ тонкостей и оттѣнковъ мыслей. Выписанныя нами выше слова важны еще и по опредѣленности, съ какой выражаютъ они заключенное въ нихъ понятіе: поэтому многія изъ нихъ можно-бы перевести, да только переводъ будетъ неточенъ—то же, да не то. Такъ напримѣръ, «charité» можно перевести словомъ «милосердіе», а будетъ не то, схвачено понятіе, но потеряны нѣкоторые оттѣнки его; étaler—выставлять, раскладывать на показъ—опять близко, но не то, «revanche—возмездіе»: похоже, а не совсѣмъ! Вотъ почему французскій языкъ не у однихъ у насъ въ такомъ употребленіи. Можно быть въ немъ не слишкомъ сильнымъ—и, несмотря на то, подлинникъ хорошаго французскаго сочиненія понимать лучше, нежели превосходный переводъ его по русски. Писать по-русски письма—просто мученіе: фраза выходитъ тяжела, пахнетъ грамматикой и семинаріей, обороты неуклюжи. Пишете, мараете—и кончите тѣмъ, что сразу напишете по-французски—и выйдетъ хорошо. Говорить по-русски, не вмѣшивая фразъ и словъ французскихъ, очень трудно. Наши литераторы и такъ называемые патріоты упрекали и теперь упрекаютъ высшее общество въ равнодушіи и даже презрѣніи къ русскому языку и русской литературѣ, въ пристрастіи и даже страсти къ французскому языку и французской литературѣ: обвиненіе несправедливое и въ высшей степени мѣщанское! Наше высшее общество, вдругъ столкнувшись, такъ сказать, съ Европой, увидѣло, что для его новыхъ потребностей, идей и общественныхъ отношеній русскій языкъ бѣденъ и недостаточенъ, хотя для своего общества (до временъ Петра-Великаго) онъ, какъ и естественно, былъ не только удовлетворителенъ, но еще и очень богатъ. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однакожъ то немногое, что̀ было, оно читало: при Екатеринѣ Великой оно читало Державина и Богдановича, смотрѣло въ театрѣ трагедіи Сумарокова и комедіи Фонвизина; при Александрѣ I-мъ оно не по однимъ слухамъ знало о Карамзинѣ, Дмитріевѣ, Озеровѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ. Но это вѣдь еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованнаго общества: годовой бюджетъ произведеній всѣхъ этихъ писателей едва могъ доставить на недѣлю чтенія. Явился Пушкинъ—высшее общество прочло его. Въ наше время оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистываетъ иногда и не столь крупныхъ писателей, заглядываетъ даже въ журналы. Въ чемъ же упрекаютъ его?—Развѣ въ томъ, что оно не проглатываетъ всего, что̀ производитъ досужество россійскихъ сочинителей?—Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индижестіи... Но оно не говоритъ по-русски?—Правда; и это оттого, что, какъ сказалъ Пушкинъ,

Доселѣ гордый нашъ языкъ
Къ почтовой прозѣ не привыкъ,—

и оттого, что онъ еще менѣе привыкъ къ разговору: мѣстоименія его такія длинныя, напримѣръ который, безъ котораго между тѣмъ нельзя составить фразы; а его причастія, и дѣйствительныя, и страдательныя, такъ долговязы, главное же—такъ отзываются «высокимъ слогомъ»; его фраза такъ пахнетъ книгой.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятствій еще очень мало сдѣлано и высшимъ обществомъ, и литературой; но «мало» не значитъ еще «ничего». Немного сдѣлано, но уже дѣлается: съ одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говоритъ по-русски; а когда русская литература будетъ ежегодно производить хорошаго и интереснаго столько же, сколько ежегодно производитъ французская литература или хоть около того, — тогда наше высшее общество будетъ и читать, и говорить по-русски, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ по-французски. А то вѣдь, согласитесь сами,—двѣ или три, много-много пять порядочныхъ повѣстей въ годъ, романъ въ иной годъ, да десятокъ журналовъ, которые больше чѣмъ наполовину наполняются переводами и изъ которыхъ развѣ только два удобны для чтенія, — согласитесь, что такая литература, если только она и въ самомъ дѣлѣ—литература, немного времени возьметъ у самаго жаднаго до чтенія, но хотя немного разборчиваго читателя? Съ другой стороны, русская литература теперь на доброй дорогѣ для того, чтобъ выработать изъ языка книги языкъ общества и жизни. Она давно уже стремится къ этому, — съ тѣхъ поръ, какъ заговорили о важности такъ называемой легкой поэзіи и легкой литературы. Перебирая нашихъ дѣятелей въ этомъ отношеніи, пропустимъ Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера, и начнемъ съ Фонвизина, потомъ упомянемъ Крылова и Дмитріева (басни и сказки, въ особенности «Модная Жена»); отъ нихъ перейдемъ къ безсмертному созданію Грибоѣдова «Горе отъ Ума», къ «Евгенію Онѣгину» и «Графу Нулину» Пушкина, причемъ упомянемъ о прозаическихъ опытахъ Пушкина (преимущественно объ «Арапѣ Петра Великаго»). Съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, которая, въ лицѣ этого геніальнаго писателя, обратилась преимущественно къ изображенію русскаго общества. Пуристы, грамматоѣды и корректоры нападаютъ на языкъ Гоголя, и — если хотите — не совсѣмъ безосновательно: его языкъ точно неправиленъ, нерѣдко грѣшитъ противъ грамматики и отличается длинными періодами, которые изобилуютъ вставочными предложеніями; но со всѣмъ тѣмъ онъ такъ живописенъ, такъ ярокъ и рельефенъ, такъ опредѣлителенъ и точенъ, что его недостатки, о

которыхъ мы сказали выше, скорѣе составляютъ его прелесть, нежели порокъ, какъ иногда нѣкоторыя неправильности чертъ или веснушки составляютъ прелесть прекраснаго женскаго лица. Возьмите самый неуклюжій періодъ Гоголя: его легко поправить, и это съумѣетъ сдѣлать всякій грамотѣй десятаго разряда; но покуситься на это значило бы испортить періодъ, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь далъ направленіе прозаической литературѣ нашего времени, какъ Лермонтовъ далъ направленіе всей стихотворной литературѣ послѣдняго времени. И направленіе, данное Гоголемъ, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые по этому учатся и научатся хорошо говорить о простыхъ вещахъ, и уже не поучать, какъ прежде, торжественно и важно публику, а бесѣдовать съ ней. Съ другой стороны, еще съ появленія «Московскаго Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина наша журнальная литература оказала стремленіе объясняться съ публикой не парадным языкомъ книги, а живымъ языкомъ общества. Но Карамзинъ недолго дѣйствовалъ на журнальномъ поприщѣ,— и потому только съ появленія «Московскаго Телеграфа» начинается періодъ настоящей журнальной дѣятельности, полезной и для общества, и для языка. И нельзя сказать, чтобъ въ этомъ отношеніи журналистика наша не сдѣлала съ тѣхъ поръ значительныхъ успѣховъ.

Но какъ бы ни былъ языкъ неразвитъ и необработанъ,—онъ все же вѣдь имѣетъ свой геній, свой духъ, свои законы и свои, только ему свойственные, характеръ и физіономію: изслѣдовать, опредѣлить,—словомъ, привести ихъ въ ясное сознаніе есть дѣло грамматики. Взглянемъ же на то, что̀ сдѣлала у насъ для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзіи и русской литературѣ вообще, русская грамматика нисколько не была русской, но представляла какой-то странный сколокъ съ латинской, французской и нѣмецкой грамматики. Наши грамматисты отъ Мелетія Смотрицкаго до Ломоносова и бывшей Академіи Россійской, составляя русскую грамматику, какъ будто ничего другого не дѣлали, какъ только переводили латинскую,—и потому они въ русскихъ глаголахъ, кромѣ трехъ временъ—настоящаго, прошедшаго и будущаго, дѣйствительно существующихъ, нашли еще «неопредѣленное прошедшее (преходящее), совершенно-прошедшее, давно-прошедшее, неопредѣленно-будущее, совершенно-будущее и другія, при каждомъ глаголѣ открыли по-нѣскольку неокончательныхъ наклоненій. Также неудовлетворительна была грамматика, изданная Россійской Академіей. Впрочемъ за это облатыненіе русской грамматики не должно строго судить нашихъ старинныхъ грамматѣевъ: вся ихъ вина состояла въ томъ, что они начали съ начала, по естественному ходу человѣческаго ума. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго у насъ все русское неизбѣжно должно было объиностраниться. Наконецъ, знаменитый лингвистъ, нѣмецъ Фатеръ, первый проникнувъ въ особенныя свойства русскихъ глаголовъ, положилъ твердое основаніе русской грамматикѣ, по крайней мѣрѣ сдѣлалъ ее возможной. Онъ доказалъ, что совершающееся въ глаголахъ другихъ языковъ посредствомъ множества временъ у насъ дѣлается черезъ виды, что каждый русскій глаголъ имѣетъ нѣсколько видовъ, что каждый видъ имѣетъ только одно неокончательное наклоненіе, и что глаголы неопредѣленнаго и многократнаго видовъ имѣютъ три времени—настоящее, прошедшее и будущее, а глаголы совершеннаго (или опредѣленнаго) и многократнаго видовъ имѣютъ только два времени—прошедшее и будущее (послѣднее спрягается совершенно такъ, какъ настоящее время глаголовъ неопредѣленнаго и многократнаго видовъ). Объ этомъ самомъ писалъ покойный профессоръ Болдыревъ, котораго обвиняли въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ мысли Фатера. Справедливо ли это, мы рѣшить не можемъ; а лучше скажемъ, что профессоръ Болдыревъ написалъ еще прекрасное разсужденіе «о степеняхъ сравненія русскихъ прилагательныхъ», въ которомъ доказалъ, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на *айшій* и *ѣйшій*, есть, напротивъ, сравнительная степень полной формы прилагательныхъ, тогда какъ степень, которая одна считалась сравнительной и которая оканчивается на *ѣе*, *ѣй* и *е*, есть только сравнительная усѣченной формы прилагательныхъ. Потомъ мы помнимъ еще небольшую, но дѣльную статейку профессора И. И. Давыдова «О порядкѣ словъ». Имя Востокова по справедливости должно быть упоминаемо съ почетомъ, какъ автора лучшей доселѣ русской грамматики. Но все это—не корень, не начало. Прежде составленія грамматики необходимо аналитическое изслѣдованіе русскаго языка, глубокое проникновеніе въ анатомію, въ физіологію, въ тайну организма языка. Надо начать съ звука, съ буквы. Это и сдѣлалъ знаменитый филологъ нашъ Г. П. Павскій, который одинъ стоитъ цѣлой академіи. Его «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка» положено прочное основаніе филологическому изученію русскаго языка, показанъ истинный методъ для этого изученія. Это превосходное сочиненіе еще не кончено; но мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что послѣдняя, шестая, часть его приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертой и пятой не замедлитъ поступить въ печать. Первыя три части этого творенія уже всѣ распроданы и выйдутъ вторымъ изданіемъ, когда окончатся печатаніемъ три послѣднія части. Это успѣхъ, успѣхъ блестящій и славный тѣмъ болѣе, что у насъ нѣтъ еще публики для ученыхъ сочиненій, и что журналы не оцѣнили великій трудъ Павскаго, какъ слѣдуетъ,—а не оцѣнили потому, что для него, какъ сочиненія совершенно самобытнаго и оригинальнаго, которое первое полагаетъ основаніе русской филологіи, не нашлось цѣнителей, достаточно сильныхъ для подобной оцѣнки. Но при-

детъ время, когда сочиненіе Павскаго сдѣлается классической и настольной книгой для всякаго ученаго, который посвятитъ себя изученію русскаго языка. Ужъ и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой авторъ, при ея составленіи, много и крѣпко не посовѣтовался бы съ «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка».

«Грамматическія Разысканія» Васильева явились вслѣдствіе книги Павскаго и написаны по указанному ею методу и въ ея духѣ. Не сомнѣваемся, что найдутся остряки, забавники и потѣшники: они будутъ смѣяться надъ ничтожностью и мелочностью предмета, о которомъ такъ серьезно хлопочетъ книжка Васильева. Пусть глумятся на здоровье себѣ и на потѣху своимъ читателямъ! Положимъ, что книжка Васильева порождена даже педантизмомъ; но развѣ не такому педантизму обязаны французы удивительной разработкой своего языка? Что бы ни говорили, но грамматика именно учитъ не чему другому, какъ правильному употребленію языка, т. е. правильно говорить, читать и писать на томъ или другомъ языкѣ. Ея предметъ и цѣль—правильность, и ни до чего остального ей нѣтъ дѣла. Съ педантической кропотливостью задумывается она надъ тѣмъ, какъ правильнѣе произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, словомъ, употреблять то или другое слово,—и все это иногда для того, чтобъ, добившись цѣли своихъ изысканій, сказать: «такъ должно бы по правилу употреблять это слово, но такъ употребляется оно въ живомъ языкѣ общества»! Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и въ то же самое время можно говорить и особенно писать дурно: это правда; но также можно хорошо говорить и писать и въ то же самое время не знать языка. А между тѣмъ теоретическое знаніе языка важно и полезно, даже необходимо, и безъ приложенія. Грамматика есть логика, философія языка, и кто знаетъ грамматику своего языка, для того по крайней мѣрѣ возможно знаніе всеобщей грамматики — этой прикладной философіи слова человѣческаго. Сверхъ того, люди, которые только по инстинкту хорошо говорятъ или пишутъ на своемъ языкѣ, по необходимости часто ошибаются противъ духа языка, въ ущербъ своему успѣху на поприщѣ изустной или письменной изящной рѣчи. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что когда къ инстинктивной способности хорошо говорить или писать присоединяется теоретическое знаніе языка, — сила способности удвояется, утрояется. Грамматика не даетъ таланта, но даетъ таланту большую силу; а грамматику только тотъ знаетъ, кто знаетъ, какъ слѣдовало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которымъ живая власть употребленія (usus-tyrannus) дала неправильную форму. Сидѣльцы овощныхъ лавокъ и кухарки говорятъ и пишутъ, руководствуясь только употребленіемъ, а отнюдь не грамматикой; но потому-то иногда смѣшно слышать ихъ говорящими и всегда такъ трудно понимать написанное ими...

Грамматика не даетъ правилъ языку, но извлекаетъ правила изъ языка. Общее незнаніе этихъ правилъ, т. е. незнаніе грамматики, вредитъ языку народа, дѣлая его неопредѣленнымъ и подчиняя его произволу личностей: тутъ всякій молодецъ говоритъ и пишетъ на свой образецъ. Въ формахъ языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгимъ изслѣдованіемъ, какъ правильнѣе должно говорить или писать то или другое. Это исканіе правильности должно быть доведено до педантизма — для успѣха самаго языка. Пусть будутъ тутъ злоупотребленія: они отвергнутся обществомъ, и живое слово не покорится имъ; но зато все истинное и полезное, но несвязывающее языка мелочными и ненужными правилами будетъ принято всѣми. Посмотрите на русскую орѳографію, что̀ это такое! Въ этомъ отношеніи русскій языкъ представляетъ собой странное исключеніе изъ общаго правила: у насъ столько же орѳографій, сколько книгъ, сколько журналовъ, сколько литераторовъ,—и потому нѣтъ никакой орѳографіи. Неужели это хорошо? А между тѣмъ, за это никакъ нельзя никого винить: виноватаго нѣтъ! И такъ, вмѣсто того чтобъ пѣть іереміады противъ нововводителей,—не лучше ли было бы приняться за разработку орѳографіи, за изслѣдованіе — какой орѳографіи должно держаться, сообразно съ духомъ языка и его правилами. Объ этомъ стоитъ разсуждать и спорить. Пусть въ этихъ разсужденіяхъ и спорахъ наговорено будетъ много страннаго и нелѣпаго, лишь бы только результатомъ всего этого было, рано или поздно, удовлетворительное рѣшеніе вопроса. Но видно, обвинять и бранить другихъ гораздо легче, нежели доказать, почему они ошибаются, и какъ имъ надо писать, чтобъ писать правильно...

Вотъ почему мы очень рады появленію брошюрки Васильева. Можетъ-быть ею начинается безконечный рядъ филологико-грамматическихъ брошюръ, разсужденій, полемическихъ статей и статеекъ, которыми должна разработаться наша грамматика и придти въ единство наша орѳографія. Брошюрка Васильева раздѣляется на двѣ части. Въ первой онъ пытается рѣшить, правы ли тѣ, которые, вмѣсто почетный, счетъ, въ чемъ, черный, пишутъ: почотный, счотъ, въ чомъ, чорный, — и правы ли тѣ, которые нападаютъ на нихъ, какъ это дѣлаетъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы». Васильевъ не согласенъ ни съ той, ни съ другой стороной. Онъ говоритъ, что наши грамматисты, Востоковъ и Гречъ, ошибаются, утверждая, будто бы буква *ё* не можетъ слѣдовать за зубными буквами *ж, ч, ш, щ,* или по крайней мѣрѣ произносится послѣ нихъ не какъ *ё*, но какъ *о*; но что если внимательнѣе прислушаться къ произношенію словъ: счетъ и счотъ, щетка и щотка, желтый и жолтый, то нельзя не увѣриться, что слова эти, при звукахъ *ё* и *о*, совсѣмъ не одинаково произносятся, и что слѣдовательно

должно писать въ этимъ словахъ не *о*, а *е*. Съ другой стороны, онъ не согласенъ съ доводами фельетониста «Сѣверной Пчелы», который въ употребленіи буквы *о* въ помянутыхъ словахъ видитъ нарушеніе искони соблюдавшагося правила. Васильевъ справедливо замѣчаетъ, что искони писали: оскверненн*іи*, отшедш*ыя*, продающ*ымъ*, идущ*ымъ*, россій*стіи*, ра*спен*шіи, *денми;* и что «Библіотека для Чтенія» слѣдуетъ коренной, древней, хотя и неправильной привычкѣ русскаго народа, утвержденной вѣками, употребляя дательный падежъ вмѣсто родительнаго, между тѣмъ какъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» нападаетъ же за это на «Библіотеку для Чтенія».

Спорныя буквы *е* и *о* суть бѣглыя, т. е. такія, которыя то исчезаютъ, то опять появляются въ словѣ, какъ напримѣръ: л*е*дъ, л*ь*да, ор*е*лъ, орла, близк*і*й, близ*о*къ. Павскій говоритъ, что когда надъ этими буквами должно стоять удареніе, то ихъ должно употреблять по правиламъ сочетаемости буквъ, т. е. *о* ставить послѣ согласныхъ тупыхъ, а *е*—послѣ согласныхъ острыхъ. Васильевъ, напротивъ, утверждаетъ, что бѣглая гласная, находясь между двумя согласными и имѣя на себѣ ударенье, должна угождать обѣимъ, — такъ что если послѣднія въ словѣ требуютъ предъ собой *е*, а предыдущія *о*, — то такъ какъ обѣихъ поставить нельзя, должно поставить среднюю между *о* и *е*, то-есть *ё*. Основываясь на этомъ правилѣ, Васильевъ положительно утверждаетъ, что слова: друж*е*къ, луж*е*къ, мужич*е*къ, колпач*е*къ, круж*е*къ, и т. д. должно писать черезъ *е*, а не черезъ *о*.

Прекрасно! Но что же дѣлать съ выговоромъ-то и употребленіемъ? Что̀ ни говорите, а далеко не во всѣхъ словахъ звукъ *ё* отличается въ произношеніи отъ *о*. Въ словѣ жолтый не слышно никакого *ё*, а слышно одно чистое *о*; то же должно сказать о словѣ хорошо, которое, какъ усѣченіе слова хорошее, должно бы и писаться: хороше, а произноситься хорош*ё*; но—вопреки правилу, по прихоти употребленья, ни то, ни другое невозможно,—поэтому оно и пишется, и говорится хорошо, а не хорош*ё*. Мы согласны, что въ словахъ: «щетка, счетъ, въ чемъ, черный, щеголь» слышится звукъ болѣе похожій на *ё*, нежели на *о*, и что слѣдовательно нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать щ*о*тка, сч*о*тъ, въ ч*о*мъ, ч*о*рный, щ*о*локъ, щ*о*голь. Но также точно, сколько ни прислушивайтесь къ словамъ: «лицо, крыльцо, яйцо, кольцо, словцо, жолтый, шорохъ, шопотъ, кружокъ, лужокъ, отцомъ»— а, воля ваша, звука *ё* въ нихъ вы не услышите; если же и услышите, то вамъ трудно будетъ выговаривать эти слова, и этотъ звукъ оскорбитъ вашъ слухъ, — слѣдственно нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать: лиц*е*, крыльц*е*, яйц*е*, кольц*е*, ж*е*лтый, ш*е*потъ, круж*е*къ, луж*е*къ, отцемъ. Въ первомъ случаѣ буква *о*, какъ говорится, деретъ глаза; во второмъ то же дѣйствіе производитъ буква *е*. Согласны: правило Васильева вѣрно, да та бѣда, что употребленіе попортило его цѣлость, такъ что теперь, избѣгая педантизма, который иногда бываетъ хуже невѣжества, необходимо уступить деспотической волѣ употребленія, и изъ одного стараго правила сдѣлать два, т. е. помириться на серединѣ: съ буквами *щ* и *ч* писать *е*, а съ буквами *ж* и *ш* писать *о*. Возьмите слово: плече, — и произносите въ концѣ острое *ё*: вы выговорите его такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ выговаривается, слѣдовательно нѣтъ никакой нужды нарушать общаго правила и писать *о* (плечо); но въ словѣ лицо, какъ ни старайтесь выговаривать *ё*, не выговорите, а если выговорите, вамъ самимъ будетъ смѣшно своего усилія, равно какъ и звукъ, который вымучите вы изъ своихъ губъ. Остановимся на серединѣ, избѣгая равно и педантизма, и произвольности: обѣ крайности равно нехороши. Что жъ дѣлать, если духъ новаго русскаго языка часто бываетъ въ противорѣчіи съ духомъ стараго русскаго языка, и если всѣ акустическія и орѳографическія преданія разорваны такъ, что иногда и слѣдовъ нельзя отыскать? Тутъ остается только покориться необходимости.

Мы не обратили бы особеннаго вниманія на брошюрку Васильева, еслибъ въ ней было сказано только то, въ чемъ мы съ ней не согласились. Нѣтъ, въ ней, кромѣ этого, много дѣльнаго и интереснаго, какъ напримѣръ критика мнѣній разныхъ грамматистовъ и изслѣдованіе, въ какихъ случаяхъ буква *е* выговаривается какъ *ё*. Послѣднее изслѣдованіе сто̀ило автору большихъ трудовъ: чтобъ повѣрить справедливость своихъ выводовъ, онъ долженъ былъ перечесть весь лексиконъ русскій. Хлопотливо и тяжело, — а нельзя иначе при подобныхъ изслѣдованіяхъ, если не хотите нагромоздить кучу произвольныхъ правилъ, которыхъ языкъ и не думалъ признавать. Васильевъ приводитъ въ своей брошюрѣ разительный примѣръ подобной произвольности, происшедшей отъ легкости въ работѣ. Гречъ говоритъ: «Если надъ буквой *е* находится удареніе и гласная (также полугласная), то оная произносится какъ *йо* (т. е. какъ *ё*): напримѣръ: елка, твердо, дерну, блеклый, медъ. То же бываетъ, когда *е* находится въ концѣ слова: житье, сине, мое» («Практ. Русская Грамматика», 1834 г., стр. 416). Васильевъ приводитъ множество словъ въ опроверженіе этого правила: «верба, векша, жертва, трапеза, горе, ложе, море, поле», и проч. Но изложеніе правилъ, открытыхъ (числомъ 12) Васильевымъ объ употребленіи буквы *е́*, было бы излишне въ нашей статьѣ. Наше дѣло указать хорошее, а кто хочетъ увидѣть его самъ, можетъ обратиться къ самой брошюркѣ.

Очень интересно и второе разысканіе: «Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго»,—интересно, какъ по разбору мнѣній Греча и Востокова объ этомъ предметѣ, такъ и по выводамъ самого автора. Вообще брошюрка Васильева такого рода, что ни одинъ будущій составитель грамматики не обойдется безъ

того, чтобъ, при трудѣ своемъ, не принять ея къ свѣдѣнію, а иногда даже и не посовѣтоваться съ ней.

Слова на оберткѣ брошюры: «первый выпускъ» обѣщаютъ намъ продолженіе трудовъ Васильева по части разрабатыванія русской грамматики: очень рады!

Стихотворенія Александра Струговщикова, *заимствованныя изъ Гёте, Шиллера. Книга первая. Спб. 1845.*

Струговщиковъ давно уже снискалъ себѣ въ нашей литературѣ лестную извѣстность замѣчательнымъ талантомъ, съ какимъ передаетъ онъ на русскій языкъ сочиненія Гёте. О его счастливыхъ переводахъ говорили, спорили и писали; словомъ, Струговщиковъ въ короткое время сдѣлалъ себѣ имя этими трудами. Въ самомъ дѣлѣ, нисколько не увлекаясь пристрастіемъ, можно сказать, что нѣкоторыя пьесы Гёте у с в о е н ы русской литературѣ Струговщиковымъ; «Римскія Элегіи», «Пѣснь Маргариты», «Молитва Маргариты», «Пѣснь Клары», «Фантазія Клары» и въ особенности исполинское произведеніе генія Гёте—«Прометей», всѣ эти пьесы воспроизведены переводчикомъ по-русски съ блестящимъ успѣхомъ, который могъ внушить всѣмъ смѣлую надежду, что можетъ быть нѣкогда лучшія произведенія Гёте, а можетъ быть и весь Гёте явится въ достойномъ ихъ русскомъ переводѣ. Особенную честь таланту Струговщикова дѣлаетъ его переводъ «Прометея»: одного такого перевода достаточно, чтобъ переводчикъ сдѣлалъ себѣ имя въ литературѣ. Таково было почти общее мнѣніе о переводныхъ трудахъ Струговщикова и о прекрасныхъ надеждахъ для русской литературы, которыя они подавали въ будущемъ. Но стали замѣчать, что Струговщиковъ не всегда переводитъ, иногда и передѣлываетъ. Даже самъ Струговщиковъ не старался скрывать этого; напротивъ, онъ гдѣ-то печатно сказалъ, что, по его мнѣнію, переводить иностраннаго писателя значитъ заставлять его творить такъ, какъ онъ самъ бы выразился, еслибъ писалъ по-русски. Подобное мнѣніе очень справедливо, если оно касается только языка; но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ оно болѣе нежели несправедливо. Кто угадаетъ, какъ бы сталъ писать Гёте по-русски? Для этого самому угадывающему надобно быть Гёте. Кто имѣетъ право модифировать, измѣнить, укоротить, распространить мысль генія, передѣлать его созданіе?—развѣ только такой же геній. Какая цѣль перевода?—дать возможно близкое понятіе объ иностранномъ произведеніи такъ, какъ оно есть. Въ такомъ случаѣ, если вы своими придѣлками и передѣлками сдѣлали его даже и лучше, нежели какъ оно написано авторомъ,—переводъ невѣренъ, слѣдовательно нехорошъ. Но это случается только съ слабыми произведеніями; хорошаго же произведенія великаго поэта нельзя сдѣлать въ переводѣ лучшимъ противъ подлинника: поправки и передѣлки только портятъ его. Въ переводѣ изъ Гёте мы хотимъ видѣть Гёте, а не его переводчика; еслибъ самъ Пушкинъ взялся переводить Гёте, мы и отъ него потребовали бы, чтобъ онъ показалъ намъ Гёте, а не себя. Говорятъ: переводчикъ въ прозѣ—рабъ, переводчикъ въ стихахъ—соперникъ. Послѣднее справедливо только въ половину: соперникъ по языку, слогу и стиху, словомъ—по выраженію, но не по мысли, не по содержанію. Тутъ онъ рабъ. Талантъ переводчика есть талантъ формы, разумѣется, при способности вникать въ духъ чужихъ произведеній и чувствовать ихъ красоты. Это человѣкъ, который мастеръ разсказывать, но который въ то же время лишенъ дара изобрѣтенія и вѣчно ищетъ с ю ж е т о в ъ.

Какъ бы то ни было, если Струговщиковъ и оставилъ свое убѣжденіе касательно переводовъ, то не для того, чтобъ воротиться назадъ, а для того, чтобъ пойти дальше. Это показываетъ вышедшая теперь книжка его стихотвореній. На первомъ заглавномъ листкѣ сказано просто: «Стихотворенія Струговщикова»; на второмъ заглавномъ листѣ: «Стихотворенія Александра Струговщикова, заимствованныя изъ Гёте и Шиллера»! Но въ предисловіи еще яснѣе высказалась задушевная мысль автора: «Стараясь,—говоритъ онъ,—оставаться вѣрнымъ подлиннику въ поэзіи повѣствовательной и драматической, не допускающей п р о и з в о л а и исключающей, такъ сказать, въ переводчикѣ всякое творчество, я не м о г ъ и н е х о т ѣ л ъ покоряться тому же условію, когда вступилъ въ очаровательную область лиризма. Убѣжденіе, что для произведеній лирической поэзіи переводовъ не существуетъ, примиряло меня съ чувствомъ отвѣтственности передъ лицомъ геніевъ, избранныхъ мною въ руководители. Здѣсь, забывая и отбрасывая иногда подробности, я былъ напутствуемъ однимъ главнѣйшими впечатлѣніями подлинника: такъ иногда воспоминанія дѣйствуютъ на душу сильнѣе самыхъ явленій»... Это откровенное объясненіе со стороны автора избавляетъ насъ отъ труда объяснить идею его произведеній.

Это—поэтическія варіаціи, разыгрываемыя на темы, взятыя изъ Гёте и Шиллера. Такой способъ творчества имѣетъ свою выгодную сторону: питаясь чужимъ вдохновеніемъ, заимствователь въ то же время обнаруживаетъ и свое собственное вдохновеніе, и самъ является какъ-будто творцомъ. Но этотъ способъ творчества имѣетъ также и свою невыгодную сторону, которая хорошаго заимствователя ставитъ ниже хорошаго переводчика: послѣдній, какъ не имѣющій претензій на творчество, выказываетъ самостоятельную способность формы, обогащающую родную литературу сокровищами иностранныхъ; тогда какъ талантъ перваго есть не болѣе, какъ «плѣнной мысли раздраженье»,—не говоря уже о томъ, что заимствователь обязанъ выдержать соперничество съ великими поэтами. Но Струговщиковъ, кажется, думаетъ объ этомъ иначе, какъ это можно заключить по двустишію «Переводчику-поэту».

Ежели твой переводъ пересталъ переводомъ казаться,
Ставь свое имя въ челѣ, самъ за себя отвѣчай.

Конечно всякій воленъ и правъ въ выборѣ своей дороги, потому именно, что не воленъ въ немъ. Струговщиковъ тоже правъ въ своемъ стремленіи такъ же, какъ были бы неправы всѣ тѣ, которые не захотѣли бы признать законности этого стремленія. Теперь посмотримъ, какъ осуществляетъ Струговщиковъ свою теорію.

Признаемся откровенно, муза Струговщикова не совсѣмъ удовлетворяетъ насъ съ этой стороны. Вновь перечли мы съ новымъ наслажденіемъ его переводы изъ Гёте; но переводы и заимствованія изъ Шиллера показались намъ не совсѣмъ удачны, отчасти по выполненію, отчасти по выбору. Такъ напримѣръ, пьесы: «Поэзія жизни», «Три Слова», «Женщину чтите», «Величіе Вселенной», «Надежда», «Колумбъ», «Олимпійскіе Гости», «Къ Радости», «Три заблужденія», «Иліада», «Раздѣлъ», «Сбиралися тучи», выбраны удачно, но въ ихъ исполненіи мы не узнаемъ Шиллера; въ нихъ мало художественности, и мысль высказывается съ какой-то прозаической наготой. Нѣкоторыя измѣнены противъ оригинала очень неудачно, особенно «Величіе Вселенной». Шиллеръ говоритъ въ этомъ стихотвореніи не о величіи, а о великости, безконечности вселенной, die Grösse der Welt; что же до выполненія, то предоставляемъ самимъ читателямъ быть судьями въ этомъ дѣлѣ, и для того просимъ ихъ сравнить переводъ Струговщикова съ переводомъ Шевырева.

Но пьесы Шиллера: «Крестоносцы», «Пегасъ» (впрочемъ прекрасно переведенный), «Панорама Свѣта», «Фортуна и Мудрость», до такой степени не въ духѣ нашего времени, что нельзя похвалить ихъ выборъ. Особенно же удивилъ насъ выборъ такихъ пьесъ изъ Гёте, каковы: «Водвореніе правъ» и «Пляска мертвецовъ», особенно послѣдняя. Кому се читать?—развѣ старой нянѣ дѣтямъ, для того чтобъ запугать ихъ фантазію чудовищными образами, порожденными невѣжествомъ? Взрослымъ смѣшны эти пустяки, въ какіе бы стихи ни были облечены они...

Къ чему также переведена изъ Уланда баллада—«Слуга-Убійца»? Она уже была переведена Жуковскимъ въ то еще время, когда поэтическія бредни среднихъ вѣковъ были въ ходу, и переведена была превосходно. Сравнимъ первыя двустишія обоихъ переводовъ,—Жуковскаго:

Измѣной слуга паладина убилъ:
Убійцѣ *завидныя санъ рыцаря* былъ.

Струговщиковъ:

Завидныя слуги господинъ,
Слугою убитъ паладинъ.

Пьеса эта всѣмъ извѣстна по превосходному переводу Жуковскаго, и потому не выписываемъ ее всю. Слуга убилъ рыцаря, надѣлъ на себя его доспѣхи и, переѣзжая рѣку, утонулъ отъ тяжести панцыря. Какая мораль этой пьесы?—Та, что слабосильный слуга, убивъ рыцаря, не долженъ надѣвать на себя его панцыря, изъ опасенія утонуть. И стоило такую нелѣпицу переводить дважды!...

Изъ антологическихъ пьесъ Струговщикова многія прелестны и по мысли, и по выполненію; но есть между ними и такія, которыя какъ-то странно видѣть въ печатной книгѣ: напримѣръ:

Совершенствованіе.

Какъ достигать совершенства? Этому учитъ растенье:
Волей стремися къ тому, чѣмъ *мимо воли* оно.

Это что-то темновато! Не знаемъ, что хорошаго въ двустишіяхъ: «Тайна», «Гекзаметръ и Пентаметръ», «Претензія»...

Странное впечатлѣніе производитъ на читателя манера Струговщикова обращаться съ старыми стихотвореніями, какъ будто съ написанными сегодня. Онъ переводитъ пьесу Шиллера и пишетъ на нее отвѣтъ. Вотъ переводъ его «Антиковъ въ Парижѣ» и отвѣтъ на эту пьесу:

Антики въ Парижѣ.

Что искусство создавало
Въ вѣкъ Эллады золотой,
Забираетъ онъ, грабитель,
Святотатственной рукой;
Вѣковыми образцами
Наполняетъ свой музей —
И боговъ Олимпа
Кажетъ какъ трофей.
Но они съ своихъ подножій
На паркеты не сойдутъ
И въ сердца безсмертной жизни
Прометея не вдохнутъ:
Тотъ лишь бога понимаетъ,
Въ комъ огонь его горитъ—
Музы и Хариты
Вандалу—гранитъ.

Отвѣтъ.

Въ вѣкъ судьбою обреченный
Въ жатву будущимъ вѣкамъ,
Шлетъ она, предтечей міра,
Изумленнымъ племенамъ
Сына съ волей необъятной,
Съ всеобъемлющимъ умомъ—
Неисповѣдимымъ
Онъ идетъ путемъ.
Онъ сооружаетъ съ царствомъ
Благо Франціи своей,
И громя полсвѣта ставитъ
Грани деспоту морей—
И грабитель исчезаетъ
Передъ геніемъ, какъ тѣнь
Мимолетной тучи
Въ лучезарный день.

Не говоря уже о томъ, что неумѣстно и странно отвѣчать на вопросъ по истеченіи почти полувѣка,—отвѣтъ Струговщикова совсѣмъ не приходится на вопросъ. Шиллеръ этой пьесой не столько мѣтилъ въ грабителя, сколько во французскій народъ, который онъ хотѣлъ огласить варваромъ, скиѳомъ въ дѣлѣ искусства. До нѣкоторой степени Шиллеръ былъ правъ: Франція при Наполеонѣ до того была исполнена грубо-солдатскаго духа, что чувство изящнаго должно было въ ней до времени притаиться и какъ бы исчезнуть вмѣстѣ съ литературой и всѣми науками, развивающими въ человѣкѣ мыслительность; такъ нужно было само-

властію цивилизованнаго Атиллы XIX вѣка. Явно, что стихотвореніе Шиллера внушено минутой, обстоятельствами, по прекращеніи которыхъ оно потеряло все свое значеніе. Струговщиковъ въ отвѣтъ на него написалъ въ защищеніе цѣлой націи отъ несправедливаго навѣта одного человѣка апологію Наполеона, которая такъ же хорошо можетъ идти и къ Тамерлану, какъ и къ Наполеону. Къ чему все это?

Страннымъ еще показалось намъ, почему изъ своего превосходнаго перевода Гётева «Прометея» Струговщиковъ помѣстилъ въ «Стихотвореніяхъ» тотъ небольшой отрывокъ, не имѣющій никакого интереса, а не всю пьесу.

Въ заключеніе скажемъ, что книжка стихотвореній Струговщикова во всякомъ случаѣ пріятное явленіе въ нашей литературѣ. Правда, въ ней нѣтъ этого жгучаго, охватывающаго интереса, потому что нѣтъ ничего современнаго, жизненнаго, но все исключительно посвящено искусству. Это что-то вродѣ академической антологіи, рядъ блестящихъ и прекрасныхъ замѣтокъ объ искусствѣ; это не поэзія жизни, но поэзія кабинета. Въ этомъ ея главный недостатокъ, но въ этомъ же и ея главное достоинство.

Книга издана прекрасно.

Сочиненія Державина. *Біографія писана Н. А. Полевымъ. Изданіе Д. П. Штукина. Спб. 1845.*

Самое поразительное изъ отрицательныхъ достоинствъ этого изданія составляетъ приложенная къ нему статья Полевого: «Державинъ и его творенія». Это уже тысяча первый неудачный опытъ стараго журналиста, когда-то имѣвшаго въ русской литературѣ сильный голосъ и считавшагося отличнымъ критикомъ, удержать за собой право этого голоса и поддержать въ настоящее время идеи и взгляды, хронологически устарѣвшіе цѣлыми пятнадцатью годами, а исторически—цѣлымъ полувѣкомъ. Но хуже всего въ этой статьѣ то, что ея авторъ позволилъ себѣ забыть важность предмета, о которомъ безъ оглядки принялся судить и вкривь, и вкось, и въ свои отсталыя сужденія о Державинѣ вмѣшалъ мелкую журнальную полемику, вслѣдствіе досадъ и огорченій, испытанныхъ имъ отъ успѣховъ нашего времени и отъ уроковъ, полученныхъ имъ отъ людей новаго поколѣнія. Извѣстное дѣло, что вмѣстѣ съ Булгаринымъ и нѣкоторыми другими старыми литераторами Полевой видитъ въ Гоголѣ не больше, какъ безграмотнаго писаку, а въ его «Ревизорѣ»—грубый фарсъ. Положимъ такъ: всякій понимаетъ вещи, какъ можетъ и какъ умѣетъ. Почему же и Полевому не понимать Гоголя по своему? Это вѣдь старая исторія: Карамзина молодое поколѣніе встрѣтило восторгомъ, а старое—бранью; Пушкина молодое поколѣніе встрѣтило чуть не идолопоклонствомъ, а старое—ожесточенной враждой. Почему же и Гоголю не раздѣлить участи такихъ людей, какъ Карамзинъ и Пушкинъ?—это доказываетъ только его великость, какъ поэта. И почему же Полевому не смотрѣть на Гоголя постарчески?—это доказываетъ только его отсталость отъ вѣка и близорукость, какъ критика. Но вотъ что́ худо: зачѣмъ мѣшать Гоголя въ біографію Державина? зачѣмъ, восхваляя Державина, бранить Гоголя?.. Это значитъ не кстати вмѣшивать свою личность туда, гдѣ о ней не можетъ быть рѣчи,—досаду и раздраженіе, мелочныя и ничтожныя, прицѣплять къ великому имени... Это ли уваженіе и благоговѣніе къ имени Державина, которыя Полевой вмѣняетъ себѣ въ такую заслугу?.. Вотъ что́ между прочимъ говоритъ онъ на VI-й страницѣ своей злополучной статьи: «Веревкинъ (директоръ Казанской гимназіи, въ которой воспитывался Державинъ) учредилъ даже театръ, ибо и самъ онъ былъ драматическій писатель, и заставлялъ хохотать своимъ Такъ и Должно не менѣе Филатокъ и Ревизоровъ нынѣшнихъ»... Какъ! «Ревизоръ» наравнѣ съ «Филатками»! Но съ чѣмъ же послѣ этого можно сравнить «Парашу Сибирячку», «Елену Глинскую» «Черезполосныя Владѣнія», «Ѳедосью Сидоровну» и другія изящныя произведенія, которыми досужество Полевого обогатило сцену Александринскаго театра?.. Если «Ревизоръ» — «Филатка», то что́ же онѣ, эти пьесы, эти побочныя дѣти искусства, которыхъ народила досужая фантазія Полевого?..

Но не однимъ этимъ достается Гоголю: увидимъ нѣчто получше; увидимъ, что не одному Гоголю достается. Уже тысячу-тысячъ разъ повторилъ Полевой, что «Пушкинъ смѣнилъ поэзію на прозу и увлекся ничтожной свѣтской жизнью»: это же повторено и въ біографіи Державина. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ Пушкинъ увлекся ничтожной свѣтской жизнью, а не увлекся великой мѣщанской жизнью? Но на Пушкина Полевой не до конца разгнѣвался: онъ говоритъ, что послѣ Державина у насъ былъ одинъ истинный поэтъ — Пушкинъ. Полноте!.. Но эти слова явно порождены скромностью автора статьи: иначе онъ нашелъ бы на Руси и третьяго «истиннаго» поэта: напримѣръ хоть знаменитаго автора «Клятвы при гробѣ Господнемъ», «Аббадонны», «Живописца», «Блаженства Безумія», «Параши Сибирячки», «Ѳедосьи Сидоровны» и другихъ воистину поэтическихъ созданій...

Статья Полевого раздѣляется на двѣ части: въ одной—собственно біографія Державина, въ другой—сужденіе о Державинѣ. За исключеніемъ пятенъ, о которыхъ мы говорили и которыми кой-гдѣ позапачкана біографія Державина,—она такъ себѣ, а за неимѣніемъ лучшей, годится. Вѣдь всякій пишетъ какъ можетъ и какъ умѣетъ; должно быть снисходительнымъ. Но вторая, критическая, часть статьи возбуждаетъ только состраданіе и жалость. Тутъ видно не одно отсутствіе опредѣленной, ясной, хотя бы и ложной мысли: тутъ видно желаніе и въ то же время безсиліе оста-

повиться на какой-нибудь мысли. И усиліе перекричать всѣхъ, и уступочки, и храброванье, и смиренномудрая боязнь, и брань на противниковъ, и искаженіе ихъ мнѣній, и самодовольство, и много словъ, и мало дѣла, и въ заключеніе—ровно ничего... Наговоривъ много и не сказавъ ничего, авторъ, собравшись съ силами и сдѣлавъ tour de force отчаянной храбрости, въ такихъ выраженіяхъ пускается на брань и полемику:

«Къ сожалѣнію, *многіе* критики наши, не понимая Державина, говорятъ иначе (т. е. не такъ, какъ говоритъ Полевой—именно, *къ сожалѣнію!*). Какъ безусловно хвалили его въ старину, какъ по ложной мѣркѣ классицизма размѣривали прежде его творенія, такъ нынѣ, когда обязанностью критика многіе считаютъ непремѣнное *осужденіе*, когда каждый предметъ, подвергнутый критическому воззрѣнію, многіе почитаютъ чѣмъ-то вродѣ обвиненнаго, призваннаго къ допросу передъ прокурора журнальнаго, и великая тѣнь Державина призывается къ пигмейскому суду и осуждается по статьямъ мирмидонскаго журнальнаго уложенія. Примѣры не далеко. Не упоминая именъ, вспомнимъ о критикѣ, который послѣ долгаго мудрованія осудилъ Державина за недостатокъ *художественности*, стоя на колѣняхъ передъ *жалкими* произведеніями новѣйшихъ *романтиковъ* (?) и съ восторгомъ разсматривая *вонючую грязь какого-нибудь малограмотнаго романиста*. Такія сужденія не стоили бы другого отвѣта, кромѣ улыбки сожалѣнія, ибо время и безъ насъ смываетъ ихъ, какъ грязныя пятна, съ истинно великаго, но намъ жаль, если подобныя близорукія осужденія увлекаютъ юное поколѣніе.»

Читая эти строки, невольно думаешь, что читаешь выходки старыхъ поборниковъ такъ называвшагося въ старину «классицизма» противъ Полевого, когда онъ ратовалъ за такъ называвшійся въ тѣ блаженныя времена «романтизмъ». Тотъ же слогъ, тотъ же языкъ, та же манера, тѣ же уловки и та же враждебность противъ всего новаго, противъ всякаго движенія впередъ, противъ всякаго успѣха! Напрасно же Полевой въ то время отнималъ у своихъ антагонистовъ всякое дарованіе, всякую заслугу: вѣдь вотъ пригодились же они, пришлось же и ему теперь играть ихъ роль, которая тогда ему казалась такой жалкой! Но разберемъ сказанное Полевымъ.

Напрасно избѣгаетъ онъ упоминать имена, особенно тамъ, гдѣ они сами собой выставляются и бросаются въ глаза каждому, кто не слѣпъ. Мы скажемъ, о какомъ критикѣ-пигмеѣ вспоминаетъ нашъ критикъ-колоссъ, критикъ-великанъ; скажемъ, передъ какими жалкими произведеніями и какихъ новѣйшихъ романтиковъ заставляетъ критикъ-исполинъ становиться на колѣни критика-пигмея; скажемъ наконецъ, какую грязь и какого малограмотнаго романиста критикъ-гигантъ заставляетъ съ восторгомъ разсматривать критика-пигмея. Разгадать все это очень нетрудно. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года былъ напечатанъ критическій разборъ сочиненій Державина, по случаю изданнаго Глазуновымъ собранія твореній этого поэта. Въ означенной статьѣ авторъ или, если угодно, критикъ-пигмей, равно удаляясь отъ дѣтскаго, безотчетно восторженнаго удивленія къ Державину и отъ ложной гордости успѣхами современности,—гордости, которая мѣшаетъ отдавать должную справедливость заслугамъ прошедшаго,—попытался взглянуть на сочиненія Державина и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія. Результатомъ его изслѣдованій было то, что со стороны естественнаго, непосредственнаго таланта Державинъ—гораздо болѣе, нежели необыкновенный талантъ, что въ сочиненіяхъ его брызжутъ искры геніальности; но что эпоха, въ которую онъ жилъ, не могла воспитать такого таланта, ни дать богатаго содержанія для его творческой дѣятельности, и потому сочиненія Державина, удивляя насъ страшной силой естественнаго таланта, мгновенными вспышками и проблесками геніальности, въ то же время бѣдны внутреннимъ содержаніемъ, часто до совершенной пустоты, мотивы ихъ вертятся на внѣшностяхъ и отзываются газетными реляціями; и что наконецъ почти ни одна пьеса Державина не выдержана въ цѣломъ, не чужда риторики, и всѣ онѣ бѣдны художественностью. Все это въ статьѣ было развито, на все приведены были доказательства, скрѣпленныя выписками стиховъ Державина. Статья была замѣчена публикой (которая давно уже привыкла только въ «Отечественныхъ Запискахъ» замѣчать критическія статьи, вѣроятно по особенной любви ея къ критикамъ-пигмеямъ и по совершенному равнодушію къ критикамъ-исполинамъ) и произвела большое волненіе въ литературномъ мірѣ, неумолкающее и теперь. Это естественно: успѣхи пигмеевъ особенно должны раздражать гигантовъ, на которыхъ никто не обращаетъ вниманія... Такъ вотъ о какомъ критикѣ-пигмеѣ вспоминаетъ Полевой, этотъ критикъ-атлетъ! Въ «Отечественныхъ Запискахъ» со вниманіемъ и любовью слѣдятся всѣ современныя дарованія; но особенное ихъ вниманіе всегда было обращено на два великія явленія нашей эпохи—Лермонтова и Гоголя; знайте же, что передъ жалкими произведеніями этихъ-то двухъ современныхъ романтиковъ Полевой становитъ на колѣни критика-пигмея. Что же касается «до вонючей грязи какого-нибудь малограмотнаго романиста», знайте, что дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя... Еслибъ Полевой замѣтилъ намъ, что мы угадываемъ невѣрно,—мы готовы представить ему печатныя доказательства вѣрности нашихъ отгадокъ—именно множество точно такихъ же фразъ самого Полевого насчетъ Лермонтова, Гоголя вообще и его «Мертвыхъ Душъ» въ особенности,—фразъ, взятыхъ изъ «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ, мирно скончавшихся... Не считаемъ за нужное разувѣрять Полевого въ его поистинѣ достойномъ сожалѣнія мнѣніи о Лермонтовѣ и Гоголѣ: это былъ бы трудъ лишній; Полевого не переувѣришь—ему уже поздно переучиваться; притомъ къ безсильной отсталости надо имѣть снисхожденіе... Но пусть же его мнѣніе и говоритъ само за себя и за него: въ этомъ мнѣніи наше оправданіе и его обвиненіе.

Однако въ чемъ же, скажите, вина критика-пиг-

мея? гдѣ съ его стороны грязное пятно на русскую литературу? Неужели въ недостаткѣ художественности, который онъ находитъ въ сочиненіяхъ Державина? Вамъ это кажется несправедливымъ: докажите, и тогда уже браните, если вы не можете не браниться... Странно! тѣмъ болѣе странно, что самъ Полевой, съ голоса критика-пигмея, находитъ уже въ Державинѣ и недостатки, которыхъ прежде не находилъ, какъ-то: преобладаніе внѣшности, исключительное увлеченіе тѣми интересами и мнѣніями своего времени, которые теперь уже мертвы для насъ, и пр. Конечно эти у критика-пигмея занятыя мысли высказаны Полевымъ такъ робко и нерѣшительно и смѣшаны съ собственными его фразами и возгласами такъ неумѣстно, что ихъ и не замѣтишь съ перваго взгляда; но все же Полевому слѣдовало бы быть нѣсколько попризнательнѣе къ критику-пигмею. Полевой уже въ другой разъ судитъ и рядитъ о Державинѣ, но въ этой послѣдней статьѣ уже меньше риторики и пустыхъ фразъ, вродѣ: «потомокъ Багрима, въ его поэзіи разсыпаются брильянты, яхонты, сапфиры, рубины, топазы, бирюза» и т. п. И за это слѣдовало бы поблагодарить критика-пигмея, вмѣсто того чтобъ ругать его ни за что, ни про что...

Полевой говоритъ, что двѣнадцать лѣтъ назадъ онъ безпристрастно опредѣлилъ значеніе Державина въ русской литературѣ и «имѣлъ наслажденіе видѣть, что съ выводами его согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній,—имѣлъ счастье слышать свое мнѣніе повтореннымъ другими, писавшими послѣ того о Державинѣ», и поэтому не изъ ничтожнаго тщеславія осмѣливается считать свое мнѣніе не вовсе ошибочнымъ, и что наконецъ двѣнадцать лѣтъ размышленія и опыта жизни не измѣнили основной его мысли о Державинѣ.

Удивительное постоянство — надо согласиться! Однакожъ его нельзя назвать безпримѣрнымъ: Мерзляковъ (умершій въ 1830 году) тоже въ двѣнадцать (даже больше) лѣтъ не измѣнилъ своего мнѣнія, что Ломоносовъ выше Пушкина; Каченовскій оставался вѣренъ этому мнѣнію лѣтъ двадцать слишкомъ. И эти люди имѣли еще то преимущество передъ Полевымъ, что знали, въ чемъ состоитъ ихъ мнѣніе... Въ статьѣ Полевого о Державинѣ, написанной имъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, кромѣ «потомка Багрима, щедрой рукой разсыпавшаго въ своей поэзіи разныя ювелирскія издѣлія», и тому подобныхъ фразъ, доказывавшихъ безотчетный восторгъ,—ничего другого не было. Но съ нею, говоритъ онъ, согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній: правда ли это? Вѣдь когда-то Полевой сказалъ же, что «онъ знаетъ Русь и Русь знаетъ его»; а вѣдь оказалось же, что это знакомство было только шапочное,—плачевное обстоятельство, вслѣдствіе котораго «Исторія Русскаго Народа» не могла достигнуть вожделѣннаго конца и остановилась на серединѣ. Но положимъ, что многіе и согласились съ статьей Полевого, такъ какъ другой тогда не было: но вѣдь это было двѣнадцать лѣтъ назадъ; много воды утекло, многое измѣнилось въ двѣнадцать лѣтъ; публика стала не та и не тѣ стали ея требованія. «Телеграфъ» давно уже забытъ: его помнятъ только тѣ, которымъ нужно заглядывать для справокъ даже въ «Вѣстникъ Европы»... Но видно, самолюбіе писателей похоже на самолюбіе кокетокъ: ни тѣ, ни другія никогда не признаются въ старости... Мнѣній Полевого о Державинѣ никто не повторялъ, потому что послѣ того никто не писалъ о Державинѣ: этотъ фактъ изобрѣтенъ авторскимъ самолюбіемъ.

Но довольно; вспомнимъ русскую пословицу о лежачемъ, и оставимъ Полевого въ покоѣ, чтобъ сказать нѣсколько словъ о предметѣ гораздо поважнѣе—о самомъ Державинѣ.

Державинъ—истинно великій поэтъ, но въ возможности, а не въ дѣйствительности. Природа создала его геніемъ, но эпоха, въ которую онъ жилъ, обрѣзала ему крылья: видимъ могучій взмахъ, видимъ смѣлые и быстрые порывы въ небо; но ровнаго и спокойнаго паренія не видимъ: взлетитъ—и опустится, упадетъ — и опять ринется вверхъ... Если ужъ пошло на сравненія, Державинъ — могучій дубъ, котораго вершина должна бы уйти далеко въ небо, а широкія вѣтви покрыть густой тѣнью необъятное пространство, но который никогда не могъ развиться до размѣровъ и до могучей красоты, назначенной ему природой, потому что корни его встрѣтили каменистую почву, которая не дала имъ ни углубиться, ни найти для себя достаточнаго питанія. Какъ! — скажутъ — блестящее царствованіе Екатерины II было безплодной почвой для поэзіи?... Отвѣчаемъ: царствованіе Екатерины II потому и было велико и плодотворно для русской земли, что оно первое приготовило почву для всѣхъ благоуханныхъ и роскошныхъ цвѣтовъ гражданственности и общественности, слѣдовательно и поэзіи; поэзія и не замедлила явиться въ благословенное царствованіе Александра I, на закатѣ котораго она развернулась, въ лицѣ Пушкина, пышнымъ цвѣтомъ. Все на свѣтѣ начинается не съ середины и не съ конца, а съ начала: истина простая, но въ приложеніи немногими понимаемая. Посредствомъ извѣстнаго химическаго раствора до невѣроятной степени можно ускорить выходъ изъ земли и развитіе нѣкоторыхъ растеній; но для гражданственности, общественности и поэзіи нѣтъ такого химическаго раствора. Екатерина II именно тѣмъ и много сдѣлала для внутренней жизни Россіи, что многое начала, не торопясь видѣть результаты своихъ начинаній. Она могла способствовать началу, возникновенію русской литературы, но русской литературы создать не могла, хотя русская литература и обязана своимъ быстрымъ развитіемъ тѣмъ попеченіямъ, которыя великая монархиня прилагала о ея возникновеніи. Литература и поэзія—растенія, которыя требуютъ, чтобъ для нихъ была приготовлена почва, потомъ положены въ нее зерна, и тогда они сперва всходятъ стебелькомъ, потомъ опушаются

листомъ, потомъ долго растутъ прежде, нежели дадутъ цвѣтъ и плодъ. Тутъ скачковъ не можетъ быть.

И вотъ этотъ-то законъ постепенности и послѣдовательности въ развитіи осудилъ Державина не достигнуть полнаго обладанія огромными силами, данными ему природой. Въ его время не было и не могло быть истиннаго понятія о поэзіи уже потому только, что не было въ обществѣ потребности къ поэзіи. О ней тогда знали только чрезъ Ломоносова, и то потому, что она обратила на него вниманіе и милости монаршіи и изъ низкаго званія довела его до большихъ чиновъ. Еслибъ въ то время за стихи не давали чиновъ, о стихахъ никто и знать не хотѣлъ бы... Сами поэты того времени понимали поэзію, какъ воспѣваніе, въ смыслѣ восхваленія сильныхъ земли, и поэзія была риторикой. Такъ понималъ ее и Державинъ, съ чувствомъ смиренія удивлявшійся паренію Ломоносова, Хераскова и даже Петрова. Что̀ дало Державину извѣстность и славу въ тогдашней Россіи: его талантъ, его геній, его творенія? — Нисколько! На него обратила вниманіе Императрица, которую «Фелица» его восхитила до слезъ; онъ получилъ отъ Фелицы драгоцѣнную табакерку съ червонцами; онъ, бѣдный, ничтожный дворянинъ и чиновникъ, вскорѣ послѣ того былъ представленъ Императрицѣ, которая, проходя мимо него, остановилась, пристально на него посмотрѣла и молча дала ему поцѣловать свою руку. Этого было достаточно, чтобъ все и всѣ признали стихи Державина за геніальнѣйшее произведеніе, каковы бы эти стихи ни были... Какая же поэзія могла быть въ такомъ обществѣ и на что̀ ему была поэзія? О Державинѣ заговорилъ дворъ, и гулъ этого говора болѣе или менѣе отозвался глухо тамъ и сямъ въ среднемъ дворянствѣ и ученомъ классѣ. Достоинство стиховъ Державина измѣряли важностью данныхъ ему наградъ, геній мѣряли чиномъ... Но развѣ, скажутъ намъ, это Державину могло мѣшать быть геніемъ и писать геніальные стихи: вѣдь его поэтомъ сдѣлала природа, а не общество?—Такъ; но въ томъ-то и худо, что только природа участвовала въ его художественномъ образованіи, а тогдашнее общество только убивало въ немъ талантъ и мѣшало ему развиваться. Поэтъ столько же зависитъ отъ общества, сколько и отъ природы: и какъ одно общество безъ природы, такъ и природа безъ общества не могутъ создать полнаго поэта. Державинъ служитъ самымъ блестящимъ и самымъ разительнымъ доказательствомъ этой истины. Полевой какъ-будто ставитъ Державину въ вину, что въ немъ всю его жизнь чиновникъ боролся съ поэтомъ, и что онъ, во что̀ бы ни стало, хотѣлъ быть дѣловымъ человѣкомъ и бросалъ поэзію для приказныхъ бумагъ. Мы, напротивъ, нисколько не винимъ въ этомъ Державина, потому что онъ не могъ иначе чувствовать, мыслить и дѣйствовать, и ему дѣлаетъ великую честь то, что въ немъ наконецъ поэтъ побѣдилъ чиновника, хотя и поздно. Еще и теперь, въ наше время, когда правительство давно уже затрудняется не наборомъ чиновниковъ, а ихъ излишествомъ, когда на каждое самое ничтожное мѣсто является по сту кандидатовъ и искателей, и когда деньги смѣло уже соперничествуютъ съ чиномъ, — и теперь, говоримъ мы, кто не служитъ, не имѣетъ чина, на того всѣ смотрятъ съ такимъ удивленіемъ и такимъ любопытствомъ, какъ стали бы смотрѣть на человѣка, который лѣтомъ, въ жары, ходитъ въ медвѣжьей шубѣ, а зимой—босикомъ, въ одной рубашкѣ... Вотъ какіе глубокіе корни пустила бюрократія въ русскую жизнь, вотъ какъ хорошо принялась на русской почвѣ германская табель о рангахъ!.. Что̀ же въ этомъ отношеніи должно было быть во времена Державина? Тогда никакой геній, какъ бы онъ ни былъ огроменъ, не могъ видѣть къ себѣ ни малѣйшаго уваженія до тѣхъ поръ, пока не видѣлъ себя въ чинѣ по крайней мѣрѣ статскаго совѣтника... И это очень просто, очень естественно. Развѣ Байронъ, этотъ либеральный поэтъ, не гордился своимъ аристократическимъ происхожденіемъ болѣе, нежели своимъ поэтическимъ геніемъ? А почему? — потому что онъ былъ англичанинъ. Какъ же было Державину не увлечься общей заразой чиновничества? Человѣку невозможно жить безъ людей, а подъ какимъ званіемъ вошелъ бы въ ихъ кругъ Державинъ — неужели подъ званіемъ поэта? Но тогда такого званія не было, а если и было, то чѣмъ-то похожимъ на званіе шута или скомороха. Званіе чиновника тогда не только было, но и находилось въ почетѣ: и вотъ, чтобъ войти къ людямъ и выйти въ люди, Державинъ захотѣлъ быть чиновникомъ. Не самъ ли біографъ Державина говоритъ: «Дивились, что дѣла поручаются пѣнтѣ, стихоплету или, какъ они себя великолѣпно называютъ, — говоритъ Кургановъ въ своемъ Письмовникѣ:—стихотворцу, и чины и деньги даютъ — за стихи». Чѣмъ же званіе шута или скомороха было тогда выше званія поэта?..

Этотъ духъ чиновничества, насквозь проникавшій тогдашнее общество, наложилъ свою печать и на поэзію Державина. Это поэзія хвалебная, воспѣвательная, преисполненная богами и полубогами, которые теперь всѣ сдѣлались простыми людьми, а нѣкоторые и вовсе забыты. Это поэзія, исполненная аффектаціи, искренняя въ отношеніи къ самому поэту, но лицемѣрная въ отношеніи къ эпохѣ, — этой эпохѣ меценатовъ, милостивцевъ, поклонниковъ и прихлебателей. Это поэзія риторическая, крикливая до хрипоты и надрыва груди, поэзія, разсуждавшая въ стихахъ и располагавшая торжественныя оды по правиламъ схоластической диссертаціи. Пусть критики-исполины нашего времени говорятъ, что при извѣстіи о взятіи Измаила Державинъ грянулъ одой: мы, критики-пигмеи, только съ трудомъ можемъ дочитывать до конца эту длинную «похвальную рѣчь въ стихахъ», гдѣ, въ видѣ риторики, фосфорическимъ блескомъ вспыхиваютъ мѣстами искры поэзіи. Пусть люди, привыкшіе по преданію видѣть въ одѣ

«Богъ» какое-то колоссальное произведеніе, величаютъ Державина пѣвцомъ Бога; но мы въ этой одѣ видимъ много внѣшняго блеска, хорошіе по своему времени стихи, больше же всего холодной декламаціи. Пѣвецъ «Водопада» — другое дѣло! Тутъ Державинъ великъ. Многіе не знаютъ, какъ и восхвалить Державина за «Оду на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи», а между тѣмъ что̀ въ ней?—сперва резонерство въ холодныхъ стихахъ, потомъ не совсѣмъ вѣрныя и живыя (даже поэтически) картины Кавказа. Что̀ такое напримѣръ эти стихи:

Ты видѣлъ, какъ въ степи средь зною
Огромныхъ змѣй стога кишатъ,
Какъ блещутъ пестрой чешуею
И лютъ, шипя, другъ въ друга ядъ.

Въ тѣ времена поэту не было никакого дѣла до дѣйствительности; онъ опирался только на свою фантазію. Что̀ ему за дѣло, что Кавказъ—не Индія, и въ немъ нѣтъ огромныхъ змѣй, что змѣи нигдѣ не кишатъ стогами, что въ стога складывается только сѣно, и что змѣи никогда не забавляются переливаніемъ яда другъ въ друга? Но возьмемъ пьесу «Русскія Дѣвушки». Не будемъ ея выписывать—она и такъ слишкомъ всѣмъ извѣстна, потому что написана прекрасными стихами. Если вы видѣли въ деревняхъ «россійскихъ дѣвушекъ», то знаете, какъ граціозно онѣ пляшутъ, и знаете, что онѣ пляшутъ не въ башмачкахъ, а въ котахъ, а иногда и въ лаптяхъ, въ сарафанахъ, которые вовсе не граціозно перерѣзываютъ поперекъ имъ грудь, съ головами, умащенными коровьимъ масломъ, съ красными и заскорузлыми руками, незнакомыми съ мыломъ; знаете, какъ богаты онѣ «златыми лентами» и «драгими жемчугами»; знаете, что̀ такое «россійскій» пастушокъ и его свирѣль: сравните же то, что̀ вы знаете, съ тѣмъ, что̀ описалъ Державинъ, и въ восторгѣ воскликните вмѣстѣ съ нимъ къ Анакреону:

Колъ бы **видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,**
Ты бъ гречанокъ позабылъ,
И на крыльяхъ сладострастныхъ
Твой эротъ прикованъ былъ.

Несчастный Анакреонъ, счастливый Державинъ!...

И однакожъ Державинъ въ свое время все-таки былъ великій поэтъ: чѣмъ бы онъ былъ, еслибъ явился въ наше время? Время много значитъ, но при талантѣ природномъ. Тредьяковскій и въ наше время былъ бы плохимъ поэтомъ. Державинъ кропаетъ плохіе стихи, смиренно удивляется недостижимому генію Ломоносова и Хераскова,—и вдругъ рѣшается проложить себѣ особый путь, и пишетъ «Фелицу»,—произведеніе до того самобытное и оригинальное, исполненное ума и поэтической граціи, что эстетики сбились съ толку, не зная, къ какому роду сочиненій отнести его. Для «Фелицы» Державину не было образцовъ ни въ русской и ни въ какой другой литературѣ. Какъ бы онъ много выигралъ, еслибъ никогда не сходилъ съ «своего особаго пути»! Но на одной струнѣ не много наиграешь, а другихъ не было. Да и не такое тогда было время, чтобъ поэтъ могъ всегда идти своей дорогой, не забѣгая на чужія: Державинъ, этотъ колоссъ не только въ сравненіи съ какимъ-нибудь Херасковымъ, но и съ самимъ Ломоносовымъ, никогда не переставалъ смотрѣть на нихъ, какъ на высшіе образцы.

И удивительно ли это, если Дмитріевъ, поэтъ уже другого, несравненно болѣе образованнаго поколѣнія, сказалъ о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца въ зоилахъ ноютъ:
Хераскову они вреда не нанесутъ;
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Все это доказываетъ только, что поэзія не является вдругъ готовой: поэзіи нужно время для развитія. Державинъ былъ только первымъ ея проблескомъ и провозвѣстникомъ на Руси. Дѣлаемое Полевымъ раздѣленіе поэтовъ на истинныхъ и ложныхъ совершенно произвольно. Ложный поэтъ такое же ложное выраженіе, какъ и холодный огонь, сухая вода. Одинъ поэтъ можетъ быть выше, другой ниже, и такъ до безконечности; но какъ бы ни малъ былъ поэтъ, онъ уже не ложный поэтъ, если только онъ поэтъ. И потому мы никакъ не можемъ согласиться съ Полевымъ, чтобъ на Руси было два поэта—Державинъ и Пушкинъ. Мы считаемъ поэтами (само собой разумѣется, истинными) не только Крылова, Жуковскаго и Батюшкова, но Хемницера, Фонвизина, Карамзина, Дмитріева, Озерова, и думаемъ, что русская поэзія послѣ Державина должна была пройти чрезъ всѣхъ нихъ, чтобъ дойти до полнаго своего развитія въ Пушкинѣ. По нашему, Державинъ это — Пушкинъ, не перешедшій черезъ рядъ поименованныхъ нами поэтовъ и черезъ поколѣнія, которыхъ они были выразителями; Пушкинъ—это Державинъ, перешедшій черезъ нихъ. Разумѣется, этого сравненія, сдѣланнаго для поясненія нашей мысли, нельзя принимать буквально, уже и потому, что Пушкинъ и въ отношеніи къ естественному таланту былъ выше, глубже и многостороннѣе Державина: его талантъ обнималъ и лирику, и эпопею, и драму, и во всѣхъ странахъ міра былъ у себя дома. Вспомните «Галуба», «Каменнаго Гостя», «Египетскія Ночи», «Мѣднаго Всадника», «Русалку», «Сцену изъ Фауста», «Моцарта и Сальери», «Пиръ во время чумы», опыты восточной поэзіи, антологическія стихотворенія,—какое разнообразіе!..

Если у Державина нѣтъ ни одной пьесы, которая была бы художественна, т. е. вполнѣ выдержана, т. е. во время и на мѣстѣ заключена, окончательно отдѣлана, чужда прозаическихъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, охлаждающихъ чувство читателя, чужда риторики, неточныхъ словъ и фразъ, всего лишняго; если у него такъ много пьесъ на половину хорошихъ, на половину плохихъ и еще больше совершенно плохихъ,—въ этомъ, повторяемъ, виноватъ не онъ, а его время; это происходило не отъ слабаго таланта, а отъ времени. На долю Державина выпало неудобство быть начинающимъ и явиться въ

неблагопріятное для поэзіи время: вотъ причина всѣхъ недостатковъ его поэзіи, тогда какъ всѣ ея красоты принадлежатъ одному ему и составляютъ его неотъемлемую заслугу.

Но какъ бы то ни было, теперь его уже не читаютъ; теперь его поэзія болѣе предметъ изученія, нежели наслажденія. И въ этомъ отношеніи онъ вполнѣ поэтъ классическій: немного есть писателей (и не у однихъ насъ), изученіе которыхъ можетъ быть такъ поучительно для юношества. Таково свойство генія: его недостатки такъ же поучительны, какъ и достоинства. Только для изученія Державина одна эстетическая точка воззрѣнія никуда не годится; его должно изучать и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ благомыслящихъ людей: что̀ въ нашемъ сужденіи о Державинѣ, еслибъ даже оно было и совершенно ошибочно и ложно, что̀ въ немъ оскорбительнаго для памяти Державина и для чести русской литературы, какъ угодно находить его нашему критику, Полевому?..

Сельское Чтеніе, *книжка третья, составленная княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Спб. 1845.*

«Сельское Чтеніе» составляетъ собою эпоху въ исторіи едва начинающагося у насъ образованія низшихъ классовъ. Правда, книжка эта уже не первая попытка заохотить простой народъ къ чтенію; но это первая удачная попытка въ этомъ родѣ. Можно указать еще на «Письмовникъ Курганова», разошедшійся по Россіи въ числѣ можетъ быть тоже не одного десятка тысячъ экземпляровъ; но то была книга не для низшихъ собственно классовъ, а для всего полуграмотнаго міра, заключавшаго въ себѣ и дворянъ, и чиновниковъ, и купцовъ, и мѣщанъ, но не посполянъ. Успѣхъ «Письмовника» былъ основанъ не на цѣли и удачномъ ея достиженіи, а на необразованности тогдашняго читающаго люда. Онъ не былъ приноровленъ къ понятіямъ или потребностямъ какого-нибудь класса общества, но былъ изданъ, какъ книга веселая, съ разсказами и анекдотами,— и полезная, съ чѣмъ-то вродѣ энциклопедическаго изложенія нѣкоторыхъ знаній; онъ былъ больше вульгаренъ, нежели народенъ, и потому успѣлъ необычайно и принесъ много пользы.

«Сельское Чтеніе», несмотря на его огромный успѣхъ, основанный на достоинствѣ содержанія и изложенія,—и теперь отнюдь не исключаетъ потребности новаго «письмовника», составленнаго сообразно съ успѣхами нашего времени; но этотъ новый «письмовникъ» уже не долженъ быть ни столь спеціальнымъ, какъ «Сельское Чтеніе», ни столь универсальнымъ, какъ Кургановскій письмовникъ; подобно послѣднему, онъ долженъ быть изданъ для малообразованныхъ, полуграмотныхъ, но въ будущемъ образованіи которыхъ не предполагается никакихъ опредѣленныхъ границъ. Здѣсь разумѣются люди, которымъ нужна не столь ученость, сколько образованность, и которые, по неимѣнію средствъ, не иначе могутъ образоваться, какъ черезъ собственныя усилія, посредствомъ чтенія. И цѣль такого новаго письмовника должна состоять не въ томъ, чтобъ образовать этихъ людей, но въ томъ, чтобъ помочь имъ образоваться, направивъ ихъ вкусъ въ чтеніи, оторвать ихъ отъ «Еруслана Лазаревича» и романовъ Орлова, познакомивъ ихъ съ произведеніями литературы, на первый случай по содержанію доступными уму неразвитому, но въ то же время отличающимися высокимъ литературнымъ достоинствомъ. Это долженъ быть огромный альманахъ, раздѣленный на двѣ части: энциклопедію наукъ, искусствъ, ремеслъ, открытій и т. д., и на беллетристику—повѣсти, сказки, разсказы, стихотворенія, анекдоты и т. п. Все это не должно быть ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко: тутъ не должны быть сочиненія вродѣ «Фауста», «Манфреда», «Моцарта и Сальери», «Цыганъ» и т. п.; но почему бы не войти туда напримѣръ «Полтавѣ» и «Русалкѣ» Пушкина? Энциклопедія должна быть изложена языкомъ самымъ простымъ и яснымъ, но столько же не простонароднымъ, сколько и не книжнымъ. Если къ этому будутъ призваны на помощь политипажи,—это могущественное средство для распространенія популярнаго образованія: какая бы это вышла книга для чтенія купцовъ, мѣщанъ и даже людей, принадлежащихъ къ нѣсколько высшему противъ нихъ классу, но не болѣе ихъ образованныхъ.

«Сельское Чтеніе»—изданіе чисто спеціальное, и въ этомъ его великое достоинство. Оно назначено для крестьянъ-земледѣльцевъ и приноровлено къ ихъ быту и потребностямъ. Были и прежде «Сельскаго Чтенія» опыты для такого рода изданій; люди, бравшіеся за нихъ, не имѣли никакого понятія о низшихъ классахъ, и потому опыты ихъ не имѣли никакого успѣха. Нѣкоторые, взманенные успѣхомъ «Сельскаго Чтенія», начали издавать книжки въ этомъ родѣ, думая, что вѣдь барину легко учить мужика; но вышло иначе: спекуляція осталась спекуляціей, и печатный вздоръ пошелъ на растопку печей. Колоссальный успѣхъ «Сельскаго Чтенія» основанъ былъ на глубокомъ знаніи быта, потребностей и самой натуры русскаго крестьянина, и на талантѣ, съ какимъ умѣли издатели воспользоваться этимъ знаніемъ. Поэтому въ два года разошлось до тридцати тысячъ двухъ первыхъ книжекъ «Сельскаго Чтенія». Подобный успѣхъ имѣетъ великое значеніе, свидѣтельствуя, что издатели «Сельскаго Чтенія» умѣли угадать, что нужно для чтенія простому народу, а во всякомъ важномъ дѣлѣ, для котораго не было прежде образца, въ томъ-то и состоитъ все дѣло, чтобъ угадать...

О первыхъ двухъ книжкахъ мы говорили въ свое время; теперь поговоримъ о третьей. Какъ и въ первыхъ двухъ, въ ней статьи раздѣляются на два разряда: статьи (большей частью въ разсказахъ) нравственнаго содержанія, и статьи, до быта и хозяйства крестьянскаго касающіяся. Тѣ и другія равно необходимы, потому что нравственность тѣсно связана съ матеріальнымъ бытомъ, и успѣхъ одной невозмо-

женъ безъ успѣха другого. Крестьянинъ, котораго жилище не лучше хлѣва, который раздѣляетъ его съ домашними животными, и который дурно одѣтъ, дурно ѣстъ,—такой крестьянинъ не можетъ быть нравственнымъ человѣкомъ; если онъ и не воръ, то лѣнтяй, и во всякомъ случаѣ существо оскотинившееся. Добродѣтель въ нищетѣ есть явленіе исключительное, достояніе тѣхъ сильныхъ организацій, тѣхъ энергическихъ характеровъ, которые такъ же рѣдки, какъ и геній. Добродѣтель гораздо хуже уживается съ нищетой, чѣмъ съ чрезмѣрнымъ богатствомъ, хотя она и рѣдка въ богатствѣ. Съ другой стороны, если крестьянинъ живетъ чисто и въ довольствѣ, будучи безнравственнымъ человѣкомъ,—его благосостояніе выгодно только для него самого, но не для общества,—не говоря уже о томъ, что оно не всегда прочно. Изъ этого двоякаго рода статей въ «Сельскомъ Чтеніи» самъ собою, по законамъ необходимости, выходитъ третій рядъ статей, которыя способствуютъ развитію интеллектуальности и знакомятъ крестьянина съ понятіями и фактами, доселѣ вовсе ему недоступными. Чтобъ научить его обращаться съ хлѣбомъ и травой, необходимо познакомить его съ свойствами растительнаго царства вообще,—слѣдовательно, нѣкоторымъ образомъ ввести его въ созерцаніе природы, въ міръ естествознанія. Такова статья Заблоцкаго въ третьей книжкѣ «Сельскаго Чтенія»—«О томъ, что̀ такое растеніе, какъ оно живетъ и чѣмъ оно питается». Жалѣемъ, что не можемъ познакомить съ нею нашихъ читателей: безъ выписокъ этого сдѣлать нельзя, а вырывать ее клочками,—только портить: ее надо читать всю. Это образецъ яснаго изложенія, вполнѣ доступнаго для крестьянина, понятій не совсѣмъ общихъ и не такъ-то простыхъ! Такова же статья князя Одоевскаго: «Что̀ такое выставка сельскихъ произведеній, на что́ она, и какая отъ нея польза, и что̀ было на прошедшей выставкѣ»,—это лучшія статьи въ третьей книжкѣ «Сельскаго Чтенія». Послѣ нихъ замѣчательны статьи: «Разсказъ дяди Иринея о томъ, что̀ вокругъ человѣка и о человѣкѣ», князя Одоевскаго; «О томъ, какъ съ домашней скотиной надобно обращаться», Заблоцкаго, и «Записки для памяти», князя Одоевскаго.

Изъ нравственныхъ разсказовъ особенно замѣчательны два: «Какъ дядя Ириней разсказывалъ о томъ, что̀ такое чистота и къ чему она пригодна», князя Одоевскаго, и «Нечистая Сила», графа Соллогуба. Первая особенно важна тѣмъ, что она имѣетъ цѣлью искорененіе гибельнаго и наиболѣе свойственнаго русскому простонародью порока—неопрятности. Впрочемъ опрятность и у городскихъ нашихъ жителей не можетъ считаться особенной добродѣтелью. Баня и чистая рубаха въ субботу—у нашего простонародья больше какой-то обрядъ, какой-то мистическій долгъ, какъ омовеніе у мусульманъ, нежели требованіе опрятности и чистоплотности, не говоря уже о томъ, что перемѣна бѣлья одинъ разъ въ недѣлю—плохая опрятность. И потому въ такой книгѣ, какъ «Сельское Чтеніе», особенно надо дорожить статьями, когда, будучи хорошо написаны, онѣ имѣютъ предметомъ искорененіе не общихъ, всѣмъ людямъ равно свойственныхъ недостатковъ, а пороковъ, составляющихъ какъ-бы исключительную болѣзнь класса, для котораго издается «Сельское Чтеніе». Такіе пороки суть: пьянство, неопрятность, лѣнь, непредусмотрительность и авось, которое простой народъ иронически называетъ авоськой. «Нечистая Сила»—мастерской разсказъ графа Соллогуба, удачно воспользовавшагося извѣстнымъ анекдотомъ, чтобъ сдѣлать изъ него столько же занимательную, сколько и поучительную для простыхъ умовъ повѣсть.

Послѣ нихъ можно указать на разсказы: «Отчего крестьянинъ Демьянъ себѣ ноги ознобилъ и навѣкъ калѣкой пошелъ», князя Одоевскаго; «Плохо тому, кто не умѣетъ жить въ своемъ дому», Заблоцкаго, и юмористическій, въ народномъ духѣ разсказанный анекдотъ «Ось и Чека», Даля.

Но, признаемся, мы не желали бы больше встрѣчать въ «Сельскомъ Чтеніи» такихъ статей, какъ «Кто такой Давидъ Ивановичъ, и за что̀ люди его почитаютъ» и «Что̀ легко наживается, то еще легче проживается». Въ первой описанъ какой-то герой добродѣтели безъ образа и лица, безъ всякихъ признаковъ характера; и не мудрено: онъ описанъ, а не представленъ; за него говоритъ самъ авторъ, а самъ онъ ничего не говоритъ. Такими мертвыми идеями никого не убѣдишь ни въ чемъ: имъ никто не повѣритъ. Въ другой пьесѣ представленъ бѣдный перевозчикъ, который, неожиданно получивъ отъ дальняго родственника, купца, огромное наслѣдство, и не умѣя управляться ни съ торговыми дѣлами, ни съ деньгами, все спустилъ въ короткое время и опять сталъ голъ, какъ соколъ. Какая мораль этого разсказа? неужели та, что отъ наслѣдства надобно отказываться? Ну, а еслибъ кто написалъ повѣсть, что одинъ бѣднякъ, получивъ большое наслѣдство, съумѣлъ имъ распорядиться и къ своей, и къ чужой пользѣ, и издатели «Сельскаго Чтенія» помѣстили бы этотъ разсказъ рядомъ съ пьесой «Что̀ легко наживается, то еще легче проживается»; чему бы тогда долженъ былъ вѣрить грамотный крестьянинъ?.. Судя по заглавію разсказа, мы думали, что дѣло идетъ о пріобрѣтеніи черезъ воровство, грабежъ или разбой: тогда бы—другое дѣло! Но положимъ, что авторъ и тутъ правъ: все-таки трудно повѣрить, чтобъ его разсказъ убѣдилъ кого-нибудь отказаться отъ законнаго наслѣдства...

Многіе возстаютъ противъ «Сельскаго Чтенія» за простонародность его языка, «маленько-мужицкаго», утверждая, что къ такому языку въ книгѣ простой народъ недовѣрчивъ, поддаваясь охотнѣе обаянію книжнаго языка. Признаемся откровенно, мы не считаемъ такого мнѣнія ложнымъ, и готовы были бы рѣшительно обвинить «Сельское Чтеніе» въ простонародности языка, какъ въ недостаткѣ, еслибъ въ тридцати тысячахъ экземпляровъ этой книжки, разошедшихся въ два года, не видѣли факта, слишкомъ оправдывающаго издателей въ

ихъ манерѣ говорить печатно съ простолюдинами. Стало-быть, это еще вопросъ, который можетъ быть рѣшенъ только фактически; надо издать для народа книжку, написанную городскимъ, образованнымъ языкомъ: если она будетъ имѣть такой же успѣхъ, какъ и «Сельское Чтеніе», вопросъ будетъ рѣшенъ не въ пользу издателей послѣдняго; а до тѣхъ поръ... подождемъ. Одно, что̀ мы можемъ не похвалить въ «Сельскомъ Чтеніи»,—это употребленіе презрительно-уменьшительныхъ собственныхъ именъ: «Ванюха, Ванька, Сенька, Васька, Машка», и т. п. «Сельское Чтеніе» должно способствовать истребленію, а не поддержанію отвратительнаго обычая называть себя не христіанскими именами, а кличками, унижающими человѣческое достоинство...

Впереди времени много, и при знаніи дѣла и талантѣ издателей «Сельскаго Чтенія» недостатки этого изданія конечно скоро исчезнутъ, а достоинства еще болѣе возвысятся. Много уже сдѣлано этими тремя книжками, и ихъ содержаніе нельзя будетъ вполнѣ исчерпать и тридцатью; а сколько еще сторонъ нетронутыхъ, напримѣръ отношенія, въ которыхъ женскій полъ находится въ простомъ быту къ мужскому, и наоборотъ! Русскій человѣкъ вообще не умѣетъ уважать женщину, а у крестьянъ женщина—рабъ, скотъ, нѣчто вродѣ домашняго животнаго. Зато посмотрите въ деревняхъ на мужиковъ: сколько между ними красивыхъ лицъ, а женщины, за весьма рѣдкими исключеніями,—воплощенное безобразіе, и въ тридцать лѣтъ уже старухи. И не диво: выполняя всѣ тяжелыя мужскія работы, онѣ еще несутъ тягости беременности и родовъ... Вообще семейный бытъ долженъ быть однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ «Сельскаго Чтенія». Какъ можно больше статей объ обращеніи съ дѣтьми, о необходимости часто мыть ихъ, беречь отъ грязи, отъ простуды, объ уходѣ за больными! Сколько умираетъ дѣтей оттого, что за ними дурно смотрятъ во время оспы, кори. Топится печка—въ избѣ сверху дымъ, внизу холодъ, дверь отворена: какъ тутъ уцѣлѣть и взрослому больному, и родильницѣ, которая сверхъ того вчера родила, а сегодня таскаетъ дрова и воду!..

Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г., *или историческая картина достопамятныхъ событій въ Россіи за сто лѣтъ. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голенищева-Кутузова-Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полевого. Часть 1-я. 1845.*

Во всякой литературѣ должно отличать двѣ стороны—ученую и художественную, и беллетристическую. Къ первой принадлежатъ произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обоихъ случаяхъ—плоды труда обдуманнаго, зрѣлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производятъ по случаю, кстати (à propos), на заказъ, къ сроку. И потому оба они творятъ не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толпы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ, желая успѣха при жизни, желаетъ, чтобъ и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Но ученые и художники, особенно великіе—аристократы человѣчества: они трудятся не для всѣхъ, а только для избранныхъ. Это особенно относится къ обществу, въ которомъ просвѣщеніе и образованіе не равно разлиты по всѣмъ его классамъ, но однимъ доступны больше, другимъ меньше, а третьимъ и вовсе недоступны. Однакожъ благодѣянія литературы—этого могущественнаго средства къ образованію массъ—должны простираться на всѣхъ. Не всякій можетъ и долженъ быть ученымъ, но всякій долженъ имѣть общія познанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслажденіе прекраснымъ. Для этого наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толпы пьедестала, и черезъ это приближены къ понятію массъ. Эта въ одно и то же время и мелкая, и великая роль принадлежитъ беллетристикѣ. И наука, и искусство имѣютъ свою беллетристику и своихъ беллетристовъ. Что̀ такое беллетристъ? Слово «беллетристъ» происходитъ отъ belles-lettres, т. е. изящная словесность; слѣдовательно, въ первоначальномъ своемъ значеніи слово «беллетристъ» есть то же, что̀ литераторъ, занимающійся изящной словесностью,—то же, что̀ стихотворецъ, нувеллистъ, романистъ. Но какъ въ послѣднее время изящество изложенія сдѣлалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, не принадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сдѣлала популярность изложенія необходимымъ условіемъ науки, то вслѣдствіе этого литература приняла новый характеръ: съ одной стороны она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угождая вкусу и потребностямъ всѣхъ и каждаго,—она перешла, такъ сказать, въ руки дѣятелей болѣе скоро и много, нежели прочно пишущихъ, болѣе многочисленныхъ, нежели замѣчательныхъ по силѣ таланта: эти-то люди и должны называться беллетристами. Беллетристъ относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводитъ: владѣя своимъ собственнымъ талантомъ, онъ все-таки живетъ чужимъ умомъ, чужимъ геніемъ. Наука и искусство никогда не бываютъ ремесломъ; беллетристика тоже не ремесло—она выше ремесла, но ниже искусства: она середина между ними. Беллетристика къ поэзіи относится какъ диллетантизмъ къ художественной дѣятельности; къ наукѣ—какъ образованіе къ просвѣщенію. Чтобъ быть беллетристомъ, надо имѣть призваніе, страсть, талантъ, особенно талантъ, но не геній. Можно сказать, что всякій поэтъ, всякій ученый, у котораго есть талантъ, но нѣтъ генія,—беллетристъ. Поэтому главное, существенное раз-

личіе между произведеніями ученаго и художника и между произведеніями беллетриста состоитъ въ томъ, что первые пишутъ для вѣковъ, а послѣдній—для минуты. Есть ученыя сочиненія, давно потерявшія цѣну, вслѣдствіе дальнѣйшаго развитія и большихъ успѣховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоятъ, какъ вѣхи, указывающія путь, по которому шла наука, разстоянія, которыхъ она достигла. Не существующіе для толпы и диллетантовъ, эти старые труды геніевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Что́ касается до произведеній искусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него пріобрѣтаютъ свой букетъ. Для произведеній же беллетристики время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производитъ ихъ тысячами,—время и пожираетъ ихъ тысячами. Беллетристъ торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно утомлять вниманіе публики, и онъ изумляетъ ее своей дѣятельностью, какъ бы зная, что забывъ его на минуту, она совсѣмъ его забудетъ. Беллетристъ пишетъ легко и скоро; онъ на все способенъ, талантъ его гибокъ; его дѣятельность можно подстрекать и, такъ сказать, покупать. Ему можетъ сказать и журналистъ, и книгопродавецъ: «напишите мнѣ то или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ и къ такому-то времени», и онъ возьмется и напишетъ. Извѣстно, что «Вѣчный Жидъ» написанъ Эженомъ Сю по заказу журнала «Constitutionnel», и Тьеръ, мнѣній котораго этотъ журналъ есть органъ, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романѣ—напасть на іезуитовъ, напомнить о поэзіи Наполеоновскаго солдата и т. д.: вотъ беллетристъ! Жоржъ Зандъ тоже печатаетъ свои романы въ фельетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу, и не горгується за романъ, который еще не написанъ или только пишется: вотъ художникъ! «Вѣчный Жидъ» надѣлалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели напримѣръ «Теверино»; «Вѣчный Жидъ» нравился толпѣ,—«Теверино» восхищаетъ немногихъ; но зато первый уже умеръ въ самой Франціи, едва успѣвъ дойти до конца, а торжество второго еще впереди, и все больше и больше...

Однакожъ было бы нелѣпымъ педантизмомъ смотрѣть на беллетристику и беллетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершаютъ великое дѣло. Безъ нихъ умственныя наслажденія и—результаты этихъ наслажденій—развитіе ума, образованіе сердца не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натурѣ или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ истиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ «Вѣчный Жидъ»—колоссальное твореніе, идеалъ романа и которыхъ эстетическія требованія никогда не пойдутъ дальше этой сказки: пусть же они читаютъ ее, вѣдь и имъ надобно же что-нибудь читать! Есть другіе: они начнутъ «Вѣчнымъ Жидомъ», а кончатъ «Теверино», отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому «Вѣчному Жиду», за что́ все-таки спасибо «Вѣчному» же «Жиду»...

Беллетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатой и блестящей. Доказательствомъ тому служитъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ всѣ другія европейскія литературы.

Вотъ почему одинъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоитъ въ томъ, что у насъ почти нѣтъ беллетристики и больше геніевъ, нежели талантовъ (что́ бы ни говорили и какъ бы ни издѣвались надъ этой мыслью невѣжды, умѣющіе придраться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей). Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до временъ Екатерины Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонвизинъ,—и всѣ равно слыли за великихъ писателей, за геніевъ,—а между тѣмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какой-нибудь извѣстностью. Въ Карамзинскую эпоху явились уже и беллетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были беллетристы по таланту, а не по дѣятельности, и почти всѣ они писали такъ мало, что ихъ можно было счесть скорѣе за литературныхъ наѣздниковъ, нежели за дѣятельныхъ и плодовитыхъ беллетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ: это—Полевого и Кукольника. Вотъ беллетристы въ истинномъ значеніи слова! Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ десятерыхъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ; Полевой—по крайней мѣрѣ за сто... Такъ какъ предметъ этой статьи—Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Многіе дивятся, когда успѣваетъ онъ писать книгу за книгой, статью за статьей, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, драму за драмой: удивленіе не совсѣмъ основательно! Оно больше шло-бы къ Пушкину (еслибъ Пушкинъ такъ много писалъ), нежели къ Полевому. Полевой—беллетристъ: этимъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классическіе писатели, біографическіе, историческіе и энциклопедическіе словари: матеріалъ готовый, источники неисчерпаемые,—а онъ вѣдь не создаетъ: онъ только пересказываетъ сказанное, передѣлываетъ сдѣланное, но пересказываетъ и передѣлываетъ такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братіи, чающей движенія воды, которая стоитъ въ преддверіи храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта дѣятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь безпокойная, если не энергическая и не могущественная, столь

шумливая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная,—эта дѣятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженичество, не торгашество, какъ у нѣкоторыхъ писакъ, которые готовы перебить у другого всякое предпріятіе и вопіютъ о своихъ заслугахъ, своей благонамѣренности и безкорыстіи при всякомъ чужомъ успѣхѣ, отнимающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... И такъ, несмотря на наше рѣшительное несогласіе со взглядами Полевого, высшими и низшими, на всѣ предметы, подлежащіе вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки противъ нашихъ мнѣній, мы все-таки скажемъ, что желаемъ русской литературѣ побольше такихъ беллетристовъ, какъ Полевой; но вмѣстѣ съ тѣмъ желаемъ, чтобъ, для ея чести и пользы, они чаще смѣнялись новыми, и тѣмъ избавляли-бы русскую литературу отъ устарѣлыхъ мнѣній, отсталыхъ понятій и безспльныхъ, возбуждающихъ болѣзненное состраданіе попытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мірѣ новыхъ поколѣній...

Новая книга Полевого—«Столѣтіе Россіи» есть чисто беллетристическое произведеніе. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день—нѣтъ, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самъ Полевой разскажетъ вамъ это событіе:

Сѣверная русская столица, освѣщенная свѣтомъ *невечерпющаго* лѣтняго вечера, кипѣла жизнью, когда задумчиво остановился я передъ изваяніемъ великаго *вожденачальника*, архистратига *двенадесятаго года*, князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душѣ моей мелькнула мысль: *сто лѣтъ!*

«Сто лѣтъ», думалъ я, смотря на изваяніе русскаго воеводы: «сто лѣтъ совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великій! Сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги (?!), и уже тридцать два года, какъ почилъ ты среди потухшихъ громовъ!»

Правду говорятъ иные, что поэзія—врагъ логики: по словамъ Полевого—«сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги»—можно подумать, что Кутузовъ началъ свои подвиги съ перваго же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ—для красоты слога... Далѣе, тѣмъ же слогомъ описывается, какъ Полевой стоялъ на колѣняхъ подлѣ могилы великаго полководца и, облокотясь на ея рѣшетку, плакалъ, думалъ и мечталъ...

Теперь посмотрите, что̀ такое беллетристъ. У ученаго подобная книга была бы плодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, дѣльнаго, серьезнаго, обдуманнаго. У Полевого это было дѣломъ минуты: лѣтомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять—и не было бы книги. Послѣ этого удивляйтесь, что паденіе яблока съ дерева было причиной великой теоріи Ньютона о тяготѣніи земли!... Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу столѣтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ—спаситель Россіи, мужъ доблестный и великій,—это аксіома; но все-таки важны и велики его подвиги, а совсѣмъ не день его рожденія, который никакъ не могъ быть эпохой въ исторіи Россіи. Но беллетристу нуженъ только поводъ, случай, придирка къ составленію книги. Полевой придрался—и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придѣлалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь норманновъ до царствованія императрицы Анны Іоанновны, которое у него уже не просто обозрѣно, а разсказано, и съ котораго до конца разсказъ становится все подробнѣе и подробнѣе.

Разбирать книгу Полевого нѣтъ надобности: это чисто беллетристическое произведеніе, что-то похожее на компиляцію кстати или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ воззрѣніяхъ нѣтъ ничего новаго, ничего такого, что̀-бъ не было много разъ говорено Кайдановымъ и подобными ему беллетристами исторіи. Ученый (а не беллетристъ) не сталъ-бы писать такую книгу, еслибъ видѣлъ, что онъ не умѣетъ или не можетъ сказать въ ней ничего новаго. Полевой не затруднился, а какъ будто-бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сдѣлалъ! Отъ него, какъ отъ беллетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тѣмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторятъ, для памяти, читанное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнаютъ то, чего прежде не знали... И такъ, для публики—новая книга, для журналовъ—новая ножива, для литературы—какъ-будто новое движеніе: чего-же болѣе? Да здравствуетъ беллетристика! А тамъ, глядишь, выйдетъ и вторая часть «Столѣтія Россіи». Что̀-же будетъ въ ней?—Мечты.—Какъ? что̀ такое?—Мечты! Но крайней мѣрѣ вотъ какъ выразился самъ авторъ: «Нѣсколько мыслей будущему,—мыслей, которыя могутъ назвать мечтами». Это вѣроятно, невольная дань прошедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и разсказы подъ названіемъ «Мечты и Были»; это названіе (а особенно выраженная имъ мысль) такъ понравилось Полевому, что онъ рѣшился возобновить его,—и въ первой части «Столѣтія Россіи» предлагаетъ публикѣ Были, а во второй предлагаетъ ей то, что̀ можно назвать Мечтами...

Исторія консульства и имперіи, *соч. Тьера. Переведъ съ франц. П. Д—ъ. Части I, II и III. Спб. 1845.*

Несмотря на огромный успѣхъ, который имѣлъ во всей Европѣ новый историческій трудъ Тьера—«Исторія Консульства и Имперіи», это сочиненіе не принадлежитъ къ разряду произведеній, запечатлѣнныхъ достоинствомъ науки. Это произведеніе чисто беллетристическое. Для Наполеона уже настаетъ потомство, и уже не далеко время, когда будетъ возможна его исторія; но пока она еще невозможна. Низвергнутый съ вершины могущества, Наполеонъ былъ чернимъ и унижаемъ даже тѣми, которые недавно еще были его униженными

слугами. Партія бурбонистовъ имѣла причину и ненавидѣть, и бояться даже тѣни Наполеона, и бурбонистъ Шатобріанъ справедливо сказалъ, что стоитъ только на западномъ берегу Франціи воткнуть палку и надѣть на нее сѣрый сюртукъ съ трехъ-угольной шляпой Наполеона, чтобъ взволновать весь міръ. Поэтому партія бурбонистовъ во Франціи должна была вести ожесточенную борьбу не только съ либералами, настаивавшими на дѣйствительность конституціи, и республиканцами, еще не забывшими Конвента и Якобинскаго клуба, но и еще болѣе съ бонапартистами: человѣкъ, сидѣвшій въ плѣну на островѣ Св. Елены, до того былъ облитъ съ ногъ до головы лучами чудеснаго, что никто и не думалъ, чтобъ для него было что-нибудь невозможно... Но вотъ онъ умеръ; французское правительство отдохнуло: герцогъ рейхштадскій былъ для него опасностью уже въ десять разъ меньшей; а другихъ народовъ онъ нисколько не безпокоилъ. Тогда началась эпоха какого-то идолопоклонническаго восторга къ Наполеону. Когда же на французскомъ престолѣ явилась новая династія, почти всѣ партіи во Франціи единодушно сошлись въ обожаніи этого огромнаго имени. Франція забыла бѣдствія, которыми онъ терзалъ ее столько времени, забыла темные пути, по которымъ этотъ сынъ судьбы пробирался къ владычеству,—все забыла!.. Онъ сталъ героемъ, полубогомъ! Но теперь и круговоротъ идей мчится съ невѣроятной быстротой: забвеніе начало проходить, память начала возвращаться, и число обожателей и восторженныхъ поклонниковъ Наполеона со дня на день уменьшается, а безотчетныя фразы о его безупречномъ величіи остались на долю только крикунамъ и фразёрамъ. Это особенно произошло оттого, что стали иначе смотрѣть на «политику» и не хотятъ болѣе уважать въ ней вѣроломства, а хотятъ, чтобъ она соединялась съ нравственностью; успѣхъ и право вслѣдствіе этого сдѣлались для всѣхъ понятіями особенными, а не тожественными. Какъ возвысился Наполеонъ? Однимъ ли своимъ геніемъ? — Нисколько! При всемъ своемъ геніи онъ не далеко бы ушелъ, еслибы не одаренъ былъ отъ природы весьма гибкой, уступчивой и сговорчивой совѣстью. Онъ подбивается въ милость къ гнусному, безчестному и развратному Баррасу, оказываетъ Конвенту важную услугу, при помощи якобинцевъ хитростью, интригами уничтожаетъ Совѣтъ Пятисотъ, разыгрываетъ роль жертвы, будто бы едва ускользнувшей отъ кинжаловъ республиканцевъ, дѣлается консуломъ и начинаетъ играть республиканскую комедію, замышляя объ императорской коронѣ. Послѣдняя интрига до того исполнена комизма, что самъ Тьеръ, запоздалый обожатель Наполеона, не могъ придать ей ни историческаго, ни героическаго величія: вспомните о неловкихъ продѣлкахъ жалкаго и ничтожнаго Камбасереса, бывшаго посредникомъ между Наполеономъ и сенатомъ!.. Наконецъ онъ—императоръ Франціи, протекторъ Германскаго-Союза, а его братья—короли большей части европейскихъ государствъ и въ то же время вассалы раздавателя скипетровъ. Сколько было въ душѣ и сердцѣ Наполеона уваженія къ правамъ человѣчества и законности,—это онъ вполнѣ показалъ, разстрѣлявъ герцога энгіенскаго и въ египетскомъ походѣ велѣвъ умертвить четыре тысячи турокъ, которыхъ по договору, имъ же утвержденному, онъ долженъ былъ выпустить изъ Яффы живыми и невредимыми. Самъ Тьеръ, отъявленный поклонникъ Наполеона, не могъ одобрить послѣдняго изъ этихъ поступковъ, хотя и старается уменьшить его вопіющую несправедливость. Онъ говоритъ, что, не имѣя средствъ отослать этихъ плѣнниковъ въ Египетъ подъ надежнымъ прикрытіемъ и не желая, чтобъ они увеличили собой непріятельскую армію,— «Bonaparte se decida à une mesure terrible, et qui est le seul acte cruel de sa vie. Transporté dans un pays barbare il en avait involontairement adopté les moeurs: il fit passer au fil de l'épé les prisonniers qui lui restaient. L'armée consomma avec obéissance, mais avec une espèce d'effroi l'exécution qui lui était commandée». То есть «Бонапартъ рѣшился на ужасную мѣру, которая была его единственнымъ жестокимъ дѣйствіемъ во всю жизнь его» (а смерть герцога энгіенскаго?..). «Очутившись среди варварской страны, онъ противъ воли усвоилъ себѣ ея нравы: онъ приказалъ переколоть плѣнниковъ. Армія исполнила приказаніе съ покорностью, но и съ отвращеніемъ». О нарушеніи же договора Тьеръ безпристрастно умалчиваетъ... Но нарушать святость договоровъ Наполеонъ считалъ дѣломъ высшей политики и высшей мудрости: не даромъ говорилъ онъ, что «эта старая Европа наскучила ему»... Всѣ его дѣйствія, и злыя, и добрыя, выходили изъ его личнаго эгоизма, и потому, можетъ быть, они были для него самого такъ безплодны. Въ самомъ дѣлѣ, чего онъ хотѣлъ? Сдѣлать Францію могущественнѣйшей землей въ мірѣ, чтобъ, опираясь на ея порабощеніи, самому деспотически владычествовать надъ всѣмъ міромъ, ругаясь надъ народнымъ правомъ, и упрочить это владычество за своей династіей. А чего достигъ онъ? — Разоренія, обезлюденія и позора Франціи, а себѣ — тюрьмы на безплодной скалѣ Атлантическаго океана.

И однакожъ онъ нуженъ былъ міру — и міръ увидѣлъ и вострепеталъ его... Будучи врагомъ духа времени, грозя, новый Бріарей, задушить его въ своихъ сторукихъ объятіяхъ,—онъ, самъ того не зная, былъ только его послушнымъ орудіемъ... Духъ времени воспользовался имъ, сколько было ему надобно, и потомъ бросилъ его какъ уже ненужное орудіе, — и тщетно тогда развертывалъ онъ всю силу своего генія, всю неистощимость своихъ титаническихъ силъ и средствъ—ничто не помогало, и онъ палъ...

Есть люди, которые, разъ остановившись на чемъ-нибудь, уже не двигаются впередъ, и въ другую эпоху, въ міръ новыхъ страстей и убѣжденій переносятъ съ собой свой запоздалый восторгъ къ

идеямъ стараго времени. Къ такимъ людямъ принадлежитъ Тьеръ. Считая себя великимъ политическимъ и государственнымъ человѣкомъ, Тьеръ считаетъ себя еще военнымъ геніемъ первой величины. Поэтому Наполеонъ—его идеалъ во всѣхъ отношеніяхъ. «Исторію Французской Революціи» Тьеръ написалъ въ духѣ оппозиціи правительству возстановленныхъ Бурбоновъ; «Исторію Консульства и Имперіи» составилъ онъ въ духѣ оппозиціи нынѣшнему французскому правительству, котораго впрочемъ онъ раздѣляетъ всѣ принципы, кромѣ одного — миролюбія, понимая, что на немъ-то оно больше всего и держится. Цѣль его книги была — напомнить французамъ бурное время ихъ «блистательнаго позора», какъ сказалъ нашъ Пушкинъ, ихъ побѣдъ и завоеваній. Тьеръ — великій воитель, истинный Наполеонъ въ карикатурѣ*), — и будь онъ опять министромъ, въ Европѣ запылало бы пламя войны, при заревѣ котораго Тьеръ выгодно игралъ бы на биржѣ въ ажіотажъ; но потому то вѣроятно онъ теперь и не министръ... И вотъ онъ пишетъ исторію Наполеона, чтобъ апоѳеозой генія войны кольнуть миролюбивые умы правителей Франціи. Но — странное дѣло! — у него изъ апоѳеозы Наполеона какъ-то выходитъ, совершенно противъ его воли и намѣренія, совсѣмъ другое, потому что, какъ ни силится онъ софизмами оправдать его дѣйствія, истина такъ и блещетъ сквозь эти софизмы. И не мудрено: во-первыхъ, прошло уже время для безотчетнаго восторга къ Наполеону, а во-вторыхъ, нѣтъ ничего опаснѣе для оправданія дурныхъ дѣлъ историческаго лица, какъ апологистъ, котораго нравственныя убѣжденія составились и укрѣпились на биржѣ, въ министерскихъ и палатскихъ интригахъ. Такимъ образомъ самый злой, ожесточенный врагъ Наполеона не могъ бы оказать ему такой дурной услуги, порицая его, какую оказалъ ему Тьеръ, превознося, почти обожествляя его...

Многіе критики въ Европѣ уличили Тьера въ искаженіи слишкомъ извѣстныхъ фактовъ. Конечно это искаженіе неумышленное, происшедшее отъ поспѣшной работы, но все же оно не возвышаетъ цѣны его историческаго труда. Еще важнѣе искаженіе истинъ нравственности и справедливости, во имя оправданія человѣческой слабости.

Букеты (,) или Петербургское цвѣтобѣсіе. *Шутка въ одномъ дѣйствіи. Соч. гр. В. А. Соллогуба. Спб. 1845.*

Драматическая русская литература представляетъ собой странное зрѣлище. У насъ есть комедіи Фонвизина, «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, «Ревизоръ», «Женитьба» и разныя драматическія сцены Гоголя—превосходныя творенія разныхъ эпохъ нашей литературы,—и, кромѣ нихъ, нѣтъ ничего, рѣшительно ничего хоть сколько-нибудь замѣчательнаго, даже сколько-нибудь сноснаго. Всѣ эти произведенія стоятъ какими-то особняками, на неприступной высотѣ, и все вокругъ нихъ пусто: ни одного счастливаго подражанія, ни одного удачнаго опыта въ ихъ родѣ. «Бригадиръ» и «Недоросль» породили много подражаній, но до того неудачныхъ, пошлыхъ и вздорныхъ, что о нихъ нельзя и помнить. Еще прежде Фонвизина нѣкто Аблесимовъ проговорился, обмолвился какъ-то прелестнымъ, по своему времени, народнымъ водевилемъ «Мельникъ» и, кромѣ этого водевиля, не написалъ ничего порядочнаго. Были ли подражанія «Мельнику», не знаемъ; но если и были, то навѣрное уродливыя и пошлыя, а потому и забытыя. Капнистъ написалъ «Ябеду»—комедію, замѣчательную болѣе по цѣли, нежели по исполненію. Отъ «Ябеды» должно перейти прямо къ «Горю отъ Ума», а отъ него—къ драматическимъ опытамъ Гоголя, потому что все написанное въ эти два промежутка времени рѣшительно не стоитъ упоминовенія.

То же самое можно сказать и о нашей трагедіи или патетической драмѣ. Еще изъ классическихъ трагедій, и оригинальныхъ, и переводныхъ, найдется нѣсколько такихъ, которыя заслуживали вниманіе и послѣ трагедій Озерова. Но когда классическая трагедія у насъ пала съ тѣмъ, чтобъ никогда уже не вставать,—мы до сихъ поръ имѣемъ только «Бориса Годунова» Пушкина, да его же драматическія сцены: «Пиръ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость». И, подобно комедіямъ Фонвизина, Грибоѣдова и Гоголя, эти произведенія Пушкина тоже стоятъ въ грустномъ одиночествѣ, сиротами, безъ предковъ и потомковъ. Но касательно трагедіи дѣло по крайней мѣрѣ понятное: наша дѣйствительность еще не довольно развилась, чтобъ поэты могли извлекать изъ нея матеріалы для патетической драмы. И потому это пока возможно болѣе или менѣе только привилегированнымъ геніямъ; для талантовъ же рѣшительно невозможно. Но вотъ вопросъ: почему и наша комедія сдѣлалась тоже какой-то привилегіей одного генія и не дается таланту? Развѣ есть въ мірѣ такое общество, которое не представляло бы, въ своихъ нравахъ, богатыхъ матеріаловъ для комедіи? Развѣ наши поэты и беллетристы не находятъ ихъ въ изобиліи и не пользуются ими болѣе или менѣе удачно, когда дѣло идетъ о повѣсти? Повѣсть хорошо принялась на почвѣ нашей литературы,—лучшее доказательство въ томъ, что повѣстью у насъ занимаются съ успѣхомъ и таланты, и даже полуталанты—не одни геніи... А комедія?... Гдѣ она у насъ?—Нигдѣ!...

Узнавъ, что графъ Соллогубъ пишетъ что-то для театра, мы порадовались, что человѣкъ съ

*) Намъ случалось видѣть преостроумную и презлую карикатуру Тьера; онъ изображенъ въ видѣ Наполеоновской статуи на вандомской колоннѣ, въ Наполеоновскомъ сюртукѣ, въ Наполеоновской треугольной шляпѣ, а снизу подписано: «Monsieur Tiers (Thier), ainsi appelé par ce qu'il ne fait pas la moitié d'un grand homme.

умомъ, талантомъ и свѣтскимъ образованіемъ (которое въ дѣлѣ драматической литературы иногда можетъ быть своего рода талантомъ) рѣшился попробовать силы на поприщѣ, которымъ издавна завладѣли посредственность и бездарность. Но вотъ новое произведеніе графа Соллогуба дано и на театрѣ, куда съѣхалось для него почти все высшее общество; вотъ наконецъ вышла и книжка... и мы все-таки не знаемъ, что̀ сказать о «Букетахъ»... Въ заглавіи «Букеты» названы шуткой: въ этомъ нѣтъ ничего дурного, и хорошая шутка, хорошій фарсъ въ тысячу разъ лучше плохой трагедіи или комедіи. Но для шутки тоже нуженъ драматическій талантъ, и въ ея основаніи должна лежать истина, хотя бы и преувеличенная для возбужденія смѣха. Мы не скажемъ, чтобъ въ основаніи шутки графа Соллогуба вовсе не было истины, равно какъ и болѣе или менѣе дѣйствительно вѣрныхъ и смѣшныхъ чертъ; но все это у него испорчено преувеличеніемъ. Хуже всего то, что пьеса основана на избитыхъ пружинахъ такъ называемаго русскаго водевиля. Чиновникъ, изъ угожденія своему начальнику, бросаетъ букетъ, но не той нѣвицѣ, партизаномъ которой считалъ себя его начальникъ; за это онъ лишается мѣста. Если это шутка, то нельзя не согласиться, что очень смѣлая. Но бѣдному Тряпкѣ мало было лишиться мѣста: авторъ лишилъ его еще и невѣсты, и все по поводу букетовъ. Надо было въ это вмѣшаться любви, и вотъ «влюбленный» перебиваетъ у Тряпки его невѣсту, благодаря глупости ея матери, провинціальной барыни... Но на чемъ же вертятся всѣ наши водевили, какъ не на этой бѣдной интригѣ, съ вѣчнымъ пожилымъ женихомъ, надъ которымъ къ концу торжествуетъ юный, хотя и глупый любовникъ?... Странно, что графъ Соллогубъ, съ его умомъ и талантомъ, не придумалъ чего-нибудь болѣе оригинальнаго. Мы уже не говоримъ о томъ, что эта шутка есть шутка заднимъ числомъ: петербургское цвѣтобѣсіе происходило прошлой зимой, а шутка надъ нимъ явилась почти чрезъ годъ.

Не такъ понимаютъ à propos французы: чтобъ пошутить кстати на ихъ манеръ, графу Соллогубу слѣдовало бы написать свою шутку въ одинъ вечеръ, пріѣхавъ домой изъ итальянской оперы, а черезъ недѣлю вечеромъ этой шуткѣ должно бы смѣшить цвѣтобѣсіемъ публику Александринскаго театра въ то самое время, какъ на Большомъ театрѣ цвѣтобѣсіе разыгрывалось бы на самомъ дѣлѣ. Тогда шутка была бы по крайней мѣрѣ кстати...

Впрочемъ все это такъ не важно, что не стóило бы и словъ, еслибъ тутъ не вмѣшались два обстоятельства—имя автора «Букетовъ» и нѣкоторые фѣльетонные толки, порожденные «Букетами». Такъ напримѣръ, по поводу этого водевиля «Сѣверная Пчела» обвинила всю современную русскую литературу въ злостномъ стремленіи унижать полезный и почтенный классъ чиновниковъ и изображать ихъ не иначе, какъ людьми безнравственными и глупыми. Первой причиной этого направленія современной русской литературы «Сѣверная Пчела» считаетъ Гоголя... Если эта газета позволяетъ себѣ взводить напраслину на современную литературу (изъ которой она себя не безъ основанія исключаетъ), то мы не менѣе ея считаемъ себя не вправѣ защищать современную литературу отъ такихъ несправедливыхъ нападокъ. Это даже нашъ долгъ.

Надобно сказать, что «Сѣверная Пчела», не имѣющая похвальной привычки держаться одного и того же мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, сперва расхвалила «Букеты» графа Соллогуба,—въ чемъ любопытные читатели могутъ удостовѣриться сами изъ фельетона 253 номера ея, вышедшаго 8 ноября; гроза надъ «Букетами» и надъ современной русской литературой разразилась въ 261 номерѣ, вышедшемъ 17 ноября,—ровно чрезъ десять дней... Этотъ обвинительный фельетонъ начинается такъ:

«Несомнѣнный признакъ образованности и общежительности каждаго человѣка въ особенности и народа вообще—это умѣніе понимать шутку и отличать сатиру отъ пасквиля. Литература и общество, не терпящія шутокъ и легкой, умной насмѣшки (causticité), то же, что̀ пища безъ соли, вино безъ букета, красавица безъ выраженія въ лицѣ и огня въ глазахъ. Нигдѣ болѣе не шутятъ и не колятъ, какъ въ Англіи и Франціи, и никто тамъ за это не гнѣвается. Холодные и чинные по наружности англичане обладаютъ неподражаемымъ качествомъ, *юморомъ* (humour), одушевляющимъ и ихъ рѣчи, и ихъ литературу. Французы умѣютъ во всемъ найти смѣшную сторону, даже въ дѣлахъ самыхъ серьезныхъ.»

Все это очень справедливо и не разъ говорилось въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» повторилъ эти мысли, чтобъ вывести изъ нихъ заключеніе діаметрально противоположное тому, какое изъ нихъ само собой естественно должно выходить. Опираясь на томъ, что шутка должна имѣть границы, онъ хочетъ совершенно уничтожить въ русской литературѣ шутку и юморъ и для этого силится возстановить противъ нихъ цѣлое сословіе. Во-первыхъ, какъ могутъ развиться шутка и юморъ, когда имъ заранѣе предписываются границы? Англійскій юморъ и французская шутливость потому и процвѣтаютъ, что не боятся переходить за границы. И это очень естественно: какъ можно заставить человѣка быть веселымъ, сказавъ ему заранѣе, что онъ будетъ тотчасъ оштрафованъ, какъ скоро хоть немного зайдетъ за черту позволенной веселости! Какъ объясните вы ему, гдѣ эта черта?... Ужъ хоть бы на англичанъ-то не ссылался фельетонистъ; еслибъ только сказать нашей чинной публикѣ, какъ позволяютъ себѣ англичане шутить, такъ она пришла бы въ ужасъ... И немудрено: англичане имѣютъ привычку, вошедшую въ ихъ нравы и обратившуюся въ обычай, печатать не только то, что̀ они говорятъ, но и что̀ они думаютъ,—и не объ однихъ теоретическихъ предметахъ, но и о лицахъ... Очевидно, что нашъ

фельетонистъ писалъ по наслышкѣ объ англійскомъ юморѣ. Совѣтуемъ ему справиться напримѣръ хоть о томъ, какъ разыгрывался юморъ Байрона на счетъ Соути... Потомъ словоохотливый фельетонистъ увѣряетъ, будто-бы лучшій и чистѣйшій образецъ шутки-юмора въ русской литературѣ должно видѣть въ «Иванѣ Выжигинѣ», и что этотъ романъ, написанный самимъ фельетонистомъ, который по этому поводу одинъ и превозноситъ его, лучше «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» Гоголя!

«Въ сатирическихъ статьяхъ (говоритъ фельетонистъ) я никогда не имѣлъ передъ глазами какого-нибудь лица, но всегда *бралъ съ міра по нитк*. Въ моемъ *Иванѣ Выжигинѣ*, выставляя пороки и злоупотребленія, я помѣщалъ ихъ всегда рядомъ съ добродѣтелью и честностью. Въ *Иванѣ Выжигинѣ* вы встрѣчаете хорошаго помѣщика рядомъ съ дурнымъ, честнаго чиновника—въ противоположность злоупотребителю, благороднаго судью—возлѣ взяточника.»

Затѣмъ фельетонистъ, скромно предоставляя публикѣ сказать, хорошо или дурно разрѣшилъ онъ эту задачу, присовокупляетъ, что правила его вѣрны, и что молодое поколѣніе писателей, отвергнувъ эти правила, дѣйствуетъ по-китайски, т. е. пишетъ безъ тѣней. Какъ на поразительный примѣръ этой китайской живописи въ литературѣ, указываетъ фельетонистъ на «Ревизора» и «Мертвыя Души», говоря, что всѣ дѣйствующія лица въ нихъ—хищные враны, идіоты, паяцы, невозможные въ дѣйствительной жизни...

Но намъ что-то крѣпко сдается, что фельетонистъ хлопочетъ тутъ больше о себѣ, нежели о чиновникахъ. Это не трудно доказать. Онъ разсуждаетъ объ искусствѣ по-китайски, и тѣхъ, кто понимаетъ искусство по-человѣчески, называетъ китайцами. Онъ извлекъ эстетическія правила, которыя почитаетъ вѣрными и непогрѣшительными, изъ сочиненій, которыхъ мы нисколько не считаемъ образцовыми. Поэтому очень естественно, если онъ думаетъ, что романы и комедіи можно писать по рецепту, т. е. подлѣ взяточника поставьте безкорыстнаго судью, подлѣ лѣниваго хозяина—трудолюбиваго, подлѣ вора—честнаго человѣка, и т. д., и выйдетъ хорошо. Такъ писать легко! Но, къ сожалѣнью, такъ писать теперь уже невозможно, потому что такихъ «нравственноописательныхъ» романовъ публика уже не читаетъ и не покупаетъ. Вотъ это-то горестное обстоятельство и вооружаетъ устарѣлую посредственность и бездарность противъ молодого поколѣнія писателей. Имъ, т. е. посредственности и бездарности, хотѣлось бы не тѣмъ, такъ другимъ, не мытьемъ, такъ катаньемъ, воспрепятствовать молодому поколѣнію писать съ талантомъ; имъ хотѣлось бы заставить его писать, какъ писывали прежде, т. е. вмѣсто живыхъ лицъ выводить куклы съ ярлычками на лбу: вотъ это, молъ, безкорыстіе, это благонамѣренность, это взяточничество, и т. д. Такъ и былъ написанъ «Иванъ Выжигинъ», почему всѣ дѣйствующія лица его и носятъ характеристическія названія Благонравовыхъ, Честноникъ, Вороватиныхъ, Ножовыхъ и т. д. И «Выжигинъ» имѣлъ успѣхъ, хотя и минутный, потому что въ то время, когда онъ явился, еще не совсѣмъ прошла мода на такую восковую и картонную литературу, еще не всѣ забыли романъ Измайлова, въ подражаніе которому былъ написанъ «Выжигинъ», и который назывался «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества»: въ немъ дѣйствующія лица также носятъ характеристическія названія Негодяевыхъ, Развратиныхъ, Вѣтровыхъ и т. д. Но этотъ самый успѣхъ и погубилъ «Ивана Выжигина», потому что объ немъ всѣ заговорили и начали судить, и такимъ образомъ скоро дошли до лучшихъ воззрѣній на романъ, какъ произведеніе искусства. Всему свое время, и романъ Измайлова былъ хорошъ для своего времени. Мы не скажемъ, чтобъ и «Выжигинъ» воспользовался совершенно незаслуженнымъ успѣхомъ, равно какъ не скажемъ и того, чтобъ онъ незаслуженно пришелъ въ скорое и конечное забвеніе. Его заслуга именно въ томъ и состояла, что онъ спасъ нашу литературу отъ наводненія подобными романами, которые такъ легко писать, не имѣя таланта, не зная ни дѣйствительности, ни людей. Послѣ «Выжигина» въ нашей литературѣ появилось не одинъ романовъ много получше «Выжигина»; но гдѣ они теперь?... А между тѣмъ всѣ они были необходимы и принесли большую пользу въ отношеніи къ нашей юной литературѣ; они были ея черновыми тетрадями, по которымъ она училась писать. Теперь она выучилась писать, и публика не хочетъ знать ея черновыхъ тетрадей, написанныхъ по линейкѣ. Теперь русскій романъ и русская повѣсть уже не выдумываютъ, не сочиняютъ, а высказываютъ факты дѣйствительности, которые, будучи возведены въ идеалъ, т. е. отрѣшены отъ всего случайнаго и частнаго, болѣе вѣрны дѣйствительности, нежели сколько дѣйствительность вѣрна самой себѣ. Теперь романъ и повѣсть изображаютъ не пороки и добродѣтели, а людей, какъ членовъ общества, и потому, изображая людей, изображаютъ общество. Вотъ почему теперь требуется, чтобъ каждое лицо въ романѣ, повѣсти, драмѣ говорило языкомъ своего сословія, и чтобъ его чувства, понятія, манеры, способъ дѣйствованія, словомъ,—все оправдывалось его воспитаніемъ и обстоятельствами его жизни. Фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» довольно справедливо называетъ Гоголя основателемъ теперешней литературной школы; но совсѣмъ несправедливо упрекаетъ Гоголя въ томъ, будто бы онъ оскорбляетъ цѣлое сословіе, изображая нѣкоторыхъ его членовъ негодяями и глупцами. Что же касается до того, что всѣ его герои будто бы дураки, — это рѣшительная неправда. Въ «Ревизорѣ» глупы только Бобчинскій съ Добчинскимъ, да Хлестаковъ; простоватъ немного наивный почтмейстеръ; остальные всѣ умны, а нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ городничій, даже очень умны. О нихъ можно сказать, что они грубы, невѣжды и невѣжи, но никакъ

нельзя сказать, что они глупы. Въ «Мертвыхъ Душахъ» глупъ одинъ Маниловъ и простоваты предсѣдатель и почтмейстеръ, а всѣ остальные очень умны, положимъ, умны по своему, но все-же умны, а не глупы. Потомъ, еслибъ Гоголь и изображалъ только однихъ негодяевъ и глупцовъ, это бы отнюдь не значило, что онъ дурного мнѣнія о цѣломъ сословіи, но значило бы только, что онъ—мастеръ изображать однихъ негодяевъ и глупцовъ, которыхъ довольно во всякомъ сословіи. Кто можетъ сказать поэту, зачѣмъ онъ изображаетъ то, а не это? Кто можетъ сказать живописцу, зачѣмъ онъ пишетъ ландшафты, а не историческія картины, или зачѣмъ, пиша ландшафты, изображаетъ деревья кривыя и сухія, а не прямыя и пышно зеленѣющія?... Когда талантъ проявляетъ себя въ произведеніяхъ исключительно одного рода, называйте его, если хотите, одностороннимъ, но не дѣлайте изъ его односторонности уголовнаго преступленія...

Фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» говоритъ:

«Смотря на выведенныхъ на сцену чиновниковъ въ новой пьесѣ: *Букеты, или Петербургское цвѣтобысіе,* у насъ сердце обливалось кровью при мысли, что на представленіе этой пьесы явился весь большой свѣтъ *(который—замѣтимъ мы отъ себя—не явился на представленіе «Шкуны Нюкарлеби»)*, и что многіе, особенно многія изъ этого большого свѣта, не имѣя понятія о чиновникахъ, подумали, что это списано съ натуры! Нѣтъ, милостивыя государыни и милостивые государи, Mesdames et Messieurs, такихъ чиновниковъ, какихъ вы видите въ *Ревизорѣ*, въ *Цвѣтобысіи* и т. п., нѣтъ, а между чиновниками могутъ быть и смѣшные, и дурные люди, какъ вездѣ. Съ людьми, называющими себя *писателями новаго поколѣнія*, я не намѣренъ ссориться; они должны быть превосходные писатели, потому что безпрестанно то сами себя, то другъ друга ужасно расхваливаютъ; скажу только: простите имъ, добрые люди, не вѣдаютъ бо, что творятъ!»

Не понимаемъ, какое отношеніе нашелъ фельетонистъ между «Ревизоромъ»,—превосходнѣйшимъ произведеніемъ генія, и «Букетами»,—шуткой таланта? Вотъ другое дѣло, еслибъ онъ поставилъ «Букеты» на одну доску съ «Выжигинымъ»: конечно всѣ отдали бы преимущество первымъ... А потомъ: съ чего вздумалъ фельетонистъ обвинять графа Соллогуба въ намѣреніи оскорблять чиновниковъ? Положимъ, онъ невѣрно изобразилъ ихъ; но эта вина таланта, а не человѣка. Вѣдь Булгаринъ еще хуже изобразилъ въ своемъ «Выжигинѣ» всѣ сословія въ Россіи,—такъ худо, что даже добродѣтельныя лица его романа вышли необыкновенно безобразны; однакожъ всѣ критики и съ ними публика единодушно приписали этотъ недостатокъ рѣшительному отсутствію въ сочинителѣ поэтическаго таланта, а отнюдь не какимъ-нибудь особеннымъ намѣреніямъ... Далѣе: какіе писатели новаго поколѣнія хвалятъ безпрестанно то сами себя, то другъ друга? Помилуйте! Это дѣлаютъ только нѣкоторые писатели равно и стараго, и новаго поколѣнія, потому что самохвалы есть вездѣ. Говорить о себѣ ежедневно: «я стою за правду, я готовъ умереть за правду», или плохой и забытый романъ свой ставить выше геніальныхъ произведеній,—вотъ это значитъ безпрестанно хвалить себя,—и это не хорошо. Но еще хуже приписывать другимъ дурныя намѣренія,—единственно изъ зависти къ чужому успѣху и въ надеждѣ дать литературѣ насильственный поворотъ...

Петербургскія вершины, *описанныя Я. Бутковымъ. Книга первая. Спб. 1845.*

Справедливо говоритъ латинская пословица, что у книгъ есть своя судьба. «Петербургскія Вершины» Буткова—живое доказательство этой истины: о нихъ было писано и говорено еще прежде ихъ появленія; появленіе же встрѣчено разными толками. И между тѣмъ эти толки нисколько не относились къ книгѣ Буткова: говоря о ней, говорили о Гоголѣ, а не о Бутковѣ. Но это самое и послужило въ пользу книги: она сдѣлалась черезъ это болѣе замѣчательнымъ явленіемъ, нежели сколько замѣчательна она на самомъ дѣлѣ. Спорьте послѣ этого противъ важности нѣкоторыхъ литературныхъ именъ! Имя Гоголя такъ велико въ нашей литературѣ, что стоитъ только кого-нибудь, изъ шутки или изъ зависти къ Гоголю, поставить наравнѣ съ Гоголемъ или выше его,—и этотъ кто-нибудь—уже знаменитое лицо въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ хоть на столько времени, пока шутка или сплетня не забудутся. Это напоминаетъ намъ всѣмъ извѣстную басню Крылова, въ которой паукъ, прицѣпившись къ хвосту орла, взлетѣлъ съ нимъ на вершины—не Петербурга, а Кавказа, и величался и хвастался на нихъ передъ орломъ—до перваго порыва вѣтра, который опять сбросилъ его въ низменную долину. Такъ можно и маленькимъ именамъ прицѣпляться къ именамъ великимъ и на мгновеніе подняться съ ними на всякія вершины. Но Бутковъ и не думалъ прицѣпляться къ имени Гоголя; по крайней мѣрѣ этого не замѣтно въ его книгѣ. Не самъ онъ прицѣпился, а его прицѣпили нѣкоторые мнимые его доброжелатели. Жаль, очень жаль, что Бутковъ, при первомъ появленіи на литературное поприще, сдѣлался невинной жертвой,—тѣмъ болѣе жаль, что онъ человѣкъ не безъ таланта, какъ это ясно видно изъ его книги...

Вотъ что было напечатано о книгѣ Буткова тотчасъ по ея выходѣ въ фельетонѣ № 42 «Сѣверной Пчелы»:

«Еслибъ судьба дала Буткову столько золота или даже столько искусства жить въ свѣтѣ, сколько дала ему ума, чистаго юмора и наблюдательности, то при выходѣ въ свѣтъ этого томика поднялся бы шумъ и крикъ *(конечно!)* и томикъ расхватили бы въ одинъ день. Когда Гоголь назвалъ собраніе своихъ повѣстей *Вечера(ми) близъ Диканьки*, онъ доказалъ, что климатъ Малороссіи, хотя не столь нѣжный, какъ климатъ Италіи, все же способствуетъ всѣмъ тонкостямъ *(какимъ же это?...)*. Диканька, село вельможи, всѣмъ извѣстное, возбудило общее вниманіе и доставило по-

кровительство автору *(чье?...)*. *Петербургскія Вершины*, при всемъ умѣ своемъ (!), не возвысятъ автора *(жаль!)*, потому что у него взглядъ самостоятельный, юморъ неподдѣльный, и достоинство не въ грязныхъ картинахъ, а въ истинѣ. Гоголь смѣшитъ карикатурами и, сидя на высотѣ (?), *пишетъ* картины *грязью*; Бутковъ сидитъ внизу (?), но рисуетъ съ натуры и свѣтлыми красками. Мы не сравниваемъ *(а что же вы дѣлаете?)* двухъ писателей, но это одинъ родъ *(именно!)*, съ той разницей, что языкъ Буткова чистъ и правиленъ и картины свѣтлы, и что онъ не рѣшится назвать своей повѣсти *поэмой*, и не найдетъ пріятеля *(не знаемъ, истиннаго или ложнаго, но уже нашелъ!)*, который бы звалъ его Гомеромъ. Рекомендуемъ книгу Буткова всѣмъ любителямъ забавнаго, остроумнаго чтенія. Бутковъ постигнулъ вполнѣ *(неужели?)*, что̀ такое юморъ, и, заставляя хохотать, заставляетъ въ то же время и мыслить, и чувствовать. Прочтите *(пожалуйста!)* *Петербургскія Вершины*; второй книги Буткова мы уже не станемъ рекомендовать: вы и сами поторопитесь купить. Нѣкоторые журналы, разумѣется, употребятъ все свое усиліе, чтобъ уничтожить Буткова за то, что «Сѣверная Пчела» его хвалитъ (а это ужасное преступленіе!), и за то, что при его имени *вспомнили* имя Гоголя, какъ творца натуры 15-го класса; но это и должно радовать Буткова. Это ему новый предметъ къ изученію, жалкій, но поучительный!»

Мы нисколько не удивляемся тому, что «Сѣверная Пчела» не можетъ ни о чемъ говорить, не вспомнивая Гоголя. Это понятно: что̀ у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. По старому теперь писать нельзя...

Еще разъ повторяемъ: мы нисколько не удивляемся этой неутомимой враждѣ къ Гоголю; но вотъ чему мы удивляемся — безсилію вражды къ нему, крайней неловкости нападокъ на него. Кто же въ самомъ дѣлѣ повѣритъ «Сѣверной Пчелѣ», что она не признаетъ никакого таланта въ писателѣ, который имѣлъ такой огромный успѣхъ, который далъ новое направленіе русской литературѣ и котораго она безпрестанно зацѣпляетъ? Чѣмъ виноватъ Гоголь, что одинъ изъ неловкихъ, восторженныхъ его почитателей (всѣ восторженные почитатели бываютъ неловки и смѣшны) провозгласилъ его Гомеромъ? Но Гоголь пишетъ свои картины грязью, говоритъ «Сѣверная Пчела»; еслибъ это было и такъ, что̀-жъ тутъ худого, когда его картины, писанныя грязью, лучше картинъ, писанныхъ красками? Говорятъ, Микель-Анджело разъ начертилъ на стѣнѣ углемъ фигуру головы,—и этотъ очеркъ былъ недосягаемо выше милліоновъ картинъ, писанныхъ не углемъ на стѣнѣ, а дорогими красками на холстѣ... Дѣло не въ матеріалахъ, а въ творчествѣ, въ исполненіи. Какой-нибудь Держиморда изъ «Ревизора» конечно не герой, не Александръ Македонскій; но, какъ художественно очерченное лицо, онъ въ тысячу разъ выше Годунова, Димитрія Самозванца, Мазепы и другихъ карикатуръ, намалеванныхъ авторомъ «Выжигина» красками, а не углемъ, не мѣломъ, не грязью... Намъ даже жаль «Сѣверную Пчелу», что она такъ неловко ратуетъ противъ Гоголя. Посмотрите, какъ ловко напримѣръ «Иллюстрація», по поводу все тѣхъ-же «Петербургскихъ Вершинъ», заступилась за Гоголя...

«Всѣ четвертые, пятые и шестые этажи *столичнаго города С.-Петербурга* попали подъ неумолимый ножъ Буткова. Онъ взялъ отрѣзалъ ихъ отъ низовъ, перенесъ домой, *разрѣзалъ по суставчикамъ* (,) и выдалъ въ свѣтъ частичку своихъ анатомическихъ препаратовъ. Скользкій путь! *Мы* тяжелы на сатиру *(правда)*, которую едва ли жалуетъ наша публика *(не правда!)*. Вотъ карикатуры, приспособленныя ко времени, наша страсть. Что̀ можетъ быть неправдоподобнѣе покойныхъ Выжигиныхъ, а Иванъ читался *(опять правда!)*; Петръ Ивановичъ прошелъ даже не замѣченнымъ, а дальнѣйшія карикатуры того же *автора (сочинителя?)* не возбудили даже улыбки *(трижды правда!)*. Конечно талантъ не старѣется; сочиненія П. В. Гоголя также представляютъ не сатиру, а карикатуры современнаго міра *(неужели?—это новость!)*. Того нѣтъ въ природѣ, что̀ онъ описываетъ *(полноте—что̀ за шутки!)*. Типы его—созданія веселой фантазіи; но дѣло мастера боится. *Каррикатуры* Гоголя читались съ удовольствіемъ, читаются и будутъ читаться». *(Иллюстрація, № 31, стр. 490.)*

Рѣшительно, Гоголь—это вся русская литература! О литературѣ-ли русской кто хочетъ заговорить,—непремѣнно хоть что-нибудь скажетъ о Гоголѣ; о самомъ-ли себѣ захочетъ иной поговорить,—опять говоритъ о Гоголѣ... Но одинъ говоритъ неловко, не умѣя скрыть, что, толкуя о Гоголѣ, хлопочетъ о самомъ себѣ; другой дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ловче: онъ хвалитъ Гоголя... хотя и не больше, какъ даровитаго карикатуриста... Онъ говоритъ, что того нѣтъ въ природѣ, что̀ Гоголь описываетъ; но что все-таки у Гоголя есть талантъ, и его съ удовольствіемъ читали, читаютъ и будутъ читать... Какимъ образомъ можно съ талантомъ описывать то, чего нѣтъ въ природѣ,—объ этомъ не спрашивайте; не говорите и о томъ, что сама карикатура есть только преувеличеніе истины въ смѣшномъ видѣ, что безъ сходства съ оригиналомъ она ничего не стоитъ, и что наконецъ только бездарные писаки описываютъ то, чего нѣтъ въ дѣйствительности,—не говорите ничего этого: тутъ дѣло идетъ не объ истинѣ, а о чемъ-то другомъ...

Обратимся къ книжкѣ Буткова. Несмотря на всѣ ея недостатки, мы прочли съ удовольствіемъ—если не всю ее, то нѣкоторыя статьи въ ней. По всему видно, что Бутковъ только что выступаетъ на литературное поприще и еще не осмотрѣлся на немъ, не привыкъ къ нему. Но это недостатокъ неважный, отъ котораго скоро могутъ избавить его трудъ и дѣятельность. Большая часть недостатковъ его книги, самыхъ важныхъ, происходитъ отъ свойства его таланта. Это, во-первыхъ, талантъ болѣе описывающій, нежели изображающій предметы, талантъ чисто-сатирическій и нисколько не юмористическій. Въ немъ не достаетъ ни глубины, ни силы, ни творчества. Но тѣмъ не менѣе въ авторѣ видны умъ, наблюдательность и мѣстами остроуміе и много комизма. Онъ умѣетъ замѣтить смѣшную сторону предмета и схватить ее. Этого мало: у него не только виденъ умъ, но и сердце, умѣющее сострадать ближнему, кто-бы и каковъ-бы ни былъ этотъ ближній, лишь бы только былъ несчастенъ.

Гоголь имѣлъ сильное вліяніе на талантъ Буткова. Особенно часто образъ Акакія Акакіевича (изъ повѣсти «Шинель») отражается на герояхъ Буткова Чибукевичъ, герой первой повѣсти его, называющейся: «Порядочный человѣкъ», сперва является очень близкимъ подобіемъ Акакія Акакіевича, но уже потомъ, какимъ-то чудомъ, извѣстнымъ только одному автору, дѣлается тощимъ, смѣлымъ и наглымъ плутомъ. Герои повѣстей: «Ленточка» и «Сто Рублей» —опять сколки съ Акакія Акакіевича. Мы очень желали-бы, чтобъ эта подражательность какъ-нибудь замѣнилась въ Бутковѣ самостоятельностію. Самая худшая изъ всѣхъ статей, составляющихъ первую часть «Петербургскихъ Вершинъ», есть «Почтенный Человѣкъ»: это что-то до того блѣдное, вялое, растянутое, плоское и скучное, что трудно повѣрить, чтобъ оно могло быть написано человѣкомъ съ талантомъ. Самая лучшая статья—«Сто Рублей». Это не повѣсть, а очеркъ, разсказъ, что-то даже вродѣ анекдота; но тутъ много хорошаго. Особенно понравилось намъ явленіе безвакантнаго Авдѣя въ контору господъ Щетинина и компаніи и его пребываніе въ конторѣ. Тутъ много подмѣчено кое-чего рѣзко-характеристическаго. Но всего лучше въ этомъ разсказѣ физіологически очерченъ характеръ Ерша.

И другіе разсказы не лишены достоинства. Жаль только, что они не ровны, т. е. хороши мѣстами, но въ цѣломъ не выдержаны. И потому мы не скажемъ, чтобъ статьи: «Порядочный Человѣкъ», «Ленточка» и «Битка» были хороши, но скажемъ, что въ нихъ много хорошаго. Такъ напримѣръ, въ «Порядочномъ Человѣкѣ», кромѣ самого героя, который сначала является естественнымъ, а потому и интереснымъ, очень рѣзко, хотя мѣстами и грязновато, описанъ мотъ изъ купеческихъ сынковъ. Очень недуренъ и разсказъ полового въ гостинницѣ на Вознесенскомъ проспектѣ.

Вообще языкъ автора «Петербургскихъ Вершинъ» мѣстами бываетъ довольно мѣткъ и цѣпокъ, и Бутковъ иногда умѣетъ говорить довольно оригинально о вещахъ самыхъ простыхъ. Но, повторимъ еще разъ, у Буткова во всемъ и вездѣ неровности. За выраженіемъ сильнымъ и характеристическимъ слѣдуютъ вялыя и безцвѣтныя; за яркой страницей—страницы блѣдныя. Правда, зато надо сказать, что и въ самомъ плохомъ разсказѣ — «Почтенный Человѣкъ»—кое-гдѣ блещутъ искорки ума и остроумія. Но какъ достоинства, такъ и недостатки сочиненій Буткова происходятъ прямо изъ сущности его таланта. Какъ талантъ чисто-сатирическій и описательный, а не юмористическій и творческій, онъ часто бываетъ колокъ, остроуменъ, но часто и гоняется за остроуміемъ. Такъ напримѣръ, въ книгѣ своей Бутковъ множество разъ, безъ всякой нужды и вовсе некстати, употребилъ самость, вездѣ отмѣчая его курсивомъ, какъ бы думая, что это ужъ и Богъ знаетъ какъ зло и остроумно. Мѣстами въ языкѣ замѣтна и небрежность, и стремленіе къ неудачнымъ нововведеніямъ: такъ, напримѣръ, отъ слова каста онъ произвелъ небывалый эпитетъ кастическій.

Во всякомъ случаѣ, мы душевно рады появленію новаго таланта. Разовьется-ли талантъ Буткова, или завянетъ самъ собою отъ слабости своего корня, выйдетъ-ли изъ него что-нибудь важное, или такъ что-нибудь, или ничего не выйдетъ,— объ этомъ мы погодимъ разсуждать. Пока скажемъ только, что у Буткова есть умъ и дарованіе, и пожелаемъ ему всевозможныхъ успѣховъ на поприщѣ нашей литературы, не только не богатой, но вовсе бѣдной беллетристическими талантами.

Изъ очень короткой рецензіи о романахъ А. Дюма.

Что бы ни говорили о насъ остроумные противники наши, но мы не перестанемъ повторять, что въ русской литературѣ больше геніевъ, нежели талантовъ, больше художниковъ, нежели беллетристовъ. Изъ этого впрочемъ еще не слѣдуетъ, чтобъ у насъ геніевъ и художниковъ было очень много, даже просто много; но они замѣтнѣе и долговѣчнѣе талантовъ, и потому ихъ имена у всѣхъ на языкѣ. А таланты беллетристическіе такъ же быстро исчезаютъ у насъ, какъ и родятся. Притомъ же они такъ мало пишутъ! Пушкинъ, умершій еще въ порѣ силъ, одинъ написалъ больше, нежели всѣ его подражатели, вмѣстѣ взятые. Да и кто теперь читаетъ крохотныя книжечки сочиненій этихъ подражателей? Новые беллетристы, смѣнившіе ихъ, тоже и мало пишутъ, и скоро выписываются. Отъ этого и читать нечего, ибо геніи не родятся десятками.

Беллетристика есть мѣрка богатства всякой литературы. И ни одна литература въ мірѣ не можетъ равняться въ этомъ отношеніи съ французской. Искусство писать до того развилось во Франціи, что какъ-будто сдѣлалось второй природой французовъ. Оттого во Франціи есть что читать, да и вся Европа читаетъ французскихъ писателей, всѣ европейскія литературы живутъ переводами съ французскаго. Въ самомъ дѣлѣ, что такое всѣ эти романы—«Матильда», «Парижскія Тайны», «Вѣчный Жидъ», «Королева Марго», «Монте-Кристо», «Ночи на Кладбищѣ Отца Лашеза», если не блестящія произведенія беллетристики, наполненныя всевозможными натяжками, неестественностями, аффектами, и въ то же время мѣстами блистающія вдохновеніемъ, умомъ, мыслью, всегда живыя и занимательныя? Они недолговѣчны, потому что ихъ авторы—обыкновенно таланты, не геніи, и пишутъ не для потомства, не для вѣковъ, а только для того года, въ который пишутъ. Всѣ эти романы и повѣсти, пошумѣвъ на бѣломъ свѣтѣ, скоро забудутся, но смѣненные другими,—и такимъ образомъ публикѣ всегда есть что читать. Если вы не любите эфемерныхъ произведеній беллетристики, любя только художественныя созданія,—не читайте ихъ, но и не браните, не презирайте

беллетристики: она и безъ васъ найдетъ себѣ множество читателей и будетъ имъ полезна, благотворно дѣйствуя на ихъ образованіе и доставляя имъ умное и благородное развлеченіе. Пусть аристократы искусства читаютъ только своихъ привилегированныхъ авторовъ: масса публики тоже должна имѣть свою литературу. И если какая-нибудь литература удовлетворяетъ вдругъ тому и другому требованію,—тѣмъ больше ей чести и славы!...

Кочубей, генеральный судья. *Историческая повѣсть Николая Сементовскаго. Спб. 1845.*

Посредственность хуже бездарности. Бездарность по крайней мѣрѣ смѣшитъ читателя; посредственность наводитъ на него апатію. Это не сонъ, успокоивающій и освѣжающій, а тяжелая дремота, родъ какого-то оцѣпененія, слишкомъ хорошо знакомаго людямъ, которые обязаны читать всякій печатный вздоръ. О, Кочубей! ты дважды страдалецъ: разъ погибъ ты отъ Мазепы, другой—отъ Сементовскаго... Но я-то, за что же я погибаю тутъ? Вѣдь я невиненъ въ гибели Самуйловича, я не дѣлалъ доноса на Мазепу, я вообще не люблю никакихъ доносовъ, даже литературныхъ, которые считаются самыми невинными, считаются даже особеннымъ родомъ литературы, долженствующимъ замѣнить собой вышедшую изъ употребленія дидактическую поэзію...

Переводъ сочиненій Гоголя на французскій языкъ.

Въ Петербургѣ полученъ французскій переводъ пяти повѣстей Гоголя, изданный въ Парижѣ въ нынѣшнемъ году Луи Віардо, подъ названіемъ: «Nicolas Gogol. Nouvelles russes, traduction française, publiée par Louis Viardot. Tarasse Boulba. Les Mémoires d'un Fou. La Calèche. Un Ménage d'autre fois. Le Roi des Gnomes». Переводъ удивительно близокъ и въ то же время свободенъ, легокъ, изященъ; колоритъ по возможности сохраненъ, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому русскому, по крайней мѣрѣ не изглажена. Разумѣется, въ томъ и другомъ отношеніи сдѣлано было все, что можно было сдѣлать: всего же сдѣлать было невозможно... Но таково свойство оригинальнаго и самобытнаго творчества, ознаменованнаго печатью силы и глубокости: повѣсти Гоголя съ честію выдержали переводъ на языкъ народа, столь чуждаго нашимъ кореннымъ національнымъ обычаямъ и понятіямъ, и сохранили свой отпечатокъ таланта и оригинальности. Говорятъ, что этотъ переводъ, обративъ на себя большое вниманіе во Франціи, имѣлъ тамъ необыкновенный успѣхъ. И неудивительно: до сихъ поръ, сколько ни переводили на французскій языкъ русскихъ писателей, французы видѣли въ этихъ переводахъ не оригинальныя созданія чуждаго имъ народа, но блѣдныя подражанія ихъ же писателямъ. Поэтому французы, а вмѣстѣ съ ними и вся Европа, никакъ не хотѣли вѣрить существованію русской литературы. Иначе и быть не могло. Что нашли бы иностранцы въ самыхъ лучшихъ переводахъ на ихъ языки—не говорю стихотвореній Ломоносова, но стихотвореній самого Державина? Одушевленіе, полетъ, даже сила выраженія—все это мало имѣетъ цѣны при отсутствіи содержанія, при недостаткѣ идей. Что бы могли иностранцы найти въ переводахъ на ихъ языки сочиненій Карамзина? Что для нихъ Озеровъ, когда у нихъ есть Корнель и Расинъ, и когда второстепенные ихъ трагики лучше Озерова? Жуковскій, поэтъ столь важный для насъ, для нихъ не имѣетъ значенія: они въ подлинникахъ могутъ читать такъ геніально переданныя имъ на русскій языкъ творенія нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Басни Крылова — непереводимы, и чтобъ иностранецъ могъ вполнѣ оцѣнить талантъ нашего великаго баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить въ Россіи, чтобъ освоиться съ ея житейскимъ бытомъ. «Горе отъ Ума» Грибоѣдова могло бы быть переведено, безъ особенной утраты въ своемъ достоинствѣ; но гдѣ найти переводчика, которому былъ бы подъ силу такой трудъ? То же должно сказать о Пушкинѣ и Лермонтовѣ: переводить ихъ должно стихами, по какой же талантъ нужно имѣть переводчику! И притомъ все-таки эти поэты не могутъ имѣть для иностранцевъ полнаго интереса оригинальности, какъ поэты русскіе. Явись лучшія ихъ произведенія въ достойныхъ имъ переводахъ,—иностранцы не могли бы увидѣть въ нихъ подражателей своимъ поэтамъ, не могли бы не признать въ нихъ оригинальности и самобытности, но они увидѣли бы въ нихъ оригинальность и самобытность больше таланта, нежели національности. Возьмите любого европейскаго поэта, даже не первой величины,—вы сейчасъ увидите, какой націи онъ принадлежитъ. Поэтъ французскій, англійскій, нѣмецкій, итальянскій—каждый изъ нихъ такъ же рѣзко отличается отъ другого, какъ рѣзко отличается одна отъ другой ихъ родныя земли. Вотъ этого-то рѣзкаго типа національности и не достало бы лучшимъ произведеніямъ Пушкина и Лермонтова, даже превосходно переведеннымъ на иностранные языки. Гоголь въ этомъ отношеніи составляетъ совершенное исключеніе изъ общаго правила. Какъ живописецъ преимущественно житейскаго быта, прозаической дѣйствительности, онъ не можетъ не имѣть для иностранцевъ полнаго интереса національной оригинальности уже по самому содержанію своихъ произведеній. Въ немъ все особенное, чисто русское; ни одной чертой не напомнитъ онъ иностранцу ни объ одномъ европейскомъ поэтѣ.

Въ свое время мы отдадимъ отчетъ читателямъ въ сужденіяхъ французскихъ журналовъ о повѣстяхъ Гоголя и можетъ быть еще поговоримъ вообще объ этомъ предметѣ.

Мельникъ („Le meunier d'Angibault"). *Романъ Жоржъ Занда. Спб. 1845.*

Съ одной стороны мы очень рады, что можемъ открыть нашу «Библіографическую Хронику» новаго года такимъ произведеніемъ, какъ «Мельникъ» Жоржъ Занда; съ другой стороны намъ это очень прискорбно. Дѣло въ томъ, что чѣмъ выше художественное произведеніе, тѣмъ непріятнѣе видѣть его или произвольно передѣланнымъ, или неудачно переведеннымъ, или то и другое вмѣстѣ. «Le Meunier d'Angibault» есть мастерская картина нравовъ средней bourgeoisie современной Франціи. Въ этомъ романѣ есть лицо типическое, генерическое—лицо Бриколена, истиннаго представителя невѣжества, жадности къ деньгамъ, скупости, низости чувствъ, ограниченности ума, мелкости души того сословія во Франціи, которое утвердило свое гражданское и политическое владычество на золотомъ мѣшкѣ. Это лицо нарисовано по истинѣ геніальной кистью. Но оно еще не интересное лицо въ романѣ. Кромѣ героя романа—мельника, представителя живыхъ силъ и благородныхъ инстинктовъ простого народа во Франціи, тутъ попеременно поражаютъ читателя мастерски очерченные образы то нищаго Кадоша, то сумасшедшей дочери Бриколена, несчастной жертвы варварскаго разсчета «дражайшихъ» родителей,—матери мельника, отца и матери Бриколена, и другіе. Но есть и большой недостатокъ въ этомъ романѣ: въ немъ четыре героя—два мужескаго и два женскаго пола, и изъ нихъ первая пара совсѣмъ не соотвѣтствуетъ требованіямъ художественнаго романа: г-жа Блашамонъ и Анри Леморъ—мечтатели, переслащенные до приторности. Хотя искусство автора умѣло соблюсти единство дѣйствія, несмотря на двойственность интереса, тѣмъ не менѣе характеры этихъ двухъ лицъ были причиной не одной скучной страницы въ романѣ. Но это все не такой недостатокъ, который могъ бы помѣшать роману быть переведеннымъ по-русски. Дѣло въ томъ, что мечты влюбленной четы, рисующейся на первомъ планѣ, такого свойства, что не могутъ быть переданы русскимъ языкомъ; поэтому переводчикъ позволилъ себѣ кое-что передѣлать, пересочинить и переправить, отчего и вышло что-то довольно странное, и притомъ непріятно-странное.

По поводу дѣтскихъ книгъ.

Наконецъ литература наша начинаетъ обращать вниманіе на дѣтей и заботиться о доставленіи имъ читательской пищи, способной развивать ихъ умъ и сердце. Странно, что она хлопочетъ о дѣтяхъ одинъ только разъ въ году—отъ праздника Рождества до праздника Пасхи, какъ-будто въ убѣжденіи, что умъ и сердце дѣтей способны къ развитію именно только въ это время. Иной скептикъ, пожалуй, увидитъ тутъ чистую спекуляцію со стороны русской литературы или, лучше сказать, со стороны составителей, переводчиковъ и издателей дѣтскихъ книгъ,—увидитъ ихъ нѣжную заботливость больше о своемъ собственномъ карманѣ, нежели о головахъ и сердцахъ дѣтей. Онъ скажетъ, пожалуй, что эти книги издаются передъ праздниками какъ игрушки, которыя покупаются «дражайшими» родителями для подарковъ дѣтямъ... Но скептики—такой народъ, который не вѣритъ ничему высокому и прекрасному, никакому безкорыстію, особенно, если это безкорыстіе выгодно для кармана безкорыстныхъ людей. И потому не будемъ слушать злостныхъ навѣтовъ и внушеній, и воздадимъ должную дань хвалы безкорыстнымъ авторамъ, переводчикамъ и издателямъ тринадцати книжекъ.

Мнѣнія о полезности и необходимости дѣтскихъ книгъ теперь раздѣлились на двѣ противоположныя стороны. Одна утверждаетъ, что безъ этихъ книжекъ дѣтямъ несть спасенія; другая говоритъ, что онѣ не только безполезны, но и положительно вредны, и что если дѣтямъ должно читать что-нибудь кромѣ учебниковъ, такъ это книги, которыя читаются и взрослыми, разумѣется, при условіи строгаго выбора. Мы сами много думали объ этомъ вопросѣ, и теперь рѣшительно объявляемъ себя на сторонѣ второго мнѣнія. До семи или около семи лѣтъ воспитаніе дитяти должно быть преимущественно физическое, но не въ духѣ почтенной старины, которая буквально держалась значенія слова «воспитывать» и закармливала дѣтей чуть не на смерть, такъ что матерія подавляла въ нихъ духъ, и они смотрѣли не дѣтьми, а хорошо откормленными телятами, барашками или поросятами. Хорошо воспитанный ребенокъ не долженъ быть ни животнымъ, ни человѣкомъ, а ребенкомъ: лицо его должно носить на себѣ отпечатокъ здоровья, веселости, живости, ясности, и на немъ должно отражаться не столько присутствіе ума, сколько отсутствіе тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитіе въ дѣтяхъ такъ же вредно, какъ и развитіе тѣла въ ущербъ интеллектуальности: оно вредитъ правильному физическому развитію и слѣдовательно вредитъ здоровью—первѣйшему и драгоцѣннѣйшему изъ всѣхъ благъ и даровъ жизни. Говорятъ, что сильно, не по лѣтамъ развитыя дѣти бываютъ подвержены мозговымъ воспаленіямъ, именно по причинѣ этой развитости. Развивать дѣтей должна наука, ея постепенное, медленное, но тѣмъ болѣе вѣрное изученіе, а не книжки, писанныя для забавы и пріучающія дѣтей къ поверхности, легкомыслію и мечтательности. И такъ, до семи лѣтъ пусть дитя ѣстъ, пьетъ, спитъ, играетъ и говоритъ, а съ семи пусть оно сверхъ всего этого еще и учится. Чѣмъ же наполнить время, остающееся ему отъ ученія?—Игрой, рѣзвостью, бѣганьемъ, гимнастическими забавами. Когда дитя подвинется къ своему двѣнадцатилѣтнему возрасту, и игры не будутъ уже вполнѣ удовлетворять его, когда пробудится въ немъ потребность удовлетворять чѣмъ-нибудь и фантазію, и умъ,—тогда давайте ему романы Вальтеръ-Скотта и Купера; но

только и тутъ не давайте ему зачитываться. Почему бы напримѣръ не дать ему въ руки «Донъ Кихота», не искаженнаго, не передѣланнаго? Для дѣтей должны существовать не дѣтскія книги, но особенныя изданія книгъ, писанныхъ для взрослыхъ,—изданія, въ которыхъ должно быть исключено все такое, о чемъ имъ рано знать, все, что̀ можетъ дать ихъ фантазіи вредное для здоровья и нравственности направленіе. Такимъ образомъ должно замѣнить ночную сцену въ «Донъ-Кихотѣ», гдѣ драка рыцаря печальнаго образа и его оруженосца съ погонщикомъ муловъ происходитъ отъ трактирной служанки, условившейся прійти къ погонщику на постель. Но опошливать для дѣтей великія произведенія, приноравливая ихъ къ дѣтскому возрасту, — ни на что не похоже: великія произведенія дѣлаются вздорными сказками, и дѣтямъ отъ нихъ нѣтъ никакой пользы. Сказочки и повѣсти, которыми напитываютъ малолѣтнихъ дѣтей нарочно для нихъ составляемыя книжки, сильно возбуждаютъ въ нихъ самую опасную изъ душевныхъ способностей—фантазію, и дѣлаютъ изъ дѣтей мечтателей, книжниковъ, резонеровъ, записныхъ читальщиковъ. Воля ваша, а гораздо пріятнѣе видѣть ребенка весело, шумливо, но прилично рѣзвящимся, нежели сидящимъ не за учебной книгой. Можно давать дѣтямъ и книги для забавы, но преимущественно съ картинками, съ объяснительнымъ текстомъ, лишеннымъ особенной занимательности. Въ такомъ случаѣ картинки непремѣнно должны быть хороши, а текстъ писанъ правильнымъ хорошимъ языкомъ... Вообще этотъ предметъ обширный, о которомъ многое можно сказать, чего теперь не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время.

Юмористическіе разсказы нашего времени, *издаваемые* **Абракадаброю.** *Книжка первая. Спб. 1846.*

Пошло дѣло на юморъ! Юморъ теперь намъ ни почемъ, дешевле пареной рѣпы! Всякій весельчакъ дурного тона считаетъ себя теперь юмористомъ! Человѣкъ, котораго все остроуміе, вся ѣдкость состоитъ въ томъ, что онъ высовываетъ языкъ на все, чего даже не понимаетъ, смѣло выдаетъ себя за юмориста! Эти люди думаютъ, что юморъ очень обыкновенная вещь, и что ничего нѣтъ легче, какъ быть юмористомъ. Имъ не растолкуешь, что юморъ—талантъ, да еще какой! почти столько же рѣдкій, какъ геніальность... Ихъ не увѣришь, что на сто остряковъ, дѣйствительно остроумныхъ, едва ли можно найти одного юмориста, потому что даже остроуміе и комизмъ совсѣмъ не одно и то же, что̀ юморъ.

Мирза Хаджи-Баба Исфагани. *Сочиненіе Моріера. Вольный переводъ барона Брамбеуса. Изданіе второе. Спб. 1845.*

«Мирза Хаджи-Баба Исфагани»—старый нашъ пріятель, съ которымъ мы познакомились лѣтъ двѣнадцать назадъ. Встрѣча съ хорошимъ знакомымъ всегда пріятна, а «Мирза Хаджи-Баба»—книга умная и дѣльная, которую и въ другой, и въ третій разъ можно прочесть съ наслажденіемъ. Она переноситъ насъ на Востокъ, на настоящій Востокъ, въ среду, въ сердце Востока, чистаго, безпримѣснаго Востока, умѣвшаго вполнѣ защититься отъ всякаго вліянія со стороны растлѣннаго, гніющаго Запада. Кто не читалъ романа Морьера, тотъ не можетъ имѣть настоящаго понятія о счастіи жить на Востокѣ и быть восточнымъ человѣкомъ. Что̀ эта за полная наслажденія жизнь! Чего стоитъ одно блаженство—дѣлать кейфъ, т. е. курить кальянъ, поджавъ подъ себя ноги, и ни о чемъ, ровно ни о чемъ не думать! Вѣдь «думать»—тоже изобрѣтеніе лукаваго Запада, западня, которую ставитъ онъ на погибель восточныхъ душъ... Вмѣсто траты времени на опасную привычку «думать», восточные очень остроумно придумали наполнять свое время благочестивыми восклицаніями: «бисмилляхъ, машаллахъ, иншаллахъ» (во имя Аллаха, буде угодно Аллаху, да будетъ воля Аллаха!). Безъ этихъ восклицаній набожный мусульманинъ ничего не дѣлаетъ, и потому въ каждомъ городѣ можно услышать отъ разносчиковъ такіе возгласы: «Огурцы! огурцы! во имя святѣйшаго Имама, огурцы; свѣжія яйца! о Магометъ, о Али! яйца, огурцы!» А непзрѣченное наслажденіе—пять разъ въ день творить намазъ! Когда тутъ скучать!.. Туловище, голова, руки, ноги, языкъ все занято ежеминутно, все, кромѣ мозга, ума... Даже дѣлая кейфъ, восточный человѣкъ ртомъ куритъ, а руками творитъ молитву... А наслажденія сераля—страшно и подумать! По нашему варварскому западному образу мыслить, «сераль» есть понятіе не совсѣмъ нравственное; но восточный человѣкъ съумѣлъ и самую животность соединить съ чистѣйшей нравственностью: восточныя женщины не знаютъ грамотѣ, ругаются, царапаются, отравляютъ другъ друга ядомъ, но зато какъ онѣ стыдливы, цѣломудренны! Попробуй-ка мужчина заглянуть имъ въ лицо,—бѣда! онѣ васъ выругаютъ такъ, что отъ этой брани любой русскій извозчикъ содрогнется... Ни персіянинъ, ни турокъ не скажетъ вамъ: «моя жена», или: «здорова ли ваша супруга», но постарается смягчить эти выраженія, изъясняясь таинственно: «мой домъ», «каковъ вашъ домъ?» и такъ далѣе, потому что слово жена на Востокѣ считается неприличнымъ, неблагопристойнымъ словомъ, которое рождаетъ въ умѣ самыя «безнравственныя» понятія... Вотъ это—нравственность!

Конечно и на Востокѣ есть свои неудобства и непріятности, незнакомыя лукавому Западу, какъ-то: иногда отдуютъ по щекамъ туфлею или по пятамъ палкой, иногда выщиплютъ по волоску бороду, а то, пожалуй, обрѣжутъ носъ и уши, сдерутъ съ живого шкуру или живого посадятъ на колъ... Но, сами посудите, во-первыхъ, гдѣ же бываетъ безъ своихъ маленькихъ непріятностей, а во-вторыхъ, вѣдь—все «такдиръ»—судьба, предопредѣленіе: что жъ вы за собака, чтобъ идти

противъ того, что̀ написано на доскахъ предопредѣленія? Но я и забылъ, что вы, мой читатель, развратясь вліяніемъ лукаваго Запада, имѣете несчастье не вѣрить предопредѣленію... А хорошее вѣрованіе! съ нимъ человѣкъ вправѣ всю жизнь свою ничего не дѣлать, кромѣ какъ воровать, мошенничать, творить намазъ, да созерцать девяности девять таинственныхъ совершенствъ Аллаха...

Главную же и высшую добродѣтель восточнаго человѣка составляетъ, безъ сомнѣнія, особенность его «патріотизма». Правда, на его языкѣ нѣтъ даже слова «отечество», которое, какъ и выражаемое имъ понятіе, заимствовано новѣйшими европейскими народами у древнихъ язычниковъ, грековъ и римлянъ. Для мусульманина отечество тамъ, гдѣ исламъ, и ему не грѣхъ рѣзать своихъ соотечественниковъ, лишь бы только онъ рѣзалъ ихъ съ «правовѣрными» же, а не съ проклятыми гяурами... Мусульманинъ еще не дорось до понятія о государствѣ, о гражданствѣ, о ихъ требованіяхъ и обязанностяхъ, и своей родинѣ онъ не пожертвуетъ ни трубкой табаку; но зато онъ страстно приверженъ къ своему пепелищу, къ мопламъ своихъ отцовъ, вѣренъ обычаямъ старины родины—добродѣтели чисто восточныя! Презрѣніе и ненависть мусульманина къ проклятымъ гяурамъ, кяфирамъ и въ особенности франкамъ, какъ представителямъ растлѣннаго, гніющаго Запада, не имѣетъ предѣловъ: это тоже чисто восточная добродѣтель! Восточные люди знаютъ свое достоинство.

Столѣтіе Россіи, съ 1745 до 1845, или историческая картина достопамятн. событій въ Россіи за сто лѣтъ. *Сентября 5, 1845 г., въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожд. кн. Голенищева-Кутузова-Смоленскаго. Соч. Н. Полевого. Ч. 2-я. Спб. 1846.*

Вотъ послѣднее произведеніе Николая Алексѣевича Полевого, вышедшее въ свѣтъ при его жизни!.. Вмѣсто рецензіи, намъ приходится писать некрологъ... И такъ, и еще не стало одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣйствователей на поприщѣ русской литературы! Говоримъ: изъ «замѣчательнѣйшихъ», потому что наши съ нимъ несогласія во взглядѣ на многіе предметы нисколько не мѣшали намъ отдавать ему должную справедливость. Передъ гробомъ умершаго должны умолкнуть даже личныя вражды; но никогда никакія личныя отношенія не руководили насъ въ нашихъ отзывахъ о литературныхъ трудахъ и мнѣніяхъ Полевого. Каковъ бы ни былъ характеръ его литературной дѣятельности за послѣднія десять лѣтъ, въ немъ многое объясняется стѣсненными обстоятельствами... Во всякомъ случаѣ, забывая о недавнемъ, мы тѣмъ живѣе вспоминаемъ о первомъ блестящемъ періодѣ литературной дѣятельности этого необыкновеннаго человѣка, который самъ себѣ создалъ свои средства, начавъ учиться въ тѣ лѣта, когда другіе почти оканчиваютъ свое ученіе, который, опираясь на свою даровитую натуру и свойственную русскому человѣку смѣтливость, смышленность и смѣлость, можно сказать, создалъ журналъ въ Россіи... Этимъ онъ сдѣлалъ гораздо больше, нежели какъ теперь думаютъ,—и вообще Полевой еще ждетъ и можетъ быть не скоро дождется истинной оцѣнки; но онъ дождется ея, и имя его навсегда останется и въ исторіи русской литературы, и въ признательной памяти общества...

Полевой умеръ 22 февраля, въ одиннадцать часовъ вечера, на 49 году (онъ родился въ 1796-мъ году) отъ рожденія, послѣ трехнедѣльной мучительной болѣзни—нервной горячки, которой, по мнѣнію пользовавшихъ его докторовъ, онъ не могъ перенести, давно уже истощивъ физическія силы свои напряженной работой. Полевой оставилъ послѣ себя большое семейство, и, какъ онъ всегда помогалъ трудомъ и достояніемъ своимъ всякому нуждавшемуся въ его помощи, то самъ могъ оставить дѣтямъ своимъ только честное, почтенное имя и благодарность соотечественниковъ къ его неоспоримымъ заслугамъ,—прекрасное наслѣдіе, которое не можетъ остаться безплоднымъ и для его семейства!

Стихотворенія Аполлона Григорьева. *Спб. 1846.*

Стихотворенія 1845 года, Я. П. Полонскаго. *Одесса. 1846.*

Было время, когда всѣ твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе; что онъ ученъ безъ науки, всезнающъ безъ ученія; что онъ самъ себѣ судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его ощущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ дѣйствительности, и что поэтому онъ можетъ не знать, что̀ дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ говорить намъ, толпѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толпа, стоя на колѣняхъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себѣ счастливыми, если ему вздумается ругнуть насъ хорошенько энергическимъ стишкомъ.

Такое воззрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда геній могъ легко обходиться безъ всякихъ наукъ, кромѣ азбуки, а въ геніи попасть можно было всякому, у кого была способность точить гладкіе стишки и было довольно мелкаго самолюбія, чтобъ вообразить себя выше «презрѣнной толпы», т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ и въ особенности чѣмъ-нибудь занимаются, что-нибудь дѣлаютъ...

Теперь не то: всѣ кричатъ о необходимости знанія для поэта, объ идеяхъ, о направленіи, о сочувствіи современной дѣйствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзіи стали

дѣлаться поэтами, потому ли, что въ самомъ дѣлѣ что-нибудь узнали и поняли, или потому что захватили нѣсколько чужихъ ходячихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣшными крайностями есть явленія, болѣе или менѣе заслуживающія вниманіе,—но опять-таки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію, другіе—обойтись безъ ума при помощи небольшого дарованія къ поэзіи... И это естественно, потому что въ обѣихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и нѣтъ ея ни въ одной отдѣльно взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ ни знанія, ни ученость, ни умъ, ни характеръ, ни даже способность глубоко чувствовать и понимать изящное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можно еще обойтись безъ науки какъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, невозможно обойтись безъ живой, кровной симпатіи съ духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями, —словомъ, со всѣмъ добромъ и зломъ своей эпохи. Однакожъ и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторіяхъ, не почерпается изъ критики и библіографіи. Ученіе, мысль могутъ только развить и укрѣпить ее, но не могутъ дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэтѣ все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все—даже направленіе.

Не всякому быть геніемъ; и талантъ имѣетъ право на общее вниманіе и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не съ своей собственной мыслью, но съ мыслью генія,покорившаго его своему неотразимому вліянію; зато пусть онъ возьметъ эту мысль въ такой мѣрѣ, въ какой доступна она его силамъ, пусть помнитъ, что успѣе не есть сила, и потомъ пусть проведетъ эту мысль черезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда онъ не только—талантъ, но еще и заслуживающій вниманія талантъ. Безъ этого же онъ—просто талантъ, явленіе для многихъ можетъ быть блестящее, но для всѣхъ безплодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тѣсно связанъ съ его натурой, его личностью. Безъ этого онъ только способность подражанія—не больше. Что̀ нужды, если поэтъ не переводитъ, не заимствуетъ, никому явно и съ намѣреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ ничего чужого; зато у него ничего нѣтъ своего, а это значитъ 0=0... Жуковскій—не оригинальный поэтъ, а переводчикъ; но вникните въ его переводы, и вы увидите, что такимъ переводчикомъ надо было родиться. Жуковскій переводилъ не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствіе къ чему глубоко лежало въ его натурѣ, какъ ея свойство, ея особенность...

Талантъ, несвязанный съ натурой поэта, какъ человѣка, какъ личности, есть талантъ внѣшній. Если въ немъ нѣтъ никакого сочувствія съ идеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жальче онъ, если вздумаетъ почерпать это сочувствіе изъ книгъ...

Но такія мысли невольно навели насъ двѣ небольшія книжки, заглавія которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ Григорьева, помѣщавшихся въ одномъ изъ петербургскихъ періодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли не больше, чѣмъ съ принужденіемъ—почти со скукой. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы окончательно убѣдились, что онъ не поэтъ, вовсе не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодованія. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованіемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дѣйствительности (какъ напримѣръ, въ разсказѣ «Олимпій Раднинъ», мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмѣ же его стихъ прозаиченъ, негладокъ, нескладенъ, вялъ. Вездѣ одни разсужденія, нигдѣ образовъ, картинъ. Сверхъ того паѳосъ лиризма Григорьева однообразенъ, не столько личенъ, сколько эгоистиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Григорьевъ—почти неизмѣнный герой своихъ стихотвореній. Онъ—пѣвецъ вѣчно одного и того же предмета — собственнаго своего страданія. Въ наше время страданія ни по чемъ,—мы всѣ страдаемъ наповалъ, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который своимъ могущественнымъ вліяніемъ всѣ литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это начинало было выходить изъ моды; но примѣръ Лермонтова вновь вывелъ на свѣтъ нѣсколько страдальцевъ. Правду говорятъ, что подражатели доводятъ до крайности мысль своего образца, напоминая этимъ знаменитое изреченіе Наполеона:«Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»... Герои Лермонтова—натуры субъективныя, которыя скорѣе готовы разрушить и себя, и міръ, нежели поддѣлываться подъ то, что̀ отвергаетъ ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они борятся съ ней или гордо падаютъ подъ ея ударами, не говорятъ просто и не щеголяютъ страданіемъ. Григорьевъ силится сдѣлать изъ своей поэзіи апоѳеозу страданія; но читатель не сочувствуетъ его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера,—и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманѣ. Какое это страданіе, отчего оно—Богъ вѣсть! Есть ли это гордость ума, эгоизмъ могущественной натуры, сила отрицанія, при жаждѣ истины? — Едва ли

знаетъ это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ Ѳ. Глинки; а въ его «разныхъ стихотвореніяхъ» проглядываетъ скептицизмъ, отзывающійся больше неуживчивостью безпокойнаго самолюбія, нежели тревогами безпокойнаго ума. Немного есть у Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о «гордости страданія», о «безумномъ счастіи страданія». Это значитъ—сдѣлать изъ страданія ремесло, что̀ кажется намъ не совсѣмъ истиннымъ и не совсѣмъ естественнымъ. «Гордость страданіемъ»—сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать, разумѣется, стихами, но какими—вотъ вопросъ! «Безумное счастье страданія»—вещь возможная, но это не нормальное состояніе человѣка, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастье отъ счастья, но счастье отъ страданія—воля ваша—отъ него надо лѣчиться классицизмомъ здраваго смысла, полезной дѣятельностью и безпритязательностью на превосходство надъ остальными слабыми смертными...

Можетъ-быть мы ошибаемся; но въ такомъ случаѣ мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія Григорьева, мы все-таки видѣли въ нихъ не совсѣмъ обыкновенное явленіе, и они возбудили въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дѣлаетъ его поэтомъ. Для доказательства выписываемъ его прекрасное стихотвореніе «Городъ»:

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,
Но не за то, за что̀ другіе;
Не зданія его, не пышный блескъ палатъ
И не граниты вѣковые
Я въ немъ люблю, о нѣтъ! Скорбящею душой
Я прозрѣваю въ немъ иное,—
Его страданіе подъ ледяной корой,
Его страданіе больное.

Пусть почву шаткую онъ заковалъ въ гранитъ,
И защитилъ ее отъ моря,
И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ тантъ
Волненье радости и горя,
И пусть его рѣка къ стопамъ его несетъ
И роскоши, и нѣги дани,—
На нихъ отпечатлѣнъ тяжелый слѣдъ заботъ,
Людского пота и страданій.

И пусть горятъ свѣтло огни его палатъ,
Пусть слышны въ нихъ веселья звуки—
Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушатъ
Безумно-страшныхъ стоновъ муки!
Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,
Въ окнѣ-ль съ богатою гардиной,
Иль въ темномъ уголку,—вездѣ его печать!
Страданье уровень единой!

И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой
Ложится ночь безъ тьмы и тѣни,
Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной
Рой отвратительныхъ видѣній...
Пусть ночь ясна, какъ день, пусть тихо все вокругъ,
Пусть все прозрачно и спокойно,—
Въ покоѣ томъ затихъ на время злой недугъ,
И то прозрачность язвы гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой пьесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ. Выпишемъ еще пьесу:

Нѣтъ, не тебѣ идти со мной
Къ высокой цѣли бытія,
И не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.
Я не тебя въ тебѣ любилъ,
Но лучшей участи залогъ,
Но ту печать, которой Богъ
Твою природу заклеймилъ.
И думалъ я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что противъ свѣта и судьбы
Ты въ силахъ голову поднять.
Но дорогъ судъ тебѣ людской,
И мнѣнье дорого рабовъ,
Не ненавидишь ты оковъ:
Мой путь иной, мой путь не твой.
Тебя молить я слишкомъ гордъ,—
Мы не равны ни здѣсь, ни тамъ,—
И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ
Въ созвучій родственныхъ аккордъ.
И пусть твой образъ роковой
Мнѣ никогда не позабыть...
Мнѣ стыдно женщину любить,
И не назвать ее сестрой.

И опять-таки, несмотря на ощутительный недостатокъ поэтическаго выраженія, мы готовы были признать это стихотвореніе вполнѣ прекраснымъ, еслибъ его не испортила риторическая фраза:

И въ хорѣ звѣздъ не слиться намъ
Въ созвучій родственный аккордъ.

Но что̀ такое напримѣръ стихотвореніе «Героямъ нашего времени»?

Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной... И дикъ и, страшенъ вамъ,
Чернильныхъ жаркихъ битвъ конеечнымъ бой-[цамъ,
Подъятый факелъ Немезиды;
Вамъ низость по душѣ, вамъ смѣхъ страшнѣе зла,
Вы сердцемъ любите лишь лай изъ-за угла,
Да бой пѣтушій за обиды!
И гдѣ же вамъ любить, и гдѣ же вамъ стра-[дать
Страданіемъ любви Распятаго за братій?
И гдѣ же вамъ чело безтрепетно подъять
Подъ взмахомъ топора общественныхъ понятій?
Нѣтъ, нѣтъ,—нашъ путь иной, и крестъ не вамъ нести:
Тяжелъ, не по плечамъ, и вы на полпути
Сробѣете предъ общимъ крикомъ,
Зане на трапезѣ божественной любви
Вы не причастники, не ратоборцы вы
О благородномъ и великомъ.
И жребій жалкій вашъ, до пошлости смѣшной,
Пророки ваши вамъ воспѣли...
За сплетни праздныя, за эгоизмъ больной,
Въ скотскомъ безстрастіи и съ гордостью нѣ-[мой,
Безъ сожалѣнія и цѣли,
Безумно погибать, и завѣщать друзьямъ
Всю пустоту души и весь печальный хламъ
Пустыхъ и дѣтскихъ грезъ, да шаткое безвѣрье;
Иль цѣлый вѣкъ звонить досужимъ языкомъ
О чуждомъ вовсе вамъ великомъ и святомъ,
Съ богохуленьемъ лицемѣрья!...
Нѣтъ, нѣтъ—нашъ путь иной!—Вы не видали
Египта древняго живущихъ изваяній, [ихъ,
Съ очами тихими, недвижныхъ и нѣмыхъ,
Съ челомъ, сіяющимъ отъ царственныхъ вѣнчаній.

Вы не видали ихъ,—въ недвижныхъ ихъ чертахъ
Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашнаго сознанья
Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья
По волѣ Вѣчнаго начертана въ звѣздахъ,
Но вы не зрѣли ихъ, не видѣли межъ нами
И тѣми сфинксами таинственную связь...
Иль еслибъ видѣли,—нечистыми руками
Съ подножій совлекли бъ, чтобъ уронить ихъ съ вами
Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинѣ этого стихотворенія между плохими стихами есть и удачные, и смыслъ виденъ; но что̀ такое хотѣлъ сказать авторъ своими «египетскими изваяніями»— Богъ вѣсть!

Григорьевъ можетъ писать; но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. По нашему мнѣнію, ключъ къ этому сознанію находится въ латинскомъ эпиграфѣ къ одной изъ неудачныхъ пьесъ его: «Fecit indignatio versum». Но онъ вовсе не лирическій поэтъ, и дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ. Пиша, онъ долженъ забыть о Лермонтовѣ, или съумѣть взять отъ него только свое, не касаясь чужого. Мы не отрицаемъ въ Григорьевѣ, какъ въ человѣкѣ, никакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобъ онъ осторожнѣе и умѣреннѣе говорилъ въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послѣднемъ.

Еще замѣчаніе: Григорьевъ любитъ употреблять слово зане, и это выходитъ у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употребилъ его только разъ въ «Борисѣ Годуновѣ», очень ловко, кстати и на мѣстѣ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотвореніи своемъ «На Смерть Гёте», гдѣ оно вышло тоже не совсѣмъ на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзіи, замѣняя книжное ибо и прозаическое потому что; но—usus tyrannus—старая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того не введетъ Григорьевъ...

Полонскій находится въ обратномъ отношеніи къ Григорьеву. У него больше самостоятельнаго элемента поэзіи, слѣдовательно больше таланта, но ни съ чѣмъ не связанный, чисто внѣшній талантъ этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ—такъ миніатюренъ онъ... Заглавіе: «Стихотворенія 1845 года» обѣщаетъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; обѣщаніе нисколько не утѣшительное! «Стихотворенія 1845 г.» ужъ хуже стихотвореній, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ... Григорьеву есть о чемъ писать, но не достаетъ способности къ формѣ,— хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаетъ его; но Полонскому рѣшительно не о чемъ писать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкій, а иногда и дѣйствительно поэтическій стихъ... Это заставляетъ его прибѣгать, за отсутствіемъ мысли, къ умничанію и хитрымъ рефлексіямъ. Прочтите его «Факиръ и Ключъ»: что̀ это такое? Сто пудовъ посредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаетъ и расплететъ эту путаницу словъ и стиховъ!... Къ числу пьесъ, подобно «Факиру и Ключу», отличающихся понятностью, принадлежатъ также «Историку» и «Юноша и Вѣкъ». Вообще, въ этой книжкѣ стихотвореній Полонскаго попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мѣста; но рѣшительно нѣтъ ни одного удачнаго стихотворенія.

Въ примѣръ лучшаго приводимъ: «Тѣни»:

По небу синему тучки плывутъ,
По лугу тѣни широко бѣгутъ;
Тѣни-ль толпой на меня налетятъ,
Дальнія горы подъ солнцемъ блестятъ;
Солнце-ль внезапно меня озаритъ,
Тѣнь по горамъ полосами бѣжитъ.
Такъ на душѣ человѣка порой
Думы, какъ тѣни, проходятъ толпой;
Такъ иногда вдругъ тепло и свѣтло
Ясная мысль озаритъ чело.

А вотъ въ примѣръ пошлости содержанія и формы:

Вы, ленты измятыя—
Секреты любви!
Вы письма завѣтныя—
Тираны мои!
Вы, пряди отрѣзанныхъ
На память волосъ—
Свидѣтели тайные
Растраченныхъ слезъ...
Печали свидѣтели!
Вы мнѣ, такъ и быть,
Признайтесь хоть на ухо,
Что весело жить...

Очень хорошо-съ?...

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые и прежде приходили намъ часто на память, но никогда такъ кстати, какъ теперь:

. . . . . .
Какъ язвы бойся вдохновенья...
Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,
Иль *пламной мысли раздраженье!*
Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи...
То кровь кипитъ, *то силъ избытокъ...*
. . . . . .
Случится-ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ
Открыть въ душѣ давно безмолвной
Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,
Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный,—
Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,
Набрось на нихъ покровъ забвенья:
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ
Не передашь ты ихъ значенья.
Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,
Зайдетъ ли страсть съ грозой и вьюгой,—
Не выходи на шумный пиръ людей
Съ своею бѣшеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гнѣвомъ, то тоской послушной,
И гной душевныхъ ранъ надменно выставлять
На диво черни простодушной.
Какое дѣло намъ, и пр.

Читая стихотворенія Полонскаго, мы почему-то невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика добраго стараго времени, Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, не понуждай къ перу мои руки!

Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. *Поэма Н. Гоголя. Изданіе 2-е. М. 1846.*

Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ входить въ подробныя объясненія о «Мертвыхъ Душахъ», тѣмъ болѣе, что это мы непремѣнно сдѣлаемъ, представивъ читателямъ «Современника», можетъ быть, не одну статью вообще о сочиненіяхъ Гоголя и о «Мертвыхъ Душахъ» въ особенности. Теперь-же скажемъ коротко, что, по нашему крайнему разумѣнію и искреннему, горячему убѣжденію, «Мертвыя Души» стоятъ весьма высоко въ русской литературѣ, ибо въ нихъ глубокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась съ удивительной художественностью образовъ, и этотъ романъ, почему-то названный поэмой, представляетъ собою произведеніе, столько-же національное, сколько и высоко-художественное. Въ немъ есть свои недостатки важные и неважные. Къ послѣднимъ относимъ мы неправильности въ языкѣ, который вообще составляетъ столько же слабую сторону таланта Гоголя, сколько его слогъ (стиль) составляетъ сильную сторону его таланта. Важные же недостатки романа «Мертвыя Души» находимъ мы почти вездѣ, гдѣ изъ поэта, изъ художника силится авторъ стать какимъ-то проповѣдникомъ и впадаетъ въ нѣсколько надутый и напыщенный лиризмъ. Къ счастью, число такихъ лирическихъ мѣстъ незначительно въ отношеніи къ объему всего романа, и ихъ можно пропускать при чтеніи, ничего не теряя отъ наслажденія, доставляемаго самимъ романомъ.

Но, къ несчастью, эти мистико-лирическія выходки въ «Мертвыхъ Душахъ» были не простыми случайными ошибками со стороны ихъ автора, но зерномъ можетъ быть совершенной утраты его таланта для русской литературы... Все болѣе и болѣе забывая свое значеніе художника, принимаетъ онъ тонъ глашатая какихъ-то великихъ истинъ, которыя въ сущности отзываются ни чѣмъ инымъ, какъ парадоксами человѣка, сбившагося съ своего настоящаго пути, ложными теоріями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта. Такъ напримѣръ, въ прошломъ году появилась статья Гоголя о переводѣ «Одиссеи» Жуковскимъ, до того исполненная парадоксовъ, высказанныхъ съ превыспренними претензіями на пророческій тонъ, что одинъ бездарный писатель нашелъ себя въ состояніи написать по этому поводу статью, грубую и неприличную по тону, но справедливую и основательную въ опроверженіи парадоксовъ статьи Гоголя. Это опечалило всѣхъ друзей и почитателей таланта Гоголя и обрадовало всѣхъ враговъ его. Но исторія не кончилась этимъ. Второе изданіе «Мертвыхъ Душъ» явилось съ предисловіемъ, которое... которое... испугало насъ еще больше знаменитой въ лѣтописяхъ русской литературы статьи объ «Одиссеѣ». Это предисловіе внушаетъ живыя опасенія за авторскую славу въ будущемъ (въ прошедшемъ она непоколебимо прочна) творца «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»; оно грозитъ русской литературѣ новой великой потерей прежде времени... Предисловіе это странно само по себѣ, но его тонъ... C'est le ton qui fait la musique, говорятъ французы... Въ этомъ тонѣ столько неумѣреннаго смиренія и самоотрицанія, что они невольно заставляютъ читателя предполагать тутъ чувства совершенно противоположныя...

«Кто бы ты ни былъ, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ, въ какомъ бы званіи ни находился, *почтенъ* ли ты высшимъ чиномъ (,) или человѣкъ простого сословія, но если тебя вразумилъ Богъ грамотѣ и попалась уже тебѣ моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ.»

Вы думаете, это начало предисловія къ «Путешествію Московскаго купца Трифона Коробейникова съ товарищами въ Іерусалимъ, Египетъ и Синайской горѣ, предпринятое въ 1583 году»?— Нѣтъ, ошибаетесь: это начало предисловія ко второму изданію поэмы «Мертвыя Души»... Но далѣе—

«Въ книгѣ, которая передъ тобой, которую *вѣроятно* ты уже прочелъ [1]) въ ея первомъ изданіи, изображенъ человѣкъ, взятый изъ нашего же государства. Ѣздитъ онъ по нашей Русской землѣ, встрѣчается съ людьми всякихъ сословій, отъ *благородныхъ* до *простыхъ*. Взятъ онъ больше за тѣмъ, чтобы показать недостатки и пороки русскаго человѣка, а не его достоинства и добродѣтели, и всѣ люди, которые окружаютъ его, взяты также за тѣмъ, чтобы показать наши слабости и недостатки; *лучшіе люди и характеры будутъ въ другихъ частяхъ*. Въ книгѣ этой многое описано не вѣрно, не такъ, какъ есть и какъ дѣйствительно происходитъ въ Русской землѣ, потому что я не могъ узнать всего: мало жизни человѣка на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что дѣлается въ нашей землѣ. Притомъ, отъ моей собственной оплошности, незрѣлости и поспѣшности, произошло множество всякихъ ошибокъ и промаховъ, такъ что на каждой страницѣ есть что поправить: *я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги такимъ дѣломъ*. Какого бы ни былъ ты самъ высокаго образованія и *жизни высокой* (?), и какой бы ничтожной ни показалась въ глазахъ твоихъ моя книга, и какимъ бы ни показалось тебѣ мелкимъ дѣломъ ее исправлять и писать на нее замѣчанія,—я прошу тебя это сдѣлать. А ты, читатель не высокаго образованія и простого званія, *не считай себя такимъ невѣжею* [2]), чтобы ты не могъ меня чему-нибудь поучить»,—и пр.

---

[1]) Авторъ не шутя думаетъ, что его книгу прочли даже люди простого сословія.. Ужъ не думаетъ ли онъ, что нарочно для нея выучились они грамотѣ и пустились въ литературу?...

[2]) Вѣроятно авторъ хотѣлъ сказать—*невѣждою*. Замѣчательно, какъ умѣетъ онъ ободрять простыхъ людей, чтобъ они не пугались его величія...

Вслѣдствіе всего этого скромный авторъ нашъ проситъ всѣхъ и каждаго «дѣлать свои замѣтки сплошь на всю его книгу, не пропуская ни одного мѣста ея», и «читать ее не иначе, какъ взявши въ руки перо и положивши листъ почтовой бумаги», а потомъ пересылать къ нему свои замѣтки. Итакъ, мы не можемъ теперь вообразить себѣ всѣхъ русскихъ людей иначе, какъ сидящихъ передъ раскрытой книгой «Мертвыхъ Душъ» на колѣняхъ, съ перомъ въ рукѣ и листомъ почтовой бумаги на столѣ; чернильница предполагается сама собою... Особенно люди не высокаго образованія, «не высокой жизни» и простого сословія должны быть въ большихъ хлопотахъ: писать не умѣютъ, а надо... Не лучше ли имъ всѣмъ пуститься за-границу для личнаго свиданія съ авторомъ,—вѣдь на словахъ удобнѣе объясниться, чѣмъ на бумагѣ... Оно конечно, эта поѣздка обойдется имъ дорогонько, зато какіе же результаты выйдутъ изъ этого!... Къ чему весь этотъ фарсъ? спросите вы, читатели. Отвѣчаемъ вамъ словами одного изъ героевъ комедіи Гоголя: «Поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что нибудь дѣлаетъ»...

Въ этомъ фантастическомъ предисловіи есть весьма утѣшительное извѣщеніе, что «воспослѣдуетъ изданіе новое (т. е. новое изданіе) этой книги, въ другомъ и лучшемъ видѣ». Боже мой, какъ вздорожаютъ тогда первыя два изданія! Вѣдь до этого, второго, «Мертвыя Души» продавались по десяти рублей серебромъ вмѣсто трехъ...

Сочиненія Озерова. *Изданіе Александра Смирдина. Спб. 1846.*

Сочиненія Фонвизина. *Изданіе Александра Смирдина. Спб. 1846.*

Почтенному нашему книгопродавцу, А. Ф. Смирдину, впродолженіе его долговременной книгопродавческой дѣятельности приходило въ голову много хорошихъ мыслей къ пользѣ русской литературы. Но никогда еще не приходило ему мысли болѣе полезной, дѣльной и вмѣстѣ остроумной, какъ мысль изданія въ маленькомъ и красивомъ форматѣ, сжатой (компактной) печатью, полнаго собранія сочиненій русскихъ авторовъ. Не знаемъ, когда эта богатая мысль озарила впервые его книгопродавческую голову. Это рѣшительно блистательнѣйшая мысль, какая только попадала въ голову русскаго книгопродавца съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ на Руси книгопродавцы!... Конечно этой мысли нельзя назвать вполнѣ оригинальной: она внушена русской душѣ А. Ф. Смирдина лукавымъ Западомъ, именно—знаменитой библіотекой Шарпантье; но вѣдь никому же другому изъ русскихъ книгопродавцевъ, а все ему же, все А. Ф. Смирдину, пришло желаніе подражать хорошему чужеземному примѣру... Честь и слава ему за это!...

Въ самомъ дѣлѣ, имѣть въ небольшой, опрятно, даже красиво изданной книжкѣ всѣ сочиненія Озерова, всѣ сочиненія Фонвизина, — кому не пріятно это? А когда подумаешь, что эта книжка, напечатанная сжато, но довольно крупнымъ и весьма четкимъ шрифтомъ, стоитъ всего одинъ рубль серебромъ, то невольно спросишь: да кто же изъ грамотныхъ людей, занимающихся литературой хотя вскользь, между дѣломъ, для отдыха въ праздное время,—кто же изъ нихъ не купитъ ея? Конечно сочиненія Ломоносова будутъ состоять изъ трехъ томовъ и слѣдовательно стоить три рубля серебромъ; но вѣдь въ каждый изъ этихъ маленькихъ, уютныхъ томовъ войдетъ матеріалу на огромную книжищу обыкновенной печати, а старыя, безобразныя изданія Ломоносова, къ тому же теперь и рѣдкія, стоятъ гораздо дороже. По крайней мѣрѣ два изъ нихъ, второе и третье, въ шести частяхъ, 1794 и 1803—1804 годовъ, въ каталогѣ Смирдина оцѣнены по шестидесяти рублей; а четвертое, въ 3-хъ частяхъ, 1808 года, явно не полное, въ 35 рублей ассигнаціями!... Послѣ этого упрекайте русскихъ, что они не читаютъ своихъ старыхъ писателей, особенно, когда сообразите, что у насъ всего менѣе читаютъ богатые и всего болѣе читаютъ бѣдные люди! И потому заслуга А. Ф. Смирдина неоцѣнима! Намъ уже довелось слышать не отъ одного образованнаго человѣка, что, благодаря этому изданію, онъ познакомился съ Озеровымъ и Фонвизинымъ, и, стало-быть, познакомится со временемъ и со всей русской литературой.

Въ этомъ изданіи мы замѣтили только одинъ недостатокъ, котораго впрочемъ нельзя назвать неважнымъ. Старинные писатели должны издаваться со всѣми приложеніями, способствующими къ ихъ изученію. Мы говоримъ не о портретахъ и факсимиле—что необходимо увеличило бы цѣну этихъ изданій и слѣдовательно лишило бы одного изъ главныхъ достоинствъ ихъ—дешевизны; но мы говоримъ о біографіи писателя, съ обзоромъ преимущественно историческимъ и хронологическимъ всей его литературной дѣятельности. Для этого вовсе не нужно было прилагать большихъ статей: было бы достаточно для одного двухъ, трехъ страницъ, для другого—полулиста печатнаго.

Въ небольшую, но уемистую книжку сочиненій Озерова, изданную А. Ф. Смирдинымъ, вошло все, что находится въ большомъ изданіи 1818 года сочиненій этого писателя, кромѣ однакожъ статьи князя Вяземскаго: «О жизни и сочиненіяхъ Озерова», которая какъ будто срослась съ сочиненіями Озерова, заключая въ себѣ сужденіе о нихъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ по уму и таланту современниковъ знаменитаго трагика. Но можетъ быть не отъ издателя зависѣло припечатаніе этой статьи къ изданнымъ имъ сочиненіямъ Озерова, въ такомъ случаѣ, хотя и жаль, а дѣлать нечего. Но еще болѣе жаль, уже въ другомъ смыслѣ, что, помѣстивши въ выноскахъ къ мелкимъ стихотвореніямъ Озерова объясняющіе ихъ отрывки изъ стихотвореній современныхъ Озерову поэтовъ, и въ особенности изъ Жуковскаго «Посланія къ Вяземскому и Пушкину», подающаго поводъ ду-

мать, что Озеровъ преждевременно погибъ жертвой гнусной зависти, отравившей его дни,—издатель или тотъ литераторъ, которому поручилъ онъ редакцію изданій, не присовокупилъ къ этому слѣдующей, весьма любопытной и поучительной, потому что справедливой, выписки изъ второй части «Воспоминаній Ѳаддея Булгарина»:

«Въ пребываніе свое въ Петербургѣ Озеровъ былъ обласканъ Государемъ Императоромъ и всѣми членами Августѣйшаго Семейства, отлично принимаемъ во всѣхъ знатныхъ домахъ, а особенно у А. Л. Нарышкина и А. С. Строгонова. Знаменитый Державинъ ласкалъ его и обходился съ нимъ, какъ съ другомъ; и въ домѣ А. Н. Оленина онъ былъ какъ родной»... «Знавшіе хорошо Озерова: знаменитый баснописецъ И. А. Крыловъ, Н. И. Гнѣдичъ и археологъ Ермолаевъ, сказывали мнѣ, что Озеровъ былъ добрый и благородный человѣкъ, но имѣлъ несчастный характеръ: былъ подозрителенъ, недовѣрчивъ, щекотливъ, раздражителенъ въ высшей степени, притомъ мнителенъ и самолюбивъ до послѣдней крайности. Онъ олицетворялъ собой извѣстный латинскій стихъ «irritabile genus vatum». Съ такимъ характеромъ невозможно быть счастливымъ ни на какомъ поприщѣ, а на литературномъ этотъ характеръ сущее бѣдствіе. Ни въ комъ люди не ищутъ столько слабостей, какъ въ человѣкѣ, объявившемъ притязанія на славу, т. е. на умъ! Люди все простятъ, но превосходства ума—никогда!»... «До какой степени былъ самолюбивъ Озеровъ! Однажды онъ жестоко заболѣлъ съ горя, что его не пригласили къ А. Л. Нарышкину, когда Августѣйшему Семейству угодно было посѣтить его дачу, хотя всѣмъ извѣстенъ этикетъ, что при подобныхъ случаяхъ приглашаются только люди по выбору высокихъ посѣтителей. Каждый разъ, когда въ какомъ знатномъ домѣ, гдѣ Озеровъ былъ обласканъ, было какое-нибудь собраніе, на которое его не пригласили, онъ почиталъ себя обиженнымъ. Кто, встрѣчаясь съ нимъ, не восхищался его сочиненіями и не осыпалъ его похвалами, тотъ былъ врагъ его, то есть того онъ почиталъ врагомъ. Это почти общая болѣзнь всѣхъ поэтовъ, болѣзнь воображенія, которая, какъ и каждый недугъ, отравляетъ жизнь и сводитъ въ могилу. Озеровъ въ высшей степени страдалъ этимъ недугомъ.—Разумѣется, чѣмъ блистательнѣй былъ успѣхъ трагедій Озерова, тѣмъ виднѣе были въ нихъ черныя пятна. Между стихами счастливыми и благозвучными есть стихи слабые, вялые, натянутые и даже смѣшные; между мыслями высокими, благородными есть мысли самыя обыкновенныя (lieux communs), доходящія даже до тривіальности, и между нѣжными, трогательными чувствами есть приторности или, какъ говорятъ французы: mariyaudage a l'eau de rose. Все это въ свое время было замѣчено умной, острой, насмѣшливой молодежью, которая рада каждому случаю похохотать и позабавиться, и все это радовало тѣхъ, которые воображали, что торжество Озерова стѣсняетъ путь ихъ талантамъ, и тѣхъ, которымъ несносны были притязанія Озерова. Еслибъ онъ имѣлъ болѣе твердости и болѣе самостоятельности въ характерѣ, то не обращалъ бы вниманія на эти отдаленныя брызги, не могшія запятнать его славу, и, какъ умный человѣкъ, самъ долженъ бы признать великую истину, что человѣкъ не можетъ создать *совершенства*. А Озеровъ мучился! Въ свѣтѣ и въ литературѣ есть всегда услужливые пріятели, которые *изъ усердія* извѣщаютъ васъ о всемъ непріятномъ для васъ, повторяютъ передъ вами, изъ дружбы, что̀ говорено было дурного на вашъ счетъ, доставляютъ вамъ писанныя противъ васъ критики и эпиграммы! Это мухи и комары, которые мучатъ и терзаютъ васъ, потому что вы имъ нравитесь. Эти-то мухи и комары безпрестанно раздражали Озерова и доводили его до отчаянія. Онъ вообразилъ, что онъ гонимъ, преслѣдуемъ завистью, а на дѣлѣ этого вовсе не было. Никто не гналъ и не преслѣдовалъ его. Всѣ люди, достойные уваженія, оказывали ему свое вниманіе и уваженіе, и если были насмѣшки, то въ отдаленіи, и онѣ вовсе не вредили поэту»... «Нѣтъ сомнѣнія, что у него были завистники, потому что это необходимые спутники въ жизни истиннаго таланта; но еслибъ у Озерова не было клеветниковъ, то это означало бы, что пьесы его не имѣли никакого достоинства и успѣха. Но вѣдь эти завистники всегда такъ ничтожны, такъ мелки, что человѣку съ умомъ и характеромъ не стоитъ даже обращать на нихъ вниманія! Ужели за нѣсколько эпиграммъ и пустыхъ шутокъ не могла вознаградить Озерова любовь къ нему публики и уваженіе всѣхъ дорожившихъ народной славой? Самая заманчивая слава—это слава драматическаго писателя, и ни Расинъ, ни Кребильонъ, ни даже Шиллеръ и Гёте не наслаждались такимъ торжествомъ, какъ нашъ Озеровъ. Все это не могло однакожъ успокоить его и составить его счастья! Вездѣ ему видѣлись зависть и злоба! Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это расположеніе зависѣло отъ состоянія его здоровья. Біографы его и поэты, завѣщавшіе исторіи свое состраданіе объ участи поэта, погибшаго отъ *стрѣлъ зависти*, были бы болѣе правы, еслибъ сказали, что онъ лишился жизни отъ болѣзни печени!»...

Смирдинское изданіе сочиненій Фонвизина теперь самое полное, потому что противу Салаевскаго изданія въ немъ помѣщена комедія «Коріонъ», найденная въ бумагахъ Озерова. Извѣстно, что одинъ журналистъ, не разсмотрѣвъ, что комедія эта съ концомъ, придѣлалъ къ ней конецъ собственной работы... Всѣ изданія Фонвизина, до 1830 года, не полны. Московскій книгопродавецъ Салаевъ купилъ у родственниковъ Фонвизина оригинальныя его рукописи, съ собственноручными его поправками и пополненіями, и издалъ ихъ подъ надзоромъ П. И. Бекетова, въ 1830 году, въ Москвѣ, въ четырехъ толстыхъ томахъ, въ большую восьмушку. Это было самое полное и самымъ добросовѣстнымъ образомъ редактированное изданіе. Въ 1838 году московскій книгопродавецъ Глазуновъ (Улитинъ) перепечаталъ четыре тома Салаевскаго изданія въ одну книгу, сжатой печатью, въ два столбца, въ четвертую долю листа. Изданіе это полно и исправно; но книга уродливо тонка въ отношеніи къ ея непомѣрной длинѣ и ширинѣ. Все это, да съ прибавленіемъ трехъ-актной комедіи «Коріонъ» вошло въ небольшую, но уютную и плотную книжку Смирдинскаго изданія сочиненія Фонвизина. Изданіе Салаева стоило пятнадцать, а Глазунова—десять рублей ассигнаціями; изданіе А. Ф. стоитъ три рубля съ полтиной ассигнаціями.

Неизданными изъ литературныхъ трудовъ Фонвизина остаются теперь только переводъ стихами Вольтеровой «Альзиры», рукопись которой съ собственноручными поправками переводчика хра-

нится у А. Д. Черткова, да еще прозаическіе переводы:

1. Торгующее дворянство, противоположное дворянству военному, или два разсужденія о томъ, служитъ ли то къ благополучію государства, чтобы дворянство вступало въ купечество? съ прибавленіемъ особливаго о томъ же разсужденія Юсти. Спб. 1766.

2. Слово, говоренное по совершеніи Высочайшаго коронованія Императрицы Екатерины Второя въ публичномъ собраніи Императорскаго Московскаго университета, октября 3 дня 1762 года, профессоромъ Іоганомъ Готфридомъ Рейхелемъ, о томъ, что науки и художества процвѣтаютъ защищеніемъ и покровительствомъ владѣющихъ особъ и великихъ людей въ государствѣ. Переводъ съ нѣмецкаго. Москва. 1762.

3. Слово похвальное Марку Аврелію, сочиненіе Томаса, переводъ съ французскаго. Спб. 1777.

4. Іосифъ, въ десяти пѣсняхъ, соч. Битобе, перев. съ французскаго, двѣ части. Спб. 1790. Этой книги было шесть изданій.

5. Басни нравоучительныя, съ изъясненіями барона Гольберга. Въ каталогѣ Смирдина означено только третье изданіе этой книги 1787 года.

6. Геройская добродѣтель, или жизнь Сноа, царя египетскаго, изъ таинственныхъ свидѣтельствъ древняго Египта взятая; сочиненіе аббата Террасона, переводъ съ французскаго. Четыре части. Москва. Первое изданіе въ 1762—1768, второе въ 1787—1788 годахъ.

7. Сидней и Силли, или благодѣяніе и благодарность, англійская повѣсть, сочиненіе Арнода, переводъ съ французскаго. Изданіе второе, въ Москвѣ, 1788 года.

Сверхъ того въ каталогѣ Смирдина поименовано слѣдующее оригинальное произведеніе Фонвизина, едва ли кому извѣстное изъ тѣхъ, кому не попадалась въ руки эта рѣдкая и курьезная книжка: «Жизнь нѣкотораго мужа, и перевозъ куріозной души его чрезъ Стиксъ рѣку». Спб. 1791 г. Новое изданіе этого сочиненія, вышедшее въ 1802 году, называется такъ: «Жизнь нѣкоего аввакумскаго скитника, въ Брынскихъ лѣсахъ жительствовавшаго, и куріозный разговоръ души его при перевозѣ чрезъ рѣку Стиксъ». Любопытно было бы познакомиться съ этимъ оригинальнымъ произведеніемъ Фонвизина, и очень жаль, что его нѣтъ въ прекрасномъ Смирдинскомъ изданіи!

Что до его семи переводныхъ трудовъ, конечно они далеко не такъ интересны, какъ его оригинальныя произведенія, для большинства же публики они вовсе не интересны; но для людей, исторически изучающихъ русскій языкъ и литературу, они не лишены интереса, а для литераторовъ, библіографовъ, критиковъ и журналистовъ могутъ быть необходимыми для справокъ. Право, не мѣшало бы ихъ издать хоть въ особой книгѣ для охотниковъ.

При Смирдинскомъ изданіи «Сочиненій Фонвизина» нѣтъ никакихъ примѣчаній, не говоря уже о біографіи автора. Жаль!

Полное собраніе сочиненій И. Крылова, *съ біографіей его, писанной П. А. Плетневымъ. Три тома. Спб. 1847.*—**Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова.** *Сочиненіе академика Михаила Лобанова. Спб. 1847.*

Въ послѣднее время начали довольно часто появляться изданія сочиненій старыхъ нашихъ писателей. Это одно изъ самыхъ отрадныхъ явленій въ современной русской литературѣ, которое равно дѣлаетъ честь и литературѣ, и публикѣ. Въ то же время это фактъ, лучше всякихъ доказательствъ изобличающій крикуновъ и полуталантливыхъ рифмачей, которые утверждаютъ, будто теперь на Руси журналъ убилъ книгу, и книги уже не покупаются публикой... Насъ особенно радуетъ это обращеніе публики къ старымъ писателямъ. Сказать правду, о многихъ изъ нихъ знала она прежде только по наслышкѣ; исключеніе остается можетъ быть только за Крыловымъ. Теперь она хочетъ вновь познакомиться съ ними. Родилась потребность—явились и средства къ ея удовлетворенію, т. е. изданія сочиненій старыхъ писателей, почти всегда весьма дешовыя, и никогда очень дорогія, какъ прежде.

Изданія басенъ Крылова—давно уже не новость въ нашей литературѣ. Съ 1809 года по 1843 годъ ихъ издано было семьдесятъ семь тысячъ экземпляровъ! Но еще въ первый разъ является полное собраніе всѣхъ сочиненій Крылова: вотъ новость, и притомъ весьма пріятная! Конечно его драматическіе опыты вообще слабы, а лирическія произведенія просто плохи, но вѣдь все же тѣ и другіе рѣзко характеризуютъ нравы людей и литературы своего времени, не говоря уже о томъ, что комедіи: «Модная Лавка» и «Урокъ Дочкамъ» и теперь еще многими считаются за отличныя произведенія русской драматургіи. Что же касается до его сатирическихъ статей въ прозѣ, наполнявшихъ нѣкогда издававшіеся имъ же журналы: «Почту Духовъ», «Зрителя», «Санктпетербургскій Меркурій»,—то въ нихъ много ума, соли, мѣстами даже жолчи, и вообще онѣ представляютъ собою гораздо больше интереса, нежели какъ можно ожидать этого. Берешь ихъ въ руки съ тѣмъ, чтобы перелистовать, а вмѣсто этого со вниманіемъ прочтешь ихъ. Есть, правда, въ нихъ мѣста довольно скучныя, но они съ избыткомъ вознаграждаются характеристическими чертами нравовъ общества того времени. Есть и цѣлыя статьи, надъ чтеніемъ которыхъ не будетъ зѣваться.

Изданіе Крылова сдѣлано во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно. Въ типографскомъ отношеніи нечего больше желать: не только чисто и опрятно, но красиво, даже изящно. Вмѣсто обыкновеннаго, всѣмъ извѣстнаго портрета Крылова, представляющаго его уже старикомъ, издатели приложили превосходно сдѣланную литографію, представляющую

черты Крылова, когда ему было 43 года. Этотъ литографированный портретъ снятъ съ живописнаго портрета, писаннаго профессоромъ академіи художествъ Волковымъ въ 1812 г.

Одно только замѣтили бы мы противъ редакціонной части изданія: напрасно басни напечатаны во второмъ, а не въ первомъ томѣ, и еще болѣе напрасно предшествуютъ имъ оды и другіе лирическіе опыты, которые слѣдовало бы помѣстить за баснями, въ видѣ приложенія. Вѣдь басни все-таки главное между сочиненіями Крылова, и не будь басенъ, не было бы нужды издавать и всего остальнаго. Впрочемъ не въ этомъ дѣло. Мы бы сдѣлали такъ, другіе сочли лучшимъ сдѣлать иначе, а сущность дѣла осталась та же. Но вотъ что̀ насъ удивило: на заглавіи перваго тома выставлено слово: «проза», второго—«поэзія», а третьяго—«театръ». Противъ послѣдней классификаціи мы ни слова; но мы не понимаемъ, какъ можно прозѣ противопоставить поэзію, а не стихотворенія? Развѣ не бываетъ поэзіи въ сочиненіяхъ, писанныхъ прозой, и прозы въ сочиненіяхъ, писанныхъ стихами? Сплошь да рядомъ, особенно послѣднее. Послѣ этого и слово «театръ», выставленное на третьемъ томѣ, лишается всякой опредѣленности: такъ какъ въ немъ есть пьесы, и стихами, и прозой писанныя, то къ чему должны мы ихъ причислять?—Тѣ, которыя писаны стихами,—къ поэзіи, а тѣ, которыя писаны прозой—къ прозѣ?.. Воля ваша, а для насъ подобная классификація отзывается старыми временами.

Однимъ изъ лучшихъ украшеній изданія сочиненій Крылова нельзя не признать приложенной къ нимъ статьи: «Жизнь и сочиненія Ивана Андреевича Крылова», мастерски написанной Плетневымъ. Это—критика-біографія, въ которой съ большимъ искусствомъ Крыловъ охарактеризованъ какъ баснописецъ и человѣкъ,—въ послѣднемъ отношеніи еще можетъ-быть лучше, нежели въ первомъ. Взглядъ автора статьи на Крылова отличается оригинальностью и глубокомысліемъ, какъ эти видно сейчасъ же по одному уже вступленію:

«Въ лицѣ Ивана Андреевича Крылова мы видѣли въ полномъ смыслѣ русскаго человѣка, со всѣми хорошими качествами и со всѣми слабостями, исключительно намъ свойственными. Геній его, какъ баснописца, признанный не только въ Россіи, но и во всей Европѣ, не защитилъ его отъ обыкновенныхъ нашихъ неровностей въ жизни, посреди которыхъ русскіе иногда способны всѣхъ удивлять проницательностью и вѣрностью ума своего, а иногда предаются непростительному хладнокровію въ дѣлахъ своихъ. Судьба не благопріятствовала Крылову въ дѣтствѣ и лишила его тѣхъ пособій къ постепеннымъ успѣхамъ въ литературѣ и обществѣ, которыми другихъ надѣляютъ рожденіе, воспитаніе и образованіе. Но онъ, какъ бы наперекоръ счастью, впослѣдствіи времени пріобрѣлъ все, что̀ необходимо писателю и гражданину. Онъ даже успѣлъ развить въ себѣ нѣсколько талантовъ, составляющихъ роскошь и для счастливо рожденнаго молодого человѣка. Побѣдивши первыя препятствія къ благонолучію и удовольствіямъ жизни, онъ на время ослабилъ дѣятельность свою въ расширеніи знаній и съ непонятнымъ равнодушіемъ провелъ нѣсколько лѣтъ почти безъ дѣла. Наконецъ снова и почти безсознательно принялся Крыловъ за тотъ родъ поэзіи, которому нынѣ обязанъ безсмертіемъ своимъ. Удивительнѣе всего, что ему суждено было начать славное свое поприще въ такія лѣта, когда многіе перестаютъ писать сочиненія въ стихахъ, предпочитая имъ прозу. Между тѣмъ остался ли хоть легкій слѣдъ на этихъ трудахъ, что авторъ не во время приступилъ къ нимъ? Нѣтъ, разсматривая ихъ живость и красоты, получаешь убѣжденіе, что это тѣ неувядающіе цвѣты поэзіи, которыми юность украшаетъ генія. И вотъ Крыловъ достигнулъ тогда истинной славы, всеобщаго уваженія, самой чистой къ нему привязанности тѣхъ, которые были къ нему близки и вполнѣ оцѣнили даръ его. Счастье вознаградило его за всѣ лишенія молодости. Онъ былъ обезпеченъ на всю жизнь. Казалось, передъ любознательнымъ, тонкимъ и свѣжимъ умомъ его открылись всѣ пути къ безконечной дѣятельности литератора. Но онъ и своей поэзіей занимался только какъ забавой, которая скоро должна была наскучить ему. Безграничное искусство не влекло его къ себѣ. Дѣятельность современниковъ не возбуждала его участія. Онъ чувствовалъ выгоды и безопасность положенія своего и не оказывалъ ни одного покушенія расширить тѣсную раму своихъ умственныхъ трудовъ. Такъ одинъ успѣхъ и счастье усыпили въ немъ всѣ силы духа! Въ своемъ праздномъ благоразумін, въ своей безжизненной мудрости онъ похоронилъ можетъ быть нѣсколько Крыловыхъ, для которыхъ въ Россіи много еще праздныхъ мѣстъ. Странное явленіе: съ одной стороны геній, по слѣдамъ котораго уже идти почти некуда, съ другой — недвижный умъ, шагу не переступающій за свой порогъ.»

Любопытное зрѣлище представляетъ собою Крыловъ, съ дѣтства мучимый бѣсомъ авторства и такъ долго ищущій настоящей дороги своему таланту! Что-то говорило ему, что у него есть талантъ, да только неизвѣстно, къ чему именно. И вотъ онъ пишетъ страшно плохія трагедіи, въ которыхъ является далеко ниже Сумарокова, пишетъ плохія оперы, плохія комедіи, изъ которыхъ однакожъ двѣ имѣли въ свое время огромный успѣхъ. Пишетъ онъ въ то же время сатирическія статьи, которыя уже ближе всего другого къ его таланту; но и въ нихъ онъ все еще не на своей настоящей дорогѣ, потому что свойственный ему родъ литературы только тотъ, въ которомъ онъ могъ быть первымъ; всякій же другой, въ которомъ онъ могъ играть только второстепенную или третьестепенную роль, не могъ быть его родомъ. И только тридцати восьми лѣтъ отъ роду началъ писать Крыловъ басни, и тотчасъ же убѣдился, что это его настоящій родъ, и навсегда оставилъ свои попытки во всѣхъ другихъ родахъ.

Есть что-то общее въ этомъ упорномъ и безпокойномъ исканіи своего призванія между Крыловымъ и Беранже. Послѣдній очень рано понялъ, что его родъ — народная пѣсня; но сколько написалъ или намѣренъ былъ написать онъ поэмъ и драмъ прежде, нежели напалъ на свою настоящую дорогу! Но въ Беранже все это понятнѣе, чѣмъ въ Крыловѣ: Беранже—натура живая, страстная, подвижная; Крыловъ—натура тяжелая, сон-

ная, холодная, неповоротливая. И потому-то онъ какъ-будто для того только нашелъ и созналъ свое назначеніе, чтобы почти ничего не дѣлать для его выполненія. Впродолженіе тридцати лѣтъ написалъ онъ всего сто девяносто-семь басенъ. Онъ писалъ ихъ какъ-будто нехотя, случайно; ему какъ-будто важнѣе было убѣдиться въ томъ, что онъ можетъ писать басни, нежели писать ихъ... Въ біографіи Крылова, писанной Плетневымъ, читатели найдутъ полную оцѣнку всѣхъ трудовъ Ивана Андреевича. Въ этомъ и состоитъ главное, существенное отличіе біографіи Крылова, писанной Плетневымъ, отъ біографіи Крылова, писанной Лобановымъ: послѣдняя интересна только тѣмъ, что въ ней есть нѣсколько анекдотовъ, нѣсколько чертъ жизни Крылова, которыхъ нѣтъ въ статьѣ Плетнева.

Говорить о басняхъ Крылова нѣтъ никакой нужды, потому что почти невозможно сказать о нихъ что-нибудь новое. Общее мнѣніе давно уже выговорилось о Крыловѣ, какъ баснописцѣ. Наши литераторы и критики, обыкновенно столь несогласные между собой въ сужденіяхъ о русскихъ писателяхъ, о Крыловѣ говорятъ всѣ одно и то же. Главная заслуга Крылова состоитъ конечно не въ правилахъ мудрости, будто-бы преподанныхъ имъ человѣчеству, а въ томъ, что въ этомъ бѣдномъ и фальшивомъ родѣ поэзіи, изобрѣтенномъ подъ именемъ басни въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, онъ умѣлъ выказать все богатство яснаго, простого, положительнаго практическаго русскаго ума. Другими словами: высочайшее достоинство басенъ Крылова заключается въ томъ, что онѣ и по содержанію, и по изложенію, и по языку въ высшей степени русскія басни. Даже и въ переводахъ, и въ подражаніяхъ Крыловъ умѣлъ остаться русскимъ. Какъ истинно геніальный человѣкъ, онъ, подобно другимъ, не ограничился въ баснѣ басней, но придалъ ей жгучій характеръ сатиры и памфлета.

Слѣдующія слова біографа Крылова много говорятъ объ особенномъ свойствѣ его басенъ, и мы ими заключимъ нашу статью:

«Легкость, съ которой мы успокоиваемся на первой удачѣ, обнаруживаетъ въ насъ какое-то равнодушіе къ земнымъ благамъ, но вмѣстѣ и хладнокровіе къ общественнымъ интересамъ. Такъ какъ природа отличила Крылова самыми рѣзкими чертами національности, то и игра ихъ въ его образѣ поражаетъ насъ болѣе, нежели въ комъ-нибудь другомъ. Между тѣмъ, какъ писатель, онъ прямо русской своей природѣ былъ обязанъ тѣмъ превосходствомъ въ постиженіи духа нашей жизни и нашего языка, которое въ этомъ отношеніи поставило его у насъ на первомъ планѣ. Никого изъ нашихъ писателей нельзя поставить на одной съ нимъ линіи. Онъ придумывалъ разсказы столь естественные, столь простые и каждому понятные, столь несомнѣнные и очевидные, столь согласные съ нашей жизнью, обыкновеніями и привычками, что въ нихъ составѣ не оставалось и тѣни искусства, сочиненія или подготовленія. Видишь, чувствуешь, какъ дѣло начинается и происходитъ. На мысль не придетъ, что сочинитель повторяетъ старинную басню, извѣстную уже всѣмъ народамъ, и прикрываетъ ею общую истину. Разсказываемый имъ случай, повидимому только и могъ подобнымъ образомъ произойти у насъ. Онъ проникнутъ духомъ нашей жизни и рѣчи.»

Повѣсти, сказки и разсказы казака Луганскаго. *Четыре части. Спб. 1846.*

Для литературныхъ успѣховъ, для пріобрѣтенія славы писателя въ наше время мало одного таланта; необходимо еще, чтобы талантъ отъ самой природы былъ означенъ печатью самостоятельности. Какъ нельзя править людьми, имѣя умъ, но не имѣя воли и характера, такъ нельзя быть настоящимъ писателемъ при помощи только безцвѣтнаго таланта. Оригинальность таланту сообщается угломъ зрѣнія, съ котораго представляется автору міръ, цвѣтомъ стеколъ, сквозь которыя отражаются въ глазахъ ума его всѣ предметы. Умъ одинъ у всѣхъ людей, и несмотря на то, русская пословица: «сколько головъ, столько умовъ», все-таки справедлива. Умъ — это духовное оружіе человѣка; оружіе это у всѣхъ людей одно, а каждый дѣйствуетъ имъ особенно, по своему. Мы исключаемъ отсюда людей, у которыхъ это оружіе или деревянное, или изъ дряннаго желѣза: нѣтъ, сколько ни возьмите людей съ одинаково хорошимъ оружіемъ этого рода, вы увидите, что каждый изъ нихъ, не уступая остальнымъ въ искусствѣ дѣйствовать своимъ оружіемъ, все-таки дѣйствуетъ имъ болѣе или менѣе по своему. Писатель съ талантомъ, но безъ оригинальности, сочувствуетъ всему на свѣтѣ, ничему не сочувствуя въ особенности. Такой талантъ похожъ на человѣка, который говоритъ о себѣ, что онъ сгораетъ любовью къ человѣчеству, но что, несмотря на то, онъ никого въ жизнь не любилъ въ особенности, что никогда не было у него ни друга, ни пріятеля, ни брата, ни сестры, ни любовницы. Такой талантъ похожъ на великолѣпные ножны безъ сабли, на богатый сундукъ, въ которомъ ничего не положено. Онъ всегда готовъ писать о чемъ угодно и что̀ хотите, но обыкновенно пишетъ всегда подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ. И не мудрено: для кого всѣ предметы одинаково ясно видимы, тотъ въ сущности не видитъ и не знаетъ ни одного. Безъ самобытности нельзя имѣть великаго таланта, а небольшой — въ такомъ случаѣ ничего не сто̀итъ.

Вглядываясь въ произведенія самобытнаго таланта, всегда находите въ нихъ признаки сильной наклонности, иногда даже страсти къ чему-нибудь одному, и по тому самому такой талантъ становится для васъ истолкователемъ овладѣвшаго имъ предмета. Онъ дѣлаетъ его для васъ доступнымъ и яснымъ, рождаетъ въ васъ къ нему симпатію и охоту знать его. Къ числу такихъ-то талантовъ принадлежитъ талантъ Даля, прославившагося въ нашей литературѣ подъ именемъ казака Луганскаго.

Въ чемъ же заключается особенность его та-

ланта? Объ этомъ мы пока не будемъ говорить, а скажемъ, въ чемъ заключается господствующая наклонность, симпатія, любовь, страсть его таланта. Заключается все это у него въ русскомъ человѣкѣ, русскомъ бытѣ, словомъ,—въ мірѣ русской жизни. Но что жъ тутъ оригинальнаго — скажутъ намъ,—мало ли людей, которые не меньше Даля и всякаго другого любятъ Русь и все русское... Отвѣчаемъ: очень можетъ быть; но мы говоримъ о Далѣ, какъ о человѣкѣ, который самымъ дѣломъ показалъ и доказалъ эту любовь, какъ писатель. Вѣдь легко писать возгласы, исполненные хвалы Россіи и ненависти ко всему не русскому; но это еще не значитъ любить Русь и все русское. Другой и дѣйствительно любитъ ихъ, да нѣтъ у него достаточно таланта, чтобы любовь его отразилась въ мертвой буквѣ и зажгла ее тепломъ и свѣтомъ жизни... Любовь Даля къ русскому человѣку—не чувство, не отвлеченная мысль: нѣтъ! это любовь дѣятельная, практическая. Не знаемъ, потому ли знаетъ онъ Русь, что любитъ ее, или потому любитъ ее, что знаетъ; но знаемъ, что онъ не только любитъ ее, но и знаетъ. Къ особенности его любви къ Руси принадлежитъ то, что онъ любитъ ее въ корню, въ самомъ стержнѣ, основаніи ея, ибо онъ любитъ простого русскаго человѣка, на обиходномъ языкѣ нашемъ называемаго крестьяниномъ и мужикомъ. И—Боже мой!—какъ хорошо онъ знаетъ его натуру! онъ умѣетъ мыслить его головой, видѣть его глазами, говорить его языкомъ. Онъ знаетъ его добрыя и дурныя свойства, знаетъ горе и радость его жизни, знаетъ болѣзни и лѣкарства его быта...

И зато въ нашей литературѣ нашлось довольно критиковъ-аристократовъ, которыхъ оскорбила, зацѣпила за живое эта любовь Даля къ простонародью. Какъ-де, въ самомъ дѣлѣ, унижать литературу изображеніемъ грязи и вони простонародной жизни? Какъ выводить на сцену чернь, сволочь, мужиковъ-вахлаковъ, бабъ, дѣвокъ? Это аристократическое отвращеніе отъ грязной литературы деревень очень остроумно выразилъ одинъ каррикатуристъ-аристократъ, изобразивъ молодого автора одной прекрасной повѣсти изъ крестьянскаго быта роющимся въ помойной ямѣ...

Положимъ, господа, этотъ міръ дѣйствительно не отличается особенной опрятностью, чуждъ всякой образованности и далекъ отъ большого свѣта; но вѣдь вы же сердитесь, когда изображаютъ все васъ же, да васъ; вы же говорите, что чиновники да чиновники и монотонно, и пошло?... «Какъ, да развѣ мы чиновники?—Мы литераторы, мы артисты, мы распространяемъ въ публикѣ изящный вкусъ и благородный тонъ большого свѣта...» Будьте вы, господа, чѣмъ хотите, служите или не служите вовсе, но вы—чиновники, вы—люди одного изъ среднихъ слоевъ общества, вы отъ большого свѣта гораздо дальше, нежели эти мужики въ заскорузлыхъ кожаныхъ рукавицахъ, сермяжныхъ балахонахъ и въ смазанныхъ дегтемъ сапожищахъ, а всего чаще въ лаптяхъ... Истинный аристократъ, настоящій свѣтскій человѣкъ никогда не станетъ брезгать мужикомъ, никогда не побоится замараться грязью его жизни тѣмъ, что будетъ смотрѣть на нее или изучать ее... Эта боязнь свойственна только полубарамъ, полугосподамъ, выскочкамъ, которые еще не успѣли забыть, что̀ такое грязь... Извѣстное дѣло, что дворовый человѣкъ больше ломается надъ мужикомъ, нежели тотъ, кому принадлежатъ они оба. Въ чиновникахъ, мѣщанахъ, купцахъ больше спѣси, чинопочитанія, церемонности, презрѣнія ко всему низшему, подобострастія ко всему высшему, нежели въ высшемъ и низшемъ слояхъ общества... Для многихъ ясно также, что въ необразованномъ мужикѣ иногда бываетъ больше врожденнаго достоинства, нежели въ образованныхъ людяхъ среднихъ сословій.

Но подобные люди не стоятъ опроверженій. Мужикъ—человѣкъ, и этого довольно, чтобы мы интересовались имъ такъ же, какъ и всякимъ бариномъ. Мужикъ-нашъ братъ по Христу, и этого довольно, чтобы мы изучали его жизнь и его бытъ, имѣя въ виду ихъ улучшеніе. Если мужикъ не ученъ, не образованъ, — это не его вина... Ломоносовъ родился мужикомъ и могъ бы и умереть мужикомъ, но обстоятельства помогли ему показать міру, что̀ иногда кроется въ глубинѣ мужицкой натуры, чѣмъ можетъ иногда быть мужикъ. Образованность—дѣло хорошее, что̀ и говорить; но, Бога ради, не чваньтесь ею такъ передъ мужикомъ: почему знать, что при вашихъ внѣшнихъ средствахъ къ образованію онъ далеко бы оставилъ васъ за собой. Притомъ же дорога истинная образованность, а ваша, господа, заставляетъ умныхъ людей краснѣть за образованность и гнушаться ею...

Сочиненія Даля можно раздѣлить на три разряда: русскія народныя сказки, повѣсти и разсказы и физіологическіе очерки. Сказокъ у него особенно много. Мы, признаемся, не совсѣмъ понимаемъ этотъ родъ сочиненій. Другое дѣло—вѣрно записанныя подъ диктовку народа сказки: ихъ собирайте и печатайте, и за это вамъ спасибо. Но сочинять русскія народныя сказки или передѣлывать ихъ—зачѣмъ это, а главное—для кого?—Вѣдь простой народъ не прочтетъ, даже не увидитъ вашей книги, а для образованныхъ классовъ общества—что̀ такое ваши сказки?... Съ такими мыслями взялись мы читать сказки Даля; но если, прочтя ихъ, мы не перемѣнили такихъ мыслей, то значительно смягчили ихъ строгость, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ Далю. Онъ такъ глубоко проникъ въ складъ ума русскаго человѣка, до того овладѣлъ его языкомъ, что сказки его—настоящія русскія народныя сказки... Поэтому писать ихъ былъ для него великій соблазнъ, и какъ онѣ многимъ и теперь нравятся, и мы не обойдемъ ихъ добрымъ словомъ, не попрекнемъ ихъ рожденіемъ, хотя и не пожелаемъ имъ дальнѣйшаго размноженія...

Въ повѣстяхъ и разсказахъ своихъ Даль яв-

ляется человѣкомъ бывалымъ. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ ни бывалъ онъ? Онъ участвовалъ въ польской кампаніи и въ хивинской экспедиціи, онъ былъ въ Молдавіи, въ Валахіи, въ Бессарабіи; Новороссія съ Крымомъ знакомы ему какъ нельзя больше, а Малороссія — словно родина его... Онъ знаетъ, чѣмъ промышляетъ мужикъ Владимірской, Ярославской, Тверской губерній, куда ходитъ онъ на промыселъ и сколько зарабатываетъ... Даль—это живая статистика живого русскаго народонаселенія... Между повѣстями его есть не совсѣмъ удачныя, каковы напр. «Савелій Грабъ», «Мичманъ Поцѣлуевъ», «Бѣдовикъ»... Онѣ скучны въ цѣломъ, но въ подробностяхъ встрѣчаются драгоцѣнныя черты русскаго быта, русскихъ нравовъ. Многіе разсказы очень занимательны, легко читаются и незамѣтно обогащаютъ васъ такими знаніями, которыя, внѣ этихъ разсказовъ, не всегда можно пріобрѣсти и побывавши тамъ, гдѣ бывалъ Даль. Такъ въ разсказахъ: «Майна», «Викей и Мауляна» знакомитъ онъ насъ съ нравами и бытомъ кайсаковъ; въ «Цыганкѣ»—съ молдавской цивилизаціей и положеніемъ цыганъ въ тамошнемъ краѣ; въ «Болгаркѣ»—съ патріархальными нравами патріархальнаго болгарскаго племени, мало уступающими въ дикости патріархальнымъ кайсацкимъ нравамъ. Вообще, гдѣ основа разсказа проще, малосложнѣе, менѣе запутана, тамъ и разсказъ выходитъ лучше. Къ лучшимъ разсказамъ принадлежатъ, по нашему мнѣнію, «Хмѣль» «Сонъ и Явь» и «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ»...

Въ физіологическихъ очеркахъ своихъ Даль является уже не просто бывалымъ, умнымъ, наблюдательнымъ человѣкомъ и даровитымъ литераторомъ, но еще художникомъ... Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы написать «Дворника», «Деньщика» и «Колбасники и Бородачи», мало наблюдательности и самаго строгаго изученія дѣйствительности: нуженъ еще элементъ творчества. Иначе изображенія дворника, деньщика и купцовъ съ купчихами и купецкими дочерьми не являлись бы въ статьяхъ Даля типами, не поражали бы своей живой, внутренней вѣрностью дѣйствительности, не врѣзывались бы навсегда и такъ глубоко въ памяти того, кто прочелъ ихъ разъ... Ихъ можно не только читать, но и перечитывать, и каждый разъ будутъ они казаться все лучше и лучше.

Намъ кажется, что Даль, пиша русскія сказки, повѣсти и разсказы, искалъ настоящей дороги для своего таланта, а написавши «Дворника», «Деньщика», «Колбасники и Бородачи», нашелъ ее... Это подтверждается отчасти повѣстью «Бѣдовикъ»: въ ней мы видимъ какъ бы въ зародышѣ то лицо, которое такъ полно и богато, такъ ясно и рѣзко обозначилось потомъ въ «Деньщикѣ». Какъ бы то ни было, но физіологическіе очерки Даля считаемъ мы перлами современной русской литературы, и желаемъ и надѣемся, что теперь Даль обратитъ свой богатый и сильный талантъ преимущественно на этотъ родъ сочиненій, не теряя болѣе времени на сказки, повѣсти и разсказы...

Тереза Дюнойе. *Романъ Евгенія Сю. Переводъ В. М. Строева. Спб. 1847. Четыре части.*

Матильда, записки молодой женщины. *Сочиненія Евгенія Сю, автора* Парижскихъ Тайнъ *и* Вѣчнаго Жида. *Переводъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный В. Строевымъ. Спб. 1846—1847. Тринадцать частей.*

Сынъ тайны (Le Fils du Diable). *Романъ Поля Феваля. Спб. 1847. Два тома, восемь частей.*

Іезуитъ. *Характеристическая картина изъ (?) первой четверти восемнадцатаго столѣтія. Соч. К. Шпиндлера. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1847. Три части.*

Романъ и повѣсть овладѣли въ наше время литературой, или вовсе вытѣснивъ, или оттѣснивъ на задній планъ всѣ другіе ея роды. Можно сказать безъ большого преувеличенія, что подъ литературой въ наше время разумѣются романъ и повѣсть. Оставя на время въ сторонѣ разницу между романомъ и повѣстью, будемъ то и другое разумѣть подъ однимъ первымъ именемъ, такъ какъ повѣсть есть не что иное, какъ видъ романа. Романъ выходитъ отдѣльно,—и если онъ хоть сколько-нибудь хорошъ или дуренъ въ любимомъ вкусѣ времени,—онъ будетъ имѣть успѣхъ, не залежится въ книжныхъ лавкахъ, а его авторъ и съ извѣстностью, и съ именемъ. Журналъ просто не можетъ существовать безъ романа. И добро бы еще журналъ въ нашемъ русскомъ смыслѣ, т. е. то, что въ Европѣ называется «обозрѣніемъ» (revue); нѣтъ! настоящій журналъ, то, что у насъ называется газетой, уже не можетъ поддерживаться только одной политикой, которая всѣхъ такъ интересуетъ и волнуетъ, къ которой всѣ такъ ненасытимо жадны. Въ фѣльетонахъ этихъ журналовъ печатаются длинные романы, и терпѣливые читатели впродолженіе года, а иногда и слишкомъ, довольствуются двумя или много тремя главами «интереснаго» романа въ недѣлю, и каждый изъ нихъ пуще всего боится умереть прежде, нежели успѣетъ прочесть его послѣднюю заключительную главу, для пущей важности обыкновенно называемую «эпилогомъ»... Но вотъ и эпилогъ прочтенъ—глядь, въ слѣдующемъ, а иногда и въ томъ же листкѣ начало новаго романа—и опять трепещетъ за свою жизнь бѣдный читатель впродолженіе года, вплоть до вожделѣннаго эпилога... Журналы набили страшныя цѣны на романы, и теперь иной бездарный писака, вродѣ Поля Феваля напримѣръ, получаетъ можетъ-быть тѣ же суммы, которыя назадъ тому лѣтъ тридцать казались баснословно-огромными, когда дѣло шло о романахъ отца и творца новѣйшаго романа, великаго и геніальнаго Вальтера-Скотта... Не только люди съ замѣчательнымъ дарованіемъ, какъ Эжень Сю, или съ какимъ-нибудь дарованіемъ, какъ Александръ Дюма, даже люди вовсе безъ дарованія, какъ уже упомянутый нами Поль Феваль, продаютъ по контрактамъ свое вдохновеніе или свой задоръ, свой талантъ или свою бездарность, словомъ, свою дѣятельность на столько-то лѣтъ такому-то журналу. О деньгахъ тутъ спору нѣтъ:

онѣ считаются тутъ десятками тысячъ и восходятъ до сотенъ тысячъ—только пишите, пишите какъ можно больше, пишите день и ночь, пишите въ за двоихъ, за троихъ, а не станетъ васъ на это одного, найдите себѣ сотрудниковъ, устройте фабрику... Что̀ деньги—деньги вздоръ, дѣло—романъ, за романъ мы не пожалѣемъ денегъ и будемъ подписываться на журналы, лишь бы въ ихъ фѣльетонахъ тянулись безконечные романы... Что́ же за чародѣй этотъ романъ? Въ чемъ заключается причина его владычества надъ грамотными массами? О чемъ онъ имъ говоритъ, чему ихъ учитъ, чѣмъ прельщаетъ?

Романъ порожденъ рыцарскими временами, какъ и романсъ. Романское нарѣчіе, образовавшееся на югѣ Франціи, дало ему имя. Содержаніе его составляли рыцарскіе подвиги; тутъ, разумѣется, важную роль играли красавицы и волшебники. Между дѣйствительнымъ и мечтательнымъ міромъ не проводилось никакой черты, и чѣмъ нелѣпѣе былъ разсказъ, тѣмъ казался онъ вѣроятнѣе. Отъ такихъ-то романовъ помѣшался благородный ламанчскій дворянинъ, обезсмертившій себя, благодаря несравненному генію Сервантеса, подъ именемъ донъ-Кихота. Потомъ наступилъ вѣкъ сантиментально- аллегорическихъ романовъ, изъ которыхъ особенно былъ знаменитъ «Романъ Розы». Впрочемъ полное торжество романа настало только въ XVIII вѣкѣ, не въ томъ смыслѣ, чтобы въ это время онъ получилъ опредѣленное и настоящее значеніе, а въ томъ, что онъ сдѣлался любимымъ родомъ словесности преимущественно передъ всѣми другими ея родами. Но еще гораздо прежде XVIII вѣка явилось нѣсколько замѣчательныхъ твореній въ этомъ родѣ. Геніальный Рабле,—этотъ Вольтеръ XVI вѣка, облекалъ сатиру въ форму чудовищно-безобразныхъ романовъ; и въ томъ же вѣкѣ великій Сервантесъ написалъ своего безсмертнаго «Донъ-Кихота», въ которомъ сатира явилась въ формѣ высоко-художественнаго романа. Въ XVII вѣкѣ Скарронъ попытался на изображеніе дѣйствительности, какъ понималъ ее веселый и циническій умъ его, въ своемъ «Roman Comique» *), который навсегда останется замѣчательнымъ произведеніемъ, какимъ по справедливости доселѣ считался.

Въ XVIII вѣкѣ романъ не получилъ никакого опредѣленнаго значенія. Каждый писатель понималъ его по своему. Ричардсонъ и Фильдингъ дѣлали изъ него картины частной семейной жизни, съ цѣлью установить для нея неизмѣняемыя моральныя правила, и потому онъ у нихъ былъ длиненъ, растянутъ, чопоренъ, поучителенъ и сухъ. Добрый нѣмецъ, Августъ Лафонтенъ, плѣнялъ въ романѣ чувствительныя души приторно-сладенькими мѣщанскими картинами семейственнаго счастья въ нѣмецкомъ вкусѣ. Французъ Дюкре-Дюмениль (Ducray Dumenil [1]) разсказывалъ въ романѣ о дѣтяхъ, которыхъ рожденіе покрыто тайной, но которыя потомъ благополучно находятъ своихъ «дражайшихъ родителей», папеньку и маменьку, и дѣлаются богатыми и счастливыми. Англичанка Анна Радклифъ, или Радклейфъ (Radcliffe), пугала въ романѣ воображеніе своихъ читателей явленіями мертвецовъ и призраковъ, которыя потомъ очень естественно объяснялись тайными ходами и дверями въ замкахъ. Англичанинъ Левисъ (Lewis) угощалъ въ романѣ пылкое воображеніе своихъ читателей таинственными лицами, вродѣ выходцевъ съ того свѣта [2]). Нѣмецъ Шписъ сдѣлалъ изъ романа мистически-фантастически-аллегорическій разсказъ съ нравственной цѣлью. Многочисленное племя романовъ подъ фирмой: «автора Ринальдо-Ринальдини», досыта кормило публику удалыми и иногда великодушными разбойниками. Г-жи Жанлисъ (Genlis) и Коттенъ (Cottin) прославились сантиментально-моральными романами, но у первой на главномъ планѣ была мораль и—ея неизбѣжная спутница — скука [3]). Не распространяясь ни объ авторѣ «Таинственной Урны», ни о романахъ Коцебу и не упоминая о прочихъ, менѣе важныхъ романистахъ и романахъ прошлаго вѣка,—скажемъ, что всѣ исчисленныя нами романическія школы и издѣлія, несмотря на всѣ ихъ различія, совершенно сходны въ одномъ: всѣ они изображали дѣйствительность, жизнь и людей въ искаженномъ видѣ, такъ, чтобы начитавшійся ихъ и повѣрившій имъ молодой человѣкъ, вступя въ дѣйствительную жизнь, съ ужасомъ увидѣлъ наконецъ, что она діаметрально-противоположна тому понятію о ней, которое извлекъ онъ изъ своихъ любезныхъ романовъ. Это были сказки, тѣшившія воображеніе и фантазію и добросовѣстно обманывавшія юный и неопытный умъ. Однакожъ были и пріятныя исключенія изъ общности этого явленія. Французъ Лесажъ (Lesage), авторъ «Хромоногаго бѣса» и «Жиль-Блаза», именно тѣмъ и останется навсегда знаменитъ, что, при замѣчательномъ, хотя и не самобытномъ талантѣ (ибо большей частью заимствовалъ у испанцевъ), онъ изображалъ жизнь и людей такими, каковы они есть на самомъ дѣлѣ, а не такими, какими бы имъ слѣдовало (по личному мнѣнію автора) быть [4]). Къ одной категоріи принадлежатъ

*) Знаменитый романъ Скаррона былъ переведенъ на русскій языкъ въ 1801 году, подъ нелѣпымъ заглавіемъ: «Смѣшныя повѣсти забавнаго Скаррона, съ описаніемъ его жизни и всѣхъ сочиненій»; въ 4-хъ частяхъ.

[1]) Впрочемъ, Дюкре-Дюмениль принадлежитъ по времени и къ настоящему столѣтію: онъ родился въ 1761, а умеръ въ 1819 году.

[2]) Левисъ родился въ 1773, а умеръ въ 1818, знаменитый романъ его «Монахъ» вышелъ въ 1795 г.

[3]) Stéphanie-Felicité Dugrest de St.-Aubin, comtesse de Genlis боролась въ своихъ романахъ съ энциклопедистами, называя себя *литераторомъ* (homme de lettres) и *гувернеромъ* (gouverneur) дѣтей герцога Орлеанскаго. Родилась въ 1746, умерла въ 1830 году. Это былъ замѣчательнѣйшій и забавнѣйшій *синій чулокъ* прошлаго вѣка. Она оставила болѣе *восьмидесяти* сочиненій.

[4]) Лесажъ родился въ 1668, умеръ въ 1747 году. «Жиль-Блазъ» показался въ свѣтъ между 1715—1735 годами.

французъ Пиго-Лебрёнъ (Pigault Lebrun [1]) и нѣмецъ Крамеръ (Gotlob Cramer): оба они съ манерой изображать дѣйствительность, отчасти циничесой и преувеличенной въ наше время Поль-де-Кокомъ, соединяли иронію отрицанія, чего вовсе нѣтъ у послѣдняго. Гораздо замѣчательнѣе ихъ и со стороны таланта, и со стороны иронiи отрицанія два англичанина—Свифтъ (Swift), авторъ «Гулливерова Путешествія», и Стернъ (Sterne), авторъ «Тристрама Шанди» [2]). Нужно ли упоминать, что два вождя вѣка, Вольтеръ и Руссо, пользовались формой романа: одинъ для выраженія своихъ идей отрицанія, другой для выраженія своихъ восторженныхъ идей о любви («Новая Элоиза») и о воспитаніи («Эмиль»)? Но нельзя не упомянуть о романѣ, который написанъ обыкновеннымъ человѣкомъ, но которому, по его поэтической и психологической вѣрности, суждено безсмертіе: мы говоримъ объ «Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut» аббата Прево (Prevost d'Exiles [3]).

Во всѣхъ лучшихъ романахъ прежняго времени видно стремленіе быть картиной общества, представляя анализъ его основаній. Но это было только стремленіемъ; XIX-му вѣку, въ лицѣ Вальтеръ-Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значеніе романа. Въ эпоху величайшаго торжества своего великій шотландскій романистъ былъ, разумѣется, не понятъ. Всѣ думали, что вся тайна чрезвычайнаго ихъ успѣха заключается въ исторической вѣрности нравовъ и костюмовъ,—тогда какъ все дѣло заключалось прежде всего въ вѣрности дѣйствительности, въ живомъ и правдоподобномъ изображеніи лицъ, умѣніи все основать на игрѣ страстей, интересовъ и взаимныхъ отношеній характеровъ. Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія можетъ служить то, что напримѣръ «Сенъ-Ронанскія воды» и «Ламмермурская Невѣста», не будучи нисколько историческими, тѣмъ не менѣе принадлежатъ къ лучшимъ романамъ Вальтеръ-Скотта. Не поняви этого, явилась толпа подражателей во всѣхъ европейскихъ литературахъ, и историческіе романы свирѣпымъ потокомъ низвергнулись на литературы всей Европы и затопили ихъ. Вальтеръ-Скоттовъ развелось вездѣ столько, что дѣвать было некуда. Но въ сущности не они, не эти Вальтеръ-Скотты, воспользовались новымъ широкимъ путемъ, проложеннымъ въ искусствѣ настоящимъ Вальтеръ-Скоттомъ. Только геній понимаетъ генія и пользуется правомъ преемственности отъ него продолженія великаго дѣла, потому-что только геній умѣетъ отличить въ дѣлѣ идею отъ формы. Между романами Купера и Вальтеръ-Скотта столько же сходства, сколько между старой, исторической гражданственностью Англіи и юной, лишенной почвы преданій, еще не установившейся цивилизаціей Сѣверо-Американскихъ штатовъ, сколько между блѣдной природой тѣснаго пространства, занимаемаго Великобританіей, и богатой природой неисходныхъ дѣвственныхъ пустынь Сѣверной Америки. А между тѣмъ нисколько не подражая Вальтеръ-Скотту, Куперъ больше и лучше его жалкихъ подражателей воспользовался открытой имъ новой великой дорогой въ искусствѣ. Въ исторіи искусства и литературы такъ же все преемственно, какъ и въ исторіи человѣчества, и никакъ нельзя сказать, чтобы Жоржъ Зандъ не былъ столько же обязанъ генію Вальтеръ-Скотта и Купера, столько этотъ послѣдній первому, а между тѣмъ что же есть общаго между романами Жоржъ Занда и романами Вальтеръ-Скотта и Купера?...

Жоржъ Зандъ есть, безъ сомнѣнія, первый поэтъ и первый романистъ нашего времени. За его романами, не безъ основанія, утверждено названіе «соціальныхъ», какъ за романами Вальтеръ-Скотта было съ меньшимъ основаніемъ утверждено названіе «историческихъ». Не нужно особенно пристально вглядываться вообще въ романы нашего времени, сколько-нибудь запечатлѣнные истиннымъ художественнымъ достоинствомъ, чтобы увидѣть, что ихъ характеръ по преимуществу соціальный. Довольно указать на романы англичанина Диккенса, обладающаго талантомъ высшаго разряда; а у насъ, въ Россіи,—на произведенія автора «Мертвыхъ Душъ», давшаго живое общественное и глубоко-національное направленіе новой литературѣ своего отечества... Содержаніе романа — художественный анализъ современнаго общества, раскрытіе тѣхъ невидимыхъ основъ его, которыя отъ него же самого скрыты привычкой и безсознательностью. Задача современнаго романа—воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея нагой истинѣ. И потому очень естественно, что романъ завладѣлъ, исключительно передъ всѣми другими родами литературы, всеобщимъ вниманіемъ: въ немъ общество видитъ свое зеркало и черезъ него знакомится съ самимъ собой, совершаетъ великій актъ самосознанія.

«Какъ! — скажутъ намъ можетъ-быть:—и эти разсказы о небывалыхъ и невозможныхъ князьяхъ Рудольфахъ, рыцарствующихъ въ кабакахъ и убѣжищахъ нищеты и воровства, о вѣчномъ жидѣ и дрожайшей половинѣ его Иродіанѣ, обнимающихся черезъ Беринговъ проливъ, о бѣдномъ морякѣ, который превращается какимъ-то чудомъ въ графа Монте-Кристо, обладающаго билліонами, всѣ эти «тайны»—лондонскія, берлинскія, брюссельскія, всѣ эти дѣти тайны или чорта,—неужели все это не вздорныя сказки, а глубокій анализъ, вѣрная картина современнаго общества?»

Мы охотно признали бы справедливость подобнаго возраженія, еслибъ оно намъ было сдѣлано; скажемъ болѣе: этотъ-то вопросъ и составляетъ предметъ нашей статьи. Но прежде, нежели мы къ нему обратимся, намъ нужно воротиться немного назадъ.

[1]) Родился въ 1753, умеръ въ 1835 году.

[2]) Свифтъ родился въ 1667, умеръ въ 1745 году; Стернъ родился въ 1713, умеръ въ 1768 году.

[3]) Родился въ 1697, умеръ въ 1763 году. Знаменитый романъ его появился въ 1732 году.

Еще прежде нежели романы Вальтеръ-Скотта получили всеобщую извѣстность и классическій авторитетъ, романъ въ XIX вѣкѣ началъ уже измѣняться въ духѣ и направленіи и стремиться къ болѣе серьезному значенію. Революція измѣнила нравы Европы, сантиментальность прошлаго вѣка стала становиться смѣшной, а легкая каламбурная пронія и насмѣшливость уступать мѣсто то сарказму и юмору, то необузданному довѣрію къ фантастическимъ идеямъ. Переходная эпоха, не понимая себя и не находя въ себѣ самой никакой прочной опоры, бросилась искать спасенія въ среднихъ вѣкахъ. Чистаго, наивнаго вѣрованія, свойственнаго вѣкамъ младенческаго состоянія человѣчества, не было и не могло быть въ цивилизаціи, обладавшей знаніемъ и прошедшей черезъ радикальное отрицаніе XVIII столѣтія. Это отразилось и на романѣ. Онъ не хотѣлъ больше быть сказкой для забавы празднаго воображенія; напротивъ, обнаружилъ притязаніе на рѣшеніе высшихъ вопросовъ мистической стороны жизни. И вотъ въ то время, когда Дюкре-Дюменилъ и г-жа Жанлисъ досказывали еще свои запоздалыя сказки, ирландецъ Матюренъ [1]) изумилъ всѣхъ въ своемъ «Мельмотѣ Скитальцѣ» необузданностью дикой фантазіи, которая при лучшемъ направленіи могла бы произвести что-нибудь, ознаменованное истиннымъ талантомъ. Въ Германіи геніальный безумецъ Гофманъ возвысилъ до поэзіи болѣзненное разстройство нервъ. Обладая удивительнымъ юморомъ, при огромномъ талантѣ изображать дѣйствительность во всей ея истинности и казнить ядовитымъ сарказмомъ филистерство и гофратство своихъ соотечественниковъ, — онъ въ то же время, какъ истинный нѣмецъ, призракамъ своего разстроеннаго воображенія, которыхъ искренно пугался и боялся и надъ которыми тоже искренно смѣялся, и фантастическимъ нелѣпостямъ принесъ въ жертву и свой несравненный талантъ, и безсмертіе имени своего въ потомствѣ... Артистъ по натурѣ, поэтъ, живописецъ и музыкантъ, одаренный въ высшей степени художественнымъ смысломъ,—какъ только познакомился онъ съ романами Вальтеръ-Скотта, тотчасъ понялъ и то, что это истинныя произведенія творчества, и то, что его собственные романы—незаконнорожденныя дѣти искусства. Тогда написалъ онъ лучшую свою повѣсть, такъ громко свидѣтельствующую объ огромности его таланта—«Мастеръ Іоганесъ Вахтъ», въ которой уже не было ничего фантастическаго. Казалось, онъ рѣшился идти новой дорогой, но было уже поздно: вскорѣ послѣ того онъ умеръ, истощенный безпорядочнымъ образомъ жизни [2]). Жанъ-Поль Рихтеръ въ «Титанѣ» и «Леванѣ» съ замѣчательнымъ талантомъ выражалъ свои раздуто-идеальныя, натянуто-превыспренныя идеи о значеніи человѣка и жизни его. Къ этой же категоріи должно отнести Тика, романтика по убѣжденію и довольно посредственнаго писателя, который впрочемъ писалъ во всѣхъ родахъ. Его «Витторія Аккарамбони» есть попытка написать романъ уже въ духѣ нашего времени.

Еще въ концѣ прошлаго вѣка (1774) Гёте издалъ своего «Вертера» [1]),—этого родоначальника слабыхъ, болѣзненныхъ натуръ, которыми всегда такъ обильны переходныя эпохи. «Вильгельмъ Мейстеръ», по своему дидактическому характеру, принадлежитъ къ типу «Эмиля» Руссо; но въ «Вертерѣ» Гёте какъ будто опередилъ время и разгадалъ болѣзнь будущаго вѣка. Поэтому его романъ имѣлъ на нашъ вѣкъ огромное вліяніе,— и «Вертеръ» явился потомъ въ «Рене» Шатобріана, въ «Оберманѣ» Сенанкура и отразился въ безчисленномъ множествѣ другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ или незамѣчательныхъ произведеній. Шатобріанъ не довольствовался «Аталой» и «Рене»: онъ изъ «Мучениковъ» сдѣлалъ романъ, довольно надутый и риторическій; но онъ былъ въ духѣ реакціи прошлому вѣку, и потому привелъ въ восторгъ возвратившуюся во Францію эмиграцію, которая горькимъ опытомъ дознала, что для нея выгоднѣе мистическій піэтизмъ, нежели вольтеріанское кощунство, недавно столь любимое ею... Надутый Дарлинкуръ въ своихъ нелѣпыхъ романахъ довелъ до карикатуры это романтико-піэтическое направленіе.

По мѣрѣ ознакомленія Франціи съ европейскими литературами, которыхъ она прежде съ гордымъ невѣжествомъ не хотѣла знать, ея собственная литература подверглась вліянію всѣхъ другихъ литературъ, преимущественно англійской и отчасти даже нѣмецкой. Въ романѣ особенно отразилось двойственное вліяніе Вальтеръ-Скотта и Байрона. Тогда-то возникла такъ называемая «непстовая школа», любившая изображать адъ душевныхъ и физическихъ страданій человѣка. Всѣ страсти, всѣ злодѣйства, варварства, пороки, пытки, муки — были пущены въ дѣло. Демоническія натуры à la Byron дюжинами рисовались въ качествѣ героевъ новыхъ произведеній. Это было ложно и натянуто, потому-что эти страшные Байроны въ сущности были предобрые и даже веселые ребята; но все это было не безъ смысла, не безъ таланта, не безъ достоинства, хотя и временнаго только.

Французы всегда умѣютъ остаться французами, подъ чьими бы и подъ сколькими бы вліяніями ни находились они. И потому эти «разочарованные» романы никогда не брались ни за отвлеченныя, ни за фантастическія идеи, но всегда имѣли въ виду общество, и если съ одной стороны страшно лгали на него, то съ другой—иногда говорили правду, а главное — подняли важные общественные вопросы, — больше всѣхъ вопросъ о наупе-

[1]) Родился въ 1782, умеръ въ 1824 году.
[2]) Гофманъ родился въ 1776, умеръ въ 1822 г.

[1]) Шиллеръ тоже написалъ романъ: *Духовидецъ*, въ которомъ всѣ чудеса производятся впрочемъ очень естественно, посредствомъ обмана, жертвой котораго дѣлается не читатель, а герой романа. Романъ этотъ не достоинъ имени своего автора.

ризмѣ. Наконецъ явился Жоржъ Зандъ, — и романъ окончательно сдѣлался общественнымъ или соціальнымъ.

Какое бы ни было направленіе французскихъ романистовъ—Бальзака, Гюго, Жанена, Сю, Дюма и пр., въ первую эпоху ихъ дѣятельности, — оно имѣло свои хорошія стороны, потому-что происходило отъ болѣе или менѣе искреннихъ личныхъ убѣжденій и невольно выражало духъ времени. Всѣ эти романисты писали съ французской живостью и быстротой, но однакожъ не на заказъ. Въ ихъ сочиненіяхъ видно было уваженіе и къ литературѣ, и къ публикѣ, и къ самимъ себѣ, потому что видны были слѣды мысли, соображенія, литературной отдѣлки. И вдругъ все это измѣнилось: потянулись романы одинъ другого длиннѣе, безобразнѣе, нелѣпѣе. Если въ прежнихъ романахъ частенько нарушалось правдоподобіе, это происходило отъ ложности убѣжденія, которое все-таки было искренно и наивно. Но теперь не то: теперь авторъ сознательно искажаетъ истину, лжетъ съ умысломъ, придумываетъ нелѣпости съ намѣреніемъ. Ему лишь бы эффектъ былъ, а каковъ этотъ эффектъ — не его дѣло; онъ обращается съ своими читателями, какъ съ школьниками, какъ Далай-Лама съ своими поклонниками, морочитъ ихъ, какъ фокусникъ, выдающій себя за колдуна передъ толпой деревенскихъ простаковъ. За примѣрами ходить на далеко; они у всѣхъ въ свѣжей памяти. Но прежде надобно условиться въ значеніи романа, какъ поэтическаго произведенія. Романъ, какъ всякое художественное произведеніе, есть воспроизведеніе явленій дѣйствительнаго міра во всей ихъ истинѣ. Истина такъ же есть предметъ и цѣль искусства, какъ и философіи; вся разница въ средствахъ и пріемахъ. Иначе, чѣмъ бы искусство было выше игры въ карты? Нѣтъ, оно было бы ниже всякаго ремесла, потому что ремесло полезно. Но еслибы романъ былъ и просто только сказкой для развлеченія отъ скуки, и тогда люди съ умомъ вправѣ были бы требовать отъ него, чтобъ онъ, и въ качествѣ сказки, удовлетворялъ ихъ какъ людей съ умомъ, а не какъ глупцовъ. А что же можетъ быть умнаго въ невозможномъ? А развѣ возможны эти богатства частныхъ людей, превосходящія годовой бюджетъ богатѣйшаго изъ европейскихъ государствъ? Но вотъ примѣръ самый свѣжій. Въ послѣднемъ и остановившемся, кажется, надолго, къ крайнему огорченію его читателей и почитателей, романѣ своемъ «Записки Врача», Александръ Дюма показалъ такой неслыханный опытъ безстыднаго неуваженія къ здравому смыслу публики, который долженъ привести въ отчаяніе всѣхъ другихъ сказочниковъ. Извѣстно, что въ XVIII вѣкѣ былъ шарлатанъ, который выдавалъ себя за графа де Сенъ-Жермена и умѣлъ втереться ко двору Людовика XV. Этотъ шарлатанъ, какъ догадываются, принадлежалъ къ шайкѣ герметистовъ (обладающихъ алхимической тайной дѣлать золото), которой главой былъ извѣстный авантюристъ Казанова; онъ разглашалъ о себѣ, что умѣетъ дѣлать золото и что онъ жилъ во всѣ вѣка и помнитъ, какъ своихъ современниковъ, Сократа, Платона, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, не говоря уже о замѣчательныхъ лицахъ отъ Карла Великаго до XVIII вѣка включительно. Есть преданіе, будто за веселымъ ужиномъ онъ предрекъ своимъ собесѣдникамъ ужасы революціи, и когда они показали недовѣрчивость къ его пророчеству, онъ пригласилъ ихъ посмотрѣть другъ на друга,—и они съ ужасомъ увидѣли себя обезглавленными, кромѣ одного, который впослѣдствіи дѣйствительно успѣлъ увернуться отъ гильотины. Разумѣется, это преданіе одного сорта съ преданіемъ о «Вѣчномъ Жидѣ» и сочинено заднимъ числомъ. Но Александру Дюма того и нужно. Онъ вспомнилъ кстати о другомъ знаменитомъ шарлатанѣ XVIII вѣка, фокусникѣ, интриганѣ, пройдохѣ и мошенникѣ Калліостро,—и изъ этихъ двухъ, совершенно различныхъ, лицъ сдѣлалъ одно, предоставивъ ему лестную честь играть роль героя своего новаго романа. Этотъ герой ѣдетъ въ Парижъ верхомъ на арабскомъ жеребцѣ, сопровождая карету, которая похожа на домъ и состоитъ изъ двухъ отдѣленій: въ одномъ устроена химическая лабораторія, и въ ней столѣтній старикъ, что-то вродѣ индійца или тибетца, занимается дорогой отыскиваніемъ жизненнаго элексира, дающаго человѣку безсмертіе; другое отдѣленіе какъ во всѣхъ каретахъ — въ немъ сидитъ прекрасная дѣвушка. Когда герою Александра Дюма нужно узнать или будущее, или что-нибудь такое, чего за отдаленностью нѣсколькихъ десятковъ или сотенъ миль онъ не можетъ видѣть и знать,—тогда онъ однимъ взглядомъ и размѣренными движеніями рукъ приводитъ въ сомнамбулизмъ первую попавшуюся ему молоденькую и хорошенькую дѣвушку и повелительно дѣластъ ей нужные ему вопросы, а она, трепеща и страдая тѣломъ и душой, покорно отвѣчаетъ ему... Такимъ образомъ, посредствомъ магнетическаго вліянія, онъ влюбилъ въ себя красавицу, обреченную монастырю и уже постриженную, и увелъ ее изъ монастыря сквозь стѣны, запертыя на замки ворота, мимо караульныхъ... Ему все возможно—на то онъ и герой... Въ это время ѣхала изъ Вѣны въ Парижъ австрійская эрцъ-герцогиня, Марія-Антуанетта, къ своему жениху, будущему королю Франціи, Людовику XVI. На дорогѣ вздумалось ей заѣхать къ одному разорившемуся маркизу (т. е. Александру Дюма вздумалось вложить ей это желаніе). Маркизъ ничего не предчувствуетъ, но герой романа, остановившійся на ночь въ его развалившемся замкѣ, предсказываетъ ему это. Пріѣхала принцесса—принять ее негдѣ, угостить нечѣмъ. Но для нашего героя это не затрудненіе, а пустяки: махнулъ рукой— и на дворѣ, подъ липами, явилась великолѣпная палатка, а въ ней—великолѣпно сервированный столъ съ чуднымъ завтракомъ: бѣлье тоньше паутины, бѣлѣе снѣгу, золото, серебро, фарфоръ, хрусталь... Герой ловко набивается на честь быть

представленнымъ, въ качествѣ колдуна, принцессѣ. Чтобъ убѣдиться въ его чародѣйствѣ, она требуетъ, чтобъ онъ предсказалъ ей ея будущую участь. Поломавшись, онъ согласился; всѣ вышли изъ палатки, колдунъ сталъ смотрѣть въ графинъ съ какой-то жидкостью и показывать его принцессѣ: Александръ Дюма не открылъ своимъ читателямъ, что̀ увидѣла тамъ принцесса, но когда, услышавъ крикъ ея, свита вбѣжала въ палатку, принцесса лежала на полу безъ чувствъ, а колдуна и слѣдъ простылъ, словно сквозь землю провалился... Понятно, что онъ предрекъ ей событія 93 года, столь плачевныя для королевской фамиліи. Извѣстно достовѣрно, что Маріи Антуанеттѣ никто подобнаго предсказанія не дѣлалъ; но если Александръ Дюма давно уже отрекся начисто отъ здраваго смысла, какъ унизительной для генія препоны, то что̀ ему послѣ этого исторія—къ чорту ее!.. Пріѣхавъ въ Парижъ, онъ посредствомъ магнетизированія своей красавицы (которая было улепетнула отъ него, но которую онъ опять съумѣлъ вырвать изъ монастыря, гдѣ настоятельницей была дочь Людовика XV) узнаетъ все, что̀ дѣлается въ Парижѣ, и словно кашу варитъ въ химической кастрюлѣ кусокъ золота для кардинала Рогана въ его присутствіи,—кусокъ, цѣною въ триста тысячъ франковъ... Дальнѣйшихъ фокусъ-покусовъ интереснаго героя мы не знаемъ, затѣмъ, что романъ остановился, какъ по причинѣ путешествія автора въ Испанію, а оттуда, на казенномъ пароходѣ, въ Алжиръ, такъ и по причинѣ процесса, въ который впутался великій господинъ Александръ Дюма за одну изъ тѣхъ продѣлокъ на манеръ Калліостро, которыя отъ однихъ удостоиваются названія «геніальныхъ», а отъ другихъ... какъ бы это сказать повѣжливѣе?.. ну, хоть—«безчестныхъ»... О, великій господинъ Александръ Дюма, о, достойный герой, о, любимое, балованное дитя нашего вѣка!—что̀-то еще наплетешь и напутаешь ты намъ въ своемъ романѣ, когда, вдохновленный штрафами, которые принужденъ будешь заплатить по приговору суда, или—чего вѣроятно съ тобою не будетъ—воспользовавшись уединеніемъ тюрьмы (которой бы ты, право, стоилъ!),—примешься ты вновь продолжать интересныя похожденія своего интереснаго и достойнаго галеръ героя?..

И вотъ такіе то романы теперь всѣми читаются съ жадностью, увеличиваютъ собою число подписчиковъ на политическіе журналы, доставляютъ своимъ производителямъ огромныя деньги; потомъ отпечатываются отдѣльно и по всей Европѣ расходятся въ неимовѣрномъ числѣ экземпляровъ и наконецъ даютъ пищу и поддерживаютъ въ переводахъ даже нѣкоторые изъ нашихъ журналовъ, и, опять отдѣльно печатаемые, расходятся въ большомъ числѣ экземпляровъ!

Что̀ это такое? Или снова настало вѣкъ Анны Радклифъ и автора «Ринальдо Ринальдини» съ братіею? Или и въ самомъ дѣлѣ нашъ дряхлый вѣкъ впалъ въ умственное младенчество и не можетъ иначе вздремнуть послѣ сытнаго обѣда, какъ подъ однообразный лепетъ старой няни, разсказывающей ему разныя небылицы?.. Или и въ самомъ дѣлѣ правъ негодующій поэтъ, который сказалъ, что

Насъ тѣшутъ блестки и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...?

Не спѣшите обвинять нашъ вѣкъ—ему и такъ больно достается со всѣхъ сторонъ, и его только бранятъ, а никто не похвалитъ... А между тѣмъ, право, его есть за что̀ и похвалить. Правда, онъ вовсе не рыцарь, не думаетъ нисколько ни о добродѣтели, ни о морали, ни о чести, и весь погруженъ въ пріобрѣтеніе или, какъ у насъ ловко выражаются, въ благопріобрѣтеніе; правда, онъ—торгашъ, алтынникъ, спекулянтъ, разжившійся всѣми неправдами откупщикъ; но онъ очень уменъ и, что̀ мнѣ больше всего нравится въ немъ, очень вѣренъ самому себѣ, логически послѣдователенъ... Онъ, видите ли, лучше своихъ предшественниковъ смекнулъ, на чемъ стоитъ и чѣмъ держится общество, и ухватился за принципъ собственности, впился въ него и душой, и тѣломъ, и развиваетъ его до послѣднихъ слѣдствій, каковы бы они ни были... Воля ваша, а тутъ нельзя не видѣть своего рода героизма логической послѣдовательности... И какъ ловко взялся онъ за это: изъ старой морали и изъ всего, чѣмъ думало держаться прежнее общество, онъ удержалъ только то, что́ пригодно ему, какъ полицейская мѣра, облегчающая средства къ «благопріобрѣтенію» и обезпечивающая спокойное обладаніе его сочными плодами... Чудный вѣкъ! нельзя довольно нахвалиться имъ! Его открытіе важнѣе открытія Америки и изобрѣтенія пороха и книгопечатанія, потому что открытая имъ великая тайна—теперь уже не тайна не для однихъ капиталистовъ, антрепренёровъ и подрядчиковъ, словомъ, «пріобрѣтателей», живущихъ чужими трудами,—но и для тѣхъ, которые для нихъ трудятся... И эти ужъ знаютъ, на чемъ міръ стоитъ, т. е. и они хотятъ читать романы...

И дѣйствительно, кто читаетъ эти романы? Въ старину чернь называлась у насъ «подлымъ народомъ»; благодаря образованности и просвѣщенію, это подлое названіе давно уже истребилось, а слово «чернь» удержалось. Но чернь есть вездѣ, во всѣхъ слояхъ общества; Пушкинъ указалъ намъ даже на свѣтскую чернь... Вездѣ есть эти ординарныя, дюжинныя натуры, которымъ физическая пища нужна самая деликатная, утонченная, а нравственная—самая грубая, безвкусныя издѣлія харчевенныхъ поваровъ вродѣ Александра Дюма съ братіей. Вы думаете, много читателей во Франціи у Жоржъ Занда? Вѣроятно гораздо меньше, нежели сколько ихъ есть у него въ сложности въ другихъ странахъ Европы и въ Америкѣ. И Жоржъ Занду журналисты платятъ большія деньги за печатаніе его романовъ въ фельетонѣ, но это больше для громкаго имени, и потомъ (мы знаемъ это

изъ достовѣрныхъ источниковъ) сильно пожимаются и наверстываютъ свою потерю продажей отдѣльно напечатаннаго того же романа. Вотъ другой примѣръ. Лучшій послѣ Жоржъ Занда романистъ во Франціи—Шарль Бернаръ. Это человѣкъ не геніальный, но съ замѣчательнымъ талантомъ, истинный поэтъ, а не эффектный сказочникъ. Легитимистъ по своимъ убѣжденіямъ, онъ этимъ иногда вредитъ себѣ, какъ поэту, но поэтическій инстинктъ въ немъ такъ крѣпокъ, что отъ него часто достается своимъ и нерѣдко выставляетъ онъ въ лучшемъ свѣтѣ чужихъ. Какъ всегда просты и естественны завязка, ходъ, развитіе и развязка его романовъ! Какъ хорошо выдержаны характеры, какъ вѣрно изображается современное французское общество! Вспомнимъ хоть послѣдній романъ его «Деревенскій дворянинъ»; въ немъ разсказаны происшествія двухъ или трехъ дней, до того простыя, естественныя, обыкновенныя, что мудрено было бы пересказать ихъ на словахъ, а между тѣмъ, зачитавши этотъ романъ, нельзя отъ него оторваться, не кончивши его... Вотъ это талантъ! Но пользуется ли онъ хотя десятой долей извѣстности, какой пользуется напр. Александръ Дюма и подобные ему? Кто знаетъ его напримѣръ у насъ? А между тѣмъ всѣ его романы постоянно переводились въ «Отечественныхъ Запискахъ»,— журналѣ, который, какъ извѣстно, давно уже пользуется большимъ расходомъ.

Ежели грубыя и безвкусныя издѣлія вродѣ «Записокъ Врача» находятъ себѣ читателей, почитателей и восторженныхъ обожателей въ образованныхъ классахъ общества, сколько же должны находить они ихъ въ полуобразованныхъ и низшихъ классахъ? И дѣйствительно, романы Сю, Дюма, Сулье и т. п. съ жадностью читаются въ Парижѣ дворниками (portiers), преимущественно ихъ женами (portières), гризетками, лоретками и т. д., которые не читаютъ романовъ Жоржъ Занда, находя ихъ не интересными и скучными.

У насъ многіе негодуютъ на то, что такими романами преимущественно наполняются наши журналы, видя въ этомъ какой-то вредъ и для нравовъ, и для литературы. Подобное мнѣніе намъ всегда казалось несправедливымъ. «Тысяча и одна ночь», или арабскія сказки, не болѣе вредны для нравовъ. А что̀ касается до искаженія вкуса и упадка литературы — это еще больше напрасное опасеніе. Есть люди, которые уже родятся съ такимъ вкусомъ, который только такими романами и можетъ удовлетворяться: не будь ихъ, они ничего не читали бы. А читать хоть и вздоръ, лишь бы безвредный, все же лучше, нежели играть въ карты или сплетничать. Что́ же касается до людей низшихъ классовъ общества, эти романы для нихъ—истинное благодѣяніе. Соотвѣтственно съ ихъ образованіемъ, эти романы для нихъ—художественныя произведенія, способныя развить и возвысить, а не исказить и огрубить ихъ понятія. Конечно у насъ не только дворники, но и швейки еще не читаютъ романовъ (образованіе послѣднихъ пока еще не хватаетъ дальше водевильныхъ куплетцовъ россійскаго издѣлія); но сколько же у насъ людей, которые по образованію — тѣ же швейки, а по положенію имѣютъ и время, и способы къ чтенію? Притомъ же, если чернь есть вездѣ, и въ высшихъ слояхъ общества, то и аристократія (природы) есть вездѣ, и въ низшихъ слояхъ общества. Иной переходитъ къ чтенію этихъ романовъ отъ «Бовы», «Еруслана» и «Георга Милорда Аглицкаго», а отъ этихъ романовъ— къ романамъ Вальтеръ-Скотта, Купера и ко всему, что́ иностранныя литературы и своя отечественная представляютъ лучшаго, и уже не возвращаются назадъ. А еслибъ и не такъ — что̀ нужды, лишь бы читали!

Но если эти романы ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть вредны, напротивъ, во многихъ отношеніяхъ полезны, — изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ ихъ авторы заслуживали уваженіе или благодарность. Они тѣмъ не менѣе все-таки торгаши, фигляры, гаеры, потѣшающіе за деньги толпу, безъ всякаго уваженія къ самимъ себѣ. Они трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своихъ житейскихъ выгодъ. За что̀ жъ ихъ уважать и благодарить? Волъ пасется на полѣ и, оставляя на немъ слѣды своего присутствія, способствуетъ его бо̀льшему плодородію на будущее лѣто, но кто за это поклонится ему?..

Грустнѣе всего, что къ этой шайкѣ сказочныхъ потѣшниковъ добровольно примкнулся писатель съ несомнѣннымъ и большимъ дарованіемъ. Мы говоримъ о знаменитомъ Эженѣ Сю. Въ его «Парижскихъ Тайнахъ» столько любви къ человѣчеству, благородныхъ инстинктовъ, столько страницъ, запечатлѣнныхъ признаками высокаго таланта! И между тѣмъ весь романъ основанъ на мелодрамѣ, столько неестественныхъ лицъ, особенно между отличающимися по части добродѣтели! Герой романа— лицо сказочное, невозможное, героиня—и приторна, и неестественна; поэтому эпилогъ, какъ неизбѣжное слѣдствіе ложной причины, бросается въ глаза своей пошлостью, приторной сантиментальностью, лицемѣрствомъ чувства, скукой, неестественностью, надутостью и фразёрствомъ. Въ «Вѣчномъ Жидѣ» мѣстами поражаютъ читателя тѣ же яркія достоинства, какими блистаютъ «Парижскія Тайны»; но недостатки уже во сто разъ поразительнѣе, нежели въ послѣднемъ романѣ. Важность іезуитовъ, сила ихъ вліянія мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мѣрѣ цѣль автора была хороша и похвальна; но къ чему приплелъ онъ тутъ легенду о жидѣ и жидовкѣ? И что онъ ею сдѣлалъ?—насмѣшилъ всѣхъ, потому-что впалъ черезъ нее не только въ неестественность разсказа, но еще и въ риторическую надутость изложенія. А это чудовищно-огромное наслѣдство, въ 200 милліоновъ, охраняемое нѣсколькими поколѣніями одной и той же жидовской фамиліи? А приторные близнецы-сестры,

Роза и Бланка, а страшный успѣхъ всѣхъ продѣлокъ Родэна и мелодраматическая смерть всѣхъ добродѣтельныхъ лицъ романа? Но всего и не перечтешь! Зачѣмъ же это «все» замѣшалось въ произведеніе необыкновенно-даровитаго писателя? Затѣмъ, что нужно время и время для того, чтобы писать хорошо и обходиться безъ нелѣпостей, натяжекъ и эффектовъ, чтобы обдумывать свое произведеніе прежде, нежели оно написано, и потомъ обдѣлывать, исправлять, а мѣстами и вовсе передѣлывать все написанное сгоряча, неловкое, неровное, несообразное съ цѣлымъ. А времени-то и нѣтъ у Сю: онъ контрактомъ обязался поставлять по цѣлому тому къ такому-то сроку. Написавши главу перваго тома, онъ сейчасъ же отсылаетъ ее въ типографію журнала, и такимъ образомъ первая глава перваго тома должна оставаться неизмѣняемой, хотя авторъ хорошенько не знаетъ, что̀ онъ будетъ писать во второмъ томѣ, а всѣхъ томовъ-то десять!... Итакъ, если въ первой главѣ онъ допустилъ, можетъ-быть и по необходимости, какую-нибудь нелѣпость,—онъ уже на весь романъ связанъ этой нелѣпостью и долженъ развивать ее во всѣхъ десяти томахъ, какъ бы ни отвратительна казалась потомъ она самому ему!... Всему злу корень—деньги. Эжену Сю платятъ огромныя суммы, и естественно—за это требуютъ, чтобъ онъ работалъ за троихъ. Сколько уже разъ останавливался онъ въ своихъ работахъ, какъ останавливается водовозная лошадь, не смотря на удары кнута, ибо чувствуетъ, что ей надо остановиться и перевести духъ, или сейчасъ же повалиться замертво... Итакъ, здоровье, талантъ, литературная репутація,—все принесено въ жертву деньгамъ! Винить ли его за это?... Не дай Богъ никому подражать ему, но я не чувствую никакой охоты винить его, тѣмъ болѣе, что и безъ меня за обвинителями дѣло не станетъ... По моему, тутъ во всемъ виноватъ fatum.

Что̀ бы ни писалъ Эжень Сю, всегда у него есть что-то вродѣ мысли, какое-то стремленіе рѣшить или по крайней мѣрѣ поставить на видъ какой-нибудь нравственный соціальный вопросъ. Въ этомъ отношеніи онъ вѣренъ себѣ и въ двухъ романахъ, которыхъ заглавіе выставлено въ началѣ нашей статьи. Героиня перваго романа, Тереза Дюнойе, страстно полюбила величайшаго негодяя, который, нисколько не любя ея, увѣрилъ въ своей любви изъ разсчета, потому что женитьбой на ней думалъ поправить свои разстроенныя обстоятельства. Чтобы вѣрнѣе достичь цѣли, онъ обманулъ ее, но когда увидѣлъ, что отецъ прогналъ Терезу и начисто отказался дать ей хоть грошъ, онъ рѣшился изъ состраданія къ ней еще нѣсколько времени обманывать ее. Она видитъ все, страдаетъ, но вѣритъ ему со всѣмъ упорствомъ слѣпой страсти и сильнаго характера. Она не перестала страстно любить его и тогда, какъ вполнѣ убѣдилась въ его подлости. Ее любилъ другой, спасъ съ ребенкомъ отъ голодной смерти, и перевезъ къ себѣ въ замокъ, противъ ея воли, обезпечилъ участь ея ребенка, въ надеждѣ, что она излѣчится наконецъ отъ своей несчастной страсти къ негодяю и полюбитъ его; но онъ, несмотря на эту надежду, ничего отъ нея не требовалъ. Тереза видѣла его страданія, сознавала его благородство и достоинство, была ему благодарна, глубоко уважала его, такъ же, какъ ясно видѣла, что первый предметъ ея уродливой любви—мерзавецъ,—и все-таки продолжала любить мерзавца... Мысль вѣрная, но не новая! Ее давно уже прекрасно выразилъ аббатъ Прево въ превосходномъ романѣ своемъ «Манонъ Леско». Еще шире, глубже и полнѣе развилъ эту мысль Жоржъ Зандъ въ одномъ изъ лучшихъ романовъ своихъ «Леонъ Леони». Тягаться Сю съ такими произведеніями конечно не подъ силу; но тѣмъ не менѣе романъ его, не будучи художественнымъ созданіемъ, имѣлъ бы свое значительное беллетристическое и литературное достоинство, еслибъ въ него, какъ и во всѣ романы Сю, не вмѣшалась мелодрама. Герой романа, баронъ Эвенъ Керелліо, влюбился въ Терезу совершенно фантастически, заочно, т. е. онъ влюбился въ портретъ какой-то женщины, по преданіямъ надѣлавшей много зла его фамиліи, а потомъ влюбился въ Терезу, увидѣвъ, что она, какъ двѣ капли воды, похожа на портретъ. А портретъ—замѣтьте—былъ сожженъ въ каминѣ еще въ дѣтствѣ Эвена, а явился вновь по волѣ рока. Къ чему всѣ эти истертыя, пошлыя и тривіальныя «роковыя» пружины, столь обольстительныя для суевѣрія старыхъ бабъ (а не женщинъ, потому-что это не одно и то же) да для легковѣрія юныхъ пансіонерокъ? Заключеніе романа — верхъ нелѣпости и пошлости: помѣшанный рыбакъ, старый суевѣрный бретонецъ, Моръ-Надеръ, искренно считающій себя колдуномъ и предсказателемъ, давно уже предрекалъ Эвену, что онъ погибнетъ въ волнахъ океана въ чорный для его фамиліи мѣсяцъ (ноябрь),—и разъ во время прогулки въ лодкѣ по морю едва съ умыслу не утопилъ Эвена за то, что тотъ усомнился въ его дарѣ предсказанія... И вотъ наши несчастныя жертвы любви, послѣ смерти ребенка, рѣшаются въ чорный мѣсяцъ оправдать предсказаніе Моръ-Надера—и погибаютъ вмѣстѣ съ нимъ втроемъ... Удивительно эффектно, но это-то и любитъ толпа, а деньги за то и даются теперь, что̀ любитъ толпа...

Почти на эту же тему написана и «Матильда». Прежде всего это романъ длинный, длинный, длинный, растянутый, монотонный и страшно скучный; потомъ это вообще преплохой романъ, хотя въ немъ и встрѣчаются изрѣдка довольно удачныя страницы. «Матильда» предшествовала «Парижскимъ Тайнамъ» и имѣла, хотя и далеко не такой, какъ эти послѣднія, но все же огромный успѣхъ. Кромѣ отсутствія не только художественнаго, просто литературнаго, беллетристическаго достоинства въ изложеніи, въ романѣ этомъ авторъ обнаружилъ рѣдкое непониманіе того, что̀ онъ дѣлалъ и что̀ бы ему должно было дѣлать, чтобъ его произведеніе не вовсе было чуждо правдоподобія

естественности. Изъ своей Матильды онъ силился сдѣлать какой-то идеалъ женщины, что-то вродѣ героини добродѣтели и страдалицу отъ злобы и развращенія свѣта; а на дѣлѣ выходитъ, что это женщина ограниченнаго ума, безъ характера, легковѣрная, скучная и несносная своей навязчивостью въ любви, своими пансіонскими мечтами о счастіи вдвоемъ подъ соломенной кровлей,—и еще болѣе скучная и несносная своими вѣчными жалобами, слезами и хныканьемъ. Уже перегорѣвшая въ страстяхъ, испытанная горемъ жизни и тяжкими страданіями, она, видя, что молоденькая дѣвочка сдѣлалась больна на смерть отъ любви къ тому, котораго она, Матильда, безъ памяти любитъ и которымъ она горячо любима, рѣшается на самое нелѣпое по его безплодности и самое опасное по его слѣдствіямъ самоотверженіе. Она возвращается добровольно къ своему мужу, страшному негодяю и развратнику, и притворяется, что опять любитъ его, а между тѣмъ своего благороднаго и платоническаго обожателя наводитъ на мысль —жениться на дѣвочкѣ. Тотъ вдвойнѣ въ отчаяніи—и оттого, что мечты его на счастье рушились, и оттого, что любимая имъ женщина оказалась, по его мнѣнію, весьма основательному, пошлой женщиной, ибо могла сойтись вновь съ негодяемъ, давно заслужившимъ галеры: скажите, до женитьбы ли тутъ ему? И какъ въ этомъ положеніи навести его на подобную мысль. Но для Сю нѣтъ ничего невозможнаго; онъ храбръ—и не труситъ натяжекъ и неестественности. Какъ дуракъ, герой его женится на дѣвочкѣ и сталъ счастливъ. Но общій ихъ всѣхъ врагъ тайно увѣдомилъ его жену, что она обязана своимъ замужествомъ самоотверженію Матильды,—и случилось то, что̀ рано или поздно, такъ или иначе, а непремѣнно должно было случиться, чѣмъ обыкновенно разрѣшаются подобныя самоотверженія: Эмма чахла, чахла да и умерла. Мы охотно соглашаемся, что безъ добраго и благороднаго сердца человѣкъ не можетъ быть способенъ на подобныя самоотверженія; но въ нихъ еще гораздо больше сердца участвуетъ экзальтированное воображеніе, глубоко скрытое самолюбіе, тайное желаніе рисоваться передъ другими и въ особенности передъ самимъ собою въ качествѣ героя добродѣтели. Такіе люди—враги своего и чужого счастья; даже и хорошія ихъ качества служатъ только ко вреду другихъ и ихъ самихъ больше всего. Вотъ какъ слѣдовало бы автору понять свою «Матильду»,— и на ея несчастной натурѣ, а не на злобѣ свѣта основать всѣ перенесенныя ею страданія. Тогда можетъ быть вышелъ бы болѣе или менѣе интересный романъ, а не скучная сказка.

Хуже всего даются Сю добродѣтельныя лица. Почти всегда они у него и неестественны до смѣшного, и приторны до отвратительности. Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ де Рошгюнъ. Боже мой, что̀ это за человѣкъ! Другъ бѣдныхъ и несчастныхъ, герой и левъ на войнѣ, мудрецъ даже въ салонѣ—и такъ говоритъ, словно по книгѣ читаетъ, и никому не кажется смѣшонъ! А еще больше портятъ романы Сю—преувеличеніе и театральные мелодраматическіе эффекты. Злодѣй его романа, Люгарто, еще довольно естественъ самъ по себѣ, но его баснословное богатство, его всезнаніе чужихъ тайнъ и всемогущество въ преслѣдованіи многочисленныхъ жертвъ своихъ,—все это сильно отзывается арабскими сказками. Эффектовъ и deus ex machina въ «Матильдѣ» — бездна. Старуха Блондо, видя, что ея воспитанницу успѣли охладить къ ней, рѣшается умереть, выпрыгнувъ въ окно. Но это лицо необходимо автору въ дальнѣйшемъ развитіи романа: надо спасти его. Старуха начала прощаться съ своей восьмилѣтней питомицей, которая въ полночь спала крѣпкимъ дѣтскимъ сномъ. Старуха цѣлуетъ ребенка, плачетъ и громко говоритъ монологъ самой себѣ, потомъ бѣжитъ къ окну; но не бойтесь: дитя проснулось и удержало самоубійцу на краю пропасти... Какъ это трогательно!.. Уже замужнюю Матильду врагъ ея, Люгарто, хитростью завлекаетъ въ уединенный домъ, гдѣ всѣ слуги подкуплены и гдѣ ей за ужиномъ подаютъ вино, въ которое всыпанъ сильный усыпляющій порошокъ. Оставшись одна, она начинаетъ чувствовать дѣйствіе порошка; тутъ является къ ней ея палачъ и объявляетъ ей, что намѣренъ ее обезчестить... Но не бойтесь: вотъ вламываются ея защитники и мстители, и начинается мелодрама, достойная ярмарочныхъ балагановъ...

Одно лицо въ «Матильдѣ» очерчено съ талантомъ: это старая мать Семерена, мужа Урсулы; даже и эти два лица довольно не дурны; но съ первымъ пріятно было бы встрѣтиться даже и не въ такомъ романѣ, какъ «Матильда».

«Сынъ Тайны»—замѣчательный романъ во многихъ отношеніяхъ. Когда модное платье франта красуется на его лакеѣ,—явный знакъ, что оно уже не модное, что мода смѣнилась. Когда бездарные писаки успѣваютъ въ какомъ нибудь модномъ родѣ литературы не хуже тѣхъ талантливыхъ писателей, которые ввели его въ моду,—явный знакъ, что этотъ родъ литературы или палъ, или близокъ къ паденію. «Сынъ Тайны» доказываетъ, что на модные романы уже сочинена риторика, и ихъ съ отличнымъ успѣхомъ можно писать по рецепту. У Поля Феваля нѣтъ ни ума, ни воображенія, ни страсти, ни этого мастерства увлекательно разсказывать даже вздоры, которымъ такъ владѣютъ французы и въ которомъ больше всего заключается тайна успѣха ихъ нелѣпыхъ романовъ. Въ романѣ Поля Феваля не встрѣтите ни одной изъ тѣхъ тонкихъ поражающихъ чертъ, ни одной изъ тѣхъ увлекательныхъ страницъ, которыя попадаются даже у Дюма въ самыхъ нелѣпыхъ его романахъ,— какъ напримѣръ сцены между Жильберомъ и Руссо въ «Запискахъ Врача». «Сынъ Тайны» это — нелѣпость на нелѣпости, вздоръ на вздорѣ. Все дѣло вертится на томъ, что̀ три брата-молодца уродились такъ похожими другъ на друга, что родная мать не отличила бы ихъ

одного отъ другого. Они посвятили всю жизнь свою на то, чтобъ отыскать законнаго наслѣдника замка Блутгауптъ, сына ихъ дяди, похищеннаго въ дѣтствѣ врагами ихъ фамиліи, и отомстить этимъ врагамъ. И они во всемъ успѣваютъ: имъ покровительствуетъ сама судьба въ образѣ Поля Феваля, какъ покровительствовала Телемаку богиня Паллада, въ образѣ Ментора. Поэтому для нихъ легко и возможно все, рѣшительно невозможное для другихъ смертныхъ. Ихъ безпрестанно сажаютъ въ тюрьмы, но выбраться изъ тюрьмы, когда нужно,—имъ ни почемъ. Когда въ замокъ Блутгауптъ собрались всѣ враги ихъ и завлекли туда свою жертву, братья немножко поопоздали явиться въ замокъ. Но ничего: они еще успѣютъ свое сдѣлать. На жертву направлена мортира— надо ее уничтожить, а высоко — не достанешь. Одинъ братъ влѣзъ на плечо другому, а рука все не достаетъ; нижній братъ началъ присѣдать подъ тяжестью верхняго—вотъ рухнутся оба съ высокой стѣны въ бездну. Въ эту критическую минуту жестокій авторъ, по праву генія, которому законъ не писанъ, оставляетъ и братьевъ съ ихъ неразрушенной мортирой, и задыхающагося отъ ужаса читателя съ его нетерпѣніемъ, и начинаетъ новую главу, гдѣ переходитъ къ другимъ лицамъ своего интереснаго романа. Братья-удальцы уже работаютъ другое, а мортиру, какъ видно по ходу разсказа, они уничтожили—какъ?—это авторъ почелъ за нужное утаить отъ своихъ читателей, думая вѣроятно: много будете знать, скоро состарѣетесь. Поль Феваль хорошо знаетъ натуру своихъ читателей—и зато онъ съ хлѣбцемъ... Въ наше время умный человѣкъ не умретъ съ голоду, если умѣетъ тѣшить или надувать тѣхъ, которые глупѣе его...

Авторъ «Іезуита», Шпиндлеръ, нѣкогда пользовался большой извѣстностью въ Германіи, какъ счастливый подражатель Вальтеръ-Скотта. Но теперь онъ пишетъ въ модномъ родѣ. Куда бросились французскіе кони съ копытомъ, туда же поплелся и нашъ нѣмецъ съ клешней. Пока дѣйствіе его романа происходитъ въ Германіи—еще можно читать его; но какъ скоро перенесъ онъ его въ южную Америку—посыпались такіе мелодраматическіе эффекты, что мочи нѣтъ. Тутъ дикари дѣлаютъ нападеніе на селеніе обращенныхъ и мудроуправляемыхъ добродѣтельнымъ священникомъ дикарей, кого перерѣзали, кого забрали въ плѣнъ, въ томъ числѣ и добродѣтельнаго пастора. Но онъ, поговоривъ съ ними съ часъ времени, убѣдилъ ихъ креститься и увелъ для поселенія на свое пепелище. Тутъ кому не пропасть, всѣ находятся и другъ съ другомъ сходятся, хотя и необыкновеннымъ, но, по мнѣнію автора, возможнымъ образомъ. Къ концу романа герои соединяются законнымъ бракомъ и живутъ счастливо. Добродѣтель награждена, порокъ наказанъ, раскаяніе уважено. Только злодѣи-іезуиты урвались отъ заслуженной кары. Стало быть, все какъ слѣдуетъ.

Было время, когда переводъ всякаго иностраннаго романа на русскій языкъ составлялъ важную новость въ литературѣ и давалъ пищу критикѣ и полемикѣ, а переводчику—всеобщую извѣстность. Время это давно прошло —и безвозвратно. Если бы кто-нибудь перевелъ теперь вполнѣ, съ подлинника, всего Вальтеръ-Скотта или всего Купера,—тотъ составилъ бы себѣ имя. Но перевести, даже порядочно, модный французскій романъ — теперь ничего не значитъ. На подобные подвиги никто не обратитъ вниманія, тѣмъ болѣе, что они относятся скорѣе къ промышленности, нежели къ литературѣ,—и если мы рѣшились говорить объ этихъ эфемерныхъ явленіяхъ книжной торговли, то потому только, что не о чемъ говорить, хоть совсѣмъ выключай библіографію изъ журнала. Но старое обыкновеніе выставлять на переводныхъ романахъ имя переводчика опять входитъ и должно войти въ силу, потому-что переводами большей частью занимаются люди, равно не знающіе ни того языка, съ котораго переводятъ, ни того, на который переводятъ, всего чаще послѣдній, слѣдовательно публикѣ нужно ручательство извѣстнаго имени; что переводъ удобенъ къ чтенію. Къ числу такихъ классическихъ именъ принадлежитъ имя Строева: оно безпрестанно выставляется на переведенныхъ съ французскаго романахъ то въ качествѣ переводчика, то въ качествѣ пересмотрщика чужого перевода, въ обоихъ случаяхъ какъ вѣрное ручательство за достоинство перевода. Для насъ вѣрность этого ручательства немного— какъ бы сказать — сомнительна...

Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова. *Романъ. Сочиненіе Н. Кукольника. Спб. 1846.*

Кукольникъ принадлежитъ къ немногому числу нашихъ самыхъ неутомимыхъ, плодовитыхъ и разнообразныхъ беллетристовъ. Еслибы собрать въ одномъ изданіи все, что̀ написалъ онъ, вышло бы немалое число довольно плотныхъ томовъ. Въ какихъ родахъ сочиненій ни испытывалъ себя Кукольникъ, чего ни писалъ онъ — драмы итальянскія, драмы турецкія, драмы русскія, драмы изъ жизни художниковъ, преимущественно итальянскихъ и отчасти нѣмецкихъ, драмы историческія, драмы въ стихахъ, драмы въ прозѣ, повѣсти и романы итальянскіе, нѣмецкіе, французскіе, русскіе, статьи юмористическія, статьи объ искусствѣ, живописи преимущественно, критики, рецензіи, лирическія стихотворенія, отрывки изъ поэмъ, участвовалъ во множествѣ журналовъ и альманаховъ, самъ издалъ альманахъ «Новогодникъ», издавалъ «Художественную Газету», «Картины русской живописи», «Дагерротипъ», а теперь издаетъ русскую «Иллюстрацію», такъ плѣняющую публику изящными политипажами и остроумной и замысловатой перепиской. Какой широкій кругъ дѣятельности! Мы устали только отъ того, что бросили на него легкій, поверхностный взглядъ! Скажемъ къ этому, что если нѣкоторыя произве-

денія Кукольника были приняты холодно и прошли незамѣченными (преимущественно его повѣсти, въ которыхъ мѣстомъ дѣйствія избрана никогда не виданная авторомъ Италія), зато бо́льшая часть его произведеній имѣла большой, а нѣкоторыя изъ нихъ и чрезвычайный успѣхъ (особенно русскія историческія драмы). Но тѣмъ не менѣе— странное дѣло!—все идетъ впередъ, вкусъ и требованія публики видимо измѣняются съ каждымъ днемъ, а полнаго собранія сочиненій Кукольника все нѣтъ какъ нѣтъ, и—что̀ всего удивительнѣе— нельзя сказать, чтобы въ публикѣ замѣтно было особенное нетерпѣніе видѣть его поскорѣе. На свѣтѣ удивительнаго много, но удивительное не есть сверхъестественное, стало быть, подлежитъ объясненію, — что́ и дастъ намъ смѣлость попытаться на объясненіе этого факта, которое въ свою очередь должно объяснить намъ значеніе Кукольника, какъ писателя, и его мѣсто въ русской литературѣ. По нашему мнѣнію, это всего лучше сдѣлать черезъ сравненіе, которое не всегда доказываетъ, но часто объясняетъ дѣло. Перебирая въ памяти нашей всѣхъ дѣятелей русской литературы, мы находимъ, что ни съ кѣмъ не имѣетъ Кукольникъ такъ много сходства, какъ съ Сумароковымъ.—Кукольникъ рѣшительно Сумароковъ нашего времени. Знаемъ, что многіе въ нашемъ благонамѣренномъ сравненіи увидятъ желаніе унизить Кукольника, и потому спѣшимъ объясниться, чтобы отстранить отъ себя такое несправедливое обвиненіе. Сумароковъ былъ не вмѣру превознесенъ своими современниками и не вмѣру унижаемъ нашимъ временемъ. Мы находимъ, что какъ ни сильно ошибались современники Сумарокова въ его геніальности и несомнѣнности его правъ на безсмертіе, но они были къ нему справедливѣе, нежели потомство. Сумароковъ имѣлъ у своихъ современниковъ огромный успѣхъ, а безъ дарованія, воля ваша, нельзя имѣть никакого успѣха ни въ какое время. Въ то время талантъ дѣлалъ человѣка извѣстнымъ императрицѣ и велъ его къ чинамъ и орденамъ, и Сумароковъ, подобно Ломоносову и впослѣдствіи Державину, не за что̀ иное очутился дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ и кавалеромъ, какъ за свой талантъ. Въ то время, какъ и въ наше, не мало бы нашлось охотниковъ до чиновъ и почестей, которые не пожалѣли бы трудовъ, бумаги и чернилъ, чтобъ возвыситься черезъ литературу. Однакожъ успѣли въ этомъ немногіе,—именно тѣ только, за которыми общее мнѣніе утвердило громкое имя генія или великаго таланта. Сумароковъ больше другихъ былъ любимцемъ публики своего времени; поэтическія произведенія Ломоносова больше уважали, а Сумарокова — больше любили. Это понятно: онъ больше Ломоносова былъ беллетристъ, его сочиненія были легче, доступнѣе для понятія большинства, больше имѣли отношенія къ жизни. Онъ писалъ не однѣ трагедіи, но и комедіи, плохія конечно, но лучше которыхъ тогда не было. Въ предисловіяхъ къ своимъ сочиненіямъ и отдѣльныхъ журнальныхъ статьяхъ онъ писалъ о правахъ, о разныхъ близкихъ къ обществу вопросахъ, распространялъ дѣльныя и благородныя понятія о томъ, что̀ составляетъ истинное благородство человѣка, и какихъ людей должно почитать чернью или, какъ тогда выражались, «подлымъ народомъ». Трагедіи его рѣшительно предпочитались трагедіямъ Ломоносова и Хераскова. Онъ далъ пищу рождавшемуся русскому театру и средство Волкову, а потомъ Дмитревскому показать въ полномъ блескѣ ихъ таланты. Его «Димитрій Самозванецъ» давался на нашихъ губернскихъ театрахъ и привлекалъ въ нихъ многочисленную публику еще въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія. Это было на нашей памяти. Сумароковъ имѣлъ огромное вліяніе на распространеніе на Руси любви къ чтенію, къ театру, слѣдовательно образованности. Какъ поэтъ, художникъ, онъ не имѣлъ ни искры таланта, но какъ беллетристъ, онъ для своего времени имѣлъ довольно таланта. Восторгъ его современниковъ для насъ конечно не законъ, но фактъ, живое свидѣтельство того, что онъ былъ имъ много полезенъ. Когда наступила въ русской литературѣ эпоха критики и повѣрки старыхъ авторитетовъ, Сумарокова втоптали въ грязь, но несправедливо, потому что руководствовались одной эстетической точкой зрѣнія и вовсе упустили изъ виду историческую. Мы увѣрены, что не далеко то время, когда презрѣніе къ имени Сумарокова будетъ снято. Сумароковъ уронилъ себя въ потомствѣ больше всего своимъ характеромъ, раздражительнымъ, мелочно-самолюбивымъ, нагло-хвастливымъ. Но зачѣмъ смѣшивать лицо съ литераторомъ? Сочиненія Сумарокова можно теперь читать только по особенной охотѣ къ историческому изученію русской литературы; но тѣмъ не менѣе ихъ должно цѣнить, если не по преувеличеннымъ похвалamъ его современниковъ, то и не по мѣрѣ нашего времени. Причина необыкновеннаго успѣха сочиненій Сумарокова и потомъ быстраго ихъ упадка заключается именно въ ихъ беллетристическомъ значеніи. Они были по плечу большинству, и потому нравились ему. Пришло время—большинство публики явилось совсѣмъ другое, а на сторонѣ Сумарокова остались только люди того поколѣнія, которое еще не забыло, какъ оно завивалось à la pigeon и пудрилось.

Мы сдѣлали бы большую несправедливость, еслибы стали утверждать, что по таланту Кукольникъ не выше Сумарокова. Нѣтъ, въ наше время и для второстепеннаго успѣха нужно уже гораздо больше таланта, нежели сколько нужно было Сумарокову, чтобы попасть въ геніи первой величины. Кромѣ несомнѣннаго и блестящаго беллетристическаго таланта, у Кукольника есть и поэтическое чувство, и даръ изобрѣтенія въ извѣстной степени. Но, обозрѣвая мысленно судьбу его произведеній, невольно вспоминаешь Сумарокова. Послѣдній палъ вдругъ, долго спустя послѣ своей смерти. По отсутствію критики, его сочиненія долго превозносились до небесъ съ голоса его

современниковъ; но, не смотря на то, время брало свое. Языкъ шелъ впередъ, развивался, совершенствовался; какъ драматургъ, какъ трагикъ и комикъ, Княжнинъ сталъ гораздо выше Сумарокова, какъ Озеровъ гораздо выше Княжнина; притчи Сумарокова были совершенно затѣнены баснями Хемницера и Дмитріева; объ одахъ его нечего было и говорить послѣ одъ Державина, а тамъ появились Карамзинъ, Жуковскій и Батюшковъ, вполнѣ овладѣвшіе вниманіемъ публики. Правда, не смотря на все это, никто не смѣлъ усомниться въ геніи Сумарокова, но это потому, что, по духу безпредѣльнаго уваженія къ авторитетамъ, ни у кого не хватало смѣлости высказать собственное чувство, собственную мысль. Въ сущности же всѣ охладѣли къ Сумарокову, давно уже не читали его, а многіе и поняли его. Стало-быть, недоставало слова, а не дѣла. Пришло время—нашлись смѣльчаки — сказали, и огромный авторитетъ почти восьмидесяти лѣтъ рухнулъ въ короткое время. Теперь не то. Если читатель нашего времени черезъ годъ, черезъ два перечтетъ произведеніе, которое привело его въ восторъ при своемъ появленіи, и увидитъ, что оно уже не производитъ на него прежняго впечатлѣнія, онъ знаетъ, что́ думать о немъ, и знаетъ, кого слѣдуетъ за это винить.

Первое произведеніе Кукольника, вдругъ доставившее ему огромную извѣстность, была драма въ стихахъ: «Торквато Тассо». Она отличалась всѣми признаками молодого, неопытнаго таланта, была крайне бѣдна драматическимъ движеніемъ, но блистала нѣсколькими горячими, хотя и не всегда умѣстными, лирическими выходками. Она появилась въ 1833 году, кажется; стало-быть, около четырнадцати лѣтъ назадъ тому,—и между тѣмъ въ это время она постарѣла чуть ли не четырнадцатью десятками лѣтъ. Вторымъ произведеніемъ Кукольника была русская историческая драма: «Рука Всевышняго отечество спасла». Она обязана была своимъ успѣхомъ болѣе похвальному чувству любви къ родинѣ, нежели поэтическому выраженію этихъ чувствъ или драматическимъ своимъ достоинствамъ. Это тотъ же «Димитрій Донской» Озерова, тотъ же «Пожарскій» Крюковскаго, только немножко оромантизированный, ошекспиренный. Итакъ, успѣхъ этой пьесы былъ чисто случайный (un succès de circonstance), и потому она теперь совершенно забыта. Затѣмъ Кукольникъ написалъ множество драмъ, преимущественно изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Въ нихъ есть хорошіе стихи, болѣе или менѣе удачныя мѣста, но не въ драматическомъ, а въ лирическомъ родѣ: одна охота не сдѣлаетъ драматургомъ—для этого нуженъ талантъ. Кто прочелъ одну драму Кукольника, тотъ знаетъ всѣ его драмы: такъ одинаковы ихъ пружины и пріемы. Поэтому трудно прочесть сряду двѣ драмы Кукольника, а прочтя, уже невозможно не перемѣшать ихъ въ своей памяти, пока не забудешь вовсе, что́ обыкновенно дѣлается очень скоро. Вторая русская драма Кукольника, «Скопинъ Шуйскій», имѣла огромный успѣхъ на сценѣ, благодаря ея обилію въ эффектахъ и сильной наклонности русской публики къ національности въ поэзіи и литературѣ. Сверхъ того эта драма породила со стороны другихъ литераторовъ много попытокъ въ ея родѣ, которыя были ни хуже, ни лучше ея. На сценѣ она и теперь еще можетъ производить свой эффектъ; но въ чтеніи такъ и бросаются въ глаза ложность ея національности и характеровъ, и бѣлыя нитки, которыми сметано ея дѣйствіе.

Самыми неудачными попытками Кукольника были его повѣсти и разсказы, содержаніе которыхъ заимствовано изъ итальянской жизни. Странная претензія—описывать страну, которой авторъ никогда не видалъ! Конечно это же самое дѣлалъ напримѣръ и Пушкинъ, но этотъ человѣкъ имѣлъ на то привилегію отъ природы. Бывшіе въ Испаніи говорятъ, что «Каменный Гость» Пушкина дышетъ колоритомъ этой страны, пропитанъ ея духомъ, и что «Ночной зефиръ» не отвязывался отъ ихъ памяти, когда они бродили вечеромъ по улицамъ Севильи. Не всѣмъ же быть Пушкиными. Въ своихъ «Египетскихъ ночахъ» онъ забрался во дворецъ Клеопатры—и былъ въ немъ какъ у себя дома, очеркнулъ передъ нами эту эпоху съ такой истиной, какъ будто самъ жилъ въ это время и все видѣлъ своими глазами. Потомъ Кукольникъ написалъ три большіе историческіе романа: «Эвелину де Вальероль», «Альфъ и Альдона» и «Дурочка Луиза». Въ первомъ изобразилъ старую Францію, во второмъ—древнюю Литву, въ третьемъ—старинную Пруссію. Первый романъ лучше остальныхъ двухъ, но въ немъ видно не свободное творчество, а только способность подражательности, и онъ сильно отывается тѣмъ, что́ называется tour de force. Объ остальныхъ двухъ романахъ не стоитъ и говорить. Все это теперь забыто и всего этого не разбудишь отъ вѣчнаго сна никакими новыми изданіями...

Какая этому причина? Очень простая. У Кукольника есть талантъ для поэтическаго выраженія мыслей, но нѣтъ творческой силы для созданія чего-нибудь цѣлаго, гдѣ всѣ части соразмѣрны и все подчинено общей идеѣ. Нельзя также сказать, чтобъ онъ особенно былъ богатъ идеями. Талантъ его неполный, ему недостаетъ чего-то, недостаетъ «этого», какъ говоритъ одно лицо въ одной русской повѣсти. Попытаемся объяснить это сравненіемъ. Положимъ, что для составленія полнаго таланта нужно 100 долей, а природа отпустила ихъ Кукольнику только $99\frac{3}{4}$; стало быть, недостаетъ пустяковъ, всего одной четверти, а все-же недостаетъ! Оттого въ его произведеніяхъ, даже не лишенныхъ частныхъ красотъ, всегда чувствуется какое то усиліе, которое въ этомъ случаѣ есть то же безсиліе, что-то утомляющее, скоро наводящее скуку; чувствуется, что авторъ почти вездѣ становится выше своихъ средствъ. Онъ—беллетристъ, и только, а ему хочется быть поэтомъ, творцомъ, и онъ всегда берется за произведенія, требующія

не такого таланта, и не рѣдко обнаруживаетъ въ нихъ притязанія на такого рода нововведенія и замашки, которыя свойственны только генію. И что жъ изо-всего этого вышло? Вотъ напримѣръ, сколько лѣтъ писалъ, обрабатывалъ, держалъ подъ спудомъ и лелѣялъ, какъ любимое дитя свое, Кукольникъ своего «Паткуля». Сколько лѣтъ носились слухи объ этомъ произведеніи, которое должно было обогатить собой русскую литературу? И вотъ «Паткуль» появился, сперва въ журналѣ, потомъ отдѣльной книгой—и ничего!...

Кукольникъ какъ будто самъ давно уже почувствовалъ, что по избранной имъ дорогѣ далеко не уйдешь, что надо поискать новой. Кажется, въ 1842 году вышла его повѣсть «Сержантъ Иванъ Ивановъ, или всѣ за одно», содержаніе которой взято было имъ изъ эпохи Петра Великаго. Повѣсть эта имѣла большой успѣхъ,—и за нею появилось много повѣстей Кукольника. Дѣйствительно, это лучшее изо всего, что только когда-либо писалъ онъ. Но пора наконецъ сказать правду объ этихъ повѣстяхъ, уже не въ мѣру захваленныхъ и превознесенныхъ. Въ нихъ есть неотъемлемыя достоинства—противъ этого ни слова. Кукольникъ удачно схватилъ въ нихъ одну характеристическую черту той эпохи: это — противоположность старыхъ правовъ съ непонимаемыми нововведеніями и наивность ихъ смѣшенія между собой. Кромѣ того Кукольникъ мастерски владѣетъ разговорнымъ языкомъ того времени,—языкомъ книжнымъ, вычурнымъ, испещреннымъ иностранными словами. Многія характеристическія черты эпохи подсмотрѣны и схвачены имъ съ поражающей вѣрностью, и вообще въ его очеркахъ того быта много комическаго, веселаго, смѣшного, милаго и вмѣстѣ съ тѣмъ умнаго. Но, во-первыхъ, это не повѣсти, а извѣстные анекдоты, передѣланные на разсказы. Въ нихъ всегда играетъ важную роль любовь, и они всегда благополучно разрѣшаются законнымъ бракосочетаніемъ любовниковъ — они же и герои разсказовъ. По нашему мнѣнію, это элементъ вовсе не русскій: любовь въ русскомъ быту никогда не играла первостепенной роли и особенно мало имѣла соотношенія съ бракомъ. Это и теперь почти такъ, а тогда было совершенно такъ. Вообще Кукольникъ довольно мелко плаваетъ въ отношеніи къ духу и сущности того времени, и если онъ часто многое почерпаетъ съ самаго дна, то со дна прибрежнаго, мелкаго. Онъ понялъ болѣе одну комическую сторону избранной имъ эпохи, и смотритъ на нее и односторонне, и поверхностно. Въ его глазахъ побѣдитель безусловно правъ, а побѣжденные безусловно виноваты. Въ его повѣстяхъ реформѣ противятся одни злодѣи и негодяи. Это взглядъ и не философскій, и не историческій. Реформа Петра Великаго такъ исключительно огромна во всемірной исторіи, что не менѣе дѣлаетъ чести народу, который ее перенесъ, какъ и реформатору: а что было бы въ ней особенно великаго, еслибы ея противники были только злодѣи и негодяи?.. Тогда это была бы только полицейская реформа—не больше. Не такъ поэтъ долженъ понимать такую великую и страшную эпоху въ жизни народа: онъ никого не долженъ ни оправдывать, ни защищать, ни обвинять — это не его дѣло; но онъ долженъ вѣрнымъ изображеніемъ всего такъ, какъ оно было, все сдѣлать понятнымъ, слѣдовательно все объяснить. Для этого онъ равно безпристрастно, не увлекаясь ни моральной точкой зрѣнія, ни привычными идеями своего времени, долженъ понять обѣ стороны, стать въ ихъ положеніе, войти, такъ-сказать, въ кожу каждаго дѣйствующаго лица, и представить его самимъ собой. Тогда бы Кукольникъ понялъ, что въ числѣ противниковъ реформы были не одни злодѣи, изверги, негодяи и шуты, но и люди, достойные быть поборниками лучшаго дѣла, натуры сильныя и благородныя. Намъ нечего хлопотать оправдывать Петра: онъ оправданъ исторіей и въ нашей помощи не нуждается. Противники его реформы были осуждены и отвержены духомъ времени, геніемъ исторіи, и всѣ дѣйствія и усилія ихъ осуждены были на безплодность; но тѣмъ не менѣе въ ихъ рядахъ не мало было людей, которыхъ прозорливость Петра умѣла цѣнить и на которыхъ онъ тѣмъ болѣе негодовалъ, чѣмъ болѣе желалъ ихъ видѣть въ своихъ рядахъ. Съ другой стороны успѣху реформы содѣйствовали не одни добродѣтельные и чистые, умные и жаждавшіе образованія люди. Такъ какъ въ историческомъ процессѣ великія причины мѣшаются съ малыми, и эгоизмъ, разсчетъ и корысть помогаютъ добру не меньше самоотверженія и доблести, то и въ рядахъ поборниковъ реформы много было плутовъ, глупцовъ и негодяевъ. Извѣстно, какую важную роль при реформѣ нравовъ играютъ франты и вертопрахи: они очень помогли перевѣсу иностранной одежды надъ національной.

Какъ бы то ни было, но повѣсти и разсказы изъ эпохи Петра Великаго нѣсколько освѣжили увядавшій авторитетъ Кукольника, и теперь онъ, кажется, и самъ понимаетъ, что это послѣдняя опора и надежда его литературной извѣстности. Въ этихъ повѣстяхъ и разсказахъ онъ сдѣлалъ невольную уступку духу времени и одной стороной своего таланта примкнулся къ такъ называемой натуральной школѣ, потому что главное достоинство ихъ все-таки въ истинѣ и естественности, хотя и въ извѣстной только степени. И вотъ года два назадъ тому въ одномъ журналѣ появился большой романъ Кукольника: «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», содержаніе котораго взято тоже изъ эпохи Петра Великаго, и который теперь вышелъ отдѣльной книгой. Завязка романа проста и естественна, совершенно въ нравахъ того времени. Недоросль изъ дворянъ, молодой и богатый Костыльковъ пьянствуетъ, развратничаетъ среди холоповъ въ своей деревнѣ и укрывается отъ службы, за что кормитъ и даритъ всѣхъ подъячихъ своей провинціи, самого воево-

ду, а воеводихѣ платитъ еще дороже—связью съ ней, хотя она ему и противна. Наконецъ укрываться больше нельзя. Но у него живетъ какой-то таинственный пришлецъ, тоже Иванъ Степанычъ, и почти однихъ лѣтъ съ нимъ. Этотъ вызывается идти на службу за Костылькова, подъ его именемъ. Митрофанушка радъ и, несмотря на свою скупость, согласился на всѣ условія, довольно тяжелыя по тому времени. Настоящій Костыльковъ изображенъ не дурно и впродолженіе всего романа вѣренъ себѣ. Но на его двойникѣ обнаружилась вся немощность фантазіи Кукольника замыслить (концепировать) и выдержать характеръ, немного поглубже и посложнѣе. Двойникъ Костылькова — человѣкъ съ большимъ характеромъ: онъ вертитъ по своему всѣми — и Костыльковымъ, и его дворней, и подъячими, и воеводой съ воеводшей. Почему-то онъ закадычный другъ нерѣшительному и обжорливому фискалу провинціи, и это даетъ ему большой вѣсъ. Отецъ Костылькова былъ злодѣй; въ смутныя времена стрѣлецкихъ мятежей онъ оттягалъ имѣніе у всѣхъ своихъ, менѣе его богатыхъ, сосѣдей. Такимъ же образомъ разорилъ онъ и довелъ до могилы сосѣда — помѣщика Полозкова, владѣвшаго небольшой усадьбой на берегу большой рѣки, и завладѣлъ ею и его добромъ; схватилъ двоихъ малолѣтнихъ дѣтей Полозкова, мальчика и дѣвочку, привезъ ихъ домой, и, по волѣ автора, никто изъ холопей не зналъ, чьи это дѣти, а знала это только добрая жена злодѣя. Мальчикъ былъ похищенъ вѣрнымъ слугой своего отца и увезенъ въ Москву, а дѣвочка выросла въ дѣвичьей Костылькова и насильно сдѣлалась его наложницей. Итакъ, двойникъ Костылькова — Полозковъ. Онъ поклялся отомстить сыну врага за разореніе и смерть своего отца и за безчестіе своей сестры. Еще прежде уговорилъ онъ Малашу бѣжать отъ тирана, и она уже была влюблена въ своего брата и думала, что онъ ее любитъ. Спрятавъ ее въ развалившійся домъ родной усадьбы, онъ открылъ ей тайну родства. Въ развалившемся домѣ есть что-то вродѣ трактира и постоялаго двора, а пристань рѣки служитъ мѣстомъ сходки разбойничьимъ шайкамъ. Попавшись въ трактирѣ въ кругъ разбойниковъ, Степанычъ заставилъ ихъ разбѣжаться въ ужасѣ, сказавши, что онъ видѣлъ недалеко военную команду: ему все удается. Итакъ, съ одной стороны разбойники, съ другой—то обстоятельство, что нельзя же долго скрывать сестру отъ Костылькова въ какихъ-нибудь пяти верстахъ отъ его резиденціи и въ его же усадьбѣ. Что̀ тутъ дѣлать? Но не безпокойтесь: Степанычу все удается не хуже Емели Дурачка, которому помогала щука. Видитъ онъ разъ—идетъ военная команда, а въ офицерѣ узнаетъ своего пріятеля. Онъ помогаетъ ему изловить 106 человѣкъ разбойниковъ (Степанычъ—собаку съѣлъ на эти вещи). Офицеръ видитъ Малашу и тутъ же влюбляется въ нее; Степанычъ благородно открываетъ ему свое съ ней родство и ея позоръ и бѣдность. Офицеръ стоитъ на своемъ и, по совѣту Степаныча, припугнувъ Костылькова службой, заставляетъ его отпустить Малашу на волю и женится на ней. Дѣло сдѣлалось скоро, на военную ногу. Вотъ послѣ этихъ-то подвиговъ Степанычъ идетъ въ службу за Костылькова. Съ его деньгами и на его лошадяхъ пріѣзжаетъ онъ въ Москву и является къ Колычеву, который, равно какъ и оберъ-полиціймейстеръ, ужасно полюбилъ его. И было за что̀: молодецъ собой, въ службу царскую такъ и рвется, говоритъ умно и бойко! На Спасскомъ мосту изобличилъ онъ передъ лицомъ оберъ-полиціймейстера кликушу, смущавшую народъ суевѣріемъ, по наущенію поборниковъ старины. Замѣтивъ при пріемѣ дворянъ, что одинъ изъ нихъ выставилъ за себя нанятаго мошенника, ловко притворившагося сумасшедшимъ, онъ краснорѣчіемъ убѣдилъ его повиниться въ своемъ преступленіи и пойти въ службу. Третій подвигъ Степаныча еще чуднѣе и рѣшительно лучше всѣхъ двѣнадцати подвиговъ Геркулеса. Степанычъ сказалъ оберъ-полиціймейстеру, что ему извѣстно мѣсто сборища фанатиковъ, распускающихъ въ народѣ ложные слухи и лубочные пасквили ко вреду правительства, и что онъ изловитъ ихъ. Начальникъ полиціи предлагаетъ ему команду, Степанычъ отвѣчаетъ, что у него есть своя, и что онъ «по охотѣ на воровъ тѣшится». Проведенный тайкомъ хозяиномъ дома въ комнату, сосѣднюю той, гдѣ собралось скопище, Степанычъ въ щель все видитъ и слышитъ. Въ презусѣ общества узнаетъ онъ Пахомыча, городского учителя его провинціи, пьяницу, обжору, развратника, шута, который безпрестанно бражничалъ у Костылькова, потѣшая его, и сильно добивался Малаши, котораго онъ, Степанычъ, заставилъ выучить себя грамотѣ въ одну недѣлю, который навелъ разбойниковъ на убѣжище Малаши и вмѣстѣ съ ними, скованный, отправленъ былъ въ городскую тюрьму. Это страшная натяжка: такой человѣкъ могъ дѣлать всѣ подобныя мерзости, но быть главой религіозныхъ и политическихъ фанатиковъ никакъ не могъ по своему характеру. Степанычъ смѣло врывается въ скопище и начинаетъ усовѣщивать его краснорѣчивой рѣчью. Какая смѣшная мелодрама! Вспомнивъ свирѣпыя пытки и казни того времени, легко понять, что если въ подобномъ скопищѣ были глупцы, простаки и трусы, то предводители его были люди на все готовые, которымъ убить человѣка, что̀ раздавить муху, особенно, если этотъ человѣкъ тащитъ ихъ въ застѣнокъ. И въ самомъ дѣлѣ, Степанычъ видитъ, что одинъ изъ его невольныхъ слушателей наматываетъ на руку кистень; но быстрѣе молніи бросается на него нашъ герой, опрокидываетъ и велитъ взять, что̀ и исполнено. Нѣкоторые въ страхѣ бѣгутъ—Степанычъ за ними съ краснорѣчіемъ, они возвращаются, — и всѣхъ ихъ ведетъ онъ въ Кремль и представляетъ оберъ-полиціймейстеру, говоря ему: «вотъ моя команда». Какъ это эффектно!

Но любопытные могутъ сами прочесть романъ Кукольника, что̀ мы имъ даже и совѣтуемъ, по-

тому что онъ не безъ достоинствъ и не безъ занимательности, хотя и исполненъ натяжекъ, неестественности, эффектовъ и мелодрамы. Мы довольно говорили о содержаніи романа, чтобы имѣть право сказать, что герой его ни съ чѣмъ не сообразенъ. Ему все удается, онъ по страсти, по натурѣ дѣлается полицейскимъ сыщикомъ—и потомъ въ запрещенномъ игорномъ домѣ выигрываетъ болѣе 4000 рублей, — сумму огромную по тогдашнему времени, да еще какъ выигрываетъ!— не давши содержателямъ поживиться ни одной ставкой. Онъ любитъ подсматривать и подслушивать, узнаетъ такимъ образомъ важныя тайны всѣхъ и каждаго и этимъ пользуется. Его не надулъ ни одинъ плутъ, ни одинъ мошенникъ, а онъ всѣхъ ихъ провелъ. И въ то же время онъ влюбляется высокой платонической любовью къ неземной дѣвѣ! Онъ — пройдоха, пролазъ, удалецъ, плутъ и надувало, и онъ же—герой добродѣтели! Зато всѣ его благородныя чувства высказываются такъ книжно, пошло и приторно! Впрочемъ это общій недостатокъ всѣхъ добродѣтельныхъ лицъ въ сочиненіяхъ Кукольника: всѣ они говорятъ о добродѣтели, словно по книгѣ читаютъ, и слушать ихъ какъ-то совѣстно за нихъ. Особенно приторно проявляется у нихъ любовь къ Петру Великому: она у нихъ вся въ сентенціяхъ, какими наполняются нравственныя книжки для дѣтей...

Къ числу хорошо выдержанныхъ лицъ въ романѣ Кукольника принадлежатъ: подъячій Чевушкинъ, отчасти дочь его, Груня, Квинтиніанусъ, воевода и воеводша провинціи, въ которой помѣстья Костылькова. Зато невыносимо приторенъ характеръ плаксиваго и великодушнаго дворянина Жатаго. Но еще хуже героиня романа, идеальная Оленька. Авторъ называетъ ее «поэтической дѣвочкой», но мы не замѣтили въ ней ничего поэтическаго и думаемъ, что къ ней лучше шли бы эпитеты «чахоточной» и «плаксивой». Авторъ, по особенному къ ней расположенію, снабдилъ ее столько же сильнымъ характеромъ, сколько слабымъ тѣломъ. Но какъ-то изъ нея вышла неземная дѣва во вкусѣ романтиковъ нашего времени, совершенно чуждая нравовъ своего времени. Она уходитъ въ свою комнату, чтобы прочесть письмо своего любовника (а не жениха) и отвѣтить на него; старая тетка застаетъ ее въ этомъ занятіи и вырываетъ письмо. И что жъ? наша героиня даже и не сконфузилась отъ такой непредвидѣнной бѣды и на отрѣзъ объявила, что любитъ и будетъ переписываться. Да помилуйте, г. Кукольникъ! съ чѣмъ же это сообразно? Что за сказка такая, а вы еще говорите, что вашъ романъ—даже и не романъ, а правдивая исторія! Когда же исторія такъ неудачно лгала? Да если бы за такое страшное, по понятіямъ того времени, преступленіе эту дѣвицу выставили на площади у позорнаго столба, или патріархальнымъ обычаемъ нещадно отодрали дома розгами,—то прежде всѣхъ и тверже всѣхъ была бы убѣждена она сама, что это подѣломъ ей, что она заслужила это, и никто бы не разувѣрилъ ее въ этомъ. Такова сила вліянія времени на человѣка! А каково въ отношеніи къ нравамъ было то время, Кукольникъ знаетъ это лучше многихъ, потому что особенно изучилъ его. Но одной этой несообразности было ему мало: онъ заблагоразсудилъ покончить свой романъ другой, еще большей. Когда Оленька узнала, пріѣхавъ отъ вѣнца, что была выдана за человѣка, уважаемаго, но не любимаго ею, то вотъ какъ распорядилась она вечеромъ: подойдя къ двери брачной комнаты, куда слѣдовалъ за ней ея мужъ и провожала тетка съ другими родичами, она низко присѣла мужу, захлопнула дверь передъ его носомъ и заперлась, сказавъ, что и всегда такъ будетъ дѣлать... Мужъ и тетка, вмѣсто того чтобы велѣть выломать дверь и по тогдашнему расправиться съ непокорной и безстыдной нарушительницей божескихъ и человѣческихъ законовъ, почувствовали раскаяніе и стыдъ!!..

Вотъ такъ-то всякое произведеніе Кукольника носитъ въ себѣ зародыши скораго разрушенія, какъ тѣ неудачно организованныя дѣти, которыхъ никакой присмотръ не спасаетъ отъ смерти... И теперь скажемъ, что въ романѣ Кукольника много хорошаго, и что конечно лучше читать его, нежели модные французскіе романы вродѣ графа «Монте-Кристо», «Записки Врача» и «Чортова Сына», и его конечно почитаютъ, да и... забудутъ...

Недостатокъ или недовѣсокъ въ талантѣ Кукольника особенно обнаруживается въ большихъ его произведеніяхъ; въ нихъ яснѣе видно, что чѣмъ болѣе онъ предпринимаетъ, тѣмъ менѣе выполняетъ...

Къ недостаткамъ исторіи о Костыльковыхъ принадлежитъ еще то, что авторъ часто впадаетъ въ манеру Поль-де-Кока. Оттого напр. разсказъ о Степанычѣ, въ которомъ чтеніе плохого перевода виргиліевой поэмы «Ars Amandi» разжигаетъ вожделѣніе, производитъ на читателя непріятное впечатлѣніе... Также на манеръ Поль-де-Кока преувеличены нѣкоторыя комическія сцены и положенія. Къ такимъ относимъ мы картину черезчуръ толстаго камерира Кононыча, который, поѣхавъ въ таратайкѣ, высадилъ и дно, и сидѣнье, да въ этомъ положеніи и проторчалъ чуть ли не всю ночь... Таково же описаніе въѣзда воеводы въ провинцію. Воеводиху звали Маланьей Ивановной. Проѣзжая мимо лѣсу Костылькова, въ которомъ тотъ съ своей ватагой вызывалъ криками отставшую свою любовницу Маланью Ивановну, воеводиха вообразила, что это кричатъ лѣшіе, и перепугалась. Это черта забавная и въ духѣ времени, но авторъ, какъ говорится, пересолилъ, даже слишкомъ...

Въ заключеніе скажемъ, что романъ Кукольника и конченъ, и не конченъ, т. е. конченъ, да такъ, что авторъ можетъ писать и другой романъ съ тѣми же главными дѣйствующими лицами. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что авторъ увѣряетъ, что исторія двухъ Ивановъ, двухъ Степанычей, двухъ Костыль-

ковыхъ совершенно кончилась, «въ чемъ, говоритъ онъ, и свидѣтельствую подписаніемъ руки моея». Почему же не продолжаться исторіи Ивана Степановича Полозкова? Въ этомъ мы также не видимъ никакой причины, какъ и въ манерѣ писать моея, вмѣсто моей, на манеръ Сумарокова, который вѣроятно для вящшей красоты слога писалъ скоряѣ и быстряѣ, вмѣсто скорѣе и быстрѣе...

Новая библіотека для воспитанія, *издаваемая Петромъ Рѣдкинымъ. Москва. 1847. Двѣ книжки.*

Сынъ рыбака, Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. *Повѣсть для дѣтей. Сочиненіе П. Фурмана. Изданіе второе. Спб. 1847.*

Альманахъ для дѣтей, *составленный П. Фурманомъ. Спб. 1847.*

Что̀ читать дѣтямъ? Нашимъ дѣтямъ вовсе нечего читать!—Вотъ вопросы и восклицанія, которые безпрестанно раздаются со всѣхъ сторонъ. А между тѣмъ сколько ежегодно издается у насъ книгъ и книжекъ для дѣтей, издавались и даже и теперь издается дѣтскій журналъ. Конечно наши дѣтскія книги большей частью очень плохи и принадлежатъ совсѣмъ не къ литературѣ, а къ промышленности, составляютъ часть товара, который долженъ наполнять лавки съ дѣтскими игрушками; но все же между нашими книгами и изданіями для дѣтей есть и порядочныя, по крайней мѣрѣ такія, которыя только со стороны языка и слога уступаютъ французскимъ сочиненіямъ этого рода, а по содержанію и направленію столько походятъ на нихъ, сколько слѣдуетъ переводамъ и передѣлкамъ походить на свои оргиналы... Но загляните въ эти лучшія книги,—и вы невольно скажете: «Бѣдныя дѣти, вамъ дѣйствительно нечего читать! И ужъ лучше вамъ вовсе ничего не читать, нежели читать эти вздоры и пошлости!..»

Скажемъ яснѣе нашу мысль: за исключеніями, слишкомъ не многими и рѣдкими, мы считаемъ вздорными и вредными не только наши русскія книги для дѣтей, но и ихъ иностранные образцы, разгуливающіе по всему свѣту подъ эгидой громкихъ именъ ихъ знаменитыхъ авторовъ...

Еслибы это было не такъ, то откуда же возникъ бы вопросъ: нужны ли, полезны ли дѣтскія книги вообще? А этотъ вопросъ со дня на день повторяется чаще и рѣшается различно. Одни утверждаютъ, что для чтенія дѣтямъ необходимы книги, приноравливаемыя къ ихъ понятію; другіе доказываютъ, что дѣти должны читать тѣ же самыя книги, какія читаютъ и взрослые, только съ болѣе строгимъ выборомъ.

Не беремся рѣшить этотъ вопросъ; но попытаемся изложить наше о немъ мнѣніе.

Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ и легко, и трудно. Всѣ дѣти имѣютъ общія родовыя ихъ возрасту свойства и качества, и потому ничего нѣтъ легче, какъ, составивши себѣ отвлеченное понятіе о дѣтяхъ, рѣшить всѣ касающіеся до нихъ вопросы. Но вотъ въ чемъ трудность: у каждаго ребенка своя натура, свои интеллектуальныя средства, нравственныя наклонности, характеръ; дѣти бываютъ различныхъ возрастовъ, потребности семилѣтняго дитяти уже не тѣ, что̀ у ребенка трехъ лѣтъ, а потребности двѣнадцатилѣтняго дитяти далеко не тѣ, какія у семилѣтняго, и т. д. Притомъ, гдѣ границы дѣтскаго возраста? Неужели человѣкъ въ 14 лѣтъ—уже юноша? И время отъ 14 до 16 лѣтъ не составляетъ ли перехода отъ дѣтства къ юношеству? Кромѣ того не случается ли, что одинъ и въ 18 лѣтъ смотритъ ребенкомъ, а другой въ 14 обнаруживаетъ интеллектуальную зрѣлость юноши? При этомъ какую важную роль играетъ различіе половъ! Что̀ идетъ мальчикамъ, то не годится дѣвочкамъ, и наоборотъ.

Съ какихъ лѣтъ должно начинать учить ребенка чтенію и письму?—Опять вопросъ относительный, котораго нельзя рѣшить для всѣхъ дѣтей, но который долженъ рѣшаться особо для каждаго ребенка. Обыкновенно общимъ среднимъ терминомъ для начала ученія полагаютъ семилѣтній возрастъ. Мы думаемъ, что и при самыхъ острыхъ и рѣзко выказывающихся способностяхъ ребенка нѣтъ никакой нужды торопиться начинать ученіе раньше семи лѣтъ. До этого же возраста должно обращать все вниманіе преимущественно на физическое и нравственное воспитаніе. Первое должно быть положительнымъ и состоять въ развитіи здоровья, тѣлесной крѣпости, гибкости и ловкости. Это—дѣло гимнастики и правильнаго образа жизни. Пусть дѣти играютъ, шумятъ, рѣзвятся, лишь бы во всемъ этомъ не было ничего грубаго, пошлаго, неприличнаго, и лишь бы они во̀-время и вмѣру ѣли, во-время ложились спать и вмѣру спали. Нравственное воспитаніе дѣтей даже и дальше семилѣтняго возраста должно быть отрицательное, т. е. состоять въ удаленіи отъ нихъ всякихъ дурныхъ примѣровъ и въ развитіи въ нихъ чувствъ любви, справедливости и человѣчности не правилами морали, а, такъ сказать, вліяніемъ привычки, такъ, чтобы они не знали, какія это чувства и какъ они въ нихъ развиваются. Все это зависитъ отъ людей, которыми окружены бываютъ дѣти ежедневно. Но моральныя правила, сентенціи, поученія способны только наводить на дѣтей скуку и возбуждать въ нихъ отвращеніе, или образовывать изъ нихъ педантовъ, резонёровъ, лицемѣровъ. Чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ непосредственнѣе должно быть его нравственное воспитаніе, т. е. тѣмъ болѣе должно его не учить, а пріучать къ хорошимъ чувствамъ, наклонностямъ и манерамъ, основывая все преимущественно на привычкѣ, а не на преждевременномъ и, слѣдовательно, неестественномъ развитіи понятій. Пріобрѣтенное дитятей такимъ непосредственнымъ образомъ, такъ сказать, привычкой, послужитъ самымъ прочнымъ основаніемъ для сознательнаго развитія всѣхъ человѣческихъ чувствъ, когда настанетъ время дѣятельности его ума и разсудка.

Что̀ касается до ученія, то дитя учится и до азбуки: дѣти любопытны и обо всемъ спрашиваютъ старшихъ: что̀ это и что̀ то. Должно отвѣчать имъ кротко, терпѣливо, серьезно, не шутя и не обманывая ихъ, объяснять имъ сообразно съ степенью пониманія, и искусно уклоняться отъ ихъ вопросовъ, когда они касаются такихъ предметовъ, о которыхъ имъ знать не слѣдуетъ, или такихъ, которые выше ихъ понятія. Кромѣ того въ этотъ возрастъ можно и должно тѣмъ, у кого есть средства, учить дѣтей живымъ иностраннымъ языкамъ, но только говорить, и собственно не учить, а пріучать, опять основываясь только на силѣ привычки.

Но вотъ ребенку семь лѣтъ, вотъ онъ уже довольно бѣгло читаетъ. Что̀ же читать ему? И заботливые родители ищутъ по книжнымъ лавкамъ приличной пищи для читательнаго голода ихъ дѣтей. Да помилуйте, мало ли у нихъ чтеній и безъ этихъ книгъ? Вѣдь азбука не конецъ, а только начало ученія. Дитя, которое до семи лѣтъ успѣло выучиться лепетать на двухъ или трехъ иностранныхъ языкахъ, кромѣ русской азбуки, должно заняться еще тремя азбуками. Кромѣ того за азбукой слѣдуютъ грамматика, ариѳметика, географія и т. д. Все это возьметъ много времени у ребенка и охладитъ его излишнее порываніе къ книгамъ, потому что охота попрыгать, пошумѣть, побѣгать, поиграть и даже пошалить у иного не проходитъ даже и въ 15 лѣтъ. Но, скажутъ намъ, и за уроками, и за играми все-таки остается праздное время, особенно зимой, котораго нечѣмъ наполнить. Это можетъ быть. Но какія же давать тутъ дѣтямъ книги? Главный недостатокъ этихъ книгъ тотъ, что онѣ или выше, или ниже понятій дѣтей. Въ первомъ случаѣ онѣ дѣлаютъ изъ дѣтей скороспѣлыхъ умниковъ, педантовъ, резонёровъ; во второмъ—дѣлаютъ ихъ слабоумными, пріучая къ неестественной ихъ возрасту наивности. Большая часть дѣтскихъ книгъ вмѣщаетъ въ себѣ вдругъ оба эти недостатка. Вотъ почему онѣ даже не безполезны только, а положительно вредны. Въ этихъ разсказахъ для дѣтей все — ложь, фраза, риторика; жизнь отражается въ нихъ какъ предметы въ кривомъ да еще запачканномъ спереди и потертомъ сзади зеркалѣ. И потому лучшими книгами для чтенія дѣтей перваго возраста могли бы быть такія книги, которыя бы весело знакомили ихъ съ землей, съ природой и отчасти съ исторіей. Книги эти непремѣнно должны быть съ картинками, ибо «наглядность» должна быть основаніемъ дѣтскаго развитія. Еслибы нашлась книжка съ картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, минералы, разныя чудеса физической природы, потомъ явленія растительнаго и наконецъ животнаго царства, и при этихъ картинкахъ былъ бы объяснительный текстъ, простой, толковый, безъ фразъ и восклицаній о томъ, какъ прекрасна природа и т. п.; еслибы всѣ эти предметы были изложены не только въ порядкѣ, но и въ ученой системѣ, а въ текстѣ ни слова не упоминалось ни о какихъ системахъ,— такую книжку всякій отецъ долженъ бы поспѣшить купить для своихъ дѣтей, въ полной увѣренности, что это безцѣнный, по своей полезности, гостинецъ для нихъ. Гдѣ кончается царство животныхъ, тамъ начинается царство человѣка. Для легкаго и пріятнаго знакомства дѣтей съ этимъ царствомъ очень полезны путешествія или просто описанія земель и народовъ всего земного шара. Картинки тутъ опять должны играть главную роль. Текстъ долженъ быть такой, какъ будто онъ писанъ для взрослыхъ людей, только изъ него должно быть исключено все, что̀ выше понятія дѣтей, что̀ не можетъ быть имъ интересно, чего не слѣдуетъ имъ знать. Что касается до исторіи, она должна состоять изъ біографій историческихъ лицъ, анекдотовъ изъ ихъ жизни, отдѣльныхъ историческихъ событій, имѣющихъ нравственное значеніе. Нравственность тутъ должна быть главнымъ предметомъ, но о ней отнюдь не должно упоминать, отнюдь никакихъ наставленій и поученій: она должна быть не въ словахъ, а въ дѣлѣ, и переходить въ дѣтей не какъ понятіе, а какъ чувство. Разумѣется, такого рода книги должны быть приноровлены къ дѣтскому возрасту. Дѣти очень любятъ біографіи полководцевъ, но для нихъ нѣтъ никакого интереса въ біографіяхъ ученыхъ, художниковъ, философовъ, администраторовъ, и т. п. Впрочемъ все зависитъ отъ намѣренія, цѣли и умѣнья автора книги. Біографія Платона во всякомъ случаѣ безполезна и скучна для дѣтей, потому что отъ превыспренныхъ идей этого конечно геніальнаго мыслителя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мечтателя и фантаста, и у взрослыхъ людей иногда умъ за разумъ заходитъ. Но біографія Сократа—другое дѣло. Это былъ не столько философъ, сколько мудрецъ; ученіе его было живое, практическое, удобоприложимое къ жизни; самая манера его спорить и доказывать можетъ быть и полезна, и интересна для дѣтей, если изложить ее ясно и искусно: въ ней такъ много драматическаго элемента. Но что за польза дѣтямъ знать біографію Гомера прежде, нежели прочтутъ они «Иліаду» и «Одиссею», и имъ что-нибудь понравится въ этихъ поэмахъ? Послѣ—другое дѣло,

Дѣти ужасно впечатлительны, такъ что отъ этой способности зависитъ и ихъ спасеніе, и ихъ гибель. Человѣкъ всю жизнь помнитъ всякій вздоръ, который читалъ онъ въ дѣтствѣ и который тогда ему особенно нравился. Изъ этого видно, какое великое счастье для дѣтей, когда ихъ мягкій и впечатлительный, какъ воскъ, свѣжій, не засоренный пустяками и вздорами, не усталый, не истомленный мозгъ обогатится только полезными и дѣльными впечатлѣніями! Это должно быть одной изъ главныхъ заботъ воспитанія, чтобы и пріятное было полезно. Но несчастны тѣ дѣти, которыхъ юный мозгъ засорится сперва чтеніемъ дѣтскихъ книгъ и потомъ водевилями, вздорными романами и всякой подобной дрянью! Лучше бы имъ вовсе ничего не читать!

Изъ всего можно сдѣлать злоупотребленіе. Охота къ чтенію—хорошая наклонность въ дѣтяхъ, но и она можетъ сдѣлаться вредной, пріучивъ ихъ къ мечтательности и похищая время у ихъ ученія. Пусть на чтеніе будетъ у нихъ свое время, и пусть чтеніе не отнимаетъ времени не только у ученія, но даже у игръ и рѣзвости. Всему должно быть свое время, и строгій порядокъ долженъ быть душой всего. Когда видишь умнаго и страстнаго къ чтенію ребенка или юношу, который лишенъ всѣхъ средствъ къ ученію и образованію, предоставленъ природѣ и самому себѣ, и съ жадностью читаетъ безъ разбора все, что̀ ни попадется ему подъ руку, и хорошее, и дурное,—и жалѣешь о немъ, и радуешься за него. Все лучше и полезнѣе ему такъ читать, нежели пристраститься отъ лѣности и отъ нечего дѣлать къ картамъ, къ билліарду, къ вину и другимъ не изящнымъ «художествамъ». Но грустно видѣть ребенка или молодого человѣка, который, имѣя всѣ средства къ ученію, тратитъ большую часть своего времени на чтеніе литературныхъ произведеній, предается мечтательности и гонится за энциклопедическимъ всезнаніемъ, которое иногда хуже положительнаго невѣжества!

Отъ 7-ми до 14-ти лѣтъ много воды утекаетъ, и ребенокъ становится уже не ребенкомъ. Ученіе идетъ своимъ порядкомъ, и кромѣ пользы въ свою очередь можетъ доставить ему и удовольствіе чтенія. Это въ особенности переводы съ иностранныхъ языковъ. Корнелій Непотъ, Салюстій, Плутархъ: развѣ содержаніе ихъ сочиненій не такъ же интересно, какъ и содержаніе романа? По крайней мѣрѣ надо стараться, чтобъ это было такъ. Всего лучше, если молодой человѣкъ прочтетъ на доступныхъ ему иностранныхъ языкахъ все, признанное классическимъ, дѣльнымъ, и пристрастится къ этому роду чтенія прежде, нежели познакомится съ романами и вообще съ легкой литературой.

Время для чтенія романовъ молодымъ людямъ есть время ихъ перехода отъ дѣтства къ юношеству, когда уже имъ можно читать многое, но еще не иначе, какъ съ выбора и разрѣшенія старшихъ. Первый романъ, который можно дать молодому человѣку лѣтъ двѣнадцати—«Юрій Милославскій» Загоскина. Затѣмъ понемногу можно давать романы Вальтеръ-Скотта и Купера. Тутъ все дѣло въ томъ, чтобъ не дать въ руки молодого человѣка такой книги, которая можетъ прежде времени познакомить его съ такими чувствами, страстями и понятіями, которыя несвойственны его возрасту. Это истинная гибель и для здоровья, и для нравственности. Вотъ почему мы прямо и безъ оговорокъ указали на Вальтеръ-Скотта и Купера: въ ихъ романахъ изображена жизнь дѣйствительная, а не воображаемая; они изящны, художественны, а между тѣмъ въ нихъ нѣтъ ничего опаснаго даже для дѣтей. Мы очень уважаемъ Гофмана, и если видимъ въ немъ чудака и безумца, то все же геніальнаго, и однакожъ считаемъ его для дѣтей столько же, или еще и болѣе вреднымъ, нежели Поль-де-Кока, хотя и вовсе другимъ образомъ. Для дѣтей страшно вредно все, что̀ развиваетъ и возбуждаетъ фантазію на счетъ другихъ интеллектуальныхъ способностей; фантазія у дѣтей и безъ того самая дѣятельная способность, и потому ее слѣдуетъ скорѣе сдерживать, нежели возбуждать, или, что̀ всего губительнѣе, давать ей уродливое направленіе ко вреду дѣятельности ума и въ особенности разсудка и здраваго смысла.

«Новая Библіотека для Воспитанія», издаваемая Рѣдкинымъ, есть единственная книга, которую можно рекомендовать отцамъ семействъ изъ всѣхъ книгъ этого рода, появившихся въ послѣднее время. Не всѣ статьи, составляющія ея содержаніе, одинаковаго достоинства; но между ними нѣтъ рѣшительно дурныхъ, и есть очень хорошія.

Мы не скажемъ, чтобы «Новая Библіотека для Воспитанія», издаваемая Рѣдкинымъ, вполнѣ удовлетворяла всѣмъ требованіямъ и не могла бы быть лучше, даже гораздо лучше; но мы по совѣсти можемъ сказать, что и сама по себѣ это—дѣльная и полезная для дѣтей книга, которую смѣло можно рекомендовать отцамъ семействъ, и что она не идетъ ни въ какое сравненіе съ книгами этого рода, безпрестанно издающимися у насъ. Надѣемся и увѣрены, что ея издатель не будетъ жалѣть никакихъ трудовъ на постепенное улучшеніе такого полезнаго изданія.

«Сына Рыбака» мы выставили въ началѣ нашей статьи не потому, что это лучшая изъ дѣтскихъ книгъ, изданныхъ въ послѣднее время въ Петербургѣ, и не потому, что она достигла втораго изданія; а потому, что она представляетъ собою богатый образецъ совершенной безполезности большей части дѣтскихъ книгъ. Какой можетъ быть интересъ для дѣтей въ біографіи поэта и ученаго, когда еще они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія ни о поэзіи, ни о наукѣ? Издавать для малолѣтнихъ дѣтей подобную книгу—не то ли это самое, что издавать для крестьянъ біографію Гегеля? Вотъ другое дѣло издать для дѣтей біографію Петра Великаго, Суворова, Кутузова: это имъ доступнѣе: они любятъ разсказы о сраженіяхъ, да и личность Петра Великаго, какъ государя и какъ человѣка, искусно очерченная, не могла бы ихъ не заинтересовать. Но что̀ имъ въ Ломоносовѣ? А когда они подростутъ, то пусть прочтутъ романъ-біографію Ломоносова, прекрасно составленный К. Полевымъ, да вмѣстѣ съ тѣмъ примутся читать и самого Ломоносова.

И какъ бѣдно и жалко составлена книжка Фурмана! Первая половина ея—компиляція изъ прекрасной книги К. Полевого; а вторая — вялый, мертвый наборъ словъ. И все это украшено восемью безобразнѣйшими литографіями. И такія книги появляются вторымъ изданіемъ! Бѣдныя дѣти, лучше бы вамъ вовсе не знать грамотѣ!

«Дѣтскій Альманахъ для дѣтей», изданный Фурманомъ, избрали мы для рецензіи, какъ общій типъ почти всѣхъ дѣтскихъ книгъ! Этотъ альманахъ состоитъ изъ четырехъ драматическихъ пьесъ

въ прозѣ. Несмотря на русскія (весьма неудачно придуманныя) имена и фамиліи, явно, что всѣ эти пьесы переведены съ французскаго: въ нихъ вовсе не наши нравы, и отъ этого нелѣпость ихъ дѣлается еще вопіющѣе. Въ нихъ добродѣтельные говорятъ словно по книгѣ, порочные къ концу пьесы непремѣнно раскаиваются и дѣлаются добродѣтельными. Нигдѣ не замѣтно причинъ ни порока, ни раскаянія. Стало-быть, все вздоръ и ложь. Но для многихъ людей развивать въ дѣтяхъ нравственныя чувства можно только обманывая ихъ: достойная проклятія мысль! Сатана—отецъ гнусной лжи—породилъ ее, а лживые или ограниченные люди увѣровали въ нее и чаютъ отъ нея спасенія дѣтей своихъ! Все въ этихъ пьесахъ неестественно, сантиментально, пошло, надуто—и чувства, и выраженіе! А языкъ—это верхъ неестественности: ни одной простой фразы, все по книжному.

Обращаясь къ общей идеѣ полезности и безполезности дѣтскихъ книгъ, вотъ что̀ скажемъ мы, какъ результатъ нашего мнѣнія объ этомъ предметѣ:

Мнѣніе, что дѣти должны читать только то, что̀ читаютъ и взрослые, не лишено основанія и справедливости, но требуетъ большихъ исключеній и ограниченій. Но намъ кажется, что можно дать на этотъ предметъ правило, не допускающее почти никакихъ исключеній и ограниченій: книги для дѣтей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочиненіе для дѣтей, которое можетъ занимать взрослыхъ людей и нравиться имъ, не какъ дѣтское сочиненіе, а какъ литературное произведеніе, писанное для всѣхъ. И къ повѣстямъ, разсказамъ и драматическимъ пьесамъ это относится едва ли еще не болѣе, чѣмъ къ статьямъ другого рода.

Да гдѣ же взять такихъ книгъ?—Это ужъ не наше дѣло. Мы сочтемъ себя очень счастливыми, если изложеніемъ нашего мнѣнія объ этомъ предметѣ наведемъ иного талантливаго человѣка на настоящій путь въ отношеніи къ сочиненію книгъ для дѣтей.

Картина земли для наглядности при преподаваніи физической географіи, *составленная А. Ф. Постельсомъ. Съ литографированнымъ большимъ рисункомъ. Спб. 1846.*

Наглядность признана теперь всѣми единодушно самымъ необходимымъ и могущественнымъ помощникомъ при ученіи. Она состоитъ въ томъ, чтобы помогать памяти и уму ребенка представленіемъ вида и о́браза предметовъ, которые онъ изучаетъ. Это матеріальное и чувственное вспомогательное средство для спасенія бѣдныхъ дѣтей отъ убійственнаго, подавляющаго способности, сухого и мертваго отвлеченія, столь любимаго идеалистами. Великая важность наглядности основана на самой природѣ человѣка, у котораго самыя отвлеченныя умственныя представленія все-таки суть не иное что, какъ результатъ дѣятельности мозговыхъ о́ргановъ, которымъ присущи извѣстныя способности и качества. Давно уже сами философы согласились, что «ничего не можетъ быть въ умѣ, что̀ прежде не было въ чувствахъ». Гегель, признавая справедливость этого положенія, прибавилъ: «кромѣ самаго ума». Но эта прибавка едва ли не подозрительна, какъ порожденіе трансцендентальнаго идеализма. Человѣкъ не прямо же, не чистымъ мышленіемъ дошелъ до сознанія, что у него есть умъ, а замѣтилъ это прежде всего изъ собственныхъ дѣйствій, въ которыхъ отразился его умъ, но которыя онъ опять-таки только черезъ чувства созналъ своимъ умомъ. Всякій, даже простой человѣкъ знаетъ, что у него умъ въ головѣ,—знаетъ это по причинѣ, можетъ-быть болѣе простой и естественной, нежели какъ обыкновенно думаютъ. Человѣкъ въ порывѣ горячихъ, страстныхъ чувствъ невольно прижимаетъ руку къ груди и сердцу, куда сильнѣе приливаетъ кровь при движеніяхъ чувствъ. Когда же человѣкъ о чемъ-нибудь размышляетъ, сильно занятъ какимъ-нибудь соображеніемъ, особенно разсчисленіемъ,—палецъ его какъ-будто невольно то и дѣло прилагается ко лбу, а рука невольно отъ времени до времени потираетъ лобъ. Явленіе простое, но многознаменательное! Во время процесса мысли человѣкъ какъ-будто чувствуетъ, что тутъ гнѣздо его мыслительной дѣятельности, что тамъ тоже происходитъ какое-то безпокойство, которое обнаруживается и въ его озабоченныхъ движеніяхъ, что тамъ какъ-будто что-то шевелится.

Посмотрите, какъ жадны дѣти къ картинкамъ! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текстъ, лишь бы только онъ объяснилъ имъ содержаніе картинки. И потому картинки все болѣе и болѣе дѣлаются пособіемъ при воспитаніи и ученіи.

Музей современной иностранной литературы. *Выпускъ 1-ый и 2-ой. Спб. 1847.*

Слова нѣтъ! Настоящее положеніе русской литературы совсѣмъ не такъ печально, какъ многіе думаютъ. Умные люди утверждаютъ, что оно даже очень хорошо. Русская литература поумнѣла и быстро вступаетъ въ періодъ зрѣлости,—такъ говорятъ умные люди и доказательства приводятъ основательныя: она не производитъ стихотвореній, она отказалась отъ изображенія сильныхъ, могучихъ и клокочущихъ страстей, громадныхъ личностей; Звонскіе, Лирскіе, Гремины—совсѣмъ вывелись въ ней; мѣсто ихъ заняли Петровы, Ивановы, Сидоровы; мѣщанская слабость изображать большой свѣтъ съ графами и графинями, мебелью отъ Гамбса и Тура, духами отъ Марса и мороженымъ отъ Резанова также проходитъ въ ней. Она даже шагнула дальше, съ нѣкотораго времени начала обнаруживать храбрость неслыханную... Живымъ ключомъ забился въ ней новый родникъ, изъ котораго она прежде гнушалась черпать; цѣль ея

стала благороднѣе и дѣльнѣе, чѣмъ когда-либо... Отказавшись отъ изображенія бурь и волненій, безъ сомнѣнія возвышенныхъ и глубокихъ, возникающихъ въ благовонной атмосферѣ аристократическихъ залъ, при громѣ бальной музыки и ослѣпительномъ освѣщеніи, она не гнушается темныхъ дѣлъ, страстей и страданій низменнаго и бѣднаго міра, освѣщеннаго лучиной. Теперь въ ней уже не рѣдкость произведеніе, въ которомъ не встрѣтите не только князей, графовъ и генераловъ, но даже лицъ, имѣющихъ оберъ-офицерскій чинъ,—и она умѣетъ такими произведеніями не отталкивать, но привлекать къ себѣ публику... Міръ старухъ, желтыхъ и страшныхъ, посвятившихъ себя гнилому тряпью, внѣ котораго нѣтъ для нихъ интересовъ, ни радостей, ни самой жизни; стариковъ сердитыхъ и мрачныхъ; женщинъ жалкихъ и возмущающихъ, которыя протягиваютъ руку украдкой и краснѣютъ или дѣлаются жертвой позора и нищеты; дѣтей блѣдныхъ и болѣзненныхъ, которыя дрожатъ и скачутъ отъ холода, выгнанныя на свѣтъ божій нуждой изъ сырого подвала,—теменъ и страшенъ такой міръ, и много надобно было нашей литературѣ, недавно еще щепетильной и чопорной, передумать и пережить, чтобы рѣшиться низойти до него, — приподнять хоть немного завѣсу, скрывающую его мрачныя тайны,—и она приподняла ее... Сдѣлавъ великій шагъ твердо и сознательно, она не смущается позорными упреками, которые, къ стыду нашего времени, сыплются еще на нее изъ разныхъ угловъ зато, что занимается она предметами «ничтожными» и «унизительными для нея, роется въ грязи»... Она сама знаетъ, что ея теперешніе герои—нерѣдко люди, которыхъ привычки грубы, страданія обыкновенны до пошлости, страсти неблаговоспитанны, въ которыхъ нѣтъ ничего романтическаго и привлекательнаго, скорѣй много отталкивающаго, но она знаетъ также, что они—люди... Деликатныхъ и благовоспитанныхъ порицателей, которые торжественно объявляютъ такихъ людей нестоящими вниманія, а картины ихъ быта невозбуждающими ничего, кромѣ отвращенія,—она и слушать не хочетъ! Она знаетъ ихъ вкусъ; забвенія подавляющей дѣйствительности, обмана хотятъ они, но его-то и не даетъ она имъ; напротивъ, она, какъ нарочно, взялась возмущать ихъ спокойствіе, портить пищевареніе...

Слова нѣтъ—литература поумнѣла, но... интересныхъ книгъ выходитъ все-таки мало, и тѣ, которые кричатъ: «читать нечего», почти правы... Публика не то, чтобъ вовсе равнодушна къ русской литературѣ, но и не слишкомъ-то занимается ею — и винить публику было бы грѣшно. Рѣдко является произведеніе, которое самимъ дѣломъ напомнило бы публикѣ о существованіи русской литературы, ея процвѣтаніи, возмужалости и другихъ похвальныхъ качествахъ, охотно за ней теперь признаваемыхъ. «Современникъ» радуется, что ему въ настоящее время посчастливилось представить на страницахъ своихъ два такія произведенія: мы говоримъ о романѣ Искандера «Кто виноватъ» и о романѣ Гончарова «Обыкновенная Исторія», о которыхъ говоритъ теперь весь Петербургъ. Но много-ли въ годъ является такихъ произведеній? Даже каждый-ли годъ является по одному такому произведенію?.. А между тѣмъ потребность къ чтенію усиливается. Люди смѣтливые пользуются такой потребностью и недостаткомъ собственно русскихъ книгъ, способныхъ удовлетворить ей,—и издаютъ переводы. Переводные романы расходятся — и смѣтливые люди не въ накладѣ... И что-жъ тутъ дурного? Публикѣ нравится читать переводы, смѣтливымъ людямъ нравится издавать ихъ; все, кажется, въ порядкѣ вещей... дѣло простое и законное... Не странно ли послѣ того читать при объявленіи объ иномъ изданіи переводовъ разсужденіе объ испорченности и развращеніи вкуса публики, дурномъ направленіи литературы, и увѣреніе... въ чемъ бы вы думали?... что новое изданіе поставило себѣ цѣлью исправить вкусъ, изгнать дурное направленіе, однимъ словомъ,—спасти литературу и публику отъ конечной погибели?... Да полно, такую ли цѣль поставило себѣ новое изданіе?... Нѣтъ, между прочимъ и потому, что еслибъ и дѣйствительно погибалъ вкусъ, то исправленіе его зависитъ не отъ такихъ мѣръ... Ничего нѣтъ дурного, трудясь хоть бы и надъ переводомъ романовъ, желать себѣ вознагражденія за трудъ отъ тѣхъ, кто нуждается въ переводахъ,—поэтому мы прямо скажемъ, что цѣль всѣхъ подобныхъ изданій—надежда на хорошій сбытъ, доставляющій вещественную прибыль... Къ чему же превыспренія разглагольствія, столь неумѣстныя? Зачѣмъ добровольно дѣлать себя смѣшнымъ? къ чему набрасывать тѣнь чего-то дурного на дѣло, конечно довольно ничтожное, но совершенно невинное, усиліемъ представить его въ другомъ видѣ?

«Музей современной иностранной литературы» говоритъ, что онъ, недовольный романами, «поставляемыми на ежедневное потребленіе въ фѣльетоны», предположилъ себѣ цѣлью «доставлять любителямъ чтеніе постоянное, избранное, разнообразное, пріятное и, въ кажущейся легкости своей, не портящее вкуса, не совращающее понятій»... Что же переводитъ и печатаетъ «Музей?» Да то же, что печатаютъ наши журналы, поддерживающіеся переводами, съ той только разницей, что, не имѣя возможности поспѣвать за журналами, «Музей» печатаетъ, такъ сказать, «остатки иностранныхъ литературъ», то-есть то, что забраковано журналистами (такъ напримѣръ, въ первомъ своемъ выпускѣ «Музей» напечаталъ между прочимъ романъ «Домашній Сверчокъ»—худшій изъ четырехъ святочныхъ романовъ Диккенса), а иногда и то же, что печатается въ журналахъ. Иначе и быть не можетъ въ изданіи, печатающемъ произведенія иностранныхъ «современныхъ» литературъ, снабжающихъ матеріаломъ бо́льшую часть нашихъ журналовъ. Въ чемъ же привилегія «Музея» на исправленіе вкуса передъ журналами и гдѣ возможность въ такой реформѣ?...

«Музей» любитъ обѣщать, и, завѣривъ публику въ великости своей цѣли, онъ не оставляетъ ее въ неизвѣстности и на счетъ способовъ, какими предположилъ себѣ достигать ее.

«Пригласивъ къ постоянному соучастію сотрудниковъ *дѣятельныхъ, опытныхъ, владѣющихъ и отечественнымъ, и иностранными языками, и съ самой выгодной стороны* знакомыхъ нашей читающей публикѣ,—*заручася значительный капиталъ на это изданіе*,—не прибѣгая къ пособію подписки, преждевременно собирающей на подобныя предпріятія деньги,—желая доставить чтеніе не только *пріятное*, но въ весьма многихъ отношеніяхъ (*при настоящемъ направленіи нѣкоторыхъ произведеній литературы*) *полезное*,—принявъ намѣреніе вмѣстѣ съ сотрудниками нашими исполнять наше дѣло со всевозможно-строгимъ расчетомъ,—мы будемъ *молчаливо* и *скромно* идти своей дорогой, ожидая, чтобъ не чей-либо одиночный, можетъ быть и пристрастный, или не избранный въ судьи мнѣніемъ общественнымъ голосъ,—но чтобъ самое мнѣніе это и опытъ дѣла, котораго результаты не могутъ быть съ нимъ въ разнорѣчіи, произнесли свой приговоръ и доказали бы:—понята-ли нами потребность и достигнута-ли предположенная цѣль.»

Какъ громко, величаво, торжественно! А для чего?... Если вы точно пригласили сотрудниковъ дѣятельныхъ и пр., и пр., то отчего жъ вы скрыли ихъ имена отъ публики, которой, по вашимъ словамъ, они извѣстны съ «самой выгодной стороны»? А если вы считали нужнымъ соблюсти въ этомъ отношеніи скромность, то для чего жъ не соблюли ее и въ томъ отношеніи? Вѣдь объявить, что имѣетъ отличныхъ, даже геніальныхъ сотрудниковъ всякій можетъ, да что жъ изъ того? Нужны или имена, чтобъ публика могла повѣрить ваши слова, или—еще лучше—самое дѣло, которое во всякомъ случаѣ лучше словъ... Объявить, что «заручилъ значительный капиталъ на изданіе» тоже можетъ всякій, имѣющій капиталъ и не имѣющій его... Вы поставляете на видъ публикѣ, что «не прибѣгаете къ пособію подписки, преждевременно собирающей на подобныя предпріятія деньги». Это опять напрасно. Всѣмъ, и вамъ въ особенности, извѣстно, что «съ нѣкотораго времени» объявлять преждевременной подписки ни на какія изданія, кромѣ періодическихъ, нельзя. Наконецъ вы говорите, что будете идти своей дорогой «молчаливо и скромно»,—и отъ такого увѣренія право лучше бы воздержаться, особенно послѣ такого предисловія... Во всякомъ случаѣ, молчаливость и скромность вашу никто не мѣшалъ вамъ показать на дѣлѣ, и публика вѣрно наградила бы васъ за такія прекрасныя качества, замѣтивъ ихъ въ васъ сама... А теперь, когда вы уже сами себя наградили торжественнымъ признаніемъ въ себѣ такихъ качествъ, ей тутъ дѣлать нечего...

Однакожъ дѣло еще не совсѣмъ испорчено: публика будетъ васъ читать, если только вы будете продолжать свое дѣло, какъ начали, потому что «Музей современной иностранной литературы»—изданіе отнюдь не лишнее... При всей массивности своей, журналы наши не могутъ вмѣстить въ себѣ всего, что́ является болѣе или менѣе интереснаго въ иностранныхъ литературахъ; иногда остаются непереведенными повѣсти и романы даже замѣчательно хорошіе. Вотъ съ ними-то знакомить публику настоящее дѣло «Музея», который очень умно предположилъ себѣ не ограничиваться текущими произведеніями иностранныхъ литературъ, но переводить и явившіяся уже нѣсколько лѣтъ назадъ. Переводы въ «Музеѣ» если не всѣ равно хороши, то и не всѣ плохи. Изданіе опрятно и дешево....

Словомъ, «Музей» хоть куда, и можетъ удовлетворять современной страсти къ чтенію романовъ не хуже никакого другого подобнаго изданія,—и вотъ его настоящая цѣль. Но если смотрѣть на него съ точки зрѣнія той великой цѣли, которую переводчики, по увѣренію ихъ самихъ, предположили себѣ,—то его слѣдовало бы назвать совершенно ничтожныхъ. Вотъ къ какимъ послѣдствіямъ приводитъ иногда преувеличенный взглядъ на собственную работу, добродушно высказанный во всеуслышаніе!

Векфильдскій священникъ. *Романъ, сочиненный Оливеромъ Гольдсмитомъ. Переведъ съ англійскаго Алексѣй Огинскій, съ присовокупленіемъ свѣдѣній о жизни и твореніяхъ автора, заимствованныхъ Вальтеръ-Скоттомъ изъ сочиненій Пріора. Спб. 1847.*

Я ужъ давно не вѣрю въ раздѣленіе поэтическихъ произведеній на субъективныя и объективныя; а прочитавъ новый переводъ «Векфильдскаго» или, какъ называли его прежде, «Вакефильдскаго священника», убѣдился совершенно въ основательности моего невѣрія. Всѣ произведенія поэзіи, больше или меньше, субъективны, т. е. всѣ они высказываютъ внутренній міръ автора, который напрасно бы старался утаить свои задушевныя мысли и чувства. Чисто объективнаго поэтическаго представленія жизни,—такого, гдѣ бы поэтъ не подавалъ собственнаго голоса въ дѣлахъ людей, гдѣ бы умирали *его* мнѣнія, гдѣ бы уничтожались *его* ощущенія—не было, нѣтъ и не будетъ. Внимательный читатель узнаетъ творца при всей видимой его скрытности, кажущемся притворствѣ; онъ можетъ не только отгадать нѣкоторыя черты характера поэта по нѣкоторымъ мѣстамъ сочиненія, но и создать по этимъ чертамъ ясное, цѣльное представленіе всего характера. Такъ Гервинусъ, анализируя творенія Шекспира, выводитъ изъ анализа очень любопытныя замѣтки о событіяхъ въ его жизни, которую мы такъ мало знаемъ: глубокомысленный критикъ становится въ то же время и вѣрнымъ біографомъ. Поэты, повидимому безстрастные въ изображеніи страстей или, что́ одно и то же, не увлекаемые ни одной исключительной страстью, принадлежали, какъ теперь извѣстно и какъ можно видѣть изъ ихъ поэтическихъ произведеній, къ людямъ исключительнаго направленія, къ поборникамъ извѣстной партіи. Политическія мнѣнія Шекспира, творца по пре-

имуществу, высказываются въ «Коріоланѣ»; романы Вальтеръ-Скотта обличаютъ аристократа, торі; романы Купера — американца, но американца-консерватора. И потому названія объективный и субъективный поэтъ, какъ раздѣляющія одно и то же творчество на двѣ рѣзкія, не существующія половины, должны быть изгнаны изъ теоріи. Если жъ и позволится сохранить ихъ, то единственно для означенія различныхъ степеней поэтическаго представленія, изъ которыхъ на одной мы легко знакомимся съ личностью автора, а на другой это знакомство пріобрѣтается долговременнымъ вниманіемъ, но отнюдь не для показанія различной, даже противоположной сущности какихъ-то двухъ родовъ поэзіи. Вѣдь и въ жизненномъ знакомствѣ то же самое, что̀ въ знакомствѣ книжномъ: одного ближняго узнаешь, какъ только онъ раскрылъ ротъ; съ другимъ надобно съѣсть три пуда соли. Изъ этого не слѣдуетъ однакожъ, чтобы послѣдній не выразилъ себя такъ или иначе, рано или поздно, дѣломъ или словомъ.

Вслѣдствіе этого біографія автора становится особенно важной: ибо созданіе поэтическаго вымысла отражаетъ въ себѣ и поэта, ибо существуетъ тѣсная, необходимая связь между тѣмъ, что̀ произвелъ онъ въ минуты вдохновенія, и тѣмъ, что̀ онъ былъ самъ, всегда и вездѣ. Личность творца или его постоянныя свойства и временное расположеніе души его легли неизбѣжно не только въ основѣ цѣлаго, но и въ каждомъ дѣйствующемъ лицѣ, въ каждой части дѣйствія. Свѣдѣнія о жизни Гольдсмита, заимствованныя Вальтеръ-Скоттомъ изъ сочиненій Пріора и приложенныя къ русскому и французскому переводамъ «Векфильдскаго священника», даютъ намъ возможность опредѣлить характеръ автора.

Отецъ Гольдсмита, въ числѣ многихъ даровъ природы, получилъ странную, баснословную нынѣ способность — презирать вполнѣ земныя блага. Изучивъ многіе предметы, преимущественно фантастическіе, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о предметахъ дѣйствительныхъ, о дѣлахъ сего, т. е. грѣшнаго міра. Смотря все вверхъ, онъ никогда не смотрѣлъ себѣ подъ ноги; удивительная безпечность, крайняя непредусмотрительность равнялись простотѣ его нравовъ. Можно было извинить первыя по той же самой причинѣ, по которой можно было не уважать послѣднюю, именно по тому, что его достоинства и недостатки были врожденные: разумъ и воля умывали здѣсь свои руки. Онъ не пріобрѣлъ однихъ и не старался уничтожить другіе, какъ честный воинъ. Онъ шелъ руководимый слѣпымъ инстинктомъ, безъ труда и слѣдовательно безъ заслуги. Герой пассивной добродѣтели, если только могутъ быть пассивные герои, онъ всю жизнь сохранилъ вѣру въ добро, переходящую въ суевѣріе. Безсознательный оптимизмъ управлялъ его чувствами и мыслями; но этотъ оптимизмъ не выросъ на почвѣ мышленія, а дался ему отъ природы, не стоилъ ему ни гроша. Я знаю, какъ бы назвали теперь подобнаго философа, презирающаго земныя блага; но не знаю навѣрное, какъ называли его люди тогдашняго вѣка. Впрочемъ современники Гольдсмитова отца отзывались о немъ очень положительно: «Гольдсмиты — странные люди. У нихъ все по своему: они глотаютъ первый кусокъ, никогда не заботясь о слѣдующемъ». Причина такой беззаботности объяснена также благоразумно. «Это происходитъ оттого, говорили, что сердце у нихъ устроено хорошо, но голова не на своемъ мѣстѣ». А вотъ любопытный отзывъ о немъ самого сына, автора «Векфильдскаго священника»: «Отецъ мой считалъ деньги презрѣннымъ прахомъ. Онъ пріучилъ насъ сочувствовать бѣдствіямъ ближнихъ, какъ истиннымъ, такъ и ложнымъ, но не далъ средствъ сопротивляться бѣдствію. Мы были чрезвычайно искусны въ искреннемъ желаніи давать другимъ милліоны и не имѣли способности зарабатывать копѣйку».

Такое воспитаніе, отрывая человѣка отъ дѣйствительныхъ интересовъ жизни, уноситъ его въ холодную даль фантастическаго міросозерцанія. Оно убиваетъ энергію дѣйствія, чтобы дать раздолье теплымъ ощущеніямъ, которыми ничего не сдѣлаешь для пользы общества, а развѣ только будешь забавляться ими для собственной пріятности и развлеченія. Оно наконецъ не спасаетъ и самого воспитанника при встрѣчѣ его съ дѣйствительной жизнью, когда нужна борьба съ врагомъ, а не спокойное созерцаніе враждебныхъ предметовъ, когда необходима сила, а не умилительныя чувства. Гольдсмитъ испытывалъ всю жизнь неловкое положеніе отъ батюшкина оптимизма: непредусмотрительность и слѣпое довѣріе къ той истинѣ, что все идетъ къ лучшему, давали ему порядочные щелчки. Но такъ какъ онъ отъ той же предусмотрительной природы, въ рукахъ которой ядъ и противоядіе, получилъ огромную долю терпѣнія, этой знаменитой добродѣтелиословъ, и равнодушія, этого стоическаго достоинства хладнокровныхъ животныхъ, то удары судьбы отражались отъ его души подобно тому, какъ стрѣлы отражаются отъ толстой шкуры бегемота. Несмотря на уроки дѣйствительныхъ непріятностей, Гольдсмитъ стремился больше къ мечтамъ, нежели къ существенности. Онъ кормилъ себя баснями и думалъ, что тотъ же кормъ пригоденъ всѣмъ птицамъ безъ разбора. Онъ не жаловался на удары судьбы или общества и вообразилъ, что лучшее, единственное средство быть счастливымъ — не жаловаться на несчастіе. Умирая, отецъ оставилъ ему, вмѣсто всякаго движимаго и недвижимаго имущества, свое родительское благословеніе, — наслѣдство прекрасное, единственно нужное тѣмъ, кто презираетъ земныя блага. Но не хорошо здѣсь лишь то обстоятельство, что наслѣдникъ, какъ бы ни думалъ онъ о счастіи, впадаетъ непремѣнно въ противорѣчіе между своими понятіями, которыя можно оставить, и естественными побужденіями, отъ которыхъ невозможно отвязаться. Гольдсмитъ высоко уважалъ благословеніе, однакожъ чувство-

валъ, что на него не покупаются дрянныя блага земли, необходимыя живущему. Притомъ же природа не дала ему «дурной способности» (его собственное выраженіе) заботиться о себѣ самомъ, находить покровительство въ своихъ силахъ, устраивать твердымъ трудомъ свою жизнь. Беззаботный, не привыкшій къ порядку, даже находящій удовольствіе въ безпорядкѣ, онъ долгое время велъ скитальческую жизнь, пробовалъ счастья въ карточной игрѣ, вѣроятно съ цѣлью выиграть, но случилось такъ, что онъ проигралъ и послѣднее. И между тѣмъ тотъ же самый человѣкъ писалъ къ своему другу слѣдующее: «Я не завидую тебѣ въ твоихъ благахъ. Спокойный въ уголку моемъ, смѣюсь надъ свѣтомъ и надъ собою, самымъ смѣшнымъ предметомъ въ свѣтѣ». Не знаю, какого качества эта врожденная доброта, при которой добрякъ не отказывается обыгрывать ближнихъ, и не понимаю, въ чемъ достоинство такъ-называемаго спокойствія, которое не видитъ безпокойствія другихъ, а само есть подарокъ вялой природы, инстинктуальная способность неподвижныхъ натуръ. Странствовать по свѣту съ одной сорочкой на тѣлѣ и съ неограниченнымъ довѣріемъ къ судьбѣ, когда все оканчивается лишь этимъ довѣріемъ и когда нѣтъ другихъ побужденій къ странствію, кромѣ желанія ходить или нежеланія заняться дѣломъ—неужели значитъ жить? Гольдсмитъ принадлежалъ именно къ подобнымъ людямъ. Вальтеръ-Скоттъ справедливо называетъ его «цивилизованнымъ цыганомъ». Въ составленіи книгъ, какъ и въ практикѣ жизни, онъ увлекался своей безпечностью, не давалъ себѣ труда проводить по сочиненію одну опредѣленную мысль. Виги упрекали его за исторію Англіи, въ которой онъ служилъ не пользамъ народа. «У меня вовсе не было этого въ виду, отвѣчалъ онъ; единственная цѣль моя состояла въ томъ, чтобы написать книгу извѣстнаго объема, которая не сдѣлала бъ никому зла, если не могла сдѣлать никакой пользы». Необходимость доставать хлѣбъ управляла перомъ его, замѣняя ему авторское честолюбіе. Сверхъ того онъ былъ неразборчивъ въ выборѣ предметовъ и писалъ часто не взвѣшивая своихъ силъ и не имѣя достаточныхъ свѣдѣній. Отъ исторіи греческой переходилъ онъ съ равной легкостью къ исторіи натуральной. «Изучалъ ли ты птицъ?» спросили его друзья, когда онъ принялся за изложеніе орнитологіи. «Нисколько, отвѣчалъ онъ преспокойно: я съ трудомъ различаю гуся отъ лебедя». Джонсонъ отнесся такъ о предпринятомъ сочиненіи: «Натуральная исторія Гольдсмита будетъ такъ же истинна и такъ же занимательна, какъ арабская сказка». Сколько здѣсь врожденной доброты и душевнаго спокойствія, предоставляемъ рѣшить людямъ отъ природы добрымъ и спокойнымъ; но что это безчестно—видитъ каждый изъ насъ.

По такимъ даннымъ характера не трудно составить понятіе о значеніи и тонѣ «Векфильдскаго Священника»,—сочиненія, написаннаго съ натуры, котораго каждая подробность, съ любовью изображенная, напоминала автору радости его дѣтства, событія у домашняго очага. Примрозъ, векфильдскій священникъ, есть портретъ Гольдсмитова отца: та же врожденная довѣрчивость къ судьбѣ, позволяющая дѣлать все, что̀ угодно, и принимающая флегматическое состояніе духа за спокойствіе чистой совѣсти, за подвигъ добродѣтели; то же презрѣніе къ прямымъ обязанностямъ человѣка и занятіе фантастическими сюжетами. Джоржъ, старшій сынъ священника, очень плохъ, какъ герой романа; но иначе и быть не могло, потому что онъ—вѣрная копія самого Гольдсмита, плохого героя жизни. Авторъ былъ воленъ въ выборѣ сюжета и дѣйствующихъ лицъ, и еслибъ онъ ограничился только воспроизведеніемъ своего семейственнаго быта, картинами случаевъ, совершившихся въ кругу родномъ, какъ въ любезномъ намъ муравейникѣ, портретами лицъ знакомыхъ, друзей или связанныхъ съ нимъ узами крови, то конечно никто бы не имѣлъ права осудить его ни за тѣсную рамку созданія, ни за любовь, съ которой онъ надъ нимъ трудился. Но, къ сожалѣнію, Гольдсмитъ не ограничился этимъ. Онъ простеръ дальше свои виды—и впалъ въ большія ошибки. Онъ захотѣлъ въ своей жизни видѣть законы жизни для всѣхъ; онъ чувства или, вѣрнѣе, малочувствіе хладнокровнаго сердца принялъ за нормальное состояніе каждаго сердца; онъ свое слѣпое довѣріе къ судьбѣ внѣнилъ въ неизмѣнную обязанность каждому страдальцу, который не слѣпъ и не суевѣренъ. Дѣло въ томъ, что Гольдсмитъ никогда не былъ вполнѣ несчастливъ: въ этомъ случаѣ легко проповѣдывать покорность несчастью. Во-вторыхъ, дѣло въ томъ, что не всякаго природа построила одинаковымъ образомъ: если одному, наряду съ врожденной безпечностью, дала она врожденную же способность переносить безъ ропота плоды собственныхъ промаховъ, то другого наградила она мудрой заботливостью и вмѣстѣ тонкой чувствительностью. Видѣть естественное въ своемъ только—значитъ не допускать разнообразія природы и обнаруживать явную тупость воззрѣній. Хорошо еще, когда бы нравственныя предписанія романа вытекали изъ устъ человѣка мужественнаго, занятаго дѣйствительнымъ счастьемъ и дѣйствительными бѣдствіями міра; но въ «Векфильдскомъ священникѣ» говоритъ ихъ человѣкъ безпечный, тугой на подъемъ мысли и еще болѣе тугой на движеніе воли, равно способный къ добру и злу, скиталецъ по инстинкту и выбору. Какія истины откроетъ намъ подобный ораторъ? Нѣтъ, онъ скроетъ отъ насъ истину, потому что самъ ищетъ ее Богъ знаетъ гдѣ, и будетъ возглашать ложь, вполнѣ убѣжденный въ справедливости своихъ мнѣній, ибо, повторимъ, у него сердце можетъ быть и доброе, но голова не на своемъ мѣстѣ. Люди, воспитанные въ школѣ векфильдскаго священника, принадлежатъ или къ ничтожнымъ существамъ, или къ существамъ вреднымъ своимъ ученіемъ, отчужденнымъ отъ всего здороваго и дѣйствительнаго.

Исчислимъ главнѣйшія ихъ свойства: лѣность и безпечность при всякомъ дѣйствительномъ трудѣ; погруженіе мысли въ фантастическія занятія, крайне благопріятныя лѣнивой натурѣ; удивительное равнодушіе ко всякому порядку общественному — благому и тягостному; довольство собственной особой, вложенное отъ природы, а не купленное заслугами, не вытекающее изъ благороднаго сознанія достоинствъ; оптимистическое воззрѣніе на міръ, которое крайне покровительствуетъ апатіи, производитъ застой и противодѣйствуетъ каждому успѣху; пассивная жизнь или прозябаніе, довѣренность къ слѣпой судьбѣ и недовѣренность къ разумному движенію человѣчества, неумѣнье смотрѣть на предметы прямо, выводить изъ нихъ необходимыя слѣдствія, анализировать ихъ истинныя основанія, и проч., и проч., и проч. Многія изъ этихъ свойствъ обнаруживаются почти въ каждой главѣ Гольдсмитова творенія. Возьмемъ хоть главу XIV. Сынъ векфильдскаго священника невыгодно продалъ лошадь. Отецъ его, увѣренный въ своей практической мудрости, какъ и всѣ люди, которые никогда не имѣли прямыхъ сношеній съ жизнью, рѣшился продать другую лошадь самъ. На торгу оказалось, что конь ученаго священника былъ слѣпой, хромой, съ одышкой. Этихъ трехъ капитальныхъ недостатковъ единственной своей животины владѣлецъ не замѣтилъ дома и разглядѣлъ ихъ только тогда, когда наткнули его на то добрые люди. Покупщикъ обманулъ его—и какое-жъ нравственное слѣдствіе вывелъ изъ обмана почтенный священникъ? Что надобно вникать въ дѣла, знакомиться съ окружающими насъ предметами, смотрѣть на вещи прямо? Нѣтъ, совсѣмъ другое: что человѣкъ не долженъ гордиться, и что главная его добродѣтель—смиреніе. Выводъ оригинальный оттого, что герой не занимался жизнью. Чѣмъ же онъ занимался? Догматическими спорами или, какъ преоригинально выражается новый переводъ, «словопреніями» о различныхъ предметахъ, преимущественно о томъ, что неприлично людямъ извѣстнаго сословія вступать во второй бракъ. Векфильдскій священникъ, какъ видно отсюда, былъ строгій защитникъ моногаміи. Отсюда же видно, что фантастическое, отвлеченное, выдуманное заслоняетъ у этихъ людей все дѣйствительное, истинное, естественное и здоровое.

Вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, капитальный недостатокъ, главнѣйшая ошибка знаменитаго творенія: оно не просто поэтическое произведеніе, но произведеніе съ дидактическимъ направленіемъ, съ моральными стремленіями; въ немъ общее построено на индивидуальномъ и, вдобавокъ, ложномъ воззрѣніи; герой его, при всемъ видимомъ смиреніи, должно быть, отличался особеннымъ, неизмѣримымъ самолюбіемъ, когда себя, отрѣшенную отъ дѣйствительнаго міра единицу, хотѣлъ навязать въ наставники всему человѣчеству, желающему блаженствовать на самомъ дѣлѣ, а не въ теоріи оптимизма, желающему не страдать также на самомъ дѣлѣ, а не въ системѣ слѣпого довѣрія. Поэтому нельзя не улыбнуться, читая предувѣдомленіе сочинителя: «Герой романа представленъ готовымъ повиноваться и поучать, простымъ въ изобиліи, достойнымъ въ бѣдствіи». Но эта простота, это достоинство, какъ мы видѣли, проистекаютъ не изъ сознанія заслугъ и не приносятъ человѣку ничего, существенно ему нужнаго. «Въ настоящемъ вѣкѣ богатства и роскоши кому будетъ нравиться человѣкъ съ такими свойствами? Любящіе жить въ большомъ свѣтѣ съ негодованіемъ станутъ отвращаться отъ его скромнаго деревенскаго камина; почитающіе непристойныя рѣчи остроуміемъ не найдутъ въ невинной его бесѣдѣ ничего замысловатаго, а презирающіе религію будутъ смѣяться надъ тѣмъ, кто утѣшенія въ сей жизни всего болѣе почерпалъ изъ науки о жизни будущей». Мы ничего не скажемъ о третьемъ пунктѣ, но замѣтимъ относительно двухъ первыхъ, что крайности сходятся: есть простота равнозначительная пустотѣ, и слѣдовательно еще худшая безумной роскоши, которая тоже пуста; скромный каминъ, который выѣдаетъ глаза дымомъ, не доставляя пріятной теплоты, такъ же дуренъ, какъ и каминъ нескромный, обдающій всѣхъ излишнимъ жаромъ; а догматическія словопренія, имѣющія дѣло съ чуждыми для человѣка интересами, съ фантастическими предметами, нисколько не лучше непристойныхъ рѣчей, ибо и то, и другое равно непристойно.

Для чего новый переводъ Гольдсмитова романа нуженъ людямъ нашего времени,—это, безъ сомнѣнія, знаетъ только переводчикъ. Онъ (то есть романъ, а не переводчикъ) вовсе не къ лицу современнымъ стремленіямъ, положительному направленію вѣка, дѣйствительнымъ его занятіямъ дѣйствительностью. Теперь предстоитъ надобность въ человѣкѣ трезвомъ, бодромъ, дѣятельномъ, который бы смотрѣлъ на вещи прямо и любилъ бы землю, жилище наше и нашихъ потомковъ на долгое время. Теперь мы убѣдились, что лицемѣрить и нелицемѣрно любить ложь равно вредно, что умышленно противоборствовать истинѣ и неумышленно преслѣдовать ее есть одинаковое зло. Трудно даже рѣшить, отчего больше проигрываетъ общество: отъ злобы ли злыхъ людей, или отъ равнодушія, тупости, неповоротливости, односторонности, кривосмотрѣнія людей, по природѣ добрыхъ, которые ни рыба, ни мясо. Для чего же, повторяемъ, нуженъ былъ новый переводъ творенія, явившагося въ XVIII вѣкѣ? Ужели переводчикъ хотѣлъ поставить идеалъ Гольдсмитова человѣка въ образецъ нашему человѣчеству? Да сохранитъ его Богъ отъ такого идеала, а если онъ уже выбралъ его правиломъ своей жизни, то да проститъ ему Богъ его прегрѣшеніе: не вѣдаетъ бо что̀ творитъ.

Или быть можетъ, не думая нисколько о приложеніи прошедшаго къ современному, переводчикъ имѣлъ въ виду только показать, какъ мыслили и дѣйствовали нѣкоторые люди XVIII вѣка, какъ, пожалуй, мыслятъ и дѣйствуютъ многіе сю-

жены XIX столѣтія, какъ мыслилъ и дѣйствовалъ всю жизнь векфильдскій священникъ съ чадами и домочадцами. Въ такомъ случаѣ можно еще оправдать появленіе новаго перевода: это будетъ поэтической картиной прошедшаго времени, воспроизведеніемъ отжившихъ идеаловъ блаженства.

Читатель полюбуется имъ, какъ художникъ, который смотритъ съ удовольствіемъ на все сотворенное, умѣя находить въ каждой твари свою долю прекраснаго, или какъ философъ, который понимаетъ значеніе всего бывшаго и указываетъ ему свое историческое мѣсто, какъ натуралистъ указываетъ мѣсто даже допотопнымъ животнымъ. Но въ такомъ случаѣ—извините—мы уже потребуемъ отъ васъ больше, нежели при какой-нибудь другой цѣли, перевода вѣрнаго, изящнаго. А вашъ переводъ—мы не знаемъ, какъ вѣжливѣе о немъ отозваться,—обнаруживаетъ явное невѣдѣніе ни того языка, съ котораго вы переводили, ни того, на который переводили: онъ просто—безграмотенъ. Всего забавнѣе, что переводчикъ напечаталъ отъ себя предисловіе, въ которомъ преважно разсуждаетъ о важности переводовъ, утверждая, что «переводы знаменитыхъ твореній, въ извѣстный часъ обновляясь, какъ бы возникаютъ изъ пепла, подобно баснословному фениксу», и что «это возникновеніе или возрожденіе производитъ критика, это чистилище разнообразныхъ переводовъ, этотъ строгій, хотя не всегда вѣрный блюститель вкуса и чистоты, этотъ огонь, пожирающій злое и лукавое». «Надлежитъ притомъ думать (замѣчаетъ наивно переводчикъ), что занимающійся переводомъ, сверхъ критики, долженъ слѣдовать извѣстнымъ правиламъ; они бываютъ общія и частныя, они многочисленны»... Да, не мѣшаетъ объ этомъ думать! И всѣ эти высокопарныя разсужденія, всѣ эти тропы и фигуры явились или возродились по случаю новаго перевода «Векфильдскаго священника»,—перевода крайне плохого, ужаснаго своей безграмотностью! Вотъ, что̀ говорится, много шуму изъ пустяковъ!

Огинскій покушается (хотя довольно скромно) противопоставить свой трудъ старому переводу Страхова. Но какое жъ тутъ можетъ быть сравненіе? Переводъ Страхова для своего времени былъ очень хорошъ, а вашъ переводъ для своего времени чрезвычайно не хорошъ.

Сверхъ того, несмотря на заглавіе книги, утверждающее, что переводъ сдѣланъ съ англійскаго, мы имѣемъ много основательныхъ причинъ думать, что онъ «возрожденъ» съ французскаго. Во-первыхъ, примѣчанія, помѣщенныя Огинскимъ внизу страницъ, тѣ же самыя, что̀ находятся во французскомъ переводѣ «Векфильдскаго священника»; только переводчица Луиза Беллокъ (Bellоc) отнесла ихъ на конецъ книги. Во-вторыхъ, самъ Огинскій говоритъ о переводчикахъ французскихъ, Нодье и г-жѣ Беллокъ. Въ-третьихъ (и это самое важное), постройка русскихъ фразъ такъ и указываетъ на грубые галлицизмы. Впрочемъ основательныя подозрѣнія наши нисколько не измѣняютъ сущности дѣла, и переводчику обижаться ими нечего. Вѣдь это только значитъ, что Огинскій знаетъ французскій языкъ такъ же плохо, какъ англійскій и русскій. Другого заключенія здѣсь невозможно вывести.

Представимъ нѣсколько выписокъ, довольно любопытныхъ, изъ удивительнаго, въ 1847 году, перевода. Каждая страница «возродитъ» передъ нами неистощимый матеріалъ удивленія:

«Никогда я не оспаривалъ твоего искусства въ приготовленіи пирога съ *густятиной, и* (а) мнѣ предоставь, прошу тебя, доводы *съ словопреніи.*»—

Надобно замѣтить, Огинскій слово «controverse» переводитъ «словопреніемъ», а французскій союзъ *et* непремѣнно союзомъ *и*.

«Я такъ убѣжденъ былъ въ ея честолюбіи, что вовсе не безпокоилъ меня человѣкъ, *пришедшій въ разореніе по имѣнію* (*un homme ruiné*»).

«Какое словопреніе читала дочь наша?»—«Я теперь читаю разсужденіе *о любовной религіи*» (т. е. *sur la religion de l'amour*).

«Англійская поэзія теперь не что иное, какъ наборъ *роскошныхъ видовъ*, не имѣющихъ между собой никакой связи — скопленіе прилагательныхъ, которыя, возвышая звуки, не утверждаютъ смысла.»

«У насъ есть двѣ лошади для плуга, *жеребенокъ, который служитъ намъ десятый годъ*» (т. е. *la jument*).

«На этотъ разъ мы *преклонились* быть счастливыми.»

«Дамы поддерживали между собой разговоръ *одна другой*.»

«Зловредная мысль была очевидна, и мы далѣе *не простирались*» (т. е. не распространялись объ этомъ).

Довольно, даже слишкомъ. Не пускаясь «въ словопренія», смиримся и утѣшимся, по методѣ векфильдскаго священника и каплана. Во-первыхъ, смиримся: ибо если errare humanum est, то и ошибаться безчеловѣчно тоже въ природѣ людей вообще и переводчиковъ въ особенности. Во-вторыхъ, утѣшимся: ибо, не найдя въ предметѣ того, чего искать въ немъ должно, мы нашли въ немъ другое—предметъ для забавы и удивленія.

Главныя черты древней финской эпопеи «Калевалы» *Мориц Эмана. Гельсингфорсъ. 1847.*

Это не сама поэма, а только изложеніе ея содержанія. Изъ этого должно заключить, что «Калевала» есть твореніе великое, потому что въ противномъ случаѣ для чего бы ее было даже и переводить на русскій языкъ, не только издавать одно изложеніе ея содержанія, съ присовокупленіемъ ученыхъ и всякихъ другихъ примѣчаній? Такъ обходятся только съ монументальными произведеніями человѣческаго ума. Дѣйствительно, почитатели «Калевалы» сравниваютъ ее съ вѣковѣчными, полными всемірнаго значенія поэмами Гомера. Вотъ какъ отозвался о переводѣ изъ нея

отрывка на шведскій языкъ профессоръ-поэтъ Рунебергъ, издававшій въ Гельсингфорсѣ «Утреннюю Газету».

«Редакція должна сказать, что, по ея мнѣнію, ни одному переводу образцовъ древности, «Иліады» и «Одиссеи», не удалось сохранить столько красотъ подлинника, чтобы его можно было сравнить съ переводомъ этой финской руны. Редакція не имѣла случая познакомиться съ остальными рунами «Калевалы», но, судя по этой рунѣ, она полагаетъ, что *финская литература въ «Калевалѣ» получила сокровище, которое и въ объемѣ, и содержаніи можно сравнить съ прекраснѣйшими греческими образцами и даже превосходитъ ихъ, можетъ быть, своимъ высокимъ естествоописаніемъ и безыскусственнымъ блескомъ*, если только можно превзойти то, что̀ совершенно.»

Въ концѣ книжки приложено довольно длинное сужденіе о «Калевалѣ» другого шведскаго или финскаго (не знаемъ право) литератора, Тенгстрема,— сужденіе, изъ котораго мы, по его длинотѣ, сдѣлаемъ только извлеченіе.

«Слаба и блѣдна сага о греческомъ Орфеѣ въ сравненіи съ этимъ пышнымъ растеніемъ *поэтическаго естество-описанія* (?), въ объемъ котораго входитъ весь міръ съ своей (не его ли?) жизнью и со всѣмъ своимъ (его) блескомъ. Особенно величественна самая картина очаровательной силы звуковъ кантеля и описаніе природы. Оно здѣсь достигло той степени жизни и дѣйствительности, какое (не какую ли?) только истинная поэзія въ силахъ произвести и которое (не которая ли?) должно (должна?) поразить всякаго созерцателя». «Такимъ образомъ народъ съ чрезвычайной силой представилъ національный свой духъ и главныя черты жизни какъ въ теоретическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ. Что касается до представленія этихъ образцовъ, какъ они являются въ поэзіи, то отнюдь они не пустыя, аллегорическія фигуры, но, напротивъ, они облечены въ свои собственныя формы, полны *житіемъ* (?) и дѣйствительностью. *Они такъ же совершенны, какъ герои Гомера, но совершенство ихъ только другого характера.* Если мы въ краткихъ словахъ изложимъ содержаніе финской эпопеи, со всѣми ея недостатками, то найдемъ, что она имѣетъ столько красотъ, что *можетъ занять одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду эпическихъ твореній прочихъ народовъ.* Если опять будемъ сравнивать ее съ «Иліадой» и «Одиссеей», то найдемъ, что она не можетъ съ ними сравняться относительно полноты образовъ, *избытка мѣстоположенія* (?), прекраснаго равенства между природой и духомъ, исторической ясности въ развязкѣ происшествій и ровнаго эпическаго шага (хода?); но зато она представляетъ такія явленія внутренней душевной красоты, какихъ мы не найдемъ въ Гомерѣ. (Вотъ какъ!....) Также «Калевала» въ общеисторическомъ отношеніи не можетъ быть соперницей съ твореніями Гомера (а!....), но если ясно и подробно показать національный духъ того и другого народа (т. е. древнихъ грековъ и финновъ!!...), то трудно рѣшить, на какой сторонѣ преимущество (вотъ оно куда пошло...). Финской эпопеѣ должно отдать преимущество въ томъ, что она въ одно описаніе *стѣснила* (?) весь національный духъ, который Гомеръ представилъ въ двухъ картинахъ.»

Случилось такъ, что, прочитавши предисловіе, мы прочли примѣчанія къ поэмѣ прежде поэмы. Это обстоятельство естественно возбудило въ насъ сильное любопытство на счетъ самой поэмы. Правда, преувеличенность этихъ отзывовъ не ускользнула отъ насъ и показалась намъ довольно подозрительной. Особенно возбуждалъ въ насъ сомнѣніе послѣдній доводъ въ пользу превосходства финской поэмы надъ поэмами Гомера, состоящій въ томъ, что финская эпопея въ одно описаніе стѣснила весь національный духъ, тогда какъ Гомеру нужно было создать для этого двѣ большія поэмы. Что̀ жъ тутъ мудренаго?—думали мы. Иной національный духъ такъ малъ, что уложится въ орѣховой скорлупѣ, а иной такъ глубокъ и широкъ, что ему мало всей земли. Таковъ былъ національный духъ древнихъ грековъ. Гомеръ далеко не исчерпалъ его весь въ своихъ двухъ поэмахъ. И кто хочетъ ознакомиться и освоиться съ національнымъ духомъ древней Эллады, тому мало одного Гомера, но будутъ для этого необходимы и Гезіодъ, и трагики, и Пиндаръ, и комикъ Аристофанъ, и философы, и историки, и ученые, а тамъ еще остается архитектура и скульптура, и наконецъ изученіе всей внутренней, домашней и политической жизни. Съ XVI вѣка изучаетъ Европа древнюю Грецію — и все еще конца не видно этому изученію. Гдѣ только не откроютъ слѣды какихъ-нибудь колоній греческихъ, какъ напр. въ Крыму, — какъ тотчасъ же возникаетъ цѣлая эрудиція по поводу бѣдныхъ остатковъ развалинъ, фресокъ и надписей, вырываемыхъ изъ могилъ,— и множество ученыхъ составляетъ себѣ имя этими изысканіями. Такъ глубоки и многознаменательны даже слабые слѣды жизни этого удивительнаго племени...

И однакожъ, не смотря на то, мы думали, что самая преувеличенность восторженныхъ похвалъ финской поэмѣ, со стороны ея поклонниковъ, можетъ до нѣкоторой степени свидѣтельствовать о ея значительномъ достоинствѣ, помимо всякихъ неумѣстныхъ сравненій ея съ поэмами Гомера. И вотъ мы начинаемъ читать изложеніе содержанія знаменитой поэмы и не вѣримъ глазамъ нашимъ! Вмѣсто ожидаемаго удовольствія, нами овладѣло чувство досады — слѣдствіе жестоко обманутаго ожиданія! Не нравиться намъ можетъ многое, не возбуждая досады; но когда неумѣренныя похвалы приготовятъ къ ожиданію чего-то необыкновеннаго, тогда разочарованіе естественно возбуждаетъ досаду и на восторженныхъ хвалителей, и на превознесенное произведеніе. Что̀ же мы нашли въ «финской эпопеѣ»? Вотъ вопросъ, который ставитъ насъ въ затруднительное положеніе передъ читателями! Переписать здѣсь всю книжку Эчана — значило бы поступить противъ правъ литературной собственности. Пересказать развѣ ея содержаніе вкратцѣ? — Но мы, во-первыхъ, ничего не поняли въ ея содержаніи, а во вторыхъ, какъ пересказывать то, что̀ и въ чтеніи показалось такъ скучнымъ и не интереснымъ? Нельзя сказать, чтобы въ этой поэмѣ не проблескивали искорки поэзіи; но онѣ проблескиваютъ изрѣдка и слабо сквозь мракъ призраковъ, порожденныхъ

дикой и невѣжественной фантазіей. Вотъ отрывокъ для образчика финской фантазіи:

«Напослѣдокъ Вяйнямейненъ, вспомнивъ, что давно похороненный богатырь Випуненъ былъ чрезвычайно смышленъ въ колдовствѣ и свѣдущъ въ первоначальныхъ словахъ, вздумалъ отправиться на его могилу, въ надеждѣ найти нужныя слова. Но какъ дорога туда шла по женскимъ иглам, чрезъ острые мечи мужчинъ и чрезъ сѣкиры витязей, то онъ просилъ Ильмаринена выковать ему желѣзныя перчатки, сапоги, рубашку и длинный шестъ. Такъ вооруженный, достигъ онъ на третій день до могилы богатыря. Густой лѣсъ уже шумѣлъ надъ могилой. Вяйнямейненъ вырубилъ лѣсъ и вколотилъ шестъ въ ротъ Випунена. Тотъ проснулся отъ мертваго сна и, напрасно стараясь откусить шестъ, проглотилъ самого Вяйнямейнена. Для препровожденія времени, Вяйнямейненъ изъ желѣзной своей рубашки и прочихъ вещей устроилъ себѣ кузницу въ животѣ богатыря и началъ ковать настоящимъ образомъ. Эта выдумка сильно мучила Випунена. Уголья и огарки жгли ему горло. Онъ въ нуждѣ своей между прочимъ говоритъ: «Кто ты такой, кого я теперь проглотилъ? Съ сотней витязей я то же сдѣлалъ, но никто меня такъ не мучилъ. Ежели ты сотворенъ создателемъ, то я твердо уповаю на него, что онъ не покинетъ меня, добраго; но ежели ли ты наемникъ злого духа, то ты, мерзкій, убирайся! Ты поднятъ ли изъ глубокихъ водъ, или прибылъ изъ волнъ шумящаго моря, или изъ дальнихъ болотъ колдуновъ, или изъ страшныхъ странъ медвѣдей? Отецъ мой вѣдь прежде могъ прогнать все зло. Неужели я не подобенъ отцу? Неужели я не похожъ на брата моего, который управлялъ небесными тучами. Я могу просить помощи у небесъ и у преисподней земли. Громко закричу въ моей нуждѣ, такъ что крикъ отзовется въ глубинѣ земли и чрезъ девять небесъ. Укко! близкій сосѣдъ громовыхъ тучъ! дай мнѣ огненный мечъ, чтобъ я могъ наказать больно этого подлеца. Поднимайся изъ волнъ ты, богиня морей! Приди для моего спасенія. Приди, о лѣсъ! съ твоими тысячами вооруженныхъ витязей. Приди ты, пустыня, съ своими толпами, и вы, озера! Возстань изъ земли, мать земного шара, и поднимитесь всѣ вы, въ гробахъ почивающіе ратники, на истребленіе этого зла. Кааве! ты, дочь природы, пышная, прекрасная, укроти страшныя мои мученья! Собирайтесь, тысячи чертей, чтобъ избавить меня отъ этого злого духа! Убирайся, негодяй, изъ меня; мѣста во мнѣ нѣтъ для тебя; ищи себѣ другого жилища. Перемѣстись, куда тебѣ угодно, но только далѣе отъ меня. Куда мнѣ заговорить тебя, куда сослать тебя? Ступи скорѣе къ тому, кто тебя прислалъ сюда: ступи домой съ быстротой огненной пекры; достань себѣ лыжи или коня у Гиси и уѣзжай. Ежели ты Калма, возставшій изъ гроба, то отправляйся опять туда. Ежели ты прибылъ изъ водъ, то я сошлю тебя на край сѣвера, чтобъ волны тамъ тебя успокоили. Ежели ты прибылъ съ вѣтромъ, то воротись назадъ по пути весеннихъ вѣтровъ. Ежели ты изъ болотъ, то заклинаю тебя отправиться въ нетающія болота, откуда ты никогда не вылѣзешь, или ступай въ обиталище мертвыхъ, или въ кипящую, пламенную рѣку Рутью. Ежели ты теперь не послушаешься, то возьму за прокатъ ноги у орла и шубу у тебя. Пора тебѣ убираться. Удались до разсвѣта, прежде чѣмъ взойдетъ небесная утренняя заря.»

Напрасно однакожъ Випуненъ старался колдовскими пѣснями и заклинаніями избавиться отъ непріятнаго гостя. Вяйнямейненъ все-таки не удалялся и грозилъ остаться навсегда, ежели Випуненъ не выучитъ его необходимымъ словамъ. И такъ Випуненъ принужденъ былъ отпереть кладовую своихъ словъ: онъ начинаетъ пѣть. Пѣсенъ ему не достаетъ, какъ скаламъ недостаетъ камней или рѣкамъ воды. Пѣніе его продолжается безконечные дни и ночи. Солнце остановилось слушать, мѣсяцъ также прислушивается, и Большая Медвѣдица поучается.»

Скажите, похожи ли сколько-нибудь эти дикіе, грубые, лишенные смысла образы на греческіе миѳы, столь полные глубокаго значенія, столь изящные по своимъ формамъ? какое можетъ быть сравненіе между эстетически-прекрасными богами древней Греціи, ея человѣчески интересными для насъ героями—и этими уродливыми, чудовищными образами боговъ и богатырей-колдуновъ финскихъ, съ ихъ «первоначальными словами?» Кажется, объ этомъ и рѣчи не можетъ быть. Тенгстремъ, въ своихъ натянутыхъ сравненіяхъ «Калевалы» съ поэмами Гомера, чуть было не напалъ на истину, коснувшись разницы ихъ во всемірно-историческомъ значеніи; но поспѣшилъ обойти этотъ главный и существенный вопросъ, угрожавшій рѣшительнымъ опроверженіемъ всѣхъ его преувеличенныхъ похвалъ финской поэмѣ. Нѣтъ, не съ «Иліадой» и «Одиссеей» сравнивать ее, а развѣ съ поэмами вродѣ «Слово о полку Игоревомъ», да и тутъ еще не рѣшенный вопросъ, на чьей сторонѣ окажется преимущество... Проблески поэзіи—повторяемъ—въ «Калевалѣ» есть, но въ какомъ же народномъ произведеніи нѣтъ ихъ? Поэзія—общее достояніе человѣчества на всѣхъ ступеняхъ его, во всѣхъ его положеніяхъ, отъ самаго дикаго до самаго образованнаго. Но народная, естественная или непосредственная поэзія только у себя дома оказываетъ особенно сильное вліяніе на души людей; это туземное растеніе, которое вянетъ на чуждой ему почвѣ. Даже и у себя дома много теряетъ она своей силы надъ людьми, какъ скоро у народа возникаетъ художественная поэзія. Во всякомъ случаѣ, интересъ народной поэзіи—интересъ мѣстный, домашній. Каждому дорого свое, родное. Общій интересъ народныя произведенія могутъ пріобрѣтать только тогда, когда наука замѣтитъ въ нихъ указанія и факты для объясненія до-историческихъ временъ жизни народа. А особенно за поэзіей тутъ слишкомъ гоняться нечего: ея такъ много, что дѣвать некуда! Народная поэзія—только для охотниковъ. Охота пуще неволи, говоритъ русская пословица. Охотникъ правъ въ своей страсти, особенно если не воображаетъ всѣхъ подобными себѣ охотниками и не навязываетъ ихъ удивленію предмета своей страсти...

Но чѣмъ тѣснѣе, исключительнѣе кругъ занятій человѣка, тѣмъ больше важности придаетъ ему человѣкъ. За отсутствіемъ другихъ сильныхъ національныхъ интересовъ, финны съ особенной страстью обратились къ собиранію и изученію памятниковъ ихъ народной поэзіи. Въ этомъ отношеніи у нихъ много общаго съ тѣми славянскими племенами, которыхъ вся жизнь въ воспоминаніи, въ прошедшемъ, а не въ настоящемъ и будущемъ.

Тѣ и другіе какъ будто открыли содержаніе и цѣль жизни своей въ отыскиваніи словесныхъ и другихъ памятниковъ своего прошедшаго. Поэма, пѣсня, пословица, стихъ, полстиха, надпись на камнѣ,— все для нихъ равно важно, велико. И оно понятно: юноша не дорожитъ своимъ настоящимъ, о прошедшемъ также не думаетъ; вся жизнь, всѣ надежды и мечты его въ будущемъ, и онъ мыслью опережаетъ время, воображаетъ себя старше, нежели онъ есть, готовъ прибавлять себѣ года, какъ устарѣлая кокетка убавляетъ ихъ у себя. Человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, уже любитъ свое прошедшее, каково бы оно ни было, но онъ уже не рвется въ будущее, не вѣритъ его обольстительнымъ обѣщаніямъ; онъ уже научился цѣнить настоящее, дорожить имъ, и вся жизнь, вся дѣятельность его въ настоящемъ. Для старика настоящее уныло и безотрадно, а въ будущемъ онъ видитъ только могилу, и потому бранитъ настоящее и не любитъ думать, не только говорить о будущемъ: онъ весь въ прошедшемъ, весь въ своихъ воспоминаніяхъ, онъ молодѣетъ, говоря о нихъ, дѣлается счастливъ и гордъ, хваля доброе старое время. Это жизнь въ воспоминаніи, жизнь заднимъ числомъ! Ее знаютъ и народы. Тогда они дѣлаются археологами исключительно и думаютъ, что важное и дорогое для нихъ такъ же важно и дорого и для другихъ. Осмѣльтесь усомниться въ цѣнности ихъ сокровищъ или посмотрѣть на нихъ равнодушно,—вы совершите въ ихъ глазахъ преступленіе, которому нѣтъ равнаго... Улыбнитесь насмѣшливо или только недовѣрчиво, когда они указываютъ вамъ на своихъ Гомеровъ, на свои «Иліады» и «Одиссеи»;—они взглянутъ на небо, не гремитъ ли уже громъ, долженствующій поразить васъ за ужасное нечестіе вашего скептицизма... Какъ во всѣхъ иллюзіяхъ старости, тутъ все дышетъ преувеличеніемъ и фанатизмомъ. Но если такимъ археологамъ-патріотамъ часто случается встрѣчать холодность и равнодушіе, а иногда и насмѣшку со стороны людей, которымъ чужды ихъ обольщенія,—зато иногда они встрѣчаютъ не только сочувствіе, но и готовность на тѣ же преувеличенія тамъ, гдѣ бы, кажется, всего менѣе могли они ожидать найти ихъ. Это самое нашла финская литература въ извѣстномъ русскомъ литераторѣ, графѣ Соллогубѣ. Заглавіе книжки Эмана украшено эпиграфомъ, заимствованнымъ изъ статьи графа Соллогуба, а эпиграфъ этотъ гласитъ: «Вы едва ли поймете, какъ утѣшительно теперь, когда изъ литературы сдѣлался какой-то безобразный рынокъ, найти въ уголкѣ Европы столь неожиданное явленіе». Это сказано по поводу финскаго литератора Ленрота, который нѣсколько лѣтъ, терпя нужду и холодъ, ходитъ пѣшкомъ по Финляндіи, отыскивая въ хижинахъ ея поселянъ народныя пѣсни. Мы первые готовы отдать справедливость прекрасному и благородному подвигу Ленрота; но не считаемъ нужнымъ впадать для этого въ преувеличеніе. Какъ! всѣ литературы Европы, кромѣ финской, превратились въ какой-то безобразный рынокъ?... Какъ! безкорыстное служеніе наукѣ или литературѣ существуетъ теперь только въ Финляндіи?... Помилуйте, господа энтузіасты! прочтите жизнь такихъ людей, какъ Гумбольдтъ или Араго,—и посмотрите, такія ли еще жертвы принесли они наукѣ! Вспомните, что до сихъ поръ не прерывается въ Европѣ рядъ этихъ смѣлыхъ мучениковъ науки, которые отваживаются на путешествія въ страны отдаленныя и опасныя, напр. въ глубину Африки, гдѣ большей частью погибаютъ они отъ воспалительныхъ и заразительныхъ болѣзней или отъ ножа дикарей. Корысть, разсчетъ и торговля дѣйствительно проникли теперь во всѣ литературы; но вы близоруки, если за ними не разсмотрѣли тѣхъ благородныхъ и прекрасныхъ явленій, которыя хотя и въ меньшинствѣ, но есть и всегда будутъ вездѣ, къ чести человѣческой натуры. Что въ финской литературѣ нѣтъ торгашества, это очень естественно; занятіе финской литературой не представляетъ никакихъ матеріальныхъ выгодъ, а потому за него и берутся не спекулянты, а только люди, дѣйствительно любящіе литературу.

Современныя замѣтки.

Въ обзорѣ русской литературы за прошлый 1846 годъ, помѣщенномъ въ первой книжкѣ «Современника», мы указали только на нѣкоторыя статьи, помѣщенныя въ журналахъ, но о самыхъ журналахъ не сказали ни слова. О старыхъ повременныхъ сказать было нечего, а повторять старое было бы и скучно, и безполезно. Ихъ характеръ, направленіе, духъ — давно всѣмъ извѣстны. И еслибы который-нибудь изъ нихъ, противъ воли, потерпѣлъ какое-нибудь существенное измѣненіе въ своемъ внутреннемъ значеніи, всѣми мѣрами усиливаясь въ то же время сохранить, хотя внѣшнимъ образомъ, свой прежній характеръ, — вѣроятно это было бы и безъ нашихъ указаній тотчасъ всѣми замѣчено, и намъ больше, нежели кому-нибудь другому, было бы неумѣстно вмѣшиваться въ какія бы то ни было разбирательства по этому предмету. О новыхъ или преобразованныхъ журналахъ, долженствовавшихъ появиться въ новомъ 1847 году, мы естественно не могли говорить потому, что еще не видали ихъ. Правда, о нѣкоторыхъ или по крайней мѣрѣ о нѣкоторомъ можно было и заранѣе сказать безошибочно, что̀ изъ него выйдетъ, не прибѣгая къ духу прорицанія, а только припомнивъ его неоднократныя метаморфозы; но вѣдь это же самое могъ бы сказать о немъ и всякій, стало-быть, печего было и говорить....

Тѣмъ пріятнѣе для насъ, что много хорошаго можемъ мы сказать о преобразованныхъ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ»... Мы многаго ожидали отъ этой газеты по ея новой программѣ, въ которой были показаны и новыя матеріальныя

средства редакціи и поименовано много новыхъ сотрудниковъ: но «Санктпетербургскія Вѣдомости» съ первыхъ же нумеровъ своихъ за нынѣшній годъ превзошли всѣ ожиданія наши. Прежній редакторъ ихъ, Очкинъ, воспользовался какъ слѣдуетъ новымъ своимъ положеніемъ редактора къ прежнему своему изданію, расширившимъ предѣлы его дѣятельности и давшимъ ему возможность обнаружить въ истинномъ свѣтѣ свои способности для редижированія большой политической и литературной газетой. Хотя въ ея заглавіи и стоятъ только два эпитета: политическая и литературная, и не стоитъ, какъ въ другихъ газетахъ, ученая; но это недостатокъ только заглавія газеты, а не самой газеты, потому что въ ней публика прочла уже не одну замѣчательную ученую статью. Мы далеки отъ того, чтобы видѣть въ преобразованныхъ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» какое-то чудо совершенства. При сужденіи о какой бы то ни было русской газетѣ, всегда должно брать въ соображеніе, до какой степени простирается у насъ вообще возможность хорошаго изданія въ этомъ родѣ, и до какой степени зависитъ отъ редактора его совершенство. Съ этой точки зрѣнія, немногаго остается желать для улучшенія «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей»,—и, судя по ихъ дебюту, мы убѣждены, что съ этой стороны въ скоромъ времени онѣ не оставятъ ничего больше желать своимъ читателямъ, потому что уже и теперь «Санктпетербургскія Вѣдомости» такъ далеко оставили за собой всѣ другія изданія одного съ ними рода, что сдѣлали невозможнымъ всякое сравненіе между собой и ими. Нельзя надивиться довольно богатству и полнотѣ внутреннихъ извѣстій въ каждомъ нумерѣ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей». Заграничныя извѣстія, какъ политическія, такъ и частныя, въ нихъ тоже гораздо полнѣе и разнообразнѣе, нежели въ другихъ русскихъ газетахъ, исключая «Московскихъ Вѣдомостей». Но помѣщеніе такихъ статей, какъ «Штейнъ и Поццо ди-Борго» и «Уголовное судопроизводство во Франціи и Англіи», уже совершенно выводитъ «Санктпетербургскія Вѣдомости» изъ подъ общаго уровня досель бывшихъ и сущихъ газетъ россійскихъ. «Взятіе Азова», любопытная статья Устрялова, вѣроятно не останется единственной ученой статьей въ годовомъ изданіи газеты.

Фѣльетонъ составляетъ существенную принадлежность всякой газеты. Къ сожалѣнію, фѣльетонъ у насъ пока еще невозможенъ. Что такое фѣльетонъ? Это болтунъ, повидимому добродушный и искренній, но въ самомъ дѣлѣ часто злой и злорѣчивый, который все знаетъ, все видитъ, обо многомъ не говоритъ, но высказываетъ рѣшительно все, колетъ эпиграммой и намекомъ, увлекаетъ и живымъ словомъ ума, и погремушкой шутки.... Гдѣ жъ ужиться съ фѣльетономъ русской публикѣ, которая такъ церемонно, серьёзна, чопорна, съ такимъ избыткомъ одарена великодушной готовностью благопристойно скучать, такъ уважаетъ, даже вчужѣ, благонамѣренную наружность? Оттого нашъ русскій фѣльетонъ, какъ и нашъ русскій водевиль, такъ приторенъ въ своихъ любезностяхъ, такъ скученъ и вялъ въ своемъ остроуміи, а главное—такъ мало изобрѣтателенъ на предметы разговора! Бѣдняжка вѣчно начинаетъ или съ того, что въ Петербургѣ всегда дурная погода, или съ того, какъ трудно ему, фельетонисту, писать по заказу, когда вовсе не о чемъ писать, а въ головѣ пусто... Вотъ тутъ-то, въ припадкѣ фѣльетоннаго отчаянія, желая быть остроумнымъ, во что́ бы ни стало, восклицаетъ онъ иногда: «Зачѣмъ у насъ такъ много полу-плохихъ журналовъ, а не одинъ хорошій журналъ?». На что́ зѣвающій читатель можетъ отвѣтить ему: «Скажите-ка лучше, зачѣмъ всѣ ваши фельетоны такъ положительно плохи; что бы вамъ написать хоть одинъ порядочный»...

Но «Санктпетербургскія Вѣдомости» умѣли перещеголять другія русскія газеты даже и со стороны фельетона. Если фельетонныя статьи въ нихъ и неодинаковаго достоинства, зато между ними нѣтъ такихъ, которыя могли бы компрометтировать газету, а съ ней и всю русскую литературу. Очень выгодно для «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей» то обстоятельство, что у нихъ, по множеству сотрудниковъ, и фельетоны пишутся разными лицами, которыя говорятъ въ нихъ о русской литературѣ, о русскомъ и французскомъ театрѣ, объ итальянской оперѣ въ Петербургѣ и тому подобныхъ немногихъ предметахъ русскаго и петербургскаго міра; но никогда не говорятъ о себѣ, о своей любви къ правдѣ, и что всѣ ихъ за нее гонятъ, о гибели чистоты русскаго языка литераторами чужого прихода, и тому подобныхъ пошлостяхъ, которыя уже давно вышли изъ вѣры, давно всѣмъ наскучили и опротивѣли... Нѣкоторые фельетоны «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей» даже очень интересны, особенно подписанные именемъ Губера и буквами: «Э. И.» Въ нихъ высказывается много дѣльнаго и притомъ такъ умно, ловко, живо. Правда, между всѣмъ этимъ попадаются мнѣнія, съ которыми вы можетъ-быть никакъ не согласитесь, но которыхъ тѣмъ не менѣе вы не можете не уважать, которыя — что́ всего важнѣе — вы можете оспаривать, не боясь вдаться въ такъ-называемую полемику... Такимъ образомъ фельетонъ Губера: «Русская литература въ 1846 году», помѣщенный въ № 4 «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей», возбудилъ въ насъ желаніе сдѣлать на него нѣсколько замѣтокъ.

Говорить о современной русской литературѣ— значитъ говорить о такъ называемой натуральной школѣ и о такъ называемыхъ славянофилахъ, ибо это самыя характеристическія явленія современной русской литературы, внѣ которыхъ нѣтъ на Руси никакой литературы. Губеръ о нихъ и говоритъ. Приговоръ его славянофиламъ нѣсколько строгъ и одностороненъ. Съ одной стороны, онъ очень справедливо сравниваетъ славянофильскую партію въ Россіи съ романтической партіей въ Германіи, стоявшей за средніе вѣка и тев-

тонизмъ и ненавидѣвшей Францію и все французское; кромѣ ратованія за мертвое начало между обѣими партіями, русской и нѣмецкой, есть еще то общее, что онѣ не имѣютъ важнаго значенія внѣ литературнаго, книжнаго міра. Но съ другой стороны Губеръ не совсѣмъ правъ, видя въ нашихъ славянофилахъ не больше, какъ «защитниковъ бороды и кафтана». Правда, между славянофилами есть и такіе; но въ какой же партіи нѣтъ людей, которые своей ограниченностью дѣлаютъ смѣшной свою партію. Однакожъ по нѣкоторымъ не слѣдуетъ заключать обо всѣхъ. Еще менѣе правъ Губеръ, говоря, что «эта славянская партія составляетъ неотъемлемое достояніе Москвы» и что «въ Петербургѣ совсѣмъ другое дѣло», что-де «тутъ молодое поколѣніе силится опрокинуть старый порядокъ русской литературы» и пр. Нѣтъ, это не такъ. Правда, въ Москвѣ много славянофиловъ, но меньше-ли ихъ и въ Петербургѣ? Этотъ вопросъ неизбѣжно влечетъ за собой другой: покойный «Маякъ» менѣе-ли «Москвитянина» былъ выразителемъ ультра-славянофильскихъ понятій, или болѣе? А вѣдь «Маякъ» издавался не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ, и наполнялся преимущественно трудами живущихъ въ Петербургѣ литераторовъ. Съ другой стороны, въ Москвѣ не мало живетъ ученыхъ и литераторовъ, нисколько не принадлежащихъ къ славянофильской партіи. Укажемъ для примѣра на Искандера, Грановскаго, Кавелина, Соловьева, Рѣдкина, Корша, Рулье... Скажемъ болѣе: молодое поколѣніе, на которое такъ горько жалуется Губеръ за то, что «оно силится опрокинуть старый порядокъ русской литературы», это молодое поколѣніе совсѣмъ не туземное въ отношеніи къ Петербургу: оно переѣхало въ Петербургъ изъ Москвы...

Но главный предметъ статьи Губера составляетъ такъ-называемая натуральная школа русской литературы и критики, которую онъ однакоже называетъ литературой и критикой молодого поколѣнія—что не совсѣмъ вѣрно, ибо если молодыя поколѣнія всѣ на сторонѣ этой школы, то въ числѣ дѣятелей этой школы есть люди, изъ которыхъ одни подвигаются уже къ своимъ сороковымъ годамъ, а другіе уже и перешли за нихъ. Вообще, наши литераторы какъ-то долго считаются молодыми людьми, а потомъ какъ-то вдругъ повертываются въ разрядъ старыхъ... Говоря о натуральной школѣ, Губеръ ясно показываетъ, что самъ онъ, по своимъ убѣжденіямъ, не принадлежитъ ни къ ней, ни къ противоположной ей, и ни къ какой другой литературной котеріи, и что слѣдовательно онъ—человѣкъ безъ предубѣжденій и предразсудковъ, человѣкъ безпристрастный. Дѣйствительно, мало сочувствуя натуральной школѣ, онъ тѣмъ не менѣе смотритъ на нее безъ всякой враждебности, обвиняя ее за ея недостатки, отдаетъ полную справедливость ея заслугамъ, а — главное — весьма благородно защищаетъ ее отъ несправедливыхъ нареканій и навѣтовъ ожесточенныхъ враговъ ея. Все это хорошо, но со всѣмъ этимъ Губеръ не рѣшилъ вопроса, даже не подвинулъ его впередъ и нисколько не выполнилъ своей роли посредника и примирителя. Есть два способа оставаться безпристрастнымъ среди тревожныхъ волненій партій. Первый состоитъ въ томъ, чтобы безпристрастно видѣть всѣ стороны, дурныя и хорошія, чуждыхъ партій, а самому все-таки оставаться вѣрнымъ своему убѣжденію и слѣдовательно оставаться вѣрнымъ своей партіи, если это убѣжденіе раздѣляется другими (а что же въ немъ дѣльнаго, если оно никѣмъ не раздѣляется?). Второй (и самый надежный, самый вѣрный, самый легкій) способъ быть безпристрастнымъ состоитъ въ томъ, чтобы, кое въ чемъ соглашаясь и кое въ чемъ не соглашаясь съ тѣмъ и другимъ, самому не имѣть никакого опредѣленнаго мнѣнія, никакого постояннаго убѣжденія. Такого рода «безпристрастные» люди, неспособные принадлежать ни къ какой партіи, иначе называются равнодушными или индифферентами. Не принадлежать къ партіи можетъ только геній, и то потому, что онъ самъ — знамя, подъ сѣнь котораго не замедлитъ стать огромная партія. Претензія не принадлежать къ партіи всегда совпадаетъ съ претензіей одному видѣть ясно безусловную истину, на которую всѣ другіе смотрятъ сквозь тусклыя очки парціальныхъ пристрастій; но чистая, безусловная истина есть только логическій абстрактъ: всякая живая истина всегда носитъ на себѣ отпечатокъ временнаго, условнаго.

Мы слишкомъ далеки отъ того, чтобы видѣть въ Губерѣ безпристрастнаго зрителя борьбы, который тѣмъ больше видитъ, чѣмъ меньше принимаетъ участія въ борьбѣ; но въ то же время мы должны сказать, что тщетно отыскивали въ его статьяхъ того, что́ называется началомъ, принципомъ, взглядомъ, образомъ мыслей, наконецъ убѣжденіемъ. У него есть мнѣнія, но до того личныя, что они больше на своемъ мѣстѣ въ частномъ разговорѣ, нежели въ печати. Никакъ нельзя понять, чего онъ держится. Только что заговоритъ онъ о чемъ-нибудь положительно, и обрадованный читатель думаетъ добраться до какого-нибудь вывода, какъ авторъ тотчасъ же отступается отъ своего мнѣнія и идетъ дальше, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что хотя шелъ онъ не мало и не близко, а не дошелъ ни до чего... Начнемъ съ начала.

«Прежде поэзія космополитомъ обходила города и села, распѣвая сладкія пѣсни и чуждаясь соприкосновенія съ ежедневной жизнью; она раскаживала, непричастная тому, что́ творилось кругомъ, строгая муза, неприступная жрица, съ важнымъ праздничнымъ лицомъ; она облекалась въ *воскресныя* (?) одежды и *служила* чистую, неподкупную *службу* своей единственной богинѣ — красотѣ.»

Несмотря на то, что эти строки прочли мы 4 января 1847 г. въ первый разъ въ нашей жизни, намъ показалось, что мы давно знаемъ ихъ наизусть: таково впрочемъ свойство всѣхъ общихъ риторическихъ мѣстъ... Право, пора бы

перестать воспоминать о какомъ-то чистомъ и абстрактномъ искусствѣ, котораго никогда и нигдѣ не бывало. Пора перестать думать, что можно возвысить искусство, представляя его то какимъ-то бродягой, безъ дома и отечества, то цыганкой, то прелестницей не изъ денегъ, а по страсти къ ремеслу. Да гдѣ и когда было такое искусство? Искусство древнихъ грековъ ближе всякаго искусства въ мірѣ подходитъ къ идеалу чистаго, независимаго отъ дѣйствительной жизни искусства; но при всемъ этомъ укажите мнѣ на какое-нибудь другое искусство, которое бы съ такой полнотой, глубокостью и многосторонностью выразило въ себѣ всѣ элементы религіозной, политической, государственной, гражданской и частной жизни эллиновъ... Поэтому-то, не имѣя понятія объ исторической и внутренней жизни этого народа, нельзя понимать и его поэзіи. Уже нечего и говорить о какомъ-нибудь Аристофанѣ, на каждый стихъ котораго необходимо по сотнѣ комментарій, чтобы понимать его; не далеко уйдете вы и въ пониманіи другихъ поэтовъ Греціи, если ученымъ образомъ не ознакомитесь съ ихъ жизнью, которая была источникомъ ихъ поэзіи. А этого бы совсѣмъ не нужно въ отношеніи къ чистой, безусловной поэзіи, которая паритъ горѣ, считая для себя за униженіе знать, что́ дѣлается долу... Изъ писателей новаго міра рыцари небывалаго чистаго искусства обыкновенно съ торжествомъ указываютъ на Гёте; но тутъ-то они, сверхъ всякаго съ ихъ стороны чаянія, находятъ орудіе противъ себя, а не за себя... Правда, Гёте, по особенному свойству, возможному и понятному только въ нѣмецкой натурѣ, оставался равнодушнымъ къ политическимъ вопросамъ въ самое обильное великими политическими событіями время; согласны съ Губеромъ, что, «какъ человѣкъ и какъ нѣмецъ, Гёте былъ не правъ»; но не можемъ согласиться, чтобы, какъ поэтъ, какъ художникъ, Гёте въ этомъ случаѣ хоть сколько-нибудь подходилъ подъ идеалъ безукоризненнаго жреца абстрактнаго искусства. Въ Гёте должно отличать человѣка отъ художника: Гёте былъ великій художникъ, но человѣкъ онъ былъ самый обыкновенный... Не искусство, а его личный характеръ заставляли его вѣчно тереться между сильными земли, жить и дышать милостыней ихъ улыбокъ, равно какъ и оказывать самое холодное невниманіе ко всему, что́ не касалось до него лично, что́ могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствіе. И потому равнодушіе Гёте къ живымъ вопросамъ современной ему исторіи не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ: искусство и не думало обязывать его въ свою пользу безнравственнымъ равнодушіемъ такого рода. Но тѣмъ не менѣе Гёте, какъ художникъ, какъ поэтъ, былъ вполнѣ сыномъ своей страны, своего вѣка, вполнѣ выразилъ собою если не всѣ, то многія изъ существеннѣйшихъ сторонъ современной ему дѣйствительности. Это доказывается его отвращеніемъ ко всему отвлеченному, туманному, мистическому, ко всякой, какъ называетъ ее Губеръ, «нездѣшней» поэзіи. Это же доказывается его стремленіемъ ко всему простому, ясному, опредѣленному, здѣшнему, земному, дѣйствительному, реальному, положительному; его страстнымъ сочувствіемъ природѣ, которое не только отразилось пантеистическимъ міросозерцаніемъ въ его поэзіи, но еще и выразилось съ его стороны великими услугами въ области естествознанія, какъ науки. Какъ при этомъ не вспомнить о его живой симпатіи къ древнему міру, среди всеобщаго стремленія къ варварскимъ среднимъ вѣкамъ, откуда поэзія выносила только невѣжественныя идеи да уродливые о́бразы? И вотъ причина, почему теперь, въ наше время, скептическій, холодный Гёте въ самой Германіи въ такомъ же содержаніи пріобрѣтаетъ себѣ новыхъ читателей и почитателей, въ какомъ пламенный и рыцарственно благородный Шиллеръ теряетъ ихъ со дня на день. Да, въ лицѣ Гёте искусство служило жизни или, лучше сказать, выражало жизнь; онъ не могъ бы сдѣлать его вспомогательнымъ орудіемъ для какой-нибудь эфемерной партіи, но весь геній свой отдалъ онъ на помощь великой партіи великаго вѣка...

Объяснивши по своему, что съ Гёте должно было кончиться такъ-называемое космополитическое искусство (котораго нигдѣ и никогда не существовало), Губеръ показываетъ необходимость послѣдовавшаго затѣмъ переворота во всѣхъ европейскихъ литературахъ, а вслѣдъ за ними и русской. Тутъ мимоходомъ у него сказано много очень хорошаго о гармоніи, тишинѣ и примиреніи, какъ условіяхъ процвѣтанія искусства. Губеръ смотритъ на этотъ предметъ глазами отживающихъ теперь свой вѣкъ нѣмецкихъ эстетикъ. Для него жизнь есть покой и сонъ, а не движеніе, не борьба; онъ не догадывается, что примиреніе въ искусствѣ совершается черезъ обобщеніе явленія, черезъ возведеніе его въ идею, но что въ дѣйствительности примиреніе царствуетъ только въ сонныхъ городахъ бюргерской Германіи!..

Но вотъ мы наконецъ у главнаго пункта нашего возраженія. Сближеніе русской литературы съ дѣйствительностью выразилось, по словамъ Губера, въ появленіи «литературы чиновниковъ». Послушаемъ самого Губера:

«Всѣ эти новыя произведенія, сближающія литературу съ дѣйствительной жизнью и прославляемыя критикой, ограничиваются до сихъ поръ изображеніемъ мелкихъ чиновниковъ; отъ этого происходитъ утомительное однообразіе въ содержаніи нашихъ повѣстей и романовъ. *Нѣтъ сомнѣнія, что чиновникъ во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ составляетъ любопытное явленіе въ нашей дѣйствительной жизни; правда, что многія другія стороны ея не подлежатъ анализу литератора;* но повторять одно и то же, находить въ этомъ однообразномъ содержаніи единственное спасеніе литературы, осудить ее на такое скудное направленіе— значитъ не понимать современныхъ требованій искусства. Истинный художникъ, поэтъ или прозаикъ, призванный временемъ и дарованіемъ на великую службу мысли, не покоритъ своихъ убѣжденій, своего вдохновенія такому тѣсному

условію. Онъ останется вѣренъ характеру и направленію времени, онъ будетъ сочувствовать всѣмъ его движеніямъ и нуждамъ; на немъ отразятся его борьба, его надежды, язвы и страданія; но вдохновеніе его не станетъ боязливо искать условнаго содержанія; сегодня оно выражается въ явленіи дѣйствительнаго міра, а завтра—въ старинномъ преданіи; сегодня герой его называется Кузьмой или Прохоромъ, а завтра—Нероном или Каллигулой; сегодня онъ является чиновникомъ четырнадцатаго класса, а завтра—Титаномъ греческой миѳологіи. Въ мысли художника отразится его сочувствіе къ современному направленію, а не въ оболочкѣ этой мысли...

«Недостатокъ этой молодой литературы состоитъ не въ томъ, что она пишетъ о чиновникахъ, а въ томъ, что она ничего другого не пишетъ; не въ томъ, что она выставляетъ грязныя стороны жизни, а въ томъ, что она еще не возвысилась ни до одной изъ чистыхъ ея сторонъ. Въ доказательство же, что и то, и другое возможно, стоитъ только указать на произведенія Лермонтова или графа Соллогуба.»

Не понимаемъ, какъ подобныя строки могли выйти изъ подъ пера человѣка съ такимъ умомъ и образованіемъ, какъ Губеръ! Парадоксъ на парадоксѣ, и каждый опровергнутъ самимъ же авторомъ! Сказать, что «многія другія стороны нашей дѣйствительности не подлежатъ анализу литератора»—и въ то же время преважно, т. е. нисколько не шутя, обвинять литературу, какъ въ важномъ преступленіи, въ томъ, что она, кромѣ чиновниковъ, ничѣмъ не занимается: не значитъ ли это шутить надъ здравымъ смысломъ читателей?... И притомъ не совсѣмъ правда, будто новая литература занимается только чиновникомъ: хоть и рѣже, но иногда касается она и помѣщика, и купца, и мѣщанина, и крестьянина.

А вотъ теперь министерство государственныхъ имуществъ объявило конкурсъ на сочиненіе книгъ, какъ касающихся до быта простого народа, такъ и для чтенія этому простому народу. По этому поводу намъ пришла въ голову слѣдующая мысль: еслибы наша литература до сихъ поръ возилась все съ Неронами, Каллигулами да Титанами, а не съ Кузьмами и Прохорами четырнадцатаго класса,—можно ли было бы призвать ее на такое великое дѣло, какъ сочиненіе книгъ для народа?...

Но Губеръ не имѣетъ ничего общаго съ людьми, которые начисто запрещаютъ литературѣ заниматься чиновниками; онъ только обвиняетъ ее за то, что она ими занимается одними, тогда какъ можно бы ей было позаняться и другимъ чѣмъ-нибудь, какъ это доказываютъ сочиненія Лермонтова и графа Соллогуба... Какъ Губеръ, такъ новая литература, въ лицѣ Лермонтова и графа Соллогуба, умѣли же находить предметы для своихъ занятій и внѣ чиновническаго міра!... Такъ за что же вы обвиняете ее, бѣдную «новую литературу»?.. Но зачѣмъ и теперь всѣ не слѣдуютъ примѣру Лермонтова и графа Соллогуба?—Не мудрено отвѣчать на подобный вопросъ, если только вы намѣрены были сдѣлать его. Слѣдовать за Лермонтовымъ никому не слѣдуетъ. Что же касается до графа Соллогуба, то ему вѣроятно потому никто не слѣдуетъ, почему онъ никому не слѣдуетъ, кромѣ того однакожъ, кто создалъ эту новую литературу, и кому всѣ болѣе или менѣе слѣдуютъ... Что же до Нероновъ, Каллигулъ и Титановъ—кто же мѣшаетъ кому изображать ихъ въ стихахъ и въ прозѣ? И развѣ не дѣлали этого — Марлинскій въ повѣстяхъ, Тимоѳеевъ—въ мистеріяхъ? Развѣ Бернетъ не написалъ «Графа Меца»? А сколько прошло передъ глазами нашими и скрылось навсегда романовъ вродѣ «Призрака», «Непостижимой» и т. п.? Сколько Кукольникъ написалъ съ одной стороны итальянскихъ повѣстей и драмъ, а съ другой—русскихъ повѣстей и драмъ? А драмы Полевого и Ободовскаго? Куда все это скрылось? Изъ всего этого еще только русскія повѣсти Кукольника менѣе пострадали отъ забвенія, и то по причинѣ болѣе юмористическаго, нежели трагическаго ихъ характера. Какое слѣдствіе можно вывести изъ всего этого? А вотъ какое: хороши Нероны, Каллигулы и Титаны Байрона, Гёте, даже Пушкина и Лермонтова; но куда плохи и невыносимы эти образы у талантовъ третьяго разряда, дарованій средней руки. Послѣдніе очень умно дѣлаютъ, что кромѣ чиновниковъ ни о чемъ писать не хотятъ. Даже посредственная повѣсть съ чиновниками можетъ имѣть свою цѣну, хотя на время, но посредственная поэма съ Нероном, Каллигулой или Титанами—вещь нестерпимо скучная и пошлая. Изъ этого однакожъ не слѣдуетъ, чтобы для изображенія дѣйствительной жизни со всѣми даже пошлыми и грязными сторонами ея требовалось меньше таланта или генія, нежели на изображеніе какихъ-нибудь идеальныхъ міровъ: изъ этого слѣдуетъ только, что маленькимъ талантамъ лучше держаться того, что у нихъ передъ глазами и что имъ по плечу, нежели того, что такъ далеко отъ нихъ и такъ выше ихъ силъ. Такъ вотъ отчего, къ общей радости, писатели наши оставили въ покоѣ Нероновъ, Каллигулъ и Титановъ, предпочтя имъ Кузьму да Прохора... Это означаетъ совершеннолѣтіе: только ребенокъ хватается за труды не по силамъ...

Положимъ, что современная русская литература идетъ не большой столбовой дорогой, а проселочной: но если это единственная дорога, существующая для нея, неужели же вы обвините ее, что она предпочла лучше идти проселочнымъ путемъ, нежели вовсе не идти ни по какой дорогѣ,—вы, которые такъ хорошо знаете, что подлежитъ и что не подлежитъ анализу литератора? Мы даже думаемъ, что литература наша дѣлаетъ больше, нежели сколько можно отъ нея требовать. Теперешній путь ея не блестящъ, но проченъ и полезенъ. Знакомя общество съ самимъ собой, т. е. развивая въ немъ самосознаніе, она удовлетворяетъ его главнѣйшей и важнѣйшей въ настоящую минуту потребности. Этого она не могла бы достигать съ Нероном, Каллигулами и Титанами, которыхъ наше общество рѣшительно не хочетъ знать. Никто не станетъ спорить противъ того,

что «Египетскія ночи», «Галубъ», «Каменный Гость» — великія художественныя созданія. Но потому-то и существуютъ они у насъ только для слишкомъ немногаго числа истинныхъ знатоковъ искусства; большинство же рѣшительно предпочитаетъ имъ произведенія, равныя имъ по художественному достоинству, но изображающія нашу дѣйствительность, какъ она есть, какъ напр. «Мертвыя Души».

Новая критика съ гордостью можетъ сказать, что и она способствовала этому направленію новой литературы; но чтобы она произвела, или— что еще преувеличеннѣе—чтобы она одна произвела его, думать такъ—значило бы возвышать ее не по заслугамъ. А между тѣмъ ея противники (обыкновенно писатели, не имѣвшіе особеннаго успѣха) въ этомъ и упрекаютъ ее. Настоящее время особенно неблагопріятно исключительному владычеству какой-нибудь литературной партіи, потому-что публика наша уже совсѣмъ не та, какой была она лѣтъ пятнадцать назадъ; она соглашается съ тѣмъ, что находитъ справедливымъ, но на слово не вѣритъ никому. Отъ этого теперь ни одинъ журналъ не можетъ пристрастными нападками повредить успѣху никакого дарованія, никакой книгѣ, равно какъ и доставить успѣхъ посредственности или бездарности. Говорятъ, будто журналы убили теперь книгу, такъ что «отдѣльныя книги гостятъ въ магазинахъ или нищенствуютъ въ библіотекахъ для чтенія; литераторъ, который рѣшается на особенное изданіе своего произведенія, не любитъ говорить о томъ, сколько экземпляровъ онъ напечаталъ и сколько ихъ разошлось». Это рѣшительная неправда, которую ничего нѣтъ легче, какъ доказать фактами. Нейдутъ теперь только стихотворенія, и то потому, что публика не хочетъ знать стихотвореній, которыя не то, чтобы хороши, не то, чтобы плохи, а такъ себѣ — не дурны... Теперь у насъ довольно стихотворцевъ не безъ таланта, да та бѣда, что трудно отличать стихотворенія одного отъ стихотвореній другого,—такъ похожи они другъ на друга...

Но критика, говоритъ Губеръ, виновата тѣмъ, что, усиливаясь сблизить литературу съ жизнью, выражается сама дикимъ, непонятнымъ языкомъ. Это старая нападка на употребленіе извѣстныхъ терминовъ и словъ. Но что жъ дѣлать, если со временъ Петра Великаго языкъ нашъ нестрѣтъ иностранными словами? Видно, это нужно! Вѣдь критика—не фельетонъ, и ей приходится часто говорить объ идеяхъ, для выраженія которыхъ у насъ нѣтъ словъ въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Но теперь подобный упрекъ критикѣ едва ли не анахронизмъ, и едва ли въ этомъ отношеніи можно безъ несправедливости упрекнуть ее въ томъ, въ чемъ справедливо упрекали ее лѣтъ восемь назадъ тому. Зато, если вѣрить врагамъ критики, она часто убиваетъ таланты то неумѣренной бранью, то неумѣренными похвалами. Но прежде всего, господа, съ умысла или безъ умысла дѣлаетъ она это? Если съ умысла, нельзя не пожалѣть, что такая низкая и презрѣнная критика пользуется такой силой и такимъ вліяніемъ. Но это къ счастью невозможно: такая критика всегда безсильна и никого убивать не въ состояніи. Если же она дѣлаетъ это безъ умысла: за что же хотите вы лишить ее права ошибаться? Право, вы ужъ чрезчуръ уважаете ее и хотите въ ней видѣть что-то непогрѣшительное, что-то такое, что выше человѣческой природы. Какъ на самую умилительную и самую недавнюю жертву критики, Губеръ указываетъ на автора «Бѣдныхъ Людей».

«Новая критика (говоритъ онъ) жадно ухватилась за эту книгу, разсыпалась въ восторженныхъ похвалахъ, пожаловала молодого литератора въ геніи первой степени и вознесла его на такую высоту, на которой поневолѣ голова закружится, что и случилось на самомъ дѣлѣ: промахи, простительные въ первомъ произведеніи, сдѣлались грубыми ошибками во второмъ; недостатки выросли; что было сперва однообразно, потомъ сдѣлалось скучно до утомленія, и только немногіе прилежные читатели, да и тѣ по обязанности, прочитали до конца *господина Голядкина* и *Прохарчина*. Эта горькая, но чистая правда, которая должна была опечалить человѣка съ такимъ рѣшительнымъ дарованіемъ, какъ Достоевскій. И кто знаетъ, на сколько виновата въ этихъ неудачахъ неосторожная критика юнаго поколѣнія? Кто знаетъ, какое вліяніе имѣла она на развитіе молодого, сильнаго, но еще шаткаго, незрѣлаго дарованія?»

Вотъ ужъ подлинно съ больной-то головы да на здоровую! Вѣроятно фельетонисту не совсѣмъ пріятно будетъ узнать, что самые факты обращаютъ его грозное обвиненіе ни во что: юная критика, на которую онъ мѣтитъ и которая, по его словамъ, превознесла автора «Бѣдныхъ Людей» на головокружительную высоту, явилась въ печати ровно черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ «Двойникъ» (Приключенія господина Голядкина) былъ уже напечатанъ. Слѣдовательно, автору «Бѣдныхъ Людей» не было никакой возможности испортить своей второй повѣсти вслѣдствіе головокруженія отъ похвалъ первой... Мы и теперь считаемъ Достоевскаго человѣкомъ съ рѣшительнымъ талантомъ, и на основаніи этого-то мнѣнія и думаемъ, что ни похвала, ни брань не могутъ имѣть на него никакого вліянія; въ противномъ же случаѣ мы считали бы этотъ талантъ и нерѣшительнымъ, и ничтожнымъ... И стоитъ ли, въ самомъ дѣлѣ, обращать какое-нибудь вниманіе на талантъ, который можетъ быть убитъ похвалой или порицаніемъ критики? Когда появился Пушкинъ, его неумѣренно захваливали и неумѣренно забранивали; а онъ все-таки шелъ своей дорогой и всегда оставался вѣренъ своему поэтическому инстинкту, даже иногда вопреки убѣжденіямъ своего собственнаго ума. Безъ этого инстинкта нѣтъ художника, и лишенный его талантъ такъ ничтоженъ, что чѣмъ скорѣе изъ него ничего не выйдетъ, тѣмъ лучше для литературы и публики. Дѣтски-неосновательное мнѣніе, будто критика можетъ убивать таланты, захваливая или забранивая

ихъ, сохранилось у насъ до сихъ поръ отъ той аркадской эпохи нашей литературы, когда она тонула вся въ слезахъ и вздохахъ чувствительныхъ писателей... Теперь подобное мнѣніе смѣшно и дико...

Въ прошломъ 1846 году изъ адресъ-календаря русской литературы выбыло нѣсколько почетныхъ именъ. Февраля 22-го умеръ въ Москвѣ извѣстный драматическій писатель князь Александръ Александровичъ Шаховской, на 73 году отъ рожденія. Марта 22-го умеръ въ Петербургѣ Николай Алексѣевичъ Полевой, на 50 году отъ рожденія. Декабря 26-го скончался въ Москвѣ извѣстный на Руси поэтъ Николай Михайловичъ Языковъ, на 40 году отъ рожденія. Хотя всѣ эти писатели умерли въ такое время или въ такихъ обстоятельствахъ своей жизни, что литературѣ отъ нихъ уже нечего было болѣе ожидать, но все-таки это скорбныя утраты для общества. Полевой умеръ, едва дожившн до старости, а Языковъ—едва пережившн пору молодости. Неожиданное извѣстіе о смерти замѣчательнаго человѣка какъ-то особенно тяжело ложится на душу... И не мудрено: кромѣ сочувствія и уваженія, какими подобные люди всегда пользуются въ обществѣ, ихъ возрастомъ измѣряются возрасты цѣлыхъ поколѣній...

Языковъ пользовался на Руси извѣстностью и даже славой, какія даются слишкомъ немногимъ талантамъ. Чтобы понять это явленіе, надобно было бы представить живую картину той эпохи русской литературы, на смѣну которой явился Пушкинъ съ своими сподвижниками. Но какъ ни мѣсто, ни время не позволяютъ намъ вдаваться въ такія подробности, то мы скажемъ коротко, что то была эпоха рабскаго подражанія немногимъ признаннымъ образцамъ. Никто не смѣлъ быть оригинальнымъ; каждый имѣлъ право насиловать языкъ въ грамматическомъ отношеніи, дѣлать, подъ видомъ «піитическихъ вольностей», самыя чудовищныя усѣченія, писать самыми дубовыми стишищами; но никто не смѣлъ употребить выраженія или слова, не употребленнаго уже однимъ изъ признанныхъ образцовъ. Поэзія тогда поучала, а если позволяла себѣ иногда воспѣвать что-нибудь живое, то не иначе, какъ шуточнымъ тономъ. Пушкинъ своимъ появленіемъ нарушилъ этотъ глубокій сонъ нашей литературы, и литературные старовѣры встрѣтили его, какъ еретика и раскольника въ искусствѣ. Естественно, что въ томъ, что̀ называлось тогда литературной дерзостью, послѣдователи Пушкина пошли дальше своего учителя. Изъ нихъ всѣхъ замѣтнѣе былъ Языковъ какъ своимъ бойкимъ, искристымъ, звонкимъ и блестящимъ стихомъ, такъ и направленіемъ своей поэзіи, которая въ сущности была не чѣмъ инымъ, какъ поэзіей нѣмецкаго буршества. Она воспѣвала и высокій трудъ науки, и будущее гражданское призваніе студента, и преданія отечественной старины, и дѣву-вдохновительницу свѣтлыхъ мыслей, и дѣву-соблазнительницу, и шипучее искрометное вино, и молодыя, безумныя оргіи сладострастія и пьянства. Все это было тогда такъ ново и такъ неотразимо-увлекательно для молодежи, и она была безъ ума отъ удалыхъ стиховъ Языкова... Многіе изъ людей того поколѣнія ставили его наравнѣ съ Пушкинымъ, другіе—даже выше его... Никому въ голову не входило, что, при неотъемлемыхъ достоинствахъ поэзіи Языкова, въ ней былъ и весьма важный недостатокъ — отсутствіе искренности, другими словами: она не была тѣмъ, чѣмъ сама себя искренно считала... Изъ буршества ничего не можетъ выйти кромѣ филистерства, потому именно, что разгулъ нѣмецкаго бурша есть не выраженіе бьющей черезъ край волнующейся жизни, а слѣдствіе принципа. Нѣмецъ говоритъ себѣ: въ молодости надо быть молодымъ, т. е. учиться, пить и драться, — и онъ рѣшается быть молодымъ до тридцати лѣтъ; провожая послѣдній день своего 30 года, онъ послѣдній разъ напивается мертвецки и поутру встаетъ уже степеннымъ филистеромъ. Вотъ отчего нѣмецъ не успѣваетъ быть ни человѣкомъ, ни гражданиномъ: вся жизнь его правильно раздѣлена на буршество и филистерство.

Поэзія Языкова не была выраженіемъ его жизни: Оттого вино только шипитъ и пѣнится въ его стихахъ, но не охмѣляетъ, а дѣва-соблазнительница—

То играло сновидѣнье,
Безтѣлесная мечта!

Поэзія Языкова всегда жила принципомъ, всегда ладила съ головой, а на сердце только ссылалась. Чувствуя однообразіе мотивовъ своего вдохновенія, Языковъ началъ обѣщать бросить «праздныя забавы», перестать бражничать и приняться за важныя дѣла. Но это обѣщаніе скоро обратилось въ общее мѣсто его поэзіи. Между тѣмъ Пушкина не стало, страсть къ стихамъ начала въ публикѣ смѣняться страстью къ прозѣ, во всемъ чувствовался рѣзкій переломъ, литература явно брала новое направленіе. Стихи Языкова являлись все рѣже и рѣже. Наконецъ, съ 1841 года въ Москвѣ началъ издаваться журналъ «Москвитянинъ», въ которомъ Языковъ вновь началъ являться съ своими стихотвореніями. Въ нихъ уже не было прежняго стиха, но еще были прежнія замашки. Къ этому присоединилось славянофильское направленіе, котораго Языковъ захотѣлъ быть поэтическимъ органомъ. Такъ всегда поэзія этого человѣка была выраженіемъ выбраннаго сознательно принципа. Но ничего нѣтъ хуже, когда поэтъ дѣлается отголоскомъ какой-нибудь партіи: его удѣлъ доводить до смѣшного ученіе, которое ему навязано. Такъ и было съ Языковымъ. Послѣднее время его поэтической дѣятельности было грустной эпохой совершеннаго паденія его таланта. Но въ началѣ своего поэтическаго поприща Языковъ оказалъ большія услуги русскому языку, русскому стиху и отчасти русской поэзіи. Имя его конечно переживетъ его труды и займетъ почетное мѣсто въ исторіи русской литературы. Таково наше мнѣніе о Языковѣ.

Второе полное собраніе сочиненій Марлинскаго. *Изданіе четвертое. Четыре тома. Спб. 1847.*

Марлинскій во многихъ отношеніяхъ лицо замѣчательное въ нашей литературѣ. Немногіе писатели имѣли такой обширный кругъ читателей, пользовались такой повсемѣстной, громкой извѣстностью, какъ Марлинскій. Появленіе новой повѣсти, статьи его въ журналѣ было всегда важнымъ литературнымъ событіемъ, приводило въ движеніе всѣхъ охотниковъ до чтенія. Марлинскій обратилъ на себя общее вниманіе съ перваго своего появленія на литературное поприще. Съ тѣхъ поръ литературная извѣстность росла съ чудовищной быстротой. Наконецъ геніальность его была признана всѣми единодушно и безусловно. Могли сомнѣваться въ Пушкинѣ, находить въ немъ недостатки, даже оспаривать его самостоятельность и великое значеніе для русской литературы; насчетъ Марлинскаго такой скептицизмъ казался невозможнымъ. Онъ имѣлъ большое вліяніе на литературу, породилъ цѣлую школу, которая еще больше возвышала его достоинство, потому-что переняла и довела до крайности одни его недостатки. И вдругъ эта огромная слава пала въ короткое время, во всемъ своемъ блескѣ, во всей своей силѣ... Такъ иногда умираетъ внезапно человѣкъ крѣпкій, цвѣтущій здоровьемъ и силою... Мнѣніе публики вдругъ раздѣлилось на двѣ крайнія стороны; одни никакъ не могли разстаться съ прежнимъ понятіемъ о Марлинскомъ, другіе уже видѣли въ немъ только блестящаго фразёра, бездарность, ловко поддѣлавшуюся подъ талантъ. Теперь уже и не спорятъ о Марлинскомъ, никто на него не нападаетъ, никто его не защищаетъ; въ спорахъ за новую литературу поборники стараго не ссылаются на Марлинскаго, не хвалятъ его; онъ какъ-будто вовсе забытъ. Онъ пролетѣлъ въ литературѣ яркимъ метеоромъ, который на минуту ослѣпилъ всѣмъ глаза и—исчезъ безъ слѣда...

И однакожъ Марлинскій былъ писатель не только съ талантомъ, но и съ замѣчательнымъ талантомъ, не чуждымъ даже оригинальности и силы. Блестящій умъ, многосторонняя образованность, знакомство съ наукой еще болѣе возвышали этотъ талантъ. Но человѣкъ—машина многосложная, въ которой каждая сторона имѣетъ вліяніе на другую, усиливая или ослабляя ее. Страсть къ блеску, къ эффекту была ахиллесовской пяткой натуры Марлинскаго, лишила его талантъ развитія, способности идти впередъ и наложила на него характеръ легкости и хрупкости. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые не бросятся въ опасность, но обойдутъ ее, если можно рисковать погибнуть не на глазахъ удивляющейся толпы, и, напротивъ, готовы искать опасности, создать ее себѣ, смѣло броситься впереди всѣхъ на явную и неизбѣжную гибель, когда они знаютъ, что на нихъ смотрятъ, что будетъ кому удивляться имъ, разсказывать о ихъ подвигѣ... Это отражается въ каждой строкѣ, написанной Марлинскимъ. Сущность предмета, его глубина, его истина никогда не занимаютъ его; онъ весь во внѣшней его сторонѣ, которая бросается въ глаза. Трескъ и блескъ—это были его вдохновители, и онъ былъ ихъ искреннимъ пѣвцомъ. Поразить съ яркостью молніи, увлечь съ быстротой потока, не дать читателю опомниться, вдуматься: вотъ его любимая манера. Онъ дѣйствуетъ на читателя, какъ черкесскій наѣздникъ, настигаетъ и схватываетъ его прежде, чѣмъ тотъ пойметъ, въ чемъ дѣло и что̀ съ нимъ случилось. Марлинскій любилъ рисовать преимущественно ту сторону страстей и чувствъ человѣческихъ, которая знакома большинству, которая всѣмъ равно бросается въ глаза.

Литературное свое поприще онъ началъ прекрасно. Его обзоры русской словесности отличались умомъ, новостью взгляда, блестѣли яркими сравненіями, увлекали живымъ, краснорѣчивымъ изложеніемъ. Въ нихъ виденъ былъ даровитый литераторъ, человѣкъ съ познаніями, со вкусомъ и образованіемъ, и кромѣ того свѣтскій человѣкъ, чуждый школярности и педантизма, чопорности и щепетильности. Первые его повѣсти и разсказы были необыкновеннымъ явленіемъ въ русской литературѣ того времени. Они такъ не походили на прежніе опыты въ этомъ родѣ, такъ были новы, свѣжи, ярки, оригинальны и отличались такой, въ сравненіи съ ними, естественностью и натуральностью, что въ то время никто не могъ замѣтить фразистости ихъ выраженія, мелодраматизма ихъ содержанія, преобладанія внѣшняго и блестящаго надъ внутреннимъ и спокойно прекраснымъ. Такой успѣхъ могъ ослѣпить всякаго. Въ Марлинскомъ мало было глубокости, но много было огня. Природа не дала ему генія, а онъ хотѣлъ дѣйствовать какъ геніальный человѣкъ. Такая роль всегда сбиваетъ человѣка съ толку и не даетъ ему ни возвыситься до своихъ настоящихъ средствъ, ни идти по своей настоящей дорогѣ. Съ прекраснымъ талантомъ, которымъ такъ нескупо одарила его природа, онъ могъ бы идти впередъ, постепенно отдѣлываться отъ ложной и переходить къ истинной манерѣ. Правда, тогда некому было увлечь его собственнымъ примѣромъ. Пушкинъ писалъ стихами, и повѣстей въ прозѣ лучше Марлинскаго не было въ нашей литературѣ. Но онъ могъ бы постепенно измѣняться къ лучшему въ своей собственной дорогѣ, постепенно совершенствоваться въ своей собственной колеѣ. Но этому рѣшительно препятствовала его страсть къ эффекту. Онъ вѣчно вертѣлся около однихъ и тѣхъ же характеровъ, однихъ и тѣхъ же мотивовъ. Оттого всѣ герои его повѣстей, какъ двѣ капли воды, похожи другъ на друга и разнятся только именами. Однообразіе его повѣстей невыносимо скучно. Желаніе блестѣть заставляло его усиливать и природное свое остроуміе, становить на дыбы страсть и чувство, дѣлать вычурнымъ и натянутымъ и безъ того ярко пестрый слогъ,—словомъ, вдаться во всѣ крайности фразерства. Но Марлинскій никогда не былъ холоднымъ и сухимъ

фразёромъ, исключая развѣ немногихъ слабыхъ и неудачныхъ его произведеній. Напротивъ, вездѣ виденъ въ немъ фразёръ живой, страстный, пламенный, искренній, который писалъ не потѣя, не ходилъ въ карманъ за словомъ, не ломалъ головы надъ фразой, но едва успѣвалъ ихъ класть на бумагу, по которой перо его скользило съ быстротой паровоза. Только въ его увлеченіи, въ его страстности, въ его блестящихъ, эффектныхъ картинахъ видно больше какого-то опьяненія, какъ будто бы отъ пріема опіума, нежели истиннаго вдохновенія. Отсюда происходитъ внутренняя напряженность, натянутость его слога, несмотря на видимую его текучесть и легкость.

1831, 1832 и 1833 годы были апогеемъ литературной славы Марлинскаго. Въ это время были напечатаны въ «Московскомъ Телеграфѣ» его лучшія повѣсти: «Страшное Гаданье» и «Аммалатъ-Бекъ», и его знаменитый разборъ романа Полевого: «Клятва при Гробѣ Господнемъ». Но въ это-то время онъ былъ и наканунѣ своего паденія. Еще года два, три рисовался онъ лихимъ наѣздникомъ на пространномъ полѣ нашей литературы, не подозрѣвая, что его поприще уже кончено, такъ же какъ этого не подозрѣвала и публика. Явленіе Гоголя нанесло страшный ударъ всему риторическому, блестящему снаружи, эффектному,—риторическое и многое, что до того времени казалось верхомъ натуральности, вдругъ сдѣлалось ненатуральнымъ. Литература и вкусъ публики приняли новое направленіе. Все это оказалось вдругъ, неожиданно. Марлинскій, досель шедшій повидимому впереди всѣхъ, вдругъ очутился назади. Его знаменитая статья о «Клятвѣ», блестящая остроуміемъ и живымъ изложеніемъ, уже показывала въ немъ отсталаго представителя умершаго романтизма, казалась шумливой битвой съ мельницами. Начали являться выходки противъ фразистости и неестественности его повѣстей. Но большинство читателей все еще было на сторонѣ Марлинскаго. Но въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго десятилѣтія новая критика сдѣлала Марлинскому рѣшительный вызовъ; бой былъ непродолжителенъ: колоссальная слава, уже подрытая въ основаніи временемъ, разлетѣлась въ минуту...

Однакожъ Марлинскій навсегда останется замѣчательнымъ лицомъ въ исторіи русской литературы. Его слава и паденіе — примѣръ рѣзкій и поучительный, показывающій, какъ непрочны бываютъ иногда самые блестящіе успѣхи въ переходныя эпохи литературъ, какъ легко блестящему таланту разыгрывать въ нихъ роль генія, вожатаго вѣка... Такіе примѣры случаются и въ литературахъ и старыхъ, и богатыхъ: вспомните Виктора Гюго... Читать теперь повѣсти Марлинскаго трудно, потому-что скучно, но талантъ, и притомъ замѣчательный, виденъ въ нихъ и теперь. Его сочиненія останутся навсегда любопытнымъ памятникомъ той литературной эпохи, которая такъ рѣзко отразилась въ нихъ.

Новое полное собраніе сочиненій Марлинскаго едва ли не полнѣе всѣхъ другихъ, но все-таки не совсѣмъ полно: въ немъ нѣтъ его полемическихъ статей, печатавшихся до 1823 года въ «Сынѣ Отечества». Изданіе опрятно и даже красиво, но безтолково по раздѣленію каждаго тома на части, съ особой нумераціей. Къ чему это? Двѣнадцать частей или четыре части—не все ли это равно? А между тѣмъ это ненужное раздѣленіе затрудняетъ читателя въ пріисканіи статей. Досадно и грустно думать, что у насъ ни одинъ писатель не изданъ, какъ слѣдуетъ.

Бѣдные Люди. *Романъ Ѳедора Достоевскаго. Спб. 1847.*

«Бѣдные Люди» были первымъ и, къ сожалѣнію, доселѣ остаются лучшимъ произведеніемъ Достоевскаго. Появленіе этого романа было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя Достоевскаго одно занимало наши журналы. Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій. Достоевскій недавно напечаталъ свой новый романъ «Хозяйка», который не возбудилъ никакого шуму и прошелъ въ страшной тишинѣ. Шумъ конечно не всегда одно и то же съ славой, но безъ шуму нѣтъ славы. «Бѣдные люди» доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большія надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однакожъ не мѣшаетъ «Бѣднымъ Людямъ» быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющія читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительной истиной въ изображеніи дѣйствительности, мастерской обрисовкой характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ и—что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта Достоевскаго, его оригинальность,—глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ «Бѣдныхъ Людяхъ» много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготовляетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ,—мастерскія, художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиной взгляда и силой выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь...

«Бѣдные Люди» вышли теперь отдѣльнымъ изданіемъ, въ небольшой красивой книжкѣ. На оберткѣ сказано: «изданіе исправленное». Мы не имѣли времени сличить новаго изданія съ старымъ и узнать, въ чемъ состоятъ «исправленія», но, сколько можно догадываться по сравненію объема обоихъ изданій, должно думать, что во второмъ сдѣланы авторомъ сокращенія. Это хорошо, и романъ долженъ отъ этого много выиграть.

Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношеніи. *Сочиненіе монаха Іакинѳа. Въ четырехъ частяхъ. Съ рисунками. Спб. 1848.*

Странное дѣло! Кажется, весь земной шаръ, или всѣ его обитаемыя людьми части равно бы должны были представлять собою зрѣлище развитія человѣчества; а между тѣмъ эта честь предоставлена только самой малѣйшей изъ пяти частей свѣта—Европѣ. Въ недавнее время и почва Сѣверной Америки сдѣлалась театромъ историческаго развитія, но его корень опять-таки въ Европѣ. Можетъ быть, что со временемъ и всѣ части свѣта примкнутся къ общему развитію человѣчества, войдутъ въ его исторію, но опять-таки не иначе, какъ черезъ Европу. До сихъ же поръ, съ незапамятныхъ временъ, онѣ коснѣютъ въ нравственной неподвижности, непробуднымъ сномъ спятъ на лонѣ матери-природы. Въ этомъ отношеніи удивительнѣй всѣхъ другихъ странъ Азія. Ее считаютъ колыбелью человѣческаго рода, въ ней прежде другихъ странъ явились начатки общественности, въ ней сдѣланы первыя открытія въ ремеслахъ, искусствахъ, наукѣ, въ ней родились религіи, теперь господствующія въ мірѣ, изъ нея вышли всѣ племена, заселившія Европу. И во всемъ Азія остановилась на однихъ началахъ, ничего не развила, не усовершенствовала, не довела до конца. Греція сложилась изъ элементовъ, выработанныхъ Азіей и Египтомъ, но она переработала всѣ эти заимствованные элементы, наложила на нихъ печать своего національнаго духа и прибавила къ этому элементъ, ей собственно принадлежащій. Этотъ элементъ былъ началомъ европеизма. У грековъ у первыхъ явились понятія объ отечествѣ, государствѣ, гражданинѣ, гражданскомъ достоинствѣ, столь чуждыя для Востока. Римляне по своему развили европейское начало, перешедшее къ нимъ изъ Греціи въ доисторическія времена, и передали его новой Европѣ. Во всѣхъ столкновеніяхъ съ Азіей Европа всегда много выигрывала въ цивилизаціи, образованіи, въ наукахъ, въ искусствахъ, ремеслахъ; Азія ничего не выигрывала отъ столкновеній съ Европой. Александръ Македонскій хотѣлъ путемъ завоеванія сблизить обѣ части свѣта въ образованіи и нравахъ. Но что же вышло? Персы не сдѣлались греками, а македоняне развратились на персидскій манеръ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Александръ присылалъ изъ Азіи Аристотелю экземпляры рѣдкихъ животныхъ и вывезъ изъ Индіи астрономическія таблицы. Въ эпоху крестовыхъ походовъ вся Европа ринулась на Азію бурнымъ потокомъ. Это событіе имѣло самое сильное и благодѣтельное вліяніе на Европу и—никакого на Азію! Неподвижность — натура азіатца. Если Азіи суждено въ будущемъ цивилизоваться, то вѣроятно не иначе, какъ путемъ завоеванія; надобно, чтобы европейское войско, завоевавшее азіатскую страну, смѣшалось съ туземцами, и отъ этого смѣшенія произошло бы новое поколѣніе своего рода креоловъ. Въ наше время самое странное и удивительное явленіе въ Азіи есть безъ всякаго сомнѣнья Китай. Вотъ что говоритъ объ этомъ предметѣ почтенный отецъ Іакинѳъ въ предисловіи къ своей книгѣ:

«Въ наше время—безпрерывныхъ нововведеній въ жизни народовъ, какъ въ Европѣ, такъ и на западѣ Азіи, существуетъ государство, которое, по своей противоположности во всемъ съ прочими государствами, составляетъ рѣдкое, загадочное явленіе въ политическомъ мірѣ. Это—Китай, въ которомъ видимъ все то же, что есть у насъ, и въ то же время видимъ, что все это не такъ, какъ у насъ. Тамъ люди такъ же говорятъ, но только не словами, а звуками, которые сами по себѣ, порознь взятые, не имѣютъ опредѣленнаго смысла. Тамъ имѣютъ и письмо, но пишутъ не буквами слагаемыми, а условными знаками, изъ которыхъ каждый представляетъ въ себѣ не выговоръ слова, а понятіе о вещи; въ письмѣ порядокъ строкъ ведутъ отъ правой руки къ лѣвой, но пишутъ не поперекъ, а сверху внизъ, и книгу начинаютъ на той страницѣ, на которой у насъ оканчиваютъ ее. Однимъ словомъ, тамъ много находится вещей, которыя и мы имѣемъ, но тамъ все въ другомъ видѣ.

Китай еще непонятнѣе для насъ въ другихъ противоположностяхъ. Коснемся ли его просвѣщенія — китайцы имѣютъ свою словесность и науки и думаютъ, что они просвѣщеннѣе всѣхъ народовъ въ свѣтѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно было бы согласиться съ ними, потому что въ Китаѣ каждый ученый, сверхъ основательности въ сужденіи о вещахъ, основательно знаетъ все, что ему нужно на поприщѣ государственной службы. Но, съ другой стороны, китаецъ, по странному народному самолюбію, ничего не хочетъ знать, да и не знаетъ ничего, что находится и что происходитъ за предѣлами его отечества. Видя на канифасѣ ярославскій гербъ съ медвѣдемъ, стоящимъ на заднихъ ногахъ съ алебардой на плечѣ, онъ отъ всего сердца вѣритъ, что эта ткань выходитъ изъ государства, жители коего имѣютъ собачьи головы. Обратимъ ли вниманіе на законы Китая—они сорокъ вѣковъ проходили сквозь горнило опытовъ и вылились столь близки къ истиннымъ началамъ народоправленія, что даже образованнѣйшія государства могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ. Со всѣмъ тѣмъ нѣкоторыя злоупотребленія столь сильно укоренились, что правительство, вмѣсто истребленія оныхъ, только старается разными мѣрами облегчить зло,—неотвратимое послѣдствіе тѣхъ злоупотребленій.»

Вглядитесь въ устройство этого страннаго государства,—и вамъ съ перваго взгляда можетъ показаться, что это какое-то исключеніе изъ общаго порядка азіатской жизни, что у него нѣтъ ничего общаго съ другими азіатскими государ-

ствами (за исключеніемъ Японіи), что наконецъ это чисто европейское государство. Въ немъ ничего нѣтъ оставленнаго на произволъ судьбы и людей, всѣ отношенія опредѣлены, всѣ юридическія случайности предупреждены и обсуждены, на все существуютъ положительные законы; машина администраціи самая многосложная и вмѣстѣ съ тѣмъ правильная, строго систематическая; законы нерѣдко отзываются человѣколюбіемъ и повидимому представляютъ вѣрныя гарантіи жизни, чести и благосостоянію частныхъ людей всѣхъ званій, отъ высшихъ до низшихъ. Для этого есть высшія инстанціи и право апелляціи; за ходомъ правосудія въ провинціяхъ наблюдаютъ прокуроры, а въ столицѣ—прокурорская палата и самъ императоръ. Какъ въ государствахъ европейскихъ, въ Китаѣ существуютъ министерства, на коллегіальномъ положеніи: предсѣдатель палаты каждой отдѣльной вѣтви администраціи есть министръ. Взгляните теперь на Китай въ другомъ отношеніи. Право на гражданскія должности даетъ тамъ не рожденіе, не привилегія, а наука и образованіе. Каждый, занимающій сколько-нибудь значительную должность, есть непремѣнно ученый; ничему не учившійся не можетъ занимать никакой должности. Экзамены студентовъ есть дѣло государственное. Съ какой стороны ни взгляните на это дивное государство—ничего азіатскаго, Европа, да и только!

Но, увы, это только миражъ, разлетающійся прежде, чѣмъ вглядишься въ него! Это такой же призракъ, какъ и политическое могущество Китая, который съ 400.000,000 жителей ничего не могъ сдѣлать противъ 3,000 англійскаго войска. Всѣ эти законы и гарантіи хороши только на бумагѣ, а на дѣлѣ служатъ только къ обогащенію берущихъ взятки и утѣсненію дающихъ взятки. Китай безъ всякаго сомнѣнія образованнѣйшее азіатское государство, но азіатское въ полномъ смыслѣ этого слова... Государственные чины, совѣты,—все это пустая формальность; тутъ главное—церемоніи. Самая вѣрная гарантія при судопроизводствѣ—взятки. Этого не могъ скрыть даже почтенный отецъ Іакинѳъ, вообще какъ нельзя нѣжнѣе расположенный въ пользу поднебеснаго государства. Напримѣръ, говоря о пыткахъ (варварскихъ и утонченно жестокихъ), онъ прибавляетъ для смягченія эффекта: «Но сіи пытки употребляются въ такомъ только случаѣ, когда въ важномъ какомъ-либо дѣлѣ всѣ улики говорятъ противъ преступника или преступницы, а они упорствуютъ въ признаніи». Хорошо оправданіе! Нѣтъ, ужъ, по нашему мнѣнію, гораздо лучше пытка безъ изъятій; по крайней мѣрѣ дѣло наголо́, искренно,—знаешь, чего держаться! Чиновники отъ 1-го до 6-го класса подвергаются пыткѣ только съ разрѣшенія государя. «Иногда—добродушно замѣчаетъ почтенный отецъ Іакинѳъ—судьи, по своему произволу, употребляютъ разныя маловажныя пытки». Это «иногда»—словцо небольшое, а много значитъ: именно ни больше, ни меньше, какъ то, что подсудимый есть безотвѣтная и беззащитная жертва судьи, и если имѣетъ средства, не пожалѣетъ никакой «взятки», чтобы иногда избавить себя отъ пытки, маловажной совсѣмъ не для того, кто ей подвергается... Легко сказать: «маловажная пытка!», когда пытаютъ ею не насъ... Нѣтъ, не легко, или если легко, то не для всякаго сказать такое ужасное слово!.. Судьи за неправосудіе подвергаются суду, ихъ не деруть планкой (чудесный инструментъ, обстоятельно описанный почтеннымъ отцомъ Іакинѳомъ), а наказываютъ пониженіемъ чина, вычетомъ изъ жалованья, отставкой, ссылкой, смертной казнью, а по спинѣ лупятъ только въ экстренныхъ случаяхъ. На что̀ это за гарантія? Низшихъ чиновниковъ судятъ высшіе—рука руку моетъ, обѣ чисты бываютъ, а не то—исправленіе, но не за вину, а за непредставленіе достаточныхъ доказательствъ невинности золотыми и серебряными слитками. Взяточничество—основа китайскаго судопроизводства. Тамъ это уже не злоупотребленіе, не порокъ, не язва общественнаго тѣла (язва можетъ быть только на здоровомъ тѣлѣ, а не на такомъ, которое все—язва). Свѣдѣній по этой части рекомендуемъ искать не въ книгахъ почтеннаго отца Іакинѳа (онъ только вскользь и въ общихъ выраженіяхъ говоритъ объ этой части), а въ небольшихъ статьяхъ, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841—1843 годовъ, подъ заглавіемъ «Поѣздка въ Китай» псевдонима Дэ-мина. Это человѣкъ, проживши въ Китаѣ шесть лѣтъ и знающій китайскій языкъ и китайскую грамоту, но съ понятіями и взглядами вовсе не китайскими. Почтенный отецъ Іакинѳъ показываетъ намъ болѣе Китай оффиціальный, въ мундирѣ и съ церемоніями; Дэминъ показываетъ намъ болѣе Китай въ его частной жизни, Китай у себя дома, въ халатѣ на распашку. Дэ-минъ ничего не скрываетъ; человѣкъ болтливый и откровенный, онъ не держался русской пословицы—«изъ избы сору не выноситъ» и разсказалъ намъ, что всѣ важныя мѣста въ Китаѣ на откупу, т. е. даются «за взятки». Вотъ его собственныя слова: «можетъ-быть вы спросите, гдѣ взять бѣдному задолжавшему чиновнику такую значительную сумму на полученіе мѣста и — что̀ еще важнѣе — на уплату всѣхъ долговъ передъ выѣздомъ изъ столицы, равно и на то, чтобы пріѣхать къ мѣсту новаго служенія съ должной важностью. Но вы не знаете Китая, великаго Китая, съ его 400.000,000 населенія, если думаете, что въ 4000 лѣтъ его существованія такая важная отрасль государственнаго управленія, какъ взяточничество, не приведена тамъ въ надлежащую систему». Затѣмъ онъ разсказываетъ, что въ Пекинѣ есть ростовщики, которые заплатятъ и долги чиновника, и цѣну мѣста, и дадутъ денегъ на дорогу, разумѣется, за страшные проценты; а ростовщикамъ выплачиваютъ подчиненные новаго «правосуднаго» чиновника, т. е. иногда цѣлыя провинціи.

Исчисленіе родовъ китайскихъ преступленій даже у почтеннаго отца Іакинѳа хоть кого приведетъ въ ужасъ: о безчеловѣчіи казней нечего и говорить. Все это свидѣтельствуетъ о нравственности народа. Лицемѣріе, лукавство, ложь, пригворство, униженіе—натура китайца. И какъ быть иначе тамъ, гдѣ церемонія поглощаетъ всю духовную жизнь народа, гдѣ младшій непремѣнно долженъ удивляться уму и добродѣтели старшаго, хотя бы тотъ былъ глупѣе осла и грѣшнѣе козла? Вся жизнь китайца, словно пеленками, связана церемоніями. Становиться на колѣни и бить поклоны — это его священная обязанность. Что за гибкіе должны быть хребты у этого народа! Храбрость китайца извѣстна всему міру: это урожденный трусъ. Китайское войско можетъ съ успѣхомъ воевать только развѣ съ китайскимъ же войскомъ. Слабость правительства простирается до того, что оно трепещетъ морскихъ разбойниковъ изъ собственныхъ подданныхъ и, чтобы предохранить себя отъ нихъ, стѣсняетъ морскую торговлю и частное мореходство. О китайской учености нечего и говорить: даже самъ почтенный отецъ Іакинѳъ о ней очень невысокаго мнѣнія. Куда ни обернись, всюду миражи и призраки. Китай силенъ, но держится пока—съ сѣвера миролюбіемъ Россіи, а съ юга — боязнью Англіи обременять себя дальнѣйшими завоеваніями...

Откуда эти противорѣчія, гдѣ ихъ источникъ? Китай — страна неподвижности; вотъ ключъ къ разгадкѣ всего, что̀ въ немъ есть загадочнаго, страннаго. Тутъ ничего нѣтъ, проникнутаго идеей государственнаго и народнаго развитія; все держится на закоснѣломъ обычаѣ . . . . . .

Книга почтеннаго отца Іакинѳа—истинное сокровище для ученыхъ, по богатству важныхъ фактовъ. Она можетъ до извѣстной степени годиться и для публики, несмотря на ея слогъ и изложеніе, несмотря на то, что первая часть, въ память пресловутаго на Руси мужа Михайлы Меморскаго, написана въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ. Но главный ея недостатокъ — замашки автора дѣлать параллели между Европой и Китаемъ, наивныя до смѣшного! Напримѣръ онъ сравниваетъ государственные чины въ Китаѣ съ англійскими лордами и французскими пэрами. Смѣемъ увѣрить почтеннаго отца Іакинѳа, что тутъ нѣтъ никакого сходства, а есть только безконечная разница. По всему видно, что почтенный отецъ Іакинѳъ знаетъ Китай гораздо лучше Европы. Что̀ же касается до его умолчаній и смягченій въ пользу нѣжно любимыхъ имъ китайцевъ, — мы не считаемъ ихъ важнымъ недостаткомъ въ его книгѣ: факты говорятъ сами за себя, и истина сама такъ и бросается въ глаза. Прочтя книгу почтеннаго отца Іакинѳа, никто не сдѣлался хинофиломъ... напротивъ!

Сельское Чтеніе, *издаваемое княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Книжка четвертая. Спб. 1848.*

Въ послѣднее время положеніе народа всюду стало возбуждать особенное вниманіе правительствъ, обществъ, науки и литературы. Торжество божественнаго ученія Евангелія и успѣхи образованности должны были наконецъ довести до этого Европу, не смотря на царствовавшіе въ ней феодальные предразсудки и учрежденія, долго разъединявшіе государственныя сословія.

Въ Европѣ и у насъ это тотъ же вопросъ, но не тотъ его характеръ. У насъ не было завоеванія и—результата его—феодализма, стало быть, въ нашей исторіи не было борьбы двухъ враждебныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ представлялся бы племенемъ завоевавшимъ, другой—покореннымъ. Отсюда напримѣръ система поземельной собственности у насъ совсѣмъ другая. При дворянствѣ, владѣющемъ своей землей, у насъ существуетъ многочисленный классъ свободныхъ земледѣльцевъ, владѣющихъ своей землей на коммунальномъ началѣ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ слабымъ развитіемъ мануфактурной промышленности, причиной того, что у насъ нѣтъ пролетаріата въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ Европѣ. Отсюда явленіе нищеты у насъ имѣетъ другой характеръ и другія причины. Оно дѣлается очевиднымъ, бросается въ глаза только при неурожаяхъ. Стало быть, это зло временное и мѣстное, которое, по обширности Россіи, никогда не можетъ быть для нея общимъ. Но тѣмъ не менѣе это зло трудно предупреждать и также трудно облегчать. И вотъ тутъ-то, стало быть, настоящее наше зло. А какія его причины? — невѣжество, старые закоренѣлые привычки и предразсудки, ложныя начала, на которыхъ опирается наше земледѣліе, неразвитость или, лучше сказать, почти несуществованіе той промышленности, которой потребителемъ должна-бъ быть масса народа, затруднительность сообщеній. Очевидно, что самое вѣрное лекарство противъ такого зла должно состоять въ успѣхахъ цивилизаціи и просвѣщенія. Путь мирный и спокойный, ручающійся за достиженіе великой цѣли общаго благосостоянія! Петръ Великій направилъ Россію на этотъ путь и указалъ ей ея цѣль; и съ тѣхъ поръ до настоящей минуты она была вѣрна указаннымъ ей ея Моисеемъ пути и цѣли, ведомая достойными потомками великаго предка, преемниками его власти и духа... Въ отношеніи къ внутреннему развитію Россіи настоящее царствованіе безъ всякаго сомнѣнія есть самое замѣчательное послѣ царствованія Петра Великаго. Только въ наше время правительство проникло во всѣ стороны многосложной машины своего огромнаго государства, во всѣ убѣжища и изгибы ея, прежде ускользавшіе отъ его вниманія, и сдѣлало ощутительнымъ благотворное вліяніе свое во всѣхъ стихіяхъ народной жизни. Общественное благоустройство, не въ одномъ административномъ, но и въ нравственномъ смыслѣ этого

слова, составляетъ предметъ его особенныхъ попеченій. Старыя основы общественной жизни, которыя уже заржавѣли отъ времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ея движенія впередъ, мудро отстраняются мало-по-малу, безъ всякаго сотрясенія въ общественномъ организмѣ. Обращено особое вниманіе на положеніе и бытъ народа и сдѣланы попытки, обѣщающія прекрасные результаты, на его, такъ сказать, воспитаніе. Вотъ истинное продолженіе великаго дѣла Петра! Это именно то самое, за что бы теперь взялся самъ великій преобразователь Россіи, еслибъ онъ могъ возстать изъ гроба, и о чемъ не только въ его время, но и долго послѣ него нельзя было и думать! Не говоря о многомъ другомъ, мы, въ доказательство сказаннаго нами, укажемъ только на учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ.

Это просвѣщенное, вполнѣ соотвѣтствующее духу вѣка стремленіе правительства имѣло сильное вліяніе на направленіе общественнаго мнѣнія. Обнародованныя правительствомъ статистическія свѣдѣнія, заключающія въ себѣ драгоцѣнные факты для изученія даже нравственнаго состоянія, быта и характера народа, не могли не оказать благодѣтельнаго вліянія на самую науку и не обратить ея на вопросы, представляемые русской жизнью. Отсюда рѣзкая разница между старыми и молодыми поколѣніями: первыя толкуютъ все о политикѣ, администраціи, смотрятъ на вопросы сверху внизъ, говорятъ о развитіи промышленности, городовъ—и далѣе не идутъ; вторыя понимаютъ вопросъ наоборотъ, снизу вверхъ, и скромно ограничиваются на первый случай почвой, думая, что, прежде всего не обработавши, не сдѣлавши ея способной давать плодъ, нечего заботиться о плодахъ, а эта почва для нихъ—народъ. Другими словами, послѣднія думаютъ только о тѣхъ плодахъ, которые родятся подъ открытымъ небомъ, и мало толку видятъ въ произведеніяхъ оранжерей и теплицъ...

Но теперь явилась у насъ особая порода мистическихъ философовъ, основывающихъ свое ученіе на идеѣ народности и народа. Что многочисленнѣйшій и низшій классъ въ государствѣ, обыкновенно называемый народомъ, въ противоположность обществу, подъ которымъ разумѣются среднее и высшее сословія, есть хранитель сущности духа народной жизни,—это истина несомнѣнная. Народъ—сила охранительная, консервативная; и потому во всякой коренной реформѣ, касающейся всего государства, только то дѣйствительно, что проникнетъ и въ народъ. Своей инстинктивной преданностью преданію, обычаю, привычкѣ онъ противится всякому движенію впередъ, всякому успѣху и медленно, съ упорствомъ поддается натиску врывающихся къ нему сверху нововведеній. Этимъ онъ съ одной стороны предохраняетъ само общество отъ произвольныхъ уклоненій отъ нормы народной жизни, ибо никогда не приметъ ничего несвойственнаго и, стало быть, вреднаго ей; съ другой—дѣлаетъ прочными всѣ результаты историческаго развитія, которыхъ не можетъ не принять. Непосредственное начало есть условіе всего живого, и все сознательное и искусственное, чтобъ быть дѣйствительнымъ, а не призрачнымъ, должно имѣть свои корни въ непосредственномъ. Но все непосредственное трудно для опредѣленія и яснѣе понимается чувствомъ, какимъ-то инстинктомъ, нежели умомъ. Оттого ребенокъ всегда больше загадка, нежели взрослый человѣкъ. Оттого стихія народной жизни, то, что называется народностью, національностью, никогда не можетъ быть выговорена нѣсколькими словами. Но наши мистическіе философы, о которыхъ мы заговорили, думаютъ, что они вполнѣ разгадали и постигли тайну русской народности, на долю которой, по ихъ мнѣнію, достались любовь и синтезисъ въ пониманіи и образѣ жизни, такъ же, какъ на долю Запада, въ отличіе отъ насъ, достались вражда, анализъ и отрицаніе. Хотя нѣкоторые изъ нихъ и принимаютъ реформу Петра за необходимую, но это только увеличиваетъ путаницу и противорѣчія ихъ мистической теоріи, потому-что норма нашей жизни, по ихъ убѣжденію, только въ народѣ, и притомъ преимущественно въ народѣ до эпохи монгольскаго ига. Народъ для нихъ, стало быть, высшее откровеніе всякой истины, касающейся до сущности и формы нашей государственной жизни. Стоитъ только дѣлать всѣмъ то, что дѣлаетъ народъ, не отставать отъ него ни въ чемъ—и все пойдетъ хорошо, больше не о чемъ будетъ и заботиться. Само собою разумѣется, что всякая попытка на распространеніе просвѣщенія и образованія въ народѣ въ ихъ глазахъ есть ни больше, ни меньше, какъ святотатственное посягательство на здоровье и честь народной жизни. Вотъ до какой нелѣпости можетъ довести людей самая истина, если она понята ими односторонне. Источникъ этого заблужденія заключается именно въ томъ пониманіи народа, которое мы сами сейчасъ высказали, и на которое эти господа съ торжествомъ могли бы указать, какъ на свое оправданіе. Но это только одна сторона предмета. Мы не знаемъ доселѣ ни одного народа, котораго развитіе и ходъ впередъ не были бы основаны на раздѣленіи народной жизни на народъ и общество. Этого раздѣленія нѣтъ у азіатскихъ коснѣющихъ народовъ, ибо у нихъ раздѣляютъ народъ касты, привилегіи, но не просвѣщеніе и образованіе. Начиная съ грековъ, родоначальниковъ европейской цивилизаціи, у всѣхъ европейскихъ народовъ высшія сословія были представителями образованія и просвѣщенія, по крайней мѣрѣ вездѣ то и другое начиналось съ нихъ и отъ нихъ шло къ народу. Безъ этихъ высшихъ сословій, которымъ обезпеченное положеніе и присвоенныя права давали возможность обратить свою дѣятельность на предметы умственные, народы навсегда остались бы на первобытной степени ихъ патріархальнаго быта. Ученые и художники большей частью вездѣ выходили изъ народа, но не къ народу обращались они. Правда, во времена все-

общаго невѣжества, напримѣръ въ мрачной ночи среднихъ вѣковъ, ученые въ особенности составляли особую касту, равно чуждую и народу, и обществу, и съ той и съ другой стороны могли ожидать для себя только обвиненія въ чернокнижничествѣ и костра. Но когда мракъ невѣжества началъ разсѣеваться, къ кому обратились служители науки? кто принялъ въ нихъ участіе?—Среднія и высшія сословія, а не народъ. Что̀ касается до искусствъ, они всегда существовали и поддерживались высшими сословіями. Стало-быть, это раздѣленіе народа на классы было необходимо для развитія человѣчества. Личность внѣ народа есть призракъ, но и народъ внѣ личности есть тоже призракъ. Одно условливается другимъ. Народъ—почва, хранящая жизненные соки всякаго развитія; личность—цвѣтъ и плодъ этой жизни. Развитіе всегда и вездѣ совершалось черезъ личности, и потому-то исторія всякаго народа такъ похожа на рядъ біографій нѣсколькихъ лицъ. Исторія показываетъ, какъ часто случалось, что одинъ человѣкъ видѣлъ дальше и понималъ лучше всего народа то, что̀ нужно было народу; одинъ боролся съ нимъ и побѣждалъ его сопротивленіе, и самимъ народомъ причислялся потомъ за это къ числу его героевъ. Бывали и такіе народы, которые не стоили одного человѣка; по крайней мѣрѣ для насъ вымышленный или истинный Анахарсисъ гораздо лучше всѣхъ скиѳовъ, его недостойныхъ соотечественниковъ.

И такъ, очевидно, что раздѣленіе на классы было необходимо и благодѣтельно для развитія всего человѣчества, и что выйти изъ привычекъ и обычаевъ простого народа совсѣмъ не значитъ выйти изъ стихіи народной жизни въ какую-то пустоту и отвлеченность и сдѣлаться призракомъ. Одинъ народъ, разумѣя подъ этимъ словомъ только людей низшихъ сословій, не есть еще нація: націю составляютъ всѣ сословія. Люди, которые презираютъ народъ, видя въ немъ только невѣжественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно въ работѣ и голодѣ, такіе люди теперь не стоютъ возраженій: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вмѣстѣ. Люди, которые смотрятъ на народъ человѣчнѣе, но думаютъ, что, по причинѣ его невѣжества и необразованности, онъ не заслуживаетъ изученія, и что вовсе нечему учиться у него, такіе люди конечно ошибаются, и съ ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше ихъ ошибаются тѣ, которые думаютъ, что народъ нисколько не нуждается въ урокахъ образованныхъ классовъ, и что онъ можетъ отъ нихъ только портиться нравственно. Нѣтъ, господа мистическіе философы, нуждается, да еще какъ! Народъ—вѣчно ребенокъ, всегда несовершеннолѣтенъ. Бываютъ у него минуты великой силы и великой мудрости въ дѣйствіи, но это минуты увлеченія, энтузіазма. Но и въ эти рѣдкія минуты онъ добръ и жестокъ, великодушенъ и мстителенъ, человѣкъ и звѣрь. Никакая личность не сравнится съ нимъ въ эти минуты ни въ способности ясно видѣть истину, ни въ способности грубо заблуждаться, ни въ добрѣ, ни въ злѣ, ни въ геніальности, ни въ ограниченности. Это сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слѣпая въ ея торжественныхъ проявленіяхъ. Это—море, величественное и въ тишинѣ, и въ бурѣ, но никогда не зависящее отъ самого себя, никогда не управляющее само собою: вѣтеръ его повелитель...

Просвѣщеніе и образованіе никогда не могутъ лишить народъ его силы и очень могутъ исправить или по крайней мѣрѣ смягчить его недостатки. Звѣрь родится почти готовымъ; какъ скоро молоко матери поставило его на ноги, — онъ совсѣмъ готовъ, его воспитаніе кончено. Въ устройствѣ своего тѣла и въ своемъ инстинктѣ онъ имѣетъ все, что̀ нужно для поддержанія и охраненія его существованія. Чѣмъ больше похожъ онъ на звѣря своей породы, тѣмъ онъ лучше, совершеннѣе. Человѣкъ родится въ болѣе жалкомъ и слабомъ состояніи, нежели звѣрь. Искусство объ руку съ природой встрѣчаетъ его у порога жизни и провожаетъ за порогъ жизни. Необходимость въ пеленкѣ, въ колыбели уже показываетъ его зависимость отъ искусственнаго, противоположнаго природѣ. Онъ все долженъ перенять отъ взрослыхъ — и языкъ, и понятія, и формы жизни. Предоставленный одной природѣ, отдаленный отъ всякой искусственности, онъ выростетъ звѣремъ; дурно воспитанный, онъ будетъ животнымъ, только не дикимъ, а домашнимъ; но если звѣрь долженъ походить на звѣря, то человѣкъ тѣмъ болѣе долженъ быть человѣкомъ. Не потому ли обезьяны такъ и отвратительны, не въ примѣръ прочимъ животнымъ, что, будучи звѣрьми, похожи на людей. Что̀ же можетъ быть отвратительнѣе человѣка, похожаго на звѣря? Конечно все это нисколько не можетъ относиться ни къ какому народу, потому что всякій народъ живетъ общественной жизнью, всегда искусственной въ самой ея естественности, стало быть, никогда звѣриной. Но зато посмотрите на вѣчно младенчествующія племена: много ли въ нихъ человѣческаго, кромѣ всегда присущей человѣческой натурѣ возможности очеловѣчиться? И сколько у иного народа бываетъ племенныхъ дикихъ чертъ, какъ дружно уживается въ немъ человѣческое и прекрасное рядомъ съ звѣринымъ и безобразнымъ! Ему ли не нужно воспитаніе? его ли не надо учить, просвѣщать, образовывать? Подобнымъ мыслямъ слѣдовало бы родиться только въ лѣсахъ, выходить изъ крѣпко-лобыхъ головъ звѣриныхъ. Человѣкъ, отдѣлившійся отъ народа образованіемъ, наблюдая и изучая народный бытъ, можетъ научить простого человѣка лучше пользоваться тѣмъ, съ чѣмъ тотъ обращался всю жизнь свою. Онъ можетъ научить его не только употребленію барометра, въ которомъ тотъ не нуждается хоть потому, что ему не на что̀ купить такой дорогой вещи, но уходу за скотомъ, въ которомъ тотъ очень нуждается. Мало того: узнавши что-нибудь полезное отъ народа, образованный человѣкъ можетъ воз-

вратить народу это же самое, у него взятое пріобрѣтеніе въ улучшенномъ видѣ.

Но самъ народъ — лучшій рѣшитель этого вопроса. Бываетъ въ его жизни періодъ, иногда очень длинный, когда онъ дѣйствительно отъ всякаго нововведенія, не сообразнаго съ его привычками, отстаиваетъ себя словно отъ смерти. Но если ему суждено жить, а не прозябать растительно, другими словами: если ему суждено историческое существованіе, а не фактическое только, этотъ періодъ рано или поздно долженъ кончиться. Такъ было съ русскимъ народомъ. Назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ матери выли какъ по мертвымъ, провожая сыновей своихъ въ школы,—и это матери не крестьянки, а разныхъ городскихъ сословій; а теперь всякій крестьянинъ радехонекъ возможности выучить своего сына грамотѣ. Ученье свѣтъ, неученье тьма, говоритъ онъ, и въ его глазахъ грамотный человѣкъ—существо высшаго разряда. Сдѣлай грамотный передъ безграмотнымъ подлость,— послѣдній, упрекая его, всегда скажетъ: «а еще грамотный!». Только люди, дѣтски вѣрующіе въ непреложность апріорныхъ теорій и не признающіе доказательной силы фактовъ, могутъ думать, что реформа Петра не коснулась народа, и если зацѣпила его, то чисто внѣшнимъ образомъ. Это очевидная нелѣпость. Что русскій народъ—одинъ изъ способнѣйшихъ и даровитѣйшихъ народовъ въ мірѣ,—это онъ самъ доказалъ такъ хорошо, что въ этомъ не сомнѣваются въ Европѣ даже тѣ, которые во всемъ остальномъ не хотятъ въ немъ видѣть что-нибудь другое, кромѣ дикаго татарина. Способность перенимчивости у русскаго народа равняется только его страсти къ перенимчивости. Это его натура. Трудно было ему сдвинуться съ своей стоячести въ первый разъ, но сдвинувшись, онъ уже не можетъ не идти. Предразсудки, преданія гораздо меньше препятствуютъ успѣхамъ его въ образованіи, нежели какъ обыкновенно думаютъ объ этомъ. Правда, русскій человѣкъ ужъ такъ созданъ, что не можетъ не покоситься ни на какую новинку. Это относится не къ однимъ крестьянамъ, но и къ господамъ. Явится франтъ въ шляпѣ новаго фасона,—и насмѣшливымъ улыбкамъ нѣтъ конца; а черезъ недѣлю сами насмѣшники, глядишь, разгуливаютъ въ тѣхъ же шляпахъ. Что ни увидитъ русскій человѣкъ новаго у сосѣда,—рѣдко удержится похаять, а перенять никогда не удержится.

Чрезвычайный успѣхъ «Сельскаго Чтенія» можетъ между прочимъ служить не послѣднимъ доказательствомъ сильной охоты нашего простого народа, говоря его собственнымъ выраженіемъ, набираться изъ книгъ уму-разуму. Первая книжка «Сельскаго Чтенія» вышла въ 1843 году, и въ томъ же году появилась вторымъ изданіемъ; оба изданія состояли изъ 9000 экземпляровъ. Въ 1844 году вышла вторая, въ 1845—третья книжка «Сельскаго Чтенія»; въ 1846 году вышло пятое изданіе первой и второе изданіе второй книжки. Всѣхъ экземпляровъ этого прекраснаго изданія разошлось нѣсколько десятковъ тысячъ. Оно, разумѣется, породило подражанія; но они не имѣли никакого успѣха. Не считаемъ нужнымъ болѣе распространяться объ этомъ фактѣ: о немъ много было говорено, но самъ онъ лучше всего говоритъ за себя. Скажемъ только, что безсильная злоба, безсильно выражавшаяся (вѣроятно оттого, что духъ захватило) намеками и непрямой бранью мистическихъ почитателей народа, была тоже блестящимъ доказательствомъ, что это прекрасное изданіе вполнѣ достигло своей цѣли.

И однакожъ мы не скажемъ, чтобы въ «Сельскомъ Чтеніи» все было прекрасно, и чтобы лучше его ужъ и не моглобъ быть изданія въ этомъ родѣ. Мы предоставляемъ эту манеру хваленія извѣстнымъ «правдолюбамъ» и безпристрастнымъ противникамъ всего западнаго. Въ «Сельскомъ Чтеніи» были статьи превосходныя (особенно изъ тѣхъ, которыя написаны Заблоцкимъ), но были и слабыя; изданіе его имѣло свои недостатки, но все-таки было прекраснымъ изданіемъ, и доселѣ нетолько ничего лучшаго, но и сколько-нибудь сноснаго въ этомъ родѣ еще не являлось.

Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ. *Спб. 1847.*

Книжечка эта издана для того, чтобы показать заботливымъ отцамъ и матерямъ, какіе романы могутъ читать дѣвицы тѣхъ лѣтъ, когда ихъ «Звѣздочка» называетъ уже «дѣтьми старшаго возраста». Книжечка, какъ видите, по цѣли своей очень полезная, потому-что въ нашемъ обществѣ такіе вопросы рождаются часто. Но кто скажетъ, какіе именно мы должны читать романы? Одни и тѣ же ли романы долженъ читать человѣкъ взрослый и юноша, однимъ и тѣмъ же ли должна интересоваться женщина, пока еще она не приняла на себя всѣхъ супружескихъ обязанностей и въ то время, когда она дѣлается матерью и съ этимъ вмѣстѣ занимаетъ новое мѣсто въ общественныхъ отношеніяхъ. У насъ по крайней мѣрѣ до настоящаго времени говорятъ, что дѣвица не должна того читать, что̀ можетъ читать женщина, —что молодой человѣкъ, пока онъ учится и находится въ заведеніи, можетъ вытверживать только вѣковымъ приговоромъ утвержденные отрывки изъ Корнеля, Расина, Бернардена де-Сенъ-Пьера, прозу Карамзина, стихи Ломоносова, Державина и (съ недавняго времени) нѣсколько стиховъ Пушкина. Это же почти выучиваютъ и дѣвицы. Но мы сдѣлаемъ здѣсь одинъ вопросъ: что̀ читаютъ дѣвицы, когда онѣ бракомъ освобождаются отъ надзора родительскаго, и молодые люди, когда они сходятъ съ ученическихъ скамеекъ и занимаютъ мѣста въ обществѣ? — Отъ нихъ скрывали или по крайней мѣрѣ имъ мало говорили о томъ, что̀ дѣлается въ литературѣ въ настоящее время, они жили посреди писателей XVII и XVIII вѣковъ, посреди той жизни, которая была до-

ступна этимъ писателямъ, и вдругъ послѣ того вступаютъ въ жизнь настоящаго времени и въ литературу этой же эпохи. Имъ говорили, что новѣйшіе романы пишутъ зловредно, обольстительно, пагубно для нравственности; хорошо, они были съ этимъ согласны, пока имъ не надоѣли старинные писатели и пока они сами не вступили въ жизнь. Но какъ они только восходятъ на это новое поприще, ихъ, неприготовленныхъ, совершенно обхватываетъ и общество съ своими свѣтскими требованіями, и литература съ своими новыми интересами, о которыхъ они мало слыхали. Умъ ихъ еще свѣжъ и гибокъ, убѣжденія измѣнчивы, и новые писатели, какъ ихъ ни брани, имѣютъ въ себѣ много блестящихъ сторонъ, которыми трудно не увлечься. Что имъ дѣлать? какъ отличить истину отъ лжи, софизмъ отъ прямого доказательства? Справиться съ тѣми писателями, которыхъ они учили въ школѣ, съ тѣми наставленіями, которыя имъ дѣлалъ учитель? Но писатели эти говорятъ совсѣмъ о другихъ предметахъ, герои Корнеля и Расина, правда, чувствовали благородно, но были совсѣмъ въ другихъ положеніяхъ, чѣмъ герои нашего міра; это все были величественныя фигуры древняго Рима и Греціи, а не нашей прозаической эпохи. Какъ же быть: оправдывать и соглашаться съ романами, или отвергать и не соглашаться съ ними? Идеальные герои Бернардена де-Сенъ-Пьера такъ далеко жили отъ земли, что ихъ не могли даже смущать интересы земные. Стихи Ломоносова и Державина до того возвышенны и торжественны, что могутъ относиться только къ событіямъ государственнымъ, а не къ бѣднымъ приключеніямъ частнаго лица. Что же дѣлать молодому человѣку или женщинѣ, вступившей въ свѣтъ? Въ немъ безпрестанно говорятъ о новостяхъ въ литературномъ мірѣ, о вновь вышедшихъ романахъ; о нихъ спросятъ даже мнѣнія, слѣдовательно ихъ нужно непремѣнно прочесть. Къ этому же влечетъ молодыхъ людей и та жажда ко всему, что запрещается въ школѣ или по крайней мѣрѣ дозволяется съ большими оговорками. Интересъ и важность романа преувеличиваются воображеніемъ, и когда наконецъ доступъ къ нимъ сдѣлается легокъ, тогда-то молодые люди предаются имъ со всей необузданностью, со всей довѣренностью молодости и неопытности; и гдѣ же тѣ плоды, которые старались собрать родители и воспитатели отъ исключительнаго воспитанія одними старинными писателями! Вліяніе романовъ всегда было чрезвычайно велико и часто вредно отъ этихъ причинъ. Посмотрите на молодыхъ людей, получившихъ такое воспитаніе во время оно, когда писала Радклифъ. Они бросались на чтеніе этихъ страшныхъ романовъ съ какой-то яростью и по прочтеніи видѣли міръ не такимъ, какъ онъ существуетъ въ самомъ дѣлѣ, а міръ, наполненный страшилищами, привидѣніями, разбойниками; имъ страшно было ходить вечеромъ, не только ночью, страшно было сидѣть однимъ въ комнатѣ, страшно было переѣхать изъ города въ городъ. Посмотрите потомъ на другихъ молодыхъ людей, которые выступили въ свѣтъ, когда мадамъ Жанлисъ и Ричардсонъ начали накидывать на міръ сантиментальную сѣть поддѣльныхъ чувствъ и нѣжностей: они, молодые люди, были нѣжны, чрезвычайно нѣжны... но послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, вступивъ въ зрѣлый возрастъ, дѣлались жестоки и суровы, дрались и ругались, какъ будто для нихъ не существовало нѣжныхъ романовъ... Тогда они ихъ называли уже глупостью. Та же исторія съ Байрономъ, худо понятымъ и вкривь перетолкованнымъ такими молодыми людьми, которые выходили изъ школъ прямо разочарованными... Всѣ эти писатели были вредны, потому-что ихъ толковали по своему молодые люди, которые до того времени не слыхивали о ихъ существованіи, а потомъ на-слово начинали имъ вѣрить и подражать въ жизни тому, что вычитывали въ романахъ, поэмахъ и драмахъ. Вѣдь правда же, что послѣ перваго представленія «Разбойниковъ» нѣсколько молодыхъ людей пошли въ лѣса промышлять по образцу героевъ Шиллера. Вѣдь теперь этого, слава Богу, нѣтъ; а отчего? Оттого, что мы рано узнаемъ эту трагедію, что намъ ее объясняютъ наставники и показываютъ, что въ ней истинно и что поддѣльно.

Какіе же романы можно и должно читать начинающимъ? Если вы хотите знать жизнь,—а романъ есть самая свободная форма, въ которой она выражается,—то читайте романы, въ которыхъ эта жизнь выражается прямо, безъ прикрасъ, безъ натяжекъ сантиментальности, безъ утопій разстроеннаго воображенія. Молодымъ людямъ, начинавшимъ чтеніе, всегда совѣтывали читать Вальтеръ-Скотта, на какомъ же это основаніи, какъ не на томъ, что въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, вы видите прошедшій бытъ народа. Если спросите, кого изъ нашихъ романистовъ можно дать въ руки молодому человѣку, не опасаясь всѣхъ вредныхъ послѣдствій односторонности и поддѣльности, вамъ укажутъ на Лажечникова, опять по той же самой причинѣ. Поэтому многіе говорятъ, что молодымъ людямъ можно читать только одни романы историческіе. Совершенно не справедливо; отчего же они не могутъ читать романа, въ которомъ отразилась настоящая жизнь со всѣхъ сторонъ: отчего напримѣръ разныя сочиненія Гоголя, Пушкина и Лермонтова не могутъ читать и выучивать всѣ и каждый наизусть? Если можно читать романы, въ которыхъ отразилась прошедшая жизнь, то также можно читать романы, въ которыхъ вы видите настоящую жизнь. Далѣе, по нашему мнѣнію, гораздо лучше позволять читать романы, въ которыхъ видна односторонность писателя,—но съ тѣмъ, чтобы при этомъ наставникъ поснялъ, что ложно и не согласно съ дѣйствительностью, — нежели совсѣмъ не позволять ихъ читать, потому-что впослѣдствіи, когда молодой человѣкъ, избавившись отъ учительской ферулы, добудетъ такой романъ, а

онъ непремѣнно его добудетъ, онъ прочтетъ его и на слово увѣруетъ въ справедливость разсказа, въ непогрѣшимость дѣйствующихъ лицъ и даже постарается подражать одному изъ героевъ, который ему преимущественно понравится. На это скажутъ, что романъ, въ которомъ отразилась дѣйствительная жизнь во всей ея наготѣ, съ ея радостями и бѣдствіями, богатствомъ и нищетой, успѣхами и страданіями, что такая жизнь можетъ очерствить сердце молодого человѣка, и очерствить преждевременно. Не знаемъ, правда ли это, но мы позволимъ себѣ сдѣлать вопросъ: что̀ же лучше,—узнать жизнь скорѣе и прямѣйшимъ путемъ, или прежде выучиться заблужденіямъ, а потомъ въ нихъ разувѣряться съ каждымъ днемъ, съ опытностью, до того же времени прожить подъ вліяніемъ фальшивыхъ убѣжденій, сантиментальности, фантастическихъ бредней, быть смѣшнымъ нѣкоторое время въ обществѣ, фантазировать и мечтать какъ герои Жанлисъ, Ричардсона, какъ «Бѣдная Лиза» Карамзина? Всѣ романы въ этомъ родѣ нужно позволять читать, но при этомъ объяснить, какъ много въ нихъ фальшиваго и какъ мало правды.

Вечеръ въ пансіонѣ. *Повѣсть для дѣтей. Спб. 1848.*

Скажите, отчего въ нашихъ юношахъ такъ мало юношескаго, въ нашихъ дѣтяхъ такъ мало простодушно-дѣтскаго? Нигдѣ не встрѣтите вы такихъ смирныхъ, угрюмыхъ дѣтей, какъ у насъ; нигдѣ нѣтъ такой необычайной претензіи казаться людьми дѣловыми, серьезными, важными, какъ у насъ; а между тѣмъ, несмотря на эту всѣми объявляемую претензію, литература наша да и прочія сферы дѣятельности печально свидѣтельствуютъ о томъ, что наши дѣловыя, серьезныя и «внушающія» физіономіи скрываютъ одну только надутую пустоту. Мы словно боимся потерять какое-то достоинство, называемъ мальчишествомъ все простодушно-веселое и старѣемся, никогда не бывши молодыми. Наши «мудрецы» считаютъ людьми пустыми и ничтожными всѣхъ тѣхъ, которые откровенно признаются, что очень любятъ театръ, балъ, маскарадъ, общество. Юный народъ на поприщѣ цивилизаціи, мы предстоимъ передъ Европой какими-то юношами со старческими физіономіями: съ самаго нѣжнаго возраста насъ начинаютъ обращать въ взрослыхъ людей; наши дѣтскія игры считаются шалостями, наши дѣтскія печаль и слезы—ревѣньемъ и хныканьемъ, наши дѣтскія радости, наслажденія... многіе ли помнятъ ихъ въ своемъ дѣтствѣ? Изъ этихъ робкихъ, запуганныхъ дѣтей выростаютъ робкіе, запуганные юноши и, возмужавъ, женясь, становятся въ свою очередь притѣснителями своихъ дѣтей, потому-что ничто такъ не огрубляетъ сердце, какъ грубое обращеніе въ дѣтствѣ.

Наша «дѣтская литература» вовсе не имѣетъ въ виду удовольствія и забавы дѣтей; нѣтъ, она изъ всѣхъ силъ старается съ самаго нѣжнаго ихъ возраста испортить всѣ ихъ простодушныя побужденія разсчетливыми разсказами, какъ Леночка, кладя въ дѣтствѣ деньги, даваемыя ей на лакомства, въ кружку для бѣдныхъ, впослѣдствіи вышла замужъ за князя, отецъ котораго сдѣлалъ предложеніе матери Леночки, начавъ такъ: «мой сынъ богатъ, а ваша дочь добродѣтельна» («Вечеръ въ пансіонѣ», стр. 20). О радостяхъ дѣтей, о ихъ печаляхъ, о кроткомъ обращеніи родителей и наставниковъ — «дѣтская литература» не хочетъ знать. Она заботится о приведеніи ихъ въ какой-то внѣшній порядокъ добродѣтели, а не о томъ, чтобы пробудить въ нихъ разумное убѣжденіе въ ея достоинствѣ, дать имъ почувствовать, что добродѣтель слѣдуетъ любить просто, какъ любятъ все прекрасное и истинное, а не для доказательства, что вотъ же, дескать, я перещеголяю васъ добродѣтелью, какъ вы хотите перещеголять меня богатствомъ и проч.

Црини. *Трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, сочиненіе Кёрнера. Переведена В. Мордвиновымъ. Спб. 1847.*

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи нѣмцамъ преимущественно дался лиризмъ. У нихъ есть великіе лирическіе поэты и великія лирическія произведенія, но нѣтъ ни романа, ни драмы, ни комедіи. Нѣсколько замѣчательныхъ произведеній въ послѣднихъ родахъ (только не въ комическомъ) представляются болѣе или менѣе прекрасными исключеніями изъ общаго характера нѣмецкой поэзіи. Въ нѣмецкой драмѣ люди не дѣйствуютъ, а только говорятъ, высказывая или свои мысли и воззрѣнія, или свои чувства, по поводу того, о чемъ идетъ дѣло въ драмѣ. Таковы трагедіи самого Шиллера: лучшая сторона ихъ—лирическій пафосъ, обильными волнами льющійся въ стихахъ, какіе умѣютъ писать только великіе поэты. Если допустить существованіе лирическихъ драмъ, какъ особаго вида поэзіи, по формѣ относящагося къ драматургіи, а по сущности къ лирикѣ, то конечно драмы Шиллера—великія созданія. Самыя страстныя и потому наиболѣе лирическія изъ его драмъ—«Іоанна д'Аркъ» и «Мессинская невѣста». Первоклассное произведеніе нѣмецкой поэзіи — «Фаустъ»,—есть по преимуществу лирическое произведеніе. Вообще нѣмецкая драма похожа на оперу: въ ней завязка, развязка,—словомъ, драматическое дѣйствіе есть то же, что̀ либретто въ операхъ: предлогъ или средство высказывать внутренній міръ ощущеній, чувствъ и мыслей.

Но этотъ родъ лирической драмы требуетъ талантовъ великихъ и очень опасенъ для талантовъ обыкновенныхъ. Оно и понятно: нельзя очень долго читать мелкія лирическія пьесы, потому что лирическая восторженность утомляетъ человѣка скорѣе всякой другой. Давно рѣшено, что черезчуръ длинное лирическое стихотвореніе можетъ быть хорошо лишь мѣстами, а не въ цѣломъ.

Теперь, какой же надо имѣть поэту талантъ, чтобы держать читателя постоянно въ лирическомъ энтузіазмѣ впродолженіе можетъ-быть двухъ, трехъ часовъ сряду? Поэтому самую лучшую лирическую драму едва ли кто рѣшится прочесть вдругъ безъ отдыха и перемежекъ. Послѣ этого нечего говорить о лирическихъ драмахъ обыкновенныхъ, даже замѣчательныхъ, но не великихъ талантовъ. Лучшее доказательство этому «Цринн» Кёрнера. Конечно Кёрнеръ и не думалъ писать лирическую драму, принимаясь за «Цринн». Но вѣдь и самъ Шиллеръ вовсе не думалъ быть лирическимъ драматургомъ; напротивъ, онъ, всѣми силами своей воли, стремился сдѣлаться для Германіи тѣмъ же, чѣмъ Шекспиръ былъ для Англіи; однакожъ, вопреки всѣмъ его усиліямъ, невольно покоряясь своей нѣмецкой натурѣ, онъ и въ своихъ драмахъ остался великимъ лирикомъ. Второстепенные же нѣмецкіе таланты всегда остаются въ своихъ драмахъ лириками, только никогда великими, мѣстами замѣчательными, но въ цѣломъ большей частью скучными. Что̀ касается до «Цринн», эта драма, отъ первой страницы до послѣдней, показалась намъ очень скучной. Дѣйствія въ ней нѣтъ никакого...

Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра (,) *Карла Ф. Беккера. Три части. Переводъ съ нѣмецкаго седьмого изданія. Спб. 1848.*

Судя по слухамъ, предшествовавшимъ появленію этой книги, равно какъ и по седьмому изданію ея подлинника, а еще болѣе по предисловію переводчика, Экерта, мы ожидали найти въ этой книгѣ гораздо болѣе, нежели сколько нашли въ ней. Первая часть заключаетъ въ себѣ «Одиссею», вторая—«Иліаду», третья—небольшіе разсказы о подвигахъ Язона, Тезея, Алкида, о судьбѣ Эдипа и гибели его рода и т. п. Конечно хорошо и полезно знакомить дѣтей съ античной жизнью древнихъ; но вопросъ въ томъ, какъ это должно дѣлать. Мы уже высказали на этотъ счетъ мнѣніе, по поводу «Библіотеки для Воспитанія», издаваемой Рѣдкинымъ, въ которой тоже были помѣщены «Одиссея» и «Иліада» въ сокращенномъ прозаическомъ разсказѣ. Но предметъ этотъ кажется намъ столь важнымъ, что мы не боимся повторить уже сказанное. Поэмы Гомера можно, даже должно передавать дѣтямъ съ выпускомъ, мѣстами даже съ передѣлками для связи, потому-что иначе они узнаютъ изъ нихъ такія вещи, знакомство съ которыми для дѣтей вредно въ нравственномъ отношеніи. Но этимъ должны ограничиться всѣ измѣненія. Передаватель поэмъ Гомера прежде всего долженъ стараться о томъ, чтобы сохранить поэтическій колоритъ подлинника, потому-что этотъ колоритъ составляетъ смыслъ и душу, такъ сказать, твореній вѣчнаго старца. Для этого онъ долженъ передавать ихъ особымъ языкомъ, чѣмъ-нибудь вродѣ мѣрной прозы. Тогда сколько прекрасныхъ поэтическихъ впечатлѣній для дѣтей, какая подготовка къ классическому ученью! «Иліада» и «Одиссея» сложены во времена варварства эллинскаго племени и безпрестанно отзываются варварствомъ; но это было варварство лучшаго племени въ древнемъ мірѣ,—племени, которому суждена была такая великая роль въ историческихъ судьбахъ человѣчества. И потому въ этихъ, такъ часто отзывающихся варварствомъ, поэмахъ такъ много героическаго, возвышающаго душу, человѣческаго! Никакая литература не представитъ ничего лучшаго, какъ напримѣръ то мѣсто въ «Иліадѣ», гдѣ старецъ Пріамъ цѣлуетъ руки убійцы своего сына, моля его о выдачѣ трупа Гектора, и гдѣ ненасытимый во гнѣвѣ и мщеніи смягчается, при воспоминаніи о своемъ старцѣ-отцѣ, и соединяетъ свои воили, стенанія и слезы съ рыданіями бѣднаго царя Трои. Но человѣческое является проблесками во всѣхъ поэтическихъ проблескахъ всѣхъ народовъ въ мірѣ; оно есть и въ индійскихъ поэмахъ и драмахъ; но тамъ оно является въ безобразныхъ, чудовищныхъ, отталкивающихъ формахъ; какъ человѣческое (т. е. общее всѣмъ людямъ, безъ различія національностей и времени), такъ и поэзія сверкаетъ въ нихъ рѣдкими искрами; это, положимъ, жемчужины, но которыя надо отыскивать въ кучѣ мусору. Не таковы созданія древней Греціи! Въ нихъ все красота, изящество, художественность! Вотъ это-то и заставляетъ забывать о томъ, что бытъ, изображенный въ поэмахъ Гомера, отзывается варварствомъ и дикостью нравовъ. На дѣтей эта сторона не можетъ дѣйствовать вредно; напротивъ, они непосредственно привыкнутъ переноситься въ нравы чуждыхъ народовъ и судить о нихъ не съ точки зрѣнія своего быта, общества и времени. Нечего также бояться, что дѣти примутъ эти сказки за истину. Пусть примутъ; въ свое время, когда перестанутъ быть дѣтьми, они поймутъ, что это поэтическія, а не историческія сказанія. Лучше же имъ принять за истину «Иліаду» и «Одиссею», нежели «Бову Королевича», «Еруслана Лазаревича» и «Георга Милорда Англійскаго». Вѣдь мы, взрослые, читаемъ хорошій романъ не какъ вымыселъ, а какъ быль, хотя и знаемъ, что это вымыселъ. Мы восхищаемся, принимаемъ участіе въ томъ или другомъ лицѣ, боимся за него, иногда скорбимъ и плачемъ о его гибели, и все-таки не думаемъ утѣшать себя, что это выдумка. Зачѣмъ же отнимать у дѣтей это очарованіе, безъ котораго у нихъ не можетъ быть никакого удовольствія въ чтеніи этихъ поэмъ?

Но ученый Беккеръ думалъ объ этомъ совсѣмъ иначе. У него «Иліаду» и «Одиссею» разсказываетъ «милый» учитель «милымъ» дѣтямъ. А разсказываетъ онъ не только безъ всякаго участія и теплоты, но съ явной холодностью, не только безъ уваженія, но съ худо скрываемымъ презрѣніемъ къ предмету своего разсказа. Онъ безпрестанно прерываетъ себя, чтобы толковать «милымъ» дѣтямъ, что вѣдь это все сказки, вздоръ; «милыя» дѣти тоже безпрестанно прерываютъ его, чтобы объяснить все чудесное естественнымъ обра-

зомъ. Какіе «милые» маленькіе критики-философы! Вѣрно изъ нихъ выйдутъ со временемъ Лессинги! Увы, нѣтъ! Изъ нихъ ничего не выйдетъ, кромѣ болтуновъ и резонеровъ. Чтобъ сдѣлаться знатокомъ въ поэзіи, а тѣмъ болѣе критикомъ, надо сперва запастись поэтическими впечатлѣніями, прожить цѣлый періодъ не совсѣмъ отчетливаго и разборчиваго восторга. Духъ критики придетъ самъ со временемъ, мало-по-малу овладѣетъ человѣкомъ и научитъ его отличать посредственное отъ хорошаго, хорошее отъ лучшаго. Не только ребенокъ, молодой человѣкъ, приступающій къ знакомству съ поэзіей прямо черезъ критику, съ готовыми своими или чужими мнѣніями, никогда не будетъ знать поэзіи, и если у него отъ природы эстетическое чувство, не разовьетъ его, а заглушитъ.

Въ разсказѣ «милаго» учителя «Иліада» и «Одиссея» являются сказками, до того нелѣпыми по содержанію, грубыми и безобразными по изложенію, что мы, право, не знаемъ, почему дѣтямъ лучше читать ихъ, нежели «Бову» или «Еруслана». Мы даже увѣрены, что дѣти съ бо́льшимъ удовольствіемъ станутъ читать послѣднихъ, потому что въ нихъ разсказъ не прерывается толками, что это-де вздоръ и чепуха. Особенно уродлива вышла несчастная «Одиссея». О пользѣ такого чтенія для дѣтей нечего и говорить: тутъ если не вредъ, то совершенная безполезность. Дѣти будутъ видѣть безпрестанную и безчеловѣчную рѣзню, кровавыя жертвоприношенія, иногда даже людьми, обжорство, несправедливости, преступленія, пороки, и уже ничего болѣе не увидятъ изо всего этого. Особенно собьютъ ихъ съ толку боги. Грекъ, создавши своихъ боговъ, перенесъ на нихъ свои дурныя и хорошія стороны, свои чувства, страсти и понятія. Эти боги были идеализированные греки, только въ преувеличенныхъ размѣрахъ красоты, тѣлесной и нравственной силы. Эта поэтическая апоѳеоза человѣка довела грека до самыхъ наивныхъ противорѣчій. Приписавши имъ безсмертіе, онъ поставилъ надъ ними какую то судьбу, подчинилъ ихъ ей, заставилъ ихъ бояться ея, какъ боялся ея самъ, впрочемъ рѣшительно не зная, что́ она такое. Приписавши имъ блаженную жизнь на высокомъ Олимпѣ, грекъ усѣялъ ихъ жизнь всѣми огорченіями и непріятностями, какія испытывалъ самъ. Зевесъ—отецъ и глава боговъ; ему ли, кажется, не блаженствовать! Но у него жена—Гера—богиня земли и раздора. Она поперечитъ ему на каждомъ шагу, преслѣдуя его дѣтей, не съ нею прижитыхъ; онъ безпрестанно съ ней ссорится, грозитъ ей карою, и разъ на желѣзныхъ цѣпяхъ повѣсилъ ее между небомъ и землей, а на ноги повѣсилъ тяжелыя наковальни и бичевалъ ее молніями. Но эта исправительная супружеская мѣра ни къ чему не послужила. Всѣ другіе боги боятся его, а между тѣмъ безпрестанно поступаютъ противъ его воли, а ужъ другъ другу то и дѣло наносятъ обиды. Особенно придаетъ странный сказочный характеръ поэмамъ Гомера вмѣшательство боговъ въ дѣла людей. Всѣ герои сильны не своей силой, а силой стоящихъ за нихъ поборающихъ имъ боговъ, которые собственнымъ оружіемъ то отводятъ отъ своихъ любимцевъ удары враговъ, то сами наносятъ врагамъ удары. Герой «Иліады»—Ахиллъ; онъ долженъ быть всѣхъ храбрѣе, доблестнѣе, сильнѣе и искуснѣе въ бояхъ. Соперникъ его—Гекторъ. Положимъ, Ахиллъ долженъ былъ одолѣть Гектора; но все же побѣда должна бы была ему чего нибудь стоить, а между тѣмъ онъ убилъ его, какъ ягненка. Копье Гектора отскакиваетъ отъ шлема Ахилла, не потому, чтобъ брошено было не довольно мощной рукой, а потому, что шлемъ выкованъ рукой бога Гефеста. Мало того, по волѣ Судьбы, Зевесъ отступается отъ Гектора, и самъ Феб, не оставлявшій его въ бояхъ, отходитъ отъ него; а между тѣмъ Паллада помогаетъ Ахиллу. Принявши образъ Гекторова брата Деифоба, она принимаетъ у Гектора копье; но когда тому оно опять понадобилось, онъ уже никого не увидѣлъ за собой и понялъ, что это было дѣло враждебной ему Аѳины. Мудрено ли послѣ этого было Ахиллу одолѣть Гектора! Гдѣ жъ тутъ герой, необыкновенный силачъ и храбрецъ? Но въ поэтическомъ изложеніи все это такъ полно жизни своего особеннаго рода, поэтическаго смысла, такъ понятно это смѣшанное участіе боговъ и людей въ однихъ и тѣхъ же дѣйствіяхъ! Эти боги такъ похожи на людей, а люди на боговъ!

Страннымъ намъ кажется порядокъ разсказовъ Беккера. «Одиссея» служитъ естественнымъ продолженіемъ «Иліады», а между тѣмъ у него «Одиссея» разсказана въ первой части, а «Иліада»—во второй; третья часть содержитъ въ себѣ описаніе подвиговъ героевъ, жившихъ, по преданію, до Троянской войны. Только краткое изложеніе «Энеиды» у мѣста—въ третьей части. Да и вообще «Энеида» разсказана такъ, какъ слѣдуетъ разсказывать такія поэмы, и взглядъ Беккера на произведенія Виргилія самый вѣрный, умный и современный.

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Литературный заяцъ.

Можно бы написать большую книгу объ авторскомъ самолюбіи вообще и о сочинительскомъ самолюбіи въ особенности. Первому бываютъ подвержены люди съ талантомъ; второму — посредственность и бездарность. Въ обоихъ случаяхъ это страсть — источникъ величайшихъ страданій для одержимыхъ ею. Впрочемъ талантъ, какъ бы ни былъ болѣзненно раздражителенъ, всегда имѣетъ свои минуты торжества, которыя по возможности ослабляютъ ѣдкую силу страданія отъ неудачъ или отъ несправедливыхъ приговоровъ, внушаемыхъ пристрастіемъ и невѣжествомъ. Но когда бездарный человѣкъ, одержимый бѣсомъ сочинительства, въ то же время исполненъ раздражительнаго самолюбія, которое, будучи въ заговорѣ съ его безвкусіемъ и невѣжествомъ, убѣждаетъ его въ томъ, что его произведенія превосходны и единодушно порицаются всѣми только по недоброжелательству, зависти и ослѣпленію: тогда взору наблюдателя представляется явленіе, столько же жалкое и страшное внутри, сколько смѣшное и комическое снаружи. Подобныя явленія подлежатъ изслѣдованію и психолога, и врача. Задорный писака — истинный мученикъ; онъ не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью, и вездѣ, во всемъ видитъ злыя противъ него намѣренія. Вы сказали при немъ, что не любите читать,— онъ обидѣлся; другой сказалъ при немъ, что не хотѣлъ бы быть литераторомъ,—онъ обидѣлся; третій сказалъ при немъ, что не любитъ романовъ и повѣстей,—онъ обидѣлся; четвертый похвалилъ при немъ какое-нибудь новое произведеніе (не его, разумѣется),—онъ обидѣлся... Несчастный, его мучитъ всякій чужой успѣхъ, его терзаетъ появленіе всякаго замѣчательнаго таланта; онъ ревнуетъ даже славѣ первоклассныхъ европейскихъ поэтовъ!.. А въ «своей литературѣ» онъ играетъ роль зайца, котораго всѣ травятъ изъ одного удовольствія травить. Выйдетъ плохое сочиненіе, совсѣмъ не имъ написанное: его сравниваютъ съ тѣмъ или съ другимъ изъ его сочиненій. Имя его вѣчно, кстати и некстати, подъ перомъ рецензентовъ. То онъ издаетъ сочиненіе за сочиненіемъ, то на время примолкаетъ, выжидаетъ—и вдругъ, думая, что всѣ забыли его старые грѣхи, смѣшитъ журналы и публику изданіемъ новаго жалкаго дѣтища своей бѣдненькой фантазіи. Видя, что всѣхъ не задобришь, онъ выбираетъ одинъ изъ наиболѣе насмѣхавшихся надъ нимъ журналовъ — и начинаетъ льстить ему некстати въ своихъ сочиненіяхъ; но неумолимый журналъ тѣмъ больше издѣвается надъ нимъ... Что̀ дѣлать? Бѣднякъ рѣшается самъ сдѣлаться критиканомъ и рецензентомъ. «Меня бранили,—говоритъ онъ:—буду же и я бранить другихъ». Но ему въ то же время хочется казаться безпристрастнымъ, и онъ считаетъ долгомъ своимъ хоть что-нибудь похвалить во всякой вздорной книжонкѣ. Впрочемъ, по сочувствію бездарности, онъ хвалитъ только одно посредственное, ничтожное, и охуждаетъ только геніальное и талантливое, да ужъ развѣ что-нибудь очень безсмысленное и безграмотное. Но онъ охуждаетъ съ «легкой проніей», а въ самомъ дѣлѣ сонно, вяло, плоско, съ беззубыми остротами и пошлыми шуточками. Однакожъ и это ему не удается. Рецензій его не принимаетъ ни одинъ журналъ; онъ издаетъ ихъ отдѣльными тетрадками, которыя доставляютъ обильную пищу насмѣшливости журналовъ, а сами не идутъ, не раскупаются... Чудакомъ овладѣваетъ отчаяніе: изъ полемическаго рыцаря печальнаго образа онъ становится полемическимъ Orlando Furioso. Ему остается одно: найти пріютъ въ какомъ-нибудь изданіи. Наконецъ — о радость! издатель какого-нибудь литературнаго сора, видя въ нашемъ зайцѣ большой полемическій задоръ, предлагаетъ ему безвозмездно трудиться въ своемъ изданіи. Несчастный заяцъ радъ и самъ платить послѣднія деньжонки, чтобъ только печатали его статейки, даромъ же онъ готовъ работать съ плеча день и ночь. Издатель тоже радъ ему: онъ употребляетъ его даромъ и только поправляетъ его статьи; самолюбивый заяцъ блѣднѣетъ и дрожитъ за всякое вычеркнутое или поправленное слово; но прошлыя неудачи дѣлаютъ его поневолѣ уступчивымъ: лишь бы не отняли у него возможность бранить тѣхъ, которые такъ долго смѣялись надъ нимъ,— онъ готовъ переносить отъ своего хозяина все... Но зато трепещите вы, враги его! Онъ ужъ больше не говоритъ о безпристрастіи, о справедливости... Но, увы! враги его, которыхъ онъ думалъ видѣть подъ своими ногами, уничтоженныхъ, умирающихъ, — его враги опять весело смѣются, потому что ничего нѣтъ смѣшнѣе и пріятнѣе, какъ

безсильная злоба, какъ пухлое изверженіе надувшейся бездарности...

Что́ же будетъ дѣлать заяцъ, когда убѣдится въ своемъ безсиліи? что̀ ожидаетъ его, несчастнаго?.. Да, это любопытный типъ, драгоцѣнный предметъ для литературно-физіологическаго очерка съ карлинками, подъ названіемъ: «Литературный Заяцъ»...

Булгаринъ.

Чего, подумаешь, не писалъ Булгаринъ въ подрывъ кредита у публики «Отечественныхъ Записокъ»!... То увѣрялъ, что онѣ скоро прекратятся, за неимѣніемъ подписчиковъ, то говорилъ, что ихъ друзья съ умыслу распускаютъ слухи, будто онѣ издаются въ пользу какого-то бѣднаго семейства... Но вотъ самые свѣжіе примѣры: въ 55 нумерѣ «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года Булгаринъ утверждаетъ, будто «Отечественныя Записки» основаны были съ цѣлью уронить (!) «Библіотеку для Чтенія»; будто какая-то компанія, составившаяся для изданія «Отечественныхъ Записокъ», рѣшительно объявила извѣстное правило: «кто не съ нами, тотъ противъ насъ». Во-первыхъ, нигдѣ не было объявлено, чтобъ «Отечественныя Записки» издавались компаніей, и на заглавномъ листкѣ ихъ всегда стояло только имя издателя и редактора этого журнала: откуда же и чего ради сочинилъ Булгаринъ компанію?... Далѣе:

«Вызвали изъ Москвы критика, который своими парадоксами, печатаемыми въ *Молвѣ*, заставилъ добрыхъ людей взглянуть *на себя* съ улыбкой удивленья (т. е. *добрые люди посмотрѣли тогда на себя съ удивленьемъ?!*...) и поручили ему писать разборы книгъ, т. е. уничтожить все прошлое (не пошлое ли?) и рубить все; что̀ *не съ нами, то противъ насъ*. Вотъ и пошла потѣха.»

Спросимъ Булгарина: все это литературныя подробности? А что, если къ этому мы скажемъ, что все это сочинено имъ самимъ и ничего этого не бывало?... Но ему до правды нужды нѣтъ. Такой ужъ онъ правдолюбъ!... Однакожъ входить въ частныя дѣла своихъ противниковъ, сочинять о нихъ цѣлыя исторіи—это называется личностями... Объ этомъ, кстати, мы должны разсказать цѣлую исторію. Въ 57 нумерѣ «Сѣверной Пчелы» Гречъ пишетъ изъ Парижа слѣдующее о переводѣ повѣстей Гоголя на французскій языкъ.

«Віардо изданіемъ перевода сочиненій Н. В. Гоголя принесъ намъ и нашей литературной репутаціи услугу очень сомнительную, похожую на ту, которую, въ баснѣ Крылова, медвѣдь угодилъ спящему другу. Нельзя вообразить себѣ ничего карикатурнѣе и смѣшнѣе этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимыя черты малороссійскаго быта, его мнимое простодушіе, его наивная замысловатость—все это исчезло подъ губительнымъ перомъ варвара-переводчика: остались нелѣпые вымыслы, уродливыя сцены, отвратительныя подробности, безвкусіе и отсутствіе всякаго благородства и изящества литературнаго; вмѣсто живого тѣла, видимъ безобразный скелетъ. Впрочемъ всякъ воленъ переводить, что и какъ ему угодно, а вотъ что непростительно, и противъ чего мы возстаемъ всѣми силами. Віардо, печатая юродивую повѣсть «Вій» въ «Journal des Debats», снабдилъ ее предисловіемъ, въ которомъ говоритъ, что Гоголь продолжаетъ въ отечествѣ своемъ созданіе литературы оригинальной, обогащенной трудами двухъ умершихъ писателей ея, Пушкина и Лермонтова. Мы охотно отдаемъ справедливость уму и таланту Гоголя, и ставимъ его произведенія на почетное мѣсто среди твореній нынѣшняго времени, признаемъ въ его *Тарасѣ Бульбѣ* большія достоинства и красоты, всегда съ новымъ наслажденіемъ перечитываемъ *Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ*, и не можемъ натѣшиться забавнымъ *Ревизоромъ*, но не дерзаемъ ставить его не только наравнѣ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, да и непосредственно послѣ ихъ. У него нѣтъ главнаго, *нѣтъ языка;* онъ позаймется, позабавитъ публику своимъ разсказомъ, но не подвинетъ ея впередъ на пути литературнаго образованія, какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ.—*Журналы здѣшніе* (!?) *смѣются* надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставятъ ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства. Ихъ винить нельзя. Прочитайте переводъ повѣсти «Вій», и скажите, можетъ ли быть что-либо уродливѣе и нелѣпѣе.»

Что̀ сказать на это? «Сѣверная Пчела» вольна находить переводъ Віардо варварскимъ, какъ мы вольны находить его превосходнымъ: на вкусъ товарища нѣтъ. Но чтобъ французскіе журналы смѣялись надъ твореніями Гоголя въ переводѣ и ставили ихъ гораздо ниже дѣйствительнаго ихъ достоинства,—это, просимъ не прогнѣваться,—чистая выдумка, остроумное сочиненіе «Сѣверной Пчелы»... Всѣ французскіе журналы, говорившіе о Гоголѣ, говорили о немъ съ величайшими похвалами. Но что̀ вся эта выдумка «Сѣверной Пчелы» въ сравненіи съ слѣдующею выходкою Булгарина:

«Я совершенно согласенъ со всѣмъ, что̀ Н. И. Гречъ говоритъ о сочиненіяхъ Гоголя и переводѣ ихъ на французскій языкъ; но, бывъ въ пріятныхъ отношеніяхъ къ Віардо, я обязанъ, зная дѣло, представить, при обвиненіи его, облегчительныя обстоятельства (circonstances attenuantes). Недавно еще, въ текущемъ году, говорилъ я въ «Сѣверной Пчелѣ, что у насъ есть люди, которые ловятъ каждаго заѣзжаго чужеземнаго литератора, чтобъ внушить ему свои понятія о русской литературѣ и русскихъ литераторахъ, т. е. похвальное мнѣніе о своихъ собственныхъ и пріятелей своихъ сочиненіяхъ, и дурное о своихъ противникахъ и критикахъ [1]). Такимъ образомъ *уловили* Мармье и другихъ; точно такъ-же поймали и Віардо, увѣрили его, что первый писатель въ Россіи, изъ всѣхъ бывшихъ и будущихъ, есть Гоголь, и пригласили перевесть его сочиненія. Но какъ же переводить, когда Віардо, какъ мнѣ весьма хорошо извѣстно, не знаетъ трехъ словъ по-русски? *Къ нему отрядили одного изъ геніевъ по-*

[1]) О существованіи этихъ людей рекомендуемъ Булгарину справиться въ статьѣ Пушкина, назвавшагося *Ѳеофилактомъ Косичкинымъ:* «Торжество Дружбы, или оправданный Александръ Аѳимовичъ Орловъ.»

вой натуральной школы, знающаго французскій языкъ (т. е. французскія слова), и онъ сталъ надстрочно переводить для Віардо сочиненія Гоголя, а Віардо долженствовалъ сообщить этому переводу слогъ и свойство французскаго языка, какъ говорится, *офранцузить* чужеземное слово. *Встрѣчая часто у Віардо этого генія новой натуральной школы за бумагами, я однажды не могъ вытерпѣть, чтобы не изъявить моего удивленія, и тогда Віардо сознался мнѣ, что* этотъ геній переводитъ для него сочиненія Гоголя, *съ которыми онъ намѣренъ познакомить Европу».*

Затѣмъ Булгаринъ увѣряетъ, что «не выносить сору изъ избы»—его неизмѣнное правило!... А наконецъ изъявляетъ сожалѣніе, что «Віардо самъ подвергнулся и подвергнулъ русскую литературу упрекамъ и порицаніямъ французскихъ литераторовъ!»... Впрочемъ это сожалѣніе понятно: Булгаринъ не можетъ забыть, какъ незамѣтно и тихо скончались за-границей переводы его сочиненій, и до того не вѣритъ возможности успѣха русскаго писателя за-границей, что и похвалы (да еще какія) французскихъ критиковъ и журналистовъ Гоголя отвергаетъ... Но, спрашиваемъ, кстати ли сочинять небывалыя исторіи о геніи, отправленномъ какой-то школой къ Віардо, о томъ, что этотъ геній знаетъ только французскія слова, а не французскій языкъ, что Булгаринъ видалъ его у Віардо за бумагами и т. п.?... Впрочемъ пишутъ же сказки о встрѣчѣ съ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ», будто бы помѣшавшемся на idée fixe, и печатно называютъ своихъ противниковъ сумасшедшими!... Помнится также, что кто-то, изъ ничего, изъ капустныхъ кочерыжекъ, говоря о Полевомъ, недавно еще имъ превозносимомъ, позволилъ себѣ фразу о «писателѣ съ огороднымъ прозваніемъ» и о «какомъ то квасникѣ, выучившемся грамотѣ самоучкой»?...

Этого мало. Сколько уже разъ было замѣчаемо Булгарину, что онъ всегда дружится съ мертвыми и становится пріятелемъ отсутствующихъ. Умеръ Карамзинъ — Булгаринъ пишетъ статью: «Мое знакомство съ Карамзинымъ», въ которой доказываетъ, что авторъ «Исторіи Россійскаго Государства» находился съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ, когда еще не умиралъ. Умеръ Грибоѣдовъ — Булгаринъ за перо, и пишетъ біографію умершаго, бывшаго съ нимъ въ самыхъ короткихъ сношеніяхъ. Такъ же хотѣлъ онъ поступить съ Пушкинымъ, но тутъ что-то помѣшало... Умеръ Крыловъ — Булгаринъ пишетъ статью о своей съ нимъ пріязни... Слышно, что многіе, дорожа дружбой и пріязнью Булгарина, признаются откровенно, что имъ мѣшаетъ подружиться съ почтеннымъ авторомъ «Воспоминаній» только жизнь ихъ... А какъ только они отыдутъ къ праотцамъ, то онъ непремѣнно вспомнитъ, что былъ имъ другъ и пріятель. Булгаринъ принялъ за правило «не выносить сора изъ избы», зачѣмъ же нарушено это правило по отъѣздѣ Віардо изъ Петербурга? Мы, хотя и не иностранцы, никакъ не можемъ повѣрить ни выдумки, ни правды, не выслушавъ Віардо, который, какъ оказалось послѣ его отъѣзда, находился съ Булгаринымъ въ пріятельскихъ сношеніяхъ. Мы даже не повѣримъ ссылкѣ на Віардо въ справедливости словъ Булгарина, пока не подтвердитъ ихъ самъ г. Віардо: мы видѣли недавно, чѣмъ кончилась ссылка Булгарина на его высокопревосходительство, адмирала П. И. Рикорда, въ спорѣ за «Воспоминанія»... Странно, что Булгаринъ молчалъ до тѣхъ поръ, пока Віардо былъ на лицо...

Впрочемъ во всемъ этомъ есть, какъ говоритъ Булгаринъ, облегчительныя обстоятельства (circonstances atténuantes). Ничего нѣтъ тяжелѣе, какъ быть калифомъ на часъ, даже и въ литературѣ. Было время, Булгаринъ чуть было не попалъ въ русскіе Вальтеръ-Скотты; но это время давно прошло, и хотя сотрудники «Сѣверной Пчелы», во время отсутствія Булгарина изъ Петербурга, и провозглашаютъ его время отъ времени русскимъ Вальтеромъ Скоттомъ («Сѣверная Пчела» 1843 г., нумеръ 86) и даже самъ онъ, не отвергая подносимаго ему сотрудниками титла, иногда величаетъ себя, для разнообразія, Сократомъ («Сѣверная Пчела» 1843 г., нумеръ 57) —однакожъ публика видитъ теперь въ немъ только говорливаго фельетониста «Сѣверной Пчелы», ни больше, ни меньше, совершенно забывъ о его прежнихъ твореніяхъ. А кто виною этому?—Гоголь, который успѣлъ своими сочиненіями изгладить изъ памяти публики даже сочиненія тѣхъ романистовъ, которые дѣйствительно не лишены даровитости и которые своими романами успѣли изгладить изъ памяти публики романы Булгарина!.. Есть отчего сдѣлать изъ Гоголя idée fixe, говоря словами Булгарина! Сначала Гоголь въ глазахъ Булгарина не имѣлъ ни искры таланта, но теперь, когда, по увѣренію его же, Булгарина, Гоголь навлекъ на себя насмѣшки французскихъ литераторовъ, онъ уже много хорошаго признаетъ въ сочиненіяхъ Гоголя. Но все-таки не можетъ простить ему основанія литературной школы, которая всѣхъ старыхъ писателей лишила всякой возможности съ успѣхомъ писать романы, повѣсти и комедіи изъ русской жизни, и которую за это Булгаринъ очень основательно прозвалъ «новой натуральной школой», въ отличіе отъ старой риторической или не натуральной, т. е. искусственной, другими словами,—ложной школы. Этимъ онъ прекрасно оцѣнилъ новую школу и въ то же время отдалъ справедливость старой;—новой школѣ ничего не остается, какъ благодарить его за удачно приданный ей эпитетъ... Но за что же онъ безпрестанно такъ нападаетъ на новую школу? Виновата ли она, что онъ, по собственному признанію, и досель есть «ученикъ Карамзина и Дмитріева»?.. Естественно, что значеніе и учителей стало теперь не то, что было назадъ тому лѣтъ тридцать, ибо послѣ нихъ были другіе учители—Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, не говоря уже о явившихся послѣ нихъ—Гоголѣ и Лермонтовѣ. А объ ученикахъ нечего и говорить; волей или неволей, а пришлось имъ

пережить свою минутную извѣстность. Какъ ни порочьте новую школу, а она уже не станетъ идти раковой походкой и писать по вашему. Да притомъ, браня ее, вы ее прославляете. Всѣ видятъ, что вы ополчаетесь на нее за ея успѣхи. Иначе вы не стали бы безпрестанно твердить о ней. Явится новое произведеніе, скажите о немъ ваше мнѣніе, и не сердитесь, когда другіе не согласны съ вами. Но вы на чужое мнѣніе, не согласное съ вашимъ, смотрите какъ на ересь. На что́ это похоже! теперь цѣлые фельетоны «Сѣверной Пчелы» наполняются совсѣмъ не хладнокровными доказательствами, что у Достоевскаго нѣтъ ни искорки таланта. Ну, нѣтъ, такъ и нѣтъ—тѣмъ лучше для васъ. Скажите это—и успокойтесь; а то подумаютъ, что вы не искренни и съ особымъ намѣреніемъ хотите всѣхъ увѣрить, что онъ—не талантъ. Дѣйствуя такъ, вы только вредите себѣ...

IV. ТЕАТРЪ.

Предокъ и потомки.

Трилогія въ стихахъ и прозѣ.

Эта пьеса по-французски называется «Les Burggraves» и по-русски ее слѣдовало бы назвать «Крикуны, или много шума изъ пустяковъ». Геній Виктора Гюго, столько шумѣвшаго въ европейско-литературномъ мірѣ назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ, теперь такъ низко упалъ, что даже наши доморощенные «драматическіе представители»—еслибъ у нихъ было хоть крошечку побольше ума, вкуса и образованія — могли бы писать драмы не только не хуже, даже лучше «Бургграфовъ». Имя Гюго возбуждаетъ теперь во Франціи общій смѣхъ, а каждое новое его произведеніе встрѣчается и провожается тамъ хохотомъ. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ псевдоромантикъ смѣшонъ до крайности. Онъ вышелъ на литературное поприще съ девизомъ: «le laid c'est le beau», и цѣлый рядъ чудовищныхъ романовъ и драмъ потянулся для оправданія чудовищной идеи. Обладая довольно замѣчательнымъ лирическимъ дарованіемъ, Гюго захотѣлъ, во что бы ни стало, сдѣлаться романистомъ и въ особенности драматикомъ. И это ему удалось вполнѣ, но дорогой цѣной—потерей здраваго смысла. Его пресловутый романъ «Notre Dame de Paris», этотъ цѣлый океанъ дикихъ, изысканныхъ фразъ и въ выраженіи, и въ изобрѣтеніи, на первыхъ порахъ показался геніальнымъ произведеніемъ и высоко поднялъ своего автора, съ его «высокимъ черепомъ» и «израненными боками». Но то былъ не гранитный пьедесталъ, а деревянныя ходули, которыя скоро подгнили, и мнимый великанъ превратился въ смѣшного карлика съ огромнымъ лбомъ, съ крошечнымъ лицомъ и туловищемъ. Всѣ скоро поняли, что смѣлость и дерзость страннаго, безобразнаго и чудовищнаго — означаютъ не геній, а раздутый талантъ, и что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго писалъ драму за драмой, и послѣдняя всегда выходила у него хуже предыдущей. Наконецъ «Бургграфы» превзошли въ ничтожности и пошлости все написанное доселѣ ихъ авторомъ. Это сцѣпленіе самыхъ избитыхъ эффектовъ, повтореніе самыхъ истертыхъ общихъ мѣстъ. Тутъ есть корсиканка, которая сорокъ лѣтъ дышетъ мщеніемъ за убійство ея возлюбленнаго. Она шлялась по всему свѣту, была въ Индіи, и тамъ научилась небывалому искусству по волѣ своей и умерщвлять, и воскрешать людей. Посредствомъ какой-то таинственной жидкости она заставляетъ чахнуть отъ изнурительной болѣзни племянницу Іова, бургграфа Эпенгенскаго, графиню Регину, и обѣщаетъ влюбленному въ нее стрѣлку Отберту излѣчить ее въ одну минуту, если тотъ поклянется помочь ей въ мщеніи и убить того, кого она ему укажетъ. Отбертъ этотъ былъ сынъ Іова Проклятаго (въ афишкѣ названнаго, вѣроятно ради смѣха, окаяннымъ), пропавшій въ дѣтствѣ. Регина выздоровѣла отъ чудотворныхъ капель, и Отбертъ, въ темномъ подземельѣ, идетъ убить своего отца. Но не бойтесь — это только шутка, пустяки, вздоръ — нѣчто вродѣ пошлаго театральнаго эффекта; не бойтесь этого картоннаго кинжала, какъ ни размахивается онъ надъ грудью столѣтняго старика: сейчасъ явится избавитель и въ самую пору остановитъ руку невольнаго убійцы. И избавитель явился очень кстати—въ ту самую минуту, когда палачъ и жертва уже надорвались отъ усталости, изливаясь въ патетическихъ монологахъ. Этотъ избавитель—Фридрихъ Барбарусса, императоръ священной Римской имперіи, явившійся въ замкѣ Іова Проклятаго въ видѣ нищаго. Онъ—изволите видѣть—братъ Іова, бывшій возлюбленный мстительной корсиканки. Когда Проклятый бросилъ его, израненнаго, изъ этого самаго подземелья за рѣшетку окна, онъ какъ-то зацѣпился за рѣшетку и спасся, чтобъ доставить Гюго нѣсколько дряннѣхъ сценическихъ эффектовъ. Когда братья расчувствовались, корсиканка, видя, что уже мстить не за что, скоропостижно лишаетъ себя живота: она поклялась, что въ гробѣ (который былъ принесенъ въ пещеру съ лежавшей въ немъ Региной) долженъ кто-нибудь быть вынесенъ изъ подземелья. Вотъ что называется—сдержать клятву! Когда старая колдунья умерла, Регина воскресла — трогательная сцена! Всѣ овечки на лицо, а волкъ умеръ! Отбертъ, еще прежде обиженный Гатто, маркизомъ Веронскимъ, вызываетъ его на поединокъ; но маркизъ (пьяница, шутъ и разбойникъ) съ презрѣніемъ отвѣчаетъ ему, что не можетъ драться съ сыномъ цыганки (корсиканки тожъ). Тогда старичокъ-

нищій, бросая свой посохъ и выхватывая мечъ, вызывается драться съ Гатто. «Но ты кто?» говоритъ Гатто.—«Я императоръ Фридрихъ Барбарусса!»—Эффектная сцена?...Затѣмъ онъ заковалъ въ цѣпи цѣлыя три поколѣнія бургграфовъ — Іова, столѣтняго старца, Магнуса, сына Іова, восьмидесятилѣтняго старика, и Гатто, сына Магнусова, молодого человѣка. Въ лицѣ этихъ трехъ бургграфовъ Гюго хотѣлъ представить три поколѣнія рыцарей, одно другого хуже: Іовъ, несмотря на грѣхи своей юности, рыцарь хоть куда; Магнусъ—ни рыба, ни мясо, а такъ себѣ; Гатто — пьяница, шутъ и разбойникъ.

На сценѣ Александринскаго театра «Бургграфы» очень эффектная, а потому и отличная драма...

Павелъ Степановичъ Мочаловъ.

16-го числа прошлаго мѣсяца (марта 1848 г.) скончался въ Москвѣ знаменитый русскій трагическій актеръ, Павелъ Степановичъ Мочаловъ. Сценическое искусство понесло въ немъ горькую утрату. Это былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ, огромнымъ талантомъ, какіе являются рѣдко. Самая противорѣчивость и преувеличенность сужденій о талантѣ Мочалова доказываютъ, что онъ дѣйствительно стоялъ далеко за чертой обыкновеннаго. Одни видѣли въ немъ высшую степень совершенства, до какого только можетъ доходить трагическій талантъ; другіе видѣли въ немъ совершенно бездарнаго актера. Какъ ни преувеличенно первое мнѣніе, однако въ немъ въ тысячу разъ больше истины, нежели въ послѣднемъ, но и послѣднее существуетъ не безъ основанія; самъ Мочаловъ вызвалъ его; дѣло въ томъ, что, получивши отъ природы огромный талантъ и богатыя средства для представленія трагическихъ ролей, Мочаловъ съ молодыхъ лѣтъ имѣлъ несчастье пренебречь развитіемъ своего таланта и обработкой своихъ средствъ, ничего не сдѣлалъ во-время, чтобъ овладѣть ими. Одаренный въ высшей степени страстной натурой, онъ владѣлъ при этомъ голосомъ, который способенъ былъ выражать всѣ оттѣнки страстей и чувствъ: въ немъ слышны были и громовый рокотъ отчаянія, и порывистые крики бѣшенства и мщенія, и тихій шопотъ сосредоточившагося въ себѣ негодованія,—шопотъ, который раздавался, бывало, по всему театру, и каждое слово доходило до слуха и сердца зрителя; и мелодическій лепетъ любви, и язвительность иронiи, и спокойно-высокое слово. Голосъ для актера великое дѣло. Конечно актеру нуженъ не такой голосъ, какъ пѣвцу, но все же нуженъ необыкновенно гармоническій, звучный и гибкій голосъ; иначе онъ никогда не выкажетъ во всей полнотѣ своего таланта, какъ бы великъ онъ ни былъ. Голосъ Мочалова былъ дивнымъ инструментомъ, въ которомъ заключались всѣ звуки страстей и чувствъ. Лицо его также было создано для сцены. Красивое и пріятное въ спокойномъ состоянiи духа, оно было измѣнчиво, подвижно—настоящее зеркало всевозможныхъ оттѣнковъ ощущеній, чувствъ и страстей. При этомъ онъ былъ крѣпкаго здоровья,—обстоятельство, очень важное для трагическаго актера. Ростомъ онъ былъ не высокъ, но совсѣмъ не такъ, чтобъ это могло казаться въ немъ недостаткомъ на сценѣ. Сложенъ былъ хорошо.

И невозможно себѣ представить, до какой степени мало воспользовался Мочаловъ богатыми средствами, которыми надѣлила его природа! Со дня вступленія на сцену, привыкши надѣяться на вдохновеніе, всего ожидать отъ внезапныхъ и волканическихъ вспышекъ своего чувства, онъ всегда находился въ зависимости отъ расположенія своего духа: найдетъ на него одушевленіе—и онъ удивителенъ, безподобенъ; нѣтъ одушевленія—и онъ впадаетъ, не то, чтобы въ посредственность—это бы еще куда ни шло—нѣтъ, въ пошлость и тривіальность. Тогда невысокій ростъ его дѣлался на сценѣ большимъ недостаткомъ, вся фигура его становилась непріятной, манеры—безобразными. Чувствуя внутреннюю скуку и апатію, понимая, что онъ играетъ дурно, Мочаловъ выходилъ изъ себя, и, желая насильно возбудить въ себѣ вдохновеніе, онъ кричалъ, кривлялся, ломался, хлопалъ себя руками по бедрамъ, и оттого становился еще нестерпимѣе. Вотъ въ такіе-то неудачные для него спектакли и видѣли его люди, имѣющіе о немъ понятіе какъ о дурномъ актерѣ. Это особенно пріѣзжіе въ Москву, и особенно петербургскіе жители. Они конечно правы въ отношеніи къ самимъ себѣ, тѣмъ болѣе, что по слухамъ ожидали увидѣть чудо таланта. Правда, едва ли когда нибудь Мочаловъ цѣлую большую роль игралъ дурно отъ начала до конца; напротивъ, вродолженіе большой пьесы у него не разъ вспыхивало вдохновеніе, и онъ хоть въ нѣсколькихъ только сценахъ, но все-таки бывалъ удивителенъ; но не у всякаго станетъ терпѣнія высидѣть длинную трагедію, дурно разыгрываемую даже главнымъ лицомъ, въ надеждѣ вознаградить себя нѣсколькими минутами удовольствія. Москвичи любили его, многое извиняли ему и терпѣливо дожидались его «превращеній» на сценѣ,—и какъ хорошъ онъ былъ въ этихъ «превращеніяхъ»; онъ словно выросталъ въ глазахъ зрителя, манеры его мгновенно облагораживались, лицо и голосъ измѣнялись—точно совсѣмъ другой человѣкъ на сценѣ, въ глазахъ зрителей! Ему никогда не удавалось выполнить ровно свою роль отъ начала до конца, т. е. выполнить ее художнически, артистически, но ему нерѣдко удавалось вродолженіе цѣлой роли постоянно держать зрителей подъ неотразимымъ обаяніемъ тѣхъ могущественныхъ и мучительно-сладкихъ впечатлѣній, которыя производила на нихъ его страстная, простая и въ высшей степени натуральная игра. И въ этой игрѣ бывали неровности и небольшіе про-

махи; но зритель подъ бременемъ волновавшихъ его ощущеній не успѣвалъ приходить въ себя, чтобъ ясно видѣть оттѣнки игры. Иногда Мочаловъ бывалъ превосходенъ только въ нѣсколькихъ актахъ трагедіи, иногда въ одномъ, иногда цѣлая роль его была безпрестранной смѣной паденія возстаніемъ и возстанія паденіемъ; невозможно исчислить всѣхъ этихъ комбинацій удачъ съ неудачами.

Торжествомъ его таланта былъ «Гамлетъ»; бывалъ онъ превосходенъ и въ «Отелло», но большей частью только въ трехъ послѣднихъ актахъ, когда выходитъ на сцену ревность. Прежде онъ блисталъ въ роляхъ Карла Мора и Фердинанда. Сослуживцы его увѣряютъ, что онъ былъ удивителенъ въ ролѣ Мейнау, въ пьесѣ Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе»; онъ особенно любилъ эту роль, охотно и часто игралъ ее, и всегда, не въ примѣръ прочимъ ролямъ, выполнялъ ее съ удивительнымъ совершенствомъ съ начала до конца, какъ истинный художникъ, и немногіе могли смотрѣть безъ слезъ на его игру въ этой роли.

Чтобы вѣрно оцѣнить такой талантъ, какъ Мочалова, надо было часто видѣть его на сценѣ, освоиться съ его игрой, изучить ее. По огромности таланта, Мочаловъ былъ необыкновеннымъ феноменомъ; но этотъ талантъ былъ чисто природный, нисколько не развитый ни наукой, ни искусствомъ, всегда зависѣвшій отъ вдохновенія. Конечно безъ вдохновенія нельзя сыграть какъ слѣдуетъ никакой роли, тѣмъ болѣе трагической, но и безъ вдохновенія можно играть прилично, умно, отчетливо. Почти всякая роль начинается довольно холодно и разогрѣвается по мѣрѣ хода драмы. Вотъ тутъ-то особенно важно для актера не потеряться, испугавшись своего внутренняго нерасположенія къ игрѣ, но играть съ полнымъ присутствіемъ духа; вдохновеніе мало-помалу придетъ само собой, его вызовутъ рукоплесканія публики; притомъ же, играя отчетливо, актеръ невольно входитъ въ свою роль и самъ себя разогрѣваетъ ею. Но этого самообладанія своими средствами актеръ можетъ достичь только усиленнымъ и долговременнымъ изученіемъ своего искусства. Этого-то изученія и недоставало Мочалову, чтобъ быть истиннымъ чудомъ сценическаго искусства. И потому онъ давно уже шелъ назадъ, вмѣсто того чтобы идти впередъ. Въ 1846 году Мочалова едва узнавали на сценѣ невидавшіе его лѣтъ шесть. Были и тутъ вспышки, но уже не прежняго Мочалова; голосъ хриплый; страсть еще есть, но ужъ средства для выраженія ея ослабли...

Въ мірѣ искусства Мочаловъ — примѣръ поучительный и грустный. Онъ доказалъ собою, что одни природныя средства, какъ бы они ни были огромны, но безъ искусства и науки, доставляютъ торжества только временныя, и часто человѣкъ ихъ лишается въ ту эпоху своей жизни, когда бы имъ слѣдовало быть въ полномъ ихъ развитіи. Мочаловъ, какъ мы уже сказали, еще довольно задолго до своей смерти началъ ослабѣвать въ талантѣ, и умеръ онъ всего на сорокъ восьмомъ году отъ роду. Біографическія подробности о жизни Мочалова читатели найдутъ въ брошюрѣ подъ названіемъ: «Воспоминанія о П. С. Мочаловѣ», которую въ скоромъ времени намѣренъ издать Межевичъ. Межевичъ коротко зналъ Мочалова, онъ имѣетъ его письма, рукописныя стихотворенія и даже краткую автобіографію, врученную ему Мочаловымъ въ 1846 году,—стало быть, можно съ достовѣрностью предполагать, что брошюра Межевича будетъ интересна.

Конецъ четвертаго тома.

Пен. Гос. Ун-т

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются новыя изданія Ф. ПАВЛЕНКОВА:

ПРИ СВѢТѢ ЗВѢЗДЪ.

К. Фламмаріона.

Переводъ съ французскаго **Е. А. Предтеченскаго.** 368 стр. Цѣна **1 рубль.**

СОДЕРЖАНІЕ: I. Въ безпредѣльномъ пространствѣ. — II. Зачѣмъ? — III. Прежняя вселенная. — IV. Звѣзды и атомы. — V. Всемірная молитва. — VI. Земля въ свои первые дни. — VII. Падучія звѣзды. — VIII. Общеніе между мірами. — IX. Среди небесъ. — X. Тайна мірозданія. — XI. Жизнь въ иныхъ мірахъ. — XII. Свѣточи вселенной. — XIII. Сиріусъ и его исторія. — XIV. Древніе парижане. — XV. Вечерняя звѣзда. — XVI. Вѣсти изъ иныхъ міровъ. — XVII. Дѣвственный лѣсъ среди Парижа. — XVIII. Голосъ природы. — XIX. Сквозь даль вѣковъ. — XX. Какъ наступитъ конецъ міру.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ.

Профессора Г. ЖОЛИ. Переводъ съ французскаго. 3-е изданіе. **Цѣна 60 коп.**

СОДЕРЖАНІЕ: **I. Подготовка генія культурнымъ ростомъ народа.** Явленія геніальности труднѣе поддаются изученію, чѣмъ помѣшательство. Три главные отдѣла нашего предмета: великій человѣкъ, геній, вдохновеніе. Мнѣніе Гете о послѣдствіяхъ долговѣчности отдѣльныхъ семей и цѣлыхъ народовъ. Всякій ли народъ способенъ народить великаго человѣка? Наиболѣе благопріятныя времена для появленія великихъ людей.

II. Вліяніе семейной наслѣдственности. Существуетъ ли наслѣдственная подготовка, ускоряющая появленіе генія? Братья, сестры и матери великихъ людей. Наслѣдственность вкусовъ, причудъ и выдающихся способностей. Геній и успѣхъ. Различія между естественной и юридической семьей, между кровью и именемъ, между святымъ и великимъ человѣкомъ. Законныя обобщенія. Теорія чередованія. Если геній не есть неврозъ, то не чередуется ли онъ съ неврозомъ? Страсти и великіе замыслы.

III. Великій человѣкъ и современная ему среда. Великій человѣкъ не разрушаетъ ничего кромѣ того, что является помѣхою жизни: онъ не вноситъ въ человѣчество усилій, клонящихся къ раздѣленію людей, но только усилія, направленныя къ временному соглашенію, къ союзу и единству. Какимъ образомъ среда требуетъ своего великаго человѣка. Какъ относится великій человѣкъ къ своимъ предшественникамъ, къ своимъ современникамъ, къ своимъ учителямъ и къ своимъ предтечамъ. Примѣры. Въ чемъ состоитъ оригинальность великаго человѣка. Его вліяніе на людей, которыми онъ пользуется для своихъ цѣлей, и на идеи, которыми онъ овладѣваетъ. Не геній получаетъ жизнь отъ тѣхъ элементовъ, которые онъ организуетъ, а наоборотъ—онъ самъ даетъ имъ новую жизнь.

IV. Геній и вдохновеніе. Уничтожаетъ ли геній роль случая? Пріостанавливаетъ ли онъ законы необходимости? Случай не дѣлаетъ даже открытій.—Примѣры. Колумбъ и открытіе Америки. Ньютонъ и открытіе мірового тяготѣнія. Лейбницъ и его ученіе объ активной субстанціи. Леонардо да Винчи и Тайная Вечеря. Бетховенъ и нѣкоторыя изъ его симфоній. Является ли великое дѣло при своемъ возникновеніи въ формѣ цѣльнаго замысла? Фенелонъ и Ж. Ж. Руссо. Моцартъ и Бетховенъ. Лихорадочное возбужденіе ума. Истинныя условія вдохновенія. Анализъ элементовъ генія. Провѣрка этого анализа. Личности, которымъ не доставало то одного, то другого изъ условій геніальности и величія. Заключительные выводы.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ И. Н. ПОТАПЕНКО.

1-й томъ. Святое искусство. — Потѣшная исторія. — Здравыя понятія. — Никогда. **2-й томъ.** На дѣйствительной службѣ.—Секретарь его превосходительства. — Рѣдкій праздникъ. — Проклятая слава. **3-й томъ.** Генеральская дочь. — Крылатое слово. — Отечество въ опасности. — Общій взглядъ.—Ахметка саратовскій. — Ицекъ Шмуль брилліантщикъ. **4-й томъ.** Шестеро. — Деревенскій романъ. — Семейка. — Домашній судъ. — Ради хозяйства. — Иллюзія и правда. **5-й томъ.** Самородокъ. — Тоже жизнь. — Письмо. — Задача. — Жены. — Тайна. — Смыслъ жизни. — Кусокъ хлѣба. — Отступленіе. — На вдовицѣ. — Грѣхъ дѣда Мартына. **6-й томъ.** До и послѣ. — Остроумно. — Жестокое счастье. — Враги. — Незамѣнимая утрата. **7-й томъ.** На пенсію. — Небывалое дѣло. — Повозка. — Поздно. — Прямой разсчетъ. — Стыдно. — Право на счастье. **8-й томъ.** Исполнительный органъ. — Земля. — Семейная исторія. — Аммиръ. — Находка. — Третья. **9-й томъ.** Рѣчные люди. — Простая случайность. — Клавдія Михайловна. — Горячая статья. — Счастливый. — Развязанный узелъ. — Бѣглый. **10-й томъ.** Грѣхи. — Горе-дѣвица. — Петербургская исторія. — Баба замѣшалась. — Азорка.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА.

ЕЯ ПОЛОЖЕНІЕ ВЪ ЕВРОПѢ И АМЕРИКѢ. Б. БРАНДТА.

Цѣна 60 коп.

СОДЕРЖАНІЕ: Вступленіе. — **Глава I. Положеніе женщины въ современной Европѣ.** 1) Бракъ. 2) Женскій трудъ. 3) Вознагражденіе женскаго труда. 4) Причины низкаго вознагражденія женскаго труда. 5) Моральное положеніе женщины. — **Глава II. Попытки къ улучшенію положенія женщинъ въ разныхъ странахъ Европы.** 1) Задачи организаціи женскаго труда. 2) Женское движеніе во Франціи. 3) Женское движеніе въ Англіи. 4) Женское движеніе въ Германіи. 5) Итоги. — **Глава III. Положеніе женщины въ Америкѣ.** 1) Историческое развитіе американской женщины и ея современная характеристика. 2) Бракъ въ Америкѣ. 3) Промышленный трудъ американскихъ женщинъ. 4) Успѣхи американскихъ женщинъ въ области высшаго образованія. 5) Американскія женщины въ либеральныхъ профессіяхъ. Заключеніе.

Объявленія дозвол. цензур. Спб. 7 Февраля 1896 г.

Типографія А. Гороховщикова, Гороховая, № 12.

[158]